Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ИВО АНДРИЧ

ТРАВНИЦКАЯ ХРОНИКА

●

МОСТ НА ДРИНЕ

ПЕРЕВОД С СЕРБСКОХОРВАТСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1974

Вступительная статья
Е. Книпович

И (Югосл)
А 65

Иллюстрации
Л. Зусмана

А $\frac{70304\text{-}116}{028\ (01)\text{-}74}$ Подп. изд.

© Издательство «Художественная литература», 1974 г.

ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ ИВО АНДРИЧА

Творчество Иво Андрича — крупнейшего мастера слова Югославии — хорошо знакомо советскому читателю. Романы «Травницкая хроника», «Мост на Дрине», «Барышня», рассказы и повести, среди которых есть такие шедевры мировой новеллистики, как «Проклятый двор» или «Повесть о кмете Симане»,— все эти произведения неоднократно издавались в нашей стране. Иво Андрич принадлежит к тем художникам, чей творческий путь последователен и лишен скачков или срывов. Начиная от ранних своих рассказов и до произведений последних лет, он как бы кругами поднимается все выше и выше над хорошо ему известной жизнью и историей родной страны, расширяя плацдарм своих наблюдений, углубляя знания, умножая обобщения. В романах, повестях и рассказах Андрича вновь и вновь возникают города его детства и юности — Травник, Вышеград, Сараево и окружающие их хутора и селения, по-новому осмысляются схожие человеческие судьбы, а иногда и судьба одного и того же героя.

Иво Андрич в творчестве своем навсегда остался верен миру родной Боснии, хотя он много странствовал по свету и много видел и узнал.

Сын ремесленника из города Травника, Андрич провел в Боснии детство и раннюю юность. В рассказах о первых жизненных впечатлениях и первых невзгодах ребенка из бедной семьи — таких, например, как «Книга» или «Панорама»,— вероятно, есть автобиографические черты. Образование Иво Андрич получил в Загребе, Вене, Кракове, Граце. Рано начал участвовать в национально-освободительном движении; время первой мировой войны провел в тюрьме и ссылке.

После окончания войны и раздела Австро-Венгерской монархии в получившей национальную независимость родной стране Иво Андрич быстро нашел свое место не только как художник, но и как дипломатический работник, занимавший различные должности (вплоть до посла) в Риме, Мадриде, Бухаресте, Женеве, Берлине.

Печататься Иво Андрич стал очень рано, еще будучи гимназистом. Первые книги его — лирическая проза — вышли в 1918—1919 годах. Его известность росла последовательно в 20-е и 30-е годы, по мере выхода все новых и новых сборников рассказов. Мировую славу принесли Иво Андричу три его романа «Мост на Дрине», «Травницкая хроника», «Барышня», написанные в оккупированном Белграде во время второй мировой войны.

В 1961 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Традиционную речь в день вручения ему Нобелевской премии Иво Андрич посвятил не автокомментариям к своему творчеству, а «проблеме повествования вообще». «На тысяче различных языков,— говорил он,— в самых различных условиях, из века в век, начиная с древних патриархальных бесед в хижинах возле костров и вплоть до произведений современных повествователей, книги которых в эту минуту выходят из типографий в больших мировых центрах, прядется нить рассказа о судьбе человека, о ней без конца и края люди рассказывают людям».

В чем же заключается для Иво Андрича смысл этого многотысячелетнего повествования? Быть может, говорит он, с его помощью современник начинает понимать сущность событий своей эпохи? А может быть, рассказчик, как ребенок, заблудившийся в лесу, всего лишь напевает песенку, чтобы отогнать ночные страхи? Или в рассказах его обретают дар речи те, кто был раздавлен злыми силами истории и не смог выразить себя? Ответ на эти вопросы, связанные с «проблемой повествования», содержится во всем творчестве Иво Андрича — в его романах, повестях, рассказах, в его эссе о литературе и искусстве.

Да, Иво Андрич и наблюдатель, рассматривающий с пристальным вниманием тот «пестрый ряд картин», который развертывают перед ним история и современность. Сотни человеческих судеб в прошлом его родной Боснии помогают ему понять, как рождались черты национального характера его соотечественников — в пассивном или активном сопротивлении по-разпому жестокой власти турецких феодалов или австрийских чиновников, в тяжелом труде, в сложных перипетиях социальных и национальных взаимоотношений. И все-таки только наблюдателем, умным и бесстрастным, Иво Андрича никак не назовешь. Основная тема его творчества, воплощенная в десятках судеб и характеров,— это тема «неосуществленного человека», сломанной судьбы, загубленных социальным и национальным гнетом возможностей трудового народа. Так, над всеми элементами идейно-художественной системы творчества Иво Андрича поднимается его ведущее начало — гуманистическая тема — любовь и сострадание к человеку, скрытые за печальной и чуть скептической усмешкой. И, может быть, такая сдержанность в повествовании о судьбах родной страны объясняется характером истории родного края Андрича — Боснии.

Века турецкого ига, двойного — социального и национального — гнета, произвола властителей, поставленных Оттоманской империей, бесправия боснийцев-христиан,— все это создало в Боснии сложную и трагическую об-

становку, в которой деление на социальные группы совпало с делением национальным и религиозным.

Внутренние разногласия, разобщенность антифеодальных и антиоттоманских сил, политика европейских держав привели к тому, что после свержения турецкого ига Босния была оккупирована Австро-Венгрией и вошла в состав «лоскутной монархии» Габсбургов. Несомненно, форма социального и национального гнета стала иной, чем при турецкой власти, однако угнетение и эксплуатация европейскими способами еще на сорок лет задержали нормальное социальное, экономическое, культурное развитие родного края Иво Андрича.

Трагическая история Боснии с наибольшей полнотой и последовательностью раскрыта в двух исторических романах Андрича — «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине».

Первый из них — это повествование о восьми (1807—1814) годах жизни Травника, глухой турецкой провинции, которая оказывается втянутой в такие события, как вся эпопея наполеоновских войн — от блистательных побед на полях Аустерлица и при Ваграме и до поражения в войне с Россией. Одновременно в Боснии эхом отдаются события в Стамбуле. Возвышение и падение султана-реформатора Селима III, который пытался покончить с феодальной раздробленностью Оттоманской империи, естественно, сказывается на судьбе боснийских визирей — ставленников Селима — Мехмед-паши и Ибрагим-паши.

Это мир национальных и социальных противоречий, жестокости и произвола турецких правителей, угнетения немусульманских народов.

И в этот странный и страшный мир окраины мусульманского Востока попадают представители Запада — французский консул Давиль, его помощник, «молодой консул» Дефоссе, а затем и австрийский консул фон Миттерер и сменивший его фон Паулич.

Столкновение двух мироощущений — «западного» и «восточного» — показано в романе отчетливее всего на судьбе двух представителей французского консульства. Личные отношения этих людей раскрыты как антагонизм отцов, переживших революцию 1789 года, и сыновей, то есть революционного и послереволюционного поколения. И это различие определяет их восприятие чужого им, людям Запада, мира.

В реакции обоих на проявления этого «чужого» есть и своя сила, и своя слабость — отражение сложной диалектики революционного и послереволюционного периода жизни Франции и всей Европы.

В качестве «отца», представителя старшего поколения, Иво Андрич выбрал лично очень доброго и порядочного либерала и обывателя. В нем равно вызывают слезы восторга в детстве — Людовик XVI, в юности — Мирабо, в зрелые годы — Наполеон. Не лишенный способностей журналист, чью бойкость пера оценил Талейран, автор длиннейшей и неоконченной классицистической поэмы (где походы и победы Александра Македонского проецируются на историю наполеоновских войн), почитатель поэзии столь

презираемого Пушкиным аббата Делиля — консул Давиль ничего не хочет и не может понять в том страшном мире отуреченной Боснии, куда его забросила судьба. По уровню своему Давиль, конечно, не годится для роли героя своего бурного и сложного времени. И вместе с тем время с необычайной отчетливостью «вылепило» его судьбу, характер, его несчастия, сказали бы мы, если бы в данном случае подходило столь прямое определение. По мысли автора, беда травницкого консула заключена в его заурядности, в органически присущем ему стремлении прилепиться к какому-нибудь вершителю судеб, чтобы спокойно, подобно моллюску на днище корабля, плыть вместе с «хозяином» в неизвестность. «Средний путь», третий путь — ни революция, ни старый режим,— вот мечта зрелых лет Давиля, исправного чиновника, примерного семьянина, на время воплотившаяся для него в империи Бонапарта. Увы, ненадолго. «Казалось,— говорит автор,— что после каждой победы Первого консула, а потом императора Наполеона впереди открывался твердый и определенный спасительный средний путь, а несколько месяцев спустя он снова оказывался тупиком. На людей стал нападать страх. Все шли вперед, но многие начали озираться. За несколько месяцев, проведенных в Париже до назначения консулом в Травник, Давиль мог в глазах своих многочисленных приятелей, как в зеркале, видеть такой же точно страх, какой постоянно испытывал он сам, хоть и не признавался в этом и старался подавить его».

Умнейший циник Керен, крупный чиновник министерства иностранных дел наполеоновской Франции, как бы обобщает смысл этой возникающей в бурные времена «трагедии заурядности».

«Жан Давиль,— говорит Керен, напутствуя будущего помощника травницкого консула — Дефоссе,— появился на свет человеком прямолинейным, здоровым и — заурядным. По своей натуре, происхождению и воспитанию он был создан для обыкновенной, спокойной жизни... Спокойные времена и уравновешенные обстоятельства делают таких заурядных людей еще более заурядными, а бурные времена и великие потрясения создают из них весьма сложные характеры».

В чем же видит Керен сложность Давиля?

«Не будучи в состоянии и не умея быть бесцеремонным, жестоким, бессовестным или двуличным, Давиль, чтобы удержаться и защищаться, стал боязливо скрытен и суеверно осторожен. Из здорового, честного, предприимчивого и веселого он постепенно превратился в чувствительного, колеблющегося, медлительного, недоверчивого и склонного к меланхолии человека... Короче, он один из тех людей, которые оказались своего рода жертвами великих исторических событий... Случай в наши времена весьма распространенный,— закончил Керен».

Этот «видоизмененный» человек, который субъективно сыт историей по горло, с трудом воспринимает и не в силах объяснить то, что открывается ему в той новой действительности Ближнего Востока, с которой его свела беспокойная судьба. Босния для него — это сплошное варварство, противное

чувству и разуму. И под этой «оболочкой зримой» он не хочет и не может увидеть сложное сплетение и движение исторических сил и тенденций.

Вместе с тем в силу естественной доброжелательности он становится почти другом обоих визирей, сменившихся за его восьмилетнее пребывание в Травнике. Просветительское отвращение к шовинизму сделало Давиля другом и заступником евреев Боснии, равно чуждых и угнетателям-туркам, и угнетенному местному населению.

Визири Мехмед-паша и Ибрагим-паша весьма непохожи друг на друга. Первый из них — ловкий дипломат, умеющий «заговорить зубы» вместо того, чтобы выполнить просьбу, человек приветливый и вежливый, способный, однако, тихонько отправить на тот свет того, кто для него опасен. И окружен он людьми тоже внешне легкими, молодыми. «Все это были люди недалекие, но расторопные, безусловно преданные и верные Мехмед-паше, и все они походили друг на друга, как тридцать два мамелюка визиря, которые, подобно куклам с лицами, лишенными выражения, были все одинаковой внешности и одного возраста».

Ибрагим-паша — «человек родовитый», двор которого включает «скопище рабов», унаследованное еще от отца и деда,— сам по внешности не менее фантастичен, чем тот «музей уродов», который его окружает.

Но этот больной, умный и мрачный человек собрал вокруг себя и людей незаурядных, таких, например, как Тахир-бег — «правая рука и перо в руке визиря». Тахир-бег «своими знаниями и умом делился щедро и бескорыстно, как человек, обладающий этим в избытке и привыкший давать, ничего не требуя взамен. Он одинаково хорошо знал и мусульманское право, и военное дело, и финансы. Владел персидским и греческим языками. Прекрасно писал, и у него был сборник стихов, которые султан Селим знал и любил». Однако этот мудрый государственный деятель — физически калека, и энергия его питается наркотиками. И его отнюдь не смущает та чудовищная жестокость, с какой — по приказу Ибрагим-паши — чинится расправа над восставшими сербскими крестьянами.

Для Давиля общение с окружающим его миром почти исключительно ограничено «правящей верхушкой» Травника.

Дефоссе — это представитель «сыновей», или, как говорят «отцы», «анамализированного» поколения,— человек без рефлексии, без сомнений и без колебаний, прагматист по всем своим устремлениям.

На первый взгляд может показаться, что он гораздо ближе, чем Давиль, подошел к познанию окружающей его действительности.

Дефоссе учит язык «простолюдинов» Боснии, он не прочь потолкаться в толпе на базаре, он с интересом просвещенного этнографа изучает внешнюю сторону жизни страны. Дефоссе — человек умеренный, лично порядочный, бескорыстный, лишенный страстей и противоречий Растиньяка или других героев классического романа Франции XIX века. Дефоссе доброжелателен, в отношениях с женщинами он отдает дань юношеской наивности и неискушенности. И вместе с тем такое сочетание буржуазного прагма-

тизма с уравновешенностью, как мне кажется, не очень соответствует исторической и социальной сущности поколения «сыновей».

Прагматизм принимает в ту пору формы очень агрессивные. Что же касается бескорыстия и порядочности, то они обычно рождали ту «рефлексию», то сомнение в «прагматической правде» буржуазного общества, которые лежали в основе характера разочарованных «детей века».

Исторически достоверно воссозданы в романе оба представителя Австрии. И если фон Миттерер — чиновник старой школы — еще обладает многими человеческими чертами, то второй, сменивший его австрийский консул фон Паулич — это уже весьма совершенный бюрократический автомат империи Габсбургов, предшественник тех администраторов, которые через несколько десятилетий принесли в Боснию новые, «европейские» методы гнета и эксплуатации.

Живое очарование роману придает его «активный и существенный фон» — десятки различных человеческих судеб, жизней, протекающих где-то рядом с замкнутым бытом обоих консульств.

Среди этих людей есть и такие, которые, как два толмача консульств — Давна и Ротта, аккумулируют в себе все дурные стороны «Востока» и «Запада». Есть и такие, как юная Йелка — воплощение женственности и простоты, героиня несостоявшегося романа «молодого консула» Дефоссе, или такие, как врач Лука Дафинич, бескорыстный помощник всех страдающих, столь страстный защитник жизни, что он не смеет посягнуть даже на мышь, поедающую его спадобья,— ведь и она тварь господня.

Этот пестрый, движущийся мир простых тружеников-чудаков — их Иво Андрич всегда изображает с большой любовью,— людей самых разных и странных профессий, своей упрямой, почти «растительной» волей к жизни, труду, мирному существованию живыми волнами как бы омывает две «крепости», где засели представители двух держав, пытающихся в своей деятельности, как говорит автор, выдать бурю в стакане воды за битву гигантов.

В общем, после падения Наполеона оба консульства закрываются. Всем консулам — и французам и австрийцам — уготована в дальнейшем вполне благополучная судьба.

Дефоссе напишет толковую, богатую информацией книгу о стране, где он прожил несколько не очень легких лет.

Фон Миттерер — вместе со своей супругой, увядающей и истеричной красавицей,— продолжит в другом месте свой труд на пользу старым австро-венгерским традициям.

Блестящую карьеру на стезе нового бюрократизма сделает фон Паулич.

Все сложится удачно и для Давиля. Талейран де Перигор, всемогущий князь Беневентский, вспомнил о нем и предоставил ему хорошую должность. Супруга консула — трудолюбивый муравей — будет и в другом месте воспитывать детей, вести дом, выращивать белые гиацинты и зеленый горошек.

А сам Давиль? Сколько бы мягкой иронии ни вкладывал автор в изображение исторической ограниченности, отвлеченности, порою почти комических сторон характера французского консула, все же он один способен думать о будущем, пытается заглянуть в будущее человечества и человека. Вот в ночь перед отъездом он разбирает и укладывает свои бумаги. «Машинальную работу сопровождала, как навязчивая мелодия, неопределенная, но настойчивая мысль: должен же где-то быть этот «настоящий путь», на поиски которого он потратил всю свою жизнь; когда-нибудь человек найдет этот путь и укажет всем. Он сам не знал — как, когда и где, но его обязательно найдут либо его дети, либо его внуки, либо его более далекие потомки. Эта неслышная внутренняя мелодия облегчала ему работу».

Консулы уезжают — Босния остается. И уже до их отъезда старики беги, собравшись, как всегда, в кофейне, изрекают устами самого старшего — Хамди-бега — свой приговор: «Травник очистится от консулов. Память о них удержится какое-то время. Дети будут скакать верхом на палочках, играя в консулов и телохранителей, но и они забудут о них, словно их и не было. И все опять по воле божьей пойдет, как шло спокон веков».

«Победной тишиной», возвращением старого кончается роман «Травницкая хроника»; взрывом древнего моста, триста лет простоявшего над Дриной, то есть почти символической гибелью старого кончается другой исторический роман Иво Андрича «Мост на Дрине».

Роман этот получил в мировой печати чрезвычайно широкий отклик.

Общие идейно-эстетические особенности творчества Андрича воплощаются с необычайной полнотой во всех компонентах его произведений. Не случайно поэтому вопрос о жанре занял такое большое место в международных разговорах вокруг «Моста на Дрине». «Не роман», «не историческая хроника», «единство и цельность в многообразии» — так пытались критики разных стран подойти к определению жанровых и композиционных особенностей этого произведения.

Форма «Моста на Дрине» действительно и оригинальна, и необычайно естественна. Это «роман-река» с широким и плавным течением, но также и с водоворотами и заводями. Действие его тянется больше трехсот лет, и автор порою на сотне страниц тщательно исследует одно десятилетие, чтобы затем со спокойной небрежностью отбросить без внимания пятьдесят — шестьдесят застойных и бессобытийных лет в истории Боснии. Плавное эпическое повествование в романе вдруг прерывается вставной новеллой. А судьба человека, рассказанная в ней, отходя в прошлое и становясь легендой и песней, воздействует на последующие поколения, участвует в формировании их сознания.

Такова, например, повелла о красавице Фатиме — родной сестре героинь молодого Горького, о гордой Фате, которая бросилась с моста в Дрину в тот день, когда свадебный поезд вез ее в дом нелюбимого.

Тема «неосуществленного человека», о которой мы уже говорили в связи с «Травницкой хроникой», звучит во вставной новелле о Фате осо-

бенно сильно. «В каждом поколении,— говорит Андрич,— бывает такая девушка, красоту, таланты и достоинства которой воспевают песни и превозносят легенды. На какое-то время она становится недостижимой мечтой и приковывает к себе всеобщие желания и помыслы; имя ее воспламеняет страсти, ее окружают восторги мужчин и зависть женщин. Она — избранница природы, вознесенная на опасную высоту».

Высота эта опасна потому, что воплотиться в судьбе девушки она не может. Избранницу ждет замужество по выбору родителей, подъяремная судьба женщины отуреченной Боснии. И эту судьбу не захотела принять красавица Фата. Если для нее был закрыт тот огромный мир, богатый, полный радостных перемен, существование которого она так живо ощущала за пределами родного селения, то она нашла иной путь в «безграничное, безымянное, молчаливое царство свободы». И осталась после нее память и песня, которую многие десятилетия поют юноши и девушки Боснии.

Иногда герой как бы вырван лучом прожектора из окружения, в котором мы его привыкли видеть в предыдущих эпизодах. Таков Кривой, к фигуре которого Андрич возвращается несколько раз. Впервые он появляется в рассказе 20-х годов. О горькой смерти его писатель с любовью и сочувствием расскажет в новелле 30-х годов «Мила и Прелац». И наконец, в романе «Мост на Дрине» он вдруг раскроет ту сокровенную сущность одноглазого шута, которая не смогла проявиться в условиях и обстоятельствах того времени. Перед нами уже не беспутный гуляка, а человек, способный на великую всепоглощающую любовь, «неосуществленный» брат Тристана или Жоффруа Рюделя. Легкая, страстная сила, живущая в убогом теле одноглазого бродяги, как язык огня, вырывается наружу в тот миг, когда, подстрекаемый пьяными бездельниками, он, танцуя, переходит реку по узким обледенелым перилам моста через Дрипу, знаменитого белого моста, который в шестнадцатом веке принес в дар Боснии ее уроженец великий визирь Мехмед-паша.

Мост входит в судьбу Фаты, Кривого, всех жителей Вышеграда. Он становится ареной основных событий в жизни города, раскинувшегося на обоих берегах Дрины.

О том, какой смысл имеет для Иво Андрича образ моста, свидетельствуют и ранние его стихи, и новелла «Мост на Жепе», и, конечно, роман «Мост на Дрине».

Мудрый старик Али-ходжа, один из героев этого романа, рассказывает старую турецкую легенду о мостах. Согласно ей, аллах создал землю красивой и гладкой, как фарфоровое блюдо. «Но шайтан не захотел, чтобы люди получили столь ценный и прекрасный дар. И пока только что созданная земля еще не затвердела, шайтан исцарапал ее своими острыми когтями, чтобы отделить край от края и лишить возможности общаться между собой народы, которые будут жить на ней. Так появились овраги, ущелья, глубокие реки. Но ангелы, увидев, как мучаются люди, разделенные происками шайтана, распростерли над водами и ущельями свои крылья, и жители зем-

ли стали переходить по ним. Так, наученные ангелами, начали люди строить мосты».

Если отбросить религиозную оболочку старой легенды, то смысл ее станет бесспорным — «зло» сеет рознь между людьми и народами, «добро» учит их единению.

Как символ людского единения, связи между народами и странами живет в творчестве Иво Андрича образ моста.

Не надо думать, однако, что этот символ заключает в себе лишь одно, так сказать, «прямое» добро.

Для Иво Андрича все не так просто.

Среди его эссе есть одно, очень значительное, название которого «Разговор с Гойей» (1935). И здесь голос великого испанского художника прошлого чрезвычайно близок «по тембру» голосу нашего современника Иво Андрича. «В сказках подлинная история человечества»,— утверждает андричевский Гойя. И самые основные, повторяющиеся элементы этой сказки человечества о себе — это «легенда о потопе, легенда о сыне человеческом, распятом во имя спасения мира, легенда о Прометее и о похищенном огне».

Эти первоэлементы истории живо напоминают роман Андрича. Потому что все они вошли в идейно-художественную ткань «Моста на Дрине». Да, в истории Вышеграда был и потоп — неслыханный разлив реки, погубивший многие жизни и состояния, изменивший многие человеческие судьбы. Да, был и сын человеческий, распятый ради спасения мира,— первый бунтарь в Вышеграде, крестьянин Радисав, посаженный на кол турецкими властями. Страшная глава о казни Радисава и ведет к образу «сына человеческого», подобно каменному изваянию, высоко вознесенного над белым парапетом моста. И наконец, «похищенный огонь» белым сиянием (его видят женщины Вышеграда раз в году) сходит с неба на могилу Радисава, и он же горит в том ожерелье гайдуцких огней, которое столетие спустя все уже и уже опоясывает спрятанный в узкой лощине Вышеград. И все эти «первоэлементы» истории уходят в легенду. А легенда, в свою очередь, питает и воспитывает самосознание народа.

Но сказка народа о себе, такая, как ее видит Андрич, отнюдь не адекватна горьковскому пониманию сказки, в которой воплощена вера народа в свою мощь, бессмертие и лучшее будущее. В том, как «грезит о себе» коллективный герой сказки — народ Боснии,— есть порою что-то близкое к первобытной, темной мифологии.

И с постройкой моста связаны отнюдь не только легенды, рожденные «первоэлементами» сказки человечества о себе, о которых говорит Гойя. В мифах, возникших в ту пору, есть немало темного и жуткого. Так, в народе живет не только память о бунтаре Радисаве, но и о таинственной русалке, которая якобы мешала строить мост. Гибель негра-каменотеса из Далмации, придавленного рухнувшей каменной плитой, легла в основу легенды о Черном Арапе, который живет в одном из быков моста, пугает сербских и

турецких ребят. А юродивая, которая сто лет назад бродила возле моста в поисках своего умершего ребенка, превратилась в легендарную мать близнецов Стои и Остои, которых таинственный голос повелел замуровать в основание постройки. Ребятишки верят всему этому, но, естественные оптимисты, создают и свои героические легенды. Так, круглые впадины на сером известняке возле моста сербские дети считают следами копыт коня Королевича Марко — героя сербского народного эпоса, турецкие мальчишки утверждают, что следы эти оставил крылатый скакун героя мусульманского мифа — Алии Джерзелеза. «Но об этом дети никогда не спорят, настолько и те и другие уверены в своей правоте».

Гуманистические и реалистические черты в творчестве Иво Андрича особенно ярко проявляются в страстном, полном горячей ненависти изображении угнетателей и насильников, их надругательств над тружениками Боснии. И конечно, не только о XVII, но и о XX веке, о фашизме думает автор, когда он изображает зверства турецких правителей. Так, говоря о пытках, которым был подвергнут Радисав, он как бы проецирует происходящее на то, что творилось в Югославии в годы фашистской оккупации. «В хлеву и возле него царили праздничное возбуждение и та особенная тишина, которая всегда бывает при дознании, пытках и роковых событиях». Этот пафос ненависти к угнетению человека человеком живет во всех произведениях Иво Андрича, достигая особой силы в тех, которые созданы в годы второй мировой войны и фашистской оккупации.

Именно в это время «зло» в его произведениях принимает и современные черты и старая тема «неосуществленного человека» перерастает в историю того, как героическая борьба против фашистского «зла» перестраивает весь характер, все устремления забитого, робкого человека (повесть «Заяц»). Человечность, доброта, артистизм Зайца, как малый родничок, ищут себе выход в дружбе и общении с природой, пока в годы фашистской оккупации маленьким ручейком не вливаются в широкий поток народной борьбы против фашизма. Геройская смерть Зайца осталась людям неизвестной, но сам он в общем деле с лучшими людьми своего народа узнал, что такое настоящая, достойная человека жизнь.

Но гораздо чаще, рисуя неосуществленные судьбы людей, Андрич испытывает горькую печаль, а не гнев, и это свое чувство он умеет сообщить читателю.

Одаренность, ум, сила характера Лотики, хозяйки гостиницы у моста на Дрине, при других обстоятельствах сделали бы ее властительницей, преобразовательницей. Умная, гуманная, властная и уравновешенная красавица, она, «может быть, стала бы одной из тех великих женщин, которые вошли в историю, женщин, управлявших судьбами прославленных фамилий, дворов или даже держав и, подобно доброму гению, приносивших счастье».

Так обстоит дело с Лотикой. Кто знает, что бы вышло из этой «женщины-министра» в другие времена, из Фаты и Кривого, о которых мы уже говорили, Али-ходжи. Григорий Федун, австрийский рекрут из Галиции, де-

сятки других героев «Моста на Дрине» — все они «неосуществленные люди», раздавленные уродливым и мертвящим общественным укладом.

И вместе с тем в упорстве вышеградцев, с каким они продолжают вести свою жизнь, держатся своих обычаев в разные годы и при разных властях, автор видит что-то растительное. И порою начинает казаться, что и для Андрича «человек — это только дыхание и беспокойное тепло», как думает о себе один из героев «Травницкой хроники», что в этом полурастительном-полуживотном ощущении жизни порою сливаются человек и сама природа края. Но такое впечатление мимолетно, и автор — мудрый повествователь — хорошо это знает. Железная пята капиталистического прогресса ломает неподвижный, патриархальный и жестокий мир отуреченной Боснии. И это видит и очень ярко изображает Андрич. На смену турецкой приходит австрийская власть, осуществляющая эксплуатацию населения без чудовищного средневекового зверства турок, но гораздо более последовательно и планомерно. Вот уже строится железная дорога, растут заработки населения, но еще быстрее растут цены. И в городе появляются ночные кабаки и — о ужас! — публичный дом, и дети почтенных семей — турецких и сербских — теряют патриархальный страх божий и, как говорит автор, переходят из растительной стадии в животную.

А затем, когда окончена постройка железной дороги, путь с Запада на Восток уже обходит Вышеград, и белый мост становится лишь прекрасным символом отошедшего прошлого — памятником первоначальных патриархальных связей жителей двух берегов Дрины.

Последние главы романа — это уже не такое далекое прошлое. Это годы накануне первой мировой войны, споры студенческой молодежи, проникнутые национально-освободительными идеями. И наконец, это убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараеве, начало первой мировой войны, в которой тихий Вышеград оказался на линии фронта — на границе австрийских и сербских владений. Взрыв моста, минированного австрийцами, не менее символичен, чем вся история существования белого, легко вознесенного над Дриной сооружения рук человеческих. И не менее символична смерть в тот же день мудрого старика Али-ходжи, чья судьба была связана со всеми переменами в жизни Вышеграда на протяжении многих десятилетий и который был последним носителем «исторически рационального зерна», заложенного в заветах патриархального благообразия и уважения людей друг к другу.

Нет, на смену «взорванной» мудрости прошлого в роман не приходит новая мудрость, включающая в себя нравственный опыт, уже накопленный трудовым народом, и видоизменяющая его согласно новым и наиболее прогрессивным задачам новой эпохи.

Гуманистическая и центральная в творчестве Андрича тема, как мы уже говорили, раскрывается в книге по-иному, как тема неосуществленной любви и неосуществленного счастья, неосуществленного человеческого характера и судьбы. И вместе с тем внутренний облик этих людей осуждает лишь фактом своего существования все то, что мешает ему раскрыться.

Каков путь к конкретному, жизненному «всплощению себя», об этом Андрич скажет позже — в повестях и рассказах, непосредственно связанных с историей антифашистского сопротивления, и прежде всего в повести «Заяц».

Гуманистическая тема вставала и встает в произведениях Иво Андрича по-разному. Но одно всегда присутствует во всем, что выходит из-под его пера. Это то, о чем он сказал в конце своей речи в Стокгольме: «Каждый ведет свой рассказ в силу внутренней потребности, соответственно своим унаследованным или благоприобретенным склонностям и взглядам, в меру своих выразительных возможностей. Каждый несет моральную ответственность за то, что он рассказывает, и каждому нужно позволить вести свой рассказ свободно. Но позволено, я полагаю, вместе с тем пожелать, чтобы рассказ, который рассказывает людям своего времени современный повествователь, независимо от формы его и темы, не был отравлен ненавистью, не был заглушен грохотом смертоносного оружия, чтобы он был движим любовью и ведом широким и ясным, свободным человеческим духом. Ибо рассказчик и его творение не служат ничему, если тем или иным способом не служат человеку и человечности».

Е. КНИПОВИЧ

ТРАВНИЦКАЯ ХРОНИКА

КОНСУЛЬСКИЕ ВРЕМЕНА

(ПЕРЕВОД М. ВОЛКОНСКОГО

ПРОЛОГ

В конце травницкого базара, ниже холодного, ключом бьющего родника Шумеча с незапамятных времен стоит маленькая Лутвина кофейня. Лутву, первого хозяина кофейни, и старики не помнят: лет сто уже лежит он на одном из разбросанных по Травнику кладбищ. Но все ходят пить кофе к Лутве, знают и поминают его имя, в то время как имена стольких султанов, визирей и бегов давно забыты. В саду кофейни, у подножия холма, под самой скалой, в укромном и тенистом месте, на возвышении растет старая липа. Возле нее среди скал и кустов стоят низкие скамьи неправильной формы. На них приятно опуститься, подняться с них трудно. Истертые и покрившиеся от долгих лет, скамьи совсем срослись и слились с деревьями, скалами и землей.

В летние месяцы — с начала мая и до конца октября — тут, по старой традиции, собираются в час послеполуденной молитвы травницкие беги и именитые люди, которых беги допускают в свое общество. В это время дня никто другой из горожан не решился бы расположиться здесь за чашкой кофе. Место это называется Софой. Передаваясь из поколения в поколение, это слово приобрело среди жителей Травника определенное общественное и политическое значение, ибо то, что было сказано, обсуждено и утверждено на Софе, считалось равносильным постановлению старейшин на диване у визиря.

Вот и сегодня здесь сидит с десяток бегов, хотя погода уже пасмурная и дует ветер, который в это время года предвещает дождь. Последняя пятница октября 1806 года. Беги ведут мирную беседу, задумчиво следя за игрой солнца и облаков, и озабоченно покашливают.

Обсуждается важная новость.

Сулейман-бег Айваз, недавно ездивший по делам в Ливно, разговаривал там с одним жителем Сплита, человеком, по его словам, серьезным. От него он и услышал весть, которую теперь сообщал бегам. Им не все ясно, они расспрашивают о подробностях и просят повторить уже сказанное.

— Вот как было дело,— рассказывает еще раз Сулейман-бег.— Человек спрашивает меня: «Ну как, готовитесь встречать гостей в Травнике?» — «Да нет, отвечаю, нам не до гостей».— «Хотите не хотите, а встречать придется,— говорит он,— прибывает к вам французский консул. Бонапарт запросил у Порты в Стамбуле разрешение открыть консульство в Травнике и посадить там своего консула. Разрешение он получил, ждите зимой консула». Я постарался отделаться шуткой. Сотни, мол, лет прожили мы без всяких консулов, проживем и дальше, да и что делать консулу в Травнике? А он свое твердит. «Ну что ж, говорит, раньше так жили, а теперь придется жить с консулом. Такие уж времена настали. А дело для консула всегда найдется; сядет рядом с визирем, начнет приказывать да распоряжаться, следить, как ведут себя беги и аги, как ведет себя райя, и обо всем докладывать Бонапарту».— «Не было такого и быть не может,— обрываю я гяура,— никто еще в наши дела не совался, и этот не сунется».— «А ну вас, говорит, думайте что хотите, а консула принять вам придется. Никто еще до сих пор не отказывал Бонапарту, чего бы он ни попросил, не откажут и в Стамбуле. А как только Австрия узнает, что приняли французского консула, она потребует, чтобы приняли и ее консула, а за ней пойдет и Россия...» — «Убирайся-ка ты к черту, приятель»,— советую я ему. А он, погань неверная, только усмехается, взялся за ус и говорит: «Можешь вот этот ус мне отрезать, коли не случится так, как я сказал, или примерно так». Вот что я слышал, люди добрые, и никак это у меня из головы не выходит,— заканчивает Айваз свое повествование.

При теперешних обстоятельствах — французская армия уже год стоит в Далмации, в Сербии непрекращающиеся восстания — даже такой туманной вести достаточно, чтобы смутить и лишить покоя и без того озабоченных бегов. И беги разволновались и встревожились, хотя по их лицам и по спокойно вьющемуся дымку, который они отгоняют рукой, ничего не заметишь. Говорят

по очереди, вяло и нерешительно, строя догадки, что все это может означать, какая доля правды в этом известии и какая выдумки, что надо предпринять, дабы расследовать дело и пресечь его в самом корне.

Одни считают, что вести эти вымышлены и преувеличены, просто кому-то хочется их расстроить и напугать. Другие с горечью признают, что в нынешние времена, когда в Стамбуле, в Боснии и во всем мире творятся такие дела, пельзя ничему удивляться и надо быть готовым ко всему. Третьи утешают себя тем, что это ведь Травник,— Травник! — а не какое-нибудь паршивое местечко, и с ними не должно и не может случиться того, что происходит с другими.

Каждый произносит несколько слов, лишь бы что-то сказать, но никто не говорит ничего определенного, ожидая слова самого из них старейшего. А старшим из них был Хамди-бег Тескереджич, могучий старик с медлительными движениями и богатырским сложением. Участвовал он во многих войнах, был изранен, попадал в плен, имел одиннадцать сыновей да восемь дочерей и от них многочисленное потомство. Борода и усы у него редкие, а все лицо, с резкими и правильными чертами, обожжено, испещрено шрамами и синими пятнами — давнишние следы взрыва пороха. Тяжелые веки свинцового цвета низко опущены. Говорит он медленно, но четко.

Удивительно молодым голосом Хамди-бег прервал наконец догадки, предчувствия и страхи.

— Ну, не будем, как говорится, отпевать человека, пока он жив, и не станем без нужды волновать людей. Все надо слушать и запоминать, но не все принимать близко к сердцу. Так и с этими консулами. Неизвестно еще, как обстоит дело. Либо приедут, либо нет. А если и приедут, так не потечет Лашва вспять, все будет по-старому. Мы здесь на своей земле, а всякий пришлый окажется на чужой и долго тут не просидит. Приходили сюда целые армии, да подолгу не задерживались. Многие хотели здесь насовсем остаться, но мы всех выпроводили. И с этими поступим так же, если придут, но пока ведь ими и не пахнет. А мало ли чего хотел тот в Стамбуле? Это еще не значит, что дело сделано. И раньше многие чего просили, да не вышло по-ихнему.

Сердито вымолвив последние слова, Хамди-бег глубоко затянулся и, выпустив дым, в полнейшей тишине продолжил:

— А если и случится! Надо еще посмотреть, как и что. Ничья звезда не горела до зари, не будет гореть и этого... этого...

Тут Хамди-бег слегка закашлялся, поперхнувшись от сдерживаемого гнева, и так и не выговорил имя Бонапарта, которое у всех было в голове и вертелось на языке.

Больше никто не произнес ни слова, и на этом разговор о последней новости прекратился.

Вскоре тучи совсем заслонили солнце, пронесся сильный порыв холодного ветра. Листья на тополях у реки зашумели металлическим звоном. Струя холодного воздуха, разлившаяся по всей Травницкой долине, означала, что в этом году уже пришел конец сидению и разговорам на Софе. Один за другим беги поднимались со своих мест и, безмолвно прощаясь, расходились по домам.

I

В начале 1807 года в Травнике стали совершаться необычные и доселе небывалые события.

Никто из жителей и мысли не допускал, что их город создан для обычной жизни и заурядных происшествий. Никто, даже самый последний пахарь под Виленицей. Сознание, что они отличаются от остальных людей и предназначены для чего-то лучшего и более значительного, проникало в каждое человеческое существо вместе с холодным ветром с Влашича, с бурлящими водами Шумеча, со сладкой пшеницей на солнечных нивах близ Травника. И это сознание никогда не покидало жителей, ни во сне, ни в горе, ни на смертном одре.

В первую очередь это относилось к туркам, жившим в центре города. Но даже райя всех трех вероисповеданий, разбросанная по крутым склонам или скученная в отдаленном предместье, ощущала то же самое, только по-своему и соответственно своему состоянию. Это относилось и к самому городу, в местоположении и устройстве которого было нечто особенное, своеобычное и горделивое.

Город, в сущности, представляет собой узкое и глубокое ущелье, которое обстраивалось и обрабатывалось поколениями, укрепленный коридор, который люди избрали для постоянного жительства и веками приспосабливали себя к нему, а его к себе. С двух сторон высятся крутые скалы, сходясь под острым углом в долине, где едва хватает места для узкой реки и дороги. Город напоминает полураскрытую книгу, на обеих страницах которой нарисованы сады, улицы, дома, поля, кладбища и мечети.

Никто никогда не подсчитывал, скольких солнечных часов природа лишила город, но известно, что тут солнце встает позднее и заходит раньше, чем во всех других многочисленных босний-

ских городах и местечках. Этого и сами жители Травника не отрицают, зато уверяют, что, когда уже солнце светит, оно светит так, как нигде.

На дне узкого ущелья — Лашва, а по сторонам — узоры из родников, расселин и потоков; тут всегда сырость и сквозняки, нет почти ни одной настоящей дороги, ни ровного места, где бы можно было ступить свободно, без опасений. Повсюду кручи и овраги, пересеченные, переплетенные, соединенные или разъединенные тропами, оградами, тупиками, садами, калитками, кладбищами и храмами.

Тут, у воды, таинственной, изменчивой и мощной стихии, рождаются и умирают поколения травничан. Тут растут они, хилые, бледнолицые, но выносливые и на все готовые; тут живут они с Конаком визиря перед глазами, гордые, стройные, щеголеватые, привереды и умники; тут ведут дела и приобретают или же проводят время в безделии; люди здесь сдержанны, осторожны, не знают громкого смеха, зато умеют усмехаться, не болтливы, но любят посплетничать шепотком; а когда приходит час, их хоронят, соблюдая обряды и обычаи каждой веры, на затопляемых кладбищах, освобождая место следующему подобному же поколению.

Так сменяются поколения, передавая из рода в род не только определенные телесные и духовные качества, но и землю и веру, не только присущие им такт и чувство меры, не только умение различать калитки, пути и переходы своего вдоль и поперек изрезанного города, но и врожденную способность познавать мир и людей. Травницкие дети появляются на свет со всеми этими качествами, главное из которых — гордость. Гордость — их вторая натура, могучая сила, управляющая всеми их поступками, неизменная отличительная черта.

Гордость их не имеет ничего общего с наивной спесью разбогатевших крестьян и мелких мещан, которые громогласно бахвалятся, самодовольно выпячивая грудь. Гордость травничан — это внутреннее свойство, тяжелое наследие и мучительная обязанность по отношению к самому себе, к своей семье и городу, вернее, к тому недосягаемо высокому и гордому представлению о себе и своем городе.

Но для всякого человеческого чувства есть предел, даже для чувства собственного достоинства. Конечно, Травник — резиденция визиря, и обитатели его так благородны, чисты, степенны и мудры, что с султаном впору беседовать, но бывали дни, когда гордость травничан им же боком выходила, и они предпочли бы жить спокойно и беззаботно в самом обыкновенном, безвестном городишке, не упоминаемом ни в переговорах царей, ни при

столкновении государств, которого не касались бы мировые события и который не стоял бы на пути знатных и важных особ.

Времена пошли такие, что ничего приятного не могло произойти и ничего хорошего ожидать было нельзя. А потому гордые и хитрые травничане мечтали о том, чтобы вообще ничего не происходило и они могли бы жить по возможности без перемен и неожиданностей. Что хорошего может случиться, когда императоры ссорятся, народы истекают кровью и страны объяты пламенем? Новый визирь? Он будет не лучше, а хуже прежнего: приедет с многочисленной, никому не известной изголодавшейся свитой, с бог знает какими требованиями («Лучше всех тот визирь, что дошел до Прибоя и вернулся в Стамбул и нога его так и не ступила в Боснию»). Чужестранец какой-нибудь? Знатный путешественник? Но известно ведь, как оно бывает. Посорит в городе деньгами и подарками, глядишь, за ним уже шлют погоню или на другой же день приступают к опросу и следствию. Кто да что, у кого ночевал, с кем разговаривал? А это дорого обходится. Пока вывернешься да отделаешься, потеряешь вдесятеро. Или шпион? Или лицо, облеченное доверием и преследующее сомнительные цели? В конце концов, никогда не знаешь, с чем человек приходит и кому он служит.

Одним словом, ничего хорошего в теперешние времена ждать не приходится. Осталось только доедать свой хлеб да доживать последние спокойные дни в этом наиблагороднейшем городе на земле. И да хранит нас бог от славы, знатных гостей и великих событий!

Таковы были желания и помыслы видных травничан в первые годы XIX века, но все это, разумеется, оставалось при них, ибо для того, чтобы выразить вслух свои мысли и желания, каждый травничанин должен был проделать долгий, извилистый и совсем не легкий путь.

А событий и перемен в те времена — в конце XVIII и начале XIX века — было действительно много, и самых разнообразных. Они надвигались со всех сторон, сталкивались и кружились по Европе и великой Турецкой империи, достигали даже этой котловины, где и оседали, как напос после паводка.

С той самой поры, как турки ушли из Венгрии, отношения между ними и христианами становились все труднее и сложнее, да и общая ситуация ухудшилась. Воины великой империи, помещики и землевладельцы, принужденные бросить богатые поместья в плодородных венгерских долинах и вернуться в свою тесную и бедную страну, обозлились и затаили обиду на всех христиан; к тому же, вернувшись, они увеличили количество едоков, тогда как число рабочих рук осталось неизменным. С другой стороны,

те же самые войны XVIII века, которые изгнали турок из соседних христианских стран и заставили их вернуться в Боснию, в христианских подданных пробудили смелые надежды и открыли перед ними доселе невиданные перспективы, что не могло не повлиять на их отношение к «царствующим господам туркам». Каждая сторона, если можно говорить о сторонах на этом этапе борьбы, боролась своими способами и средствами, соответственно обстоятельствам и времени. Турки боролись нажимом и силой, а христиане — терпением, хитростью, заговорами или готовностью к заговорам; первые старались защищать свои права на жизнь и свой образ жизни, а вторые — получить те же права. Христиане чувствовали, что турки их притесняют все сильнее, а турки с неудовольствием замечали, что христиане окрепли и уже не те, что были прежде. Столкновение столь противоположных интересов, вероисповеданий, стремлений и надежд образовало сложный клубок, который в результате длительных войн Турции с Венецией, Австрией и Россией все больше запутывался. В Боснии становилось все теснее и мрачней, столкновения учащались, жизнь делалась все тяжелее, и все меньше в ней оставалось порядка и определенности.

А начало XIX века принесло восстание в Сербии — явное свидетельство новых времен и новых способов борьбы. В Боснии клубок еще крепче затянулся и запутался.

Восстание в Сербии принесло много забот и неприятностей, убытков, расходов и потерь всей турецкой Боснии, в том числе и Травнику, но все же больше всего, конечно, визирю, властям и остальным боснийским городам и меньше всего самим травницким туркам, ибо они ни одну войну не считали достаточно крупной и важной, чтобы рисковать своим имуществом или даже головой. О «мятеже Карагеоргия» травничане говорили с подчеркнутым презрением; столь же насмешливо отзывались они и о войске, которое визирь посылал против Сербии и которое нерешительные и вечно вздорившие между собой айяны с опозданием и в беспорядке приводили в окрестности Травника.

Наполеоновские войны травничане признали уже более достойной темой для разговоров. Сначала их обсуждали как события отдаленные, которые нуждаются в толковании и пересказе, но не имеют и не могут иметь ничего общего с их действительной жизнью. Вступление французских войск в Далмацию неожиданно приблизило этого легендарного Бонапарта к Боснии и к самому Травнику.

Примерно в то же время в Травник прибыл новый визирь Хусреф Мехмед-паша, выказывавший такое уважение к Наполеону и такой интерес ко всему французскому, какие, по мнению

травничан, не приличествовали османскому турку и сановнику султана.

Все это беспокоило и будоражило травницких турок, и в разговорах о Наполеоне и его подвигах они ограничивались отрывочными и незначительными фразами или только надменно и презрительно поджимали губы. Но это не могло их избавить и защитить ни от Бонапарта, ни от связанных с ним событий, распространявшихся по Европе с головокружительной быстротой. Эти события, подобно кругам на воде, расходящимся от своего центра, настигали, словно пожар или эпидемия, и того, кто бежал, и того, кто сидел на одном месте. Невидимый и неизвестный победитель нарушил порядок в Травнике, как и в стольких других городах мира, вызвал перемены и волнения. И многие годы принуждены будут повторять в Травницкой котловине жесткое и звучное имя Бонапарта, с трудом выговаривая его по слогам, долго будет оно звенеть в ушах у травничан и маячить у них перед глазами. Ибо наступали консульские времена.

Травничане, все без исключения, любят казаться равнодушными и бесстрастными. Но вести о приезде консулов — то французского, то австрийского, то русского, а то и всех троих сразу — вызывали у них надежды или озабоченность, будили желания и настораживали. И этого нельзя было полностью скрыть; началось движение умов, разговоры оживились.

Никто почти толком не знал, что означают вести, носившиеся в воздухе еще с осени, и никто не мог сказать, который из консулов приедет и чем он будет заниматься в Травнике. Но одной новости, одного необычного слова достаточно было при теперешних обстоятельствах, чтобы всколыхнуть воображение, вызвать нескончаемые разговоры и предположения, и даже больше — многие сомнения и страхи, многие сокровенные желания и помыслы, лелеемые про себя и никогда не высказываемые вслух.

Местные турки, как мы видели, были встревожены и неохотно упоминали о возможном приезде консулов. Относясь с недоверием ко всему чужестранному и заранее порицая всякую новизну, они в душе надеялись, что все это лишь дурные слухи, что консулы, может быть, вовсе не приедут, а если, на худой конец, и приедут, то сгинут вместе с плохими временами, их породившими.

Христиане, как католики, так и православные, напротив, радовались этим вестям и передавали их из уст в уста, потихоньку, шепотом, выискивая в них поводы для неопределенных надежд на возможные перемены. А перемены могли быть только к лучшему.

Конечно, каждый из них расценивал события по-своему и со своей, часто противоположной другим точки зрения.

Католики, которых было большинство, мечтали о влиятельном австрийском консуле, который обеспечит им помощь и защиту могущественного католического императора в Вене. Православные — их было немного, и на них в последние годы обрушились гонения из-за восстания в Сербии — не возлагали больших надежд ни на австрийского, ни на французского консула, но в их приезде они усматривали добрый знак и доказательство того, что турецкая власть слабеет и наступают хорошие, беспокойные, несущие спасение времена. И тут же добавляли, что, конечно, «без русского консула все равно дело не обойдется».

И даже малочисленные, но расторопные евреи-сефарды, не могли при таких вестях сохранить свою веками приобретенную деловую скрытность; их также волновала мысль о возможном приезде в Боснию консула великого французского императора Наполеона, «который для евреев что отец родной».

Вести о приезде иностранных консулов, как и всякие вести в наших краях, возникали внезапно, достигали фантастических размеров и так же внезапно исчезали, чтобы через несколько недель появиться с новой силой и в новом виде.

В середине зимы, в тот год мягкой и короткой, слухи приняли первое подобие действительности. В Травник из Сплита приехал еврей по имени Пардо и вместе с травницким торговцем Юсом Атиясом начал подыскивать дом для французского консульства. Они побывали везде, ходили к каймакаму, вместе с мутевелием осмотрели здания мусульманских благотворительных учреждений и остановили свой выбор на большом, несколько запущенном доме, принадлежавшем вакуфу и прозванном «Дубровницким постоялым двором», потому что в нем всегда останавливались торговцы из Дубровника. Дом стоял в стороне, над медресе, посреди обширного, разбитого по крутому склону сада, пересеченного ручьем. Как только договор был подписан, нашли мастеров, столяров, каменщиков, чтобы придать зданию надлежащий вид. Заброшенный, всеми забытый, смотревший на мир пустыми окнами, дом вдруг ожил и стал привлекать к себе всеобщее внимание, любопытство детей и зевак. Стали поговаривать о гербе и флаге, которые будут выставлены на видном месте здания иностранного консульства. Правда, ни герба, ни флага никто пока еще не видел, но эти два веских и значительных слова турки произносили редко и с неудовольствием, а христиане часто и злорадным шепотом.

Травницкие турки были, понятно, слишком умны и горды, чтобы проявлять свое волнение, но в разговорах с глазу на глаз его не скрывали.

Их давно уже мучило сознание, что защита турецких границ ослабела, что Босния становится открытой страной, по которой ступают не только османские турки, но и гяуры со всего света, где даже райя нагло поднимает голову, чего раньше не смела делать. А сейчас собираются нагрянуть гяурские консулы да шпионы, которые на каждом шагу будут подчеркивать свою власть и силу своих императоров. Так постепенно придет конец порядку и «прекрасной тишине» турецкой Боснии, которую и без того с каждым днем все труднее защищать и охранять. Богом установлен такой порядок: турки до Савы, а швабы за Савой. Но против этого ясного божьего установления ополчился весь христианский мир и расшатывает преграды на границе, подкапываясь под нее денно и нощно, явно и тайно. Да и самая божья воля в последнее время как-то менее ясно выражена и слабо ощутима. И старые турки спрашивали друг у друга с искренним огорчением: «До чего мы еще доживем, кого только мы не увидим?»

И верно, разговоры христиан по поводу учреждения иностранных консульств доказывали, что беспокойство турок не было напрасным.

«Флаг будет развеваться!» — перешептывались люди, и в глазах у них светилось упрямство, словно дело шло об их собственном флаге. На самом деле никто даже не знал, на что похож этот флаг и что произойдет, когда его вывесят, но одна мысль, что, кроме зеленого турецкого флага, будут трепетать и свободно колыхаться рядом с ним флаги и других цветов, зажигала радостный блеск в глазах и пробуждала надежды, близкие и понятные лишь для райи. От этих трех слов: «Флаг будет развеваться!» — у многих бедняков в домах стало на мгновение светлее, в пустом желудке приятнее, в легких одежонках теплее, от этих трех простых и неопределенных слов у многих из них сильнее билось сердце, от ярких красок и золотых крестов рябило в глазах, а в ушах, словно вихрь, победно шумели флаги всех христианских императоров и королей. Потому что и одним-единственным словом может жить человек, если только в нем сохранилась решимость бороться и в борьбе поддерживать жизнь.

У торговцев, кроме всего прочего, была еще и особая причина с надеждой ждать предстоящих перемен. С приездом этих неизвестных, но, по всей вероятности, богатых людей, которые во всяком случае должны будут покупать и тратить деньги, перед ними открывалась возможность заработка. А за последние годы торговля в городе заглохла. Особенно после восстания в Сербии. Многочисленные поборы, трудовые повинности, частые реквизиции отбили у крестьян охоту ходить в город, они почти ничего не продавали, а покупали лишь самое необходимое. Государство же

платило за товар мало и неаккуратно. Славония была отрезана, а Далмация с приходом французских войск стала непостоянным и ненадежным рынком.

При таких обстоятельствах травничане принимали во внимание всякую мелочь и во всем усматривали желанный поворот к лучшему.

Наконец произошло и то событие, о котором говорили столько месяцев. Первым прибыл французский генеральный консул.

Был конец февраля, последний день рамазана. За час до ифтара при закатном свете холодного февральского солнца люди в нижнем конце базара могли наблюдать въезд консула. Лавочники начали уже убирать товары и закрывать ставни, когда цыганята возвестили о прибытии консула.

Процессия была короткая. Впереди ехали верхом посланцы визиря, два самых видных его ичоглана с шестью всадниками, Они встретили консула у Лашвы. Все были хорошо вооружены и восседали на добрых конях. По бокам и позади — стражники каймакама из Ливно, сопровождавшие консула во все время его пути. Озябшие и усталые, они выглядели весьма плачевно на своих плохо вычищенных низкорослых лошаденках. В середине процессии на откормленном старом коне, сером в яблоках, следовал французский генеральный консул господин Жан Давиль, человек высокого роста, румяный, голубоглазый, с усами. Рядом ехал его случайный спутник господин Пуквиль, направлявшийся в Янину, где брат его был французским консулом. В нескольких шагах за ними двигались уже упомянутый сплитский еврей Пардо и два дородных человека, уроженцы Сиpя, состоявшие на французской службе. Все трое были закутаны по самые глаза в черные накидки и красные крестьянские платки, из сапог торчало сено.

Процессия, как мы видим, не была ни многочисленной, ни торжественной, а зимняя стужа, из-за которой всадники ехали быстро, съежившись в своих грубых одеждах, совсем лишала ее блеска и величия.

Таким образом, если не считать нескольких озябших цыганят, процессия проследовала при общем равнодушии травничан. Турки делали вид, что не замечают ее, а христианское население не осмеливалось выказывать явного внимания. Но и те, кому удалось украдкой рассмотреть процессию, были немного разочарованы столь жалким и прозаическим въездом консула Бонапарта, потому что большинство представляло себе консулов знатными сановниками в блестящей форме с орденами и позументами, на великолепных конях или в экипажах.

II

Свита консула разместилась на постоялом дворе, а консул и господин Пуквиль остановились в доме Иосифа Баруха, самого богатого и влиятельного еврея в Травнике, так как дом французского консульства мог быть готов лишь через две недели. Так в небольшом, но добротном доме Иосифа Баруха появился в первый день рамазанского байрама необычный гость. Для консула и господина Пуквиля был отведен весь нижний этаж дома. Давиль занял просторную угловую комнату, два окна которой выходили на реку, а два других с деревянными решетками — в пустынный замерзший сад, покрытый инеем даже днем.

С верхнего этажа в комнату консула доносился непрерывный шум — беготня и крики многочисленных детей Баруха, резкий голос матери, тщетно старавшейся угомонить их угрозами и бранью. С улицы слышались пушечная пальба и трескотня детских ружей, режущая ухо цыганская музыка. Монотонно били два барабана, и на этом мрачном фоне выделялась зурна, выводившая незнакомые мелодии с неожиданными пассажами и паузами. Это были те немногие дни в году, когда в Травнике нарушалась привычная тишина.

Согласно положению консул не должен был нигде появляться до торжественного посещения визиря; все три дня байрама Давиль провел в своей просторной комнате, глядя все на ту же речку и замерзший сад, зато в ушах у него звенели необычные звуки, несшиеся из дома и города. От жирной и обильной еврейской пищи — смесь испанской и восточной кухни — в доме стоял тяжелый запах прованского масла, жженого сахара, лука и крепких приправ.

Давиль проводил время в разговорах со своим земляком Пуквилем, отдавал приказания и знакомился с церемониалом первого посещения визиря, которое должно было состояться в пятницу, в первый день после байрама. Из Конака ему прислали в подарок две большие свечи и по окке миндаля и изюма.

Связным между Конаком и новым консулом был лекарь и переводчик визиря César d'Avenat, которого и османские турки и наши звали Давна. Это имя он носил всю вторую половину своей жизни. Семья его была из Пьемонта, родился он в Савойе, а по национальности был француз. Молодым человеком его послали в Монпелье учиться медицине, и тогда он еще носил имя Cesare Davenato. Там он принял свое теперешнее имя и французское подданство. Из Монпелье он каким-то загадочным и необъяснимым образом попал в Стамбул, где поступил на службу к великому капудан-паше Кучуку Хусейну в качестве хирурга и помощника

врача. От капудан-паши его взял к себе на службу Мехмед-паша, когда был назначен визирем в Египет, оттуда он привез Давну в Травник в качестве врача, переводчика и человека, способного выполнить любое поручение при любых обстоятельствах.

Это был высокий, долговязый и крепкий человек со смуглым лицом и черными волосами, напудренными и искусно заплетенными в косичку. Его широкое бритое лицо с полными чувственными губами и горящими глазами было покрыто редкими, но глубокими рябинами. Одевался он тщательно и по старинной французской моде.

Давна проявлял в работе искреннее рвение и старался быть действительно полезным своему видному земляку.

Все это было ново и удивительно и заполняло досуг Давиля, хотя и не могло заполнить его мысли, которые, особенно в долгие ночные часы, с молниеносной быстротой произвольно переносились из настоящего в прошлое или старались предугадать будущее.

Ночи были мучительны и казались бесконечными.

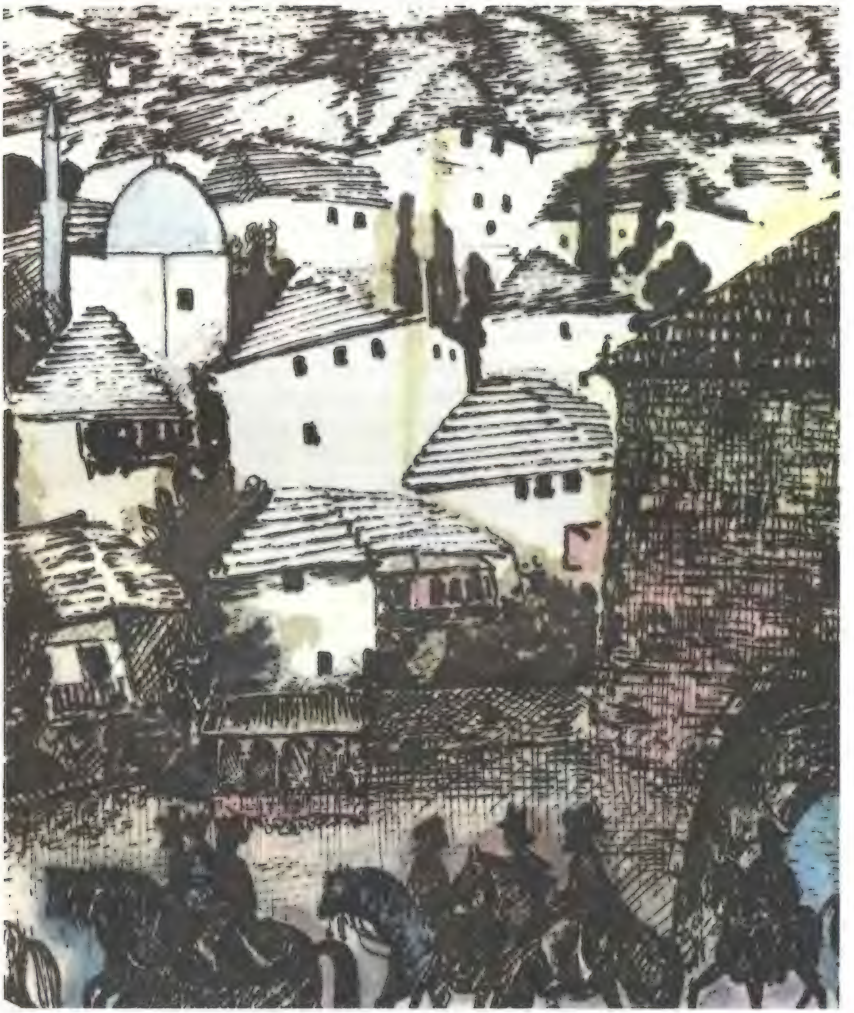
Болела голова от непривычки спать на низком ложе на полу и от запаха шерсти, которой были наполнены недавно выбитые подушки. Давиль часто просыпался весь в поту, задыхаясь от духоты под наваленными на него подушками и одеялами, его мучила изжога после острых восточных блюд,— их трудно было есть, а еще труднее переваривать. Он поднимался в темноте и пил ледяную воду, что вызывало режущую боль в пищеводе и желудке.

Днем, беседуя с Пуквилем или с Давной, Давиль имел вид человека решительного и спокойного, с известным именем, званием и рангом, с ясной целью и определенными задачами, ради которых он приехал в эту заброшенную турецкую провинцию, как приехал бы в любое другое место на земле. Но по ночам Давиль видел себя одновременно и тем, кем он был сейчас, и кем был когда-то, и кем должен был стать. И человек, лежавший тут во мраке долгих февральских ночей, казался ему чужим, многоликим и мгновениями совсем незнакомым.

Ранним утром Давиля будили праздничные звуки барабана и зурны или топот детских ног над головой. Сознание возвращалось к нему не сразу. Он долго боролся между явью и сном, потому что во сне он продолжал свою прежнюю жизнь, а теперешняя представлялась ему сном, в котором он неожиданно для себя оказывался заброшенным в неведомую далекую страну и поставленным в небывалое положение.

Пробуждение казалось продолжением ночных снов, и Давиль медленно и с трудом переходил к странной реальности — своей консульской деятельности в далеком турецком городе Травнике.

Среди многообразия новых и необыкновенных впечатлений



Травницкая хроника

неудержимо возникали воспоминания о прошлом и переплетались с требованиями и заботами сегодняшнего дня. События его жизни быстро и беспорядочно проносились перед ним в каком-то новом освещении и необыкновенном соотношении.

Позади была сложная и беспокойная жизнь.

Жан-Батист-Этьен Давиль (Jean Baptiste-Etienne Daville) был ближе к сорока годам, нежели к тридцати, высокого роста, белокурый, с твердой походкой и твердым взглядом. Семнадцати лет он покинул свой родной город на северном берегу Франции и, как многие до него, приехал в Париж в поисках заработка и славы. После недолгих поисков и испытаний он вместе с миллионами других людей был увлечен революцией, с которой и связал свою судьбу. Тетрадь стихов и два-три смелых наброска исторических и социальных драм остались лежать на дне ящика; скромное место чиновника-практиканта было брошено. Жан Давиль стал журналистом. Он печатал стихи и литературные обозрения, но главная его работа была связана с Законодательной ассамблеей. В подробные отчеты об ассамблее он вкладывал все силы своей молодости и все вдохновение, на какое был способен. Но под жерновом революции все крошилось, менялось и исчезало мгновенно и без следа. Как бывает во сне, люди быстро и непосредственно переходили с одного поста на другой, от одной почести к другой, от позора к смерти, от унижения к славе, только для одних это происходило в одном направлении, а для других — в обратном.

В те исключительные времена и при обстоятельствах, о которых мы еще будем говорить, Давиль был попеременно и журналистом, и солдатом-добровольцем во время войны в Испании, и чиновником импровизированного министерства иностранных дел, побывал с миссией в Германии, потом в Италии,— при Цизальпинской республике и Мальтийском ордене. И вновь в качестве журналиста и литературного референта «Moniteur» работал в Париже. И вот теперь он генеральный консул в Травнике, где ему поручено основать консульство, подготовить почву для развития торговых отношений с Турцией, содействовать французским оккупационным властям в Далмации и следить за движением райи в Сербии и Боснии.

Так выглядел бы жизненный путь гостя в доме Баруха, если бы понадобилось изложить его в нескольких словах для краткого curriculum vitae [1].

Но сейчас в этой странной обстановке, неожиданно оказавшись в трехдневном затворничестве, Давиль сам должен был часто делать некоторое усилие, чтобы точно вспомнить, кто он и

[1] Жизнеописание *(лат.)*.

откуда, что случилось в его жизни и зачем он приехал сюда и безостановочно мерит шагами красный боснийский ковер.

Пока человек находится в своем кругу и в обычных условиях, факты его curriculum vitae и ему самому представляются важными и значительными этапами жизни. Но стоит нам только случайно, по делу или из-за болезни, вырваться из привычной среды, как те же самые факты начинают вдруг бледнеть и тускнеть, с поразительной быстротой засыхать и рассыпаться, как безжизненная маска из бумаги и лака, которой человек однажды воспользовался. И тогда из-под нее начинает проступать другая, только самим нам известная жизнь, «доподлинная» история нашей души и нашего тела, нигде не записанная, никем не подозреваемая, имеющая очень мало общего с нашими общепризнанными успехами, но которая по нашим критериям добра и зла является единственно важной и ценной.

Затерянный в этой дикой глуши, Давиль в тишине нескончаемых ночей оглядывался на свою прошлую жизнь как на длинный ряд лишь ему одному известных начинаний, разочарований, усилий, геройства, счастья, успехов, неудач, несчастий, противоречий, ненужных жертв и напрасных компромиссов.

Во мраке и тишине города, которого он еще и не видел как следует, но где его, несомненно, ждут заботы и трудности, казалось, что ничего в мире нельзя наладить и примирить. Давилю приходило в голову, что жизнь требует больших усилий, а каждое усилие — чрезвычайной смелости. В окружившем его мраке не видно было конца этим усилиям. Чтобы не остановиться и не пасть духом, человек сам себя обманывает — не завершив одного, принимается за другое дело, которое также оставляет незаконченным, и в новых начинаниях и новых усилиях старается почерпнуть свежие силы и мужество. Так человек обкрадывает самого себя и постепенно становится все большим и неоплатным должником самого себя и всего окружающего.

Но по мере приближения дня первого посещения визиря воспоминания и рассуждения все сильнее вытеснялись новыми впечатлениями и насущными заботами и делами. Давиль приходил в себя. Ощущения и воспоминания отодвигались в подсознание, откуда потом часто давали о себе знать, примешиваясь неожиданным и удивительным образом к повседневным событиям или необычайным впечатлениям новой жизни в Травнике.

Прошли наконец три долгих дня и три мучительные ночи. (В то утро Давиль с предчувствием, обычно не обманывающим измученных людей, подумал, что, быть может, это лучшие и самые спокойные дни, которые ему суждено провести в этой тесной долине.)

Итак, ранним утром он услышал под окном ржание приближающихся рысью лошадей. Подтянутый и торжественный, консул принял командира мамелюков, которого сопровождал Давпа. Все произошло по заранее установленному и разработанному церемониалу. Тут было двенадцать мамелюков из отряда, вывезенного Мехмед-пашой из Египта в качестве своей личной охраны, которым он особенно гордился. Их необыкновенно искусно закрученные тюрбаны из тонкой ткани — пить золота, нить шелка, их кривые сабли, картинно свисавшие по бокам коней, и широкие одежды вишневого цвета привлекали всеобщее внимание. Кони для Давиля и его свиты были с головы до ног покрыты попонами из тонкого сукна. Отряд был отличный и порядок образцовый. Давиль постарался как можно более непринужденно сесть на своего вороного копя, старого и смирного, с широким крупом. Консул был в парадной форме. Он широко распахнул темно-синий плащ, чтобы видны были позолоченные пуговицы, серебряное шитье и ордена. С красиво вскинутой головой, стройный, осанистый, он выглядел превосходно.

Пока они не завернули на главную улицу, все шло хорошо, и консул мог быть доволен. Но, как только процессия поравнялась с первыми турецкими домами, послышались подозрительные возгласы, хлопанье ворот и деревянных решеток на окнах. Какая-то девчонка, приоткрыв ворота, начала бормотать непонятные заклинания и часто-часто отплевываться. Так подряд отворялись ворота, поднимались решетки на окнах, и на мгновение высовывались лица, выражающие ненависть и фанатическое возбуждение. Женщины таращили глаза, плевались и заклинали, мальчишки ругались, сопровождая брань непристойными жестами и недвусмысленными угрозами, ударяя себя по заду или показывая рукой, как перерезают горло.

Улица была узкая, по обеим сторонам нависали балконы, так что процессия проезжала среди потока брани и угроз. Сначала консул, пораженный, перешел на шаг, но Давпа подъехал к нему ближе и, не меняя выражения лица, без единого жеста, взволнованным шепотом начал умолять его:

— Прошу ваше превосходительство спокойно продолжать путь, не обращая ни на что внимания. Это дикий народ — простолюдины; они ненавидят все иностранное и всех встречают одинаково. Самое лучшее — не обращать на них внимания. Так поступает и визирь. Таковы уж обычаи этих дикарей. Прошу ваше превосходительство продолжать путь.

Взволнованный и раздраженный, хотя он и старался это скрыть, консул ехал вперед, видя, что посланцы визиря действительно остаются ко всему равнодушными. Но он почувствовал, как

кровь бросилась ему в голову. Быстро неслись мысли, переплетались, сталкивались. Первой мыслью было, может ли он, представитель великого Наполеона, сносить все это и не должен ли сразу вернуться домой и учинить скандал. Но решить этот вопрос он не мог, так как одинаково боялся и умалить престиж Франции, и вызвать своей поспешностью столкновение, которое с первого же дня могло испортить его отношения с визирем и турками. Не находя в душе ни достаточной твердости, ни решимости, он испытывал унижение и досадовал на себя. Отвратителен и в то же время страшен был ему этот левантинец Давна, который за его спиной не переставал твердить:

— Прошу ваше превосходительство спокойно следовать дальше. И не обращать внимания на дикие обычаи и дикое поведение боснийцев. Пожалуйста, продолжайте путь.

Колеблясь, не зная, что предпринять, Давиль чувствовал, как у него горит лицо и как, несмотря на холод, под мышками мокро от пота. Настойчивый шепот Давны был ему неприятен, казался назойливым и мерзким. Он давал понять, во что должна превратиться жизнь человека, приехавшего с Запада на Восток и навеки связавшего с ним свою судьбу.

А между тем невидимые женщины продолжали плевать из окон прямо на коней и всадников. Консул снова приостановился, но опять, повинуясь просьбам Давны и увлекаемый спокойной рысью свиты, двинулся дальше. Улица привела на базарную площадь с низкими лавчонками. На широких порогах-прилавках сидели турки — продавцы и покупатели, курили или торговали. Было такое впечатление, словно человек из жаркого помещения попал на холод: внезапно исчезли яростные взгляды, угрожающие жесты, показывающие, как неверному рубят голову, плевки и заклинания женщин. Вместо всего этого — неподвижные, суровые лица по обе стороны улицы. Давиль видел их будто сквозь неприятную пелену, дрожавшую перед его глазами. Ни один человек не прекратил работы или курения, не поднял головы, чтобы хоть взглядом удостоить торжественную процессию,— явление столь необычное! А некоторые из торговцев даже отворачивались, делая вид, что ищут на полках товар. Только людям Востока свойственно так ненавидеть и презирать и так проявлять свою ненависть и презрение.

Давна замолк и снова отъехал на положенное расстояние; для Давиля это чудовищное безмолвное презрение базара было не менее мучительным и оскорбительным, чем недавние бурные выражения ненависти. Наконец они повернули направо, и перед ними возникло большое и красивое белое здание Конака с фасадом из сплошных окон, обнесенное высокой стеной. На душе стало легче.

О мучительном пути, оставшемся позади, у Давиля надолго сохранилось воспоминание, неизгладимое, как дурной и вещий сон. Сотни раз в течение года придется ему при подобных обстоятельствах проделывать этот путь, ибо, чтобы попасть на прием, а их устраивали часто, особенно в неспокойные времена, надо было проезжать через турецкие кварталы и базар. Необходимо было держаться на лошади прямо, не смотреть по сторонам, не слишком задирать голову, но и не утыкаться взглядом копю между ушей, не выглядеть ни рассеянным, ни озабоченным, не улыбаться и не хмуриться, а быть серьезным, собранным и спокойным. Приблизительно такой не совсем естественный вид бывает у полководцев на картинах, когда они вперяют взор вдаль, поверх поля битвы, куда-то между дорогой и линией горизонта, откуда должна появиться верная и точно рассчитанная помощь. Долго еще турчата будут, подражая старшим, высовываться из ворот и плевать коням под ноги мелкими, частыми плевками, словно колдуя. Турки-лавочники все так же станут отворачиваться, делая вид, будто ищут что-то на полках. Кланяться будут только те немногие евреи, которые случайно окажутся на дороге и не смогут избежать встречи. Бесчисленное количество раз придется проезжать верхом, сохраняя спокойствие и достоинство, внутренне содрогаясь от ужаса при всеобщем выражении ненависти и злобного равнодушия или при мысли о непредвиденной неприятности, которая ежеминутно может случиться. И при этом испытывая омерзение и к своей работе, и к такой жизни и судорожным усилием стараясь скрыть свой страх и свое отвращение.

Да и позднее, когда люди постепенно, с годами и событиями, привыкнут к присутствию иностранца и когда Давиль со многими познакомится и сблизится, первая торжественная поездка будет жить в его сознании как черный рубец от раскаленного железа, причиняющий боль, которая забывается и утихает очень медленно.

Торжественная процессия с грохотом миновала деревянный мост и очутилась перед огромными воротами. Послышалась беготня слуг, с шумом отодвинулись засовы, и ворота распахнулись настежь.

Так Жан Давиль ступил на подмостки, на которых ему предстояло почти восемь лет разыгрывать разные сцены всегда в одной и той же трудной и неблагодарной роли.

И несуразно широкие ворота еще много раз отворятся перед ним. И каждый раз ему будет казаться, что раскрывается огромная, отвратительная пасть, из которой несется зловоние от всего, что в этом большом Конаке живет, растет, поедается, испаряется и болеет. Он знал, что город и окрестности, которые должны были кормить визиря со всеми его приспыми, ежедневно поставляли в

Конак около семисот пятидесяти окк различных продуктов и что все это раздается, раскрадывается и поедается. Он знал, что, кроме визиря и его приближенных, в Конаке находятся одиннадцать сановников, тридцать два стражника и еще столько же, если не больше, бездельников и блюдолизов турок и христиан — подпщиков и служащих. Да сверх того бесчисленное множество лошадей, коров, собак, кошек, птиц и обезьян. И всюду ощущался тяжелый и тошнотворный запах масла и сала, от которого непривычного человека мутит. После каждого посещения визиря этот въедливый запах преследовал Давиля в течение целого дня, а одна мысль о нем вызывала тошноту. Казалось, весь Конак пропитан им, как церковь ладаном, и не только люди и одежда, но и все предметы и стены.

Теперь, когда таинственные ворота распахнулись перед ним впервые, отряд мамелюков нарушил строй и спешился, а Давиль с маленькой свитой въехал во двор. Первый узкий двор тонул в полумраке, так как над ним во всю ширь нависал верхний этаж дома. За первым двором находился другой — открытый, с колодцем, заросший по бокам травой и цветами. В глубине его за высокой глухой оградой находился сад визиря.

Все еще взволнованный тем, что довелось пережить, проезжая через город, Давиль теперь был смущен шумными проявлениями любезности и торжественным почтением, которыми его встретила в Конаке целая толпа ичогланов и сановников. Все они, толкаясь, суетились вокруг него с живостью и проворством, не свойственными западному церемониалу.

Первым приветствовал консула тефтедар (заместителя визиря — Сулейман-паши Скоплянина — не было в Травнике). За ним шли силахдар, чохадар, хазнадар, мухурдар, а сзади них толпились служащие неопределенных чинов и званий. Некоторые, склонив головы, бормотали непонятные слова приветствий, другие кланялись, раскинув руки, и вся эта масса людей направлялась к большому залу, где собирался диван. В толпе ловко и бесцеремонно пробирался высокий черный Давна, грубо расталкивая тех, кто преграждал ему путь, распоряжаясь и приказывая гораздо более громко и вызывающе, чем это требовалось. Давиль, очень взволнованный, но внешне спокойный и полный достоинства, казался самому себе похожим на святого с католических картин, которого сонм трепетных ангелов возносит на небо. Его и верно как бы внесли в этой давке по нескольким широким ступеням, которые вели со двора в помещение дивана.

Это был просторный полутемный зал на первом этаже. На полу ковры. Кругом диваны, покрытые сукном вишневого цвета. В углу возле окна — подушки для визиря и гостя. На стене вме-

сто картины эмблема султана — золотая монограмма на зеленой бумаге. Под ней сабля, два пистолета и красная порфира — дары Селима III своему любимцу Хусрефу Мехмед-паше.

Во втором этаже над этим залом находился другой такой же зал, хуже меблированный, но посветлее. Тут диван заседал только в летнее время. Две стены зала представляли собой сплошные окна; отсюда с одной стороны открывался вид на сады и крутые склоны с заповедниками, а с другой — на Лашву и базар за мостом. Это и были те «стеклянные окна», воспетые в сказках и песнях, подобных которым не было во всей Боснии; Мехмед-паша купил их на свои деньги в Австрии и вызвал специального мастера-немца, чтобы их врезать. Сквозь окна гость, сидя на подушке, мог видеть открытую веранду и на сосновой балке под крышей гнездо, откуда слышалось щебетание и торчала солома, и наблюдать, как быстро прилетает и улетает осторожная ласточка.

Приятно было посидеть у этих окон. Тут всегда было много света, зелени, цветов, дул легкий ветерок, слышался шум воды, щебетание птиц, был и покой для отдыха, и тишина для размышлений или переговоров. Тут же выносились или одобрялись многие тяжкие и страшные решения, но все, что здесь обсуждалось, выглядело как-то легче, яснее и человечнее, чем когда это делалось в нижнем зале.

Это единственные помещения во всем Конаке, с которыми Давиль познакомится за время своего пребывания в Травнике, две арены, на которых будут разыгрываться сцены его мучений и побед, успехов и поражений. Здесь, с годами, он узнает не только турок, в которых совмещаются исключительные силы и безмерные слабости, но и самого себя, размеры и границы своей власти, и вообще людей, жизнь, весь мир и человеческие взаимоотношения.

Первый прием происходил в нижнем зале, как обычно зимой. По спертому воздуху чувствовалось, что помещение было в первый раз за эту зиму открыто и натоплено ради сегодняшнего случая.

Как только консул переступил порог, на противоположной стороне зала открылась другая дверь и появился визирь в блестящем одеянии в сопровождении ичоглановъ, которые шли, слегка склонив голову и смиренно скрестив руки на груди.

Это было огромной уступкой в протоколе, которой Давиль добился во время трехдневных переговоров через Давну и с упоминания о которой он хотел начать свое первое донесение министру. Турки требовали, чтобы визирь принял консула сидя на подушке, как он принимал всех других посетителей. Консул же потребовал, чтобы визирь приветствовал его стоя. При этом консул

ссылался на мощь Франции и на военную славу своего государя, а турки — на свои традиции и границы своей империи. Наконец пришли к соглашению, что и консул и визирь войдут в зал одновременно, встретятся на середине, откуда визирь поведет консула на возвышение у окна, где оба одновременно сядут на две приготовленные подушки.

Так все и произошло. Визирь, хромавший на правую ногу (потому в народе его и прозвали Хромым пашой), шел очень быстро, как часто ходят хромые люди. Подойдя к консулу, он радушно пригласил его сесть; между ними, ступенькой ниже, поместился толмач Давна. Сидел он ссутулясь, потупившись, сложив руки на коленях, стараясь казаться ниже и мельче, чем был на самом деле, и проявить лишь столько ума и столько такта, сколько требовалось для того, чтобы два сановника могли сообщить друг другу свои мысли и пожелания. Толпа бесшумно исчезла. Остались только слуги, стоявшие неподалеку друг от друга, которые должны были их обслуживать. Во время разговора, длившегося больше часа, слуги, как безмолвные тени, передавая из рук в руки, подносили консулу и визирю все, что полагалось по ритуалу.

Прежде всего появились зажженные чубуки, потом кофе, потом шербет. Затем один из слуг, приползший на коленях, стал подносить к бороде визиря и к усам консула, словно кадя им, плоский сосуд с крепким благовонием. И опять кофе, и опять чубуки. Все это делалось весьма услужливо, ненавязчиво, быстро и ловко.

Для человека Востока визирь был необычайно живым, любезным и открытым. Давилю раньше говорили об этих чертах визиря, и, хотя сам он знал, что все это нельзя принимать за чистую монету, после пережитого унижения при проезде через город внимание и любезность хозяина ему понравились. Кровь, бросившаяся ему в голову, стала отливать. Слова визиря, аромат кофе и табака были приятны, действовали умиротворяюще, хоть и не могли начисто вытеснить тягостных впечатлений. В разговоре визирь не преминул упомянуть о дикости этой страны, о грубости и отсталости населения. Природа тут убогая, люди невыносимы. И что можно ожидать от женщин и детей, которых бог обидел разумом, когда и мужчины в этой стране своенравны и неотесанны. Поступки и слова простонародья не имеют значения и не могут повлиять на дела серьезных и просвещенных людей. «Собака лает, а караван продолжает путь»,— закончил визирь, очевидно поставленный в известность обо всем, что случилось во время проезда консула через город, и желавший сгладить и смягчить впечатление от этого происшествия. И сразу после неприятных мелочей он снова перевел разговор на значение грандиозных наполеоновских побед и важность результатов, которых две импе-

рии — турецкая и французская — могли бы достигнуть при тесном и мудром сотрудничестве.

Давилю были по сердцу эти слова, сказанные искренним и спокойным тоном, так как они служили как бы косвенным извинением за недавнее оскорбление и сглаживали пережитое им унижение. Немного успокоенный и повеселевший, он внимательно смотрел на визиря, вспоминая, что слышал о нем от Давны.

Хусреф Мехмед-паша, прозванный Хромым, был грузин. Ребенком его привезли в Стамбул как раба, и определили на службу к великому Кучуку Хусейн-паше. Здесь его заметил Селим III еще до своего вступления на престол. Храбрый, умный, хитрый, красноречивый, всецело преданный своим предводителям, этот грузин на тридцать первом году жизни стал визирем в Египте. Дело, правда, окончилось плохо, так как крупное восстание мамелюков вынудило Мехмед-пашу бежать из Египта, но все же он не впал в окончательную немилость; после кратковременного пребывания в Салониках он был назначен визирем в Боснию. Наказание было сравнительно легким, а Мехмед-паша еще и облегчил его, мудро сделав вид, что не считает это за наказание. Он вывез из Египта тридцать преданных мамелюков, с которыми любил заниматься военными упражнениями на травницком поле. Мамелюков хорошо кормили, они были прекрасно одеты и, вызывая всеобщее удивление, увеличивали престиж паши в глазах народа. Боснийские турки относились к ним с ненавистью и страхом, втайне восхищаясь ими.

Но еще большее восхищение вызывал конный завод визиря, невиданный в Боснии по количеству и ценности лошадей.

Визирь был молод, а выглядел моложе своих лет. Росту он был ниже среднего, но, благодаря своей манере держаться и, в особенности, своей улыбке, казался выше на целую пядь. Он хромал на правую ногу, но, как мог, скрывал этот недостаток искусным покроем платья и ловкими, быстрыми движениями. Стоя, он всегда умел найти такое положение, при котором недостаток оставался незаметным, и передвигался с остановками, но живо и быстро. Это особенно молодило его. В нем не было и следа той застывшей напыщенности османских турок, о которой Давиль столько слышал и читал. Цвет и покрой его одеяний были просты, но выбраны явно со вниманием. Есть люди, которые так умеют носить одежду и украшения, что придают им блеск и благородство. Красное, как у моряка, лицо визиря с короткой черной бородкой и блестящими черными, слегка косящими глазами было открытое и улыбающееся. Он относился к числу тех людей, которые постоянной улыбкой скрывают свое подлинное настроение, а оживленной словоохотливостью — свои мысли или отсутствие

таковых. О чем бы визирь ни говорил, всегда казалось, что он знает об этом больше, чем высказывает. И каждая его любезность, внимание или услуга воспринимались лишь как предисловие к тому, что от него можно было ожидать. И даже человек, заранее осведомленный и предупрежденный, не мог отделаться от впечатления, что видит перед собой личность благородную и умную, которая не только на словах, но и на деле любит делать добрые дела, хотя в то же время еще не нашлось столь пронцательного ума, который смог бы определить границы этих обещаний и подлинную меру этих добрых дел.

Разговор визиря с консулом вращался вокруг предметов, которые, как они знали, являлись тайной слабостью или излюбленной темой собеседника. Визирь постоянно возвращался к исключительной личности Наполеона и к его победам, а консул, узнавший от Давны о пристрастии визиря к морю и флоту, говорил о вещах, связанных с плаванием и морскими сражениями. И действительно, визирь страстно любил море и жизнь на море. Помимо скрытой раны из-за своей неудачи в Египте, он больше всего страдал от разлуки с морем, оттого, что заперт в этих холодных и диких горных краях. В тайниках души визирь лелеял мечту стать наследником своего великого покровителя Кучука Хусейн-паши и в качестве адмирала продолжить его планы и замыслы по созданию турецкого морского флота.

После примерно полуторачасовой беседы консул и визирь расстались как добрые знакомые, оба в одинаковой уверенности, что смогут многое получить один от другого; каждый остался доволен своим собеседником и самим собой.

При отъезде поднялась еще большая суматоха. Принесли поистине драгоценные пелерины из куньего меха для консула и суконные на лисьем меху для свиты. Кто-то громко читал молитвы и призывал благословение на гостя султана, остальные вторили ему хором. Высшие чиновники проводили Давиля до середины внутреннего двора, до бинекташа. Все шли, расставив руки, словно несли его. Давиль сел на коня. Поверх плаща ему накинули куньюю пелерину — подарок визиря. Снаружи ожидали конные мамелюки. Процессия тронулась обратно той же дорогой.

Даже в мехах Давиля пробирала дрожь при мысли, что он опять должен будет проехать между потертыми низкими прилавками и поднятыми оконными решетками, провожаемый бранью и презрением толпы. Но, как оказалось, его первым шагам в Травнике суждено было сопровождаться неожиданностями, и даже приятными. Правда, турки в своих лавках держались все так же хмуро, неподвижно и нарочно опускали глаза, но из домов на этот раз не доносилось ни брани, ни угроз. Давиль ехал, весь

сжавшись, чувствуя, что из-за деревянных решеток за ним следят многочисленные враждебные и любопытные взгляды, но ни выкриков, ни злобной жестикуляции не было. Ему приходило даже в голову, что его защищает от толпы подарок визиря, и он невольно закутывался плотнее, выпрямляясь в седле, и так, с высоко поднятой головой, подъехал к обнесенному стеной двору Баруха.

Оставшись наконец один в теплой комнате, Давиль опустился на скамью, расстегнул мундир и глубоко вздохнул. Он чувствовал себя разбитым и усталым от пережитых волнений. В душе была пустота, отупение и растерянность, словно его сбросили с большой высоты на эту жесткую скамью и он не может прийти в себя и понять, где находится. Давиль был наконец свободен, но не знал, что делать со свободным временем. Хотел отдохнуть и выспаться, но взгляд его упал на пелерину, только что полученную от визиря, и сразу появилась острая и мучительная мысль о необходимости написать подробное донесение министру в Париж и послу в Стамбул. Значит, все надо заново пережить и представить дело так, чтобы было недалеко от истины, но в то же время не умаляло его достоинства. И эта задача стояла перед ним как неприступная гора, через которую обязательно надо перебраться. Консул прикрыл глаза ладонью правой руки. Еще несколько раз глубоко вздохнул, произнеся вполголоса:

— О, боже милостивый, боже милостивый!

И так и остался сидеть, откинувшись на скамье. Это для него было и сном и отдыхом.

III

Как случается с героями в восточных сказках, и Давилю наиболее трудные препятствия встретились в самом начале. Все налетело разом, словно для того, чтобы испугать его и воротить с пути.

Все, с чем он сталкивался в Боснии, получал из министерства, посольства в Стамбуле и от коменданта в Сплите, противоречило тому, что ему говорили при отъезде из Парижа.

Через несколько недель Давиль покинул дом Баруха и переселился в помещение, приготовленное для консульства. Он привел в порядок и обставил, как мог и умел, две-три комнаты и жил один с прислугой в огромном пустом доме.

Жену он принужден был оставить в Сплите в одной французской семье. Госпожа Давиль ждала третьего ребенка, и он не решился везти ее в таком положении в неизвестный турецкий город. После родов жена поправлялась очень медленно, и приходилось все время откладывать ее отъезд из Сплита.

Давиль привык к семейной жизни и впервые расстался с женой, а при теперешних обстоятельствах эта разлука была для него особенно тяжкой. Одиночество, беспорядок в доме, беспокойство о жене и детях с каждым днем мучили его все сильнее. Господин Пуквиль после нескольких дней пребывания в Травнике продолжил свой путь на Восток.

Да и вообще Давиль чувствовал себя забытым и предоставленным самому себе. Все средства для работы и борьбы — и те, что были ему обещаны перед отъездом в Боснию, и те, которых он просил позднее,— были либо недостаточны, либо не поступали вовсе.

Сотрудников у консула не было, и он вынужден был сам писать, переписывать и выполнять всю канцелярскую работу. Так как он не знал ни языка, ни страны, ни условий жизни, ему пришлось взять на службу Давну в качестве переводчика. Визирь великодушно уступил ему своего врача, а Давна был в восторге, что представился случай попасть на французскую службу. Давиль, относившийся к Давне с большим недоверием и скрытым отвращением, решил, что будет поручать ему лишь такие дела, в которые можно посвящать и визиря. Но вскоре он понял, насколько этот человек ему необходим и действительно полезен. Давна сразу подыскал двух надежных телохранителей — албанца и герцеговинца, занялся прислугой и заменил консула во многих мелких, но неприятных делах. Работая с ним ежедневно и наблюдая за ним, Давиль все лучше узнавал его.

С ранней молодости живя на Востоке, Давна перенял много черт и привычек левантинцев. А левантинец — это человек без иллюзий и угрызений совести; не имея собственного лица, он меняет маски, принужденный разыгрывать то снисхождение, то смелость, то приниженность, то энтузиазм. Все это необходимо ему для успеха в жизненной борьбе, которая на Ближнем Востоке труднее и сложнее, чем где-либо. Чужеземец, включившийся в эту неравную и тяжелую борьбу, погружается в нее целиком и теряет свое подлинное лицо. Даже прожив всю свою жизнь на Востоке, он узнает его не до конца, а лишь с одной стороны — с точки зрения пользы или вреда той борьбы, на которую он обречен. Иностранцы, которые, подобно Давне, остаются жить на Востоке, в большинстве случаев перенимают от турок плохие, низменные черты их характера, не будучи в состоянии разглядеть и усвоить хоть что-то из их хороших, возвышенных особенностей и навыков.

Давна, о котором нам придется еще говорить, во многом был именно таким человеком. Большой сластолюбец в молодости, общаясь с османскими турками, он в этом отношении не научился ничему хорошему. А люди такого склада, безоглядно прожигаю-

щие жизнь, становятся напоследок мрачными, неприятными, в тягость и себе и окружающим. Беспредельно, до подлости покоряясь силе, власти и богатству, Давна был дерзок, груб и беспощаден по отношению к тем, кто был беднее и ниже его.

Но одно спасало этого человека и возвышало над его жизнью. У него был сын, красивый и умный мальчик. Давна самоотверженно заботился о его здоровье и воспитании, делал для него и готов был сделать все, что только возможно. Сильное чувство отцовской любви постепенно освобождало его от собственных пороков и делало лучше и человечнее. И, по мере того как мальчик рос, жизнь Давны становилась все чище. Каждый раз, делая добро или избегая подлости, он суеверно думал: «За это мальчику воздастся». Как часто бывает в жизни, беспутный отец мечтал, чтобы сын жил честно и благородно. И ради осуществления этой мечты он готов был сделать что угодно и принести любую жертву.

Ребенок, росший без матери, был окружен такой заботой и вниманием, какие редко выпадают на долю детей; он рос возле отца, как молодое деревце, привязанное к сухому, но крепкому колу. А мальчик был красив, похож на отца, но с более мягкими и тонкими чертами лица; здоровый телом и душой, он не выказывал ни дурных наклонностей, ни тяжелой наследственности.

У Давны было одно сокровенное желание, одна высшая цель: избавить сына от необходимости жить на Востоке и, подобно отцу, прислуживать кому попало, определить его сначала во французскую школу, а потом и на французскую службу.

Это и заставляло его верой и правдой служить в консульстве, и на этом основывалось доверие к его действительной и неизменной преданности.

Нового консула мучили также денежные заботы и затруднения. Деньги поступали медленно и неаккуратно, потери при обмене были неожиданны и ощутительны. Средства на одобренные расходы запаздывали, а новые требования не удовлетворяли. Вместо этого приходили непонятные и язвительные распоряжения из главного казначейства, какие-то бессмысленные циркуляры, казавшиеся одинокому и покинутому Давилю настоящим издевательством. В одном, например, консулу строго приказывалось ограничить свои знакомства с иностранными консулами, а на приемах иностранных послов и посланников появляться только с разрешения своего посла или посланника. Другой циркуляр давал указания, как надо праздновать день рождения Наполеона — пятнадцатое августа. «Расходы по найму оркестра и украшению зала по случаю бала, который должен быть дан, возлагаются на самого консула». Читая этот приказ, Давиль горько усмехнулся. Он ясно представил себе травницких музыкантов—трех оборванных цыган,

двоих с барабанами, третьего с зурной, терзавших во время рамазана и байрама уши европейцу, принужденному тут проживать. Вспомнил и первое празднование дня рождения императора,— вернее, свою печальную попытку устроить такое празднество.

Несколько дней он тщетно старался через Давну пригласить на торжество кого-нибудь из видных турок. Из Конака не пришли даже те, кто обещал прийти. Монахи-католики со своей паствой прислали вежливый, но твердый отказ. Иеромонах Пахомий не ответил ни да ни нет, но и не явился. Отозвались только евреи. Их пришло четырнадцать человек; некоторые вопреки травницким обычаям даже со своими женами.

В то время госпожи Давиль еще не было в Травнике. Давиль в парадной форме разыгрывал в присутствии Давны и телохранителей роль любезного хозяина, предлагал яства и шипучее вино, полученное из Сплита. Он произнес краткую речь в честь своего государя. Не преминул польстить туркам, назвав Травник значительным городом, рассчитывая при этом, что, по крайней мере, двое из присутствующих евреев состоят на службе у визиря и обо всем ему доложат, а все вместе разнесут по Травнику сказанное консулом. Еврейки, сидевшие на диванах, скрестив руки на животе, слушали речь консула, моргая глазами и склоняя голову то к левому, то к правому плечу. Мужчины же смотрели прямо перед собой, что должно было означать: «Все это так и иначе быть не может, но мы не сказали ни слова».

Искристое вино всех слегка разогрело. Давна, не терпевшая травницких евреев и с отвращением переводившая их заявления, едва поспевал удовлетворять всех, потому что теперь каждый хотел высказаться перед консулом. Заговорили и по-испански, и тут у женщин сразу развязались языки, а Давиль мучительно старался вспомнить сотню испанских слов, выученных им, когда он воевал в Испании. Потом молодежь начала напевать. Неловко было, что никто не знал ни одной французской песенки, а турецкие петь не хотелось. Наконец Мазалта, сноха Бенциона, спела испанский романс, тяжело дыша от волнения и преждевременной полноты. Ее свекровь, сердечная, живая женщина, так развеселилась от шипучего вина, что, сидя на диване, стала хлопать в ладоши, покачиваясь в такт и беспрестанно поправляя головной убор, то и дело съезжавший набок.

Безобидное веселье этих добродушных и простых людей оказалось единственным, чем можно было прославить в Травнике величайшего владыку мира. Консул был и тронут и огорчен.

Давиль старался не вспоминать об этом. Сообщая по долгу службы в министерство, как прошел в Травнике день рождения императора, он испытывал стыд и нарочито туманно написал, что

этот великий день был отпразднован «согласно особым условиям и обычаям страны». И теперь, читая запоздалый и неуместный циркуляр о балах, оркестре и украшениях, он снова почувствовал стыд и горечь, ему хотелось и плакать и смеяться.

Постоянные трудности и заботы были связаны с офицерами и солдатами, проезжавшими через Боснию из Далмации в Стамбул.

Между турецким правительством и французским послом в Стамбуле существовало соглашение, в силу которого французская армия должна была поставлять туркам известное количество офицеров, инструкторов и специалистов — артиллеристов и саперов. Когда английский флот прорвался через Дарданеллы и стал угрожать Стамбулу, султан Селим с помощью французского посла генерала Себастиани и небольшой группы французских офицеров начал готовиться к защите столицы. От французского правительства срочно запросили известное число офицеров и солдат. Генерал Мармон получил из Парижа приказ немедленно переправлять их небольшими партиями через Боснию. Давилю же было предложено обеспечивать им проезд, доставать лошадей и проводников. И тут он мог убедиться, что представляло собой в действительности соглашение, заключенное с турецким правительством в Стамбуле. Бумаги, необходимые для проезда иностранных офицеров, запаздывали. Офицерам приходилось дожидаться их в Травнике. Консул подталкивал дело у визиря, а визирь, в свою очередь, в Стамбуле. Но даже если решение на проезд приходило и своевременно, это еще не означало, что все было в порядке, так как возникали неожиданные осложнения, и офицеры принуждены были прерывать путь и бить баклуши в боснийских городках.

Боснийские турки относились к присутствию французской армии в Далмации с подозрением и ненавистью. Австрийские агенты распространили весть, что генерал Мармон строит дорогу через всю Далмацию с целью захвата Боснии, а появление французских офицеров в Травнике как бы подтверждало эти ложные слухи, расползшиеся по городу. И французских офицеров, прибывавших по просьбе турецкого правительства в качестве союзников, уже в Ливно население встречало бранными выкриками, и чем глубже они проникали в страну, тем отношение к ним становилось хуже.

Бывало, что у Давиля в Травнике скапливалось по нескольку десятков офицеров и солдат, которые не могли двинуться ни вперед, ни назад.

Тщетно визирь созывал айянов, грозил и требовал, чтобы так не поступали с друзьями, приезжавшими по желанию и с ведома Блистательной Порты. На словах все бывало прекрасно улажено.

Старейшины давали обещание визирю, визирь консулу, консул — офицерам, что враждебные выпады со стороны населения прекратятся. Но стоило на другой день офицерам тронуться в путь, как в первом же местечке им устраивали такую встречу, что они, раздосадованные, возвращались в Травник.

Напрасно Давиль уведомлял о настроении местных турок и беспомощности визиря обуздать их, предписать или приказать им что бы то ни было. Стамбул продолжал требовать, Париж — приказывать, а Сплит — выполнять приказания. В Травнике опять вдруг появлялись офицеры и здесь в негодовании ждали новых распоряжений. Все шло глупо и бессмысленно, и все сваливалось на голову консула.

Тщетно французские власти в Далмации печатали дружественные прокламации для турецкого населения. Прокламации, написанные на изысканно-литературном турецком языке, никто не хотел читать, а кто читал, тот ничего не понимал. Ничто не в состоянии было побороть врожденное недоверие мусульманского населения, не желавшего ни читать, ни слушать, ни смотреть и следовавшего лишь своему глубокому инстинкту самосохранения и ненависти к чужестранцу и неверному, который подступал к границам и уже начинал проникать в страну.

Приказы относительно присылки офицеров в Турцию прекратились только тогда, когда в Стамбуле произошел майский переворот. Новые приказы перестали поступать, но старые продолжали слепо и механически выполняться. И долго еще, во исполнение устаревшего приказа, в Травник вдруг приезжали два-три французских офицера, хотя теперь это было бесцельно и бессмысленно.

Но если, с одной стороны, события в Стамбуле облегчили положение консула, то, с другой стороны, они были чреваты еще большими неприятностями.

Давиль чувствовал, что помощь и поддержку он мог получить только от Хусрефа Мехмед-паши. Консул уже неоднократно имел возможность убедиться, насколько простирается действительная власть визиря и его влияние на боснийских бегов. Многие обещания так и оставались обещаниями, многие приказы визиря не выполнялись, хотя сам он делал вид, что не замечает этого. Но добрая воля визиря была вне всякого сомнения. Он желал — как по внутренней склонности, так и из расчета,— чтобы его принимали за друга французов, и стремился доказать это на деле. Кроме того, счастливый характер Мехмед-паши, его несокрушимый оптимизм, легкость, с какой он разрешал разные вопросы и переносил всяческие невзгоды, сами по себе действовали на Давиля успокаивающе и помогали ему переносить мелкие и крупные неприятности его новой жизни.

А последние события грозили отнять и эту единственную прочную опору и утешение.

В мае того же года в Стамбуле произошел государственный переворот. Просвещенный султан-реформатор Селим III был свергнут своими фанатичными врагами и заточен в серале, а на его место посажен султан Мустафа. Французское влияние в Стамбуле ослабло, и, что было хуже всего для Давиля, положение Хусрефа Мехмед-паши пошатнулось; с падением Селима III он лишился поддержки в Стамбуле, а как друга французов и сторонника реформ его ненавидели в Боснии.

Конечно, на людях визирь продолжал улыбаться своей широкой улыбкой моряка и не терял восточного оптимизма, корни которого лежали лишь в нем самом, но это никого не могло обмануть. Травницкие турки, которые все без исключения были противниками реформ Селима III и врагами Мехмед-паши, уверяли, что «паша висит на волоске». В Конаке водворилась тревожная тишина. Каждый старался незаметно приготовиться к отъезду, который мог произойти в любой момент. И каждый, погруженный в свои личные заботы, молча глядел перед собой отсутствующим взором. Да и сам визирь, разговаривая с Давилем, казался рассеянным, любезностью и громкими словами он старался скрыть свое бессилие помочь кому бы то ни было и в чем бы то ни было.

Приезжали специальные курьеры, и визирь посылал своих гонцов в Стамбул с секретными поручениями и подарками друзьям, которые еще там оставались. Давна разузнавал подробности и уверял, что визирь, в сущности, борется столько же за свою голову, сколько и за свое положение при новом султане. Прекрасно понимая, что означала бы для дела и для него самого потеря теперешнего визиря, Давиль с самого начала посылал и генералу Мармону и послу в Стамбуле срочные донесения, убеждая употребить все свое влияние в Порте для того, чтобы Мехмед-паша невзирая на политические перемены остался в Боснии, ибо так же поступают русские и австрийцы, защищая своих друзей, и по результатам подобных действий здесь расценивают силу и влияние христианских государств.

Боснийские турки ликовали.

«Свергли султана-гяура,— говорили ходжи, сидя у лавок,— пришла пора стереть всю грязь, налипшую за последние годы на чистой вере и турецкой жизни. Хромой визирь уедет и увезет с собой своего приятеля консула так же, как он его и привез». Толпа повторяла эти слова и распалялась все больше. Задирали прислугу консула, устраивали на нее нападения. Вслед Давне на улице неслись шутки и брань; к нему приставали с расспросами, готовится ли консул к отъезду, а если нет, то чего он ждет? А драгоман,

длинный и черный, презрительно смотрел с высоты своей пегой кобылы и разъяснял дерзко, но обдуманно: они сами не знают, что говорят; слухи распустил какой-нибудь дурак, которому боснийская ракия ударила в голову; новый султан и французский император — большие друзья, и из Стамбула пришло приказание продолжать считать французского консула в Травнике «девлет-мусафиром» — гостем государства, а если с ним что случится, то вся Босния будет сожжена, не пощадят даже детей в колыбели. Давна постоянно твердил консулу, что именно теперь надо действовать смело, ни с чем не считаясь, ибо только так можно было повлиять на дикарей, нападающих на того, кто отступает.

В таком же духе действовал и визирь. Отряд мамелюков продолжал ежедневные военные занятия на поле у Турбета, и жители с ненавистью, но и со страхом смотрели на этих богатырей всадников в блестящем и тяжелом вооружении, разодетых и разукрашенных, как сваты. Визирь выезжал вместе с ними, наблюдал за занятиями, сам принимал участие в стрельбе по мишеням, словно у него не было никаких забот, словно он не помышлял ни об отъезде, ни о смерти, а готовился к борьбе.

Обе стороны — и местные турки, и визирь — ожидали решения нового султана и вестей из Стамбула о результатах происходившей там борьбы.

В середине лета прибыл специальный посланец, капиджи-баша султана, со свитой. Мехмед-паша устроил ему необычайно торжественный прием. Отряд мамелюков в полном составе, все сановники и ичогланы вышли ему навстречу. С крепости палили пушки. Мехмед-паша ожидал посланца перед Конаком. По городу мгновенно разнеслась весть, что визирю удалось все же снискать милость нового султана и остаться в Травнике. Турки не хотели верить этому и доказывали, что капиджи-баша вернется в Стамбул с головой Мехмед-паши в мешке. Но вести оказались правильными. Посланец привез фирман султана, подтверждающий, что Мехмед-паша остается в Травнике, и одновременно торжественно вручил визирю драгоценную саблю, подарок нового султана, с приказом весной выступить с сильным войском против Сербии.

Это радостное событие было омрачено странным и неожиданным образом.

На следующий день по приезде капиджи-баши, в пятницу, Давилю был заранее назначен прием у визиря. Мехмед-паша не только не отменил его, но принял консула в присутствии капиджи-баши, представив его как старого друга и доброго вестника милостей султана. И тут же показал подаренную султаном саблю.

Капиджи-баша, уверявший консула, что он, подобно Мехмед-паше, искренний поклонник Наполеона, был высокого роста, по-

видимому метис ярко выраженного негритянского типа. Его желтая кожа имела сероватый оттенок, губы и ногти были темно-синие, а белки глаз грязновато-мутные.

Капиджи-баша много и возбужденно говорил о своих симпатиях к Франции и ненависти к России. В уголках его толстых выпуклых губ скапливалась пена. Глядя на него, Давиль желал в душе, чтобы он сделал передышку и вытерся, но капиджи-баша продолжал говорить как в лихорадке. Давна, переводя, едва успевал за ним. Капиджи-баша с еще не утихшей ненавистью рассказывал о том, как воевал против России, о совершенном им подвиге под Очаковом, где он был ранен. Неожиданно быстрым движением он завернул узкий рукав антерии и показал широкий шрам ниже локтя — след, оставленный русской саблей. Тонкая, но сильная рука чернокожего заметно дрожала.

Мехмед-паша наслаждался сердечным разговором своих друзей и смеялся больше обыкновенного, словно не мог скрыть, как он счастлив, обласканный милостями султана.

В этот день прием необычно затянулся. На обратном пути Давиль спросил Давну:

— Как вы находите этого капиджи-башу?

Обычно на подобные вопросы Давна охотно выкладывал все, что успевал узнать. Но на сей раз он был удивительно краток.

— Этот человек тяжко болен, господин генеральный консул.

— Да, странный гость.

— Очень, очень больной человек,— шептал Давна, глядя перед собой, и больше ни о чем не распространялся.

Через день Давна явился к консулу раньше положенного часа. Давиль принял его в столовой, где заканчивал завтрак.

Было летнее воскресное утро, одно из тех, которые своей свежестью и прелестью будто хотят вознаградить за холод и мрак осенних и зимних дней. Многочисленные незримые ручейки наполняли воздух прохладой, журчанием и голубым сиянием. Давиль хорошо выспался, отдохнул и был в отличном настроении, довольный приятными вестями, согласно которым Мехмед-паша оставался в Травнике. Перед ним были остатки завтрака, и он вытирал рот жестом здорового человека, только что утолившего голод, когда вошел Давна, черный и бледный как всегда, сжав губы и стиснув челюсти.

Понизив голос, Давна объявил, что капиджи-баша этой ночью умер.

Давиль резко поднялся, оттолкнув столик с завтраком, а Давна, не двигаясь с места и не меняя позы, на все взволнованные вопросы консула отвечал так же тихо, кратко и не очень ясно.

Вчера к вечеру капиджи-баша, которому последнее время

нездоровилось, почувствовал себя плохо. Он принял горячую ванну и лег спать, а ночью внезапно умер, настолько внезапно, что ему не смогли оказать какую-либо помощь. Хоронят его сегодня утром. Все, что удастся еще узнать об этой кончине и о впечатлении, какое она произведет в городе, Давна сообщит позднее.

Больше из него ничего нельзя было извлечь. На вопрос Давиля, надо ли что-то предпринять, дабы выразить соболезнование и тому подобное, Давна ответил, что в соответствии со здешними обычаями предпринимать ничего не следует. Смерть здесь игнорируется, и все, что с ней связано, совершается быстро, без лишних слов и церемоний.

Оставшись наедине, Давиль почувствовал, что так радостно начавшийся для него день вдруг омрачился. Он непрестанно размышлял об этом высоком, отталкивающего вида человеке, который совсем недавно с ним разговаривал, а теперь был мертв. Думал он и о визире, о том, какую неприятность, должно быть, причинила ему смерть сановника у него в доме. Бледное, скорбное лицо Давны неотступно стояло у него перед глазами, поражала его холодность, молчаливость; он поклонился и вышел таким же мрачным и холодным, каким вошел.

По совету Давны, консул ничего не предпринял, но думы о смерти в Конаке не покидали его.

Давна появился снова только на другой день утром; на этот раз, отойдя к оконной нише, он шепотом разъяснил перепуганному консулу истинный смысл миссии капиджи-баши и причину его смерти.

На самом деле капиджи-баша привез визирю смертный приговор. Султанский же фирман, утверждавший его на теперешнем месте, как и почетная сабля, служили лишь прикрытием, чтобы успокоить визиря и отвлечь внимание людей. Усыпив таким образом бдительность визиря, капиджи-баша должен был в момент своего отъезда из Травника показать другой фирман, осуждающий визиря, как и всех прямых и косвенных сторонников бывшего султана, на смерть, и дать приказ одному из сопровождавших его лиц прирезать Мехмед-пашу прежде, чем кто-либо из его людей подоспеет на помощь. Но хитрый визирь, предвидя такую возможность, окружил капиджи-башу вниманием и почетом. Притворяясь, что верит его словам и в восторге от милости султана, он немедленно подкупил его свиту. Потом показал ему город и познакомил с французским консулом. На другой день было устроено великолепное пиршество на лугу, по дороге к Турбету. После хорошего угощения и острых блюд у капиджи-баши, когда он вернулся в Конак, начался сильный жар от «студеной боснийской воды». Визирь предложил гостю воспользоваться его замечательной баней. Пока

капиджи-баша парился на горячих каменных плитах, обильно потея и поджидая массажиста, которого Мехмед-паша особенно ему расхваливал, ловкие люди визиря вспороли подкладку его пелерины, где, по словам подкупленного чиновника, был спрятан смертный приговор. Его нашли и передали визирю. Когда же капиджи-баша, усталый и распарившийся, вышел из бани, он вдруг почувствовал мучительную, жгучую жажду, которую никакое питье не могло утолить. И чем больше он пил, тем сильнее отравлялся. В сумерки он упал, стеная, словно у него горели и рот и внутренности, а потом застыл и смолк. Убедившись, что он лишился дара слова и парализован, что он не может подать ни голоса, ни знака, из Конака разослали во все стороны за врачами и ходжами. Первые явились слишком поздно, вторые, как известно, никогда не опаздывают.

Капиджи-баша лежал на низких подушках посреди комнаты, синий, цвета индиго, и неподвижный, как дохлая рыба. Только веки его слегка вздрагивали; время от времени он с трудом приподнимал их, вращал глазами и страшным взглядом окидывал комнату, ища, по-видимому, свою пелерину или кого-то из приближенных. И эти огромные потускневшие глаза обманутого и убитого человека, который сам приехал с целью обманным путем убить другого, были единственным отражением угасающей жизни; только по ним можно было прочесть то, чего ни сказать, ни выразить он уже не мог. Вокруг него на цыпочках ходили слуги визиря, оказывая всяческое внимание, и, обуреваемые суеверным страхом, переговаривались между собой знаками и отрывочным шепотом. Никто не заметил точно момента его смерти.

Визирь вел себя как безутешный хозяин. Внезапная смерть старого друга омрачила радость от полученных добрых вестей и великих почестей. Его белые зубы уже не сверкали из-под густых черных усов. Визирь изменился, перестал улыбаться и разговаривал со всеми отрывисто, взволнованным голосом, с затаенной скорбью. Он призвал каймакама Ресим-бега, болезненного и преждевременно состарившегося человека из старинного травницкого рода, и попросил помочь ему в эти дни, хотя прекрасно знал, что тот и со своими делами не в силах справиться. И принялся горько жаловаться.

— Слыханное ли это дело, чтобы человек, совершивший столь далекий путь, умер на моих глазах. Если уж нельзя было этого избежать, так я предпочел бы, кажется, потерять родного брата,— сетовал визирь с видом человека, который при всей своей сдержанности не в состоянии скрыть тяжких мук.

— Что делать, паша? Знаешь, как говорится: все мы мертвы, только хоронят нас по очереди,— утешал его каймакам.

Фирман, согласно которому Мехмед-пашу следовало обезглавить и похоронить, снова осторожно зашили на прежнее место в подкладку. Капиджи-башу утром похоронят на одном из лучших травницких кладбищ. А вся его свита, подкупленная и щедро одаренная, сегодня же отправится в обратный путь в Стамбул.

Так закончил Давна свой доклад о последних событиях в Копаке.

Давиль был потрясен и от изумления не мог выговорить ни слова. Все это походило на какую-то фантастическую сказку, и он несколько раз пытался прервать переводчика. Поступок визиря казался ему не только ужасным и злодейским, но опасным и нелогичным. Консул расхаживал по комнате, содрогаясь от ужаса, и всматривался в лицо Давны, словно желая узнать, серьезно ли это говорится и в своем ли он уме.

— Что? Что? Возможно ли это? Как же так? И как он решился? Ведь все станет известно! И, в конце концов, чем это ему поможет?

— Поможет. По-видимому, поможет,— спокойно ответил Давна.

И он объяснил консулу, прекратившему ходьбу по комнате, что расчет визиря не столь ошибочен, как представляется на первый взгляд, хотя и очень смел.

Во-первых, визирь избежал непосредственной опасности и сделал это весьма ловко, обманув своих врагов и перехитрив капиджи-башу. Люди будут что-то подозревать и сплетничать, но никто не сможет сказать, а тем более доказать что-нибудь определенное. Во-вторых, капиджи-баша открыто принес визирю радостные вести и великие почести, и потому визирь был последним человеком, который мог желать ему смерти. И те, кто послал капиджи-башу с такой двойной миссией, не посмеют, во всяком случае в первое время, принять меры против визиря, так как этим они признали бы, что таили злостные намерения, но потерпели неудачу. В-третьих, капиджи-баша — метис, был на плохом счету, всеми презираем, настоящих друзей не имел, для него предать и оклеветать любого — раз плюнуть; этого человека не ценили даже те, кто пользовался его услугами. А потому смерть его мало кого удивит, а еще менее огорчит и вызовет месть. Об этом постарается и его подкупленная свита. И, в-четвертых, самое главное, в Стамбуле сейчас царит полная анархия, и друзья Мехмед-паши, которым он за несколько дней до неожиданного прибытия капиджи-баши послал «все, что нужно», получат это как раз вовремя, чтобы довести до конца пущенную «контрмину» и спасти визиря перед лицом нового султана, а если возможно, то и утвердить его на теперешнем месте.

Давиль слушал спокойный рассказ Давны, похолодев от волнения. Не находя слов для возражений, он только бормотал:

— Но как же так, как же так!

Давна не считал нужным и дальше убеждать консула, добавив только, что в городе все спокойно и весть о внезапной смерти капиджи-баши не произвела особого волнения, хотя и вызвала много разговоров.

Лишь оставшись один, Давиль вполне осознал весь ужас услышанного. И тревога его с каждым часом возрастала. У него пропал аппетит, он не находил себе места. Не раз он готов был позвать Давну и задать какой-нибудь вопрос, лишь бы удостовериться, что рассказанное им — сущая правда. Давиль стал раздумывать, надо ли писать об этом донесение и в каком роде. Он сел за стол и начал: «В Конаке визиря вчера вечером разыгралось...» Нет, бесцветно и безвкусно. «События последних дней все яснее доказывают, что Мехмед-паша, пустив в ход способы и средства, обычные в здешних краях, сумеет сохранить свое положение и при новых обстоятельствах, а потому мы можем рассчитывать, что этот расположенный к нам визирь...» Нет, нет. Это сухо и неясно. Наконец он понял, что лучше всего преподнести и описать события так, как они выглядят со стороны: из Стамбула прибыл капиджи-баша и привез фирман, сохранявший визирю занимаемое им место, а также вручил ему саблю в знак милости султана и ввиду предстоящего похода на Сербию; в конце подчеркнуть, что это событие может способствовать дальнейшему развитию французского влияния в здешних краях, и между прочим добавить, что капиджи-баша скоропостижно скончался в Травнике во время выполнения своей миссии.

Переделка и перекройка официального донесения немного успокоила Давиля. Злодеяние, совершенное здесь вчера, почти у него на глазах, став темой для размышлений и доклада, вдруг перестало казаться таким ужасным и отвратительным. И консул напрасно старался вновь найти в себе волнение и страх, обуявшие его сегодня утром.

Он сел и написал донесение, где происшествие было представлено так, как о нем стало известно всем. Переписывая его набело, он еще больше успокоился и даже остался доволен собой: его донесение покоится на больших и важных тайнах, умно обойденных молчанием.

Так его застали летние сумерки, полные покоя и игры светотеней на крутых холмах. Консул, успокоившись, стоял у открытого окна. Кто-то за его спиной вошел в комнату с горящим фитилем и начал зажигать свечи на столе. И в этот момент Давилю вдруг пришло в голову: кто мог приготовить визирю яд, определить дозу

и так умело рассчитать его действие, чтобы все шло достаточно быстро, каждая фаза — в определенный момент, но и в то же время естественно? Кто же, как не Давна? Это его профессия. Он ведь до последнего времени был на службе у визиря, а возможно, и сейчас продолжает служить.

Призрачный покой вдруг исчез. Давиль снова, как утром, пришел в ужас, оттого что тут, поблизости, было совершено преступление, тесно связанное с его должностным положением, а значит, и с ним самим, причем его переводчик, быть может, оказался гнусным, платным соучастником. Эта мысль пронзила его как молния. Кто же может быть спокоен здесь за свою жизнь и огражден от преступления? И чего стоит такая жизнь? Так он стоял, словно пригвожденный к месту, освещенный с одной стороны постепенно зажигавшимися в комнате свечами, а с другой — последними отблесками угасающего дня на крутых склонах за окном.

Надвигался вечер, а с ним и бессонница, когда человек не в состоянии заснуть и вместе с тем не может нормально думать, страшная бессонница, которая стала мучить Давиля только в Травнике. А если и удавалось забыться на мгновение, перед ним поочередно и произвольно возникали: широкая и радостная улыбка, озарявшая лицо Мехмед-паши третьего дня, тонкая, жилистая рука капиджи-баши с большим шрамом и мрачный, непонятный Давна, тихо говорящий: «Очень, очень больной человек!..»

Все это путано, сумбурно. Каждый из образов жил сам по себе, без всякой причинной связи. Ничего еще как будто не известно, ничего не произошло, злодеяние может совершиться, но, возможно, будет и предотвращено.

И в этом полусне Давиль тяжко страдал, всей душой желая, чтобы преступление не совершилось, и смутно сознавая, что оно уже произошло.

Часто такая мучительная бессонная ночь определяет судьбу пережитого, навеки оставляя его в душе, оградив глухими железными воротами.

В последующие дни Давна приходил на доклад как обычно. Он нисколько не переменился. Да и вообще внезапная смерть капиджи-баши не вызвала у городских турок никакого возмущения. Они не высказывали ни подозрений, ни обвинений. Судьба османского турка мало их интересовала. Они поняли лишь одно: ненавистный визирь остается в Травнике и даже получил награду. Из этого они заключили, что майский переворот в Стамбуле не принес ничего нового. И они замкнулись в разочарованном молчании, стиснув зубы и опустив глаза. Для них было ясно, что и новый султан находится под влиянием гяуров или негодных, подкупленных сподвижников и победа правого дела снова отложена. Но тем не

менее они твердо верили, что правоверные победят, надо только ждать. А никто не умеет так ждать, как настоящие боснийские мусульмане, люди твердой веры и необоримой гордости, могущие быть деятельными, как бурный поток, и терпеливыми, как земля.

Давилю еще раз пришлось испытать полнейшую растерянность и мучительный, леденящий страх. Это случилось на первом приеме у визиря, состоявшемся после гибели капиджи-баши. Прошло двенадцать дней. Визирь улыбался по-прежнему. Говорил о приготовлениях к походу на Сербию и одобрял план Давиля относительно турецко-французского сотрудничества на боснийско-далматинской границе.

С деланным спокойствием, которое стоило немалых усилий, Давиль под конец и как бы мимоходом выразил свое искреннее сожаление по поводу смерти сановника султана и друга визиря. Давна не успел еще перевести эти слова, как улыбка исчезла с лица визиря. Белые сверкающие зубы скрылись под черными усами. Лицо его с миндалевидными раскосыми глазами вдруг стало короче и шире и оставалось таким, пока переводчик не кончил передавать соболезнования Давиля. Дальнейший разговор снова сопровождался улыбкой.

Всеобщее забвение и равнодушие успокоили и Давиля. Видя, что жизнь течет своим чередом, он думал: бывает, значит, и так. Он перестал с Давной обсуждать преступление в Конаке. Время было заполнено делами. Постепенно Давиль освобождался от необъяснимых угрызений совести и первоначального чувства горестного изумления и отдался течению повседневной жизни по законам, общим для всех людей. Ему казалось, правда, что он не сможет больше взглянуть на Мехмед-пашу, не подумав про себя, что это тот самый человек, который, по словам Давны, оказался проворнее, изворотливей и хитрее своих врагов, но он будет по-прежнему вести с ним дела и разговаривать обо всем, кроме этого происшествия.

В это время с Дрины вернулся заместитель визиря, Сулейман-паша Скоплянин, наголову разбив сербских повстанцев. Так говорили в Конаке. Сам Сулейман-паша отзывался об этом сдержаннее и менее определенно.

Заместитель визиря был боснийцем и происходил из знатного рода бегов. Он владел крупными поместьями в боснийском Скопле на Купресе и десятком домов и лавок в Бугойне. Высокий человек, сухопарый, довольно стройный для своих немолодых лет, с проницательным взглядом голубых глаз, он повидал много войн, составил себе большое состояние и стал пашой, не прибегая ни к лести, ни к подкупам. В мирное время он был строг, на войне суров, жаден

на землю и не очень-то разборчив в средствах обогащения, но был неподкупен, здоров духом и чужд порокам турок.

Этого полукрестьянского пашу, человека крутого нрава, с метким взглядом «лучшего стрелка во всей Боснии» нельзя было назвать приятным. В отношениях с иностранцами он, как все османские турки, был медлителен и недоверчив, хитер, упрям и к тому же резок и груб в обращении. Впрочем, большую часть года Сулейман-паша проводил либо в походах против Сербии, либо в своих поместьях, а в Травнике жил только в зимние месяцы. И сейчас его прибытие в город свидетельствовало о прекращении военных действий в этом году.

Да и вообще стало спокойнее, и события случались все реже. Наступала осень. Сначала ранняя — со свадьбами, уборкой хлебов, оживлением торговли и повышением доходов, а потом поздняя — с дождями, кашлем и заботами. Горы становились непроходимыми, а люди — тяжелее на подъем и менее предприимчивыми. Каждый готовился провести зиму там, где она его застала, и обдумывал, как ее скоротать. Давилю казалось, что и громоздкий механизм французской империи действует спокойнее и медленнее. Конгресс в Эрфурте закончился. Наполеон обратил свои взоры к Испании, а это означало, что водоворот событий, хотя бы временно, переносился на Запад. Курьеров прибывало немного, приказы из Сплита поступали реже. Визирь — что больше всего интересовало Давиля — оставался пока на своем месте; лицо его снова озарялось самой радостной улыбкой («контрмина» его друзей произвела, по-видимому, надлежащее действие в Стамбуле). Австрийский консул, которого ждали уже давно, так и не приехал. Из Парижа Давиля известили, что до конца года ему пришлют из министерства чиновника, знающего турецкий язык. В трудные времена Давна проявил себя ловким, надежным и преданным человеком.

Но самое радостное для Давиля событие случилось еще до наступления осени. Без всякого шума, почти незамеченной, приехала госпожа Давиль с тремя сыновьями — Пьером, Жюль-Франсуа и Жан-Полем. Первому было четыре года, второму — два, а третий родился несколько месяцев назад в Сплите.

Госпожа Давиль была белокурая, худенькая и хрупкая. Жидкие волосы, причесанные совсем не по моде, обрамляли живое, свежее личико с тонкими чертами и синими глазами с металлическим блеском. Невзрачная на первый взгляд, но умная и рассудительная, с сильной волей, подвижная и неутомимая, она была из тех женщин, про которых говорят: «На все руки мастерица». Жизнь ее проходила в фанатическом, но разумном и терпеливом служении долгу и семье. Этому она посвящала все свои помыслы и чувства, и в ее тонких, всегда красных, на вид слабеньких ру-

ках, не знавших покоя, работа спорилась так, словно они были из стали. Госпожа Давиль происходила из добропорядочной буржуазной семьи, погибшей случайно во время революции, и воспитывалась у своего дяди, епископа Авраншского; она была искренне набожна, и набожность ее была чисто французская — сильная, но человечная, без колебаний, но и без ханжества.

С прибытием госпожи Давиль в большом и запущенном доме французского консульства настали новые времена. Без лишних слов, не жалея сил, не прося ни у кого ни помощи, ни совета, она работала с раннего утра до поздней ночи. Дом чистили, приводили в порядок и перестраивали, приспосабливая по мере сил для нужд новых обитателей. Комнаты перегораживали, одни окна и двери заделывали и пробивали новые. За недостатком мебели и тканей в ход пошли турецкие сундуки, ковры и боснийское полотно. Устланный коврами и вычищенный, дом совершенно изменился. Шаги уже не отдавались так неприятно гулко, как раньше. Кухня была переоборудована заново. На всем появился отпечаток французского уклада жизни, скромного и разумного, но по-настоящему удобного.

К весне следующего года задумали преобразить и все вокруг дома.

На площадке перед домом решили разбить два садика с цветниками, которые своей планировкой хотя бы отдаленно напоминали французские сады. За домом построили птичник, кладовые и другие служебные постройки.

Все делалось по замыслу госпожи Давиль и под ее наблюдением. При этом приходилось преодолевать всяческие трудности, в особенности из-за прислуги. И это были совсем не пустяки, на которые привыкли жаловаться все хозяйки на свете; это было настоящее бедствие. Сначала никто не желал служить в консульстве. О турецкой прислуге нечего было и думать, из немногих православных домов ни один человек не соглашался работать, а католические девушки, служившие даже в турецких домах, в первое время не смели и ногой ступить во французское консульство, потому что монахи угрожали им проклятием и тяжелым покаянием. Женам еврейских торговцев с трудом удавалось уговорить работать в новом консульстве за хорошее жалованье лишь цыганок. И только после того, как госпожа Давиль стала посещать и одаривать долацкую церковь и тем доказала, что хотя она и жена «якобинского консула», но тем не менее верующая католичка, монахи несколько умерили свой гнев и молчаливо разрешили женщинам наниматься к жене французского консула.

Госпожа Давиль вообще старалась создать и поддерживать самые лучшие отношения с долацким священником, монахами

католического монастыря в Гуче Горе и их паствой. И Давиль надеялся, что до приезда в Травник австрийского консула сумеет, несмотря на все трудности, невежество и недоверие, добиться с помощью своей набожной и умной жены некоторого влияния на монахов и католическое население.

Короче говоря, с наступлением первых осенних дней и в доме и в делах наступило приятное затишье. Давиля не покидало неопределенное, но твердое ощущение, что все устраивается к лучшему или, во всяком случае, выглядит проще и легче.

Над Травником сияло бледное осеннее небо, и улицы с выметенной мостовой казались светлыми и чистыми. Кустарники и рощицы меняли окраску и становились тоньше и прозрачнее. Лашва, быстрая и прозрачная, блестела на солнце и, зажатая в ровном русле, гудела, как натянутая проволока. На сухих укатанных дорогах были следы раздавленных фруктов, упавших с возов, а на кустах и изгородях по сторонам висели клочья сена.

Давиль ежедневно совершал дальние прогулки. Проезжая верхом по ровной дороге под высокими вязами через Купило, он видел внизу в долине дома с черными крышами и голубоватым дымком, мечети и разбросанные белые кладбища. И Давилю казалось, что все — и здания, и улицы, и сады — образует одно пестрое целое, которое мало-помалу становится ему понятнее и ближе. Повсюду царил дух затишья и облегчения. Вдыхая его вместе с осенним воздухом, консул испытывал желание оглянуться и хотя бы улыбкой выразить свои чувства ехавшему за ним телохранителю.

На самом деле это была только передышка.

IV

Первые месяцы Давиль в донесениях не переставал жаловаться на все, на что консул, попавший в подобные условия, может жаловаться. На злобу и ненависть местных турок, на медлительность и ненадежность властей, на небольшой оклад и недостаточные кредиты, на крышу, которая протекает, на климат, от которого болеют дети, на интриги австрийских агентов, на непонимание начальства в Стамбуле и Сплите. Одним словом, все было трудно, не налажено, не так, как надо, и давало повод к жалобам и недовольству.

Особенно Давиль жаловался на то, что министерство не присылало доверенного чиновника, знающего турецкий язык. Давна служил в силу необходимости, и консул не мог вполне доверять ему. Несмотря на все старания, Давне не удалось победить его подозрительность. Кроме того, Давна только говорил по-французски, а служебной переписки вести не мог.

Для помощи при общении с местными жителями Давиль нанял Рафу Атияса, молодого травницкого еврея, который предпочел стать переводчиком «иллирийского» языка, чем возиться с дубленными кожами в дядином лабазе. Этому можно было доверять еще меньше, чем Давне. И потому в каждом донесении Давиль умолял о присылке чиновника.

Наконец, когда он начал уже терять надежду и постепенно привыкать к Давне и больше доверять ему, прибыл молодой Дефоссе — новый чиновник и переводчик.

Амедей-Шомет Дефоссе (Amédée Chaumette des Fossés) принадлежал к младшему поколению парижских дипломатов, а следовательно, к числу тех молодых людей, которые после бурных лет революции первыми смогли учиться в нормальных условиях и получить специальную подготовку для службы на Востоке. Он был из банкирской семьи, которая ни во время революции, ни во время Директории не потеряла окончательно своего прочно созданного состояния. В школе он считался лучшим учеником и поражал учителей и товарищей блестящей памятью, быстротой суждений и легкостью, с какой впитывал самые разнообразные знания.

Это был высокий молодой человек атлетического сложения, румяный, с большими карими глазами, сверкавшими любознательностью и живостью.

Давиль сразу понял, что перед ним дитя новых времен, представитель новой парижской молодежи, смелый и уверенный в словах и поступках, беззаботный, трезвый, убежденный в своих силах и знаниях и склонный переоценивать и то и другое.

Дефоссе передал почту и вкратце сообщил наиболее важные новости, не скрывая того, что устал и прозяб. Он поел, плотно и с аппетитом, и без лишних церемоний изъявил желание лечь отдохнуть. Проспал он до полудня. Встал свежий, отдохнувший и выразил удовольствие по этому поводу так же естественно и непринужденно, как вчера, когда не скрывал своей усталости и голода.

Своей непосредственностью, независимым поведением и непринужденностью молодой человек нарушил спокойствие маленькой семьи. Он всегда отчетливо знал, чего хочет и что ему нужно, и добивался этого без стеснения, лишних слов и извинений.

Уже через несколько дней, после первых же разговоров, стало ясно, что между консулом и его новым чиновником нет и не может быть точек соприкосновения и тем более какой-либо близости. Только каждый из них воспринял и понял это по-своему.

Для Давиля, вступившего в ту пору жизни, когда все может стать проблемой и причиной душевных мук, приезд молодого Дефоссе вместо облегчения принес новые трудности, поставил ряд неотложных и неразрешимых задач и в конечном счете создал

вокруг него атмосферу еще большей пустоты и одиночества. А для молодого чиновника словно бы вообще не существовало проблем и непреодолимых трудностей. Во всяком случае, его начальник Давиль не представлял для него ни того, ни другого.

Давилю было около сорока лет, а Дефоссе пошел двадцать четвертый год. В другие времена и при других обстоятельствах эта разница лет не играла бы особой роли. Но в бурные времена великих перемен и социальных потрясений между двумя поколениями образуется непреодолимая пропасть, разделяющая их на два различных мира.

Давиль помнил старый режим, хотя и был тогда ребенком, пережил революцию на всех ее этапах как свою личную судьбу, встретился с Первым консулом и примкнул к его режиму с рвением, в котором подавляемое сомнение смешивалось с безграничной верой.

Ему было лет двенадцать, когда, стоя в рядах других детей из буржуазных семей, он видел въезд Людовика XVI в родной город. Это событие произвело неизгладимое впечатление на ум и воображение мальчика, постоянно слышавшего дома, что вся семья, в сущности, живет милостью короля. И вот перед ним проезжал сам король, олицетворявший собой все самое великое и прекрасное в жизни. Играли невидимые фанфары, палили пушки, и все колокола в городе звонили одновременно. Возбужденный, праздничпо разодетый народ пытался сломать все преграды. Мальчик сквозь слезы видел, что слезы были на глазах у всех, в горле у него стоял комок, как бывает в минуты сильного волнения. Король, тоже растроганный, приказал ехать шагом, широким жестом снимал свою большую шляпу и на дружные возгласы: «Да здравствует король!» — громким голосом отвечал: «Да здравствует мой народ!» Мальчик видел и слышал все происходящее, казавшееся ему чудесным, райским сном, пока восторженная толпа, наседавшая сзади, не надвинула ему на глаза его новешенькую, но чересчур высокую шляпу, так что он ничего уже не видел, кроме пелены собственных слез, в которой сверкали искры и плавали синие круги. Когда ему удалось сдвинуть шляпу, все уже исчезло, как сновидение, а вокруг толпились люди с раскрасневшимися лицами и горящими глазами.

Лет десять спустя Давиль, в то время молодой корреспондент парижских газет, с такими же слезами и с таким же твердым и непоборимым комком в горле слушал, как Мирабо громил старый порядок с его злоупотреблениями.

Воодушевление молодого человека рождалось тем же источником, но направлено было совсем на другой предмет. Изменившись сам, Давиль очутился в совершенно изменившемся мире, куда его

бросила революция, неудержимо увлекшая его вместе с сотней тысяч таких же, как и он, молодых людей. Казалось, что помолодел весь мир и что на земном шаре открываются широчайшие перспективы и неслыханные возможности. Все вдруг стало легким, понятным и простым, каждое усилие имело возвышенный смысл, каждый шаг и каждая мысль были полны сверхчеловеческим величием и достоинством. Дело шло уже не о королевской милости, выпадающей на долю ограниченного числа людей и семейств, а об излиянии божественной правды на все человечество. Вместе со всеми Давиль чувствовал опьянение от неосознанного счастья, какое охватывает обычно слабых людей, когда им удается найти единую и общепризнанную формулу, обещающую осуществление их потребностей и стремлений за счет потерь и гибели других и освобождающую в то же время от угрызений совести и ответственности.

И хотя он был одним из многочисленных корреспондентов, информировавших о заседаниях Учредительного собрания, молодому Давилю казалось, что его статьи, где он пересказывал речи знаменитых ораторов или описывал волнующие сцены патриотического и революционного воодушевления слушателей, имеют непреходящее мировое значение, а его инициалы, поставленные под этими статьями, представлялись ему в первое время двумя самыми высокими горными вершинами, недоступными для других. Ему казалось, что он пишет вовсе не парламентскую хронику, а собственными руками с титанической силой лепит душу человечества, как мягкую податливую глину.

Но и эти годы прошли, и он скорее, чем думал, разглядел изнанку революции, целиком его захватившей. Он помнил, как это началось.

Однажды утром, разбуженный криками толпы, он встал и настежь распахнул окно. И вдруг очутился лицом к лицу с отрубленной головой, бледной и окровавленной, покачивавшейся на конце копья санкюлота. В ту же минуту из его желудка, желудка человека, ведущего беспорядочный образ жизни, пустого со вчерашнего дня, по груди, а потом и по всему телу разлилось нечто страшное и болезненное, какая-то холодная и горькая жидкость. И с тех пор в течение ряда лет жизнь не переставала поить его тем же напитком, к которому нельзя привыкнуть. Он продолжал ходить, жить, писать статьи и орать вместе с толпой, но уже страдая от внутренней раздвоенности, не желая в ней признаваться даже самому себе и до конца скрывая ее от других. А когда настал час, в который решался вопрос о жизни короля и судьбе королевства, когда надо было выбирать между горьким напитком революции, захватившей его с такой силой, и «королевской милостью», его вскор-

мившей, молодой человек вдруг снова очутился в противном революции лагере.

В июне 1792 года — после первого вторжения повстанцев во дворец — в более умеренных кругах наступила сильная реакция и начался сбор подписей под адресом, выражавшим симпатию королю и королевскому дому. Увлеченный волной недовольства, насилием и беспорядками, молодой человек поборол свой страх, пренебрег осторожностью и поставил свою подпись рядом с двадцатью тысячами подписей парижских буржуа. Перед этим Давиль пережил такую внутреннюю борьбу, что ему казалось, будто его имя не затерялось среди двадцати тысяч других имен, в большинстве более громких и известных, чем его, а начертано огненными буквами на вечернем парижском небе. Тогда он почувствовал, как сильно может человек колебаться и раздваиваться, падать и снова подниматься в собственных глазах, одним словом, понял, сколь преходящи увлечения, как они беспорядочны и сложны и как дорого приходится за них расплачиваться, терзаясь раскаянием, когда они минуют.

Месяц спустя начались жестокие преследования и аресты подозрительных лиц и «недостойных граждан», главным образом из двадцати тысяч, подписавших адрес. Чтобы спастись от ареста и как-то разрешить свои внутренние противоречия, молодой журналист Давиль отправился в качестве добровольца в пиренейскую армию на испанской границе.

Тут он убедился, что война, вещь жестокая и страшная, имеет все же и хорошие, целительные стороны. Здесь он узнал цену физическому напряжению, испытал себя в опасности, научился повиноваться и приказывать, видел страдание во всех его обличьях, но познал также прелесть дружбы и смысл дисциплины.

Прошло три года после первых крупных внутренних кризисов, и Давиль, окрепший и усмиренный военной жизнью, снова твердо стоял на ногах. Случай привел его в министерство иностранных дел, где царил тогда полный хаос, не было ни одного настоящего дипломата, и все, начиная от министра и кончая самым мелким чиновником, принуждены были с азов постигать искусство, бывшее привилегией людей старого режима. Когда министром был назначен Талейран, все ожило и зашевелилось. Опять-таки случайно Талейран обратил внимание на статьи молодого Давиля в «Moniteur» и взял его под свое покровительство.

И тогда перед Давилем, как и перед столькими потрясенными, слабыми духом людьми, измученными сомнениями и колебаниями, заблистала яркая и немеркнущая точка: молодой генерал Бонапарт, победитель в Италии и надежда всех тех, которые, подобно Давилю, искали средний путь между старым режимом и

Травницкая хроника

эмиграцией, с одной стороны, и революцией и террором — с другой. И, назначенный по приказу Талейрана секретарем новой Цизальпинской республики, Давиль до своего отъезда к месту службы в Милан был принят генералом, пожелавшим лично передать ему указания для своего посланника, гражданина Труве.

Давиль, хорошо знакомый с братом Наполеона Люсьеном и им рекомендованный, в знак особого внимания был принят на квартире, после ужина.

Давиль очутился перед худощавым человеком с изнуренным бледным лицом и горящими глазами, но с холодным взглядом. Слушая его речи, умные и вместе с тем сердечные, смелые, ясные и увлекательные, раскрывающие невиданные горизонты, ради которых стоило жить и умереть, Давиль чувствовал, как все его колебания и сомнения исчезают. Все в мире успокаивается и становится понятным, всякая цель достижима и всякое усилие ценно и заранее благословенно. Разговор с этим необыкновенным человеком был целителен, как прикосновение чудотворца. Осадок минувших лет вдруг бесследно исчез, все погасшие восторги и мучительные сомнения приобретали свой смысл и оправдание. Этот удивительный человек указывал тот верный путь между крайностями и противоречиями, который Давиль, как и многие другие, уже столько лет жадно, но тщетно искал. И, покинув около полуночи квартиру генерала на улице Шантрен, новый секретарь Цизальпинской республики вдруг ощутил, что у него на глаза навертываются слезы, а в горле стоит тот самый твердый и непоборимый комок, который ребенком он ощущал при въезде Людовика XVI, а юношей — слушая революционные песни или речи Мирабо. У него выросли крылья, он был опьянен, и ему казалось, что кровь, стучавшая в груди и висках, бьется в унисон с мировым пульсом, биение которого он ощущал где-то высоко среди звезд.

Миновали годы. Худощавый генерал вознесся над мировым горизонтом и странствовал, как немеркнущее солнце. Давиль менял места и должности, строил разные литературные и политические планы, не переставая вращаться, как и весь остальной мир, в орбите этого солнца. Но его увлечение, подобно увлечениям всех слабых людей в великие и тревожные времена, обмануло его, не привело к тому, что обещало. Давиль почувствовал, что и сам он в тайниках души изменяет своему увлечению и постепенно от него отступает. С чего это взялось? Когда началось охлаждение и насколько оно сильно? Ответа он не находил, но с каждым днем все яснее сознавал, что это так. Только на этот раз все было и труднее и беспросветнее. Революция, словно вихрь, смела старый режим, а Наполеон явился как спасение от того и другого, как дар прови-

дения и столь желанный «средний путь» — путь достоинства и разума. А теперь вдруг стала возникать мысль, что и этот путь может оказаться одной из многих иллюзий, что так называемого правильного пути вообще не существует — и вся жизнь человека уходит на вечные поиски этого правильного пути и вечные исправления кривого пути, по которому он идет. Значит, надо снова искать правильную дорогу. А после стольких падений и подъемов это не так легко и просто. Давиль был уже немолод, а годы и внутренние кризисы, тяжелые и многочисленные, утомили его; как многие его сверстники, он мечтал о спокойном труде и устойчивом положении. А между тем ритм жизни французского народа все ускорялся, и шла она совсем необычными путями. Своим беспокойным духом Франция заражала все большее число людей, все более широкий круг стран около себя, и все они, одна за другой, попадали в хоровод пляшущих в экстазе дервишей. Вот уже шестой год, если считать с Амьенского мира, надежды и сомнения сменяются у Давиля подобно игре светотеней. Казалось, что после каждой победы Первого консула, а потом императора Наполеона впереди открывался твердый и определенный спасительный средний путь, а несколько месяцев спустя он снова оказывался тупиком. На людей стал нападать страх. Все шли вперед, но многие начали озираться. За несколько месяцев, проведенных в Париже до назначения консулом в Травник, Давиль мог в глазах своих многочисленных приятелей, как в зеркале, видеть такой же точно страх, какой постоянно испытывал он сам, хоть и не признавался в этом и старался подавить его.

Два года назад, сразу после знаменитой победы Наполеона в Пруссии, Давиль написал поэму «Битва при Иене», быть может, именно затем, чтобы, безмерно восхваляя императора-победителя, заглушить в себе сомнения и отогнать страх. Как раз когда он собирался дать свою поэму в печать, один его земляк и старый товарищ, старший офицер при морском министре, сказал ему за рюмкой кальвадоса:

— Знаешь ли ты, что прославляешь и кого превозносишь? Понимаешь ли ты, что император безумец — безумец! — и держится он только кровью своих побед, никуда и ни к чему не ведущих. Знаешь ли ты, что все мы вместе стремительно несемся навстречу какому-то огромному несчастью, ни название, ни размеры которого нам не известны, но которым, несомненно, окончатся все наши победы? Не знаешь? Ну вот, потому ты и можешь прославлять их в стихах.

В тот вечер друг его выпил лишнее, но Давиль не мог забыть ни его расширенных зрачков, прозорливо глядевших вдаль, ни его шепота, в котором, помимо запаха алкоголя, чувствовалось убеж-

дение. А трезвые люди нашептывали те же мысли, только в других выражениях, или скрывали их за беспокойным взглядом.

Давиль решил все же напечатать свою поэму, хотя и с колебаниями и без уверенности как в пользе своих стихов, так и в длительности побед. Это чувство неуверенности, тогда только начавшее распространяться среди людей, в душе Давиля вырастало в личное горе.

В таком сложном и тяжелом душевном состоянии Давиль прибыл в качестве консула в Травник. То, с чем он столкнулся здесь, не могло ни ободрить, ни успокоить, а, наоборот, только еще больше взбудораживало и волновало.

Все пережитое с новой силой всколыхнулось в Давиле при первой же встрече с молодым человеком, с которым предстояло ему теперь совместно жить и работать. Наблюдая за тем, как просто он держит себя, как смело и легко обо всем судит, Давиль думал про себя: «Не то страшно, что мы стареем, слабеем и умираем, а то, что нас догоняют и сменяют новые люди, молодые и совсем иного склада, чем мы. В сущности, это и есть смерть. К могиле не тянут, а подталкивают сзади». Консул сам подивился таким мыслям, вовсе не соответствовавшим его обычному складу мышления, и сразу их отбросил, приписав их «восточному яду», который рано или поздно должен подействовать на каждого и уже, как видно, начал проникать и в его мозг.

Этот молодой человек — единственный француз в здешней пустыне и единственный его настоящий сотрудник — был настолько во всем отличен от него (или, во всяком случае, так выглядело), что Давилю иногда казалось, будто он живет рядом с иностранцем и врагом. Но что больше всего беспокоило и раздражало его в молодом человеке — это отношение (вернее, отсутствие отношения) к «самому главному», что заполняло всю жизнь Давиля,— к королевской Франции, к революции и Наполеону. Эти три понятия представляли для консула и людей его поколения чрезвычайно запутанный клубок столкновений, взлетов, увлечений, светлых подвигов, но вместе с тем и колебаний, скрытого неверия, тайных сделок с совестью без ясного решения, со все меньшей надеждой на длительное умиротворение; означали страдание, которое они носят в себе с самого детства и которое будет, по-видимому, сопутствовать им до могилы. Но в то же время и именно поэтому страдание это было близко и дорого им, как сама жизнь. Между тем молодой человек и его сверстники, как казалось Давилю, не видели во всем этом ни мучений, ни загадок, ни поводов для жалоб или размышлений. Для них это были простые и обыденные вещи, над которыми не стоило ломать голову и тратить много слов для их объяснения. Франция королей — сказка, революция — смутное воспомина-

ние детства, а империя — сама жизнь, жизнь и карьера, естественное и ясное поприще неограниченных возможностей, действий, подвигов и славы. И действительно, для Дефоссе строй, в котором он жил,— империя,— представлял единую и единственную в своем роде реальность, в прямом и переносном смысле протянувшуюся от одного края горизонта до другого и исчерпывающую все содержание жизни. А для Давиля это был только случайный и неустойчивый порядок вещей, мучительное становление которого он когда-то пережил и видел собственными глазами и временный характер которого почти всегда сознавал. В отличие от Дефоссе он хорошо помнил то, что было до этого, и часто думал о том, чего еще можно ждать.

Мир идей, бывший для поколения Давиля подлинной духовной родиной и настоящей жизнью, для поколения молодых, по-видимому, не существовал вовсе; зато для них существовала «живая жизнь», мир вещей, ощутимых фактов и очевидных, измеримых успехов и поражений, некий новый страшный мир, раскрывавшийся перед Давилем как холодная пустыня, гораздо страшнее революции со всей ее кровью, страданиями и духовной ломкой. Это было поколение, взращенное на крови, лишенное всего и стремящееся ко всему, словно бы закаленное в огне.

Как все остальное, Давиль и это, несомненно, обобщал и преувеличивал под воздействием необычной среды и тяжелых условий. Он часто сознавался себе в этом, так как по своему характеру не любил противоречий и не хотел признавать, что они вечны и непреодолимы. Но перед ним в качестве постоянного напоминания стоял молодой человек с проницательным взглядом, холодный и чувственный, свободный и уверенный в себе, не отягощенный ни предрассудками, ни сомнениями, который видел вещи вокруг себя такими, каковы они есть, и дерзко называл их подлинными именами. При всех его способностях и доброте, это был человек нового, «анимализированного», как говорили сверстники Давиля, поколения. «Так вот каково дитя революции, свободный гражданин, новый человек,— думал Давиль после каждого разговора с молодым чиновником, когда оставался один.— Может быть, революции порождают чудовищ? — испуганно спрашивал он себя. И часто отвечал: — Да, зачинаются они в величии и моральной чистоте, а порождают чудовищ».

И тогда — по ночам — он чувствовал, что его одолевают черные мысли, грозя полностью овладеть им, и что он бессилен справиться с ними.

В то время как Давиль боролся с мыслями и настроениями, вызванными приездом молодого чиновника, этот последний записал о Давиле в своем дневнике, предназначавшемся для париж-

ских друзей, только следующее: «Консул такой, каким я его себе представлял». А представление это сложилось у него по первым донесениям Давиля из Травника, а главное, по рассказам старшего коллеги в министерстве, некоего Керена, славившегося тем, что он знал всех чиновников министерства иностранных дел и мог в нескольких словах обрисовать более или менее точно «моральный и физический облик» каждого из них. Керен, человек проницательный и остроумный, не нашел применения своим талантам, и зарисовка устных портретов вошла у него в плоть и в кровь, превратилась в настоящую страсть. Он целиком предался этому бесполезному занятию, походившему иногда на точную науку, а иногда на обычную сплетню, и мог в любое время воспроизвести портрет каждого человека от слова до слова, будто весь текст был напечатан у него в голове. Этот самый Керен сказал Дефоссе о его будущем начальнике следующее:

— Жан Давиль появился на свет человеком прямолинейным, здоровым и — заурядным. По своей натуре, происхождению и воспитанию он был создан для обыкновенной, спокойной жизни без больших взлетов и тяжких падений, без резких перемен вообще. Растение умеренного климата. С врожденной способностью легко вдохновляться и увлекаться идеями или личностями, с особой склонностью к поэзии и поэтическому настрою души. Но все это не выходя за пределы счастливой посредственности. Спокойные времена и уравновешенные обстоятельства делают таких заурядных людей еще более заурядными, а бурные времена и великие потрясения создают из них весьма сложные характеры. Это произошло и с нашим Давилем, очутившимся в водовороте чрезвычайных событий. Все это, разумеется, не могло изменить подлинную его природу, но наряду с врожденными свойствами у него появились и новые, прямо им противоположные. Не будучи в состоянии и не умея быть бесцеремонным, жестоким, бессовестным или двуличным, Давиль, чтобы удержаться и защищаться, стал боязливо скрытен и суеверно осторожен. Из здорового, честного, предприимчивого и веселого он постепенно превратился в чувствительного, колеблющегося, медлительного, недоверчивого и склонного к меланхолии человека. А так как все эти качества были чужды его подлинной натуре, то у него получилось странное раздвоение личности. Короче, он один из тех людей, которые оказались своего рода жертвами великих исторических событий, так как не в силах были им противостоять, подобно некоторым исключительно сильным личностям, но и не могли с ними примириться, как поступает толпа. Это тип «жалующегося» человека, и до конца дней своих он будет жаловаться на все, даже на самое жизнь.

— Случай в наши времена весьма распространенный,— закончил Керен.

Вот так начиналась совместная жизнь этих двух людей со столь различными характерами. Невзирая на то, что осень была холодная и сырая, Дефоссе объехал город и его окрестности и со многими перезнакомился. Давиль представил его визирю и видным лицам в Конаке, но в остальном молодой человек действовал самостоятельно. Познакомился со священником из Долаца, отцом Иво Янковичем, человеком весом в сто четыре окки, но живым и остроумным. Встретился с иеромонахом Пахомием, бледным и строгим, служившим тогда в православном храме Михаила-архангела. Заходил и в дома травницких евреев. Посетил католический монастырь в Гуче Горе и завел там знакомство с монахами, снабдившими его сведениями о стране и народе. Собирался, как только растает снег, осмотреть старые селения и кладбища в окрестностях города. И уже через три недели сообщил Давилю о своем намерении написать книгу о Боснии.

Выросший в дореволюционное время и получивший классическое воспитание, консул, даже участвуя в революции, никогда не выходил за границы, поставленные воспитанием, не переступая их ни в мыслях, ни в словах. Потому он относился с подозрением и неприязнью к этому несомненно одаренному молодому человеку, к его огромной любознательности и поразительной памяти, к смелым, но беспорядочным речам и завидному богатству мыслей. Его пугала активность молодого человека, ни перед чем не останавливающегося и ничем не смущающегося. Давилю трудно было ее переносить, но он чувствовал, что не в состоянии ни обуздать ее, ни пресечь. Дефоссе три года изучал турецкий язык в Париже и смело и прямо обращался к каждому. («Он знает турецкий язык, который изучают в коллеже Людовика Великого в Париже, но не знает того, на котором говорят мусульмане в Боснии»,— писал Давиль.) И если ему не всегда удавалось объясниться, он, во всяком случае, привлекал к себе людей своей широкой улыбкой и ясными глазами. С ним разговаривали и монахи-католики, избегавшие Давиля, и мрачный, недоверчивый иеромонах, и только травницкие беги продолжали сохранять недоступность. Но даже базар не мог оставаться равнодушным к «молодому консулу».

Дефоссе не пропускал ни одного базарного дня, чтобы не обойти вдоль и поперек все торговые ряды. Справлялся о ценах, разглядывал товары и записывал их названия. Народ собирался вокруг этого одетого на французский манер иностранца и следил за тем, как он внимательно рассматривал решета или разложенные сверла и долота. «Молодой консул» подолгу наблюдал, как кре-

стьянин покупает косу, как осторожно огрубелым пальцем левой руки проводит по ее острию, как потом долго ударяет косой о каменный порог, напряженно прислушиваясь к звуку, и как, наконец, прищурив один глаз, глядит вдоль косы, словно целится, оценивая ее остроту и качество ковки. Подходил и к крестьянкам, крепким, старообразным женщинам, справлялся о цене шерсти, лежавшей перед ними в мешках и пахнувшей хлевом. Увидя перед собой иностранца, крестьянка терялась, полагая сначала, что барин шутит. А потом, подбодренная телохранителем, называла цену и клялась, что шерсть, когда ее вымоешь, «мягкая, как душа». Дефоссе интересовался названиями семян и зерна, оценивал их наполнение и величину, хотел знать, как сделаны и из какого дерева черенки и ручки топоров, мотыг, кирок и других орудий.

«Молодой консул» познакомился со всеми главными личностями на базаре: с весовщиком Ибрагим-агой, с глашатаем Хамзой и с полоумным «Дурачком Швабом».

Ибрагим-ага — сухой, высокий, сгорбленный старик с седой бородой, со строгой и важной осанкой. Когда-то он был богат и сам брал на откуп городские весы; сыновья и помощники взвешивали и перевешивали все доставленное на базар, а он только наблюдал. Потом обеднел, лишился сыновей и помощников. Теперь общинные весы берут в аренду местные евреи, а Ибрагим-ага у них на службе, но этого на базаре как бы не замечают. Для крестьян, для всех продающих и покупающих единственным настоящим весовщиком был Ибрагим-ага и таковым останется до самой смерти. Каждый базарный день он стоял возле весов с утра до позднего вечера, и, как только принимался за дело, вокруг него воцарялась благоговейная тишина. Торжественный и напряженный, он налаживал безмен, затаив дыхание, поднимался и опускался вместе с легким колебанием веса. Прищурив один глаз, он внимательно следил за балансиром, осторожно подвигая его в противоположном от тяжести груза направлении, еще немного, еще чуточку, пока безмен окончательно не выравнивался, показывая точный вес. Тогда Ибрагим-ага отнимал руку, вскидывал голову и, не спуская взгляда с цифр, отчетливо, строго, тоном, не допускающим возражений, выкрикивал вес:

— Шестьдесят одна без двадцати драхм.

И оспаривать вес не полагалось. Вообще во всей базарной толчее только вокруг него стояла тишина и сохранялся почтительный порядок, как дань уважения к человеку, работающему на совесть. Да иначе и быть не могло, этого не позволяла сама личность Ибрагим-аги. Когда какой-нибудь недоверчивый крестьянин, положив товар на весы, протискивался поближе, чтобы из-за

спины весовщика увидеть и проверить цифру веса, Ибрагим-ага немедленно клал руку на балансир, прекращал взвешивание и прогонял наглеца.

— Отойди отсюда! Чего лезешь и кашляешь на весы? Мера требует веры: дохнешь — все испортишь. А ведь в ответе за это будет моя душа, не твоя. Отойди!

И так Ибрагим-ага проводит свой век, склонившись над весами, живя только ими, для них и благодаря им,— яркий пример того, как может человек совершенствовать свое призвание, каково бы оно ни было.

Но Дефоссе видел, как тот же Ибрагим-ага, оберегавший свою душу от малейшего греха при взвешивании, самым бездушным образом избивал крестьянина-христианина посреди базара, на глазах у всех. Крестьянин принес на продажу с десяток топорищ и прислонил их к ветхой стене, окружавшей запущенное кладбище и развалины старинной мечети. Ибрагим-ага, наблюдавший за порядком на базаре, яростно набросился на крестьянина, расшвырял ногой все его топорища, ругаясь и грозя, пока перепуганный мужик собирал свой товар.

— Ах ты, грязная свинья, для того разве стена мечети поставлена, чтобы ты прислонял к ней свои поганые топорища?! Здесь пока еще колокол не звонит и христианская труба не трубит, свинское ты отродье!

А кругом продолжали торговать, приценяться, взвешивать товар и считать деньги, не обращая никакого внимания на ссору. Крестьянин, которому посчастливилось собрать свое добро, скрылся в толпе. (Придя домой, Дефоссе записал: «Турецкие властители двулики, поступки их кажутся бессмысленными, непонятными и постоянно повергают в недоумение и изумление».)

Совсем другим, человеком с другой судьбой был глашатай Хамза.

В молодости он славился своим голосом и красотой, был беспутным бездельником и горчайшим из травницких пьяниц. В юности он выделялся храбростью и смекалкой. И до сих пор еще помнят и повторяют его дерзкие и остроумные ответы. Когда его спрашивали, почему он избрал ремесло глашатая, он отвечал: «Потому что легче не нашел!» Однажды, несколько лет тому назад, когда Сулейман-паша Скоплянин пошел с войском на Черногорию и сжег Дробняк, Хамзе было приказано, оповещая о великой турецкой победе, объявить, что снесено восемьдесят черногорских голов. Кто-то из толпы, всегда собиравшейся вокруг глашатая, громко спросил: «А наших-то сколько погибло?» — «Ну, это объявит глашатай в Цетинье»,— спокойно ответил Хамза и продолжал выкрикивать то, что ему было приказано.

Ведя беспорядочную жизнь и постоянно надрывая горло пением и криком, Хамза давно потерял голос. Он уже не мог, как раньше, поднять весь базар своим зычным голосом; с большим трудом, пискляво и хрипло объявлял он служебные и базарные новости, которые могли слышать только те, кто стоял поблизости. Однако никому и в голову не приходило заменить Хамзу кем-то помоложе и поголосистее. И он сам словно не замечал, что у него нет больше голоса. Не меняя позы, с теми же ухватками, будто его голос продолжал звенеть на всю улицу, как в былые времена, он объявлял народу то, что требовалось. Вокруг него толпились дети, потешаясь над его жестикуляцией, давно уже не соответствовавшей его хриплому голосу, с любопытством и страхом глядя на его шею, вздувавшуюся от напряжения, как волынка. Но дети были ему необходимы, ибо только они могли расслышать его и тут же разнести весть по всему городу.

Дефоссе и Хамза быстро подружились, так как «молодой консул» покупал время от времени какие-нибудь украшения или ковры, цену которых выкрикивал Хамза, хорошо зарабатывавший при сделках.

Дурачка Шваба уже много лет знали на травницком базаре. Это был безродный идиот, невесть как появившийся с австрийской стороны. Пользуясь тем, что турки дураков не трогают, он прижился тут, спал под прилавками и питался милостыней. Он обладал исполинской силой, и на базаре, когда он слегка выпивал, разыгрывали с ним всегда одну и ту же грубую шутку. В базарный день ему подносили шкалик-другой ракии и совали в руки дубинку. Дурачок останавливал крестьян-христиан и начинал ими командовать, неизменно повторяя:

— Halbrechts! Links! Marsch! [1]

Крестьяне прятались или разбегались кто куда, зная, что Дурачка Шваба науськивали турки, а Шваб гонялся за ними под хохот молодых лавочников и слонявшихся без дела богатых турок.

Однажды в базарный день Дефоссе, обойдя и осмотрев все, возвращался в консульство в сопровождении телохранителя. Когда они очутились на том месте, где площадь сужается и начинаются торговые ряды, Дефоссе неожиданно столкнулся с Дурачком Швабом. Молодой человек увидел перед собой огромного детину с большой головой и злыми зелеными глазами. Пьяный дурачок, прищурившись, поглядел на чужестранца, потом схватил жердь от весов, лежавшую перед лавкой, и прямехонько двинулся на него:

— Halbrechts! Marsch!

---

[1] Полуоборот направо! Налево! Марш! *(нем.)*

Торговцы, сидя на прилавках, повытянули шеи, со злорадством ожидая, как «молодой консул» запляшет перед слабоумным Швабом. Но дело обернулось иначе. Прежде чем подоспел телохранитель, Дефоссе изогнулся под высоко занесенной над ним жердью, быстрым, ловким движением схватил дурачка за запястье, повернулся всем телом и стал крутить вокруг себя этого огромного человека, словно куклу. Жердь выпала у него из разжавшегося кулака и, описав дугу, упала на землю. Тут подбежал телохранитель с пистолетом в руке. Но дурачок был уже укрощен, правую руку его, вывернутую за спину, крепко держал «молодой консул». Так Дефоссе и передал его телохранителю, затем поднял с земли жердь и спокойно прислонил к лавке, где она стояла раньше. Дурачок с искривленным лицом смотрел то на свою вывернутую руку, то на молодого чужестранца, грозившего ему пальцем, как ребенку, и повторявшему, твердо, по-книжному выговаривая слова:

— Негодник ты! Нельзя озорничать!

Потом кликнул телохранителя и спокойно продолжил путь среди потрясенных торговцев, восседавших в своих лавках.

Давиль по этому поводу сделал молодому человеку строгое внушение, доказывая, что был прав, когда советовал ему не разгуливать пешком по базару, так как никогда не знаешь, что может придумать и выкинуть этот злобный, грубый и праздный народ. Но Давна, недолюбливавший Дефоссе и не понимавший его свободного обхождения, счел нужным признаться Давилю, что на базаре о «молодом консуле» отзываются с восхищением.

А «молодой консул» продолжал в дождь и в грязь объезжать окрестности, обращался ко всем без малейшего стеснения, вступал в беседу и умудрялся видеть и узнавать такие вещи, которых серьезный, прямой и строгий Давиль никогда бы не смог ни увидеть, ни узнать. Давиль, который в своем ожесточении относился ко всему турецкому и боснийскому с отвращением и недоверием, не видел в прогулках и сообщениях Дефоссе ни смысла, ни пользы для дела. Его раздражали оптимизм молодого человека, желание углубиться в прошлое народа, познакомиться с его обычаями и верованиями, найти объяснение недостаткам и добраться наконец до его хороших сторон, искаженных или запрятанных исключительными обстоятельствами, в которых народ принужден жить. Все это казалось Давилю напрасной тратой времени и вредным отклонением от правильного пути. А потому разговоры между ними, касавшиеся этих вопросов, заканчивались обычно спором или раздраженным молчанием.

В холодные осенние сумерки Дефоссе возвращался со своих прогулок мокрый, раскрасневшийся и прозябший, но полный впе-

чатлений и желания поделиться ими. Давиль, часами шагавший в натопленной и освещенной столовой, перебирая в голове тяжелые мысли, встречал его заранее настороженный.

Запыхавшийся молодой человек с наслаждением ел и оживленно рассказывал о том, что видел в Долаце, сплошь населенном католиками, и чего ему стоил короткий путь от Травника до этого села.

— По-моему, в Европе сейчас нет другой такой бездорожной страны, как Босния,— заметил Давиль, евший медленно и без аппетита.— Этот народ не в пример всем остальным народам мира питает какую-то необъяснимую, противоестественную ненависть к дорогам, означающим в действительности прогресс и благополучие. В этой злосчастной стране их не только не поддерживают и не сохраняют, а словно нарочно разрушают. То, что генерал Мармон прокладывает большую дорогу через Далмацию, сильнее вредит нам у местных турок да и у визиря, чем это могут представить себе предприимчивые и хвастливые господа в Сплите. Здешним людям не по вкусу, если даже по соседству есть дороги. Но кто растолкует это нашим господам в Сплите? Они во всеуслышание хвастаются, что прокладывают дороги, которые облегчат сообщение между Боснией и Далмацией, и не знают, с каким подозрением относятся к этому турки.

— Тут нет ничего удивительного. Дело ясное. Пока в Турции такие порядки, а в Боснии такое положение вещей, не может быть и речи о дорогах и транспорте. Напротив, и турки и христиане, правда из разных побуждений, противятся строительству и поддержанию путей сообщения. Как раз сегодня я отчетливо понял это из разговоров с моим приятелем, толстым долацким священником отцом Иво. Жалуясь ему на плохую дорогу из Травника в Долац, крутую и размытую, я высказал удивление, как это местные жители, принужденные ежедневно ею пользоваться, ничего не предпринимают, чтобы хоть мало-мальски привести ее в порядок. Монах сначала поглядел на меня с усмешкой, как на человека, который не знает, что говорит, а потом хитро прищурился и сказал шепотом: «Чем дорога хуже, тем турок реже. Было бы самое лучшее, если бы между ними и нами выросла непроходимая гора. А что касается нас самих, мы хоть и помучимся немного, а, когда понадобится, пройдем любым путем, нам не привыкать к плохим дорогам и трудностям. В сущности, вся наша жизнь сплошные трудности. Не рассказывайте никому о том, что я вам сказал, но помните: пока в Травнике владычествуют турки, нам и не нужно лучших путей. Между нами говоря, когда турки и поправляют дорогу, наши при первом же дожде или снеге ее обрушивают и раскапывают. Это хоть ненадолго задерживает неже-

лапных гостей». Только высказав все это, монах открыл и другой глаз, довольный своей хитростью, и еще раз попросил никому об этом не говорить. Вот вам первая причина, почему дороги никуда не годятся. Вторая причина — в самих турках. Установить транспортную связь с христианским миром — то же самое для них, что открыть доступ вражескому влиянию, позволить ему воздействовать на райю и стать угрозой для турецкого господства. В общем, господин Давиль, мы, французы, проглотили половину Европы, и нельзя удивляться, что те страны, которые мы еще не покорили, с недоверием смотрят на дороги, сооружаемые нашими войсками на их границах.

— Знаю, знаю,— прервал его Давиль,— но строить дороги в Европе необходимо, и нельзя при этом считаться с такими отсталыми народами, как турки и боснийцы.

— Кто находит, что их надо строить, тот и строит. Значит, они ему нужны; я вам просто объясняю, почему здешний народ их не желает, почему он считает, что от них ему больше вреда, чем пользы.

Как всегда, стремление молодого человека объяснить и оправдать все, что он здесь видит, рассердило Давиля.

— Этого ни защитить, ни объяснить разумными доводами нельзя,— сказал консул.— Причина отсталости здешнего народа главным образом в его озлобленности, «врожденной озлобленности», как говорит визирь. Она и служит объяснением всему.

— Хорошо, но как вы тогда объясните самое озлобленность? Откуда она взялась?

— Откуда, откуда?! Говорю вам, она врожденная. У вас будет возможность в этом убедиться.

— Пусть так, но, пока я в этом не удостоверюсь, разрешите мне остаться при своем мнении, что озлобленность или добросердечие народа — результат условий, в которых он живет и развивается. На сооружение дорог нас толкает не доброта, а стремление и желание расширить выгодные нам связи и влияния, что многие объясняют нашей «озлобленностью». И выходит, что наша озлобленность заставляет нас строить дороги, а их — ненавидеть и по возможности разрушать эти дороги.

— Вы далеко зашли, мой молодой друг!

— Нет, это жизнь идет вперед, быстрее, чем мы можем за ней угнаться, а я только пытаюсь объяснить отдельные явления, раз не могу понять всего.

— Невозможно все понять и объяснить,— устало и чуть пренебрежительно обронил Давиль.

— Невозможно, а все же стоит постараться.

Дефоссе, выпив вина и утолив голод после прогулки по холо-

ду, побуждаемый свойственной молодости потребностью рассуждать, продолжал вслух развивать свою мысль.

— Вот как это можно объяснить. Хитроумный и осторожный долацкий священник, о котором я вам говорил, обладающий здравым смыслом и знающий жизнь, в прошлое воскресенье произнес в долацкой церкви проповедь. Как передавал мне наш телохранитель-католик, священник рассказывал об одном праведном монахе, на днях умершем в Фойницком монастыре. Если этот монах и не был святым, то находился в непосредственном общении со святыми, и каждую ночь, что священнику достоверно известно, ангел приносил ему письмо от какого-нибудь святого или даже от самой богородицы.

— Вы еще не знаете ханжества этих людей.

— Хорошо, назовем это ханжеством, но ведь это слово ничего не объясняет.

Давиль, «разумно и умеренно либеральный», не любил даже самых невинных разговоров на религиозные темы.

— Именно этим все и объясняется,— настаивал Давиль слегка язвительно.— Почему наши священники не проповедуют подобных вещей?

— Потому, господин Давиль, что мы не живем в подобных условиях. Воображаю, что бы мы проповедовали, живи мы, как живут здешние христиане вот уже три столетия. Ни на земле, ни на небесах не хватило бы чудес для нашего религиозного арсенала в борьбе с захватчиками-турками. Уверяю вас, что чем внимательнее я присматриваюсь и прислушиваюсь к этому народу, тем все яснее вижу, как мы ошибаемся, когда, покоряя Европу страну за страной, всюду стараемся внедрить наши понятия, наш строгий и исключительно рассудочный образ жизни и поведения. Этот натиск представляется мне все более напрасным и бессмысленным, ибо глупо пытаться устранить злоупотребления и предрассудки, если не имеешь ни силы, ни возможности устранить породившие их причины.

— Это бы далеко нас завело,— перебил Давиль своего чиновника.— Не беспокойтесь, есть люди, которые и об этом думают.

Консул встал и нетерпеливо и резко позвонил, чтобы убирали со стола.

Стоило Дефоссе с присущей ему искренностью и свободой, не зависящими от его сознания, которым Давиль втайне завидовал, начать критиковать императорский режим, как консула передергивало и он терял выдержку и терпение. Он не мог спокойно выслушивать постороннюю критику именно потому, что сам колебался и был полон сомнений, сам себе в том не признаваясь. Казалось, молодой человек, беззаботный и неосмотрительный, касался

пальцем самого больного места, которое он не только хотел скрыть от всех, но по мере сил и сам забыть о нем.

О литературе Давиль тоже не мог разговаривать с Дефоссе, а еще меньше о своих произведениях.

В этом отношении Давиль был наиболее чувствителен. С тех пор как он себя помнил, он всегда замышлял какие-то произведения, отшлифовывал стихи и придумывал ситуации. Лет десять назад он был одно время редактором литературного отдела в «Moniteur», посещал заседания литературных обществ и салоны. Все это он бросил, когда поступил в министерство иностранных дел и уехал на Мальту в качестве поверенного в делах, а потом в Неаполь, но к литературным занятиям пристрастился.

Стихи, которые Давиль иногда помещал в газетах или, каллиграфически переписав, посылал высокопоставленным особам, начальству и друзьям, были не хуже и не лучше тысяч современных поэтических произведений. Давиль называл себя «убежденным учеником великого Буало» и в статьях, которых никто и не думал опровергать, решительно отстаивал строгое классическое направление, защищая поэзию от чрезмерного влияния воображения, от поэтических дерзаний и духовного хаоса. Вдохновение необходимо, повторял Давиль в своих статьях, но оно должно подчиняться разуму и здравому смыслу, без которых нет и не может быть художественного произведения. Давиль столь усиленно подчеркивал эти принципы, что у читателя создавалось впечатление, будто его больше интересует порядок и строгий размер, чем сама поэзия, словно поэт и поэзия им все время угрожают и их надо всемерно оберегать и защищать. Образцом для Давиля из современных поэтов был Делиль (Jacques Delille), автор «Садов» и переводчик Вергилия. В защиту его поэзии Давиль написал ряд статей в «Moniteur», на которые никто не обратил особого внимания, не хвалил и не оспаривал.

Уже много лет Давиль вынашивал план объемистого эпоса об Александре Великом. Задуманный в двадцати четырех песнях, эпос этот стал своего рода дневником Давиля. Весь свой житейский опыт, мысли о Наполеоне, о войне, о политике, свои желания и возмущение Давиль переносил в отдаленные времена и туманные условия, в которых действовал его главный герой, и тут давал им волю, стараясь выразить их правильными стихами, более или менее строго соблюдая рифму. Давиль так сжился с этим произведением, что своего среднего сына Жюля-Франсуа назвал еще Аминтасом в честь македонского короля, деда Александра Великого. В его «Александриаде» описывалась и Босния, нищая страна с суровым климатом и злыми людьми под названием Таврида. Фигурировали в ней и Мехмед-паша, и травницкие беги, и босний-

ские монахи, и все прочие, с кем Давилю приходилось сотрудничать или бороться, выведенные под видом приближенных Александра Великого или его врагов. Давиль излил в поэме все свое отвращение к азиатскому духу, к Востоку вообще, выраженное в борьбе его героя против далекой Азии.

Проезжая верхом над Травником и глядя на городские крыши и минареты, Давиль часто слагал в голове описание фантастического города, осаждаемого Александром. Наблюдая во время дивана у визиря за бесшумными, но проворными слугами и ичогланами, он часто мысленно дополнял описание заседания сената в осажденном Тире из третьей песни своего эпоса.

Как у всех писателей без дарования и истинного призвания, у Давиля было досадное и неискоренимое заблуждение, что к поэзии человек приходит в результате сознательной умственной деятельности и что в поэтическом творчестве можно обрести утешение и награду за все зло, которым нас обременяет окружающая жизнь.

В юности Давиль часто спрашивал себя: поэт он или нет? Есть ли смысл заниматься ему этим искусством, может ли он надеяться на успех? Теперь, после стольких лет и стольких усилий, не принесших ни успеха, ни поражения, могло уже стать ясно, что Давиль не поэт. Но, как нередко случается, с годами Давиль все упорнее, все более механически и однообразно «работал в поэзии», даже не задаваясь вопросом, который молодость, честно оценивая и смело критикуя себя, так часто ставит перед собой. Когда он был молод и еще встречал людей, признававших его талант, он писал меньше, а теперь, когда был уже в летах и никто всерьез не принимал его стихов, он работал регулярно и старательно. Неосознанное влечение к самовыражению и обманчивая сила молодости сменились теперь ленивой привычкой и прилежанием. Прилежание — добродетель, так часто появляющаяся там, где она не нужна или когда в ней уже нет необходимости, спокон веков служила утешением бесталанным писателям и являлась несчастьем для искусства. Исключительные обстоятельства, одиночество и скука, на которые Давиль был обречен долгие годы, все сильнее толкали его на этот бесплодный обманчивый путь, на безобидный грех, именуемый поэзией.

В сущности, Давиль ступил на неверный путь сразу, как только начал писать стихи, ибо его склонности не имели ничего общего с подлинной поэзией. Она была недоступна ему даже в самом непосредственном своем выражении, и тем более он не мог создавать ее.

Всякое проявление зла вызывало у Давиля раздражение или подавленность, а проявление добра — одушевление и радость, своего рода моральный восторг. Эти разнообразные чувства неизмен-

но живые и невинные, хоть и недостаточно устойчивые и не всегда верные, побуждали его писать стихи, в которых не было ни грана поэзии. По правде говоря, иллюзии в нем поддерживал дух времени.

Так Давиль продолжал, и с годами все упорнее, считать свои немалые добродетели посредственными недостатками, а в поэзии видеть то, чего в ней нет: дешевое наслаждение, невинную игру ума и развлечение.

Понятно, что молодой Дефоссе, такой, каким он его знал, не мог быть ни желанным слушателем или критиком, ни подходящим собеседником на литературные темы.

Тут между молодым человеком и консулом раскрывалась новая огромная пропасть, которую Давиль ощущал особенно остро.

Широкий кругозор, быстрота суждений и смелость выводов были отличительными чертами Дефоссе. Знание и интуиция шли у него рука об руку, чудесным образом дополняя друг друга. При всем несходстве характеров и личной неприязни консул не мог этого не замечать. Иногда ему казалось, что этот двадцатичетырехлетний юноша прочел целые библиотеки, не возводя этого себе в особую заслугу. И действительно, Дефоссе постоянно озадачивал собеседника разнообразием знаний и смелостью суждений. Как бы шутя рассуждал он об истории Египта или об отношении южноамериканских колоний Испании к своей метрополии, о восточных языках, о религиозных или расовых столкновениях в любой части света, о целях и перспективах континентальной системы Наполеона или о транспортных путях и состоянии тарифов. Неожиданно он цитировал классиков, причем обычно менее известные места, в новом, смелом освещении и новой связи. И хотя консул часто видел в этом больше позу и буйство молодости, чем определенный, заслуживающий внимания строй мысли, он всегда слушал высказывания молодого человека с каким-то суеверным и неприятным восхищением, а также с мучительным сознанием собственной слабости и несовершенств, которые он тщетно старался преодолеть.

Молодой человек был глух и слеп к тому, что для Давиля было самым дорогим и что наряду с гражданским долгом он считал единственно достойным уважения. Дефоссе признавался откровенно, что равнодушен к стихам, а современная французская поэзия кажется ему непонятной, надуманной, бледной и непужной. Однако Дефоссе ни на мгновение не лишал себя права и удовольствия свободно и бесцеремонно, без злорадства, но и без излишнего трепета поговорить о том, чего, по собственному его признанию, он не чувствовал и не любил.

Так, например, о Делиле, об обожаемом Делиле, молодой человек сразу сказал, что этот ловкий завсегдатай салонов получает шесть франков за строку, и поэтому жена каждый день запирает

его дома и не выпускает до тех пор, пока он не напишет положенного числа строк.

Подобная бесцеремонность «нового поколения» иногда сердила, а иногда огорчала консула. Во всяком случае, она давала ему повод почувствовать себя еще более одиноким.

Случалось, что Давиль, побуждаемый потребностью общения, забывая обо всем, заводил душевный разговор о своих литературных взглядах и планах. (Вполне понятная слабость в подобных условиях!) Как-то вечером он целиком изложил план своего эпоса об Александре Великом и объяснил моральные тенденции, положенные в его основу. Не вдаваясь ни на минуту в оценку мыслей и понятий, составлявших светлую половину жизни консула, молодой человек совершенно неожиданно, с веселой усмешкой продекламировал из Буало:

Que crois-tu qu'Alexandre, en revageant la terre,
Cherche parmi l'horreur, le tumulte et la guerre?
Possédé d'un ennui qu'il ne saurait dompter
Il craint d'être à lui même et songe à s'éviter [1].

И тут же с извинением добавил, что когда-то прочитал эти стихи в одной из сатир и случайно запомнил.

А Давиль вдруг почувствовал себя оскорбленным и гораздо более одиноким, чем за несколько минут до этого. Ему казалось, что перед ним точное изображение «нового поколения» и он дотрагивается до него пальцем. Это и есть то дьявольски беспокойное поколение с его разрушительными мыслями, быстрыми и нездоровыми ассоциациями, поколение, «равнодушное к стихам», но и стихи не оставляющее без внимания,— да еще какого! — особенно если представляется случай использовать их в своих превратных устремлениях, низводящих все на землю, умаляющих и унижающих, ибо они жаждут все свести к самому дурному и низменному в человеке.

Ничем не выказав своего негодования (до такой степени оно было сильным!), Давиль сразу прекратил разговор и ушел к себе в комнату. Он долго не мог заснуть и даже во сне ощущал чувство горечи, которое порой оставляют самые невинные замечания. И в течение нескольких дней он не мог взять в руки рукопись, лежавшую в картонной папке, связанной зеленым шнуром,— настолько дорогое для него произведение казалось ему осквернепным и грубо осмеянным.

---

[1] Что, ты думаешь, ищет Александр, опустошая мир,
Среди ужасов, грохота и войн?
Мучимый скукой, которую не может превозмочь,
Он боится остаться наедине с собой и стремится убежать от себя.
(Пятое послание)

Дефоссе же не сознавал, что мог чем-нибудь обидеть консула. Его изумительная память редко задерживалась на стихах. И он был доволен, что так удачно их вспомнил, не думая, что они могут иметь какую-то внутреннюю связь с произведением Давиля, быть ему неприятными или повлиять на их взаимоотношения.

Спокон веков так бывает, что два сменяющихся и соприкасающихся поколения особенно тяжело переносят и меньше всего знают друг друга. Но многое в этих расхождениях и столкновениях между двумя поколениями покоится, как и вообще большинство конфликтов, на недоразумении.

Мысль, что Дефоссе, который обидел его в тот вечер и о котором он думал с горечью и негодованием, спит теперь крепким, здоровым сном человека, всегда и во всем испытывающего полное душевное удовлетворение, лишала сна Давиля. Между тем консул мог бы не испытывать этой горечи, так как тут он допускал ошибку. Не каждый, кто днем беспечно смеется и свободно разговаривает с людьми, спокойно спит и счастлив. Молодой Дефоссе не был лишь здоровым и беззаботным молодым человеком «нового типа», слишком рано созревшим и переполненным знаниями, счастливым созданием счастливой империи, и ничего больше, каким часто представлял его Давиль. В эту ночь оба француза, каждый по-своему, мучились своей мукой, не будучи в состоянии как следует понять друг друга. Дефоссе тоже на свой лад платил дань новой среде и необычным условиям. Но хоть его средства борьбы были сильнее и их было больше, чем у Давиля, он тоже страдал от скуки и «боснийской тишины», чувствовал, как эта страна и жизнь в ней разъедают его, утомляют и стараются согнуть или сломать, чтобы таким образом сравнять с окружающим. Ибо вовсе не легко и не просто быть брошенным на двадцать четвертом году жизни из Парижа в Травник, иметь желания и строить планы, идущие дальше и выше всего, что он видит, и быть вынужденным терпеливо ждать, тогда как все скованные силы и неудовлетворенные запросы молодости восстают и борются против такого ожидания.

Началось это еще в Сплите. Словно стягивался невидимый обруч: каждое дело требовало особого усилия, а человек не ощущал в себе достаточно сил; каждый шаг был затруднен, каждое решение тормозилось, а выполнение его оставалось под вопросом; и за всем, как постоянная угроза, скрывались недоверие, нищета, несчастья. Таким предстал перед ним Восток.

Комендант гарнизона, предоставивший в его распоряжение плохонькую повозку (и то только до Синя), лошадей под багаж и четверых провожатых, был человек, отягощенный заботами, мрачный, прямо-таки зловещий. Несмотря на молодость, Дефоссе был знаком с этими чертами характера, вкоренившимися вследствие

длительных войн. Много лет подряд люди тащат на себе непосильный груз, каждый мучится по-своему; все не на своих местах, а потому только и думают, как бы перебросить часть бремени на другого и тем немного облегчить себе ношу, а если это не удается, так хотя бы отвести душу отборной бранью или резким окриком. Так и перекатывается общее несчастье с места на место, с одного человека на другого; легче от этого не становится, но все же терпимее.

Дефоссе почувствовал это, лишь только неосмотрительно спросил, крепки ли рессоры у повозки и мягкое ли сиденье. Комендант неподвижно-холодным взглядом уставился на него, словно на пьяного.

— Я даю вам лучшее, что можно найти в этой дьявольской стране. Впрочем, у каждого, кто едет служить в Турцию, должна быть стальная задница.

Не моргнув глазом, пристально и насмешливо глядя на него, молодой человек ответил:

— В инструкциях, которые я получил в Париже, это не значится.

Офицер, слегка прикусив губу, понял, что перед ним человек, который за словом в карман не полезет, но тут же, словно с облегчением, подхватил язвительное замечание:

— Ну, видите ли, сударь, и в наших инструкциях много чего не было. Это, знаете, вписывается позднее. На месте...— И офицер с ехидцей написал что-то в воздухе.

Напутствуемый столь желчным благословением, молодой человек двинулся сначала по пыльной ровной дороге, а потом за Сплитом по крутой и скалистой, все больше удаляясь от моря, от последних благоустроенных зданий и последнего культурного растения, чтобы по ту сторону скалистого гребня опуститься, словно в новое море, в Боснию, которая явилась для него первым крупным испытанием в жизни. Углубляясь все дальше в голые и дикие горы, он смотрел на покосившиеся хижины, на пастушек у дороги, затерянных между кампнями и терновником, с прялками в руках; стада их совсем не было видно. И, глядя вокруг, Дефоссе задавал себе вопрос, самое ли это худшее, как человек, подвергающийся операции, ежеминутно спрашивает, самая ли это страшная боль, о которой ему говорили, или нужно ждать еще более сильной и тяжкой.

Все это были опасения и страхи, которые позволяет себе молодость. На самом деле Дефоссе был готов ко всему и знал, что все выдержит.

Когда после девяти миль пути он остановился на скалистом перевале над Клисом и окинул взглядом открывшиеся перед ним

голые и глухие горы, серые утесы, словно обрызганные редкой дымчатой зеленью, на него повеяло незнакомой тишиной иного мира. Молодой человек весь передернулся от охватившей его дрожи, вызванной скорее тишиной и пустынностью просторов, чем свежим ветром, дувшим из ущелья. Он натянул плащ на плечи, плотнее уселся в седле и вступил в этот новый мир тишины и неизвестности. Впереди угадывалась Босния, безмолвная страна, в самом воздухе уже чуялось леденящее страдание, молчаливое и на первый взгляд беспричинное.

Благополучно миновали Синь и Ливно. На Купресском поле их внезапно застигла метель. Турок-проводник, ожидавший путников на границе, с большим трудом сумел доставить их до первого постоялого двора. Обессиленные и продрогшие, они так и повалились у очага, возле которого уже сидело несколько человек.

Дефоссе устал, прозяб и проголодался, но держался бодро, не забывая о впечатлении, какое он может произвести на незнакомых людей. Он освежил лицо духами и сделал несколько привычных гимнастических упражнений; окружающие украдкой поглядывали на него, как на человека, совершающего обряд своей веры. Только когда он занял свое место, один из сидевших у огня обратился к нему по-итальянски и сказал, что он монах монастыря в Гуче Горе, зовут его Юлиан Пашалич и едет он по делам монастыря. Остальные были возчики.

Медленно подбирая итальянские слова, Дефоссе сообщил, кто он и куда едет. Едва заслышав: «Париж», «императорское французское генеральное консульство в Травнике», монах сразу замолчал; молодое лицо его с длинными щетинистыми усами и смеющимися из-под густых бровей, будто сквозь маску, глазами нахмурилось.

Какое-то мгновение они недоверчиво смотрели друг на друга, не произнося ни слова.

Монах был очень молод, но дороден, в черном толстом плаще, из-под которого виднелась темно-синяя антерия и кожаный пояс с оружием. Глядя на него, Дефоссе в недоумении спрашивал себя, возможно ли, чтобы это был священник, монах. А тот молча, в упор разглядывал высокого, красивого, румяного молодого иностранца со спокойным и беззаботным выражением лица и не скрывал своего негодования, услышав, из какой он страны и какое правительство его послало.

Чтобы прервать молчание, Дефоссе спросил монаха, трудная ли у него служба.

— Видите ли, мы в очень неблагоприятных условиях стараемся поддерживать доброе имя нашей святой церкви, в то время как вы там, во Франции, живя на полной свободе, ее разрушаете и преследуете. Стыд и позор, сударь!

Из разговоров в Сплите Дефоссе уже знал, что монахи, да и все католики в этих местах, являются противниками французской оккупации как власти безбожной, «якобинской», но все же был удивлен такими речами. Как же, думал он, должен вести себя чиновник императорского консульства при столь непредвиденных обстоятельствах? И, глядя прямо в живые и странные глаза монаха, он спросил, слегка поклонившись:

— Может быть, ваше преподобие плохо осведомлено о моей стране?..

— Дай-то бог, но по тому, что слышишь и читаешь, убеждаешься, что допущено много зла против церкви, церковных властей, верующих, и конца этому не видно. А это никогда не приводило к добру.

Монах тоже с трудом составлял итальянские фразы, и сдержанные, тщательно подобранные слова не вязались с его сердитым, чуть ли не свирепым выражением лица.

Диалог был прерван появлением слуг, которые принесли ракию и цицвару. Поставленное на огонь, кушанье скоро начало потрескивать. Наслаждаясь едой и питьем, монах и иностранец время от времени поглядывали друг на друга и постепенно согревались, как согреваются у огня и за едой промерзшие и изголодавшиеся люди.

По телу Дефоссе разлилось тепло, и его стало клонить ко сну. Ветер гудел в высоком черном дымоходе, и смерзшийся снег рассыпался по крыше, как гравий. В голове молодого человека все стало путаться. «Вот и началась моя служба,— думал он,— те самые трудности и борьба, о которых пишут в мемуарах старые консулы на Востоке». Он старался осмыслить свое положение: где-то посреди Боснии, засыпанный снегом, он принужден вести с этим странным монахом непривычный спор на чужом языке. Глаза слипались, и мозг работал с усилием, как в запутанном сне, когда надо преодолеть трудные и незаслуженные испытания. Он знал только, что не смел ни опустить голову, становившуюся все тяжелее, ни отвести взгляд, ни оставить за собеседником последнее слово. Он был взволнован, но и горд, что неожиданно в этом странном обществе должен выполнить свой долг, испробовать свою способность убедить противника и проверить свое не слишком твердое знание итальянского языка, полученное в коллеже. И в то же время он уже с первых шагов почти физически ощутил всю тяжесть и неумолимость ответственности, падающей на всех и каждого, раскинутой повсюду, словно силки.

Прозябшие руки Дефоссе горели. От дыма першило в горле и слезились глаза. Его одолевал сон, но он боролся с ним, будто

стоял на карауле, и не сводил взгляда с лица монаха, как с мишени. И сквозь дремоту, как сквозь теплую молочную жидкость, застилавшую ему глаза и шумом наполнявшую уши, молодой человек смотрел на удивительного монаха и слушал словно издалека доносившиеся фразы и латинские цитаты; наблюдательный по природе, Дефоссе отметил про себя: у монаха много сил и цитат, которые долго не представлялось случая выложить. А монах продолжал доказывать, что в борьбе против церкви никто не может иметь длительного успеха, даже Франция, ибо еще в древности сказано: «Quod custodiet Christus non tollit Gothus» [1].

Дефоссе снова, мешая французские слова с итальянскими, пытался объяснить, что Франция Наполеона доказала свою веротерпимость и отвела церкви надлежащее место, исправив ошибки и насилия революции.

Однако под влиянием еды, питья и тепла все оттаивало и смягчалось. И взгляд монаха был теперь не такой жесткий, хоть еще строгий, но уже по-юношески улыбчивый. Глядя на него, Дефоссе думал, что это может служить знаком перемирия и доказательством, что большие и вечные вопросы могут подождать, что их ни в коем случае нельзя решать в какой-то турецкой харчевне при случайной встрече чиновника французского консульства и «иллирийского» монаха и что поэтому можно ослабить внимание, не боясь повредить своей чести и служебной репутации. Довольный собой и убаюканный этой мыслью, он отдался чувству усталости и погрузился в глубокий сон.

Когда его разбудили, он не сразу пришел в себя и сообразил, где находится.

Огонь догорел. Большинство путников было уже во дворе. Оттуда доносились их крики — они хлопотали около лошадей и поклажи. Оцепенелый и разбитый, Дефоссе поднялся и стал собираться в путь. Он ощупал на себе пояс и позвал своих людей излишне резко и громко. Его мучила неясная мысль, будто он забыл что-то или упустил. И успокоился он только тогда, когда убедился, что все на месте, люди готовы и стоят возле оседланных коней. Из конюшни вышел монах, его собеседник, ведя под уздцы хорошего вороного коня. По одежде и манере держаться священника можно было принять за морлака-граничара или гайдука, как их изображают на картинках. Они улыбнулись друг другу, как старые знакомые, между которыми решено все, что требовало разрешения. Дефоссе запросто, без стеснения спросил, не хочет ли он поехать вместе с ним. Монах стал объяснять, что должен ехать другим путем. Хотел сказать «напрямик», но, не найдя нужных

[1] Что охраняет Христос, не могут взять готы *(лат.)*.

слов, только рукой показал на лес и гору. Не совсем поняв его, Дефоссе все же помахал ему шляпой.

— Vale, reverendissime domine! [1]

Метель пронеслась как злая шутка; только по склонам белели тонкие пласты снега. Земля была мягкая, словно весной, даль глубока и прозрачна, горы синие, а по самому краю неба, чистого и бледно-голубого, протянулись две-три огненные полосы вдоль светлых облаков, за которыми пряталось солнце, озаряя все кругом дивным рассеянным светом. Все это напоминало ландшафты каких-то северных стран. И Дефоссе вспомнил, что в своих донесениях консул часто называл боснийцев скифами и гиперборейцами и как они смеялись над этим в министерстве.

Так молодой Дефоссе вступил в Боснию, которая сдержала обещания и выполнила угрозы, данные при первой встрече, и все сильнее охватывала его резкой и холодной атмосферой своей убогой жизни, а главное, тишиной и скукой, с которыми молодому человеку предстояло бороться долгие ночи, когда сон бежит от глаз, а помощи нет ниоткуда.

Но об этом мы поговорим в одной из последующих глав. Сейчас на очереди другое, более важное событие, знаменующее большую перемену в жизни французского консульства: прибытие долгожданного противника — австрийского генерального консула.

V

Проходили месяцы, год уже кончался, а австрийского консула, который, по слухам, собирался прибыть вслед за французским, еще не было. Люди стали о нем забывать. Но вот в конце лета вновь пронесся слух о скором его приезде. Весть облетела город. Снова появились усмешки, начались подмигивания и перешептывания. В напрасном ожидании прошло еще несколько недель. И только в конце осени он приехал.

О том, что и австрийское правительство собирается открыть в Травнике консульство, Давиль узнал еще в Сплите, до вступления на боснийскую землю. И целый год, уже в Травнике, мысль об этом витала над ним в виде какой-то угрозы. Но теперь, когда после долгих месяцев ожидания угроза осуществилась, она беспокоила его меньше, чем можно было предполагать. Ибо с течением времени он примирился с ней. А кроме того, по странной логике человеческих слабостей, ему льстило, что еще одна великая держава придает значение этому захолустью. Он вырастал в собственных глазах, ощущал прилив сил и способность к борьбе.

[1] До свидания, многоуважаемый господин! *(лат.)*

Уже с середины лета Давна начал собирать сведения, распространять вести о скверных поползновениях Австрии и плести нити вокруг приезда нового консула. Прежде всего он стал разузнавать, как в разных кругах относятся к этой вести. Католики ликовали, монахи готовы были предложить свои услуги новому консулу столь же сердечно и преданно, сколь холодно и недоверчиво они встретили французского консула. Православные, преследуемые из-за восстания в Сербии, чаще всего избегали открыто говорить об этом, а по секрету продолжали упорно твердить, что «без русского консула не обойтись». Османские турки в Конаке с ленивой презрительностью молчали, сохраняя свое достоинство, занятые главным образом личными заботами и взаимными интригами. Местные же мусульмане взбудоражились еще больше, чем при известии о приезде французского консула. Если Бонапарт представлялся им отдаленно надвигающейся и отчасти фантастической силой, с которой временно необходимо было считаться, то Австрия, напротив, была близкой, явной и хорошо известной опасностью. Безошибочным чутьем народа, который столетиями владеет страной и господствует в ней исключительно в силу установившегося порядка, они ощущали всякую, даже малейшую опасность, угрожавшую этому порядку и их господству. Турки прекрасно знали, что каждый иностранец, приезжающий в Боснию, понемногу прокладывает к ним путь из враждебной чужой страны, а консул, обладающий особой властью и средствами, может широко открыть эту дорогу, по которой для них ничего не может прийти, кроме плохого. Они были крайне недовольны Стамбулом и турецкими властями, допускавшими это, но не хотели показывать Давне свою озабоченность. На его настойчивые расспросы отвечали уклончиво, не проявляя ненависти к нашествию иностранцев, но и не скрывая презрения к его назойливости. А когда он хотел все же заставить одного из торговцев сказать, какой консул ему приятнее — французский или австрийский, тот спокойно ответил: «Оба псы, один пегий, другой черный».

Давна проглотил этот ответ, ясно поняв, что думают и чувствуют люди, и не знал лишь, как перевести это консулу, чтобы его не обидеть.

Французы делали все возможное, стараясь помешать врагу работать и затруднить его пребывание здесь. Пространно объясняя визирю, какую опасность для Турции представляет новый консул, Давиль тщетно доказывал, что самое лучшее — не давать ему берата и разрешения на жительство. Визирь глядел перед собой и сохранял непроницаемый вид. Он знал, что берат уже готов, но не мешал французу высказываться, прикидывая про себя, какие по-

тери он понесет и какую выгоду может извлечь из борьбы, которая, очевидно, возникнет между двумя консулами.

Но все же Давне удалось благодаря новым подкупам и старым связям оттянуть посылку берата. И австрийского генерального консула полковника фон Миттерера ждало в Броде неприятное разочарование, так как ни фирман султана, ни берат не были получены тамошним австрийским комендантом, как было обещано. И фон Миттерер просидел в Броде целый месяц, попусту рассылая курьеров в Вену и Травник. Наконец он получил извещение, что берат послан в Дервенту, к тамошнему коменданту Наил-бегу для вручения консулу.

Фон Миттерер немедленно выехал из Брода в сопровождении переводчика Николы Ротты и двоих слуг. Но в Дервенте его ожидало новое разочарование. Комендант заявил, что ничего для консула не получал — ни берата, ни распоряжений. И предложил ему расположиться вместе со свитой в дервентской крепости, то есть в сыром каземате, так как дервентский постоялый двор незадолго перед этим сгорел. Как ни был искушен полковник, состарившийся в борьбе с турецкими властями, он был вне себя от ярости. А комендант, упрямый и мрачный босниец, угрюмо советовал ему, потягивая кофе:

— Подожди, господин. Если, как говоришь, и фирман и берат тебе высланы, они прибудут. Иначе быть не может. Все, что посылает Порта, должно прийти. Подожди здесь. Мне ты не мешаешь.

А когда он это говорил, фирман и берат на имя господина Иосифа фон Миттерера, императорского и королевского генерального консула в Травнике, лежали сложенные и завернутые в клеенку под подушкой, на которой он восседал.

Полковник, взволнованный и обескураженный, снова принялся писать срочные письма в Вену, умоляя запросить берат из Стамбула и не оставлять его в таком оскорбительном для его страны положении, уже заранее подрывающем деятельность Миттерера в Травнике. Свои письма он заканчивал так: «Написано в крепости Дервента, в мрачной компатушке с земляным полом». Одновременно он отправлял специальных гонцов к визирю с просьбой прислать ему берат или разрешить въехать в Травник без такового. Наил-бег задерживал курьеров полковника, отбирал его письма как подозрительные и преспокойно клал их под подушку, рядом с фирманом и бератом.

Так полковник провел в Дервенте еще две недели. В это время его посетил еврей из Травника и предложил свои услуги, уверяя, что имеет возможность шпионить за французским консулом. Недоверчивый по натуре и привыкший иметь дело со шпионами, полковник не пожелал воспользоваться услугами этого человека, но

послал его в качестве курьера с письмом к визирю. Получив за это деньги, еврей доставил письмо в Травник и отдал Давне, который специально нанял его и отправил в Дервенту словно бы в распоряжение австрийского консула. Из письма Миттерера Давиль понял, в каком трудном и смешном положении находится его противник, и с удовольствием прочел его мольбы и бесплодные жалобы визирю. Письмо было снова запечатано и доставлено в Конак. Визирь, очень удивленный, приказал произвести расследование и узнать, куда девались фирман и берат, посланные им еще пятнадцать дней тому назад Наил-бегу, с которыми тот должен был встретить нового консула в Дервенте. Архивариус визиря несколько раз перерыл свой пыльный архив, силясь вспомнить, куда мог запропаститься пакет. Гонец, отвозивший письмо в Дервенту, клялся, что доставил его коменданту в полной сохранности. Словом, все было в порядке, но австрийский консул продолжал сидеть в Дервенте, напрасно ожидая берат.

А дело было чрезвычайно просто и ясно. Через Давну и упомянутого еврея Давиль подкупил Наил-бега, с тем чтобы тот как можно дольше промедлил с вручением берата. Комендант охотно согласился просидеть двенадцать дней на подушке, под которой лежали и фирман и берат, ежедневно нагло и хладнокровно отвечать полковнику, что ничего еще не пришло, и получать за это по маджарии в день. С комендантом же никто ничего сделать не мог, потому что он и так давно не отвечал на нежелательные ему жалобы и письма, а в Травник и вообще не считал нужным показываться.

Наконец все уладилось. Полковник получил от визиря послание, извещавшее, что документы разыскиваются, а его приглашают немедленно прибыть без берата. Полковник в тот же день с радостью покинул Дервенту и направился в Травник. А на следующее утро комендант Дервенты послал визирю документы консула, принося извинения за то, что они были затеряны.

С австрийским генеральным консулом случилось то, что постоянно случалось с иностранцами, приезжающими в Турцию. Иногда намеренно и сознательно, а иногда и невольно, просто по стечению обстоятельств, турки с первых же шагов так раздражали, утомляли и унижали вновь прибывших, что те приступали к делу, ради которого приехали, уже с ослабленной энергией и с меньшей уверенностью в себе.

Правда, и фон Миттерер, дожидаясь берата в Броде, начал тайком вскрывать почту, поступавшую в адрес французского консула из Любляны.

Въезд императорского и королевского генерального консула в Травник произошел так же, как и въезд Давиля. Разница была лишь в том, что фон Миттереру не пришлось останавливаться в

еврейском доме, потому что все католики принялись хлопотать, как пчелы в улье, и самые богатые дома предлагали ему свое гостеприимство. Прием у визиря был, по сведениям Давны, несколько короче и холоднее, нежели прием французского консула. Встреча же со стороны местного турецкого населения была не лучше и не хуже. («Оба псы!») Вслед новому консулу неслись брань и проклятия женщин и детей, из окон летели на него плевки, а торговцы и ремесленники, сидевшие в лавках, не удостоили его ни единым взглядом.

Новый австрийский консул посетил двух самых видных бегов и апостольского визитатора, в то время случайно находившегося в монастыре в Гуче Горе, и только после этого — своего французского коллегу. Агенты Давны, сопровождавшие его по пятам, докладывали обо всем, что удавалось узнать, а что не удавалось, выдумывали и добавляли от себя. Но, во всяком случае, было ясно, что австрийский консул имеет намерение объединить всех противников французского консула, что делает он это осторожно и незаметно, ни словом не порицая своего коллегу и его деятельность, но охотно выслушивая наговоры других. Он даже выражал сожаление, что его коллега вынужден представлять правительство, рожденное революцией и в основе своей безбожное. Так он говорил католикам. Беседуя с турками, он опять-таки жалел Давиля, но уже за то, что на него возложена неблагодарная задача подготовить постепенное проникновение французских войск из Далмации в Турцию и тем самым открыть мирную и прекрасную Боснию всем ужасам и невзгодам, которые несут с собой армия и война.

И наконец — это было во вторник, ровно в полдень,— фон Миттерер нанес визит Давилю.

Стояла поздняя осень. На улице сияло солнце, а в просторной комнате на первом этаже дома Давиля было свежо, даже прохладно. Скрывая неловкость, консулы разговаривали, глядя друг на друга в упор и стараясь как можно более непринужденно изложить все то, что давно было приготовлено для этого случая. Рассказывая о своем пребывании в Риме, Давиль как бы вскользь заметил, что его государь благополучно покончил с революцией и восстановил во Франции не только общественный порядок, но и религию. Указывая на декрет об образовании нового дворянства империи, весьма кстати оказавшийся на столе, он не преминул пространно разъяснить своему гостю его значение. Фон Миттерер, со своей стороны, в соответствии с утвержденной инструкцией, подчеркнул мудрую политику венского двора, желавшего только мира и мирного сотрудничества, но принужденного держать сильную армию, так как к этому обязывает положение великой державы на востоке Европы.

Консулы были преисполнены достоинства, приличествующего их сану, и выказывали усердие начинающих. Это мешало им заметить, сколь смешны их напыщенный тон и торжественные позы при этом собеседовании, но не мешало рассматривать и оценивать друг друга.

Фон Миттерер показался Давилю много старше, чем он представлял его по рассказам. И темно-зеленый военный мундир, и старомодная прическа, и закрученные усики на желтом лице — все выглядело застарелым, безжизненным.

А Давиль показался фон Миттереру чересчур молодым и недостаточно серьезным. В его манере говорить, в обвислых усах и волнистых белокурых волосах над высоким лбом, без пудры и косички,— во всем этом полковник усматривал революционный беспорядок и досадное излишество фантазии и независимости.

Кто знает, когда прекратили бы консулы обсуждение высоких намерений своих дворов, если бы их разговор не был прерван криком, визгом и сумасшедшей беготней во дворе.

Несмотря на строжайшее запрещение, на улице собралось множество христианских и еврейских детей, которые облепили ограду и ждали выхода консула в блестящей форме. В начавшейся от скуки возне кто-то толкнул повисшего на ограде малыша, тот сорвался и упал во двор, где находились слуги Давиля и сопровождавшие фон Миттерера лица. Дети разлетелись как воробьи. Еврейский мальчик, свалившийся во двор, после минутного испуга принялся так орать, словно с него сдирали кожу, а два его братишки с громкими воплями прыгали по ту сторону закрытых ворот. Крики и беготня заставили консулов перевести разговор на детей и дела семейные. Они походили на солдат, по приказу прекративших трудные упражнения и занявших позицию «вольно».

Напрасно то один, то другой принимал время от времени надутый и официальный вид, вспоминая о своей должности. Одинаковые неприятности и общность судеб оказались сильнее. Пренебрегая своим положением, мундирами, орденами и заученными фразами, они потоком изливали жалобы на унизительную и тяжелую жизнь, на которую оба были обречены. Напрасно Давиль подчеркивал необыкновенную предупредительность, с которой его с самого начала приняли в Конаке, напрасно фон Миттерер упоминал, в свою очередь, о больших, тайных и сильных симпатиях, которыми он пользуется у католиков. Голос и глаза их выражали лишь скрытую печаль и глубокое взаимопонимание товарищей по несчастью. И только высшие соображения долга и такта не позволили им положить друг другу руку на плечо, как поступают обыкновенно спокойные и разумные люди в несчастье.

Так первая их встреча закончилась разговором о детских болезнях и питании и вообще о тяжких условиях, в которых они принуждены жить в Травнике.

И в тот же самый день, в одно и то же время оба консула долго сидели, склонившись над листами простой бумаги для черновиков и строчили пространные официальные донесения об этом первом свидании. И тут все выглядело совсем иначе. Тут, на бумаге, был представлен бескровный поединок двух гигантов беспримерной проницательности, тонкости и служебного рвения. Каждый придавал своему сопернику те черты силы и исключительности, какие в его представлении соответствовали собственному высокому званию и назначению. Только по донесению французского консула выходило, что австриец под конец был морально положен на обе лопатки, а из донесения австрийца явствовало, что француз потерял от изумления дар речи, слушая изысканные, полные достоинства высказывания императорского и королевского генерального консула.

Разумеется, и тот и другой не преминули подчеркнуть, насколько противник угнетен необыкновенно тяжелыми условиями, в которых просвещенный европеец вместе со своим семейством принужден жить в этой дикой горной стране. И разумеется, ни один из них не упомянул о своей собственной подавленности.

Так консулы испытали в этот день два утешения и две радости: поговорить и пожаловаться по-человечески, насколько это было допустимо для первого раза, и представить друг друга в самом неблагоприятном свете, тем самым выставив себя в наилучшем. Этим они удовлетворили две потребности, тщеславные и противоречивые, но обе одинаково человечные и одинаково понятные. А это было уж нечто в их необычной жизни, в которой радости — и настоящие и воображаемые — были так редки и становились все реже.

Отныне на противоположных берегах Лашвы — дом против дома — потекла жизнь двух консулов с их семействами и сотрудниками. Эти два человека были посланы сюда и заранее предназначены к тому, чтобы стать противниками и соревноваться друг с другом в поддержании перед властями и народом интересов своего двора и своей страны, нанося по мере возможности ущерб и вред интересам противника. Это они и делали, как мы уже видели и еще увидим, каждый соответственно своим способностям, темпераменту, воспитанию и возможностям. Часто они боролись злобно и ожесточенно, забывая обо всем на свете и целиком отдаваясь инстинктам борьбы и самосохранения, словно два окровавленных

петуха, выпущенных невидимой рукой на эту узкую и затепенную арену. Успех одного означал поражение другого, а всякая неудача одного — триумф соперника. Получаемые удары они скрывали от самих себя или преуменьшали их значение, а нанесенные противнику преувеличивали и выставляли на первый план в своих донесениях в Вену или Париж. Вообще в донесениях противник и его деятельность описывались лишь черными красками. И тогда эти заботливые отцы семейств и солидные мирные граждане порой бывали похожи на двух разъяренных кровожадных львов или на мрачных макиавеллистов. Таким, по крайней мере, каждый рисовал своего противника, занятый собственной тяжелой судьбой и введенный в заблуждение необычной обстановкой, в которую попал и в которой быстро терял чувство меры и ощущение действительности.

Было бы долго и излишне рассказывать в подробностях обо всех этих консульских бурях в стакане воды, об этих схватках и уловках, из которых многие были попросту смешны, некоторые печальны, а в большинстве ненужны и бессмысленны. Но многие из них мы не сможем обойти молчанием по ходу нашего рассказа. Консулы боролись за влияние на визиря и его ближайших сотрудников, подкупали айянов в пограничных зонах и подстрекали их на грабеж и вторжение в страну противника. Француз посылал наемных людей на север, за австрийскую границу, а австриец на юг, в сторону Далмации, где господствовали французы. И каждый через своих доверенных лиц распространял в народе ложные вести и опровергал сообщения противника. В конце концов они клеветали и наговаривали друг на друга, как две повздорившие бабы. Тот и другой задерживали курьеров, вскрывали почту, переманивали или подкупали прислугу. Если верить их словам, то выходило, что они действительно отравляли друг другу жизнь или, во всяком случае, стремились это сделать.

А в то же время было много такого, что вопреки всему сближало и связывало консулов. Люди уже немолодые, «обремененные семьей», каждый со своей сложной жизнью и своими планами, заботами и горестями, они принуждены были в этой чужой и неприветливой стране вести упорную борьбу и претерпевать лишения, волей-неволей подражая в своем поведении великим деяниям своих далеких, невидимых и зачастую непонятных начальников. Тяжелая жизнь и злая судьба восстанавливали их друг против друга. А между тем если существовали на свете два человека, которые могли бы по-настоящему понять друг друга, пожалеть и даже оказать поддержку, так это были именно два консула, тратившие все свои силы, дни, а часто и ночи на то, чтобы вставлять палки в колеса и, елико возможно, портить жизнь друг другу.

В сущности, только цели их официальной деятельности были различны, все же остальное одинаково или похоже. Боролись они в тех же условиях, теми же средствами, с переменным успехом. И оба, помимо взаимных козней, должны были изо дня в день вести борьбу с турецкими властями, медлительными и недоверчивыми, и с местными мусульманами, чрезвычайно упрямыми и коварными. У каждого были свои семейные заботы, неприятности во взаимоотношениях со своим правительством, задерживавшим присылку инструкций, с министерством, тормозившим одобрение кредитов, и с пограничными властями, которые допускали постоянно ошибки и промахи. А главное — оба были принуждены жить в этом восточном городке, лишенные общества и развлечений, без всяких, часто самых необходимых удобств, среди диких гор и грубого народа, преодолевать его недоверчивость, неаккуратность, бороться с болезнями и всевозможными невзгодами. Словом, жить в такой среде, которая человека Запада сначала опустошает, делает болезненно раздражительным, в тягость себе и окружающим, чтобы потом, с течением времени, до неузнаваемости изменить его, скрутить и задолго до смерти похоронить среди всеобщего равнодушия.

А потому достаточно было измениться обстоятельствам и наладиться отношениям между их странами, как консулы начинали охотно посещать друг друга. В такие короткие периоды мирной передышки они бывали смущены и сконфужены и, словно только что проснувшись, искали в себе другие, личные чувства к своему противнику, тут же спрашивая себя, в какой мере они смеют дать им волю. Между ними устанавливались тогда приятельские отношения, они обменивались подарками, переписывались с таким теплым и дружеским чувством, какое бывает у людей, обижающих друг друга, но в то же время крепко связанных одинаково тяжкой участью, заставляющей их соперничать.

Но, как только кончалось кратковременное затишье и отношения между Наполеоном и венским двором принимали дурной оборот, консулы начинали реже посещать друг друга, дозируя свою любезность, пока наконец прекращение дипломатических отношений между их странами или война не ссорили их и не разделяли окончательно. И тогда эти измученные люди снова послушно вступали в борьбу, конечные цели которой были им неведомы и которая своими размерами и жестокостью наполняла их души одинаковым чувством страха и неизвестности. Но даже и в эти минуты не обрывалась невидимая, но крепкая нить между консулами, «двумя изгнанниками», как они именовали себя в письмах. Ни сами они, ни члены их семей не встречались; наоборот, всеми средствами и где только можно они действовали во вред друг дру-

гу. По ночам, когда Травник тонул в глубокой тьме, лишь в консульствах светились по одному, по два окна. Консулы бодрствовали, склонив головы над бумагами, читая доклады доверенных лиц или составляя донесения. И нередко случалось, что Давиль или фон Миттерер, оторвавшись от работы, подходили к окну и глядели на одинокий огонек на противоположном берегу, при свете которого сосед-противник расставлял неведомые капканы и подстраивал трюки в упорном желании подкопаться под своего коллегу по ту сторону Лашвы и спутать его расчеты.

Казалось, между ними не было скученного городка, а разделяли их лишь пустота, молчание и тьма. Окна в домах блестели, словно глаза вышедших на поединок людей. Скрытые за портьерой — поодиночке или оба разом,— консулы, глядя сквозь мрак на слабый огонек противника, думали друг о друге с волнением, глубоким пониманием и искренним сожалением. А потом, встряхнувшись, возвращались к прерванной работе при догоравших свечах и продолжали писать свои донесения, где не было ни намека на только что пережитые чувства; каждый возводил напраслину или уничтожал другого, полагая с кажущейся высоты своего официального положения, что, составляя секретное донесение своему министру, он решает судьбы мира, хотя и знал, что те, для кого он пишет, никогда не прочтут этих строк.

VI

Подобно тому как жизнь в Травницкой долине в эти трудные годы мировой войны будто сплошь состояла из столкновения одних лишь безрадостных судеб, и жизнь австрийского генерального консула Иосифа фон Миттерера состояла из трудностей, среди которых его приезд в Травник нельзя считать наименьшей.

Это был смуглолицый брюнет с черными подкрученными усиками, пристальным взглядом, медлительной речью и сдержанными манерами; прямой и угловатый, он был всегда чист и аккуратен, скромен и подтянут, будто все, и человек и мундир, было только что доставлено из императорского и королевского военного цейхгауза для срочной экипировки заурядного полковника. И только карие круглые глаза с вечно красными, воспаленными веками придавали его лицу выражение доброты и глубоко спрятанной душевности. Это были затуманенные глаза человека, больного печенью, утомленные глаза старого пограничного офицера и канцелярской крысы, глаза, которые отдали всю свою зоркость, бдительно охраняя вечно угрожаемые границы государства, грустные и немые глаза человека, видевшего на этом поприще много зла и знавшие пределы человеческих сил, свободы и гуманности.

Он родился пятьдесят лет тому назад в городе Осиеке, где отец его был офицером в гусарском славонском полку, окончил кадетский корпус с чином пехотного Fähnrich [1]. В чине поручика, как офицер разведки был переведен в Земун. Тут, с небольшими перерывами, он провел двадцать лет, трудных лет войны то с турками, то с сербскими повстанцами. Он не только принимал агентов, получал сведения, поддерживал всевозможные связи и писал донесения, но и много раз лично переправлялся в Сербию, часто переодетый крестьянином или монахом, и в труднейших обстоятельствах собирал данные о турецких силах, зарисовывал укрепления и важные пункты или разузнавал настроение жителей. На этой службе, преждевременно старящей человека, фон Миттерер достиг успеха. И, как часто случается в жизни, из-за этого успеха он сломал себе шею. В министерстве были так довольны его донесениями за истекшие несколько лет, что вызвали в Вену, дали чин капитана и вручили сто дукатов наградных. Успех породил в душе молодого офицера смелую надежду, что ему удастся наконец выбраться из однообразной и утомительной колеи, по которой тащили свой груз все его предки.

С сотней дукатов наградных и высоким признанием заслуг в кармане пограничный офицер, которому перевалило за тридцать, был полон всяческих желаний, а больше всего жаждал спокойной и красивой жизни на более высокой общественной ступеньке. Одна венская барышня показалась ему олицетворением его мечтаний. Она была дочерью военно-судебного офицера, онемечившегося поляка и обедневшей венгерской баронессы. Красивую, но чересчур живую и романтически настроенную Анну-Марию отдали без малейших колебаний, как-то даже слишком легко и быстро, за незаметного, но дельного офицера-пограничника с периферии империи. Казалось, судьба только и ждала случая, когда на шее у него повиснет жена, чтобы накрепко и окончательно привязать его к мертвящей колее жизни низших офицеров, из которой он хотел вырваться любой ценой. Женитьба, которая должна была открыть ему двери в высший и более привлекательный мир, отрезала ему туда все пути и связала навеки, отняв душевное спокойствие — единственное достояние и предмет самой большой гордости безвестных людей и скромных судеб.

Офицер разведки, «добившийся успеха», быстро открыл, что имеет дело с вздорной и пустой женщиной, прихоти и причуды которой нельзя ни предугадать, ни проверить. Эта «несчастная польско-венгеро-венская микстура», как прозвал госпожу фон Миттерер комендант земунского гарнизона, страдала избытком фанта-

[1] Прапорщик *(нем.)*.

зии и болезненной, непреодолимой, ненасытной потребностью восторгаться. Она восторгалась музыкой, природой, нездоровой филантропией, старинными картинами, новыми идеями, Наполеоном и всем, чем угодно, лишь бы это выходило за пределы ее круга и противоречило ее семейной жизни, доброму имени и хорошей репутации ее мужа. Эта жажда воодушевления часто связывалась у госпожи фон Миттерер с мимолетной и капризной любовью. В силу фатальной и неодолимой потребности эта женщина с холодным телом и воспаленной головой время от времени увлекалась каким-нибудь мужчиной, обычно моложе ее, каждый раз уверяя, что в этом могучем духе и смелом сердце, исполненном самых чистых побуждений, она обрела рыцаря и родственную душу. И в силу той же фатальности обычно это были молодые, беспечные и талантливые люди, испытывавшие к ней лишь скоропроходящее и недвусмысленное влечение, как ко всякой другой встретившейся им на пути женщине, не оказавшей сопротивления. После первоначальных восторгов, при первом же соприкосновении, когда совершенно ясно выявлялась вся разница между ее возвышенной и бесплотной экзальтацией и подлинными намерениями мужчины, разочарованная Анна-Мария впадала в отчаяние. «Любовь» превращалась в ненависть и отвращение к бывшему кумиру, к самой себе, к любви и к жизни вообще. Переболев, Анна-Мария искала и находила пищу в восторгах и печалях другого рода и таким образом удовлетворяла свою врожденную потребность в кризисах и скандалах. И так до первого случая, когда все начиналось снова.

Фон Миттерер много раз пытался объяснить жене ее заблуждения, образумить и защитить ее, но все было напрасно. Его «больной ребенок», уже не первой молодости, периодически, с автоматичностью эпилептика попадал в поисках чистой любви во власть новой прихоти. Полковник наизусть знал как первые симптомы, так и весь процесс «заблуждений» своей жены и всегда предвидел тот момент, когда она, заплаканная и разочарованная, бросится ему на шею и сквозь рыдания скажет, что ее все хотят, но никто не любит.

Как мог существовать и на чем держаться такой брак? Как мог честный и серьезный человек переносить все это и заранее прощать — этого никто никогда не узнает; это останется одной из тех необъяснимых тайн, так часто неумолимо разъединяющих двух людей или же их неразрывно связывающих.

Не прожив с мужем и года, Анна-Мария вернулась к родителям в Вену, заявив, что испытывает смертельное отвращение к физической любви и в этом смысле не признает за своим супругом никаких прав. Согласившись на все ее условия, капитан уговорил ее и привез обратно. После этого у них родилась девочка. Наступило кратковременное затишье. Но через два года все началось

сызнова. Капитан махнул рукой и целиком погрузился в служебную жизнь земунского карантина и в свою работу разведчика, смирясь с тем, что принужден жить с огнедышащим драконом, который непрерывно требует жертв, а за все, что получает, платит новым недовольством, новыми скандалами.

Как все сумасбродные, неуравновешенные женщины, красивая, вздорная и расточительная госпожа фон Миттерер делала все, что хотела, никогда толком не зная, чего она хочет. Бесшабашно отдавалась новому «вдохновению» и быстро отступала разочарованная. Неизвестно, что фон Миттереру было труднее терпеть и мучительнее видеть: ее увлечения или ее разочарования. И то и другое капитан сносил со спокойствием мученика. На самом деле эту женщину, посланную ему судьбою как незаслуженное наказание, он любил безгранично и неизменно, как любят больного ребенка. Все в ней было для него дорого, казалось необыкновенным и возвышенным. Все, что было в ней, на ней, около нее, вплоть до принадлежавших ей вещей, все это представлялось ему исключительным, прекрасным, достойным обожания и стоящим всяких жертв. Страдая от ее причуд и выходок, стыдясь перед людьми и втайне мучась, он в то же время дрожал при одной мысли, что эта очаровательная женщина может оставить его или что-нибудь сделать над собой, покинуть его дом или даже этот мир. Он продвигался по службе, девочка росла худенькая, серьезная и молчаливая, а госпожа Миттерер с неослабной энергией продолжала метаться, требуя от жизни то, чего та не может дать, переходя от восторгов к унынию и мучая как самое себя, так и всех окружающих. Неукротимый и непонятный бес, живший в этой женщине, с годами менял свой курс и обличье, но не проявлял никаких признаков послабления или успокоения.

Когда фон Миттерер довольно неожиданно был назначен генеральным консулом в Травнике, Анна-Мария, в то время как раз переживавшая одно из своих сильнейших разочарований, сначала принялась бушевать и плакать, заявляя, что она не желает переезжать из полутурецкого городка, где она до сих пор томилась, на «настоящее турецкое кладбище» и не согласна увозить своего ребенка «в Азию». Полковник успокаивал жену, объяснял, что новое назначение означает важную перемену и скачок в его карьере, что придется немного помучиться, зато повышение оклада позволит обеспечить будущее дочери. В конце концов он предложил жене остаться с ребенком в Вене, если ей так не хочется ехать. Анна-Мария вначале ухватилась за это, но быстро переменила решение и согласилась на жертву. Очевидно, полковнику не суждено было на этой земле прожить несколько лишних спокойных месяцев в раю, который создавало отсутствие жены.

Как только фон Миттерер подыскал дом и привел его более или менее в порядок, приехала жена с дочкой.

С первого взгляда было ясно, что этой женщине нужен в жизни большой простор. Она все еще была красива и моложава, хотя и несколько полновата. Весь ее облик: блеск безупречно белой кожи, удивительное сияние глаз, то зеленоватых, то темно-золотых, то серых, как воды Лашвы, прическа и цвет волос, походка, манеры и повелительный тон в разговоре — все это впервые создавало в Травнике впечатление силы и могущества, которые в своем воображении жители всегда приписывали иностранным консулам.

Дочь госпожи фон Миттерер, Агата, тринадцатилетняя девочка, совсем не походила на мать. Скрытная и молчаливая, не по летам взрослая, чересчур чувствительная, с тонкими сжатыми губами и отцовским пристальным взглядом, она ходила подле матери как вечный и немой укор, никогда ничем не выказывая своих чувств и на вид вполне безучастная ко всему окружающему. В действительности девочка с ранних лет была напугана и ошеломлена темпераментом матери и всем, что разыгрывалось между ее родителями, о чем она могла догадываться, и любила только отца, да и то какой-то беспомощной, пассивной любовью. Она относилась к разряду девочек, тоненьких и малорослых, которые, быстро развиваясь, рано становятся зрелыми женщинами в миниатюре и ведут себя то совершенно по-детски, то как взрослые, что всегда удивляет и сбивает с толку. Во всем полная противоположность матери, девочка была немузыкальна, любила одиночество и книги.

Сразу же по приезде госпожа фон Миттерер со всей энергией взялась за устройство дома и сада. Мебель была доставлена из Вены, мастера привезены из Славонского Брода. Все было изменено, передвинуто и перевернуто. («Госпожа фон Миттерер строит новый Шенбрунн»,— говорили во французском консульстве, сплетничая о «тех, по ту сторону Лашвы». Правда, и госпожа фон Миттерер, любившая французский язык и культивировавшая то, что она считала французским остроумием, не осталась в долгу. Насмешливо отзываясь о мебели госпожи Давиль, где, как мы видели, было много ловко прикрытых и замаскированных ящиков, она уверяла, что госпожа Давиль меблировала дом в стиле «Louis Caisse» [1].) Высокая ограда отделила сад от шумного и грязного базарного постоялого двора и конюшен. Весь старый дом Хафизадичей был перестроен по особым планам госпожи фон Миттерер, в которых не было ни конца, ни смысла, но которые отвечали или должны были отвечать каким-то высшим, ей самой неясным понятиям совершенства, блеска и аристократизма.

---

[1] Людовик Яшик *(франц.)*.

Как часто бывает с такого рода женщинами, с годами у нее стали появляться новые странности. Анна-Мария страдала теперь манией чрезмерной чистоты. Но страдала не столько сама, сколько мучила окружающих. Все ей казалось не вполне свежим, плохо вымытым и недостаточно чистым. Со всем пылом, на какой только была способна, она взялась бороться с беспорядком и грязью. Меняла прислугу, терроризировала домашних, бегала, громыхала, разрывалась в борьбе с грязью, пылью, насекомыми и странными местными обычаями. Потом наступали дни, когда Анна-Мария, вдруг обескураженная, теряла веру в успешный исход своей борьбы, отступала и, скрестив руки, в полном отчаянии смотрела, как беспорядок и грязь этой восточной страны надвигаются на нее отовсюду, выползают из земли, валятся с воздуха, проникают в двери, окна, каждую щель и медленно, но неуклонно овладевают домом и всем, что в нем находится — предметами, людьми и животными. Ей казалось, что с тех пор, как она попала в этот город, ее личные вещи тоже выделяют из себя какую-то плесень и ржавчину и постепенно покрываются тонким слоем грязи, которую нельзя ни стереть, ни смахнуть.

С коротких прогулок она чаще всего возвращалась встревоженной и еще более растерянной, так как, не успев отойти от дома, наталкивалась то на какую-нибудь шелудивую или хромую собаку, пугливо смотревшую на нее печальными глазами, то на свору уличных лохматых псов, дравшихся из-за внутренностей борова и растаскивавших кишки по улице. Она выезжала верхом за город, стараясь с высоты своего вороного коня не замечать ничего из того, что происходит внизу. Но и это не помогало.

Однажды после короткого весеннего дождика Анна-Мария отправилась на такую прогулку в сопровождении охраны по главной дороге. При выезде из города им повстречался нищий. Слабоумный, больной человек, босой и в отрепьях, посторонился, дав дорогу господским коням, и вскарабкался на тропу выше дороги. Так ноги нищего оказались на уровне глаз жены консула. Только на мгновение горизонт перед ней на расхлябанной глине закрыли босые, грязные, огромные ноги без времени состарившегося трудяги, уже не пригодного к работе. Она видела их одно мгновенье, но долго потом стояли у нее в глазах эти нечеловеческие ноги, четырехугольные, бесформенные, корявые, до невозможности обезображенные долгими хождениями и тяжелой жизнью; потрескавшиеся, как сосновая кора, желтые и черные, неуклюжие и кривые мужицкие ноги, которые едва-едва преодолевают собственную тяжесть; неловкие и искалеченные, они спотыкались, отмеряя, быть может, свои последние шаги.

Сотни солнц и тысячи весен не смогут уже помочь этим

ногам, подумала в тот момент Анна-Мария; никакой уход, питание или лекарства не смогут их вылечить и изменить; что бы ни рождалось, ни цвело на земле, эти ноги станут только желтее, уродливей и страшнее.

И теперь эта мысль постоянно преследовала ее, и отвратительное, причиняющее боль видение не покидало ее по целым дням. Что бы она ни затевала, о чем бы ни начинала думать, ее сразу пронизывала леденящая мысль, что «такое существует».

Так мучилась госпожа фон Миттерер, и ее муки усиливались от болезненного и обидного сознания, что никто не понимает ее отвращения и не разделяет ее жажды совершенства и чистоты. Но и помимо того,— вернее, именно из-за того,— у нее была потребность постоянно говорить на эту тему; всем она жаловалась на городскую грязь, на неряшливость прислуги, хотя и видела, что никто не хочет ее понять, а еще меньше помочь.

Священник долацкой церкви, грубый и толстый Иво Янкович, учтиво и рассеянно выслушивал ее жалобы и стенания и утешал бездумно и небрежно, как утешают детей, говоря первое, что придет в голову, и повторяя, что человек должен все переносить кротко и смиренно, ибо и грязь и пыль тоже в конце концов божий дар.

— Впрочем, давно уже сказано: «Castis omnia casta. Для чистых сердцем все чисто»,— перевел священник с бесцеремонностью, свойственной толстякам и старым монахам.

Напуганная и опечаленная всем окружающим госпожа фон Миттерер не выходила из дому, избегала людей, не желала даже смотреть на город. По целым дням, не снимая перчаток, сидела в кресле, покрытом белым чехлом, который часто меняли, и не позволяла никому даже близко подходить к себе. Но все равно ее преследовало ощущение, что она утопает в грязи, пыли и вонище. А когда муки становились невыносимыми, что бывало часто, она врывалась к мужу и, не давая ему работать, горестно упрекала его за то, что он завез их сюда, и, вся в слезах, требовала, чтобы они немедленно покинули эту грязную и несчастную страну.

И все это повторялось неоднократно, пока не вступала в действие сила привычки или пока одна мания не сменялась другой.

После генерального консула главной личностью в консульстве был переводчик и секретарь Никола Ротта (Rotta). Раньше он служил в земунском гарнизоне, и фон Миттерер взял его с собой в Травник.

Это был человек маленького роста, горбатый, хотя горб особенно не выдавался, с сильно развитой грудной клеткой и большой головой, откинутой назад и тонущей в приподнятых плечах; на лице выделялись крупный рот и живые глаза; во вьющихся от природы волосах была заметна проседь. Ноги, короткие и тонкие,

были обуты в низкие сапоги с отогнутыми голенищами или в шелковые чулки и башмаки с большими позолоченными пряжками.

Не в пример своему начальнику, человеку воспитанному и простому в обращении, относившемуся к людям с какой-то грустной благожелательностью, его ближайший помощник держал себя заносчиво и грубо как с мусульманами, так и с христианами. Его угрюмое молчание было таким же тяжелым, неприятным и оскорбительным, как и его слова. Низенький и горбатый, он как-то ухитрялся смотреть свысока даже и на самого высокого человека, вдвое выше себя. Его мрачные глаза с нависшими тяжелыми веками на большой и закинутой голове выражали оскорбительную скуку и презрительную усталость, словно он видел своего собеседника где-то в отдалении и глубоко под собой. И только в присутствии высокопоставленных и важных лиц (а он прекрасно знал, кто важный, кто нет и только выглядит таковым), переводя их речи, он опускал глаза и взгляд его становился в одно и то же время и дерзким, и снисходительным, и непостижимым.

Ротта говорил на многих языках. (Травничане как-то подсчитали, что он знает десять языков.) Но главное искусство его заключалось не в том, что он говорил, а в том, что он умел заставить противника замолчать. У него была привычка, закинув голову и прищурившись, смерить высокомерным взглядом своего собеседника и проговорить сухо и вызывающе:

— Ну и что? Что дальше-то? Что?

И от этих ничего не значащих слов, произнесенных на особый манер, часто смущались и самые смелые люди, меркли и отпадали самые веские доводы и доказательства, самые справедливые требования.

И только в Цезаре Давне Ротта нашел достойного соперника и собеседника. После того как Давна, еще до их приезда в Травник, так ловко обстряпал дело с фирманом и бератом и заставил их просидеть две недели в Дервенте, словно каких-то проходимцев, Ротта отнес его к разряду противников высшего класса, к которым следует относиться серьезно. И Давна, со своей стороны, оценил Ротту; сведения о нем он получил от одного белградского торговца. Встречи этих двух людей не походили на их встречи с другими. В обращении друг с другом они принимали легкий и шутливый тон, в котором должны были слышаться беспечность и пренебрежение, а крылись напряженная осторожность и тайный страх. Они обнюхивали друг друга, как два зверя, и присматривались друг к другу, как два мошенника: оба прекрасно знали, что они мошенники, но не знали как следует приемов и повадок друг друга.

Разговоры, начинавшиеся обычно по-французски, в светском тоне и выражениях, взятых из консульского лексикона, переходи-

ли иногда в грубые препирательства на сочном, исковерканном венецианском диалекте, на котором говорят по всему средиземноморскому побережью. Тогда толмачи сбрасывали с себя благородные маски и вели по левантинскому обычаю словесную перепалку, совершенно забывая о всяком приличии и употребляя самые непристойные выражения, сопровождаемые неописуемыми жестами и мимикой.

— Благослови, высокочтимый отче, благослови смиренного слугу святой матери церкви.— И Давна комически кланялся Ротте, издеваясь над его заигрываниями с монахами.

— Да благословят тебя все якобинские дьяволы из пекла,— спокойно отвечал Ротта, словно повторяя заученную роль.

— А ведь вы лижете алтарь этих монахов, лижете! — говорил Давна.

— А вы рады бы лизать им и то, чего вообще не лижут, если бы попы захотели. А они не хотят. От вас, французов, им ничего не надо. Но, слышал я, вы открываете синагогу в одном крыле императорского французского консульства.

— Нет, не открываем. На что нам синагога? Гораздо приятнее ходить в церковь в Долац и смотреть, как его превосходительство императорский и королевский генеральный консул и его уважаемый переводчик прислуживают отцу Иво во время мессы.

— А почему бы нет? Я могу и это.

— Знаю, знаю. Ты все можешь. Одного только не можешь. Подрасти не можешь!

— Ты прав. Этого, видишь ли, никак не могу,— отвечал горбун, не моргнув глазом,— но, поверь, ничуть об этом не жалею с тех пор, как встретил тебя, долговязого. И подумать только, как ты еще вытянешься после смерти. Вот мучение будет подыскать гроб для такого покойничка!

— Эх, кабы посчастливилось мне видеть твою кончину, не пожалел бы ни труда, ни денег, а уж нашел бы тебе гробик! — И Давна раздвинул руки на аршин.

— Э, нет, нет! Я еще умирать не собираюсь. Да и с чего мне умирать, ведь не ты меня лечишь?

— Кто тебя станет лечить, холера разве!

— Знаю, что вы с ней коллеги. Только она убивает, по крайней мере, бесплатно. Правда, у тебя рука вернее. От нее можно как-нибудь остеречься и уцелеть, а от тебя уж не спасешься.

В таком духе и продолжается беседа, пока оба не разразятся смехом, глядя друг на друга наглым и пронизывающим взглядом.

Разговоры эти, происходившие всегда без свидетелей, были своего рода разрядкой и гимнастикой для обоих толмачей. Заканчивались они снова по-французски, учтиво и церемонно. И, глядя,

как низко кланялись они на прощание, снимая шляпы, жители Травника делали всевозможные заключения из дружественного и длительного разговора чиновников двух христианских государств.

Со всеми остальными в Травнике Ротта держался одинаково: нагло, угрюмо, недоверчиво, деловито и лаконично.

Родом из Триеста, Ротта был двенадцатым ребенком в семье Джиованни Скарпаротта (Giovanni Scarparotta), бедного сапожника, умершего от пьянства. Двенадцатый ребенок, маленький уродливый горбун, был так слаб в первые месяцы жизни, что постоянно зажигали свечу и раз даже омыли его и приготовили к погребению. Но когда этот бледный, тщедушный и горбатый мальчик пошел в школу, оказалось, что он способнее всех своих братьев и что из него может выйти нечто большее, чем были его отец и дед. И в то время как остальные братья, рослые и здоровые ребята, пошли либо в моряки, либо в ремесленники или предались тем неопределенным занятиям, которые в Триесте дают такой же заработок, как и обычное ремесло, горбуна взяли на службу в канцелярию пароходного общества.

Тут слабенький и молчаливый мальчик с большими глазами и чувственным ртом на бледном лице, разнося почту и оттачивая перья, впервые увидел, как выглядит жизнь господ в больших и чистых домах, жизнь богатых людей в благоприятных условиях, в обществе, где разговаривают, не повышая тона, и обращаются друг с другом вежливо, где никогда не говорят о еде, одежде, и прочих насущных потребностях, как о вещах само собой разумеющихся, и где все помыслы и усилия направлены к каким-то отдаленным, высшим целям. Мальчик сравнивал эту жизнь, в которую он мог заглянуть только днем, когда обходил канцелярии, с теснотой, грязью и убожеством отцовского дома, с мерзостями, ссорами и грубостью в своей семье и у соседей. И безмерно страдал от этого сравнения. Теперь, когда он узнал, что существует и другая жизнь, он уже не мог оставаться в нищете, в которой родился и в которой ему суждено было прожить всю жизнь. И как-то раз перед рассветом, после ночи, проведенной в мучительных размышлениях, мальчик вылез из-под лохмотьев, под которыми спал и к которым испытывал непреодолимое отвращение, и на коленях, обливаясь слезами, поклялся, сам не зная кому и чем, что он или избежит участи своих близких, или вообще не будет жить.

Рядом с ним крепко спали его многочисленные братья, младшие и старшие, награждаемые побоями мальчики на побегушках или черные и грязные безработные, покрытые таким же тряпьем, как и он. Но он видел в них не родных братьев, а отвратительных рабов, с которыми невозможно жить и от которых надо бежать как можно скорее, во что бы то ни стало и навсегда.

С этого дня горбатый мальчик окончательно склонился к легкой и красивой жизни. Он работал безропотно и преданно, угадывал желания своих хозяев, учился, наблюдал, прислушивался и с упорством отчаявшегося человека старался найти дверь в эту привлекающую его красивую жизнь и узнать, как она открывается. Бессознательное, но глубокое желание проникнуть туда, остаться там влекло его вперед, а в спину с не меньшей силой толкала огромная ненависть к другой, страшной жизни в родительском доме и неизбывное отвращение ко всему, что было с ним связано.

Энергия и рвение не могли остаться незамеченными и не принести плодов. Мальчик постепенно приучался к канцелярской работе. Ему стали давать небольшие поручения на корабли и к городским властям. Он был скромен, неутомим, выказывал большие способности к языкам и обладал прекрасным почерком. Начальство его заметило. Ему дали возможность изучить немецкий язык. Увеличили жалованье. Он стал брать уроки французского языка у одного эмигранта-роялиста. Разбитый параличом старик, вынужденный зарабатывать на жизнь частными уроками, когда-то принадлежал к избранному, просвещенному парижскому обществу. От него молодой Никола Скарпаротта воспринял многое не только в области языка, но и географии, истории и того, что старый господин называл «знанием жизни».

Когда молодой человек постиг все это, он весьма просто и хладнокровно покинул родительский дом в бедном квартале и нанял себе скромную, но чистую меблированную комнату у одной вдовы. Это был первый шаг к тому лучшему обществу, куда он стремился проникнуть.

Постепенно он стал необходимым и в канцелярии пароходного общества, и при встрече судов — для переговоров с иностранцами. Он легко и свободно объяснялся на пяти языках, знал в точности названия всех учреждений в империи и звания всех чиновников. Он помнил все, о чем должны были, но не хотели помнить другие, хотя и испытывали в этом постоянную потребность. И при всем том оставался таким же скромным, тихим, не выказывал собственных нужд и желаний, всегда готовый к услугам, но при этом без всякой назойливости.

Его приметил и комендант города майор Калхер, которому горбатый юноша оказал кой-какие услуги и сообщил много полезных сведений об иностранцах, прибывавших или отъезжавших на кораблях общества. И когда майора назначили в Земун, он через некоторое время предложил молодому человеку работать в земунской комендатуре в качестве переводчика и осведомителя.

Сын сапожника, бежавший из одного мира и старавшийся занять место в другом, усмотрел в этом предложении перст судьбы

и желанную возможность физически убраться подальше от отцовской нищеты, существовавшей где-то рядом, в нескольких улицах от него.

Так молодой человек прибыл в Земун. И здесь он сразу выдвинулся благодаря своему рвению и ловкости. Пробирался в Белград по секретным делам, допрашивал иностранцев в карантине (за последнее время он изучил еще греческий и испанский языки). Здесь сын триестского сапожника, желая окончательно уничтожить следы своего происхождения, отбросил часть своего имени — Scarpa и стал называться Rotta, а одно время даже и de Rotta. Здесь он и женился на левантинке, дочери стамбульского экспортера, приехавшей к родственникам в Земун. Отец ее родился в Стамбуле, но по происхождению был далматинец, мать была гречанка.

Девушка, красивая, полненькая, тихая, обладала к тому же приданым. И Ротте показалось, что такая жена явится тем последним звеном, которое должно навеки упрочить его положение в обществе, где жизнь легче и лучше, и на этом закончится его многолетний подъем, полный мук и лишений.

Но как раз тут-то Ротта вдруг стал понимать, что женитьба не может служить ни вожделенным концом пути, ни долгожданной наградой. Он уже устал, а жизнь расстилалась перед ним как бесконечная линия, не сулящая ничего постоянного и определенного, подобно предательской игре бесчисленных зеркал, открывающих все новые и все более отдаленные и, по всей вероятности, столь же обманчивые перспективы.

Жена оказалась ленивой, болезненной, расточительной, человеком трудным во всех отношениях. (Если бы Ротта не порвал так резко и полностью всякую связь со своим детством, он мог бы вспомнить пословицу, которую ребенком часто слышал в семейных разговорах: «Chi vuol fare la sua rovina prende la moglie levantina» [1]. Работа в Земуне была далеко не такой спокойной и невинной, как в Триесте. Ему поручали опасные и щекотливые дела, которые истощали нервы и не только отнимали дни, но и лишали сна. Иметь дело с разношерстным, хитрым, грубым и коварным народом, сновавшим из Белграда в Земун, из Земуна в Белград, вниз и вверх по Дунаю, было очень сложно и тяжело. Неожиданно он наталкивался на недоброжелательство, непредвиденные преграды и подлую месть. Чтобы выдержать все это, Ротта принужден был пользоваться теми же средствами. Постепенно он приобрел тот сухой и наглый тон, свойственный телохранителям и толмачам на Ближнем Востоке, который служит внешним проявле-

[1] Кто ищет своей гибели — пусть женится на левантинке *(итал.)*.

нием внутренней пустоты, недоверия к людям и отсутствия всяких иллюзий.

Так как и вторая их девочка умерла, прожив всего несколько месяцев, супружеская жизнь наполнилась враждой и ненавистью. Начались препирательства, и не потребовалось много времени на то, чтобы они превратились в бурные ссоры, по своей мерзости и грубости нисколько не уступавшие тем ссорам, которые Ротта помнил со времен детства. Наконец жена бросила его без сожаления и скандала и вернулась в Стамбул, который ей, по их обоюдному мнению, никогда и не следовало покидать.

И тут Ротте стало совершенно ясно, что для того, чтобы человек мог перешагнуть из мира, в котором он родился, в другой, к которому он почувствовал влечение, случайно заглянув туда, недостаточно ни клятвы чувствительного горбатого мальчика, расплакавшегося ночью из-за нищеты, ни двадцати лет упорного, тяжелого труда и службы. И, что еще хуже, этот «новый» мир вовсе и не существует в действительности как нечто обособленное, определенное и устойчивое, чего можно достигнуть и чем можно завладеть раз и навсегда, как ему казалось в первые годы, точно так же как и «старый» мир нищеты и подлости, из которого он вырвался ценой страшных усилий, не так-то легко и просто отбросить, как он это сделал с братьями и сестрами и всем тряпьем в родительском доме: «старый» мир незаметно и неизбежно преследует человека сквозь все кажущиеся перемены и успехи.

Едва достигнув тридцати лет, Ротта уже чувствовал себя обманутым и усталым, как человек, который потратил много сил и которому не заплачено по заслугам. Он не был склонен к отвлеченному мышлению, но не мог не задуматься о своей судьбе и не почувствовать себя одиноким и разочарованным. Спасаясь от своих мыслей и самого себя, он целиком окунулся в серую, утомительную жизнь на границе и в карантине, где люди грубеют сверх всякой меры и стареют прежде времени. Он стал жаден на деньги и заработки, завистлив к сослуживцам, до крайности раздражителен и горяч, назойлив, груб, суеверен и труслив. Его тщеславие казалось чрезмерным, и гордился он не тем, чего достиг, а никому не видимыми усилиями и ценой, заплаченной за достигнутое.

Не остался он верен и тщеславию,— с годами даже наши пороки перестают нам доставлять удовольствие. Перестав видеть смысл в дальнейшем продвижении по пути, который так утомил и разочаровал его, Ротта отдался течению, желая лишь жить безбедно, не болеть, иметь как можно меньше работы и забот и как можно больше мелких удовольствий, уверенности и доходов.

Подобно Давне, переводчику французского консульства, Ротта сжился с боснийскими мусульманами, привык к их обычаям и нра-

вам, к этой нечеловеческой жизни, проходившей в постоянном общении, но и в постоянной ненависти и постоянном соперничестве с турками, с райей всех вероисповеданий и всевозможными путешественниками.

Преждевременно растратив силы, Ротта превратился в седого, сварливого и эгоистичного ипохондрика, исполненного навязчивых идей и канцелярского педантизма. Он страдал от воображаемых болезней, боялся дурного глаза и дурных примет, ненавидел церковь и все, что с ней связано. Чувствовал себя одиноким, с омерзением вспоминал свою жену и совместную с нею жизнь, но страшился также подумать о грязной крикливой бедности, которую он когда-то оставил в Триесте, и не желал даже слышать фамилии своей семьи. Удовольствие он находил в сбережениях и копил со страстью, надеясь хоть таким образом исправить все испорченное и исковерканное в жизни, уверенный, что только деньги могут как-то возвысить, спасти и защитить.

Ротта любил хорошо поесть и выпить, но опасался, что еда отравлена, избегал расходов и боялся, выпив лишнее, проговориться и выдать себя. (Этот беспричинный страх быть отравленным овладевал им все чаще, хотя он старался бороться с этой манией, пугавшей его не меньше и даже больше возможности настоящего отравления.) Когда он был моложе, он много внимания уделял одежде и находил удовольствие в том, что люди удивлялись безукоризненной белизне его рубашек и кружев на манишке и манжетах, пестроте и количеству шелковых платков, безупречному блеску обуви. Но сейчас он отступился и от этого. Страсть к накоплению взяла верх над всем остальным.

И само его богатство, собранное с таким трудом и столь ревниво оберегаемое, вызывало в нем страх нищеты. Правда, говорили, что когда-то, будучи молодым щеголем, он имел сто одну рубашку и тридцать пар обуви. И теперь сундуки его полны. Правда и то, что у него водилось и золото. Но к чему все это, когда он ни на минуту не забывал, что его рубашки медленно, но неизбежно обтрепываются, а на ботинках сбиваются носки и каблуки и что не существует такого безопасного места, куда можно было бы спрятать деньги. Чего стоит все это? Какая польза от двадцати лет скотской работы и лишений? Когда ни деньги, ни положение, ни одежда не могут изменить судьбу («шлюху судьбу», как Ротта называл ее по ночам, произнося истеричные монологи), когда все рвется, портится, изнашивается, а сквозь дырки на одежде и обуви, при всем изобилии, проглядывает ему одному заметная позорная нищета, оставшаяся, как он считал, где-то там, в Триесте, далеко позади и навсегда. Забота, связанная с необходимостью прятать и хранить деньги, была как две капли воды похожа на веч-

ную заботу в детстве о недостающем гроше, а мучения, связанные с экономией и скупостью,— на мучения бедности и нищеты. К чему все это? Чего все это стоит, если после стольких усилий и бесполезных побегов и подъемов человек снова возвращается к исходному пункту, когда в его мысли, только иным способом, проникают все те же мерзость и подлость, а в его слова и поступки — грубость и невежество; когда для того, чтобы сохранить нажитое, он должен испытывать те же отвратительные муки, какие сопутствуют нищете. Короче говоря, к чему иметь много и быть кем-то, если человек не в силах освободиться ни от страха перед нищетой, ни от подлости в мыслях, ни от грубости в речи, ни от неуверенности в поступках и когда за ним по пятам следует горькое, неотвратимое и скрытое несчастье, а прекрасная, благополучная и спокойная жизнь исчезает, как обманчивое видение.

И, поняв, что все было напрасно и что от своего происхождения и детства не так-то легко убежать, Ротта еще выше запрокидывал голову, выступал еще более нагло, с еще большим презрением оглядывал людей, все сильнее экономил и еще педантичнее поддерживал порядок в канцелярии и все строже и неумолимей обращался с теми, кто был моложе или зависел от него.

Помимо Николы Ротты, в австрийском генеральном консульстве было еще двое младших служащих.

Чиновник Франц Вагнер, сын немца, переселившегося в Славонский Брод, небольшого роста белокурый услужливый человек с превосходным почерком и неутомимый в работе. Серенький, маленький, таявший от угодливости под взглядом начальства, он однако, таил в себе в избытке ту мягкую и податливую, но грубую и убийственную канцелярскую подлость, приглушенную и глубоко затаенную, которую позднее, достигнув повышения по службе, он обрушит на голову какому-нибудь несчастному подчиненному, пока еще, может быть, посещающему школу. Вагнер был главным противником Ротты. Они постоянно препирались и держались как два исконных врага.

Младшим чиновником был славонец Петар Марковац, статный унтер-офицер, румяный красавчик, с черными подкрученными усиками, подтянутый и аккуратный, целиком занятый своей персоной, всегда довольный собой и не имевший никакого желания думать о чем-либо ином.

VII

Осень кончилась, зима не началась, и стоит себе ни осень, ни зима; безвременье это хуже и того и другого; чудовищная пора длится днями, неделями, дни кажутся неделями, а недели тянутся

дольше месяцев. Дождь, грязь; снег еще в воздухе превращается в дождь, а едва коснувшись земли — в грязь. Бледное и какое-то бессильное солнце сквозь облака еле зарумянит на заре восток и только под вечер, прежде чем серый день перейдет в черную ночь, появится на западе в виде золотистой полоски. И днем и ночью все насыщено влагой, она сыплется с неба, поднимается с земли, окутывает весь город, проникает во все вещи; невидимая, но всемогущая, она изменяет окраску и очертания предметов, повадки животных, поведение, мысли и настроение людей. Ветер, дважды в день проносясь через котловину, всколыхнет застоявшуюся влагу, но вместе со слякотью и запахом мокрых лесов принесет новые массы влаги, и густая городская сырость вытеснится и заменится горной леденящей сыростью. По обе стороны долины образуются топи, бьют источники, бушуют потоки. Едва заметные ручейки превращаются в водопады, с грохотом низвергаются вниз, врываются в торговую часть города, словно пьяный, ничего не видящий перед собой крестьянин. А посреди города с гуденьем катит свои воды неузнаваемая Лашва, помутневшая и вздувшаяся. Негде укрыться от рева и шума вод, защититься от пронизывающей сырости и холода, которые пробираются в комнаты, в постели. Всякое живое существо спасается лишь собственным теплом, и на камне стен выступает холодный пот, и дерево становится скользким и мягким. Перед этим смертоносным нашествием сырости все замыкается в себе, изыскивая лучшие способы самозащиты; звери льнут друг к другу, семя замирает в земле, а деревья мокнут и зябнут, пряча затаенное дыхание в сердцевине и теплых корнях.

Местные жители, закаленные и ко всему привыкшие, согреваются и питаются, поддерживая себя так, как им подсказывают инстинкт и опыт,— каждый в соответствии со своими возможностями, привычками и средствами, сообразно состоянию или общественному положению. Богатые не выходят из дому без крайней необходимости, а проводят дни и ночи в душных комнатах, грея руки о зеленые изразцы печей, и ждут с терпением, запас которого так велик, что даже самая долгая зима и непогода кончаются неожиданно. Никто не боится что-либо пропустить, в чем-то отстать, оказаться застигнутым врасплох — все до единого живут в одинаковых условиях, той же жизнью, в одном и том же ритме. Все, что требуется, под рукой и под ключом: в подвале, на чердаке, в амбаре, в кладовой,— богатым хорошо знакома здешняя зима, и они встречают ее во всеоружии.

По-другому ведут себя бедняки. В такие дни отсутствие запасов выгоняет их из дому, и даже тот, кто летом ни перед кем не склонял головы, принужден теперь делать это, чтобы заработать, занять или выпросить, «добыть» что-то и принести домой. Съежив-

шиеся, окоченевшие бедняки идут, потупясь, на розыски пищи и топлива, накрыв голову и плечи старым мешком, сложенным в виде капюшона. В платках, подпоясанные и обмотанные тряпьем так, что нельзя их узнать, в кожаной, тряпичной или деревянной обуви, они крадутся под навесами и балконами, осторожно обходят лужи, перепрыгивают с кампя на камень через мелкие ручейки, встряхивают ногами, словно кошки, согревая руки собственным дыханием или хлопая ими по бедрам, щелкая зубами или напевая, работают, служат, просят милостыню и при мысли о пище и тепле, которые они смогут добыть такими способами, находят в себе силы вытерпеть все.

Вот как жители Травника переносят эту тяжелую пору, к которой они привыкли с детства.

Иное дело иностранцы, которых судьба забросила в узкую долину, темную в это время года и «полную сырости и сквозняков, как тюремный коридор».

В Конак, где жизнь течет обычно шумно и беззаботно, словно в кавалерийской казарме, сырость вместе со скукой пробиралась, как болезнь. Мамелюки визиря, для которых это была первая в жизни зима, дрожащие и бледные, оторопело глядели вокруг себя грустными, больными глазами, подобно тропическим животным, попавшим на север. Многие по целым дням лежали, с головой укрывшись одеялом, кашляли и по-настоящему болели от тоски по далеким и теплым родным краям.

И даже звери, которых визирь привез в Травник — ангорские кошки, попугаи и обезьяны,— не прыгали и не кричали, забавляя своего хозяина; забившись в угол, они ждали в тоскливом молчании, когда солнце согреет и порадует их.

Тефтедар и остальные приближенные визиря не покидали своих покоев, словно на дворе было наводнение. В каждой комнате стояла большая изразцовая печь с топкой, выходящей в коридор, и слуги так набивали их тяжелыми грабовыми поленьями, что жар держался всю ночь, и по утрам растапливали печи на остатках еще тлеющих углей. Лежа в теплой, не успевающей охладиться комнате, приятно на заре слушать, как снаружи отворяют дверцу печи, сгребают золу и кладут новые дрова, полено на полено. Но скука забиралась и сюда задолго до ранних сумерек. Борясь с нею, люди собирались вместе, беседовали, придумывали игры и забавы. И сам визирь терял присущую ему жизнерадостность. По нескольку раз в день выходил он в нижний, темный зал с толстыми стенами и редкими маленькими окнами, так как верхний, где было больше воздуха и света, целую зиму оставался закрытым, предоставленный господству холода. Сюда визирь приглашал старших и приближенных чиновников, чтобы скоротать

время в разговорах. Он подолгу толковал о самых незначительных вещах, стараясь отогнать воспоминания о Египте, мысли о будущем и тоску по морю, которая мучила его даже во сне. Десять раз на дню он с иронией замечал, обращаясь то к одному, то к другому:

— Прекрасная страна, дорогой мой, благодатная страна! Чем только мы с тобой прогневали бога и судьбу?

И каждый отзывался в достаточной мере выразительно и весьма нелестно о стране и климате. «Собачья страна!» — говорил тефтедар. «Здесь и медведь расплачется»,— жаловался земляк визиря силахдар Юнуз-бег. «Теперь ясно, что нас послали сюда на погибель»,— твердил личный друг визиря Ибрагим-ходжа, и по желтому лицу его протягивались морщины, словно он и вправду готовился к смерти.

Подобными взаимными жалобами они хоть немного рассеивали скуку. А сквозь эти разговоры слышался шум воды и шелест дождя и чувствовалось море сырости, уже много дней окружавшее Конак и пробиравшееся в каждую дырку, в каждую щель.

Когда появлялся Сулейман-паша Скоплянин, чехайя, ежедневно невзирая на холод и дождь проезжавший по нескольку раз через город, они смолкали и глядели на него как на чудо.

В разговоре со своим помощником, простым, здоровым боснийцем, визирь спрашивал шутливым тоном, стараясь быть сдержанным и внимательным.

— И часто, скажи на милость, сваливаются на город такие бедствия?

Сулейман-паша отвечал серьезно на ломаном турецком языке:

— Слава богу, паша, тут нет никакого бедствия,— зима началась хорошо, как полагается; если вначале она сырая, а под конец сухая, значит, год будет добрый. А выпадет снег да грянут морозы, увидишь, как все озарится солнцем, под ногами заскрипит и заискрится. Любота и красота — как бог сотворил и как быть надлежит.

А у визиря мурашки по коже пробегали от этих новых чудес, которые чехайя обещал ему с таким воодушевлением, потирая покрасневшие костлявые руки и грея у печки ноги в отсыревших чулках.

— Ух, помилосердствуй, друг-приятель, нельзя ли полегче как-нибудь? — шутил визирь.

— Э, нет, нет! Пусть будет так, как богом положено. Не годится, когда зима не зима,— твердо и все так же серьезно заявлял чехайя, отнюдь не задетый тонкими остротами пришлых турок и равнодушный к их чувствительности. Он сидел прямой, крепкий и невозмутимый среди зябких и пасмешливых чужестранцев, смотревших на него со страхом и любопытством, словно он

был тем, кто неумолимо распоряжается погодой и сменой времен года.

Когда же чехайя поднимался и, запахнувшись в свой широкий красный плащ, отправлялся верхом в ледяной дождь по грязным улицам в свой дом, оставшиеся испуганно и безнадежно переглядывались, а как только за ним затворялись двери, продолжали с издевками поносить и боснийцев, и Боснию, и небеса над нею, пока им не становилось легче от всех этих злобствований и нареканий.

Во французском консульстве жизнь также пошла более замкнуто и тихо. Госпожа Давиль, впервые знакомившаяся с травницкой зимой, старалась все учесть и запомнить на будущее, искала и находила выход из любого положения. Закутанная в серую кашемировую шаль, проворная и неутомимая, она целыми днями расхаживала по огромному турецкому дому, отдавая приказания, не всегда понятные прислуге из-за того, что госпожа Давиль не знала языка, а местные жители не умели прислуживать по хозяйству, но все же она заставляла себя слушаться и более или менее добивалась желаемого. А в такую погоду особенно проступали недостатки и недочеты дома. Крыша протекала, с полу дуло, окна плохо затворялись, штукатурка отваливалась, печи дымили. Но в конце концов госпожа Давиль сумела все починить, устроить и наладить; ее сухие, всегда красные руки посинели от холода, но не знали ни минуты покоя в борьбе с порчей, изъянами и беспорядком.

В комнате нижнего этажа, сыроватой, но хорошо натопленной и светлой, сидит Давиль со своим молодым чиновником. Разговор идет о войне в Испании и о французских властях в Далмации, о курьерах, которые то опаздывают, то вовсе не приезжают, о министерстве, не отзывающемся на просьбы и требования, но больше всего о плохой погоде, о Боснии и боснийцах. Беседуют спокойно и обстоятельно, проводя время в ожидании, когда слуга внесет свечи или позовет ужинать, пока разговор незаметно не переходит на общие темы и не превращается в спор и ссору.

Наступил тот час дня, когда свет еще не зажигают, но читать уже нельзя. Дефоссе только что вернулся с прогулки — даже в такую погоду он неукоснительно, хотя бы раз в день, выезжал верхом в окрестности города. Лицо его раскраснелось от ветра и дождя, короткие волосы растрепались и слиплись. Давиль с трудом скрывал недовольство, считая, что эти прогулки опасны для здоровья и наносят ущерб авторитету консульства. Его вообще раздражал подвижной и предприимчивый молодой человек, живой и любознательный по складу своего характера. А Дефоссе, нечувст-

вительный к замечаниям консула, понятия которого были ему совершенно чужды, с воодушевлением рассказывал о том, что он подмечал и узнавал во время своих прогулок по Травнику и его окрестностям.

— Э,— небрежно замечал Давиль,— Травник и на сто миль вокруг всего лишь грязная пустыня, населенная страдальцами двоякого рода: мучителями и мучениками, а мы, несчастные, принуждены жить среди них.

Дефоссе не уставал доказывать, что этот край, кажущийся мертвым и изолированным от остального мира, вовсе не пустыня, а, напротив, весьма разноликий, во всех отношениях любопытный и по-своему выразительный; правда, народ, разъединенный несколькими вероисповеданиями, полон суеверий, управляется самой плохой в мире властью, а потому во многом отстал и несчастен, но в то же время богато одарен, обладает своеобразными особенностями, придерживается интересных обычаев; поэтому стоит потрудиться и найти причины этой отсталости и несчастья. А то, что господину Давилю, господину фон Миттереру и господину Дефоссе, как иностранцам, жизнь в Боснии тяжела и неприятна, еще ничего не доказывает. Уровень и значение той или иной страны не измеряется тем, как себя чувствует в ней консул иностранной державы.

— Наоборот, думается мне,— говорил в тот вечер Дефоссе,— трудно найти страну, менее похожую на пустыню и менее примитивную, чем эта. Надо только копнуть поглубже, и наткнешься на могилы и остатки прошлого. Тут каждое поле — кладбище, и не одно; некрополь над некрополем — по мере того, как люди рождались и умирали, одно поколение сменялось другим в течение столетий, эпоха за эпохой. А кладбища — доказательство жизни, а не пустыни...

— Эх,— отмахиваясь, как от назойливой мухи, воскликнул консул, которого постоянно коробила манера молодого человека выражать свои мысли.

— И не только кладбища не только кладбища! Сегодня по пути в Калибунар я заметил в одном месте размытую дождем дорогу. На глубине примерно шести локтей, словно геологические пласты, видны остатки дорог, пролегавших когда-то по этой долине. Тяжелые плиты на самом дне — остатки римской дороги, тремя локтями выше — обломки мостовой средневекового пути и сверху — щебень и насыпь теперешней турецкой дороги, по которой мы ездим. Так в случайно образовавшемся разрезе отразились две тысячи лет человеческой истории, три похоронившие одна другую эпохи. Видите!

— Вижу. Если, конечно, судить о вещах с этой точки зре-

ния...— произнес Давиль, лишь бы сказать что-нибудь, потому что он не столько слушал, сколько наблюдал за холодным блеском карих глаз Дефоссе, словно старался лучше разглядеть, что это за глаза, которые так смотрят на мир.

Дефоссе рассказывал уже о следах неолитических поселений по дороге к селу Забилье, где он еще до дождей нашел клинок и маленькие кремниевые пилы, быть может, десятки тысяч лет пролежавшие в глине. Нашел он это на поле некоего Караходжича, заносчивого и угрюмого старика, не желавшего и слышать о том, чтобы раскапывали его землю и что-то в ней искали. Он долго провожал сердитым взглядом чужестранца и его телохранителя, направившихся в Травник.

По дороге телохранитель рассказал о происхождении и судьбе этих Караходжичей.

Более двухсот лет назад, во время великих войн, они переселились из здешних мест в Славонию, в окрестности Пожеги, где им достались два больших имения. Сто двадцать лет спустя, когда турецкие власти принуждены были уйти из Славонии, семье пришлось бросить прекрасные владения возле Пожеги и вернуться на небольшие скудные земли у Забилья. До сих пор в семье хранится как напоминание об утраченном богатстве и власти медный котел, который они привезли с собой, когда при старом Караходже, униженные и озлобленные, вернулись в Боснию. Завещая этот котел, Караходжа каждому из наследников наказал никогда не уклоняться от войны против швабов и делать все от них зависящее, чтобы вернуть потерянные владения в Славонии, если же, на их несчастье и с божьего попущения, швабы перейдут Саву, заклинал защищать скудные поля в Забилье до последней возможности, а в самом крайнем случае бежать дальше, от города до города, через всю Турецкую империю, хотя бы и до самой границы, до неведомых земель Чина и Мачина.

Рассказывая об этом, телохранитель показал на пригорок, где рядом со сливовым садом виднелось маленькое турецкое кладбище и на нем два высоких надгробных камня. Это были могилы старого Караходжи и его сына — деда и отца того старика, который все еще стоял, нахохлившись, возле ограды, гневно бормоча что-то,— видно было, как шевелились его губы и сверкали глаза.

— Видите ли,— продолжал Дефоссе, вглядываясь в сумрак сквозь затуманенное окно,— не знаю, что меня больше заинтересовало: остатки ли каменного века за десять тысяч лет до рождества Христова или этот старик, оберегающий завещанное предками и не позволяющий и пальцем коснуться его земли.

— Да, да,— машинально и рассеянно отозвался Давиль, удивляясь, чего только не видит этот молодой человек.

Расхаживая по комнате во время разговора, оба остановились у окна.

Смеркалось. Огней еще нигде не зажигали. Только в долине, у самой реки, мерцал свет в гробнице Абдулах-паши — неугасимая свеча над его могилой. Ее слабое пламя постоянно видно было из окон консульства, даже когда остальные огни в городе еще не зажигались или уже были погашены.

Часто, стоя так у окна в ожидании полной темноты, Дефоссе и консул разговаривали о паше и «вечном пламени» его свечи, к которой они привыкли как к чему-то неизменному и хорошо знакомому.

Дефоссе знал и историю паши.

Абдулах-паша, местный уроженец, разбогател и прославился еще в молодые годы. Он побывал во многих странах и с армией и как наместник. Назначенный визирем в Травник, он скоропостижно в расцвете сил умер и был похоронен здесь. (Говорят, его отравили.) О нем вспоминали как о мягком и справедливом правителе. Один травницкий летописец записал, что «во время правления Абдулах-паши бедняки не знали горя». Перед смертью он завещал свое имущество травницкому монастырю дервишей и другим духовным заведениям. Значительную сумму оставил на сооружение красивой гробницы из дорогого камня, а на доходы от домов и земель велел поставить над своей могилой восковую свечу необычайной толщины, которая должна гореть денно и нощно. Гроб его был покрыт зеленым сукном с вышитой на нем надписью: «Пусть всевышний освещает его могилу». Эту надпись придумали ученые люди из монастыря дервишей, выражая благодарность своему покровителю.

Дефоссе удалось разузнать, где хранится завещание визиря, которое он считал интересным документом, характерным и для людей и для обстановки. И в этот вечер он жаловался на то, что не может добиться разрешения посмотреть и переписать его.

Разговор оборвался. В наступившей на мгновение тишине из сгущавшегося сумрака, словно стон из глубины вод, послышалась тягучая мелодия непонятной песни. Мужской голос пел на ходу, обрывая и через несколько шагов снова затягивая песню. Человек удалялся, и голос его доносился все слабее.

Давиль нетерпеливо позвонил и приказал принести свечи.

— Ах, эта музыка! Боже мой, эта музыка! — сетовал консул, которого боснийское пение приводило в отчаяние.

Пел, как обычно, проходя мимо, Муса, по прозвищу Певец. Он жил в одном из тех домишек, что терялись в садах на крутой горе над консульством.

Дефоссе, который всем интересовался и обо всем расспрашивал, узнал историю и этого пьянчужки и кутилы; каждый вечер тот возвращался этой дорогой домой, пошатываясь и напевая сиплым голосом тягучую мелодию.

В Травнике жил некогда старый Крджалия, человек низкого происхождения, с плохой репутацией, но очень богатый. Торговал он оружием, а это товар доходный, ибо тот, кому требуется оружие, не спрашивает о цене, а дает любую, лишь бы получить оружие в нужное время и в нужном месте. Было у него два сына. Старший работал с отцом, а Мусу послали в Сараево, в школу. В это время старик Крджалия скоропостижно умер. Лег спать здоровым, а наутро его нашли мертвым. Муса бросил школу и вернулся в Травник. При разделе выяснилось, что после старика осталось поразительно мало наличных денег. О смерти старика поползли всевозможные слухи. Люди не хотели верить, да и трудно было допустить, что у него не было денег, и многие, заподозрив старшего брата, стали подбивать Мусу отстаивать свои права судом. При дележе имущества старший брат также старался притеснить и обобрать младшего. Высокий и красивый, он принадлежал к числу тех холодных людей, у которых даже при улыбке глаза остаются мрачными. Пока продолжался дележ и Муса колебался между свойственным ему пренебрежением к деньгам и всему, что с ними связано, и советами городских тузов, произошло нечто более ужасное и тяжкое. Братьям приглянулась одна и та же девушка из Вилича. Оба посватались. Отдали ее старшему. Тогда Муса пропал из Травника. О подозрительном разделе между братьями, как и о смерти Крджалии, говорить перестали. Старший брат занимался своим делом и увеличивал состояние. Через два года Муса вернулся — с усами, бледный и худой, с тяжелым, неуверенным взглядом человека, который недосыпает и любит выпить. Он поселился в своей части усадьбы — не маленькой, но плохо управляемой и запущенной. Красивый юноша, сын богача, обладавший чудесным голосом и совершенным слухом, с годами превратился в тощего бедняка, зарабатывавшего на водку пением, немногословного и незлобивого весельчака, около которого всегда вертелись дети. Долго сохранялся только его замечательный голос. Но теперь и он был надорван, как было подточено здоровье и истрачено состояние.

Слуга внес свечи. По комнате забегали и застыли тени. Окна сразу задернулись мраком. Песня пьяного Певца совсем замерла; прекратился сопровождавший ее лай собак. Вновь водворилась тишина. Консул и Дефоссе молчали. Каждый думал свою думу, и каждый мечтал очутиться подальше отсюда и в обществе другого собеседника.

И снова молчание прервал Дефоссе. Он заговорил о Мусе Певце и подобных ему людях. Давиль спорил с ним, уверяя, что этот горластый и вечно пьяный сосед никакое не исключение, а типичный представитель среды, которую отличают пристрастие к ракии, нерадивость и всяческая грубость. Дефоссе не соглашался. В подобной среде всегда встречаются такие люди, и тут нет ничего удивительного, доказывал он. На них смотрят со страхом и жалостью, но и со своего рода религиозным уважением, подобно тому как древние греки поклонялись энлисимону, то есть месту, куда ударяла молния. Но эти люди вовсе не типичны для данного общества. Напротив, их считают исключением, людьми потерянными. Существование таких одиноких и выброшенных из своей среды людей, предоставленных своим страстям, своему позору и скорой гибели, доказывает лишь, насколько крепки связи и неумолимо строги законы общества, религии и семьи в патриархальном быту. Это касается и турок и райи всех вероисповеданий. В подобной среде все тесно связано и прочно пригнано одно к другому, все друг друга поддерживают и следят друг за другом, каждый в отдельности наблюдает за всеми, а все вместе наблюдают за каждым. Дом следит за домом, улица за улицей, ибо каждый отвечает за каждого, а все — за всех и каждый тесно связан с судьбой не только своих родственников и домочадцев, но и соседей, единоверцев и сограждан. В этом и сила и рабство этих людей. Жизнь отдельной личности возможна лишь в этой структуре, а жизнь всей общины — только при данных условиях. Кто пытается выбиться из этого уклада, жить своим умом и согласно своим инстинктам, подобен самоубийце и рано или поздно неминуемо и неизбежно погибнет. Это закон таких обществ, о которых говорится еще в Ветхом завете. Существовал он и в античном мире. В одном из своих сочинений Марк Аврелий говорит: «Подобен изгнаннику тот, кто уклоняется от обязанностей перед обществом». Муса преступил этот закон, а нарушенный закон и попранное общество мстят и наказывают за себя.

Давиль по-прежнему не столько слушал молодого человека, сколько наблюдал за ним. И думал: он, по-видимому, решил объяснить и оправдать сегодня все ужасы и безобразия этой страны. Вероятно, в своей книге о Боснии он как раз дошел до этого места и теперь чувствует потребность прочесть об этом лекцию — мне или кому угодно. Возможно, все это только сейчас пришло ему в голову. Но так или иначе, передо мной — молодость. Легкость, самоуверенность, сила логики и твердость убеждений. Да, это молодость.

— Надеюсь, дорогой друг, что все это мы прочтем в вашей книге, а сейчас посмотрим, как обстоит дело с ужином,— прервал

Давиль лекцию молодого человека и собственные размышления о нем.

За ужином разговор обычно ведется о будничных вещах и событиях. В нем участвует и госпожа Давиль своими короткими и трезвыми замечаниями. Разговор вертится главным образом вокруг кухни: вспоминают кушанья и вина различных областей Франции, сравнивают с турецкой кухней, выражают сожаление, что нет французских овощей, французских вин и пряностей. В начале девятого госпожа Давиль сдержанно зевает, что означает конец ужина. Вскоре она встает и уходит в детскую. Через полчаса расстаются консул и Дефоссе. День окончился. Начинается ночной период травницкой жизни.

Госпожа Давиль сидит у кроватки младшего своего сына и вяжет — быстро, старательно, молча и неутомимо, словно муравей, как делала все в течение дня вплоть до ужина.

Консул снова в своем кабинете за небольшим письменным столом. Перед ним рукопись эпоса об Александре Великом. Давиль давно, уже много лет работает над этим произведением; работает медленно и беспорядочно, но вспоминает о нем ежедневно и неоднократно в связи со всем, что видит, слышит и чувствует. Как уже было сказано, эпос стал для него своего рода второй действительностью, более легкой и приятной, которой он управлял по собственной воле, не встречая ни трудностей, ни противодействия и находя простые решения для всего, что в нем или вокруг него оставалось нерешенным и неразрешимым. В нем он искал утешения за все трудности и награды, за все, чего лишает его настоящая действительность. По многу раз в день Давиль убегал в эту «бумажную действительность» и мысленно опирался на ту или иную идею из эпоса, как хромой на костыль. И наоборот, получая вести о военных событиях, наблюдая какую-то сцену или трудясь над чем-нибудь, мысленно переносил события в свой эпос. Переброшенные на несколько тысячелетий назад, они теряли свою трудность и остроту и, по крайней мере, казались легче и терпимее. От этого, конечно, ни действительность не становилась лучше, ни поэма ближе к подлинно художественному произведению. Но увы, сколько людей опирается в душе на иллюзии, куда более странные и туманные, чем поэтическое произведение с произвольным содержанием, но суровой просодией и строгими рифмами.

Вот и сегодня движением, уже вошедшим в привычку, Давиль положил перед собой толстую рукопись в зеленой папке. Но с тех пор как он, приехав в Боснию, втянулся по обязанности в консульские деловые связи с турками, вечерние часы становились все менее плодотворными и приятными. Образы не возникали,

стихи с трудом укладывались в размер и получались неблагозвучными, рифмы, сталкиваясь друг с другом, не высекали искры, как раньше, а оставались незавершенными, похожими на одноногое чудовище. Очень часто он даже не развязывал зеленые тесемки на папке, а использовал ее как подставку для листочков, на которых записывал, что надо сделать завтра или что осталось незаконченным сегодня. В эти минуты, после ужина, он вспоминал все, что было сделано и сказано за истекший день, и вместо отдыха и отвлечения вновь напрягался, заново переживая уже пережитые заботы. Посланные в этот день письма в Сплит, Стамбул или Париж он перечитывал мысленно от слова до слова и с удивительной остротой видел все, что было в них упущено, сказано напрасно или неправильно. Кровь бросалась ему в голову от возбуждения и недовольства самим собой. Все разговоры, которые он вел днем, всплывали в памяти до мельчайших подробностей, и не только серьезные и важные о службе и делах, но даже и самые незначительные. Он прекрасно видел своего собеседника, слышал каждую его интонацию, видел и самого себя, ясно сознавая недостаточность того, что сказал, и важность того, о чем по непонятным причинам умолчал. В голове с неожиданной отчетливостью складывались сильные и выразительные фразы, которые следовало сказать вместо бледных и беспомощных слов, проговоренных на самом деле. Консул шептал их про себя, чувствуя одновременно, что все напрасно, поздно.

В таком настроении поэмы не пишутся, от таких мыслей плохо спится и снятся тяжелые сны, если вообще удается заснуть.

Сегодня вечером перед консулом целиком всплыл недавний разговор с Дефоссе. И он вдруг ясно понял, как много незрелого бахвальства во всех этих рассказах о тройном наслоении дорог разных столетий, о неолитическом оружии, о Караходже и Мусе Певце, о семейном и общественном укладе Боснии. И на все эти бредни молодого человека, которые, как ему теперь казалось, не выдерживают ни малейшей критики, он, словно плененный и зачарованный, отвечал беспомощным: «Вижу, вижу, но...» А что он видел, спрашивается, какого дьявола? Он чувствовал себя пристыженным и униженным и в то же время злился, что придает значение всяким глупостям. В самом деле, разве это важный разговор? Да и с кем он говорил? Не с визирем и не с фон Миттерером он вел беседу, а болтал о пустяках с желторотым юнцом. Но ему никак не удавалось остановить или побороть эти мысли. И, уже решив, что сумел забыть об этих мелочах, он вдруг выскочил из-за стола, стал посреди комнаты с протянутой рукой и принялся твердить себе: нужно было сразу ответить на его незрелые рассуждения, что дело обстоит так-то и так-то, и поставить его на

надлежащее место. И в самых незначительных случаях надо выражать свою мысль свободно и до конца, высказывать ее людям прямо в лицо, пусть бы они грызлись из-за нее, а не хранить ее в себе, чтобы потом бороться с ней, как с вампиром. Да, так надо было поступить, а он этого не сделал и не сделает ни завтра, ни послезавтра, никогда, ни в болтовне с самонадеянным юнцом, ни в беседах с серьезными людьми. И отдавать себе в этом отчет будет только вечером, после ужина и перед сном, когда уже поздно, когда значение простых, будничных слов приобретает фантастические размеры.

Так Давиль разговаривал сам с собой, возвращаясь к письменному столику возле занавешенного окна. Но мысли продолжали его преследовать; он беспомощно боролся с ними, неспособный заняться чем-либо другим.

«Даже и их ужасающее пение он считает интересным. И это находит возможным защищать»,— жаловался про себя консул.

Подгоняемый болезненным желанием расквитаться задним числом и поразить молодого человека, консул стал быстро и безостановочно писать на белой бумаге, предназначенной для стихов о подвигах Александра Великого:

«Слушал я песни этого народа и видел, что и в них он вносит все ту же дикость и нездоровую злобу, которые вкладывает в любое свое проявление духовное и физическое. Один француз, свыше ста лет тому назад проезжавший по здешним местам и слышавший этих людей, отметил в своих путевых записках, что их пение больше похоже на завывание собак. А между тем или люди здесь изменились к худшему, или добрый старый француз недостаточно познакомился с этой страной, только я нахожу, что в завывании собак гораздо меньше злости и ожесточения, чем в пении здешних людей, когда они пьяны или взбешены. Я наблюдал, как они вращают глазами во время пения, скрежещут зубами, бьют кулаком в стену, то ли спьяна, то ли просто побуждаемые потребностью орать, ломать и крушить. И я пришел к заключению, что все это не имеет ничего общего с известной нам музыкой и пением других народов, а служит лишь способом выражения скрытых страстей и дурных наклонностей, которые при всей своей распущенности они не могут выразить непосредственно, ибо сама природа противится этому. Я говорил об этом с австрийским генеральным консулом. Человек по-военному суровый, он все же почувствовал весь ужас воплей и визгливых завываний, которые раздаются по ночам на улицах и в садах, а днем доносятся из постоялых дворов. «Das ist ein Urjammer» [1],— сказал он. А мне все кажется, что фон Миттерер, по обыкновению, оши-

[1] Это извечная скорбь *(нем.)*.

бается, переоценивая этих людей. Это попросту беснование дикарей, потерявших простодушие».

Узкий листок бумаги был весь исписан. Последнее слово едва уместилось внизу, в уголке. Быстрота, с которой свободно возникавшие слова и сравнения ложились на бумагу, воодушевили консула, и ему сделалось как будто легче. Усталый, отравленный заботами, перегруженный обязанностями, казавшимися ему в этот вечер непомерно тяжелыми, страдающий от плохого пищеварения и бессонницы, с которыми был неразлучен, он неподвижно сидел, склонясь над своей рукописью, погруженный в свои мысли, когда постучалась госпожа Давиль.

Она уже была готова ко сну. Под белым платком черты лица ее выглядели еще мельче и острее. Она только что перекрестила уснувших детей, старательно укутала их одеялом и, опустившись на колени, прошептала стародавнюю вечернюю молитву, прося бога послать ей мирный сон и чтоб поутру она встала с постели живая и здоровая, такая, «как, она твердо верит, она встанет из могилы в день Страшного суда». Теперь, держа в руке свечу, она заглянула в полуотворенную дверь.

— Довольно на сегодня, Жан. Пора спать.

Давиль, улыбнувшись, сделал успокоительный жест рукой и послал ее спать, а сам остался сидеть над исписанными бумагами. Так сидит он обычно, пока у него не зарябит в глазах, строчки не сольются и все спутается и помутнеет, как ночная картина мира, днем ясного и понятного.

Тогда он поднимается от стола, подходит к окну и, слегка отодвинув тяжелую портьеру, смотрит в непроницаемую тьму, стараясь разглядеть, горит ли еще свет в Конаке и в австрийском консульстве — последние следы дневной жизни. Но вместо этого в затуманенном стекле перед ним возникает отражение его освещенной комнаты и неясные очертания собственного лица.

Если бы кто-нибудь посмотрел в этот момент в сторону французского консульства сквозь темноту, насыщенную туманом и мелким холодным дождем, он увидел бы полосу света, но никогда бы не догадался, над чем мучится и почему бодрствует здравомыслящий и серьезный консул, который днем не тратит ни одной минуты на ненужные, бесполезные вещи, непосредственно не связанные с его работой.

Но не только консул не спал в этом большом доме. На втором этаже, как раз над его комнатой, были освещены три окна, задернутые шторами из боснийского полотна. Тут над своими бумагами сидел Дефоссе. По другим причинам и другим образом он тоже бодрствовал и проводил ночь совсем не так, как ему было бы желательно и приятно. Дефоссе не перебирал в памяти

дневные разговоры; наоборот, уже через пять минут он забывал и про них и про консула. Его не угнетали ни усталость, ни жажда покоя, ни забота о завтрашнем дне, но его тоже терзало беспокойство, душили желания неудовлетворенной молодости.

По ночам воскресают воспоминания о женщинах, даже не воспоминания, а живые образы; белизной своей кожи, блеском улыбок они, словно резким криком, разрывают мрак и тишину и вторгаются в его просторную комнату. Перед глазами встают и широкие, юношески смелые планы, с которыми он выехал из Парижа и которые должны были увести его далеко от этой засасывающей провинции; он видит себя в каком-нибудь посольстве или в парижском обществе, там, где и надлежит ему быть, и таким, каким он желает стать.

Так каждую ночь воображение играло его чувствами и самолюбием, чтобы затем покинуть и отдать во власть смертоносной боснийской тишины; и теперь дыхание этой тишины мучило и угнетало его. Днем ему удавалось отогнать ее и заглушить тоску работой, прогулками и разговорами, но по ночам это требовало борьбы и напряжения, и бороться становилось все труднее, так как тишина одолевала, стирала голоса и заставляла умолкнуть тихую, призрачную жизнь города, она накрывала, охватывала и пронизывала все живое и мертвое.

С того самого дня, когда, как мы видели, Дефоссе покинул Сплит и над Клисом в последний раз окинул взором обработанные земли внизу и далекое море, он, в сущности, непрестанно соприкасался с этой тишиной и постоянно боролся с ней.

Он ощущал ее всюду вокруг себя. В архитектуре домов, фасадом выходящих во двор, а глухой стеной, словно кому-то назло,— на улицу; в одежде мужчин и женщин, в их взглядах, которые много говорят, ибо их уста немы. Даже в их речах, когда они осмеливались говорить, умолчания были значительнее слов. Он слышал, как тишина проникала между слов в каждую их фразу и между звуками — в каждое слово, будто разрушительная вода в утлую лодчонку. Он слышал их гласные, протяжные и бесцветные, отчего речь мальчиков и девочек была похожа на невнятное воркование, растворяющееся в тишине. И само пение, доносившееся с улицы или откуда-то со двора, было не чем иным, как тягучей жалобой, начало и конец которой терялись в тишине, являющейся составной и наиболее выразительной частью песни. Да и то, что можно было наблюдать в жизни при солнечном свете, чего никак не удавалось ни скрыть, ни замолчать,— немного роскоши или мимолетный блеск чувственной красоты,— и оно просило тайны и молчания и, приложив палец к губам, убегало в безвестность и тишину, как в первые открытые ворота. Все жи-

вые существа и даже вещи боялись звуков, прятались от взглядов и замирали от страха, как бы не пришлось сказать слово или быть названным настоящим именем.

При виде мужчин и женщин, согбенных, закутанных с головой, всегда неподвижных, без улыбки, ему все сильнее хотелось разузнать об их страхах и надеждах, познакомиться с их подлинной жизнью, до того безмолвной и мертвенной, что ее можно считать жизнью лишь по названию. И, постоянно занятый этой мыслью, он начал в конце концов всюду находить примеры, подтверждающие ее. И в самой суровости этих людей, в их резких выходках он усматривал боязнь прямого высказывания, грубую и особую форму молчания. И его собственные мысли об этих людях: «Откуда они происходят? Как рождаются? К чему стремятся? Во что верят? Как любят и ненавидят? Как стареют и умирают?» — не до конца продуманные и неоформившиеся, терялись в невыразимой и мучительной атмосфере молчания, которая обволакивала его со всех сторон, наполняла все вокруг, стремилась покорить и его самого.

И действительно, Дефоссе с ужасом ощущал, как тишина все сильнее разъедает и заражает его, проникает в поры, отчего спирает дыхание и холодеет кровь.

Особенно тягостны были ночи.

Правда, порой возникал звук, резкий и неожиданный,— выстрел где-нибудь на окраине города, лай собаки, обеспокоенной поздним прохожим или дурным сном. Возникал на одно мгновение и лишь углублял тишину, потому что за ним сразу смыкалось безмолвие, как бездонные и безбрежные воды. Эта тишина так же отгоняла сон, как и оргия звуков, она грозила стереть, раскрошить и вычеркнуть вас из числа мыслящих и живых существ. Каждую ночь, когда он сидел так при быстро сгоравших свечах, ему казалось, что он слышит, как тишина говорит ему на своем немом языке: «Недолго тебе ходить стройным, смотреть открыто, сверкать улыбкой, свободно мыслить и громко говорить. Тебе не уцелеть здесь таким, каков ты есть. Я заставлю тебя сгорбиться, опустить взгляд, отгоню кровь от сердца, сделаю из тебя горькое растение, произрастающее на ветру на каменистой почве. И тебя не узнает больше ни твое французское зеркало, ни глаза родной матери».

И говорит не быстро, вызывающе, а спокойно и неумолимо; и, произнося эти слова, тишина уже ломает и подчиняет его, как мачеха, одевающая пасынка. Ему было ясно, что эта тишина не что иное, как другое обличье смерти, смерти, оставляющей человеку жизнь в виде оболочки, отнимая у него в то же время всякую возможность жить.

И все-таки никто не сдается без сопротивления, никто не сгибает спины, не защищаясь, тем более человек его возраста, воспитания и расы. Молодость и крепкая натура боролись с этим злом, как с влиянием нездорового климата. А если иногда и случалось, что силы и разум по ночам покидали его, утро всегда спасало, солнце ободряло, вода укрепляла, а работа и любознательность поддерживали.

И в этот вечер ему удалось вырвать свои мысли у тишины и скуки, направить их на живые, слышимые, видимые и ощутимые предметы дневной действительности и тем самым защитить себя от всепоглощающей тишины, которая стремится проникнуть в его сознание, так же, как она проникла в его комнату. Он перебирал свои дневные заметки, приводил их в порядок и обрабатывал. Медленно и с трудом продвигалась его книга о Боснии, целиком основанная на «реальной реальности». Все в ней было подкреплено доказательствами, подтверждено цифрами, разъяснено примерами. Без многословия и красивостей стиля, без общих рассуждений неторопливо слагались страницы, скупые, гладкие, холодные и простые, как защита от коварной и соблазнительной восточной тишины, которая все вещи обволакивает туманом, размягчает, запутывает и связывает, делает их двусмысленными или вовсе бессмысленными, пока не уводит куда-то из поля зрения, за пределы разума, в какую-то глухую никчемность, оставляя нас слепыми, безгласпыми и беспомощными, заживо погребенными и среди людей одинокими.

После того как Дефоссе привел в порядок и переписал свои дневные заметки, он снова очутился лицом к лицу с тишиной ночи, медленно отступавшей. Так он сидел, скрестив руки, над своей рукописью, отдавшись теперь «переальным» размышлениям, пока наконец у него не зарябило в глазах от усталости и серьезные слова трезвой прозы не запрыгали в виде маленьких духов и привидений.

«Травник! Трав-ник!» Он повторял это слово вполголоса, как название какой-то таинственной болезни или магическую формулу, которую трудно запомнить и легко забыть. И чем больше он повторял это слово, тем удивительнее оно ему казалось: две темные гласные между глухих согласных. А эта формула охватывала теперь в его глазах больше, чем он мог когда-либо предположить, охватывала весь мир. Это слово — не глухое и холодное название заброшенного городка, не Травник,— теперь это для него Париж и Иерусалим, столица мира и центр жизни. Так человек с детства мечтает о крупных городах и славном поприще, но реальные и решительные битвы за утверждение собственной личности и осуществление всего, что она в себе инстинктивно таит, разыгрываются

там, куда судьба забросит его, бог весть на каком узеньком, безыменном пространстве, без блеска и красоты, без свидетелей и судей.

Дефоссе машинально поднялся, подошел к окну и, отодвинув край шторы, посмотрел во мрак, сам не зная, чего он ищет в этой беззвучной и темной почи.

Сквозь темноту, насыщенную сыростью — не то дождем, не то снегом,— в ту ночь не был виден слабый свет в занавешенных окнах австрийского консульства. Но и в том большом доме так же горели свечи, и возле них так же сидели люди, склонившись над бумагами и своими мыслями.

Кабинет консула — длинная, неуютная комната, лишенная солнца и воздуха, так как окна ее выходят в круто подымающийся плодовый сад. Тут у стола, заваленного схематическими картами и справочниками по военному делу, уже несколько часов сидит генеральный консул фон Миттерер.

Огонь в печи позабыт, длинная трубка консула лежит угасшая на столе; комната быстро охлаждается. Консул, запахнувшись в военный плащ, неутомимо исписывает один за другим листы желтоватой казенной бумаги. Закончив один, он согревает онемевшую и озябшую правую руку над пламенем разгоревшихся свечей и принимается за новый чистый лист, разглаживает его ладонью, пишет первую строчку и быстро заполняет страницу; как у всех офицеров и унтер-офицеров императорской и королевской армии, у него крупный правильный почерк.

Вечером за ужином — как столько уже раз днем и ночью — госпожа фон Миттерер со слезами, угрозами и мольбами потребовала, чтобы полковник написал в Вену прошение о переводе из этой страшной глуши. Как и каждый вечер, полковник утешал жену, доказывая ей, что просить перевода и бежать от трудностей не так легко и просто, как ей кажется: это означало бы конец карьеры, и конец далеко не славный. Анна-Мария осыпала мужа упреками, не желала принимать во внимание ни один из его доводов и сквозь слезы грозила «забрать своего ребенка» и покинуть и Травник, и Боснию, и его самого. Наконец, чтобы успокоить жену, консул обещал — как делал не раз — в тот же вечер написать прошение и, по обыкновению, не сдержал слово — нелегко ему было решиться на такой шаг. Он оставил жену и дочь в столовой, закурил трубку и удалился в кабинет, но не для того, чтобы писать столь трудное для него прошение, а чтобы продолжать работу, доставлявшую ему удовольствие и заполнявшую все вечера.

Десятую ночь трудился фон Миттерер над обширным докладом для военных властей в Вене, анализируя окрестности Травника с военной точки зрения. С множеством чертежей, схем, вычислений и ценных выкладок он описывал уже четырнадцатую пози-

цию, которую предполагаемая армия должна была занять, прорвавшись долиной Лашвы к обороняющемуся Травнику. В предисловии к этому большому труду он писал, что взялся за дело ради пользы, которую может при желании извлечь из него верховное командование, а также с целью «скоротать долгие вечера однообразной жизни, на которую обречен иностранец в Травнике».

И ночные часы действительно проходят, хотя и медленно, а фон Миттерер все пишет, не отрываясь, без передышки. Он описывает до мельчайших подробностей травницкую крепость, ее историю и отзывы о ней, ее подлинную мощь, удобство расположения, толщину стен, количество пушек и наличие боеприпасов, возможность снабжения водой и продовольствием. Перо скрипит, свечи потрескивают, строки нанизываются — аккуратные буквы, точные цифры и четкие сведения,— лист накладывается на лист, и стопка их растет.

Эта комната — излюбленное место фон Миттерера, здесь он проводит лучшие свои часы. Сидя возле свечей над исписанными листами бумаги, окруженный тишиной, он и сам чувствует себя точно в крепости, где он скрыт и защищен, далек от всяких колебаний и недоумений и ясно представляет свои задачи. Начиная с почерка и манеры выражаться и кончая рассуждениями, которые он высказывает, и помыслами, которыми руководствуется,— все связывает его с великой императорской и королевской армией, как с чем-то прочным, постоянным и верным, на что человек может опереться, забыв о всех своих личных заботах и колебаниях. Она давала ему почувствовать, что он не одинок и не предоставлен слепому случаю. Над ним — длинный ряд начальников, под ним — ряд подчиненных. Это сознание придавало ему силы, поддерживало его. Все пронизано и связано бесконечными правилами, традициями и привычками, все обобщено и предусмотрено, постоянно, неизменно и живет дольше человека.

В такую ночь и в таких условиях, когда каждый спасается своей иллюзией, нет большего счастья и лучшего способа забвения. И фон Миттерер писал — строку за строкой, лист за листом — обширный доклад о стратегическом положении Травника и его окрестностей, который никогда никто не прочтет и который с чьим-то небрежно поставленным парафом, покрытый архивной пылью, так и останется лежать в туго облегающей его девственной папке, непросмотренный и непрочитанный, пока существует мир со всеми рукописями и бумагами.

Фон Миттерер пишет. Ночь проходит, и, как ему кажется, очень быстро. Тяжелый военный плащ греет спину, сознание бодрствует, занятое тем, что не причиняет страданий, а, наоборот, успокаивает, ускоряет бег ночных часов, что вызывает усталость,

но вместе с тем и приятное сознание исполненного долга и драгоценное желание спать.

Пишет полковник фон Миттерер и не испытывает утомления, в глазах у него не рябит и буквы не прыгают, но ему кажется, что между правильно написанными строками виднеются другие, уходящие в бесконечность шеренги людей в светлых мундирах прекрасно оснащенной императорской армии. Он пишет, и его не покидает ощущение торжественного покоя, словно он работает на виду у всех вооруженных сил, от главнокомандующего до последнего славонского рекрута. А если и останавливается, то пристально смотрит на рукопись, не читает ее, а смотрит и, погрузившись в это занятие, забывает и травницкую ночь, и себя, и семью.

Приятное состояние полусна было прервано мелкими и резкими шагами, приближавшимися по длинному коридору издалека, подобно грому. Дверь внезапно отворилась. С шумом ворвалась взволнованная госпожа фон Миттерер. В комнате сразу запахло грозой, и в воздухе повисло бесчисленное множество бессвязных и раздраженных слов, которые жена начала выкрикивать с порога, сопровождая их стуком каблуков по голому полу. По мере ее приближения фон Миттерер медленно поднимался, и, когда она очутилась у стола, он уже стоял в положении «смирно». Бесследно исчезли приятные и торжественные мгновения. Все померкло и потемнело, все потеряло смысл, важность и ценность. Лежавшая перед ним рукопись превратилась в кучу бумаг, не имевших значения. Вооруженные силы отступили в беспорядке и рассеялись в серебристо-румяном облачке. Заболела печень, о которой он было забыл.

Перед ним стояла Анна-Мария и глядела на него гневным невидящим взглядом, слегка дрожащим, как дрожало все на ее лице: веки, губы, подбородок. На щеках и на шее — красные пятна. Пеньюар из тонкой белой шерсти приоткрыт на груди, талию охватывает шелковый пояс вишневого цвета. На плечи накинута маленькая легкая шаль из белого кашемира, заколотая спереди большой аметистовой брошью в золотой оправе. Волосы взбиты и повязаны широкой муслиновой лентой, из-под которой спускаются каштановые локоны и пряди в роскошном беспорядке.

— Иосиф, ради всего святого!

С этого начиналось всегда. Это служило предисловием к бешеному взрыву и гневному стуку каблуков по дому, к грубым выкрикам без связи и логики, к необоснованным утверждениям, беспричинным слезам, бесконечным мучительным ссорам.

Полковник стоял вытянувшись, словно захваченный врасплох кадет, зная, что каждый его жест и каждое слово дадут новую пищу для взрыва.

— Иосиф, ради всего святого! — повторила женщина уже с приглушенным плачем.

Едва заметное доброжелательное движение руки полковника — и на него, на рукописи, лежавшие на столе, обрушился ураган. Женщина вспылила. Широкие рукава белого пеньюара мелькали по комнате, в которой чувствовался запах погасшей трубки, пламя свечей отклонялось то в одну, то в другую сторону. Мгновениями сверкала ее крепкая, красивая рука, обнаженная до плеча. Легкая шаль развевалась, и аметистовая брошь перемещалась по груди из стороны в сторону. Завитки волос, выбившиеся из-под повязки, застыли на лбу, словно наэлектризованные.

Госпожа фон Миттерер сыпала словами, то приглушенными, непонятными, то громкими, захлебываясь слезами и слюной. Полковник не слушал, зная все наизусть, и только ждал, чтобы они начали стихать и замирать, что означало бы конец сцены, так как до нового припадка эти несколько тысяч слов никто не мог бы повторить, даже и сама госпожа фон Миттерер.

В данную минуту гроза была в полном разгаре.

Она, мол, знала, что и сегодня вечером он не напишет прошения о переводе, хотя за ужином — в пятнадцатый раз — обещал это сделать. Но она пришла поглядеть на это чудовище в образе человека, которое хладнокровнее любого палача, бездушнее любого турка, поглядеть, как он сидит со своей вонючей трубкой и пишет всякий вздор, которого никто не читает (и хорошо, что не читает!), пишет только для того, чтобы удовлетворить свою дурацкую амбицию, амбицию бездаря, не способного как следует содержать и защитить даже собственную семью, жену и ребенка, которые обречены на смерть, на гибель, которые, которые...

Все дальнейшее потонуло в безудержном плаче и быстрых злобных ударах двух маленьких, но крепких кулачков по столу и разбросанным на нем бумагам.

Полковник протянул руку, чтобы ласково погладить жену по плечу, но сразу понял, что рано, туча еще не пронеслась.

— Оставь меня, тюремщик, жестокий мучитель, бездушный, бессовестный зверь! Зверь, зверь!

И снова поток слов, потом обильные, горькие слезы, судорожные спазмы и постепенное успокоение. Продолжая всхлипывать, она уже позволила полковнику взять себя за плечи и отвести к кожаному креслу. Она опустилась в него со вздохом.

— Иосиф... ради всего святого!

Это означало, что припадок кончился и жена готова принять любое объяснение без возражений. Полковник гладил ее по голове и уверял, что сядет писать прошение немедленно, без всяких колебаний и завтра же письмо будет переписано и отправлено.

Он что-то бормотал, обещал, успокаивал, боясь новых слов и новых слез. Но Анна-Мария устала, ее клонило ко сну; грустная, безмолвная и беспомощная, она разрешила полковнику проводить себя в спальную, стереть с глаз последние слезы, уложить в кровать, укрыть и убаюкать ласками и теплыми, ничего не значащими словами. Когда он вернулся в свою комнату и поставил подсвечник на стол, он почувствовал озноб и еще более острую боль в правом боку под ребрами. Самым неприятным для полковника было окончание припадков. Когда ему удавалось успокоить жену и остаться наконец одному, он каждый раз ясно сознавал, что так жить невозможно.

Полковник снова закутался в плащ, тяжелый, но холодный, словно чужой и незнакомый, сел за стол, взял чистый лист бумаги и на сей раз начал в самом деле писать прошение о переводе.

И снова полковник писал при свете неоправленных и оплывающих свечей. Он напоминал о своих прежних заслугах, подчеркивал, что и теперь готов жертвовать собой, но умолял перевести его в другое место. Выискивая причины, доказывал и объяснял, что в Травнике при существующих условиях может жить и работать «только лицо, не имеющее семьи». Буквы выстраивались правильными рядами, но холодные и жесткие, словно звенья цепочки. Уже не было недавнего блеска, ощущения силы и связи с остальным миром. Он писал, будто приговоренный, о собственной слабости и позоре, но под неодолимым натиском, о чем никто не знает, чего никто не видит.

Прошение готово. Решив отправить его на другой день, полковник перечитывал написанное, как свой приговор. Он читал, но мысли его все время убегали от этого слезливого текста и возвращались в прошлое.

Вот он, чернявый, бледнолицый поручик, сидит намыленный перед офицерским парикмахером, а тот стрижет его густые волосы, прицепляет предусмотренную регламентом красивую косичку, которой он гордился; потом тот же парикмахер бреет его наголо, чтобы, переодетый «сербским парнем», он мог побывать в турецких местечках, сербских селах и монастырях. Вспоминаются неприятности и трудности, страхи и скитания. Он видит свое возвращение в земунский гарнизон после удачной разведки, слышит приветствия друзей и благосклонные слова начальства.

Видит тихую, дождливую ночь, когда с двумя солдатами, переправившись на лодке через Саву, он пробирался к подножию Калемегдана, к воротам, чтобы получить от доверенного лица восковые оттиски ключей от всех ворот белградской крепости. Видит, как передавал ключи майору, счастливый, хотя и дрожащий от лихорадки и усталости.

Видит себя в почтовой карете — он направляется в Вену как человек, «добившийся успеха», которого ожидает награда. С ним письмо коменданта, где о нем отзывались с величайшей похвалой как о молодом офицере, столь же рассудительном, как и храбром.

Видит себя...

В коридоре послышался легкий стук. Полковник вздрогнул и замер от страха, что снова услышит грозные шаги жены. Прислушался. Все тихо. Его обманул какой-то незначительный шум. Но картины прошлого исчезли и не хотели возвращаться. Перед глазами стояли строки рукописи, но теперь его усталому взгляду они казались мертвыми и неясными. Куда девался тот молодой офицер, ехавший в Вену? Где свобода и смелость молодости?

Полковник порывисто поднялся из-за стола, словно ему не хватало воздуха, и в поисках спасения подошел к окну и слегка раздвинул зеленые занавеси; но на расстоянии двух пальцев от его глаз стояла непроницаемой ледяной стеной ночь. Фон Миттерер чувствовал себя осужденным, не решаясь повернуться и подойти к черным строкам прошения на столе.

Стоя так и раздумывая о своем переводе отсюда, он, к счастью, не подозревал, сколько еще ночей, сколько осеней и зим проведет он таким образом, зажатый между этой непроницаемой стеной и письменным столом, тщетно ожидая ответа на свое прошение. А прошение будет лежать в архиве Geheime Hof und Staatskauzlei [1], там же, где и его объемистый доклад о стратегических позициях вокруг Травника, только в другом отделении. Прошение достигнет Вены быстро и вовремя дойдет до надлежащего чиновника, седоватого и усталого Sektionschef [2]. Тот прочтет его, сидя зимним утром в высокой светлой и теплой канцелярии, откуда открывается вид на католический собор, не без иронии подчеркнет красным карандашом фразу, в которой фон Миттерер предлагает послать на его место ein familienloses Individuum [3], а на обороте напишет, что консул должен потерпеть.

Ибо Sektionschef, невозмутимый, избалованный холостяк, изнеженный меломан и эстет, занимающий надежный, высокий и не причиняющий беспокойства пост, не знает и не может вообразить мучений консула: ни того, что представляет собой Травник и Анна-Мария фон Миттерер, ни человеческих невзгод и нужд; такому даже на смертном одре, в агонии не увидеть перед собой стены, перед какой в эту ночь стоял полковник фон Миттерер.

---

[1] Тайная дворцовая и государственная канцелярия *(нем.)*.
[2] Начальник отделения *(нем.)*.
[3] Человек без семьи *(нем.)*.

VIII

Тысяча восемьсот восьмой год не оправдал ни одного из тех смутных обещаний прекрасной прошлогодней осени, которые Давиль почувствовал, когда проезжал верхом под Купилом. И вправду, ничто нас так не обманывает, как собственное ощущение покоя и приятного удовлетворения ходом событий. Оно-то и обмануло Давиля.

В самом начало года Давиля постиг наиболее тяжкий удар, какой только мог случиться в его неблагодарной работе в Травнике. Произошло то, чего Давиль после всего, что стало ему известно, ожидал меньше всего. Давна достоверно выяснил, что Мехмед-паша смещен, фирман о смещении еще не получен, но визирь уже втихомолку готовится к отъезду со всем своим имуществом и свитой.

Мехмед-паша не желает ждать фирмана в Травнике, объяснял Давна, он покинет город раньше под каким-нибудь благовидным предлогом и больше уже не вернется. Ибо визирь прекрасно знал, как выглядит турецкий город в тот день, когда приезжает вестник с султанским фирманом о смещении визиря и назначении нового. Он словно уже видел наглого наемного гонца, жившего такими вестями и нездоровым любопытством города и простолюдинов, жившего и наслаждавшегося ими. Он словно видел и слышал, как тот стремительно врывается в город на коне, щелкая бичом и во все горло выкрикивая имена смещенного и вновь назначенного визирей.

— Махзул Мехмед-паша, махзул! Хазул Сулейман-паша, хазул! [1]

Толпа глядит на него с любопытством и удивлением, обсуждает решение султана, радуется, воодушевляется и неистовствует. Чаще всего бранит смещенного визиря и превозносит вновь назначенного.

Праздной черни, как голодному псу падаль, бросают имя смещенного паши, чтобы она могла безнаказанно обливать его грязью, отпускать плоские шутки, задираться и бахвалиться. Мелкие людишки, не смевшие и головы поднять при проезде паши, вдруг оказывались крикливыми мстителями, хотя лично им паша не причинил никакого зла и даже не знал об их существовании. И часто в таких случаях какой-нибудь недоучившийся софта или разорившийся торговец, попивая ракию, громогласно объявлял приговор павшему визирю, будто именно он одержал над ним победу, и, бия себя в грудь, восклицал:

---

[1] Смещен Мехмед-паша, смещен! Поставлен Сулейман-паша, поставлен! *(тур.)*

— Эх, я так рад, что дожил до этого, словно мне пол-Боснии подарили!

Мехмед-паша знал, что так бывает всегда и везде, что ничтожные и безвестные люди взбираются на трупы великих, павших в междоусобной борьбе. И понятно, что в данном случае он хотел избежать хотя бы этого.

Давиль сразу попросил аудиенции. Во время приема визирь признался под строгим секретом, что в самом деле покидает Травник якобы для того, чтобы проверить готовность войск к весеннему походу против Сербии, и больше не вернется. Как можно было понять из слов визиря, друзья из Стамбула известили его, что там царит полный беспорядок и идет глухая внутренняя борьба среди групп и людей, в мае прошлого года свергнувших султана Селима III. Лишь в одном были все согласны: надо преследовать каждого, кто хоть чем-нибудь выказал себя сторонником реформ и планов свергнутого султана. При таких настроениях жалобы боснийских бегов на визиря как на приятеля французов и приверженца режима Селима III нашли хороший прием. Визирю уже известно, что его сместили. Он надеется, что друзьям удалось избавить его от ссылки и выхлопотать для него назначение в другую провинцию, подальше от Стамбула. Во всяком случае, он хочет покинуть Травник до получения фирмана, не нарушая тишины и спокойствия, чтобы не дать своим боснийским врагам повода радоваться его смещению и мстить ему. А по пути, где-нибудь в Сенице или Приеполе, он дождется фирмана о новом своем назначении.

Все это Мехмед-паша сообщил Давилю тем неопределенным восточным тоном, который даже в самых бесспорных случаях не исключает сомнений, перемен и всяких неожиданностей. С лица визиря не сходила улыбка, вернее сказать, ряд белых ровных зубов все время блестел среди холеной, густой черной бороды и усов, ибо ни визирю, ни консулу было не до смеха.

Давиль глядел на своего собеседника, слушал переводчика и с бессмысленной учтивостью кивал головой. Но в глубине души он был поражен сообщением визиря. Холодный, мучительный спазм в желудке, который он ощущал — то сильнее, то слабее — при каждом посещении Конака и в разговорах с турками, теперь вдруг резко парализовал его тело и спутал слова и мысли.

В отъезде Мехмед-паши из Боснии Давиль усматривал и свою собственную неудачу, и чувствительный урон для французского правительства. Слушая нарочито спокойное уведомление визиря об отъезде, он чувствовал себя обманутым, непонятым и покинутым в этой холодной стране среди вероломного, злого и загадочного народа, общаясь с которым никогда по-настоящему не знаешь, что

он думает и чувствует, для которого отъезд может и не означать отъезда, улыбка не есть улыбка, «да» не есть «да», так же как и «нет» не вполне «нет». Он сумел только в нескольких фразах выразить визирю искреннее сожаление по поводу его отъезда и надежду, что дело может все-таки кончиться хорошо, а также уверить его в неизменной личной дружбе и благорасположении своего правительства. Когда он вышел из Конака, будущее рисовалось ему в мрачных красках.

В таком настроении Давиль вдруг вспомнил капиджи-башу, о котором совсем было забыл. Смерть этого несчастного человека, не потревожившая ничьей совести, теперь, оказавшись бесполезной, снова начала его волновать.

В начале нового года визирь незаметно отправил наиболее ценные вещи, а потом и сам в сопровождении мамелюков покинул Травник. Злорадный и мстительный шепот, начавшийся среди травницких мусульман, уже не мог достичь его слуха. Единственным, кто знал о дне отъезда визиря и провожал его, был Давиль.

Расставание их было сердечным. В солнечное январское утро Давиль и Давна выехали верхом за четыре мили от Травника. Тут, возле уединенной придорожной кофейни, в беседке, осевшей под тяжестью снега, визирь и консул обменялись последними сердечными словами и приветствиями.

Визирь потирал от холода руки и старался сохранить на лице улыбку.

— Поклонитесь генералу Мармону,— говорил он со свойственной ему теплотой в голосе, как две капли воды похожей на искренность, способной убедить и успокоить даже самого недоверчивого собеседника,— пожалуйста, передайте ему, как и всем, кому следует, что я остаюсь другом вашей благородной страны и преданным почитателем великого Наполеона, куда бы ни забросили меня судьба и обстоятельства.

— Не премину сделать это, не премину,— отвечал искренне тронутый Давиль.

— А вам, дорогой друг, желаю здоровья, счастья и удачи. Сожалею, что не смогу быть с вами в трудные минуты, которые вам, несомненно, придется пережить, сталкиваясь с непросвещенным, варварским народом. Ваши дела я передал Сулейман-паше, который будет меня временно замещать. Можете на него положиться. Он груб и прост, как все боснийцы, но человек честный, и ему можно верить. Еще раз повторяю, что мне жаль уезжать только из-за вас. Но так уж суждено. Если б я захотел стать палачом и тираном, то удержался бы на этом месте и окончательно подчинил этих пустоголовых и надменных беков, но я не таков и быть таковым не собираюсь. Поэтому и уезжаю.

Бледный, позеленевший, дрожа от холода в своем черном до пят плаще, Давна переводил машинально и быстро, как человек, знающий все это наизусть.

Давиль прекрасно понимал, что сказанное визирем не соответствует и не может соответствовать истине в полной мере, но тем не менее каждое его слово трогало. Расставание всегда вызывает в нас двоякое чувство. Человек, с которым мы, как в данном случае, прощаемся словно навеки, представляется нам более стоящим и достойным нашего внимания, а себя мы чувствуем способными на более великодушную и бескорыстную дружбу, чем на самом деле.

Затем визирь сел на своего рослого рыжего коня, быстрыми и резкими движениями скрывая свою хромоту. За ним тронулась многочисленная свита. Когда две группы — большая визиря и маленькая Давиля — отъехали одна от другой на расстояние больше полумили, из свиты визиря отделился всадник и стрелой понесся к Давилю и его провожатым, остановившимся в эту минуту. Он круто осадил запыхавшегося коня и громко проговорил: «Счастливый господин мой Хусреф Мехмед-паша еще раз посылает свой сердечный привет уважаемому представителю великого императора французов и передает, что его добрые пожелания будут сопутствовать ему на каждом шагу».

Удивленный и слегка смущенный Давиль церемонно снял шляпу, а всадник с той же стремительностью ускакал вдогонку за свитой визиря, ехавшей по снежной равнине. В общении с людьми Востока всегда находятся такие моменты, которые приятно удивляют и волнуют нас, хоть мы и знаем, что это служит не столько знаком особого внимания или личного уважения, сколько составной частью их древнего и неисчерпаемого церемониала.

Закутанные мамелюки со спины были похожи на женщин. Снежная пыль, поднимавшаяся из-под конских копыт, постепенно превращалась на зимнем солнце в розовато-белое облачко. Чем дальше отъезжала группа всадников, тем она казалась все меньше, а облако взметаемого снега все росло. В этом облаке она и исчезла.

Давиль возвращался по замерзшей дороге, едва различимой среди однообразного снежного покрова. Крыши редких крестьянских домиков, изгороди и лесочки в стороне — все было окутано снегом и выделялось на этой белизне едва заметными темными очертаниями. Желтые и розовые тени становились синими и серыми. Небо темнело. Солнечный день быстро переходил в сумерки.

Лошади шли неровным, мелким шагом; на ногах у них сзади болтались пучки обледенелой шерсти.

Давилю казалось, что он возвращается с похорон.

Он думал о визире, с которым только что расстался, как о чем-то давно и безвозвратно погибшем. Вспоминал подробности разговоров, которые он вел с ним. И как будто видел его улыбку — светлую маску,— целый день озарявшую верхнюю часть его лица и угасавшую, вероятно, только во сне.

Вспоминал, как визирь до самой последней минуты уверял, что любит Францию и уважает французов. И теперь, сопоставляя это со сказанным при прощании, он проверял искренность его слов. Ему казалось, что он ясно видит побуждения визиря, бескорыстные и чуждые обычной профессиональной лести. Ему казалось, что он понимает и то, почему иностранцы любят Францию, французский образ жизни и мыслей. Любят ее в силу тяготения противоположностей; любят в ней все то, чего не могут найти в своей стране и к чему неодолимо стремятся; любят Францию, и вполне справедливо, как образ всесторонней красоты и гармоничной, разумной жизни, которую никакое минутное затмение не в состоянии изменить или изуродовать и которая после каждого потопа и затмения снова является миру как непреоборимая сила и вечная радость; любят ее, даже зная поверхностно, мало или вовсе не зная. И будут любить ее многие, будут любить вечно, часто по самым противоположным побуждениям и причинам, потому что люди никогда не перестанут искать и желать больше и лучше того, что им послано судьбой. Да вот и он сам сейчас думает о Франции не как о своей родине, которую давно прекрасно знает и где он видел и плохое и хорошее, а как о дивной и далекой стране гармонии и совершенства, о которой человек всегда мечтает, когда он окружен грубостью и дикостью. Пока существует Европа, будет и Франция, и никогда она не перестанет существовать, разве что только вся Европа в известном смысле (то есть в смысле светлой гармонии и совершенства) станет как Франция. Но это невозможно. Люди слишком различны, чужды и далеки друг другу.

Тут Давилю вспомнился один прошлогодний случай. Живой и любознательный, визирь постоянно расспрашивал о жизни во Франции и однажды сказал, что много слыхал о французском театре, но никогда в нем не был и потому желал бы хоть послушать что-нибудь из того, что там показывают.

Воодушевленный желанием визиря, Давиль на другой же день приехал со вторым томом Расина под мышкой, решив прочитать ему некоторые сцены из «Баязета». Слуги, подав кофе и чубуки, удалились, остался только переводчик Давна. Консул подробно ознакомил визиря, что собой представляет театр, как он выглядит, в чем задача и смысл игры. Потом начал читать сцену, где султан Амурат отдает Баязета под опеку султанши Роксаны. Визирь нахмурился, но продолжал слушать бесцветный перевод Давны и

патетическое чтение консула. Но когда дошло до объяснения Роксаны с великим визирем, Мехмед-паша прервал чтение, от души расхохотался и замахал руками.

— Да он не знает, о чем говорит,— объяснил визирь со строгой иронией,— с тех пор как мир стоит, не было и не может быть такого, чтобы великий визирь вошел в гарем и разговаривал с султаншами.

И визирь еще долго искренне и громко смеялся, не скрывая ни своего разочарования, ни того, что не понимает смысла и пользы подобной умственной забавы. Говорил он об этом открыто, почти грубо, с бесцеремонностью человека иной культуры.

Напрасно Давиль, уязвленный, старался объяснить ему значение трагедии и смысл поэзии. Визирь, не сдаваясь, отмахивался.

— И у нас есть разные дервиши и богомольцы, которые читают звучные стихи; мы им подаем милостыню, но и не думаем сравнивать их с видными и деловыми людьми. Нет, нет, я этого не понимаю.

У Давиля после этого случая осталось ощущение чего-то обидного и неприятного, как после незаметного для других поражения. Теперь он смотрел на все это более спокойно и снисходительно, как смотрит взрослый на смешные положения, из-за которых в детстве чрезмерно и напрасно огорчался. Он только удивлялся, почему вдруг вспомнил о таких мелочах, когда в его взаимоотношениях с Мехмед-пашой было столько важных и серьезных дел.

Теперь, когда он, расставшись с визирем, возвращался по снежной дороге в занесенный снегом город, все ему казалось понятным, оправданным и уместным. Недоразумения — естественными, поражения — неминуемыми. И печальный отъезд визиря огорчал его теперь уже по-иному. Он еще чувствовал утрату во всей ее силе. Возникала и боязнь новых неудач и срывов. Но все это казалось сейчас приглушенным и далеким, неизбежным этапом жизни, когда по какой-то глупой арифметике можно походя и потерять и получить.

С такими мыслями, которые самому ему казались новыми и необычными, но хотя бы в данный момент утешительными, консул быстро, еще засветло, доехал до Травника.

Отъезд Хусрефа Мехмед-паши послужил знаком для начала волнений среди травницких мусульман. Никто больше не сомневался, что визирь хитро и вероломно избежал ярости базара. Узнали также, что его провожал французский консул. Это еще больше подлило масла в огонь.

И тогда можно было видеть, каково значение и размеры волнений турецкого торгового мира в боснийских городах.

В течение нескольких лет базар делает свое дело и молчит, скучает и прозябает, торгует и подсчитывает, сравнивает один год с другим и неустанно следит за всеми событиями, разузнает, «покупает» вести и слухи, переносит их шепотом от лавки до лавки, избегая делать заключения и выражать собственное мнение. Так постепенно и незаметно создается и формируется единый дух. Вначале это общее и неопределенное настроение, выражающееся лишь в скупых жестах и брани, неизвестно к кому относящейся; понемногу оно переходит затем в открытое мнение и превращается, наконец, в твердое и определенное убеждение, которое больше не обсуждается, а выявляется лишь в действиях.

Объединенный и пронизанный этим убеждением, базар перешептывается, готовится, ждет, как пчелы ждут момента роения. Невозможно постичь логику этих базарных волнений, слепых, диких и всегда бесплодных, однако у них есть своя логика, как и своя незримая техника, основанная на традиции и инстинкте. Наблюдать можно только, как волнение вспыхивает, бушует и успокаивается.

И вот в один прекрасный день, который начался так же, как и столько предыдущих, нарушилась долголетняя сонная тишина города, раздался треск прилавков и глухой скрип дверей и запоров в лабазах. Торговцы сразу повскакивали со своих мест, где они годами сидели спокойные, услужливые без подобострастия, аккуратные, опрятные, скрестив под собой ноги в штанах из тонкого сукна, в жилетах, расшитых тесьмой, и в светлых полосатых антериях. Этого традиционного движения и приглушенного хлопанья дверей и прилавков было достаточно, чтобы по всему городу и окрестностям с молниеносной быстротой разнеслась весть: «Базар закрылся».

Роковые и страшные слова; значение их ясно каждому.

Женщины, старики и дети спешно прячутся в погребах. Богатые торговцы запираются в домах, готовые защищать их и погибнуть на пороге. А из маленьких кофеен и отдаленных кварталов валом валит мусульманская голытьба, которой нечего терять и которая только от волнений и перемен может что-то получить (ибо и здесь, как и при всех восстаниях и переворотах в мире, одни дают толчок и руководят, а другие их осуществляют и проводят). Откуда-то перед толпой появляются один или два вожака. Это обычно горластые, властные, недовольные, скрытные и страшные люди, которых до этих пор никто не знал и не замечал и которые, когда волнение уляжется, снова исчезнут в своей безвест-

ной нищете, в крутом гористом предместье, откуда они пришли, или будут томиться в тюрьме.

Такое волнение может длиться день, два, три или пять,— как когда и смотря где,— пока что-нибудь не разрушат, не спалят, пока не прольется человеческая кровь или пока волнение просто-напросто не выдохнется и не заглохнет само собой.

Тогда лавки отворяются одна за другой, толпа рассеивается, а торговцы, пристыженные и ошалелые, серьезные и бледные, продолжают свое привычное дело и извечную жизнь.

Так выглядит типичное для наших городов волнение, его возникновение, развитие и завершение.

Так случилось и на этот раз. Травницкие торговцы и все боснийские беги годами следили за попытками Селима III преобразовать Турецкую империю на новых началах, согласно требованиям и нуждам современной европейской жизни. Они не скрывали своего недоверия и ненависти к действиям султана и часто откровенно выражали их в прошениях, отправляемых в Стамбул, проявляли во взаимоотношениях с наместником султана, травницким визирем. Для них было ясно, что реформы, позволяющие подкопаться под империю и разрушить ее изнутри, на руку только иностранцам, а для всех мусульман, и, следовательно, для каждого из них, они означают в конечном счете не что иное, как потерю веры, состояния, семьи, конец жизни на этом свете и вечное проклятие.

Как только стало известно, что визирь уехал якобы на Дрину для выяснения обстановки, сразу наступила та подозрительная тишина, которая предшествует обычно взрыву народного гнева, и начались непонятные для посторонних переговоры шепотом или взглядами. Все было готово для взрыва, ожидали лишь подходящего момента.

Как и всегда, поводом послужило событие второстепенное и незначительное.

У Цезаря Давны был в услужении доверенный человек, некто Мехмед, по прозванию Усач, плечистый и статный герцеговинец. Все служащие в иностранных консульствах были ненавистны местным туркам, а этот Мехмед в особенности. Зимой он женился на молодой и красивой мусульманке, приехавшей из Белграда к родным в Травник. Она была замужем в Белграде за некиим Бекри-Мустафой, содержателем кофейни в Дорчоле. Четыре свидетеля, все травницкие мусульмане, клятвенно подтвердили, что Бекри-Мустафа умер от пьянства и что жена его свободна. Поэтому кадия и повенчал ее с Мехмедом.

Почти одновременно с отъездом визиря в Травнике нежданно-негаданно появился этот Бекри-Мустафа, правда мертвецки пьяный, но живой, и потребовал свою жену. Кадия сперва выгнал

его, пьяного и без документов. Владелец кофейни объяснил, что одиннадцать дней добирался из Белграда в Травник, по сугробам, в страшнейшую стужу, а потому и должен был выпить столько ракии, что теперь никак не может протрезвиться. Он ищет только то, что принадлежит ему по закону: жену, на которой другой женился обманным путем.

В дело вмешался базар. Все поняли, что это наилучший случай напакостить ненавистному Мехмеду, его господину — Давне и вообще консулам и консульствам. Все считали своим долгом помочь честному мусульманину отстоять свои права и выступить против чужестранцев и их слуг. И Бекри-Мустафа, пришедший в такой мороз без шубы и крепкой обуви, гол как сокол, согревавшийся только ракией, а питавшийся луком, теперь вдруг был завален теплой одеждой, накормлен, напоен и обласкан всем базаром. Кто-то даже подарил ему женскую шубу с облезлым лисьим воротником, которую он и стал носить с большим достоинством. Икая и моргая, переходил он, словно знамя, из лавки в лавку, окруженный всеобщим вниманием и милостями, и громче и сильнее, чем когда-либо, требовал восстановления своих прав. Правда, он не мог протрезвиться, но это не мешало ему, так как за него вступился весь базар.

Когда кадия решительно отказался поверить пьяному человеку на слово и вернуть ему жену, город взбунтовался. Наконец-то был найден повод для давно назревшего волнения, которое могло теперь вылиться открыто и течь беспрепятственно. И волнение вспыхнуло, хотя зимняя пора вовсе не подходила для таких дел, случавшихся обычно летом или осенью.

Никто из иностранцев не представлял, как происходит и к чему может привести этот приступ коллективного помешательства, время от времени охватывавшего жителей городков, затерянных и стиснутых среди высоких гор. Даже и Давне, знавшему Восток, но не знавшему Боснии, все это было внове и минутами сильно его озадачивало. Давиль же заперся со своим семейством в консульстве в ожидании самого худшего.

В зимний день, за час до полудня, словно по какому-то невидимому таинственному знаку, базар закрылся. С шумом и треском захлопывались ставни, двери и запоры, будто летняя гроза пронеслась с бурей и громом, будто со всех сторон по травницким кручам с сильным грохотом посыпались груды камней, угрожая засыпать город и в нем все живое.

В наступившей сразу за этим шумом тишине раздались редкие выстрелы и дикие вопли, и вслед за этим — сначала с невнятным бормотанием, потом с приглушенными криками стала расти толпа простого люда, детей и подростков. Когда людей собралось

две-три сотни, толпа, сперва нерешительно, а чем дальше, тем быстрее и увереннее, двинулась к французскому консульству. Вертели палками, размахивали руками. Больше всего ругали кадию, обвенчавшего жену Бекри-Мустафы; к тому же он был известен как сторонник реформ Селима III и приспешник визиря.

Какой-то никому не известный человек с длинными усами орал, что из-за таких, мол, людей настали времена, когда правоверные не смеют и головы поднять, а дети их голодают; последними словами клеймил он ненавистного Мехмеда, который служит неверным и ест свинину, и доказывал, что его надо немедленно арестовать и заковать в одни кандалы с кадией. Кадия отнимает у правоверных мусульман жен и венчает их с другими, и все это за деньги, потому что по-настоящему-то он и не кадия, а предатель, хуже любого попа. Один маленький желтолицый человек, обычно скромный и боязливый, портной с нижнего базара, который даже в собственном доме ни на кого не повышал голоса, тут, внимательно слушая усатого оратора, вдруг зажмурился, вскинул голову и с неожиданной силой заорал диким и хриплым голосом, словно хотел отомстить за свое долгое молчание:

— Во Врандук попа-кадию!

Это подзадорило остальных, посыпались грубые выкрики против кадии, визиря, консульства и в особенности против Мехмеда Усача. Трусоватые парни долго готовились, перешептывались, будто повторяя заданное, а потом срывались и, задрав в возбуждении головы, словно собираясь запеть, выкрикивали то, что так долго вынашивали. А затем, краснея от застенчивости и волнения, прислушивались, насколько сильно откликается на их крики толпа одобрительным ропотом. Так, подбадривая и подстрекая друг друга, они все больше приходили в восторг от сознания, что каждый, пока длится восстание, может кричать и делать что хочет и дать выход всему, что его угнетает и мучит.

Сулейман-паша Скопляпин, чехайя, который прекрасно знал, что означают и как протекают травницкие волнения, и который в то же время не забывал о своей ответственности перед консульством, сделал самое умное, что можно было сделать при таких обстоятельствах. Он приказал арестовать Мехмеда — слугу консула — и запереть в крепости.

Толпа, собравшаяся перед консульством, была особенно раздражена тем, что до консульского дома, окруженного широким двором и садом, нельзя было добросить камнем. Как раз в тот момент, когда толпа заколебалась, не зная, что предпринять, кто-то крикнул, что по переулкам ведут Мехмеда. Все ринулись в гору и бегом достигли моста перед крепостью. Но за Мехмедом уже затворились тяжелые чугунные ворота. Наступило замеша-

тельство. Большинство, распевая песни, двинулось обратно в город, а некоторые, чего-то ожидая, продолжали стоять перед земляным валом, смотрели на окна въездной башни и громко кричали, предлагая применить к арестованному самые ужасные наказания и пытки.

Пустой базар, словно выметенный пронесшимся вихрем, наполнился шумом и криками праздного люда, лишь отчасти удовлетворенного арестом Мехмеда. Но и этот шум смолк, все стали переглядываться, перекликаться и с любопытством озираться по сторонам. Толпа находилась в том состоянии скуки и утомления, когда она готова откликнуться на любую новинку и забаву, как на жестокую и кровавую, так и на безобидно-веселую. Наконец все взгляды устремились на улицу, круто опускавшуюся к базару от французского консульства.

По этой улице, сквозь поредевшую толпу, торжественно ехал на своей крупной пегой кобыле вооруженный Давна. От удивления все застыли на своих местах, глядя на всадника, продвигавшегося спокойно и беззаботно, словно его сопровождал отряд конницы. Если бы крикнул хоть один из толпы, разом закричали бы все, поднялся бы гвалт, началась свалка, полетели бы и камни. Всадник вместе с лошадью утонул бы в этой толпе, как в пучине. Но тут каждый хотел сперва посмотреть, куда едет и чего хочет храбрый толмач консула, а потом уже присоединиться к крикам, а возможно, и к действиям. Так случилось, что никто ничего не выкрикнул, и толпа стояла, выжидая, лишенная единой воли и определенного плана. Зато Давна орал громко и дерзко, как может орать только левантинец, наклоняясь то вправо, то влево, будто гнал стадо коров. Он был смертельно бледен. Глаза горели, рот раскрыт до ушей.

— Какая змея вас укусила, что вы решились затронуть французское консульство? — кричал он, глядя прямо в глаза тем, кто стоял всех ближе, и продолжал: — Как вы смели восстать против нас, против своих лучших друзей? На это вас мог подговорить только болван, которому боснийская ракия отшибла память. Не знаете разве, что новый султан и французский император — закадычные друзья и что из Стамбула приказано относиться к французскому консулу со вниманием и уважать его как гостя Оттоманской империи.

Кто-то пробормотал нечто невнятное, но толпа не поддержала, и Давна, воспользовавшись этим, обернулся в сторону этого одинокого голоса и стал обращаться только к нему, будто все остальные были на стороне Давны и он говорит и от их имени.

— Что? Как? Ты что же, хочешь замутить и испортить то, что императоры между собой порешили и утвердили? Ладно,

будем знать, кто толкает мирных людей в беду. Но помните, что султан этого не потерпит, вся Босния будет сожжена, не пощадят даже детей в колыбелях, если что случится с нашим консульством.

Опять раздались чьи-то голоса, но глухие и разрозненные. Толпа расступилась перед всадником, которому, казалось, и в голову не приходило, что с ним может что-либо приключиться. Так он и проехал через весь базар, гневно выкрикивая, что едет сейчас к Сулейман-паше спросить, кто здесь хозяин, и потом — могут в этом не сомневаться! — многим придется пожалеть, что, послушавшись дураков, выступили против высочайшего постановления.

И Давна ускакал за мост. Расступившаяся перед ним толпа вновь сомкнулась, но чувствовала себя побежденной и укрощенной, хотя бы на мгновение. Все спрашивали друг друга, как могли они позволить этому неверному свободно и нахально проехать, почему они не раздавили его, как клопа? Но было уже поздно. Момент был упущен. Первый порыв иссяк, толпа была смущена и обезглавлена. Приходилось все начинать сначала.

Воспользовавшись смущением и минутным малодушием толпы, Давна так же смело и не торопясь вернулся в консульство. Он больше не кричал, а только вызывающе глядел кругом, многозначительно и угрожающе кивая головой, как человек, уладивший дело в Конаке и хорошо знающий, что их ожидает.

На самом деле попытка Давны вести разговор с Сулейман-пашой в резких тонах и свысока не имела успеха. Чехайя не был ни смущен, ни напуган угрозами Давны и волнениями в Травнике. Как в свое время он защищал у визиря травницкую зиму и доказывал, что она вовсе не представляет собой несчастья, а является даром божьим и необходимостью, так и теперь он говорил о волнениях. Он поручил передать Давилю, что все это не имеет значения: поднялся народ, толпа, чернь. Это случается время от времени. Покричат, подзадоривая друг друга, и успокоятся; а крики никогда никому вреда не причиняли. Консульство никто не посмеет тронуть. Дело же этого слуги Мехмеда подлежит мусульманскому суду, его допросят, и если он виновен, то будет наказан и должен будет вернуть жену; если же невиновен, то ему ничего не сделают. Все остальное остается по-старому, в полном порядке и на своем месте.

Все это Сулейман-паша, прося передать Давилю, выговаривал медленно, на своем псковерканном турецком языке, с грубым произношением и множеством непонятных провинциализмов. С Давной он не пожелал обсуждать эти дела, как тот ни старался. Отпустил его как турецкого слугу со словами:

— *Так. Все, что я тебе сказал, ты как следует запомни и в* точности переведи уважаемому консулу.

Но волнение продолжало расти. Ничто не помогало: ни нахальство Давны, ни нарочитое смягчение и умаление событий Сулейман-пашой.

Под вечер того же дня еще более многочисленная и разнузданная толпа спустилась из предместий и разошлась по базару — под улюлюканье подростков. Ночью какие-то подозрительные люди подходили к консульству. Собаки лаяли, слуги стояли на страже. Наутро нашли кудель и смолу, с помощью которых хотели поджечь здание консульства.

На следующий день Давна с той же смелостью потребовал и добился разрешения навестить в крепости арестованного слугу. Он нашел его, связанного, в темной камере, прозванной колодцем, куда спускают приговоренных к смерти. Заключенный был действительно ближе к смерти, чем к жизни, потому что мутеселим, не знавший подлинной причины ареста, на всякий случай приказал всыпать ему сто ударов палкой по подошвам. Давне не удалось освободить несчастного, но он сумел подкупить тюремщика и тем облегчить участь узника.

К еще большему неудовольствию Давиля как раз в эти дни в Травнике очутились два французских офицера, посланные из Сплита в Стамбул. Несмотря на то, что посылать офицеров было не только излишне, но и вредно, несмотря на то, что Давиль в течение уже нескольких месяцев умолял не делать этого или, во всяком случае, не посылать их через Боснию, где это вызывает ненависть и недоверие народа, все-таки случалось, что два-три офицера пускались в путь на основании какого-то старого распоряжения.

Из-за волнений и эти два офицера, как и все остальные, оказались заточенными в здании консульства. Однако прибывшие военные, люди неосмотрительные, заносчивые и нетерпеливые, в первый же день, невзирая на волнения, попробовали проехать верхом в окрестности города.

Но как только они, отъехав от консульства, попали в пригород, вслед им полетели комья снега. За всадниками бежала городская детвора и забрасывала их все больше. Из всех ворот выскакивали мальчишки с румяными щеками и дикими взглядами и, подзадоривая друг друга, орали:

— Воп крест! Бей!

— Бей неверных!

— Давай выкуп!

Офицеры видели, как сорванцы, подбежав к колонке, смачивали снежки водой, чтобы они стали тяжелее. Французы оказались в неловком положении, так как не хотели ни обратиться в бегство, пришпорив коней, ни вступать в драку с детьми, ни спо-

койно выносить их дикие выходки. Вернулись они в консульство взбешенные и посрамленные.

И в то время как с базара доносились возгласы толпы, саперный офицер, запертый в консульстве, строчил донесение начальству в Сплит.

«Хорошо еще,— писал майор,— что был снег, иначе эти дикари закидали бы нас камнями и грязью. Я весь кипел от гнева и стыда и, когда смешная ситуация стала невыносимой, бросился с палкой в толпу детворы; дети разбежались на минуту, но тут же опять собрались и начали нас преследовать, крича еще громче. Мы едва доехали до города. Консульский переводчик уверял меня, что, на наше счастье, я никого из ребят не ударил палкой, в противном случае мы могли бы поплатиться жизнью от руки взрослых, которые нисколько не лучше детей и которые этих негодников и подговорили».

Давиль старался объяснить офицерам создавшуюся обстановку, но сам сгорал от стыда, что французы стали свидетелями его беспомощности и унижения, которое он принужден был терпеть.

На третий день базар открылся. Один за другим приходили торговцы, опускали ставни, садились на свои места и приступали к делам. Все выглядели еще строже и серьезнее, слегка пристыженные и бледные, как после попойки.

Это было признаком того, что все успокаивается. Правда, в город еще спускались бездельники и подростки и слонялись по улицам, дуя на озябшие руки. Иногда раздавался чей-то выкрик неизвестно против кого, но он оставался без ответа. Из консульства пока никто не выходил, кроме Давны и прислуги, вынужденных это делать, вслед им неслись угрозы, комки снега, а иногда и выстрел. Но волнение подходило к своему естественному концу. Толпа высказала французскому консулу, что она думает о нем и о его пребывании в Травнике. Ненавистный слуга Давны наказан. Жену у него отняли, но не вернули ее Бекри-Мустафе, а отослали к родным. А сам Бекри-Мустафа вдруг потерял для города всякий интерес. На него перестали обращать внимание. Люди, словно протрезвившись, спрашивали, кто этот пьяный бродяга и что ему здесь нужно. Никто не разрешал ему подойти к лавке и погреться у мангала. Он еще несколько дней шатался, продавая за ракию по частям свою одежду, которую люди подарили ему в порыве великодушия, и наконец навсегда исчез из Травника.

Так закончилось волнение. Но трудности, с которыми приходилось бороться консульству, не уменьшились, а, наоборот, значительно увеличились. Давиль сталкивался с ними на каждом шагу.

Мехмеда Усача наконец освободили, сломленного избиениями и огорченного потерей жены. Правда, Сулейман-паша в ответ на

резкий протест Давиля приказал мутеселиму пойти и извиниться перед консулом за арест слуги, за обидные выкрики против французов и нападение на здание консульства. Но мутеселим, гордый и упрямый старик, решительно заявил, что скорее оставит службу, а если понадобится, то и сложит свою голову, чем пойдет к гяурскому консулу просить прощения. На том и покончили.

Служащие французского консульства были напуганы случаем с Мехмедом. На улицах их провожали взглядами, полными ненависти. Торговцы отказывались им что-либо продавать. Телохранитель Хусейн, албанец, гордый своим положением, ходил по базару бледный от злости. Чего бы он ни попросил, остановившись перед лавкой, торговец-турок хмуро отвечал, что такого товара нет. А нужная вещь часто висела тут же, на глазах, но, если Хусейн указывал на нее, торговец либо спокойно отвечал, что это уже продано, либо вспыхивал:

— Если я говорю нет, значит, нет. Для тебя нет!

Приходилось тайком покупать у католиков и у евреев.

Давиль чувствовал, что ненависть против него и консульства растет с каждым днем. Ему казалось, что он видит, как эта ненависть скоро просто-напросто выметет его из Травника. Она отнимала у него сон, сковывала волю, уничтожала всякое его решение в зародыше. И прислуга чувствовала себя беспомощной, преследуемой и недостаточно защищенной от всеобщей ненависти. И только природное чувство стыда и преданность хорошим хозяевам не позволяли им покинуть столь ненавистную службу в консульстве. Один Давна оставался непоколебимым и бесстрашным. Ненависть, все больше сгущавшаяся вокруг консульства, не смущала и не пугала его. Он твердо держался своего принципа: немногим, стоящим наверху, неустанно и бесцеремонно льстить, а всем остальным выказывать лишь свою силу и презрение, потому что турки боятся только того, кто сам не боится, и отступают только перед тем, кто сильнее их. Такие нечеловеческие отношения вполне отвечали его понятиям и привычкам.

IX

Измученный усилиями, которых потребовали от него события последних месяцев, не получая должного внимания и поддержки из Парижа, от генерала Мармона в Сплите и посла в Стамбуле, страдающий от злобы и недоверия, с которыми травницкие турки следили за каждым его шагом и вообще за всем, что шло от французов, Давиль все тяжелее переживал отъезд Мехмед-паши. В одиночестве и в раздражении он на все начал смотреть под опреде-

ленным углом зрения и в определенном освещении. Все вдруг стало огромным, важным, трудным и непоправимым, едва ли не трагичным. В отозвании бывшего визиря, «друга французов», он видел не только собственную неудачу, но и доказательство слабости французского влияния в Стамбуле и крупное поражение французской политики.

И Давиль в душе все сильнее раскаивался, что принял это назначение, очевидно настолько трудное, что от него все отказывались. Особенно он упрекал себя за то, что привез семью. Он понял, что обманулся и был обманут, что, по всей вероятности, потеряет здесь и свою репутацию, и здоровье жены и детей. На каждом шагу он чувствовал, что его преследуют, что он беспомощен, и, конечно, не ждал от будущего ничего хорошего или утешительного.

Все, что ему удалось до сих пор услышать и узнать о новом визире, беспокоило и пугало его. Ибрагим Халими-паша был, правда, сторонником Селима III и одно время даже его великим визирем, но сам лично не был рьяным поклонником реформ, а тем более другом французов. Было известно, что он непререкаемо и беспредельно предан Селиму III, и это, в сущности, было все, что о нем знали. После низложения Селима и он, по слухам, был ни жив ни мертв. Новое правительство султана Мустафы послало его в качестве наместника сперва в Салоники, а потом сразу в Боснию, словно труп его хотели поскорее убрать с глаз долой. Этот человек был, как говорили, из хорошего рода, но с посредственными способностями, к тому же еще не оправившийся после потрясения от недавнего падения и ожесточенный незавидным назначением, которое ему уготовили. Чего мог Давиль ожидать для Франции и для себя лично от такого визиря, когда даже ловкий и самолюбивый Мехмед-паша ничего не мог сделать? Потому Давиль ждал нового визиря со страхом, как еще одну неприятность в цепи неприятностей, которые ему приносило консульство в Боснии.

Ибрагим-паша прибыл в начале марта с огромной свитой и целым караваном вещей. Гарем его остался в Стамбуле. Устроившись и отдохнув немного, новый визирь принял консулов на торжественной аудиенции.

Давиль был принят первым.

И на этот раз не обошлось без угроз и ругани во время торжественного следования через город. (Давиль подготовил к этому Дефоссе.) Но их было меньше и все сошло лучше, чем в первый раз. Несколько громких ругательств и угрожающих или издевательских жестов было единственным выражением всеобщей ненависти к иностранным консульствам. Со злорадным удовлетворением

Давиль узнал, что и его австрийский противник, принятый визирем на следующий день, был встречен турками не лучше, чем он.

Церемониал встречи Давиля в Копаке был такой же, как и у прежнего визиря. Но подарки были богаче и угощение обильнее. Новый чиновник консульства получил горностаевую шубу, а на Давиля и на этот раз надели куний мех. Но важнее всего для Давиля было то, что визирь разговаривал с ним на полчаса дольше, чем на другой день с австрийским консулом.

Вообще новый визирь поразил Давиля как своими манерами, так и всем обликом. Судьба, словно желая подшутить над консулом, послала ему полную противоположность Мехмед-паши, с которым было если и не всегда успешно, то хоть легко и приятно иметь дело. (Обреченные на одиночество консулы легко начинают считать, что их не только покинуло свое правительство и преследуют противники, но и сама судьба ополчилась против них.) Вместо молодого, живого, любезного грузина Давиль очутился перед тяжелым, неуклюжим и холодным османским турком, вид которого и пугал и отталкивал. И хотя беседы с Мехмед-пашой не всегда приводили к тому, что обещали, они все же оставляли у консула впечатление чего-то веселого и побуждали к дальнейшей работе и переговорам. А беседы с Ибрагим-пашой могли, как ему казалось, только заразить собеседника дурным настроением и оставить осадок грусти и тупой безнадежности.

Визирь был ходячей развалиной. Развалиной, лишенной красоты и величия и наделенной лишь величием ужаса. Если бы мертвецы могли двигаться, они, быть может, внушали бы живым больше страха и изумления, чем того холодного ужаса, от которого стынет взгляд, отнимается язык и как-то сама собой отдергивается рука. У визиря было широкое без кровинки лицо, изборожденное немногими, но глубокими морщинами, с редкой бородой, тоже какой-то выцветшей, похожей на давно высохшую траву, уцелевшую в расселинах отвесных скал. Это лицо странно выделялось на фоне огромного тюрбана, надвинутого до бровей и на уши. Тюрбан был весьма искусно свернут из тончайшей ткани, белой с розоватым отливом, и украшен пером, расшитым золотыми нитями и зеленым шелком. На голове тюрбан торчал так нелепо, словно был надет чужой рукой в темноте и наугад на голову мертвеца, который никогда больше не сдвинет и не снимет его, так как будет с ним похоронен и с ним же истлеет. Вся фигура визиря, от шеи до пят, казалась сплошной массой, в которой трудно было различить руки, ноги и туловище. Нельзя было представить себе, что за тело скрывается под этой грудой одежд из сукна, кожи, шелка, серебра и тесьмы. Оно могло быть и маленьким, и слабым, так же как и сильным, и крупным. И что самое странное,

эта тяжелая груда одежд и украшений в редкие минуты, когда двигалась, делала неожиданно быстрые и порывистые движения, свойственные молодому и нервному человеку. Но большое старческое, оцепеневшее лицо продолжало при этом оставаться неподвижным и лишенным всякого выражения. Казалось, что это мертвое лицо и тяжелая груда одежд приводятся в движение изнутри невидимыми рессорами и пружинами.

Все вместе взятое придавало визирю вид призрака, а в собеседнике вызывало смешанное чувство ужаса, отвращения, сожаления и неловкости.

Таково было впечатление, которое личность нового визиря произвела на консула при первой встрече.

Со временем, общаясь и работая с Ибрагим-пашой, Давиль привыкнет к нему, по-настоящему подружится с ним и поймет, что под отталкивающей внешностью скрывается человек не без сердца и ума, давно и глубоко несчастный, но не лишенный всех добрых чувств, присущих его народу и допускаемых его кастой. Но теперь, после первых впечатлений, Давиль мрачно смотрел на свое сотрудничество с новым визирем, походившим на пугало, правда роскошное, предназначенное не для бедных полей этой страны, а для каких-то сказочных краев, чтобы отпугивать райских птиц невиданных расцветок и видов.

В толкотне Давиль заметил в Конаке еще много новых и необычных лиц. Давна, окончательно поступивший на службу во французское консульство и теперь уже не имевший свободного доступа в Конак, как во времена Мехмед-паши, постепенно все-таки изыскивал связи и способы узнавать все о визире, о важнейших личностях, об их взаимоотношениях и о том, как надлежит совершать наиболее сложные дела.

Движимый прирожденным усердием, любопытством и скукой, а отчасти бессознательным желанием подражать старым королевским посланникам, чьи донесения он любил читать, Давиль старался проникнуть в личную жизнь визиря, в его домашний строй и по рецепту старой дипломатии узнать «характер, привычки, страсти и наклонности владыки, к которому аккредитован», дабы легче можно было на него влиять и осуществлять свои желания и намерения.

Давна, скорбевший о том, что принужден жить в этой боснийской пустыне вместо того, чтобы служить при посольстве или у какого-нибудь визиря в Стамбуле, что в его представлении больше отвечало его способностям, был как бы создан для того, чтобы все разузнавать и сообщать. С нахальством левантинца, добросовестностью врача и сметливостью пьемонтца он умел все выведать и передать четко, деловито и с такими подробностями, которые ино-

гда были любопытны, всегда полезны, но часто тягостны и отвратительны.

Не было ничего общего не только между двумя визирями, но и между их приближенными. Люди, которых Мехмед-паша привез, а потом увез с собой, были в большинстве молодые, почти все с воинским призванием, во всяком случае прекрасные всадники и охотники. Среди них не было необыкновенных, выдающихся личностей, бросавшихся в глаза телесными или душевными качествами, плохими или хорошими. Все это были люди недалекие, но расторопные, безусловно преданные и верные Мехмед-паше, и все они походили друг на друга, как тридцать два мамелюка визиря, которые, подобно куклам с лицами, лишенными выражения, были все одинаковой внешности и одного возраста.

«Двор» Ибрагим-паши был совершенно другим — многолюднее и разнообразнее по характерам и обликам. Даже Давна, для которого не было тайн в турецком мире, иногда спрашивал себя с удивлением, где это визирь набрал такую необычайную свиту, почему таскает ее с собой по свету и как умудряется удерживать всех этих людей вместе. Ибрагим-паша не был, как большинство визирей, выскочкой или человеком неизвестного происхождения. И отец и дед его были высокими сановниками и людьми богатыми. Таким образом, вокруг их семьи собралось целое скопище рабов, наперсников, приемышей, примаков и всевозможных родственников неизвестной и неопределенной степени родства, прихлебателей и нахлебников всякого рода. Во время своей долгой и переменчивой жизни и службы визирь пользовался услугами самых разнообразных людей, в особенности когда был великим визирем Селима III. Большинство из них не покинуло его даже по прошествии всякой в них надобности, но, подобно «раковинам на старом корабле», продолжало считать свою судьбу связанной с судьбой визиря, вернее, с его кухней и кассой. Тут были и совсем одряхлевшие старики, никогда не вылезавшие на свет божий, которых надо было обихаживать по их комнатам где-то в глубине Конака. Когда-то они состояли на службе у Ибрагим-паши и оказали ему некую крупную услугу, давно уже визирем, да и ими самими позабытую. Были и молодые, здоровые, околачивающиеся без дела и определенного занятия. Некоторые из них и родились при «дворе» Ибрагим-паши, так как отец их тут служил, тут и выросли, тут и весь век свой будут вековать без всякой видимой причины и основания. Были и обнаглевшие странники и дервишинищие.

Короче говоря, Давна не намного преувеличивал, когда во время докладов Давилю с циничной улыбкой называл Конак нового визиря «музеем уродов».

Всех этих людей визирь принимал безотказно; терпел, таскал за собой и с суеверной снисходительностью выносил их пороки, междоусобицы и столкновения, дрязги и ссоры.

Занимавшие высшие должности и работавшие в полную меру были в большинстве случаев лица тоже оригинальные и редко простые и заурядные.

Среди них на первом месте и по важности и по степени влияния был тефтедар визиря Тахир-бег, доверенное лицо Ибрагим-паши и его первый советник по всем вопросам, больной и со странностями, но благородный и необыкновенно умный человек. Мнения о нем были весьма различны как в городе, так и в Конаке, но одно было несомненно, и на этом сходились и жители Травника, и консулы: Тахир-бег был мозг Конака, «правая рука и перо в руке» визиря.

Как бывает со всяким высокопоставленным османским сановником, о Тахир-беге еще до его приезда разнеслись слухи, по пути извращенные и преувеличенные. Травницкая улема, столь же многочисленная, сколь и завистливая, с ехидной усмешкой кусала губы и утешала себя тем, что и он человек, а только к небу, которое над нами, нельзя ничего пришить, и отпороть от него нельзя. И действительно, Тахир-бег еще не проехал и полдороги, как они ухитрились и пришить ему что-то, и что-то отпороть от него. Кто-то из числа прибывших из Стамбула и распространявшихся об учености и уме Тахир-бега сказал, что еще в школе его прозвали «кладезем знаний». В Травнике ему сейчас же дали кличку Кладезь-эфенди.

Таковы уж травницкие аги и родовитые люди, в особенности те, что грамотны и учены. Умеют они найти язвительное словцо или бранное прозвище для всего, чего сами не имеют, не знают или не могут. Таким способом они принимают участие во всех, даже самых важных делах, в которых иначе ни в коем бы случае не участвовали.

Но когда Тахир-бег прибыл в Травник, насмешливая кличка не удержалась среди народа, а вернулась к улеме, чересчур поторопившейся ее выдумать. Перед личностью нового тефтедара всякое оскорбительное слово и даже мысль о насмешке обрывались сами собой. Через несколько недель народ уже называл его просто Эфенди, выговаривая это обычное слово с почтением и особым оттенком. Много водилось в то время в Травнике эфенди, грамотных писарей, хафизов, учителей и мулл, но Эфенди был один.

Ученость, знание иностранных языков и литературные способности были традиционными в семье Тахир-бега. Дед его составил словарь и комментарии, отец был первым секретарем Порты, а окончил жизнь как реис-эфенди. Тахир-бег пошел бы по стопам

отца, не случись восстания, свергнувшего султана Селима III и изгнавшего Ибрагим-пашу сначала в Салоники, а потом в Травник.

Тахир-бегу исполнилось всего тридцать пять лет, но он выглядел гораздо старше. Из рано созревшего подростка он почти без всякого перехода превратился в болезненного, отяжелевшего и состарившегося человека. Так он жил и работал. Но теперь, после всего, что он пережил при Ибрагим-паше, когда тот в самые трудные времена был великим визирем, и вследствие болезни, которая все сильнее овладевала его вообще-то крепким и стройным телом, это был уже человек тяжело больной, медленно и с трудом передвигавшийся, но полный жажды жизни и необычайной силы духа. Если бы он умел вести более умеренный образ жизни или прекратил деловые занятия, возможно, что стамбульский врач и вылечил бы его в начале заболевания. А теперь эта необыкновенная болезнь стала хронической, застарелой, и Тахир-бег смирился с необходимостью жить и болеть одновременно. В левом паху у него была рана, открывавшаяся по нескольку раз в году. Оттого он ходил медленно и согнувшись. Зимой и в период южных ветров появлялись боли, сопровождаемые бессонницей, и тогда он должен был увеличивать дозу спиртного и снотворного.

Оставшись без помощи своего стамбульского врача, Тахир-бег сам врачевал и бинтовал рану, да и вообще не докучал никому своей болезнью, никогда не жалуясь и никого не беспокоя.

Правда, в числе многих должностей, имевшихся у Ибрагим-паши, была и должность врача, но занимал ее старый и остроумный Эшреф-эфенди, забывший и то немногое, что знал, а тем более лекарское искусство, с которым никогда особенно тесно не соприкасался. В молодости он был чем-то вроде аптекаря, но половину своей жизни провел в армии, на полях сражений и в лагерях, где «лечил» не столько с помощью знаний и лекарств, сколько сердечностью и неиссякаемым благодушием. Из армии его давно уже взял к себе Ибрагим-паша и возил всюду с собой, больше как симпатичного ему человека, чем врача. Когда-то страстный охотник, особенно на диких уток, теперь он очень страдал от ревматизма в ногах и чаще всего сидел где-нибудь на солнышке или в теплой комнате, всегда в высоких сапогах с длинными суконными голенищами. Человек он был живой, остроумный, заметный, и его все любили и уважали.

Понятно, что Тахир-бегу и в голову не приходило лечиться у этого Эшреф-эфенди, с которым, впрочем, он любил поговорить и пошутить.

В отдельном ящичке у него были всегда наготове бережно свернутые узкие и широкие бинты, вата, примочки и бальзамы. Тонкой работы ящичек был искусно сделан из ценного и благо-

родного дерева, которое от долголетнего употребления становилось все красивее. Дед Тахир-бега держал в нем свои рукописи, отец хранил деньги, а у него лежали лекарства и бинты.

В дни обострения болезни тефтедару каждое утро в определенное время согревали воду, и тогда начинался болезненный, длительный, почти что благоговейный процесс промывания, чистки и бинтования раны. Напряженно стиснув челюсти и сдвинув брови, запершись в комнате, он бережно промывал рану, менял бальзамы и бинты. Часто это длилось часами.

Это были сокровенные и мучительные часы его жизни. Но вместе с ними тут оставались как бы похороненными все его невысказанные тягости и страдания. Ибо, когда тефтедар выходил наконец на люди, забинтованный, подпоясанный, затянутый и одетый, это был спокойный и сильный человек. На его холодном и неподвижном лице горели властные глаза и едва заметно подергивались тонкие губы. И тогда для него не было на свете ничего трудного или страшного, не было ни неразрешимых вопросов, ни опасных людей и непреодолимых трудностей. Постоянно и тяжело больной, он становился сильнее и ловчей здоровых.

То, чем жил этот человек, что составляло его силу, отражалось в его глазах. Они то расширялись и сверкали, как глаза великих людей, чья мысль господствует над всем; то сужались, становились острыми и светло-золотистыми, какие бывают у некоторых животных, у ласки или куницы, блестящие и холодные, жестокие и беспощадные; порой это были страстные и смеющиеся глаза своевольного, но благородного юноши, сияющие беспечностью и красотой, свойственными молодости. У этого человека жили только глаза. Голос у него был хриплый, движения скупые и медленные.

Тахир-бег имел на визиря больше влияния, чем все остальные сотрудники вместе взятые, за советом визирь чаще всего обращался к нему и всегда соглашался с ним, ему он доверял трудные и деликатные дела, о которых чехайя часто даже не знал. Тефтедар решал их всегда быстро, просто и легко, без лишних слов, с тем самым золотистым отблеском в глазах, и никогда больше не возвращался к ним. Своими знаниями и умом он делился щедро и бескорыстно, как человек, обладающий этим в избытке и привыкший давать, ничего не требуя взамен. Он одинаково хорошо знал и мусульманское право, и военное дело, и финансы. Владел персидским и греческим языками. Прекрасно писал, и у него был сборник стихов, которые султан Селим III знал и любил.

Тахир-бег был одним из тех немногих османских турок в Конаке, которые никогда не жаловались на изгнание в Боснию, на дикость этого края и грубость населения. В душе он сожалел о Стамбуле, так как больше чем кто другой привык к роскоши и

удовольствиям столичной жизни. Но это сожаление, как и свою рану, он скрывал и «перебинтовывал» в одиночестве, вдали от людских глаз.

Полной противоположностью Тахир-бегу и его непримиримым, хоть и бессильным, противником был хазнадар Баки, которого в Конаке звали Каки. Этот человек был физическим и духовным уродом, какой-то чудовищной счетной машиной, которого все ненавидели и который ничего другого и не искал. Он давно стал необходим визирю больше в силу привычки, чем действительно. Не сознаваясь в этом, визирь, который любил только людей спокойных и благородных, держал и терпел этого хитрого чудака под влиянием какого-то суеверия, как хранят талисман, притягивающий к себе всю ненависть и все зло, как близкое, так и далекое. Тахир-бег называл его «доморощенной змеей визиря».

Живя в одиночестве, без жены и друзей, Баки уже много лет вел денежные дела визиря, по-своему аккуратно и на совесть сберегая каждый грош с болезненным упрямством скупердяя и защищая этот грош от всех, включая самого визиря. Вся его жизнь, лишенная личного счастья и удовольствий, была отдана эгоистическому самообожанию и борьбе с расходами, какими бы то ни было, где бы и для кого бы они ни производились. Необыкновенно злой по натуре, он, в сущности, никакой выгоды из этого зла не извлекал, так как в жизни ему ничего не требовалось, кроме самого зла.

Это был полный, небольшого роста человек без бороды и усов, с желтой прозрачной кожей, обтягивавшей, казалось, не кости и мускулы, а какую-то бесцветную жидкость или воздух. Одутловатые желтые щеки низко свисали, как два мешка. Глаза, голубые и ясные, какие бывают у маленьких детей, только всегда озабоченные и недоверчивые, беспокойно мигали. Глаза его никогда не смеялись. Ворот минтана глубоко врезался во вздутую шею с тройным подбородком, как у белесых, дебелых женщин. Весь он походил на огромные мехи в складках, которые со свистом стали бы выпускать воздух, если бы кто проткнул их иглой. Все его тело подрагивало при дыхании и трепетало от страха при каждом соприкосновении с чем-то чужеродным.

Человек этот не знал ни шуток, ни развлечений. Говорил мало, и только то, что было заранее заготовлено, ничего лишнего. Он с восторгом прислушивался к себе и следил за собой и всем тем, что считал своим. Будь у него две жизни, и тех бы ему не хватило на это занятие. Ел он мало, пил только воду, потому что у него не было ни зубов, чтобы жевать, ни здорового желудка для сварения пищи, и потому еще, что сбереженный кусок был ему слаще съеденного. Зато, приступая к еде, он приготовлял и облю-

бовывал каждую крошку и смотрел на нее с нежностью, так как она должна была стать частью его собственного тела.

Ему было всегда зябко, везде и во всякое время года. Чувствительность кожи не позволяла ему кутаться как попало. Прикосновение швов было так болезненно, вызывало такую жалость к самому себе, что он готов был проливать над собой слезы. Всю жизнь он выискивал теплые, но легкие и мягкие материалы и одевался и обувался на свой манер в широкие, удобные и простые одежды, не обращая внимания на обычаи и окружающих. Чаще всего ему снилось тепло. Он мечтал иметь такую комнатку, маленькую и без всякой мебели, которая обогревалась бы со всех сторон невидимыми источниками тепла, ровными и неиссякаемыми, и при этом оставалась бы светлой, чистой и полной свежего воздуха. Нечто вроде храма, воздвигнутого самому себе, теплой могилы, из которой, однако, можно было бы постоянно и действенно влиять на мир себе в удовольствие, а другим во зло. Ибо Баки был не только смешным скрягой и самовлюбленным чудаком, но и клеветником, доносчиком и хулителем, который многим испортил жизнь и не одну голову снял с плеч. В особенности в те славные времена, когда Ибрагим-паша был великим визирем, а он сам, Баки, вертелся среди видных личностей в самой гуще событий. «Кому Баки перевернет тарелку, тому уж больше не есть»,— говорили тогда о нем. Но и теперь, заброшенный так далеко, без связей и влияния, постаревший и скорее смешной, чем опасный, он не переставал писать разным лицам в Стамбул, сообщая им больше по привычке разные сведения, которые выдавал за достоверные, подозревая и оговаривая кого только мог. Он и теперь был способен проводить за подобным занятием целые ночи, сгорбившись и скорчившись над клочком бумаги, с таким же удовольствием, с каким другие проводят их в веселом обществе или в любовных утехах. И делал он все это просто, почти всегда бескорыстно, по внутреннему побуждению, без всякого стыда и угрызений совести, даже без страха.

Все жившие в Конаке ненавидели хазнадара, и он, в свою очередь, ненавидел всех вкупе с окружающим миром. Маньяк в скупости и счетоводстве, он не хотел иметь ни помощника, ни писарей. Целые дни он проводил, склонившись над деньгами, пересчитывал их, шепча что-то, словно молитву, и писал тупым коротким тростниковым пером на маленьких клочках бумаги разного размера. (Эти бумажки он крал у других чиновников.) Баки шпионил за всеми в Конаке, бил и увольнял младших служащих, надоедал визирю доносами и наушничаньем на старших и бесконечными мольбами запретить и приостановить мотовство и убытки. Он боролся против всяких расходов, против всяких удовольствий и вся-

ких радостей, чуть ли не против всякой деятельности вообще, считая не только веселых и беззаботных, но и просто разговорчивых и предприимчивых людей бездельниками и опасными мотами. И в этой его борьбе с самой жизнью было много смешных и досадных происшествий. Он платил шпионам, докладывавшим ему, в какой комнате горит свет дольше положенного срока, вычислял, кто сколько ест и пьет, подсчитывал в огороде перья лука, как только они вылезали из земли. Все эти меры стоили, конечно, дороже, чем устраненный убыток. (Тахир-эфенди шутил, что усердие Баки причиняет визирю больший ущерб, чем пороки и недостатки остальных чиновников вместе взятые.) Тучный, страдающий одышкой, он тем не менее то и дело спускался в подвал или взбирался на чердак. Все записывал, отмечал, за всем следил, однако все продолжало исчезать у него на глазах. Он отчаянно боролся против естественного течения жизни, и ему доставило бы самое большое удовольствие, если бы он мог погасить жизнь во всем мире, как он гасил лишние свечи по комнатам, послюнявив большой и указательный пальцы, остаться в одиночестве среди мрака, возле этих потушенных свечей жизни и наслаждаться тем, что все погрузилось в темноту, что и он сам не живет, то есть не тратит, а все-таки дышит и существует как победитель и свидетель своего триумфа.

Он ненавидел богатых за то, что, имея много, они сорят деньгами, и страстно был зол на тех, у кого ничего нет за душой, на извечную, беспросветную бедность, эту гидру с миллионом ненасытных ртов. Если кто-нибудь в Конаке хотел его рассердить, то как бы между прочим, с преувеличенно-грустным лицом замечал жалобным голосом, что такой-то заслуживает внимания, «потому что он бедный». С точностью механизма Баки вскакивал с места и, забывая обо всем, кричал своим писклявым голосом:

— Что тебе за дело до бедняка? Что ты к нему прилип? Пусть себе плывет по течению, как плывет. Что я, бог, что ли, чтобы превращать бедных в богатых? Да и тот больше этим не занимается. И ему надоело.

Он наклонял голову и, передразнивая собеседника, плаксиво пищал:

— «Потому что он бедный». Ну и что из этого? И с каких пор стало честью быть бедным? Что это, титул, дающий какие-то права? Говорят «он бедный», как сказали бы «он хаджи» или «паша».

Потом, повысив голос, он кричал с пеной у рта прямо в лицо собеседнику:

— Чего же он жрет, коли бедный? Никто столько не ест, как бедняки! Почему не копит?

Он хвалил боснийцев за простоту и воздержанность, за то, что нищие их терпеливы, не просят и не пристают, как стамбульские или салоникские, а мыкают горе молча и терпеливо. Но презирал жителей Травника, заметив, что те любят украшения и почти все хорошо одеваются. Он видел на мужчинах широкие шелковые пояса и штаны, сплошь расшитые шелком, а на женщинах чадры из добротного сукна, на лице покрывала, вышитые золотыми нитями, и все это раздражало его, потому что он тщетно старался себе уяснить, как все эти люди добывают деньги, почему покупают такие дорогие и ненужные вещи и как пополняют средства, которые так легко тратят и разбрасывают. У него голова шла кругом от этих безнадежно запутанных расчетов. И когда кто-нибудь в разговоре начинал защищать травничан и доказывать, что приятно их видеть на базаре всегда чисто и хорошо одетыми, Баки накидывался на говорившего:

— Ну и пускай ходят чистые! Откуда только у них деньги на такие костюмы? Ну? Я тебя спрашиваю: откуда могут быть деньги в этом крестьянском городке?

И так как собеседник нарочно продолжал расхваливать жителей Травника и оправдывать богатство их одежды, хазнадар расходился все больше. Его голубые глаза, озабоченные и в то же время невыносимо смешные, вдруг темнели и становились злыми и сверкающими. Словно дервиш в экстазе, он быстро бегал на своих маленьких и невидимых ногах, будто вросших в массу жира, и размахивал короткими руками. Наконец, очутившись посреди комнаты, раскорячив ноги, вытянув руки и растопырив тупые пальцы, он повторял, ядовито шипя, все быстрее, громче и резче:

— Откуда деньги? Откуда деньги? От-ку-да деньги?

Тут шутник, явившийся только для того, чтобы разозлить и вывести его из себя, уходил, ничего не ответив и оставив распалившегося хазнадара посреди комнаты, словно утопающего без помощи и надежды на спасение в бушующем океане необозримых трат и запутанных расчетов безумного и несчастного мира.

Лучше всего хазнадара знал и чаще всего о нем рассказывал Эшреф-эфенди, больной врач визиря. От него-то Давна больше всего и узнал о хазнадаре.

Сидя на солнце, вытянув ноги в суконных сапогах, положив на колени длинные худые руки со шрамами и вздутыми венами, Эшреф-эфенди говорил своим глубоким и сиплым голосом охотника:

— Конечно, теперь он смешон и порядком износился. Боров и тот не захочет об него почесаться, но надо было знать его раньше. Да и сейчас нельзя им пренебрегать. Пожелтел он, говорите, руки у него дрожат. Верно. Но вы ошибетесь, если на этом основа-

ним решите, что он недолго проживет и не может быть вредным и опасным для всего живого вокруг себя, насколько это в его силах. Желт-то он желт, как засохшая айва, но он никогда другим не был; таким и родился. Уже больше пятидесяти лет это существо ползает по белу свету, кашляет, чихает, охает, курит и пыхтит, как проколотые мехи. С самого первого дня, как испачкал он половицу, на которой его мать родила, он пачкает все вокруг себя и болеет. Одну половину жизни он боролся с бесконечными запорами, а вторую провел в страшных поносах, бегая через двор с горшком в руке. Но ни это, ни постоянная зубная боль, ни бессонница, сыпи, кровотечения не мешали ему катиться подобно бочонку и с быстротой змеи и силой быка причинять зло всем и каждому. Меня возмущает, когда его называют скупцом. Это обида для скупца. Потому что скупец любит деньги или хотя бы свою скупость и готов многим ради этого пожертвовать, а этот ничего и никого не любит, кроме самого себя, все на свете он ненавидит: и живых людей, и неодушевленные предметы. Нет, какой он скупердяй,— это ржа, да еще самая страшная, та, что ест железо.

Эшреф-эфенди заключил свой рассказ резким смехом.

— Да, я его знаю, как мало кто, хотя он никогда мне ничего не мог сделать. Я, понимаете ли, всегда был только охотником, человеком свободным, и таких, как он, умел заткнуть за пояс.

Помимо этих видных личностей, Давне удалось разузнать во всех подробностях и об остальных важных чиновниках и рассказать консулу.

Был еще черный, худой тефтер-чехайя Ибрагим-эфенди, о котором говорили, что он неподкупен; это был молчаливый и скрытный человек, заботившийся лишь о своей многочисленной семье да о переписке и архиве визиря. Вся его жизнь прошла в борьбе с неумелыми и недобросовестными писарями, гонцами и почтальонами да с бумагами визиря, которые, словно на них лежало заклятие, никогда не удавалось привести в порядок. Весь день он проводил в полутемной комнате, заставленной ящиками и полками. Здесь царил одному ему известный порядок. Если у него спрашивали копию документа или старое письмо, он каждый раз приходил в такое смятение, будто дело касалось чего-то совершенно неожиданного и необыкновенного, вскакивал, останавливался посреди комнаты, обеими руками хватался за виски и принимался вспоминать. Черные глаза его вдруг начинали косить, и он, как говорил Эшреф-эфенди, «видел сразу две полки». При этом он не переставал тихо повторять название требуемого документа, все быстрее, короче и неразборчивей, так что под конец это превращалось в гнусавое гудение. Но вдруг невнятное бормотание прекращалось, он делал резкое движение, словно хотел поймать пти-

цу, и обеими руками тянулся к одной из полок. Искомый документ обычно там и находился. Если случайно его не оказывалось, тефтер-чехайя снова возвращался на середину комнаты и опять собирался с мыслями, опять бормотал сквозь нос, а затем следовал новый прыжок к другому месту. И так продолжалось до тех пор, покуда он не находил документа.

Начальником «гвардии» визиря был веселый и легкомысленный Бехджет, человек несокрушимого здоровья, упитанный и румяный, смелый, но неисправимый игрок и лентяй. Две дюжины пехотинцев и всадников, составлявших пеструю «гвардию» визиря, не доставляли Бехджету ни особых забот, ни труда. Они поладили между собой таким образом, что ни он о них, ни они о нем слишком много не заботились. Играли в карты, ели, пили и спали. Главным и самым трудным делом начальника была борьба с хазнадаром Баки, когда надо было получить от него месячный оклад или оплатить непредвиденный расход на себя или на солдат. К тому же еще сполна и без задержки. Тут происходили немыслимые сцены. Придирками, ухищрениями хазнадару удавалось вывести из себя добродушного Бехджета настолько, что тот вытаскивал нож и угрожал изрезать скупердяя на такие мелкие кусочки, что из него можно будет приготовить котлеты. И Баки, вообще-то трусливый и слабый, тут, защищая денежный ящик, наскакивал на обнаженный нож Бехджета, ослепленный ненавистью и отвращением, которые он питал к этому моту, и клялся, что не умрет, пока не увидит его головы на колу, на круче, внизу кладбища, где выставляют отрубленные головы преступников. Но все заканчивалось тем, что начальник гвардии получал деньги и выходил из комнаты хазнадара с громким смехом, а Баки оставался над денежным ящиком, глядя на образовавшуюся пустоту, как на рану, собираясь в сотый раз пойти к визирю с жалобой на начальника гвардии, на этого негодника и вора, который уже много лет делает налеты на кассу и отравляет ему жизнь. И всей своей казначейской душой он крепко и искренне желал дожить до победы правды и порядка и своими глазами увидеть пустую и отвратительную голову Бехджета, скалящуюся на колу.

Должность чехайи исполнял Сулейман-паша Скопляпин, занимавший то же положение, как мы видели, и при прежнем визире. Он редко бывал в Травнике. А когда бывал, то выказывал гораздо больше понимания и расположения к австрийскому консулу, чем к французскому. И все-таки этот боснпец был единственным человеком среди всего разношерстного скопища в Конаке, которому можно было до известной степени верить, что он намерен выполнить обещанное и сумеет его выполнить.

Травницкая хроника

X

Консульские времена внесли оживление и беспокойство в город визирей; в прямой или косвенной связи с ними многие возвысились, а многие пошатнулись и пали, многие вспоминали эти времена добром, а многие злом.

Но почему Салко Малухия, ученик цирюльника, сын бедной вдовы, познакомился с дубинками слуг бегов? Почему ему запомнились консульские времена именно испытанными страданиями, если он на государственной службе не состоял, не принадлежал ни к бегам, ни к айянам, ни к улеме, ни к торговцам?

Тут действовала одна из тех жизненных сил, которые кипят в нас и вокруг нас, которые поднимают, гонят вперед, останавливают или сбивают с ног. Та сила, которую мы сокращенно называем словом «любовь», заставила и цирюльника Салко лазить по колючим кустам у ограды Хафизадича и взбираться на деревья, чтобы хоть издали увидеть Агату, дочку консула.

Как все настоящие влюбленные, Салко и виду не показывал, что кого-то любит, и никому не рассказывал о своей любви, но нашел-таки способ дать ей хоть какую-то пищу.

В немногие свободные минуты, которые оставались у него после обеда, он незаметно проникал в конюшни постоялого двора и через проем, в который сбрасывали навоз, пробирался в соседний кустарник; оттуда он мог наблюдать за садом консула и в нем почти всегда — за дочкой консула, к которой его влекла сила, превосходящая все силы его слабенького тела.

Между оградой и садом консульства была узкая полоса запущенного сливового сада бегов Хафизадичей, но отсюда был хорошо виден консульский сад, устроенный на европейский лад. Там были проложены дорожки; холмики, вскопанные кротами, были сровнены. Посередине разбиты цветочные клумбы, круглые или в форме звезды, и поставлены столбики с красными и синими стеклянными шарами.

Сад обильно орошался водой и согревался солнцем, и все, посаженное здесь, росло буйно, пышно цвело и давало богатый урожай.

Тут-то Салко и приметил дочку господина фон Миттерера. Конечно, он видел ее и в городе, когда она проезжала с отцом, но так редко и на такие короткие мгновения, что не знал, на что прежде смотреть — на мундир консула, на желтый лакированный экипаж или на барышню, обычно кутавшую ноги в серый плед с вышитой на нем красной короной и монограммой. Салко не успевал даже рассмотреть цвет ее глаз. И вот эту самую недоступную девочку на свете он мог теперь видеть вблизи, когда она, не подо-

зревая, что за ней подсматривают, расхаживала в одиночестве по саду перед нижней верандой, выстроенной и застекленной этой весной.

Скрытый от людских глаз, сидя на корточках с полуоткрытым ртом, затаив дыхание, Салко подглядывал сквозь дощатый забор. А девушка, уверенная, что ее никто не видит, любовалась цветами или осматривала кору на деревьях, перепрыгивая с одной стороны дорожки на другую. Потом останавливалась и смотрела то на небо, то на свои руки. (Так разыгравшиеся молодые животные вдруг останавливаются, не зная, что делать со своим телом.) Затем снова начинала гулять по саду из конца в конец, размахивая руками и хлопая в ладоши — раз перед собой, раз за спиной. А в блестящих разноцветных шарах смешно преломлялась вместе с небом и зеленью ее фигурка в светлом платье.

Салко забывал обо всем на свете — о времени, месте и собственном теле. И только поднимаясь, чтобы уйти, он ощущал, как онемели поджатые ноги и болят от напряжения пальцы и ногти, под которые набивалась земля. И долго спустя, уже в цирюльне, где ему частенько всыпали за опоздание, у него болезненно колотилось взволнованное сердце. А на другой день он опять едва мог дождаться окончания скудного обеда, торопясь пробраться через конюшни к ограде Хафизадичей, заранее дрожа и от страха быть пойманным, и от предвкушаемой радости.

Но однажды — в светлый, ясный день после дождливого утра — девочки в саду не оказалось. Клумбы были мокрые, дорожки прибиты ливнем. Омытые дождем стеклянные шары весело сверкали на солнце, отражая редкие белые облака. Не видя девушки, Салко, подгоняемый нетерпеливым желанием, влез сначала на ограду, а оттуда на старую сливу, окруженную буйно разросшейся бузиной, и выглянул сквозь густую зелень.

Окна на веранде были широко раскрыты, и в стеклах отражалось солнце и лучезарное небо. Тем прохладнее казалась сама веранда. Салко все было хорошо видно. На полу красный ковер, на стенах непонятные картины. На низеньком стульчике сидит дочка консула. На коленях у нее большая книга, но она поминутно вскидывает глаза, и взор ее блуждает по веранде и саду. Салко, никогда не видавший ее в такой позе, волнуется еще сильнее. Чем резче тени, чем девушка дальше, тем пристальнее надо вглядываться. Страшно только, как бы не соскользнула нога, не сломалась ветка. Он млеет от наслаждения, любуясь ее спокойной позой, ее вытянутым личиком, казавшимся в тени еще овальнее и бледнее, и все ждет, что произойдет что-то более волнующее и необычайное, как необычен весь этот день после дождя. Уверяет себя, что ничего не произойдет. Да и что может случиться? А все-таки ждет.

Вот она положила ладони на раскрытую книгу. У него захватило дух. «Что-то произойдет!» И действительно, девочка медленно, как бы нерешительно поднялась, сложила ладони, потом раздвинула их так, что только кончики пальцев касались друг друга. Посмотрела на свои ногти. «Произойдет!» Она быстро разъединила пальцы, словно разорвав что-то тонкое и невидимое, глянула себе под ноги, слегка взмахнула руками и заскользила по красному ковру в плавном танце.

Голова чуть набок, будто она прислушивается к чему-то, потупленный взгляд обращен на кончики туфель. Задумчивое лицо неподвижно; светотени облачного дня пробегают по нему по мере ее движения.

А Салко, предчувствие которого оправдалось, совсем позабыл, кто он и где он, переполз с толстой ветки на сучок, приподнялся над оградой и каждый раз, когда она выбрасывала ногу, вытягивался еще выше, прильнув лицом к листьям и молодой коре. Сердце его дрожит и замирает. Трудно удержаться в таком положении, испытывая подобное наслаждение. А девушка все танцует. Повторяет ту же фигуру во второй, в третий раз, и его охватывает такое умиление, словно он глядит на что-то давно знакомое и дорогое.

И вдруг раздается треск. Под ним надломилась ветка. Он почувствовал, что падает сквозь листву бузины, ветки хлещут его по лицу, он ударяется — спиной, потом головой.

Салко свалился через дощатый забор в сад Хафизадичей,— упал посреди позеленелых, изъеденных червями досок, покрывавших сточный желоб. Гнилые доски не выдержали его тяжести, и он по колени погрузился в ил и грязь.

Когда он поднял грязное, исцарапанное лицо и открыл глаза, то увидел перед собой служанку из кухни Хафизадичей, старушку с желтым морщинистым лицом, как у его матери.

— Ушибся, бедняга? И чего тебя черти носят по сточным канавам!

Но он лишь пугливо озирался в поисках хотя бы отблеска красоты, сиянием которой он любовался с той высоты, откуда упал. Он слушал старушку, не понимая, что она говорит, выпучив глаза, смотрел, как сбегаются слуги Хафизадичей, вооруженные палками, но никак не мог взять в толк, что с ним случилось и чего все эти люди от него хотят.

Маленькая, грустная и одинокая девочка продолжала свои прогулки и невинные игры в саду и на веранде, ничего не зная о том, что произошло из-за нее в соседнем саду, как и раньше не подозревала, что кто-то за ней подсматривает.

После ушибов, полученных в саду Хафизадичей, и подзатыльников, которыми его потом наградили в цирюльне за опоздание,

Салко остался в тот вечер без ужина. Так его всегда наказывала мать, пожелтелая, преждевременно состарившаяся женщина: бедность иссушила ее, сделала строгой и сердитой. Помня о происшествии, мальчик не забирался больше в чужие сады, не лазил по заборам и деревьям, стараясь подсмотреть то, что предназначено не для него. Он торчал в цирюльне, становясь с каждым днем бледнее и грустнее, и все думал о прекрасной чужестранке. Теперь она танцевала перед ним, покорная его желанию, и ему не угрожала больше опасность провалиться в чужой сточный желоб, где его могли схватить и избить.

Но за мечту о красоте надо расплачиваться. Заметив отсутствующий взгляд мальчика, который, стоя рядом, держал в тонких, посиневших руках тазик с мыльной пеной, толстый мастер, бривший голову какому-нибудь эфенди, показывал ему глазами и привычным жестом руки, что надо глядеть на бритву мастера и учиться, а не устремлять растерянный взгляд куда-то вдаль сквозь двери цирюльни. Мальчик вздрагивал, испуганно смотрел на хозяина, потом послушно переводил глаза на бритву. Но через минуту, вновь отвлекшись, видел на синеватом, выбритом мастером темени эфенди райский сад и в нем девушку с легкой поступью и необыкновенной внешностью. Если мастер снова замечал его рассеянность, он отвешивал ему пощечину свободной левой рукой, на указательном пальце которой лежала сбритая мыльная пена. И тут все искусство заключалось в том, чтобы спокойно снести пощечину, не выронив тазика,— тогда этим все кончалось. В противном случае на него обрушивался целый град пощечин, да и чубук не оставался в стороне.

Так мастер Хамид лечил своего ученика от легкомыслия, вбивал ему в голову ум, выколачивал распущенность и нерадивость, стараясь таким образом привлечь его внимание к делу.

Но та сила, о которой мы говорили вначале, неожиданно и внезапно, как подземная вода, проступала в другом месте и при других обстоятельствах, стремясь разлиться как можно шире и покорить как можно больше человеческих существ обоего пола. Она появлялась и там, где ей вовсе не полагалось быть и где из-за возникающего сопротивления она никак не могла утвердиться.

Госпожа фон Миттерер с самого приезда посещала и одаривала католические церкви и часовни в окрестностях Травника. Делала она это не столько по собственному желанию, сколько по настоянию полковника, считавшего это необходимым для увеличения своего влияния на католическое духовенство и верующих.

Из Вены выписали фарфоровые вазы, небольшие подсвечники и позолоченные ветви — вещи дешевые и безвкусные, но редкостные и невиданные в этих краях. Из Загреба получили парчу, епи-

трахили и сутаны работы тамошних монахинь. Супруга консула дарила их монастырю в Гуче Горе или бедным сельским церквам вокруг Травника.

Но и в таком, казалось бы, полезном и богоугодном деле Анна-Мария не знала меры. Все, за что бы она ни бралась, искажалось и шло шиворот-навыворот из-за ее неуравновешенного характера. Своим чрезмерным усердием она быстро вызвала подозрение турок, напугала и взволновала и без того пугливых и недоверчивых жителей Долаца и монахов. Распределяя подарки, она поступала своевольно, по своей прихоти, врывалась в церкви и расставляла предметы на алтаре по собственному вкусу, приказывала проветривать, чистить и белить помещения. Монахи, недолюбливавшие всякие новшества и не терпевшие, чтобы кто-то вмешивался в их дела, даже если это делалось с лучшими намерениями, вначале смотрели на все это с изумлением, а потом начали переглядываться, перешептываться и готовиться к отпору.

Для капеллана из соседнего села Орашье Мията Баковича чрезмерное усердие госпожи фон Миттерер стало сущей напастью, таившей угрозу. Капеллан оставался в то время один, так как приходский священник, тоже отец Мият, но по фамилии Колар, уехал по делам ордена. Капеллан, близорукий и хилый молодой человек, был склонен к мечтательности. Он страдал от скуки в деревенской глуши, а как монах еще не совсем твердо стоял на ногах.

На этого вот молодого капеллана Анна-Мария обратила весь свой покровительственный пыл, на какой только была способна, с тем полуматеринским, полувлюбленным вниманием, которое так легко смущает и чревато неприятностями и для более хладнокровных и опытных мужчин. Одно время, в начале лета, она по два-три раза в неделю приезжала в Орашье верхом в сопровождении нескольких лиц, призывала капеллана и давала ему указания, как надо убирать церковь и квартиру. Вмешивалась в его домашние дела, в распорядок его времени и устройство церкви. А молодой монах глядел на нее, как на видение, неожиданное и чудесное, слишком прекрасное и значительное, чтобы он мог радоваться ему без боли. Узкая полоса кружева вокруг ворота черной амазонки блестела так, словно была сделана из какого-то сверкающего материала, и слепила глаза монаху, не смевшему смотреть прямо в лицо этой женщине. В ее присутствии он трясся как в лихорадке. А госпожа фон Миттерер с наслаждением смотрела на худые дрожащие руки и лицо монаха, умиравшего от стыда из-за того, что он не мог сдержать этой дрожи.

Когда она отправлялась домой в Травник, капеллан так и оставался, словно застыв, на скамье перед старым домом священ-

пика. Село, церковь и его обязанности казались ему серыми и тяжкими, противными. И снова все озарялось светом и расцветало, как только он видел приближение всадников из Травника. Но тогда его опять охватывал взволнованный трепет и мучительное желание как можно скорее и навсегда освободиться от этой ослепительной и поражающей красоты.

К счастью, вскоре вернулся Мият Колар, и молодой монах откровенно и честно ему исповедался. Колар, крепкий и живой человек лет пятидесяти, широколицый, курносый и с раскосыми глазами, опытный и осторожный, здоровый, остроумный и большой шутник, начитанный и красноречивый, сразу понял, в чем дело и в каком положении очутился бедняга капеллан.

Он немедленно отправил его назад в монастырь. А когда госпожа фон Миттерер опять приехала со свитой, то вместо смущенного капеллана навстречу ей вышел Колар; улыбающийся и спокойный, он сел на пень и, к удивлению жены консула, на все ее предложения по устройству церкви отвечал, не выпуская изо рта толстого мундштука:

— Дивлюсь я тебе, госпожа, что ты утруждаешь себя, разъезжая по нашим деревенским дорогам, когда бог дал тебе возможность сидеть дома в уюте да холе. Не сумеешь ты, дай бог тебе здоровья, навести порядок в наших церквах и часовнях, даже если выпотрошишь для этого всю казну императора. Каковы мы сами, таковы и наши церкви; а были бы церкви лучше — не подошли бы нам. Если у тебя есть подарки для деревенских церквей, пошли их с кем-нибудь. Они нам пригодятся, а бог тебя вознаградит.

Оскорбленная госпожа фон Миттерер снова заводила разговор о церкви и народе, но Мият обращал все ее слова в шутку. И когда она в гневе взобралась на своего вороного коня, священник снял свою маленькую скуфейку с всклокоченной головы, поклонился с какой-то дьявольской ухваткой, учтиво и насмешливо, и проговорил:

— А хорош у тебя конь, госпожа, самому епископу под стать!

Больше Анна-Мария никогда не приезжала в церковь Орашья.

Приблизительно в это же время и долацкий священник разговаривал с фон Миттерером по тому же поводу. Так как монахи уважали консула как друга и защитника и ни в коем случае не хотели его обижать, они уполномочили упитанного и громадного, но хитрого и ловкого брата Иво любым способом довести до его сознания, что усердие госпожи фон Миттерер им неприятно, но сделать это так, чтобы не задеть ни консула, ни его супругу. И брат Иво, которого турки не напрасно прозвали мудрецом, прекрасно справился с этим поручением. Сперва он рассказал консулу, какую они, опасаясь турок, должны во всем проявлять осторожность

и осмотрительность, в том числе во встречах и знакомствах, как они рады подаркам госпожи фон Миттерер и как они непрестанно молятся богу за нее и за того, кто их посылает. В конце концов из всего рассказа можно было сделать вывод, правда невысказанный, что от подарков они не отказываются, но предпочитают, чтобы доставлял их кто-нибудь другой, а не лично госпожа фон Миттерер, и что они будут рады, если она перестанет вмешиваться в их дела.

Но госпожа фон Миттерер уже пресытилась церквами и разочаровалась как в народе, так и в монахах. В одно прекрасное утро она раскричалась на полковника и вылила на него целый ушат неприятных и обидных слов. Французский консул прав, кричала она, что дружит с евреями, они лучше воспитаны, чем эти турецкие католики. Подскакивая к самому его лицу, она требовала ответа, кто он — генеральный консул или причетник? Клялась, что ноги ее больше не будет ни в церкви, ни в одном из долацких домов.

Вот каким образом молодой капеллан из Орашья спасся от того, что для Анны-Марии было лишь игрой, а для него подлинным несчастьем. Этим одновременно закончился и религиозный этап в травницкой жизни госпожи фон Миттерер.

Сила, о которой мы здесь все время говорим, не пощадила и французское консульство на том берегу Лашвы, потому что она не считается ни с гербом, ни с флагом.

В то время как на первом этаже «Дубровницкой гостиницы» госпожа Давиль предавалась заботам о своих детях, а господин Давиль корпел над обширными консульскими донесениями и путаными литературными планами, этажом выше «молодой консул» боролся со скукой и с желаниями, которые она порождает, но не в состоянии удовлетворить. Он и помогал Давилю в работе, и ездил верхом по окрестностям, изучая язык и обычаи народа, и писал книгу о Боснии. Он делал все, чтобы как-нибудь заполнить дни и ночи. Но все же у того, кто молод и бодр, остается еще много сил и времени и для желаний, и для скуки, и для похождений, известных лишь молодости.

Так случилось, что «молодой консул» приметил Йелку, девушку из Долаца.

Мы уже знаем, что по приезде в Травник госпоже Давиль пришлось потратить немало времени и терпения, чтобы заслужить доверие монахов и расположение долацких жителей. Вначале даже бедняки не хотели отдавать своих детей на службу во французское консульство. Но когда люди узнали госпожу Давиль поближе и увидели, чему научились поработавшие у нее девушки, они стали добиваться работы у жены французского консула. По

несколько девушек сразу прислуживали в доме или занимались рукоделием, которому их учила госпожа Давиль.

Летом обычно три-четыре девушки вышивали или вязали. Склонившись над работой, они сидели возле окна на широкой веранде и тихо напевали. Дефоссе по пути к Давилю часто проходил мимо них. Тогда они еще ниже склоняли головы над работой, пение разлаживалось и обрывалось. Меряя своими большими шагами широкую веранду, молодой человек стал приглядываться к девушкам, иногда бросал им какое-нибудь слово приветствия, на которое они от смущения не отвечали. Да и трудно было ответить, потому что каждый раз это было новое слово, только что им выученное и смущавшее их так же, как и его свободные манеры, быстрота движений и смелость интонации. Проходя таким образом все чаще и чаще, Дефоссе, согласно логике, присущей подобным отношениям, наибольшее внимание обратил на лицо девушки, ниже всех склонявшей перед ним голову.

Звали ее Йелкой, и была она дочерью мелкого торговца, у которого в Долаце был скромный дом и куча детей. Густая каштановая челка падала ей на самые глаза. Чем-то неуловимым в одежде и типе красоты девушка эта отличалась от остальных. Дефоссе стал узнавать ее темный затылок и белую крепкую шею среди склоненных голов других рукодельниц. И как-то раз, когда он немного дольше задержал свой взгляд на этом затылке, девушка вдруг подняла голову, словно его взгляд обжег ее и она захотела избавиться от него, и тогда он на мгновение увидел юное скуластое лицо с блестящими, кроткими карими глазами, крупным и не совсем правильным носом, большим, но безукоризненно очерченным ртом, с ровными, чуть соприкасавшимися губами. Дефоссе, пораженный, засмотрелся на ее лицо и заметил, что уголки ровно очерченного рта слегка задрожали, будто от сдерживаемых слез, в то время как в карих глазах сияла улыбка, которой они не могли скрыть. Улыбнулся и молодой человек и бросил первое попавшееся слово из своего «иллирийского» словаря, потому что в эти годы и при таких обстоятельствах любое слово хорошо и полно значения. Чтобы скрыть смеющиеся глаза и губы с едва заметной черточкой печали, девушка снова опустила голову, предоставив ему смотреть на свою белую шею среди каштановых волос.

Своеобразная игра между ними повторилась несколько раз. А любую игру всегда хочется продолжить. Это стремление становится непреодолимым, когда дело идет о такой девушке и об одиноком и страстном юноше. Так незначительные слова, долгие взгляды и бессознательные улыбки образуют прочный мост, который строится сам собой.

Он стал думать о ней по ночам и, просыпаясь утром, начинал искать ее сперва в мыслях, а потом и живую, и каким-то чудом выходило так, что он встречал ее все чаще и все дольше глядел на нее. Так как это было время, когда все росло и зеленело, и она ему казалась частью, правда одухотворенной и особой, этого богатого растительного мира. «Как растение»,— говорил он про себя, будто слова какой-то песни, не думая, ни почему их произносит, ни что они означают. Такая, какой она была,— румяная, улыбающаяся и стыдливая, ежеминутно склоняющая голову, как цветок склоняет венчик, она и вправду была в его представлении сродни цветам и плодам, в каком-то глубоком и особенном смысле, в котором он сам себе не отдавал отчета, чем-то вроде совести и души плодов и цветов.

Когда весна вступила в свои права и деревья покрылись листвой, девушки перешли в сад. Тут они вязали в течение всего лета.

Если бы кто-нибудь говорил о Травнике с двумя путешественниками, из которых один провел там зиму, а другой лето, то услышал бы два противоположных мнения об этом городе. Первый сказал бы, что побывал в аду, а второй — неподалеку от рая.

В таких невыгодно расположенных городах с неблагодарным климатом всегда выпадает несколько недель в году, своей красотой и мягкостью как бы вознаграждающих за все капризы и неприятности остальной части года. В Травнике такой период бывает между началом июня и концом августа и захватывает обычно весь июль.

Когда даже в самых глубоких канавах растает снег, когда пройдут весенние дожди и бураны и перебесятся ветры, то холодные, то теплые, то порывистые и шумные, то тихие и легкие, когда облака прочно осядут на высоких краях крутого амфитеатра гор, окружающих Травник, когда длинные, теплые, сверкающие дни почти совсем вытеснят ночи, когда на склонах пожелтеют поля и отяжелевшие груши начнут ронять на жнивье обильные перезрелые плоды, тогда и наступает пора короткого и прекрасного травницкого лета.

Дефоссе стал сокращать свои прогулки по окрестностям и по многу часов проводил в большом, обрывистом саду консульства, изучая хорошо знакомые дорожки и кусты, словно это было что-то удивительное и невиданное. Йелка приходила либо раньше других девушек, либо старалась задержаться подольше. С небольшого пригорка, на котором они работали, она стала все чаще спускаться в консульство то за нитками, то за водой или полдником. Теперь она встречалась с молодым человеком на узких, заросших зеленью дорожках. Она опускала свое скуластое белое лицо, а он с улыбкой выговаривал свои «иллирийские» слова, в которых буква «р» зву-

чала не звонко и раскатисто, а глухо и растянуто, а ударение всегда падало на последний слог.

Раз после полудня они дольше обычного оставались вдвоем на одной из боковых дорожек среди густой листвы, где и тень дышала теплом. На девушке были широкие синие шаровары и узкая безрукавка из светло-голубого атласа на одной застежке. Рубашка в сборку застегнута на шее серебряной булавкой. Рукава рубашки доходили до локтей; руки у нее были молодые, полные, сквозь прозрачную кожу проступала сеть красноватых жилок. Дефоссе взял ее за локоть. Кровь сразу отлила, и на руке остались бледные следы от его пальцев.

Ее губы — розовые, необыкновенно пухлые и обе совершенно одинаковые — медленно раздвинулись, и в уголках их притаилась молящая, будто плачущая улыбка, но сразу вслед за этим девушка опустила голову и прильнула к нему, покорно и без слов, как травинка или ветка. «Как растение»,— подумал он еще раз, однако к нему прижималось человеческое существо, женщина, до боли преисполненная сердечной истомы, душа которой еще боролась, но уже примирилась с гибелью и падением. Руки беспомощно повисли, рот приоткрылся, веки опустились, словно девушка потеряла сознание. Так она прильнула к нему, изнемогая от любви, от наслаждения, которое сулит любовь, и от ужаса, который следует за ней, как тень. Прижавшись к нему, ослабевшая, сломленная, она являла собой не только полную преданность, беспомощность, гибель и отчаяние, но и неожиданное величие.

У Дефоссе заиграла кровь от предчувствия совершенного счастья и безудержного торжества. В нем загорались и гасли, подобно светлячкам, бесконечные видения. Да, это — то! Он всегда чувствовал и неоднократно утверждал, что эта убогая, бесплодная и запустелая страна на самом деле богата и роскошна. И вот перед ним одна из скрытых красот этого края.

Зеленые и цветущие крутые склоны еще раз зацвели, и воздух наполнился неведомым пьянящим ароматом, который всегда — как ему теперь казалось — наполнял эту долину. Обнаружилось сокровенное богатство этого на первый взгляд мрачного и бедного края, неожиданно выявилось, что его напряженная тишина таит быстрое, прерывистое дыхание любви, в котором стон сопротивления борется со сладостью согласия, что ночное безмолвие и серость этого края — лишь маска, под которой струится трепетный свет, алый от сладостной крови.

Рядом оказалось расщепленное, толстое и старое грушевое дерево; поваленное, оно лежало на крутом склоне наподобие дивана. Ствол его уже высох, но на ветвях еще зеленели листья. Обнявшись, они прислонились к дереву, потом — сначала девушка,

а за ней Дефоссе — опустились на раздвоенный ствол, как на приготовленную постель. Она все еще не сопротивлялась — ни звука, ни жеста, но когда руки Дефоссе скользнули вдоль ее тела и обхватили талию между шароварами и безрукавкой, там, где была только рубашка, девушка вывернулась, как ветка, которую сгибают во время сбора винограда, а она упруго выпрямляется. Он даже не почувствовал, как девушка оттолкнула его, не заметил, как снова очутился на дорожке. У ног его на коленях стояла Йелка, сложив руки и подняв к нему лицо, как на молитве. Она вдруг побледнела, в глазах стояли слезы. Так, на коленях со сложенными руками, она произносила слова, которых он не понимал, но которые в ту минуту были ему понятнее, чем если бы они были сказаны на его родном языке: она умоляла его быть человеком и пощадить ее, не дать ей погибнуть, потому что сама она не может защититься от того, что нахлынуло на нее с неотвратимостью смерти, но что было опаснее и страшнее смерти. Заклинала его жизнью матери и всем, что ему дорого на свете, и все повторяла голосом, вдруг ставшим глухим от страсти и волнения:

— Не надо, не надо!..

Дефоссе, чувствуя, как у него на шее стучит в жилах кровь, старался сосредоточиться и понять эту неожиданную и чрезвычайно быструю перемену ситуации. Он спрашивал себя с удивлением, что могло вырвать из его объятий обомлевшую девушку и что держит их теперь в таком смешном положении: он стоит взволнованный и прямой, как некий языческий царь, а она на коленях у его ног, сложа руки и подняв на него глаза, полные слез, как святая на картине. Он хотел поднять ее, снова привлечь к себе и положить на раздвоенный ствол поваленной груши, но не нашел в себе ни сил, ни порыва. Все вдруг и непонятным образом изменилось.

Он не знал, как и когда это случилось, но ясно видел, что, слабая и податливая, как тростник, девушка каким-то чудесным образом перешла из «мира растительного», в котором до сих пор находилась, совсем в другой мир и тайком укрылась под надежную защиту чьей-то сильной воли, которой он не мог противостоять. Он чувствовал себя обманутым, осмеянным и испытывал мучительное разочарование. Его обуял стыд, а потом гнев — на нее, на себя, на весь мир. Он нагнулся и бережно поднял ее с земли, бормоча какие-то слова. Она по-прежнему не сопротивлялась, была покорна и подчинялась каждому движению его руки, но словами и взглядом продолжала умолять смилостивиться и пощадить ее. Он и не собирался больше обнимать ее. Нахмуренный и подчеркнуто учтивый, он помог ей разгладить складки на шароварах и застегнуть серебряную булавку на шее. А затем девушка так же внезапно и непонятно для него скрылась, сбежав по круче к консульству.

Дефоссе провел несколько беспокойных ночей. Им все время владело смущение, бессильный гнев и стыд за те первые минуты в саду. Он постоянно спрашивал себя: что же такое было с ним и с девушкой и как это могло случиться? Он упорно отгонял от себя этот вопрос и старался не думать о мимолетной встрече на запущенной садовой дорожке. И все-таки то и дело говорил себе с горькой усмешкой:

— Да, да, ты действительно непогрешимый психолог и превосходный любовник. Почему-то вбил себе в голову, что она из растительного мира, воплощение языческого духа этой страны, неоткрытое сокровище, которое стоит только подобрать. И ты удостоил ее тем, что нагнулся. И вдруг все меняется. Она стоит на коленях вроде Исаака, которого отец его Авраам намеревается принести в жертву, но которого в последнюю минуту ангел спасает от смерти. Да, она именно так стояла на коленях. А ты разыгрывал из себя Авраама. С чем тебя и поздравляю! Ты вздумал играть роль в живых картинах на библейские темы с глубоко моральной, религиозной тенденцией. Поздравляю!

Только дальние прогулки по горным дубравам в окрестностях города успокаивали его и давали другое направление мыслям.

Неутоленное желание и тщеславие молодости мучили его в течение нескольких дней, но и это прошло. Он стал успокаиваться и забывать. Проходя мимо вязальщиц в саду, он видел опущенную голову Йелки, но не останавливался в смущении, а, обронив непринужденно и весело какое-нибудь выученное в тот день слово, спешил дальше, всегда улыбающийся и свежий.

И только в одну из ночей он добавил в своей книге о Боснии, в том месте, где говорится о типах и этнических особенностях боснийцев, следующий абзац:

«Женщины обычно высокие; многие из них обращают на себя внимание правильными чертами лица, хорошим сложением и ослепительной белизной кожи».

XI

Все в этой стране принимало с течением времени неожиданный оборот и в любой момент могло стать противоположным тому, чем казалось. Давиль уже стал мириться с тем неприятным фактом, что потерял Хусрефа Мехмед-пашу, живого и откровенного человека, у которого всегда можно было встретить сердечный прием, доброжелательное понимание и хоть какую-то помощь, что вместо него появился черствый, холодный и несчастный Ибрагим-паша, бывший в тягость и себе самому, и другим и от которого,

как от камня, трудно было добиться теплого слова или человеческого участия. В этом мнении он утвердился после первого же свидания с визирем, а особенно под влиянием всего того, что он узнавал о нем от Давны. Но очень скоро консул и на этом примере должен был убедиться, насколько Давна в своей трезвой и верной оценке людей был, в сущности, односторонен. Собственно, его суждения были проницательны, беспощадны и достоверны в тех случаях, когда дело шло о вещах обычных, связанных с повседневной, будничной жизнью. Но, сталкиваясь с более тонкими и сложными вопросами, он по духовной лености и моральному равнодушию спешил с обобщениями и судил скороспело и упрощенно. Так было и в данном случае. Уже после второй и третьей встречи консул заметил, что визирь не так неприступен, как показалось сначала. Прежде всего и у нового визиря был свой «конек». Только это было не море, как у Хусрефа Мехмед-паши, и не другой какой-нибудь живой и реальный предмет. Для Ибрагим-паши исходной и заключительной точкой всякого разговора было свержение его государя Селима III и его, Ибрагим-паши, личная трагедия, тесно с этим связанная; это служило отправным пунктом для его суждений обо всем. Отталкиваясь от этого события, он оценивал все происходящее вокруг, и, разумеется, с этой точки зрения все выглядело мрачно, трудно и безнадежно. Но для консула главным было то, что визирь не просто «физическое чудовище и духовная мумия», что существуют темы и слова, способные тронуть его и взволновать. Больше того, со временем консул убедился, что черствый, мрачный визирь, каждая беседа с которым походила на урок о тщете всего сущего, был во многих случаях надежнее и лучше быстрого, блестящего и вечно улыбающегося Мехмед-паши. Визирю очень нравилось, доставляло удовольствие и внушало доверие умение Давиля выслушивать его пессимистические суждения и общие рассуждения. И визирь никогда так подолгу и доверительно не разговаривал ни с фон Миттерером, ни с кем-либо другим, как он все чаще разговаривал теперь с Давилем. А консул все больше привыкал к таким собеседованиям, когда оба они погружались в обсуждение всевозможных несчастий в этом далеком от совершенства мире. Кончались они обычно тем, что консул разрешал какое-нибудь маленькое дело, ради чего, собственно, и приезжал к визирю.

Беседы их всегда начинались с прославления одного из последних успехов Наполеона на поле битвы или в международной политике, но, следуя своей склонности, визирь сразу переходил с предметов положительных и радостных на тяжелые и неблагоприятные. Например, на Англию, на ее упорство, бесцеремонность, алчность, с которыми тщетно борется даже гений Наполеона. От-

сюда был только один шаг до рассуждений о том, как вообще трудно управлять народом и приказывать людям, как неблагодарна задача государя и предводителя, о том, что дела на этом свете всегда идут не так, как надо, вопреки законам бессильной морали и желаниям благородных людей. А отсюда уже легко было перейти на судьбу Селима III и его сподвижников. Давиль слушал с молчаливым вниманием и глубоким участием, а визирь говорил с горестным воодушевлением.

— Мир не хочет счастья. Народы не желают иметь ни мудрых правителей, ни благородных государей. Доброта на этом свете — голая сирота. Да поможет всевышний вашему императору, но я своими глазами видел, что произошло с моим государем султаном Селимом. Этого человека бог наделил всеми достоинствами, физическими и духовными. Он горел как свеча, целиком отдавая себя на благо и процветание империи. Умный, отзывчивый, справедливый, он никогда не помышлял о зле и предательстве, не подозревал, какая бездна злобы, лицемерия и вероломства кроется в людях; потому и не умел он оберегать себя, и никто не смог его уберечь. Отдавая все силы на выполнение своих обязанностей государя и живя такой чистой жизнью, какой не помнят со времен первых халифов, Селим ничего не предпринимал, чтобы защитить себя от нападения и предательства дурных людей. Потому и могло случиться, что отряд ямаков, военного сброда, под предводительством взбесившегося хама смог свергнуть с престола такого султана, заточить в сераль и тем сорвать его спасительные и дальновидные планы, а на престол посадить тупоумного и развратного неудачника, окруженного пьяницами, невеждами и матерыми предателями. Вот что творится на свете! И как мало людей, которые это понимают, а еще меньше таких, которые хотели бы и могли этому помешать.

Отсюда легко переходили на Боснию и обстоятельства, в которых и визирь и консул принуждены жить в этой стране. Говоря о Боснии и боснийцах, Ибрагим-паша не находил достаточно резких слов и мрачных красок, а Давиль слушал его с искренним участием и полным пониманием.

Визирь никак не мог примириться с тем, что свержение Селима произошло как раз тогда, когда Ибрагим-паша находился во главе армии, готовый выбросить русских из Молдавии и Валахии, в тот самый момент, когда успех был обеспечен, а из-за этого происшествия империя, замечательный султан и сам он, Ибрагим-паша, лишились крупной победы, которую он уже держал в руках; вместо этого, униженный, сломленный, он неожиданно оказался заброшенным в далекую и пищенскую страну.

— Вы сами видите, мой благородный друг, где мы живем,

с кем я должен бороться и иметь дело. Легче справиться со стадом диких буйволов, чем с этими боснийскими бегами и айянами. Дикари, дикари, дикари, неразумные, грубые и тупые, но щепетильные и заносчивые, своевольные, но пустоголовые. Поверьте мне: у боснийцев нет ни чувства чести в сердце, ни ума в голове. Они соревнуются в ссорах и взаимных подлостях, и это единственное, что они знают и умеют делать. И вот с таким-то народом я должен теперь усмирять восстание в Сербии! Вот как идут дела в нашей империи с тех пор, как свергли и заточили султана Селима, и одному богу известно, что нас ждет дальше.

Визирь остановился и замолчал, а на неподвижном лице его слабым блеском темных кристаллов засияли глубоко запавшие глаза, которым лишь отчаяние могло придать жизнь.

Молчание прервал Давиль, заметив рассчитанно и осторожно:

— А что, если бы по какому-то счастливому стечению обстоятельств положение в Стамбуле изменилось и вы вновь стали бы великим визирем...

— Ну и что! — махнул рукой визирь, словно задавшись целью в это утро привести и себя и консула в состояние самой мрачной безысходности.— Ну и что! — продолжал он глухим голосом.— Рассылал бы фирманы, которых не исполняли бы, защищал страну от русских, англичан, сербов и всех, кто бы на нее ни напал. Спасал бы то, что трудно спасти.

В конце подобных разговоров консул обычно касался вопроса, ради которого пришел,— о разрешении на вывоз пшеницы в Далмацию, о каком-нибудь пограничном споре и тому подобном,— визирь, занятый скорбным раздумьем, без долгих размышлений на все давал согласие.

В следующий прием визирь затрагивал другие вопросы, но всегда с таким же глубоким и безнадежным спокойствием и такой же горечью. Рассказывал о новом великом визире, который ненавидит его, завидуя его успехам в прежних войнах, а потому не посылает ему ни указаний, ни информации, ни средств для борьбы против Сербии. Или о своем предшественнике в Травнике Хусрефе Мехмед-паше, которого тот же великий визирь изгнал в страшную даль, за тридевять земель.

Все это нагромождалось и переплеталось в голове консула, и, хотя ему обычно удавалось благополучно закончить свое дело, он возвращался домой словно отравленный, не мог обедать, а по ночам ему снились несчастья, изгнания и всевозможные беды.

И все же Давиль испытывал удовлетворение, ибо неизлечимый пессимизм визиря в этом грубом турецком мире без тени понимания и человечности был понятен злосчастному иностранному консулу и хотя бы на мгновение их сближал, являясь для обоих

той укромной обителью, где они могли встречаться друг с другом как человек с человеком. Временами ему казалось, что еще немного усилий — и между ним и визирем установится настоящая дружба, наладятся подлинно человеческие отношения.

Но как раз тогда случалось обычно нечто такое, что сразу обнаруживало непроходимую пропасть между ними и показывало визиря в новом свете, хуже и печальнее, чем характеризовал его Давна, и это вновь повергало Давиля в полную растерянность и отнимало всякую надежду встретить когда-либо в этих краях «луч человечности», который жил бы дольше, чем слеза, улыбка или взгляд. В удивлении и отчаянии консул говорил тогда себе, что суровая школа Востока длится вечно и что в этих странах нет конца неожиданностям, как нет и правильного мерила, твердого суждения и прочных ценностей в человеческих взаимоотношениях.

Даже приблизительно нельзя было предвидеть или сказать, чего можно ждать от этих людей.

Однажды визирь неожиданно пригласил обоих консулов вместе, чего еще не бывало. Их свиты встретились у ворот. Зал выглядел торжественно. Ичоглапы расхаживали, перешептываясь. Визирь был любезен и полон достоинства. После того как подали первый кофе и чубуки, появились каймакам и тефтедар и заняли места в сторонке. Визирь сообщил консулам, что его чехайя Сулейман-паша с боснийским войском переправился на прошлой неделе через Дрину и уничтожил самый сильный и самый организованный сербский отряд, обученный «русскими офицерами», которые им командовали. Он выразил надежду, что после этой победы в Сербии не осталось больше русских и что это, по всей вероятности, начало конца восстания. Победа весьма важная, сказал визирь, и недалек тот час, по-видимому, когда порядок и спокойствие будут восстановлены и в Сербии. Зная, что консулы как добрые друзья и соседи будут довольны этим, он и пригласил их разделить с ним радость по поводу столь приятных вестей.

Визирь умолк. Это послужило как бы сигналом, и в зал чуть не бегом ввалились многочисленные ичоглапы. Посредине разостлали циновку. Притащили корзины, мешки из грубой кожи и черные сальные кабаньи бурдюки. Все это быстро развязали, открыли и стали вытряхивать содержимое. В это время слуги подали консулам лимонад и новые чубуки.

На циновку посыпались отрезанные человеческие уши и носы — неописуемая куча человеческого мяса, посоленного и почерневшего от запекшейся крови. По комнате распространился тяжелый, отвратительный запах мокрой соли и затхлой крови. Из корзин и мешков извлекли фуражки, ремни и патронташи с металлическим орлом, красные и желтые знамена, узкие и обшитые

золотом, с изображением святого посередине. Вместе с ними выпали две-три рипиды, глухо стукнувшись о пол. Наконец принесли несколько штыков, связанных лыком.

Это были трофеи победы над сербской повстанческой армией, «созданной и предводительствуемой русскими».

Кто-то невидимый в углу проговорил глубоким молитвенным голосом: «Бог благословил оружие ислама!» На это все присутствовавшие турки ответили невнятным бормотанием.

Давиль, который и во сне не мог увидеть подобное зрелище, почувствовал, как его мутит, а выпитый лимонад подступает к горлу. Он позабыл о чубуке и только глядел на фон Миттерера, словно ожидая от него спасения и объяснения. Австриец тоже был бледен и подавлен, но, давно привыкший к подобным неожиданностям, он первый нашелся и поздравил визиря и боснийскую армию. Ревность и боязнь отстать от своего соперника побороли в Давиле чувства ужаса и отвращения, и он произнес несколько фраз в честь победы, пожелав дальнейшего успеха султанскому оружию и мира в империи. Все это он проговорил каким-то деревянным голосом. Он отчетливо слышал каждое свое слово, но как бы произнесенное другим. Все было переведено. Тогда снова заговорил визирь. Он поблагодарил консулов за добрые пожелания и поздравления и выразил радость, что видит их около себя в момент, когда, глубоко взволнованный, глядит на это оружие, постыдно брошенное вероломными москалями на поле сражения.

Давиль решился взглянуть на визиря. Его глаза действительно стали живее и сияли в глубине, как кристаллы.

Тот же глубокий голос опять изрек несколько торжественных непонятных слов.

По залу разнесся едва слышный говор. Прием был окончен. Видя, что фон Миттерер разглядывает разложенное на циновке, Давиль собрался с силами и бросил взгляд на трофеи. Неодушевленные предметы из кожи и металла были вдвойне мертвыми и лежали тут, жалкие и брошенные, словно их выкопали спустя многие века и вынесли на свет божий. Не поддающаяся описанию груда отрезанных ушей и носов лежала спокойно; кругом была рассыпана соль, черная от крови, как земля, и смешанная с мякиной. Все это издавало едкий, одуряюще тяжелый запах.

Давиль несколько раз поглядывал то на фон Миттерера, то на разостланную перед ним циновку в тайной надежде, что это зрелище исчезнет, как ужасное видение, но взгляд его каждый раз наталкивался на те же предметы, невероятные, но материальные и неумолимые в своей неподвижности.

«Проснуться! — мелькало в голове у Давиля.— Проснуться, стряхнуть с себя это наваждение, выбежать на солнце, протереть

глаза и глотнуть свежего воздуха!» Но пробуждения нет, ибо этот гнусный ужас — сама действительность. Таковы эти люди. Такова их жизнь. Так поступают лучшие из них.

Давиль снова почувствовал, что его мутит и что у него темнеет в глазах. Ему все-таки удалось вежливо проститься и доехать спокойно со своей свитой до дома, где, вместо того чтобы приступить к обеду, он лег в постель.

На другой день Давиль и фон Миттерер встретились, не задумываясь над вопросом, кто кому должен визит, и позабыв о том, сколько времени прошло после их последнего свидания. Они так и кинулись друг к другу. Долго жали руки и без слов смотрели друг другу в глаза, как двое потерпевших кораблекрушение. Фон Миттерер уже получил известие о действительных размерах турецкой победы и происхождении трофеев. Оружие было отнято у какого-то сербского отряда, а знамена и все остальное было результатом обычной резни, учиненной раздосадованной и праздной армией над боснийской райей во время церковного праздника где-то около Зворника.

Фон Миттерер не был склонен к рассуждениям, и с ним не стоило распространяться об этом. Но Давиль выстрадал этот прием, беспрестанно спрашивая самого себя: к чему эта ложь? Откуда эта бесполезная, прямо-таки детская свирепость? Что означают их смех и их слезы? Что скрывает их молчание? И как этот визирь со своими высокими идеями и внешне благородный Сулейман-паша и мудрый Тахир-бег могут допускать такие вещи, а тем более присутствовать при подобных сценах из какого-то иного, низшего и ужасного мира? Где их подлинное лицо? И где жизнь, а где рассчитанная игра? Когда они лгут и когда говорят правду?

И наряду с физическим страданием он чувствовал, как его мучит и изводит сознание, что ему никогда не удастся найти правильное мерило для этих людей и их поступков.

Еще тяжелее и мучительнее были случаи, когда задевались французские интересы, то есть личная и служебная честь Давиля.

Через доверенных лиц Давиль поддерживал постоянные связи с комендантами городов на австрийской границе. Всякий даже самый незначительный разбойничий налет из этих городов или только весть о подготовке такового заставляли австрийцев посылать в эти края свои войска и там их держать. Пользуясь своими связями, Давиль делал все возможное для ослабления австрийской военной мощи и поддержания постоянного напряжения на границах Боснии.

Среди комендантов особенно выделялся Ахмет-бег Церич, комендант города Нови. Давиль знал его лично. Этот совсем еще молодой человек, очень развитой, с благородными манерами, гор-

дый, красноречивый и необузданный, только что занял должность после смерти своего отца. Ахмет-бег горел желанием отличиться в боях на границе, которую его предки столько раз переходили и захватывали. Он неосмотрительно подчеркивал свои связи с французами и отправлял австрийскому коменданту по ту сторону границы угрожающие и обидные послания «от Ахмет-бега и французского императора Наполеона». По традиции всех пограничных комендантов он ненавидел и презирал визиря, редко бывал в Травнике и отказывался подчиняться каким бы то ни было указаниям и приказам.

Австрийцы кружным путем через своих людей в Порте сумели очернить Ахмет-бега и представить его в качестве предателя и наймита французов. Это было быстрее, дешевле и вернее, чем годами бороться на границе с молодым и ретивым комендантом. Ловушка была расставлена умело. В Травник был прислан фирман со смертным приговором Церичу и выговор визирю за то, что терпит таких комендантов и что Порте приходится узнавать об их предательстве от третьих лиц. Вопрос был поставлен ребром: либо ненавистный комендант будет убран и казнен, либо будет смещен визирь.

Заманить Ахмет-бега в Травник было нелегко, но австрийцы нашлись и тут. Коменданта обманули, сказав, что французский консул приглашает его к себе. В Травнике его сразу схватили, заковали и посадили в тюрьму.

Это обстоятельство позволило Давилю увидеть, что такое турецкий террор, на что способно содружество лжи и насилия и с какими силами он принужден бороться в этом проклятом городе.

Уже на другой день после ареста Ахмет-бега около кладбища повесили одного цыгана, и глашатай громогласно объявил, что его повесили за то, «что он приветствовал коменданта Нови», когда того вели в крепость. Это было равносильно смертному приговору Ахмет-бегу. Сразу на всех и каждого напал тот слепой, леденящий ужас, который время от времени опускается на Боснию и Травник, парализуя и приостанавливая на несколько часов или дней всякую жизнь и самую мысль и тем позволяя распространившей его силе быстро и беспрепятственно совершить то, что ей угодно.

Всю свою жизнь Давиль ненавидел и старался избегать всяких драматических положений. Ему было трудно представить, что какое-то столкновение могло иметь трагический исход как единственно возможный. Это противоречило его натуре. А теперь он был втянут, правда косвенно, в подлинную трагедию, неразрешимую и безвыходную. В состоянии раздражения, в каком он находился, окруженный горами и уже второй год преследуемый и терзаемый всевозможными трудностями и неприятностями, Давиль считал,

что он вовлечен в драму новского коменданта гораздо сильнее, чем это было на самом деле. Особенно его тревожило, что, как утверждал Давна, Ахмет-бега завлекли в Травник, пустив в ход имя Давиля, так что несчастный мог подумать, что и французский консул причастен к его беде.

После бессонной ночи Давиль решил просить аудиенции у визиря и вступиться за Ахмет-бега, но осторожно и ловко, дабы еще больше не повредить ему. В разговоре с визирем он увидел новое лицо Ибрагим-паши. Это был уже не тот Ибрагим-паша, с которым несколько дней тому назад он беседовал, как с родным и близким человеком, о беспорядке, царящем на свете, и о необходимом единении всех благородных и умных людей. Как только консул упомянул имя Ахмет-бега, визирь стал холодным и отчужденным. Нетерпеливо, почти с удивлением слушал он своего «благородного друга», который, по-видимому, не усвоил в жизни даже того, что разговоры разговорами, а дела делами и что свои подлинные страдания каждый должен выносить сам и справляться с ними на свой страх и риск.

Давиль, напрягая все силы, старался быть настойчивым, убедительным и резким, но и сам чувствовал, что его рассудок и воля, будто во сне, слабеют и притупляются и словно какой-то непреодолимый поток уносит красивого, смеющегося Ахмет-бега. Несколько раз он упомянул имя Наполеона, спрашивая визиря, что скажут люди, когда узнают, как тяжко наказывают видного человека только за то, что его по ложному обвинению австрийцев сочли другом французов. Но каждое слово Давиля тут же беспомощно тонуло в молчании визиря. Наконец тот проговорил:

— Я считал более надежным и правильным продержать его здесь, пока пройдет весь этот шум и не прекратятся обвинения, но, если вы желаете, я отошлю его назад, и пусть он ждет в Нови. А будет так, как решит Стамбул.

Давилю казалось, что все эти туманные слова совсем не относятся к судьбе Ахмет-бега и к тому, что его мучило, но больше из визиря ничего не удалось вытянуть.

Консул виделся и с Сулейман-пашой, только что возвратившимся из Сербии, и с Тахир-бегом и был поражен и потрясен тем, что и у них он встретил такое же молчание и точно такой же удивленный взгляд. Они смотрели на него как на человека, который зря тратит слова, убеждая в чем-то давно прошедшем и безвозвратно потерянном, но которого из вежливости не полагается перебивать, а приходится терпеливо и сочувственно выслушивать до конца.

По дороге в консульство Давиль спросил мнение Давны, в то утро переводившего все три разговора. Тот спокойно ответил:

— После сказанного визирем ясно, что Ахмет-бегу ничем больше нельзя помочь. Дело пропащее. Либо изгнание в Азию, либо еще хуже.

Кровь бросилась консулу в голову.

— Как? Но он ведь все-таки обещал отослать его назад в Нови!

Толмач на минуту задержал взгляд своих потухших глаз на лице консула и ответил сухо и деловито:

— Как он может отослать его в Нови, где у Ахмет-бега есть сотня способов защититься и спастись?

И консулу показалось, что и в голосе и во взгляде его переводчика было то самое нетерпеливое удивление, столь смущавшее и оскорблявшее его во время разговоров с визирем и его сановниками.

И снова консулу предстояла бессонная ночь, когда часы тянутся медленно и давит унизительное чувство полной потерянности, беспомощности и бессилия. Он раскрыл окно, словно искал помощи снаружи. Глубоко вдыхал воздух и глядел в темноту. Там, где-то в темноте, была могила цыгана, который на свою беду встретил Ахмет-бега на мосту перед крепостью и почтительно и испуганно поздоровался с ним, так как, хоть он и был цыганом, у него хватило чести и совести приветствовать человека, когда-то сделавшего для него много добра. В этой же темноте гибнет без суда и оснований молодой комендант. И, будто в темноте Давиль мог читать лучше, чем при обманчивом дневном свете, ему стала ясна как его собственная беспомощность, так и судьба Ахмет-бега.

Во время революции в Париже и войны в Испании ему приходилось видеть много смертей и несчастий, трагедий и фатальных недоразумений, но никогда еще не доводилось увидеть воочию, как честный человек неотвратимо гибнет под натиском событий. В нездоровых условиях, в среде, где властвуют слепой случай, своеволие и низменные инстинкты, бывает, что события вдруг начинают вертеться вокруг человека, на которого случайно укажут пальцем, словно водоворот или смерч. В таком вот водовороте неожиданно и очутился красивый, сильный, богатый Ахмет-бег. Он не сделал ничего такого, чего бы не делали с давних пор и всю свою жизнь другие пограничные коменданты, но вокруг него сплелся клубок событий и опутал его, как крепкой цепью.

Совершенно случайно австрийский пограничный комендант, предложив истребить молодого Ахмет-бега, встретил одобрение высших чинов; случайно в тот момент высшие власти придавали большое значение сохранению спокойствия на этом участке границы; случайно из Вены решительно потребовали у Порты, через платного агента, смещения Ахмет-бега; случайно этот неизвестный

сановник, в тот момент очень зависевший от австрийского подкупа, сильно нажал на визиря в Травнике; случайно обескураженный и смертельно напуганный Ибрагим-паша передал дело в руки неумолимого и беспощадного каймакама, которому ничего не стоило погубить невиновного человека и которому, опять-таки случайно, нужен был в тот момент устрашающий пример, дабы показать свою силу и припугнуть айянов и пограничных комендантов.

Каждый из этих лиц делал свое дело самостоятельно, исключительно ради своей выгоды и без всякой связи с личностью Ахмет-бега, но, действуя таким образом, они обоюдными усилиями все туже затягивали петлю на его шее. Все случайно и произвольно.

Такова была судьба несчастного человека, которого защищал консул. Глядя в сырую тьму, Давиль ясно понял то, чего утром не сумел уловить в нетерпеливом молчании и удивленных взглядах в Конаке.

А на другой стороне Травника, словно на другом берегу этой тьмы, сидел окруженный спокойным светом господин фон Миттерер и писал донесение о происшествии с Ахмет-бегом Церичем. Старался подчеркнуть свою роль в гибели коменданта Нови, но и не преувеличивал ее, дабы не обидеть коменданта в Хорватии и других лиц, принимавших участие в этом деле. «Теперь этот беспокойный и честолюбивый комендант, наш серьезный противник, сидит в местной крепости в оковах. Ему предъявлено тяжелое обвинение. Похоже, что ему не сохранить головы. По имеющимся у меня данным, визирь решил с ним покончить. Я не стану особо и открыто заниматься этим делом, но можете быть уверены, что и пальцем не пошевелю, чтобы помешать свернуть ему шею раз и навсегда».

На другой день, на заре, Ахмет-бега застрелили из ружья во время сна и в то же утро похоронили на кладбище между дорогой и Лашвой. По городу пустили слух, что он пытался бежать, когда его повезли в Нови, и конвой вынужден был стрелять.

Давиль горел как в лихорадке и прямо валился с ног от усталости и бессонницы. Но как только он закрывал глаза, ему казалось, что он, в полном одиночестве, окруженный заговором адских сил, борется из последних сил, теряя сознание, скользя по льду во мгле.

В себя его привела мысль, что он немедленно должен написать три донесения: в Париж, Стамбул и Сплит. Надо было сесть и описать все, представив свои попытки, предпринятые у визиря, как драматическую борьбу за достоинство Франции, а неудачу приписав несчастному стечению обстоятельств.

Давиль переболел гибель Ахмет-бега. А поднявшись, сказал себе: в недобрый час пришел ты в эту страну и отступать теперь некуда, но ты всегда обязан помнить, что не должен измерять поступки этого народа своей меркой и принимать все слишком близко к сердцу; иначе ты в кратчайший срок погибнешь самым ужасным образом. С этим решением он снова вернулся к работе. Впрочем, в такие времена одна забота сменяется другой. Консул получал новые приказы и новые задания. Видя, что его начальство не придает гибели Ахмет-бега того значения, какое придавал он сам, одинокий и потерявший голову Давиль постарался забыть об этой неудаче и подавить вызванные ею мучительные вопросы. Трудно было выбросить из памяти румяное девичье лицо Ахмет-бега со сверкающими зубами и быстрыми карими глазами горца, с улыбкой бесстрашного человека, так же как и молчание визиря, перед которым консул чувствовал себя беспомощным, униженным и неспособным защитить свое право и достоинство своей страны. И тем не менее ежедневно возникавшие новые дела заставляли забывать и об этом.

Визирь вдруг снова стал прежним. Приглашал Давиля к себе, оказывал ему разные услуги, был с ним любезен и вел обычные разговоры. Давиль поощрял эту странную дружбу. Они все больше времени проводили в интимных беседах, которые часто ограничивались пессимистическими монологами визиря, но в конце которых Давилю всегда удавалось решить то незначительное дело, ради которого он и приходил. Случалось, что визирь сам приглашал французского консула под каким-либо предлогом для беседы. В этом отношении Давиль оставил своего соперника фон Миттерера далеко позади. Австрийского консула принимали только тогда, когда он просил аудиенции, и разговоры с ним были короткие, учтиво-холодные и официальные.

Даже тот факт, что Наполеон, заключив мир с Россией, вызвал большое разочарование в Стамбуле и сильное недовольство против Франции, не имел длительного влияния на взаимоотношения визиря и консула. Как обычно для турок, переход был очень резким и неожиданным. Едва получив из Стамбула известие обо всем случившемся, визирь сразу охладел. Перестал приглашать Давиля, а когда тот сам просил принять его, разговаривал с ним резко и сухо. Но это длилось недолго и, как всегда, перешло в свою противоположность. Без всякой видимой причины визирь смягчился. И снова начались дружеские беседы и обмен любезностями. И сами укоры, которые визирь делал по этому поводу консулу, служили лишь поводом для обоюдных грустных излияний насчет непостоянства людских взаимоотношений. Давиль сваливал всю вину на Англию, а Ибрагим-паша ненавидел англичан не

меньше, чем русских, еще с тех пор, как ему в качестве великого визиря пришлось быть свидетелем вступления английского военного флота в Босфор.

В конце концов Давиль стал привыкать к неожиданным приливам и отливам в настроениях визиря.

Попытки фон Миттерера подарками привлечь визиря на свою сторону и оттеснить Давиля успеха не имели. Он выписал из Славонского Брода красивый экипаж и подарил его визирю. Это был первый по-настоящему роскошный экипаж, какой видели в Травнике. Визирь принял подарок с благодарностью. Люди приходили в Конак поглядеть на черную, блистающую лаком карету. Но лично визирь оставался равнодушным, и для фон Миттерера было большим унижением, о чем он умалчивал в официальных донесениях, что Ибрагим-паша ни разу не прокатился в подаренном ему экипаже. Карета продолжала стоять в среднем дворе Конака как бездушный, блестящий и неуместный подарок.

В это время Давилю, имевшему гораздо меньше средств и гораздо меньше влияния на свое правительство, как-то удалось получить из Парижа в подарок визирю небольшой телескоп и астролябию, прибор для измерения положения и высоты звезд на горизонте. Консул не умел толком объяснить, как надо пользоваться телескопом, ему даже казалось, что некоторые части поломаны или их недостает, но визирь принял подарок с восторгом. Для него, правда, все вещи на свете были мертвы и не имели значения, и он ценил их только по тому, кто дарил и с какими намерениями. Телескоп послужил лишь новым поводом для разговоров о звездах и человеческой судьбе, которую можно прочитать по звездам, о переменах и катастрофах, которые они предсказывают.

В первый же год своего правления визирь испытал новый сокрушительный удар, который должен был его доконать, если считать, что он еще недобит.

Тем летом визирь отправился с огромной свитой на Дрину. Он намеревался своим присутствием задержать как можно дольше боснийские войска и помешать им раньше времени вернуться в Боснию на зимние квартиры. Это, быть может, и удалось бы ему, но в Зворнике он получил известие о новом государственном перевороте в Стамбуле и трагической смерти бывшего султана Селима III.

Гонец, привезший подробное известие о событиях, происшедших в конце июля в Стамбуле, и не знавший, что визирь в армии, сначала прибыл в Травник, откуда его немедленно отправили в Зворник. С этим гонцом Давиль послал визирю ящик лимонов с несколькими теплыми словами; не упоминая о последних стамбульских событиях, он явно выражал внимание и

соболезнование визирю по случаю несчастья, постигшего его государя. Возвратившись в Травник, гонец привез Давилю письмо визиря, в котором тот благодарил за присланное и писал, что подарок от искреннего друга — самая большая для него радость и пусть «светлый ангел направляет стопы дарующего». Давиль, прекрасно понимавший, каким тяжелым ударом для визиря должна была явиться ужасная смерть Селима III, стоял в удивленном раздумье над этим любезным и безмятежным письмом. Это была еще одна из тех странных неожиданностей, которые случаются на Востоке. Между подлинными переживаниями человека и тем, что он писал, не было никакой связи.

Консул изумился бы еще больше, если бы мог посмотреть на визиря сразу после того, как тот получил вести из Стамбула. Шатры визиря и его свиты были раскинуты на возвышенности около заброшенной каменоломни. Здесь даже в душные ночи постоянно была прохлада, так как все время по узкой долине дул ветерок, приносивший свежесть воды и ивняка. Визирь сразу удалился в свой шатер и не впускал туда никого, кроме самых близких и преданных ему людей. Тахир-бег приказал готовиться к возвращению в Травник, но из-за визиря нельзя было и думать сразу пускаться в столь трудный путь.

Спокойно выслушав печальную весть, визирь, ни на кого не глядя, так же спокойно произнес суру за умершего, за упокой души того, кого больше всего любил на этом свете. Потом медленным шагом запоздавшего ночного привидения удалился в шатер и, как только за ним опустились тяжелые полы палатки, упал, будто подрубленный, на подушки и стал срывать с себя вооружение и одежды, словно задыхался. Старый немой слуга напрасно пытался раздеть и укрыть его; визирь не позволял дотронуться до себя, казалось, легчайшее прикосновение причиняло ему нестерпимую боль. Судорожным жестом он оттолкнул стакан с шербетом. Закрыв глаза и сжав губы, он лежал, словно камень, скатившийся с высокой горы. Цвет кожи его от внезапно разлившейся желчи быстро менялся: из желтой она становилась зеленой и, наконец, темной, как земля. Так он лежал, неподвижно, не произнося ни слова, несколько часов. Только под вечер начал сперва тихо стонать, а потом протяжно и монотонно всхлипывать с редкими и короткими перерывами. Если бы кто-нибудь посмел пройти мимо шатра, то подумал бы, что это слабенький, обезумевший от страха ягненок, вчера лишь родившийся, заблудился и блеет, зовя мать. Но, кроме тефтедара и старого слуги, никто не мог подойти близко или хотя бы издали видеть и слышать визиря.

Так он пролежал целый день и целую ночь, отказываясь от всякой помощи, не открывая глаз и испуская протяжный горловой

звук, однообразный и тихий, как жалобный стон животного: «Е-е-е-е-е!»

Только на заре следующего дня Тахир-бегу удалось привести его в чувство и заставить говорить. Но, раз опамятовавшись, визирь быстро пришел в себя, оделся и принял свой обычный застывший вид. Словно вместе с одеждой он натянул на себя свою неподвижность и вернулся к обычным скупым жестам. Даже самое большое горе не могло теперь вызвать в нем перемены. Он приказал сейчас же пуститься в обратный путь, но ехали медленно, короткими переездами от ночлега до ночлега.

Когда визирь прибыл в Травник, Давиль в виде приветствия послал ему еще ящик лимонов, но аудиенции не попросил, считая, что лучше предоставить опечаленному визирю самому решить этот вопрос, хотя и горел желанием увидеть и выслушать его, чтобы донести послу в Стамбуле о своих впечатлениях и высказываниях бывшего великого визиря Селима III. Давиль был вдвойне доволен своим разумным решением, когда узнал, что австрийский консул попросил аудиенции сразу и был принят, но холодно и нелюбезно, и что на все его расспросы о стамбульских событиях визирь не ответил ни единым словом. Несколько дней спустя Давиль пожинал плоды своей мудрой сдержанности.

Визирь пригласил французского консула накануне пятницы под предлогом, что хочет известить его о ходе операций против повстанцев в Сербии. Он принял его тепло и сначала действительно говорил только о военных действиях. В его изложении все казалось мелким и незначительным. Своим глубоким и глухим голосом он с одинаковым презрением отзывался как о повстанцах, так и о боснийском войске, сражавшемся против них.

— Я видел то, что следовало видеть, и мое присутствие в тех заброшенных краях стало излишним. Русские, помогавшие повстанцам в ведении операций, покинули Сербию. Осталась только взбунтовавшаяся, обманутая райя, а было бы ниже достоинства Оттоманской империи, если бы бывший великий визирь схватился с ней врукопашную. Эти несчастные люди передерутся между собой до крови и затем бросятся нам в ноги. Не стоит пачкать руки.

Давиль с удивлением смотрел на каменное воплощение муки, произносившее ложь с таким достоинством и так спокойно. Все, что говорил визирь, было прямо противоположно действительности, но спокойствие и достоинство, с которым он это говорил, сами по себе были мощной и упрямой действительностью.

«Да,— думал Давиль свою давнюю думу, пока толмач напизывал последние слова,— да! Ход жизненных событий не зависит от нас или зависит очень мало, но то, как мы выдержим их, в зна-

чительной степени зависит от нас самих, следовательно, на это нужно тратить силы и этому отдавать внимание».

Сразу после презрительных слов о сербском восстании и боснийском войске, долженствовавшем его подавить, разговор сам собой перешел на смерть Селима III. Но и тут ни голос, ни лицо визиря не изменились. Он весь был во власти беспредельного, смертельного горя.

В большом зале на втором этаже некоторое время никого не было. По незаметному знаку визиря даже слуги с чубуками исчезли. Остались только визирь и консул, да чуть ниже, поджав под себя ноги, скрестив руки и опустив глаза, сидел Давна, весь превратившийся в спокойный, монотонный голос, почти шепот, и переводил.

Визирь спросил консула, известны ли ему подробности о событиях в Стамбуле. Консул ответил отрицательно и добавил, что очень желал бы поскорей узнать об этом, потому что все французы опечалены смертью такого искреннего друга и столь незаурядного государя, каким был Селим III.

— Вы правы,— проговорил визирь задумчиво,— покойный султан, который теперь наслаждается благами рая, любил и по-настоящему ценил вашу страну и вашего падишаха. Все без исключения благоразумные и благородные люди потеряли в нем большого друга.

Визирь говорил медленно и приглушенно, словно покойник лежал в соседней комнате, но все время останавливался на мелких фактах, будто избегал главного и самого тягостного.

— Кто не был с ним близко знаком, не может даже и представить себе, какая это потеря,— говорил визирь.— Это был человек всесторонне образованный и во всех отношениях совершенный. Он искал общества людей ученых. И сам под именем Илхами (Вдохновенный) писал стихи, которые доставляли истинное наслаждение людям просвещенным. И я знаю стихотворение, написанное им в день вступления на престол. «Милостию божьей получил я престол Сулеймана Великого»,— так, помнится, оно начинается. Но подлинную страсть он питал к математике и зодчеству. Он лично занимался реформой административного управления и налоговой системы. Посещал школы, экзаменовал детей и раздавал награды. Поднимался на постройки с аршином из слоновой кости в руке и наблюдал за работами, следил за их качеством и стоимостью. Он все хотел знать и видеть. Любил работу и был здоровый, сильный, ловкий, и не было ему равного в умении владеть копьем и саблей. Я своими глазами видел, как одним ударом сабли он разрубил трех овец сразу. На него, должно быть, напали внезапно, обманным путем, когда он был безоружен,

потому что с саблей в руке он был непобедим. Ах, слишком он был благороден, доверчив и легковерен!

И только по тому, что о своем любимом государе визирь говорил в прошедшем времени, можно было понять, что речь идет о покойнике. Он ни словом не упомянул о смерти султана, будто боялся этого, как дурной приметы.

Говорил он быстро и рассеянно, словно пытаясь заглушить в себе другой, внутренний голос.

Давна переводил тихо, стараясь быть как можно незаметней. Но, проговорив последние слова, визирь слегка вздрогнул, будто только сейчас заметил толмача, повернулся к нему всем корпусом, медленно и тяжело, похожий на каменное изваяние, вращаемое невидимой рукой, и своим мертвым, страшным взглядом каменной статуи уставился на Давну, у которого слова застряли в горле и еще больше согнулась спина.

На этом разговор был окончен.

И консул, и его переводчик вышли словно из могилы. Давна был бледен как покойник, капли холодного пота выступили у него на лбу. Давиль молчал до самого дома. Но, перечисляя самые невыносимые ужасы, которые ему пришлось пережить в Травнике за этот год, он записал эти призрачные движения живой статуи.

Однако гибель свергнутого султана Селима III еще больше сблизила несчастного визиря с консулом, умевшим так хорошо слушать и тактично и умно принимать участие в скорбных монологах визиря.

Через несколько дней консула снова пригласили к визирю. Ибрагим-паша получил свежие сведения из Стамбула от слуги, присутствовавшего при гибели Селима III, и, очевидно, хотел сообщить об этом консулу.

По внешнему виду нельзя было судить о том, что пережил визирь за эти десять дней, но по голосу было ясно, что он начал примиряться с потерей и привыкать к душевной боли. Теперь он говорил об этой смерти уже как о давнем событии.

В следующие пятнадцать дней Давиль трижды виделся с визирем: два раза на аудиенциях и один раз во время совместной поездки в новую литейную визиря — посмотреть, как отливают пушки. Каждый раз консул прихватывал с собой список просьб и текущих дел. Все разрешалось быстро и почти без исключения положительно. Затем визирь сразу переходил с каким-то удовольствием, горьким и страстным, к изложению трагической гибели Селима III, ее причин и разных деталей. Он чувствовал огромную, неизбывную потребность говорить об этом, а французского консула считал единственным человеком, достойным все это выслушивать. Редкими, но уместными вопросами Давиль дополнял

разговор и поощрял визиря, выказывая ему свое участие. И визирь рассказал ему все подробности последнего акта трагедии Селима III — а в сущности, и своей собственной. И чувствовалось, что он испытывал особую потребность перебирать именно эти подробности.

Во главе заговора в пользу свергнутого султана Селима III стал Мустафа Байрактар, один из лучших военачальников, честный, но необузданный и непросвещенный человек. Он двинулся из Валахии со своими албанцами к Стамбулу с намерением свергнуть недостойное правительство султана Мустафы, освободить Селима III из заточения в серале и вернуть на престол. По дороге его всюду приветствовали, и он прибыл в Стамбул как победитель и освободитель. Он успешно добрался до самого сераля и вступил в первый двор, но тут бостанджи-баша успел закрыть перед самым его носом тяжелые внутренние ворота. Тогда смелый, но простоватый и несообразительный Байрактар совершил роковую ошибку. Он стал кричать и требовать немедленного освобождения свергнутого законного султана Селима III. Услыхав это и видя, что Мустафа Байрактар хозяин положения, неумный, но коварный и свирепый султан Мустафа приказал немедленно умертвить Селима III. Одна из рабынь выдала несчастного султана: он творил послеполуденную молитву, когда в помещение вошел Кислар-ага с четырьмя своими помощниками. На мгновение они остановились в смущении, но потом Кислар-ага бросился на султана, который в эту минуту молился, стоя на коленях и касаясь лбом ковра. Рабы помогали аге: одни держали Селима III за руки и за ноги, другие ножами отгоняли прислугу.

Консул почувствовал, как его начала пробирать дрожь, и, слушая визиря лишь наполовину, вдруг решил, что перед ним сумасшедший и что внутреннее существо визиря еще более ужасно и нелепо, чем его необыкновенная внешность. Давно переводил с усилием, путая фразы, не договаривая слова.

«Он помешанный, в этом не может быть сомнения,— повторял про себя консул,— он помешанный!»

А визирь неукоснительно продолжал свой рассказ каким-то молитвенным голосом, точно разговаривал не с сидящим рядом с ним человеком, а вел какой-то внутренний диалог, старательно и добросовестно приводя мельчайшие подробности, будто они имели первостепенное значение, словно он ворожил и ворожбой хотел спасти султана, которого не сумел спасти. Движимый этой непонятной, но неодолимой потребностью, он решил повторить вслух все, что слышал от убежавшего очевидца и что скрывал в себе. Визирь, несомненно, переживал временное помешательство, страдая своего рода навязчивой идеей, причиной и центром которой бы-

ла гибель Селима III. И, рассказывая благорасположенному иностранцу обо всей этой драме, как она, по его представлению, совершалась, он хотя бы частично освобождался от своих терзаний.

И консул ясно видел происходившую в нем борьбу; помимо своей воли, он следил за ней до мелочей, от которых у него ежеминутно пробегали по спине мурашки.

В завязавшейся борьбе, продолжал визирь, Селиму удалось вырваться и сильным ударом сбить с ног толстого Кислар-агу. Он стоял посреди комнаты, отбиваясь руками и ногами. Обороняясь от ударов, на него набрасывались чернокожие рабы. У одного из них был в руках лук без стрелы, и он все старался накинуть своей жертве на шею тетиву, чтобы задушить его. («У султана не было сабли, будь она у него, дело повернулось бы совсем иначе»,— с грустью повторял визирь.) Защищаясь главным образом от этой тетивы, Селим выпустил из виду упавшего Кислар-агу. Черный, толстый и сильный человек незаметно поднялся на колени и, изловчившись, схватил раскоряченного Селима III за мошонку. Султан застонал от боли и согнулся так, что лицо его оказалось вровень с потным и окровавленным лицом Кислар-аги. На таком близком расстоянии он не мог размахнуться и ударить Кислар-агу, который катался по ковру, не выпуская своей жертвы. Воспользовавшись этим моментом, раб накинул тетиву на шею Селиму. И несколько раз повернул лук, затягивая петлю все крепче. Султан боролся, но силы оставляли его, и он быстро терял сознание от боли. Лицо постепенно синело. Рот раскрылся, глаза вылезли из орбит. Он еще несколько раз взмахнул руками на уровне плеч, но печально и беспомощно, а потом весь как-то сложился, согнув колени, спину, шею, рухнул у стены, да так и остался согнутый, полусидя, бездыханный, словно никогда не жил и никогда не защищался.

Труп сейчас же положили на ковер и понесли, как на носилках, к султану Мустафе.

А снаружи, перед закрытыми воротами, Мустафа Байрактар нетерпеливо стучал и кричал:

— Отворите, суки и сукины дети, выпустите настоящего султана Селима III, иначе никому из вас не сносить головы!

Албанцы Байрактара, призывая бога, взвизгивали, как бы в подкрепление его криков, и готовились взломать тяжелые ворота.

В это время распахнулось одно из узких и глубоких окон, высеченных высоко в стене по обе стороны ворот. Медленно заскрипели ставни, заржавевшие и обросшие мохом. В приоткрытом окне показался свернутый ковер, из которого выскользнул полуодетый труп и глухо шмякнулся на белую мостовую из мелкого камня.

Первым подбежал Мустафа Байрактар. Перед ним — с непокрытой головой, с посиневшим лицом, весь избитый — лежал мертвый султан Селим III. Слишком поздно. Байрактар победил, но победа его потеряла всякую цену и смысл. Зло и безумие восторжествовали над добром и разумом. На престоле продолжал царить порок, а в государстве — смута.

— Вот как, сударь, погиб самый благородный государь Оттоманской империи,— закончил визирь как бы с облегчением, словно пробуждаясь от сна, в котором до сих пор находился.

Возвращаясь после таких разговоров домой, Давиль всегда думал о том, что никто никогда не узнает, как дорого ему приходилось платить за те незначительные поблажки и уступки, которые удавалось получать у визиря. И даже Давна молчал, не находя слов для объяснений.

XII

Тысяча восемьсот восьмой год был, как видно, годом всевозможных потерь и несчастий. Вместо обычной в Травнике поры, которую нельзя назвать ни осенью, ни зимой, уже в начале ноября наступила ранняя и холодная зима. В это время неожиданно заболел ребенок французского консула.

Это был средний сын Давиля, ему шел третий год, и до сих пор он был здоров и хорошо развивался в отличие от младшего брата, родившегося в Сплите во время путешествия и потому слабенького. Сначала мать поила заболевшего мальчика разными настойками и лечила домашними средствами, но когда ему стало хуже, то и госпожа Давиль потеряла свойственное ей присутствие духа и стойкость. Начали звать врачей и всех, кто именовал себя таковыми или кого принимали за таковых. Тут стало ясно, как в этом мире понимают здоровье и болезни и что значит жить и болеть в такой стране. Доктора эти были: Давна, служивший в консульстве, монах Лука Дафинич из монастыря в Гуче Горе, Мордо Атияс, травницкий аптекарь, и Джиованни Марио Колонья, врач, состоявший при австрийском консульстве. Его визит носил официальный характер, и он торжественно объявил, что послан «по приказанию господина австрийского генерального консула, чтобы предоставить свои знания в распоряжение господина французского генерального консула». У него с Давной сразу начались разногласия и препирательства как в диагнозе, так и в способах лечения. Мордо Атияс хранил молчание, а монах попросил отпустить его в монастырь за какими-то целебными травами.

На самом деле все травницкие лекари были смущены и раздосадованы, так как им никогда не приходилось лечить такого

маленького ребенка. Их искусство вообще не распространялось на крайние возрасты человеческой жизни. В этих местах маленькие дети умирают или живут по воле случая, так же как и очень старые люди угасают или еще на какое-то время продлевают свой век. Тут дело в сопротивляемости организма детей и стариков, в заботе о них близких, а в конце концов воля судьбы, против которой не существует ни лекарств, ни лекарей. А потому какое-нибудь слабенькое или очень старое существо, которое и на погах-то едва держится, не является здесь предметом врачевания и врачебных забот. И если бы дело шло не о видных личностях, занимающих высокий пост, никто из «докторов» не стал бы обращать внимания на больного ребенка. Их посещения вызывались больше уважением к родителям, чем подлинным интересом к ребенку. И тут не было особой разницы между монахом Лукой и Мордо Атиясом, с одной стороны, и Давной и Колоньей — с другой, так как и эти два иностранца вполне свыклись с понятиями и обычаями Востока. Впрочем, и их знания были не бог весть как глубоки и обширны.

При таких обстоятельствах Давиль решил везти ребенка в Синь, где был хороший и известный французский военный врач. Все травницкие «доктора», верные своим убеждениям, были категорически против этого смелого и необычного решения, но консул настоял на своем.

В стужу, которая все усиливалась, по обледенелой дороге он отправился в путь в сопровождении телохранителя и трех конюхов. Консул сам держал на руках закутанного больного ребенка.

Странная процессия тронулась от консульства на рассвете. Не успели они перевалить через гору Караул, как мальчик скончался на руках у отца. С мертвым ребенком они провели ночь на постоялом дворе, а утром двинулись в обратный путь, в Травник. В сумерки прибыли в консульство.

Госпожа Давиль убаюкивала младшего сына и как раз шептала молитву «о путешествующих», когда конский топот и стук в ворота заставили ее вздрогнуть. Она обмерла, не будучи в состоянии двинуться с места, да так и осталась до появления Давиля, который вошел в комнату, бережно и нежно неся на руках закутанного ребенка. Он опустил мертвого сына, сбросил широкий черный плащ, от которого несло холодом, потом обнял оцепеневшую, словно обезумевшую жену, шептавшую последние слова молитвы, в которой только что просила о том, чтобы ребенок вернулся здоровым.

Консул, прозябший и разбитый после двухдневной верховой езды, едва держался на ногах. Руки, которые, часами не меняя положения, держали сначала больного, а затем мертвого сына, опе-

Травницкая хроника

мели. Но сейчас он не чувствовал этого и обнимал хрупкую фигуру жены с безмолвной нежностью, выражавшей безграничную любовь к жене и ребенку. Он закрыл глаза и забылся: ему казалось, что, борясь с усталостью и болью, он продолжает нести ребенка к выздоровлению и, пока он несет его по свету с такими мучениями и такой болью, ребенок не умрет. А то, другое существо в его объятиях кротко и тихо плакало, как умеют плакать лишь мужественные и самоотверженные женщины.

Дефоссе, смущенный, стоял поодаль, чувствуя, что он лишний, пораженный неожиданным величием простого и заурядного человека.

На другой день, солнечный и морозный, маленького Jules-François-Amyntas Daville похоронили на католическом кладбище. Австрийский консул с женой и дочкой присутствовали на похоронах и пришли в консульство, чтобы выразить соболезнование. Госпожа фон Миттерер предлагала свою помощь и много и возбужденно говорила о детях, о болезнях, о смерти. Давиль и его жена слушали ее спокойно, с сухими глазами, с видом людей, которые признательны за любое слово утешения, но которым в действительности никто помочь не может и которые этой помощи и не ждут. Разговор перешел в продолжительный диалог между госпожой фон Миттерер и Дефоссе и закончился монологом Анны-Марии о судьбе. Она была бледна и выглядела торжественно. Потрясения и волнения были ее подлинной стихией. Ее темно-каштановые волосы выбивались беспорядочными прядями. Огромные серые глаза на бледном лице неестественно блестели, и в этом блеске чудились такие глубины, что в них трудно было глядеть не мигая. Лицо полное и бледное, шея без единой морщинки, грудь как у молодой девушки. В этом кольце смерти и печали, рядом с желтым и озабоченным мужем и маленькой молчаливой дочерью, она еще ярче выделялась и сверкала своей страшной и опасной красотой. Дефоссе долго смотрел на ее руки, узкие и сильные. Белая кожа на них при движении и на сгибах отливала матовым, жемчужным блеском, похожим на едва заметный отблеск невидимого и ослепительно-белого пламени. Впечатление от этого белого блеска оставалось у него перед глазами в течение целого дня. И когда в долацкой церкви служили заупокойную мессу по мальчику и Дефоссе увидел Анну-Марию, он прежде всего посмотрел на ее руки. Но на этот раз они были в черных перчатках.

После нескольких беспокойных дней жизнь снова вошла в обычную колею. Зима затворила все двери и загнала людей в теплые дома. Связь между консульствами опять прервалась. И даже Дефоссе стал сокращать свои прогулки. Разговоры его с Давилем

перед обедом и ужином были теперь мягче и сердечнее и вращались главным образом вокруг предметов, где различие во мнениях могло остаться невысказанным. Как всегда бывает сразу после похорон, они избегали говорить о потере и смерти ребенка, а так как не думать об этом было невозможно, то много говорили о его болезни, о болезнях вообще, а в особенности о врачах в этой страшной стране.

Бесконечные и разнообразные неожиданности встречают человека Запада, внезапно оказавшегося на Востоке и принужденного тут жить; однако самыми большими и мучительными из них являются те, что связаны со здоровьем и болезнями. Жизнь организма предстает перед таким человеком в совершенно новом свете. На Западе существуют всяческие болезни со всеми их ужасами, но с ними борются, стараются облегчить или, во всяком случае, скрыть от глаз здоровых, трудоспособных и веселых людей при помощи специальной организации общества, разных конвенций и прочего. Здесь же болезнь вовсе не представляет собой чего-то исключительного. Она возникает и развивается сама по себе, чередуясь со здоровьем, проявления ее можно видеть, слышать и чувствовать на каждом шагу. Лечиться здесь — значит питаться, болеть — значит жить. Болезнь — это вторая, более тяжелая сторона жизни. Эпилептики, сифилитики, прокаженные, истерики, идиоты, горбатые, хромые, немые, слепые, калеки — все это копошится и ползает среди бела дня, просит милостыню или в упрямом молчании и почти с гордостью выставляет напоказ свой страшный недуг. Счастье еще, что женщины, в особенности турчанки, закрывают лицо и укутываются, не то число попадающихся на глаза больных было бы вдвое больше. Это каждый раз приходило па ум и Давилю и Дефоссе, когда они видели, как по крутой сельской дороге спускался в Травник какой-нибудь крестьянин, ведя под уздцы лошадь, на которой покачивалась женщина, вся закутанная в суконную чадру, похожая на мешок, полный неизвестных страданий и болезней.

Но болеют не только бедные. Для бедных — это судьба, для богатых — наказание. На ростках обилия, как и на ростках нищеты, распускается один и тот же цветок — болезнь. И Конак визиря, если присмотреться поближе и лучше узнать его, в этом смысле мало чем отличается от бедноты и простого люда, заполняющего улицы по базарным дням. Болезнь тут протекает, может быть, иначе, но отношение к ней то же самое.

За время болезни сына консула Дефоссе получил возможность познакомиться со всеми четырьмя докторами Травника. Это, как мы видели, были Давна, Колонья, Мордо Атияс и монах Лука Дафинич.

Давна с самого начала известен нам и как переводчик и временный чиновник французского консульства. Состоя на службе у Мехмед-паши, он мало занимался врачебной практикой. Звание доктора служило ему, как и многим другим иностранцам, только ширмой для всяких других дел, в которых он выказывал куда больше знаний и умения. Теперь он был счастлив и доволен своим новым положением, к которому имел склонность и способности. В молодости он, кажется, изучал некоторое время медицину в Монпелье, но недостаточно для звания врача. Людей он не любил, в силы природы не верил. Как большинство людей Запада, волею судеб оставшихся на Востоке и сжившихся с турками, он был заражен глубоким пессимизмом и сомнением во всем. Людей здоровых и людей больных он рассматривал как два мира, ничем между собой не связанных. Выздоровление он считал лишь временной стадией, а не переходом из одного мира в другой, ибо такого перехода, по его мнению, и не существовало. Человек рождается, заболевает — таков его удел, а все остальные беды, как-то: боли, расходы, лекарства, лекари и прочие печальные вещи — являются лишь естественным приложением. А потому он предпочитал иметь дело со здоровыми, а не с больными. К тяжело больным он питал отвращение, а длительную болезнь воспринимал чуть ли не как личную обиду, считая, что такие больные должны сами решать: налево или направо, то есть к здоровым или к мертвым.

И если он все-таки лечил турок, у которых служил, то лечил не столько с помощью знаний или своих более или менее нейтральных лекарств, сколько твердой волей и безрассудной смелостью. Он искусно льстил богатым пациентам, восхваляя их силу и выносливость, вызывая в них чувство тщеславия и желание противостоять болезни, или же внушал, что сама болезнь не так уж серьезна и опасна. Делать все это было ему тем легче, что он точно так же, постоянно и последовательно, льстил и здоровым, только другим способом и в другом направлении. Он очень рано понял все значение лести и силы запугивания и вообще вес ласкового или резкого слова, сказанного в нужную минуту и в надлежащем месте. Грубый и не считающийся с большинством людей, он все свое внимание и изысканные слова берег для сильных и власть имущих. И в этом он показал себя необыкновенно ловким и дерзновенным.

Вот каким врачевателем был César d'Avenat.

Полной противоположностью ему был Мордо Атияс, маленький, молчаливый еврей, владевший лавкой на нижнем базаре, в которой продавались не только лекарства и врачебные наставления, но и другие вещи — от очков и письменных принадлежно-

стей до жидкости от бесплодия, красок для шерсти и всякого рода добрых советов.

Атиясы — самое древнее еврейское семейство в Травнике. Они живут здесь свыше ста пятидесяти лет. Дом, в котором они сперва жили, стоял за чертой города, в узком и сыром ущелье, где протекал один из безымянных потоков, впадавших в Лашву. Это была котловина в Травницкой котловине, куда почти не заглядывало солнце, сырая, полная щебня, заросшая ольхой и ломоносом. Тут Атиясы рождались и умирали, поколение за поколением. Позднее им удалось покинуть это сырое, мрачное и нездоровое место и переселиться в верхнюю часть города, но на всех Атиясах остался отпечаток их прежнего местожительства: все они были малорослые, бледные, словно выросли в подвале, молчаливые и замкнутые; жили они скромно, незаметно, хотя со временем скопили деньги и разбогатели. И всегда кто-нибудь в семье занимался изготовлением лекарств и врачеванием.

Из всех травницких докторов, или тех, кто считал себя таковым и как таковой приглашался в консульство, меньше всего можно сказать о Мордо Атиясе. Да и что можно сказать о человеке молчаливом, нелюдимом, который ни с кем не дружил, ничего не просил, занимался только своим делом да своей семьей. Весь Травник и все окрестные деревни знали Мордо и его лавку с лекарствами, но это было единственное, что о нем знали.

Небольшого роста, он весь оброс бородой, усами, бакенбардами и бровями. Одет он был в полосатый кафтан и синие шаровары. Насколько было известно в семье, и предки их, еще когда жили в Испании, были лекарями и аптекарями. Этим искусством Атиясы продолжали заниматься и в изгнании и в эмиграции, сначала в Салониках, а потом в Травнике. Дед этого Мордо, доктор Исаак, умер здесь, в Травнике, став одной из первых жертв страшной чумы в середине прошлого века. Сын продолжил торговое дело и лет двадцать тому назад передал его Мордо. В семье хранились книги и записи знаменитых арабских и испанских докторов, которые Атиясы захватили с собой, когда бежали из Андалузии, и из поколения в поколение передавали их как тайну и драгоценность. Каждый божий день, кроме субботы, вот уже больше двадцати лет, Мордо сидел на широком пороге своей лавки, сгорбленный, поджав ноги и наклонив голову, вечно занятый клиентами и своими порошками, травами и настойками. Лавка, точно большая деревянная коробка, была набита сверху донизу и так низка и тесна, что Мордо мог любую вещь взять рукой, не вставая с места. Так он сидел в своей лавке летом и зимой, всегда одинаковый, в одной и той же одежде, в одном и том же настроении: свернутое в клубок молчание, которое ни кофе не пьет, ни

табак не курит и не принимает участия в базарных разговорах и шутках.

Подходил клиент, больной или кто-то из его родственников, садился на край порога и говорил, что у него болит. Мордо сквозь густую черную бороду и усы невидимыми губами шептал свое мнение, давал лекарство и получал деньги. Втянуть его в разговор не было никакой возможности. Даже больным об их болезни он сообщал только самое необходимое. Выслушав их терпеливо, безмолвно глядя при этом темными глазами из зарослей волос, в которых не было ни единого седого, он на все их заявления неизменно отвечал одними и теми же, раз и навсегда установленными фразами, а последней была: «В моей руке лекарство, а в божьей — здоровье». На этом он прекращал всякий дальнейший разговор и объявлял, что клиент либо должен взять товар и заплатить, либо положить на место — «полюбовался, и хватит».

— Да возьму, как не взять; я и отраву бы взял,— плачется больной, которому хотелось пожаловаться и поговорить не меньше, чем получить лекарство.

Но Мордо неумолим. Завернув лекарство в синюю бумагу, он кладет его перед больным и сразу же возвращается к тем мелким делам, которые бросил с приходом клиента.

В базарный день перед лавкой Мордо — целая толпа крестьян и крестьянок. Один сидит возле хозяина и шепчется с ним, а остальные стоят на улице и ждут. Приходят за лекарствами или приносят травы для продажи, тихо переговариваются, торгуются, объясняются, уходят и вновь возвращаются. И только один Мордо неподвижно сидит на своем месте, холодный и молчаливый.

Особенно шумливы и привередливы пожилые крестьянки, пришедшие за очками. Сначала они долго рассказывают, как еще недавно могли вдевать нитку и в самое маленькое ушко, но с зимы, после простуды, что ли, у них все перед глазами начало подергиваться мутью, так что и вязать стало трудно. Мордо поднимает глаза на сорокалетнюю женщину, у которой уже естественно начинает слабеть зрение, прикидывает ширину лица и толщину носа, вытаскивает из черной круглой коробки очки в железной оправе и надевает их на глаза крестьянки. Женщина сперва смотрит на свои руки, поворачивая их то кверху ладонями, то книзу, затем на клубок шерсти, который ей подает Мордо, спрашивая: «Видишь? Не видишь?» И все это сквозь зубы, еле слышно.

— Вижу, хорошо вижу: шерсть, но далеко где-то, словно в глубине базара,— говорит крестьянка нерешительно.

Мордо вытаскивает другие очки и скупо бросает: «Лучше?»

— И да и нет. Теперь вроде туман какой-то перед глазами, не то дым, не то...

Мордо спокойно вынимает третью пару очков, последнюю. Крестьянка должна примерить и либо купить, либо — «полюбовалась, и хватит». И ни за какие деньги Мордо продолжать разговор не станет.

Затем приходит другой пациент, костлявый, худой и бледный крестьянин с гор, из села Пакларева. Мордо чуть слышно, с испанским акцентом спрашивает, что у него болит.

— У меня под ложечкой вот тут вроде уголька, пошли тебе бог здоровья, жжет да жжет...— говорит крестьянин, тыча пальцем в середину груди; ему хочется подробнее рассказать о своей болезни, но Мордо прерывает его сухо и решительно:

— Тут нет ничего, тут не может болит.

Крестьянин уверяет, что болит как раз в этом месте, но все-таки подвигает палец чуть вправо.

— Но болит же... Как бы сказать? Болит, во как. Тут начинает, а потом как пойдет гулять боль, прости господи, как пойдет гулять...

Наконец отчасти больной начинает сдаваться, отчасти Мордо, и они сообща уточняют место, где боль бывает более или менее постоянно. Тогда Мордо, кратко и деловито расспросив, есть ли у него в саду рута, приказывает растереть эту траву в миске, добавить немного меда, всыпать туда порошок, который он ему даст, и из всего этого скатать на ладони три шарика и проглотить их до восхода солнца.

— И так каждое утро, восемь дней подряд, с пятницы до пятницы. И пройдет и болезнь, и боль. Давай два гроша. И будь счастлив.

Крестьянин, который до сих пор широко пялил глаза, стараясь запомнить указания, вдруг забывает обо всем, даже о боли, из-за которой пришел, и хватается за то место, где у него запрятан холщовый кошелек с деньгами. И начинает мучительно медленно, со вздохами вытягивать его, развязывать и пересчитывать и наконец с болью в сердце расплачивается.

И снова Мордо сидит, маленький и неподвижный, склонившись над новым клиентом, а крестьянин медленно покидает базар и вдоль потока идет в свое горное село Пакларево. С одной стороны груди — неутихающая боль, с другой — порошок Мордо, завернутый в синюю бумагу в кармане. А все его существо испытывает другую, особую боль — сожаление о деньгах, которые, по всей видимости, выброшены зря, боль от недоверия и страха, что его обманули. Так идет он прямо на солнечный закат, ничего не замечая, углубленный в себя, потому что нет на свете более печального и растерянного существа, чем больной крестьянин.

Но был один посетитель, с которым Мордо разговаривал доль-

ше и внимательнее, не боясь потерять несколько лишних минут или слов. Это был монах Лука Дафинич, более известный под прозвищем Лекарь. Лука работал и дружил еще с отцом Мордо, Давидом, и вот уже двадцать лет был неразлучным другом Мордо и его коллегой по профессии. (Когда он был моложе и служил по разным приходам, он при всяком удобном случае приезжал в Травник и сейчас же направлялся в лавку Мордо, а уж потом только посещал священника в Долаце.) И на базаре давно привыкли наблюдать, как Мордо и брат Лука, склонив друг к другу головы, шептались о чем-то и разглядывали травы и лекарства.

Лука Дафинич был родом из Зеницы, но еще ребенком, когда вся его родня перемерла от чумы, его привезли в монастырь в Гучу Гору. Тут, с короткими перерывами, он и провел весь свой век среди лекарств, медицинских книг и приборов. Его келья была заставлена горшочками, кувшинами и коробками, а на стенах и потолке в мешочках или пучках развешаны сушеные травы, веточки и коренья. На окне — большой сосуд чистой воды с пиявками и другой, поменьше, со скорпионами в растительном масле. Рядом со скамьей, покрытой старым, прожженным, закапанным и заштопанным ковром, стоял глиняный мангал; на нем всегда кипел котелок с травами. По углам и на полках были разложены куски редкого дерева, мелкие и крупные камни, шкуры и рога животных.

Но при всем этом в келье было всегда чисто, проветрено, приятно и чаще всего пахло можжевеловыми ягодами или мятным чаем.

На стене три изображения — Гиппократа, святого Алоизия Гонзаго и неизвестного рыцаря в латах, с забралом и большим султаном на головном уборе. Откуда у брата Луки этот портрет и на что он ему был нужен, так никто никогда и не мог узнать. Однажды, когда турки производили осмотр монастыря и, не найдя ничего подозрительного, придрались к портрету, им сказали, что это какой-то султан. Начался спор — разрешается ли вообще писать портреты с султанов, но так как изображение уже совсем выцвело, а турки были неучи, то дальше этого дело не пошло. Поскольку портреты висели тут уже больше половины человеческой жизни и никогда не были очень ясными, то со временем совершенно выцвели, так что святой Алоизий походил на Гиппократа, Гиппократ на «султана», а «султан», плохо отпечатанный на рыхлой дешевой бумаге, вообще уже ни на кого не походил, и только брат Лука хорошо различал и саблю, и шлем, и воинственный взгляд, сверкавший пятьдесят лет тому назад.

Еще совсем молодым богословом брат Лука проявлял склонность и способности к медицине. Видя это и зная, как велика

нужда в хорошем, искусном враче и в народе и среди монахов, тогдашнее начальство послало молодого монаха в медицинскую школу в Падую. Но на следующий же год, в результате перемен, новые монастырские власти из противоположного лагеря нашли, что для брата Луки это неудобно, а для ордена слишком дорого, и вернули его в Боснию. Через год вновь выбранное прежнее начальство вторично послало молодого монаха в Падую кончать «врачебные науки». Но еще через год власть в монастыре снова захватила противная партия, уничтожила все прежние начинания и в числе прочего со злорадством вернула брата Луку из Падуи в Гучу Гору.

Со знаниями и книгами, которые он успел приобрести, брат Лука поселился тогда в своей келье и со страстью продолжал собирать и изучать лекарства и с любовью лечить людей. Эта страсть никогда его не покидала, а любовь не оскудевала.

Мир и покой царили в келье, по которой неслышно двигался высокий, близорукий и худой лекарь. Худоба брата Луки вошла в поговорку по всей провинции. («Самые ученые мужи не знают двух вещей: на чем стоит земля и на чем висит сутана брата Луки».) На длинном и тощем торсе горделиво сидела подвижная красивая голова с восторженными синими глазами и немного отсутствующим взглядом, с узким венчиком седых волос на правильном черепе и нежной розоватой кожей, сквозь которую проступала сеть голубых жилок. До глубокой старости он оставался живым и подвижным. «Не ходит, а сверкает, как сабля»,— говорил про него один из настоятелей. И правда, этот человек с улыбчатым взглядом и быстрыми неслышными движениями никогда не оставался в покое. Его чисто вымытые длинные сухие пальцы по целым дням перебирали бесчисленное множество мелких предметов, строгали, постукивали, лепили, связывали, записывали, наполняли ящики и полки. Потому что для брата Луки не было ничего незначительного, лишнего, ненужного. Под его худыми пальцами и улыбающимися близорукими глазами все оживало, говорило и требовало себе места среди лекарств или хотя бы среди полезных или необыкновенных вещей.

Наблюдая изо дня в день и из года в год травы, минералы и живые существа в их изменении и развитии, брат Лука все яснее понимал, что в мире, как мы его видим, существуют только два явления: произрастание и увядание, причем оба явления тесно и неразрывно связаны в своем вечном движении. Все происходящее вокруг нас — лишь отдельные фазы этого бесконечного, сложного процесса прилива и отлива, голые фикции, преходящие мгновения, которые мы произвольно выделяем, отмечаем и обозначаем такими привычными названиями, как здоровье, болезнь и умира-

ние. Всего этого, понятно, не существует. Существуют только произрастание и увядание в разных состояниях и под разными видами. И все медицинское искусство заключается в том, чтобы распознать, ухватить и использовать силы, поддерживающие произрастание, «как моряк использует ветер», и избегать и отстранять все, что служит увяданию. Когда человеку удается овладеть этой силой, он выздоравливает и плывет дальше; если же это ему не удается, то он просто-напросто беспомощно и незамедлительно тонет; а в огромной и невидимой книге учета произрастания и увядания одна сила переносится с первой страницы на вторую.

Таково было его представление о мире в целом; в подробностях оно, конечно, выглядело гораздо сложнее. Каждое живое существо, каждая болезнь, каждое растение, каждое время года, каждый день и каждая минута опять-таки имеют свой период произрастания и увядания. И все это переплетается, все связано бесчисленными неясными нитями, все действует, бродит, дрожит и струится и днем и ночью глубоко под землей, на земле и высоко в атмосфере, до самых планет, и все согласно двустороннему закону произрастания и увядания, который так трудно понять и за которым так трудно следить.

Брат Лука всю свою жизнь был увлечен собственным видением мира и его совершенной гармонией, которая лишь угадывается, которой человек может пользоваться только мгновениями, но никогда не овладевает полностью. Что может такой человек, как он, которому все это открыто и которому суждено работать на безграничном и безнадежном поприще: испытывать действие лекарств и лечить болезни согласно божьему соизволению? Что надо прежде всего схватить и запомнить из картины, которая то вспыхивает на мгновение перед ним, ясная, понятная и близкая, рукой подать, то тускнеет, задергиваясь бешеной вьюгой в непроницаемой ночи? Как разобраться в этом мерцании, в этом кажущемся хаосе перепутанных и переплетающихся между собой влияний, слепых сил и стихий? Как ухватиться хотя бы за некоторые, более крупные нити и связать последствия с причинами?

Это было единственной заботой и главной думой брата Луки, помимо его монашеских и церковных обязанностей. Потому он и был таким восторженным и отсутствующим, худым и тонким, как натянутая струна. И потому он так страстно набрасывался на каждую травинку и на каждого больного, где бы они ни были, как бы ни выглядели и как бы ни назывались.

Брат Лука твердо верил, что в природе существует столько лекарственных снадобий, сколько болезней у людей и животных. И одно точно соответствует другому, тютелька в тютельку. Это огромное множество не поддается ни исчислению, ни измерению,

хотя в то же время нельзя сомневаться, что где-то там, в бесконечной перспективе, они сходятся точно, без остатка. А целебные силы, как учили в старину, пребывают «in herbis, in verbis et in lapidibus» [1]. Про себя брат Лука смело верил, хотя в этом и не признавался, что всякое злокачественное изменение на человеческом теле можно победить, по крайней мере, в теории, так как болезнь и лекарство для нее появляются и существуют параллельно, но далеко, часто недостижимо далеко друг от друга. Если врачу удается установить между ними связь, то болезнь отступает, если же не удается, она побеждает и разрушает организм, в котором возникла. Никакие неудачи, разочарования не могли поколебать этой скрытой веры, с которой брат Лука подходил ко всякому лекарству и к каждому больному. По правде говоря, он сам поддерживал эту необъяснимую веру еще и тем, что, как и многие врачи, быстро и безвозвратно забывал каждого неизлеченного или умершего больного, помня лишь успешный случай лечения, хотя бы это было пятьдесят лет назад.

Таков был брат Лука Дафинич, Лекарь. Страстный и неисправимый друг больной половины человечества; его же другом была вся природа, а врагов у него было только двое: монахи и мыши.

Что касается монахов, то это старая и длинная история. Поколения их сменялись и во многом были различны, но все сходились в одном: в умалении и осуждении врачевательного искусства брата Луки. После того как его несколько раз посылали учиться в Падую и возвращали назад, он окончательно и навеки потерял всякую надежду встретить у своих собратьев какое-либо понимание и помощь. Когда-то настоятель брат Мартин Дембич, vulgo [2] Дембо, так рассказывал об отношениях брата Луки с монахами.

— Видишь нашего Лекаря? Даже когда он молится богу вместе с монахами, в хоре, мысли у него совсем другие. В то время как они повторяют слова молитвы, брат Лука думает: «Вразуми, боже, и смягчи эту злую братию, дабы они не мешали мне на каждом шагу в моем хорошем и полезном деле. Если же ты не можешь этого сделать, ибо я знаю, насколько крепка монашеская голова даже для божьей руки, то хоть вооружи меня святым терпением, чтобы я мог без ненависти и дурных слов переносить их такими, каковы они есть, и помогать им в болезнях своим искусством, которое они презирают и осуждают». Монахи же, молясь, думают: «Боже, просвети нашего брата Луку, излечи его от

[1] В травах, словах и камнях *(лат.)*.
[2] Прозванный *(лат.)*.

тяжкого недуга, от всех его врачеваний и лекарств. Пошли на нас простые болезни (надо же ведь от чего-нибудь умереть!), но избавь нас от того, кто сидит у нас на шее и хочет нас лечить от этих болезней».

Для Дембо, умного, язвительного и беспощадного насмешника, но доброго начальника и образцового монаха, брат Лука в течение многих лет служил предметом бесконечных рассказов и шуток. Но и Дембо, как и многие другие, дождался того, что умер на руках брата Луки. Правда, и тогда, морщась от боли, улыбаясь и одновременно задыхаясь, он говорил собравшимся вокруг него монахам:

— Братья, все монастырские счета в порядке, и кредит и наличные деньги. Викарий все знает до мельчайших подробностей. А теперь простите меня и поминайте в своих молитвах. И знайте, что меня доконали две вещи: одышка и Лекарь.

Так шутил Дембо и дошутился до смерти.

Только все это было давно, «во времена Дембо», когда брат Лука был моложе и проворнее, когда еще были живы его сверстники, из которых теперь уже почти никого не осталось в живых, потому что в день святого Ивана летнего ему пошел восемьдесят первый год. Брат Лука давно уже простил монахам, что не позволили ему остаться дольше в Падуе, что никогда не давали ему, сколько требуется, на книги и опыты, да и они с течением времени перестали дразнить его за необычный образ жизни, за страсть к врачеванию и за дружбу с Мордо Атиясом. Брат Лука продолжал ходить в Травник, сидел с Мордо в его лавке, обмениваясь с ним сведениями, опытом, травами и кореньями на ляпис и серу, потому что никто не умел так засушивать липовый цвет и сохранять козью вербу, зверобой и тысячелистник, как это делал брат Лука. Но монахи уже давно привыкли к этой «дружбе между Ветхим и Новым заветом».

И другая причина, из-за которой чаще всего возникали размолвки с монахами, а именно посещение и лечение больных за пределами монастыря, теперь почти сошла на нет. А когда-то это служило источником постоянных неприятностей для монастыря и единственной причиной серьезных столкновений между братом Лукой и монастырскими властями. И в ту пору брат Лука не искал пациентов среди мирян, в особенности среди турок; сами турки приходили к нему, иногда призывали его и просили, а чаще приказывали и под стражей отводили к больному. Эти посещения приносили как брату Луке, так и монастырю немало хлопот, убытков и неприятностей. Случалось, позовут его, умоляют вылечить турка или турчанку, а потом жалуются на него и на монастырь, что больному, мол, хуже стало, умер он. Но и тогда, ког-

да лечение проходило успешно и обрадованные родственники одаривали брата Луку, находились злонамеренные и жадные турки, обвинявшие его в том, что он посещает турецкие дома. Свидетели доказывали, что монаха звали и что приходил он по доброму и богоугодному делу, но пока это докажешь, опровергнешь и пресечешь жалобу, монастырь претерпевает мучения и страхи и несет расходы. Поэтому монахи запрещали брату Луке лечить в турецких домах, пока хозяин дома не получит от властей разрешения, в котором прямо сказано, что приглашают его по доброй воле, а власти ничего против этого не имеют.

Но даже и при всем этом иногда не обходилось без затруднений и неприятностей. Были, однако, случаи, и много, когда лечение шло успешно, когда признательные и растроганные люди осыпали и брата Луку и монастырь благодарностями и дарами.

Один бег из мелких сельских бегов, но смелый и влиятельный, которому брат Лука вылечил запущенную рану под коленом, каждый раз говорил ему при встрече:

— Поутру, как только встаю, сразу тебя поминаю, первым после бога.

И до самой смерти этот бег защищал монастырь и монахов и в случае нужды бывал их поручителем и свидетелем.

Один богатый турок из Турбета, чью жену брат Лука спас, никому об этом не рассказывал (потому что о женщинах не принято говорить), но каждый год после праздника богородицы посылал монастырю две окки меда и овечью шкуру с поручением «передать священнику, который лечит».

Но бывали и случаи черной неблагодарности и дьявольской злобы. В монастыре долго помнили случай с молодой снохой Мустай-бега Миралема. На молодую женщину напала тоска, она не находила себе места, день и ночь кричала, дергалась, скрежетала зубами или же по целым дням лежала неподвижно, не произнося ни слова, ни на кого не глядя и не принимая пищи. Домашние по совету разных людей делали все, что могли, но ничего не помогало — ни ворожеи, ни ходжи, ни талисманы. Женщина таяла не по дням, а по часам. Наконец сам свекор, старый Миралем, послал в монастырь за монахом Лекарем.

Когда брат Лука пришел, женщина уже второй день находилась в полнейшем изнеможении, лежала скорченная, и никто не мог вывести ее из состояния мрачного молчания. Сперва она не хотела головы повернуть. Но вдруг, чуть приподняв веки, увидела грубые монашеские сандалии, подол сутаны и белый шнур, каким опоясываются монахи-францисканцы; потом недовольный взгляд ее стал медленно подниматься по тощей, долговязой фигуре брата Луки, и потребовалось много времени, пока он добрал-

ся до его седой головы и встретился со смеющимся взглядом его синих глаз. И тут женщина неожиданно разразилась безумным смехом, которому не было конца. Напрасно монах старался успокоить ее словами и жестами. Выходя из комнаты Миралема, он слышал за собой ее ужасающий смех, как далекое эхо.

А уже на другой день янычары отвели закованного брата Луку в тюрьму. Настоятелю было тут же объявлено: старый Миралем подал на Лекаря жалобу за то, что тот напустил порчу на его сноху, и вот уже второй день молодая женщина не перестает смеяться. Настоятель уверял, что этого не может быть, что доктор старается вылечить больного, а никакой ворожбой не занимается. Тщетно раздавал он направо и налево кому плету, кому две. Ему объявили только, что дело Лекаря весьма серьезно, так как сноха рассказала, что монах подсунул ей какое-то питье, «черное и густое, как колесная мазь», и дважды ударил большим крестом по лбу, после чего она и начала надрывно хохотать.

И вдруг, когда все казалось безнадежно мрачным, с брата Луки сняли кандалы и отпустили его, словно бы ничего не случилось. Оказалось, что на четвертый день сноха вдруг успокоилась, а потом разразилась обильными, но тихими слезами. Позвав свекра и мужа, она заявила, что возвела напраслину на монаха в минуту безумия, призналась, что он не давал ей никаких лекарств и креста у него не было, а он лишь распростер над ней руки и молил бога согласно своей вере; от этого ей теперь и полегчало.

Так дело и улеглось. И только монахи еще долго были недовольны братом Лукой. Брат Мийо Ковачевич, бывший в ту пору настоятелем, которому больше всех пришлось побегать да поволноваться из-за этого происшествия, потом сказал при всех в трапезной:

— Вот что, брат Лука: или ты убирайся со своими полоумными мусульманками, или я убегу в лес, а ты будь тут сразу и лекарем и настоятелем. Потому что так больше нельзя.— И он с серьезным видом сердито протянул ему ключи.

Но все успокоилось и позабылось. Осталась только запись настоятеля в монастырской книге штрафов и расходов:

«11 января пришел мубашир с цепью на груди с заявлением, что брат Лука Дафинич, врач (не в добрый час занялся он врачеванием!), дал снохе Миралема вредные пилюли... Уплачено кадии и эмину 148 грошей».

Но и в дальнейшем не обходилось без каверз из-за врачебной практики брата Луки. В монастыре об этом забывали, это помнила книга штрафов и расходов на взятки, где осталось много записей о брате Луке: «За то, что брат Лука лечил турка,— 48 грошей. По делу лекаря — 20 грошей».

Тут же был записан номер приказа, которым начальство строго-настрого запрещало «творить молитву над турком или турчанкой или давать им лекарства», даже если у них на то имеется разрешение турецких властей. Но сразу после этого записан новый штраф: «За то, что брат Лука не пошел к больному, заплатили 70 грошей».

И так подряд, из года в год.

За долгую жизнь брата Луки дважды в Травнике свирепствовала чума. Народ болел, умирал, спасался бегством в горы. Базар закрывался, много домов опустело навеки. Слабела связь между самыми близкими, исчезало уважение. Во время обеих эпидемий брат Лука выказал величие и бесстрашие и как врач и как монах. Он обходил пораженные кварталы, лечил больных, исповедовал и причащал умирающих, хоронил мертвых, помогал и давал советы выздоравливающим. Это признавали и монахи, и это создало ему положение и славу врача в глазах турок.

Но кто долго живет, тот переживает все, даже свои заслуги. После эпидемий и несчастий наступали мирные, благополучные годы, все менялось и забывалось, стиралось и бледнело. Среди всех этих успехов и неудач, благодарностей и брани, неприятностей и побед только брат Лука оставался неизменным и непоколебимым, со своим отсутствующим взглядом, легкой улыбкой и быстрыми движениями, с верой в тайную связь между лекарствами и болезнями. Для него, не имеющего иных интересов в жизни, кроме лекарств и возни с ними, все в мире находило надлежащее место и оправдание: и болезнь, и расходы, и гнев настоятеля, и недоразумения, и клевета. Он благословлял бы, в конце концов, даже арест, если бы не цепи на ногах и постоянная забота, что в монастыре испортятся его лекарства и подохнут пиявки, монахи перепутают или выбросят пучки заготовленных им трав и пакеты.

Но и своих «великих супостатов» — монахов, на которых он сетовал порой в глубине души, брат Лука всегда лечил, если им случалось заболеть, ухаживал за ними преданно и от всего сердца, а здоровым давал советы и заботился о них. Стоило закашлять кому-нибудь из них, брат Лука сейчас же ставил на мангал горшочек с травами и лично приносил больному в келью горячий душистый чай и заставлял выпить. Были среди монахов раздражительные, чудаковатые, мрачные, равнодушные «стариканы», которые слышать не желали ни о лекарствах, ни о Лекаре, прогоняли его из кельи, насмехаясь над ним и его лечением, но брата Луку нельзя было смутить или сбить с пути. Он не обращал внимания на шутки и обиды, словно и не слышал их, и настойчиво просил больных монахов лечиться и беречь себя, умолял их, заставлял и

даже подкупал, чтобы они приняли лекарство, приготовленное им с таким трудом, а часто и с затратами.

Один из таких «стариканов» любил ракию больше, чем было дозволено начальством и полезно для здоровья и для духовного совершенствования. У старика болела печень, но он не бросал пить. Брат Лука, в списках которого имелось лекарство под названием «чтоб человеку опротивело пить», лечил старого монаха насильно и без успеха. Каждый день между ними возобновлялся один и тот же разговор:

— Оставь меня в покое, брат Лука, и заботься о тех, кто хочет лечиться и для которых есть лекарства,— ворчал старик.

— Одумайся, сердечный! Для всякого есть помощь. Каждому земля припасла лекарство.

И брат Лука садился подле угрюмого больного старика, который и в здоровом-то состоянии не любил ни книг, ни наук, приносил ему книжки и пространно и старательно доказывал, как богата земля и как она милостива к человеку:

— Знаешь ли, что Плиний говорил про землю, что она «benigna, mitis, indulgens, ususque mortalium semper ancilla» [1], и что он писал: «Illa medicas fundit herbas et semper homini parturit» [2]. Видишь, это Плиний говорит! А ты все твердишь: нет для меня лекарства. Есть, и мы должны его найти.

Старик только морщился и с досадой отмахивался от лекарств и от Плиния, но брата Луку трудно было переубедить или остановить.

А когда ему не удавалось помочь лекарствами и успокоить цитатами, он под видом лекарств приносил старику немного ракии, которую настоятель категорически запретил, и хоть таким образом облегчал его мучения.

Брат Лука пекся не только о монастырской братии. Заботясь о тех, кто был разбросан по приходам, он своим мелким почерком исписывал листы желтой бумаги и сшивал в тонкие тетрадки. Эти тетрадки, прозванные лекарскими, переписывались другими и распространялись по селам и приходам. В алфавитном порядке в них были записаны народные средства вперемежку с советами по гигиене, суевериями и полезными сведениями из области домашнего хозяйства. Например, как вывести с сутаны пятно от восковой свечи или как исправить прокисшее вино. Тут, наряду с лекарством от желтухи и от «лихорадки, которая бывает не от желчи», было выписано из итальянских источников, «как мастера добывают ми-

---

[1] Благодетельна, мягка, терпелива и всегда к услугам людей *(лат.)*.

[2] Она производит лекарственные травы и всегда рождает для людей *(лат.)*.

нералы в Индии и других местах» или «как делать вино, называемое вермут, которое полезно для укрепления внутренностей». Все собранные братом Лукой знания и сведения, от древних Compositiones medicamentorum[1] до бабьих снадобий и лекарств Мордо, все находилось в этих тетрадях. Однако и здесь брат Лука наталкивался на неблагодарность братии и испытывал сильные разочарования. Одни переписывали неаккуратно, другие по незнанию или невнимательности искажали и пропускали слова и целые фразы, третьи на некоторых рецептах делали насмешливые замечания о лекарстве и о самом Лекаре. Но брат Лука и сам смеялся над этими замечаниями, когда они ему попадались, утешая себя тем, что труд по составлению лекарских руководств все-таки приносит больше пользы народу и монахам, чем ему — обид и страданий от невнимательности и непонимания братии.

Еще одна, более безобидная вещь, мешала брату Луке в его работе. Это были, как мы уже говорили, мыши. В огромном старом монастырском здании действительно было множество мышей. Монахи уверяли, что келья брата Луки, походившая на аптеку Мордо в Травнике, со всеми своими мазями и всевозможными бальзамами и лекарствами была главной причиной скопления мышей. А брат Лука, наоборот, жаловался, что мыши развелись из-за ветхости здания и беспорядка в кельях, что они портят ему лекарства и он бессилен с ними бороться. Это борьба с мышами превратилась с течением времени в безобидную манию. Он скулил и охал, преувеличивая тот вред, который они на самом деле причиняли. Запирал вещи и подвешивал лекарства к потолку, пускался на всевозможные выдумки, стараясь перехитрить своих невидимых врагов. Мечтал о большой металлической коробке, в которой мог бы хранить наиболее ценные снадобья под ключом, только не решался заговорить с монахами или настоятелем о такой крупной затрате. Но он не мог утешиться, если мыши в самом деле съедали заячье сало, тщательно приготовленное и старательно вымытое.

В келье у него всегда были две мышеловки: большая и маленькая. Каждый вечер он заботливо заряжал их, насаживая кусочек ветчины или остаток сальной свечи из подсвечника. А наутро, проверяя мышеловки перед уходом на общую молитву, он не находил в них ни мышей, ни ветчины, ни свечного сала. Но если, случалось, мышь и в самом деле попадалась, он, проснувшись от стука мышеловки, вставал и начинал ходить вокруг испуганной мышки, грозя ей пальцем и качая головой.

— А-а! Ну, что ты теперь будешь делать, бедняжка? Сальца заячьего захотелось? Вот тебе!

---

[1] Собрание лекарств *(лат.)*.

Потом, как был, босой, завернувшись в сутану, осторожно брал мышеловку и выносил на длинную веранду, шел к лестнице, отворял дверцу и говорил шепотом:

— Выходи, воришка! Давай, давай!

Мышь в смятении сбегала по ступеням, мчалась прямо по мостовой и исчезала в поленнице дров, возвышавшейся тут круглый год.

Монахи, знавшие, как брат Лука ловил мышей, часто дразнили его, уверяя, что Лекарь годами «ловит и выпускает все одну и ту же мышь». Брат Лука решительно отрицал это и подробно объяснял, что за год ему удается выловить нескольких мышей — больших, маленьких и средних.

— А я вот слышал,— говорил один из стариков,— что, выпуская мышь, ты отворяешь дверцу и говоришь: «Вылезай и беги в келью к настоятелю. Живей!»

— Ну и язва! Надо ж, что придумал! — отвечал, смеясь и защищаясь, брат Лука.

— Я не выдумываю, хечим-эфенди, это слышали те, кто по ночам шляется по веранде вроде тебя.

— Отстань лучше, язва!

Но тут подхватывали другие.

— А я, брат, если бы уж поймал ее, супул бы ее вместе с мышеловкой в кипяток и посмотрел бы, вертется она или нет,— поддразнивая, говорил молодой монах.

Брат Лука приходил в необычайное волнение:

— Ну, несчастный, опомнись. Зачем кипяток? Креста на тебе нет!

И уже полчаса спустя, после всяких других шуток и разговоров, он снова напускался на молодого монаха:

— Гм, кипяток? Надо же! Божью тварь да в кипяток!

Так брат Лука боролся со своими большими и малыми врагами, так их лечил, кормил и защищал. И так проходила его долгая и счастливая жизнь.

Четвертый доктор, приглашавшийся в консульство во время болезни сына Давиля, был Джиованни Марио Колонья, состоявший при австрийском генеральном консульстве.

Теперь мы видим, что ошиблись, утверждая, что из всех четырех травницких врачей меньше всего можно сказать о Мордо Атиясе. Так же мало, оказывается, можно сказать и о Колонье. Только о Мордо ничего нельзя было сказать потому, что он всегда молчал, а о Колонье потому, что он слишком много говорил и то, о чем он говорил, постоянно менялось.

Это был человек неопределенных лет, неопределенного происхождения, национальности и расы, неопределенных религиозных и

иных убеждений, как и неопределенных знаний и опыта. Вообще трудно сказать, что было в этом человеке определенного.

По его словам, родом он был с острова Кефалонии, где отец его был известным врачом. Отец был из Венеции, но родился в Эпире, а мать — из Далмации. Детство он прожил у деда в Греции, а молодость в Италии, где изучал медицину. Жизнь свою провел на Востоке, на турецкой и австрийской службе.

Был он высок ростом, но необыкновенно худ; ходил сутулясь, сгибаясь во всех суставах так, что в любую минуту мог, как на рессорах, то сложиться и сжаться, то вытянуться и выпрямиться, что и проделывал в разговоре постоянно в той или иной мере. На длинном теле сидела правильная голова, всегда в движении, почти совсем лысая, с несколькими длинными прядями свалявшихся, выцветших волос. Бритый, с большими карими глазами, всегда неестественно сверкавшими из-под лохматых седых бровей. В большом рту торчали редкие крупные желтые зубы, шатавшиеся, когда он говорил. Не только выражение лица, но и весь облик этого человека беспрестанно менялся полностью и самым невероятным образом. В разговоре с вами он мог по нескольку раз совершенно изменить свой вид. Из-под маски немощного старца вдруг появлялась вторая маска — крепкий, спокойный человек средних лет — или третья маска — нахальный, беспокойный, долговязый юноша, выросший из своего платья, не знающий, что делать с руками и ногами, куда смотреть. Выразительное лицо его было вечно в движении и отражало лихорадочную работу мысли. На правильном и необыкновенно подвижном лице быстро и неожиданно сменялись уныние, задумчивость, огорчение, искреннее воодушевление, наивный восторг, безмятежная, спокойная радость. В то же время из его широкого рта с редкими и расшатанными зубами лился целый поток слов многозначительных, грубых, сердитых, смелых, любезных, слащавых и восторженных. И все это на итальянском, турецком, новогреческом, французском, латинском, «иллирийском» языках. С той же легкостью, с какой он менял выражение лица и жесты, Колонья перескакивал с одного языка на другой, выхватывая слова и целые выражения то из одного, то из другого. На самом деле хорошо он знал только итальянский язык.

Он и подписывался не всегда одинаково, а в разные этапы своей жизни по-разному в зависимости от обстоятельств и смотря по тому, на какой службе состоял и чем занимался — научной, политической или литературной деятельностью: Giovanni Mario Cologna, Gian Colonia, Joanes Colonis Epirota, Bartolo cavagliere d'Epiro, dottore illyrico. Еще чаще и глубже менялось содержание его деятельности и мнений. По своим основным убеждениям Колонья

был человек современного склада, «философ», свободный и критический ум, лишенный всяких предрассудков. Но это не мешало ему изучать религиозную жизнь не только различных христианских церквей, но и мусульманских и других восточных сект и вероучений. А изучать означало для него слиться на известное время с предметом изучения, воодушевиться им и хотя бы на мгновение принять его как свое единственное и исключительное верование, отбросив все, во что верил и чем воодушевлялся раньше. Его незаурядный ум был способен на необычайные взлеты, но состоял из элементов, постоянно тяготеющих к слиянию, к отождествлению с тем, что их окружает.

У этого скептика и философа бывали приступы религиозных увлечений и активной набожности. Тогда он посещал монастырь в Гуче Горе, надоедал монахам, требовал религиозных диспутов и упрекал в недостаточности рвения, богословских знаний и религиозного пыла. Гучегорские монахи, люди глубоко религиозные, но простые и упрямые, как вообще все боснийские монахи, питали врожденное отвращение к ханжеству, экзальтации, ко всем, кто виснет на божьей одежде и лижет плиты перед алтарем. «Стариканы» сопротивлялись и ворчали, а один оставил даже письменное доказательство того, насколько подозрителен и неприятен был им этот доктор-проходимец, который называл себя «великого католического вероучения служителем, каждое утро обедню слушающим и многообразную набожность проявляющим». Но все же связи Колоньи с австрийским консульством и уважение, которое монахи питали к фон Миттереру, мешали им окончательно отвернуться от «иллирийского доктора».

Но Колонья посещал также и иеромонаха Пахомия, заходил и в дома православных в Травнике, чтобы познакомиться с религиозными обрядами, послушать службу и пение и сравнить их со службой в Греции. А с травницким учителем эфенди Абдуселамом Колонья вел ученые разговоры об истории мусульманских вероисповеданий, потому что хорошо знал не только Коран, но и все богословские и философские учения от Абу-Ханифы до Аль-Газали. При каждом удобном случае он неукоснительно и неустанно засыпал травницких ученых мужей цитатами из мусульманских богословов, которых они в большинстве случаев не знали.

Такое же последовательное непостоянство было и в его характере. На первый взгляд он казался податливым, гибким и сговорчивым до отвращения. Он старался всегда подладиться под мнение собеседника и не только становился на его точку зрения, но и превосходил его по остроте выражений. Но случалось также, что совершенно неожиданно и внезапно он смело высказывал точку зрения, прямо противоположную всем и каждому, и защищал ее

храбро и упрямо, целиком отдавшись ей, невзирая на возможные для него неприятные последствия и опасности.

С молодых лет Колонья состоял на австрийской службе. Это, быть может, было единственным, в чем он был постоянен и последователен. Некоторое время он был личным врачом скадарского и янинского паши, но и тогда не порывал связи с австрийскими консулами. Теперь он был прикомандирован к консульству в Травнике, причем тут сыграли роль в гораздо большей степени его старые связи и заслуги, а также знание языка и местных условий, чем его медицинские познания. В сущности, он не числился в составе персонала консульства, жил отдельно и лишь властям был представлен как врач, находящийся под защитой австрийского консульства.

Фон Миттерер, чуждый всякой фантазии и не понимавший философии, изучивший местный язык и условия жизни лучше, чем Колонья, не знал, что и делать с этим непрошеным сотрудником. Госпожа фон Миттерер испытывала физическое отвращение к этому левантинцу и взволнованно говорила, что предпочтет умереть, чем принять лекарство из его рук. В разговоре называла его «Chronos», потому что ей он казался символом времени, только этот Хронос был безбородый и в руках у него не было ни косы, ни песчаных часов.

Так и жил в Травнике этот врач без пациентов. Поселился он в полуразрушенном доме, прилепившемся к теневой части скалы. Семьи у него не было. Слуга-албанец вел его хозяйство, скудное и необычное во всем, начиная от мебели и еды и кончая распорядком дня. Время он проводил в тщетных поисках собеседника, который не уставал бы слушать и не сбегал бы от него, или над своими книгами и записками, охватывавшими все человеческие знания,— от астрономии и химии до военного искусства и дипломатии.

У этого безродного, неуравновешенного, но чистого сердцем и любознательного человека была единственная, болезненная, но всепоглощающая и бескорыстная страсть: проникнуть в судьбы человеческой мысли, в чем бы она ни проявлялась и в каком бы направлении ни шла. Этой страсти он отдавался целиком, без всякой определенной цели и расчета. Проявления всех без различия религиозных и философских движений в истории человечества занимали его ум, жили в нем, переплетаясь, сталкиваясь и переливаясь, словно морские волны. И каждое из этих движений было ему одинаково близко и одинаково далеко, с каждым из них он готов был согласиться и полностью слиться на то время, пока им занимался. Эти внутренние, духовные подвиги и были его подлинным миром; здесь он ощущал искреннее вдохновение и глубокие потрясения. Но они же разобщали его с людьми, отчуждали от общества и приводили к столкновению с логикой и здравым смыслом остального

мира. Лучшее, что в нем было, оставалось незамеченным и недоступным, а то, что можно было видеть и угадывать, отталкивало каждого. Такой человек и в другой среде, менее тяжелой и отсталой, не нашел бы себе соответствующего места и положения. Здесь же, в этом городе и среди этого народа, он должен был чувствовать себя сугубо несчастным и выглядеть полоумным, смешным, подозрительным и ненужным.

Монахи считали его маньяком и пустомелей, а жители — шпионом или ученым дураком. Сулейман-паша Скоплянин говорил по поводу этого врача:

— Не тот дурак, кто не умеет читать, а тот, кто думает, что все прочитанное им — истина.

Дефоссе единственный во всем Травнике не избегал Колоньи и проявлял желание и терпение беседовать с ним искренне и подолгу. Но из-за этого ни сном, ни духом неповинного Колонью обвиняли перед австрийским консульством в том, что он состоит на службе у французов.

Трудно сказать, каковы были медицинские познания и занятия Колоньи, но нет сомнений, что это было последней его заботой. В свете философских истин и религиозных вдохновений, беспрестанно в нем сменявшихся, нужды людей, их страдания, да и сама жизнь не имели для него ни большого значения, ни глубокого смысла. Болезни и изменения человеческого тела служили лишь поводом для гимнастики его ума, осужденного на вечное беспокойство. Как личность далекая от жизни, он даже и представить себе не мог, что значат для нормального человека кровные узы, здоровье и продолжительность жизни. Действительно, и в вопросах медицины у Колоньи все начиналось и кончалось словами, потоком слов, возбужденными разговорами, препирательством и часто быстрой и коренной переменой в суждении о той или иной болезни, ее причинах и способе лечения. Ясно, что такого врача никто без крайней надобности не приглашал. Можно сказать, что главным во врачебной деятельности этого речистого доктора была постоянная вражда и страстная ненависть к Цезарю Давне.

Колонья, учившийся в Милане, был сторонником итальянской медицины, тогда как Давна, презиравший итальянских врачей, доказывал, что университет в Монпелье уже много веков тому назад побил и превзошел салернскую школу, устарелую и несовременную. На самом деле Колонья заимствовал свою мудрость и многочисленные сентенции из большого сборника «Regimen sanitatis Salernitanum», который ревниво скрывал и берег и откуда черпал и щедро раздавал рифмованные правила о диетике тела и духа. Давна, напротив, пользовался несколькими тетрадями и записями лекций известных профессоров Монпелье и большим старинным

руководством «Lilium medicinae». Но в основе их вражды были не столько книги и знания, которых они не имели, а их левантинская потребность в ссорах и состязании, их соперничество как врачей, травницкая скука, личное тщеславие и нетерпимость.

Взгляд Колоньи на человеческие болезни и здоровье, если можно говорить о постоянном взгляде у такого человека, был столь же примитивен, сколь нелеп и безнадежен. Верный своим учителям, Колонья считал, что жизнь — это «состояние активности, постоянно стремящееся к смерти и приближающееся к ней медленно и постепенно; а смерть является разрешением длительной болезни, именуемой жизнью». Но больные, называемые людьми, могут жить долго и с наименьшим количеством заболеваний и неудач, если они будут придерживаться испытанных медицинских советов и правил и умеренности во всем. Страдания, повреждения организма, как и преждевременная смерть, лишь естественные последствия нарушения этих правил. Человек, говорил Колонья, нуждается в трех врачах: mens hilaris, requies moderata, diaeta [1].

С такими идеями Колонья и лечил своих пациентов, которым не становилось от этого ни лучше, ни хуже, и они либо умирали, если слишком удалялись от линии жизни и приближались к линии смерти, либо выздоравливали, то есть освобождались от болей и повреждений организма и возвращались в пределы спасительных салернских правил; а Колонья облегчал им это одним из тысячи полезных латинских рецептов, легко запоминающихся, но трудно выполнимых.

Таков вкратце был «иллирийский доктор», последний из четырех врачей, которые в этой Травницкой долине, каждый по-своему, вели тяжелую и безнадежную борьбу с болезнями и смертью.

XIII

Рождество, праздник всех христиан, наступило и в Травнике, а с ним вместе пришли заботы, воспоминания, торжественные и грустные мысли. В этом году праздник послужил поводом для возобновления отношений между консулами и их семействами.

Особенно оживленно было в австрийском консульстве. В эти дни госпожа фон Миттерер находилась в стадии доброты, набожности и преданности семье. Она бегала, покупая подарки и сюрпризы для всех. Запершись в комнате, украшала рождественскую елку и под аккомпанемент арфы разучивала старинные рождественские песнопения. Вспомнив о вечерних службах в сочельник

[1] Бодрый дух, умеренный отдых, диета *(лат.)*.

в венских церквах, она даже подумывала поехать на ночную службу в долацкую церковь, но отец Иво, которому она об этом сообщила через одного чиновника, ответил так резко и неучтиво, что чиновник не посмел повторить его слова жене консула; он сумел лишь убедить ее, что в этих краях нельзя и думать о подобных вещах. Супруга консула была разочарована, но продолжала свои приготовления по дому.

Сочельник прошел торжественно. Вся небольшая австрийская колония собралась вокруг елки. Дом был хорошо натоплен и ярко освещен. Бледная от возбуждения, Анна-Мария раздавала подарки, завернутые в тонкую бумагу, перевязанные золоченой тесьмой и украшенные веточками можжевельника.

На другой день на обед были приглашены Давиль с женой и Дефоссе. Кроме них, были долацкий священник Иво Янкович и молодой викарий монастыря в Гуче Горе Юлиан Пашалич, заменявший заболевшего настоятеля. Это был тот самый неучтивый великан, с которым Дефоссе, въезжая в Боснию, встретился на постоялом дворе на Купресе и с которым позднее при первом посещении монастыря снова виделся и имел возможность продолжить спор, начатый при столь необычных обстоятельствах.

В большой столовой было тепло и пахло сдобным печеньем и елкой. На дворе было светло от мелкого, как пыль, белого снега. Отблеск этого света падал на богато убранный стол и преломлялся в серебре и хрустале. Консулы были в парадных мундирах, Анна-Мария и ее дочка надели легкие платья из вышитого тюля по последней моде, с высокой талией и пышными рукавами. И только госпожа Давиль выделялась своим трауром, в котором выглядела еще более худой. Монахи, оба высокие и грузные, в праздничных сутанах, совсем скрывали под собой стулья, на которых сидели, и в окружавшей их пестроте нарядов были похожи на два коричневых навильника.

Обед был обильный и вкусный. Подавали польскую водку, венгерские вина и венские сладости. Блюда были острые и сильно приправлены. Во всем, до мелочей, чувствовалась фантазия госпожи фон Миттерер.

Монахи ели много и молча, иногда смущаясь перед незнакомыми блюдами и маленькими ложечками венского серебра, исчезавшими в их больших руках, как детские игрушки. Анна-Мария часто к ним обращалась, ободряла их и приглашала есть, размахивая рукавами, встряхивая волосами и сверкая глазами, а они утирали свои густые крестьянские усы и смотрели на эту живую, белотелую женщину, как и на незнакомые блюда, со спокойной застенчивостью. От внимания Дефоссе не ускользнули природное достоинство этих простых людей, их внимание, сдержанность и

спокойная решимость, с которой они отказывались от непривычных или нелюбимых блюд и напитков. И даже неловкость, с какой они обращались с вилками и ножами, и опасение, с которым они присматривались к некоторым блюдам, были вовсе не смешны и не безобразны, а прежде всего полны достоинства и трогательны.

Разговор был громкий и оживленный и велся на нескольких языках. В конце обеда монахи решительно отказались и от сладостей, и от южных фруктов. Анна-Мария изумилась. Но все быстро уладилось, когда наступила очередь кофе и трубок, появление которых и монахи встретили с нескрываемым удовольствием, как награду за все то, что им пришлось претерпеть.

Мужчины ушли курить. Оказалось, что Давиль и Дефоссе не курили, зато фон Миттерер и брат Юлиан вовсю пускали густые клубы дыма, а брат Иво нюхал табак, вытирая усы и красный подбородок большим синим платком.

Это было в первый раз, что фон Миттерер пригласил своего противника вместе со своими друзьями и консулы встретились в присутствии монахов. Видимо, рождество принесло дни торжественного примирения, а смерть ребенка Давиля как бы смягчила или, по крайней мере, отодвинула вражду и соревнование консулов. Фон Миттерер был доволен, что позволил проявиться таким благородным чувствам.

В то же время это был удобный случай для каждого из присутствующих показать своим поведением как свою «политику», так и свою личность в наиболее выгодном свете. Фон Миттерер ловко и осторожно продемонстрировал перед Давилем свое огромное влияние на монахов и их паству, что они подтвердили и своим поведением, и на словах. Давиль и по долгу службы, и из личного упрямства держался как представитель Наполеона, а эта официальная поза, так мало соответствовавшая его подлинной природе, придавала ему непреклонный вид, что невыгодно для него изменяло весь его облик. Только Дефоссе держался и говорил естественно и без натяжки, но он, как самый молодой, больше молчал.

Монахи, если уж приходилось говорить, жаловались на турок, на штрафы и преследования, на ход истории, на свою судьбу и понемногу на целый свет с тем типичным и странным наслаждением, с которым каждый босниец любит говорить о вещах тяжелых и безнадежных.

Вполне понятно, что в обществе, где каждый старался сказать лишь то, что ему хотелось довести до сведения всех, а услышать только то, что ему нужно и что другие хотели бы скрыть, разговор не клеился и не мог стать свободным и сердечным.

Как хороший и тактичный хозяин дома, фон Миттерер не допускал, чтобы в беседе касались тем, могущих вызвать разногла-

сия. Только брат Юлиан и Дефоссе, как старые приятели, отделившись, вели оживленную беседу.

Между боснийским монахом и молодым французом установились, по-видимому, симпатия и взаимное уважение еще с первой их встречи на Купресе. Последующие свидания в монастыре Гуча Гора сблизили их еще теснее. Молодые, бодрые и здоровые, они вступали в разговор, да и в дружеское препирательство с удовольствием, без задних мыслей или личного тщеславия.

Отойдя в сторону и глядя сквозь затуманенное окно на голые деревья, запорошенные мелким снегом, они разговаривали о Боснии и боснийцах. Дефоссе интересовали данные о жизни и деятельности католических монахов. А потом он сам поделился, искренне и спокойно, полученными за это время впечатлениями и опытом.

Монах сразу заметил, что «молодой консул» не терял зря времени в Травнике и собрал много сведений о стране и народе, а также о жизни и деятельности католических монахов.

Оба согласились на том, что жизнь в Боснии необычайно трудна, а народ, безотносительно к тому, какого он вероисповедания, беден и во всех отношениях отстал. Стараясь найти причины такого положения и объяснить его, монах все сводил к турецкому господству и уверял, что никакого улучшения не может быть, пока страна не освободится от турецкого ига и пока турецкую власть не заменит христианская. Дефоссе не удовлетворяло такое объяснение, он искал причин и в самих христианах. Турецкое владычество, утверждал он, привило своим христианским подданным характерные особенности, как-то: притворство, упрямство, подозрительность, леность мысли и страх перед всяким новшеством, всякой деятельностью и движением. Эти особенности, появившиеся в течение столетий неравной борьбы и постоянной защиты, постепенно стали органичными для здешнего человека и постоянными чертами его характера. Плоды нужды и насилий, они являются сейчас и останутся в дальнейшем большим препятствием для прогресса, дурным наследием тяжелого прошлого и крупным недостатком, который требует искоренения.

Дефоссе удивляло, и он не скрывал этого, упорство, с каким в Боснии не только турки, но и люди всех остальных вероисповеданий противятся всякому, даже самому хорошему влиянию, восстают против всякого новшества, всякого прогресса, в том числе и такого, который возможен при нынешних условиях и зависит только от них самих. Он доказывал весь вред такой китайской закоснелости, такого отгораживания от жизни.

— Может ли в стране воцарится мир и порядок,— спрашивал Дефоссе,— может ли она воспринять цивилизацию, хотя бы в той мере, в какой ее восприняли ее ближайшие соседи, если народ

в ней разъединен, как нигде в Европе? Четыре веры бытуют на этом узком, гористом и бедном клочке земли. Каждая из них исключает другую и держится особняком. Все вы живете под одним небом, и питает вас одна земля, но центр духовной жизни каждой из вер далеко, в чужих краях — в Риме, Москве, Стамбуле, Мекке, Иерусалиме или бог знает где, только не там, где народ рождается и умирает. И каждая вера считает, что ее благоденствие и процветание обусловлены отставанием и упадком каждого из трех остальных вероисповеданий, а их прогресс может принести ей только ущерб. И каждая из этих вер провозгласила нетерпимость высшей доблестью, каждая ждет спасения откуда-то извне и каждая с противоположной другим стороны.

Монах слушал его с улыбкой человека, который знает существо дела и считает излишним проверять или расширять свои знания. Решив, очевидно, противоречить во что бы то ни стало, он начал доказывать, что его народ в силу создавшихся условий должен оставаться таким, каков он есть, если только он не хочет выродиться и исчезнуть.

Дефоссе отвечал, что народ, начавший усваивать более здоровый и разумный образ жизни, не обязан из-за этого отрекаться от своей веры и своих святынь. По его мнению, именно монахи могли и должны были бы работать в этом направлении.

— Эх, сударь,— отвечал брат Юлиан с кокетством людей, защищающих консервативные идеи,— эх, вам легко говорить о необходимости материального прогресса, и о здоровых влияниях, и о китайской закоснелости, однако будь мы менее тверды и отвори мы ворота разным «здоровым влияниям», то сегодня мои прихожане Перо и Анто назывались бы Мийо и Хусо.

— Позвольте, зачем же такие крайности, такое упрямство?

— Что делать? Мы, боснийцы, народ упрямый. Такими нас знают все, тем и прославились,— отвечал брат Юлиан с тем же самодовольством.

— Но, простите, почему вас волнует, как к вам относятся другие и что они о вас знают и думают! Будто это важно! Важно, что человек получает от жизни и какой он делает жизнь свою, своей среды и потомства.

— Мы отстаиваем свои позиции, и никто не может похвалиться, что заставил нас сойти с них.

— Но, брат Юлиан, важна ведь не позиция, а жизнь, которой она и подчинена, а где у вас тут жизнь?

Брат Юлиан только было открыл рот, собираясь, по обыкновению, кого-то процитировать, как его прервал хозяин дома. Брат Иво уже поднялся. Красный после плотного обеда, он всем по очереди протягивал свою по-епископски пухлую крупную руку, похо-

жую на подушечку, и, тяжело дыша и сопя, уверял, что на дворе мороз и метель, до Долаца далеко и им пора двигаться, если они хотят поспеть засветло.

Дефоссе и брат Юлиан расстались с сожалением.

Еще за обедом Дефоссе время от времени бросал взгляд на белые, беспокойные руки госпожи фон Миттерер и, когда видел перламутровый блеск ее кожи, на мгновение закрывал глаза, чувствуя, что между ним и этой женщиной существует неразрывная связь, которой никто не видит и не замечает. В ушах его все время звенел ее неровный и резкий голос. Даже то, что у нее был несколько твердый французский выговор, казалось ему не недостатком, а необыкновенным, ей одной свойственным очарованием. Слова, произнесенные таким голосом на любом языке мира, думалось ему тогда, будут каждому близки и понятны, как его родной язык.

Прежде чем они расстались, разговор зашел о музыке, и Анна-Мария показала Дефоссе свою Musikzimmer [1] — небольшую, светлую комнату, почти пустую, с несколькими эскизами на стенах и большой позолоченной арфой посреди комнаты. Анна-Мария сетовала, что принуждена была оставить свой клавесин в Вене и взять с собой только арфу, служившую ей большим утешением в этой пустыне. При этом она протянула руку, обнажившуюся до локтя, и небрежно провела по струнам. Эти случайно раздавшиеся звуки показались молодому человеку небесной музыкой, прорвавшей свинцовую травницкую тишину и сулившей изумительные и счастливые дни в этой глуши.

Он стоял по другую сторону арфы и тихо говорил ей, как бы ему хотелось услышать ее игру и пение. Она молча, взглядом напомнила ему о трауре госпожи Давиль и обещала исполнить его желание позднее.

— Вы должны обещать, что мы с вами поедем верхом, как только улучшится погода. Вы не боитесь мороза?

— А почему я должна бояться? — тихо ответила женщина, и голос ее, прозвеневший сквозь струны, представился молодому человеку музыкой, полной обещаний.

Он глядел в ее глаза, серые и глубокие, с блеском на самом их дне, и ему чудилось, что и там таятся неясные обещания.

А в это время в другой комнате фон Миттереру удалось вполне непринужденно и как бы случайно сообщить Давилю под строгим секретом, что отношения между Австрией и Турцией ухудшаются и что Вена вынуждена прибегнуть к серьезным военным мероприятиям не только на границе, но и в самой стране, так как не исключена возможность, что Турция нападет еще этим летом.

---

[1] Комнату для музицирования *(нем.)*.

Давиль, знавший об австрийских приготовлениях и убежденный, как и весь мир, что они направлены вовсе не против Турции, а против Франции и Турция служит лишь предлогом, увидел в сообщении фон Миттерера новое подтверждение своего первоначального мнения. Давиль сделал вид, что верит словам полковника, прикидывая про себя, когда отправится курьер, с которым он мог бы сообщить эту намеренно проявленную нескромность, служившую новым доказательством враждебных намерений венского правительства.

При прощании Анна-Мария и Дефоссе при всех условились, что зима не помешает им предпринять прогулку в первый же сухой и ясный день.

В тот рождественский вечер обитатели французского консульства недолго сидели после ужина. Каждый желал как можно скорее уйти к себе в комнату.

Госпожа Давиль была подавлена и едва сдерживала слезы еще во время ужина. Это был ее первый выход после смерти сына, и теперь она невыносимо страдала. Первое общение с людьми все в ней перевернуло и снова растравило рану, которая в тишине начала было затягиваться. В самые трудные минуты она дала зарок побороть слезы и превозмочь страдания, принести своего ребенка и свои муки от его утраты в дар богу. А теперь слезы текли неудержимо, и страдания были так же сильны, как и в первые дни до зарока. Она плакала и в то же время молилась богу, чтобы он простил ее за то, что она не может сдержать свое обещание, которое дала в минутном порыве, переоценив свои силы. И она разразилась слезами, скорчившись от боли, разрывавшей ей нутро сильнее, чем когда она давала жизнь ребенку.

Давиль в кабинете писал донесение о своем разговоре с австрийским консулом, довольный тем, что его предсказания «с этого скромного участка мировой политики, с этого трудного наблюдательного пункта» оказались точными.

Дефоссе, не зажигая свечи, большими шагами мерил свою спальню, по временам останавливаясь у окна, выискивая огоньки в австрийском консульстве по ту сторону реки. Глухая ночь была непроницаема; ничего не было ни видно, ни слышно. Но сам он был полон звуков и света. Стоило ему в темноте и тишине остановиться и закрыть глаза, как перед ним возникала Анна-Мария, словно звук и сияние. От ее слов исходил свет, а блеск в глубине ее глаз говорил то же, что и днем,— спокойные и чем-то значительные слова: «А почему я должна бояться?»

Молодому человеку казалось, что огромная арфа заслонила весь мир, и он уснул, убаюканный властной и опьяняющей игрой пробудившихся чувств.

XIV

Сухие и солнечные дни, когда, несмотря на мороз, можно было ездить верхом, наступили с неотвратимостью природных явлений. С той же неотвратимостью, в силу рождественского уговора, на мерзлой дороге, которая ведет через Купило, появились всадники из обоих консульств.

Дорога была словно создана для прогулок и верховой езды. Ровная, прямая, отлогая, длиной больше мили, высеченная в крутых склонах под Караулджиком и Каябашей, она шла вдоль Лашвы, но высоко над рекой и над городом, лежавшим внизу, в долине. Под конец дорога расширялась, становилась менее ровной и разветвлялась на проселочные ухабистые дороги, которые, поднимаясь в гору, вели к селам Янковичи и Орашье.

Солнце в Травнике поднималось поздно. На дороге, по которой ехал Дефоссе с телохранителем, было уже светло, но город внизу еще тонул в тени, окутанный туманом и дымом. Изо рта всадников и из ноздрей коней валил пар, изморозь покрывала конские крупы. Мерзлая земля глухо отзывалась на удары копыт. Солнце еще пряталось за облаками, но долина постепенно наполнялась розоватым светом. Дефоссе ехал то шагом, словно готовый каждую минуту остановиться и слезть, то быстрой рысью, так что телохранитель на своем рыже-белом коне отставал от него на расстояние ружейного выстрела. Так молодой человек старался убить время в ожидании минуты, когда заметит на дороге Анну-Марию с ее свитой. Для тех, кто молод и обуреваем желаниями, и долгое ожидание, и горечь неизвестности — только составные части огромного наслаждения, которое сулит любовь. Дефоссе ожидал с трепетом, но и с уверенностью, что в конце концов все страхи — не больна ли? не помешал ли кто? не случилось ли чего в дороге? — окажутся необоснованными, потому что в такой любви все хорошо и благоприятно, кроме ее конца.

И действительно, каждое утро, когда солнце переваливало через острые горные хребты и когда сомнения усиливались, а вопросов возникало все больше и все более несуразных, «с неотвратимостью природного явления» показывалась Анна-Мария в черной амазонке, будто слившаяся с дамским седлом и вороным конем. Оба тогда придерживали коней и подъезжали друг к другу так же естественно, как естественно поднималось над ними солнце и светлело в долине. Дефоссе казалось, что на расстоянии ста шагов он ясно различает ее шляпу à la Valois, составлявшую одно нераздельное целое с волной ее каштановых волос, и ее лицо, бледное от утреннего морозца, с невыспавшимися глазами. («У вас невыспавшиеся глаза»,— говорил он ей при каждой встрече, вкладывая

в слово «невыспавшиеся» особо смелое и таинственное значение, а она при этом потуплялась, показывая блестящие веки с синеватыми тенями.)

С первыми словами приветствия они останавливались на некоторое время, а потом разъезжались и после короткой прогулки вновь встречались как бы случайно, ехали часть пути рядом, разговаривали быстро и жадно, чтобы снова расстаться и опять встретиться и продолжить разговор. Прибегать к таким маневрам их заставляло положение и правила приличия, но в душе они не расставались ни на секунду и при каждой встрече возобновляли прерванный разговор все с тем же наслаждением. И сопровождавшим их лицам и всякому встречному должно было казаться, что все внимание их занято лошадьми и прогулкой, что встречи носят случайный характер, а разговоры вполне невинны — о дороге, погоде, лошадиной поступи. Никто не мог знать, что скрывалось за клочками белого пара, которые, как трепещущие флажки, поочередно вырывались из их уст, обрывались, рассеивались, чтобы опять еще веселее, еще длительнее парить в холодном воздухе.

Когда же солнце добиралось до самого дна долины и весь воздух там на мгновение приобретал розовый оттенок, а наполовину замерзшая Лашва начинала дымиться, словно по всему городу горели невидимые пожары, Дефоссе и жена консула долго и сердечно прощались (при расставании влюбленные легче всего выдают себя!) и спускались каждый своей дорогой в город, покрытый снегом и инеем.

Первым, кто заметил, что между молодым Дефоссе и красивой госпожой фон Миттерер, бывшей на десять лет его старше, что-то затевается, был сам господин фон Миттерер. Он отлично знал свою жену, своего «больного ребенка». Знал ее капризы, ее «метания», как он их называл, и легко мог предвидеть их развитие и конец. Полковнику поэтому не трудно было понять, что происходит с его женой, и предугадать весь дальнейший ход болезни: возвышенные отношения, разочарование от первого проявления чувственного желания, бегство, кризис, отчаяние: «Все меня хотят и никто не любит»,— наконец забвение и поиски новых объектов для увлечения и отчаяния. Не требовалось также особой проницательности, чтобы понять намерения этого статного молодого человека, брошенного из Парижа в Травник и встретившего красивую госпожу фон Миттерер, единственную культурную женщину на сотни миль вокруг. Особо тяжелым и неприятным для полковника был на сей раз вопрос о его положении и отношениях с французским консульством.

Полковник определил отношения к враждебному консульству и его персоналу как для себя, так и для своего семейства и своих

сотрудников и время от времени проверял их, изменяя и подправляя, как заводят и ставят часы, согласно инструкциям министерства и общей ситуации. Для него это было серьезным и трудным делом, потому что чувство воинской точности и чиновничьей добросовестности было у него развито сильнее всего. А теперь своим поведением Анна-Мария могла изменить эти отношения во вред службе и служебному положению полковника. Такого еще не случалось при ее прежних похождениях, и для полковника это было новым, еще не изведанным страданием, причиной которого была его жена.

Хотя полковник представлял собой лишь крохотный винтик в огромной машине Австрийской империи, он по должности генерального консула в Травнике знал, что его правительство занято военными приготовлениями в расчете на новую коалицию против Наполеона и что эти приготовления, поскольку их невозможно скрыть, выдаются за приготовления, направленные против Турции. Специальные же инструкции предлагали ему успокоить турецкие власти и заверить их как раз в противном, в том, что эти приготовления отнюдь не предназначаются для войны с Турцией. В то же время он все чаще получал резкие приказы следить за деятельностью французского консула и его агентов и доносить о каждой, даже самой мелкой подробности.

Из всего этого полковнику не трудно было заключить, что имеется достаточно оснований ожидать в скором времени нового разрыва с Францией, новых коалиций и войн.

Понятно, что при таких обстоятельствах увлечение его жены и любовные прогулки посреди зимы, на глазах у людей и прислуги, были ему неприятны. Но он знал, что говорить с Анной-Марией бесполезно, так как разумные доводы производили на нее обратное действие. Он понял, что не оставалось ничего другого, как ждать минуты, когда молодой человек посягнет на ее честь; тогда она, как и раньше в подобных случаях, разочарованная, в отчаянии отступит — и дело само по себе навсегда заглохнет. И полковник горячо желал, чтобы эта минута наступила как можно скорее.

С другой стороны, и от внимания Давиля, который испытывал постоянное чувство некоторой неловкости за своего «талантливого, но неуравновешенного» сотрудника, не ускользнули прогулки и встречи с госпожой фон Миттерер. Так как и у него была выработана определенная линия поведения по отношению к австрийскому консульству, то эти встречи были и ему неприятны. (Как и во многих других делах, желания Давиля и здесь полностью совпадали с желаниями его противника фон Миттерера.) Но и ему тоже было не совсем ясно, как им помешать.

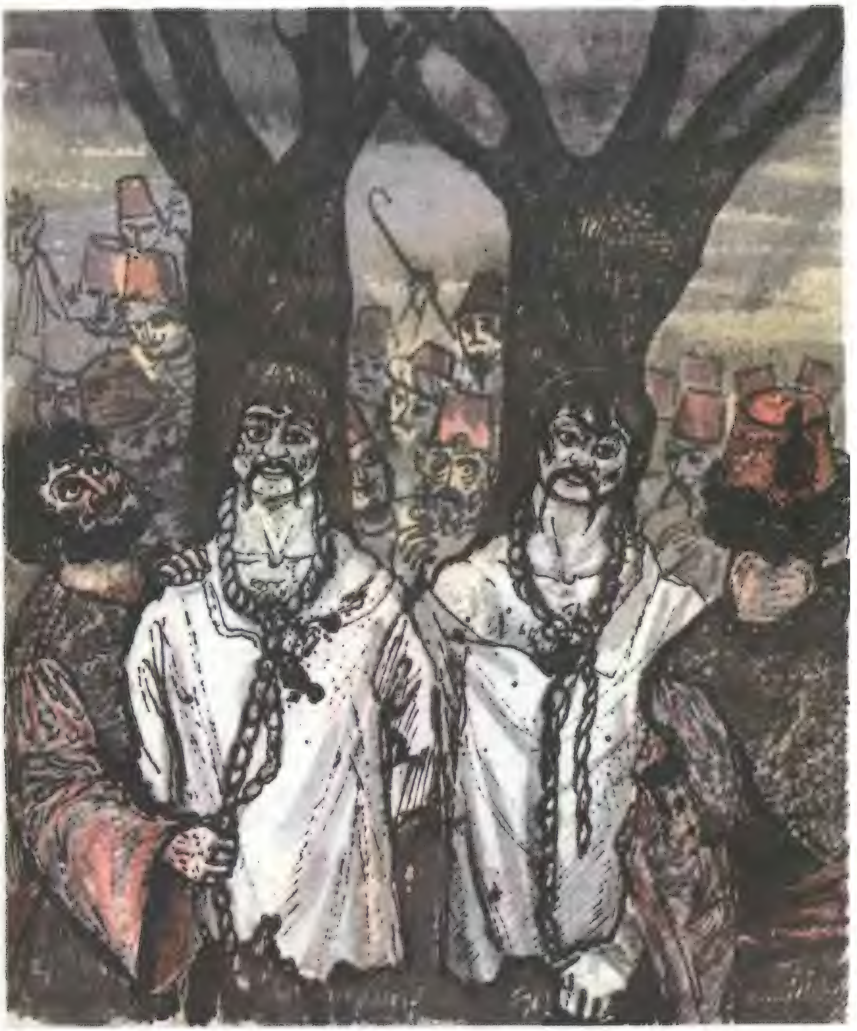
В отношениях с женщинами Давиль с молодости проявлял большую дисциплину духа и тела. Это проистекало столько же от строгого и здорового воспитания, сколько и от природного хладнокровия и бедности фантазии. И как все люди подобного склада, Давиль испытывал какой-то суеверный страх перед всякими случайными и беспорядочными связями. Еще молодым человеком в Париже и в армии, он, будучи скромным и воздержанным, всегда виновато молчал, слушая фривольные разговоры молодых людей о женщинах. Ему легче было бы выразить свое негодование и сделать молодому человеку замечание по любому другому поводу, чем в данном случае, где была замешана женщина.

Кроме того, Давиль боялся — да, это точное слово: боялся — своего молодого сотрудника. Боялся его беспокойного и неприятного остроумия, его разнообразных и хаотичных, но огромных знаний, его беззаботности и легкомыслия, его любознательности и физической силы и, главное, его бесстрашия. Потому-то Давиль и выжидал, подыскивая подходящий случай, чтобы сделать замечание молодому человеку.

Так прошел январь, а в феврале наступили серые и туманные дни с глубокой грязью и гололедицей, которые помешали тому, чему ни Давиль, ни фон Миттерер не смели и не могли помешать. Совершать прогулки верхом стало невозможно. Дефоссе, положим, и по такой погоде выходил в пешие прогулки, надев высокие сапоги и коричневый плащ с воротником из выдры, мерз и уставал до изнеможения. Но Анна-Мария, даже следуя своей логике и своему характеру, не могла покидать дом в такую погоду, а, будто ангел в заточении, какая-то вся легкая, печальная и улыбающаяся, глядела на мир своими светлыми «невыспавшимися» глазами и проходила, отсутствующая, мимо домашних, словно это были бездушные тени или незлобивые привидения. Большую часть дня она проводила у арфы, без конца повторяя весь свой репертуар немецких и итальянских песенок или погружаясь в бесконечные вариации и фантазии. Ее сильный, теплый, но неровный голос, в котором постоянно слышались слезы и назревающие рыдания, наполнял маленькую комнату и проникал в другие части дома. Из своего кабинета полковник слушал, как Анна-Мария, аккомпанируя себе на арфе, пела:

Tutta raccolta ancor
Nel palpitante cor
Tremante ho l'alma [1].

[1] Вся охваченная страстью,
В беспокойном сердце
Несу трепещущую душу *(итал.)*.



Травницкая хроника

Слушая эту песню страсти и дерзновенных чувств, фон Миттерер дрожал от бессильной ненависти к совершенно ему непонятному миру, который был причиной его безграничного семейного несчастья и позора. Он откладывал перо и закрывал уши ладонями, но ему все-таки было слышно, как снизу, со второго этажа, словно из каких-то таинственных глубин, доносился голос жены и лились звуки арфы, похожие на журчание воды. Все это принадлежало миру, прямо противоположному тому, который полковник считал важным, святым и серьезным. Ему казалось, что эта музыка вечно преследует его и никогда не умолкнет, но, тихая и слезливая, переживет и его, и все на свете: армии и империи, порядок и право, обязанности и уважение,— и будет все так же жалобно литься, словно тонкая и бесконечная струя воды, на развалины.

И полковник снова брался за перо и продолжал начатое донесение, писал судорожно, быстро, под музыку, доносившуюся снизу, с таким чувством, что все, даже самое невыносимое, надо сносить.

Это пение слушала и дочь их Агата. Девочка сидела на низком стуле, стоявшем на красном ковре, которым был застлан пол на светлой, натопленной веранде в «зимнем саду» госпожи фон Миттерер. На коленях у нее лежал нераскрытый последний номер «Musenalmanach» [1]. Страницы его были заполнены новыми, удивительными и возвышенными произведениями в стихах и прозе, но она напрасно силилась читать: мучительная, неодолимая сила заставляла ее слушать голос матери.

Это маленькое существо с умным, неподвижным взглядом, молчаливое и недоверчивое с детства, догадывалось о многом, ему самому неясном, но тяжелом и фатальном. Девочка уже много лет наблюдала отношения в семье, молча следила за отцом, матерью, прислугой и знакомыми и догадывалась о непонятных для нее, тяжелых, гадких и печальных вещах. И она все больше стыдилась их и замыкалась в себе, но и в себе находила новые причины стыдиться и замыкаться. В Земуне у нее было хоть несколько подруг, дочерей офицеров, потом жизнь ее заполнилась школой, горячим обожанием учительниц-монахинь, а также сотней мелких забот и радостей. Но теперь она была совершенно одинока, предоставлена самой себе и тревожным переживаниям, свойственным ее возрасту, между добрым, но беспомощным отцом и безрассудной, странной матерью.

Слушая пение матери, девочка прятала лицо в страницах «Musenalmanach», замирая от непонятного стыда и страха. Она делала вид, что читает, а на самом деле, закрыв глаза, слушала

[1] «Альманах муз» *(нем.)*.

песню, которую хорошо знала и ненавидела с детства и которой боялась, как боятся чего-то такого, что знают и позволяют себе только взрослые, но что страшно и невыносимо и изобличает во лжи самые прекрасные книги и самые возвышенные мысли.

Начало марта, исключительно теплое и сухое, походило на конец апреля и неожиданно оказалось благоприятным для встреч всадников из консульств. Снова они поджидали друг друга на высокой и ровной дороге, весело скакали по мягкой земле и желтой, полегшей траве, упиваясь ласковым, хоть и холодным еще воздухом ранней весны. И снова оба консула, каждый про себя, стали волноваться и думать, как бы помешать этой верховой идиллии, не доводя дела до резких столкновений и серьезных ссор.

Согласно известиям, получаемым консулами, конфликт между венским правительством и Наполеоном был неизбежен. «Отношения между нашими странами развиваются в направлении, обратном тем сердечным отношениям, которые на глазах у всех завязываются на верховой дорожке над Травником»,— сказал Давиль своей жене, прибегая к одной из тех семейных острот, которые мужья позволяют себе дома, не расходуя на это слишком много умственных усилий. В то же время этим он как бы готовился к разговору на столь щекотливую тему с молодым Дефоссе. И действительно, долго так продолжаться не могло.

Демон, называвшийся «потребностью в рыцаре», толкал Анну-Марию к молодым, одаренным и сильным людям, но тот же демон заставлял ее бежать от них, как только рыцарь, человек из плоти и крови, проявлял определенные желания и поползновения. Этот же демон вмешался и в данном случае и облегчил дело Давилю и фон Миттереру, если только по отношению к последнему можно говорить о каком-либо облегчении. Произошло то, что должно было произойти: наступил тот самый момент, когда Анна-Мария, разочарованная, с ужасом и отвращением бросала все, бежала и уединялась в своем доме, преследуемая чувством омерзения к самой себе и всему на свете, обуреваемая мыслями о самоубийстве и жаждой мучить мужа или кого попало.

Необычно теплый конец марта ускорил ход событий и привел к развязке.

Солнечным утром на ровной дороге среди оголенного кустарника снова послышался конский топот. И Анна-Мария и Дефоссе были опьянены свежестью и красотой утра. Оба пускались в галоп, а потом встречались на дороге и, взволнованные и запыхавшиеся, обменивались горячими словами и отрывочными фразами, которые имели смысл и значение только для них и от которых кровь, взволнованная верховой ездой и свежестью утра, разгоралась еще сильнее. Хлестнув своего коня, Анна-Мария вдруг гало-

пом отъезжала к самому концу дороги, покидала разгоряченного молодого человека, оборвав разговор на полуслове, а потом возвращалась шагом и продолжала болтать как ни в чем не бывало. Эта игра утомила их. Они спешивались, как опытные всадники, сходились, снова расходились, как оттолкнувшиеся друг от друга мячи. Провожатые отстали. Слуги и телохранители Дефоссе и Анны-Марии медленно ехали на своих мелкорослых лошадках, не принимая участия в игре господ, но и не смешиваясь друг с другом в ожидании, когда господа, насладившись игрой, устанут и пожелают вернуться домой.

Пустив лошадей вскачь, молодой человек и Анна-Мария съехались в конце ровной дороги, там, где она круто сворачивала и становилась каменистой и размытой. На этом повороте стоял небольшой сосновый лесок. В блеске солнечного дня деревья казались плотной черной массой, тогда как земля под ними, покрытая опавшей хвоей, была красноватая и сухая. Дефоссе неожиданно слез и предложил Анне-Марии последовать его примеру, чтобы осмотреть лесок, напоминавший, по его словам, Италию. Слово «Италия» ввело ее в заблуждение. Перекинув уздечку через руку и ступая онемевшими от верховой езды ногами по гладкому ковру сосновых игл ржавого цвета, они углубились в лес, который, сгущаясь, сомкнулся за ними. Анна-Мария в высоких сапогах шла с трудом, одной рукой придерживая длинный подол черной амазонки. Она остановилась в нерешительности. Дефоссе продолжал говорить, словно желая нарушить лесную тишину и успокоить и себя, и свою спутницу. Он сравнивал лес с храмом или чем-то в этом роде. А слова прерывались паузами и тишиной, наполненными быстрым горячим дыханием и учащенным биением сердца. Молодой человек накинул и свою и ее уздечку на одну ветку. Лошади стояли смирно, подрагивая мускулами. Дефоссе увлек колебавшуюся Анну-Марию еще на несколько шагов вперед, до лощины, где они оказались совсем скрытыми ветвями и стволами сосен. Она сопротивлялась, испуганно и неловко скользя по густому ковру сосновой хвои. Но прежде чем она успела вырваться или вымолвить слово, рядом с ней оказалось раскрасневшееся лицо Дефоссе. Больше не было разговора ни об Италии, ни о храме. Без единого слова крупные красные губы Дефоссе приближались к ее губам. Анна-Мария побледнела, широко раскрыла глаза, как бы вдруг пробудившись, хотела оттолкнуть его и бежать, но ноги у нее подкосились. Рука его уже обвила ее талию. Как беззащитный человек, которого предательски убивают, она вскрикнула: «Нет! Только не это!» Она закатила глаза и, вдруг обессилев, выпустила из рук длинный подол амазонки, который до сих пор судорожно сжимала в пальцах.

Все исчезло — окружающий мир, слова, прогулки, консулы и консульства. Исчезли и они в этом клубке, катавшемся и извивавшемся на густом ковре сосновой хвои, которая потрескивала под ними. Обхватив обмершую женщину, Дефоссе обнимал ее словно сотней невидимых рук. На своих губах он чувствовал соленый вкус слез, потому что она плакала, и крови, так как у кого-то из них из губы пошла кровь. Они слились в поцелуе. Объятие обезумевшего от страсти молодого человека и не помнившей себя женщины не длилось и минуты. Анна-Мария вздрогнула, еще шире раскрыла глаза, будто внезапно увидела перед собой бездну; опомнившись, с неожиданной силой гневно оттолкнула опьяненного молодого человека и быстрыми, яростными ударами стала бить его в грудь, как разозленный ребенок, при каждом ударе выкрикивая:

— Нет, нет, нет!

Страшное наваждение, одурманившее их, исчезло. Если раньше они не помнили, как опустились на землю, то теперь, сами не зная как, очутились на ногах. Всхлипывая от злости, она поправляла прическу и шляпу, в то время как он взволнованно и неловко смахивал сухие сосновые иглы с ее черной амазонки, потом подал хлыст и помог выбраться из лощины. Лошади стояли смирно, помахивая головами.

Они вышли на дорогу и сели на коней прежде, чем сопровождавшие их могли заметить, что они спешивались. Расставаясь, они еще раз взглянули друг на друга. Лицо Дефоссе было краснее обычного, он щурился от яркого солнца. Анна-Мария была неузнаваема. Губы у нее побелели до того, что еле выделялись на бледном лице, а в глубокое сияние ее глаз, новых, внезапно *пробудившихся*, с черными расширенными зрачками, стало еще труднее смотреть. Ее припухшее лицо, выражавшее гадливую злобу и безграничное отвращение к самой себе и ко всему окружающему, казалось постаревшим и поблекшим.

Дефоссе, нелегко терявший присутствие духа и врожденную хладнокровную самоуверенность, на этот раз был по-настоящему растерян и чувствовал себя неловко, понимая, что тут не было ни кокетства, ни обычной для светской женщины боязни позора и скандала. Он показался себе ничтожнее и слабее этой чудачки, довольствовавшейся своим собственным миром причудливых настроений и разочарований.

Все ему теперь виделось другим, переменившимся. И вокруг него, и в нем самом, словно бы он даже ростом стал меньше.

Так навеки расстались эти наездники зимней поры, нежные влюбленные с Купила.

Фон Миттерер сразу заметил, что в отношениях между его женой и новым несостоявшимся рыцарем наступил, как и столько раз раньше в подобных случаях, критический момент, и теперь пришла пора домашних бурь. И в самом деле, после двухдневного полного уединения, когда Анна-Мария ни с кем не разговаривала и ничего не ела, начались сцены и беспричинные упреки и мольбы («Иосиф, ради всего святого!»), предвидя которые полковник принял твердое и мучительное решение вынести их, как он выносил и все предыдущие сцены, до конца.

Давиль также вскоре заметил, что Дефоссе прекратил свои верховые прогулки с госпожой фон Миттерер. Это его обрадовало, освободив от неприятной обязанности толковать с молодым человеком о необходимости прервать близкие отношения с австрийским консульством. Ибо из донесений было ясно, что отношения между австрийским двором и Наполеоном снова обостряются. Давиль читал их с тревогой, прислушиваясь, как завывал снаружи утомительный южный мартовский ветер.

А в это время «молодой консул», сидя в натопленной комнате, еле сдерживал злость на Анну-Марию и в еще большей степени на себя. Он напрасно мучился, стараясь объяснить поступок женщины. Что бы ни приходило ему в голову, все равно оставалось ощущение разочарования, стыда и оскорбленного тщеславия, а также острая боль от всколыхнувшегося и неудовлетворенного желания.

Только теперь, когда было уже поздно, он вспомнил своего дядю в Париже и совет, который тот ему однажды дал в Palais Royal, где Дефоссе ужинал с одной актрисой, известной своим капризным характером. «Вижу, что ты уже стал мужчиной,— сказал ему старый господин,— и, как все прочие, готов сломать себе шею. Это в порядке вещей. Я дам тебе лишь один совет: избегай сумасбродных женщин».

Во сне ему приснился мудрый и добрый дядя.

Теперь, когда вся эта история окончилась таким глупым и смешным образом, он словно пробудился и понял также и моральную мерзость всей этой «канители» с немолодой и чудаковатой женой австрийского консула, к которой его так глупо толкнула минутная потеря самообладания и травницкая скука.

Вспомнилась ему теперь и прошлогодняя «живая картина» в саду с Йелкой, девушкой из Долаца, о которой он было позабыл. И случалось, что за ночь он по нескольку раз вскакивал из-за стола или с постели; кровь бросалась ему в голову, в глазах темнело, он весь горел от стыда и гнева на самого себя,— чувств, которые в молодости переживаешь еще так живо и сильно. Стоя посреди комнаты, он бранил себя, что так глупо и безобразно забылся, не переставая в то же время искать объяснения своей неудаче.

— Что это за страна? Какой тут воздух? — спрашивал он.— Что это за женщины? Смотрят на тебя нежно и кротко, как цветок из травы, или с такой страстью (сквозь струны арфы), что у тебя сердце тает. Но стоит откликнуться на этот умоляющий взгляд, как одна падает на колени, меняя ситуацию на сто восемьдесят градусов, и с выражением жертвы во взоре умоляет тебя умирающим голосом так, что становится тошно и пропадает всякое желание жить и любить; другая же бросается на тебя, словно на гайдука, и пускает в ход кулаки не хуже английского боксера.

Так этажом выше над комнатами Давиля и его спящей семьи «молодой консул» разговаривал сам с собой, борясь с тайной мукой, пока не преодолел ее и пока она, как и прочие мучения молодости, не начала забываться.

XV

Вести и инструкции из Парижа, которые в последнее время Давиль получал с большим опозданием, свидетельствовали о том, что огромная военная машина империи снова пришла в движение, и прямо против Австрии. Давиль чувствовал в этом угрозу и для себя лично. На его беду, казалось ему, лавина должна двинуться как раз в эти места, где он на своем маленьком участке несет столь большую ответственность. Болезненная потребность что-то предпринять, что-то делать, мучительный страх ошибиться или упустить что-нибудь не покидали его теперь и во сне. Спокойствие и хладнокровие Дефоссе раздражали его больше, чем когда-либо. Молодой человек считал вполне естественным, что императорская армия должна где-то воевать, и он не видел ни малейшего повода менять образ жизни или направление мыслей. Давиль еле сдерживал гневную дрожь, слушая шутки и остроумные словечки, модные в среде парижской молодежи, которыми Дефоссе щеголял в разговорах о новой войне, без всякого уважения и воодушевления, но и без тени сомнения в победоносном исходе кампании. Это наполняло Давиля бессознательной завистью и острой тоской, потому что ему не с кем было поговорить («обменяться опасениями и надеждами») об этой войне и обо всем остальном в духе тех понятий и с тех точек зрения, которые свойственны и близки ему и его поколению. Теперь, больше чем когда-либо, мир представлялся ему начиненным западнями и опасностями и теми неопределенными мрачными мыслями и страхами, которые распространяются вместе с войной и влияют особенно на пожилых, слабых или утомленных людей.

Иногда Давилю казалось, что он задыхается, падает от усталости, что он годами марширует в мрачной и бездушной колонне

и уже не может идти в ногу, что она грозит растоптать и раздавить его, стоит только ему приостановиться, обессилеть. Оставаясь один, он вздыхал, шепча тихо и быстро:

— Ах, боже милостивый, боже милостивый!

Слова эти он произносил бессознательно, без всякой видимой связи с тем, что в данную минуту совершалось вокруг него; они вырывались вместе с его дыханием и вздохом.

Как не упасть от усталости и головокружительной сутолоки, длившихся столько лет, как бросить все и прекратить дальнейшие усилия и труд? Как разглядеть и хоть что-нибудь понять в этой всеобщей беспорядочной суете и путанице и, невзирая на усталость, затруднения и неизвестность, маршировать в новую, туманную, безграничную даль?

Будто только вчера он с волнением слушал известие о победе под Аустерлицем, сопровождавшееся надеждой на мир и избавление, и только сегодня утром писал стихи о битве под Иеной; будто только что читал бюллетень о победе в Испании, о взятии Мадрида и изгнании английских войск с Пиренейского полуострова. Не успевали смолкнуть победные клики одной битвы, как их уже заглушал гул новых событий. Изменит ли эта сила естественные законы природы или разобьется об их неумолимое постоянство? Иногда казалось одно, иногда — другое, но точного вывода сделать было невозможно. Дух захватывало, и мозг отказывался работать. И вот в таком состоянии и настроении, никому не рассказывая о своем смятении и тяжких, горестных сомнениях, ничем себя не выдавая, Давиль вместе с миллионами других людей продолжает шагать, работать, разговаривать, стараясь идти в ногу и вносить свою долю в общее дело.

Опять теперь повторится все до мельчайших подробностей. Будут выходить «Moniteur» и «Journal de l'Empire» со статьями, объясняющими и оправдывающими необходимость нового выступления и предсказывающими его неминуемый успех. (Читая их, Давиль будет верить, что все это так и иначе быть не может.) Потом наступят дни и недели размышлений, выжиданий и сомнений. (К чему опять новая война? Сколько же еще воевать? И куда это приведет людей, Наполеона, Францию, самого Давиля и его семью? Не изменит ли на этот раз счастье Наполеону, не потерпит ли он поражение, которое послужит предвестником окончательного крушения?) А потом появится сообщение об успехах с перечнем взятых городов и покоренных стран. И, наконец, полная победа и победоносный мир с территориальными приобретениями и новыми обещаниями всеобщего долгожданного успокоения, которое никак не наступает.

И тогда Давиль, вместе со всеми, даже громче других, будет

прославлять победу и говорить о ней как о событии, вполне естественном, в котором есть доля и его участия. И никто никогда не знать не будет о его мучительных сомнениях и колебаниях, которые победа рассеет, как туман, и которые он и сам тогда постарается забыть. Какое-то время, правда очень короткое, он будет обманывать самого себя, но вскоре военный механизм империи снова придет в движение, и он опять попадет во власть прежних переживаний. Все это изнуряло и утомляло, и жизнь его, на вид покойная и счастливая, была на самом деле невыносимо мучительна и находилась в нестерпимом противоречии с его внутренним складом и подлинным существом.

Пятая коалиция против Наполеона была образована в течение этой зимы, а весной внезапно стала общеизвестной. Как и четыре года тому назад, только еще быстрее и смелее, Наполеон ответил на коварный заговор молниеносным движением на Вену. Теперь и непосвященным стало ясно, для чего были созданы консульства в Боснии и чему они должны были служить.

Французы и австрийцы в Травнике прекратили всякие сношения. Служащие не здоровались друг с другом, консулы старались не встречаться на улице. По воскресеньям во время большой мессы в долацкой церкви госпожа Давиль становилась подальше от госпожи фон Миттерер и ее дочки. Консулы проявляли удвоенную деятельность у визиря и его сотрудников, у монахов, православных священников и видных граждан. Фон Миттерер распространял манифест австрийского императора, а Давиль — французское сообщение о первой победе под Экмюлем. Курьеры между Сплитом и Травником встречались и обгоняли друг друга. Генерал Мармон хотел любой ценой поспеть со своей армией из Далмации к Наполеону до начала решающего сражения. Поэтому он требовал от Давиля сведений о краях, через которые ему предстояло пройти, и все время засыпал его распоряжениями. Это втрое увеличивало работу Давиля, затрудняло и усложняло ее, повышало расходы. Тем более что фон Миттерер следил за каждым его шагом и как опытный офицер, изучивший пограничные интриги и козни, старался всячески помешать продвижению Мармона через Лику и Хорватию. Но с ростом заданий и их трудности росли и силы Давиля, его сметливость и жажда борьбы. С помощью Давны он сумел подыскать людей, которые в силу собственных симпатий и интересов были настроены против Австрии и готовы предпринять что угодно в этом направлении. С этими лицами он установил тесную связь. Давиль обратился к комендантам городов в Краине, в особенности к коменданту Нови, родному брату того несчастного

Ахмет-бега Церича, которого ему не удалось отстоять, подстрекал их и снабжал деньгами для набегов на австрийскую территорию.

Фон Миттерер с помощью монахов в Ливно пересылал в Далмацию, занятую французами, газеты и воззвания, поддерживал связь с католическим духовенством в северной Далмации и содействовал организации сопротивления французам.

Платные агенты и добровольные сотрудники обоих консулов были разосланы во все стороны, и о деятельности их можно было судить по всеобщему беспокойному состоянию и частым столкновениям.

Монахи совсем перестали встречаться со служащими французского консульства. В монастырях молились за победу австрийского императора над якобинскими армиями и их безбожным императором Наполеоном.

Консулы посещали или принимали таких лиц, которых в другое время никогда бы не допустили, делали подарки и не скупились на подкупы. Работали денно и нощно, не брезгуя никакими средствами и не щадя сил. При этом положение австрийского консула было гораздо выгоднее. Правда, это был человек усталый, больной, удрученный к тому же семейными неприятностями, но для него такой образ жизни и такой темп борьбы были привычны, они соответствовали его опыту и воспитанию. Получая приказ свыше, фон Миттерер сразу забывал о себе и семье и шел по проторенной дорожке императорской службы, без радости и воодушевления, но и без рассуждений или возражений. Кроме того, он знал язык, страну, людей, обычаи и на каждом шагу мог легко встретить искренних и бескорыстных помощников. Всего этого Давиль не имел и принужден был работать в гораздо более трудных условиях. Но живость духа, чувство долга и прирожденная галльская стойкость в борьбе поддерживали его и заставляли не отставать в соревновании; и он не оставался в долгу, отвечая ударом на удар.

Но при всем этом, если бы дело шло только о консулах, отношения между ними не были бы чересчур плохи. Гораздо хуже вели себя мелкие служащие, агенты и прислуга. Они не знали меры в борьбе и взаимной клевете. Служебное рвение и личное тщеславие целиком поглощали их, как охотника его страсть, и они теряли голову настолько, что, желая вытеснить и оскорбить друг друга, сами себя унижали, роняли в глазах райи и злорадных турок.

И Давиль и фон Миттерер отлично понимали, насколько такой наглый и беспощадный способ взаимной борьбы вредит обеим сторонам, авторитету христиан и европейцев вообще, как недостойно для консулов, единственных представителей культурного мира в этой глуши, бороться и состязаться на глазах у народа,

который ненавидит их обоих, презирает и не понимает, а они именно этот народ приглашают в свидетели и судьи. Давиль, чье положение было менее устойчиво, ощущал это особенно сильно. Он решил обратить внимание фон Миттерера на это обстоятельство косвенным образом, через доктора Колонью как лицо неофициальное, и предложить австрийскому консулу обоюдно слегка укротить своих зарвавшихся сотрудников. С Колоньей поговорит Дефоссе, так как Давна с ним в постоянной ссоре. Одновременно он собирался воздействовать на монахов через свою набожную жену и другими возможными способами и попытаться доказать им, что как представители церкви они действуют неправильно, заступаясь только за одну из воюющих сторон.

Чтобы показать монахам, сколь неосновательно они обвиняют французский режим в безбожии, и установить с ними более тесную связь, Давиль надумал попросить у них для французского консульства постоянного капеллана на жалованье. Через долацкого священника он послал письмо епископу в Фойницу. Так как ответа не последовало, то госпожа Давиль должна была переговорить по этому делу с братом Иво и постараться убедить его, как будет хорошо и правильно, если монахи назначат одного из братьев капелланом и вообще переменят свое отношение к французскому консульству.

Госпожа Давиль отправилась в Долац в одну из суббот, после полудня, в сопровождении иллирийского толмача и телохранителя. Она специально поехала к вечерней службе, считая, что в это время удобнее будет переговорить со священником, чем в воскресенье, когда много народа.

Священник принял жену консула, по обыкновению, хорошо. Он сообщил ей, что «утром» получил ответ епископа и как раз собирался переслать его господину генеральному консулу. Ответ был отрицательный, так как, к сожалению, в эти тяжелые времена у них, гонимых, несчастных и малочисленных, не хватает монахов даже для самых необходимых нужд паствы. Кроме того, турки сразу сочли бы этого капеллана доверенным лицом и шпионом и отомстили бы за это всему ордену. Одним словом, епископ сожалеет, что не может удовлетворить просьбу французского консула, просит правильно его понять, и так далее, и тому подобное.

Так писал епископ, но брат Иво не скрывал, что даже если бы он смел и мог, то никогда бы не допустил, чтобы в наполеоновском консульстве служил их капеллан. Госпожа Давиль старалась мягко склонить его на свою сторону, но, защищенный жировой броней, монах оставался непоколебимым. Госпожу Давиль он почитал и уважал за искреннюю и несомненную набожность (монахи вообще гораздо больше уважали госпожу Давиль, чем госпожу

фоп Миттерер), но упорно и твердо оставался при своем мнении. Свои слова он сопровождал резкими, угрожающими взмахами огромной белой руки, что заставило госпожу Давиль невольно содрогнуться в душе. Было очевидно, что он получил точные инструкции, что позиция его вполне определенна и он не желает ни с кем об этом разговаривать, а тем более с женщиной.

Еще раз заверив госпожу Давиль, что он всегда к ее услугам для всех ее духовных нужд, но в остальном остается при своем мнении, брат Иво вошел в церковь, где началась служба. По какому-то случаю в Долаце в этот день было много монахов и гостей, и служба оказалась торжественной.

Расстроенная госпожа Давиль предпочла бы сразу вернуться домой, но должная осмотрительность заставила ее остаться, дабы не выглядело так, что она приезжала только для разговора со священником. Эта всегда рассудительная женщина, лишенная излишней чувствительности, была сейчас взволнована и ошеломлена его поведением. Неприятный разговор был для нее тем более мучителен, что по своему воспитанию и характеру она была далека от мирских и общественных дел.

Теперь она стояла в церкви у деревянной колонны и слушала приглушенное и еще нестройное пение монахов, коленопреклоненно молившихся по обе стороны главного алтаря. Служил Иво Янкович. Большой и грузный, он все же по ходу службы умудрялся легко и ловко опускаться на одно колено и сразу снова подниматься. А у госпожи Давиль так и стояли перед глазами его крупная рука, делающая отрицательный жест, и его сверкающий надменностью и упрямством взгляд, устремленный на ее толмача во время их недавнего разговора. Такого взгляда она никогда не видела ни у мирян, ни у священнослужителей во Франции.

Своими крестьянскими грубыми голосами монахи тихо пели акафист богородице. Начинал глубокий голос:

— Sancta Maria...

Хор глухо отвечал:

— Ora pro nobis.

Голос продолжал:

— Sancta virgo virginum...

— Ora pro nobis,— дружно подхватывали голоса.

Молитвенный голос продолжал протяжно перечислять хвалебные наименования Марии:

— Imperatrix Reginarum...

— Laus sanctarum animarum...

— Vera salutrix earum...

После каждого возгласа хор монотонно отзывался:

— Ora pro nobis.

Госпоже Давиль хотелось помолиться под звуки знакомого акафиста, который она когда-то слушала на прохладных хорах в кафедральном соборе в своем родном Авранше. Но она никак не могла забыть недавний разговор и отогнать мысли, мешавшие ей молиться.

«Все мы молимся одинаково, все мы христиане и исповедуем одну веру, но какие глубокие пропасти разделяют людей»,— думала госпожа Давиль, а перед глазами ее все время стоял твердый, жесткий взгляд и резкий жест руки того самого священника, который пел теперь славословие.

Голос продолжал перечислять:

— Sancta Mater Domini...

— Sancta Dei genitrix.

Да, человек знает, что существуют такие пропасти и противоречия между людьми, но, только столкнувшись с жизнью и испытав их действие на самом себе, он понимает, насколько они огромны, трудны, непреодолимы. И какие нужны молитвы, чтобы заполнить и сровнять эти пропасти? В своем подавленном настроении она была готова допустить, что таких молитв не существует. Но тут ее мысль, напуганная и беспомощная, обрывалась. Госпожа Давиль тихо шептала, присоединяя свой неслышный голос к монотонному бормотанию монахов, возвращавшемуся подобно волне и повторявшему:

— Ora pro nobis!

Когда служба окончилась, она сокрушенно приняла благословение все той же руки Иво Янковича.

Возле церкви, кроме своих провожатых, госпожа Давиль увидела Дефоссе со слугой. Он проезжал верхом через Долац и, узнав, что госпожа Давиль в церкви, решил ее подождать и проводить в Травник. Она была рада увидеть знакомое лицо веселого молодого человека и услышать родную речь.

По широкой сухой дороге они возвращались в город. Солнце уже село, но все вокруг было залито каким-то ярким желтым светом. От красноватой глинистой дороги веяло теплом, а свежие листья и цветочные бутоны на кустах будто светились на черной коре.

Раскрасневшись от верховой езды, молодой человек шел рядом с госпожой Давиль, оживленно разговаривая. За ними слышались шаги сопровождающих и топот копыт лошади Дефоссе, которую вели в поводу. А в ушах все еще звенел акафист. Дорога начала спускаться. Показались травницкие крыши с легким синеватым дымком и с ними действительная жизнь со всеми ее требованиями и задачами, далекими от всяких размышлений, сомнений и молитв.

Приблизительно в это же время у Дефоссе состоялся разговор с Колоньей.

Под вечер, часов около восьми, он отправился к доктору в сопровождении телохранителя и слуги, несшего фонарь.

Дом стоял в стороне, на крутой возвышенности, в окружении непроницаемой ночи и сырого тумана. Доносился шум невидимого ключа Шумеча. Мрак приглушал шум воды, а тишина его усиливала. Дорога была мокрая и скользкая и при скудном мерцающем свете турецкого фонаря выглядела новой и незнакомой, как лесная прогалина, по которой люди идут впервые. Столь же таинственными выглядели и ворота. Только подворотня и кольцо на калитке были освещены, а все остальное тонуло во мраке, нельзя было различить ни формы, ни объема предметов, ни догадаться об их точном назначении. Удары в ворота отдались тяжело и глухо. Дефоссе ощутил их как что-то грубое и неуместное, почти как боль, а чрезмерное усердие телохранителя показалось ему особенно безобразным и неприличным.

— Кто стучит?

Голос доносился сверху и прозвучал не как вопрос, а как эхо на удары телохранителя.

— Молодой консул. Отвори! — крикнул Алия тем неприятным и подчеркнуто резким тоном, каким подчиненные разговаривают между собой в присутствии старшего.

И мужские голоса, и далекий шум воды походили на какую-то случайную и неожиданную перекличку в лесу, без ясного повода и без видимых последствий. Наконец послышался звук цепочки, скрип замка и стук засова. Калитка медленно отворилась, за ней стоял человек с фонарем, бледный и сонный, закутанный в пастуший плащ. Два разной силы фонаря озаряли круто поднимающийся двор и низкие темные окна первого этажа дома. Фонари соперничали, который из них лучше осветит дорогу «молодому консулу». Смущенный этой игрой голосов и светотеней, Дефоссе неожиданно очутился перед распахнутыми дверями большой комнаты первого этажа, застоявшийся воздух которой был полон дыма и тяжелого табачного запаха.

Посреди комнаты, у высокого подсвечника, стоял длинный и сутулый Колонья; на нем вперемежку было надето множество турецкой и европейской одежды; на голове была черная шапочка, из-под которой торчали длинные редкие пряди седых волос. Старик, низко кланяясь, произносил громкие приветствия и комплименты на своем языке, который мог быть и испорченным итальянским, и плохим французским, но Дефоссе все это казалось наносным и случайным, пустой формальностью, лишенной сердечности и подлинного уважения, как будто говоривший эти слова отсут-

ствовал. И тогда все, что он встретил в этом низком дымном помещении — запах и вид комнаты, облик и речь человека,— вылилось в одно лишь слово, и так быстро, живо и ярко, что ему стоило усилий не произнести его вслух: старость. Печальная, беззубая, забытая, одинокая, трудная старость, которая всему придает горький привкус, все изменяет и растравляет: мысли, воззрения, жесты, звуки — все, вплоть до самого света и запаха.

Старый доктор церемонно предложил молодому человеку сесть, но сам продолжал стоять, извинившись тем, что этого требует доброе старинное салернское правило: «Post prandium sta» [1].

Молодой человек сидел на твердом стуле без спинки, чувствуя свое телесное и духовное превосходство, отчего миссия его казалась ему легкой и простой, почти приятной. Он начал говорить с той слепой уверенностью, с какой молодые люди так часто вступают в разговор со стариками, которые кажутся им несовременными и отжившими, забывая, что их умственной медлительности и физической немощности сопутствует большой опыт и искусство во взаимоотношениях с людьми. Дефоссе передал поручение Давиля для фон Миттерера, стараясь, чтобы оно выглядело тем, чем оно было на самом деле, то есть доброжелательным предложением в общих интересах, а не проявлением слабости или страха. Высказав все это, он остался доволен собой.

Уже при последних словах молодого человека Колонья поспешил заверить, что польщен тем, что его избрали посредником, что он все передаст самым добросовестным образом, что он вполне понимает намерения господина Давиля и разделяет его образ мыслей и что он по своему происхождению, званию и убеждениям как нельзя лучше подходит для этой роли.

Ясно, что теперь настала очередь Колоньи быть довольным собой.

Дефоссе слушал его, как слушают шум воды, рассеянно глядя на его правильное продолговатое лицо с живыми круглыми глазами, бескровными губами и зубами, шатавшимися, когда он говорил. «Старость! — думал молодой человек.— Не то плохо, что страдаешь и умираешь, плохо то, что стареешь, потому что старость — это страдание, от которого нет ни лекарств, ни избавления, это медленная смерть». Но молодой человек думал о старости не как о судьбе всех людей, в том числе и своей собственной, а как о каком-то личном несчастье врача Колоньи.

А Колонья говорил:

— Мне не надо объяснять подробно; я понимаю положение господ консулов, как и всякого культурного человека Запада, кото-

[1] После обеда надо постоять *(лат.)*.

рого судьба загнала в эти края. Жить в Турции для такого человека — все равно что ходить по острию ножа или гореть на медленном огне. Мне это хорошо известно, потому что мы на этом острие рождаемся, на нем живем и умираем, в этом огне растем и сгораем.

Не оставляя свои мысли о старости и старении, молодой человек стал внимательнее прислушиваться и лучше понимать слова Колоньи.

— Никому не понять, что значит родиться и жить на грани двух миров, знать и понимать один и другой и быть бессильным что-либо сделать, чтобы они договорились и сблизились, любить и ненавидеть и тот и другой, всю жизнь колебаться и отклоняться, иметь две родины, не имея, в сущности, ни одной, чувствовать себя всюду дома и вечно оставаться чужестранцем: одним словом, жить распятым, но чувствовать себя одновременно и жертвой и палачом.

Дефоссе слушал с изумлением. Словно в разговор вмешалось третье лицо. Теперь не было уже ничего похожего на пустые слова и комплименты. Перед ним стоял человек со сверкающими глазами и распростертыми длинными и худыми руками и показывал, как живут распятые между двумя противоположными мирами.

Как часто бывает с молодыми людьми, Дефоссе казалось, что этот разговор не случаен, что он находится в какой-то тесной и особой связи с его собственными мыслями и деятельностью, к которой он готовился. В Травнике редко находились поводы для таких разговоров; это его приятно взволновало, и в волнении он сам стал задавать вопросы, а потом делать замечания и делиться впечатлениями.

Дефоссе говорил столько же из внутреннего побуждения, сколько из желания продолжить разговор. Но старика не надо было заставлять говорить. Он не прерывал своей мысли. Вдохновившись, он говорил, словно читал книгу, подыскивая иногда французские выражения и перемежая их с итальянскими.

— Да, это муки христиан на Ближнем Востоке, муки, которые никогда до конца не могут быть поняты ни вами, представителями христианского Запада, ни тем более турками. Такова судьба левантинцев, которые, подобно poussiere humaine, пыли людской, таскаются между Востоком и Западом, не принадлежа ни к одному из них, но получая удары от того и другого. Эти люди знают много языков, но ни один из них не считают родным, им знакомы две веры, но ни в одной из них они не тверды. Это жертвы фатального разделения человечества на христиан и нехристиан: вечные толмачи и посредники, однако души их самих полны неясного и недоговоренного; прекрасные знатоки Востока и Запада,

их обычаев и верований, но одинаково презираемые и подозреваемые обеими сторонами. К ним можно применить слова, еще шесть веков тому назад написанные великим Джалалиддином, Джалалиддином Руми: «Я и сам себя не знаю. Я ни христианин, ни еврей, ни перс, ни мусульманин. Я не принадлежу ни Востоку, ни Западу, ни суше, ни морю». Вот каковы эти люди. Это небольшое, обособленное человеческое племя, которое погрязло в двойном грехе Востока и которое надо еще раз спасти и искупить, только никому не известно, кто это сделает и как. Это люди, стоящие на грани духовной и физической, на той черной и кровавой линии, которая в силу тяжелого и бессмысленного недоразумения существует между людьми, божьими творениями, между которыми не должно быть границы. Это грань между морем и сушей, осужденная на вечное движение и колебание, как бы третий мир, где осело все проклятье вследствие разделения земли на два мира. Это...

Дефоссе увлекся и слушал с горящими глазами. Преобразившийся старик продолжал стоять все в той же позе — распятый, с широко распростертыми руками,— тщетно подыскивая слова, и вдруг дрогнувшим голосом быстро закончил:

— Это геройство без славы, мученичество без награды. И хоть бы вы, люди Запада, наши единоверцы и родственники, христиане, пребывающие в одной с нами благодати, хоть бы вы поняли и приняли нас, облегчили бы нашу судьбу.

Колонья опустил руки с выражением полной безнадежности, почти гневно. От неприятного «иллирийского доктора» не осталось и следа. Дефоссе слушал человека, своеобразно и ярко мыслящего. И молодой человек загорелся желанием слушать его дальше и узнать больше, совсем позабыв не только о своем недавнем чувстве превосходства, но и о месте, где он находился, и о цели своего прихода. Он чувствовал, что засиделся гораздо больше, чем следовало и предполагалось, но не мог подняться.

Старик теперь глядел на него взглядом, полным немого умиления, как смотрят на человека, который покидает нас и с которым жаль расставаться.

— Да, господин Дефоссе, вы можете понять нашу жизнь, но для вас это лишь неприятный сон, потому что вы, живя здесь, знаете, что это временно и рано или поздно вы вернетесь на родину, в лучшие условия и к более достойному образу жизни. Вы проснетесь и освободитесь от этого кошмара, мы же — никогда, так как это наша жизнь.

К концу разговора Колонья становился все спокойнее, но держался все более странно. Он подсел к Дефоссе, нагнулся к нему, словно хотел сказать что-то доверительно, делая ему знак обеими руками, чтобы он оставался спокойным, чтобы словом или жестом

не потревожил то маленькое, драгоценное и пугливое, будто птичка, что находится тут, на полу, перед ними. Уставившись на это место ковра, Колонья заговорил почти шепотом, потеплевшим голосом, отражавшим внутреннее умиление.

— В конечном счете все хорошо и все разрешается гармонично. Хотя, разумеется, и выглядит порой нелепым и безнадежно запутанным. «Un jour tout sera bien, voila notre esperance» [1], как сказал ваш философ. Иначе и нельзя себе представить. Неужели моя мысль, точная и верная, стоит меньше, чем та же мысль, родившаяся в Риме или Париже? И только потому, что она родилась в дыре, называемой Травником? И неужели справедливо, что эта мысль нигде не отмечена, ни в какой книге? Конечно, нет. Несмотря на кажущиеся изломанность и беспорядочность, все связно и стройно. Ни одна человеческая мысль, ни одно душевное усилие не пропадают. Мы все на правильном пути и удивимся, когда встретимся. А мы встретимся и поймем друг друга, куда бы мы теперь ни шли и сколько бы ни блуждали. Это будет радостная встреча, прекрасная и спасительная неожиданность.

Дефоссе с трудом следил за мыслью старика, но не уставал его слушать. Без видимой связи, но тем же доверительным и радостно взволнованным голосом Колонья продолжал говорить. Дефоссе одобрял его, подбадривал, а время от времени, побуждаемый неодолимым желанием, сам вставлял что-нибудь. Так, он рассказал о своих наблюдениях на пластах дороги у Турбета — свидетельствах различных исторических эпох. О том самом, о чем без всякого успеха рассказывал уже Давилю.

— Знаю, что вы наблюдательны. Интересуетесь и прошлым и настоящим. Вы умеете видеть,— одобрительно заметил Колонья.

И, будто поверяя ему тайну о скрытом сокровище, старик продолжал шептать, больше выражая смеющимся взглядом, чем словами.

— Когда пройдете базар, остановитесь у мечети Йени. Она окружена высокой стеной. Внутри под огромным деревом — никому не известные могилы. В народе говорят, что когда-то, до прихода турок, эта мечеть была церковью святой Екатерины. И народ верит, что и теперь в одном углу находится ризница, которую никакими силами нельзя открыть. Но если повнимательнее приглядеться к камням в старинной стене, то можно увидеть, что это остатки римских развалин и надгробий. И на камне, лежащем в стене ограды, можно свободно прочитать прекрасно сохранившиеся латинские слова: «Marko Flavio... optimo...» А глубоко под ним, в

[1] В один прекрасный день все устроится, в этом наша надежда *(франц.)*.

скрытом от глаз фундаменте, заложены огромные глыбы красного гранита — остатки древнейшего культа, храма бога Митры. На одном из камней есть стертый барельеф, на котором можно рассмотреть, как молодой бог света гонится за сильным вепрем и убивает его. А кто знает, что еще сокрыто на самой глубине, под фундаментом? Чьи там погребены усилия, чьи следы навеки стерты? И это ведь на маленьком клочке земли, в заброшенном городишке. А бесчисленные поселения, раскиданные по свету?

Дефоссе смотрел на старика, ожидая дальнейших объяснений, но Колонья, вдруг переменив тон, заговорил гораздо громче, будто теперь его могли слушать и другие:

— Вы понимаете, что все это тесно связано одно с другим и только нам кажется потерянным и забытым, разбросанным без плана. Все это движется, хоть и бессознательно, к одной цели, как сходятся лучи в отдаленном, неизвестном фокусе. Не забывайте, что в Коране ясно сказано: «Может быть, в один радостный день бог помирит вас с вашими врагами и восстановит между вами дружбу. Он всемогущ, добр и милостив». Значит, надежда есть, а там, где есть надежда... Вы понимаете?

Глаза его значительно и победоносно улыбались, как бы желая подбодрить и успокоить молодого человека, а руками он очерчивал перед его лицом круг, долженствовавший изобразить вселенную.

— Вы понимаете? — повторил старик значительно и нетерпеливо, словно считал излишним и неуместным выражать словами то, что и так известно и несомненно, а ему близко и хорошо знакомо.

Но под конец тон разговора изменился. Колонья опять стоял худой и прямой, кланялся и извивался, произнося громкие и ничего не значащие слова, уверяя молодого человека, что он польщен как его посещением, так и данным ему поручением.

На том и расстались.

Возвращаясь в консульство, Дефоссе рассеянно ступал в кругу света, падавшего от фонаря телохранителя, ни на что не обращая внимания. Думал о старом, «тронувшемся» докторе и его живой, но неясной идее, стараясь сосредоточиться и разобраться в собственных мыслях, неожиданно возникавших и переплетавшихся между собой.

XVI

Вести, приходившие в Травник из Стамбула, становились все хуже и путанее. Даже после безуспешной затеи Байрактара и трагической смерти Селима III порядок не налаживался. В конце

того же года случился новый переворот, во время которого убили Мустафу Байрактара.

Беспорядки и перемены в далекой столице отражались и в этой заброшенной провинции, но много позднее и в измененном, карикатурном виде, как в кривом зеркале. Страх, недовольство, нищета и злоба, напрасно искавшие выхода, мучили и терзали турок в городах. Ясно предчувствуя потрясения и пагубные перемены, люди ожидали предательства изнутри и угрозы извне. Инстинкт самосохранения и самозащиты заставлял их искать выход в действии, а обстоятельства отнимали все средства и закрывали все пути к этому. И потому их усилия шли впустую и на ветер. А в скученных местечках между высокими горами, где в соседствующих кварталах жили люди разной веры и противоположных интересов, создавалась легко возбудимая и тревожная атмосфера, чреватая всякими неожиданностями, в которой сталкивались слепые силы и то и дело вспыхивали жестокие волнения.

В Европе в это время происходили битвы невиданного доселе размаха и ужаса, исторические последствия которых были еще неясны. В Стамбуле государственные перевороты следовали один за другим, сменялись султаны, погибали великие визири.

В Травнике царило оживление. Как и каждую весну, по приказу из Стамбула и в этом году войска готовились к походу на Сербию; приготовления были шумные, но результат ничтожный. Сулейман-паша уже двинулся со своим небольшим, но хорошо организованным отрядом. Через несколько дней должен был выступить и визирь. На самом же деле Ибрагим-паша не знал точно ни плана действий, ни численности войска, которое собирался повести. Он принужден был выступить, получив приказ султана, и надеялся личным присутствием заставить и остальных исполнить свой долг. Но собрать и двинуть янычар не было никакой возможности: они уклонялись любыми способами. Пока составляли списки одних, другие убегали или просто учиняли драку и волнения и, воспользовавшись ими, возвращались по домам, тогда как в списках значились отправившимися в Сербию.

Оба консула изо всех сил старались разведать как можно больше о планах визиря, о количестве и качестве его войска и о действительном положении на сербском фронте. И сами они, и их сотрудники тратили целые дни на эти дела, иногда казавшиеся необычайно важными и трудными, а подчас ненужными и незначительными.

Как только Сулейман-паша и визирь отправились на Дрину и вся власть и наблюдение за порядком перешли в руки слабого и трусливого каймакама, травницкий базар снова закрылся — во второй раз.

В сущности, это было продолжением прошлогодних волнений, не утихших вполне, а глухо тлевших в ожидании подходящего случая, чтобы снова вспыхнуть. Ярость толпы была на этот раз направлена против сербов, схваченных в разных уголках Боснии и доставленных в Травник по подозрению, что они поддерживали связь с повстанцами в Сербии и готовили такое же восстание в Боснии. Но в одинаковой степени она была направлена и против османских властей, вызывавших недовольство своей слабостью, продажностью и изменой.

Ясно понимая, что восстание в Сербии угрожает самому их дорогому и близкому и что визирь, как и все его приспешники, их не защитит по-настоящему, а у них самих нет ни сил, ни способов защищаться, боснийские турки впали в состояние нездорового раздражения преследуемого класса и мстили праздным своеволием и бессмысленными жестокостями. Их примеру часто следовала городская беднота, вернее, самый нижний ее слой, которому нечего было терять.

Ежедневно с Дрины или из Крайны приводили связанных, измученных сербов, обвиняемых в тяжких, но неопределенных преступлениях, по одному, по двое или же группами по десяти. Среди них были и городские жители, и священники, но больше всего крестьян.

Никто их не допрашивал и не судил. В эти дни они попадали на разбушевавшийся травницкий базар, как в кратер огнедышащего вулкана. Базар чинил над ними расправу без суда и следствия.

Дефоссе, пренебрегая просьбами и предостережениями Давиля, вышел из консульства и видел, как цыгане мучили и казнили двоих неизвестных посреди скотного рынка. Стоя на небольшом пригорке позади толпы, всецело поглощенный происходившим, Дефоссе, оставаясь незамеченным, мог хорошо разглядеть и жертв, и палачей, и зрителей.

На площади были сутолока и беспорядок. Янычары привели двух осужденных, босых, без шапок, в суконных штанах и разорванных на груди рубахах.

Это были два высоких черноволосых человека, похожих друг на друга, как братья. Насколько можно было судить по остаткам одежды, пострадавшей в дороге и от истязаний, это были горожане. Говорили, что их схватили в тот момент, когда они в полых палках собирались переправить в Сербию письма сараевского епископа.

Янычары изо всех сил старались расчистить место для повешения. Цыгане-палачи никак не могли распутать веревки. Разгоряченная толпа орала и на двух осужденных, и на янычар, и на

цыган, подавалась то в одну, то в другую сторону, угрожая растоптать и смести и жертв и палачей.

Два связанных человека, с оголенными длинными шеями, стояли прямо и неподвижно, с одинаковым выражением удивления и тягостной неловкости. Ни страха, ни храбрости, ни одушевления, ни покорности нельзя было прочесть на их лицах. Они, казалось, были поглощены какой-то заботой и желали одного, чтоб им не мешали неустанно и усиленно думать о ней. Словно вся эта возня и крики вокруг них совсем их не касались. Они только моргали глазами и поминутно склоняли головы, как бы желая таким образом защититься от этой давки и шума, мешавших им полностью отдаться своей тяжкой думе. На лбу и на висках у них вздулись вены и выступил обильный пот, а так как, связанные, они не могли его стереть, то он струями стекал по жилистым и небритым шеям.

Цыгане, которым удалось наконец распутать веревки, подошли к первому из двух осужденных. Он едва заметно отшатнулся, но сразу остановился, позволив им делать, что они хотят. Вместе с первым в то же самое мгновение отшатнулся и второй, словно они были связаны невидимыми путами.

Тут Дефоссе, до сих пор спокойно созерцавший все это, быстро повернулся и скрылся в соседней улице. Самого тягостного и печального он не видел.

Два цыгана накинули жертвам петли на шеи, но не повесили их, а, разойдясь в стороны, стали тянуть за концы веревки. У жертв заклокотало в горле и глаза стали вылезать из орбит, они начали дрыгать ногами и извиваться, как паяцы на натянутом канате.

Толпа засуетилась. Все ринулись к месту казни. Первые корчи жертв вызвали возбужденные, радостные крики, жестикуляцию и смех. Но когда у несчастных наступили предсмертные судороги и движения их стали фантастически жуткими, стоявшие впереди начали отворачиваться и отступать. Они, правда, и ждали чего-то необычного, сами не зная чего, лишь бы найти выход для неясной, но глубокой и целиком владеющей ими неудовлетворенности. Им давно уже хотелось наглядеться на попранного и наказанного врага. Но то, что внезапно представилось их взору, превратилось в боль и мучение для них самих. Удивленные и испуганные, люди отворачивались, норовя скрыться в толпе. Но стоявшие сзади и не видевшие происходящего напирали и подталкивали их все ближе. Потрясенные видом мучений, они поворачивались спиной к месту казни и с невероятными усилиями старались пробиться и убежать, словно от пожара, вовсю работая кулаками. Толпа, не зная, почему они бегут, и не понимая их паниче-

ского поведения, отвечала ударами на их удары и заставляла возвращаться на прежнее место. Так вокруг жуткой пляски медленно погибавших людей нарастала давка, в ход были пущены кулаки, тут и там возникали столкновения, ссоры и настоящие драки. Стиснутые в толпе люди, не имея возможности размахнуться, чтобы ответить на удары, щипались и царапались, плевались, ругались и с полным недоумением, с ненавистью, предназначавшейся жертвам, глядели в искаженные лица друг друга. Те, кто в ужасе спасался от непосредственной близости казни, толкались и пробивались отчаянно, но молча, тогда как большинство продиравшихся в обратном направлении громко кричало. Те же, которые были совсем далеко и не видели ни казни, ни драки впереди, смеялись, пошатываясь вместе с толпой, и, не зная об ужасах, творившихся поблизости, перебрасывались шутками и восклицаниями, обычными во всякой волнующейся и плотно стиснутой толпе. Различные голоса и восклицания — удивления, гнева, испуга, отвращения, ярости, издевки, насмешки — смешивались, сталкивались и перекликались, и все это покрывали общие нечленораздельные выкрики и шум, какие всегда издают сбившиеся в кучу люди со сдавленными животами и стесненными легкими.

— Хооо, хо! — кричали хором какие-то обезумевшие парни, стараясь раскачать толпу.

— Напира-ай! — отвечали другие, пробиваясь в противоположную сторону.

— Что дерешься? С ума спятил?

— Дурак, дурак! Обезумел совсем!

— Бей его! Чего жалеешь? Не брат ведь он тебе родной? — весело добавлял кто-то издалека, полагая, что все это шутка.

Шарканье ног, топот, глухие удары. И снова голоса:

— Мало тебе! Еще хочешь? Получай! Как следует захотелось?

— Эй, ты там, в шапчонке!

— Чего толкаешься? Подходи поближе, спрошу тебя кой о чем.

— Да что с ним церемониться?! Дай ему по башке!

— Стой, сто-ой!

Все это время только стоявшие впереди или те, кто предусмотрительно забрались куда-нибудь повыше, могли видеть происходящее на месте казни. Оба мученика упали без сознания, сперва один, за ним другой. Оба теперь лежали на земле. Цыгане подбежали, подняли их и стали поливать водой, бить кулаками и царапать ногтями. И как только несчастные пришли в себя и поднялись на ноги, мучительная казнь возобновилась. Веревку вновь закрутили и потянули с двух сторон, опять жертвы приплясывали и

стонали, только все меньше и слабей. И снова стоявшие впереди начали продираться назад, но густая толпа их не пропускала, а с руганью колотила и толкала к месту казни, от которого они хотели убежать.

С низкорослым софтой, похожим на фавна, случился припадок, но упасть он не смог, а стиснутый движущейся, волнующейся массой тел остался в вертикальном положении, хотя и без сознания, с закинутой назад головой, бледным, как мел, лицом и пеной на губах.

Трижды возобновлялась мучительная казнь, и каждый раз обе жертвы безропотно вставали и подставляли шею к петле, как люди, которые стараются сделать все от них зависящее, чтобы все совершилось так, как требуется. Оба были сосредоточены и спокойны, спокойнее самих цыган и любого из зрителей, только задумчивы и озабочены, так озабочены, что даже предсмертные судороги не могли полностью стереть с их лица выражение глубокой и тяжелой заботы.

В четвертый раз их не смогли привести в чувство; тогда цыгане подошли к лежавшим навзничь людям и каждого ударили по нескольку раз ногой в пах, чем и прикончили их.

Цыгане сматывали веревки в ожидании, пока толпа немного разойдется, чтобы продолжить свое дело. Беспокойно зыркая глазами, они между каждыми двумя движениями взволнованно и жадно затягивались сигаретами, которые им кто-то дал. Казалось, они одинаково злились и на неразумную голытьбу, толпившуюся вокруг, и на обоих погибших, неподвижных и затерянных среди бесчисленного множества спешащих ног любопытной толпы.

Немного позднее трупы двух неизвестных мучеников были повешены на специальных виселицах на кладбищенской стене так, чтобы их было хорошо видно со всех сторон. Тела их вытянулись, и они приняли прежний вид, опять стали прямыми, стройными и похожими друг на друга, как братья. Они казались легкими, словно бумажными, а головы — маленькими, так как веревка впилась глубоко под подбородок. Лица были спокойные, без кровинки, но не посиневшие и изуродованные, как бывает у заживо повешенных; ноги соединены, а одна ступня слегка выдвинута, как при разбеге.

Такими их увидел Дефоссе, возвращаясь около полудня домой. У одного на плече была разорвана грязная рубаха, и лоскут полотна трепыхался от легкого ветерка.

Стиснув челюсти, сознательно решив и это увидеть собственными глазами, молодой человек, потрясенный, но в каком-то торжественно-спокойном состоянии духа глядел снизу на лица повешенных.

В таком тягостном и торжественном настроении, которое долго не проходило, он вернулся в консульство. Давиль показался ему маленьким, растерянным и напуганным мелочами, а Давна — грубым неучем. Все страхи Давиля представлялись ребяческими и пустыми, а все его замечания либо далекими от жизни и книжными, либо мелкими и возмутительно канцелярскими. Дефоссе понял, что с ним он даже не сможет говорить о том, что видел собственными глазами и так невыразимо глубоко прочувствовал. После ужина, все еще находясь в том же настроении, он вписал в свою книгу о Боснии точно и без прикрас раздел о том, «как совершаются в Боснии смертные приговоры над райей и повстанцами».

Люди начали привыкать к отвратительным и кровавым зрелищам; они сразу забывали виденные и требовали все новых и более разнообразных.

На утоптанной возвышенности между постоялым двором и австрийским генеральным консульством было устроено новое место казни. Тут Экрем, палач визиря, сносил головы, которые потом насаживали на колья.

В доме фон Миттерера поднялся стон и плач. Анна-Мария подбегала к мужу, выкрикивая ему в лицо на все лады: «Иосиф, ради всего святого!» — и, называя его Робеспьером, принималась укладываться, готовясь к бегству. Затем, излив свой гнев, утомленная, бросалась мужу на шею с рыданиями, словно несчастная королева, которую приговорили к казни на гильотине и которую палач ожидает за дверью.

Маленькая Агата, действительно напуганная и несчастная, сидела на низком стуле на веранде и тихо, но горько плакала, что для фон Миттерера было гораздо тяжелее, чем все сцены жены.

Бледный и горбатый переводчик Ротта бегал от Конака к мутеселиму, угрожал, подкупал, требовал и умолял прекратить казни перед зданием консульства.

В тот же вечер на площадку привели с десяток сербских крестьян-граничар и казнили их при свете фонарей и факелов под вопли, пляски и беснования остервеневших мусульман. Головы казненных насадили на колья. Всю ночь до консульства доносилось рычание голодных городских псов, сбежавшихся к месту казни. При лунном свете видно было, как они бросались на колья и рвали куски мяса с отрубленных голов.

Только на другой день, после того как консул посетил каймакама, колья убрали и казни тут прекратили.

Давиль не выходил из дому и лишь издали слышал приглушенные крики толпы, но от Давны получал сведения о ходе восстания и числе казненных в городе. Узнав о том, что творится перед австрийским консульством, Давиль сразу забыл свои страхи и осто-

рожность и, ни с кем не посоветовавшись и ни на одну минуту не задумавшись, соответствует это международным правилам и интересам службы или нет, сел и написал фон Миттереру дружеское письмо.

Это была одна из тех жизненных ситуаций, когда Давиль, ясно и точно, без обычных для него колебаний знал, что надо делать, и у него хватало смелости это выполнить.

В письме, понятно, речь шла и о богине войны Белоне, и о непрекращающемся «бряцании оружия», и о службе верой и правдой своим государям.

«Но я полагаю,— писал Давиль,— что не погрешу ни против ваших чувств, ни против службы, если в виде исключения и при совершенно особых обстоятельствах напишу вам эти несколько слов.

С чувством отвращения и возмущения узнав о том, что происходит перед вашим домом, жена и я, будучи и сами жертвами ежедневных дикостей, просим вас верить, что в эти минуты мы думаем о вас и вашей семье.

Невзирая на все, что нас временно разделяет, мы как христиане и европейцы хотели бы в эти дни выразить вам слова симпатии и утешения».

И только отправив письмо окольным путем в консульство по ту сторону Лашвы, Давиль поддался сомнениям, хорошо ли он поступил.

В тот же день, когда фон Миттерер получил письмо Давиля — 5 июля 1809 года,— началась битва при Ваграме.

В самые прекрасные июльские дни в Травнике царила полная анархия. Какое-то всеобщее помешательство выгоняло людей из дому, толкая их на невообразимые, чудовищные поступки, о которых раньше они и подумать не могли. События развивались как-то сами собой, согласно законам крови и извращенных инстинктов. Происшествия возникали случайно, от чьего-нибудь возгласа или юношеской шутки, развивались непредвиденно и заканчивались неожиданным образом или внезапно обрывались. Толпы парней шли в одном направлении с определенной целью, но, натолкнувшись по дороге на другое, более волнующее зрелище, забывали обо всем и очертя голову кидались к нему, словно подготавливали его неделями. Рвение их было поразительно. Каждый горел желанием содействовать защите веры и порядка и каждый с искренним убеждением и священным гневом хотел, не удовлетворяясь созерцанием, лично участвовать в убийствах и издевательствах над предателями и мерзавцами, виновными во всех бедах страны и страданиях и несчастьях каждого из них. Люди шли к месту казни, как идут к святыне, где надеются обрести чудесное исцеление и

верное облегчение всякому мучению. Каждый хотел своими руками привести, по крайней мере, одного мятежника или шпиона и принять участие в его казни или хотя бы в определении места и способа ее. Из-за этого возникали ссоры и драки, в которых со всем жаром и озлоблением сводились личные счеты. Часто можно было наблюдать, как вокруг осужденного толпилось с десяток убогих турок, они возбужденно размахивали руками и ругались, словно наперебой перекупали друг у друга барашка. Мальчишки, мал мала меньше, перекликались; запыхавшись, носились с криками, болтая широченной мотней турецких штанов; они пачкали свои карманные ножи кровью жертв и потом, бегая по кварталу, размахивали ими и пугали малышей.

А дни стояли солнечные, на небе ни единого облачка, была пора обилия зелени, воды, ранних фруктов и цветов. По ночам же сиял лунный свет, прозрачный, стеклянный и холодный. Но и днем и ночью бушевал кровавый карнавал, где все стремились к одной цели, но никто друг друга не понимал и не узнавал самого себя.

Волнение было общим и распространялось как болезнь. Пробуждалась давно уснувшая ненависть, и оживала старая вражда. По роковой ошибке или недоразумению хватали людей ни в чем не повинных.

Иностранцы из консульств не показывались на улице. Телохранители доставляли им сведения обо всем происходившем. Исключением был Колонья, который не смог высидеть в своем сыром и уединенном доме. Старик не в состоянии был ни спать, ни работать. Он спускался в консульство, пробираясь через разъяренную толпу, проходя мимо лобных мест, возникавших то тут, то там. Все замечали, что он постоянно возбужден, что глаза у него горят нездоровым блеском, что он дрожит и запинается в разговоре. Вихрь безумия, круживший в этой котловине, затягивал старика, как водоворот соломинку.

Как-то раз, ровно в полдень, возвращаясь из консульства, Колонья увидел посреди базара толпу турецких голодранцев, которые вели связанного и избитого человека. Доктор имел полную возможность скрыться в боковой улочке, но его влекла к толпе какая-то неодолимая сила. В тот момент, когда он почти поравнялся с ней, раздался хриплый голос:

— Доктор, доктор, не дайте погибнуть безвинно!

Колонья, как завороженный, подошел поближе и, приглядевшись близорукими глазами, узнал жителя Фойницы, католика по фамилии Кулиер. Человек вопил, захлебываясь словами, заклиная отпустить его, потому что он невиновен.

Высматривая в толпе, с кем бы можно было поговорить, Колонья натолкнулся на множество сумрачных взглядов, но, прежде

чем он успел что-либо сказать или сделать, из толпы выступил высокий человек с бледными впалыми щеками и заявил, загородив ему путь:

— Ну, ты, ступай своей дорогой!

Голос его дрожал от плохо скрываемого бешенства.

Не высунись этот человек и не заговори он таким голосом, старик, быть может, прошел бы мимо, предоставив беспомощного фойничанина собственной судьбе. Но голос этот притягивал его подобно бездне. Он хотел сказать, что знает Кулиера как порядочного человека, спросить, в чем он провинился и куда его ведут, но высокий человек не дал ему вымолвить ни слова.

— Говорят тебе, иди своей дорогой,— повысил голос турок.

— Нет, так нельзя! Куда вы ведете этого человека?

— Веду эту собаку, чтобы повесить, как остальных собак, коли хочешь знать.

— Как? Почему? Не может такого быть, чтобы вешали безвинных людей. Я позову каймакама.

Теперь и Колонья повысил голос, не замечая, что все больше входит в раж.

В толпе поднялся гул. С двух минаретов, рядом и подальше, раздавались, переливаясь и скрещиваясь, напряженные голоса двух муэдзинов, призывающих верующих на молитву. Толпа стала расти.

— Ну, раз отыскался защитник вроде тебя,— крикнул высокий турок,— так я его здесь и повешу, на этом вот тутовом дереве.

— Нет. Не посмеешь. Я кликну караульного, пожалуюсь каймакаму. Ты кто такой? — кричал старик резко и бессвязно.

— А тот, кто тебя не боится; убирайся с глаз долой, пока шкура цела!

В толпе послышались ругательства и возгласы. Люди сбегались со всего базара. Во время перебранки высокий турок после каждого выкрика оглядывался кругом, дожидаясь поощрения. Собравшиеся, не двигаясь, смотрели на него с явным одобрением.

Высокий турок направился к тутовому дереву у дороги, за ним двинулась толпа, а с ней и Колонья. Теперь уже все кричали и размахивали руками. Кричал, не умолкая, и Колонья, но его не слушали и перебивали.

— Мошенничество, наглость, разбой! Вы позорите султана. Разбойники! Потурченцы! — орал старый доктор.

— Замолчи, иначе и ты повиснешь рядом с ним.

— Кто? Я? Посмей только тронуть меня, паршивый потурченец!

Колонья дрыгал ногами, махал руками, словно у него развинтились все суставы. Теперь он и высокий турок очутились в самом центре давки. Фойничанин стоял в стороне, позабытый всеми.

Высокий, покосившись на своих людей, крикнул вызывающе:

— Вы слышали? Он ругал нашу веру и наших святых!

Те подтвердили.

— Вешайте обоих сразу.

Вокруг Колоньи началась возня.

— Что такое? Веру? Святых? Да я знаю ислам лучше тебя, ублюдок боснийский... Я... я...— кричал Колонья с пеной у рта, совершенно не владея собой.

— Вешайте собаку-иноверца.

В поднявшейся сутолоке слышались сбивчивые слова Колоньи, похожие на сдавленное хрипение:

— ...турок... я турок... почище тебя.

Тут вмешались трое торговцев и высвободили Колонью из толпы. Они выступили свидетелями, что старик дважды громко и ясно объявил, что признает ислам своей верой, а потому он теперь неприкосновенен. Его повели домой бережно и торжественно, как невесту. Да ничего другого и не оставалось, так как старик был вне себя, дрожал всем телом и бормотал бессвязные и бессмысленные слова.

Удивленные и разочарованные люди, которые вели Кулиера и были его обвинителями, судьями и палачами, отпустили и его — пусть идет своей дорогой в Фойницу.

Весть о том, что доктор из австрийского консульства принял ислам, быстро распространилась. Даже в этом ополоумевшем городе, где один безумный день сменялся другим, еще более безумным, и где творились такие несуразные вещи, которым нельзя было до конца поверить, весть о том, что Колонья принял ислам, явилась неожиданностью.

Так как никто из христиан не смел выходить на улицу, то слух нельзя было ни проверить, ни расследовать. Консул послал слугу в Долац к Иво Янковичу, но священник принял известие с недоверием и обещал прибыть к консулу, как только волнение немного утихнет, может быть, даже завтра.

По распоряжению консула Ротта под вечер отправился к дому Колоньи, расположенному на каменистой круче. Вернулся он через полчаса, бледный и против обыкновения молчаливый. Он был напуган неизвестными людьми дикого вида, вооруженными до зубов, кричавшими ему прямо в лицо: «Принимай мусульманскую веру, гяур, пока не поздно!» Они вели себя словно пьяные или потерявшие рассудок. Но еще сильнее поразило его то, что он нашел у Колоньи.

Шагнув в дом, откуда навстречу ему вышли вполне мирно настроенные и безоружные турки, он увидел встревоженного албан-

ца, слугу Колоньи. В прихожей был беспорядок. Пол залит водой, а из глубины доносился голос Колоньи.

Старик ходил по комнате в сильном волнении; всегда серое, бескровное лицо его покраснело, нижняя челюсть дрожала. Прищурившись, как смотрят вдаль, он глядел на переводчика долгим, пронизывающим и враждебным взглядом. Ротта не успел договорить, что пришел по поручению генерального консула узнать, что тут случилось, как Колонья взволнованно перебил его:

— Ничего, ничего не случилось и не случится. Прошу обо мне не беспокоиться. Я свою позицию хорошо защищаю. Стою тут и защищаю как хороший солдат.

Старик остановился, порывисто вскинул голову, выпятил грудь и прерывающимся шепотом повторил:

— Да, тут стою. Тут, тут.

— Стойте... стойте... господин доктор,— залепетал суеверный и трусливый Ротта, сразу лишившийся обычной своей наглой самоуверенности. Он попятился и, не спуская глаз с доктора, дрожащей рукой нащупал сзади ручку двери, не переставая твердить: — Вы стойте, стойте...

Но старик, неожиданно изменив напряженную позу, вдруг доверительно и мягко нагнулся к перепуганному Ротте. На лице у него, вернее в глазах, появилась многозначительная и торжествующая улыбка. И, будто сообщая великую тайну, он тихо промолвил, грозя пальцем:

— Магомет говорит: «Дьявол вместе с кровью вращается в теле человека». Но Магомет говорит также: «Воистину, вы узрите господа своего, как видите луну в полнолуние!»

При этих словах он резко отпрянул и принял серьезный и обиженный вид. А толмач, который и от гораздо меньшего пришел бы в смертельный ужас, воспользовавшись моментом, неслышно отворил дверь и, словно тень, скрылся в прихожей, не простившись.

На дворе сияла луна. Ротта бежал по переулкам, пугаясь каждой тени и все время чувствуя, как по спине у него пробегают мурашки. Но, и вернувшись домой и представ перед консулом, он все еще не мог прийти в себя и объяснить, что же такое случилось с Колоньей. Он только упорно повторял, что доктор сошел с ума, а на вопросы консула, на чем основано такое заключение, отвечал:

— Сумасшедший, сумасшедший! Как только человек начинает говорить о боге и дьяволе, значит, он сумасшедший. Но надо было его видеть, надо было его видеть,— продолжал твердить Ротта.

К вечеру весь город облетела весть, что доктор австрийского консульства открыто выразил желание перейти в ислам и что уже завтра состоится торжественная церемония. Но этому не суждено

было осуществиться, и потому никто не узнал правды о вероотступничестве доктора.

На другой день быстрее первой разнеслась весть, что утром Колонью нашли мертвым на садовой дорожке у ручья под скалой, на которой стоял его дом. У старика была прошиблена голова. Слуга-албанец не мог объяснить, когда Колонья вышел почью и как оказался в обрыве.

Узнав о смерти доктора, долацкий священник спустился в Травник разузнать насчет похорон. Рискуя подвергнуться нападению со стороны возбужденной толпы, брат Иво достиг докторского дома, но долго там не задержался. При всей своей толщине, он быстро и легко скатился по крутой тропинке мимо дубинок и алебард воинственно настроенных турок, не давших ему заглянуть в дом. Покойника уже обрядил ходжа, так как упомянутые три горожанина подтвердили, что доктор трижды добровольно и во всеуслышание заявил, что готов принять ислам и что он теперь куда более настоящий мусульманин, чем многие потурченные в городе. И Ротта, придя с телохранителем Ахметом после известия о смерти доктора, смог увидеть лишь нескольких суетившихся перед его домом турок; с тем он и вернулся в консульство. Ахмет остался на похороны.

Случись это в другое время, хотя бы чуть поспокойнее, и будь в Конаке кто-нибудь из старших начальников, в дело вмешались бы духовные и светские власти, австрийское консульство действовало бы решительнее, священник сумел бы проникнуть к влиятельным туркам, и судьба несчастного Колоньи разъяснилась бы. Теперь же, при всеобщем помешательстве и безвластии, никто никого не слушал и не понимал. Волнение, начавшее было утихать, нашло себе новую пищу — толпа ухватилась за труп старика как за счастливо подвернувшийся трофей. И она не выпустила бы его из своих рук без казней и кровопролития.

Доктора похоронили около полудня на одном из зеленых холмов крутого турецкого кладбища. Хотя базар был еще закрыт, многие турки покинули свои дома, чтобы присутствовать на похоронах доктора, принявшего ислам столь необычным и неожиданным образом. Но больше всего было вооруженной голытьбы из тех, кто вчера собирался его повесить. Сосредоточенные и мрачные, турки, сменяясь необыкновенно быстро и ловко, несли покойника, так что гроб с завернутым телом буквально скользил по плечам, которые они непрерывно подставляли.

Так крупный мятеж завершился неожиданным и волнующим событием. Сербов перестали подвергать казням. Словно после похмелья, на всех в городе напало смущение и каждый старался как можно скорее забыть происшедшее; толпы самых ярых крикунов

и отъявленных подстрекателей отхлынули в отдаленные кварталы, как река в свое русло, и водворился прежний порядок, казавшийся теперь каждому, хотя бы на некоторое время, лучше и терпимее. Травник был объят тяжелой, ровной тишиной, словно никогда и не нарушавшейся.

Возвращение Сулейман-паши Скоплянина ускорило процесс успокоения. Всюду чувствовались его твердое слово и умелая рука.

Сразу по приезде Сулейман-паша созвал наиболее видных городских торговцев и потребовал у них отчета, что они сделали с мирным городом и его мирными жителями. Он стоял перед ними в простой одежде, похудевший после похода, высокий, с тонкими и выпирающими, как у породистой борзой собаки, ребрами, с большими голубыми глазами, расспрашивая и браня их, как детей. Этот человек, который провел шесть недель в настоящем походе, а потом две недели в своих владениях на Купресе, строго смотрел на бледных, измученных, быстро протрезвившихся людей и резким голосом спрашивал их, с каких это пор базар получил право творить суд и расправу, кто дал им это право и о чем они думали эти последние десять дней.

— Райя, говорите вы, вышла из повиновения, непослушна и ленива. Согласен. Но ведь райя не дышит сама по себе, а прислушивается к дыханию своего господина. Это вам хорошо известно. Всегда сперва портятся господа, а райя лишь подражает им. А если райя вдруг выйдет из повиновения и обнаглеет, брось ее и ищи себе другую, потому что от этой уже толку не будет.

Сулейман-паша говорил как человек, который только вчера еще был свидетелем серьезных и трудных дел, о которых недалекие травницкие торговцы понятия не имели, а потому многое приходилось им разъяснять.

— Бог — честь и хвала ему! — дал нам две привилегии: владеть землей и устанавливать справедливость. Ну, а теперь попробуй подожми ноги на подушке и предоставь всяким потурченцам и голодранцам творить суд и расправу, вот кметы и начнут бунтовать. Кметы должны работать, а хозяин — смотреть за ними, потому что и траве нужна и роса и коса. Одно без другого немыслимо. Погляди на меня,— не без гордости обратился он к стоявшему ближе всех,— мне пятьдесят пять лет, а я еще могу до обеда объездить все мои имения вокруг Бугойна. И нет у меня плохих и непослушных кметов.

И действительно, его длинная шея и жилистые руки были обожжены солнцем и грубы, как у поденщика.

Никто не смог ему ничего ответить, но каждый норовил как можно скорее убраться подобру-поздорову, забыть о том, что было, и постараться быть забытым.

Как только волнение стало ослабевать, фон Миттерер начал расследовать дело о непонятном переходе Колоньи в магометанство и его таинственной гибели. Делал он это не ради самого Колоньи, которого и раньше считал невменяемым и не подходящим к службе. Хорошо зная его, фон Миттерер допускал, что доктор был способен в пылу ссоры вдруг объявить себя мусульманином; допускал и то, что он покончил жизнь самоубийством или, потеряв сознание, свалился в обрыв. Теперь, когда волнение улеглось и все приняло другой вид, а люди изменили образ мыслей и поведение, трудно было провести расследование того, что случилось при совершенно иных обстоятельствах, в атмосфере всеобщего безумия, крови и мятежа.

Но фон Миттерер должен был предпринять эти шаги ради престижа империи и дабы пресечь возможность нового нападения на австрийских подданных или служащих консульства. Да и священник Иво Янкович в интересах католического мира подбивал его требовать разъяснения об отступничестве и похоронах Колоньи.

Сулейман-паша, единственный в Конаке, кто симпатизировал фон Миттереру и всегда благоволил к нему больше, чем к Давилю (ему не нравилась внешность Давиля и то, что с ним он принужден был говорить через переводчика), старался угодить австрийскому консулу. Но в то же время он искренне советовал не обострять дела и не заходить чересчур далеко.

— Я понимаю, что вы должны охранять интересы ваших подданных,— говорил он консулу тем холодным, рассудительным и размеренным тоном, который все, да и он сам, считали непогрешимым,— понимаю, что иначе и быть не может. Только стоит ли связывать престиж императора с каждым из его подданных. Люди ведь бывают всякие, а престиж у императора один-единственный.

И Сулейман-паша сухо и холодно изложил ему возможный исход дела, который удовлетворит всех.

Вопроса о том, принял Колонья турецкую веру или нет, лучше всего не поднимать, ибо мятеж был так силен, что нельзя было отличить не только потурченца от правоверного турка или одну веру от другой, но даже день от ночи. А, по совести говоря, человек-то был такой, что от его отступничества и христианство много не потеряло, и турецкая вера не приобрела.

Что же касается темных обстоятельств его смерти сразу после столь непонятного перехода в ислам, то об этом следует расспрашивать еще меньше. Мертвые ведь не говорят, а человек, у которого ум за разум зашел и который не смотрит, куда ступает, может всегда поскользнуться. Это самое естественное решение, ни для кого не обидное. К чему выискивать другие возможности, в которых никогда нельзя будет полностью удостовериться и на кото-

Травницкая хроника

рые консульство никогда не сможет получить удовлетворительного ответа.

— Я не в состоянии разыскать и взять под стражу тех бродяг и дурней, которые взялись творить суд и расправу в Травнике и переводить людей в турецкую веру,— сказал в заключение Сулейман-паша,— вы же не можете поднять и расспросить покойника, лежащего на турецком кладбище. Теперь уж ничего не исправишь. Лучше оставить это и заняться более полезными делами. А ваша забота мне понятна, как моя собственная. Поэтому я прикажу расследовать и разъяснить смерть доктора, чтобы всем было понятно, что тут никто не виноват. Все это, ясно изложенное и подтвержденное, вы пошлете своему начальству, так что ни у вас, ни у нас не останется никакого сомнения и ничто не вызовет никаких нареканий.

Фон Миттерер и сам понимал, что если это и не лучшее, то, во всяком случае, единственно возможное решение. Но он все же попросил помощника визиря отдать еще кое-какие приказания и распоряжения, которые издали могли сойти как удовлетворительные и оправдательные для консульства.

Все это вместе с донесением Ротты о его последнем свидании с Колоньей могло более или менее успокоить Вену, предоставив дело Колоньи как несчастный случай со свихнувшимся человеком, и спасти престиж консульства. Но в душе фон Миттерер был недоволен ходом событий и самим собой.

Бледный, одинокий, сидя в полутемном кабинете и размышляя обо всем этом, он чувствовал себя безоружным и беспомощным перед целой цепью разнообразнейших обстоятельств; он честно, со всей преданностью исполнял свой долг, работал сверх сил, ясно понимая, что все это напрасно и безнадежно.

На дворе стояла июльская жара, а полковник дрожал и чувствовал порой, что и сам теряет сознание и падает в бездонную пропасть.

XVII

Этот второй и более страшный мятеж совершенно не коснулся французского консульства. Наоборот, центром его под конец стало австрийское консульство с доктором Колоньей. Тем не менее и во французском консульстве проводили дни и ночи без сна. За исключением двух коротких выходов Дефоссе, никто за эти несколько дней не смел даже показаться у окна. И для Давиля этот мятеж был мучительнее первого, так как к событиям такого рода человек не привыкает, а, наоборот, с каждым разом переносит их все труднее.

Как и во время первого мятежа, Давиль думал бежать из Травника, чтобы спасти жизнь и семью. Запершись в своей комнате, он предавался тягостному раздумью, предвидя самые мрачные возможности. Но перед прислугой и служащими, да и перед женой ничем не выдавал ни своих намерений, ни своего настроения.

Но даже и это общее несчастье не могло сблизить консула с его первым помощником. По нескольку раз в день он заводил разговор с Дефоссе (укрывшись в доме, они встречались чаще прежнего). Но ни один из этих разговоров не кончался хорошо и не приносил успокоения. Помимо всех прочих забот, сомнений и разочарований, Давиль ежеминутно должен был повторять себе, что живет бок о бок с чужим человеком, от которого его наглухо отделяют понятия и привычки. Даже несомненно хорошие стороны молодого человека: храбрость, самоотверженность, присутствие духа, особенно выявившиеся при таких обстоятельствах,— не могли привлечь Давиля. Ибо и достоинства человека мы принимаем и вполне ценим, только если они проявляются в форме, отвечающей нашим понятиям и склонностям.

Давиль, как и прежде, глядел на происходящее с чувством горечи и презрения, объясняя все прирожденной озлобленностью и варварским образом жизни этого народа, и заботился единственно о том, как при таких обстоятельствах спасти и защитить интересы Франции. Дефоссе, напротив, с объективностью, поражавшей Давиля, анализировал окружающие явления, стараясь найти причину и объяснение им как в них самих, так и в породивших их обстоятельствах, не принимая в расчет, вредны или полезны, приятны или не приятны они лично ему и консульству. Эта холодная, безразличная объективность всегда смущала Давиля и вызывала в нем раздражение, тем более что он не мог одновременно не видеть в ней свидетельства превосходства молодого человека. В нынешних условиях эта объективность была ему еще неприятней, и он с трудом выносил ее.

Всякий разговор, служебный, полуслужебный или неслужебный, порождал у Дефоссе множество ассоциаций, обобщений и трезвых умозаключений, а у консула — раздражение и оскорбленное молчание, которого молодой человек даже не замечал.

Этот сын богатых родителей, разносторонне одаренный, рассуждал как миллионер и вел себя смело, своенравно и расточительно. Для консульства Давиль не извлекал из него большой пользы. Хотя по должности в обязанность Дефоссе входило начисто переписывать донесения консула, Давиль избегал поручать ему эту работу. Его всегда удерживало опасение, что молодой человек, ум которого обладал, по-видимому, особой остротой, переписывая ра-

порт консула, отнесется к нему критически. Сердясь на самого себя, Давиль против собственной воли каждую третью фразу мысленно отдавал на суд своему сотруднику. И потому он предпочитал в конечном счете важные донесения писать и переписывать собственноручно.

Короче говоря, во всех делах и, что еще важнее, во всех тревожных переживаниях, связанных с новым походом Наполеона на Вену, Дефоссе был ему не помощником, а часто неприятной обузой. Они были настолько чужды друг другу, что не могли разделить даже радость. Когда в половине июля, почти одновременно с окончанием мятежа, пришла весть о победе Наполеона при Ваграме и вскоре после этого о перемирии с Австрией, для Давиля наступила, как это бывало периодически, полоса просветления. Ему казалось, что все обернулось счастливо и завершилось благополучно. Единственно, что портило ему хорошее настроение, было равнодушие Дефоссе, который не выражал восторга по поводу успеха, так же как не испытывал сомнений и страха, предшествовавших этому успеху.

Для Давиля была мучительно непонятна всегда одна и та же умная и равнодушная улыбка на лице молодого человека. «Точно он абонировался на победы»,— говорил Давиль своей жене, так как ему некому было больше жаловаться, а молчать было невтерпеж.

Снова наступили жаркие и роскошные травницкие дни конца лета, самые чудесные для тех, кому всегда хорошо, и наименее трудные для тех, кому плохо и летом и зимой.

В октябре 1809 года в Вене был заключен мир между Наполеоном и венским двором. Были образованы Иллирийские провинции, куда вошли Далмация и Лика, то есть сфера деятельности Давиля. В Любляну, главный город новой Иллирии, прибыли генерал-губернатор и главный интендант с целым штабом полицейских, таможенных и податных чиновников, которые должны были наладить управление и в особенности торговлю и связи с Ближним Востоком. Еще до этого генерал Мармон, вовремя подоспевший к битве под Ваграмом, получил звание маршала. Наблюдая за всем этим, Давиль испытывал грустное и приятное чувство человека, содействовавшего победе и славе других, но оставшегося в стороне от славы и наград. Это чувство нравилось ему и облегчало трудности травницкой жизни, которых никакие победы не в состоянии были серьезно изменить.

Как и раньше, Давиля мучил один вопрос — и в этом он никому не смел и не мог признаться,— вопрос о том, окончательная ли это победа и как долго продлится мир?

На этот вопрос, от которого зависело не только его спокойствие, но и судьба его детей, он нигде не находил ответа, ни в самом себе, ни у окружающих.

На одном особо торжественном приеме Давиль познакомил визиря с подробностями наполеоновских побед и статьями венского мира, в особенности с теми, которые касались стран, непосредственно соседствующих с Боснией. Визирь поздравил с победами и выразил удовлетворение тем, что их добрососедские отношения упрочатся и теперь, под французским управлением, в странах вокруг Боснии воцарятся мир и порядок.

Но в устах визиря все эти слова «война», «мир» и «победа» звучали как-то мертво и словно бы издалека, и произносил он их холодным и жестким голосом, с окаменелым лицом, будто дело шло о событиях далекого прошлого.

Тахир-бег, тефтедар визиря, с которым Давиль беседовал в тот же день, был гораздо общительнее и разговорчивее. Он расспрашивал о положении в Испании, интересовался подробностями организации управления новыми Иллирийскими провинциями. Ясно было, что он хотел получить сведения и сравнить их с теми, что у него имелись, но из его любезной словоохотливости и умного любопытства нельзя было извлечь больше, чем из молчаливого и полнейшего равнодушия визиря. Из его слов можно было лишь понять, что он не видит конца войнам и наполеоновским завоеваниям. А когда Давиль попытался заставить его выразиться яснее, тефтедар уклонился от ответа.

— Ваш император победитель, а победителя все видят в ореоле блеска, или, как говорит персидский поэт, «лицо победителя подобно розе»,— закончил тефтедар с лукавой улыбкой.

Давиль всегда ощущал какую-то необъяснимую неловкость от странной улыбки, никогда не сходившей с лица тефтедара, от которой глаза его становились дьявольски прищуренными и чуть раскосыми. И после каждого разговора с ним Давиль чувствовал себя смущенным и как бы обокраденным. Каждый такой разговор вместо ожидаемого решения и ответа пугал его новыми вопросами и новыми неясностями. А это был единственный человек в Конаке, желавший и умевший вести деловые разговоры.

Как только был заключен мир, общение между консульствами возобновилось. Консулы стали обмениваться визитами и велеречиво выражать свою неуверенную радость по случаю мира, скрывая под этим подчеркнутым воодушевлением смущение по поводу всего, что каждый из них предпринимал друг против друга за последние месяцы. Давиль старался не обидеть фон Миттерера поведением победителя, не желая в то же время терять преимуществ, обеспеченных победой. Полковник судил обо всем с боль-

шой осторожностью, как человек желающий возможно меньше сосредоточиваться на сегодняшних неприятностях, возлагая все надежды на будущее. Оба скрывали свои истинные мысли и самый неподдельный страх под покровом меланхолических разговоров, к каким часто прибегают пожилые люди, еще ожидающие чего-то от жизни, но сознающие свою беспомощность.

Госпожа фон Миттерер еще не виделась с госпожой Давиль и счастливо избегала встреч с Дефоссе, который, конечно, еще весной «умер» для нее и почивал в обширном некрополе остальных ее разочарований. Во время похода на Вену она упрямо и навязчиво была «всей душой на стороне великого и несравненного корсиканца», чем омрачала фон Миттереру и дни и ночи. Даже в четырех стенах своей спальни консул не выносил неосторожных разговоров, и каждое неуместное слово вызывало у него физическую боль.

В это лето Анна-Мария вновь вернулась к своей давнишней страсти — любви к животным. На каждом шагу прорывалась ее чрезмерная и болезненная жалость к тягловому скоту, собакам, кошкам и прочим домашним животным. Вид облезлых, измученных малорослых волов, устало переступающих своими тонкими ногами, их кроткие глаза, облепленные роями мух, вызывали у Анны-Марии настоящий нервный припадок. Повинуясь своей страстной натуре, она проявляла заботу об этих животных при всех обстоятельствах, в любом месте, без всякой меры и осмотрительности, что доставляло ей новые разочарования. Она собирала хромых собак и паршивых кошек, лечила их и ухаживала за ними. Кормила птиц, и без того веселых и сытых. Накидывалась на крестьянок, носивших кур подвешенными за ноги через плечо. В городе останавливала переполненные повозки и перегруженных лошадей, требовала от крестьян, чтобы они сняли часть поклажи, смазали животным раны, подправили врезавшийся хомут или ослабили тугую подпругу.

Все это были невозможные и немыслимые для данной страны вещи, которые приводили к смешным сценам и неприятным столкновениям.

Однажды госпожа фон Миттерер заметила на крутой улице длинную повозку, верхом нагруженную мешками с зерном. Два вола тщетно старались втащить груз в гору. Тогда привели еще клячу, впрягли ее впереди волов и стали, понукая, гнать животных. Крестьянин, шагавший рядом с волами, хлестал их то по впалым бокам, то по мягкой морде, а лошадь стегал бичом здоровенный турок, загорелый, с обнаженной грудью, некий Ибро Жвало, последний человек в городе, пропойца возчик, иногда исполнявший должность палача и тем отнимавший заработок у цыган.

Волы и лошадь никак не могли совместить свои усилия и дернуть разом. Крестьянин то и дело подкладывал камень под заднее колесо. Животные тяжело дышали и вздрагивали. Возчик хрипло ругался, уверяя, что левый вол нарочно не желает тянуть. Их перепрягли, но тот же вол, ослабев, упал на передние ноги. Второй вол с лошадью продолжал тянуть. Взвизгнув, Анна-Мария подбежала и начала кричать на возчика и крестьянина; глаза ее были полны слез. Крестьянин снова подложил камень и смущенно смотрел на чужестранку. Но Жвало, потный и обозленный на вола, который, по его мнению, лишь притворялся, что тянет, согнутым указательным пальцем стер со лба пот, стряхнул его на землю, обругал нищих и тех, кто их плодит, и, сосредоточив весь свой гнев на жене консула, двинулся прямо на нее с бичом в левой руке.

— Хоть ты, баба, убирайся с глаз долой, не изводи меня, иначе, ей-богу... я тебя...

И возчик замахнулся бичом. Вплотную перед собой Анна-Мария увидела искаженное, в морщинах и шрамах, потное и грязное лицо Жвало, с гримасой гнева и злобы, но больше всего усталости, отчего оно казалось плачущим; такие лица можно наблюдать на состязании бегунов среди победителей. В этот момент подбежал перепуганный телохранитель, оттолкнул обезумевшего возчика и отвез домой жену консула, навзрыд плакавшую от бессильной ярости.

Двое суток Анна-Мария дрожала при воспоминании об этой сцене и со слезами просила консула, чтобы он потребовал строго наказать этих людей за жестокость и за оскорбление жены консула. По ночам, вся дрожа, она вскакивала с постели и с криком отгоняла от себя лицо Жвало.

Фон Миттерер ласково успокаивал жену, хотя знал, что ничего сделать не может. Овес, который везли в тот раз, предназначался для амбара визиря. Жвало был ничего не значащим ничтожеством, вступать в препирательство с которым не следовало. А главное, виновницей всему была его собственная жена, нелепо вмешавшаяся, как бывало столько раз при других обстоятельствах, в дела, которые ее не касались, и теперь, как обычно, не желавшая слышать никаких доводов и объяснений. Поэтому консул успокаивал ее, как только мог, словно ребенка, обещая сделать все, терпеливо выслушивал упреки и оскорбления по своему адресу, надеясь, что жена позабудет свою манию.

Во французском консульстве новость.

Госпожа Давиль на четвертом месяце беременности. Почти не изменившаяся, хрупкая и легкая, она быстро и неслышно двигалась по большому дому и саду, приготовляла, закупала, планиро-

вала и распоряжалась. Своего четвертого ребенка она носила тяжело. Но хлопоты и физическое недомогание отвлекали от мысли о скоропостижной смерти сына, о котором она непрестанно думала, хотя никогда не говорила.

Молодой Дефоссе доживал в Травнике последние дни. Он ждал только приезда первого курьера из Стамбула или из Сплита в Париж, чтобы отправиться с ним вместе. Он был переведен в министерство, но его известили, что в течение этого же года он будет назначен в посольство в Стамбул. Материал для книги о Боснии был уже готов. Дефоссе был доволен, что познакомился с этой страной, и счастлив, что мог ее покинуть. Он боролся с ее тишиной, с ее многочисленными бедами и теперь уезжал несломленный и бодрый.

Перед отъездом, в праздник рождества богородицы, он вместе с госпожой Давиль посетил монастырь в Гуче Горе. Из-за совершенно испортившихся отношений между консульством и монахами Давиль не захотел с ними ехать. А отношения действительно стали более чем прохладными. Распри между правительством Французской империи и Ватиканом достигли в то время своей вершины. Папу заточили, Наполеона отлучили от церкви, монахи уже много месяцев не посещали консульства. И тем не менее благодаря госпоже Давиль гучегорские монахи приняли их хорошо. Дефоссе в душе не мог не удивляться, как монахи умели отделять свое личное отношение к гостям от того, к чему их обязывает положение и правильно понятый долг. В их поведении было столько скромности и оскорбленной сдержанности, сколько требовало их достоинство, и столько сердечности, сколько полагалось по правилам старинного гостеприимства и гуманности, которые должны преобладать над всеми мимолетными столкновениями и преходящими положениями. В том и другом соблюдалось чувство меры, и в общей сложности все выражалось в непринужденности и свободной, естественной манере обращения. Никак нельзя было ожидать столько любезности и врожденного такта от этих грубых, отяжелевших и своенравных людей со свисающими усами и смешно остриженными круглыми головами.

Дефоссе имел возможность еще раз наблюдать крестьян-католиков, поближе познакомиться с жизнью монахов-францисканцев «боснийского образца» и еще раз поговорить и поспорить со своим «уважаемым противником» братом Юлианом.

Был теплый и погожий праздничный день, лучшее время года, когда фрукты созрели, а деревья еще зеленые. Громоздкая побеленная монастырская церковь быстро наполнялась крестьянами в чистых праздничных одеждах, преимущественно белых. Перед началом большой мессы вошла в церковь и госпожа Давиль. Дефоссе

остался в сливовом саду с братом Юлианом, который был в тот день свободен. Они прогуливались, занятые разговором.

Как при каждом свидании, они толковали о взаимоотношениях церкви и Наполеона, о Боснии, о призвании и роли монахов, о судьбе этого народа, состоявшего из людей различных вероисповеданий.

Окна в церкви были открыты, и оттуда по временам доносились то звон колокольчика, то глухой старческий голос настоятеля, служившего мессу.

Молодые люди наслаждались дискуссией, как здоровые дети — игрой. А споры их, которые велись на плохом итальянском языке, были полны наивности, смелых утверждений и бесплодного упрямства, вертелись всегда в одном кругу и неизменно возвращались к исходному пункту.

— Не можете вы нас понять,— твердил монах на все замечания молодого человека.

— Думаю, что за это время мне удалось достаточно хорошо узнать условия жизни в вашей стране, и, не в пример многим другим иностранцам, я сумел разглядеть все ценное, что в ней кроется, и правильно отнестись к недостаткам и отсталости, которые иностранец так быстро замечает и столь легко осуждает. Но позвольте вам сказать, что мне часто непонятна позиция, которую занимаете вы, монахи.

— Я же говорю, что вам этого не понять.

— Нет, я понимаю, брат Юлиан, но того, что вижу и понимаю, не могу одобрить. Вашей стране нужны школы, дороги, врачи, общение с остальным миром, деятельность, движение. Знаю, что, пока властвуют турки и пока между Боснией и Европой не восстановится связь, вы не сумеете ничего этого добиться и осуществить. Но вам, как единственно образованным людям в стране, следовало бы подготавливать народ и настраивать его в таком направлении. А вместо этого вы защищаете феодальную, консервативную политику реакционных европейских держав и хотите связать себя с той частью Европы, которая осуждена на гибель. А это непонятно, потому что народ ваш, не обремененный ни традициями, ни сословными предрассудками, должен был бы, судя по всему, оказаться на стороне свободных и просвещенных государств и сил Европы...

— Кому нужно просвещение без веры в бога? — перебил его монах.— Такое просвещение и в Европе не продержится долго, да и сейчас приносит лишь беспокойства и несчастья.

— Ошибаетесь, дорогой брат Юлиан, глубоко ошибаетесь. Такое беспокойство не повредило бы и вам здесь. Вы видите, что народ в Боснии исповедует три или даже четыре веры, разъединен

кровной враждой, а в целом отделен непроходимой стеной от Европы, то есть от всего остального мира и жизни. Смотрите, как бы на вас, монахов, не пал исторический грех, что вы этого не поняли и повели свой народ по неправильному пути, не подготовив его вовремя к тому, что его неминуемо ожидает. Среди христиан Турецкой империи все чаще раздаются голоса о свободе и освобождении. И, конечно, настанет день, когда и в эти края придет свобода. Но давно уже известно, что недостаточно получить свободу, гораздо важнее стать достойным ее. Для вас, лишенных современного воспитания и свободолюбивых дерзаний, не будет толка, если вы освободитесь от турецкой власти. В течение столетий ваш народ во многом настолько уподобился своим угнетателям, что извлечет мало пользы, если в один прекрасный день турки уйдут, наградив его, помимо недостатков райи, еще и собственными пороками: леностью, нетерпимостью, склонностью к насилию и культу грубой силы. Это, в сущности, и нельзя было бы считать освобождением, потому что вы не были бы достойны свободы, не сумели бы ею насладиться, а либо сами превратились бы в рабов, либо, подобно туркам, стали бы порабощать других. Нет сомнения, что когда-нибудь и ваша страна войдет в состав Европы, но может случиться, что войдет разделенной и обремененной доставшимися ей по наследству понятиями, привычками и инстинктами, везде уже изжитыми, которые, подобно призракам, будут мешать ее нормальному развитию и сделают из нее диковинное чудовище и предмет добычи для любого, как теперь она является добычей для турок. А народ этого не заслуживает. Ведь ни один народ, ни одна страна Европы не кладут в основу своего прогресса веру...

— В том-то и несчастье.

— Несчастье жить так, как вы живете...

— Несчастье жить без бога и изменить вере отцов. А мы, при всех наших ошибках и пороках, не изменили ей, и о нас можно сказать: «Multum peccavit, sed fidem negavit» [1],— прервал собеседника брат Юлиан, удовлетворяя свою страсть к цитатам.

Спор их возвращался к исходной точке. Оба верили в то, что доказывали, но ни один не выражался ясно и не слушал, что говорил другой.

Дефоссе остановился у старой корявой сливы, покрытой толстым слоем зеленоватого лишая.

— Неужели вам никогда не приходило в голову, что разноплеменные инаковерующие народы, находящиеся под турецкой властью, когда-нибудь, после того как Оттоманская империя падет и уйдет из этих краев, должны будут найти общую, более

[1] Много грешил, но от веры не отрекся *(лат.)*.

широкую, более совершенную, разумную и человечную основу для своего существования...

— У нас, католиков, давно уже есть такая основа. Это Credo [1] римско-католической церкви. Лучшей нам и не надо.

— Но вы же знаете, что не все ваши соотечественники в Боснии и на Балканах принадлежат к этой церкви, да и никогда не будут принадлежать к ней одной. Вы видите, что никто в Европе уже не объединяется на этой основе. А потому надо искать другой общий знаменатель.

Донесшееся из церкви пение прервало их разговор. Сперва слабо и несогласованно, но постепенно все стройнее и уверенней пели женщины и мужчины по-деревенски в унисон и протяжно:

— Здрааво тело Иисуса...

Пение раздавалось все громче. Низкая массивная церковь без колокольни, покрытая черной деревянной крышей, слегка осевшая к фасаду, вся дрожала и звенела от голосов и была похожа на корабль, полный невидимых певцов, который с распущенными по ветру парусами несся по волнам. Собеседники умолкли на минуту. Дефоссе хотелось знать слова молитвы, которую народ пел с таким воодушевлением. Монах переводил ему каждое слово. По смыслу молитва напоминала древнее церковное песнопение:

Ave verum corpus natum
De Maria virgine...

Пока монах подбирал слова второй строфы, Дефоссе рассеянно прислушивался, воспринимая лишь тягучую, монотонную, печальную и примитивную мелодию, казавшуюся ему то стройным блеянием огромного стада овец, то воем ветра в дремучем лесу. И все спрашивал себя, возможно ли, что это причитание священника, доносившееся из приземистой церкви, выражает ту же мысль и ту же веру, что и пение упитанных и образованных каноников или бледных семинаристов во французских соборах. «Urjammer» [2],— подумал Дефоссе, вспомнив, как Давиль и фон Миттерер отозвались о песне Мусы, и нехотя двинулся в глубину сада, спасаясь от мелодии, подобно тому как человек отворачивается от невыразимо грустного пейзажа.

Там Дефоссе с монахом продолжали разговор, обмениваясь колкими замечаниями, после которых каждый оставался при своем мнении.

— С тех пор как я приехал в Боснию, меня интересует вопрос, как это вы, монахи, видевшие свет и учившиеся в школах,

---

[1] Верую *(лат.)*.

[2] Древнее, исконное горе.

люди по существу добрые и подлинные альтруисты, не умеете смотреть на вещи шире и свободнее, не понимаете требований времени и не чувствуете назревшей необходимости подходить к человеку как к таковому, дабы совместными усилиями найти более достойный и здоровый образ жизни...

— С якобинскими клубами!

— Но во Франции, брат Юлиан, давно уже нет якобинских клубов!

— Нет потому, что они перекочевали в министерства и школы.

— А у вас-то нет ни школ и ничего в этом роде, и, когда в один прекрасный день цивилизация дойдет до вас, вы не сможете ею воспользоваться и останетесь раздробленной, растерянной, бесформенной массой, без цели и направления, без органической связи с человечеством, со своими соотечественниками и даже с ближайшими согражданами.

— Но с верой в бога, сударь.

— С верой, с верой! Не вы одни верите в бога. Верят миллионы людей. Каждый по-своему. Но это не дает права обособляться и замыкаться в какой-то нездоровой гордыне, отвернувшись от остального человечества, а часто и от самых близких людей.

Народ начал выходить из церкви, хотя пение крестьян еще продолжалось и походило на постепенно стихающий гул колокола. Появление госпожи Давиль прервало эту бесконечную дискуссию.

Пообедали в монастыре, а потом тронулись в обратный путь. Брат Юлиан и Дефоссе препирались еще и за столом. А затем расстались навсегда, простившись как лучшие друзья.

Давиль повел Дефоссе к визирю с прощальным визитом. Таким образом, молодой человек еще раз увидел Ибрагим-пашу. Визирь был мрачнее чем когда-либо, говорил низким, глухим голосом, медленно выговаривал слова, долго двигая нижней челюстью, словно молол их. Напряженно, почти сердито смотрел он на Дефоссе покрасневшими усталыми глазами. Ясно чувствовалось, что мысли его были далеко, что ему трудно было понять да и не хотелось понимать молодость, которая куда-то стремится, прощается и уезжает, и что единственным его желанием было освободиться от гостей.

Официальный визит к австрийскому консулу также был краток и сошел гладко. Полковник принял его с каким-то грустным достоинством, но любезно и выразил сожаление, что из-за тяжелой и длительной мигрени госпожа фон Миттерер не может с ним проститься.

С Давилем дело обстояло труднее и скучней. Помимо письменных донесений, Дефоссе поручалось передать много устных заяв-

лений, весьма путаных и с разными оттенками. С приближением отъезда поручения эти менялись и сопровождались все новыми оговорками и наставлениями. Под конец Дефоссе уже не мог разобраться, что он должен был говорить о жизни в Травнике и работе в консульстве, ибо консул хотел передать через него бесчисленное множество жалоб, просьб, замечаний и примечаний; часть из них предназначалась лично министру, часть — министру и министерству, часть только Дефоссе, а часть всем вообще. Осторожность, тонкость и педантичность этих бесчисленных поручений приводили молодого человека в замешательство, нагоняли зевоту и заставляли думать о другом.

Дефоссе уехал в конце октября в такой же мороз и раннюю метель, как и приехал.

Из глаз уезжающего Травник скрывается не постепенно, а внезапно исчезает, словно проваливается в пропасть. Так он потонул и в памяти молодого человека. Последнее, что он видел, была низкая, похожая на шлем крепость и рядом с ней мечеть со стройным и красивым минаретом, напоминавшим султан на шапке. Направо от крепости, на крутой скале виднелся большой старый дом, где он однажды посетил Колонью.

Удаляясь по ровной и хорошей дороге к Турбету, Дефоссе думал о докторе, о его судьбе и их необычном ночном разговоре.

«...Вы, живя здесь, знаете, что рано или поздно вернетесь на родину, в лучшие условия и к более достойному образу жизни. Вы проснетесь и освободитесь от этого кошмара, мы же никогда, так как это наша жизнь».

Как и в ту ночь, когда они сидели рядом в накуренной комнате, Дефоссе снова ощутил сильное волнение, которым, казалось, был насыщен воздух вокруг доктора, и услышал его доверительный и горячий шепот: «Но в конечном счете все хорошо и все разрешается гармонично».

Так Дефоссе покинул Травник, вспоминая лишь несчастного «иллирийского доктора», мысленно уделив ему одно мгновение.

Но всего лишь мгновение, потому что молодость не любит задерживаться на воспоминаниях и долго предаваться одним и тем же мыслям.

XVIII

Во французском консульстве с самых первых дней установилась атмосфера семейной жизни, той по-настоящему семейной жизни, столь во многом зависящей от женщины, когда все перемены и удары судьбы не в состоянии побороть реальное ощущение семьи, жизни с рождениями, смертями, мучениями и радостями и

неведомыми внешнему миру прелестями. Эта жизнь распространяла свое влияние за пределы консульства и добивалась того, перед чем бессильны были и требования, и подкуп, и уговоры: она хотя бы до известной степени сближала обитателей консульства с жителями города. И это несмотря на всю ненависть, которая, как мы видели, продолжала существовать по отношению к консульству как таковому.

Еще в позапрошлом году, когда так внезапно умер ребенок Давилей, во всех без исключения домах знали об этом несчастье со всеми подробностями, и все приняли в нем живейшее участие. И еще долго спустя люди с симпатией и сочувствием оборачивались вслед госпоже Давиль во время ее редких выходов в город. Кроме того, домашняя прислуга, а затем долацкие и травницкие женщины (в особенности еврейки) по всему городу рассказывали о дружной семейной жизни Давилей, о «золотых руках» госпожи Давиль, об ее сноровке, бережливости, благородстве и чистоте. И даже в турецких домах, где, говоря об иностранных консульствах, суеверно сплевывали, было до мелочей известно, как жена французского консула купает и убаюкивает детей, во что они одеты, как причесаны и какого цвета у них ленточки в локонах.

А потому вполне естественно, что за ходом беременности госпожи Давиль женщины во всех домах следили внимательно и озабоченно, будто дело шло о хорошо знакомой соседке. Гадали, на каком она месяце, пересказывали, как она носит ребенка, насколько изменилась и какие приготовления делает для новорожденного. По одному этому можно судить, что означали роды и материнство в жизни этих людей, столь однообразной и безрадостной.

А когда пришло время, в консульстве появилась старая Матишич, вдова видного, но разорившегося торговца, слывшая лучшей повитухой во всем Долаце. Эта старушка, без которой не обходились ни одни роды в богатых домах, распространила еще больше рассказов о госпоже Давиль как о матери и хозяйке. Она в мельчайших подробностях описывала порядок, удобства и красоту этого дома, чистого, как рай, где так хорошо пахло и где даже самый темный угол был освещен и отоплен: о жене консула, которая до последней минуты, уже лежа в постели и мучимая болями, приказывала и распоряжалась «одними глазами», о ее набожности и необыкновенной терпеливости и, наконец, о поведении консула, полном достоинства и любви, совсем не свойственных нашим мужьям. И еще много лет спустя старая Матишич, успокаивая и стыдя молодых рожениц, чересчур волновавшихся или предававшихся страху, ставила в пример госпожу Давиль.

Ребенок появился на свет в конце февраля; это была девочка.

Тут же началось паломничество из травницких и долацких домов. (И теперь можно было видеть, насколько народ, если и не примирился с существованием консульства, то, во всяком случае, сблизился с семьей Давиля.) Приходили хозяйки из Долаца, румяные и спокойные, в атласных шушунах, двигаясь плавно и степенно, как утки по льду. За каждой из них осторожно шагал прозябший мальчишка с горящими ушами и сосульками под носом, которых он не мог утереть, держа на вытянутых руках завернутые подарки. Многие жены бегов вместе с дарами присылали и цыганку справиться о здоровье консульши. Подарки выставили в комнате роженицы: круглые противни с баклавой, рулеты с финиками, сложенные в виде поленницы, вышивки и куски шелкового полотна, баклаги и бутыли ракии или мальвазии, заткнутые листьями комнатных цветов.

Госпожа фон Миттерер, выражавшая в свое время сочувствие по поводу смерти мальчика Давилей, теперь приняла живое участие в радостном событии. Она принесла в подарок ребенку красивый и дорогой золотой итальянский медальон, отделанный черной эмалью и бриллиантами, рассказав кстати и путаную трогательную историю этого медальона. Анна-Мария заходила несколько раз и была немного разочарована, что все протекало так просто, легко и гладко, без непредвиденных осложнений и каких-либо поводов к волнению. Она садилась около госпожи Давиль и пространно и несвязно говорила о том, что ожидает в жизни это маленькое существо, о положении женщины в обществе и о судьбе вообще. Утопая в белой кровати, госпожа Давиль, хрупкая и бледная, смотрела на нее и слушала, совсем не вникая в то, что она говорила.

Самый большой и красивый подарок прислал визирь. Это была огромная баклава, покрытая поверх шелкового полотна широким куском алой парчи из Бруссы. Баклаву на огромном подносе несли слуги, а впереди шел чиновник. Так они проследовали через весь базар как раз около полудня.

Давна, всегда бывший в курсе всех дел, узнал и о трудностях, с которыми этот огромный противень-поднос покинул Конак. Препятствия чинил хазнадар. Радеющий по обыкновению о сокращении расходов, Баки старался урезать каждый подарок визиря.

Когда стали выбирать поднос и совещаться, какую ткань послать в подарок, визирь приказал положить баклаву на самый большой поднос, какой только был в Конаке. Баки сперва доказывал, что вообще не надо ничего посылать, так как у французов, мол, нет такого обычая, а когда это не помогло, спрятал самый большой поднос и подсунул другой, поменьше, но слуги Тахир-

бега разыскали первый. Хазнадар визжал тонким голосом, осипшим от злости:

— Берите еще больше! Подарите им весь дом, это будет самое лучшее! Раздарите и раздайте все, и так все льется через край!

Когда он увидел, что на покрывало берут лучший кусок ткани, он снова взвизгнул и повалился на парчу, обернув ее вокруг себя.

— Не смейте, не позволю! Разбойники! Дармоеды! Почему свое не отдаете?

Едва удалось оттащить его от парчи и накрыть ею подарок. А Баки остался, стеная как раненый и проклиная всех консулов и все консульства на свете, все роды и всех рожениц, и глупые обычаи делать подарки, и самого несчастного визиря, который не умеет защищать и хранить то немногое, что у него оставалось, а слушает этого обезумевшего расточителя-тефтедара и расшвыривает и раздаривает направо и налево как туркам, так и гяурам.

Ребенка, увидевшего свет во французском консульстве, крестили только месяц спустя, когда спали морозы, которые в этом году наступили лишь в конце зимы. Девочке дали имя Евгения-Стефания-Аннунциата и записали в книгу крещеных в долацком приходе 25 марта 1810 года, в самый праздник благовещения.

Этот год, спокойный и обещавший много хорошего, каждому принес что-то из того, чего тот хотел и ожидал.

Фон Миттерер получил наконец ясные инструкции, как он должен вести себя по отношению к французскому консулу. («В личных сношениях быть дружественным, вплоть до сердечности, но не показывать этих отношений ни перед турками, ни перед христианами, проявляя известную холодность, достоинство и сдержанность», и т. д.) Вооруженный этими инструкциями, фон Миттерер вел себя свободнее и до какой-то степени естественнее. Беда была только с Анной-Марией, никогда не признававшей ничьих инструкций и ни в чем не желавшей знать границы и меры.

Помолвка и венчание австрийской принцессы Марии-Луизы с Наполеоном стали для Анны-Марии предметом большого волнения. Она следила по венским газетам за всеми подробностями церемониала, знала фамилии всех участвующих лиц и помнила каждое слово, которое, согласно газетам, было при этом сказано. А когда она вычитала где-то, как Наполеон, не дождавшись приезда своей августейшей невесты на условленном месте, помчался ей навстречу в обыкновенном экипаже, инкогнито, и вскочил к ней в карету где-то посреди дороги, Анна-Мария заплакала от восторга и, вихрем ворвавшись в кабинет мужа, объявила,

что она права, считая корсиканца необыкновенным человеком и единственным в своем роде примером величия и чувствительности.

Невзирая на то, что была страстная неделя, Анна-Мария посетила госпожу Давиль, торопясь рассказать ей обо всем, что узнала и прочла, и поделиться с ней чувством восхищения и восторга.

Госпожа Давиль, пользуясь необыкновенно солнечными апрельскими днями, всецело отдалась работе в саду.

С первого же года после ее приезда все работы в саду и заботы о цветах лежали на глухонемом садовнике Мунибе, прозванном Мунджарой. Госпожа Давиль так к нему привыкла, что с помощью знаков, мимики и пальцев легко договаривалась обо всем, что касалось сада. Да и не только об этом. Они разговаривали и о других вещах: о событиях в городе, о садах в Копаке и австрийском консульстве и, в особенности, о детях.

Мунджара жил со своей молодой женой в одном из бедняцких домов под Осоей. В жилище у него были чистота и порядок, жена была здоровая, красивая и трудолюбивая, но детей у них не было. Это было для них большим горем. Поэтому Мунджара с умилением глядел на детей госпожи Давиль, когда они приходили посмотреть на его работу. Всегда аккуратный, ловкий и проворный, он работал как крот и, не отрываясь от дела, улыбался всем своим загорелым, собиравшимся в складки лицом, как могут улыбаться только люди, лишенные дара речи.

Госпожа Давиль, в большой садовой соломенной шляпе на голове, стояла возле садовника, следя за унаваживанием, и сама разминала в пальцах комки земли, готовя клумбы для специального сорта гиацинтов, который ей удалось получить этой весной. Когда ей доложили, что госпожа фон Миттерер собирается к ней с визитом, она приняла это известие, как принимают сообщение о помехе или непогоде, и пошла переодеться.

В светлом и теплом уголке, где окна были занавешены, а стены обтянуты белым полотном, дамы сели, чтобы обменяться бесчисленным количеством слов и прекрасных чувств. Анна-Мария говорила за обеих; госпожа Давиль была прямо-таки подавлена ее разговорчивостью и сентиментальностью. Говорили только о бракосочетании Наполеона. Ничто не осталось скрытым от госпожи фон Миттерер. Она знала число и ранги присутствующих в церкви на венчании, знала, что императорский шлейф Марии-Луизы, который несли пять настоящих королев, был из тяжелого бархата длиною в девять футов, а на нем были вышиты золотые пчелы, точно такие, как на гербе рода Барберини, давшем, как известно, множество пап и государственных деятелей, которые в свою очередь, как известно...

Монолог госпожи фон Миттерер терялся где-то в далеком прошлом и сопровождался непонятными восклицаниями.

— Ах, мы должны быть счастливы, что живем в эти знаменательные времена, хотя, быть может, сами и не сознаем этого и не умеем оценить их подлинное значение,— говорила Анна-Мария, обнимая госпожу Давиль; не имея возможности ни уклониться, ни защититься, госпожа Давиль переносила все, хотя ей для счастья не нужны ни императорские свадьбы, ни исторические сведения, лишь бы дети были здоровы да в доме все было в порядке.

Затем следовал рассказ о великом императоре, который отправился в путь, как обыкновенный путник, в простом мундире, чтобы неожиданно вскочить в экипаж своей августейшей невесты, не будучи в состоянии дождаться минуты свидания, установленной протоколом.

— Разве это не удивительно? Разве не удивительно? — восклицала Анна-Мария.

— Конечно, конечно,— отвечала госпожа Давиль, хотя, по правде говоря, не видела тут ничего особенно величественного и по своему характеру предпочла бы, чтоб жених ждал невесту на предназначенном месте, не нарушая порядка.

— Ах, это величественно, просто величественно,— ворковала Анна-Мария, сбросив легкую кашемировую шаль.

Ей стало жарко от бурных восторгов, хотя на ней было тонкое бледно-розовое платье belle assemblee, слишком легкое для этого сезона.

Из простой учтивости и чтобы не остаться в долгу перед гостьей, госпоже Давиль тоже захотелось поведать о чем-нибудь красивом и приятном. Но поступки и склонности государей и великих личностей были для нее вещи чуждые и непонятные, да она и не имела о них настоящего представления, а потому не могла бы сказать ни единого слова, даже если бы решила лгать и притворяться. Чтобы поддержать разговор, она начала рассказывать Анне-Марии о новом сорте необыкновенно пышных гиацинтов, с оживлением объясняя, как будут выглядеть четыре клумбы разноцветных гиацинтов, которые займут всю середину большого сада. Она показала ящики, в которых лежали рассортированные по цветам коричневые неказистые и шероховатые луковицы этих будущих цветов.

В отдельном ящике хранились клубни благороднейшего сорта белых гиацинтов, доставленных курьером из Парижа, которыми госпожа Давиль особенно гордилась. Грядка этих гиацинтов опоясшет все четыре клумбы и как бы свяжет их наподобие белой ленты. Такого благородного по запаху, окраске и величине сорта еще ни у кого здесь нет. Она сообщила, с какими трудностями она

их получила, добавив, что в конце концов все обошлось не так уж дорого.

— Ах, ах! — восклицала Анна-Мария, все еще находясь в свадебном настроении.— Ах, это великолепно! Императорские гиацинты в такой дикой стране! Ах, дорогая, окрестим этот сорт «свадебная радость», или «августейшие молодожены», или...

Возбужденная собственными словами, Анна-Мария предлагала все новые названия, а госпожа Давиль, чтобы не затягивать разговор, заранее со всем соглашалась, словно имела дело с ребенком, которому бессмысленно перечить.

На этом разговор сам собой оборвался, так как в беседе слова одного должны побуждать к ответу другого, а тут каждая говорила о своем. Да иначе и быть не могло. Анна-Мария восторгалась чем-то далеким, чуждым и не имеющим к ней отношения, а госпожа Давиль делилась только тем, что близко ее касалось и было связано с ней и ее семьей.

В конце визита, как было заведено у госпожи Давиль, вошли мальчики, чтобы поздороваться с гостьей. Двухмесячная девочка, накормленная и спеленатая, спала в своей белой тюлевой колыбели.

Хрупкий и бледненький Пьер, которому шел восьмой год, в темно-синем бархатном костюмчике с белым кружевным воротничком был красив и кроток, словно министрант. Он вел за руку младшего брата Жан-Поля, крупного и здорового румяного бутуза с белокурыми локонами.

Анна-Мария не любила детей, а госпожа Давиль не могла себе представить, что кто-то в состоянии быть к ним равнодушным. Время, проведенное с детьми, Анна-Мария считала потерянным. В их присутствии на нее нападало ощущение какой-то бесконечной пустоты и скуки. Нежное детское развивающееся тельце отталкивало ее как что-то сырое и незрелое, вызывая в ней чувство физической неловкости и непонятной робости. Она (сама не зная почему) стыдилась этого чувства и скрывала его под слащавыми словами и бурными восклицаниями, которыми всегда осыпала детей. Но в душе, глубоко в душе, она испытывала к ним отвращение, побаивалась этих маленьких человечков, вопросительно и проницательно оглядывающих нас своими большими новыми глазами и осуждающих строго и холодно. (Или ей это только так казалось?) Она всегда опускала глаза под пристальным взглядом детей, чего никогда не случалось под взглядом взрослых, вероятно, потому, что взрослые так часто играют роль либо подкупленных судей, либо добровольных соучастников наших слабостей и пороков.

И теперь присутствие детей вместо радости вызвало у Анны-

Марии то же ощущение скуки и неловкости, но тем горячее она расцеловала малышей, заимствуя необходимое для этого воодушевление из неисчерпаемого запаса восторгов по поводу императорского бракосочетания в Париже.

Простившись наконец, Анна-Мария проследовала между свежевскопанными клумбами торжественной поступью свадебного марша, госпожа Давиль и изумленные дети смотрели на нее с порога дома. У садовой калитки она обернулась и, помахав рукой, крикнула, что теперь надо чаще видеться и чаще беседовать об удивительных, удивительных и великих делах, которые свершаются на наших глазах.

Полковник фон Миттерер считал, что безмерный восторг его жены не соответствует полученным инструкциям, но тем не менее и он, и все домашние были счастливы, что Анна-Мария нашла отдаленный и безобидный, зато постоянный предмет для своих восторгов. На целый год Травник и ничтожная, занудливая жизнь в консульском доме перестали для нее существовать. Она прекратила расспросы о том, когда мужа переведут отсюда в другое место, и жила исключительно в атмосфере августейшего семейного счастья, всеобщего умиротворения и мистического единения всех противоположностей на свете. Все это проявлялось в ее разговорах, поведении, музицировании. Она знала фамилии всех придворных дам новой французской императрицы, стоимость, вид и качество всех свадебных подарков, образ жизни и распорядок дня Марии-Луизы. С большим сочувствием следила за судьбой бывшей императрицы Жозефины. Таким образом, и склонность ее к слезам нашла далекий и достойный объект, что избавило полковника от многих неприятных минут.

В этом году и во французском консульстве жизнь проходила без перемен и волнений. В конце лета Давиль послал своего старшего сына во Францию для поступления в лицей. И сын Давны, по рекомендации Давиля, был принят на государственный кошт и отправлен в Париж.

Давна был вне себя от счастья и гордости. Мрачный и черный, словно головешка, он не умел, как другие, открыто и громко выражать свою радость. И поэтому, благодаря Давиля, только заверял его, дрожа всем телом, что в любую минуту готов отдать свою жизнь за консульство. Так велика была его любовь к сыну и желание обеспечить ему более красивую, значительную и достойную жизнь, чем его собственная.

И вообще этот год можно было назвать счастливым, так как он протекал тихо, мирно и однообразно.

В Далмации царил мир, на границе столкновений не было. В Конаке ничего особого не происходило. Консулы встречались по праздникам без сердечной близости, как и до сих пор, а по будням бдительно следили друг за другом, но без ненависти и чрезмерного усердия. Люди всех вероисповеданий постепенно стали привыкать к консульствам, а когда увидели, что, невзирая на все трудности и неприятности, они прижились в Травнике, примирились и не только не боялись общения с ними, но и считались с ними во всех своих делах и привычках.

Так протекала жизнь и в городе и в консульствах с лета до осени и с зимы до весны, без происшествий и перемен, кроме обычных, связанных с повседневной жизнью и временами года.

Но хроника счастливых и мирных лет коротка.

XIX

Тот же курьер, который в апреле 1811 года привез в Травник газеты с известиями, что у Наполеона родился сын, получивший титул римского короля, привез фон Миттереру приказ о его переводе из Травника в Вену, в распоряжение военного министерства. Вот оно наконец спасение, которого годами ждал полковник и его семья! Теперь, когда спасение пришло, оно показалось простым и естественным и, как всякое спасение, пришло и слишком поздно, и слишком рано. Поздно потому, что не могло ни изменить, ни смягчить всего пережитого в ожидании этого спасения; рано потому, что, как и при всякой перемене, возникла вереница новых вопросов, о которых раньше не думали (переезд, деньги, дальнейшая карьера).

Анна-Мария, в последние месяцы, к удивлению всех, успокоившаяся и сосредоточившаяся в себе, вдруг разразилась слезами; как все подобные ей женщины, она плакала и от болезни и от выздоровления, и от желаний и от их исполнения. И только после бурной сцены с мужем, когда она его укоряла в том, в чем с полным правом он мог бы обвинить ее, у нее хватило сил и энергии приступить к сборам.

Через несколько дней прибыл новый генеральный консул подполковник фон Паулич, до сих пор командовавший пограничным полком в Костайнице, чтобы лично принять дела от фон Миттерера.

Въезд нового австрийского консула в солнечный апрельский день был торжественным и полным достоинства, хотя визирь выслал ему навстречу не особенно большой отряд. Моложавый и статный, фон Паулич, ехавший на хорошем коне, привлек взгля-

ды всех и вызвал любопытство и скрытое изумление даже тех, кто никогда бы себе в этом не признался. Не только на самом консуле, но и на сопровождающих его все было аккуратно пригнано, выглажено и блестело, словно они ехали на парад. Очевидцы рассказывали потом тем, кого не оказалось на базаре или у окон, что новый австрийский консул очень солидный и представительный. («Недостает ему только нашей веры!»)

И когда через два дня новый консул в сопровождении фон Миттерера отправился во главе торжественной процессии на первый диван к визирю, произошло неслыханное чудо. Народ отыскивал взглядом нового консула среди ехавших и молча провожал его глазами. Турчанки смотрели сквозь зарешеченные окна, дети влезали на ограды и стены, но не раздалось ни одного восклицания, ни одного бранного слова. Правда, турки в своих лавках оставались, по обыкновению, неподвижными и сумрачными.

Так процессия проследовала в Конак и таким же порядком вернулась назад.

Фон Миттерер, успевший рассказать фон Пауличу, как несколько лет тому назад встречали его самого и его французского коллегу при первом проезде через Травник, был разочарован этой церемонией и в припадке меланхолии, очень напоминавшей зависть, поведал новому консулу во всех подробностях об оскорблениях, которым он тогда подвергся. Он говорил это с болью и легким упреком в голосе, словно именно он, фон Миттерер, своими страданиями проложил легкий и приятный путь своему преемнику.

Между тем новый генеральный консул был таким человеком, для которого, казалось, все дороги были торными.

Паулич происходил из богатой загребской онемеченной семьи. Его мать была немка из Штирии, из знатного рода фон Нидермейеров. Это был необыкновенно красивый мужчина лет тридцати пяти. Статный, с нежной кожей, небольшими, темно-каштановыми усиками, оттенявшими его рот, большими темными глазами, в глубине которых выделялся темно-синий зрачок, с густыми, от природы вьющимися волосами, подстриженными и причесанными по военному образцу. От всего его существа веяло монашески чистым и холодным умиротворением, но без следов внутренней борьбы и сомнений, которые так часто накладывают отпечаток мученичества на облик и манеры монахов. Этот необыкновенно красивый человек проходил по жизни, будто в холодной броне, скрывавшей всякое проявление его личности или человеческих слабостей и желаний. Такими же были и его речь, деловая, любезная и вполне безличная, и его глубокий голос, и улыбка, по

временам открывавшая его белые красивые зубы и, словно холодный лунный свет, озарявшая его неподвижное лицо.

Этот невозмутимый человек когда-то был необыкновенно одаренным, поразительно развитым ребенком, обладавшим чудесной памятью, потом одним из тех исключительных учеников, появляющихся раз в десять лет, для которых учение не составляет никакой проблемы и которые сдают экзамены сразу за два класса. Отцы-иезуиты, у которых учился этот выдающийся мальчик, уже мечтали, что их орден приобретет в нем одну из тех совершенных личностей, которая может стать столпом ордена. Но когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, он вдруг отвернулся от отцов-иезуитов, обманув все их надежды, и неожиданно избрал военную карьеру. В этом ему помогли родители, в особенности мать, в семье которой были живы военные традиции. Итак, из мальчика, изумлявшего преподавателей быстротой восприятия и широтой познаний в области классических языков, получился стройный и шустрый кадет, которому все предрекали большое будущее, а затем молодой офицер, не пьющий, не курящий, не имеющий ни любовных приключений, ни столкновений с начальством, ни дуэлей, ни долгов. Его рота была всегда в образцовом порядке и отлично обмундирована, он был первым на смотрах и военных занятиях, и все это без того особого рвения, которое, как неприятная тень, сопровождает обычно тщеславных людей в их карьере.

Окончив первым положенное обучение, фон Паулич, опять-таки вопреки ожиданию начальства, посвятил себя службе на границе, куда обычно направляли офицеров с меньшими знаниями и подготовкой. Он изучил турецкий язык, познакомился с методом и практикой работы, с людьми и обстановкой. И когда участившиеся просьбы фон Миттерера обратили наконец на себя внимание начальства, выбор пал на фон Паулича, как на человека, «не обремененного семьей», на чем все время настаивал полковник из Травника.

И теперь переутомленный и напуганный сложной жизнью фон Миттерер мог наблюдать этого молодого человека и его необычный стиль работы. Все дела под его взглядом и в его руках становились исключительно ясными и легко и просто распределялись во времени и пространстве, без всяких осложнений, путаницы, спешки или промедления. И все получалось естественно и гладко, как частное без остатка. А сам он был где-то высоко над этим, недосягаемый и недоступный; участвовали во всех делах, распределяя их, направляя и решая, лишь его разум и силы. Ему были чужды всякие сомнения и непреодолимые слабости, предубеждения и идиосинкразия, все те сопутствующие поступкам людей ощущения, которые волнуют, смущают, мешают и так ча-

сто придают действиям нежелательное направление. Паулич не знал подобных затруднений. Во всяком случае, измученному фон Миттереру казалось, что этот человек работает как высший дух или как ко всему равнодушная природа.

При переселении человеческая жизнь обпажается до самых сокровенных подробностей. Фон Миттерер имел возможность наблюдать и сравнивать свое переселение (о котором он и не помышлял бы, если б позволила госпожа фон Миттерер) с переселением этого незаурядного человека. И тут, как и в делах, все у него шло просто и гладко. Ни беспорядка с багажом, ни замешательства среди прислуги. Вещи как будто сами находили свое место, и все были необходимы, просты, в нужном количестве и определенного назначения. Слуги понимали друг друга с одного взгляда, без слов, выкриков или громких приказаний. Ничто не вызывало и тени сомнения, недовольства, дурного настроения, неопределенности или нарушения порядка.

Всегда и во всем верный и безошибочный расчет.

Точно так же вел себя фон Паулич и при приеме инвентаря и в разговорах о делах и служащих генерального консульства.

Характеризуя Ротту как главного сотрудника, фон Миттерер невольно опускал глаза и голос его звучал неуверенно. Растягивая слова, он говорил, что главный переводчик немного... того... немного своенравен и не такое... не такое уж золото, но полезен и предан. А фон Паулич во время этого разговора глядел в сторону. Его большие глаза сузились, в наружных уголках их появилась холодная и злая искорка. Все объяснения фон Миттерера он выслушал сдержанно и молча, без единого знака одобрения или порицания, оставляя, очевидно, за собой право решить этот вопрос, как и другие хозяйственные вопросы, по своему усмотрению и расчету, в котором не могло быть ошибок.

Появившись столь неожиданно перед встревоженной Анной-Марией, фон Паулич неминуемо должен был привлечь ее внимание и вызвать вечно неудовлетворенную потребность любовного восторга и смутную жажду гармонии души. Она сразу назвала его «Антиноем в мундире», на что фон Паулич не отозвался ни словом, ни мимикой, будто это его не касалось и ничего общего с ним и окружающим его миром не имело. Анна-Мария продемонстрировала ему свои музыкальные способности. Новый консул был абсолютно немузыкален и не скрывал этого, да и не мог бы скрыть, если даже и хотел. К тому же ему не была свойственна та притворная любезность, с какой немузыкальные люди постоянно участвуют в разговорах о музыке, словно желая искупить какую-то свою вину. Разговор о мифологии и римских поэтах был гораздо удачнее, но тут Анна-Мария оказалась слабее: на каждый ее

дистих странный подполковник отвечал целым потоком стихов. В большинстве случаев он мог продекламировать всю поэму, из которой она знала лишь один стих, да и тот с ошибками, которые он исправлял. Но читал фон Паулич холодно, деловито, будто это не имело никакой связи ни с ним, ни с окружающими, ни вообще с живыми людьми. Всякий намек на лирику был для него пустым звуком.

Анна-Мария растерялась. До сих пор каждая встреча, а их было множество, заканчивалась разочарованием и бегством, но в своих «метаниях» она всегда добивалась от мужчины наступления или, наоборот, отступления — иногда и того и другого, но не было случая, чтобы он устоял на месте, как этот бесчувственный Антиной, перед которым она теперь напрасно проводила свою игру. Для нее это был новый и особенно жестокий способ самоистязания. И это сразу отразилось на домашней жизни. (В первый же день Ротта заявил в канцелярии на том поганом языке, на котором мелкие чиновничьи душонки говорят о своем начальстве, что «мадам набивается на ангажемент».) Пока фон Миттерер вводил нового консула в должность, Анна-Мария бушевала в доме, отменяла приказания мужа, садилась на сундуки, набитые до отказа, и плакала; она то откладывала отъезд, то торопила его; по ночам будила едва успевшего заснуть мужа, осыпая его упреками и оскорблениями, которые выдумывала, пока не спала.

Не успели уложить вещи, как все оказалось не на своем месте, и никто не знал, где что находится. В срок, назначенный для отъезда, лошадей, обещанных консулу мутеселимом, не оказалось. Анна-Мария впадала то в ярость, то в мрачную тоску. Ротта бегал, кричал, угрожал. Когда наконец на третий день пригнали нужное количество подвод, выяснилось, что многие сундуки слишком громоздки и вещи надо перепаковывать. И это можно было бы сделать, если бы Анна-Мария не желала сама всем распоряжаться и заправлять. Из-за этого вещи ломались и портились еще до отправки. Вокруг консульства раскинулся целый табор.

Наконец все было погружено и отправлено. На другой день тронулось и семейство фон Миттерера. Перед опустевшим консульством, во дворе, где было полно соломы, сломанных досок и конского навоза, Анна-Мария простилась с подполковником оскорбительно холодно, сжав губы, с сухими и злыми глазами. Она поехала вперед с дочкой. За ними двинулись фон Миттерер и фон Паулич верхом.

От французского консульства фон Миттерера провожал Давиль в сопровождении Давны и телохранителя. Но на первом перекрестке они расстались, простившись скорее сдержанно и натянуто, чем холодно и равнодушно, так же, как они впервые

встретились в осенний день больше трех лет тому назад и как прожили и общались все это время.

Здесь же Давиль наблюдал, как к растроганному фон Миттереру подходили католики, женщины и дети, целовали ему руку или осторожно касались стремени, а целая толпа людей стояла у дороги, ожидая своей очереди.

Возвращаясь домой, Давиль так и видел перед собой эту картину последнего триумфа фон Миттерера. Он и сам был несколько взволнован, но не отъездом полковника, а размышлениями о собственной судьбе и теми воспоминаниями, которые этот отъезд в нем вызвал. Самый же факт отъезда этого человека казался ему, пожалуй, облегчением. Не потому, что он освобождался от опасного противника, так как, судя по разговорам, новый консул был сильнее и умнее фон Миттерера, а потому, что этот полковник с желтым лицом и усталым, грустным взглядом стал с течением времени как бы олицетворением их общей, никем не признанной тяжелой участи в этой дикой стране. Что бы ни случилось в дальнейшем, теперь, при расставании со столь трудным человеком, каким был фон Миттерер, Давиль испытывал больше удовольствия, чем в то время, когда встречал его.

На первом привале близ Лашвы, около полудня, фон Паулич распрощался со своим предшественником. Анна-Мария наказала его, не дав возможности еще раз ей откланяться. Она вышла из экипажа, который порожняком поднимался в гору, и пошла пешком по зеленой обочине, не желая даже оглянуться в долину, где консулы прощались, стоя у воды. До слез щемящая тоска, охватывающая и более здоровых женщин, когда они покидают место, где прожили несколько лет, независимо от того, хорошо или плохо, душила теперь и Анну-Марию. Комок едва сдерживаемых слез подкатывал к горлу, судорожно кривился рот. Но больше всего ее мучила мысль о красивом и холодном подполковнике, которого она звала уже не Антиноем, а «глетчером», так как он, по ее мнению, был холоднее мраморной статуи прекрасного античного юноши. (Она прозвала его так еще прошлой ночью, у нее была привычка даже при самых мимолетных отношениях давать людям клички.) Строгая и торжественная, поднималась Анна-Мария по горной дороге, словно возносясь на священную и трагическую высоту.

Рядом с ней, ближе к середине дороги, шла ее дочь Агата, молчаливая и испуганная. У нее совсем не было такого ощущения, что она торжественно поднимается куда-то ввысь, в противоположность экзальтированной матери ей казалось, что она печально спускается вниз. Ее тоже душили слезы, но совсем по другим причинам. Она одна искренне сожалела, что покидает Травник, расстается с тишиной и привольем сада и веранды и

едет в огромную неприятную Вену, где нет ни покоя, ни неба, ни простора, где уже на пороге домов чувствуются противные запахи, от которых делается тошно, в ту Вену, где ее мать, которой она и во сне стыдится, будет у нее ежеминутно перед глазами.

Но Анна-Мария не замечала, что глаза у дочки полны слез. Она забыла даже о ее присутствии и только злобно шептала бессвязные слова, сердясь на мужа, что он так долго задерживается, «угождая этому глетчеру и извергу», вместо того чтобы холодно повернуть ему спину, как это сделала она сама. И, шепча эти слова, она чувствовала, как ветер играет легкой и длинной зеленой вуалью, завязанной сзади на дорожной шляпе, то сминая, то развевая ее. Это показалось ей красивым и трогательным и резко изменило настроение к лучшему, подняло ее в собственных глазах; отдельные подробности ее теперешней жизни исчезли, и она вообразила себя жертвой, которая под изумленными взглядами людей подымается по дороге отречения.

Вот все, что останется от нее этому бесчувственному ледяному человеку! Только неясный силуэт на горизонте и гордое колыхание ее вуали, неумолимо исчезающей и теряющейся вдали.

С такими мыслями шагала она по краю холма, словно по рампе большой и глубокой сцены.

А снизу, с долины, один только ее муж, тревожно наблюдавший за ней, следил за зеленой вуалью на холме, в то время как «глетчер», не замечая ничего на свете, прощался с ним самым милейшим и учтивейшим образом.

Но не только чувствительная и экзальтированная Анна-Мария была очарована и разочарована личностью нового консула.

Уже во время первого визита, который фон Паулич нанес ему вместе с фон Миттерером, Давиль понял, что перед ним человек совсем иного склада, чем фон Миттерер. О делах консульства фон Паулич высказывался яснее и свободнее. С ним можно было беседовать на любую тему, а в особенности о классической литературе.

Во время последующих визитов, которыми они обменялись, Давиль мог заметить, насколько обширны и глубоки его знания текстов и комментариев. Фон Паулич ознакомился с французским переводом Вергилия, сделанным Делилем, который ему послал Давиль, и четко и серьезно изложил свое мнение, доказывая, что хороший перевод должен сохранять оригинальную метрику стиха, и осуждая Делиля за то, что тот злоупотреблял рифмой. Давиль старался защитить своего кумира, счастливый уже тем, что может о нем говорить.

Но первоначальная радость, вызванная приездом этого литературно образованного человека, быстро исчезла. Довольно скоро

Давиль понял, что разговор с подполковником не доставляет ему удовольствия, какое приносит обычно обмен мыслями с благородным собеседником о любимом предмете. Разговор с подполковником был, в сущности, обменом сведениями, всегда точными, занимательными и многочисленными по любому поводу, но не обменом мыслями и впечатлениями. Все в этом разговоре носило безличный, холодный и отвлеченный характер. Окончив беседу, подполковник уезжал со своим богатым запасом ценных сведений, неизменно красивый, аккуратный, холодный и невозмутимый, а Давиль оставался все в том же печальном одиночестве, с той же жаждой душевной беседы. Разговоры с ним ничего не давали ни уму, ни сердцу; нельзя было запомнить даже тембр его голоса. Фон Паулич вел разговор так, что собеседник не мог ни узнать что-либо о нем, ни поведать о себе. Вообще все сколько-нибудь интимное и личное отскакивало от подполковника, как от стены. Таким образом, Давиль должен был оставить всякую надежду на обсуждение своей поэтической деятельности с этим бесстрастным любителем литературы.

По случаю радостного события при французском дворе Давиль сочинил к крестинам римского короля специальную поэму и послал ее в свое министерство с просьбой передать в высшие сферы. В поэме, начинавшейся словами: «Salut, fils du printemps et du dieu de la Guerre!», [1] выражалась надежда на мир и благоденствие всех народов Европы; попутно были упомянуты и скромные труженики, заброшенные в «дикие и печальные края».

Как-то, посетив фон Паулича, Давиль прочел ему свое произведение, но ничего этим не достиг. Подполковник не только не захотел понять намека на их сотрудничество в Боснии, но ни словом не обмолвился ни о стихах, ни о сюжете. И при всем том, что было самое неприятное, он оставался тем же учтивым и любезным человеком, каким был всегда и при всех обстоятельствах. Давиль был в душе разочарован и зол, но не имел повода проявить свою обиду.

XX

Годы после венского мира (1810 и 1811), названные нами мирным периодом в жизни Давиля, были, в сущности, годами упорного труда.

Войны прекратились, не было резких кризисов и открытых столкновений, зато консульство было целиком занято торговыми делами, сбором сведений, составлением донесений, выдачей пас-

[1] Приветствую тебя, сына весны и бога войны *(франц.)*.

портов на товары и рекомендательных писем для французских властей в Сплите или для таможни в Костайнице. «Торговля пошла через Боснию» — как говорили в народе, или как сам Наполеон сказал где-то: «Времена дипломатов кончились, теперь настали времена консулов».

Еще три года назад Давиль предлагал план для развития торговли между Турцией и Францией и подчиненными ей странами. Он усиленно советовал организовать постоянную французскую почтовую службу на турецких землях, чтобы не зависеть от австрийской почты и турецкого беспорядка и произвола. Но все предложения так и остались лежать в битком набитых парижских архивах. Теперь, после венского мира, стало очевидно, что и сам Наполеон заинтересован в осуществлении этих предложений в кратчайший срок и в гораздо больших масштабах, чем травницкий консул когда-либо решался предлагать.

Континентальная система Наполеона требовала огромных перемен в сети путей сообщения и торговых линий. Согласно идее Наполеона, образование Иллирийских провинций с центром в Любляне должно было служить исключительно этой цели. Старые пути через Средиземное море, по которым Франция получала с Ближнего Востока сырье, особенно хлопок, стали затруднительными и опасными из-за английской блокады. Теперь торговлю надо было вести по суше, а вновь образованная Иллирия должна была служить связующим звеном между турецкими землями и Францией. Эти пути существовали издавна — от Стамбула до Вены по Дунаю и от Салоник через Боснию до Триеста по материку. Торговые связи австрийских земель с Ближним Востоком давно осуществлялись этими путями. Теперь следовало их расширить и приспособить к требованиям наполеоновской Франции.

Как только по первым циркулярам и из газетных статей стали ясны замыслы Наполеона, среди французских властей и учреждений началось соревнование, кто с большим усердием и лучше выполнит пожелание императора. Завязалась обширная переписка и установилось тесное сотрудничество между Парижем, генерал-губернатором и главным интендантом в Любляне, посольством в Стамбуле, маршалом Мармоном в Далмации и французскими консульствами на Ближнем Востоке. Давиль работал с увлечением, не без гордости ссылаясь на свои донесения трехлетней давности, из которых явствовало, насколько его идеи и взгляд на вещи уже тогда совпадали с мыслями императора.

Теперь, летом 1811 года, эти дела были достаточно налажены. За последний год Давиль приложил большие усилия, чтобы во всех местах, через которые проходили французские товары, подыскать доверенных людей, обеспечить поставку лошадей и добиться

хоть какого-то надзора за возчиками и грузами. Все это достигалось с трудом, медленно и выполнялось небрежно, как всякое дело в этой стране, но все же была надежда на улучшение, и работа подвигалась легко и весело, словно «на парусах, подгоняемых наполеоновским гением».

Наконец Давиль дождался, что торговый дом «Братья Фрессине» — один из самых крупных в Марселе, ранее перевозивший товары с Ближнего Востока морским путем, открыл свое агентство в Сараеве. Агентство находилось под покровительством французского правительства и получило указание сотрудничать с консулом. Один из братьев Фрессине, молодой человек, прибыл месяц тому назад в Сараево для ведения дел. А теперь приехал на день-два в Травник — нанести визит генеральному консулу и обсудить дальнейшие планы.

Прекрасное и короткое травницкое лето в полном разгаре.

Прозрачный день, пронизанный солнечным светом и синевой небес, ослепительно сияет над Травницкой долиной.

Посреди большого цветника перед зданием консульства накрыт стол, вокруг которого расставлены белые плетеные ивовые стулья. Тут тенисто и свежо, хотя чувствуется зной и духота, исходящие от домов, что теснятся внизу, в торговых рядах. От крутых зеленых склонов узкой котловины несет сухим жаром, и кажется, что склоны дышат, приподнимаясь, как бока зеленой ящерицы, лежащей на солнышке.

Гиацинты госпожи Давиль давно уже отцвели, и белые, и пестрые, и махровые, и простые, но по краям клумб еще цветут красная пеларгония и мелкие лиловые альпийские фиалки.

За столом в тени сидят Давиль и молодой Фрессине. Перед ними — развернутые копии их донесений, номера газеты «Moniteur» с текстами распоряжений и приказов и письменный прибор.

Жак Фрессине, молодой крепыш, обладал такой спокойной уверенностью в голосе и движениях, какая обычно свойственна купеческим детям. Коммерческий талант был у него, что называется, в крови. Никто из членов его семьи никогда не занимался — и не хотел заниматься — другим делом, не принадлежал к другому сословию. И он ничем не отличался от своих. Как и все члены его семьи, он был опрятен, учтив, рассудителен, осторожен и решителен в защите своих прав, всегда отстаивал свои интересы, однако не слепо и не рабски.

Фрессине дважды проделал путь от Сараева до Костайницы, нанял в Сараеве целый постоялый двор и уже завел дела с торговцами, возчиками и властями. Теперь он приехал с целью обменяться сведениями с Давилем, сделать свои замечания и предло-

жения. Консул был рад, что в своей работе, часто казавшейся ему непреодолимо трудной, приобрел в качестве сотрудника такого бойкого, но вежливого южанина.

— Итак, еще раз,— сказал Фрессине с той уверенностью, с какой торговцы перечисляют факты, идущие им на пользу,— еще раз повторяю. От Сараева до Костайницы семь дней караванного пути с ночевками в следующих пунктах: Киселяк, Бусовача, Караула, Яйце, Змияне, Нови Хан, Приедор и, наконец, Костайница. Зимой привалов должно быть вдвое больше, то есть четырнадцать. На этом отрезке пути надо построить еще, по крайней мере, два караван-сарая, если мы хотим уберечь товар от непогоды и расхищения. Цены за провоз резко поднялись и продолжают подниматься. Повышение это вызвано австрийской конкуренцией и зависит, как мне кажется, и от некоторых сараевских торговцев, сербов и евреев, работающих по указанию англичан. В данный момент надо принимать в расчет следующие цены: от Салоник до Сараева сто пятьдесят пять пиастров за вьюк; от Сараева до Костайницы пятьдесят пять пиастров. Два года тому назад цены были ниже ровно вдвое. И надо сделать все от нас зависящее, чтобы остановить их дальнейший рост, иначе может оказаться под вопросом вся перевозка. К этому надо прибавить произвол и алчность турецких чиновников, склонность населения к кражам и грабежу, опасность распространения восстания в Сербии, наличие гайдуков в албанских краях и, наконец, опасность эпидемий.

Давиль, всюду выискивающий руку информационной службы, поинтересовался, на основании чего Фрессине сделал вывод, что сараевские торговцы работают на англичан, но молодого человека нельзя было ни смутить, ни сбить с толку. Держа перед собой свои записки, он продолжал:

— Итак, заключаю и резюмирую. Транспорту угрожает следующее: восстание в Сербии, албанские гайдуки, воровство в Боснии, резкое повышение цен на перевозку, непредвиденные тарифы и налоги, конкуренция и, наконец, чума и другие заразные болезни. Необходимо принять следующие меры: во-первых, установить между Сараевом и Костайницей два караван-сарая; во-вторых, прекратить неумеренное колебание курса турецких денег и особым фирманом установить курс в пять с половиной пиастров за шестифранковый экю, как и за талер Марии-Терезии, за венецианский цехин — одиннадцать с половиной пиастров и так далее; в-третьих, расширить больницу в Костайнице; вместо парома соорудить мост, перестроить склад, чтобы он мог вмещать по меньшей мере восемь тысяч тюков хлопка, устроить места для ночлега приезжающих и прочее; в-четвертых, присоединить ко всем нашим пожеланиям особые подарки визирю, Сулейман-паше и еще не-

скольким видным туркам; расходы в общей сложности должны составить от десяти до тринадцати тысяч франков. Таким способом, я полагаю, можно было бы обеспечить сообщение и устранить главные трудности.

Давиль записывал все эти предложения, чтобы внести их в свой очередной отчет, с удовольствием готовясь в то же время прочитать молодому человеку свой отчет 1807 года, в котором он так удачно предвосхитил планы Наполеона и все то, над чем сейчас работал.

— Ах, сударь, я мог бы многое вам рассказать о препятствиях, на которые наталкиваются в этих краях всякое дело и полезное начинание. Многое мог бы вам рассказать, но вы и сами увидите, что это за страна, какой здесь народ, каково управление и сколько на каждом шагу трудностей.

Но молодому человеку больше не о чем было говорить, так как он точно определил трудности и средства для их устранения. Ему, как видно, были чужды жалобы общего характера и «психологические феномены». Однако он вежливо согласился выслушать донесение Давиля за 1807 год, к чтению которого консул и приступил.

Тень, в которой они сидели, становилась все гуще. Лимонад в высоких хрустальных бокалах, стоявших перед ними, согрелся: за разговорами оба о нем забыли.

В той же самой летней тишине, двумя кварталами выше консульства, где беседовали Давиль и Фрессине, немного левее и ближе к реке, низвергавшейся здесь легким и прозрачным водопадом, в саду Мусы Крджалии сидели он сам и его друзья.

В запущенном саду, раскинувшемся по крутому склону, было еще темней. На серджаде, разостланной под большой сахарной грушей, видны были остатки еды, стояли кофейные чашки и сосуд с охлажденной ракией. Солнце уже зашло, освещен был лишь противоположный берег Лашвы. В траве лежали Муса Певец и Хамза Глашатай. Прислонившись спиной к склону и упершись ногами в грушу, полулежал Мурат Ходжич по прозванию Пьяный Ходжа. К груше была приставлена небольшая тамбура с надетым на гриф стаканчиком.

Мурат Ходжич был чернявый человечек, задорный, как петух. На желтом, с мелкими чертами лице его фанатически горели большие темные глаза. Он был из хорошей травницкой семьи и когда-то учился в школе, но ракия помешала ему окончить ее и стать имамом, подобно многим из его семьи. Рассказывают, что на последнем экзамене он предстал перед учителем и экзаменационной

комиссией пьянехонький, едва держась на ногах, шатаясь на ходу из стороны в сторону. Учитель не допустил его до экзамена и назвал его Пьяным Ходжой. Это прозвище так за ним и осталось. Вспыльчивый и самолюбивый, юноша тогда запил от обиды. И чем больше он пил, тем сильнее разгоралось в нем чувство оскорбленного тщеславия и горечи. Выброшенный из рядов своих сверстников на пороге жизни, он стал мечтать о том, как бы, совершив в один прекрасный день какой-то необыкновенный подвиг, обставить всех и таким образом отомстить сразу за все. Как многие неудачники маленького роста, но честолюбивые и с живым умом, он страдал при мысли, что так и останется до конца дней своих ничтожным, невзрачным и никому не известным, и мечтал удивить мир неизвестно чем, где и когда. С течением времени под влиянием беспробудного пьянства эта идея стала навязчивой и полностью им овладела. Чем ниже он опускался, тем охотнее питался ложью и самообманом, разжигая себя громкими словами, смелыми выдумками и суетными мечтаниями. Два его дружка, такие же пьяницы, как он, потешались над ним по этому поводу и высмеивали.

В чудесные летние дни эти трое собирались, как правило, в саду Мусы и принимались за ракию, а потом в сумерках спускались в город и продолжали пьянствовать там. Дожидаясь, когда крупные звезды засияют во мраке на узкой синей полоске травницкого неба, и все больше пьянея, они негромко пели и вяло, бессвязно разговаривали, не вникая в слова собеседника. Это разговоры и песни людей, отравленных алкоголем. Они заменяли им работу и движение, от которых они давно отвыкли. В своих разговорах они путешествовали, совершали подвиги, осуществляли неосуществимые мечты, видели невиданное и слышали неслыханное, росли и кичились собственным величием, поднимались ввысь и летали, словно у них были крылья, становились такими, какими никогда не были и не сумеют стать, овладевали даже тем, чего нет на свете и что может дать только ракия на одно мгновение тем, кто полностью подпал под ее власть.

Муса говорил меньше всех. Он лежал, утонув в густой темной траве. Руки заложил под голову, левую ногу согнул в колене, а правую перекинул через нее, как делают обычно сидя. Взгляд его терялся в светлом небе. Сквозь густую траву он щупал пальцами теплую землю, которая, казалось ему, дышала спокойно, равномерно. Он чувствовал при этом, как теплый воздух проникает в рукава и шаровары. Это было едва уловимое дуновение, тот самый травницкий ветерок, который медленно стелется в летнее предвечерье по самой земле, сквозь траву и кусты. Муса, находившийся на полпути между похмельем и новым опьянением, весь отдался

теплу нагретой земли и непрерывному легкому движению воздуха; ему чудилось, что они приподнимают его, что вот-вот он полетит и уже летит, и не потому, что они сильны, а потому, что сам он — только дыхание и беспокойное тепло и так легок и слаб, что может быть подхвачен ими.

Продолжая взлетать и порхать лежа на месте, он, будто сквозь сон, слушал разговор своих друзей. Голос у Хамзы хриплый, и его трудно понять, зато у Пьяного Ходжи густой и резкий; говорил он всегда медленно и торжественно, устремив взгляд в одну точку, словно читал по книге.

Еще три дня тому назад друзья пришли к выводу, что у них нет денег и надо достать их любым способом. Давно наступила очередь Пьяного Ходжи заняться этим. Но деньги он раздобывал неохотно, предпочитая пить за чужой счет.

Речь шла о деньгах, которые Пьяный Ходжа должен был занять у своего недавно разбогатевшего дяди в Подлугове.

— Откуда у него деньги? — спрашивал Хамза с язвительным недоверием, как человек, отлично знавший как того дядю, так и то, что деньги даются нелегко.

— Заработал нынче летом на хлопке.

— Возчиком у французов?

— Нет, он скупает хлопок в селах и перепродает его.

— А товар идет постоянно? — спросил лениво Хамза.

— Идет, говорят, всем на удивление. Англичанин, видишь ли, закрыл путь по морю, вот у Бонапарта и не стало хлопка. А ведь надо одевать этакую армию. Ну и приходится теперь посылать хлопок через Боснию. От Нового Пазара до самой Костайницы — конь за конем, тюк за тюком,— и все хлопок. Дороги забиты, постоялые дворы переполнены. Возчиков нигде не достать: все скупил француз и платит добрыми дукатами. Сегодня у кого есть конь, тот загребает золото, а кто имеет дело с хлопком — через месяц богач.

— Ладно, а как достают хлопок?

— Как? Очень просто. Француз не продаст хлопок ни за какие деньги. Дом предложи за окку хлопка — и то не отдаст. Да, но народ додумался и ворует. Крадут на постоялых дворах, где ночуют возчики и разгружают товар. Пока разгружают, счет верный, а когда наутро начинают грузить, глядь — тюка не хватает. Поднимается суматоха: кто? где? Но не может же весь караван ждать из-за одного тюка. Так и идут дальше без него. А еще больше растаскивают по селам. Выходят деревенские ребятишки на дорогу и, прячась по кустам, ножичками распарывают мешковину на каком-нибудь тюке. Дорога-то узкая, заросла кустарником, хлопок зацепляется за него и остается на ветках по обе стороны дороги.

Как только караван уйдет, ребята выскакивают и собирают его в корзинки, а потом снова сидят в засаде — ждут следующего каравана. Французы жалуются на возчиков, вычитают у них из заработка, кое-где появляются стражники и ловят детей. Но разве с народом сладишь? Бонапартов хлопок ощипывают и собирают с веток, словно в Египте, а из городов приходят люди и перекупают. Так многие оделись и разбогатели.

— И все эти дела в Боснии делаются? — сонно осведомился Хамза.

— Не только в Боснии, но и по всей империи. Бонапарта добыл в Стамбуле указы, а по стране разослал консулов и торговцев с деньгами. Известно ли тебе, несчастный, что мой дядя за хлопок Бонапарты...

— Ты знай деньги доставай,— тихо и презрительно перебил его Муса,— а мы не станем спрашивать, от какого они дядюшки, где растет хлопок, а где сталь. Нам деньги нужны.

Муса не любил рассказов Пьяного Ходжи, всегда бесконечно длинных и хвастливых, в которых он старался выставить себя ученым, смелым, широко осведомленным. Хамза был терпеливее и слушал эти россказни спокойно, с чувством юмора, никогда его не покидавшим, даже во времена полного безденежья.

— Ей-богу, нужны,— как отдаленное эхо отозвался Хамза.— Здорово нужны.

— Э, достану я денег, право же достану, помру, а достану,— торжественно заявил Пьяный Ходжа.

Никто не отозвался на его клятвы и уверения.

Тишина. Три человека, расслабленные бездельем, постоянно либо разгоряченные алкоголем, либо мучительно жаждущие его, дышат и, по-видимости, отдыхают, растянувшись на траве, в теплой тени.

— Сила — этот Бонапарта,— опять послышался голос Пьяного Ходжи; он говорил, цедя слова, словно думал вслух,— силен человек, всех с ходу побеждает, всем овладевает. А говорят, невзрачный и маленький, не на что смотреть.

— Маленький, с тебя ростом, да сердце у него большое,— заметил Хамза, зевая.

— И будто бы не носит ни сабли, ни ружья,— продолжал Пьяный Ходжа.— Только поднимет воротник, надвинет шляпу на лоб и бросается впереди войска, и все сокрушает кругом; глаза молнии мечут, ни сабля, ни пуля его не берут.

Пьяный Ходжа снял стаканчик с тамбуры, наполнил его и выпил, действуя при этом только левой рукой; правую он заложил за борт антерии и голову склонил на грудь, не спуская рассеянного взгляда с шероховатой коры груши.

Ракия сразу в нем запела.

Чуть шевеля губами, не изменяя позы и не сводя глаз с дерева, он затянул густым баритоном:

Болела красавица Наза,
Единственная дочка у матери...

Он опять снял стаканчик, наполнил его, осушил и насадил на тамбуру.

— Эх, повстречаться бы мне с ним...

— С кем? — спросил Хамза, хотя уже в сотый раз слушал подобные мечтания.

— С ним, с Бонапартой. Потягались бы мы с ним, с басурманом, да посмотрели, на чьей стороне окажется счастье.

Безрассудные слова тонули в полнейшей тишине. Пьяный Ходжа снова снял стаканчик с тамбуры, выпил с содроганием, крякнул и продолжал на низких нотах:

— Если он победит, пусть возьмет мою голову. Ни чуточки не жаль. А если я его поборю и свяжу, то я пальцем его не трону, только связанного проведу через все войско и заставлю платить султану подати, как самого последнего пастуха-христианина из-под Караулы.

— Бонапарта-то далеко, Мурат, далеко,— добродушно сказал Хамза,— большая сила у него и войско. И через какие еще гяурские царства предстоит тебе, несчастному, пройти?

— Да через другие-то страны легко,— небрежно и свысока отмахнулся Пьяный Ходжа.— Бонапарта далеко, только когда у себя дома сидит, а ведь он никак не угомонится, все шатается по свету. В прошлом году приходил под Вену и женился там; взял дочку немецкого императора.

— Ну тут, под Веной, могло бы, конечно, что-нибудь выйти,— с усмешкой заметил Хамза,— если бы ты вовремя спохватился.

— Так я давно твержу тебе, что пора двинуться в широкий мир; вместо того чтобы помирать от скуки в этой травницкой плесени, прославить свое имя и разом погибнуть. Сколько раз уж говорил об этом, а вы двое все свое: не надо, погоди, нынче да завтра. Так вот...

Высказав это, Пьяный Ходжа резким движением снял стаканчик с тамбуры, налил ракии и выпил залпом.

Ни Хамза, ни Муса уже не отзывались на его грезы. Мелкими глотками, незаметно и они попивали ракию из своих кофейных чашечек. Предоставленный самому себе маленький Пьяный Ходжа замкнулся в горделивом и презрительном молчании, в какое погружаются после трудных поединков и великих дел, не получивших ни настоящего признания, ни достойной награды. Мрачный,

сунув руку за борт антерии, опустив подбородок на грудь, он уставился в пространство невидящим взглядом.

Болела она три года...—

снова неожиданно зазвучал его печальный баритон, и казалось, что поет не он, а кто-то другой.

Хамза встрепенулся и кашлянул.

— За твое здоровье, Мурат, старый единоборец! Двинешься ты, с божьей помощью и по воле аллаха, и еще полмира узнает и услышит, кто такой Мурат, какого он рода и племени.

— За твое здоровье! — растроганно и грустно воскликнул Пьяный Ходжа, устало поднимая свой стаканчик с таким видом, словно был обременен собственной славой.

Так проходило время, Муса, лежа молча и неподвижно, витал и кружился вместе с ветром и теплой землей, как бы освободившись на миг от закона тяготения и оков времени.

Прозрачный день, пронизанный солнечным светом и синевой небес, ослепительно сиял над Травницкой долиной.

XXI

В начале 1912 года стали все чаще появляться признаки новой войны, о том же говорили слухи. У Давиля при каждом таком известии слегка кружилась голова, как у человека, видящего, что его ожидают знакомые мучения, какие уже не раз обрушивались на него.

— Боже милостивый, боже милостивый!

Произносил он это невнятно, про себя, с глубоким вздохом откидываясь на стуле и закрывая глаза правой рукой.

Все начиналось сызнова, как в позапрошлом году и в то же время, как раньше, в 1805 и 1806 годах. И все повторится снова. Беспокойство и заботы, сомнение во всем, стыд и отвращение и в то же время подленькая надежда, что все в конце концов и на этот раз — еще один раз! — счастливо уладится и что жизнь (противоречивая, горькая, сладостная, единственная), жизнь империи, общества, его самого и его семьи станет устойчивой,— надежда, что это испытание последнее, что настанет конец жалкому существованию, когда человек медленно подымается и падает, словно на каких-то сумасшедших качелях, оставляющих ему ровно столько дыхания, чтобы сказать: я жив. Вероятно, и на этот раз все закончится победными бюллетенями, благоприятными мирными договорами, но кто может выдержать эту жизнь, которая становится все более тяжелой и дорогостоящей морально, и кто сумеет платить

требуемую ею цену? Что еще может дать человек, уже целиком себя отдавший, где найти силы, уже истощившиеся? Но все обязаны дать и сделать все, чтобы избавиться наконец от этих вечных войн и отдохнуть, достигнув прочного мира.

«Мир, только мир. Мир, мир!» — думал или шептал консул, и одно это слово убаюкивало его.

Но перед закрытыми глазами, заслоненными холодной ладонью, вдруг появилось забытое лицо забытого фон Миттерера, желтое и печальное, с глубокими морщинами, в которых залегли зеленоватые тени, с прямыми, тонко закрученными усиками и черными глазами с нездоровым блеском. Такое именно было у него лицо в прошлом году в то же время, когда, сидя в этой комнате, он любезным тоном и двусмысленно намекал, что весной «будет заваруха» (употребил он именно это казарменное выражение). И вот теперь он появился, точно и неумолимо, как педантичное и тупое привидение, дабы показать, что его предвидение сбылось, что мира нет и быть не может. Голова фон Миттерера говорила, как и в прошлом году при прощании, злорадно и с горечью:

— Il y aura beaucoup de tapage [1].

Нехорошие слова, плохой выговор, а главное, язвительный тон...

— ...beaucoup de tapage... de tapage... de tapage...

И при этих словах лицо фон Миттерера начало колебаться и постепенно стало мертвенно-бледным... Да это уже и не фон Миттерер. Это отрубленная, бледная и окровавленная голова на копье санкюлота, которую он увидел из своего окна в Париже более двадцати лет тому назад.

Давиль вскочил, взмахнул рукой и отогнал полусон, а вместе с ним лицо, которое появилось вдруг, чтобы напугать его, беспомощного и усталого. Большие деревянные часы мерно стучали в жарко натопленной комнате.

Весна предвещала Давилю много тяжелого.

По циркулярным предписаниям, по ускоренному движению курьеров и по газетам можно было догадаться, что подготовляются крупные события и новые походы, что военный механизм империи опять пришел в движение. И не с кем было об этом поговорить, обменяться мнениями, расспросить о перспективах, проверить свои сомнения и страхи и в разумной беседе понять, что в этих опасениях имеет под собой основание и что является плодом фантазии, боязни и переутомления. Как все слабые и измученные люди, оказавшиеся в одиночестве и временно утратившие веру в себя, Давиль обязательно хотел найти в словах и взглядах других под-

[1] Будет заваруха *(франц.)*.

утверждение и одобрение своих мыслей и поступков, вместо того чтобы находить их в самом себе. Но проклятие в том именно и состоит, что люди охотно с нами разговаривают и дают советы всегда, кроме тех случаев, когда они нам действительно нужны, а о том, что нас по-настоящему мучит, никто не хочет с нами говорить открыто и искренне.

Фон Паулич, по обыкновению учтивый, холодный, красивый и неумолимый, действовал как автомат, никогда не ошибающийся, никогда не колеблющийся. При встречах консулы говорили о Вергилии или намерениях европейских дворов, но при этом Давилю не удавалось проверить ни одного из своих предчувствий или страхов, ибо фон Паулич в разговорах не шел дальше общих фраз насчет «союзнических и родственных связей между австрийским и французским дворами», «мудрости и дальновидности тех, кто в данное время согласованно ведает судьбами европейских государств», и всячески избегал высказываться о будущем определенно. А Давиль не решался прямо задать ему вопрос, чтобы не выдать себя, и только лихорадочно вглядывался в его необыкновенные, синие и темные глаза, в которых видел все ту же беспощадную сдержанность.

С Давной не стоило говорить. Он признавал лишь осязаемые вещи и конкретные вопросы. Все прочее для него не существовало.

Оставались еще разговоры с Ибрагим-пашой и людьми из Конака.

Но от визиря он мог услышать приблизительно то же, что повторялось из года в год, как нечто окаменелое, каким был и сам визирь.

Было начало апреля. В это время визирь всегда становился беспокойным и раздражительным, так как приближалась пора снаряжать войско против Сербии, а из Стамбула к нему предъявляли требования, далеко превосходящие его возможности.

— Не понимаю, о чем они там думают,— жаловался визирь Давилю, который сам хотел найти утешение в этом разговоре,— не понимаю, о чем они думают,— вот все, что я могу сказать. Приказывают выступать одновременно с нишским пашой и напасть на повстанцев с двух сторон. А не знают, не хотят знать, какими силами я здесь располагаю. Как могут мои волы идти в ногу с его конями? Где мне достать десять тысяч людей и как их прокормить и снарядить, когда трех боснийцев нельзя свести вместе без того, чтобы они не поспорили, кому быть первым (последним-то, разумеется, никто не хочет быть). Но если б даже я и сумел все выполнить, какой бы вышел из этого толк, если боснийские молодцы не желают сражаться по ту сторону Дрины и Савы. На границе Боснии их покидают храбрость и легендарное геройство.

Ясно чувствовалось, что в данную минуту визирь не был в состоянии ни говорить, ни думать о чем-либо другом. Он даже както оживился, если вообще можно применить к нему это слово, и отмахивался рукой, словно тщетно отгонял назойливую муху.

— Впрочем, Сербия не заслуживает, чтобы о ней столько говорили. Эх, будь жив султан Селим, все сложилось бы иначе.

А раз зашла речь о несчастном Селиме III, то уж в этот день нечего было ждать разговора на другую тему. Так оно и получилось.

В те дни Давиль специально сделал подарок Тахир-бегу, тефтедару, лишь бы иметь возможность выслушать его мнение.

Проведя тяжелую зиму больше в постели, чем на ногах, Тахир-бег вдруг ожил, стал словоохотливым и подвижным, несколько даже неестественно возбужденным. Лицо его уже слегка загорело на апрельском солнце, а глаза блестели, как от легкого опьянения.

Тефтедар быстро и лихорадочно говорил о Травнике, о проведенных здесь зимах (он провел четыре, а Давиль уже пять), о дружбе и сострадании, которые при длительном совместном пребывании в этом городе возникли у визиря и у всех них по отношению к Давилю и его семье; говорил о детях Давиля, о весне, о самых разнообразных вещах, как будто не имевших никакой связи, а на самом деле тесно связанных с общим настроением Тахир-бега. Тихо, с улыбкой, но возбужденно, будто он делился тем, что ему самому открылось лишь в данную минуту и в чем он хотел убедить не только Давиля, но и самого себя, тефтедар, словно читая по книге, сказал:

— Весна выравнивает и исправляет все. Раз земля цветет новыми и новыми цветами и раз есть люди, способные любоваться этим феноменом и наслаждаться им, значит, все в порядке.

И темной, загорелой рукой со странно ребристыми посиневшими ногтями он легким движением показал, как все выравнивается.

— Люди же будут существовать всегда, потому что те, которые не умеют и не могут больше любоваться солнцем и цветами, гибнут, а их место занимают новые. Как сказал поэт: «В детях обновляется и очищается река человечества».

Давиль согласно кивал головой и сам улыбался, глядя на его смеющееся лицо, а про себя думал: «И этот говорит только о том, что ему в данную минуту бог знает почему необходимо». И сразу с весны и детства попробовал перевести разговор на империи и войны. Тахир-бег подхватывал любую тему и обо всем говорил с тем же спокойно-насмешливым увлечением, словно читал что-то новое и приятное.

— Да, и мы слышали, что надвигаются новые войны. Кто с кем пойдет воевать и против кого, это еще будет видно, но по всем данным война начнется этим летом.

— Вы уверены? — спросил Давиль поспешно и с болью в сердце.

— Уверен, поскольку так пишут ваши газеты,— ответил тефтедар с улыбкой,— а у меня нет причин им не верить.

Тахир-бег слегка склонил голову и смотрел на Давиля каким-то светлым и слегка косящим взглядом, взглядом куницы или ласки, быстрых зверьков, которые убивают и пьют кровь, но не едят мяса убитых животных.

— Уверен,— продолжал тефтедар,— поскольку мне известно, что война между христианскими государствами продолжается уже столетиями.

— Но ведь и нехристианские, восточные государства воюют,— перебил его Давиль.

— Воюют. Но разница в том, что мусульманские государства воюют без лицемерия и не противоречат себе. Они смотрят на войну как на важную часть своей миссии в мире. Ислам пришел в Европу как воюющая сторона и удерживается здесь или с помощью войн, или благодаря междоусобным войнам христианских государств. Христианские же государства, насколько мне известно, осуждают войну, искони возлагая ответственность за всякую войну друг на друга, но, осуждая войны, не перестают воевать.

— Несомненно, в словах ваших много правды,— поощрительно заметил Давиль, с задней мыслью навести разговор на русско-французские столкновения и узнать мнение тефтедара на этот счет,— но неужели вы думаете, что русский царь захочет навлечь на себя гнев величайшего христианского государя и самую сильную армию в мире?

Взгляд тефтедара стал еще более светлым, еще более косым.

— Мне не дано знать намерения императора, уважаемый господин Давиль, но позвольте обратить ваше внимание на один факт, давно мною замеченный, а именно на то, что война постоянно ведется на территории Европы, лишь передвигаясь с одного ее конца на другой, подобно тому как человек перекатывает на ладони горячий уголек, чтобы меньше жег. В данный момент война где-то около европейских границ России.

Давиль понял, что и тут он ничего не узнает из того, что его интересует и мучит, потому что и этот человек, как и визирь, говорил только о том, что ему диктовала минутная внутренняя потребность. И все же ему захотелось сделать еще одну попытку, причем грубо и непосредственно.

— Известно, что главной целью русской политики является

в данное время освобождение своих единоверцев, а значит, и здешних краев, от турецкой власти. И потому многие считают более вероятным, что в действительности военные планы России направлены против Турции, а не против западноевропейских государств.

Тефтедар не смутился.

— Как сказать? Не всегда случается то, что кажется наиболее вероятным. Но если бы и случилось так, как «многие считают», то не трудно предвидеть ход событий, ибо всем известно, что все эти земли добыты войной, охраняются войной и в войне их можно потерять, если уж так суждено. Но это ничего не меняет из того, что я сказал.

И Тахир-бег упрямо вернулся к своей теме.

— Обратите внимание, и вы увидите, как верно то, что везде, куда простирает свою власть христианская Европа со своими обычаями и устройством, возникают войны между христианскими народами. И в Африке, и в Америке, и в европейской части Оттоманской империи, вошедшей в состав христианского государства. И если когда-нибудь волею судьбы мы лишимся этих земель и ими завладеет одно из христианских государств, как вы только что упоминали, и тут произойдет то же самое. Таким образом, через сто — двести лет на этом самом месте, где мы в данный момент беседуем с вами о возможности турецко-христианской войны, будут вести между собой кровопролитные сражения христиане, освобожденные от оттоманского владычества.

И Тахир-бег громко рассмеялся, нарисовав такую картину. Давиль из вежливости тоже засмеялся, желая придать беседе приятный и безобидный оттенок, хоть он и был разочарован и недоволен направлением, которое принял разговор.

Под конец опять взяли верх размышления Тахир-бега о весне, о молодости, ее вечности, хотя и не вечны те, что молоды, о дружбе и добром соседстве, благодаря которым эти неприятные края становятся приятными и терпимыми.

Давиль выслушивал все с улыбкой, стараясь скрыть свое недовольство.

Возвращаясь из Конака, Давиль, как часто случалось, обменялся несколькими словами с Давной.

— Как, по-вашему, выглядит Тахир-бег? — спросил Давиль, чтобы как-то начать разговор.

— Больной человек,— сухо ответил Давна и замолчал.

Лошади их снова поравнялись.

— Но по виду он хорошо поправился на этот раз.

— Это как раз и плохо, что он часто поправляется. Поправляясь так все чаще и чаще, он в один прекрасный день...

— Вы думаете? — И Давиль вздрогнул от удивления.

— Ну да. Видели, какие у него руки и глаза? Этого человека лишь смерть избавит от страданий, он живет на одних наркотиках,— тихим голосом строго и твердо закончил Давна.

Давиль ничего не ответил. Теперь после слов Давны, восстанавливая в памяти разговор с Тахир-бегом, Давиль понял, что говорил тот действительно бессвязно и вел себя слишком напряженно. Лишь улыбка и жесты напоминали прежнего тефтедара.

Грубый и сугубо деловой тон, каким Давна сообщил об этом, почему-то оскорбил Давиля, болезненно задел его и причинил личную обиду. Пришпорив коня, он опередил Давну. Это было знаком, что разговор окончен. «Удивительно,— думал Давиль, глядя на широкую спину унтер-офицера визиря, ехавшего впереди него и расчищавшего дорогу,— удивительно, что здесь никто не чувствует ни милосердия, ни того естественного сострадания, какое мгновенно вспыхивает у нас при виде всякого чужого горя. В этих краях, чтобы вызвать сожаление, надо быть нищим, погорельцем или калекой. Но между равными людьми сожаления нет. Можно прожить тут сто лет и все же не привыкнуть к сухости, к этой своего рода душевной нищете и грубой бесцеремонности в отношениях людей и не очерстветь настолько, чтобы это не оскорбляло и не обижало».

Внезапно и отрывисто, как взрыв, раздался над ним голос муэдзина с Пестрой мечети. В этом резком голосе дрожала и переливалась сильная, воинственная и гневная набожность, переполнявшая, по-видимому, грудь муэдзина. Был полдень. С другой, невидимой мечети раздался голос второго муэдзина. Взволнованный и низкий, он с истовой верой вторил голосу базарного муэдзина. Эти два голоса, перекликаясь и исчезая в воздухе, сопровождали Давиля и его спутника до самого консульства.

На благовещение исполнился год со дня крещения дочки Давиля. Воспользовавшись этим случаем, он пригласил к обеду фон Паулича и долацкого приходского священника Иво Янковича с капелланом. Монахи приглашение приняли, но сразу было видно, что они отнюдь не изменили своего отношения к консульству. Оба были подчеркнуто учтивы, но смотрели не прямо в глаза Давилю, а исподлобья и искоса, куда-то мимо плеча. Давилю был знаком этот взгляд боснийцев (он привык к нему за годы общения с ними), и он хорошо знал, что бороться с тем, что скрывается за этим взглядом, невозможно ни добром, ни силой. Он хорошо знал эту затаенную и болезненную черту характера боснийцев, столь чувствительных, когда дело касалось их самих, сколь крутых и грубых, когда дело шло о других. И он готовился к этому обеду, как к трудной игре, когда заранее знаешь, что выиграть невозможно, а играть надо.

До и во время обеда разговор касался общих тем и был фальшиво слащавым и безобидным. Отец Иво ел и пил столько, что его и без того красное лицо стало багровым, а язык развязался. На молодого капеллана обильный обед подействовал иначе — он побледнел и стал молчаливее.

Закурив, отец Иво положил на стол огромный кулак правой руки с длинными рыжими волосами у запястья и без всякого предисловия начал разговор о взаимоотношениях святого престола с Наполеоном.

Давиль был удивлен осведомленностью монаха об отдельных фазах борьбы между папой и императором. Он знал все подробности о национальном соборе, созванном Наполеоном в прошлом году в Париже, о сопротивлении французских епископов, а также все места, где папа был заключен, все перипетии принудительного воздействия, которому он был подвергнут.

Консул начал защищать и объяснять поведение французов. (Но собственный голос казался ему неуверенным и неубедительным.) При этом он старался повернуть разговор на теперешнее международное положение, надеясь хоть таким образом узнать, что думает и чего ожидает от ближайшего будущего этот монах, а с ним и его собратья и весь народ. Но монах и не помышлял пускаться в общие рассуждения. Он знал только то, что следовало из его страстной натуры и фанатических убеждений. При всех других вопросах он обращал взгляд на фон Паулича, сидевшего чуть подальше и беседовавшего с госпожой Давиль. Ясно, что монаху не было никакого дела ни до русских, ни до французов. Своим свистящим голосом, казавшимся необыкновенно высоким для такого дородного человека, он продолжал предсказывать самое мрачное будущее народу, который так поступал с церковью и ее главой.

— Не знаю, господин консул, куда двинется ваша армия — в Россию или в какую-то другую страну,— отвечал монах на вопрос Давиля, желавшего узнать, на чьей стороне в этом случае были бы его симпатии,— но я достоверно знаю и говорю вам с полной откровенностью, что нигде ей не будет благословения, куда бы она ни двинулась, потому что кто так поступает с церковью...

И снова посыпался ряд жалоб с цитатами из последней папской буллы против Наполеона «о новых и все более глубоких ранах, наносимых ежедневно апостольской власти, правам церкви, святости веры и нам лично».

При виде этого грузного, мрачного и упрямого монаха Давилю, как уже бывало за эти годы неоднократно, пришла в голову мысль, что человек этот просто переполнен злобой и упрямством, сквозившими в каждом его слове, в самом голосе, и что все, о чем

он думает и говорит, в том числе и сам папа, служит лишь желанным предлогом для проявления злобы и упрямства.

Рядом с толстым отцом Иво сидел неподвижный капеллан, его безмолвный портрет в миниатюре, похожий на него и поведением и манерами. Правую руку, сжатую в кулак, он тоже положил на стол; только кулак был небольшой и белый, с едва заметным пушком рыжих волос.

На другом конце стола шла оживленная беседа между госпожой Давиль и фон Пауличем. С самого приезда подполковника в Травник она была удивлена и очарована его искренним интересом ко всему, что относилось к дому и хозяйству, и его поразительным знанием домашних дел и нужд. (Так же, как Давиль был удивлен и очарован его знанием Вергилия и Овидия. Так же, как в свое время фон Миттерер был удивлен и напуган его знанием военного дела.) Когда бы ни встретились, они легко находили бесконечные и приятные темы для разговора. И сейчас они толковали о мебели, о том, как сохранять вещи в здешних условиях.

Знания подполковника были, казалось, действительно неисчерпаемы и безграничны. На любую тему он говорил так, будто только она одна и занимала его в данное время, но все с той же холодной и отдаленной объективностью, не внося ничего своего, личного. И теперь он рассуждал о влиянии сырости на разные породы дерева, на морскую траву и конский волос в креслах со знанием дела и опытом, а также с научной объективностью, словно речь шла о мебели вообще, а не о нем и его личных вещах.

Фон Паулич говорил медленно на своем книжном, но изысканном французском языке, так приятно отличавшемся от невыносимо испорченного словаря и быстрого левантинского выговора фон Миттерера. Госпожа Давиль помогала ему, подсказывая слова, которых ему иногда недоставало.

Она была счастлива, что может говорить с этим вежливым и педантичным человеком о вещах, составлявших главную заботу и подлинное содержание ее жизни. В разговоре, как в работе и на молитве, она всегда была одинаково открытой и благожелательной, без побочных мыслей и колебаний, полная твердой веры в небо и землю, во все, что может произойти и что люди в состоянии сделать.

Слушая разговоры и глядя на все эти лица вокруг себя, Давиль думал: они спокойны и счастливы, знают, хотя бы в данный момент, чего хотят, и только я страшусь и волнуюсь за завтрашний день, переутомлен и несчастен, и принужден к тому же скрывать все это и носить в себе, ничем не выдавая.

Иво Янкович прервал течение его мыслей: по своему обыкновению, он быстро поднялся, резко окликнул молодого капеллана,

словно тот был причиной, что они засиделись, и громогласно заявил, что уже поздно, а до дома далеко, да и дела ждут.

Это придало встрече еще большую холодность.

Той же весной в Травник приехали по делам православной церкви митрополит Калиник и викарный епископ владыка Иоанникий. Давиль пригласил их на обед все с той же целью — узнать их мнение о назревающих событиях.

Митрополит был человек упитанный, рыхлый и болезненный, носил очки с толстыми стеклами (неодинаковой толщины), из-за которых глаза его казались страшно обезображенными и бесформенными, словно они каждую минуту могли разлиться по лицу. Он был фанариотски сладкоречив и о всех великих державах отзывался одинаково хвалебно и примирительно. Вообще в его распоряжении было лишь несколько выражений для всех вещей и понятий, неизменно хвалебных и положительных, которыми он и пользовался в разговоре, наугад, не разбирая, даже не слушая, о чем идет речь. Такая презрительная и нарочитая учтивость, плохо скрывающая полнейшее равнодушие ко всему, что говорят и что может быть сказано, часто бывает свойственна престарелым священникам всех вероисповеданий.

Совсем другим человеком был владыка Иоанникий, рослый и могучий монах, обросший черной бородой, с сердитым выражением лица и решительными, какими-то военными манерами, словно он под черной рясой носил панцирь и тяжелое вооружение. Турки сильно подозревали этого владыку в сношениях с повстанцами в Сербии, но доказать не могли.

На вопросы Давиля он отвечал кратко, но резко и откровенно:

— Вам бы хотелось знать, стою ли я за русских, а я вам скажу, что мы за того, кто поможет нам продержаться и со временем освободиться. Вы-то, живя здесь, знаете, каково нам приходится и что мы принуждены терпеть. А потому никто не должен удивляться...

Митрополит повернулся к владыке и остерег его взглядом своих лишенных выражения глаз, страшно расплывшихся за толстыми стеклами очков, но владыка твердо продолжал:

— Христианские государства сражаются между собой, вместо того чтобы объединиться и совместными усилиями постараться положить конец всему этому страданию. Это ведь длится веками, а вам хотелось бы знать, за кого мы...

Митрополит снова обернулся, но видя, что взгляд не помогает, набожно затараторил:

— Да сохранит и поддержит господь бог все христианские державы, богом созданные и им охраняемые. Мы всегда молим господа...

Но теперь владыка быстро и резко прервал митрополита:

— За Россию мы, господин консул, и за освобождение православных христиан от нехристей! Вот мы за кого, а кто скажет подругому, не верь тому.

Митрополит снова вмешался и посыпал любезностями, уснащая свою речь сладостными прилагательными, которые Давна переводил скороговоркой, неточно и выборочно.

Давиль смотрел на мрачного владыку. Тот дышал тяжело и прерывисто, его свистящий голос лился не ровно и плавно, а толчками, с какими-то всхлипываниями, словно это были взрывы безудержного, долго скапливаемого гнева, наполнявшего все его существо и вырывающегося с каждым словом и движением.

Давиль делал все возможное, дабы объяснить митрополиту и владыке намерения своего правительства и представить их в наилучшем свете, но он и сам не верил в возможность успеха, так как ничто не могло согнать с лица владыки оскорбленно-гневного выражения; митрополиту же было вообще безразлично, кто что говорит, и потому он слушал человеческую речь как журчание, лишенное значения, всегда с одинаково вежливой невнимательностью и равнодушием, с тем же слащаво-неискренним одобрением.

Вместе с архиереями в консульство прибыл и Пахомий, тощий, бледный иеромонах, обслуживающий травницкую церковь. Этот болезненный, согбенный человек, вечно с кислым и перекошенным лицом, как у людей, страдающих желудком, очень редко бывал в консульстве; обычно он отказывался от приглашения, ссылаясь то на страх перед турками, то на нездоровье. Когда же Давиль при встречах пытался, любезно с ним поздоровавшись, вовлечь его в разговор, он сгибался еще больше и еще сильнее кривил лицо, а бегающий взгляд его (Давилю хорошо был знаком этот взгляд боснийцев) смотрел не в глаза, а исподлобья и искоса, попеременно, то на одно, то на другое плечо собеседника. Только с Давной он иногда разговаривал свободнее.

И сегодня, придя по обязанности со своими старшими, он сидел, сжавшийся и молчаливый, как нежеланный гость, на краешке стула, словно готов был убежать каждую минуту, и все время смотрел прямо перед собой, не проронив ни слова. Но когда через два-три дня после отъезда митрополита Давна встретил его на улице и повел разговор «по-своему», желтый и хилый иеромонах вдруг ожил и заговорил, и взгляд его стал острым и прямым. С каждым словом разговор все оживлялся. Давна вызывающе уверял его, что все народы любой веры, еще хранящие какие-то надежды, должны обратить свои взоры на всемогущего французского императора, а не на Россию, которую французы еще этим летом покорят как последнюю европейскую державу, ей не подчиненную.

Большой и обычно судорожно сжатый рот иеромонаха вдруг широко раскрылся, и на болезненно искривившемся лице показались белые, красивые и крепкие, как у волка, зубы; по обеим сторонам рта пролегли незнакомые складки лукавой и насмешливой радости; запрокинув голову, иеромонах засмеялся неожиданно громко, издевательски и весело, так что даже Давна удивился. Это длилось мгновение. И тут же лицо Пахомия приняло свое обычное выражение, снова стало маленьким и сморщенным. Он быстро оглянулся вокруг, желая убедиться, не подслушивает ли кто, приблизил лицо к правому уху Давны и низким живым голосом, соответствовавшим не его теперешнему, а недавнему насмешливому выражению лица, сказал:

— Выкинь ты это из головы, сосед, вот что я тебе скажу.

Доверительно склонившись, иеромонах произнес эти слова дружелюбно и бережно, словно даря ему что-то очень ценное. И торопливо попрощавшись, продолжил свой путь, минуя, как всегда, базар и главные улицы и выбирая боковые.

XXII

Судьбы чужестранцев, заброшенных в эту тесную и сырую долину на неопределенный срок и принужденных жить в необычных условиях, быстро определялись. Необычные условия ускоряли внутренние процессы, начавшиеся в них еще до приезда сюда, и настойчиво и беспощадно подчиняли их прирожденным инстинктам. Инстинкты же эти развивались и проявлялись тут в таких размерах и формах, в каких при других обстоятельствах, может быть, никогда бы не развились и не проявились.

Уже в первые месяцы по приезде фон Паулича стало достаточно ясно, что отношения между новым генеральным консулом и переводчиком Николой Роттой будут нелегкими, приведут к столкновениям и рано или поздно — к разрыву. Потому что трудно было найти в мире двух столь противоположных людей, как бы заранее обреченных на столкновение.

Холодный, сдержанный и вылощенный подполковник, создававший вокруг себя атмосферу ледяного холода и кристальной ясности, повергал в смущение тщеславного и раздражительного толмача, одним своим присутствием вызывая в нем бесчисленные, судорожные и путаные расчеты, до той поры дремавшие или подавленные. Но сказать, что отталкивание этих людей было взаимным, нельзя, потому что на самом деле только Ротта отскакивал от подполковника, как от огромной и неподвижной льдины, и, что еще важнее, в силу какого-то неумолимого, рокового закона снова и снова наталкивался на эту самую льдину.

Никогда бы не пришло в голову, что такие умные, справедливые и во всех отношениях холодные люди могут оказывать на кого бы то ни было столь решающее и разрушительное воздействие. Между тем в данном случае было именно так. Ротта находился на той стадии внутреннего распада и пустоты, когда такой начальник неминуемо должен был означать для него гибель. Спокойствие и прямо-таки нечеловеческая объективность подполковника были ядом для уже отравленного толмача. Если бы его новый начальник оказался мягким и уступчивым, каким был фон Миттерер, или горячим и неровным, обуреваемым человеческими страстями, даже и наихудшими, он бы еще как-нибудь выдержал. В первом случае он использовал бы попустительство старшего, а во втором его низменные и переплетающиеся инстинкты нашли бы себе точку опоры и поддержку, сталкиваясь с подобными же инстинктами, и при этих постоянных столкновениях и трениях он мог бы сохранить известное равновесие. Но с таким начальником, как фон Паулич, Ротта вел себя подобно одержимому, который бросается на ледяную стену или на фантастический сноп света.

Уже самыми своими взглядами, манерами и поведением фон Паулич означал для Ротты серьезную и тяжелую перемену к худшему. Прежде всего, фон Паулич гораздо меньше нуждался в Ротте, чем фон Миттерер, которому он стал со временем необходим. Для фон Миттерера он служил чем-то вроде укрытия в самых трудных и грубых служебных столкновениях или как перчатки при выполнении наиболее отвратительных операций. Кроме того, во многих случаях, а за последние годы все чаще, переводчик был своего рода негласным его заместителем. Во время семейных кризисов или служебных неприятностей, когда у фон Миттерера бывала парализована воля, чему способствовало переутомление или приступы печени, Ротта брал дело в свои руки, уже одним этим вызывая у обессилевшего человека чувство облегчения и признательности. А самое «дело» он разрешал весьма просто, потому что в нем не было ничего трудного, и только фон Миттереру в его состоянии в тот момент оно казалось безвыходным и неразрешимым.

Ни о чем подобном с новым начальником, разумеется, не могло быть и речи. Для фон Паулича вся его деятельность являлась ровной и размеренной, как шахматная доска, на которой он играл со спокойствием и хладнокровием игрока, который долго думает, но не испытывает ни страха перед тем, как сделать ход, ни раскаяния потом, не нуждаясь ни в чьих советах, защите или поддержке.

Кроме того, стиль работы фон Паулича лишал переводчика последнего удовольствия, оставшегося ему в его бесцельно прожи-

той и бесцветной жизни. Надменное и дерзкое обращение с посетителями и подчиненными, со всеми, кто не мог ничего ему сделать или зависел от него, было для Ротты хоть и мизерной, но последней и единственной радостью, жалкой иллюзией и видимым признаком власти, за которую он понапрасну отдал свою душу, силу и молодость.

Когда он, напыщенный и побагровевший, разносил, разгорячившись, человека, который не мог, не смел или не умел ему ответить, Ротта ощущал, правда только на мгновение,— зато на какое дивное мгновение! — глубокое наслаждение и безмерное счастье от сознания, что он обрушился на кого-то, сломал, уничтожил, что он стоит над поверженным противником, готовым провалиться сквозь землю, и что сам он вознесен над простыми смертными довольно высоко, хотя и недостаточно высоко для того, чтобы они могли видеть, измерять и чувствовать его величие. А вот теперь подполковник лишал его и этого призрачного счастья.

Одно его присутствие уже исключало подобное обращение. Под взглядом его темно-синих, холодных глаз не выдерживала никакая иллюзия, разрушался всякий самообман, превращаясь в то самое ничто, из которого они возникали.

Уже в первые недели при первом удобном случае фон Паулич сказал Ротте, что с людьми можно говорить спокойно и добром добиваться от них желаемого. Во всяком случае, он не хотел, чтобы кто-нибудь из его служащих разговаривал так с кем бы то ни было в здании консульства или на улице. Тогда первый и последний раз переводчик попытался воздействовать на нового консула, навязать ему свой образ мыслей. Но это оказалось невозможным. Ротта, обладавший беспримерной находчивостью и дерзостью, почувствовал себя словно связанным. У него задергались уголки рта, еще ниже опустились веки, и, щелкнув по-военному каблуками, он язвительно сказал, откинув голову: «Будет выполнено, господин подполковник»,— и вышел.

То ли по забывчивости, то ли из желания испытать силу и твердость нового начальника, Ротта еще дважды попытался, войдя в раж, накричать на слуг в нарушение приказа фон Паулича. После второй выходки подполковник призвал переводчика и сказал ему, что, если он еще раз позволит себе так обращаться с подчиненными, даже и в менее грубой форме, к нему немедленно будет применен параграф регламента, предусматривающий повторный случай грубого нарушения дисциплины. При этом Ротта увидел, как синие глаза подполковника сузились и в самых уголках блеснули две убийственно острые искорки, совершенно изменившие его взгляд и выражение лица. С этого времени напуганный толмач ушел в себя и стал тайно и незаметно, но с той же яростью и на-

пористостью, с какими раньше набрасывался на свои жертвы, накапливать в себе ненависть к начальнику.

Фон Паулич, смотревший на Ротту хладнокровно и просто, как и на все на свете, старался по возможности меньше прибегать к его услугам; он посылал его курьером в Брод и Костайницу в расчете на то, что фон Миттерер, получив новое назначение, пожелает использовать Ротту и вызовет его к себе. Сам же он не хотел ничего предпринимать для удаления Ротты из Травника. Но и Ротта, как ни странно, не стремился покинуть службу, где, как он сам видел, его не ожидало ничего хорошего, а будто завороженный продолжал находиться в орбите своего ясного, холодного начальника, находясь с ним в постоянном и все обостряющемся конфликте, больше, правда, в душе, чем на деле.

Давна, знавший все или, во всяком случае, догадывавшийся обо всем, что происходило в Травнике, быстро уяснил себе положение Ротты в консульстве и сразу сообразил, что из этого можно будет впоследствии извлечь выгоду для французских интересов. И как-то во время одного из тех разговоров, которые эти два толмача имели обыкновение вести при встрече где-нибудь на базаре или по дороге в Конак, Давна в шутку сказал, что Ротта всегда может в случае надобности найти защиту во французском консульстве. Ротта ответил шуткой на шутку.

После первых столкновений между фон Пауличем и Роттой наступило глухое затишье, длившееся целый год. Если бы подполковник досаждал своему переводчику работой, предъявлял чрезмерные требования, если бы он выказывал ему свою ненависть или недоброжелательство, Ротта, быть может, сдержался бы и нашел в себе достаточно терпения вынести нового начальника. Но холодность фон Паулича и манера просто-напросто не замечать Ротту должны были рано или поздно привести к разрыву.

Весной 1812 года в австрийском консульстве назрел кризис. Маленький, горбатый толмач не мог больше жить, оставаясь неприметным, стесненным рамками своей основной должности и вынужденным обуздывать свои неодолимые инстинкты и закоренелые привычки. Теряя над собой власть, он обрушивался на прислугу и младших чиновников консульства и, воюя с ними, посылал по адресу своего начальника недвусмысленные угрозы и пожелания и хоть этим облегчал себе жизнь. Дошло наконец и до столкновения с фон Пауличем. И когда подполковник холодно заявил, что прибегнет к регламенту и отошлет неподчиняющегося и зазнавшегося переводчика в Брод, Ротта в первый раз нашел в себе силы открыто и дерзко возразить ему, заявив во всеуслышание, что консул не имеет на это права, а вот он, Ротта, может отправить консула куда-нибудь и подальше Травника. Фон Паулич приказал выки-

нуть вещи Ротты и запретить ему доступ в консульство. Одновременно он сообщил каймакаму, что Никола Ротта не состоит больше на службе в австрийском генеральном консульстве, не пользуется его покровительством и пребывание его в Травнике нежелательно.

Оказавшись выброшенным, Ротта сразу же обратился к Давне и через его посредство испросил защиты французского консульства.

Со времени приезда консулов и открытия консульств в Травнике не было большего скандала. Даже странное вероотступничество и таинственная смерть Марио Колоньи не вызвали такого волнения, беготни и разговоров. Те события произошли во время общего восстания, являясь как бы его составной частью, тогда как теперь времена были мирные. И главное, «иллирийский доктор» умер и умолк навеки, а Ротта продолжал существовать и орал громче чем когда-либо.

Уход Ротты от своего консула и отречение от своего государства рассматривались всеми как большой успех Давны. Но Давна отрицал это и сохранял вид умеренного и разумного триумфатора. На самом деле он старался как можно выгоднее использовать положение Ротты, но действовал осторожно и не спеша.

У Давиля случай этот, как и многие другие события раньше, вызывал неприятное раздвоение. Он, конечно, не мог и не смел отказаться от всех выгод, которые сулил для Франции уход Ротты. Горбатый толмач, подстрекаемый обстоятельствами и своей натурой, все сильнее скатывался к полной и открытой измене, постепенно выдавая все, что знал о работе и намерениях своих начальников. Но, с другой стороны, для Давиля была оскорбительна и неприятна необходимость прикрывать своим авторитетом заговор двух беспринципных и подлых толмачей-левантинцев против столь благородного и умного человека, каким был фон Паулич. В душе он больше всего желал, чтобы вся эта история поскорее улеглась и затихла, как только Давна вытянет из Ротты все, что нужно. Но это вовсе не входило в расчеты толмачей, в особенности Ротты. В борьбе против фон Паулича он нашел достойную мишень для своих затаенных страстей и стремлений. Он посылал длинные письма не только консулу, но и коменданту в Броде, и в министерство в Вене, сообщал о случившемся, умалчивая, конечно, о том, что вступил в связь с французским консульством. В сопровождении телохранителя из французского консульства он подходил к австрийскому консульству и, вызывая публичные сцены и громкие ссоры, требовал какие-то свои вещи, предъявлял вымышленные претензии; бегал, запыхавшись, по городу, ходил в Конак и к каймакаму. Одним словом, Ротта наслаждался скандалом, как взбалмошная баба, потерявшая стыд.

Фон Паулич, по-прежнему хладнокровный, все же допустил ошибку, официально потребовав, чтобы каймакам арестовал Ротту как простого вора, выкравшего служебные документы. Это принудило Давиля послать каймакаму письмо с извещением, что Ротта находится под покровительством Франции, а потому не может быть ни арестован, ни выслан. Копию этого письма он направил фон Пауличу, заявив, что сожалеет о случившемся, но иначе поступить не мог, потому что Ротта, хоть он человек неуравновешенный и неприятный, ни в чем не замешан и ему нельзя было отказать в защите французского консульства.

Фон Паулич ответил резко, протестуя против действий французского консульства, берущего под свое покровительство платных шпионов, растратчиков и предателей. Он просил, чтобы впредь Давиль на каждом посылаемом ему письме помечал, что речь в нем идет не о Ротте. В противном случае он будет возвращать письма нераспечатанными, пока длится это безобразное столкновение из-за Ротты.

Это, в свою очередь, обидело и огорчило Давиля: случай с Роттой становился все тяжелее и неприятнее.

Старый, мрачный каймакам, очутившись в центре конфликта двух консульств, из которых одно решительно требовало арестовать Ротту, а другое не менее решительно протестовало против этого, был в замешательстве и одинаково раздражен против обоих, а больше всего против Ротты. По нескольку раз в день он, сопя, бормотал себе под нос:

— Подрались собаки, да еще на моем дворе.

Через посланного он сообщил консулам, что скорее согласится уйти в отставку, чем допустит, чтобы они сражались тут в Травнике за его и без того перегруженной спиной, когда императоры их живут в мире. Он вовсе не желал вмешиваться в дела консульств, а тем более из-за этого сумасброда, простого слуги и рассыльного, который в качестве такового не должен был бы стать предметом пререканий между чиновниками императоров и достойными господами. А самому Ротте строжайше приказал утихомириться и подумать о своей голове, так как из-за него вот уже несколько недель волнуются лучшие люди города, где до сих пор царил покой, как на молитве, а он этого не стоит, если б даже имел *золотую голову и ум визиря. Если он согласен жить в Травнике спокойно и честно, ладно, но если будет баламутить город, бегая из одного консульства в другое, вызывая ссоры и вовлекая в них мусульман и христиан, то пусть выбирает одну из двух дорог, ведущих из Травника, и как можно скорее.*

А Ротта действительно взбаламутил весь город своим скандалом, в который втянул кого только мог. Он нанял верхний этаж

в доме некоего Перы Калайджича, бобыля, пользовавшегося дурной славой. Призвав кузнецов-цыган, велел вделать в окна железные решетки и устроить специальные запоры на всех дверях. Кроме двух хороших английских пистолетов, которые всегда лежали у него в изголовье, он приобрел ружье, порох и свинцовые пули. Он сам себе готовил пищу, боясь отравы, сам убирал квартиру, боясь воровства и подвоха. В комнатах Ротты царила холодная пустота, какая бывает в квартирах холостяков или уединившихся чудаков. В доме скапливалось всякое тряпье и отбросы, на всем оседали копоть и пыль. И всегда неприглядный, дом этот становился все более запущенным и снаружи.

И сам Ротта быстро менялся, сдавал и опускался. Он стал неопрятен в одежде. Рубашки носил мягкие, мятые и редко их менял, на черном галстуке виднелись следы пищи, обувь была нечищена и стоптана. В его седых волосах появились желто-зеленые переливы, под ногтями была грязь, он часто ходил небритый и распространял запах кухни и вина. И по манере держаться это был уже не прежний Ротта. Он не шагал больше, закинув голову, выбрасывая ноги и глядя свысока, а бегал по городу какими-то мелкими, деловитыми шажками, доверительно шептался с теми, кто еще соглашался его выслушивать, или громко и вызывающе норицал австрийского консула в Травнике, расплачиваясь со слушателями шкаликами ракии, к которой он пристрастился еще сильнее. С каждым днем с него спадала тонкая позолота былого достоинства, иллюзорной силы и значения.

Так жил в Травнике Никола Ротта, уверенный, что ведет великую борьбу против своих могущественных и разнородных врагов. Ослепленный своей болезненной ненавистью, он не замечал происходящей в нем перемены, не замечал собственного падения и того, что в этом своем падении быстро совершает обратный путь долгого и мучительного восхождения. Он не чувствовал, как собираются воедино бесчисленные мелкие обстоятельства и как незаметное, но сильное течение несет его назад к той жизни, которую он оставил ребенком в нищенском квартале San Giusto в Триесте, несет прямо в объятия ужасных бед и пороков, от которых он что было сил бежал тридцать лет тому назад и долгое время верил, что в самом деле от них избавился.

XXIII

Давиль возмущался мелочным суеверием, но постоянно ловил себя на том, что поддается ему. Он считал, например, что летние месяцы в Травнике приносят несчастье и неприятные сюрпризы.

И это вполне естественно, говорил он себе. Летом начинаются все войны и все восстания. Вообще летом дни длиннее, и у человека остается больше времени, а следовательно, и возможностей для совершения всяких глупостей и мерзостей, являющихся его постоянной и глубокой потребностью. Но, не успев закончить всех этих объяснений, он вновь ловил себя на той же суеверной мысли: лето приносит неприятности, и летние месяцы («те, в названии которых нет звука «р») во всех отношениях опаснее других.

Этому лету предшествовали плохие предзнаменования.

В один из майских дней, хорошо начавшийся двухчасовой работой над поэмой «Александриада», Давиль беседовал с молодым Фрессине, приехавшим, чтобы доложить ему о тяжелом положении «французского постоялого двора» в Сараеве и о всех трудностях французской транзитной торговли через Боснию.

Молодой человек сидел на веранде, окруженный цветами, и говорил, как все южане, оживленно и быстро.

Он уже второй год жил в Сараеве. За это время он только раз побывал в Травнике, но постоянно переписывался с генеральным консулом. И в письмах его все усиливались жалобы на людей и условия жизни в Сараеве. Молодой человек казался совершенно разочарованным и обескураженным. Он похудел, чуть облысел и приобрел нездоровый цвет лица. Руки у него, как заметил Давиль, слегка дрожали, а в голосе чувствовалась горечь. От спокойной ясности, с какой он все предусматривал и распределял во время своего первого посещения летом позапрошлого года в этом самом цветнике, не осталось и следа. («Восток,— подумал Давиль с тем подсознательным злорадным удовольствием, с каким мы подмечаем в других признаки болезни, от которой страдаем сами,— Восток проник в кровь этого молодого человека, подорвал его силы, лишил покоя и озлобил».)

Фрессине был в самом деле и огорчен и обескуражен. Раздражение, недовольство всем и вся, овладевающее людьми Запада, попавшими в эти края по делам, как видно, переполняло его до краев, и у него не было сил ни справиться с ним, ни скрыть.

Предложения его были радикальными. Надо все ликвидировать, и чем скорее, тем лучше, и искать иных путей через какие-то другие края, где с людьми можно жить и работать.

Давиль отлично понимал, что Фрессине отравлен «ядом Востока» и находится в той стадии болезни, когда человек, как в лихорадке, ни в чем не отдает себе отчета и ни о чем не может судить правильно, но каждым своим нервом и каждой мыслью протестует и борется с окружающим. Ему было настолько знакомо и понятно такое состояние, что по отношению к Фрессине он мог играть роль здравомыслящего старшего товарища, который уте-

шает и успокаивает. А молодой человек воспринимал всякое утешение как личное оскорбление и обиду.

— Нет,— язвительно замечал он,— в Париже понятия не имеют о том, как здесь живут и работают; этого никто не представляет. Только имея дело с этим народом и живя среди него, можно узнать, до какой степени ненадежны, надменны и неотесанны эти боснийцы и как они коварны. Только нам это известно.

Давилю казалось, что он слушает свои собственные слова, которые столько раз произносил и писал. Он слушал внимательно, не спуская глаз с Фрессине, дрожавшего от сдерживаемого раздражения и глубокого отвращения. «Так вот каким я выглядел в глазах Дефоссе и всех тех, кому я повторял то же самое, точно так же и таким же тоном»,— думал Давиль. А вслух продолжал утешать и успокаивать взволнованного молодого человека.

— Да, условия тяжелые, мы все испытали это на себе, но надо иметь терпение. Ум и достоинство французов должны в конце концов преодолеть их своенравие и надменность. Только надо...

— Надо бежать отсюда, господин генеральный консул, и как можно скорее. Иначе тут потеряешь и достоинство, и ум, отдашь все силы, не добившись ничего. Это, во всяком случае, верно относительно того дела, ради которого я сюда приехал.

«Та же самая болезнь, те же симптомы»,— думал Давиль, успокаивая и уверяя Фрессине, что необходимо потерпеть и подождать, ибо нельзя просто-напросто бросить дела, что в великом плане континентальной системы и организации европейского единства Сараево играет важную, хотя и неблагодарную роль и всякое ослабление в каком-то пункте может поставить под вопрос замысел императора в целом и помешать его осуществлению.

— Эта наша доля в общих тяжелых усилиях, и мы должны выдержать, как бы нам ни было трудно. Если даже нам неясны общий замысел и направление плана, выполнению которого содействуем и мы, результаты не приминут сказаться, но при условии, что каждый на своем месте проявит достаточно выдержки и не сдаст позиций. А надо всегда помнить, что провидение послало нам величайшего государя всех времен, который управляет всем, а значит, и нашей судьбой, и мы можем слепо на него положиться. Судьба мира случайно находится в его руках. Его гений и счастливая звезда приведут все к благополучному завершению. В надежде на это мы можем спокойно и уверенно заниматься своими делами, невзирая на очень большие трудности.

Давиль говорил медленно и спокойно, внимательно прислушиваясь к себе и с удивлением замечая, что находит те слова и доводы, которых никогда не умел найти при своих каждодневных колебаниях и сомнениях. Он становился все более красноречи-

вым и убедительным. С Давилем произошло то, что случается со старой няней, которая, убаюкивая ребенка, рассказывает ему бесконечную сказку и сама засыпает рядом с бодрствующим ребенком. К концу разговора Давиль успокоил и убедил себя, а Фрессине, которому сараевские торговцы и возчики отравили жизнь, только тихо покачивал головой и смотрел с горькой усмешкой, а лицо его, на котором уже появились признаки плохого пищеварения и разлившейся желчи, слегка подергивалось.

В эту минуту вошел Давна и, извинившись, что прерывает разговор, тихонько сообщил консулу, что вчера вечером из Стамбула прибыл гонец с известием о начавшейся в гареме Ибрагим-паши эпидемии. Чума, свирепствовавшая в течение последних недель в Стамбуле, проникла и в дом визиря на Босфоре. За короткий срок умерло пятнадцать человек, большинство из прислуги, но также и старшая дочь визиря и двенадцатилетний сын. Остальные домочадцы убежали в горы, в глубь страны.

Слушая печальные вести, принесенные Давной, Давиль ясно видел перед собой широкое лицо смешно разодетого визиря, всегда слегка откинувшегося вправо или влево, словно он старался уклониться от новых ударов судьбы.

По совету Давны и в соответствии с добрым восточным обычаем решено было не просить аудиенции у визиря сразу, а подождать несколько дней, пока улягутся немного первые и самые тяжелые впечатления.

Возобновив разговор с Фрессине, Давиль, только что соприкоснувшийся с чужим горем, почувствовал себя еще более умудренным и выносливым. Смело и без всяких колебаний он обещал молодому человеку приехать в следующем месяце в Сараево, чтобы узнать на месте, чего следует добиваться у властей для улучшения условий французской транзитной торговли.

Три дня спустя визирь принял Давиля в зале заседаний на верхнем этаже.

Ступив в жаркий летний день в безмолвное и холодное нижнее помещение Конака, консул задрожал, словно попал в катакомбы. На втором этаже было немного светлее, но и там, по сравнению с блеском и жарой на улице, царили полумрак и прохлада. Одно окно было открыто, и листья густо разросшегося винограда заглядывали в комнату.

Визирь сидел на своем обычном месте без всяких видимых перемен, в парадном одеянии, склонившись на одну сторону, как древний памятник. Глядя на него, Давиль и сам старался сохранить свой обычный вид и мучительно подбирал слова, уместные

в разговоре о несчастье, чтобы, не упоминая об умерших, в особенности о женщинах, сердечно и немногословно выразить свое искреннее сочувствие.

Визирь помог Давилю своей внутренней сдержанностью, вполне отвечавшей его внешней неподвижности.

Выслушав речь Давиля в переводе Давны без единого жеста и перемены в лице, визирь сразу, не тратя слов на покойных, перешел на судьбы и дела живых.

— Вот и чума нагрянула в Стамбул, да еще в такие кварталы, где на памяти людей она никогда не бывала,— произнес визирь низким, холодным голосом, исходящим как бы из каменных уст,— и чума не пожелала отстать. И она должна была напасть на нас за наши грехи. Значит, и я согрешил, если она не миновала и мой дом.

Визирь замолчал, а Давиль сразу предложил Давне, как врачу, объяснить, что таков уж характер этой болезни, что нередки случаи, когда до святости невинные люди и целые семейства погибали от случайно занесенной бациллы этой опасной болезни.

Визирь медленно повернул голову, словно только что заметил Давну. Посмотрел на него невидящим, окаменелым взглядом черных глаз и, сразу отвернувшись, обратился к консулу:

— Нет. За грехи, за грехи нам это. Народ в столице потерял и разум и честь, погряз в пороках. Все обезумели в погоне за роскошью. А в верхах ничего не предпринимают. И все потому, что нет больше султана Селима. Покуда он был жив и у власти, грех из столицы изгонялся, боролись с пьянством, беспутством и бездельем. А теперь...

Визирь опять остановился, неожиданно, как механизм, у которого кончился завод, а Давиль еще раз попытался сказать несколько утешительных и успокаивающих слов, объяснить, что между грехом и наказанием должно в конце концов наступить равновесие, чем будет положен конец греху и искуплениям.

— Бог един. Он знает меру,— сказал визирь, отклоняя всякое утешение.

В открытое окно доносилось щебетание невидимых птиц, от движения которых вздрагивали свесившиеся в комнату листья.

На крутом склоне, закрывавшем горизонт, виднелись поля спелой пшеницы, разделенные зелеными межами или живыми изгородями. Внезапно в тишине, наступившей после слов паши, откуда-то с этого склона донеслось резкое ржание жеребенка.

Прием окончился воспоминаниями о султане Селиме, который погиб как святой и мученик. Визирь был тронут, хотя этого нельзя было заметить ни по его голосу, ни по выражению лица.

— Да пошлет вам бог всякой радости от ваших детей,— сказал он Давилю на прощание.

Давиль поспешил ответить, что после горя и визиря озарит радость.

— Что касается меня, то я в жизни столько терял и потерял, что больше всего хотел бы, если б только это было можно, одеться в рубище и обрабатывать свой сад, вдали от людей и событий. Бог един!

Визирь проговорил эти слова словно давно обдуманную, готовую фразу, изобразил картину, очень близкую его настроению и имевшую для него особый, глубокий смысл, непонятный другим.

Лето 1812 года, так плохо начавшееся, и продолжалось плохо.

Во время последней войны против пятой коалиции, осенью 1810 года, Давилю было во многих отношениях легче. Во-первых, хотя борьба с фон Миттерером, сотрудничество с Мармоном и комендантами на австрийской границе были, как мы видели, трудны и утомительны, все же они заполняли время и направляли мысли на реальные заботы и осязаемые цели. Во-вторых, поход развивался успешно, от победы к победе, и, главное, быстро. Уже ранней осенью был заключен Венский мир и наступило хотя бы временное затишье. Теперь же все происходило вдалеке, было совершенно непонятно и пугало своей неясностью и гигантским размахом.

Всецело — мыслями и жизнью — зависеть от продвижения армии где-то по русской равнине, ничего не знать о направлении, средствах и перспективах военных действий, но ожидать всего и предполагать все, даже и самое худшее,— вот чем жил Давиль, о чем размышлял, расхаживая по крутым дорожкам сада при консульстве, в эти летние и осенние месяцы. И ничего, что могло бы облегчить это ожидание, и никого поблизости, кто бы мог ему помочь!

Курьеры теперь приезжали чаще, но известий о ходе войны почти не привозили. Бюллетени, в которых упоминались незнакомые названия совсем неизвестных городов — Ковно, Вильно, Витебск, Смоленск,— не могли устранить ни ощущения неизвестности, ни страха. И сами курьеры, привозившие обычно множество всяких россказней и новостей, теперь были усталые, недовольные и молчаливые. Не было даже ложных слухов, не высказывалось догадок, которые могли бы хоть как-то взволновать человека и рассеять сомнения и неизвестность.

Перевозка французского хлопка через Боснию была уже налажена, или так, по крайней мере, казалось по сравнению с забо-

тами и страхами, вызываемыми ходом событий, развивавшихся где-то далеко на севере. Правда, возчики повысили цены, население раскрадывало хлопок в пути, а из-за плохо упорядоченных турецких пошлин требовались бесконечные взятки. Фрессине писал отчаянные письма, поддавшись болезни, от которой страдали все иностранцы в этих краях из-за питания, невозможности иметь нормальные деловые отношения с местным населением, дурных бытовых условий. Давиль следил за хорошо ему известными симптомами болезни и посылал молодому человеку мудрые, сдержанные, казенные ответы, советуя проявлять терпение на службе империи.

И в то же время он сам с отчаянием оглядывался вокруг в поисках хоть какого-нибудь явления, которое могло бы немного успокоить и подбодрить его, изнывающего от сомнений и постоянной, хотя и скрытой болезни. Но не находил ничего, за что можно было бы уцепиться и поддержать слабеющие силы. Как всегда в подобных случаях, как было в происшествии с молодым комендантом из Нови, Давиль чувствовал вокруг себя живую стену лиц и глаз, словно по уговору холодных и немых или загадочных, пустых и лживых. К кому обратиться, кого спросить, кто знает правду и захочет сказать ее?

Визирь всегда встречал его одним и тем же кратким вопросом:

— Где теперь ваш император?

Давиль отвечал, называя место, отмеченное в последнем бюллетене, а визирь легонько взмахивал рукой и шептал:

— Дай бог, чтобы он поскорее взял Петербург.

При этом он окидывал Давиля таким взглядом, что у консула холодело внутри и становилось еще тяжелее на душе.

И поведение австрийского консула было таково, что могло только еще больше растревожить Давиля.

Когда французская армия двинулась на Россию и стало известно, что Австрия в качестве союзника Наполеона участвует в походе с тридцатитысячным корпусом под командой князя Шварценберга, Давиль сейчас же посетил фон Паулича, желая вызвать его на разговор о перспективах великой войны, в которой, к счастью, австрийский и французский дворы действовали на сей раз совместно. Но наткнулся на молчаливую и ледяную вежливость. Подполковник был далек и чужд более чем когда-либо, вел себя так, словно ничего не знал ни о войне, ни о союзе, предоставив Давилю самому размышлять об этом, в одиночку радоваться успехам и опасаться неудач. А когда Давиль пытался извлечь из него хоть слово согласия или негодования, тот опускал свои красивые синие глаза, которые становились вдруг злыми и грозными.

После каждого посещения фон Паулича Давиль возвращался к себе еще более смятенным и подавленным. Впрочем, австрийский консул старался, очевидно, показать визирю и народу, что лично он ни словом, ни делом не участвует в этой войне и что все это исключительно французская затея. То же самое подтверждалось и наблюдениями Давны.

Возвращаясь полный таких впечатлений и сведений домой, Давиль находил жену по горло занятой заготовками к зиме. Наученная опытом прошлых лет, она теперь хорошо знала, какие овощи сохраняются лучше и дольше, какие сорта здешних фруктов наиболее пригодны для заготовок, каково влияние сырости, холодов и изменений погоды. Благодаря этому ее соления и маринады год от года становились лучше и вкуснее, кухня богаче и разнообразнее, а убытки и затраты меньше. Женщины работали под ее руководством и присмотром, но и сама она не сидела без дела.

Давиль прекрасно знал (тоже на основании долголетнего опыта), что нельзя отрывать ее от работы, да из этого и не получилось бы толку, потому что у нее никогда не было и не могло быть желания вести разговоры о вещах отвлеченных, вроде опасений и страхов, какие его лично никогда не покидали. Самая незначительная забота о детях, о доме или о нем самом была для нее гораздо важнее и представлялась куда более достойным предметом разговора, чем самые сложные внутренние переживания и настроения, которые одолевали консула и которыми он так хотел бы с кем-нибудь поделиться. Он прекрасно знал, что его жена (верный и единственный его друг), как всегда, всецело поглощена данной минутой и начатым делом, будто ничего другого и не существует на свете и будто все, начиная от Наполеона и кончая женой консула в Травнике, ревностно, каждый на свой лад, приготовляют все необходимое к зиме. Для нее не могло быть сомнений, что воля божья проявляется ежеминутно повсюду и во всем. К чему же тогда разговоры?

Давиль сел в свое большое кресло, закрыл глаза рукой и с едва слышным вздохом (ах, боже милостивый, боже милостивый!) взял Делиля и открыл томик наугад, в середине какого-то произведения. На самом деле он искал то, чего не мог найти ни в жизни, ни в книгах: сочувствующего и искреннего друга, готового все выслушать и умеющего все понять, с которым он мог бы откровенно поговорить и получить на все вопросы ясный и прямой ответ. В таком разговоре он, как в зеркале, впервые увидел бы свое истинное лицо, точно определил пользу своей деятельности и свое настоящее положение в мире. Тогда он смог бы, наконец, уяснить, что во всех его сомнениях, предвидениях и страхах

является обоснованным и достоверным и что необоснованным и вымышленным. И это было бы просто счастьем в его одинокой жизни, которую он вот уже шестой год вел в этой печальной долине.

Но друг не приходил. Такой друг никогда не приходит. Вместо него появлялись странные и нежелательные гости.

И в первые годы, случалось, заезжал какой-нибудь путешественник, француз или иностранец с французским паспортом, и останавливался в Травнике, прося или требуя помощи. В последнее время такие проезжие стали наведываться все чаще.

Заявлялись и путешественники, и подозрительные торговцы, и авантюристы, и мошенники, которые сами обманулись, сбившись с пути в этой бездорожной и убогой стране. Все они ехали или бежали, направляясь кто в Стамбул, кто на Мальту, кто в Палермо, и смотрели на свое пребывание в Травнике, как на наказание и несчастье. Для Давиля каждый такой неожиданный и нежеланный гость означал лишь заботы и волнения. Он отвык от сношений с соотечественниками и вообще людьми Запада. И, как все легко возбудимые люди, не вполне в себе уверенные, он с трудом отличал ложь от правды и постоянно колебался между необоснованными подозрениями и чрезмерным доверием. Напуганный циркулярами министерства, неустанно напоминавшими о необходимости внимательно следить за английскими агентами, необыкновенно хитрыми и умеющими маскироваться, Давиль в каждом из этих путешественников видел английского шпиона и предпринимал ряд ненужных и бесполезных мер, чтобы разоблачить их или защититься от них. В действительности эти путники были чаще всего люди, выбитые из колеи, несчастные и растерявшиеся, с исковерканной судьбой, беженцы, потерпевшие крушение во взбудораженной Европе, которую Наполеон своими завоеваниями и своей политикой перепахал и перекопал во всех направлениях. И по ним Давиль мог иногда судить о том, что натворил «генерал» за последние четыре-пять лет.

Давиль ненавидел всех этих проезжих еще и потому, что по их паническому стремлению как можно скорее уехать отсюда, по их возмущению беспорядками, безрукостью и необязательностью жителей, по отчаянной беспомощности в борьбе с местными жителями и обстоятельствами он особенно ясно видел, куда его закинула судьба и в каких краях проходят его лучшие годы.

Каждый такой непрошеный гость был мучением и обузой; казалось, что он сваливался ему на голову, чтобы опозорить перед всем Травником, и консул всеми доступными способами — деньгами, посулами, уговорами — старался выпроводить его из Боснии, чтобы только не видеть олицетворения собственной судьбы и, во всяком случае, избавиться от свидетеля своих неудач.

И раньше через Травник проезжали случайные путники, но никогда их не было так много, как в год похода на Россию, и никогда не было среди них так много странных, подозрительных и беспутных людей. К счастью, даже и при таких обстоятельствах Давну никогда не покидало ощущение реальной действительности, хладнокровное и дерзкое самообладание и бесцеремонность по отношению ко всем и каждому, помогавшие ему выходить из самых затруднительных положений.

Однажды в дождливый майский день какие-то неизвестные проезжие остановились возле гостиницы. Вокруг них сразу столпились дети и бездельники с базара. Из-под одеял и шалей вылезли трое, одетые по-европейски. Маленький проворный мужчина, высокая, крупная женщина, набеленная и нарумяненная, с крашеными волосами, похожая на актрису, и девочка лет двенадцати. Все они устали и чувствовали себя разбитыми после трудной и дальней дороги, были голодны и злились друг на друга и на весь свет. Не предвиделось конца объяснениям с возчиками и хозяином гостиницы. Маленький мужчина, желтолицый брюнет, вертелся с живостью южанина, распоряжался, кричал на жену и дочку. Наконец сгрузили их сундуки и сложили у входа. Суетливый мужчина взял упитанную девочку под мышки, поднял и посадил на самый верхний сундук, приказав сидеть наподобие вывески. А сам отправился на розыски французского консульства.

Вернулся он с Давной, поглядывавшим на него искоса и свысока; маленький человечек объяснял, что зовут его Лоренцо Гамбини, родом он из Палермо, до сих пор жил в Румынии как торговец и теперь возвращается в Италию, так как больше не в силах выносить жизнь на Ближнем Востоке. Обманули его здесь, ограбили, загубили здоровье. Ему нужна виза, чтобы вернуться в Милан. Он узнал, что может получить ее здесь, в Травнике. У него имеется просроченный паспорт Цизальпинской республики. Сейчас же, без промедлений он желает ехать дальше, потому что теряет рассудок с каждым днем, проведенным среди этого народа, и не может ручаться ни за себя, ни за свои поступки, если будет вынужден задержаться здесь еще.

Не слушая его оживленной болтовни, Давна договорился с хозяином гостиницы, чтобы проезжим приготовили комнаты и еду. В разговор вмешалась и жена слезливым, усталым голосом актрисы, которая сознает, что стареет, и ни на одну минуту не может этого забыть или примириться с этим. Девочка, возвышавшаяся на сундуке, кричала, что она голодна. Все говорили разом. Они хотели получить комнаты, хотели утолить голод и отдохнуть, добиться визы, поскорее выехать из Травника и покинуть Боснию. И все же казалось, что им больше всего хотелось гово-

рить и ссориться. Никто никого не слушал, никто никого не понимал.

Позабыв о хозяине гостиницы и повернувшись спиной к Давне, маленький итальянец кричал жене, которая была в два раза выше его:

— Ты-то уж не вмешивайся, не смей мне ничего говорить. Будь проклят час, когда ты впервые заговорила и когда я тебя в первый раз услышал. Все из-за тебя и произошло.

— Из-за меня? Из-за меня? Ах! — взвизгнула женщина, призывая в свидетели небо и всех присутствующих.— Ах, а моя молодость, мой талант, все, все, что я ему отдала?! Ах! А теперь: из-за меня!

— Из-за тебя, моя красотка, да, из-за тебя, солнышко мое ясное!.. Из-за тебя я страдаю и порчу себе жизнь, и из-за тебя я покончу с собой, не сходя с этого места.

И привычным жестом маленький человек вытащил из непомерно широкого дорожного плаща огромный пистолет и поднес его ко лбу. Женщина с визгом подбежала к мужу, который и не думал стрелять, и стала его обнимать и говорить ему ласковые слова.

Упитанная девочка, восседавшая на багаже, мирно жевала желтое албанское печенье, которым ее кто-то угостил. Маленький человек уже позабыл и о жене, и о своей угрозе покончить с собой. Он со страстью объяснял Давне, который озадаченно почесывал за ухом, что завтра утром должен получить визу, размахивал потрепанным и заляпанным паспортом и одновременно ругал девочку за то, что она забралась на сундук и не помогает матери.

Уладив дело с хозяином и пообещав дать ответ завтра рано утром, Давна отправился в консульство, не обращая больше внимания на странное семейство и не отвечая на страстные мольбы и уверения итальянца.

Перед гостиницей осталась толпа любопытных, с удивлением и недоумением разглядывавшая чужестранцев, их одежду и чудные манеры, словно это был театр или цирк. Турки, сидевшие у своих лавок, и проходившие по делу люди глядели исподлобья и сразу отворачивались.

Не успел Давна вернуться, рассказать консулу, какие необыкновенные гости к ним пожаловали, и показать ему паспорт Гамбини фантастического происхождения, со множеством виз и рекомендаций, подшивок и вклеек, как послышался стук в ворота и крики. Лоренцо Гамбини явился собственной персоной и требовал, чтобы его пропустили переговорить с консулом с глазу на глаз. Телохранитель отогнал его от ворот. Детвора с базара следовала за ним издалека, радуясь, что всюду, где ни появлялся этот чужеземец, возникали суматоха, крики и волнующие сцены.

Вышел Давна и резко прикрикнул на чрезмерно возбужденного человека, уверявшего, что имеет заслуги перед французами и скажет еще свое слово в Милане и в Париже. Наконец он послушался и вернулся в гостиницу, повторяя, что покончит с собой на пороге консульства, если завтра не получит паспорта.

Давиль был напуган, раздосадован и возмущен всем этим и приказал Давне разделаться с этой историей как можно скорее, чтобы не устраивать спектакль в городе и не дождаться чего-то худшего. Давна, совершенно чуждый подобной осмотрительности и привыкший считать скандал неотъемлемой частью всякого дела на Востоке, сухо и деловито успокаивал консула.

— Этот никогда не покончит самоубийством. Увидев, что ничего от нас не получит, он уедет точно так же, как и приехал.

Так и случилось. На следующий же день все семейство покинуло Травник после громкой перепалки между Давной и Лоренцо, грозившим то немедленно застрелиться, то лично подать жалобу Наполеону на консульство в Травнике, а его рослая жена в это время бросала на Давну самые убийственные взгляды бывшей красавицы.

Давиль, вечно озабоченный репутацией своей родины и консульства, вздохнул с облегчением. Но через три недели в Травнике снова неожиданно появился непрошеный гость.

В гостинице остановился некий турок, кричаще разодетый, который прибыл из Стамбула и сразу отправился на розыски Давны. Звали его Измаил Раиф, на самом деле это был принявший магометанство эльзасский еврей Мендельсхайм. Он тоже добивался беседы с консулом, уверяя, что располагает сведениями, важными для французских властей. Он похвалялся, что, имея широкие связи в Турции, Франции и Германии и состоя членом первой ложи вольных каменщиков во Франции, знает многие планы врагов Наполеона. Был он атлетического сложения, рыжий и краснорожий, держался нагло и очень много говорил. Глаза у него блестели, как у пьяного. Давна избавился от него, прибегнув к уловке, которой часто пользовался. Он серьезно посоветовал ему, не теряя ни минуты, ехать дальше и все свои сведения сообщить военному коменданту в Сплите, единственно уполномоченному разбираться в таких делах. Еврей упирался, негодуя на то, что французские консулы никогда не интересуются сведениями, за которые английские или австрийские ухватились бы обеими руками и заплатили бы чистым золотом, но все-таки через несколько дней тронулся в путь.

Уже назавтра Давна узнал, что перед отъездом он побывал у фон Паулича и предложил свои услуги против Наполеона. Давна немедленно известил об этом коменданта в Сплите.

Не прошло и десяти дней, как Давиль получил обстоятельное письмо из Бугойно. Тот же самый Измаил Раиф извещал консула, что остановился в Бугойно и поступил на службу к Мустафа-паше, сыну Сулейман-паши. Писал он по приказанию Мустафы и просил от его имени прислать хотя бы две бутылки коньяку, кальвадоса или какого-нибудь другого французского вина, «лишь бы покрепче».

Мустафа, старший сын Сулейман-паши Скоплянина, был избалованный и распущенный юнец, склонный ко многим порокам, а больше всего — к пьянству. Он был совсем не похож на своего отца, хитрого и лицемерного, но храброго, неподкупного и трудолюбивого человека. Молодой сын паши вел праздный и расточительный образ жизни, надоедал своими приставаниями крестьянкам, пьянствовал с бездельниками и объезжал коней на Купресском поле. А старый Сулейман-паша, строгий и требовательный к людям, был слаб и снисходителен к сыну, всегда находя оправдание его лени и дурным поступкам.

Давна сразу понял, что связывало этих двух людей. С одобрения консула, он сообщил непосредственно молодому сыну паши, что пошлет ему вино с ближайшей оказией, но советует не доверять этому Измаилу, проходимцу и, по всей вероятности, австрийскому шпиону.

Измаил Раиф ответил пространным письмом, в котором защищался и оправдывался, уверяя, что он не шпион, а честный француз и гражданин мира, несчастный человек, бродяга. Письмо, от которого несло купресской ракией, заканчивалось сумбурными стихами, в которых он оплакивал свою судьбу:

O ma vie! O vain songe! O rapide existence!
Qu' amusent les désirs, qu'abuse l'espérance.
Tel est donc des humains l'inévitable sort!
Des projets, des erreurs, la douleur et la mort! [1]

Измаил заявлял о себе еще несколько раз, оправдываясь и объясняясь полупьяной прозой вперемежку со стихами и подписываясь своим прежним именем с добавлением мнимой масонской степени Cerf Mendelsheim, Chev $\overset{*}{**}$d'or $\overset{*}{**}$. Наконец и его выгнали из Боснии пьянство, бродяжничество и ход событий.

Но как только умолк этот пришелец, на смену ему, будто по уговору, прибыл другой французский путешественник, некий Пепен, небольшого роста, аккуратно одетый, надушенный и напуд-

[1] О моя жизнь! Пустые сны! О быстро летящие дни!
Желания их забавляют, надежды обманывают.
Такова неумолимая судьба людей!
Планы, ошибки, страданья и смерть! *(франц.)*

ренный, с тонким голосом и быстрыми движениями. Он рассказал Давне, что приехал из Варшавы, где у него была школа танцев, а здесь задержался потому, что его в дороге обокрали, что он возвращается в Стамбул, где когда-то жил и где у него какие-то заимодавцы. (Как он попал в Травник, вовсе не находящийся на пути Варшава — Стамбул, он не объяснил.)

Этот малорослый человек обладал наглостью публичной женщины. Остановив лошадь Давиля, когда тот ехал через базар, он церемонно попросил принять и выслушать его. Чтобы не вызывать публичного скандала, Давиль пообещал. Но, вернувшись домой, тут же призвал Давну и, дрожа от волнения и гнева, умолял освободить его от этого назойливого человека.

Консул, которому и во сне снились английские агенты, уверял, что у этого человека английский акцент. Давна, лишенный фантазии и не обладавший способностью видеть то, чего нет, или преувеличивать то, что есть, сохраняя, по обыкновению, непоколебимое спокойствие, успел уже все разведать относительно этого путешественника.

— Прошу вас, обратите на него внимание,— говорил своему переводчику расстроенный консул.— Избавьте меня, пожалуйста, от него, это агент, посланный, очевидно, скомпрометировать консульство или что-нибудь в этом роде. Это провокатор.

— Нет,— ответил сухо Давна.

— А кто же?

— Он педераст.

— Что такое?

— Педераст, господин геперальный консул.

Давиль схватился за голову.

— О! Что только не обрушивается на наше консульство. Вот как?!! О! О!..

Давна успокоил своего начальника и на другой же день освободил Травник от присутствия господина Пепена. Не сказав никому ни слова, он загнал это чучело в угол компаты, тряхнул как следует, схватил его за безукоризненное жабо и предложил немедленно убраться отсюда, заявив, что в противном случае его завтра изобьют посреди базара, а турецкие власти посадят в крепость. Учитель танцев принял это к сведению.

Давиль был счастлив, что избавился и от этого бродяги, но уже с тревогой думал, какие еще отбросы общества или потерпевшие крушение будут занесены темной и глупой игрой случая в эту долину, где и без них так тяжко живется.

А шестая осень, которую Давиль проводил в Травнике, быстро разворачивалась и, подобно драме, приближалась к своей кульминации.

К концу сентября пришли вести о взятии Москвы и о ее пожаре. Консула никто не пришел поздравить. Фон Паулич продолжал с наглым спокойствием утверждать, что не имеет никаких известий о военных действиях, и уклонялся от разговоров об этом. Давна установил, что и служащие фон Паулича ведут себя так же, беседуя с населением, и вообще делают вид, будто ничего не знают об участии Австрии в войне против России.

Давиль зачастил в Конак, старался подольше видеться с разными людьми в городе, но все, как один, избегали обсуждать поход против России, прятались за общие, ничего не значащие и ни к чему не обязывающие фразы и любезности. Давилю иногда казалось, что все смотрели на него со страхом и удивлением, как на лунатика, двигающегося на страшной высоте, стараясь не разбудить его неосторожным словом.

Но тем не менее истина понемногу проступала наружу. Однажды в дождливый день визирь, принимая Давиля, спросил, по обыкновению, каковы вести из России, и, услышав сообщение о взятии Москвы, обрадовался, хотя уже знал об этом, поздравил консула, выразив пожелание, чтобы Наполеон продвигался вперед, как некогда справедливый завоеватель Кир.

— Но почему ваш император теперь, накануне зимы, движется на север? Это опасно. Опасно. Мне бы хотелось видеть его немного южнее,— говорил Ибрагим-паша, озабоченно глядя в окно, словно где-то там видел эту опасную Россию.

Визирь проговорил это точно таким же тоном, как и свои добрые пожелания и сравнения с Киром, и Давна перевел, как переводил все, что ему говорили, сухо и сжато, но у Давиля захватило дух. «Вот то, что я предчувствовал, то, о чем все они думают и знают, но не хотят говорить»,— размышлял Давиль, напряженно ожидая дальнейших слов визиря. Но Ибрагим-паша умолк. («И он не хочет говорить»,— подумал Давиль с горечью.) После долгого молчания визирь снова заговорил, но уже о другом. Он рассказал, как некогда Гисари Челеби-хан двинулся походом на Россию, в нескольких схватках разбил войско противника, которое продолжало отступать все дальше и дальше на север. Тут победоносного хана настигла зима. Его доселе непобедимое войско пришло в замешательство, воины струсили, а дикие, косматые безбожники, привыкшие к холоду, стали нападать на них со всех сторон. Тогда-то Гисари Челеби-хан произнес известные слова:

Когда человека покидает солнце родного края,
Кто будет освещать ему обратный путь?

(Давиля всегда злила эта манера турок во время рассказа цитировать стихи как нечто особо важное и значительное, и он

никогда не мог понять, в чем подлинный смысл цитируемых стихов и какова их связь с предметом разговора, но всегда чувствовал, что турки придают им важность и значение, которых он не в состоянии был ни почувствовать, ни разгадать.)

Молодой хан сильно разгневался на своих звездочетов, которых он специально возил с собой, за то, что они предсказали более позднее наступление зимы. Он приказал связать этих мудрецов, оказавшихся невеждами, гнать их впереди войска босыми, полуодетыми, чтобы они на себе испытали последствия своего обмана. Однако оказалось, что эти худосочные ученые, вялые и бескровные, подобно клопам, выдерживали холод лучше, чем войско. Они остались живы, тогда как у молодых, полнокровных солдат сердце разрывалось в груди, словно крепкая древесина бука на морозе. Говорят, что до железа нельзя было дотронуться — оно обжигало, как раскаленное, обдирая кожу с ладоней. Так пострадал Гисари Челеби-хан, потеряв свои несметные полчища и едва сохранив свою голову.

Разговор закончился благословениями и наилучшими пожеланиями успеха Наполеону в его походе, москалям же, которые, как известно, плохие соседи, не любят мира и не держат данного слова, он пожелал поражения.

Конечно, рассказы о Кире и Гисари Челеби-хане визирь почерпнул от Тахир-бега. Это он помянул о них в Конаке, когда зашла речь о взятии Москвы и дальнейшем развитии наполеоновского похода в Россию. Давна, разузнававший обо всем, узнал и о том, как на самом деле расценивают в Конаке положение французской армии в России.

Тахир-бег объяснил визирю и другим, что французы зашли слишком далеко и не смогут уже отступить без огромных потерь.

— А если наполеоновские солдаты задержатся там еще на какую-нибудь неделю,— сказал тефтедар,— то я уже вижу их в виде холмиков, занесенных русским снегом.

Доверенное лицо в точности передало эти слова Давне, который бесстрастно повторил их Давилю.

«Все опасения в конце концов сбываются»,— громко и спокойно произнес Давиль, проснувшись однажды зимним утром.

Декабрьское утро было необычайно холодным. Консул пробудился внезапно, ощутив собственные волосы на голове как прикосновение чьей-то холодной руки. Открыв глаза, он проговорил эти слова как предостережение.

Эту же фразу он повторил про себя несколько дней спустя, когда вошедший Давна объявил, что в Конаке много говорят о

поражении Наполеона в России и полном разгроме французской армии. В городе ходит по рукам последний русский бюллетень со всеми подробностями французского поражения. По-видимому, русские бюллетени получает и распространяет австрийское консульство, разумеется, скрытно и через третьи руки. Во всяком случае, у Тахир-бега такой бюллетень имеется, и он показал его визирю.

«Все сбывается...» — повторил про себя Давиль, слушая рассказ Давны. Под конец, взяв себя в руки, он приказал Давне отправиться под каким-нибудь предлогом к Тахир-бегу и во время беседы, между прочим, попросить у него этот русский бюллетень. Он вызвал второго переводчика, Рафу Атияса, и велел ему, как и Давне, опровергать в городе эти неблагоприятные известия и убеждать народ, что армии Наполеона непобедимы, несмотря на временные трудности, обусловленные зимой и дальностью расстояния, а вовсе не какими-то там русскими победами.

Давне удалось повидать Тахир-бега. Он попросил дать ему бюллетень, но тефтедар отказал.

— Если я тебе его дам, ты по долгу службы покажешь его господину Давилю, а я этого не хочу. Уж слишком тут неблагоприятные сведения для него и его страны, а я очень уважаю консула и не хочу, чтобы он получал такие известия от меня. Скажи ему, что мои добрые пожелания всегда ему сопутствуют.

Давна повторил все это Давилю со свойственной ему беспощадной и спокойной точностью и сразу вышел. Давиль остался один, обдумывая слова Тахир-бега, полные той восточной любезности, от которой по спине пробегают мурашки.

Человека, с которым османские турки обходятся столь предупредительно, можно считать либо умершим, либо несчастнейшим из смертных. Так думал Давиль, прислонившись к окну и вглядываясь в ночной сумрак.

На узкой темно-синей полоске неба над Виленицей незаметно появился молодой месяц, острый и холодный, как металлическая буква.

Нет, на этот раз дело не кончится, как бывало, триумфальным бюллетенем и победоносным мирным договором.

То, что давно предчувствовал Давиль, теперь встало перед ним как отчетливо осознанное в холодной чужеземной ночи под злым молодым месяцем и наводило на мысль о том, как мог отозваться полный разгром и окончательное поражение французской армии на нем и его семье. Он попытался сосредоточиться, но почувствовал, что для этого потребуется больше силы и смелости, чем было у него в тот вечер.

Да, на сей раз дело закончилось не как обычно — победоносным бюллетенем и мирным договором, по которому Франция при-

обретала новые территории и императорская армия пожинала новые лавры, а, наоборот, отступлением и разгромом. Во всем мире наступила тишина и молчаливое ожидание неминуемого и страшного развала. Так, по крайней мере, казалось Давилю.

Все эти месяцы консул был полностью лишен каких бы то ни было известий, почти отрезан от внешнего мира, с которым были связаны как его мысли и страхи, так и его личная судьба.

Травник и весь край были скованы лютой, долгой и необыкновенно суровой зимой, самой тяжелой из всех зим, которые Давилю пришлось здесь провести.

Говорили, что такая же зима была двадцать один год назад, но, как всегда бывает, нынешняя казалась и более лютой, и более тяжелой. Уже в ноябре зима парализовала жизнь, изменила лик земли и внешность людей. А потом она спустилась в Травницкую долину, сровняла все и установилась как смертоносное нашествие, без всякой надежды на перемену. Зима опустошила амбары и закрыла дороги. Птицы падали замертво, словно фантастические плоды с невидимых ветвей. Звери спускались с крутых склонов и прятались в городе. Страх перед стужей победил страх перед людьми. В глазах бедняков и бездомных отражался ужас перед смертью, от которой не было спасения. В поисках хлеба или теплого ночлега люди замерзали на дорогах. Больные умирали, так как от холода не было лекарства. В ледяной ночи слышно было, как от мороза с треском лопается доска на крыше консульства или как над Виленицей завывают волки.

Печи топились и ночью, потому что госпожа Давиль боялась за детей, всегда думая о сыне, которого она потеряла четыре года тому назад.

В такие ночи Давиль и его жена сидели вместе после ужина, она, борясь со сном и усталостью после дневных хлопот, а он — с бессонницей и бесконечными заботами. Ей хотелось спать, а ему говорить. Хрупкая, вся закутанная в шали, но легкая и подвижная, она по целым дням вела борьбу с холодом и людским горем, и потому ей были чужды всякие разговоры и размышления по этому поводу. Он же, напротив, находил в этом хотя бы минутное облегчение. Однако она слушала его, хотя ей давно уже мучительно хотелось спать, и таким образом и по отношению к нему она выполняла свой долг, который целый день выполняла по отношению к другим.

А Давиль говорил обо всем, что приходило в голову в связи с бедствиями от холода, общими несчастьями и своими затаенными страхами.

Он рассказал, что видел и пережил много несчастий, постигающих человека в его борьбе со стихиями — как с теми, которые

его окружают, так и с теми, которые живут в нем самом или рождаются при столкновениях с людьми. Он пережил голод и всевозможные лишения двадцать лет тому назад, во время террора в Париже. Тогда казалось, что насилие и беспорядки — единственное, что ожидает человечество в будущем. Засаленные и истрепанные ассигнации, тысячи и тысячи франков, не имели никакой цены, а за кусочком копченого сала или горстью муки приходилось тащиться по ночам в отдаленные предместья и там в мрачных подвалах договариваться и торговаться с подозрительными людьми. День и ночь люди метались в волнении, стараясь сохранить свою жизнь, которую, и вообще-то невысоко оценивавшуюся, теперь можно было потерять в любую минуту по чьему-нибудь доносу, вследствие ошибки полиции или просто по капризу судьбы.

Потом он стал вспоминать, как воевал в Испании. Неделями и месяцами не снимал он заплесневевшей на нем от пота и грязи рубашки, боясь выстирать ее: совсем истлевшая, она от малейшего прикосновения могла превратиться в лохмотья. Кроме ружья, штыка и небольшого запаса пороха и пуль, у него была единственная собственность — ранец из сыромятной кожи, который он снял с мертвого арагонского крестьянина, отправившегося во имя божье убивать французских пришельцев и якобинцев. В этом ранце не водилось ничего, кроме куска черствого ячменного хлеба, взятого или украденного в покинутом доме, и то лишь в исключительно счастливые дни. Тогда тоже были лютые метели, против которых были бессильны и теплая одежда, и крепкая обувь. Впору было забыть обо всем на свете и думать только о крове и пристанище.

Все это он перенес в жизни, но никогда еще не видел и не испытал такого ужасного холода, во всей его безмолвно-разрушительной силе. Он даже не представлял себе, что на Востоке возможны такие бедствия и нужда, полнейшая парализованность всего из-за долгой и суровой зимы, поражающей, словно божья кара, эту гористую, скудную и несчастную землю. Это он узнал только здесь, в Травнике, и лишь этой зимой.

Госпожа Давиль не любила воспоминаний вообще и, как все деятельные и по-настоящему верующие люди, избегала размышлений вслух, которые ни к чему не ведут, а вызывают лишь умиление самим собой, ослабляют восприятие окружающего и часто направляют мысли по неверному пути. До сих пор она слушала напряженно и доброжелательно, но тут поднялась, покоренная усталостью, и заявила, что пора спать.

Давиль остался в большой комнате, в которой становилось все холоднее. Он долго еще сидел один, лишившись собеседника,

и «слушал», как холод проникал во все и разрывал нутро каждой вещи. И куда бы ни протянулась его мысль — думал ли он о Востоке и турках, об их беспорядочной и неустойчивой, а следовательно, бессмысленной и бесполезной жизни, старался ли понять, что происходит во Франции и что случилось с Наполеоном и его армией, потерпевшей поражение и возвращавшейся из России,— всюду он видел страдания, бедствия и жестокую неизвестность.

Так проходили дни и ночи этой зимы, которой, казалось, не предвиделось ни конца, ни облегчения.

Когда, случалось, мороз ослабевал на день-два, валил тяжелый и обильный снег и, вновь покрывая сугробы, на которых уже образовался твердый наст, словно обновлял лик земли. И сразу затем мороз крепчал еще сильнее; дыхание леденело, вода замерзала, солнце меркло. Мысль человека цепенела, направленная лишь на защиту от холода. Требовалось большое усилие, чтобы представить себе, что где-то подо льдом и снегом лежит земля-кормилица, которая может цвести и давать плоды. Между этими плодами и человеком легла холодная, белая и непреодолимая стихия.

Уже в первые зимние месяцы цены на все резко повысились, в особенности на зерно; теперь его совсем не стало. В селах царил голод, в городе — тяжелая нужда. По улицам бродили исхудалые крестьяне — с беспокойным взглядом, с пустым мешком в руке — в поисках хлеба. Из-за углов набрасывались нищие, посиневшие от холода, замотанные в тряпье. Соседи считали друг у друга каждый кусок.

Оба консульства старались помочь народу и облегчить страдания от голода и стужи. Госпожа Давиль и фон Паулич соревновались в оказании помощи продуктами и деньгами. Перед воротами консульств собирался голодный люд, главным образом дети. Сперва это были только цыганята и изредка христианские дети, но по мере того, как усиливался мороз, а вместе с ним и нужда, начали приходить с окраин и турецкие сироты. В первые дни их поджидали на базаре городские турчата, насмехались над ними за то, что они выпрашивают и едят хлеб неверных, бросали в них снегом и кричали:

— Голь голодная! Неверные! Наелись свинины? Голь голодная!

Но потом ударил такой мороз, что городские дети уже не выходили из домов. А перед консульствами щелкала зубами и подпрыгивала от мороза толпа озябших детей и нищих, настолько промерзших и закутанных во всевозможное тряпье, что нельзя было разобраться, ни откуда они, ни какой веры.

Консулы раздавали так много, что и сами начали ощущать недостаток в продуктах. Но как только мороз упал настолько, что

возчики получили возможность добираться из Брода, фон Паулич умело и решительно наладил постоянный подвоз муки и продовольствия для своего консульства и для Давиля.

Еще в начале зимы транспортировка французского хлопка через Боснию была приостановлена. Фрессине продолжал слать отчаянные письма, собираясь все бросить. Наряду с этим и в народе утвердилось единодушное мнение, что французы, платившие высокие цены возчикам, вызвали не только дороговизну, но и нехватку продуктов тем, что отрывали народ от полевых работ. Вообще всему виной была «Бонапартина война». Как уже случалось столько раз в истории, люди из своего мучителя сделали искупительную жертву, на плечи которой взвалили все грехи и преступления. И все увеличивалось число таких, которые, сами не зная почему, стали ждать облегчения и спасения от поражения и провала «Бонапарты», хотя знали о нем только то, что он стал «бременем для страны», неся с собой войны, беспорядки, дороговизну, болезни и обнищание.

На противоположной стороне Савы, в австрийских землях, где народ стонал под гнетом налогов и финансовых кризисов, воинской повинности и кровавых жертв в боях, о Бонапарте уже слагались песни и рассказы, в которых он изображался виновником всего этого и помехой личному счастью каждого в отдельности. В Славонии заневестившиеся девушки пели:

О француз, всесильный император!
Отпусти парней, остались девушки;
Погнили кафтаны, и яблоки,
И рубашки, расшитые золотом.

Эта песня перекинулась через Саву в Боснию, достигла и Травника.

Давиль прекрасно знал, как возникают в этих краях подобные массовые мнения, распространяются, пускают корни и как тяжела и безрезультатна борьба с ними. Невзирая на это, он продолжал бороться, но уже с надломленной волей и подорванными силами. Он по-прежнему писал донесения, давал указания служащим и помощникам, старался добывать как можно больше сведений, как можно сильнее воздействовать на визиря и на всех и каждого в Конаке. Все делалось как раньше, только сам Давиль был уже не тот.

Консул держался прямо, двигался спокойно и уверенно. Все на первый взгляд оставалось без перемен. И все же он сильно изменился внешне и внутренне.

Если б можно было измерить силу нашей воли, ход мысли, твердость наших внутренних порывов и их проявлений, то стало

бы ясно, что ритм деятельности Давиля был теперь гораздо ближе к ритму, в котором дышал, жил и работал этот боснийский город, чем к тому, который был ему присущ, когда он более шести лет тому назад сюда приехал.

Эти изменения происходили постепенно и незаметно, но постоянно и непреложно. Давиль опасался написанных слов и быстрых, ясных решений, страшился новостей и посетителей, пугался перемен и даже самой мысли о них. Он предпочитал надежную минуту спокойствия и отдыха грядущим годам, полным неизвестности.

Да и внешних перемен нельзя было скрыть. Людям, живущим в таком тесном общении, всегда на глазах друг у друга, труднее заметить, как они стареют и меняются. И все же видно было, что консул постарел, в особенности за несколько последних месяцев.

Волна буйных волос на лбу поредела, снизилась и посерела, как бывает у белокурых людей, когда они начинают быстро седеть. На лице его еще сохранялся румянец, но кожа стала сохнуть, терять свою свежесть и обвисать вокруг подбородка. После жестокой зубной боли, мучившей его этой зимой, он стал терять зубы.

Таковы были видимые следы, которые за этот год оставили на Давиле травницкие морозы, дожди и сырые ветры, мелкие и крупные семейные заботы и бесчисленные консульские обязанности, а в особенности внутренняя борьба в связи с последними событиями во Франции и во всем мире.

Таков был Давиль в конце шестого года своего безвыездного пребывания в Травнике, в канун событий, происшедших по возвращении Наполеона из России.

XXIV

Когда в первые дни марта мороз стал наконец ослабевать и лед, казавшийся вечным, начал таять, город выглядел заглохшим и испуганным, словно после мора,— размытые улицы, обветшалые дома, голые деревья и люди, изнуренные и озабоченные больше, чем в стужу, из-за недостатка пищи, семян, из-за невылазных долгов и займов.

В такой вот мартовский день — опять утром и опять тем же низким и противным голосом, каким Давна годами непреклонно и одинаково объявлял о приятных и неприятных вещах, о важных или незначительных событиях,— он доложил Давилю, что Ибрагим-паша смещен, причем даже не получил нового назначения. Приказ гласил, что он должен покинуть Травник и в Галлиполи ожидать дальнейших распоряжений.

Когда пять лет тому назад ему точно так же объявили о переводе Мехмед-паши, Давиль был взволнован и чувствовал потреб-

ность действовать, говорить, как-то бороться против такого решения. И теперь, в нынешние времена, известие это было для него тяжким ударом и непоправимой утратой. Но он больше не находил в себе сил для возмущения и сопротивления. Еще с прошлой зимы, после московской катастрофы, в нем окончательно утвердилось ощущение, что все рушится и разваливается и что всякая потеря, чем бы она ни была вызвана, обретает в этом ощущении свой смысл и свое оправдание.

Все гибнет — цари, армии, установленный порядок, состояния и неуемные восторги, а потому не удивительно, что настал день, когда пал и этот оцепеневший, несчастный визирь, уже многие годы сидевший постоянно склонившись то влево, то вправо. Известно, что означала фраза: «ожидать в Галлиполи дальнейших распоряжений». Это было изгнание, томительное полунищенское существование, без слова жалобы и без возможности что-либо объяснить и исправить.

Только потом Давилю пришло в голову, что он теряет многолетнего друга и верную поддержку, и это тогда, когда она была особенно нужной. Но он не находил в себе того горения и ревностной потребности писать, предупреждать, угрожать и призывать на помощь, как в свое время при отъезде Мехмед-паши. Все гибнет, даже друзья, эта полезная опора. А тот, кто волнуется, стараясь спасти себя и других, ничего не достигает. Значит, как все остальное, обречен на гибель и вечно склоненный визирь, покидающий Травник. Оставалось только сожалеть.

Пока консул так раздумывал, не приходя ни к какому решению, из Конака сообщили, что визирь приглашает его для беседы.

В Конаке чувствовалась возбужденная суета, но визирь оставался тем же. Он говорил о своем смещении, как о чем-то вполне естественном в ряду несчастий, годами его преследовавших. Словно желая, чтобы этот ряд несчастий завершился как можно скорее, визирь решил не откладывать отъезда и двинуться в путь дней через десять, то есть в начале апреля. Было известно, что преемник его уже выехал, и Ибрагим-паша ни в коем случае не желал встретиться с ним в Травнике.

Визирь, как и раньше Мехмед-паша, уверял, что он жертва своих симпатий к Франции. (Давиль прекрасно знал, что это была одна из тех восточных полуправд, которые встречаются среди искренних отношений и услуг, как фальшивые деньги среди настоящих.)

— Да, да, пока Франция процветала и побеждала, и меня держали, не смели тронуть, а теперь, когда счастье повернулось к Франции спиной, меня сменяют и отстраняют от общения и сотрудничества с французами.

(Фальшивые деньги вдруг обернулись настоящими, и Давиль, забывая о неточности предпосылки визиря, реально ощутил французское поражение. Та холодная и мучительная спазма, которая то сильнее, то слабее столько раз сводила ему нутро в Конаке, появилась и сейчас, когда он спокойно слушал речь визиря, полную фальшивой любезности и горькой истины.)

Ложь перемешана с правдой, думал Давиль, предоставляя Давне переводить слова, которые и сам хорошо понимал, все так перемешано, что никто уже не может как следует в этом разобраться, ясно только одно: все рушится.

А визирь уже перевел разговор с Франции на свои отношения к боснийцам и лично к Давилю.

— Уверяю вас, этому народу нужен более строгий и свирепый визирь. Правда, мне говорят, что бедняки во всем крае благословляют меня. А я только этого и желаю. Богатые и сильные меня ненавидят. И о вас меня вначале неправильно осведомили, но я быстро распознал, что вы мой настоящий друг. Слава богу единому! Поверьте, я и сам не раз просил султана отозвать меня. Мне ничего не нужно и больше всего хотелось бы стать простым садовником, обрабатывать свой сад и в покое провести остаток дней своих.

Давиль проговорил успокоительные слова и пожелания лучшего будущего, но визирь отклонил всякое утешение.

— Нет, нет! Я вижу, что меня ожидает. Знаю, что меня постараются оклеветать и погубить, как уже столько раз пытались, чтобы завладеть моим имуществом. Я прямо-таки чувствую, как где-то в верхах под меня подкапываются, но что поделаешь. Бог един! А после того, как я потерял самых любимых детей и столько родни, я готов к любому новому горю. Будь жив султан Селим, все было бы по-иному...

Давилю был хорошо знаком строй дальнейшего разговора. И Давна переводил наизусть, как текст хорошо заученного обряда.

Покидая Конак, Давиль заметил, что беспокойство и суета увеличивались с каждой минутой. Разнообразное и сложное хозяйство визиря, разросшееся за эти пять лет, пустившее корни и ставшее частью дворца и его окружения, теперь вдруг зашаталось, готовое рухнуть.

Из всех закутков и дворов доносились голоса, топот, стук и грохот молотков, сбрасываемых ящиков и корзин. Каждый хотел обеспечить себя и спастись. Эта большая, далеко не дружная, но тесно связанная семья, отправляясь в полнейшую неизвестность, бурлила, скрипела и трещала по всем швам. Единственный, кто во всей этой суете и беготне оставался хладнокровным и застывшим, был визирь. Он сидел на своем месте, слегка отклонившись в сто-

рону, и был недвижим, как разукрашенный каменный идол среди растревоженной и напуганной челяди.

Уже на другой день слуги пригнали во французское консульство целую вереницу домашних или прирученных животных: ангорских кошек, борзых, лисиц и зайцев. Давиль торжественно встретил и принял их во дворе. Сопровождавший зверей ичоглан стал посреди двора и громогласно объявил, что эти божьи твари были друзьями дома визиря, и теперь визирь дарит их дому своего друга.

— Он их любил и может оставить только тому, кого любит.

Ичоглан и слуги получили подарки, животных же поместили во дворе за домом к большому неудовольствию госпожи Давиль и к неописуемой радости детей.

Через несколько дней визирь еще раз пригласил Давиля, чтобы проститься с ним наедине, неофициально и по-приятельски.

На сей раз визирь был действительно растроган. Не было уже фальшивых монет — ни полуправд, ни двусмысленных любезностей.

— Со всем человек расстается, теперь наступило и наше время. Мы встретились как два изгнанника, заброшенные сюда и заточенные среди этого страшного народа. Мы сделались друзьями и всегда останемся таковыми, если нам доведется снова встретиться где-нибудь в лучшем месте.

И тут произошло событие, небывалое в церемониале Копака за все пять лет. Ичоглапы подбежали к визирю и помогли ему встать. Он поднялся быстро и резко, и только теперь стало видно, как он высок и крепок, затем медленно и тяжело, без единого жеста проследовал на невидимых под тяжелым и длинным плащом ногах, словно на колесиках, через всю комнату. Все вышли за ним во двор. Здесь стояла вычищенная и приведенная в порядок черная карета, давний подарок фон Миттерера, а чуть поодаль от нее — красивый, чистых кровей, рыжий конь с бело-розовыми ноздрями, в полной сбруе.

Визирь остановился перед экипажем и, прошептав нечто вроде молитвы, повернулся к Давилю:

— Покидая эту печальную страну, я оставляю вам это средство передвижения, чтобы и вы покинули ее как можно скорее...— Затем подвели коня, и визирь снова повернулся к Давилю: — ...и это благородное животное, чтобы оно несло вас навстречу счастью.

Давиль, тронутый, хотел что-то сказать, но визирь продолжал, серьезно и старательно выполняя предусмотренный церемониал:

— Экипаж — знак мира, а конь — символ счастья. Таковы мои пожелания вам и вашей семье.

Тут только Давилю удалось высказать свою благодарность и

выразить визирю пожелание счастливого пути и всяких благ в будущем.

Еще раньше, в Конаке, Давна от кого-то узнал, что визирь ничего не подарил фон Пауличу и простился с ним коротко и холодно.

Перед Конаком лагерем стояли караваны; возчики укладывали и перекладывали кладь, перекликались, поджидая один другого. Из опустелого дома доносились шаги, слышались распоряжения и препирательства. Всех заглушал своим писклявым голосом Баки.

Он был несчастен и чувствовал себя больным от одной мысли, что надо ехать в такой холод (в горах еще лежал снег) по ужасным дорогам, а расходы, убытки и потери, связанные с отъездом, приводили его в отчаяние. Он перебегал из комнаты в комнату, оглядывал, не осталось ли чего-нибудь, заклинал, чтоб вещи не кидали и не ломали, грозил, умолял. Он сердился на Бехджета за постоянную улыбку, с которой тот следил за всей этой суматохой. («С таким умишком в голове и я, конечно, смеялся бы».) Обижался на Тахир-бега за беззаботность и легкомыслие. («Этот сам себя погубил, так почему бы ему не губить и все остальное!») Подарки, предназначенные визирем для Давиля, взволновали его настолько, что он позабыл и корзины возчиков. Он бегал от одного к другому, доходил до визиря, настойчиво умоляя не дарить хотя бы коня. А не добившись ничего, сел на голую тахту и, всхлипывая, принялся рассказывать во всеуслышание, что в свое время Ротта сообщил ему по секрету, как совершенно достоверный факт, что, покидая Травник, фон Миттерер увез с собой пятьдесят тысяч талеров, сбереженных за неполные четыре года службы.

— Пятьдесят тысяч талеров! Пять-де-сят ты-сяч! Этот боров немецкий! И за четыре года! — кричал Баки.— Сколько же тогда накопил француз? — громко спрашивал он всех в бессильной ярости, шлепая себя ладонью по шелковому кафтану в том месте, где положено быть бедру.

В конце недели под холодным дождем, который превращался в горах в мокрый снег, Ибрагим-паша двинулся в путь со своей свитой.

Провожали его оба консула с телохранителями. Часть пути за ними следовали и многие из травницких бегов, на конях и пешком: Ибрагим-паша уезжал не тайком, сопровождаемый общей ненавистью, как некогда Мехмед-паша. В первые два года айяны восставали и плели интриги и против него, как против большинства его предшественников, но со временем это случалось все реже и реже. Вследствие исключительной сдержанности визиря и аккуратности в денежных делах, благодаря отзывчивости, сметливости и спокойствию Тахир-бега между Конаком и бегами установились

постепенно спокойные, хотя и холодные отношения. Беги, правда, упрекали визиря за бездеятельность и внутри страны, и в военных операциях против Сербии, но делали это больше для того, чтобы успокоить собственную совесть и подчеркнуть свое усердие, а не потому, что всерьез хотели нарушить бесплодную, но приятную тишину, установившуюся за время долгого правления Ибрагим-паши. (К тому же визирь, со своей стороны, и вполне основательно, заявлял, что не может двинуть войско против Сербии только из-за медлительности, беспорядка и разногласий между боснийцами.) И чем больше визирь становился похожим на покойника, тем мягче судили о нем самом и тем благожелательнее отзывались о его правлении.

Процессия, провожавшая визиря, мало-помалу редела и таяла. Сперва отстали пешие, потом некоторые из всадников. Под конец остались только ученые мусульмане, несколько айянов и оба консула со своими свитами. Консулы простились с визирем возле той самой маленькой кофейни, где когда-то Давиль прощался с Мехмед-пашой.

Перед кофейней все еще стояла покосившаяся беседка — в луже воды, почерневшая от дождей. Тут визирь остановил процессию и простился с консулами, невнятно сказав несколько слов, которых никто не перевел. Давна громко повторил пожелания и приветствия своего начальника, а фон Паулич сам ответил по-турецки.

Моросил холодный дождь. Визирь ехал верхом на своем сильном, спокойном и широкозадом коне, которого в Конаке прозвали коровой. На нем был тяжелый плащ из темно-красного сукна на меху, который ярким пятном выделялся на фоне печального и мокрого города. Позади визиря виднелись желтое с блестящими глазами лицо Тахир-бега, вытянутое лицо Эшреф-эфенди, лицо охотника, и толстый, круглый ворох одежды, из которого выглядывали голубые, сердитые и плаксивые глаза Баки.

Всем хотелось как можно скорее покинуть это сырое ущелье, как покидают официальные похороны.

Давиль возвращался вместе с фон Пауличем. Было уже за полдень. Дождь прекратился, и откуда-то проскользнул косой луч солнца, бледный и не согревающий. В беспредметный разговор врывались мысли и воспоминания. Чем ближе подъезжали к городу, тем теснее становилось ущелье. По крутым склонам пробивалась молодая травка с синеватым отливом от дождя. В одном месте Давиль заметил несколько полураспустившихся желтых баранчиков и вдруг с такой остротой ощутил всю печаль своей седьмой боснийской весны, что едва нашел в себе силы вежливыми, односложными фразами отвечать на спокойные высказывания фон Паулича.

Дней через десять после отъезда визиря Давиль, к своему удивлению, уже получил от него первые вести. В Новом Пазаре Ибрагим-паша встретился с Силиктаром Али-пашой, своим преемником на посту визиря Боснии, и тут они задержались на несколько дней. В это же время прибыл французский курьер из Стамбула, и Ибрагим-паша послал с ним своему другу первые приветствия с пути. Письмо было полно дружеских чувств и добрых пожеланий. Как бы мимоходом Ибрагим-паша обронил несколько слов и о новом визире. «Мне хотелось бы, почтеннейший друг, описать вам своего преемника, но это совершенно невозможно. Скажу только: «Да смилуется господь бог над бедняками и всеми беззащитными. Теперь боснийцы увидят...»

То, что Давиль узнал от курьера, а затем из писем Фрессине, вполне совпадало с впечатлениями Ибрагим-паши.

Новый визирь ехал без штата чиновников, без ичоглапов и гарема, зато в сопровождении тысячи двухсот хорошо вооруженных албанцев «устрашающего вида» и двух больших полевых пушек, предшествуемый славой невменяемого кровопийцы и самого свирепого визиря в империи.

На пути между Плевле и Прибоем, где дороги труднопроходимы, особенно в это время года, одна из пушек визиря застряла в грязи. А когда прибыли в Прибой, визирь зарубил в наказание за это всех государственных чиновников без разбора (к счастью, их было всего-навсего трое) и двух самых видных торговцев. Вперед отправил гонца со строгим приказом исправить и привести в порядок дороги. Но приказ оказался излишним. Грозный пример Прибоя возымел свое действие. На всем пути от Прибоя до Сараева закопошились батраки и мастера, засыпая лужи и ямы, исправляя деревянные мосты. Страх выровнял дорогу визирю.

Али-паша ехал медленно и подолгу задерживался в каждом городе, сразу вводя свои порядки, облагал налогами, резал непокорных турок, сажал в тюрьму видных людей и всех евреев подряд.

Как явствовало из подробного и красочного донесения Фрессине, в Сараеве страх был настолько велик, что самые видные беги и торговцы вышли из города к Козьему мосту, чтобы там приветствовать визиря и поднести ему первые дары. Но Али-паша, знавший прославленную привычку сараевских бегов холодно и неприветливо встречать всех визирей, ехавших из Стамбула в Травник, наотрез отказался принять эту депутацию, громко крича из своего шатра, чтобы они немедленно убирались с его пути, а тех, кто ему понадобится, он сумеет найти и на дому.

На другой день в Сараеве арестовали всех богатых евреев и нескольких влиятельных бегов. Одного из них, решившегося лишь

спросить, за что его арестовали, связали и избили в присутствии визиря.

Обо всем этом узнали в Травнике, и в разговорах между людьми новый визирь рисовался подлинным чудовищем. Но его въезд в Травник и его обращение с айянами при встрече и на первом диване превзошли все ходившие о нем слухи.

В тот весенний день первым вступил в Травник трехсотенный отряд албанцев визиря. Они шли широкими, правильными рядами, все одного роста, красивые, как девушки. Вооруженные короткоствольными ружьями, они ступали мелким шагом, глядя прямо перед собой. Затем ехал визирь в сопровождении небольшой свиты и отряда конницы. И они тоже двигались каким-то похоронным шагом без всякого шума и возгласов. Во главе процессии, перед лошадью визиря, шел богатырь, держа обеими руками большой обнаженный меч. Ни самые разнузданные башибузуки, ни орда бешеных черкесов с криками и пальбой не произвели бы такого ужасающего впечатления на народ, как эта безмолвная и медленно продвигавшаяся процессия.

Действуя по принципу: «С человеком, который провел одну ночь в тюрьме, можно разговаривать иначе»,— Али-паша, по своему обыкновению, в тот же вечер заточил в тюрьму евреев и видных людей. А всех родственников и друзей, которые плакали, выражали сожаление, хотели что-нибудь передать или чем-то помочь, избили. По имевшимся у визиря спискам были посажены все евреи-домовладельцы, ибо, по мнению Али-паши, никто не платил столько за свое освобождение, как евреи, и никто, кроме них, не умел так широко распространить потом страх по всему городу. И жителям Травника, все запоминавшим, довелось в числе прочих чудовищных и позорных вещей увидеть, как, скованных одной цепью, провели семерых Атиясов.

В ту же ночь были связаны и брошены в крепость долацкий священник Иво Янкович, настоятель монастыря в Гуче Горе, и иеромонах Пахомий.

На другой день рано утром из крепости вывели всех, посаженных раньше за убийства или крупные кражи и ожидавших приговора Ибрагим-паши, который не торопился, действуя осмотрительно. Все они на восходе солнца были повешены на городских перекрестках, а в полдень айяны собрались в Конаке на первый диван.

Зал этот помнил много бурных и страшных заседаний, слышал много жестоких слов, важных решений и смертных приговоров, но никогда он не был свидетелем такой тишины, от которой захватывало дух и замирало сердце. Искусство Али-паши в том и состояло, что он умел создавать, поддерживать и распространять

атмосферу такого страха, который побеждал и скручивал людей, не боявшихся самой смерти.

После оглашения фирмана султана первое, что визирь сообщил собравшимся айянам, был смертный приговор травницкому каймакаму Ресим-бегу. Удары Али-паши были особенно страшны именно потому, что были неожиданны и ошеломляющи.

Когда три недели тому назад Ибрагим-паша покинул Травник, Сулейман-паша Скоплянин был с войском где-то на Дрине и под благовидным предлогом отказался вернуться и заменить визиря до приезда нового. А потому в качестве верховного правителя в Травнике оставался старый Ресим-бег, каймакам.

Он посажен, сказал визирь, и в пятницу будет казнен за то, что в отсутствие визиря вел дела беспорядочно и так небрежно, что дважды заслужил смерть. Это только начало; за каймакамом последуют все, кто, приняв на себя государственные дела и заботы, не исполняет их как полагается или же явно или тайно ими пренебрегает.

При этом уведомлении слуги стали разносить кофе, чубуки и шербет.

После кофе Хамди-бег Тескереджич, старейший из бегов, произнес несколько слов в защиту несчастного каймакама. Он еще говорил, когда один из слуг, обслужив визиря, стал, пятясь, удаляться к двери направо. Тут он, слегка задев другого слугу, вышиб у него из рук трубку. Визирь, словно он только того и ожидал, сверкнул глазами, нагнулся, затем выпрямился во весь рост и бросил в оцепеневшего слугу большой кинжал, который держал где-то под рукой. Засуетившиеся слуги вывели несчастного, обливавшегося кровью, а беги и айяны совсем окаменели, уткнувшись каждый в свою чашку, позабыв о чубуках, дымившихся рядом.

Только Хамди-бег сохранил спокойствие и присутствие духа настолько, что закончил свою речь в защиту старого каймакама, умоляя визиря принять во внимание его старость и прежние заслуги и не вменять ему в вину теперешние ошибки и промахи.

Громким, ясным голосом визирь резко и отрывисто заявил, что при его правлении каждый получит то, чего заслуживает: старательные и покорные — награды и признания, а негодные и непокорные — смерть или плети.

— Я приехал сюда не для того, чтобы фальшивить и любезничать сквозь табачный дым или спать на этой подушке,— заключил визирь,— но для того, чтобы навести порядок в стране, которая до самого Стамбула прославилась тем, что гордится своим беспорядком. И для самой крепкой головы найдется сабля. Головы — на ваших плечах, сабля — в моей руке, а фирман султана — у меня под подушкой. А потому пусть каждый, кто хочет есть хлеб

и наслаждаться солнцем, держит и ведет себя как следует. Запомните это и растолкуйте народу так, чтобы мы могли вместе взяться за дело и выполнить то, чего требует от нас султан.

Беги и айяны поднялись и безмолвно простились, счастливые, что остались в живых, и растерянные, словно присутствовали на каком-то дьявольском представлении.

Уже на другой день визирь торжественно припял Давиля.

За Давилем приехали албанцы визиря в парадной одежде, на хороших лошадях. Кавалькада проследовала через пустые улицы и словно вымерший базар. Нигде не открылась ни одна дверь, не поднялось ни одно окно, не высунулась ни одна голова.

Прием прошел согласно церемониалу. Визирь одарил консула и Давну ценными мехами. Бросалась в глаза пустота в помещении Конака: в комнатах и коридорах не было ни мебели, ни украшений. Мало было чиновников и прислуги. После толкотни, царившей во времена Ибрагим-паши, все выглядело теперь голым и пустынным.

Взволнованный и полный любопытства, Давиль был поражен, увидев нового визиря. Был он высок и крепок, но в кости тонок, движения его были быстры, без того медлительного достоинства, которое отличает всех видных турок. Лицо у него было смуглое, загорелое, глаза — большие, зеленые, а борода и усы совсем белые и как-то странно подстриженные.

Визирь выражался легко и свободно, смеялся часто и для турецкого сановника необычно громко.

Давиль спрашивал себя, неужели это тот самый человек, о котором он слышал столько ужасного и который только вчера приговорил к смерти старого каймакама и ударил кинжалом слугу в этом самом зале?

Визирь смеялся, рассказывал о своих планах по наведению порядка в стране, о серьезном и энергичном наступлении на Сербию. Он ободрял консула, советуя вести дела по-прежнему, и уверял о своем желании оказывать ему всяческое внимание и поддержку.

Давиль, со своей стороны, не скупился на любезности и уверения, но сразу заметил, что запас красивых слов и приятных гримас у визиря весьма скуден, и достаточно было ему на минутку прекратить смех и разговор, как лицо его становилось мрачным и жестким, а в глазах зажигался беспокойный огонек, будто он искал место, куда нанести удар. Холодное сверкание глаз трудно было выдержать, и оно странно противоречило его громкому смеху.

— Вы уже, конечно, слышали от боснийских бегов обо мне и моей системе управления. Пусть это вас не беспокоит. Я верю, что неприятен им. Но я приехал вовсе не для того, чтобы им нра-

виться. Эти болваны хотят жить в праздном барстве, прикрываясь дерзкими и громкими словами. Так нельзя. Пора и им одуматься. Но люди вразумляются не через голову, а с обратной стороны, через пятки. Никогда еще не бывало, чтобы человек, которому как следует всыпали по пяткам, забыл об этом, но я сто раз замечал, как у людей вылетают из головы самые хорошие советы и наставления.

Визирь громко рассмеялся, а вокруг рта, подстриженных усов и бороды заиграла молодая и озорная усмешка.

— Пусть говорят что хотят,— продолжал визирь,— но уверяю вас, что я сумею вбить в башки этим людям повиновение и порядок. А вы ни на что не обращайте внимания и, если вам что-нибудь понадобится, приходите прямо ко мне. Я хочу, чтобы вы были спокойны и довольны.

Давилю впервые пришлось оказаться лицом к лицу с одним из тех совершенно неграмотных, неотесанных и кровожадных османских правителей, о которых он до сих пор знал только по книгам и рассказам.

Наступили времена, когда каждый старался стать маленьким и незаметным, искал убежища и укрытия, и на базаре говорили, что «теперь и мышиная норка стоит тысячу дукатов». Страх окутал Травник, подобно туману, придавил все, что дышит и думает.

Это был тот великий ужас, невидимый и неизмеримый, но всеобъемлющий, который время от времени обрушивается на человеческое общество и от которого пикнут или слетают головы. Многие люди, ослепленные и обезумевшие, забывают, что существует разум и смелость, что все в жизни преходяще и что, хотя жизнь, как и все на свете, имеет свою ценность, но ценность эта не безгранична. Под магическим влиянием минутного страха люди платят за жизнь гораздо дороже, чем она стоит, творят подлые и гнусные дела, унижаются и позорят себя, а когда проходит минутный страх, они понимают, что купили свою жизнь слишком дорогой ценой, или даже видят, что им ничего не угрожало и они просто обманулись под влиянием неодолимого страха.

Софа у Лутвиной кофейни пустовала, хотя весна вступила в свои права и липа над ней зазеленела. Единственно, на что решились травницкие беги, это униженно молить визиря простить каймакаму его ошибки (хотя никто не знал какие) и, принимая во внимание его старость и прежние заслуги, даровать ему жизнь.

Всех остальных заключенных в крепости — шулеров, конокрадов и поджигателей — судили коротким судом и казнили, а головы их насадили на колья.

Австрийский консул сразу начал хлопотать об арестованных монахах. Давилю не хотелось отставать от него. Только, кроме мо-

нахов, он упомянул и об евреях. Сперва освободили монахов. Потом одного за другим выпустили евреев, которые сразу обложили себя налогом и сдали в Конак выкуп, опустошив свои денежные ящики до последнего гроша, то есть до последнего гроша, предназначенного на взятки. Дольше всех в крепости просидел иеромонах Пахомий, о котором никто не хлопотал. Наконец и он был выкуплен малочисленными и бедными членами общины за круглую сумму в три тысячи грошей, из которых свыше двух тысяч внесли братья Петар и Йован Фуфичи. Что касается бегов, травницких и из других мест, то одних выпускали, других сажали, так что в крепости всегда содержалось десять — пятнадцать человек.

Так Али-паша начал свое правление в Травнике, спешно снаряжая войско против Сербии.

XXV

Бедствия, постигшие Травник с приездом нового визиря, которые тяготили весь город, а каждому, на кого они непосредственно обрушивались, казались огромными, как вселенная, были, конечно, одинаково погребены как в горных теснинах, окружавших и сжимавших город, так и в донесениях травницких консулов, которые в те дни никто не удосуживался внимательно прочитать ни в Вене, ни в Париже. Весь мир в то время жил известиями о европейской драме разгрома Наполеона.

Рождество и Новый год Давиль провел в растерянном ожидании, с паническим ощущением, что все погибло. Но как только стало известно, что Наполеон возвратился в Париж, дела приняли более благоприятный оборот. Из Парижа стали поступать утешительные разъяснения, приказы и распоряжения, вести об образовании новых армий и решительных мерах правительства во всех областях.

Давиль еще раз устыдился своего малодушия. Но это же малодушие заставляло его вновь предаваться необоснованным надеждам. Так сильна в слабом человеке необходимость обманывать себя и столь неограничены возможности быть обманутым!

Мучительные, сводящие с ума качели, на которых Давиль незримо качался уже годами, снова начали раскачиваться от смелых надежд до полного отчаяния. Только с каждым взлетом надежда становилась чуточку слабее и меньше.

В конце мая поступили известия о победах Наполеона при Люцене и Бауцене. Старая игра продолжалась.

Но в Травнике в это время царили такая нужда, подавленность и страх перед новым визирем и его албанцами, что не с кем было поделиться победными известиями.

Али-паша в это время, добившись от всех без различия «страха и повиновения», двинулся на Сербию. И в данном случае он поступил иначе, чем его предшественники. Раньше «посещения Сербии» носили торжественный характер. Днями и неделями к Травницкому полю стекались уездные начальники из внутренних районов Боснии. Собирались медленно, по собственному усмотрению, и приводили с собой такое войско, какое хотели, и столько, сколько вздумается. А прибыв в Травник, застревали тут, вели переговоры с визирем и властями, выражали свои пожелания, ставили условия, требовали продовольствия, снаряжения и денег. И все прикрывалось пышными манифестациями и военными парадами.

По Травнику тогда целыми днями шатались какие-то подозрительные праздные люди в полном вооружении. На Травницком поле развертывалась на недели пестрая и шумная ярмарка. Жгли костры, разбивали палатки. Посредине поля было воткнуто копье с тремя конскими хвостами, опрысканными кровью баранов, заколотых в качестве жертв во имя удачного завершения похода. Гремели барабаны, и пели трубы. Читались молитвы. Одним словом, делалось все, чтобы оттянуть выступление. И часто центр тяжести всей затеи был именно в сборах и сопровождавших их празднествах, а солдаты в большинстве так и не видали поля боя.

На этот раз, под руководством Али-паши, все совершалось в строгой тишине и великом страхе, без особых торжеств, но и без промедлений и колебаний. Продовольствия нигде не было. Питались скудными запасами из амбаров визиря. Никто не помышлял ни о песнях, ни о музыке. Когда визирь лично выехал на поле, его палач казнил на Варошлуке цазинского начальника за то, что тот привел с собой на девять человек меньше, чем обещал. И тут же назначил нового командира из того же перепуганного отряда.

Так на сей раз двинулись на Сербию, где Сулейман-паша уже ждал со своим отрядом.

Вершить дела в Травнике опять остался старый Ресим-бег, каймакам, которого Али-паша, не успев прибыть, осудил на смерть и жизнь которому с трудом спасли беги. Страх, испытанный тогда каймакамом, служил визирю верной порукой, что на этот раз старик будет управлять в строгом соответствии с его желаниями и намерениями.

Какой смысл, думал теперь Давиль, сообщать несчастному старцу о победах Наполеона? И кому вообще стоило сообщать о них?

Визирь уехал с войском и своими албанцами, но оставил за собой страх, леденящий, устойчивый и прочный, как самая прочная стена, и мысль о его возвращении была страшнее любой угрозы и любого наказания.

Город оставался заглохшим и безмолвным, опустелым, обедневшим и голодным, каким не бывал последние двадцать лет. Дни были уже солнечные, долгие; люди стали спать меньше, а потому чаще чувствовали голод, чем в короткие зимние дни. По улицам слонялись исхудалые, золотушные дети в поисках какой-нибудь сносной еды. Люди отправлялись даже в Посавину за хлебом или хотя бы за зерном.

Базарный день ничем не отличался от обычного. Многие лавки совсем не открывались. А где открывались — торговцы сидели мрачные и подавленные. Уже с осени не было кофе и других заморских товаров. Исчезло продовольствие. Имелись только покупатели, желавшие купить то, чего не было. Новый визирь обложил базар такими налогами, что многие принуждены были занимать, чтобы заплатить. А страх был так велик, что даже у себя дома, в четырех стенах, никто не смел жаловаться.

По домам и лавкам велись разговоры о том, что на Бонапарту напали шесть христианских императоров, поставив под ружье решительно всех мужчин, и теперь некому будет ни пахать, ни копать, ни сеять, ни жать, пока не победят и не уничтожат Бонапарту.

Теперь уже и евреи стали избегать французское консульство. Фрессине, начавший постепенную ликвидацию французского агентства в Сараеве, извещал, что тамошние евреи разом предъявили свои векселя и всякие другие иски и он не в состоянии их удовлетворить. Из Парижа не отвечали ни на один вопрос. Третий месяц не присылали ни жалованья, ни средств на расходы консульства.

И в это самое время, когда в Травнике сменился визирь, а в Европе разыгрывались знаменательные события, в небольшом консульском мирке все продолжало идти своим чередом: рождались новые существа, изнашивались и разрушались старые.

Госпожа Давиль была на последних месяцах беременности, которую переносила легко и незаметно, как и два года назад. Целые дни она проводила в саду с работницами. При содействии фон Паулича ей удалось и в этом году получить из Австрии нужные семена, и она многого ожидала от своих посевов, только вот роды приходились как раз на то время, когда ее присутствие в саду было особенно необходимо.

В конце мая у Давиля родился пятый ребенок, мальчик. Он был слабенький, и потому его сразу крестили и записали в книгу крещеных в долацком приходе под именем August-François-Gérard.

Событие это вызвало такое же отношение, как и в прошлый раз: разговоры и искренние симпатии всего женского населения Травника, посещения, расспросы и добрые пожелания со всех сто-

рон и даже подношения, несмотря на нужду и бедность. Не было только подарка из Конака, так как визирь уже выступил с войском на Дрину.

Все изменилось за эти два года — и взаимоотношения в мире, и условия жизни в стране, но представления о семейной жизни остались прежними, и все, что относилось к ней, связывало людей крепко и неизменно, как святыня, имеющая всеобщее и непреходящее значение, не зависящее от неожиданных перемен и событий. Ибо в среде, подобной этой, жизнь каждого сосредоточена в семье, как в самой совершенной форме замкнутого круга. Но у этих кругов, хотя и строго отграниченных, имеется где-то невидимый общий центр, который частично принимает на себя их бремя. В силу этого к тому, что случается в отдельной семье, никто не может остаться совершенно равнодушным, и во всех семейных событиях, как-то: роды, свадьбы, похороны,— все принимают самое живое, деятельное и искреннее участие.

В это же приблизительно время бывший переводчик австрийского консульства Никола Ротта вступил в последнюю, безумную и отчаянную схватку со своей судьбой.

В семье фон Миттерера много лет служила старая кухарка, мадьярка, едва двигавшаяся из-за толщины и ревматических болей в ногах. Повариха она была отличная и давно привязалась к семье полковника, но в то же время невыносимо тиранила всех домочадцев. Анна-Мария целых пятнадцать лет то ссорилась с ней, то мирилась. Так как за последние годы старуха очень отяжелела, в помощь ей взяли молодую женщину из Долаца. Звали ее Луцией, была она сильной, трудолюбивой и подвижной. Луция сумела так приспособиться к причудам старой кухарки, что научилась от нее всему. И когда семейство фон Миттерера покинуло Травник, взяв, разумеется, с собой своего домашнего дракона, как прозвала Анна-Мария старую повариху, Луция осталась кухаркой у фон Паулича.

У Луции была сестра Анджа, несчастье семьи и позор долацкой общины. Еще девушкой она пошла по дурному пути, церковь предала ее анафеме, и ее выгнали из Долаца. Теперь она содержала кабачок в Калибунаре, у самой дороги. Луция, как и вся ее семья, много страдала из-за сестры, которую очень любила и с которой, несмотря ни на что, никогда не порывала. Время от времени она виделась с ней тайком, хотя от этих свиданий страдала еще больше, чем от тоски по сестре, так как Анджа упорно оставалась при своем, а Луция после тщетных уговоров каждый раз оплакивала ее, как покойницу. Тем не менее они продолжали видеться.

Бродя по Травнику и его окрестностям, Ротта, по виду важный и занятый, а на самом деле праздный и распущенный, часто заходил в кабачок Анджи в Калибунаре. Через некоторое время

он сошелся с этой распутной женщиной, которая, будучи выброшенной, как и он сам, из своей среды, начала преждевременно стареть и предаваться пьянству.

Как-то перед пасхой Анджа нашла способ увидеться с Луцией. В разговоре она прямо и грубо предложила сестре отравить австрийского консула. Яд она принесла с собой.

Такой план мог созреть лишь ночью в кабачке с дурной славой у двух больных и несчастных существ, под влиянием ракии, невежества, ненависти и безумия. Находясь полностью под влиянием Ротты, Анджа ручалась сестре, что от этого яда консул будет постепенно и незаметно слабеть и умрет как бы своей смертью. Обещала ей щедрую награду и барскую жизнь возле Ротты, с которым она обвенчается и который после смерти консула снова займет какое-то важное место. Упоминала и о наличных деньгах, в дукатах. Словом, все они смогут счастливо и беззаботно прожить целую жизнь.

Услыхав предложение сестры, Луция обмерла от страха и стыда. Она выхватила у нее из рук белые бутылочки и проворно засунула их в карманы своих шаровар, потом взяла несчастную женщину за плечи и стала ее трясти, словно желая пробудить от дурного сна, заклиная ее именем покойной матери и всем, что есть святого, опомниться и выбросить из головы подобные мысли. Желая убедить и пристыдить ее, она стала говорить о доброте консула и какой это грех и ужас так отплатить ему за его доброту, советовала сестре порвать всякие отношения с Роттой.

Пораженная столь сильным отпором и негодованием, Анджа сделала вид, что отказывается от своего замысла, и попросила сестру вернуть ей бутылочки. Но Луция и слышать не хотела. Так они и расстались. Луция сокрушенная и заплаканная, а Анджа молчаливая, красная, с выражением затаенного коварства на лице. Луция мучилась, не зная, что предпринять, и всю ночь не сомкнула глаз. А едва рассвело, она, никем не замеченная, отправилась в Долац, рассказала обо всем священнику Иво Янковичу и отдала ему бутылочки с ядом, умоляя сделать все, что он найдет нужным, лишь бы избежать несчастья и греха.

Не теряя ни минуты, священник в то же утро посетил фон Паулича, уведомил его обо всем и вручил яд. Подполковник немедля написал Давилю письмо, сообщая, что опекаемый им Ротта покушался на его жизнь. Имеются тому доказательства и свидетели. Проходимцу не удалось и не удастся выполнить свой план, но он, фон Паулич, предоставляет Давилю самому судить, может ли он и дальше держать такого человека под защитой французского консульства. Подобное письмо он послал и каймакаму. Проделав все это, фон Паулич спокойно продолжал прежний образ

жизни, не меняя ни прислуги, ни поварихи. Зато все остальные сильно встревожились — и каймакам, и монахи, и в особенности Давиль. По его указанию Давна предложил Ротте на выбор: или немедленно бежать из Травника, или, потеряв защиту французского консульства, быть арестованным турецкими властями на основании доказанного покушения на отравление.

В ту же ночь Ротта исчез из Травника вместе с Анджой из кабачка в Калибунаре. Давна помог ему бежать в Сплит. Но Давиль известил одновременно французские власти в Сплите о последних подвигах Ротты и рекомендовал не принимать этого опасного и невменяемого человека ни на какую службу, выслать куда-нибудь подальше на Восток и предоставить собственной судьбе.

XXVI

Летние месяцы принесли на этот раз хотя бы некоторое облегчение и умиротворение. Созрели фрукты, ранняя пшеница, и люди, утолив голод, немного успокоились. Но слухи о военных действиях, о неминуемом разгроме Наполеона, с которым сведут счеты еще до наступления осени, не прекращались. Особенно старательно распространяли их монахи. И делали это столь же ревностно, сколь и скрытно, так что Давилю никак не удавалось ни уличить их, ни укротить, как следовало бы.

В самом начале сентября фон Паулич в сопровождении более многочисленной, чем обычно, свиты посетил своего французского коллегу.

В течение всего лета, когда из уст в уста передавались тревожные слухи и самые невероятные вести, неблагоприятные для французов, фон Паулич оставался спокойным и неизменно ровным в своем обращении с людьми. Каждую неделю он посылал госпоже Давиль цветы или овощи из тех семян, которые они выписывали вместе. При редких встречах с Давилем он говорил, что не верит в мировую войну и, по его мнению, нет никаких признаков, что Австрия нарушит нейтралитет. Цитировал Овидия и Вергилия. Объясняя причины голода и нужды в Травнике, говорил о способах, с помощью которых их можно было бы устранить. И в свойственной ему манере высказывал все это так, словно война происходила на другой планете, а голод царил на другом конце света.

И вот в один из мирных сентябрьских дней, ровно в полдень, фон Паулич сидел напротив Давиля в его кабинете на первом этаже, более торжественный, чем обычно, но такой же спокойный и холодный.

Он заявил, что приехал по поводу участившихся слухов о предстоящей войне между Австрией и Францией, распространяемых среди местного населения. Насколько ему известно, слухи эти неосновательны, и он хочет заверить в этом Давиля. Но, кстати, пользуясь случаем, он желал бы сказать, как он представляет себе их взаимоотношения в случае, если бы дело действительно дошло до войны.

И, глядя на свои сложенные белые руки, подполковник спокойно изложил свою точку зрения.

— Во всем, что не касается политики и войны, наши взаимоотношения, по-моему, должны остаться прежними. Во всяком случае, как честные люди и европейцы, заброшенные в эту страну по долгу службы и принужденные жить в столь исключительных обстоятельствах, мы, я полагаю, не должны состязаться и клеветать друг на друга перед лицом этих варваров, как это, быть может, случалось в прошлом. Я считаю своим долгом сказать вам об этом в связи с травницкими слухами, для которых, верю, нет никаких оснований, и узнать ваше мнение по этому поводу.

У Давиля захватило дух.

По тревожному настроению французских властей в Далмации в последние дни он понимал, что нужно к чему-то готовиться, но, не имея других сведений, не хотел показывать этого фон Пауличу.

Взяв себя в руки, он осипшим от волнения голосом поблагодарил фон Паулича, добавив, что вполне согласен с его мнением, что оно совпадает с его собственными взглядами и что не его вина, если когда-то в прошлом, с предшественником фон Паулича, дело обстояло иначе. Давиль захотел сделать еще один шаг.

— Я надеюсь, дорогой консул, что война не произойдет, а если это неизбежно, то она будет вестись без ненависти и скоро кончится. Я верю, что нежные и возвышенные родственные связи двух наших дворов и в данном случае смягчат остроту и ускорят примирение.

Тут фон Паулич, до сих пор смотревший прямо перед собой, вдруг опустил глаза, и лицо его стало строгим и замкнутым. На этом они и расстались.

Неделю спустя прибыли специальные курьеры — австрийский из Брода, а потом французский из Сплита, и консулы почти одновременно получили извещение, что война объявлена. Уже на другой день Давиль получил письмо от фон Паулича, в котором тот извещал его, что их страны находятся в состоянии войны, и письменно подтвердил свое предварительное мнение насчет их взаимоотношений во время войны. В конце письма он просил от его имени заверить госпожу Давиль в неизменном уважении и выражал готовность оказывать ей всевозможные услуги частного характера.

Давиль ответил сразу и повторил, что он лично и его служащие будут держаться так, как условились консулы, потому что «все без различия граждане западных государств здесь, на Востоке, составляют одну семью, какие бы разногласия ни существовали между ними в Европе». Он прибавил, что госпожа Давиль благодарит за намять и сожалеет, что на некоторое время будет лишена общества подполковника.

Так осенью 1813 года — последнего из «консульских лет» — консульства оказались в состоянии войны.

Крутые дорожки в большом саду французского консульства были усыпаны желтыми листьями, которые сухими шуршащими потоками спускались к цветнику. На этих крутых дорожках, под склоненными ветвями фруктовых деревьев было тепло и покойно, как бывает только в дни, когда во всей природе наступает короткое затишье — чудесная передышка между летом и осенью.

Здесь, в уединении, глядя на заслоняющий горизонт близлежащий холм, Давиль подводил итоги своих восторгов, планов и убеждений.

Здесь, в последние дни октября, он услышал от Давны об исходе битвы под Лейпцигом. Здесь узнал он от проезжих курьеров о поражении французов в Испании. В этом саду он проводил целые дни, пока совсем не похолодало и студеный дождь не превратил желтые и шуршащие листья в скользкую грязь.

Однажды в воскресное утро 1 ноября 1813 года с травницкой крепости раздались пушечные выстрелы и разорвали мертвую влажную тишину между крутыми и голыми склонами. Жители Травника, подняв головы, считали выстрелы, глядя друг на друга немыми вопрошающими взглядами. Прогремел двадцать один выстрел. Белые дымки над крепостью рассеялись, водворилась тишина, которая вскоре снова была нарушена.

Посреди базара кричал глашатай, зобастый, охрипший Хамза, все больше терявший голос и дерзкое насмешливое остроумие. Он надрывался изо всех сил, стараясь жестами помочь изменившему голосу.

Так, борясь с душившей его одышкой, он объявил, что бог благословил мусульманское оружие большой и справедливой победой над восставшими неверными, что Белград взят турками и последние следы восстания в Сербии стерты навсегда.

Весть быстро распространилась по всему городу из конца в конец.

В тот же день, после полудня, Давна отправился в город разузнать, какое впечатление произвели эти вести на жителей.

Беги и торговцы не были бы тем, чем они были,— травницкими господами,— если бы искренне и во всеуслышание выразили радость по поводу чего бы то ни было, будь то даже победа собственного оружия. Сдержанно и с важным видом все бормотали лишь какое-то односложное и незначительное слово, не считая нужным даже громко его выговорить. На самом-то деле на душе у них было пелегко. Ибо, насколько приятно было, что Сербия смирится, настолько же страшно, что, вернувшись победителем, Али-паша станет, по всей вероятности, обходиться с ними еще круче и суровее, чем до сих пор. Да и то сказать, за долгую жизнь они слышали много глашатаев, возвещавших о многих победах, но никто не помнил, чтобы жизнь от этого становилась лучше.

Вот что сумел узнать Давна, хотя никто даже взглядом не соблаговолил ответить ему на его неуместное любопытство.

Побывал он и в Долаце, желая услышать мнение монахов. Но священник Иво отговорился делами в церкви и, небывало затянув службу, не отходил от алтаря до тех пор, пока Давна, устав ждать, не вернулся в Травник.

Давна посетил и иеромонаха Пахомия на дому и нашел его лежащим пластом в пустой и холодной комнате, одетого, с позеленевшим лицом. Не расспрашивая о сегодняшней новости, Давна предложил ему свои услуги как врач, но иеромонах отказался принять лекарство, уверяя, что здоров и ни в чем не нуждается.

На другой день и Давиль и фон Паулич нанесли официальный визит чехайе и поздравили его с победой, но постарались не встретиться друг с другом ни в Конаке, ни по пути.

С первым большим снегопадом вернулся Али-паша. При въезде его в город с крепости палили пушки, трубили трубы, дети выбегали ему навстречу. Развязались языки и у травницких бегов. Большинство из них прославляло победу и победителя в умеренных и полных достоинства словах, но публично и громко.

В тот же день Давиль послал в Конак Давну передать добрые пожелания и вручить подарок визирю-победителю.

Десять лет тому назад, проживая в Неаполе в качестве поверенного в делах при Мальтийском ордене, Давиль купил тяжелый золотой перстень красивой чеканки с тонко выгравированным лавровым венком на том месте, где полагается быть камню. Давиль купил его при распродаже имущества умершего мальтийского рыцаря, оставившего много долгов и не имевшего наследников. По рассказам, этот перстень служил когда-то наградой победителю в рыцарских турнирах членов Мальтийского ордена.

(В последнее время, с тех пор как дела неукоснительно шли к поражению, а сам он потерял внутреннее равновесие и пребывал в мучительной неизвестности о судьбах своей родины, своей семьи

и самого себя, Давиль легче и чаще делал подарки, находя необычное и ранее неизведанное удовольствие дарить свои любимые вещи, которые до тех пор ревниво берег. Раздавая ценные и дорогие ему предметы, казавшиеся неотъемлемой частью его жизни, он бессознательно старался подкупить судьбу, теперь совсем отвернувшуюся от него и его семьи, ощущая в то же время искреннюю и глубокую радость, точно такую же, какую он испытывал когда-то, покупая эти вещи для себя.)

Давну не допустили к визирю, и он отдал подарок тефтедару, объяснив, что эта драгоценность в течение столетий вручалась первому в единоборстве и что консул посылает ее теперь счастливому победителю вместе с поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Тефтедаром у Али-паши был некий Асим-эфенди, по прозвищу Айва. Это был бледный, худой человек, вернее тень человека, заика, с разными глазами. Он всегда казался сильно напуганным и тем самым нагонял страх на всех посетителей.

Спустя два дня визирь принял консулов, причем сначала австрийского, а потом французского. Времена первенства Франции прошли.

Али-паша выглядел усталым, но довольным. При свете снежного зимнего дня Давиль впервые заметил какую-то странную игру зрачков у визиря, бегавших вниз и вверх. Как только взгляд его останавливался и успокаивался, сразу же начинали дрожать зрачки. По-видимому, это было известно и неприятно визирю, и потому он постоянно моргал, что придавало его лицу отталкивающее, затравленное выражение.

Али-паша, надевший по случаю приема перстень на средний палец правой руки, поблагодарил за подарок и поздравления. О походе на Сербию и своих успехах он говорил мало и с ложной скромностью тщеславных и чувствительных людей, которые молчат, считая все слова несовершенными и недостаточно выразительными, и этим молчанием подчеркивают свое превосходство над собеседником, преподнося свой успех как нечто неописуемое и недоступное пониманию простых людей. Такой победитель и много лет спустя изумляет каждого, кто с ним заговорит о его победе.

Разговор велся натянуто и неискренне. Ежеминутно наступали паузы, во время которых Давиль выискивал новые, более сильные слова для выражения похвал Али-паше; визирь не мешал ему измышлять их, а сам окидывал комнату беспокойным, скучающим взглядом с молчаливым убеждением, что консулу никогда не подобрать точных и достойных определений.

И, как всегда бывает в подобных случаях, Давиль, желая проявить живейшее участие и искреннюю радость, нечаянно задел чувствительную струнку визиря-победителя.

— Известно ли, где сейчас находится предводитель повстанцев, Черный Георгий? — спросил Давиль, он слышал, что Карагеоргий перебежал в Австрию.

— Кто его знает и кого это интересует, где он скитается,— презрительно ответил визирь.

— А нет ли опасности, что какое-нибудь государство окажет ему гостеприимство и поддержку, после чего он снова вернется в Сербию?

У визиря гневно дрогнули мускулы в уголках рта, и лишь потом губы сложились в улыбку.

— Не вернется. Да и некуда. Потому что Сербия настолько опустошена, что еще много лет ни ему, ни кому-либо другому не придет в голову поднимать там восстание.

Еще меньше посчастливилось Давилю, когда он постарался навести разговор на положение во Франции и на военные планы союзников, подготовлявших в то время переправу через Рейн.

На возвратном пути в Травник визирь принял специального курьера, посланного фон Пауличем ему навстречу в Бусовачу и передавшего вместе с поздравлениями австрийского консула подробное письменное донесение о положении на европейских фронтах. Фон Паулич писал визирю, что «бог покарал наконец французов за их невыносимую наглость и что совместные усилия народов Европы принесли свои плоды». Он описал во всех подробностях битву при Лейпциге, поражение Наполеона и его отход за Рейн, неудержимое продвижение союзников и их приготовления к переправе через Рейн и к победоносному завершению войны. Он привел точную цифру французских потерь убитыми, ранеными и оружием, так же как и всех армий покоренных народов, изменивших Наполеону.

Прибыв в Травник, Али-паша получил известия из других источников, подтвердившие все, о чем писал ему фон Паулич. Потому он так и разговаривал теперь с Давилем, ни разу не упомянув ни о Наполеоне, ни о Франции, словно он говорил с представителем безыменной страны, витающей в воздухе, не имеющей ни реальной формы, ни места в пространстве, словно он осмотрительно и с суеверным страхом остерегался даже в мыслях затронуть тех, на кого обрушилась судьба и которые давно уже находились в лагере побежденных.

Давиль еще раз бросил взгляд на свой перстень на руке визиря и простился с той натянутой улыбкой, которая появлялась на его лице все чаще по мере того, как его положение становилось все тяжелее и неопределеннее.

Когда они выезжали из Конака, в крытом дворе было уже темно, но за воротами сверкал мягкий, сырой снег, плотно усти-

лавший крыши и мостовые. Было четыре часа пополудни. На снегу лежали синеватые тени. Как всегда в эти короткие дни, печальные сумерки рано спускались в горное ущелье, а из-под глубокого снега еще слышался шум воды. Отовсюду несло сыростью. Копыта лошадей глухо стучали по деревянному мосту.

Покидая Конак, Давиль, как обычно, почувствовал мгновенное облегчение и на какую-то минуту забыл, кто победитель и кто побежденный, и думал только о том, как бы и на этот раз проехать по городу спокойно и с достоинством.

От волнения и после духоты в жарко натопленном зале Конака его стало знобить от вечерней сырости. Он едва сдерживал дрожь. Это напоминало ему тот февральский день, когда он впервые проезжал через базар на первую аудиенцию у Хусрефа Мехмед-паши, сопровождаемый бранью, плевками или презрительным молчанием фанатичных жителей. И вдруг ему показалось, что он всегда с тех пор, как себя помнит, только и делает, что ездит верхом по этой дороге, с той же свитой и с теми же мыслями.

За семь лет своего пребывания здесь он по необходимости привык постепенно ко многим тяжелым и неприятным вещам, но в Конак всегда ездил с одинаковым чувством страха и беспокойства. И даже в наиболее счастливые времена и при самых благоприятных обстоятельствах он при малейшей возможности избегал посещать Конак, стараясь устраивать дела через Давну. И только в случаях крайней и неотложной необходимости лично посетить визиря он готовился к этому, как к тяжелому походу, и еще накануне плохо ел и спал. Он повторял про себя, что и как скажет, предугадывал ответы и уловки и сильно утомлялся от этого. Чтобы хоть немного отдохнуть, успокоиться и утешить себя, он, лежа в постели, думал: «Ах, завтра в это время я буду опять на этом месте, и два тяжелых и неприятных часа останутся позади».

Уже с утра начиналась мучительная церемония. Во дворе и перед консульством раздавался конский топот, суетливо бегали слуги. Потом в положенный час появлялся Давна с загорелым и таким мрачным лицом, которое обескуражило бы и ангела небесного, не то что озабоченного смертного. Приход Давны означал, что мучения начались.

Видя, как сбегаются дети и зеваки, в городе догадывались, что один из консулов едет в Конак. И тогда на повороте, в конце главной улицы, показывалась процессия Давиля, всегда в одном и том же порядке. Впереди ехал всадник визиря, каждый раз сопровождавший консула туда и обратно. За ним следовал Давиль на своем вороном коне, полный спокойствия и достоинства, а в двух шагах позади и чуть левее ехал Давна на своей пугливой пегой арабской кобыле, которую травницкие турки ненавидели так

же, как и самого Давну. Позади всех на добрых боснийских лошадках ехали два консульских телохранителя, вооруженные пистолетами и кинжалами.

Необходимо было держаться на лошади прямо, не смотреть ни налево, ни направо, не слишком задирать голову, но и не утыкаться в конскую гриву, не выглядеть ни рассеянным, ни озабоченным, не улыбаться и не хмуриться, а быть серьезным, внимательным и спокойным. Приблизительно такой, не совсем естественный взгляд бывает у полководцев на картинах, когда они вперяют взор вдаль, поверх поля битвы, куда-то между дорогой и линией горизонта, откуда должна появиться верная и точно рассчитанная помощь.

Давиль и сам не помнил, сколько сот раз он проделывал таким образом этот путь, но хорошо знал, что всегда, во всякую погоду и при любом визире, он был при этом так угнетен, словно шел на казнь. Случалось, этот путь снился ему, и во сне он переживал те же муки, следуя верхом с призрачной свитой сквозь строй угроз и засад по дороге в Конак, казавшийся недосягаемым.

И, вспоминая обо всем этом, он ехал верхом через сумрачный, занесенный снегом базар.

Большинство лавок было уже заперто. Редкие прохожие шли по глубокому снегу, согнувшись, медленно, словно волочили кандалы, засунув руки за пояс и повязав уши платком.

Когда они прибыли в консульство, Давна, попросив Давиля уделить ему несколько минут, сообщил новости, почерпнутые в свите визиря.

Один путешественник привез из Стамбула вести об Ибрагиме Халими-паше.

После двухмесячного пребывания в Галлиполи бывший визирь был изгнан в малоазиатский городишко, а перед этим у него конфисковали все имущество в Стамбуле и его окрестностях. Свита его постепенно растаяла, каждый пустился на поиски своей судьбы и куска хлеба. Ибрагим-паша отправился в изгнание почти один. И по дороге в далекое захолустье, где земля голая, выгоревшая и каменистая, где крутые скалы без единой травинки, без капли проточной воды, он непрестанно возвращался к своей всегдашней мысли о том, как, отрекшись от мира, одевшись в простую одежду садовника, он в тишине и одиночестве будет обрабатывать свой сад.

За несколько дней до отъезда Ибрагим-паши в изгнание скоропостижно умер — как говорят, от удара — Тахир-бег, бывший тефтедар визиря. Для Ибрагим-паши это было тяжелой утратой, от которой он лечился только старческим забвением, доживая свои последние дни в каменистом и безводном месте.

Давиль отпустил Давну и остался один в снежных сумерках.

Из долины поднимались волны тумана. Груды мягкого снега заглушали звук. Далеко в глубине виднелась гробница Абдулах-паши, занесенная снегом. Сквозь окно едва мерцал слабый огонек восковой свечи, горевшей над гробом.

Консул вздрогнул. Он почувствовал слабость и озноб. Внутри у него все кипело.

И как часто бывает с чрезмерно озабоченными и переутомленными людьми, Давиль забыл на минуту о том, что слышал и пережил в этот день, обо всех затруднениях и неприятностях, ожидавших его завтра и в будущем. Он думал только о том, что видел непосредственно перед собой.

Думал о восьмиугольной гробнице, мимо которой проходил в течение многих лет, о пламени свечи, в туманный вечер едва видимом, которое они с Дефоссе назвали когда-то «неугасимым светом», о происхождении гробницы и об истории покоившегося в ней Абдулах-паши.

Низкий каменный саркофаг покрыт зеленым сукном с надписью: «Пусть всевышний озарит его могилу», толстая восковая свеча в высоком деревянном подсвечнике, день и ночь горевшая над темной могилой в немощном усилии выполнить то, о чем молила бога надпись и чего он, по-видимому, не хотел исполнить. Паша высоко вознесся еще в дни молодости и случайно вернулся на родину умирать. Да, все вспомнил Давиль, словно судьба паши была судьбой каждого, в том числе и его собственной. Вспомнил, как Дефоссе перед отъездом удалось-таки найти и прочитать завещание Абдулах-паши и как живо и подробно он рассказывал ему об этом.

Зная, как мало света в этой долине, паша завещал мусульманской общине дома, кметов, а также некоторую сумму денег с единственным условием, чтобы над его могилой до скончания веков горела большая свеча. И все закрепил письменно и утвердил еще при жизни у кадии, при свидетелях: и качество воска, и вес свечи, и плату человеку, который будет менять и зажигать ее, с тем чтобы никогда никто из потомков или чужестранцев не мог пресечь этого или нарушить. Да, паша знал, какие в этой теснине, где ему суждено пролежать до Судного дня, бывают темные вечера и туманные дни, знал и то, как быстро забывают люди живых и усопших, нарушают обязательства и обеты. И когда он лежал больной на галерее без всяких видов на выздоровление, без надежды на то, что глаза его, столько видевшие, увидят что-нибудь еще, кроме этой теснины, в неизмеримой печали о безвременно отлетевшей жизни,— единственным слабым утешением для него была мысль о чистом пчелином воске, который будет сгорать над его могилой спокойным, бесшумным пламенем, без дыма и дочи-

ста. Все, что в течение короткой жизни приобрел паша трудом, храбростью и умом, отдал он за это маленькое пламя, которое светилось над его бесчувственным прахом. Наглядевшись за свою беспокойную жизнь на многие страны и разных людей, он понял, что огонь — основа созданного мира: видимо или невидимо, в бесчисленных формах и в различной степени он движет жизнью и он же ее уничтожает. А потому его последняя мысль была об огне. Конечно, слабенькое пламя — это не так уж много, и не столь оно надежно и, вероятно, не продлится вечно, но оно способно постоянно освещать одну точку мрачной и холодной земли. А это значит, что оно отразится в глазах каждого проходящего хотя бы самым слабеньким лучом.

Да, странное завещание и странные люди! Однако тот, кому довелось прожить здесь несколько лет и проводить ночи вот так у окна, легко и до конца поймет все это.

Давиль с трудом отвел глаза от мерцавшего огонька, все сильнее тонувшего во мраке и тумане. И сразу перед ним возникли воспоминания о минувшем дне, о мучительном разговоре с визирем, вспомнились Ибрагим Халими-паша и Тахир-бег, тогдашний тефтедар, о смерти которого он узнал сегодня вечером.

Тефтедар стоял перед ним более живой, чем когда он был в Травнике. Согнувшись, со сверкающими, слегка косящими глазами, он, как и тогда, в такой же холодный вечер, говорил:

— Да, господин консул, лицо победителя каждый видит в сиянии или, как говорит персидский поэт: «Лицо победителя подобно розе».

— Да, лицо победителя подобно розе, а лицо побежденного подобно кладбищенской земле, от которой каждый отворачивается и бежит.

Давиль вслух произнес этот ответ, который он не высказал тогда тефтедару.

И тут же вспомнил весь свой разговор с покойным Тахир-бегом. Снова почувствовав холодную дрожь во всем теле, он позвонил, чтобы принесли свечи.

Но и после этого Давиль часто подходил к окну, глядел на сияние восковой свечи в гробнице Абдулах-паши и на маленькие тусклые огоньки в травницких домах, продолжая размышлять об огне во вселенной, о судьбе побежденных и победителей, вспоминал живых и умерших, пока наконец один за другим не погасли огни во всех окнах и даже в австрийском консульстве. (Победители рано ложатся и крепко спят!) Осталась только печальная свеча в гробнице, да на противоположном конце города светил огонь,— сильнее и ярче. Это кто-то гнал ракию, как всегда в это время года.

И действительно, на том конце Травницкой теснины, занесенной мокрым снегом, в сарае Петара Фуфича водрузили на огонь первый котел и принялись гнать ракию. Сарай стоял за городом, над самой Лашвой, ниже дороги, ведущей в Калибунар.

В долине дул ледяной сквозной ветер. А в сарае, стоявшем у воды, всю ночь гудела и завывала под крышей «ведьма», выбрасывая дым наружу.

Под котлом шипели сырые дрова; вокруг огня бродили закутанные, прозябшие, перепачканные копотью люди, повязанные красными шалями, и боролись с дымом, искрами, ветром и сквозняком, непрестанно куря при этом крепкий табак, который обжигал губы и ел глаза.

Тут был и Танасие, прославленный мастер котла и ракии. Летом у него было мало работы. Но как только падала на землю первая слива, он начинал ходить от дома к дому, по местечкам вокруг Травника и даже дальше. Никто лучше его не умел приготовить и разлить ракию. Этот мрачный человек весь свой век провел в холодных задымленных сараях, всегда бледный, небритый, заспанный и недовольный. Как все хорошие мастера, он был вечно неудовлетворен и своей работой, и теми, кто ему помогал. Его разговор состоял из сердитой воркотни, а все распоряжения делались в отрицательной форме.

— Не так... Не перевари смотри... Не прибавляй... Не трогай больше... Оставь, довольно... Отодвинься... Отойди.

И после этого сердитого и невнятного бормотания, которое, однако, его помощники отлично понимали, из потрескавшихся и закоптелых рук Танасие, из всей этой грязи, дыма и кажущегося беспорядка выходил в конце концов превосходный напиток — чистейшая ракия разных сортов: первач, крепкая, слабая и сивуха; блестящий, огненный напиток, прозрачный и целебный, без сора и сажи, без следа тех мук и грязи, из которых он родился; не пахнущий ни дымом, ни гнилью, а сохраняющий только аромат сливы и плодового сада, разлитый в сосуды, драгоценный и чистый, как слеза. И все это время Танасие заботился о нем, о нежном новорожденном, забыв под конец и свою воркотню и придирки, и лишь шевелил губами, словно неслышно нашептывал ворожбу, глядя безошибочным глазом на струю ракии, и по этой струе, даже не пробуя на язык, определял крепость, качество и сорт.

Вокруг горящего под котлом огня всегда собирались гости из города, и среди них обычно какой-нибудь заезжий или бездельник, гусляр или говорун, потому что приятно было есть, пить и беседовать, сидя у котла, несмотря на то, что дым щипал глаза, а в спину несло холодом. Для Танасие всех этих людей не существовало. Он действовал и бормотал, указывая только на то, чего

не надо делать, и при этом шагал через сидящих вокруг огня людей, словно это были существа бестелесные. По-видимому, по его понятиям, эти бездельники являлись составной частью котла. Во всяком случае, он не звал их и не прогонял, а попросту не замечал.

Танасие гнал ракию по городам, местечкам и монастырям уже целых сорок лет. Так же, как и теперь. Только видно было, что он осунулся и постарел. Его воркотня едва была слышна и переходила в кашель и старческое брюзжание. Его густые косматые брови поседели и постоянно, как и все лицо, были выпачканы сажей и глиной, которой замазывают котел. Из-под этих спутанных бровей чуть виднелись глаза, как два стеклышка с изменчивым блеском, которые то ярко вспыхивали, то совсем гасли.

В этот вечер вокруг огня собралось большое общество. Сам газда Перо Фуфич, два травницких серба-торговца, гусляр и Марко из Джимрия, юродивый и знахарь, который постоянно бродил по Боснии, но в Травник попадал редко и то не дальше этого сарая, не заходя ни в город, ни на базар.

Марко был опрятный, седенький крестьянин из восточной Боснии, маленький, живой и проворный, весь какой-то ловкий и ладный.

Марко славился как знахарь и пророк. В родном селе у него были взрослые сыновья и замужние дочери, земля и дом. Но, овдовев, он начал молиться богу, вразумлять людей и предсказывать будущее. На деньги он не был падок и пророчил не всегда и не каждому. С грешниками обходился сурово и беспощадно. Турки его знали и разрешали пророчествовать.

Попадая в какое-нибудь селение, Марко обходил дома богатых и направлялся в сарай или дом попроще и усаживался возле огня. Беседовал с мужчинами и женщинами, которые там собирались. Но в какой-то определенный момент выходил в ночь и оставался во дворе час, а то и два. Вернувшись, покрытый росой или мокрый от дождя, он садился у огня, где слушатели терпеливо ждали его, и, глядя на тоненькую тисовую дощечку, начинал говорить. Но чаще он обращался предварительно к кому-нибудь из присутствовавших, резко изобличал его в грехе и предлагал покинуть общество. Особенно доставалось женщинам.

Внимательно всмотревшись в какую-нибудь женщину, он говорил спокойно, но решительно:

— А у тебя, сноха, руки-то до локтей горят. Пойди погаси огонь, сними с себя грех. Сама знаешь, какой на тебе грех.

Пристыженная женщина исчезала, и только после этого Марко начинал пророчествовать.

И в этот вечер Марко выходил из сарая, невзирая на то, что дул резкий ветер с ледяной слякотью. А вернувшись, долго смот-

рел на свою дощечку, постукивая по ней левым указательным пальцем, и затем медленно заговорил:

— В этом городе тлеет огонь, тлеет во многих местах. Его не видно, потому что люди носят его в себе, но наступит день, когда он вспыхнет и охватит правых и виноватых. В тот день ни одного праведника не застанешь в городе, а только за его чертой. Далеко за его чертой. И пусть каждый молит бога, чтобы он сподобил его попасть в их число.

Тут он вдруг повернулся осторожно и медленно к Петару Фуфичу.

— Газда Перо, и у тебя в доме плач стоит. Великий плач, и еще больше будет, но все добром кончится. К добру поворачивается. А ты о церкви пекись да нищих не забывай. И следи, чтобы не угасала лампадка перед иконой святого Дмитрия.

Слушая старца, газда Перо, человек угрюмый и гордый, опустил голову и уставился на свой шелковый пояс. Воцарились тишина и замешательство и длились до тех пор, пока Марко не начал опять смотреть на свою дощечку и задумчиво постукивать по ней ногтем. Из этого сухого звука незаметно стал выделяться его мягкий, но твердый голос, сперва слышались отдельные невнятные слова, потом речь его полилась яснее:

— Эх, бедные христиане, бедные христиане!!!

Так началось одно из тех пророчеств, которые Марко время от времени изрекал и которые потом, передаваясь из уст в уста, широко разносились сербами.

— Вот в кровь залезли. По щиколотку кровь, и все поднимается. Кровь отныне и на сто лет вперед, и еще на полсотни. Так вижу. Шесть поколений пригоршнями передают кровь друг другу. Христианскую кровь. Придет время, когда все дети станут по книгам учиться грамоте; люди будут переговариваться с разных концов земли и слышать каждое слово, да только не поймут друг друга. И одни войдут в силу и накопят блага, каких свет не запомнит, но богатство их погибнет в крови, и ни ловкость, ни смекалка им не помогут. Другие же обнищают и изголодаются так, что собственный язык жевать начнут и будут призывать смерть, но она останется глуха и нетороплива. И сколько бы земля ни родила, всякая пища опротивеет от крови. Кресты потемнеют сами собой, и тогда явится человек, наг и бос, без посоха и сумы, ослепит всех своей мудростью, силой и красотой, избавит людей от крови и гнета и утешит каждую душу. И воцарится третий из святой троицы.

Слова старика раздавались все глуше, все непонятнее и превратились под конец в какой-то неясный шепот, сопровождающийся тихим и равномерным постукиванием ногтя о сухую, топкую дощечку из тисового дерева.

Все смотрели на огонь, пораженные этими словами, не вполне понятный смысл которых подавлял их, наполняя тем неопределенным волнением, с каким простые люди слушают всякое пророчество.

Танасие поднялся, чтобы проверить котел. Тут один из торговцев спросил Марко, приедет ли в Травник русский консул.

Наступило молчание, и все почувствовали неуместность этого вопроса. Старец ответил резко и гневно:

— Не приедет ни он и никакой другой, зато скоро уедут те, что здесь сидят, близится время, когда большая дорога проляжет вдали от этого города; захотите посмотреть на путников и торговцев, но они пройдут стороной, а вы будете продавать друг другу и покупать друг у друга. Тот же грош будет переходить из рук в руки, но нигде не залежится, нигде не даст прибыли.

Торговцы переглянулись. Водворилось неловкое молчание, но через минуту оно было прервано перебранкой между Танасие и молодым его помощником. Разговорились и торговцы. А на лице старца снова появилось привычное, скромное, улыбающееся выражение. Он открыл свою потертую кожаную сумку и стал вынимать из нее кукурузный хлеб и головки лука. Парни жарили на углях говядину, которая шипела и распространяла сильный запах. Старцу ничего не предлагали — всем было известно, что он питался лишь сухой пищей, которую носил в своей маленькой сумке. Он поел, не спеша и со вкусом, а потом перешел на другую сторону помещения, куда не достигали ни дым, ни запах жареного мяса, и тут, свернувшись клубочком, заснул, подложив ладонь, как ребенок, под правую щеку.

Ракия оживила разговор между торговцами, но они все поглядывали в угол, где спал старец, и невольно понижали голос. Они чувствовали себя неловко в его присутствии, исполненные в то же время торжественной важности, которая была им приятна.

А Танасие то и дело взбадривал огонь, подбрасывая буковые поленья, сонливый и мрачный по обыкновению, терпеливый и стойкий, как сама природа, не помышляя о том, что на другом конце Травника французский консул смотрит на красный отблеск его огня, не подозревая в своей простоте, что на свете существуют консулы и люди, которым не спится.

XXVII

Первые месяцы 1814 года, последние месяцы в Травнике, Давиль провел в полном уединении, «готовый ко всему», не получая инструкций и вестей ни из Парижа, ни из Стамбула. Жалованье

телохранителям и прислуге он платил из собственных средств. Французскими властями в Далмации владела тревога. Французские путешественники и курьеры больше не появлялись. Вести из австрийских источников, достигавшие Травника нескоро и в искаженном виде, были все более неблагоприятными. В Конак Давиль перестал ездить, потому что визирь принимал его все менее любезно и с каким-то оттенком рассеянного и обидного добродушия, коловшего больнее грубости или оскорбления. Впрочем, для всего края визирь с каждым днем становился все более тяжким и невыносимым. Его албанцы вели себя в Боснии, как в покоренной стране, взимая и с турок и с христиан. Среди мусульманского населения все сильнее разрасталось недовольство, причем не явное, выражающееся в криках и мелких городских волнениях, а глухое и молчаливое, которое долго тлеет, а вспыхнув, несет кровь и резню. Визирь был опьянен своей победой в Сербии. Правда, впоследствии из рассказов знатоков и свидетелей выяснилось, что победа эта была сомнительной, а участие Али-паши незначительным. Зато для самого Али-паши она приобретала все более важное значение. С каждым днем он вырастал в собственных глазах как победитель. И с каждым днем росли и его дерзкие выпады против беров и видных турок. Но именно этим визирь сам ослаблял свое положение. Ибо насилием можно пользоваться для свершения переворотов или внезапных нападений, но нельзя постоянно управлять с помощью этого метода. Террор как средство власти быстро теряет свою силу. Это известно каждому, кроме тех, кто в силу обстоятельств или собственных склонностей вынуждены применять террор. А визирь никаких других средств не знал. Он и не замечал, что у беров и айянов уже «умер страх» и что его выпады, вначале вызывавшие настоящую панику, теперь больше никого не пугали так же, как и ему не становилось от них легче. Раньше беги дрожали от страха, а теперь «застыли и онемели», в то время как он, напротив, дрожал от ярости при малейшем признаке непокорности и сопротивления, и даже их молчание вызывало в нем подозрение. Коменданты городов переписывались, беги перешептывались, а торговые люди во всех городах хранили опасное молчание. С наступлением теплых дней можно было ожидать открытого движения против господства Али-паши. Давна предсказывал это с уверенностью.

Монахи избегали французское консульство, хотя госпожу Давиль встречали все так же любезно по воскресеньям и праздникам, когда она приходила в долацкую церковь на мессу.

Телохранители старались выяснить у Давны, как долго останутся они на французской службе. Рафо Атияс, которому не хотелось возвращаться в дядин склад, искал место переводчика или

доверенного лица. Австрийское консульство все время незаметно распространяло в народе вести о победах союзников и о том, что падение Наполеона — вопрос дней. И все больше укоренялось мнение, что время французского влияния окончилось и дни консульства в Травнике сочтены.

Фон Паулич нигде не показывался и ни с кем ни о чем не говорил. Давиль не виделся с ним уже полгода, с тех пор как Австрия вступила в войну, но каждую минуту ощущал его присутствие; он думал о нем с особым чувством, которое нельзя было назвать ни страхом, ни завистью, но в котором было и то и другое; казалось, Давиль видел, как в большом здании по ту сторону Лашвы он спокойно руководил делами, холодный, полный сознания своей правоты, никогда не испытывающий ни сомнений, ни колебаний, добросовестный, но хитрый, безупречный, но жестокий. Полная противоположность безумному и невменяемому победителю в Конаке, он на деле являлся подлинным победителем в игре, уже годами разыгрывавшейся в этой Травницкой долине. Он ждал спокойно и терпеливо, чтобы припертая к стене жертва сдалась и тем самым возвестила о его победе.

Этот момент настал. И тут фон Паулич ощутил гордость, как человек, участвовавший в старинной и торжественной игре с неизменно трудными, но логичными правилами, одинаково справедливыми и честными как для побежденных, так и для победителей.

В один из апрельских дней, впервые за последние семь месяцев, во французское консульство пришел служащий австрийского консульства и принес письмо для Давиля.

Давиль знал этот почерк, весь из ровных и правильных линий, словно из стальных стрел, одинаково острых и идущих в одном направлении. Он знал этот каллиграфический почерк, догадывался о содержании письма, но все же был потрясен.

Фон Паулич писал, что получил известие о счастливом окончании войны между союзниками и Францией. Наполеон отрекся от престола. На французский престол призван законный государь. Сенат принял новую конституцию, образовано новое правительство во главе с Талейраном, князем Беневентским. Он сообщает Давилю эти известия, касающиеся его родины, полагая, что они представляют для него интерес; он счастлив, что окончание войны позволит возобновить их взаимоотношения, просит передать госпоже Давиль уверения в неизменном уважении, и так далее и тому подобное.

Консул был настолько поражен, что подлинный смысл и истинное значение этого сообщения не сразу дошли до его сознания. В первый момент он бросил письмо и встал из-за стола, словно получил от фон Паулича давно ожидаемое подтверждение.

Еще раньше, а в особенности с декабря прошлого года, после поражения в России, Давиль задумывался над возможностью такого конца, размышлял о нем и старался определить свое отношение к нему.

Так постепенно и незаметно он старался примириться с падением империи, с самой возможностью этого факта. С каждым днем и с каждым событием эта отдаленная и давнишняя угроза надвигалась и, постепенно превращаясь в реальность, стала действительностью. А за императором и империей смутно проглядывала жизнь, вечная, всемогущая, всеобъемлющая жизнь со своими неисчислимыми возможностями.

Он и сам не знал, когда стал думать о мировых событиях и делах без Наполеона в качестве основной предпосылки. Сначала это было трудно и болезненно, походило на своего рода головокружение; он будто спотыкался, как человек, у которого земля уходит из-под ног. Затем он ощутил в себе полную опустошенность, отсутствие всякого воодушевления и уверенности; его ждала жалкая жизнь, лишенная перспектив и зовущих вдаль иллюзий, которые, хоть и неосуществимы, придают нам силы и подлинное достоинство на жизненном пути. В конце концов он так много об этом думал и столько раз предавался этим переживаниям, что начал все чаще оценивать и мир, и Францию, и свою судьбу, и судьбу своей семьи с этой вымышленной точки зрения.

Все это время Давиль, как всегда, добросовестно исполнял свои обязанности, читал циркуляры и статьи в «Moniteur», выслушивал рассказы курьеров и путешественников о планах Наполеона для защиты Франции в более узких границах и о видах на заключение мира с союзниками. Но сразу же возвращался к своим мыслям о том, во что все выльется, когда исчезнут император и империя, и все дольше на них останавливался.

Одним словом, с ним происходило то же самое, что и с тысячами французов, уставших на службе режиму, который погубило то, что он требовал от людей больше, чем они могли дать.

А когда человек мысленно примиряется и свыкается с чем-нибудь, то рано или поздно начинает находить этому подтверждение в окружающей действительности. И это было тем легче, что события развивались в том же направлении, что и мысли, и часто их опережали.

За последнее время Давиль, к своему удивлению, понял, что проделал в этом направлении большую часть пути. Забывая о длительной внутренней борьбе, пережитой им за последний год, он считал, что легко и незаметно достиг той точки, на которой находился теперь. Во всяком случае, он давно уже чувствовал себя человеком, «готовым ко всему», что в действительности означало,

что в душе он окончательно порвал со строем, доживавшим свои дни во Франции, и готов был примириться с тем строем, который придет ему на смену, каков бы он ни был.

И все-таки сейчас, в момент, когда все это предстало перед ним в качестве свершившегося факта, Давиль вел себя так, словно получил неожиданный и слишком сильный удар. Он ходил по комнате и все отчетливее сознавал значение того, что прочитал в письме фон Паулича, и это вызывало в нем все новые волны смешанных чувств: удивления, страха, сожаления и какого-то горького удовлетворения тем, что он сам и его близкие остались живы и невредимы среди всех этих крушений и перемен, при новых страхах и неизвестности. Почему-то вспомнились ему слова из Ветхого завета — «Дивны дела твои, господи!» — и постоянно звучали, как навязчивая мелодия, хотя он не смог бы объяснить, ни что это за дела, ни в чем их величие и вообще что тут общего с богом и Библией.

Долго он ходил так по холодной комнате, не будучи в силах остановиться на одной какой-нибудь мысли, а тем более продумать и сосредоточиться на том, что узнал. Он почувствовал, что для этого ему потребуется много времени.

Он понял, что в тот момент, когда попадаешь под удар, всякие размышления, предположения и умиротворения не помогают и не имеют большой цены. Потому что представлять в собственном воображении страхи, предвидеть самое худшее, размышлять о своем положении и своей защите, испытывая в то же время удовлетворение от сознания, что пока все в порядке и на своем месте,— это одно; а очутиться перед настоящим крахом, требующим быстрых решений и живых, действенных поступков,— совсем другое. Одно дело слушать, как подвыпивший и трусливый приятель из морского министерства с воспаленными глазами говорит: «Император сошел с ума! Все мы вместе с ним летим в пропасть, ожидающую нас после всех побед!»,— и совсем другое — осознать и воспринять как реальность, что империя побеждена и рухнула, что Наполеон теперь — только свергнутый монарх-узурпатор, который ценился бы выше, если бы погиб в одной из своих победоносных битв. Одно дело сомневаться в пользе побед и длительности военных успехов, что все чаще мучило Давиля в последние годы, и раздумывать, что станется с ним и его близкими «в случае, если...», и совсем другое — внезапно узнать, что в одну ночь не стало, словно никогда и не существовало, не только революции и того, что она с собой принесла, но и «генерала», и непреодолимой веры в его магический гений победителя, и всего строя, который на нем покоился, и что теперь надо сразу вернуться в то состояние, в котором был Давиль, когда еще ребенком на площади родного города,

вдохновленный «королевской милостью», громко приветствовал Людовика XVI.

Даже и во сне не приснится такое.

Не будучи в состоянии справиться с собой, проникнуть в смысл совершавшихся событий и предугадать будущее, Давиль ухватился за тот факт, что во главе правительства находится его старый покровитель Талейран. Это представилось ему единственным шансом на спасение, знаком особого благоволения судьбы к нему лично среди всеобщей ломки и развала.

Как и с «генералом», Давиль только раз в жизни беседовал с Талейраном, и то более восемнадцати лет тому назад, когда тот еще не был знаменит и не носил титула князя Беневенты. Талейран обратил внимание на статьи Давиля в «Moniteur» и захотел его видеть. Он принял его на несколько минут в импровизированном салоне, в министерстве иностранных дел, где господствовал в то время ужасающий беспорядок не только в работе, но и среди сотрудников, и в обстановке, и в распорядке дня. Их короткий разговор носил такой же характер.

Плотный человек, который принял его стоя и не менял позы в продолжение всего разговора, поверхностно скользнул по Давилю вызывающе спокойным, всеохватывающим взглядом, будто интересующий его предмет находился позади молодого человека. Говорил он тоже рассеянно и поверхностно, словно сожалел, что обратил внимание на статьи Давиля и выразил желание его видеть. Сказал, что «надо продолжать» и что он всегда его поддержит в работе и по службе. Это, в сущности, было все, что Давиль увидел и услышал от своего покровителя. И тем не менее все эти восемнадцать лет и для самого Давиля, и для всех чиновников министерства было ясно, что Давиль ставленник Талейрана и что его служебная карьера зависит от счастливой звезды министра. И действительно, Талейран неизменно оказывал ему поддержку, когда был у власти и в силе. Влиятельные люди часто упорно тащат за собой тех, кому покровительствуют, хотя не знают и не ценят их, делая это ради самих себя, так как покровительство и защита, которые они оказывают этим людям, служат явным доказательством их собственной силы и значения.

«Обращусь к князю,— говорил себе Давиль, не зная еще, зачем и каким образом.— Обращусь к князю»,— повторял он всю ночь, не в состоянии придумать ничего другого, в тоске оттого, что не с кем посоветоваться. Наутро он проснулся усталый и встревоженный, в такой же нерешительности, как и накануне.

Видя, как его жена, ничего не подозревавшая, хлопотала по дому и руководила работами в саду, словно собиралась весь век прожить в Травнике, он казался себе каким-то проклятым сущест-

вом, которое знает больше остальных смертных, а потому значительнее и несчастнее их.

Прибытие курьера из Стамбула вывело его из состояния нерешительности. Курьер вез поздравление посла и персонала новому правительству, а также выражение их преданности законному государю Людовику XVIII и Бурбонской династии. Курьер привез Давилю приказ известить визиря и местные власти о происшедших во Франции переменах и сообщить, что отныне он находится в Травнике в качестве представителя Людовика XVIII, короля Франции и Наварры.

Словно по давно обдуманному плану или под неслышную диктовку, Давиль без всяких промедлений и колебаний в тот же день написал все, что требовалось для Парижа.

«От здешнего австрийского консула я узнал о счастливом перевороте, возвратившем на французский престол потомка Генриха Великого и принесшем Франции мир и надежды на лучшее будущее. Пока жив, буду сожалеть о том, что в те минуты не был в Париже и не мог к восторженным кликам народа присоединить и свой голос».

Так начиналось письмо Давиля, в котором он предоставлял себя в распоряжение нового правительства, прося «положить к подножию престола выражение его верноподданнических чувств», скромно подчеркнув, что он, обыкновенный гражданин, один из двадцати тысяч парижан, подписавших знаменитую петицию в защиту короля-мученика Людовика XVI и королевского дома.

Письмо заканчивалось выражением надежды, что «после железного века наступает золотой».

Одновременно он послал Талейрану поздравление в стихах, что часто делал и ранее, когда Талейран находился у власти. Поздравление начиналось следующими строками:

Des peuples et des Rois heureux modérateur,
Talleyrand, tu deviens notre libérateur! [1]

Так как курьер не мог ждать и у Давиля не было времени закончить свое произведение, он назвал дюжину жалких строк фрагментом.

Давиль предлагал также упразднить консульство, так как при совершенно изменившихся обстоятельствах необходимость в нем отпала, просил разрешения покинуть с семьей Травник еще в течение этого месяца, поручив Давне, верность которого испытана и многократно доказана, управлять консульством и заниматься его

[1] О Талейран, ты, столь счастливо усмирявший королей и народы, становишься теперь нашим освободителем! *(франц.)*

ликвидацией. Ссылаясь на исключительные обстоятельства, Давиль добавлял, что выедет в Париж вместе с семьей, если до конца месяца не получит других инструкций.

Всю ночь Давиль провел, сочиняя поздравления, просьбы и письма. Спал всего два часа, но встал свежий и бодрый и отправил курьера.

Из цветника, где еще нераспустившиеся тюльпаны сгибались от обильной росы, Давиль следил, как курьер и его провожатый пробирались по крутому спуску на дорогу в долине. Их кони по колено утопали в низком густом тумане, красном от невидимого солнца, и погружались в него все глубже, пока совсем не исчезли из виду.

Консул вернулся в свой кабинет. На всем видны были следы минувшей ночи, проведенной в работе и писании: искривленные и обгоревшие свечи, разбросанные бумаги, сломанный сургуч. Ни к чему не прикасаясь, Давиль сел среди этих черновиков и порванных бумаг. Он чувствовал сильнейшую усталость, но и огромное облегчение от сознания, что все исполнено и послано кому надо, твердо и бесповоротно, что больше не может быть ни сомнений, ни колебаний. (Сел за стол и склонил отяжелевшую голову на сложенные руки.)

И все-таки трудно не думать, не вспоминать, не видеть. Двадцать пять лет потратил он на поиски «среднего пути», приносящего спокойствие и придающего личности то достоинство, без которого нельзя жить. Двадцать пять лет шел он, искал и находил, терял и снова обретал, переходя от одного «увлечения» к другому, и вот теперь, усталый, разбитый, опустошенный, очутился на том же самом месте, откуда тронулся в путь восемнадцатилетним юношей. Значит, ему только казалось, что пути вели вперед, на самом деле они кружили, как в обманчивом лабиринте восточных сказок, и наконец привели его, усталого и разочарованного, на это место среди порванных бумаг и разбросанных черновиков, на ту точку, откуда вновь начинается круг, равно как и от каждой другой точки круга. Значит, не существует среднего пути, того настоящего, который ведет вперед, к постоянству, покою и достоинству; значит, все мы вращаемся по кругу, всегда одним и тем же путем, путем обмана; сменяются в движении лишь люди и поколения, вечно обманутые. Значит,— заключала утомленная и ошибочная мысль усталого человека,— вообще нет пути, и тот, которым поведет теперь, ковыляя, его хромой покровитель, всемогущий князь Беневенты, только часть круга, представляющего собой само бездорожье. Всегда в пути. А путь этот осмыслен и благороден лишь постольку, поскольку мы находим эти качества в себе. Ни пути, ни цели. Всегда в пути. Путь, потери, усталость.

Да, вот и он идет без остановки и отдыха. Голова его падает, глаза слипаются сами собой, и перед ним расстилается красный туман, лошади дробно переступают заплетающимися ногами и, все глубже погружаясь в этот туман, исчезают в нем вместе со всадниками. Все новые и новые, бесчисленные кони и всадники возникают и тонут в этом беспредельном тумане, падая от усталости и желания спать.

Опустив голову на сложенные руки, Давиль, сломленный усталостью и путаницей в мыслях, уснул за письменным столом среди бумаг и огарков свечей, оставшихся от прошлой ночи. Только бы позволили спать, не поднимать головы, не открывать глаз, пусть даже в этом сыром, красном тумане, в самой гуще всадников. Но нет. Один из всадников позади него все время безжалостно прикладывает холодную руку к его шее и говорит что-то непонятное. Он все ниже опускает голову, но его будят все настойчивее.

Подняв голову и открыв глаза, он увидел улыбающееся лицо жены, смотревшей на него с укоризной. Госпожа Давиль начала упрекать его за то, что он так переутомляется, уговаривала раздеться, лечь и отдохнуть. Но теперь, когда его разбудили, одна мысль остаться в кровати наедине со своими думами показалась ему невыносимой. Разговаривая с женой, он стал приводить в порядок бумаги на столе. До сих пор Давиль не хотел говорить ей определенно и ясно о переменах, происшедших в мире и во Франции и об их значении для них лично. Теперь же это показалось ему и легким и простым.

Когда госпожа Давиль отчетливо уяснила себе, что все, включая их собственное положение, коренным образом менялось и что действительно наступал конец их пребыванию в Травнике, она сначала смутилась, потрясенная. Но только на мгновение, пока не отдала себе отчет, что это означало для ее семьи и какие реальные задачи ставило перед ней самой. Поняв, она успокоилась. И они сразу заговорили о дороге, перевозке вещей и будущей жизни во Франции.

XXVIII

Госпожа Давиль взялась за дело.

Точно так же, как некогда устраивала и меблировала этот дом, теперь она готовила все к отъезду: спокойно, внимательно и неутомимо, не жалуясь и не спрашивая ни у кого совета. Началась постепенная и обстоятельная разборка домашнего хозяйства, которое она создавала в течение семи лет. Все было записано, упаковано и приготовлено в дорогу. Самым больным местом для госпожи Давиль был цветник и большой огород с грядками овощей.

Белые гиацинты, которые госпожа фон Миттерер когда-то окрестила «свадебная радость» и «августейшие молодожены», все еще были свежие и пышные, а в самой середине росли голландские тюльпаны разных оттенков, которыми госпожа Давиль обзавелась за последние годы в большом количестве. В прошлом году они были слабенькие и неровные, а нынче оказались замечательными и только что расцвели, пышные и ровные, похожие на ряды школьников в церковной процессии.

В огороде уже цвел зеленый горошек, семена которого госпожа Давиль получила в прошлом году от фон Паулича за несколько недель до объявления войны. Теперь их окучивал немой Мунджара.

Мунджара и теперь работал, как каждую весну. Он ничего не знал о мировых событиях, не знал и о переменах в судьбе этих людей. Для него нынешний год был таким же, как прошлые. Вечно согнувшись, он разминал руками землю, унаваживал, пересаживал и поливал, улыбаясь Жан-Полю или маленькой Евгении, если девочку выносили на террасу. Быстро и ловко перебирая своими запачканными землей пальцами, невнятно бормоча и гримасничая, как все глухонемые, он объяснял госпоже Давиль, что такой же самый сорт горошка в саду фон Паулича и выше, и цветет обильнее, но что это не имеет значения, так как по цветению еще нельзя судить об урожае. Это будет видно, только когда появятся стручки.

Госпожа Давиль посмотрела на него, знаками подтверждая, что все поняла, и ушла в дом продолжать упаковку. И тут только сообразила, что через несколько дней придется все покинуть, и дом, и сад, и что ни она, ни ее близкие не увидят зрелого горошка. И на глазах у нее навернулись слезы.

Во французском консульстве спокойно готовились к отъезду. Но один вопрос тревожил Давиля. Это вопрос о деньгах. Небольшую сумму, которую удалось сэкономить, он еще раньше перевел во Францию. Жалованье не поступало уже несколько месяцев. Сараевские евреи, имевшие дела с Фрессине и часто выручавшие консульство, стали теперь недоверчивы. У Давны были сбережения, но он оставался в Травнике в неопределенной роли и полной неизвестности; несправедливо было бы лишать его накопленного, прося одолжить государству, и притом без верного обеспечения.

Переводчики, и Давна и Рафо Атияс, прекрасно знали о затруднениях Давиля. И когда он мучился, не зная, к кому обратиться, к нему пришел старый Соломон Атияс, дядя Рафо, самый видный из братьев, глава многочисленного рода травницких Атиясов.

Низенький, упитанный, кривоногий, в засаленной антерии, без признаков шеи, с большими глазами навыкате, как у людей, страдающих пороком сердца, он был весь в поту и задыхался от непривычного подъема на гору в жаркий майский день. Атияс опасливо закрыл за собой дверь и, отдуваясь, повалился на стул. От него несло чесноком и сыромятной кожей. Он положил на колени стиснутые черные волосатые кулаки, на каждом волоске блестела капелька пота.

Обменялись несколько раз приветствиями, возвращаясь к тем же ничего не значащим выражениям вежливости. Ни Давилю не хотелось признаваться, что он с семьей навсегда покидает Травник, ни грузному, тяжело отдувавшемуся газде Соломону никак не удавалось объявить, ради чего он пришел. Наконец осипшим, гортанным голосом, всегда напоминавшим Давилю Испанию, Атияс стал уверять, что он понимает, как велики потребности государства и чиновников этого государства в связи с неожиданными переменами, понимает, какие трудные времена настали для всех, даже для торговца, занимающегося только своим делом, наконец, вот и господин консул не получил вовремя казенных денег, а путешествие остается путешествием, и служба не может ждать, и вот он, Соломон Атияс, всегда готов к услугам французского императорского... королевского консульства и лично господина консула со всем тем немногим, чем он располагает.

Давиль, подумавший сначала, что Атияс пришел с какой-нибудь нуждой или просьбой, был удивлен и тронут. От волнения голос у него задрожал. Мускулы возле рта и на подбородке, там, где розовая кожа начала блекнуть, собираться в морщины и отвисать, заметно подергивались.

Начались смущенные уговаривания и изъявления благодарности. Наконец договорились, что Атияс одолжит консульству двадцать пять имперских дукатов под вексель.

Большие выпученные глаза Соломона увлажнились и сильно заблестели, несмотря на желтоватые и налитые кровью белки. В глазах Давиля тоже стояли слезы от волнения, которое не покидало его все эти дни. Теперь они разговаривали легче и более непринужденно.

Давиль подбирал слова, чтобы выразить свою благодарность. Он говорил о том, что понимает евреев и симпатизирует им, о необходимости человеческого взаимопонимания и помощи друг другу. Он придерживался общих и неопределенных выражений, так как не мог больше говорить о Наполеоне, имевшем огромную притягательную силу и особое значение для евреев, и, уж конечно, не мог открыто упоминать новое правительство и произносить имя нового государя. Соломон смотрел на него своими большими гла-

зами, не переставая потеть и тяжело дышать; как будто ему самому все это было ясно и мучительно, быть может, более мучительно, чем Давилю, будто он отлично понимал, что за страшное бедствие представляют собой все эти императоры, визири и министры, чье появление и исчезновение отнюдь от нас не зависит, но которые тем не менее влияют на наше возвышение или гибель и отражаются на нас, наших семьях, нашем положении и на всем, что мы имеем. По глазам его можно было также понять, как он страдает оттого, что ему пришлось покинуть свой мрачный склад и груды кож, подняться на это возвышенное и залитое солнцем место и сидеть с консулом на непривычных стульях в роскошных апартаментах.

Довольный, что вопрос относительно денег на дорогу решен столь неожиданно просто и желая придать разговору более веселый тон, Давиль сказал полушутливо:

— Я вам очень благодарен и никогда не забуду, что при всех своих заботах вы удосужились подумать и о судьбе представителя Франции. Говоря откровенно, я поражаюсь, как после всего, что вам довелось претерпеть, после таких поборов, вы еще в состоянии давать взаймы. Ведь визирь похвалялся, что дочиста опустошил ваши денежные ящики.

При упоминании о гонениях и поборах, которые евреям пришлось вынести от Али-паши, глаза Соломона приобрели застывшее, озабоченное выражение; это был печальный взгляд животного.

— Да, нам это дорого обошлось, взято у нас много, и наши денежные ящики опустошены до дна, но вам я могу сказать, и вы должны это знать...

Тут Соломон бросил смущенный взгляд на свои потные руки, лежавшие на коленях, и после небольшого молчания продолжал каким-то изменившимся, более высоким голосом, словно говорил с другого конца комнаты:

— Да, нагнали на нас страху и обобрали... Да... Верно, что визирь суровый властелин, суровый и тяжелый. Но ему-то один раз пришлось иметь дело с евреями, а на наших глазах прошли десятки и десятки визирей. Визири сменяются и уезжают. Правда, каждый что-нибудь с собой увозит. Уезжают и забывают о том, что здесь творили, как поступали, приезжают новые, и каждый начинает все сызнова. А мы остаемся тут, запоминаем, отмечаем все, что испытали, как защищались и спасались, и от отца к сыну передаем столь дорого стоивший нам опыт. И потому-то у наших денежных ящиков двойное дно. До первого рука визиря добирается, и он его очищает, но под первым всегда остается малая толика для нас и наших детей, на спасение души, на помощь родным и друзьям, попавшим в беду.

И Соломон посмотрел на Давиля не своим комически-опасливым и грустным взглядом, а каким-то новым — открытым и смелым.

Давиль рассмеялся от всего сердца.

— Ах, вот это прекрасно! Это мне нравится! А визирь-то похвалялся своей хитростью и ловкостью.

Соломон перебил его тихим голосом, словно желая, чтобы и консул сбавил тон:

— Нет, не могу сказать, что это не так. Да, это все умные и ловкие господа. Только, знаете, как бывает: господа-то мудры, сильны, как драконы, наши господа, но они воюют, соперничают, тратят силы. Знаете, как у нас говорят: власть, что порывистый ветер,— сносит все, рвет и ослабевает. А мы живем в мире, работаем и приобретаем. Потому и деньги у нас всегда водятся.

— Ах, это очень, очень хорошо,— твердил Давиль, кивая головой, смеясь и одобрительно кивая Соломону.

Но именно из-за этого смеха еврей вдруг остановился и пристально посмотрел на консула прежним озабоченным и боязливым взглядом. Испугался, не переступил ли он границы, не сказал ли чего лишнего. Он сам понимал, что говорит не то, но что именно следовало бы сказать, хорошенько не знал. Что-то заставило его высказаться, пожаловаться, похвастаться, разъяснить, словно он получил единственную в своем роде возможность, всего несколько драгоценных минут для выполнения важного и срочного поручения. Когда он вышел из склада, взобрался на крутую гору, на которую никогда еще не поднимался, и уселся в этой светлой комнате, среди всей этой непривычной для него красоты и чистоты, ему показалось необыкновенно значительным и важным, что он может беседовать с этим чужестранцем, который через несколько дней покинет их город, и разговаривать так, как, быть может, он никогда больше не сумеет и не посмеет ни с кем говорить.

Позабыв о первоначальной застенчивости и мучительной неловкости, он испытывал все более настоятельную потребность рассказать иностранному консулу еще что-то о себе и о своих, спешно и доверительно, об этой травницкой дыре, о сыром складе, где живется так трудно, где не имеют понятия о чести и справедливости, где нет красоты и порядка, не существует суда и свидетелей, передать как наказ, он и сам не знал кому, но туда, куда возвращался консул, в некий упорядоченный и просвещенный мир. Хоть раз иметь возможность говорить без лукавства и предосторожности, говорить о вещах, не только не связанных с заработком и сбережениями, с ежедневными расчетами и торгашеством, но имеющими противоположное назначение,— о подарках и щедрости, о щепетильной и великодушной гордости и искренности.

Но именно это сильное, внезапно нахлынувшее на него желание сообщить для дальнейшей передачи нечто обобщенное и важное о своем существовании и вековечных муках всех травницких Атиясов и мешало ему найти верный способ и необходимые слова, которые позволили бы кратко, но достойно выразить все, что душило его и от чего кровь приливала к голове. И потому он говорил не о том, что переполняло его и просилось наружу — о их способности к борьбе, о скрытой силе и достоинстве,— а произносил, заикаясь, несвязные, приходившие на язык слова.

— Вот... так и держимся, так и живем и не жалеем... для друзей, за справедливость и доброту, которую нам выказали. Потому что мы... потому что и мы...

Тут голос его оборвался, и глаза внезапно наполнились слезами. Он поднялся в смущении. Встал и Давиль, растроганный столь деликатным проявлением дружеского чувства, и протянул ему руку. Соломон живо схватил эту руку непривычным и неловким движением, бормоча еще какие-то слова и прося консула не забывать их там, замолвить за них словечко, где сможет, и рассказать кому следует, как они тут живут, как мучаются и муками откупаются. Эти неясные и бессвязные слова старика перемешивались с изъявлениями благодарности Давиля.

Никогда мы не узнаем, что именно душило Соломона Атияса в это мгновение, что вызывало слезы на его глазах и дрожь во всем теле. Если бы он умел излагать свои мысли, он сказал бы приблизительно следующее:

«Господин консул, вы прожили среди нас больше семи лет и за это время проявили к нам, евреям, такое внимание, какого мы никогда не видели ни от турок, ни от чужестранцев. Вы приглашали нас, не делая различия между нами и другими. Быть может, вы и сами не понимаете, что означала для нас ваша доброта. Теперь вы нас покидаете. Ваш император принужден был отступить перед более сильным врагом. В вашей стране происходят тяжелые события и крупные перемены. Но страна ваша благородна и могущественна, и все может повернуться к лучшему. И вы найдете себе применение у себя на родине. Жалеть надо нас, остающихся здесь, кучку травницких евреев-сефардов, две трети из которых Атиясы,— жалеть потому, что мы теряем вас, ибо вы для нас были проблеском света. Вы видели, как мы живем, и были к нам так добры, как только может быть добр человек по отношению к другому. От того же, кто делает добро, каждый ожидает еще большего. А потому мы решились просить вас быть нашим заступником на Западе, откуда и мы пришли и где должны знать, что с нами сталось. Если бы мы убедились, что там нас знают и понимают, что мы не те, какими кажемся, и не су-

дили бы о нас по нашей жизни, нам, думается мне, легче было бы все переносить.

Более трехсот лет назад страшный, безумный и братоубийственный вихрь, смысл которого нам не ясен и по сей день, поднял нас с нашей родной земли, прекрасной Андалузии, разбросал по белу свету и превратил в нищих, которым не помогает и золото. Мы вот попали на Восток, а жизнь на Востоке не легка и не благословенна для нас, и чем дальше человек идет, приближаясь к месту солнечного восхода, тем все хуже ему становится, ибо земли там девственные, трудные, а люди связаны с землей. И горе наше в том, что мы не смогли всем сердцем полюбить эту страну, перед которой в долгу за то, что она приняла и приютила нас, и не сумели возненавидеть ту страну, которая столь несправедливо изгнала нас, как недостойных сынов. И не знаю, что тяжелее — то ли, что мы находимся здесь, или то, что нас нет там. Конечно, где бы мы ни жили за пределами Испании, мы страдали бы все равно, имея две отчизны, но здесь мы слишком придавлены и унижены. Знаю, что мы давно изменились и уже не помним, какими были, только помним, что были другими. Давно мы тронулись с места, и передвигались с большими трудностями, и, на горе, попали сюда, и тут поселились, а потому мы даже не тень того, кем были. Как с плода, передаваемого из рук в руки, стирается пыльца, так и человек прежде всего теряет самое лучшее в себе. Вот почему мы стали такими. Но вы нас знаете, нас и нашу жизнь, если только можно назвать это жизнью. Живем мы среди турок и райи, несчастной райи и грозных турок. Полностью отрезанные от родных и близких, мы стараемся, однако, сохранить все испанское — и песни, и кушанья, и обычаи,— но чувствуем, как все это меняется, искажается и забывается. Мы помним язык нашей родины, тот, что унесли с собой три столетия тому назад, на котором и там уже больше не говорят, а смешно коверкаем язык райи, с которой вместе страдаем, и язык турок, господствующих над нами. Так что, может быть, недалек тот день, когда мы сумеем правильно и по-человечески выражаться только в молитве, когда, по совести говоря, слова и не нужны. Изолированные и малочисленные, мы заключаем браки между собой и замечаем, что кровь наша становится жиже и бледнее. Мы унижаемся и склоняемся перед каждым, бедствуем и все же выкручиваемся,— как говорится, на льду костер раскладываем, работаем, зарабатываем, копим, и не только для себя и наших детей, но и для всех, кто сильнее и наглее нас и кто бьет нас и по лицу и по карману. Так мы сохранили свою веру, из-за которой вынуждены были покинуть нашу прекрасную страну, зато потеряли почти все остальное. На счастье, но и на муку нашу, нас не оставляет и преследует

образ нашей дорогой родины, такой, какой она была, когда прогнала нас, словно мачеха, как никогда не угасает желание попасть в лучший мир, где царят порядок и человечность, где можно идти прямо, смотреть спокойно и говорить открыто. Мы не можем освободиться от этого желания, так же как и от чувства, что принадлежим к тому миру, несмотря ни на что, хотя, как несчастные изгнанники, живем в мире, совсем на тот непохожем.

Вот мы и хотим, чтобы об этом знали там. Чтобы наши имена не были забыты в том светлом и лучшем мире, который постоянно окутывается мраком и рушится, постоянно перемещается и меняет название, но никогда не гибнет и всегда где-то и для кого-то существует, чтобы этот мир знал, что он живет у нас в душе, что мы и здесь по-своему служим ему, чувствуя себя слитыми с ним, хоть и навсегда и безнадежно оторванными.

И это не тщеславие, не пустое желание, это действительная потребность и искренняя просьба».

Вот что приблизительно сказал бы Соломон Атияс в час, когда французский консул готовился навсегда покинуть Травник, передавая ему для поездки с трудом накопленные дукаты. Это или что-нибудь в таком роде. Однако все это не было вполне и отчетливо осознано Атиясом и еще менее подготовлено для высказывания, а таилось в нем как нечто живое и значительное, но невысказанное, невыраженное. Да и кому в жизни удается выразить свои лучшие чувства и сокровенные желания? Никому, почти никому. Тем более не мог их выразить травницкий торговец кожами, испанский еврей, не умеющий как следует объясняться ни на одном языке; но если б даже он знал их все, он не извлек бы из этого никакой пользы, потому что ему еще в колыбели запрещали громко плакать, и тем паче в жизни не разрешали говорить свободно и открыто. Вот почему трудно было уловить смысл того, что он хотел сказать, и почему, расставаясь с французским консулом, он заикался и дрожал.

Если создавать и приводить в порядок хозяйство трудно и требует времени, как подъем в гору, то ликвидация учреждения или дома идет быстро и легко, как спуск под гору.

Давилю прислали ответ из Парижа гораздо скорее, чем можно было ждать. Он получил трехмесячный отпуск и разрешение выехать с семьей немедленно, передав управление консульством Давне. Вопрос о ликвидации генерального консульства в Травнике будет решен по приезде Давиля в Париж.

Давиль попросил аудиенции у визиря, чтобы сообщить ему о своем отъезде.

У Али-паши был теперь вид больного человека. Держался он с Давилем необыкновенно любезно. Очевидно, ему было уже известно о ликвидации консульства. Давиль подарил визирю охотничье ружье, а тот ему — плащ на меху; это означало, что визирь считает отъезд Давиля окончательным. Они простились как два человека, по горло занятые своими заботами, которым нечего сказать друг другу.

В тот же день Давиль послал фон Пауличу в подарок ружье, ценный штуцер немецкой работы, и несколько бутылок ликера Martinique. В пространном письме он сообщал ему, что на днях покидает с семьей Травник, отправляясь «в длительный отпуск, который, бог даст, превратится в постоянный». Давиль просил дать ему визы и рекомендательные письма для австрийских пограничных властей и для коменданта карантина в Костайнице.

«Мне хотелось бы,— писал далее Давиль,— чтобы договор, который сейчас заключается в Париже, обеспечил народам мир, долгий и разумный, каким был Вестфальский, чтобы он гарантировал долголетний отдых нынешнему поколению. Надеюсь, что наша большая европейская семья, примирясь и объединившись, не будет больше являть миру печальный пример раздора и несогласия. Надеюсь на это и хочу этого. Вам известно, что я придерживался этих принципов и до последней войны, и во время нее, придерживаюсь их и сейчас более чем когда-либо».

«Где бы я ни был,— писал Давиль,— куда бы ни забросила меня судьба, никогда не забуду, что в варварской стране, в которой мне довелось жить, я встретил самого просвещенного и самого любезного человека в Европе».

Закончив так письмо, он пришел к решению уехать, не прощаясь с фон Пауличем. Он чувствовал, что из всех предстоящих трудностей самой большой было бы увидеть победоносное выражение на спокойном лице подполковника.

Извещая дворцовую канцелярию о намеченной ликвидации французского генерального консульства в Травнике, фон Паулич предложил немедленно упразднить и австрийское генеральное консульство. Нужда в нем отпадает не только потому, что французы не будут действовать в этих краях, но и по той причине, что, судя по всему, в Боснии начнутся волнения и открытая борьба между визирем и бегами. Все силы и все внимание уйдут на эту борьбу, а потому никакие выступления против австрийской границы в ближайшее время угрожать не будут. А о боснийских неурядицах Вена сможет быть прекрасно осведомлена через монахов или специальных агентов.

К своему предложению фон Паулич присоединил копию письма Давиля. В том месте, где Давиль так лестно о нем отзы-

вался, консул приписал: «Я и раньше неоднократно имел случай отмечать бурное воображение господина Давиля и его склонность к преувеличениям».

Всю вторую половину летнего дня Давиль провел с Давной, приводя в порядок бумаги и давая ему указания.

Давна был мрачен, как всегда, на скулах у него играли желваки. Сына его решено было отправить на службу в посольство в Стамбул. Давиль обещал заняться в министерстве этим делом, затянувшимся вследствие столь значительных перемен во Франции. Всецело занятый мыслями о сыне, красивом и умном молодом человеке двадцати двух лет, Давна уверял, что завершит ликвидацию консульства наилучшим образом и вывезет все до последнего пера и клочка бумаги, даже под угрозой смерти.

Не закончив всего днем, они продолжали работу и после ужина. Давна ушел только около десяти часов.

Оставшись один, Давиль оглядел полупустую комнату, освещенную лишь одной свечой и тонувшую во мраке. Занавеси с окон были сняты. На белых стенах светлыми пятнами выделялись те места, где до вчерашнего дня висели картины. В открытое окно доносился шум реки. На обеих турецких башнях пробили часы — сперва на ближней, а потом, словно отклик, на дальней, в нижней части базара...

Консул был утомлен, но возбуждение, как некая сила, поддерживало в нем бодрость, и он продолжал приводить в порядок свои личные дела.

В картонной папке, перевязанной зеленой ленточкой, лежала рукопись эпоса об Александре Великом. Из двадцати четырех задуманных песен было написано семнадцать, да и те оставались незаконченными. Раньше, описывая походы Александра, Давиль постоянно видел перед собой «генерала», но теперь, вот уже больше года, с тех пор как он пережил как личную судьбу падение живого завоевателя, ему уже трудно было писать о возвышении и падении давно умершего героя своего эпоса. Перед ним лежало начатое произведение, которое и логически и исторически представлялось теперь абсурдным: Наполеон прошел огромную дугу своего восхождения и падения и снова очутился на земле, а Александр еще витал где-то, покоряя «сирийские ущелья» около Исоса.

Давиль часто испытывал мучительное желание продолжить свое произведение, но каждый раз ясно чувствовал, что вдохновение его иссякает при приближении к реальным событиям.

Тут же хранился и отрывок из трагедии о Селиме III, начатой в прошлом году после отъезда Ибрагим-паши и основанной на долгих разговорах с визирем о просвещенном и несчастном султане. Тут были и все поздравления и послания в стихах, напи-

санные Давилем по поводу торжеств и юбилеев разных лиц и режимов. Жалкие стихи, посвященные неудавшимся событиям или личностям, которые сегодня значили меньше, чем покойники.

И, наконец, пачки счетов и личных писем, перевязанные веревочкой, пожелтевшие и обтрепанные по краям. Стоило развязать пакет, как бумаги рассыпались в прах. Некоторые были написаны более двадцати лет назад. Отдельные письма Давиль узнал с первого взгляда. Вот правильный и твердый почерк одного из его лучших друзей, Жана Вильнева, который в прошлом году скоропостижно скончался на пароходе по пути в Неаполь. Письмо написано в 1808 году в ответ на какое-то озабоченное послание Давиля.

«...Поверьте, мой дорогой, что ваши заботы и черные мысли не имеют под собой никакой почвы. И теперь меньше чем когда-либо. Великий и исключительный человек, ныне управляющий судьбами мира, создает основы лучшего и постоянного порядка на грядущие времена. А потому мы можем вполне ему довериться. Он — лучшая гарантия счастливого будущего не только каждого из нас, но и наших детей и внуков. Итак, будьте спокойны, дорогой друг, как спокоен я, а мое спокойствие зиждется на ясном сознании вышеизложенного...»

Давиль поднял голову и посмотрел в открытое окно, в которое влетали ночные бабочки, привлеченные светом. Из соседнего квартала доносилась песня, сначала слабо, а потом все громче и громче. Это Муса Певец возвращался домой. Он совсем охрип. слабый голос его то и дело обрывался, но пьянство еще не окончательно доконало его, он еще жил, а в нем то, что фон Миттерер некогда назвал «Urjammer». Вот Муса завернул за угол своего квартала, голос его доносился все слабее и слабее, все с большими перерывами, как голос утопающего человека, то появляющегося на поверхности воды, чтобы еще раз вскрикнуть, то вновь еще глубже погружающегося в воду.

Наконец Певец зашел, пошатываясь, к себе во двор. Больше его не было слышно. Вновь наступила тишина. Ночью и шум реки не нарушал ее, а делал лишь более полной и однообразной.

Так тонет все. Так потонул и «генерал», и столько великих людей и крупных движений до него!

Целиком отдавшись глубокой тишине ночи, Давиль сидел с минуту, скрестив руки и опустив голову. Он был взволнован и озабочен, но не чувствовал страха, не страдал от одиночества. Впереди была полная неизвестность, его ждали трудности, и тем не менее ему казалось, что впервые с тех пор, как он в Травнике, положение прояснилось и перед ним приоткрылся кусок пути.

С того февральского дня, больше семи лет назад, когда после первого дивана у Хусрефа Мехмед-паши он, взволнованный и

униженный, вернулся в комнату Баруха в нижнем этаже его дома и опустился на жесткую скамью, все дела и усилия, связанные с Боснией и турками, пригибали его к земле, опутывали и ослабляли. С каждым годом он все больше впитывал в себя «яд Востока», туманящий взгляд и подтачивающий волю, которым с самого начала стала опаивать его эта страна. Ни близость французских войск в Далмации, ни блеск славных побед не в силах были что-то изменить. А теперь, когда после крушения и поражения он готовился все покинуть и двинуться в неизвестность, у него появились энергия и воля, которых он не знал за последние семь лет. Забот и потребностей было больше чем когда-либо, но, к его удивлению, они не обескураживали его, а, наоборот, заостряли мысль и расширяли горизонты, не возникали словно из засады, как горе, проклятье, а сливались с самой жизнью.

Слышно было, как в соседней комнате что-то шуршало и скреблось, словно мышь в стене. Это его жена, неутомимая и подтянутая, как всегда, собирала и упаковывала последние вещи. Рядом спали его дети. Скоро они подрастут (а он сделает все, чтобы они росли спокойно и счастливо) и отправятся на поиски пути, которого он не сумел найти, и если даже они его не найдут, то, уж во всяком случае, будут искать с большей настойчивостью и достоинством, чем он. Теперь они спят, но и во сне растут. Да, и в этом доме все живет и все в движении, как и в окружающем мире, где открываются новые горизонты и зреют новые возможности. Как бы давно покинув Травник, Давиль не думал больше ни о Боснии, ни о том, что она ему дала и что отняла. Чувствовал только, как к нему откуда-то притекают сила, терпение и решимость спасти себя и семью. Он продолжал приводить в порядок пожелтевшие бумаги, рвать старые и ненужные, оставляя и складывая то, что может еще пригодиться в дальнейшем, в новых условиях во Франции.

Машинальную работу сопровождала, как навязчивая мелодия, неопределенная, но настойчивая мысль: должен же где-то быть этот «настоящий путь», на поиски которого он потратил всю свою жизнь; когда-нибудь человек найдет этот путь и укажет всем. Он сам не знал — как, когда и где, но его обязательно найдут либо его дети, либо его внуки, либо его более далекие потомки.

Эта неслышная внутренняя мелодия облегчала ему работу.

ЭПИЛОГ

Вот уже третья неделя, как погода установилась. По заведенному обычаю, беги стали собираться на Софе у Лутвиной кофейни. Однако разговаривают сдержанно и угрюмо. По всей стране люди молчаливо готовились к отпору и восстанию против безумного правления Али-паши, ставшего невыносимым. Дело это было давно уже решено и зрело само собой. Правление Али-паши только ускорило это созревание.

Последняя пятница мая 1814 года. Все беги в сборе и ведут оживленный, серьезный разговор. Все знают о поражении Наполеона и его отречении и теперь только обмениваются сведениями, сопоставляя и дополняя их. Один из бегов, видевшийся утром с людьми из Конака, сообщает, что все уже готово для отъезда французского консула с семьей; достоверно известно также о скором отъезде австрийского консула, который только из-за француза и сидел в Травнике. Значит, можно свободно рассчитывать, что к осени в Травнике не останется ни консулов, ни консульств, ни всего того, что они с собой привезли и ввели.

Присутствующие выслушивают это как весть о победе. Хотя за эти годы беги несколько попривыкли к консулам, все же они довольны, что избавятся от чужестранцев с их особым, необычным укладом жизни, с их дерзким вмешательством в боснийские дела и события. Беги обсуждают вопрос о том, кто теперь будет владельцем «Дубровницкой гостиницы», где сейчас французское консульство, и что станется с большим домом Хафизадичей, когда австрийский консул покинет Травник. Все говорят громко, чтобы и Хамди-бег Тескереджич, сидящий на своем месте, мог слышать, о чем идет речь. Он постарел, одряхлел и скособочился, как ветхое здание. Ему изменяет слух. Он с трудом поднимает веки, еще более отяжелевшие, и принужден закидывать голову, если хочет

кого-нибудь рассмотреть, губы у него посинели и при разговоре слипаются. Старик поднимает голову и спрашивает последнего из говоривших:

— А когда приехали эти самые... консулы?

Стали переглядываться и вспоминать. Одни отвечают, что прошло шесть лет, по мнению других — больше. После недолгих разъяснений и вычислений все сходятся на том, что первый консул прибыл свыше семи лет тому назад, за три дня до рамазана.

— Семь лет,— произносит Хамди-бег задумчиво, растягивая слова,— семь лет! А помните, сколько волнений и шума было тогда из-за этих консулов и этого... этого Бонапарта? И тут Бонапарт, и там Бонапарт. Это ему требуется, того он не хочет. Мир ему тесен; силе его нет границ, и нет ему подобного. А наши-то неверные подняли голову, словно пустой колос. Одни держатся за подол французского консула, другие — австрийского, третьи ожидают московского. Райя совсем сдурела и взбесилась. Ну что ж, было да сплыло. Поднялись императоры и победили Бонапарта. Травник очистится от консулов. Память о них удержится на какое-то время. Дети будут скакать верхом на палочках, играя в «консулов» и «телохранителей», но и они забудут о них, словно их и не было. И все опять по воле божьей пойдет, как шло спокон веков.

Хамди-бег остановился, задохнувшись, все молчали в ожидании, не скажет ли старик еще что-нибудь, и курили, наслаждаясь прекрасной, победной тишиной.

Белград, апрель 1942 г.

ПЕРЕВОД Т. ВИРТЫ

© Издательство «Художественная литература», 1974 г.

I

Почти на всем своем протяжении река Дрина течет узкими ущельями в горах или теснинами мрачных каньонов между отвесными скалами. Лишь кое-где расступаются горы, давая простор веселым долинам, и тогда то на одном, то на обоих берегах реки возникают ровные или холмистые пределы, пригодные для обработки и жилья. Одна такая вольная долина открывается и здесь, под Вышеградом, в том месте, где Дрина, делая крутой поворот, стремительно выносит свои воды из глубокой расселины, образованной откосами Бутковых скал и Узавницкой гряды. Излучина так крута, а неприступные стены утесов так близко подходят друг к другу, что, кажется, река вырывается из каменной груди угрюмого сплошного массива. Но тут внезапно горы раздвигаются неправильным амфитеатром, чей поперечник, измеренный мысленно проведенной по воздуху прямой, не превышает пятнадцати километров.

Там, где Дрина всей тяжестью своей зеленой и вспененной водной лавины извергается как бы из сомкнутой стены отвесных черных гор, стоит большой каменный мост строгих пропорций с одиннадцатью широкими пролетами. От этого моста, точно от основания, расходится веером холмистая долина с Вышеградом, его предместьями и деревушками в ложбинах между холмов, лоскутной пестротой пашен, выгонов и сливняков, прихотливой сетью межей и оград, узорной россыпью перелесков и отдельными купами лиственных деревьев. И если на долину посмотреть из самой ее глубины, то так и чудится, будто из-под широких арок белого моста вытекает и разливается не только зеленая Дрина, но и весь этот благодатный цветущий край со всем, что на нем есть, и сводом южного неба над ним.

На правом берегу реки, непосредственно примыкая к мосту, сосредоточилось основное ядро города с площадью и торговыми рядами, расположенное частью на равнине, частью на отрогах гор.

По другую сторону моста, вдоль левого берега реки, протянулось Малухино поле, разбросанное предместье на дороге, ведущей в Сараево. Так, соединяя два конца сараевской дороги, мост связывает город с его предместьем.

Впрочем, слово «связывает» в данном случае такая же условность, как и утверждение о том, что солнце всходит по утрам для того, чтобы людям было светло и они могли заниматься своими делами, и заходит к вечеру, чтоб дать им возможность выспаться и отдохнуть после дневных трудов. Ибо этот каменный мост, бесценное строение непревзойденной красоты, какого не имели и несравненно более зажиточные и бойкие города («таких мостов в империи всего раз-два и обчелся»,— говорили в старину),— был единственной постоянной и надежной переправой на всем среднем и верхнем течении Дрины и необходимым звеном той дороги, которая связывала Боснию с Сербией, а через Сербию — с прочими провинциями Турецкой империи, вплоть до самого Стамбула. Город же со всеми своими предместьями был всего лишь поселением, естественно и неизбежно возникающим на узловых перекрестках караванных путей и по сторонам важных и больших мостов.

Лепясь к оконечностям моста, разрастался со временем и Вышеград. Порожденный мостом, он поднимался рядом с ним, питаясь соками его животворящих корней.

Чтобы полнее представить себе картину города и природу его отношений с мостом, необходимо иметь в виду, что в городе был еще один мост и еще одна река. Это — Рзав с перекинутым через него деревянным мостом. Рзав впадает в Дрину на самой окраине города, так что его центр, как и вся основная часть, не выходят за пределы песчаного клина, ограниченного двумя реками,— большой и малой, сливающимися здесь воедино, а его распыленные предместья простираются по ту сторону мостов, на левом берегу Дрины и правом Рзава. Город на воде. Однако несмотря на существование второй реки и второго моста, выражение «на мосту» ни в коей мере не относится к рзавскому мосту, простому деревянному сооружению без всякой истории и красоты, не имеющему никакого иного предназначения, кроме как служить переправой местным жителям и скоту,— а исключительно и единственно к каменному мосту на Дрине.

Двести пятьдесят шагов составляют примерную длину моста и десять — ширину, почти удвоенную в самой середине за счет двух одинаковых балконов, симметрично расположенных по сторонам проезжей части. Это место получило название «ворот». Два выступа, покоящиеся основанием своим на среднем опорном столбе, расширяющемся кверху, пластично и смело вынесенные за общую линию моста, висят над шумящей в глубине зеленой водой.

Выступы эти имеют пять шагов в длину и столько же в ширину и, оставаясь открытыми сверху и со стороны проезжей части, обнесены такой же каменной оградой, как и весь мост на всем своем протяжении. Правый балкон — если идти от города — называется диваном. К нему ведут две ступени, обрамлен он сиденьями, спинками которым служит ограда, и весь, вместе с приступками, скамьями и оградой, как бы отлит из одинакового светлого камня. Левый балкон на противоположной стороне моста в точности такой же, только без сидений. В середине ограда поднимается выше человеческого роста; в нее, на самом верху, вмурована белая мраморная плита с высеченной на ней витиеватой турецкой вязью — тарихом,— где в тринадцати стихах сообщается миру имя того, кто поставил мост, и дата завершения постройки. Из ограды внизу под плитой бьет тонкая струя воды, испускаемая пастью каменного змея. На этом балконе расположился содержатель кофейни со своими джезвами, филджанами, незатухающим мангалом и мальчиком, подающим кофе гостям на диване через дорогу. Таковы ворота.

На мосту и на его балконах, возле него и во взаимосвязи с ним, течет и развивается, как мы увидим, жизнь обитателей городка. Хроника событий личного, семейного и общественного характера изобилует ссылками на мост. И в самом деле, дринский мост место первой прогулки и первых игр всей здешней детворы. Дети христиан с левого берега Дрины в первые же дни своей жизни проделывали путь через мост, ибо в ближайшее воскресенье их несли крестить в церковь. Но и все другие дети тоже, и те, что родились на правом берегу, и дети мусульман, вообще не знающих обряда крещения, по примеру дедов и отцов, большую часть детства проводили возле моста. У моста они удили рыбу или ловили голубей в его отдушинах. Совершенная гармония этого величественного сооружения из белого поздреватого, непогрешимо точно отесанного камня с младенческих лет привычна их взгляду. Дети наперечет знали все его искусно вытесанные выпуклости и изгибы, так же как и все поверья и легенды, связанные с историей его возникновения и создания и представляющие собой диковинный и нерасторжимый сплав воображаемого и действительного, истинного и невероятного. Знали все это с рождения, бессознательно, как бы с ними придя в мир. Знали, как знают молитвы, невесть когда и от кого впервые услышанные.

Знали дети, что мост воздвиг великий визирь Мехмед-паша, чье родное село Соколовичи находится неподалеку от моста за одной из окрестных гор. Да и кто же, кроме визиря, мог обеспечить всем необходимым сооружение этого бессмертного творения из камня. (Детскому воображению визирь рисуется как нечто сияю-

щее, могучее, страшное и неясное.) Поставил же его Раде Строитель, который должен был бы жить не одну сотню лет, чтобы возвести все то прекрасное и вечное, что есть на сербских землях, легендарный и воистину безымянный зодчий, какого только и может признавать толпа, не любящая обременять свою память многими именами и чувством благодарности, пусть даже и посмертным. Знали дети также и то, что русалка, хозяйка реки, воспротивилась строительству моста, как спокон веков противятся неведомые силы всякому строительству,— и ночью рушила воздвигнутое днем. Так продолжалось до тех пор, пока Раде Строителю не был голос из воды и не дал ему совет сыскать двух новорожденных близнецов, брата и сестру, Стою и Остою, и замуровать их в средние опорные быки. Тотчас же по всей Боснии начались поиски близнецов. Тому, кто их найдет и доставит зодчему, назначена была награда.

В конце концов в одном глухом селении стражники отыскали двух близнецов, грудных младенцев, и силой визиревой власти отняли их у матери; но мать ни за что не хотела расстаться со своими детьми и, стеная и плача, не обращая внимания на ругань и побои, приплелась за ними следом в Вышеград. И здесь каким-то образом пробилась к Раде Строителю.

Младенцы были замурованы, ибо иначе быть не могло, но Раде Строитель, по преданию, сжалился над матерью и оставил отверстия в опорных столбах, через которые несчастная могла кормить грудью своих принесенных в жертву детей. Слепые отдушины изящного рисунка, узкие, подобно бойницам, где ныне гнездятся дикие голуби, и есть те самые отверстия. Как память о давно минувшем, вот уже несколько сотен лет из этих отверстий струится материнское молоко. В одно и то же время года из плотно пригнанных швов стекают по камням белые тонкие струйки, оставляющие после себя несмываемый след. (Представление о грудном молоке вызывает в сознании детей образ чего-то сладостно близкого и приторного и своей пугающей таинственностью, наравне с визирями и зодчими, повергает их в смятение и ужас.) Соскабливая эти молочные потеки с опорных столбов, люди продают полученный порошок как целебное средство не имеющим молока родильницам.

Центральный опорный столб под воротами снабжен отверстием несколько больших размеров,— длинное и узкое, оно напоминает гигантскую бойницу или дверной проем. Молва гласит, что за ней скрывается огромный и мрачный чертог — обиталище Черного Арапа. Знают это все дети. Черный Арап играет главную роль в детских выдумках и небылицах. Тот, кому он явится, непременно должен умереть. Но никто из детей ни разу до сих пор его не

видел, и потому ни один и не умер. Зато однажды ночью Арапа увидел Хамид, одышливый, вечно пьяный или с похмелья носильщик с налитыми кровью глазами, и в ту же ночь скончался у стен его чертога. Правда, в ту ночь Хамид напился до бесчувствия и заночевал на мосту, прямо под открытым небом, а было тогда пятнадцать градусов мороза. Часто, замерев на берегу, дети вглядываются в черную тьму проема, как в манящую и жуткую бездну. Договорятся глядеть не мигая и сразу же кричать, если кто-нибудь что-то увидит. Томимые любопытством и страхом, они не сводят расширенных глаз с темного зева отверстия, покуда не померещится какому-нибудь худосочному мальчугану, что дрогнула завеса мрачного входа, или пока какой-нибудь смутьян (есть такие всюду) не крикнет «Арап!» и не побежит вроде бы спасаться, испортив игру и вызвав разочарование и негодование приверженцев мечты, ненавидящих иронию и твердо верящих, что их терпение и в самом деле может быть вознаграждено. А ночью многие из них мечутся в постели, силясь одолеть неотступного, как рок, Арапа, пока мать не разбудит своего сына и не вызволит из пут мучительного сна. И едва успеет мать напоить его холодной водой («чтобы страх отогнать») и заставить повторить за собой имя божье, как уж мальчишка, утомленный дневными играми, снова спит крепким сном, над которым кошмары не имеют еще длительной власти.

Выше моста на серых откосах крутых известняковых берегов по ту и по другую сторону реки виднеются круглые выемки, идущие попарно с правильными интервалами, словно врезанный в камень отпечаток копыт какого-то гигантского коня сверхестественной мощи; спускаясь по отвесным скалам от Старого града, эти следы подходят к воде и, возникая вновь на противоположном берегу реки, теряются под слоем дерна.

Дети — а они под этими скалистыми обрывами летом целыми днями ловят мелкую рыбешку — знают, что это следы былых времен и древних ратников. Тогда на свете жили могучие богатыри и камень был еще податливый и мягкий, как земля, а кони под стать богатырям отличались исполинским ростом. Только, по мнению сербских детей, эти следы оставили копыта Шараца, когда он уносил из темницы в Старом граде Королевича Марко и, проскакав по обрыву, перемахнул через Дрину, на которой не было тогда еще моста. Турецкие дети, напротив того, совершенно уверены в том, что Королевича Марко не было тут и быть не могло (ибо откуда взяться у безродного гяура такому коню и такой отваге), но что по этой самой круче промчался на своей крылатой арабской кобыле сам Джерзелез Алия, презиравший, как известно, всякие паромы и паромщиков и перелетавший через реки, словно

через маленькие ручейки. Но об этом дети никогда не спорят, настолько и те и другие уверены в своей правоте. И пока что не было такого случая, чтобы кому-нибудь удалось переубедить другого или переубедиться самому.

В глубоких оттисках этих круглых следов, словно в больших каменных плошках, скапливается дождевая вода. Дети эти ямы, наполненные теплой дождевой водой, называют «колодцами» и без различия вероисповеданий держат в них мелкую рыбешку — пескарей и плотву, пойманную на удочку.

На левом берегу реки, несколько поодаль от нее, над самой дорогой, серой глыбой возвышается холм, он земляной, но земля на нем твердая, окаменевшая. На нем ничего не цветет и ничего не растет, кроме редкой сухой, острой, как колючая проволока, травы. Это холм-рубеж, граница ребяческих игр у моста. Издавна он получил название могилы Радисава. Рассказывают, что был тот Радисав настоящим богатырем и предводителем сербов. И когда визирь Мехмед-паша вздумал строить мост на Дрине и послал людей, все покорились и пошли отрабатывать кулук. Лишь один Радисав взбунтовался и подпял народ и наказал передать визирю, чтобы тот бросил это дело, потому что, дескать, никогда ему не поставить мост на Дрине. Немало помучился визирь, пока не совладал с Радисавом, ибо богатырь наделен был нечеловеческой силой, ни пуля, ни сабля его не брали и не было веревки или цепи, способной его скрутить. Кто знает, что было бы дальше и воздвиг ли бы когда-нибудь визирь мост на Дрине, если бы среди приближенных визиря не нашелся лукавый и мудрый царедворец, сумевший подкупить и выманить тайну Радисава у его слуги. И тогда Радисава захватили спящим и удавили шелковой бечевой, так как только против шелка его амулет был бессилен. Наши женщины верят, что раз в году ночью с неба падает на холм сноп яркого света. Бывает это осенью где-то между успением и рождеством богородицы. Впрочем, детям, с надеждой и сомнением приникавшим к окнам с видом на могильный курган Радисава, так и не посчастливилось ни разу увидеть небесное зарево, ибо сон смаривал их задолго до полупочи. Зато вот запоздалым путникам, хоть им до этого и дела было мало, случалось видеть холм над мостом в белом сиянии, когда они возвращались ночью в город.

Вышеградские турки, со своей стороны, хранят старинное предание о том, что на этом самом месте в давние времена, отстаивая переправу через Дрину от войска неверных, пал геройской смертью дервиш шейх Турхания, великий юнак. А что здесь нет ни плиты, ни мавзолея, так то была воля самого дервиша, пожелавшего сохранить свой приют в безвестности и тайне. Но стоит

только войску неверных снова сюда подойти, дервиш встанет из могилы и преградит им путь, как встарь, и ни шагу не ступят неверные дальше вышеградского моста. Вот почему только небо порой посылает свой свет на его могильный холм.

Так, у моста и рядом с ним, в беспечных выдумках и играх, протекала жизнь вышеградских детей. С первыми годами зрелости они переходили непосредственно на мост, а точнее в ворота, где юношеская мечта находила иную пищу и открывала новые горизонты и где брали вместе с тем свое начало житейские заботы, невзгоды и борьба.

Ворота и их преддверие издавна служили местом первых мимолетных встреч, любовных томлений, брошенных на ходу словечек, перешептываний. Здесь заключались первые сделки, соглашения, происходили ссоры и примирения, деловые свидания и встречи. Здесь на каменной ограде выставлялись на продажу скороспелая черешня, арбузы и дыни, а по утрам дымящийся салеп и горячая сдоба. Сюда же, вместе с цветущей молодостью, желавшей себя показать и людей посмотреть, и всеми, у кого нашлось, что вынести в ворота из плодов, одежды или оружия, стекалась нищая, убогая и прокаженная голь. Тут часто сидят солидные и уважаемые граждане, обсуждая общественные или коммерческие дела, но еще чаще молодежь, не ведающая иных забот, кроме песен и шуток. Здесь во время великих событий и исторических переворотов к мраморной плите между тарихом и фонтаном наклеивались воззвания и манифесты и здесь же в воротах, вплоть до 1878 года, вешали и насаживали на кол головы несчастных, в силу тех или иных причин преданных казни: казни же в этом пограничном городе, особенно в периоды смут и волнений, бывали нередким явлением, а в иные времена, как мы увидим ниже, и каждодневным.

Ни сваты, ни погребальная процессия не могут пройти через мост, не остановившись в воротах. Сваты готовятся здесь к торжественному выходу в торговые ряды. И, если времена тихие и мирные, пускают тут же по кругу ракию, затягивают песню и заводят коло, подчас задерживаясь на балконе гораздо дольше, чем ранее предполагалось. И при похоронах несущие обязательно опустят покойника в воротах, дав ему немного отдохнуть там, где и при жизни он проводил изрядную часть своего времени.

Ворота венчают мост, а мост, в свою очередь, венчает город, или, как это написано в путевом дневнике некоего турецкого путешественника, хлебосольно принятого гражданами Вышеграда: «ворота сии поистине сердце моста, а мост поистине сердце города, город же, увиденный раз, поистине останется в сердце у каждого». Великие зодчие древности, которым приходилось бороться

с кознями русалок и прочей нечисти и живьем замуровывать новорожденных, заботились не об одной лишь красоте и прочности постройки, но также и о пользе и удобстве ее для самых отдаленных поколений. Знакомство с жизнью здешних мест покажет всякому, как мало в Боснии людей, которым выпало на долю счастье пользоваться такими благами, какие предоставляют ворота и последнему местному жителю.

Зимнее время, естественно, не принимается в расчет, ибо тогда по мосту переходят только в случае нужды, да и то ускоряя шаг и вбирая голову в плечи под порывами холодного ветра, беспрестанно дующего над рекой. Никто, разумеется, не задерживается тогда на открытых балконах моста. Зато во всякое другое время года вышеградский мост — истинная благодать для всех от мала до велика. Каждый горожанин может тогда в любое время дня и ночи выйти на балкон и посидеть на диване или вообще по делам и без дел поболтаться на мосту. С трех сторон окруженные темно-зелеными горами каменные сиденья дивана парят под облаками или звездами над пенной пучиной изумрудной воды, с пятнадцатиметровой высоты открывая перспективу уходящей вниз речной долины, замкнутой в глубине синими гребнями гор.

Много ли на свете визирей и богачей, которые и в радости и в печали, и в сладостном безделье и в праздности могли бы прийти в такое место? Совсем, совсем немного. А между тем сколько поколений моих земляков за долгие столетия встречало тут часы рассвета, коротало вечера, а то и ночи, когда весь звездный свод неприметно движется над твоей головой! Многие, многие из нас сиживали здесь, вознесенные над бездной, и в сиянии вечно подвижных небес, озаряющих горы отблеском скользящего света, распутывали, прислонившись к граниту гладкой ограды, вечно одинаковые и все-таки всегда неповторимые хитросплетения своей судьбы. Давно уж замечено было (правда, иностранцем, и в шутку), будто бы историю города, как и характер его обитателей, определило существование этих самых ворот. В бесконечных бдениях на мосту,— утверждал иностранец,— следует искать причину склонности многих горожан к мечтам и раздумьям, как и главную разгадку меланхолической беспечности, отличающей жителей Вышеграда.

И в самом деле, невозможно отрицать, что легкомыслие, любовь к удовольствиям и мотовству издавна отличали вышеградцев от жителей других городов. Выгодное положение города среди богатых и прибыльных сел обусловило Вышеграду завидный приток денег, никогда, однако, в нем не задерживавшихся. Если же и находился в городе какой-нибудь домовитый и бережливый хозяин, чуждый страстям, то не иначе как пришелец из других краев;

впрочем, первое же поколение его потомков испытывало на себе пагубное воздействие вышеградского воздуха и воды и, явившись в мир с разжатыми ладонями, пораженное заразой расточительности и беззаботности, жило по принципу: «Будет день, и пища будет!»

Говорят, Старина Новак, когда под старость, обессилев, принужден был бросить свой разбойный промысел на горе Романии, так напутствовал своего преемника Дитя Грунцу:

— Сперва как следует разгляди из засады путника. Если видишь — выступает горделиво всадник, а на нем красный джемадан с серебряными бляхами и белые носки до колена, значит, он из Фочи. Смело на него налетай — у этих есть и на себе, и в сумках переметных тоже. Увидишь — появился на дороге ободранный наездник, свесил голову к луке седельной, точно милостыню двинулся просить,— и на этого кидайся без оглядки,— этот из Рогатицы. Все они там прибедняются, скряги, а деньгами, точно гранат зернами, начинены. Ну, а как увидишь этакого простачка: ноги на седле перекрестил, тренькает на мандолине и распевает во все горло — не трогай его вовсе, не марай зря руки, пусти его с миром: это вышеградец, а у ихнего брата деньги в руках отродясь не держались.

Все это, казалось бы, подтверждало мнение заезжего путешественника. И все же трудно с уверенностью сказать, в какой степени это мнение соответствует действительности. В этом случае, как и во многих других, причину от следствия отличить непросто. Ворота ли создали своеобразный тип вышеградца, или же, напротив, воплотив в себе дух и характер вышеградцев, они возведены согласно их привычкам и вкусам? Излишний и праздный вопрос. Как в зодчестве нет места произвольным линиям и форме, так и человеческому обществу чужды случайные творения архитектуры, оторванные от запросов, нужд и вкусов, их породивших. Да и сама история возникновения и жизни величественных и практически-полезных сооружений, так же, как и отношения их с окружающим поселением, бывает окутана подчас загадочной и мрачной таинственностью. Как бы там ни было, впрочем, совершенно очевидно одно: жизнь горожан издавна и тесно связана с мостом. Судьбы их так переплетены, что порознь их нельзя себе представить и нельзя о них рассказать.

Вот почему повесть о рождении и судьбе моста есть в то же время повесть о судьбе города и многих поколений его обитателей, и наоборот, все устные предания о жизни города пронизывает линия каменного моста с его одиннадцатью арками и короной ворот посредине.

II

Нам предстоит теперь вернуться в те времена, когда на этих берегах не было и мысли о каком-нибудь мосте, и тем более таком, как этот.

Может статься, и в те отдаленные времена иному уставшему и промокшему путнику, проходившему эти места, случалось пожелать, чтобы через широкую и бурную реку каким-нибудь чудом перекинулся мост и помог ему быстрее и легче добраться до цели. Ибо нет сомнения, что с тех пор, как существуют и странствуют люди, преодолевая препятствия пути, у них, как извечная мечта всех путников о хорошей дороге, надежных попутчиках и теплом ночлеге, должна была возникнуть мечта о создании на этом месте переправы. Но далеко не всякое желание дает плоды, и не всякой мысли сопутствуют усилия и воля, способные претворить ее в действительность.

Впервые видение моста, которому суждено было воплотиться в жизнь, совсем еще, конечно, расплывчатое и туманное, мелькнуло ранним утром 1516 года в воображении десятилетнего мальчика из близлежащего села Соколовичи, когда его везли из родного села в далекий, ослепительный и страшный Стамбул.

В те времена эта самая Дрина, зеленая и своевольная горная река, чьи воды часто мутнели, ревела здесь, стесненная громадами голых скал и пустынными песчаными берегами. Город существовал и тогда, но был совсем другой по виду и размерам. На правом берегу реки, обрывистом и высоком, где сейчас развалины, стоял хорошо сохранившийся Старый град, обширное укрепление эпохи расцвета Боснийского королевства, с башнями, казематами и крепостными стенами, возведенными одним из могущественных вельмож рода Павловичей. На кручах под защитой крепости лепились христианские посады Мейдан и Быковац, а также почти поголовно обращенная в мусульманство слободка Душче. Внизу, в долине междуречья Дрины и Рзава, там, где позднее образовался нынешний город, простирались поля, через которые проходила дорога с прилегающим к ней деревянным допотопным постоялым двором, редкими мельницами и хибарами.

В том месте, где Дрина пересекала тракт, ходил знаменитый вышеградский паром. Паром представлял собой черное и древнее сооружение, а паромщика Ямака, мрачного и нерасторопного, было столь же трудно дозваться, как иного разбудить. Это был человек исполинского роста и невероятной силы, изувеченный в многочисленных войнах, в которых он прославил свое имя. У него был всего один глаз, одно ухо и одна нога (вторая была деревянная). Без

тени улыбки и слова привета, с упрямой несговорчивостью, медлительно и неуклюже Ямак перевозил людей и грузы, но при этом был так добросовестен и честен, что этой своей честностью вошел в пословицу, равно как и своей неловкостью и своеволием. С путниками, которых он перевозил, он не вступал ни в какие разговоры и объяснения. Медные гроши в уплату за провоз люди кидали на дно почерневшего парома, где они и валялись весь день, в песке и в воде, пока под вечер паромщик не сгребал их небрежным жестом со дна деревянным черпаком для вычерпывания воды и не уносил в халупу над рекой.

Паром работал лишь тогда, когда скорость течения и уровень воды были в пределах нормы или немного выше, но стоило реке подняться выше определенной границы, как Ямак уводил свой неуклюжий паром в затон и ставил его на прикол, а Дрина уподоблялась безбрежному морю, которое было невозможно переплыть. Ямак становился глух и на второе, здоровое ухо или вовсе уходил за Старый град обрабатывать свой надел. В такие дни на скалистом берегу реки с утра до ночи можно было видеть иззябших и промокших путников, пришедших сюда из Боснии. В отчаянии напрасно вглядывались они в даль, стараясь высмотреть паром и паромщика, и время от времени посылали протяжные крики, пролетавшие над мутными водами клубящейся реки:

— Ого-оооо-го, Ямак, где ты!

Но им никто не отвечал, и никто не появлялся, пока вода в реке не спадала, а эту долгожданную минуту самолично, хмуро, непререкаемо, без объяснений и лишних слов определял Ямак.

Город, вернее, тогдашнее небольшое скученное поселение, теснился на правом берегу Дрины, на крутых и обрывистых склонах под самыми развалинами старинной крепости, и ни своими размерами, ни своим видом не напоминал тот город, который вырос впоследствии, когда был построен мост и развились торговля и сообщение.

В тот ноябрьский день к левому берегу реки подошел длинный караван навьюченных лошадей и остановился на ночлег. Янычарский ага в сопровождении вооруженной охраны возвращался в Стамбул из похода по селам восточной Боснии, где он набирал христианских детей, подлежащих отправке в Турцию для пополнения армии янычар.

Вот уже шесть лет прошло со времени последнего сбора этой дани кровью, и потому на этот раз выбор был богат и легок; янычары без труда набрали нужное количество здоровых, развитых и красивых мальчиков от десяти до пятнадцати лет, хотя многие родители и прятали детей в лесах, учили прикидываться малоумными или хромыми, одевали в лохмотья и вымазывали в грязи,

только бы увернуться от глаз янычарского аги. Некоторые действительно калечили своих детей, отрубая им по пальцу на руке.

Отобранных детей увозил длинный караван низкорослых боснийских лошадей. Две переметные корзины для перевозки фруктов покачивались на боках, и в каждой корзине помещалось по одному мальчику вместе с тощим узелком и караваем хлеба — последним приветом отчего дома. Из мерно колыхавшихся корзин, слегка поскрипывающих на ходу, выглядывали свежие и перепуганные лица похищенных детей. Одни через лошадиные крупы вглядывались, притихнув, в родные дали, другие ели, глотая вперемешку с кусками хлеба слезы, а третьи спали, приклонив голову к седлу.

На некотором расстоянии от замыкающих караван лошадей беспорядочной, задыхающейся толпой шли родители и родственники детей, увозимых затем, чтобы на чужбине, обрезанные и обращенные в мусульманство, они навсегда позабыли свою веру, свой край и всю жизнь служили Турецкой империи в янычарских отрядах, а может, на каких-нибудь и более высоких должностях. В большинстве это были женщины — матери, бабки и сестры отобранных мальчиков. Когда женщины приближались слишком близко, верховые охранники с гиканьем и свистом врезались в толпу и разгоняли ее ударами хлыстов. Женщины разбегались и прятались в лесу у дороги, но вскоре снова собирались и тянулись за караваном, стараясь полными слез глазами еще раз увидеть над корзиной голову отнятого ребенка. Особенно упорны и неотступны были матери. Они неслись, не разбирая дороги, косматые, растерзанные, обезумевшие, причитали и приговаривали, как над покойником, голосили, как невменяемые, а многие выли, подобно роженицам, и, слепые от слез, лезли прямо под плети конвойных и в ответ на каждый удар исступленно твердили: «Куда вы его везете? Куда вы его уводите от меня?» Некоторые пытались дозваться своего сына и в двух словах послать ему последний наказ, последнее напутствие перед разлукой:

— Раде, сыночек мой, не забывай свою мать...

— Илия, Илия, Илия! — непрестанно выкрикивала одна женщина, безумным взглядом отыскивая вдали столь хорошо знакомую, дорогую голову сына, словно хотела заставить его затвердить это имя, которое через какие-нибудь несколько дней будет отнято у него навсегда.

Но путь долог, земля тверда, и тело слабо, а султановы слуги жестоки и безжалостны. Мало-помалу измученные, гонимые ударами женщины, выбившись из сил, одна за другой отставали от каравана, поняв всю тщету своих усилий. У вышеградского парома отступились и самые упорные, так как на паром не пускали,

а иначе переправиться через реку было нельзя. Здесь они могли без помех сидеть и плакать, потому что больше их никто не гнал. Окаменев, не чувствуя ни холода, ни голода, ни жажды, они ждали, пока на другом берегу реки еще раз не появится растянутая вереница вьючных лошадей и верховых, уходившая в сторону Дубруна, и в ней в последний раз не мелькнет образ родного дитяти, навсегда исчезающий из глаз.

В тот ноябрьский день в одной из многочисленных переметных корзин безмолвно сидел черноволосый мальчик лет десяти из высокогорного села Соколовичи и сухими глазами смотрел вокруг. Сжимая в своей зазябшей, покрасневшей руке маленький кривой нож, он рассеянно строгал обод своей переметной корзины, но в то же время озирался вокруг. Он запомнил скалистый берег, поросший редкими, оголившимися, уныло-серыми ракитами, безобразного паромщика и ветхую, продуваемую сквозняками, оплетенную паутиной мельницу, в которой им пришлось заночевать в ожидании, пока все переправятся через мутную Дрину, оглашаемую карканьем ворон. И как физическую боль где-то в нем самом, черным острием по временам пронзавшую на мгновение его грудь, разнимая ее пополам, вынес он воспоминание об этом месте, где кончалась дорога и где щемящее чувство тоски и безысходности как бы сгущалось и оседало на каменистых берегах реки, переправа через которую трудна, дорога и рискованна. В этой обнаженно-болезненной точке неимущего и скудного горного края нищета и убожество проявлялись во всей своей неприкрытой очевидности, и человек, остановленный непреодолимым превосходством стихии, посрамленный в своей немощи, должен был убедиться воочию в собственной и всеобщей беспомощности и отсталости.

Все это отозвалось в нем ощущением почти физической муки, которое осталось в мальчике с того ноябрьского дня и никогда впоследствии его совсем не покидало, хотя вскоре его судьба переменилась, так же, как изменились его вера, имя и отечество.

Что было дальше с тем мальчиком из переметной корзины, повествуют истории на всех языках, и в широком мире знают об этом больше, чем у нас. Со временем он, молодой и храбрый, стал хранителем оружия при дворе султана, а потом адмиралом флота, капудан-пашой и, наконец, царским зятем, полководцем и государственным деятелем, известным во всем мире Мехмед-пашой Соколи, который на трех континентах вел почти всегда победоносные войны, расширил границы Турецкой империи, обезопасил их извне и мудрым правлением укрепил изнутри. За шестьдесят с небольшим лет своей деятельности Мехмед-паша служил при дворе трех султанов и, вкусив и в радости и в горе то, что дано изведать

редким избранным, вознесся на невиданные вершины могущества и власти, на которых мало кто, достигнув их, мог удержаться. Этот человек, как бы вновь рожденный на чужбине, куда мы даже мысленно не можем последовать за ним, должен был забыть все, что он оставил в том краю, откуда некогда его увезли. Забыл он, несомненно, и переправу через Дрину у Вышеграда, пустынный берег и путников, дрожащих от стужи и неизвестности, громоздкий, источенный червями паром, страшного паромщика и крики голодных ворон над мутной водой. Но ощущение физической боли, вызванное всеми теми впечатлениями, никогда его не покидало. Наоборот, с годами, к старости, оно все чаще напоминало о себе знакомой с детства болью, столь отличной от всех прочих телесных страданий и недугов, припасенных ему жизнью под конец: черное острие пронзало его грудь, рассекая ее пополам. Закрыв глаза, визирь тогда покорно ждал, когда минует черная пронзающая мука и боль утихнет. В одно из таких мгновений ему пришла в голову мысль, что он бы мог избавиться от страшной муки, навсегда разделавшись с паромом на далекой Дрине, воплощением бедствий и мрака, если бы перекинул мост над злой рекой, соединив крутые ее берега и концы разорванной дороги и прочными узами связав навсегда с Востоком Боснию — край, откуда он происходил, с краем, где он теперь жил. Так в этот миг визирю первому сквозь смеженные веки представился четкий и стройный силуэт большого каменного моста, который должен был быть здесь возведен.

В тот же год по приказу визиря и на его деньги было начато строительство большого моста на Дрине. Оно продолжалось пять лет. Эти годы должны были составить необычайно важную и бурную эпоху в жизни города и всей округи, полную переменами и событиями разного значения. Но, как это ни странно, город, столетиями помнивший и пересказывавший разные ничтожные события, в том числе и некоторые, отдаленно связанные с возведением моста, сохранил в своей памяти совсем немного подробностей о самих работах на строительстве дринского моста.

Народ запоминает и пересказывает все то, что может осознать, и то, что можно превратить в легенду. Все остальное бесследно проходит мимо, не задевая его воображения и оставляя безучастным, как отвлеченные явления природы. Мучительное и многолетнее строительство дринского моста было для народа чужой печалью и чужой казной. И только после того, как мост — плод напряженных усилий — воочию повис над рекой, народ стал вспоминать подробности возведения этого прекрасного и прочного творения из камня и его реальную историю разукрашивать фантастическим вымыслом, в чем он был большой искусник и что так надолго запоминал.

III

Весной того года, когда визирем было принято решение о строительстве моста, в город для подготовки всего необходимого к началу работ прибыли его люди с охраной. Было их много — с лошадьми, повозками, всевозможным инвентарем и палатками. Это нашествие вызывало тревогу и страх в маленьком городе и окрестных селах, в особенности среди христианской части населения.

Во главе прибывшего отряда стоял Абид-ага, доверенное лицо визиря по строительству, с ним был Тосун-эфенди, зодчий. (Этого Абид-агу молва наперед рисовала человеком грубым, жестоким и строгим сверх всякой меры.) Едва успев разместиться в палатках под Мейданом, Абид-ага созвал представителей властей, а также именитых турок на совет. Советоваться много не пришлось, ибо говорил за всех один, а именно Абид-ага. Перед собравшимися предстал человек могучего сложения в богатых стамбульских одеждах, с зелеными глазами на багрово-красном отечном лице, обрамленном рыжей бородой, и с немилосердно закрученными на мадьярский лад усами. Речь, которую держал этот могучий человек перед собравшимися, произвела еще более ошеломляющее впечатление, чем его внешность.

— Надо думать, что раньше меня до вас дошли слухи обо мне, и, уж конечно, они не из приятных или лестных. Вы, вероятно, слыхали, что я требую от всех работы и повиновения и могу бить и забить до смерти за малейшее проявление лени или строптивости; что таких слов, как «нельзя» или «нет», для меня не существует, да и за более невинные можно легко поплатиться головой; короче говоря, что я кровопийца и зверь. Хочу вам сказать, что слухи эти не вымысел, не преувеличение. Под моей липой тени вам не найти. Такую репутацию я заслужил долголетней службой, преданно исполняя приказы великого визиря. Думаю и сейчас с божьей помощью выполнить то, для чего я сюда послан, и надеюсь, что, когда по завершении дела я уеду отсюда, впереди меня поползут еще более страшные и черные слухи, чем те, которые дошли до вас.

После столь необычного вступления, выслушанного молча и с опущенными взорами, Абид-ага объяснил людям, что речь идет о строительстве большой важности, какого не видывали и более богатые земли, что работы продлятся пять, а может быть, и шесть лет, но воля визиря будет выполнена полностью и вовремя. Потом он изложил первейшие нужды, перечислил подготовительные работы и сообщил, что́ прежде всего он ожидает от местного турецкого населения и требует от христианской райи.

Подле него сидел Тосун-эфенди, тщедушный, бледный и желтушный потурченец родом с греческих островов, зодчий, возводивший многие сооружения в Стамбуле, которые закладывал Мехмед-паша на помин своей души. Тосун-эфенди был спокоен и безучастен, как будто бы не слышал или не понимал слов Абид-аги. Он рассматривал свои руки и только изредка поднимал взгляд. Тогда можно было видеть его большие, бархатисто-черные блестящие глаза, красивые, близорукие глаза человека, погруженного в свое дело, не замечающего и не воспринимающего ничего другого в жизни и в мире.

Люди выходили подавленные и удрученные из удушающе жаркой палатки. И, обливаясь пóтом под новыми парадными одеждами, ощущали неодолимо вселявшиеся в них страх и тревогу.

Большое, непостижимое бедствие обрушилось на город и на всю округу, и конца ему не было видно. Прежде всего начали рубить и подвозить лес. По обоим берегам Дрины выросли такие горы леса, что люди долгое время думали, что мост будет построен из бревен. Потом начались земляные работы, рыли и долбили каменистые берега. В основном они производились в счет кулука и продолжались до глубокой осени, когда первая часть дела была завершена и строительство было временно приостановлено.

Абид-ага лично следил за работами, нередко прибегая к помощи своей зеленой длинной палки, про которую была сложена песня. Ибо стоило Абид-аге указать этой палкой на какого-нибудь нерадивца или отлынщика, как стражники хватали его, отделывали палками на месте, а после, окровавленного и впавшего в беспамятство, окатывали водой и снова посылали работать. Поздней осенью, накануне своего отъезда, Абид-ага опять созвал старейшин и видных горожан и сказал, что на зиму он уезжает, но свой глаз оставляет здесь. Все они будут в ответе за все. При малейшей порче земляных работ или пропаже одной-единственной слеги из подготовленного леса он взыщет со всего города. На замечание, что весенний разлив тоже может что-нибудь испортить, Абид-ага непререкаемо и холодно ответил, что это их край и река тоже их, а следовательно, они в ответе и за убытки, причиненные ею.

Всю зиму горожане стерегли и оберегали работы как зеницу ока. С приходом весны в город вернулся Абид-ага с Тосун-эфенди, на этот раз вместе с далматинскими каменотесами, прозванными в народе «римскими мастерами». Сначала их было около тридцати. Главным у них был мастер Антоние, христианин из Ульциня. Это был высокий красивый человек с орлиным носом и открытым взглядом смелых глаз, с каштановыми волосами до плеч, одетый

по-господски на западный манер. Помощником мастера Антоние был негр, самый натуральный негр, веселый парень; целый город и весь рабочий люд со строительства звал его Арапом.

Если в прошлом году невиданные горы леса, казалось, говорили о том, что Абид-ага собирается строить деревянный мост, то теперь горожане готовы были думать, что Абид-ага вознамерился здесь, на Дрине, воздвигнуть новый Стамбул. Из горного карьера под Баньей, что в часе ходьбы от города, на строительство стали свозить камень.

В тот год на дрипские берега у вышеградского парома пришла какая-то особая весна. Вместе с весенними побегами, что, пробиваясь из почвы, каждый год распускались здесь в эту пору года, на берегах реки, словно бы из-под земли, выросло целое стойбище времянок; появились новые дороги и спуски к воде; во все стороны расползлись бесчисленные воловьи упряжки и вьючные лошади. Обитатели Мейдана и Околиште наблюдали, как с каждым днем, точно поднимающиеся всходы, увеличивается внизу по берегам реки количество людей, скота и всевозможного строительного материала.

На обрывистом берегу реки работали мастера-каменотесы. Все вокруг было присыпано желтоватой каменной пылью. Несколько поодаль, на песчаной площадке, гасили известь местные поденщики, мелькая ободранными белыми тенями в дыму, высоко поднимавшемся над ямой. Перегруженные телеги вконец разбили дороги. Паром ходил целый день, перевозя с одного берега на другой строительные материалы, надсмотрщиков и работников. По пояс в мутной весенней воде специальные рабочие вколачивали в речное дно столбы и сваи, укрепляли плетенную из прутьев и набитую глиной плотину для перекрытия реки.

На все это поглядывали люди, мирно жившие до этих пор в своем разбросанном по горным склонам городишке у парома на Дрине. И хорошо было бы, если бы можно было только поглядывать,— работы, расширяясь, принимали такой размах, что втягивали в свой водоворот не только сам город со всем, что было в нем одушевленного и неодушевленного, но и всю округу. На следующий год количество рабочих настолько возросло, что достигло численности всего мужского населения города. Все телеги, все лошади и волы работали теперь только на строительстве моста. Все, что может катиться или скользить, отбиралось у населения и впрягалось в работу, иной раз за плату, а порой насильно, в счет кулука. Денег в обращении ходило больше, чем раньше, но дороговизна и обнищание обгоняли поступление денег; когда наконец деньги попадали в руки, они уже были наполовину проедены. Но еще большим злом, чем нищета и дороговизна, были для местных жителей

беспорядки, беспокойство и беззакония, допекавшие город из-за притока на строительство огромных масс рабочего люда со всех концов света. Несмотря на все строгости Абид-аги, между рабочими часто вспыхивали драки, а по дворам и садам процветало воровство. Мусульманские женщины вынуждены были закрывать лицо, даже выходя на свой собственный двор, ибо из-за каждого угла их мог настичь взгляд одного из бесчисленных рабочих, пришлых и местных, а городские турки тем истовее блюли заветы ислама, что большинство из них турками стало недавно, и среди них, наверно, не было ни одного, который бы не помнил своего отца или деда христианином или новообращенным. Старшие люди турецкого закона открыто негодовали, поворачиваясь спиной к кипящему вареву стройки, перемалывающей тягловую силу и рабочий люд, дерево, землю и камень, заплеснувшей у парома оба берега реки и в грозном своем разливе принявшейся уже за их улочки, дворы и огороды.

Вначале все они гордились величием сооружения, которое пожелал поднять визирь в их краю во спасение своей души. Тогда они еще не знали того, что видели теперь: каким столпотворением и ломкой, какими усилиями и расходами чреваты эти славные постройки; хорошо, конечно, думали они, принадлежать к чистой и господствующей вере, хорошо иметь в Стамбуле визиря-земляка, а еще того лучше рисовать в своем воображении надежный и бесценный мост над рекой, но то, что происходит теперь, ни на что не похоже. В ад превращен их мирный городок, в какой-то круговорот непонятных дел, дыма, пыли, крика и толчеи. Годы проходят, работы расширяются и растут, а ни смысла их, ни конца не видно. На все, что угодно, это похоже, но только не на мост.

Вот какие мысли зрели в умах местных турок; с глазу на глаз они признавались, что уже сыты по горло и господством, и гордостью, и будущей славой, отрекались и от моста и от визиря и только молили бога избавить их от напасти и вернуть их домам прежний мир и покой скромной и тихой жизни на реке со старинным паромом.

Допекло строительство турок, и уж тем более допекло оно христианскую райю всей Вышеградской округи, с тем только отличием, что ее никто ни о чем не спрашивал и даже возмущение свое выразить она не могла. А между тем вот уже третий год народ батрачит на новом строительстве, отрабатывая положенное собственным трудом, лошадьми и волами. И не только местная райя, но и райя трех соседних уездов. Стражники Абид-аги рыщут по округе верхами, хватают сельскую и городскую бедноту и сгоняют на мост. Обычно людей подкарауливают ночью и хватают сонных, как цыплят. По всей Боснии путник предупреждает пут-

ника не ходить на Дрину, потому что, кто туда попадет, того хватают, не спрашивая, кто он и что и куда идет, и силой заставляют хотя бы несколько дней отработать на строительстве. Городские христиане откупаются взятками. Деревенские парни попробовали было скрыться в лесах, но вместо бежавших юношей стражники Абид-аги стали брать из их домов заложников, часто и женщин.

Вот уже третья осень пошла, как народ батрачит на строительстве, но ничто не говорит о том, что оно подвинулось вперед, и ничто не предвещает конца этому бедствию. Глубокая осень стоит на дворе; листья опали, хлюпает под ногами грязь на размытых дождями дорогах, Дрина поднялась и замутилась, на голой стерне полно отяжелевших ворон. Но Абид-ага не останавливает работ. При скудном свете ноябрьского солнца крестьяне тащат камни и бревна, шлепают босыми ногами или раскисшими опанками по жидкой глине дорог, исходят пóтом от напряжения и дрожат на ветру, потуже затягивают черные порты, все в новых дырах и старых заплатах, связывают кое-как обтрепанные полы единственной холщовой рубахи, темной от грязи, дыма и дождей и настолько ветхой, что она уже не может выдержать стирки. Над всеми висит зеленая палка Абид-аги, он обходит карьер под Баньей и работы у моста, и при этом не один раз на день. Абид-ага разъярен, он ненавидит весь свет за то, что дни убывают, а работы на строительстве подвигаются не так быстро, как бы он хотел. В тяжелом русском тулупе, в высоких сапогах, с пылающим красным лицом, взбирается он на леса первых опорных столбов, уже поднявшихся над водой, обходит кузни, склады, рабочие халупы и распекает всех по очереди подрядчиков и надсмотрщиков.

— Дни убывают, все короче становятся! А вы, сукины дети, только хлеб даром едите! — кричит он, будто они виноваты, что поздно светает и рано темнеет. Когда же над Дриной сгущаются сумерки, неотвратимые и безрадостные вышеградские сумерки, неприступные горы смыкаются кольцом вокруг города и быстро спускается ночь, тяжелая, глухая, словно последняя, тогда ярость Абид-аги достигает предела; не имея возможности выместить ее на ком-нибудь, он мечется в постели без сна, терзаясь мыслями о том, что дела стоят, а столько людей бездельничает и храпит. Абид-ага скрипит зубами. Он кличет надзирателей и до утра рассчитывает с ними, как лучше использовать завтрашний день и побольше выжать из рабочих.

В это самое время, разбредясь по клетям и лачугам, люди отдыхают и набираются сил. Но спят не все; умеют и простолюдины провести приятно время по своему разумению и вкусу.

Посреди просторной и сухой клети горит костер, вернее сказать, догорает, поскольку от него остались одни угли, мерцающие в полумраке. Помещение наполнено дымом, кисловатым тяжелым духом, исходящим от мокрой одежды и опанок, и испарениями трех десятков человеческих тел. Это все окрестные крестьяне, отрабатывавшие кулук, христианская голытьба. Грязная, промокшая, замученная и озабоченная. Отбирает у нее последние силы безвозмездный и нескончаемый кулук, в то время как там, наверху, в деревнях, поля напрасно ждут осенней вспашки. Большинство еще не спит. Люди сушат у огня портянки, чинят опанки или просто смотрят в угли. Тут же сидит один черногорец, его схватили стражники на дороге, и вот уже несколько дней он гнет спину на строительстве, несмотря на тщетные попытки доказать всем и каждому, что его достоинство и честь не позволяют ему выносить столь унизительной поденщины.

Почти все, кто не спит, собрались вокруг него, в особенности молодежь. Из глубокого кармана своего серого гуня черногорец извлек невзрачные на вид гусли с ладонь величиною и короткий смычок. Один из крестьян выходит наружу сторожить, не нагрянул бы невзначай кто-нибудь из турок. Все смотрят на черногорца, будто бы впервые его видят, и на гусли, утонувшие в его больших ладонях. Черногорец склоняет голову, берет гусли, прижимая гриф подбородком, смазывает струны смолой и дышит на смычок,— все отсырело и набухло; и пока он производит все эти операции, истово и важно, как будто он один на свете, все смотрят на него не отрываясь. Наконец раздался первый звук, отрывистый и резкий. Нетерпение возросло. А черногорец, подстраиваясь, стал тихо напевать без слов, голосом дополняя звуки гуслей. И они слились и уже обещали чудесную песню. Наконец, когда черногорец добился полного созвучия голоса и гуслей, он энергично и гордо откинул назад голову, так что адамово яблоко выступило на его тощей шее и резкий профиль четко обозначился в отблесках догоравшего костра, и, испустив приглушенное и протяжное «аааа-аааааа!», сразу взял сильно и раздельно:

Уж как в Призрене в царской вотчине
Сербский царь Стефан на пиру сидит,
Именитых вельмож и гостей поит;
Собрались вокруг него старейшины,
Патриархи и девять епископов.
А за ними по чину двадцать визирей,
Бунчуками тройными увенчанных,
Их Мияйло-монах обносит винами.
И блестят каменья драгоценные
На груди красавицы Кандосии.

Крестьяне ближе придвигаются к гусляру, бесшумно, не дыша. И только удивленно и восторженно хлопают глазами. По коже пробегают мурашки, спины выпрямляются, плечи расправляются, глаза горят, пальцы растопыриваются и сжимаются в кулак, напряженно сводятся скулы. Черногорец разливается руладами, нанизывая звуки один на один, все смелее и свободней отдаваясь песне, а мокрые, позабывшие про сон поденщики, очарованные, безучастные ко всему прочему, уносятся вдаль, вслед за песней, словно она рассказывает им собственную прекрасную и светлую судьбу.

Среди множества крестьян, которые отрабатывали кулук, был и некто Радисав из Ушишта, маленькой деревушки тут же над городом. Приземистый человек с хмурым лицом и беспокойными глазами, сильно согнутый в пояснице, он ходил быстро, размахивая руками, выбрасывая ноги в стороны и раскачивая головой и плечами слева направо и справа налево, точно сеял в поле. Он был не таким бедным, как казалось, и не таким простачком, как прикидывался. Он был из рода Хераков; они владели хорошими угодьями, в доме было много мужчин, но за последние сорок лет почти вся их деревушка перешла в мусульманство, и Хераков здорово оттерли и прижали. Осенними ночами маленький, сгорбленный и торопливый Радисав своей походкой «сеяльщика» шел из одного хлева в другой, втирался в крестьянскую гущу и шептался то с одним, то с другим. Речи его в основном сводились к следующему:

— Братцы, хватит с нас мучений, пора за себя постоять. Вы же видите, что этот мост все жилы из нас вытянет, в гроб вгонит. И дети наши на нем батрачить будут, если только до тех пор кто-нибудь доживет. Да и затеян он затем, чтобы всех нас извести. Мост нужен не беднякам да голытьбе крестьянской, а туркам; мы войск не держим, торговлю не ведем; нам и парома предостаточно. Так вот мы тут кое с кем и условились ночью в самую темень пойти на строительство и разрушить и поломать что сможем, а после слух пустим, будто это русалка портит, не дает поставить мост на Дрине. Посмотрим, что из этого выйдет. Другого выхода нет, а сидеть сложа руки больше нельзя.

Находились, как водится, малодушные и неверящие, считавшие это пустой затеей: мол, хитрые и могущественные турки никогда не откажутся от своего намерения, и лучше тянуть свою лямку, чтобы плохое не обернулось еще худшим; но нашлись и такие, которые были готовы на все, лишь бы освободиться от ярма, пока еще последняя залатанная одежонка не свалилась с плеч и последняя капля силы не оставила человека на изнурительных работах Абид-аги и его скудных харчах; эти согласны были пойти

за кем угодно, лишь бы им предложили какой-то выход. Главным образом это были молодые парни, однако были и солидные, женатые люди, хозяева, идущие на это без горячности и запальчивости и говорившие озабоченно:

— Что ж, пошли рушить, холера его задуши, пока он всех нас не задушил. А уж если и это не поможет, тогда...— И они с отчаянной решимостью махали рукой.

Так в первые осенние дни разнесся слух, сначала среди рабочих, а потом и по городу, будто речная русалка вмешалась в эту людскую затею с мостом и ночью рушит построенное днем и что из этого строительства ничего не выйдет. И в самом деле в это же время ночью на строительстве стали происходить непонятные порчи запруд и даже каменной кладки. Инструменты, до сих пор оставляемые рабочими на крайних столбах, начали исчезать бесследно, а земляные насыпи обваливаться и осыпаться.

Слух о том, что мост не может быть поставлен, неудержимо ширился, его распространяли и турки и христиане, и вскоре он принял характер непоколебимой убежденности. Христианская беднота ликовала, и хоть втихомолку и исподтишка, но от всего сердца. И местные турки, еще недавно горделиво взиравшие на строительство, теперь насмешливо перемигивались и пожимали плечами. Многие наши потурченцы, которые, переменив веру, жестоко обманулись в ожиданиях и по-прежнему садились за скудный ужин и расхаживали с драными локтями, охотно слушали, с наслаждением повторяли настойчивые слухи о больших незадачах на строительстве и испытывали горькую отраду оттого, что даже и визирям не всегда удается осуществить задуманное. Поговаривали и о том, что иноземные мастера собираются уезжать и что моста не будет там, где его никогда не бывало и где нечего было его и начинать строить. Переплетаясь, эти слухи быстро расползлись в народе.

Народ с легкостью выдумывает небылицы и тут же пускает их в ход, и при этом реальность неотделимым и непостижимым образом переплетается и перемешивается с вымыслом. Крестьяне, которые ночью слушали гусляра, утверждали, будто бы русалка, рушившая мост, велела передать Абид-аге, что она не перестанет его рушить, пока в опорные столбы не будут замурованы младенцы-близнецы — брат и сестра по имени Стоя и Остоя. Многие клялись при этом, что видели стражников, разыскивавших в деревнях двух близнецов. (Стражники и в самом деле рыскали по деревням, но искали они не близнецов, а по приказу Абид-аги прислушивались к разговорам и выспрашивали народ, надеясь напасть на след таинственных людей, разрушавших мост.)

В это время в маленькой горной деревушке над Вышеградом обнаружилось, что забеременела немая дурочка, сирота, жившая в услужении и не желавшая признаться (а может быть, просто не знавшая), от кого она понесла. Это был редкий и неслыханный случай, чтобы забеременела девушка, а тем более такая, да еще чтобы и отец остался неизвестным. Слух о происшествии мигом облетел округу. Как раз в эту пору несчастная разродилась в хлеву и произвела на свет двух близнецов, но обоих мертвыми. Деревенские женщины помогли ей при родах — а они были невероятно трудные — и тотчас же схоронили младенцев в сливняке. Между тем родильница уже на третьи сутки поднялась и пошла по деревне искать своих детей. Напрасно объясняли ей, что дети родились мертвыми и их похоронили. Чтобы избавиться от ее расспросов, ей наконец сказали больше жестами, чем словами, что ее младенцев унесли в город, туда, где турки строят мост. Еще слабая, в полном отчаянии, она притащилась в город и стала обходить строительство, испытующе заглядывая людям в глаза и невнятным мычанием спрашивая о детях. Люди смотрели на нее в недоумении или гнали прочь, чтобы она не мешала работать. Видя, что ее не понимают, она распахивала грубую крестьянскую рубаху и показывала свои груди, болезненно набухшие, с потрескавшимися, сочащимися кровью сосками от неуемного прилива молока. Никто не знал, как ей помочь и втолковать, что дети ее не замурованы в мост; на все уговоры и ласковые уверения, на ругательства и угрозы она отвечала жалобным мычанием и недоверчивым, подозрительным взглядом обшаривала все углы. В конце концов ее оставили в покое, позволив ей бродить по строительству и обходя ее с глубоким состраданием. Повара соскребали ей со дна котла подгоревшую мамалыгу, которой кормили работников. Они первые и прозвали ее Блаженной Илинкой, а от них это прозвище перенял и весь город. Даже Абид-ага проходил мимо несчастной без брани, суеверно отворачивая голову в сторону и веля накормить ее. Так она и осталась жить безобидной дурочкой при строительстве. С ней прижилось и поверье о том, что турки замуровали в мост младенцев. Кто верил в него, кто не верил, но все пересказывали и передавали дальше.

А порчи все продолжались, то мелкие, то крупные, а вместе с ними ширились все более упорные слухи, что русалки не позволяют строить мост на Дрине.

Абид-ага кипел. Его бесило, что кто-то посмел, невзирая на его легендарную жестокость, которую он пестовал как предмет своей особой гордости, пойти против его начинаний и намерений. К тому же и весь здешний народ, и мусульмане не меньше, чем христиане, внушал ему чувство омерзения: ленивый, неумелый в

деле, непочтительный и ехидный, он проявлял необыкновенную находчивость, когда надо было осмеять и изничтожить все то, что он не способен понять или сделать. Абид-ага выставил караул по обеим сторонам реки. На земляных работах порчи прекратились, но на самой реке продолжались по-прежнему. Только лунные ночи спасали мост от разрушения. Это обстоятельство утвердило Абид-агу, не верившего в нечистую силу, во мнении, что русалки эти вполне зримы и слетают на мост не с облаков. Долго он не хотел, не мог поверить, что все это проделки крестьян, но теперь все больше убеждался в том, что это именно так. И приходил в еще большее бешенство. В то же время он прекрасно сознавал необходимость сохранять спокойствие и скрывать свой гнев, если он хочет захватить врасплох вредителей и как можно скорее и окончательно разделаться с россказнями про русалок и прекращение работ на мосту, начинавшими становиться опасными. Он вызвал к себе начальника стражи, некоего Плевляка, выросшего в Стамбуле, человека бледного и болезненного.

Инстинктивное и взаимное неприятие, испытываемое этими двумя людьми, одновременно отталкивало и неодолимо влекло их друг к другу. Между ними постоянно колыхалась и ткалась пряжа необъяснимой ненависти, брезгливости, страха и недоверия. Абид-ага, вообще не отличавшийся мягкостью и приятностью в обхождении, к этому бледному потурченцу проявлял откровенное презрение. Что бы он ни делал, что бы ни говорил — все вызывало в Абид-аге глухое раздражение и желание издеваться над ним и унижать. И чем больше пресмыкался перед ним Плевляк, показывая свою преданность и рвение, тем яростней ненавидел его Абид-ага. А начальник стражи с первого дня суеверно и панически боялся Абид-агу. Со временем этот страх стал для него мучительным и неотвязным кошмаром. При каждом движении, при каждом шаге, часто даже и во сне он думал: как на это посмотрит Абид-ага? Напрасно он выслуживался, напрасно старался угодить. Все, что исходило от него, Абид-ага встречал с негодованием. И эта необъяснимая злобная ненависть мертвила и сбивала с толку Плевляка, делая его еще более тупым и неловким. Плевляк не сомневался, что в один прекрасный день по милости Абид-аги он лишится не только положения и куска хлеба, но и головы. Поэтому он жил в постоянной тревоге, смертельный испуг чередовался в нем с приступами буйной ярости. И когда теперь, бледный и похолодевший, он предстал перед Абид-агой, тот ему сказал приглушенным от гнева голосом:

— Слушай ты, чурбан, ты этих свиноедов знаешь насквозь, и их язык, и все их подлые уловки, и несмотря на это до сих пор не можешь отыскать гнусь, которая подняла руку на дело визи-

ря. И это потому, что ты точно такая же гнусь, как они, только нашлась гнусь еще более мерзкая, чем ты, которая произвела тебя в должность и поставила начальником, и никого еще не нашлось, кто бы воздал тебе по заслугам. Так вот, это сделаю я, раз никого другого нет. Знай же, что я тебя в землю вколочу, что от тебя не останется под солнцем и той тени, что бросает ничтожная травинка. Если через три дня на строительстве не прекратятся порча и ломка, если ты не поймаешь виновных, не прекратишь дурацкую болтовню про русалок и не устранишь помехи в работах, я посажу тебя живьем на кол на самых высоких лесах, чтобы люди тебя видели, чтоб пронял их страх и они опамятовались. Клянусь тебе в том жизнью и верой, а я слов на ветер не бросаю. Сегодня четверг, времени у тебя до воскресенья. А теперь проваливай к дьяволу, который и послал мне тебя. Убирайся!

И без клятвы Плевляк поверил бы этой угрозе, даже во сне один взгляд и голос Абид-аги приводили его в трепет. Он вышел от наместника визиря, парализованный очередным припадком панического страха, и с лихорадочной поспешностью ринулся в дело. Он созвал своих людей и, мгновенно из предсмертного оцепенения впав в исступленную ярость, напустился на них с бранью.

— Слепцы! Дармоеды! — вопил Плевляк, как будто бы его живьем насаживали на кол, и устрашающе надвигался на своих подчиненных.— Разве так несут караул и стерегут царское добро? Как к котлу идти, так откуда только прыть и резвость берутся, а как по службе побегать, так у вас и ноги отнимаются, и ум отшибает. А мне за вас со стыда сгорать. Но больше я не дам вам лодыря гонять! Я вас на этих самых лесах перебью до последнего, ни на одном головы не оставлю, если через два дня вся эта чертовщина не прекратится и разбойники не будут схвачены и прикончены. Два дня вам еще жить, клянусь верой и Кораном!

Долго надрывался Плевляк. И не зная, что еще сказать и чем еще пригрозить, стал обходить своих стражников и во всех подряд плевать. Облегчив таким образом душу и освободившись от гнетущего страха, вытесненного яростью, Плевляк с ожесточением взялся за дело. Всю ночь он ходил со своими молодцами вдоль берега. В какой-то миг им почудились удары на лесах, дальше других отошедших от берега, они кинулись туда. Послышался треск досок, в воду с плеском посыпались камни; когда они добежали до места, они увидели развороченные леса и обвалившуюся кладку, а преступников и след простыл. Пробираемые ночной сыростью и суеверным ужасом, стражники дрожали, пораженные жуткой пустотой. Они перекликались, пялились в темноту, размахивали зажженными лучинами, но все напрасно. Порча снова

была налицо, те же, кто ее произвел, не были ни схвачены, ни убиты, как будто бы были и впрямь невидимками.

На следующую ночь Плевляк еще хитрее расставил засады. Нескольких людей переправил на тот берег. А когда стемнело, попрятал своих стражников вдоль строительных лесов, а сам еще с двумя людьми сел в лодку, заблаговременно и незаметно отведенную в темноте к левому берегу. Два взмаха весел,— и они будут у любого из двух начатых опорных быков. Таким образом, налетев на вредителей с двух сторон, они не дадут им улизнуть, если только те не крылатые и не подводные твари.

Всю долгую и холодную ночь Плевляк пролежал на дне лодки, укрытый овчинами и терзаемый самыми черными мыслями; в голове у него было одно и то же: действительно ли Абид-ага намерен осуществить свою угрозу и отнимет у него жизнь, которая под началом столь грозного повелителя и так-то не жизнь вовсе, а сплошное мучение и ужас. Ни малейший шум не нарушал безмолвия строительных лесов, кроме однообразного рокота невидимой воды. Наступил рассвет, и всем своим окоченевшим телом Плевляк почувствовал, как иссякает и меркнет его жизнь.

Следующей, третьей и последней, ночью было то же бессонное бдение в засадах и настороженное прислушивание. Миновала полночь. Плевляка одолевало смертельное безразличие. Вдруг послышался легкий всплеск и повторился, усиливаясь, а вслед за ним раздался тупой удар по дубовой свае, вбитой в дно и державшей строительные леса. Кто-то пронзительно свистнул. Но лодка Плевляка уже летела вперед. Выпрямившись во весь рост, Плевляк таращил глаза в темноту и, подгоняя гребцов взмахами рук, орал осипшим голосом:

— Живей, живей! Над-д-дай!

Люди, с трудом преодолевая сонливость, гребли резкими взмахами, но сильное течение подхватило лодку раньше времени, и, вместо того чтобы пристать к лесам, лодка, увлекаемая стремниной, из которой невозможно было вырваться, пошла вниз по течению, и ее отнесло бы далеко, если бы не неожиданное препятствие.

На середине быстрины, свободной от строительных лесов, лодка глухо ударилась обо что-то деревянное и тяжелое. И остановилась. Только тогда они поняли, что наверху стражники с кем-то борются. Стражники, все сыновья потурченцев из здешних краев, в один голос что-то кричали; отрывистые и неразборчивые возгласы их сталкивались в темноте:

— Держи, не пускай!

— Сюда, ребята!

— Я это, я!

Вдруг какой-то тяжелый предмет или человеческое тело с плеском плюхнулось в воду.

Несколько мгновений Плевляк находился в полной растерянности, не понимая, где они остановились и что вообще происходит, но едва пришел в себя, стал железным крюком на длинном деревянном шесте отталкиваться от досок, с которыми столкнулась его лодка, и подводить ее все ближе к лесам. Минутой позже он был уже у дубовых свай и, приободрившись, во все горло закричал:

— Лучину, зажгите лучину. Веревку киньте!

Сначала ему никто не отвечал. Наконец, после долгих криков, тонущих в гвалте, в котором никто ничего не слышал и не понимал, на лесах робко засветился боязливый огонек тонкой лучинки. В первое мгновение свет ее ослепил глаза, закрутив в мятежном вихре предметы и людей, их тени и красные отблески на воде. Но вот в чьей-то руке засветилась вторая лучина. Установился ровный свет, люди осмотрелись и стали узнавать друг друга. Все разъяснилось быстро и легко.

Между лодкой Плевляка и строительными лесами находился маленький плот всего из трех досок; в носовой его части имелось весло, каким обыкновенно пользуются сплавщики, немного только короче и легче. Плот был привязан сплетенным из орешника жгутом к одной из дубовых свай строительных лесов и с трудом держался против течения, заплескивавшего его и с силой тащившего вниз. Стражники помогли своему начальнику перейти по плоту и взобраться на леса. Все были запыхавшиеся и перепуганные. На досках лежал связанный крестьянин из христиан. Грудь его бурно вздымалась от частого дыхания, дико вращающиеся глаза открывали белки.

Старший из четырех стражников возбужденно рассказывал Плевляку, как они долгое время, притаившись, сидели на лесах в засадах. И когда в темноте плеснуло весло, подумали, что это лодка начальника, но сообразили все же голоса не подавать, ждать, что будет дальше. Тут они увидели двоих крестьян, неслышно приставших к дубовым сваям и принявшихся привязывать к ним плот. Они дали им взобраться на леса и подойти к ним вплотную, а потом набросились на них с алебардами, повалили и стали вязать. Этого они оглушили ударом по голове и связали легко, но вот второй, притворившись бесчувственным, скользнул как рыба в воду.

Тут стражник испуганно приумолк, а Плевляк разразился бранью:

— Кто его упустил? Говорите, кто его упустил, а не то я вас всех на куски изрублю, слышите, всех!

Парни молчали, мигая от беспокойных красных всполохов огня, между тем как Плевляк озирался вокруг, как бы выискивая виновного во мраке, и обливал их потоком еще более обидных и изощренных ругательств. Вдруг опомнившись, он склонился над связанным, словно над бесценным сокровищем, и, дрожа мелкой дрожью, проскулил сквозь зубы тонким и плаксивым голосом:

— Стерегите этого, стерегите хорошенько! Если вы мне и этого упустите, сукины дети, знайте, никому из вас головы не сносить!

Стражники засуетились вокруг крестьянина; с берега по лесам прибежали еще двое. Плевляк распоряжался, приказывал вязать его туже и держать крепче. Крестьянина, словно покойника, со всеми предосторожностями медленно перенесли на берег. Плевляк шел следом, не разбирая дороги, не спуская взгляда со связанного. И с каждым шагом ему казалось, что он восстает из праха, что жизнь только начинается.

На берегу вспыхивали новые зажженные лучины. Схваченного крестьянина внесли в одну из рабочих лачуг, где развели огонь, и привязали к столбу веревкой и цепями, снятыми с очага.

Это был не кто иной, как Радисав из Уништа.

Плевляк немного поутих, не верещал и не ругался, но места себе не мог найти. Посылал стражников вниз по реке искать второго крестьянина, прыгнувшего в воду, хотя было совершенно очевидно, что, если только он не утонул, в этой непроглядной темноте его невозможно догнать и схватить. Отдавал один приказ за другим, входил в барак, выходил, возвращался снова, пьяный от возбуждения. Принялся было допрашивать связанного, но тоже бросил. Всеми этими действиями он пытался скрыть и унять тревогу, ибо на самом деле томился одним: ждал Абид-агу. Ждать пришлось недолго.

Внезапно очнувшись от первого сна где-то возле полуночи и, по обыкновению, отчаявшись снова заснуть, Абид-ага стоял у окна и смотрел в темноту. Из его дома на Быковаце днем открывался вид на речную долину, строительство с хибарами, мельницами, хлевами и всем разрытым и загроможденным пространством вокруг. Угадывая теперь все это в темноте, Абид-ага с горечью думал о том, как медленно и тяжело подвигается строительство и как однажды весть об этом неминуемо дойдет до слуха визиря. Уж кто-нибудь да позаботится. Если никто другой, так этот невозмутимый, холодный и коварный Тосун-эфенди. И тогда Абид-ага рискует впасть в немилость. Вот что лишало наместника сна и даже во сне повергало в дрожь. При одной мысли об этом пища застревала в горле, люди становились омерзительными, собственная жизнь — ненавистной. Немилость — это значит быть удален-

ным от визиря, это значит быть осмеянным недругами (о боже, только не это!), это значит превратиться в пустое место, стать жалким оборванцем и босяком не только в чужих, но и в своих собственных глазах. Это значит потерять все свое тяжко сколоченное состояние, а если и спасти его, то грызть его украдкой, далеко от Стамбула, где-нибудь в изгнании, в глухой провинции, забытым, ненужным, смешным, несчастным. Нет, только не это! Лучше не видеть солнца и не дышать воздухом! Во сто крат было бы лучше и вовсе быть никем и ничего не иметь! Вот какая мысль все время к нему возвращалась, по нескольку раз на день обливала его волной горячей крови, больно отзывавшейся в затылке и висках, и никогда полностью его не покидала, а лежала в его душе черным бременем. Вот что значила для него немилость, и она могла обрушиться на него в любой день, в любой час, ибо все делалось для того, чтобы навлечь ее на голову Абид-аги, и только он один старается се предотвратить, один защищается; один против всех и вся. И длится это вот уже пятнадцать лет с тех пор, как он возвысился и выдвинулся и визирь стал поручать ему большие и важные дела. Кому это под силу вынести? И можно ли при этом спать и быть спокойным?

Несмотря на промозглую и влажную осеннюю ночь, Абид-ага открыл окно и устремил взгляд в темноту: ему казалось, что он задыхается в закрытом помещении. Вдруг он заметил, что на берегу и на строительных лесах тут и там зажигаются и движутся огни. Увидев, что их становится все больше, и подумав, что случилось что-то необычное, он оделся и разбудил слугу. Так он очутился перед освещенным сараем как раз в тот момент, когда Плевляк не мог больше придумать, как бы еще выругаться, какое бы распоряжение отдать и вообще что делать и чем занять время.

Внезапное появление Абид-аги повергло его в полную растерянность. Так страстно жаждал он этой минуты, и вот теперь, когда она настала, Плевляк не сумел ее использовать, как хотел. Он заикался от волнения и позабыл про связанного крестьянина. Абид-ага лишь презрительно поглядел поверх его макушки и сам направился к пленнику.

В хлеву развели ярко полыхавший костер, так что теперь свет доходил до самых отдаленных уголков, а стражники все продолжали подбрасывать новые поленья.

Абид-ага стоял перед привязанным крестьянином, который был намного ниже его. Он был задумчив и спокоен. Все ждали его слова, он же тем временем думал: вот с кем я должен иметь дело, с кем бороться, вот от кого зависит мое положение и моя судьба, от этого презренного и слабоумного потурченца Плевляка и необъяснимой тупой и упорной злобы этой христианской гни-

ды. Потом он вздрогнул и, сбросив с себя оцепенение, стал отдавать приказания и допрашивать крестьянина.

Сарай битком набили стражники, снаружи слышались голоса разбуженных надсмотрщиков и рабочих. Абид-ага допрашивал крестьянина через Плевляка.

Радисав сначала утверждал, что он и еще один парень решили бежать и для этого сбили маленький плот и пустили его вниз по реке. Когда ему доказали очевидную нелепость его утверждения, ибо впотьмах никто не пойдет по бурной реке, полной водоворотов, скал и отмелей, и тем более, решив бежать, никто не станет взбираться на леса и портить сделанное, он замолчал и только хмуро бросил:

— Ваша власть, что хотите, то и делайте.

— Вот увидишь сейчас, что мы хотим,— живо откликнулся Абид-ага.

Стражники отвязали цепи и оголили крестьянину грудь. Цепи бросили в пылающий костер и стали ждать. От закопченных цепей руки у стражников сделались черные и повсюду — и на них самих, и на полураздетом пленнике — остались темные следы. Когда цепи накалились почти добела, к костру подошел цыган Мерджан и длинными клещами взял их за один конец, в то время как один из стражников такими же клещами придерживал второй конец.

Плевляк переводил слова Абид-аги.

— А ну, говори теперь чистую правду!

— Чего мне вам говорить: вы все можете, вы и знать все должны.

Двое державших цепи поднесли их к крестьянину и опоясали ими его широкую косматую грудь. Опаленные волосы зашипели. Губы крестьянина свела судорога, на шее вздулись жилы, ребра выскалились, мышцы живота напряглись и задвигались, как при рвоте. Крестьянин стонал от боли и натягивал связывавшие его веревки в тщетных попытках уменьшить соприкосновение с раскаленным железом. Глаза его часто мигали и слезились. Цепи сняли.

— Это тебе для начала. Ну, как, не лучше ли просто признаться?

Крестьянин сильно выдохнул в нос, но молчал.

— Говори, кто твой напарник?

— Звали его Йован, а из какого он дома и деревни, не знаю.

Снова поднесли цепи, зашипела обожженная кожа и волосы. Кашляя от дыма и корчась от боли, крестьянин прерывистым голосом стал говорить, как было дело.

Их всего двое сговорилось разрушать работы на мосту. Решили, что так надо, и так и делали. Больше никто не знал и ни-

кто не участвовал. Сначала орудовали возле берега, в разных местах, и все им с рук сходило, потом, когда на берегу и на лесах поставили охрану, они придумали сбить плот из трех бревен и незаметно подбираться к стройке с воды. Это было три дня назад. Но в первую же ночь их чуть было не поймали. Едва ушли. Следующей ночью они поэтому вообще не выходили. А сегодня, когда они снова попробовали подкрасться на плоту, с ними и произошло то, что произошло.

— Вот и все. Так было дело, а вы теперь поступайте как знаете.

— Э, нет, этого нам мало, ты скажи, кто вас подговорил? И знай, что эти пытки ничто в сравнении с теми, что тебя ждут.

— Что ж, делайте что хотите.

Мерджан Ковач снова подошел со своими клещами. Встав на колени возле связанного, он стал срывать ногти с его босых ног. Крестьянин молчал, сцепив зубы, но страшная дрожь, которая сотрясала тело, несмотря на туго стягивавшие его веревки, говорила о безмерных муках. В какое-то мгновение он что-то пробормотал сквозь стиснутые зубы. Плевляк, жаждавший хоть какого-нибудь признания и ловивший каждое его слово и движение, тут же дал знак цыгану прекратить пытку и подскочил к пленному:

— Что? Что ты говоришь?

— Ничего. За что, говорю, меня за божью правду мучаете, понапрасну время губите?

— Отвечай, кто тебя на это дело подбил?

— Кто меня подбил? Шайтан!

— Шайтан?

— Шайтан, кто ж еще, тот самый, что и вас подбил прийти сюда и строить мост.

Крестьянин говорил тихо, но твердо и уверенно.

Шайтан! Таинственное слово, произнесенное так сокрушенно, да еще в таком состоянии! Шайтан! Не без того, думал Плевляк, стоя с опущенной головой, будто не он допрашивал связанного бунтаря, а бунтарь его. Одно-единственное слово, ударив по больному месту, разом и в полную силу воскресило в нем все страхи и сомнения, словно они не были рассеяны поимкой виновного. Может быть, и правда, все это — и Абид-ага, и сооружение моста, и безумный крестьянин — не что иное, как козни дьявола. Шайтан! Может быть, только этого одного и следует бояться? Плевляк задрожал и вскинулся. Вернее, его вернул к действительности громкий голос взбешенного Абид-аги.

— Ты что? Заснул, осел? — кричал Абид-ага, короткой кожаной плеткой настегивая голенище правого сапога.

Цыган, стоя на коленях, с клещами наготове, черными блестящими глазами испуганно и покорно глядел снизу вверх на Абид-агу. Стражники ворошили огонь, и без того пылавший ярким пламенем. Костер согрел и осветил торжественным светом все помещение. Вообще строение, в темноте глядевшее невзрачным и убогим, вдруг выросло, раздвинулось и преобразилось. В хлеву и около него царили праздничное возбуждение и та особенная тишина, которая всегда бывает при дознании, пытках и роковых событиях. Абид-ага, Плевляк и пленник исполняли свои роли как актеры, тогда как остальные не двигались, не поднимали глаз и переговаривались шепотом лишь о самом необходимом. Каждый в тайне хотел бы быть подальше от этого места и от всего того, что здесь делалось, но коль скоро это было невозможно, старался замереть и стушеваться и тем самым как бы отстраниться от происходящего.

Поняв, что дознание затягивается и ничего не дает, Абид-ага в нетерпении с яростной бранью покинул хлев. За ним вприпрыжку кинулся Плевляк, за Плевляком потянулись стражники.

Занимался рассвет. Солнце еще не взошло, но горизонт посветлел. Вдали между горами виднелись облака, растянутые длинными тускло-фиолетовыми прядями, в просветах открылись участки прозрачного и чистого неба почти зеленого цвета. Над влажной землей громоздились беспорядочные массы низкого тумана, из которого проглядывали кроны фруктовых деревьев с заметно поредевшей желтой листвой. Не переставая настегивать плеткой голенище своего сапога, Абид-ага отдавал приказания: пойманного продолжать допрашивать, особенно о соучастниках, но не подвергать чрезмерным пыткам, которых бы он не вынес; к полдню приготовить все, что надо, и живым насадить преступника на кол на самом верху крайних лесов, чтобы видно было всему городу и всем рабочим с обоих берегов реки; Мерджану все приготовить, а глашатаю пройти по улицам и объявить, что сегодня в полдень на мосту будет показано, что ожидает тех, кто мешает постройке моста, и что все мужчины от детей до стариков, мусульмане и райя, должны собраться на обоих берегах реки.

Наступивший день был воскресеньем. В воскресенье работали, как и в любой другой день, но сегодня даже надсмотрщики и те были рассеянны. Как только рассвело, повсюду разнеслась весть о задержке преступника, пытках и предстоящей в полдень казни. Настороженно-торжественное состояние духа, царившее в хлеву, распространилось по всему строительству. Люди работали молча, стараясь не встречаться взглядами и не поднимать глаз от работы, как будто бы весь белый свет сошелся на ней одной.

Еще за час до полудня горожане, в основном турки, собрались

на площадке у моста. Мальчишки взобрались на каменные блоки, сложенные тут же. Рабочие теснились возле длинных и узких дощатых прилавков, где выдавался казенный харч, не дававший человеку умереть с голода. Молча жуя, они затравленно озирались вокруг. Немного спустя появился Абид-ага в сопровождении Тосун-эфенди, мастера Антоние и нескольких именитых турок. Они расположились на возвышении между мостом и хлевом, где был осужденный. Абид-ага в последний раз проследовал в хлев, ему доложили, что к казни все готово: на земле лежал дубовый кол примерно четырех аршин длины, заостренный по всем правилам, с очень тонким и острым железным наконечником, кол во всю свою длину был густо смазан салом; к лесам прибиты прочные балки, между которыми поставят и укрепят кол, припасена была деревянная кувалда для забивания кола, веревки и все прочее.

Плевляк, с лицом землистого цвета и налитыми кровью глазами, не находил себе места. Он и сейчас не мог выдержать огненного взгляда Абид-аги.

— Слушай, ты, если что-нибудь будет не так, если опозорите меня перед всем честным миром, не показывайтесь мне на глаза ни ты, ни этот цыганский ублюдок: потоплю вас в Дрине, как слепых кутят.

И потом, повернувшись к дрожащему цыгану, несколько милостивей добавил:

— Шесть грошей за работу, да еще шесть, если проживет до ночи. Так что смотри.

С главной мечети донесся голос ходжи, отчетливый и звонкий. Толпа на берегу заволновалась, а вслед за тем двери хлева распахнулись. Десять стражников выстроились в две шеренги, по пять в каждой. Между ними босой, с непокрытой головой Радисав; быстрый и сутулый, как всегда, теперь он не «сеял» на ходу, а как-то странно подскакивал, мелко перебирая искалеченными ногами с кровавыми ранами на месте ногтей; на плече он нес длинный белый заостренный кол. Следом за ним шел Мерджан с двумя своими подручными, тоже цыганами. Неожиданно откуда-то вынырнул на своем гнедом жеребце Плевляк и стал во главе процессии, которой предстояло пройти примерно сотню шагов до места казни.

Люди вытягивали шеи и поднимались на носки, пытаясь разглядеть злоумышленника и бунтовщика, посягнувшего на мост. Всех поразил жалкий, невзрачный вид этого человека — они представляли себе его совсем другим. Никто не знал, конечно, отчего он так смешно подпрыгивает, еле касаясь земли ногами, никто не видел следов ожогов от цепей, опоясывавших его грудь широкими полосами, поверх которых были натянуты рубаха и грубо-

шерстный гунь. И поэтому всем казалось, что он слишком жалок и ничтожен для того страшного злодеяния, за которое его вели на казнь. Только белый длинный кол придавал процессии какую-то наводящую ужас значительность и приковывал к себе взгляды толпы.

Там, где начинались земляные работы, Плевляк спешился, с церемонной торжественностью передал слуге поводья и вместе со всеми исчез на круто спускающейся к воде грязной дороге. Несколько мгновений спустя, медленно и осторожно продвигаясь вперед, они в том же порядке появились на лесах. На узких дощатых мостках стражники обступили Радисава еще теснее, опасаясь, как бы он не прыгнул в воду. Так шаг за шагом поднимались они все выше и выше, пока не подошли к самому краю лесов. Здесь над водой был устроен дощатый помост размером с комнату средней величины. На эту площадку, словно на поднятую сцену, взошли Радисав, Плевляк и трое цыган, а остальная стража расположилась по лесам, поблизости.

Толпа у моста на правом берегу колыхнулась и задвигалась. Сто шагов отделяло ее от дощатого помоста, так что люди и их движения были хорошо видны, нельзя было только расслышать слов и различить подробности. Левобережные находились в три раза дальше от места казни и еще сильнее суетились, стараясь как можно больше услышать и увидеть. Но слышать они ничего не услышали, а то, что было видно, поначалу показалось слишком простым и мало интересным, хотя потом таким страшным, что все отворачивались и многие скорей уходили домой, каясь, что пришли.

Когда Радисаву приказали лечь, он мгновение помедлил, а потом, не глядя на цыган и стражников, словно их и не было, подошел к Плевляку и почти доверительно, как своему, сипло и тихо сказал:

— Слушай, заклинаю тебя тем и этим светом, сделай доброе дело, заколи меня, чтоб я не мучился, как собака.

Плевляк вздрогнул и с криком накинулся на него, как бы защищаясь от этой чересчур доверительной манеры разговора:

— Прочь, мерзавец! Царское добро портить ты герой, а тут точно баба скулишь. Получишь, что велено и что заслужил.

Радисав еще ниже опустил голову, а цыгане стали стаскивать с него гунь и рубаху. Под ними на груди обнаружились вздувшиеся и покрасневшие раны от раскаленных цепей. Ничего больше не говоря, крестьянин лег, как ему было приказано, лицом вниз. Цыгане связали ему руки за спиной, а потом к ногам у щиколоток привязали веревки. Взявшись за веревки, они потянули их в разные стороны, широко раздвинув ему ноги. Тем вре-

менем Мерджан положил кол на два коротких круглых чурбака так, что заостренный его конец уперся крестьянину между ног. Затем достал из-за пояса короткий широкий нож и, опустившись на колени перед распростертым осужденным, нагнулся над ним, чтобы сделать разрез на штанах и расширить отверстие, через которое кол войдет в тело. Эта самая страшная часть его кровавого дела, к счастью, оставалась невидимой зрителям. Видно было только, как связанное тело содрогнулось от мгновенного и сильного удара ножом, выгнулось, словно человек собирался встать, и снова упало с глухим стуком на доски. Покончив с этой операцией, Мерджан вскочил, взял деревянную кувалду и размеренными короткими ударами стал бить по тупому концу кола. После каждого удара он останавливался, взглядывал сначала на тело, в которое вбивал кол, а потом на цыган, наказывая им тянуть веревки медленно и плавно. Распластанное тело крестьянина корчилось в судорогах; при каждом ударе кувалдой хребет его выгибался и горбился, но веревки натягивались, и тело снова выпрямлялось. Тишина на обоих берегах стояла такая, что ясно слышался и каждый удар, и каждый его отзвук в скалах. Самые ближние слышали еще, как человек бьется головой об доски, а также и другой какой-то непонятный звук; это не был ни стон, ни вопль, ни ропот, никакой другой человеческий звук — непостижимый скрежет и ропот исходил от распятого, истязаемого тела, словно ломали забор или валили дерево. В промежутках между двумя ударами Мерджан подходил к распростертому телу, наклонялся над ним и проверял, правильно ли идет кол; удостоверившись в том, что ни один из жизненно важных органов не поврежден, он возвращался и продолжал свое дело.

Все это было плохо слышно и еще хуже видно с берега, тем не менее у людей дрожали колени, лица побледнели, а на руках похолодели пальцы.

Вдруг стук кувалды оборвался. Мерджан заметил, что над правой лопаткой кожа натянулась, образовав бугор. Он быстро подскочил и надсек вздувшееся место крест-накрест. Потекла бледная кровь, сперва лениво, потом все сильнее. Два-три удара, легких и осторожных, и в надрезе показалось острие железного наконечника. Мерджан ударил еще несколько раз, пока острие кола не дошло до правого уха. Человек был насажен на кол, как ягненок на вертел, с той только разницей, что острие выходило у него не изо рта, а над лопаткой и что внутренности его, сердце и легкие серьезно не были задеты. Наконец Мерджан отбросил кувалду и подошел к казненному. Осматривая неподвижное тело, он обходил лужицы крови, вытекавшей из отверстий, в которое вошел и из которого вышел кол, и расползавшейся по доскам. Под-

ручные палача перевернули на спину негнущееся тело и принялись привязывать ноги к основанию кола. А тем временем Мерджан, желая удостовериться, что насаженный на кол человек жив, пристально вглядывался в его лицо, которое сразу как-то вздулось, раздалось и увеличилось. Широко раскрытые глаза бегали, но веки оставались неподвижными, губы застыли в судорожном оскале, обнажив стиснутые зубы. Человек не владел мышцами лица, и оно напоминало маску. Однако сердце в груди глухо стучало, а легкие дышали часто и прерывисто. Подручные стали поднимать казненного, как борова на вертеле. Мерджан кричал, чтобы они действовали поосторожней и не трясли тело, и сам им подсоблял. Кол установили утолщенным концом между двух балок и прибили большими гвоздями, сзади поставили подпорку, которую тоже приколотили к лесам и колу.

Когда все было готово, цыгане ушли с помоста и присоединились к стражникам, а на опустевшей площадке, вознесшись вверх на целых два аршина, прямой и обнаженный по пояс, остался лишь человек на коле. Издалека можно было только догадываться, что тело его пронзал кол, к которому у щиколоток привязаны ноги, а руки связаны за спиной. Он казался застывшим изваянием, парившим в воздухе высоко над рекой, на самом краю строительных лесов.

На обоих берегах по толпам народа пробежали ропот и волнение. Одни опустили глаза в землю, другие, не оборачиваясь, пошли по домам. Но большинство, онемев, смотрело на человеческую фигуру, реявшую в высоте, неестественно застывшую и прямую. Ужас леденил нутро, ноги подкашивались, но люди не могли ни пошевелиться, ни оторвать взгляд от этой картины. В подавленной ужасом толпе протискивалась Блаженная Илинка; заглядывая людям в глаза, она старалась поймать их взгляд и в нем прочесть, где похоронены ее принесенные в жертву дети.

Плевляк с Мерджаном и еще двумя стражниками снова подошли к казненному и стали пристально его разглядывать. По колу стекала только маленькая струйка крови. Человек был жив и в сознании. Грудь его вздымалась и опускалась, на шее бились жилы, он медленно поводил глазами. Сквозь стиснутые зубы прорывался протяжный хрип, в нем с трудом угадывались отдельные слова:

— Турки, турки...— хрипел человек на колу,— турки на мосту... собачью вам смерть... собачьей смертью вам околеть!..

Цыгане собрали свой инструмент и вместе с Плевляком и стражниками по лесам пошли к берегу. Народ шарахнулся от них и стал расходиться. И только мальчишки, наблюдавшие казнь с высоких камней и голых деревьев и не вполне убежденные в ее

окончании, все еще ждали чего-то, надеясь увидеть, что будет дальше с диковинным человеком, который повис над водой, как бы застыв на середине прыжка.

Плевляк подошел к Абид-аге и доложил, что все хорошо и точно исполнено, что злоумышленник жив и, по всей видимости, протянет еще, так как внутренности его остались неповрежденными. Абид-ага ничего не ответил, даже не взглянул; взмахом руки он велел подать себе коня и стал прощаться с Тосун-эфенди и мастером Антоние. Все начали расходиться. С торговой площади донесся голос глашатая. Он возвестил о совершении казни и о том, что точно такая же или худшая участь ждет каждого злоумышленника.

Плевляк в растерянности остался стоять на быстро пустевшей площадке перед мостом. Слуга держал его коня, стражники ждали приказаний. Он чувствовал, что ему надо что-то сказать, но не мог проронить ни слова от страшного возбуждения, вдруг овладевшего им; ему казалось, будто он вот-вот взлетит. Только теперь осознал он все то, о чем, поглощенный заботой о совершении казни, совсем забыл. Только теперь вспомнил обещание Абид-аги насадить самого его на кол, если он не поймает злоумышленника. Он избежал чудовищной участи, но был от нее на волосок и спасся в последний момент. Человек, торчавший теперь на лесах, подло орудуя под прикрытием ночи, делал все, чтобы угроза наместника сбылась. Однако же вышло все наоборот. И при одном только взгляде на казненного, который был еще жив и водружен на колу над рекой, Плевляк проникался невыразимым ужасом и какой-то болезненной радостью, что такая судьба постигла не его и что его тело петронуто, свободно и подвижно. От этой мысли огненная дрожь вспыхнула в его груди, охватила ноги, руки, и ему захотелось двигаться, смеяться, говорить, как бы доказывая самому себе, что он здоров и может делать все, что угодно, говорить, громко смеяться, даже петь при желании, а не изрыгать с кола бессильные проклятия в ожидании смерти как единственного счастья, еще оставшегося ему на свете. Руки разлетелись сами собой в стороны, ноги заплясали, рот сам собой раскрылся, исторгая судорожный смех и потоки неудержимых слов:

— Ха, ха, ха! Ну что, Радисав, лесной леший, что это ты так застыл? Что это мост не ломаешь? Чего хрипишь и рычишь? Спой-ка, леший! Спляши, леший!

Пораженные и растерянные стражники смотрели, как их начальник пританцовывал, расставив руки, и напевал, захлебываясь смехом и давясь бессвязными словами и белой пеной, все обильней накипавшей в углах его губ. Его конь, гнедой жеребец, бросал на него испуганные и косые взгляды.

IV

Все, кто в тот день с берегов Дрины видели совершение казни, разнесли страшные слухи по городу и его окрестностям. Неописуемый ужас овладел горожанами и рабочими. Медленно и постепенно до сознания людей доходило в полной мере понимание того, что произошло на их глазах в тот короткий ноябрьский день. Все разговоры вертелись вокруг человека, который все еще живой сидел на колу над строительными лесами. Каждый зарекался о нем говорить, но какой толк в зароке, когда мысли упрямо возвращались к нему, а взгляд невольно обращался в ту сторону?

Крестьяне, возившие камень из Баньи на воловьих упряжках, опускали глаза и тихо понукали своих волов. Рабочие на берегу и на лесах переговаривались приглушенными голосами и только по необходимости. И даже надсмотрщики с ореховыми хлыстами в руках были покладистей и мягче. Далматинские каменотесы работали, повернувшись спиной к мосту; бледные, стиснув зубы, они гневно били по своим долотам, клекочущим посреди всеобщего безмолвия подобно стае дятлов.

Быстро спустились сумерки, и рабочие заторопились поскорее добраться до ночлега, стремясь уйти подальше от моста. До наступления полной темноты Мерджан и доверенный слуга Абид-аги снова поднялись к Радисаву и с несомненностью установили, что осужденный и теперь, через четыре часа после совершения казни, жив и в сознании. В горячке он медленно и тяжело вращал глазами, а увидев под собой цыгана, застонал громче. В этом стенании, вместе с которым, казалось, из него выходила душа, различались только отдельные слова:

— Турки... турки... мост!

Довольные, они вернулись в дом Абид-аги на Быковаце, рассказывая по пути всем встречным, что казненный жив, что он скрипит зубами, говорит вполне ясно и разборчиво и, похоже, проживет и до завтрашнего дня. Доволен был и Абид-ага, он распорядился выплатить Мерджану обещанное вознаграждение.

В ту ночь все живое в городе и возле моста заснуло в страхе. Собственно, заснул тот, кто смог заснуть, многие же так и не сомкнули глаз.

Назавтра, в понедельник, выдался необычно солнечный день. И не было ни на строительстве, ни в городе глаз, которые не обратились бы в ту сторону, где на краю высокого и сложного каркаса из досок и балок, словно на носу корабля, ясно и отчетливо выделялась фигура человека, насаженного на кол. И многие из тех, что, пробудившись, думали, что им во сне привиделось все то, что на виду у всех совершилось вчера на мосту, теперь стояли и,

не мигая, смотрели на продолжение своего ужасного сна наяву, среди бела дня, при ярком свете солнца.

Над строительством, как и вчера, нависла тишина, горестная и угрюмая. В городе то же смятение и ропот. Мерджан со слугой Абид-аги снова поднялись на леса и осмотрели осужденного; они долго о чем-то переговаривались, задрав головы, пристально вглядывались в лицо крестьянина, Мерджан даже подергал его за штаны. По тому, как они спустились на берег и молча проследовали мимо работавших, все поняли, что крестьянин умер. И все сербы, как бы одержав незримую победу, вздохнули с облегчением.

Люди теперь смелее обращали взгляды на леса и на казненного. Все ощущали, что в постоянном соперничестве и состязании с турками на этот раз взяла верх их сторона. Смерть — самый страшный залог. Уста, до сих пор запечатанные страхом, сами открывались. Грязные и потные, небритые и изможденные рабочие, ворочавшие сосновыми рычагами громадные глыбы баньского камня, останавливались на минуту, чтобы поплевать на ладони, и чуть слышно перебрасывались между собой:

— Господи, прости его и помилуй!

— Эх, мученик! Эх, горемыка наш!

— Не видишь разве, что он теперь святой? Настоящий, брат, святой.

И каждый исподлобья бросал оценивающий взгляд на покойника, все такого же бравого, как будто бы он вышагивал перед ротой. Больше он не внушал им ни жалости, ни страха. Напротив, теперь всем стало ясно, насколько он оторвался от них и возвысился. На земле не стоит, ни за что не держится руками, не плывет, не летит; центр тяжести заключен в нем самом; освобожденный от земных пут и земного груза, он избавился и от страданий; никто и ничто ему больше не может сделать — ни пуля, ни сабля, ни злые козни, ни человеческое слово, ни турецкий суд. Обнаженный до пояса, связанный по рукам и ногам, прямой, с гордо закинутой головой, он походил теперь не столько на человека с его неизбежным развитием и распадом, сколько на воздвигнутое в высоте твердое и не подверженное тлению изваяние, поставленное тут навеки.

Рабочие оборачивались к нему и украдкой крестились.

На Мейдане женщины то и дело бегали друг к другу через двор, чтобы только минутку-другую пошептаться, вместе поплакать, и опрометью кидались обратно домой, боясь, как бы не пригорел обед. Одна зажгла лампаду. И вот уже в каждом доме горели лампадки, притулившись в углу. Празднично настроенные дети, мигая от яркого света, неотрывно смотрели на огонь и,

подхватывая на лету непонятные обрывки фраз, которыми перебрасывались взрослые («Сохрани его, господь, и помилуй!» — «Ах, взял бог страдальца, будто бы он ему самую большую церковь выстроил!» — «Помоги нам, господи, единый боже, покарай злодеев, не дай им долго властвовать над нами!»), без устали сыпали вопросами, что такое страдалец, кто строит церковь и где? Мальчишки были особенно любопытны. Матери утихомиривали их:

— Молчи, милок! Молчи, слушайся матери да пуще смерти бойся турка проклятого!

Еще до того, как землю во второй раз после казни окутали сумерки, Абид-ага снова обошел строительство и, довольный воздействием страшного примера, отдал приказ убрать крестьянина с лесов.

— Бросить собаку собакам!

В ту ночь, теплую и влажную, словно весеннюю, быстро спускавшуюся на землю, сдавленный ропот и волнение прошли по рабочему люду. Самые нерешительные, те, кто раньше не хотел и слышать про заговор и разрушения, теперь готовы были жертвовать многим и идти на все. Казненный стал общей заботой и святыней. Несколько сотен замученных людей, повинуясь внутреннему порыву, силе сострадания и древних обычаев, стихийно возмутилось, объединилось в настойчивом стремлении заполучить труп казненного, не дать над ним надругаться и схоронить его по-христиански. В результате тайных перешептываний и переговоров в темноте хибарок и хлевов строители сколотили солидную сумму в семь грошей для подкупа Мерджана. На это дело выбрали трех наиболее находчивых, и те сумели найти доступ к палачу. Мокрые и уставшие от работы, трое крестьян теперь как раз ведут разговор неторопливо, хитро и обиняками. Самый старший, морща лоб, почесывая затылок и намеренно растягивая слова, говорит цыгану:

— Вот, значит, и это сделано. Чему быть, того не миновать. Только, знаешь, к примеру сказать, он ведь тоже человек, как говорится, божье творение, и не годится это, чтоб его, к примеру, звери сожрали и растерзали псы.

Мерджан, прекрасно понимая, о чем идет речь, сопротивляется скорее горестно, чем упорно.

— Нет, нет! И не говорите мне про это. Подведете вы меня под монастырь. Не знаете вы, что за зверь Абид-ага!

Крестьянин мучится и хмурится, а про себя думает: «Одно слово цыган, человек без креста и без совести, его не умолить, не упросить, нет у него ничего святого ни на земле, ни на небе!» В то же время правую руку он держит в неглубоком кармане гуня, сжимая в ней семь грошей.

— Да это уж известно, каков он. Знаем мы, что, к примеру, и тебе тоже нелегко. Только вины на тебе никакой не будет. Вот тебе четыре гроша, забирай на здоровье и по рукам, как говорится.

— Нет, нет, мне голова дороже золота. Абид-ага меня в порошок сотрет, потому что он и во сне все видит. Ой-ой-ой, и подумать страшно!

— Где четыре, там и пять, раз уж на то пошло. И дело с концом,— гнет свое крестьянин, не обращая внимания на оханье цыгана.

— Сказал не могу, и все тут!

— Ладно, приказано тебе... *тело* бросить, к примеру говоря, как бы... собакам, ты его, значит, и бросишь, а что с ним после будет, не твоя забота, тебя о том никто не спросит. А мы, видишь ли, потом, к примеру сказать, возьмем... *тело* да и похороним по нашему обычаю, но тайком, чтоб ни одна живая душа не знала. А ты, к примеру, утром и скажешь, что собаки, дескать, растерзали... *тело.* И никому ничего не будет, а ты свое получишь.

Крестьянин говорит вкрадчиво и веско и только всякий раз в необъяснимом замешательстве застревает перед словом «тело», которое он выговаривает с особенным выражением.

— Это за пять-то грошей жизнь свою сгубить! Нет, нет, не-е-ет!

— За шесть,— внушительно накидывает крестьянин.

При этих словах цыган вскинулся, развел руками и с выражением строгого и искреннего прямодушия, словно он вообще не способен на ложь и обман, обратился к крестьянину, как будто он сам был осужденным, а тот палачом.

— Пусть моя голова идет в заклад, раз уж такая моя судьба, и пусть моя цыганка останется вдовой, а дети сиротами: давайте сюда семь грошей и забирайте мертвеца, только чтоб никто ничего не пронюхал.

Крестьянин покрутил головой, безмерно сожалея о том, что вынужден этакой гниде отдать все до последней монеты. Тот будто в карман ему заглянул!

После этого они уже подробно и обстоятельно договорились о том, как Мерджан снимет мертвеца с лесов, как отнесет его на левый берег и здесь, ближе к вечеру, бросит на каменистую обочину дороги так, чтобы это видели слуги Абид-аги и прохожие. Они же трое спрячутся в кустах неподалеку, а как только стемнеет, возьмут труп, унесут его и похоронят, но где-нибудь в укромном месте и так, чтобы никаких следов не осталось и чтобы никто не усомнился в том, что труп ночью растерзали и съели собаки. Три гроша даются вперед, а четыре — утром, по окончании дела.

В ту же ночь все свершилось, как было условлено.

В сумерки Мерджан вынес труп с лесов и бросил его на обочину дороги. (Брошенное тело ничем не напоминало того человека, который два дня на виду у всех гордо и прямо парил над рекой; это снова был прежний Радисав, тщедушный и скрюченный, только бескровный и безжизненный.) И сейчас же вместе с подручными вернулся обратно на тот берег, в город. Крестьяне ждали в кустах. Время от времени дорогой проходили припоздниившиеся рабочие или турки, возвращавшиеся домой. Но вскоре стемнело, и вся округа затихла. Стали появляться бездомные собаки — большие, облезлые, голодные и пугливые. Спрятавшиеся в кустарнике крестьяне швыряли в них камнями и разгоняли, собаки отбегали, поджав хвосты, но недалеко. Шагах в двадцати от трупа они останавливались и замирали, выжидая. В темноте было видно, как у них горели глаза. Дав ночи окончательно утвердиться и убедившись в том, что никакая нечаянная встреча им больше не грозит, крестьяне вышли из своего укрытия с киркой и лопатой в руках. Две доски, которые они тоже захватили с собой, они положили одна на другую, на них — мертвеца и так понесли его в гору. Там, в ложбине, промытой весенними и осенними водами, устремлявшимися с гор в Дрину, они сняли слой крупной гальки, сухим, непересыхающим потоком сползавшей вниз, и вырыли глубокую могилу — быстро, тихо, без слов и без шума. В могилу опустили окоченелое, холодное и скрюченное тело. Самый старший соскочил в яму, осторожно чиркнул несколько раз огнивом о кремень, зажег трут, а потом, загораживая ее обеими руками,— тонкую витую восковую свечку; воткнул свечку в головах покойника и трижды, быстро и громко, сотворил крестное знамение. За ним наверху в темноте перекрестились и двое других. Затем крестьянин дважды взмахнул над покойником рукой, как бы окропляя его незримым вином, и дважды проговорил тихо и сокрушенно:

— Со святыми упокой, Христос, душу раба твоего!

Потом прошептал еще несколько слов, бессвязных и невразумительных, однако молитвенных, торжественных и проникновенных, заставивших двоих других, застывших у края могилы, непрерывно креститься. Старик замолчал, ему сверху подали две доски, и он положил их на покойника, как бы накрыв его крышкой. Перекрестившись еще раз, он загасил свечу и вылез из могилы. Все трое стали полегоньку заваливать яму землей, тщательно уминая и утрамбовывая ее, чтобы над могилой не образовался холм. Покончив с этим, они насыпали гальку на прежнее место, восстановив над свежеразрытой почвою каменистый поток, перекрестились еще раз и кружным путем пошли назад, стараясь выйти на дорогу как можно дальше от могилы.

Той же ночью неожиданно хлынул частый и теплый дождь без ветра, и утро встало в густом и влажном молочном тумане, залившем всю речную долину. Неопределенное белое сияние, то разгоравшееся, то угасавшее, говорило о той борьбе, которую где-то в вышине вело солнце, тщетно старавшееся прорваться сквозь плотную пелену облаков. Призрачный густой туман все неузнаваемо преобразил. Люди неожиданно выныривали из него и так же внезапно исчезали. Ранним утром этого туманного дня простая телега прогрохотала по площади, в этой телеге двое стражников везли связанного Плевляка, своего недавнего начальника.

С той самой минуты, как два дня назад в приступе безудержного восторга, что он жив и не посажен на кол, Плевляк бросился плясать на виду у всех, он уже больше не владел собой. Все мышцы в нем играли, ноги не стояли на месте, непреодолимая потребность доказать самому себе и окружающим, что он здоров, невредим и подвижен, неотступно преследовала его. Иногда он вспоминал Абид-агу (единственное черное пятно, омрачавшее его радость) и мгновенно впадал в мрачную задумчивость. Но за время короткой передышки в нем накапливались новые силы, и он снова начинал скакать и носиться как безумный. Пускался в пляс, раскинув руки, прищелкивая пальцами и изгибаясь, словно уличная танцовщица-цыганка, и, как бы доказывая каждой новой, все более сложной фигурой, что он не на коле, выдыхал в такт танцу:

— Вот как, вот как... и так могу, и этак и так... и этак!

Он отказывался есть, а всякий разговор тотчас же обрывал и начинал плясать, сопровождая каждое новое колено младенческими уверениями.

— Вот, видал как, вот... и этак и так.

Когда наконец накануне вечером осмелились доложить Абид-аге о том, что творится с Плевляком, тот бросил холодно и лаконично:

— Отвезите безумного в Плевле, пусть его там держат взаперти, чтоб не юродствовал на людях. Он и раньше-то ни на что не годился.

Так и было сделано. Но поскольку Плевляк ни за что не хотел угомониться, стражникам пришлось привязать своего начальника веревками к телеге. Он плакал и отбивался и, пока еще мог хоть как-то двигаться, дергался и все кричал свое: «Вот как, вот как!» В конце концов стражники вынуждены были скрутить его по рукам и ногам, так что он сидел в телеге, как неподвижный, оплетенный веревками куль или как мешок с зерном. Но потеряв возможность двигаться, он вообразил, что его сажают на кол и, судорожно корчась и выдираясь из пут, истошно вопил:

— Нет, не меня, только не меня! Вилу хватайте! Нет, Абид-ага!

Из последних домов на окраине города выскакивали люди, встревоженные его криками, но телега со стражниками и больным быстро удалялась добрунской дорогой, теряясь в густом мареве, сквозь которое угадывалось солнце.

Внезапное и печальное исчезновение Плевляка нагнало еще больше страху. Стали поговаривать, что казненный крестьянин пострадал безвинно, что виноват этот самый Плевляк. Сербские женщины с Мейдана рассказывали, будто вилы схоронили тело несчастного Радисава под Бутковыми скалами и будто ночью яркое сияние льется с неба на его могилу — это горят мерцающим светом тысячи и тысячи свечей, протянувшихся длинной вереницей от неба до земли. Они сами видели сквозь слезы.

О многом шептались и во многое верили, но страх преобладал над всем. Работы на мосту шли быстро и гладко, без задержек и помех. И продолжались бы бог знает как долго, если бы в начале декабря не ударили жестокие морозы, а против них и сам Абид-ага был бессилен.

В первую половину декабря таких морозов и метелей отродясь не бывало. Камень примерзал к земле, трещали деревья. Мелкий кристаллический снег заметал инструменты, предметы и целые хибары, а утром своевольный ветер относил его в другое место. Работы сами собой прекратились, и страх перед Абид-агой померк и бесследно растаял. Несколько дней Абид-ага еще упорствовал, но потом сдался, распустил рабочих и остановил работы. И в разгар снежной вьюги ускакал вместе со своими людьми. В тот же день вслед за ним в крестьянских санях, заваленный соломой и одеялами, уехал и Тосун-эфенди, а мастер Антоние отбыл в противоположном направлении. И весь обширный лагерь работников неслышно и незаметно, словно вода в почву, рассосался и растекся по селам и глубоким ущельям. Мост остался подобно брошенной игрушке.

Перед отъездом Абид-ага снова созвал именитых турок. Разозленный и подавленный своим бессилием, он, как и в прошлом году, сказал, что оставляет строительство на их попечение и под их ответственность.

— Я уезжаю, но глаза мои остаются здесь. Смотрите же: лучше двадцать непокорных голов снимете с плеч, чем со строительства пропадет хоть один султанский гвоздь. Ранней весной я буду здесь и потребую ответа от каждого.

Именитые граждане, как и в прошлом году, заверили наместника визиря в своем усердии и, озабоченные, побрели восвояси, кутаясь в гуни, зубуны и шали и благодаря потихоньку бога

за то, что он послал на землю морозы и метели и хотя бы этой своей силой положил предел силе сильных.

Но весной приехал не Абид-ага, а новый наместник визиря Ариф-бег вместе с Тосун-эфенди. Абид-агу постигла та самая участь, которой он так боялся. Кто-то, кто знал все досконально и видел сам, доставил великому визирю неопровержимые и точные данные о хозяйничанье наместника на строительстве вышеградского моста. Визирь получил достоверные сведения, что за истекшие два года на строительстве моста ежедневно работало от двухсот до трехсот рабочих, не получавших ни единого гроша, а нередко и харчей, а визиревы деньги Абид-ага брал себе. (Подсчитана была и сумма присвоенных за это время денег.) Свою нечистую игру, как это часто бывает, Абид-ага прикрывал служебным рвением и непомерной строгостью, приведшей к тому, что весь народ — и не только райя, но и турки — вместо того чтобы благословлять дарованный им мост, проклинали тот час, когда он был заложен, и того, кто его основал. Мехмед-паша, всю жизнь боровшийся с хищениями и неверностью своих подчиненных, приказал наместнику возвратить всю сумму сполна, а самому с остатком состояния и гаремом немедленно удалиться на поселение в захудалый городок Анатолии и чтобы звука о нем не было слышно, если он не хочет навлечь на себя еще худшую кару.

Через два дня после приезда Ариф-бега прибыл из Далмации и мастер Антоние с первыми рабочими. Тосун-эфенди представил его новому наместнику. Сверкающим и теплым апрельским днем они обошли строительство и установили распорядок работ на ближайшие дни. Когда Ариф-бег ушел, оставив Тосун-эфенди и Антоние на берегу одних, мастер поближе заглянул в лицо Тосун-эфенди, который и в этот солнечный день, зябко поеживаясь, кутался в просторный черный минтан, и сказал:

— Это совсем другой человек. Слава богу! Я только удивляюсь, у кого это хватило смелости и умения открыть визирю глаза и убрать ту скотину.

Тосун-эфенди, глядя прямо перед собой, невозмутимо сказал:

— Да, да, этот несомненно лучше.

— Он Абид-агу, видно, хорошо знал и к визирю был вхож и пользовался его доверием.

— Что и говорить, что и говорить, этот несомненно лучше,— кивал Тосун-эфенди, не поднимая опущенных глаз и плотнее кутаясь в свой черный минтан.

Так возобновились работы под началом нового наместника Ариф-бега.

Действительно, это был совершенно другой человек. Длинноногий, сутулый, безбородый, скуластый, с черными раскосыми,

вечно смеющимися глазами. Народ тотчас же окрестил его Гололицым. Без крика, без палки, без брани и видимых усилий он приказывал и распоряжался весело и беззаботно, как бы с высоты, но никогда ничего не упускал и не терял из вида. И он тоже поддерживал атмосферу ревностной исполнительности во всем, что касалось воли и желаний визиря, но при этом он был человеком с чистой совестью, которому нечего бояться и таить, а потому и других не нужно запугивать и притеснять. Работы велись также спешно (ибо именно этого требовал визирь), провинности наказывались с той же строгостью, однако с безвозмездной поденщиной было покончено с первого дня. Каждый поденщик получал деньги и на прокорм — муку и соль, и дело подвигалось не в пример быстрее и лучше, чем во времена Абид-аги. И Блаженной Илинки тоже не стало: затерялась зимой в каком-то селе.

Строительство росло и расширялось.

Предначертания визиря предусматривали, оказывается, не только сооружение моста, но и большого постоялого двора, караван-сарая, где путники, едущие издалека и застигнутые ночью у моста, могли бы найти приют для себя, своих коней и грузов. По указаниям Ариф-бега приступили к постройке караван-сарая. У начала торговых рядов, в двухстах шагах от моста, где дорога на Мейдан поднималась круто вверх, была ровная площадка, на которой до сих пор по средам был скотный базар. Здесь и заложили новый постоялый двор. Работы продвигались вперед не так скоро, но с первых шагов было видно, что речь идет о сооружении, задуманном с размахом и широтой. Люди и не замечали, как медленно и неуклонно поднимались над землей каменные стены большого караван-сарая, потому что внимание их по-прежнему притягивало к себе строительство моста.

То, что делалось сейчас на Дрине, было так запутанно и сложно, так много было непонятных вспомогательных работ, что досужий обыватель, наблюдая за строительством с берега, словно за каким-то природным явлением, уже ничего больше не мог понять. Появлялись все новые насыпи и рвы в самых разных направлениях, разделенная на рукава и протоки, река из одного русла направлялась в другое. Мастер Антоние привез с собой из Далмации особо искусных канатчиков и скупил всю пеньку даже в соседних округах. В специально отведенных помещениях мастера-веревочники плели канаты необыкновенной прочности и толщины. Греческие плотники по чертежам все того же мастера Антоние и Тосун-эфенди сколачивали огромные подъемники, приводящиеся в движение воротом, устанавливали их на плотах и с помощью изготовленных канатов втаскивали тяжеленные каменные блоки на быки, один за другим поднимавшиеся с речного дна. Четыре рабо-

чих дня занимала переноска одного такого громадного каменного блока с берега до его гнезда в очередном быке.

Наблюдая изо дня в день, из года в год за работами, местные жители начали терять счет времени и забывать о конечных намерениях строителей. По их понятиям, сооружение моста не только не подвигалось вперед, но все больше запутывалось, дробясь и распадаясь на бесконечное количество вспомогательных и побочных операций, и с течением времени все меньше походило на то, чем оно должно стать. Люди, которые сами не работают и ничего в жизни не предпринимают, быстро теряют терпение и ошибочно судят о деятельности других. Вышеградские турки при упоминании о строительстве моста снова стали отмахиваться и пожимать плечами. Христиане молчали, но смотрели на строительство с затаенным злорадством и втайне желали ему провала, как всякому турецкому нововведению. Примерно в это время игумен монастыря Банье у Прибоя записал на последнем чистом листе минеи: «Да будет ведомо, когда Мехмед-паша строил мост на Дрине у Вышеграда. И лютые беды принял христианский народ от агарянина неверного, и в три погибели спину гнул. С моря мастеров приводили. Три года строили и много денег поистратили. Реку разделили надвое и натрое, а моста поставить не смогли».

Проходили годы, лето сменялось осенью, зима весною, уезжали и возвращались рабочие и мастера. Теперь уж вся Дрина была перегорожена, но не мостом, а деревянными лесами, представлявшимися бестолковым и путаным соединением сосновых балок и досок. По одну и по другую сторону от них покачивались деревянные стрелы подъемников, установленных на крепко связанных плотах. На обоих берегах реки дымили костры, там на огне плавили свинец, которым заливали трещины в блоках и невидимым образом скрепляли их между собой.

В конце третьего года произошло одно из тех несчастий, без которых редко обходятся большие строительства. Заканчивали средний бык, тот, что выше остальных и вверху шире, потому что на нем должны были покоиться ворота. Когда переносили очередной блок, работы застопорились. Рабочие суетились под громадой четырехугольного камня, который повис, оплетенный толстыми канатами, над их головами. Подъемнику никак не удавалось подвести камень точно к заготовленному для него гнезду. В нетерпении подбежал Арап и громкими сердитыми окриками (на том диковинном смешанном наречии, со временем образовавшемся в этом разноплеменном скоплении людей) стал наставлять тех, кто внизу на воде управлял подъемником. Вдруг непонятно отчего канаты ослабли, и каменный блок сначала одним своим краем, а потом и всей тяжестью обрушился на возбужденного Арапа, который, не

обращая внимания на то, что делается над его головой, глядел на воду. По странной случайности блок опустился точно в назначенное ему место, но при падении задел Арапа, придавив нижнюю часть его тела. Поднялась сутолока, шум и беготня. Вскоре подоспел и мастер Антоние. Молодой негр, вначале потерявший сознание, пришел в себя; испуская стоны сквозь стиснутые зубы, он не сводил печальных и испуганных глаз с лица мастера Антоние. Сдвинув брови, белый как полотно мастер Антоние велел собрать рабочих, принести инструмент и приступить к подъему блока. Но все было напрасно. Юноша истекал кровью, дыхание его прерывалось, взгляд туманился. Через полчаса он скончался, судорожно сжимая руку мастера в своей.

Похороны Арапа прошли торжественно и надолго запомнились людям. Вся мужская половина мусульманского населения вышла проводить его в последний путь и хотя бы несколько шагов пронести его табут, в котором покоилась верхняя часть его молодого тела, ибо нижняя так и осталась лежать под плитой. Мастер Антоние поставил на могиле негра прекрасное надгробие из того самого камня, из которого строился мост. Его потрясла смерть юноши, вызволенного им мальчиком из нищеты и бедности в Ульцине, где проживало несколько занесенных туда судьбою негритянских семейств. Но работы на мосту не прерывались ни на минуту.

И в тот год, и на следующий зима выдалась мягкая, и работы на мосту продолжались до середины декабря. Наступил пятый год строительства. Широкий и неправильный круг из досок, камня, вспомогательных орудий и разнообразных строительных материалов постепенно начал сужаться.

У дороги на Мейдан уже стоял новый караван-сарай, освобожденный от лесов. Это было большое двухэтажное здание, сложенное из того же камня, что и мост. Еще снаружи и внутри велись работы, но уже и сейчас, особенно издали, видно было, как сильно отличается он размерами, красотой линий и прочностью кладки от всего, что когда-либо могло быть задумано и построено в этом захолустье. Строение из светлого камня с темно-красной черепичной крышей и ровным рядом изящно прорезанных окон представлялось местным жителям немыслимой и непомерной роскошью, которая с этих пор должна была стать составной частью их повседневной жизни. Возведенное щедротами визиря, оно выглядело так, словно и предназначалось только для визиря. На всем лежала печать величия, изысканности и богатства, приводивших обывателя в смущение.

В то же время бесформенная вязь перекладин и балок над рекой стала словно бы опадать и таять и сквозь нее все яснее проступали подлинные очертания моста, сложенного из красивого

баньского камня. Еще рабочие группами и поодиночке занимались делами, которые в глазах посторонних выглядели бессмысленными и не связанными со всем прочим, однако теперь даже самый отъявленный маловер вынужден был признать, что все строительство подчинено единому замыслу и безошибочному расчету, который стоит за каждой из этих отдельных операций. Первыми освободились от лесов те арки, что были меньше и по высоте и по длине пролетов и ближе других стояли к берегу, а затем одна за другой и остальные, пока последняя арка не скинула с себя леса и мост не явился целиком со всеми своими одиннадцатью мощными арками и во всем своем великолепии и совершенстве, столь новом и непривычном для глаз местных жителей.

Падкие и на похвальбу и на злопыхательство вышеградцы были посрамлены за свое недавнее неверие и сомнения. Теперь они и не пытались скрыть свое восхищение и не могли умерить свой пыл. Проход по мосту еще не был открыт, но у берегов уже теснились толпы народа, особенно многочисленные на правом берегу, где находились торговые ряды и большая часть города. На мосту сновали рабочие, шлифовщики обрабатывали камень на ограде и сиденьях ворот. Собравшиеся тут же вышеградские турки рассматривали это чужое детище, над которым они целых пять лет издевались и которому пророчили самое мрачное будущее.

— А сколько раз я вам говорил,— радостно восторгался маленький мулла из Душче,— что царской воле ни в чем нет преграды и что ученые люди в конце концов доведут задуманное до конца; а вы знай свое твердите: не сделают, не поднимут. А вот и подняли, да еще какой мост подняли — любо-дорого поглядеть!

Все одобрительно кивали головами, хотя никто толком не помнил, когда мулла это говорил, напротив того, все знали, что он вместе со всеми хаял и постройку, и того, кто ее возводил. Но все, искренне растроганные, не переставали восхищаться.

— Эх, люди, люди, ведь что завелось в нашем захолустье!

— Вот что значит мудрость и сила визиря: куда кинет взгляд, там благодать и счастье!

— Это еще что! — не унимался веселый маленький мулла.— То ли еще будет! Мост-то, видишь, как драят да прихорашивают, точно коня на ярмарку!

Так состязались они в излияниях восторга, изыскивая новые, все более цветистые и пышные слова похвалы. Один только Ахмет-ага Шета, богатый хлеботорговец, человек мрачный и скупой, по-прежнему обливал презрением и саму постройку, и тех, кто ее превозносил. Высокий, желтый и ссохшийся, с пронзительным взглядом черных глаз и тонкой линией как бы слившихся губ, он жмурился на ярком солнце погожего сентябрьского дня и один из

всех держался своего прежнего мнения. (Сила беспричинной ненависти и зависти в человеке иной раз превосходит все, что только могут создать или задумать люди.) Тем, кто в приливе восторга превозносил величину и прочность моста и говорил, что он крепче любой крепости, он с высокомерием бросал:

— Не было еще на него паводка, настоящего вышеградского паводка! Посмотришь тогда, что от него останется!

Все с возмущением набрасывались на него и хвалили создателей моста, в особенности Ариф-бега, который со своей неизменной снисходительной улыбкой, как бы играючи, отгрохал этакую махину. Но Шета был непреклонен, не желая признавать ничьих заслуг.

— Ну да, не будь Абид-аги с его зеленой палкой, порядком и силой, посмотрел бы я, как это Гололицый со своими улыбочками да сложенными за спину руками сумеет закончить мост?!

И, принимая общее восхищение как личную обиду, Шета в сердцах удалялся в свой лабаз и усаживался там на своем обычном месте, откуда не видно ни солнца, ни моста и не слышно гомона и шума ликующей толпы.

Но Шета был редким исключением. Радостное возбуждение горожан час от часу возрастало и передавалось жителям окрестных селений. В первых числах октября Ариф-бег устроил грандиозное празднество по случаю окончания строительства. Этот человек господских привычек, мягкой властности и редкой честности, тративший все доверенные ему деньги на то, для чего они предназначались, и не бравший себе ни гроша, в глазах народа был главной личностью всей этой эпопеи. О нем говорили больше, чем о самом визире. И празднество, устроенное им, отличалось тоже необыкновенным богатством и великолепием.

Надсмотрщики и рабочие были одарены деньгами и одеждой, а общее пиршество, в котором принимали участие все желающие, продолжалось два дня. Во здравие визиря ели, пили, играли, танцевали и пели; молодежь состязалась в беге и конных скачках; бедняков оделяли мясом и сладостями. На площади между мостом и торговыми рядами варилась халва и раздавалась прямо с пылу, с жару. Тут уж лакомился и тот, кто и в байрам этого не видел. Халва дошла даже до окрестных сел, и каждый отведавший ее желал здоровья визирю и долгой жизни всему, что он возвел. Иные ребятишки по четырнадцати раз кряду подходили к котлу, пока не примелькались поварам и те не отогнали их поварешками. А один цыганенок умер, объевшись горячей халвы.

О празднестве долго потом помнили и рассказывали наряду с историями о возникновении моста, и тем больше, что щедрые визири и честные наместники, казалось, со временем вымерли, да и подобные празднества стали редки, а потом и совсем перевелись,

пока наконец рассказы о них не перешли в разряд легенд и сказаний про вил, близнецов Стою и Остою и прочие чудеса.

В праздники и вообще в первые дни люди бесконечное количество раз переходили по мосту с одного берега на другой. Дети проносились бегом, взрослые шли неторопливо, разговаривая или любуясь там и тут новыми видами, которые открывались с моста. Больных, хромых и параличных приносили на носилках, потому что никому не хотелось отставать и лишать себя причастности к этому дивному диву. Каждый самый незаметный горожанин чувствовал, как вдруг умножились его способности и возросли его силы; словно какой-то чудесный сверхчеловеческий подвиг оказался вдруг сопряжен с собственными его возможностями и мерками повседневной жизни; словно, кроме до сих пор известных элементов: земли, воды и воздуха,— неожиданным образом открыли еще один; словно чьими-то благотворными усилиями для всех и каждого стало осуществимо одно из самых глубоких желаний, извечная мечта человека: перейти воду посуху и овладеть пространством.

Турецкие парни завели коло вокруг котлов с халвой, а потом перешли на мост, здесь им казалось, что они летят, не касаясь земли, в воротах они сделали круг и стали притопывать и выбивать ногами дробь, как бы испытывая прочность моста. Вокруг этого неистового хоровода плясунов, неутомимо подпрыгивавших в одном и том же ритме, вертелись мальчишки, проскальзывали между ног танцующих, словно сквозь живой частокол, стояли кучкой в центре коло первый раз в жизни на мосту, о котором говорили уже столько лет, и при этом в воротах, под которыми погребен несчастный Арап, что, как говорят, ночью показывается людям. Наслаждаясь счастьем быть в центре юношеского коло, они вместе с тем замирали от страха, который Арап внушал им еще при жизни, когда работал на мосту. Когда они стояли на этом высоком, новом и непривычном мосту, им казалось, что они давно уже покинули мать и отчий дом и забрели в страну черных людей, сказочных строений и диковинных плясок; дети дрожали от ужаса, но все равно не могли ни отрешиться от мыслей про Арапа, ни покинуть коло на новых чудесных балконах. Только новое чудо могло отвлечь их внимание.

Вдруг слабоумный парнишка, по имени Мурат и прозвищу Мычало, отпрыск семьи бегов Турковичей из Незуков, вечная потеха горожан, взобрался на каменную ограду моста. Детский визг смешался с изумленными и встревоженными возгласами взрослых, а идиот тем временем, как зачарованный, раскинув руки в стороны и запрокинув голову назад, нога за ногу вышагивал по узкому каменному барьеру, словно танцуя и словно не было внизу под

ним пропасти с водой. Толпа детей и зевак подбадривала его. А на другом конце моста слабоумного поджидал его брат Али-ага, отлупивший его, как малое дитя.

Многие спускались вниз по реке, до Калаты или Мезалина — до них было полчаса ходу, и оттуда любовались мостом с его одиннадцатью арками разной величины, легкой белой арабеской повисшим между мрачными утесами над зеленой водой.

Как раз в те дни на мост была доставлена большая белая плита с высеченной надписью и вделана в воротах в стену из красноватого камня, что возвышалась на целых три аршина над оградой. Долгое время люди собирались у этой плиты и разглядывали ее, пока не подходил какой-нибудь грамотей или молодой богослов и сообразно своим возможностям не прочитывал ее за чашку кофе, ломоть арбуза или просто за спасибо.

По сто раз на день декламировались тогда строки тариха, хронограммы, написанные стамбульским стихотворцем Бади и сообщавшие имя и звание основателя этой постройки, а также счастливый год ее завершения, 975 по Хеджри, мусульманскому летосчислению, и 1571 по христианскому. Этот Бади за хорошие деньги слагал легкие и звучные стихи и очень ловко сбывал их вельможам для украшения возводимых или восстанавливаемых крупных построек. Те, кто знал стихотворца (и немного ему завидовал), с усмешкой замечали, что небесный свод единственное сооружение, на котором нет тариха, вышедшего из-под пера Бади. А между тем, несмотря на большие доходы, Бади оставался голью перекатной и вечно вел борьбу с той особенной бедностью, которая так часто неотвратимым проклятием преследует поэтов и избавить от которой не способны никакие вознаграждения и заработки.

Сообразно степени грамотности, упрямству и живости воображения каждый из местных школяров на свой особый лад читал и толковал тарих Бади на каменной плите, который, как и всякий текст, однажды брошенный в мир, увековеченный в камне на вечные времена, представал взорам и людскому суду, равно творимому умным и глупцом, злопыхателем и доброжелателем. При этом каждый слушатель запоминал те стихи, которые больше всего пришлись ему по нраву и отвечали его вкусам. И, таким образом, надпись, врезанная в твердый камень и открытая всем и каждому, передаваясь из уст в уста во многих вариантах, нередко изменялась и искажалась до полной бессмыслицы.

На камне было написано:

Смотрите! Здесь Мехмед-паша, мудрейший среди мудрых и величайший из великих своего времени,
Выполняя завет своего сердца, своей заботой и трудом
Возвел мост на реке Дрине.

Поставил его на этой реке, быстротечной и глубоководной,
Где предшественники его ничего поставить не могли.
Бог даст, постройка его будет прочной.
Да пройдет весь его век в счастье,
Да не ведать ему никогда грусти,
Ибо всю свою жизнь золото и серебро влагал он в пожертвования щедрые.
И никто никогда не скажет, что зря потрачено то,
Что пошло на такие дела.
Бади, свидетель счастливого окончания строительства сего,
Написал тарих:
«Благослови Господь эту постройку, этот прекрасный и красивый мост».

Наконец народ наелся, наудивлялся, находился по мосту и наслушался стихов тариха. Исчезло ощущение чуда, владевшего всеми в первые дни, мост вошел в повседневную жизнь, и люди проходили по нему торопливо, равнодушно, озабоченно и рассеянно, так же, как говорливая вода, текущая под ним, как будто и они шли не по мосту, а по привычной, протоптанной людьми и скотом дороге. А плита с надписью молчала, молчала, как и всякий камень.

Теперь левый и правый берег получили надежную переправу. Канул в вечность черный, источенный червями паром, а с ним и своенравные паромщики. Далеко внизу, под малыми пролетами моста, остались песчаные и каменистые кручи берегов, одинаково трудные для спуска и подъема, где так мучительно и часто напрасно дожидались переправы. Через капризную реку с ее неприютными берегами, будто по волшебству, перекинулся мост. Теперь прямо с одного высокого берега на другой переходили, точно на крыльях, по широкому длинному мосту, твердому и нерушимому, как утес, под копытами отзывавшемуся так, словно весь он был из одной-единой тонкой каменной плиты.

Исчезли и старые деревянные мельницы и развалины, где при нужде ночевали путники. Вместо них у дороги высилось основательное, раскошное здание караван-сарая, предоставлявшее приют путникам, а их становилось с каждым днем все больше. В караван-сарай вели широкие, красивые ворота. По обеим сторонам ворот были два большие окна, забранные решетками, но не железными, а выточенными из цельного куска известняка. Просторный четырехугольный двор позволял свободно разместить кладь и грузы, сюда же выходили двери от тридцати шести комнат. Позади, под горой, были стойла; ко всеобщему изумлению, и они тоже были из камня, словно предназначались для царской конюшни. Такого караван-сарая не было от Сараева до самого Адриатического моря. Здесь каждый мог провести сутки и совершенно бесплатно получить ночлег, очаг и воду для себя, для своих слуг и коней.

И все это, как и сам мост, было построено на средства великого визиря Мехмед-паши, того, кто шестьдесят с лишним лет

тому назад родился здесь, за этими хребтами, в горном селе Соколовичи, и с гурьбою сербских крестьянских детей был увезен в Стамбул для пополнения янычарского войска. Деньги на содержание караван-сарая поступали из вакуфа, основанного Мехмед-пашой на обширных угодьях во вновь завоеванных венгерских землях.

Так с возведением моста и караван-сарая покончено было, как мы видим, со многими невзгодами и бедами. Исчезла бы, может быть, и та необычная боль, которую визирь носил в себе с тех пор, как мальчиком его увозили из Боснии и он увидел вышеградский паром: острие черной боли временами раздирало пополам его грудь. Но Мехмед-паше не суждено было жить без этой муки и долго наслаждаться мыслью о своем вышеградском богоугодном вкладе. Вскоре после окончания последних работ, когда только-только гостеприимно распахнул свои ворота караван-сарай и молва о мосте разнеслась по свету, Мехмед-паша еще раз испытал в груди нестерпимо раздирающую боль, испытал в последний раз.

Однажды в пятницу, когда Мехмед-паша в сопровождении свиты входил в мечеть, к нему протиснулся юродивый, ободранный дервиш, и протянул левую руку за подаянием. Визирь обернулся и велел человеку из свиты подать ему, но в это самое время дервиш выхватил из правого рукава тяжелый мясницкий нож и со всей силой всадил его визирю между ребер. Свита зарубила дервиша на месте. Визирь и его убийца испустили дух одновременно. Несколько мгновений они еще лежали на серых каменных плитах перед мечетью рядом. Убитый преступник, огромный, полнокровный, с раскинутыми в стороны руками и ногами, как бы еще весь в гневном порыве своего безумного удара. А рядом с ним великий визирь в распахнутой на груди антерии и без чалмы, далеко отлетевшей в сторону. В последние годы жизни визирь усох и сгорбился, как-то потемнел и погрубел лицом. Растерзанный, с непокрытой головой, сжавшийся и ушедший в себя, сейчас он больше походил на престарелого, приконченного в драке крестьянина из Соколовичей, чем на поверженного высокого сановника, до этого мгновения управлявшего Турецкой империей.

Месяцы и месяцы прошли, прежде чем до Вышеграда достигла весть о гибели визиря, да и то не как точный и неопровержимый факт, а как смутный шепоток, который может быть и верным и неверным. Ибо в Турецкой империи не разрешалось распространение плохих известий и сообщений о разного рода несчастьях, даже если они происходили в соседних странах, не говоря уже о своих. Впрочем, в данном случае ни у кого и не было желания особенно распространяться о смерти великого визиря. Партия его

противников, в конце концов сумевшая его убрать, приложила все старания к тому, чтобы после пышных похорон визиря было предано забвению и всякое живое воспоминание о нем. А близкие Мехмед-паши, его сподвижники и приверженцы в Стамбуле, как правило, не имели ничего против того, чтобы о некогда великом визире говорили поменьше, справедливо полагая, что это только поможет им выслужиться перед новыми правителями и искупить свое прошлое.

Однако прекрасные сооружения на Дрине уже начали оказывать свое влияние на развитие торговли и сообщения, на жизнь города и всей округи и продолжали это делать, невзирая на живых и мертвых, на тех, кто возносится, или тех, кто падает. Город стал на глазах спускаться со взгорья к воде, быстро разрастаясь и теснясь к мосту и караван-сараю, прозванному народом «Каменным ханом».

Так возник мост с воротами и так вокруг него образовался город. В течение примерно трех столетий мост играл ту роль в развитии города и занимал то место в жизни его обитателей, о которых мы вкратце писали вначале. Основной же смысл его существования заключался, казалось, в его неизменном постоянстве. Его светлые очертания на фоне города никогда не менялись, как и контуры окрестных гор в небе. В череде перемен и стремительно отцветающих людских поколений он оставался неизменным подобно реке, текущей под ним. Старел, конечно, и мост, но по меркам временной шкалы, настолько раздвинутой в своих границах по сравнению не только с человеческим веком, но и продолжительностью жизни целого ряда поколений, что это старение невозможно было ощутить на глаз. Его век, хотя мост сам по себе и был смертен, представлялся беспредельным, потому что конец его не был виден.

V

Миновали первые сто лет — долгие годы, принесшие смерть многим людям и их творениям, но совсем не ощутимые для больших сооружений, построенных расчетливо и основательно, и мост с воротами и прилегающим к нему караван-сараем незыблемо стояли, неся свою службу, как и в первый день. Пронеслось бы над ними и второе столетие со сменами времен года и людских поколений, так и не оставив на них следа. Однако то, чего не могло сделать время, сделало изменчивое и непредвиденное стечение обстоятельств, сложившихся вдалеке от Вышеграда.

В те годы, в конце XVII века, в Боснии пели песни, говорили и шептались о Венгрии, которую после столетней оккупации

начали оставлять турецкие войска. Многие боснийские помещики, отстаивая в жестоких схватках свои венгерские владения, легли костьми на чужбине. И, надо полагать, им выпал более счастливый жребий, потому что тех, кто гол как сокол вернулся в Боснию на старые места после богатой и привольной жизни на обширных угодьях Венгрии, ждала тощая земля, стесненное и скудное существование. Смутные и слабые отголоски всего этого доходили и сюда, но никто никогда не думал, что эта песенная страна «Мадьярия» могла иметь какую-то связь с действительной и повседневной жизнью города. Однако случилось именно так. После того как турки ушли из Венгрии, за границами царства оказались, помимо всего прочего, и земли вакуфа, доходы с которого шли на содержание караван-сарая в Вышеграде.

И обитатели города и путники, за сто лет привыкшие к услугам «Каменного хана», никогда не задумывались о том, на какие средства он содержится и откуда они берутся. Люди пользовались караван-сараем, как пользуются благословенным плодоносным деревом у дороги, одновременно общим и ничьим; заученно поминали «упокой визиревой души», не думая о том, что он уже сто лет как мертв, и не задаваясь вопросом о том, кто же теперь печется и заботится о царских землях и доходных имениях. Трудно было предположить, что в мире все так сильно зависит одно от другого и так тесно связано даже на расстоянии. Поэтому не удивительно, что первое время в городе не замечали оскудения источника дохода. Прислуга работала, и караван-сарай по-прежнему принимал путешественников. Думали, что деньги запаздывают, как это и раньше бывало. Между тем проходили месяцы, а потом и годы, а деньги все не поступали. Слуги бросали службу. Тогдашний управляющий визирева наследия, Даут-ходжа Мутевелич, что значит «управитель» (так народ звал его, и это стало фамилией всего их рода), во все концы писал, но ответа не получал. Постояльцы сами обслуживали и себя, и свой скот и убирали караван-сарай, насколько считали необходимым, но за собой оставляли навоз и мусор, предоставляя другим чистить помещение и наводить порядок, как это делали они, застав здесь тоже все неубранным и загаженным. И при этом каждый оставлял после себя хоть немного больше грязи, чем заставал.

Даут-ходжа делал все, чтобы спасти караван-сарай от запустения и разрухи. Сначала он тратил свое, потом стал одалживать у родственников. И так из года в год поддерживал и подновлял ценное здание. Тем, кто упрекал его в том, что он губит себя, пытаясь сохранить то, что сохранить невозможно, он отвечал, что тратит свои деньги наилучшим образом, ибо дает их взаймы самому господу богу, не говоря уже о том, что он, как управитель,

последним покинет детище великого визиря, от которого, похоже, уже все отступились.

Никакие уговоры не могли отвратить этого мудрого, набожного, упорного и мужественного человека, память о котором долгие годы хранил город, от его безнадежных усилий. Самоотверженный труженик, он уже давно примирился с сознанием того, что человеку предназначено весь свой век провести в борьбе с порчами, смертью и исчезновением и что человек должен выстоять в этой борьбе и тогда, когда она совершенно безнадежна. И, сидя перед караван-сараем, разрушавшимся на его глазах, он отвечал тем, кто отговаривал его и жалел:

— Не надо меня жалеть. Мы все умираем единожды в жизни, а великие люди — дважды; один раз, покидая этот мир, а второй раз — с гибелью их творений.

Когда не стало денег на работников, Даут-ходжа, уже глубокий старик, своими руками выдирал бурьян у караван-сарая и делал мелкие починки. За этим его и застигла смерть, когда он однажды днем влез на крышу поправить съехавшую черепицу. Конечно, местному ходже не по плечу было спасти то, что было основано великим визирем, а ходом исторических событий обречено на гибель.

Со смертью Даут-ходжи «Каменный хан» начал быстро разрушаться. На каждом шагу являлись первые признаки запустения. Сточные канавы засорились и источали зловоние, прохудившаяся крыша протекала, в окна и двери немилосердно дуло, стойла погрязли в навозе и заросли бурьяном. А снаружи прекрасное каменное строение выглядело все таким же в своей совершенной и, казалось, нерушимой красоте. Большие сводчатые окна нижнего этажа с тонкими, как дорогие кружева, решетками, выточенными из цельного куска известняка, с прежним спокойствием смотрели на мир. Однако верхние, обыкновенные окна уже несли на себе печать обветшания. Мало-помалу путники перестали останавливаться здесь на ночлег или, в крайнем случае, ночевали в самом городе на постоялом дворе Устамуича за деньги. Все реже принимал гостей караван-сарай, хотя тут вместо платы требовалось только пожелать покой визиревой душе. В конце концов, когда стало ясно, что деньги не придут и нет никого, кто взял бы на себя заботу о детище визиря, люди, в том числе и новый управляющий, окончательно покинули «Каменный хан», предоставив ему, безмолвному и опустевшему, разрушаться и разваливаться, подобно всем покинутым и безнадзорным постройкам. Вокруг него разрослись лопухи, дуришник и крапива. На крыше гнездились и собирались крикливыми черными стаями галки и вороны.

Так раньше времени и неожиданно (такие вещи всегда приходят словно бы неожиданно!) брошенный на произвол судьбы «Каменный хан» начал превращаться в руины.

Однако если караван-сарай стечением особых обстоятельств должен был изменить своему предназначению и преждевременно превратиться в руины, то мост, не нуждавшийся в попечении и уходе, оставался все таким же неизменным и гордым и, как и в первый день своего существования, связывал два берега реки и переносил с одного на другой живой и мертвый груз.

В стенах его гнездились птицы, в неприметных трещинах, разъеденных временем, росли жидкие метелки травы. Пористый желтоватый камень, из которого был сложен мост, под переменным воздействием жары и влаги уплотнился и отвердел; исхлестанный ветрами, непрестанно дующими из конца в конец речной долины, исполосованный дождями, прожаренный палящим солнцем, камень с годами приобрел тусклую пергаментную белизну и светился в темноте, словно подсвеченный изнутри. Частые и грозные наводнения, державшие город в вечном страхе и трепете, не причиняли мосту вреда. Наводнения повторялись каждый год весной и осенью, но не всегда они были одинаково опасны и гибельны для города у моста. Дважды или, по крайней мере, раз в году вздувались замутившиеся воды Дрины и, с диким ревом проносясь под сводами моста, увлекали за собой поваленные ограды с полей, вырванные пни, темные груды листьев и ветвей из прибрежных лесов. От них неизменно страдали дворы, сады и амбары ближайших домов. Этим все и ограничивалось. Но с разрывом в двадцать-тридцать лет случались большие наводнения, их помнили так же, как помнят бунты или войны, и долго от них отсчитывали время, возраст построек и длительность человеческой жизни. («За пять-шесть лет до большого наводнения», «Во время большого наводнения».)

Эти наводнения мало что оставляли после себя из движимого имущества в большей части города, разместившегося на песчаной косе между Дриной и Рзавом. Они отбрасывали город на несколько лет назад. Очевидцы его остаток своей жизни проводили в возмещении убытков и утрат, нанесенных «большим паводком». Люди до конца своих дней в разговорах снова и снова возвращались к переживаниям той осенней ночи, когда при свете тусклых фонарей под ледяным дождем и обжигающим ветром они вытаскивали товары, каждый из своей лавки, и сносили их наверх на Мейдан, в чужие дома и лабазы. А на следующий день мглистым утром смотрели вниз с горы на город, который любили, как любят собственную кровь, неосознанной и горячей любовью, и видели, как улицами, кружась и пенясь, несется мутная вода, подступая под

самые крыши, и по этим крышам, с которых вода с треском отдирала доску за доской, догадывались, чей дом еще стоит.

На славах, рождественских праздниках или в рамазанские ночи седые, отяжелевшие, обремененные заботами старики оживлялись и становились разговорчивыми, едва речь заходила о самом главном и тяжком событии их жизни — наводнении. По прошествии пятнадцати, а то и двадцати лет, в течение которых люди копили и обзаводились новым хозяйством, паводок представал перед ними страшным и величественным, дорогим и близким; он нерушимыми узами связывал еще живых, но уже сильно поредевших свидетелей, ибо ничто так не объединяет людей, как совместно и благополучно пережитое несчастье. Так же и они чувствовали себя прочно связанными памятью о минувшей беде и поэтому так любили вспоминать о самом страшном ударе, постигшем их в жизни, и находили в этом удовольствие, недоступное молодым. Воспоминания эти неисчерпаемы, и люди возвращаются к ним, не зная устали; они дополняют друг друга и подсказывают, стоит им посмотреть друг другу в поблекшие склеротические глаза, и они видят в них то, чего молодые не могут себе даже и вообразить; они загораются от собственных слов, глушат нынешние мелкие заботы воспоминаниями о тех, гораздо более серьезных, давно и успешно ими изжитых.

Сидя в теплых комнатах своих домов, через которые когда-то прокатилось наводнение, старики с особым наслаждением в сотый раз пересказывают отдельные трогательные или трагические эпизоды. И чем страшнее и мучительней рассказ, тем большее удовольствие он доставляет. В радужном тумане легкой ракии или табачного дыма истории эти часто выглядят преображенными временем и вымыслом, преувеличенными и приукрашенными, но никто из стариков этого не замечает, и каждый готов побожиться, что все было именно так, ибо все они бессознательно участвуют в этом непроизвольном украшательстве.

Во все времена можно было найти несколько стариков, помнивших последнее «большое наводнение», о котором они могли между собой бесконечно говорить, твердя молодым, что нет больше таких бед, но нет и прежней красоты и благодати.

Одно из самых больших когда-либо бывших наводнений случилось в последний год восемнадцатого века, и оно особенно долго вспоминалось и переживалось.

Выпало оно на долю того поколения, в котором, как потом рассказывали старики, не осталось почти никого, кто бы помнил предыдущие большие наводнения. Однако в те дождливые осенние дни все были начеку, хорошо зная, что «вода коварна и зла». Освободили склады, ближе других стоявшие к реке, ночью с фонарем

ходили по берегу, прислушиваясь к шуму реки; старые люди утверждали, что по гулу воды можно угадать, будет ли разлив одним из тех обычных, что случались ежегодно, нанося городу незначительный ущерб, или тем, к счастью редким, большим разливом, что затоплял и мост и город и сносил все недостаточно прочно и основательно построенное. Следующий день показал, что вода в Дрине не прибывает, и к вечеру город погрузился в глубокий сон, так как люди были утомлены волнениями предыдущей бессонной ночи. Вот так и обманула их вода. Ночью стремительно и небывало поднялся Рзав и, красный от глины, перегородил и запер Дрину в устье. Воды обеих рек сомкнулись над городом.

У Суляги Османагича, одного из самых крупных турецких богатеев, был тогда чистокровный арабский жеребец неслыханной цены и красоты. Едва запруженная Дрина устремилась в город, арабский жеребец пронзительно заржал и не умолкал до тех пор, пока не разбудил хозяина и слуг и его не вывели из конюшни, стоявшей на самом берегу реки. Так была разбужена большая часть города. Под холодным дождем и бешеным ветром непроглядной октябрьской ночи люди начали спасать то, что еще можно было спасти. Полуодетые, по колено в воде, они выносили на плечах разбуженных и плачущих детей. Испуганно блеял скот. То и дело раздавался глухой треск налетавших на быки каменного моста бревен и коряг, принесенных Дриной из затопленных лесов.

На Мейдане, куда вода никогда и ни в каком случае не могла добраться, все окна освещены, и бледные пятна фонарей, приплясывая, мельтешат в темноте. Все дома открыты и принимают пострадавших, промокших, подавленных людей с детьми или самым необходимым скарбом в руках. В хлевах тоже разложены костры, возле них сушатся те, для кого не нашлось места в домах.

Первые граждане города, пристроив своих домочадцев, турок — в турецкие, сербов и евреев — в христианские дома, собрались в большом помещении нижнего этажа дома хаджи Ристо. Здесь муктары всех городских кварталов, они устали и промокли, пока перебудили и разместили под кров жителей подопечных им кварталов. Турки, христиане и евреи сидят бок о бок. Грозная сила стихии и тяжесть общей беды сблизила этих людей и хотя бы на один этот вечер перекинула мост через пропасть, отделявшую разные веры одну от другой и в особенности райю от мусульман. Здесь Суляга Османагич, газда Петар Богданович, Мордо Папо, поп Михайло, могучий, немногословный, но острый на язык приходской священник, грузный и серьезный мулла Исмет, вышеградский ходжа, и Элиас Леви по прозванию хаджи Лиачо, еврейский раввин, известный далеко за пределами города своей справедливостью и прямотой. И еще человек десять торговцев всех трех ре-

лигий. Промокшие, бледные, со сведенными скулами, но с виду невозмутимые, они сидят, курят и говорят о том, какие меры для спасения имущества припяты и какие еще надо предпринять.

К ним поминутно входят люди помоложе, с которых вода стекает ручьями, и сообщают, что все живое выведено на Мейдан или за Град и размещено по турецким и христианским домам и что вода продолжает прибывать, захватывая квартал за кварталом.

Ночь текла — текла медленно, нескончаемо, казалось, она росла и вздымалась, подобно воде в долипе,— и городские тузы и торговцы взялись за ракию и кофе, пытаясь хоть как-то согреться. И все перенеслись в какой-то другой мир, обособленный и теплый, реальный и все же нереальный, не такой, как был вчера, и не такой, как будет завтра: зыбкий островок в океане времени. Разговор оживлялся и креп и, словно по безмолвному уговору, то и дело менял направление: избегали касаться даже старых наводнений, известных только понаслышке; говорили о вещах, никак не связанных с водой и разразившейся катастрофой.

Отчаявшиеся, они предпринимали отчаянные попытки казаться беззаботными и равнодушными, почти что легкомыслепными. По некоему невысказанному и суеверному уговору и по неписаным, но священным старинным, купеческим правилам приличия и гордой сдержанности, каждый присутствующий считал себя обязанным собраться с духом и в этот час, перед лицом несчастья, которое невозможно отвратить, подавить свои страхи и опасения и говорить шутливым тоном о посторонних предметах.

Но едва за разговором они стали обретать успокоение и в мгновениях забытья черпать силы, столь необходимые им для завтрашнего дня, как пришли какие-то люди и привели с собой Косту Баранаца. Совсем еще молодой торговец был мокр до нитки, распоясан и по колено в грязи. Оглушенный многолюдием и светом, он как со сна оглядывал себя и стирал всей пятерней воду с лица. Ему дали сесть и предложили ракии, но ему никак не удавалось поднести стакан к губам. Он дрожал всем телом. Прошел шепоток, что он пытался кинуться в мутный поток, что мчался сейчас по песчаному берегу реки как раз над крышами его амбаров и складов.

Человек молодой и нездешний, Коста Баранац двадцать лет тому назад был отдан сюда в услужение, позднее женился, вошел в зажиточный дом и скоро повел дела самостоятельно. Крестьянский сын, он за короткий срок несколькими бесцеремонно-наглыми спекуляциями неслыханно обогатился, сразу обойдя многих других торговцев, но не привык терпеть убытки и переносить неудачи. И в эту осень он сделал огромные запасы сливы и ореха, намного превзойдя свои реальные возможности и рассчитывая зимой дикто-

вать цены на чернослив и орехи и таким образом покрыть долги и заработать так же, как в прошлом году. Теперь он был вконец разорен.

И снова должно было пройти какое-то время, чтобы рассеялось впечатление, произведенное на всех видом этого погибшего человека. Ведь всем им в большей или меньшей степени нанесло урон нынешнее наводнение, просто в силу врожденного чувства собственного достоинства они лучше владели собой, чем этот выскочка.

Старейшины города снова перевели разговор на безобидные и отвлеченные темы. Потекли длиннейшие сказания о прошлых временах, никак не связанные с тем несчастьем, которое загнало их сюда и сдавливало кольцом.

Пили обжигающую ракию, и возникали в рассказах, как живые, неповторимые образы далеких дней, воспоминания о местных чудаках и всяких смешных и необыкновенных происшествиях. Поп Михайло и хаджи Лиачо предводительствовали. И если речь нечаянно касалась прежних наводнений, то разве что в связи с чем-нибудь легким и забавным — или, по крайней мере, казавшимся таковым по истечении многих лет — и будто бы в насмешку и наперекор теперешнему. Вспоминали отца Йована, приходского священника, который здесь когда-то служил и пользовался у своих прихожан репутацией человека доброго, но «не легкой руки», отчего молитвы его плохо доходили до бога.

С летней засухой, нередко гибельной для всего урожая, отцу Йовану регулярно не везло, так как после того, как он с крестным ходом обходил поля, творя молитву о ниспослании дождя, обычно наступала еще более страшная сушь и жара. И когда однажды осенью после засушливого лета вода в Дрине стала прибывать, угрожая наводнением, и отец Йован вышел на берег, собрал людей и обратился к богу с мольбой остановить дождь и обуздать воду, некто Йокич, местный пьяница и лодырь, уверенный, что бог обыкновенно посылает как раз обратное тому, что просит поп, громко крикнул:

— Не эту, батюшка, читай, не эту, а летнюю давай, дождливую, тогда, бог даст, вода-то и уймется.

Полнотелый и тучный Исмет-эфенди вспомнил своих предшественников и их борьбу с разливами. Однажды во время давнего паводка вышли два вышеградских муллы читать молитву против постигшей их напасти. У одного муллы дом был в нижней части города, и вода грозила его затопить; у второго же — на взгорье, недоступном разливу. Первым стал читать молитву мулла из верхнего города, и вода нипочем не отступала. Тут один оседлый цыган, дом которого стал уже погружаться в воду, как закричит:

— Да дайте же, люди, сюда второго муллу, чей дом под водой, как и наши. Не видите, что ли, этот, сверху, молит господа вполсилы!

Хаджи Лиачо, румяный и смеющийся, с буйными завитками белых волос, выбивавшихся из-под чересчур плоской фески, развеселившись, кричал священнику и мулле:

— Не очень-то поминайте разливные молитвы, не то еще и наши про них вспомнят, да и выставят всех троих под ливень читать молитвы и заговаривать воду.

Так, сменяя друг друга, текли истории, сами по себе неважные и мало что говорящие постороннему человеку и только для них одних, людей одного поколения, наполненные особым смыслом и значением; простодушные и незатейливые, но близкие и понятные им воспоминания об однообразной, прекрасной и тяжкой жизни города — их собственной жизни; измененные временем, полустертые, нерасторжимо связанные с каждым из сидящих здесь и вместе с тем далекие от трагедии нынешней ночи, которая свела их в этот фантастический круг.

Так именитые граждане города, закаленные и с детских лет привыкшие терпеть самые разные невзгоды, коротали ночь «большого наводнения» и, находя в себе силы шутить и смеяться перед лицом надвигающейся катастрофы, пытались обмануть судьбу, коль скоро ее было невозможно отвратить.

Однако под маской напускной веселости души их точила тревога, за шуткой скрывались тяжкие мысли, а слух поневоле ловил завывание ветра и рев папиравшей воды из долины, где каждый из них бросил все, что имел. А утром следующего дня, после бессонной ночи, стоя на Мейдане, они смотрели на свои дома, затопленные водой, одни до середины, другие под самую крышу. Тогда же в первый и последний раз они видели свой город без моста. Вода поднялась на целых десять метров, заполнила широкие и высокие арки и переливалась через мост, скрывшийся под ней. Лишь площадки ворот выступали над мутной водой и окатывались волнами, как порог речного переката.

А два дня спустя вода стремительно спала, небо очистилось и засияло солнце, теплое и щедрое, какое порой выдается в октябре в этом благодатном краю. В блеске сверкающего дня город выглядел страшным и жалким. Цыганские и бедняцкие лачуги на песчаном откосе скособочились под натиском воды, многие остались без крыш, известку и глину смыло, так что обнажились черные каркасы из ивовых прутьев, напоминавшие скелеты. Посреди дворов с разрушенными заборами зияли пустыми глазницами окон городские дома; на каждом красная полоса речного ила, указывающая, куда доходила вода. Многие хлева унесло, плетеные амбары

перевернуты. В низких лавках ил стоял по колено, затопив все не вынесенные вовремя товары. В проулках застряли целые деревья, принесенные водой, и вздувшиеся туши затопувшего скота.

Вот во что превратился их город, куда им теперь предстояло сойти и где они должны были продолжать жить. А над размытыми берегами, над шумными валами воды, по-прежнему мутной и бурной, сверкал на солнце мост, целый и невредимый. Вода достигала середины опорных быков, отчего казалось, будто под мостом протекала какая-то другая река, более глубокая и полноводная. Осевший вдоль ограды ил, который засыхал и трескался на солнце, залежи веток и водорослей, образовавшиеся в воротах, совершенно не меняли внешний вид моста, он один без всякого ущерба для себя перенес наводнение и вынырнул из него невредимым.

Все в городе рьяно взялись работать и зарабатывать, восстанавливать разрушенное и не имели времени задумываться о смысле и значении победного существования моста, но все же посреди хлопот людей не покидало ощущение, что в многострадальном городе, где вода буквально ничего не пощадила, что в этой их юдоли есть твердыня, которой не страшны никакие стихии, ибо в совершенстве ее пропорций, в скрытой мудрости ее мощных конструкций заключена сила, способная твердо и нерушимо вынести любые испытания.

Зима пришла в тот год небывало жестокая. Все, что было уже припасено во дворах и плетеных амбарах: дрова, зерно, сено,— унесло наводнение; надо было поправлять дома, стойла и ограды и брать в долг новые товары вместо тех, что уничтожены в лабазах и лавках. Коста Баранац, больше всех пострадавший из-за своих рискованных спекуляций со сливами, не пережил эту зиму: умер от горя и позора. Осталась после него куча малых детей, беззащитных сирот, да мелкие, но рассеянные по всем окрестным селениям должники. А память о нем сохранилась как о человеке, замахнувшемся на то, что ему не по силам.

Но уже следующим летом воспоминания о «большом наводнении» стали переселяться на хранение к более пожилым, где им долго еще предстояло жить, а молодежь пела, болтала, сидя на белых и гладких каменных скамьях ворот над водой, протекавшей глубоко внизу и своим рокотом вторившей их песне. Забвение все исцеляет, а песня — лучший способ забвения, ибо она напоминает лишь о том, что дорого.

Так в воротах, между небом, рекой и горами, поколение за поколением училось не очень горевать о том, что уносит мутная вода. Здесь они впитывали в себя неосознанную философию города: жизнь — необъяснимое чудо, ибо, уходя и отцветая, она все же остается, нерушима и стойка, «как на Дрине мост».

VI

Кроме наводнений, мост с его воротами терпели еще и другие напасти, приносимые превратностями исторических событий и человеческих конфликтов; но они еще меньше, чем водная стихия, могли повредить мосту и причинить ему сколько-нибудь заметный урон.

В начале прошлого века в Сербии подпялось восстание. Город, расположенный на самой границе Боснии и Сербии был тесно связан с ней и со всем, что там происходило, словом, сросся с Сербией, как «ноготь с пальцем». Ничего из того, что случалось в Вышеградской округе,— был ли то мор, неурожай, злодейство или мятеж,— не могло оставить равнодушными жителей Ужицкого края, и наоборот. Правда, на первых порах событие это показалось слишком далеким и незначительным; далеким — ибо разыгралось оно на другом конце белградского пашалыка; незначительным — ибо слухи о возмущениях не составляли особой новости. С того времени, как существует царство, существуют и бунты, ибо нет власти без бунтов и заговоров, как нет богатства без забот и убытков. Но постепенно сербское восстание начало все сильнее вторгаться в жизнь боснийского пашалыка и, особенно, города, расположенного в часе ходьбы от границы.

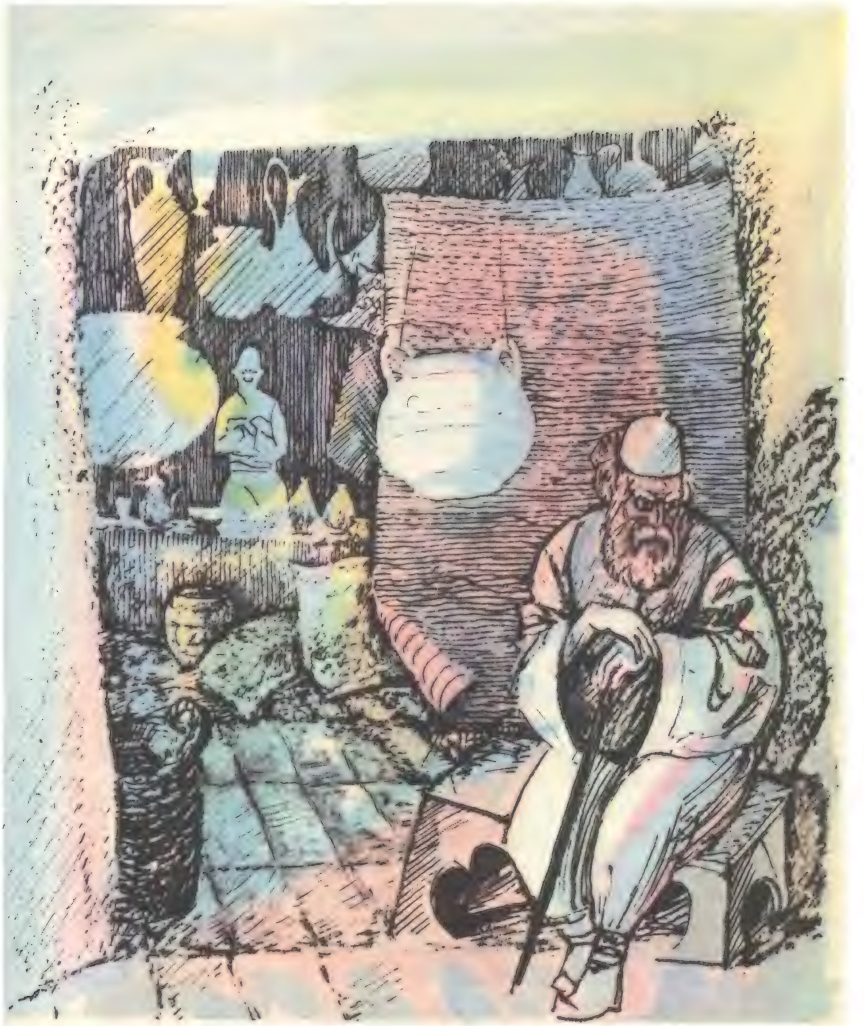
По мере того как в Сербии разгорался мятеж, от боснийских турок требовали все больше людей и различных поставок для армии. Добрая половина воинских частей и обозов, переправлявшихся в Сербию, проходила через город. Это было весьма разорительно, хлопотно и опасно и для турок, но в особенности для сербов, подозреваемых, притесняемых и обираемых в те годы, как никогда раньше. В конце концов настало лето, когда волна восстания докатилась и до этих краев. Обойдя Ужице, восставшие остановились в двух часах ходьбы от города. В Велетове они выстрелом из пушки разрушили башню Лутви-бега, а в Црнче пожгли турецкие дома.

В Вышеграде нашлись и турки и сербы, утверждавшие, что своими ушами слышали пальбу карагеоргиевской пушки. (Конечно, с совершенно противоположными чувствами.) Но если и могло быть спорным, что отзвуки сербского орудия восставших достигли городка,— ибо человеку часто чудится, что он слышит то, чего боится или ожидает,— то ни в ком не вызывали сомнения костры, разложенные мятежниками ночью на Паносе, крутой и голой горной гряде между Велетовом и Гостилем, на которой из города невооруженным глазом можно было пересчитать редкие сосны. Костры прекрасно видели и внимательно изучали и турки и сербы, хотя и те и другие делали при этом вид, что ничего не заме-

чают. Из потушенных окон или из темноты густых садов и те и другие следили за тем, как они загорались, передвигались и гасли. (Женщины крестились в темноте и плакали от неизъяснимого умиления, и в их слезах преломлялись отблески мятежных костров, как чуть не три столетия назад их прабабкам с того же самого Мейдана и точно так же сквозь слезы виделось призрачное сияние над могилой Радисава.)

Трепетные, неровные огни на черном фоне летней ночи, сравнявшей горы с небом, сербам представлялись неким новым созвездием, по которому они жадно читали смелые пророчества и, замирая, заглядывали в будущее, стараясь угадать свою судьбу. Для турок это были первые волны огненного моря, бушевавшего в Сербии и теперь вот подобравшегося к горной гряде над их городом. Летними ночами молитвы и помыслы тех и других витали вокруг этих огней, хотя и были совершенно противоположными. Сербы молили всевышнего, чтобы спасительное пламя, росток которого каждый из них лелеял и бережно таил в своей душе, разгорелось и распространилось на наши горы; турки же просили бога задержать его, сбить и потушить, посрамив тем самым изменнические замыслы неверных и восстановив старые порядки и добрый мир истинной веры. Опасливый и страстный шепот наполнял те памятные ночи, в непроглядную синюю тьму над городом выплескивались незримою волной взлеты отчаянных дум и мечтаний, самых дерзких желаний и планов и, сталкиваясь в вышине, скрещивали копья, стараясь одолеть друг друга. А назавтра, когда занимался новый день, торопясь по делам, сербы и турки встречали друг друга с потухшими, бесстрастными лицами, здоровались, перебрасываясь сотней слов из словаря провинциальной учтивости, издавна имевшего хождение в городе и передававшегося от одного к другому, как фальшивая монета, которая все же создает и облегчает общение.

И когда где-то после ильина дня исчезли с Паноса огни и мятежный разлив отхлынул из Ужицкого края, ни та, ни другая сторона опять-таки не обнаружила друг перед другом истинных чувств. Да и трудно было сказать, каковы были истинные чувства тех и других. Турки, довольные отступлением восстания, уповали на то, что оно и вовсе захлебнется и иссякнет, как и положено любой безбожной и мерзкой затее. И все же их торжество было неполным и не безоблачным, ибо его омрачали трудно забываемые воспоминания о слишком уж близкой опасности. Многим из них долго потом еще мерещились по ночам всполохи мятежных костров, роем фантастических искр рассыпанных по окрестным горам, и чудилась стрельба карагеоргиевской пушки, причем на сей раз это был не отдаленный гул, а грохот всесокрушающей канонады.



Мост на Дрине

Сербов же, понятно, исчезновение огней на Паносе повергло в уныние и разочарование, однако в глубине души, в самых заповедных и сокровенных таiниках ее, которые никому не открывают, жила память о том, что было, и вера в то, что бывшее один раз может и повториться; с ними осталась надежда, безумная надежда, великое преимущество угнетенных. Ибо те, что властвуют, и должны угнетать, чтобы властвовать, вынуждены подчиняться рассудку; и стоит им в порыве страсти или под нажимом противника переступить в своих действиях границы разумного, как они скатываются на скользкий путь и сами обозначают этим начало своего конца. Между тем угнетенные и порабощенные пускают в ход и разум, и безумие, так как это всего лишь два вида оружия в непрестанной то тайной, то открытой борьбе против притеснителей.

К тому времени значение моста как единственной надежной связи между боснийским пашалыком и Сербией необычайно возросло. В городе стоял теперь постоянный гарнизон, не распускавшийся даже в периоды длительного затишья и охранявший мост через Дрину. Чтобы легче и с наименьшей затратой сил выполнять эту задачу, войско додумалось соорудить посреди моста дощатую караульную вышку, настоящее страшилище по уродству формы, расположению и материалу, из которого она была сделана. (Но все на свете армии возводят для каких-то своих особых и сугубо временных целей подобные постройки, которые потом с точки зрения гражданской жизни и потребностей мирного времени представляются абсурдными и бессмысленными.) Это был целый двухэтажный дом, нелепый и наспех сколоченный из неотесанных досок, со сквозным тоннелем над проезжей частью моста. Держался он на крепких подпорках, как бы взгромоздясь на мост верхом, и двумя своими крыльями покоился на балконах ворот, одним на левом, другим на правом. Под ним оставался свободный проезд и проход для телег, всадников и пеших, но с верхнего этажа надстройки, где находились караульные и куда вела наружная лестница из сосновых досок, можно было видеть каждого прохожего, у каждого проверить бумаги и багаж, а в случае необходимости в любой момент закрыть проход.

Строение, безусловно, исказило внешний облик моста. Прелестные ворота исчезли под дощатой нашлепкой, напоминающей гигантскую безобразную птицу на толстых ногах-подпорках.

В тот самый день, когда караульня, еще хранившая острый запах свежей сосновой древесины и гулко отзывавшаяся на звук шагов, была готова, в ней обосновались солдаты. И как только рассвело, в нее, как в капкан, уже попались первые жертвы.

Под низким красным солнцем раннего утра у караульни собрались солдаты и несколько вооруженных турок, в помощь регу-

лярному войску обходивших город ночным дозором. В центре этой толпы сидел на бревне начальник караула, а перед ним стоял старец, бродяга и богомолец, не то монах, не то нищий, скромного и тихого обличья, несмотря на убогость, чистенький и приятный и при своих сединах и морщинистом лице просветленный, улыбчивый. Это был божий человек Елисие из Чайнича. Уже много лет обходил он с неизменной своей просветленной улыбкой, всегда одинаково торжественный и тихий, церкви и монастыри, ярмарки и славы; молился богу, клал поклоны и постился. Раньше, снисходя к его набожности и слабоумию, турецкие власти не чинили препятствий божьему страннику, разрешая ему ходить где вздумается и говорить что угодно. Теперь же, после восстания в Сербии, времена переменились и порядки стали круче. Из Сербии в Вышеград перебралось несколько турецких семейств, у которых бунтовщики все сожгли; они разжигали пламя ненависти и взывали к отмщению. Всюду были выставлены постовые и усилен надзор, а местные турки, недовольные, угрюмые и злые, алчущими крови глазами озирались вокруг, готовые заподозрить правого и виноватого.

Старец шел из Рогатицы и на свою беду оказался первым, кто ступил на мост в тот день, когда была закончена караульня и пост заняла первая смена часовых. Правда, появился он здесь в неурочный час, еще как следует не рассвело, да к тому же еще с толстой палкой, испещренной таинственными знаками и письменами, которую он нес перед собой точно горящую свечу. Караульня вцепилась в старца, как паук в муху. Ему учинили короткий допрос. Велели сказать, кто он, что он и откуда и что означают узоры и письмена на его палке. Он отвечал с готовностью, часто даже подробнее, чем его спрашивали, говорил свободно, словно перед престолом божьего суда, а не перед злобными турками. Сказал, что он никто и ничто, странник на земле, прохожий в этом преходящем времени, тень на солнце, малую толику отпущенных ему дней скоротечной жизни проводящий в молитве, с которой он идет от монастыря к монастырю, пока не обойдет все святые места, богу завещанные постройки и гробницы сербских царей и вельмож. Лики и надписи на палке обозначают времена свободы и величия Сербии как в прошлом, так и в будущем. «Ибо,— сказал старичок, кротко и застенчиво улыбаясь,— приближается час воскрешения, и, судя по тому, что говорится в книгах и делается на земле и в небе, оно уже совсем близко. Воскресает царство, искупленное страданиями и основанное на справедливости».

— Знаю, господа, неприятно вам такое слушать и не следовало бы вам этого и говорить, но вы меня остановили и велели вам все по правде сказать, так что уж мне податься некуда. Правда —

это бог, а бог один! А теперь прошу вас, отпустите меня, потому что мне нужно еще нынче в Банью попасть, в монастырь Святой Троицы.

Толмач Шефко, с величайшими и бесплодными муками отыскивая в своих скудных познаниях турецкого языка выражения для отвлеченных понятий и слов, переводил речь старика. Начальник караула, болезненный анатолиец, еще не вполне очнувшись от сна, слушал туманный и бессвязный перевод и время от времени кидал взгляд на старика, который без боязни и тени дурной мысли как бы подтверждал глазами, что все именно так, как говорит толмач, хотя не понимал по-турецки ни слова. Начальник караула в глубине души был убежден, что перед ним просто сумасшедший неверный дервиш, простодушный и безопасный. К тому же и в подозрительной палке старца, перерубленной в нескольких местах в тщетных поисках тайника с письмом, ничего не нашли. Но в переводе Шефко речи старика казались сомнительными, отдавали политикой и опасными замыслами. Что касается его, то он, начальник караула, отпустил бы блаженного старца с миром, пусть идет своей дорогой, но вокруг теснились солдаты и горожане, слышавшие допрос. Здесь же был и фельдфебель Тахир, подлый пакостник с воспаленными веками; он и так уже неоднократно оговаривал перед властями своего начальника, изобличая в попустительстве и недостаточной строгости. Да и Шефко, известный доносчик и злобный кляузник, явно передергивая слова старика, чтоб только подвести под удар восторженную голову, надо думать, не упустит случая сделать или поддержать любую гадость. Кроме того, здесь были местные турки-добровольцы, с угрюмой важностью обходившие дозором город, хватая всех сомнительных и непрошенно вмешиваясь в служебные дела. Все сошлись пьяные от озлобления, от жажды мстить, казнить и изничтожать кого придется, коль нельзя того, кого бы хотелось. Начальник караула не разделял и не одобрял их злобных чувств, но прекрасно видел, что для них решительно необходимо, чтобы постовые в первое же утро отыскали жертву, и сильно опасался, как бы самому ему не пострадать от их хмельной ненависти, если он им воспротивится. При этом самая мысль о возможных неприятностях из-за какого-то юродивого старика представлялась ему верхом нелепости. Да старик все равно недалеко бы ушел со своими россказнями про сербское царство в этом растревоженном турецком улье. Так пусть его цесет мутный поток...

Только солдаты успели связать старика и начальник караула собрался идти в город, чтобы не видеть казни, как появились стражники и турки и привели плохо одетого сербского парня. Одежда его была изорвана, лицо и руки исцарапаны. Это был

некий Миле, безродный бедняк из Лиески, служивший на водяной мельнице в Осойнице. Могучий, пышущий здоровьем детина лет девятнадцати.

Засыпав до света ячмень в жернова и открыв большой водяной желоб, Миле пошел в лесок над мельницей нарубить дров. Размахиваясь, он, как былинки, срубал податливые ольховые стволы, наслаждаясь свежестью раннего утра и легкостью, с которой дерево падало под топором. Его радовали движения собственного тела, но топор был острый, а дерево слишком тонко для силы, разгулявшейся в нем. Что-то поднималось в нем, прорываясь громкими возгласами при каждом новом взмахе. Эти возгласы учащались, зацеплялись друг за друга и связывались. И Миле, как и все уроженцы Лиески, лишенный голоса и слуха, запел, вернее, заголосил в глубине тенистой рощи. Бездумно и беспечно распевал он то, что слышал от других.

В то время, когда «поднялась» Сербия, народ из старинной песни:

Когда Али-бег юный бегом был,
Девушка знамя перед ним несла,—

сделал новую:

Когда Георгий юный бегом был,
Девушка знамя перед ним несла.

В той великой и причудливой борьбе, которая веками велась в Боснии между двумя различными верами, а вернее, под видом веры за право обладания землей и властью и за свои исконные понятия о жизни и устройстве мира, противники похищали друг у друга не только женщин, коней и оружие, но также и песни. И стихотворные строчки нередко переходили из рук в руки, как драгоценный трофей.

Итак, эта песня в последнее время пелась сербами, но с осторожностью и потихоньку, подальше от турецких ушей, при запертых дверях, на праздниках и на далеких горных выпасах, куда никогда не ступала нога турка и где ценой полуголодного отшельничества человек получал возможность вести вольготную жизнь и петь без оглядки. Именно эту самую песню и угораздило затянуть беднягу Миле, работника с мельницы, в роще, под самой дорогой, по которой проезжали олуякские и ораховацкие турки в город на базар.

Заря заиграла на дальних вершинах, а тут у него, на теневой стороне, еще почти совсем темно. Он вымок в росе, но после здорового ночного сна, свежеиспеченного хлеба и спорой работы тепло ему. Размахнувшись, подсекает он под корень стройную ольху, и она сама так и клонится ниц, словно молодая к кумовой руке; обсыплет Миле холодной росой, будто мелким дождем, да так и

застынет в поклоне, потому что из-за буйных зарослей невозможно ей упасть на землю. А он обрубает тогда топором ее зеленые ветки, одной рукой, играючи. И при этом распевает песню во все горло, с наслаждением смакуя отдельные слова. «Георгий» это что-то неясное, но величественное и смелое. «Девушка» и «знамя» тоже вещи ему незнакомые, но в то же время странным образом созвучные самым заветным и странным его мечтам: иметь девушку и нести знамя! Произносить эти слова и то сладостно. И он в приливе новых сил громко повторяет их снова и снова и, загораясь от самого их звучания, ощущает неодолимую потребность выкрикивать их и твердить без конца.

Так распевал Миле на рассвете, пока не нарубил достаточно веток и дров, за которыми и ходил в рощу, а потом спустился росистым откосом, волоча за собой огромную вязанку. Перед мельницей толпились турки. Привязали коней, поджидают чего-то. Человек так с десять. И Миле сразу стал таким, каким ушел за дровами,— неуклюжим, оборванным и безответным, без Георгия перед глазами и без девушки со знаменем. Турки подождали, пока он отложит в сторону топор, и напали на него всем скопом, а потом, связав его после непродолжительной борьбы длинной веревкой от недоуздка, повели в город. Дорогой они били его палкой по спине и поддавали ногами в зад, спрашивая, где теперь его Георгий, и ругали девушку и знамя.

В воротах подле караульни, несмотря на ранний предрассветный час, кроме солдат и блаженного старца, только что связанного по рукам и ногам, уже теснились зеваки из города. Среди них были и турки-погорельцы, бежавшие из Сербии. Все при оружии и важные, словно предстоит крупное событие или решительная битва. Возбуждение их росло вместе с поднимавшимся солнцем. А солнце всходило все выше и выше в розовом мареве, озарявшем край горизонта вдали над Голешем. Оторопевшего парня встретили так, словно он был вождем восставших, хотя он был ободран и жалок, и привели его с левого берега Дрины, где никакого восстания не было.

Ораховацкие и олуякские турки, возмущенные дерзостью, по их понятиям, безусловно намеренной, донесли, что парень возле самой дороги нагло распевал песню про Карагеоргия и воинов неверных. Правда, малый ничуть не походил на героя и страшного вожака. Перепуганный, в мокрых отрепьях, избитый и исцарапанный, он был бледен и косящими от ужаса глазами поедал начальника караула, как бы ища у него спасения и защиты. Редко спускаясь в город, Миле не знал, что на мосту поставили караульню; и от этого все казалось ему еще более странным и невероятным, как будто бы он во сне попал в неведомый город, к неведомым

людям. Заикаясь и глядя себе под ноги, парень уверял, что ничего он такого не пел и туркам никогда и ничего обидного не делал, что он бедняк, работает на мельнице и рубил в лесу дрова, а за что его схватили, он и сам не знает. Он дрожал от страха и действительно никак не мог уразуметь, что такое стряслось, каким образом его вырвали из того возвышенного настроения в прохладной тени, почему он вдруг очутился здесь в воротах, избитый и связанный, в центре всеобщего внимания, среди людей, ждущих от него объяснений. А про ту невиннейшую песню, что он недавно распевал, он и правда уже позабыл.

Но турки стояли на своем: неверный пел повстанческие песни в то самое время, как они проезжали мимо, и оказал сопротивление, когда они его стали связывать. И это каждый из них подтвердил клятвенно начальнику караула, который их допрашивал.

— Богом клянешься?

— Клянусь!

— Клянешься аллахом?

— Аллахом клянусь!

И так три раза. После этого парня толкнули к Елисию и пошли будить палача, спавшего, по всей видимости, самым крепким сном. Старик оглядел малого, который застенчиво моргал глазами, растерянный и сконфуженный,— не привык, видно, стоять на виду у всех.

— Как звать-то тебя? — спросил старик.

— Миле,— проговорил парень с покорной готовностью, как бы продолжая отвечать туркам на их вопросы.

— Миле, сынок, давай поцелуемся.— И старец приклонил свою седую голову к его плечу.— Поцелуемся и перекрестимся. Во имя отца и сына и святого духа, во имя отца и сына и святого духа. Аминь.

Палач уже приближался, и, так как руки у них были связаны, старец перекрестил себя и молодого парня одними словами.

Палач, из здешних же солдат, быстро сделал свое дело, и первые прохожие, по случаю базарного дня спускавшиеся в город с гор и переходившие мост, могли уже видеть две головы, насаженные на свежие сучковатые колья возле караульни, и присыпанное галькой и притоптанное кровавое пятно на месте казни.

Так начал действовать сторожевой пост на мосту.

С этого дня в ворота приводили всех схваченных с поличным или по подозрению в причастности к восстанию, независимо от того, где они были взяты — на мосту или где-нибудь на границе. И те, кто однажды был приведен к караульне связанным и допрошен, редко уходили отсюда живыми. Здесь отсекали их горячие или просто незадачливые головы и насаживали на колья, вбитые

у караульни, а тела сбрасывали в Дрину, если никто не вызывался выкупить и схоронить обезглавленный труп.

Восстание, прерываемое периодами более или менее длительного затишья, продолжалось много лет подряд, и каждый год число тех, кто пускался вниз по реке на поиски «новой, более рассудительной головы», было очень велико. По воле случая — того самого случая, который безжалостно стирает в порошок слабых и неосмотрительных,— вереницу погубленных возглавили эти два простолюдина, два из массы темных, убогих и невинных, так как именно они чаще всего страдают первыми, попадая в водоворот истории, и он затягивает их и поглощает. Так юный Миле и дядька Елисие, казненные в один и тот же час и на одном и том же месте, сроднившись, как два брата, первые украсили своими головами сторожевую вышку в воротах,— в последующие годы, пока не улеглись волнения, она почти никогда уже не оставалась без украшения такого рода. А эти двое так и остались в памяти вместе, хотя раньше не знали и не видели друг друга, и вспоминали их дольше и охотней несчетного множества гораздо более заметных жертв.

Так кровавая и зловещая караульня погребла под собой ворота, а вместе с ними исчезли свидания, беседы, песни и веселье. Турки и те избегали проходить по мосту, а сербы появлялись здесь лишь в случае крайней нужды и шли торопливо и не поднимая головы.

Дощатое строение караульни побурело, почернело и быстро приобрело тот самый вид, который непременно создается там, где квартируют войска. На парапете сушилось солдатское белье, из окон в Дрину выкидывался навоз, выливались помои и прочие нечистоты казарменной жизни. На белом среднем опорном столбе образовались длинные и грязные потеки, видные издалека.

Должность палача много лет подряд исправлял один и тот же солдат. Это был грузный и хмурый анатолиец с желтыми мутными глазами и негритянскими губами на отечном, лоснящемся лице землистого цвета, как бы навек застывшем в добродушной ухмылке полнотелых людей. Звали его Хайруддин, и вскоре он стал известен всему городу и далеко окрест. К своим обязанностям он относился любовно и добросовестно и делал свое дело действительно артистично и быстро. Вышеградцы утверждали, что у него рука легче, чем у городского брадобрея Мушана. Его знали и стар и млад хотя бы по имени, а имя его внушало людям ужас и в то же время любопытство. В жаркую летнюю пору палач целыми днями сидел или лежал на мосту в тени караульпи. Время от времени он обходил выставленные на кольях головы, как бахчевник бахчу, и снова ложился на свою доску в холодке, зевая и потягиваясь, отяжелевший, с гноящимися глазами, добродушный, как одряхлевшая

лохматая овчарка. Стайка любопытных ребятишек опасливо разглядывала его, высовываясь из-за ограды в конце моста.

Когда же дело доходило до работы, тут Хайруддин обретал невероятное проворство и крайнюю добросовестность. И не терпел, когда другие совали нос в его обязанности. А с развитием восстания это случалось все чаще. Когда повстанцы спалили горные селения над городом, ожесточение турок достигло предела. Мало того что они вылавливали мятежников и лазутчиков или тех, кого они за таковых принимали, и доставляли начальнику стражи на мосту, но, ослепленные яростью, они еще рвались собственноручно расправляться с неверными.

Однажды тут встретила рассвет и голова вышеградского приходского священника, того самого попа Михайла, который нашел в себе силы бесстрашно шутить с ходжой и раввином во время «большого паводка». Всеобщая ненависть к сербам сгубила и его, без вины виноватого, и цыганята вставили цигарку в его мертвые уста.

Такого самочинства Хайруддин терпеть не мог и, по возможности, его не допускал.

Но и после того, как внезапная смерть от сибирской язвы унесла расположившего анатолийца, новый палач, правда, гораздо менее искусный, продолжал его дело; и еще год-другой, пока в Сербии совсем не погас огонь восстания, на мосту неизменно красовались две-три отрубленные головы. И люди, чувства которых в такие времена быстро притупляются, так привыкли к этому, что проходили мимо них совершенно бесстрастно и даже не заметили, когда их перестали выставлять.

Когда же в Сербии и на границах все успокоилось, караульня потеряла всякий смысл и значение. Но войска по-прежнему квартировали в ней, хотя проход по мосту давно был свободен и никем не контролировался. В армии вообще порядки меняются медленно, а уж в турецкой — медленней всех. И в этом случае все оставалось бы по-прежнему бог знает до каких пор, если бы однажды ночью от позабытой свечи не вспыхнул пожар. Караульня из соснового теса, не остывшего еще от дневной жары, сгорела дотла, то есть до каменного основания моста.

Встревоженные жители наблюдали с берега за гигантским огненным столбом, ярким светом озарявшим белый мост и окрестные горы, и за тревожными красными всполохами, плясавшими на поверхности воды. А утро осветило мост в его старом, исконном обличье, освободившимся от громоздкой надстройки, годами скрывавшей ворота. Белые плиты моста почернели и закоптились, но дождь и снег быстро смыли и это. И от зловещей караульни и связанных с ней кровавых событий не осталось иного следа,

кроме нескольких мрачных воспоминаний, которые постепенно стирались и исчезали вместе с поколением хранивших их людей, да пережившей пожар дубовой балки в углублении каменных ступеней в воротах.

И снова ворота стали для города тем, чем они были всегда. На левом, если идти от города, балконе содержатель кофейни снова разжег мангал и расположился со всем своим хозяйством. Пострадала только змеиная голова, испускавшая струю воды — она была разбита. Люди снова коротали время на диване, засиживаясь допоздна за беседой, делами или досужей дремотой. Летними ночами здесь пела молодежь или сидели в мечтательном одиночестве юноши, смиряя свой любовный пыл или страстную и смутную тоску по дальним странствиям, великим подвигам и необыкновенным приключениям, столь часто томящую юные души, запертые в глуши. А по прошествии двух десятилетий в воротах шутило и пело песни новое поколение, которое совсем не помнило ни безобразной громадины дощатой караульни, ни хриплых окриков сторожевых, останавливающих по ночам прохожих, ни Хайруддина, ни насаженных на колья голов, которые он отсекал с фантастическим мастерством. Только пожилые женщины, отгоняя сорванцов, таскавших у них персики, кричали своими высокими и злыми голосами:

— Нет на вас Хайруддина, он бы вам чубы-то расчесал! Чтоб вас на воротах мать увидела!

Но мальчишки, спасаясь бегством через ограды и плетни, не понимали истинного смысла этих заклинаний, хотя, конечно, знали, что ничего хорошего в них нет.

Так у моста обновлялись поколения, а он стряхивал с себя, точно пыль, следы мимолетных людских прихотей и нужд и оставался неизменным и не подвластным никаким переменам.

VII

Время пролетало над мостом и городом, отсчитываясь годами и десятилетиями. Это были те несколько десятилетий середины девятнадцатого века, когда кончалась, догорая в тихой лихорадке, Турецкая империя. Глазам современника годы эти представлялись относительно спокойными и благополучными, хотя и в это время можно было найти поводы для серьезных опасений и тревог, хотя и тогда случались засухи и наводнения, повальные болезни и различные волнующие происшествия. Однако эти потрясения набегали редкими и сдержанными волнами, чередуясь с периодами длительного затишья.

Пограничная межа между боснийским и белградским пашалыком, проходящая в горах, прямо над городом, все более четко очерчиваясь, постепенно приобретала форму и значение государственной границы. Это меняло условия жизни всей округи и, конечно, города, отражаясь на торговле и сообщении, умонастроении людей и на отношениях турок и сербов.

Старые турки хмурились и недоверчиво мигали, как бы желая отогнать от себя неприятное видение, сердились, угрожали, убеждали, потом месяцами не вспоминали об этом, пока безжалостная действительность не выводила их снова из равновесия.

Как-то весенним днем один из пограничных турок, сидя в воротах в кружке почтенных турок, с возмущением рассказывал случай, который произошел недавно у них в Велетове.

— Этой зимой,— говорил велетовский турок,— в горах над их селом объявился злополучный руянский сердар Йован Мичич, приехал он издалека, из самого Ариля, в сопровождении вооруженных молодчиков и принялся обмерять и осматривать пограничную межу. На вопрос о том, что ему здесь надо и что он хочет делать, сердар нагло заявил, что не намерен держать отчет перед кем бы то ни было, а тем более перед боснийскими потурченцами, но уж если их это так интересует, пусть знают, что послал его великий Милош посмотреть, где пройдет граница и до коих пор будут простираться владения Сербии.

— Мы было решили,— продолжал велетовский турок,— что поганый гяур спьяну несет черт-те что — мы давно уже знаем, что это за мразь и разбойник. Не придали значения его словам и думать про него забыли. Глядь, не прошло и двух месяцев, как сердар является снова, да еще с целым отрядом Милошевых стражников и с мубаширом, посланцем султана, робким и бледным стамбульцем. Мы глазам своим не верим. Но мубашир все подтвердил. Сам со стыда себе под ноги смотрит, а говорит, что царский указ повелевает Милошу управлять Сербией во здравие султана и установить границу, чтобы знать, докуда доходит его власть. Когда мубашировы люди стали столбы вбивать на той гряде, что под Тетребицей проходит, как разъярится этот Мичич и давай из земли колья выдирать да в них швырять. Бешеный гяур (чтоб его псы растерзали!) подскочил к мубаширу, орет на него, как на прислужника, и кулаками в глаза ему тычет. «Не тут, говорит, граница идет; границу определили султан и русский царь и дали о том фирман «князю» Милошу. Граница теперь по Лиму идет, прямо на вышеградский мост и дальше по Дрине; это теперь все Сербия. Да и то, говорит, только пока, а потом еще дальше отодвинем». Едва мубашир образумил его и поставил границу над Велетовом. Так она и осталась там, по крайней мере на сегодняшний день.

Только с той поры забрала нас тоска и сомнение, не придумаем, как быть, куда податься. Совещались с ужичанами, но они сами не знают, что будет дальше и к чему дело клонится. А старый хаджи Зуко, который два раза в Мекку ходил и которому перевалило за девяносто, говорит, что один человеческий век не успеет пройти, а турецкая граница к самому Черному морю отойдет, за пятнадцать дневных переходов отсюда.

Слушают вышеградские почтенные турки велетовца. И, как всегда, храня невозмутимый вид, в душе недоумевают и ужасаются. Невольно привскакивают с мест и хватаются руками за каменные сиденья балкона, как бы уплывающие из-под них под мощным, но невидимым порывом. Однако овладев собой, изыскивают слова, которые бы умалили и принизили значение неприятного события.

Не любят они заниматься в воротах дурными вестями, мрачными мыслями или серьезными, внушающими беспокойство разговорами, но сейчас и сами видят, что все услышанное ими не к добру; и все-таки не могут ни возразить велетовцу, ни как-нибудь утешить его и успокоить. И поэтому только дожидаются, чтоб крестьянин убрался поскорее в свое поднебесное Велетово вместе с принесенными им плохими известиями. Пусть не рассеется от этого тревога, но хоть не будет им глаза колоть. Когда же крестьянин и в самом деле ушел восвояси, почтенные завсегдатаи балкона почувствовали себя счастливыми оттого, что вновь могут погрузиться в привычный покой, не нарушаемый разговорами, от которых настоящее казалось безрадостным, а будущее пугающим, предоставив времени ослабить и смягчить тяжесть событий, надвигающихся на них из-за гор.

И время делало свое. Жизнь шла без видимых перемен. Более тридцати лет прошло с того памятного разговора на мосту. Но колья, вбитые на границе султанским мубаширом и руянским сердаром, принялись, пустили корни и дали поздние, но горькие для турок плоды: турки должны были оставить последние крепости в Сербии. И однажды летним днем вышеградский мост запрудила печальная вереница ужицких беженцев.

Стояли те летние теплые дни с бесконечными сумерками, когда городские турки заполняли оба балкона над водой. На мост в эти дни корзинами привозили плоды бахчей. Зрелые дыни и арбузы целый день охлаждались в воде, а вечером раскупались досужей публикой и уничтожались тут же на диване. Обычно заключалось пари: красной или белой будет сердцевина? Арбуз рассекали, проигравший платил, и вся компания с хохотом и шутками принималась за еду.

Каменные плиты балкона пышут еще полдневным жаром, а от воды уже веет прохладным дыханием приближающейся ночи.

Поблескивая на середине, река темнеет по краям, затененная вербами и ракитами. В закатном зареве горы то пламенеют, то светятся тускло. А над ними, заполняя собой юго-западный край небосклона, огромный амфитеатр которого так широко и вольно открывается с моста, громоздятся, причудливо меняя краски, летние облака. Облака — одно из поразительных зрелищ, которые летом предоставляют ворота. Как только рассветет и солнце поднимется повыше, они выплывают из-за хребтов густыми, белыми, серебристыми и сизыми скоплениями, образуя фантастические города со множеством прекрасных замков и прихотливых куполов. Разросшись, тяжелые и неподвижные, день-деньской висят они над горами, окружающими город, изнывающий под палящим солнцем. И соблазняют турок, сходящихся под вечер сумерничать на мост, призраками белых шелковых султанских шатров, вызывающих в памяти ратные походы, воинственные схватки и смутные картины, исполненные небывалой мощи и великолепия. И лишь только темнота рассеет громады облаков над городом, как в небе открывается новая феерия звезд и лунного сияния.

Никогда с такой потрясающей силой не поражала красота удивительных ворот, как в те летние дни и часы. Человек парил точно в волшебной колыбели: проходил над землей, проплывал над рекой, пролетал по небесным просторам и при этом оставался прочно и надежно связанным с городом и со своим белым домом, приютившимся вон там, на взгорье, в окружении огорода и сада. Сидя за кофе и потягивая трубку, сколько их, скромных горожан, у которых только и было за душой, что этот дом да лавчонка на базаре, постигало в эти вечерние часы неизмеримость божьей благодати и беспредельное богатство бытия. Вот чем долгими столетиями одаривало людей прекрасное сооружение, задуманное в добрый час и успешно, в надлежащем месте возведенное.

Итак, стояли сумерки такого вот погожего летнего дня; мост гудел от голосов и смеха, от шуток неистощимых на веселье горожан, всегда готовых подколоть соседа, а то и прохожего.

Самое большое оживление царит в кружке, избравшем мишенью острот и насмешек здорового низкорослого парня несколько странного вида. Зовут его Салко Кривой.

Салко — сын цыганки и анатолийца, солдата или офицера, некогда служившего в городке и покинувшего эти края еще до рождения своего нежеланного сына. Вскоре умерла и мать, и ребенок рос круглым сиротой. Кормил его весь город; он был общий и ничей. Прислуживал в домах и лавках и делал то, за что никто другой браться не хотел: чистил сточные канавы и отхожие места, закапывал падаль и нечистоты, выброшенные водой. Не было у него ни своего дома, ни родового имени, ни определенных заня-

тий. Ел Кривой когда придется, стоя или на ходу, спал по чердакам, одевался в разномастные обноски с чужого плеча. В детстве еще лишился он левого глаза. Чудаковатый, добродушный весельчак и пропойца, для горожан он был даровой рабочей силой и объектом неизменных насмешек и острот.

Несколько молодых людей, сыновей торговцев, собрались вокруг Кривого, хохочут и грубо потешаются над ним.

Запах спелых арбузов и дынь смешивается в воздухе с ароматом жареного кофе. От моста, от его больших каменных плит, еще горячих от дневной жары, политых водой и тщательно выметенных, поднимается теплый и благоуханный дух, особенный дух ворот, располагающий к беспечной лени и зовущий к праздным мечтам.

Наступает мгновение между днем и ночью. Солнце скрылось. Но яркая вечерняя звезда не взошла еще над вершиной Молевника. В эту минуту, исполненную таинственной прелести, придающей особое значение или угрожающий смысл и величие самым обыденным вещам, первая группа ужицких беженцев вступила на мост.

Мужчины в большинстве своем шли пешком, пыльные и удрученные; на низкорослых лошадках, возвышаясь над сундуками и тюками, тряслись замотанные и осовевшие женщины и малолетние дети. Иные всадники из благородных ехали верхом на добротных конях, но тоже погребальной рысью и свесив голову, и только сильнее подчеркивали всю тяжесть непоправимой беды, пригнавшей их сюда. Кое-кто тащил на веревке козу. Другие на руках несли ягнят. И все молчали, даже дети не плакали. В тишине раздавался лишь цокот копыт и топот шагов да монотонный перестук медной и деревянной утвари на перегруженных лошадях.

Появление измученных и лишившихся крова людей погасило веселое оживление в воротах. Пожилые остались сидеть на каменных скамьях. Молодые встали и образовали по обеим сторонам ворот две живые стены; между ними текла вереница изгнанников. Горожане молчали, сочувственно разглядывая переселенцев, а если и пытались обратиться к ним со словами приветствия, желая задержать и угостить, то не удостаивались их внимания и почти не получали ответа. Изгнанники торопились засветло добраться до ночлега.

Всего их было около ста двадцати семейств. Сто с лишним семейств направлялось в Сараево, где надеялось быть расселенными, пятнадцать оставалось в городе; в основном это были те, у кого здесь жил кто-нибудь из родни.

И только один человек из этой уставшей толпы, по виду бедняк и бобыль, задержался на минуту в воротах и, вволю напившись воды, принял предложенную цигарку. С головы до ног покры-

тый белой дорожной пылью, он поблескивал из-под бровей лихорадочно горевшими глазами, перебегая ими с предмета на предмет. Жадно затягиваясь дымом, он озирался вокруг этими своими блестящими, пугающими глазами, не отвечая ни слова на боязливо-участливые и робкие вопросы. Отерев свои длинные усы и кратко поблагодарив за угощение, он с горечью, вызванной крайней усталостью и беззащитностью перед судьбой, проронил несколько слов, глядя на слушателей своим невидящим взглядом.

— Вы тут сидите, прохлаждаетесь, и невдомек вам, что из-за Станищеваца идет. Мы на турецкую землю бежали, а вот куда вы побежите вместе с нами, когда и до этого дело дойдет? Об этом вы знать не знаете и думать не думаете.

Здесь он вдруг умолк. Сказанного им было и слишком много для этих минуту назад столь беззаботных людей, и слишком мало для его отчаяния, не позволявшего ему ни молчать, ни выразиться яснее. Он первым прервал тягостное молчание и стал прощаться и благодарить, торопясь догнать ушедших. Вслед ему раздались добрые напутствия и пожелания.

Остаток вечера был безнадежно испорчен. Угрюмые и подавленные завсегдатаи ворот замкнулись в молчании. Даже Кривой сидел на каменной ступеньке немой и неподвижный. Вокруг него валялись корки от арбузов, которые он ел на спор. Печальный и сникший, сидел он, потупившись и как бы не видя каменных плит под собою, рассеянным взором блуждал в каких-то неведомых и едва различимых далях. Люди раньше времени разошлись по домам.

Но уже назавтра все пошло по-старому, ибо вышеградцы не любят держать в памяти плохое и предаваться преждевременным волнениям; в их плоть и кровь вошло сознание того, что истинная жизнь заключается в мгновениях тишины, и было бы непозволительным и бесплодным безумием нарушать покой этих редких минут ради поисков какого-то другого, несуществующего, устойчивого и прочного бытия.

За те двадцать пять лет середины XIX века Сараево дважды посещала чума и один раз холера. При этом Вышеград придерживался правил, которые на случай заразных болезней завещал, согласно преданию, своей духовной пастве сам Магомет: «Пока где-то свирепствует болезнь, вы туда не ходите, ибо можете там заразиться, если же болезнь свирепствует у вас, не ходите никуда, ибо вы можете заразить других». Но так как люди не придерживаются и наиполезнейших установлений, даже когда они исходят от божьего посланника, если только «силой власти» не бывают к этому принуждены, то при каждой вспышке очередного мора власти

ограничивали или вовсе прекращали всякое сообщение. И жизнь в воротах снова меняла свой облик. Озабоченные или беспечные, задумчивые или поющие — местные обитатели исчезали с балконов, и на опустевшем диване, опять как во времена беспорядков и войн, помещались караульные. Они останавливали путников, идущих из Сараева, криками и угрожающими взмахами ружей прогоняя их назад. С крайними мерами предосторожности принималась почта у верховых. В воротах для таких оказий горел небольшой костер из «пахучего дерева», обильно дымивший белым дымом. Стражники брали клещами каждое письмо и окуривали его над этим дымом. Только после этой процедуры обезвреженная почта отправлялась дальше. Товары же вообще не пропускались. Но главная морока была не с почтой, а с людьми. Дня не проходило без того, чтобы несколько человек проезжих, гонцов, торговцев и бродяг не осаждали кордон. Еще на подходе к мосту часовой давал им знак рукой, что дальше нет прохода. Путник останавливался и принимался упрашивать стражу, объясняя и растолковывая свой случай. Каждый был при этом убежден, что его совершенно необходимо пропустить в город, и клялся и божился, что он здоров, как кизиловое дерево, а к холере не имеет никакого касательства, поскольку она гуляет где-то там, в Сараеве. В этих уверениях путник мало-помалу продвигался к середине моста и подбирался к воротам. Тут и остальные караульные включались в переговоры, а так как они велись при соблюдении некоторой дистанции, то все надрывно кричали и отчаянно жестикулировали. Караульные, впрочем, кричали еще и от обильного потребления ракии, которую они заедали чесноком. Особенность их службы давала им полное право на это, ибо считалось, что оба эти средства отлично помогают от заразы; и караульные вовсю пользовались этим своим правом.

Иные путники, устав упрашивать и умолять, бывало, отступались и, удрученные, махнув рукой на свои неотложные дела, уходили дорогой через Околиште обратно. Но попадались и другие,— упорные и терпеливые, они часами топтались в воротах в надежде подстеречь минуту слабости, рассеянности или просто счастливый случай. Если на мосту оказывался невзначай начальник местного сторожевого поста Салко Хедо, то у путников не оставалось никакой надежды. Хедо являлся образцовым носителем подлинной, священной власти, которая почти не видит и не слышит того, с кем говорит, и занимается им лишь постольку, поскольку необходимо поставить его на отведенное ему существующими законами и предписаниями место. И пока он выполняет свой долг, он слеп и глух, а когда покончит с этим, он становится и нем. И тогда напрасны заклинания и лесть.

— Салих-ага, да я ж здоров...

— Ну и проваливай туда, откуда пожаловал. Давай, давай отсюда!

С Хедо бесполезно было разговаривать. Другое дело, когда его подчиненные оставались одни, тогда еще можно было на что-то надеяться. Чем дольше путник торчал на мосту, переругиваясь и препираясь с караульными, чем дольше жаловался на свою великую нужду, в недобрый час погнавшую его из дому, а также и на все другие беды и невзгоды своей жизни, тем он становился как-то ближе и понятней сторожевым, все менее склонным видеть в нем переносчика холеры. Наконец какой-нибудь из стражников смягчался и соглашался передать поручение в город. Это был первый признак послабления. Однако путник прекрасно понимал, что посредничеством дело не уладишь, не говоря уже о том, что подвыпившие стражники, усердно лечившиеся целебной ракией, сплошь да рядом путали доверенные им поручения. И потому продолжал уговаривать и умасливать, предлагая вознаграждение, божась и закладывая душу. И не прекращал донимать их своими уговорами до той поры, пока наиболее податливый страж не оставался в воротах один. Тут кое-как и устраивалась долгожданная сделка. Отзывчивый страж обращался лицом к гранитной плите, как бы читая высеченную на ней надпись, и, заложив руки за спину, подставлял правую ладонь. Настойчивый путник опускал в протянутую руку условленную мзду и, быстро оглядевшись, проскальзывал через кордон и скрывался в городе. А караульщик возвращался на прежнее место и, натерев хлебную корку чесноком, запивал ее ракией. Это наполняло его беспечной и веселой решимостью стойко нести караул, бдительно и неусыпно охраняя город от холеры.

Но беды продолжаются не вечно (что роднит их с радостями), с течением времени проходят и они, сменяясь, на худой конец, другими, и тонут в забвении. А жизнь в воротах обновлялась бесконечно, наперекор всему, и ни долгие годы, ни столетия, ни жесточайшие столкновения людей не меняли моста. Все это проносилось над ним точно так же, как быстрая река под его гладкими прекрасными арками.

VIII

Не одни только войны, эпидемии и массовые переселения тех времен обрушивались на мост и прерывали привычное течение жизни в воротах. Были и другие чрезвычайные события, которые отмечали собой год, когда они произошли, и еще долго потом не давали его позабыть.

Каменная ограда моста, справа и слева примыкавшая к воротам, с давних пор отличалась от остальных частей глянцево отполированными темными боками. Веками крестьяне при переходе через мост сбрасывают здесь свою поклажу и отдыхают; локтями и спинами шлифует камни и досужий люд, беседуя, ожидая кого-то или заглядевшись в одиночестве на быстрые струи пенной воды в глубине под собой, всегда новые и всегда одинаковые.

Но никогда еще не было здесь столько любопытных, которые, привалившись к ограде и свесившись через нее, разглядывали поверхность воды, словно хотели на ней что-то прочесть и разгадать, как в последние августовские дни того года. Вода взбаламутилась от дождя, хотя был еще только конец лета. В омутах под сводами моста накипала белая пена и закручивалась вместе с щепками, мелкими ветками и мусором. Но праздные горожане, навалившиеся на ограду, по-существу смотрели не на реку, известную им давно и ничего им не говорящую. На поверхности воды, как и в своих пересудах, они пытались найти объяснение или, быть может, какой-то видимый след тяжелого и непонятного происшествия, которое в те дни потрясло и привело в смятение обывателей.

Здесь, в воротах, произошел поистине невероятный случай, какого еще не было на памяти людей и, надо думать, никогда не будет, пока стоит на Дрине мост и город. Поразив и взбудоражив город, он пошел дальше, в другие места и края, превратившись в легенду, которая кружит по свету.

Собственно, история эта касается двух вышеградских предместий — Большого Луга и Незуков, расположенных на двух противоположных концах амфитеатра, которым мрачные горы и зеленые холмы окружают город.

Крупная сельская община Стражиште в северо-восточной стороне долины ближе всего к городу. Дома, угодья и сады разбросаны по взгорьям и долинам, пролегающим между ними. На одном из высоких мягких перевалов стоит пятнадцать домов, утонувших в зелени сливовых садов и со всех сторон окруженных полями. Это и есть предместье Большой Луг, мирное, красивое и богатое турецкое поселение. Оно принадлежит к сельской общине Стражиште, но теснее связано с городом, чем с общиной, жители его за полчаса спускаются в торговые ряды, где держат лавки и ведут дела наравне с другими горожанами. Да и ни в чем другом не отличаются они от настоящих горожан, разве, может быть, лишь тем, что, живя на хлебородной земле, не затопляемой разливами, они обеспечены надежнее и вернее, а сами по себе люди скромные и тихие, без дурных городских наклонностей. В Большом Луге хорошая земля, здоровая вода и красивые люди.

Живет здесь ветвь вышеградских Османагичей. И хотя городские их сородичи и многочисленнее и богаче, считается, что они обмельчали, а настоящие Османагичи — те, в Большом Луге, откуда и ведут они свой род. Это красивое племя, гордое своим происхождением. Самый богатый дом белеет на взгорье, под самой вершиной, смотрит он на юго-запад, всегда исправно побелен, с кровлей из потемневшей дранки и с четырнадцатью остекленными окнами. Дом этот виден издалека, он первым бросается в глаза путнику, когда тот спускается по крутой дороге в Вышеград или оборачивается, покидая город. Последние лучи солнца, заходящего за Лештанскую гряду, играют и преломляются на белом блестящем фасаде этого дома. У горожан давно уже вошло в привычку вечером с моста любоваться бликами заката, горящими в Османагичевых окнах — они гасли одно за другим, вместе с городом погружаясь во тьму, а то вдруг вспыхивали ярким пламенем, озаренные последним шальным лучом, заплутавшим где-то в облаках, и тогда несколько секунд огромной красной звездой сияли еще над темной округой.

И точно так же, как дом, у всех на виду и всеми почитаем его хозяин Авдага Османагич, человек крутой и горячий и в жизни и в делах. У него есть лабаз на базаре, приземистое и мрачное помещение, в котором на дощатых настилах и плетеных циновках сушится разложенная кукуруза, чернослив или вишня. Авдага ведет только оптовую торговлю, поэтому лабаз его торгует не каждый день, а лишь по базарным дням, а на неделе открывается только при особой надобности. В лабазе распоряжается один из сыновей Авдаги, сам же хозяин сидит обыкновенно на скамье перед входом в лабаз. Здесь он беседует с покупателями или знакомыми. Это высокий и статный старик с румяным лицом, но с белой как снег бородой и усами. Говорит он сдавленным и сиплым голосом. Вот уже много лет мучит его тяжелая астма, и стоит ему заволноваться и повысить голос,— а такое случается с ним сплошь да рядом,— как тяжкий кашель начинает душить старика, на шее вздуваются жилы, лицо багровеет, глаза наливаются слезами, а в груди свистит, скрипит и воет, точно буря в горах. Но едва минует приступ, Авдага сейчас же оправляется и, вдохнув полной грудью, странно изменившимся, тонким голосом продолжает разговор с того самого места, на котором он остановился. В городе и его окрестностях он слывет человеком широкой натуры, острым на язык и смелым. Такой он во всем, и в делах тоже, хотя нередко и в ущерб себе. Не раз случалось ему одним словом снизить или поднять цену на сливу или кукурузу, пусть даже в убыток себе, только бы проучить какого-нибудь деревенского рохлю или городского скареду. Слово Авдаги — закон для торговых рядов, несмот-

ря на то, что всем известна его вспыльчивость и пристрастность. И когда Авдага, спустившись из Большого Луга, занимает свое место у входа в лабаз, он почти никогда не бывает один, всегда находятся желающие узнать его мнение и послушать его умные речи. Открытый, живой, он всегда готов высказать вслух или защитить то, о чем другие предпочитают промолчать. Тяжкое удушье и приступы мучительного кашля то и дело прерывают его речь, но, как ни странно, это не портит ее, а делает еще более убедительной, придавая ей взволнованность и какое-то неотразимое достоинство боли и страдания.

У Авдаги пятеро взрослых и уже женатых сыновей и единственная, самая младшая дочь, только что заневестившаяся. Про эту его дочь по имени Фата известно, что она красавица и во всем похожа на отца. Ее будущее замужество занимает весь город и до некоторой степени и всю округу. В каждом поколении бывает такая девушка, красоту, таланты и достоинства которой воспевают песни и превозносят легенды. На какое-то время она становится недостижимой мечтой и приковывает к себе всеобщие желания и помыслы; имя ее воспламеняет страсти, ее окружают восторги мужчин и зависть женщин. Она — избранница природы, вознесенная на опасную высоту.

Дочь Авдаги походила на отца не только лицом и всем обликом, но и живым умом и острословием. Это лучше всего знали первые парни города, когда пытались на гуляньях и свадьбах задобрить ее дешевой лестью или смутить игривой шуткой. Находчивость и остроумие девушки ни в чем не уступали ее красоте. Потому-то и пелось в песне, сложенной в честь дочери Авдаги,— про таких избранников судьбы песни складываются сами собой:

Хороша ты и умна ты,
Авдагина красавица Фата!

Так пели и говорили в городе и по его окрестностям. Но было очень мало таких, у кого хватило храбрости и в самом деле попросить руки красавицы из Большого Луга. А когда и они все подряд получили отказ, вокруг Фаты быстро образовалась пустота, столь часто зловещим кольцом восхищения, ненависти и зависти, невысказанных вожделений и злорадного ожидания окружающая существа исключительных дарований и исключительной судьбы. И тех, о которых поют и говорят, быстро уносит их необычайная судьба, и вместо них остается жить легенда или песня.

Так и получается, что девушка, пользующаяся громкой славой, именно из-за этого остается без женихов и «засиживается в девках», тогда как ее подруги, которые ни в чем не могут с ней сравниться, выходят замуж просто и легко. С Фатой этого не слу-

чилось, нашелся человек, у которого хватило и отваги ее пожелать, и настойчивости и ума добиться желаемого.

Как раз напротив Большого Луга, по другую сторону неправильной чаши вышеградской котловины, находится предместье Незуки.

Выше моста, в неполном часе ходьбы вдоль реки, среди хаотического нагромождения горных громад, из которых, как из черной стены, делая крутой поворот, вырывается Дрина, пролегла узкая полоса хорошей, плодородной земли. Эту почву нанесли река и бурные потоки, низвергающиеся с Бутковых скал. На ней раскинулись пашни и сады, а на склонах — крутые луга с шелковистой травой, уходящие ввысь к каменистым хребтам и непролазным кустарникам. Предместье это принадлежит бегам Хамзичам, именующим себе еще и Турковичами. На одном его краю живет пять или шесть семейств чифчий — крестьян-арендаторов, а на другом находятся дома бегов братьев Хамзичей с Мустай-бегом Хамзичем во главе. Затененное, низинное поселение защищено от солнца и от ветра, и потому богато не столько хлебом, сколько овощами и сеном. Окруженное и сдавленное со всех сторон высокими кручами, оно большую часть дня находится в тени и целый день погружено в безмолвие, в котором каждый оклик пастухов и дробное звяканье потревоженных бронзовых колокольчиков на шее скотины вызывают многократное и громкое эхо. Один-единственный путь связывает предместье с Вышеградом. Перейдя мост и оставив главную дорогу, забирающую вправо и идущую по течению реки, путник должен спуститься к самому берегу Дрины и там на скалах, отвесно обрывающихся в реку, отыскать чуть видную тропу, узкой белой тесьмой вьющуюся влево от моста. Пеший и верховой, отраженные зеленым зеркалом воды, сверху с моста кажутся бредущими по узкой жерди, проложенной между рекой и скалистыми лбами утесов.

Таков единственный путь из города в Незуки, а из Незуков пути дальше нет, поскольку дальше идти некуда и некому. Только две глубокие промоины, которыми пастухи поднимаются в горы, где держат скот, белеют над домами на крутом склоне горы, поросшем редким лесом.

Здесь стоит большой белый дом старшего брата Хамзичей, Мустай-бега. Размерами своими мустайбеговский дом ничуть не уступает дому Османагича в Большом Лугу, но в отличие от него совершенно невидим в низине за купами прибрежных деревьев. Одиннадцать высоких тополей полукругом обступили этот дом, неумолчным шумом своих листьев оживляя сумрачную обитель, как бы отрезанную от прочего мира. Ниже этого дома расположились дома двух других братьев Хамзичей, лишь немного скромнее по

виду и размерам. У всех Хамзичей много детей, все они высокие, стройные и бледнолицые, отличает их молчаливость и замкнутость характера, но все трудолюбивы и умеют ценить и беречь нажитое. Как и богатые обитатели Большого Луга, они тоже держат на базарной площади свои лабазы и хранят в них все, что производится в Незуках. В любое время года, подобно неутомимым муравьям, братья Хамзичи и их крестьяне снуют туда-сюда по узкой каменистой тропе вдоль Дрины: одни несут в город товары, другие, набив деньгами пояс, возвращаются, покончив с делами, домой в свое невидимое, спрятавшееся в горах село.

В просторном белом доме Мустай-бега Хамзича, приятно изумляющем путника в конце каменистой тропы, которая, казалось, никуда не ведет, подрастают четыре дочери и единственный сын, Наил. Этот самый Наил-бег из Незуков одним из первых положил глаз на Фатиму из Большого Луга. Однажды на свадьбе он вдоволь нагляделся на ее красоту сквозь щель приоткрытой двери, на которой повисла, словно гроздь винограда, толпа зачарованных юношей. Когда в следующий раз Наил-бег увидел ее в окружении подруг, он отважился на весьма смелую шутку:

— Видит бог, назовет тебя невесткой Мустай-бег из Незуков!

Фата рассмеялась приглушенно.

— И не смейся,— в узкую щель приоткрытой двери говорил ей возбужденный юноша,— свершится это чудо в один прекрасный день!

— Свершится, когда Большой Луг в Незуки сойдет! — снова засмеялась Фата и повела плечами тем самым горделивым движением, присущим одним лишь красавицам юного возраста и выражающим больше, чем слова и смех.

Так бесстрашно и неосмотрительно бросают вызов судьбе натуры исключительные, особо одаренные природой. Этот ее ответ молодому Хамзичу вскоре стал известен всем и каждому и передавался из уст в уста, как и все, что она делала и говорила.

Но не таковы были Хамзичи, чтобы оробеть и отступить перед первым же препятствием. Они и в других, менее важных делах, не привыкли действовать скоропалительно, с наскока, не говоря уж о таком, как это. Попытка прибегнуть к содействию городской родни тоже не увенчалась успехом. Тогда старый Мустай-бег Хамзич решил взять сыновнюю женитьбу в свои руки. Общие торговые операции с давних пор связывали его с Авдагой. За последнее время по вине своего крутого и вспыльчивого нрава Авдага понес значительные убытки, повлекшие за собой обязательства, выполнение которых в срок было весьма затруднительно. Тут-то и пришел ему на выручку Мустай-бег и поддержал, как только добропорядочные деловые люди могут помочь и поддер-

жать друг друга в трудную минуту: просто, спокойно и без лишних слов.

В прохладном сумраке приземистых лабазов и на гладких каменных скамьях перед ними решались не только вопросы торговой чести или денег, но и человеческие судьбы. Что произошло тогда между Авдагой Османагичем и Мустай-бегом Хамзичем, как Мустай-бег попросил Фату за своего единственного сына Наила и как горячий и честолюбивый Авдага «отдал» ее ему? Этого никто никогда не узнает. Точно так же никто по-настоящему не знал, какая сцена разыгралась наверху, в Большом Лугу, между отцом и его единственной красавицей дочерью. Ни о какой строптивости с ее стороны не могло быть, конечно, и речи. Один только взгляд, полный горестного изумления, да это ее неповторимое горделивое движение плеч, а затем немая и беспрекословная покорность отчей воле, как заведено у нас спокон века. Словно во сне начала она проветривать, готовить и складывать девичье свое приданое.

И из Незуков ни единое слово не просочилось в мир. Осторожным Хамзичам претили праздные толки, подтверждающие их успех. Они достигли своей цели и, разумеется, были довольны своей победой. Но как в радости, так и в горе и неудачах им не нужно было чье-либо участие.

И все же о свершившемся сговоре много судачили и болтали всякий вздор, как это обычно бывает. В городе и округе только и разговоров было, что о Хамзичах, которые добились своего, о том, что прекрасную, надменную и мудрую Авдагину дочь, для которой в целой Боснии не находилось жениха, в конце концов перемудрили и укротили, и о том, что все-таки «Большой Луг сойдет в Незуки», хотя Фата при свидетелях зареклась, что этому никогда не бывать. Но ведь известно, как любят люди говорить об унижении и падении тех, кто слишком высоко вознесся.

Целый месяц толковали об этом событии, услаждая свои уста, точно сладким сиропом, предстоящим унижением Фаты. Целый месяц шли приготовления в Незуках и в Большом Лугу.

Целый месяц готовила Фатима вместе с подругами, родственницами и наемными помощницами свое приданое. Девушки пели. Пела и она. И для этого находила в себе силы. И, прислушиваясь к звукам собственного голоса, думала свою думу. Ибо с каждым новым стежком иглы в ней росла уверенность (которую она старательно укрепляла в себе), что ни она, ни ее вышивки никогда не увидят Незуков. Про это она не забывала ни на миг. Но за работой и за песней Незуки, казалось, отступали куда-то очень далеко от Большого Луга, а месяц представлялся нескончаемым. То же самое было и ночью. Ночью, когда под предлогом каких-то еще неокон-

ченных дел она оставалась одна, ей открывался сверкающий мир, беспредельный, неизведанный и манящий.

Ночи в Большом Лугу теплые и свежие. В мерцающей пряже белого сияния мигают и трепещут низкие звезды. Стоя у окна, Фатима смотрит в ночь. Сладкие, мерные токи разливаются по всему ее телу, заставляя чувствовать в отдельности ноги и бедра, руки и шею, ставшие источником силы и радости, и особенно грудь. Ее высокая, пышная и тяжелая грудь сосками прикасается к деревянной решетке окна. И кажется ей, что, вздымаясь и опускаясь вместе со светлым небом и ночным пространством, глубоким, размеренно-теплым дыханием дышит весь этот цветущий край, с домом, постройками и пашнями. И от этого дыхания исчезает и возникает деревянная решетка окна, исчезает и возникает, касается ее сосков и исчезает, проваливаясь куда-то в бездну, и, снова поднимаясь, касается ее груди и куда-то уплывает вновь; и так попеременно без конца.

Перед ней простирается огромный мир, необозримый и при свете дня, когда вышеградская долина трепещет от зноя и почти ощутимо зреют пшеничные поля; окаймленный цепью черных гор и четкой линией моста, белеет город, рассыпавшийся у зеленой реки. Но ночью, только ночью, в сиянии вспыхнувших небес, человек постигает всю необъятность и безграничную власть вселенной, поглотившей крохотное его существо, растворившееся и отрешенное от самого себя, своих намерений, дел и забот. Только ночью живет он подлинной жизнью, безмятежной, ясной и нескончаемо долгой; только ночь освобождает его от тяготения слов, висящих над ним до могилы, от самоубийственных зароков и безвыходных обстоятельств, неумолимо приближающейся развязкой которых может быть один лишь позор или смерть. Да, ночью жизнь совсем не та, что днем, когда сказанное слово необратимо и зарок неумолим. Здесь все свободно, безгранично, неназванно и немо.

Вдруг откуда-то снизу, как бы издалека, донесся тяжелый, утробный и сдавленный хрип:

— Ааах, кхкхкх! Ааах, кхкхкх!

Это в покое нижнего этажа Авдага борется с приступами ночного кашля.

При этих столь знакомых звуках ей ясно представляется и сам отец, как он сидит и курит, поднятый с постели мучительным кашлем. Она словно видит его большие, так хорошо знакомые ей карие глаза с их теплой глубиной, в точности такие же, как у нее самой, только осененные тенями старости и светящиеся увлажненной слезами улыбкой, глаза, в которых она впервые увидела всю безысходность своей судьбы в тот день, когда ей объявили, что она обещана Хамзичам и должна быть готова через месяц.

— Кха, кха, кха! Аааx!

Недавний восторг перед торжественной красотой и величием ночи мгновенно угас. Прервалось щедрое дыхание земли. Легкая судорога свела девичью грудь. Погасли звезды и пространство. И только судьба, ее судьба, безысходная, горькая, решенная, прядет свои нити, надвигаясь на нее с течением времени в тишине, неподвижности и пустоте, остающейся после всего.

Глухо отозвался кашель снизу.

Да, она видит и слышит его, как будто он здесь, перед ней, ее обожаемый отец, сильный, единственный человек, с которым так сладостно было ощущать свою нерасторжимость с тех самых пор, как она помнила себя. И даже этот тяжкий удушливый кашель она чувствовала всем своим существом. Правда, это его уста сказали «да» после ее «нет». Но она с ним и здесь неразрывна, как и во всем остальном. И его «да» она принимает как свое (так же, как и свое «нет»). Вот почему ей выпала горькая, неотвратимая судьба и почему не видит она выхода из тупика, и не может увидеть, раз его нет. Только одно она знает: отцовское «да», которое связывает ее так же, как и ее «нет», приведет ее к кадии рука об руку с Мустай-беговым сыном, ибо невозможно и представить себе, чтобы Авдага Османагич не сдержал слова. Но точно так же знает она и другое, причем с той же ясностью и непреложностью, что вопреки всему нога ее не может ступить в Незуки, ибо тогда она не сдержала бы данного слова. Что, разумеется, тоже невозможно, поскольку и ее слово — слово Османагичей. Здесь, в этой мертвой точке, между своим «нет» и отцовским «да», между Большим Лугом и Незуками, здесь, в самом центре безысходности, следует искать выход. Вот о чем ее мысли. Ее не занимают больше ни вольные просторы беспредельного мира, ни даже сам путь из Большого Луга в Незуки, а только короткий отрезок горестной дороги от здания суда, где кадия обвенчает ее с Мустай-беговым сыном, до конца моста и крутого спуска, где начинается узкая каменистая тропа в Незуки, тропа, на которую ее нога, и это совершенно непреложно, не ступит никогда. Этот отрезок дороги мысль ее, подобно снующему по основе челноку, пробегала бессчетно из конца в конец, от здания суда, через торговые ряды и площадь до конца моста, и, отпрянув, как пред бездонной пропастью, снова обратно, через мост, через площадь, через торговые ряды, к суду. Так без конца неутомимый челнок ее мысли ткал ее судьбу.

В поисках выхода, которого она никак не находила, ее мысль все чаще задерживалась в воротах, там, где на светлом граните прекрасных диванов сидели, разговаривая, люди и пела песни молодежь, а под ними ревела быстрая, зеленая, глубокая река. Но тут же, ужаснувшись видением возможного выхода, мысль ее сно-

ва начинала как заклятая метаться из конца в конец короткого пути и, не найдя никакого другого решения, опять останавливалась в воротах. И по ночам ее мысль все чаще возвращалась на то место и все дольше задерживалась там. А между тем одно предвидение неотвратимого дня, когда она уже не в мыслях, а наяву должна будет проделать этот путь и, не дойдя до края моста, найти выход, заключало в себе весь ужас смерти и всю невыносимость позора. Беспомощной и одинокой, ей вдруг начинало казаться, что одного этого ужаса предвидения достаточно для того, чтобы отдалить или хоть ненадолго отсрочить этот день.

Но дни шли не быстро и не медленно, а проходили размеренно и неизбежно, пока наконец не пришел в свой черед и свадебный день.

В последний четверг августа месяца (это и был тот Судный день) Хамзичи верхами приехали за невестой. В новой тяжелой чадре, как в броне, Фату посадили на коня и повезли в город. В то же время во дворе нагрузили на коней сундуки с приданым невесты. Кадия в суде совершил венчание. Так Авдага выполнил слово выдать свою дочь за Мустай-бегова сына. Затем небольшая процессия направилась в Незуки, на торжественный свадебный пир.

Пройдены торговые ряды и площадь — часть пути, который столько раз, не находя выхода, мысленно проделывала Фата. Все было явственно, обыденно и просто, даже легче, чем в воображении. Ни звезд, ни безбрежных просторов, ни отцовского удушливого кашля, ни желания ускорить или замедлить время. При въезде на мост девушку еще раз, как в те летние ночи у окна, потрясает радостное ощущение животворной силы и биения каждой клетки ее тела, и особенно груди, словно сжимаемой мимолетной судорогой. Наконец и ворота. И как уже неоднократно в своих ночных мыслях, девушка нагнулась и шепотом попросила младшего брата, ехавшего подле нее, подтянуть ей немного стремена, перед крутым спуском с моста на каменистую тропу, ведущую в Незуки. Остановились сначала они двое, а за ними чуть поодаль и остальные сваты на конях. Ничего особенного не было в этой задержке. Ни в первый, ни в последний раз останавливалась свадьба в воротах. Но пока младший брат, спешившись, обходил копя и перекидывал через руку узду, девушка подалась на своем коне вплотную к ограде и, встав на нее правой ногой, взвилась, как на крыльях, над седлом и через каменный барьер полетела вниз, в ревущую стремнину под мостом. Брат, устремившийся за ней, всем телом навалился на ограду и успел еще коснуться рукой края реявшей чадры, но задержать сестру не мог. С воплями отчаяния и ужаса сваты повскакали со своих коней и как вкопанные застыли у ограды.

В тот же день под вечер хлынул проливной дождь, небывало холодный для этого времени года. Дрина вздулась и потемнела. А наутро поднявшиеся мутно-желтые воды реки выбросили тело Фаты на отмель под Калатой. Его заметил один рыбак и заявил об этом мулазиму. Вскоре к тому месту прибыл мулазим с муктаром, рыбаком и Салко Кривым. Ибо без Кривого не обходится ни одно такое происшествие.

Труп лежал на влажном и мягком песке. Набегавшие волны лизали его, временами окатывая мутной водой. Новая чадра из черного сукна, которую река не унесла, завернулась и откинулась назад и вместе с длинными густыми волосами лежала как бы отдельной черной массой подле белого, роскошного тела девушки, с которого злобный поток сорвал тонкие свадебные одежды. Кривой и рыбак, суровые и насупленные, зайдя на отмель, подхватили обнаженное тело девушки и бережно и смущенно, как будто она была живая, освободив из плена мокрого песка, уже начавшего затягивать труп, вынесли его на берег и поспешно накрыли намокшей, полной ила чадрой.

В тот же день утопленницу схоронили на ближайшем турецком кладбище, на крутом откосе Большого Луга. А вечером досужий люд донимал в трактире рыбака и Кривого нездоровым и гнусным любопытством, особенно сильно развитым в тех, чья жизнь пуста, бесцветна и бедна волнениями и событиями. Рыбаку и Кривому подносили ракию, угощали табаком в надежде выудить у них хоть что-нибудь о трупе и погребении утопленницы. Но все было напрасно. И ракия не развязала им язык. На этот раз молчал даже Кривой. Он беспрерывно курил и единственным своим блестящим глазом следил за дымом от своей цигарки, стараясь отогнать его как можно дальше от себя. Лишь время от времени Кривой и рыбак, обменивались взглядами друг с другом, молча и разом поднимали свои чарки, как бы невидимо чокаясь, и одним духом осушали их.

Вот какое неслыханное и небывалое происшествие случилось в воротах. Большой Луг не сошел в Незуки, и Авдагина дочь Фата не досталась Хамзичам.

Авдага Османагич с той поры не сходил в город. В ту же зиму он скончался, задушенный кашлем, так и не обмолвившись ни с кем ни словом о горе, которое его свело в могилу.

С приходом весны Мустай-бег Хамзич женил своего сына, взяв за него девушку из рода Бранковичей.

Посудачив еще немного про случившееся, окрестные люди стали понемногу о нем забывать. И о той, что всех затмила сиянием немеркнущего света мудрости и красоты, осталась только песня.

IX

Спустя семьдесят лет после восстания Карагеоргия Сербия снова вступила в войну, на что граница немедленно ответила волнениями. И снова черные вершины в Жлебове, Гостиле, Црнчах и Велетове озарились пламенем турецких и сербских домов. Впервые после многолетнего перерыва головы казненных сербов снова появились в воротах. Это были иссушенные и коротко стриженные крестьянские головы с плоскими затылками, костистыми лицами и длинными усами; словно бы те самые, что выставлены были здесь семь десятков лет назад. Но все это продолжалось недолго. С прекращением войны между Турцией и Сербией улеглись и волнения. Правда, это был обманчивый мир, под покровом которого таились разные страхи, волнующие слухи и озабоченный шепот. Разговоры о приходе австрийских войск в Боснию принимали все более определенный и открытый характер. В начале лета 1878 года через город прошли части регулярных турецких войск, следовавших из Сараева в Прибой. Это утверждало во мнении, что султан оставляет Боснию без сопротивления. Несколько семейств готовилось бежать в Санджак, в том числе и те, кто тринадцать лет назад, не желая жить под сербской властью, переселился сюда из Ужице и теперь вот снова вынужден был спасаться от нового христианского правления. Но большинство, при внешнем спокойствии и внутреннем мучительном недоумении, оставалось на местах, в ожидании дальнейших событий.

В начале июля в город прибыл плевленский муфтий с небольшим отрядом людей, но с большой решимостью организовать в Боснии отпор австриякам. Русый, серьезный и флегматичный с виду, но огневой натуры человек, он, пользуясь погожим днем, собрал в воротах местных турок из самых почтенных семейств и страстными речами старался воодушевить их на борьбу против Австрии. Уверяя, что большая часть регулярной армии, вопреки официальным приказам, будет вместе с народом бороться против новоявленных завоевателей, он призывал молодежь немедленно примкнуть к его отряду и посылать ему продовольствие в Сараево. Муфтий давно знал, что вышеградцы никогда не пользовались славой отважных воителей, явно предпочитая бессмысленно прожигать жизнь, чем бессмысленно погибать, но все же вялость и нерешительность, с которыми он столкнулся, поразила его. Не имея времени дольше задерживаться в городе, муфтий пригрозил туркам судом народным и гневом божьим и оставил вместо себя своего помощника Осман-эфенди Караманлию, велев ему продолжать убеждать вышеградских турок в необходимости принять участие в общем восстании.

Во время разговоров с муфтием наиболее рьяный отпор оказал Али-ходжа Мутевелич. Мутевеличи — одно из самых старых и уважаемых здешних семейств. Они всегда выделялись не своими богатствами, а прямотой и честностью. От века слыли они за людей упрямых, но неподкупных, бесстрашных, свободных от всяческих низких побуждений и расчетов. Более двух сотен лет тому назад родоначальник их был мутевелием, то есть попечителем, управляющим и хранителем великого наследия Мехмед-паши, пожалованного им городу. Его заботами столько лет поддерживался «Каменный хан» у моста. Мы уже видели, как после потери венгерских владений «Каменный хан» лишился поступлений на свое содержание и стечением обстоятельств был превращен в руины, а от наследия визиря остался только мост — общественное достояние, не требующее особого ухода и не приносящее прибыли. А Мутевеличам осталось их семейное имя, как гордая память о почетной должности, которую они столько лет с честью исполняли. Правда, должность они потеряли еще в то время, когда Даут-ходжа пал жертвой неравной борьбы за спасение гибнущего «Каменного хана», но гордость осталась при них вместе с врожденной привычкой считать себя в отличие от всех прочих главными хранителями моста и в какой-то мере ответственными за его судьбу, поскольку мост, хотя бы архитектурно, являлся составной частью величественного и прекрасного наследия, которым они управляли, пока оно не кончило свой век самым жалостным образом. И еще один, издавна установившийся обычай был в семействе Мутевеличей: в каждом поколении иметь, по крайней мере, одного образованного человека духовного звания. Сейчас это был Али-ходжа. Вообще же род Мутевеличей заметно оскудел как числом, так и достатком. Осталось у них несколько испольщиков да лавка, которую они издавна держали на самом бойком месте торговой площади вблизи моста. Два старших брата Али-ходжи погибли на войне, один в России, а второй в Черногории.

Али-ходжа еще молодой, живой и полнокровный, улыбчивый человек. Как у истинного Мутевелича, у него было свое особое мнение решительно по всем вопросам, которое он упорно отстаивал и ни при каких обстоятельствах ему не изменял. По причине своей прямоты и самостоятельности мышления Али-ходжа часто вступал в разлад с местным духовенством и старейшинами. У него было звание ходжи, но, не занимая при этом никакой должности, он не получал от своего духовного сана никаких доходов. Чтобы и вообще ни от кого не зависеть, Али-ходжа самолично заправлял делами в лавке, доставшейся ему от отца.

Вместе с большинством вышеградских мусульман и Али-ходжа был против вооруженного отпора. Однако в данном случае не

могло быть и речи ни о трусости, ни о религиозной уступчивости. Не менее чем муфтию или любому другому из восставших, ему были ненавистны надвигавшиеся иноземные христианские полчища и все, что они несли с собой. Но, видя, что султан действительно сдал Боснию без боя австриякам, и зная характер своих земляков, Али-ходжа был против стихийного народного сопротивления, предвидя неминуемый его разгром и еще большие беды. И коль скоро такое мнение утвердилось у него в мозгу, он исповедовал его во всеуслышание и отстаивал со всей своей горячностью и прямотой. Верный своему обыкновению, он и на этот раз сыпал каверзными вопросами и едкими замечаниями, чрезвычайно сбивавшими муфтия. И таким образом невольно поддерживал в горожанах, и без того не слишком рвущихся в бой и готовых к жертвам, дух открытого сопротивления воинственным намерениям муфтия.

И когда Осман-эфенди Караманлия остался уговаривать вышеградцев, главного своего противника он обрел в лице Али-ходжи. Кого ж, как не его, и могла напустить на Караманлию немногочисленная горстка бегов, которые мямлили что-то невразумительное, осторожно подбирая выражения, хотя и были полностью согласны с Али-ходжой.

Знатные вышеградские турки сидели в воротах кружком, подогнув под себя ноги, точно соблюдая старшинство. Тут же был и Осман-эфенди, высокий, сухощавый, бледный. Мускулы его лица сводило неестественное напряжение, глаза лихорадочно горели, скулы и лоб, как у эпилептика, покрывали ссадины. Перед ним сидел румяный, низкорослый, горячий и неотступный Али-ходжа и своим пискливым голосом задавал все новые вопросы. Какие имеются силы? Куда идти? Каким образом? Для чего? С какой целью? И что будет в случае разгрома? Трезвый, чуть ли не злорадный педантизм вопросов Али-ходжи в действительности скрывал под собой лишь горечь и озабоченность из-за очевидного превосходства христиан и слабости и разобщенности турок. Но одержимый и мрачный Осман-эфенди не способен был понять и должным образом оценить подобные тонкости. Натура исступленная и невоздержанная, болезненно возбудимый фанатик, он, быстро теряя терпение и самообладание, кидался на всякое проявление нерешительности и недоверия с таким остервенением, словно перед ним были австрияки. Маленький ходжа раздражал Осман-эфенди, и, еле сдерживая гнев, он отвечал ему резко и категорично. Идти надо туда, куда надо, и с тем, что есть. Главное — не пустить на землю супостата без боя, а кто много спрашивает, тот мешает делу и помогает противнику. Наконец, дойдя до белого каления, с почти нескрываемым презрением, на каждый вопрос Али-ходжи

он отвечал криком: «Пришла пора на смерть идти!», «Сложим свои головы на поле брани!», «Погибнем все до последнего!».

— Ах, вот что,— обрывал его ходжа,— а я думал, вы хотите австрийцев из Боснии прогнать, на это нас созываете. А если речь о том идет, чтобы голову свою сложить, так умереть-то, эфенди, мы сумеем и без тебя. Это дело нехитрое.

— Но тебя, я вижу, это нисколько не прельщает,— грубо прервал его Караманлия.

— Зато тебя прельщает, как я вижу,— с негодованием возразил ему ходжа,— только не знаю, зачем тебе компания понадобилась на такое пустое дело.

Разговор перешел в обыкновенную перебранку; Осман-эфенди обзывал Али-ходжу поганым и грязным гяуром, под стать тем изменникам, чьи головы, наряду с гяурскими, надо выставлять в воротах, между тем как ходжа упорно и неустрашимо докапывался до истины, настойчиво требуя новых резонов и доказательств, и как бы не слышал оскорблений и угроз.

И впрямь трудно было найти двух более неподходящих людей для переговоров, чем эта пара. Они могли лишь увеличить общее смятение и создать одним противоречием больше. Но как бы это ни было печально, изменить тут ничего было нельзя, ибо в моменты социальных катастроф и неизбежных великих потрясений на первый план всегда выходят именно такие ущербные или больные личности и направляют мир превратным и кривым путем. В этом и заключается один из несомненных признаков смутного времени.

Что же касается бегов и аг, то им этот бесплодный диспут пришелся как нельзя более кстати, поскольку оставлял в стороне вопрос об их участии в восстании и не требовал от них конкретных высказываний по этому поводу. Дрожа от гнева и изрыгая угрозы, Осман-эфенди назавтра с несколькими своими сопровождающими выступил вслед за муфтием в Сараево.

Известия, приходившие в течение месяца, все больше утверждали турецких господ в их оппортунистическом мнении, что лучше всего держаться родного города и собственного дома. В середине августа австрийцы вошли в Сараево. Вскоре после этого произошло злосчастное сражение при Гласинаце. Оно было единственным и означало конец какого бы то ни было сопротивления. Крутой дорогой с Лиески в Вышеград через Околиште спускались остатки разбитых турецких отрядов. Это была смесь из солдат регулярных войск, вопреки запрещению султана самовольно примкнувших к сопротивлению, и местных повстанцев. Солдаты просили только хлеба и воды и спрашивали дорогу на Увац, повстанцев же, ожесточившихся и полных боевой решимости, не сломило поражение. Черные, грязные и оборванные, они злобно огрызались

на расспросы вышеградских тыловых крыс и готовились рыть укрепления и защищать переправу через Дрину.

И снова выступил Али-ходжа; самозабвенно и неутомимо он доказывал, что невозможно и бессмысленно защищать город, когда «австрийцы всю Боснию уже к рукам прибрали». Повстанцы и сами это видели, но признавать не хотели, их раздражали эти чистые и сытые люди, сохранившие свой дом и добро благодаря тому, что с трусливой мудростью держались в стороне от возмущений и боев. Тут как раз появился совсем уже обезумевший Осман-эфенди, еще более бледный и осунувшийся, еще более воинственный и громогласный. Это был человек, для которого не существует поражения. Он призывал любой ценой отстаивать каждую пядь земли и требовал подвигов и жертв. Перед его неукротимым натиском склонялись и отступали все, только не Али-ходжа. Без тени злорадства, с хладнокровной непреклонностью Али-ходжа доказывал яростному турку, что восстание постигла та самая судьба, которую здесь, в этих воротах, он предрекал ему ровно месяц назад. И уговаривал, во избежание худшего, собрав людей, немедленно отступать в сторону Плевле. Оставив былую свою агрессивность, ходжа был на этот раз трогательно и сострадательно участлив к болезненному фанатизму Караманлии. Ибо в глубине души, под личиной несдержанной резкости, ходжа мучительно переживал приближение неотвратимой катастрофы. Он был несчастен и страдал, как только может страдать правоверный мусульманин в виду неумолимо надвигавшейся чужеродной силы, под натиском которой недолго продержатся древние устои ислама. В его словах помимо его воли прорывалась затаенная мука.

На все оскорбления Караманлии Али-ходжа отвечал скорее с грустью:

— Думаешь, эфенди, мне легко ждать, когда австриец все тут под себя подомнет? Будто нам невдомек, какие идут времена и что нам готовится? Знаем мы, что нам грозит и что мы теряем, хорошо знаем. И тебе не стоило во второй раз приходить, чтобы все это нам объяснить, да и вообще из Плевле трогаться. Но ты, я вижу, этого не понимаешь. Ибо, если бы понимал, так не делал бы того, что делаешь, и не говорил бы того, что говоришь. Горше эта мука, мой эфенди, чем тебе кажется, я и сам не придумаю спасения от нее, хотя и твердо знаю, что не в том оно, что ты нам навязываешь.

Но Осман-эфенди был глух ко всему, что противоречило его неукротимой и страстной жажде борьбы, и ненавидел этого ходжу ничуть не меньше самих австрияков, против которых он поднялся с оружием в руках. В обреченном на гибель обществе перед лицом неодолимого врага всегда вспыхивает братоубийственная нена-

висть и рознь. Не находя новых оскорблений, Караманлия непрестанно называл Али-ходжу изменником и язвительно советовал ему заранее креститься, до прихода австрияков.

— Никто из моих предков не крестился, не буду и я. Я, эфенди, ни креститься с австрияками, ни с дураками на войну идти не намерен,— спокойно возражал ему ходжа.

Почтенные вышеградские турки были в точности того же мнения, что и Али-ходжа, хотя и не считали нужным вслух его высказывать, особенно в столь резкой и прямолинейной форме. Они боялись надвигавшихся австрийцев, но боялись и Караманлию, завладевшего со своим отрядом городом. И потому запирались в домах или отсиживались в загородных усадьбах, а если уж никак не удавалось избежать свидания с Караманлией и его приспешниками, шмыгали по сторонам неуловимым взглядом и путались в лицемерных словах, мучительно изыскивая способ выкрутиться как-нибудь из щекотливого положения.

На утрамбованной площадке перед руинами караван-сарая с утра до поздней ночи Караманлия держал непрерывную сходку. Здесь безостановочно двигалась пестрая толпа: приспешники Караманлии, случайные прохожие, жители города, пришедшие со всевозможными просьбами к новому правителю, и путники, так или иначе затянутые повстанцами послушать своего предводителя. Караманлия непрестанно ораторствовал. И даже обращаясь к одному, кричал во весь голос, точно говорил перед сотнями. Он был еще бледнее, глаза его бешено вращались, и белки на них заметно пожелтели, в углах губ накипала белая пена. Один из местных турок рассказал ему мусульманское народное поверье про шейха Турханию, который погиб здесь когда-то в древности, отстаивая от натиска неверных переправу через Дрину, а сейчас спит праведным сном в своей могиле на том берегу, сразу над мостом, но тотчас восстанет из могилы, едва только ступит на мост нога первого иноверного воина. С судорожной горячностью ухватившись за это поверье, Осман-эфенди Караманлия поспешил представить его сходке счастливым вестником нежданной и спасительной помощи.

— Братья, мост этот детище визиря. И написано ему на роду не пропускать через себя полчища неверных. Мы не одни защищаем его, но и тот праведник, которого ни пушка не берет, ни сабля не сечет. Как вступит на мост супостат, поднимется он из могилы, встанет посередь моста, раскинет руки, у австрийца сразу колени подогнутся, сердце в пятки уйдет, прирастет он к месту со страха и убежать не сможет. Братья турки, не расходитесь, все на мост за мной!

Так витийствовал Караманлия перед многолюдной сходкой. Мрачный, в черном потертом минтане, раскинувший руки для

Мост на Дрине

того, чтобы наглядно показать, как встанет «праведник», он напоминал высокий тонкий черный крест, увенчанный чалмою.

Но все это вышеградские турки знали сами и еще лучше Караманлии, поскольку каждый с детства бессчетно слышал и повторял историю про дервиша, однако сейчас у них не было ни малейшего желания смешивать действительность со сказками и рассчитывать на помощь мертвых там, где и живые бессильны. Али-ходжа, который не отлучался из своей лавки, но, осведомленный обо всем, что делалось и говорилось перед «Каменным ханом», лишь сокрушенно и печально махал рукой.

— Я так и знал, что этот дурень ни живым, ни мертвым покоя не даст. Аллах селамет олсун! [1]

А Караманлия, бессильный что-либо предпринять против настоящего врага, весь свой гнев обратил на Али-ходжу. Выкрикивая угрозы и проклятия, он обещал, что прежде, чем его принудят покинуть город, он прикует упрямого ходжу к воротам, как барсука, и оставит там встречать австрийца, с которым он и сам не желал воевать, и другим не давал.

Поток этой брани был прерван австрийцами, показавшимися на склонах Лиески. Теперь уж стало совершенно очевидно, что город не в состоянии защищаться. Караманлия последним оставил город, бросив на возвышенной террасе перед караван-сараем обе чугунные пушки, до тех пор повсюду сопровождавшие повстанцев. Но прежде, чем покинуть город, Осман-эфенди выполнил свою угрозу. Он приказал своему конюху, кузнецу по профессии, человеку богатырского сложения и куриных мозгов, связать Али-ходжу и приколотить его правым ухом к той самой дубовой тесине, которая сохранилась от бывшей караульни между двумя каменными приступками в воротах.

В общей толчее и смятении на площади и у моста все слышали слова этой громкой команды, но никто не понял, что она должна быть именно так и исполнена. Каких только отборных слов, какой только брани и ругани не услышишь в такие минуты! Так было и на этот раз. Вначале это всем показалось совершенно невероятным. Обычная угроза и брань. Даже Али-ходжа не принял это всерьез. Да и кузнец, которому велели привести угрозу в исполнение, занятый в ту минуту укреплением пушек, какое-то время колебался в растерянности. Но как бы там ни было, мысль приковать к воротам ходжу была брошена, и в головах смятенной, озлобленной толпы уже прикидывались шансы и возможности ее выполнения или невыполнения.

Будет — не будет! Вначале большинству людей эта идея пред-

[1] Да будет с нами благословение божие! *(тур.)*

ставлялась такой, какой она и была, бессмысленной, гадкой и невероятной. Однако в минуты общего возбуждения нужно было что-то совершить, что-то значительное, необычное. Никаких других возможностей не предвиделось. Не будет! Будет! Обретая зримую весомость с каждым мгновением, с каждым колыханием толпы, мысль о расправе над ходжой казалась все более вероятной и естественной. Почему бы и нет? Двое уже держали ходжу, он почти не сопротивлялся. Вот ему уже вяжут руки за спиной. Все это еще далеко от чудовищной и безумной реальности. Но уже все ближе к ней. Кузнец, словно бы внезапно устыдившись своей слабости и малодушия, снова взялся за молоток, которым только что забивал клинья под пушку. В сознании того, что австрияки, собственно, уже тут, в каком-нибудь получасе хода от города, он черпал готовность и решимость довести до конца порученное ему дело. И именно болезненным ощущением близости врага объяснялось презрительное равнодушие ходжи ко всему, что ни делалось, и даже к той незаслуженной, безумной и постыдной пытке, которой его подвергали.

И так спустя несколько мгновений совершилось то, что каждому из них по здравому размышлению казалось невозможным и невероятным. Ни один из них не считал это дело хорошим и нужным, и все же каждый в какой-то степени способствовал тому, чтобы ходжа оказался прибитым правым ухом к дубовой тесине в воротах. И когда все разбежались перед спускавшимся в город австрияком, ходжа один остался на мосту в нелепой, мучительной и потешной позе, обреченный неподвижно сидеть на корточках, ибо малейшее движение причиняло боль и грозило разорвать ухо, которое казалось сейчас тяжелым и громадным, как гора. Он кричал, но не было никого, кто мог бы его услышать и освободить из мучительного плена, так как все живое попряталось по домам или растеклось по окрестным селениям в страхе как пред наступающим австрийцем, так и пред отступающими повстанцами. Город лежал будто вымерший, мост был пуст, словно выметенный начисто смертью. И не было ни живых, ни мертвых, чтобы его защитить, лишь в воротах сидел на корточках окаменевший Али-ходжа, приникнув головой к дубовой слеге, стеная от боли и продолжая упорно выискивать новые аргументы против Караманлии.

Австрийцы не спеша подтягивались к городу. Заметив за рекой вблизи моста перед караван-сараем две пушки, австрийский авангард остановился, ожидая прибытия своих орудий. Около полудня из небольшого лесочка австрийцы дали несколько залпов по заброшенному караван-сараю, попортив и без того уже ветхое здание и повыбивав прекрасные резные решетки на окнах,

выточенные из цельного куска мягкого известняка. Перевернув и покорежив обе пушки и лишь тогда поняв, что они брошены и никто им не отвечает, австрияки прекратили пальбу и стали осторожно приближаться к мосту и городу. В ворота с винтовками наперевес отмеренным неторопливым шагом вступили ряды венгерских гонведов. В недоумении остановились они перед скрюченным ходжой, позабывшим за воем и визгом проносившихся над его головою снарядов про боль, которую причиняло ему прибитое ухо. Завидев поганого врага с упертыми в него винтовками, ходжа поспешил прибегнуть к общедоступному языку страдания и снова протяжно и тяжко застонал. Это его спасло, и гонведы не пристрелили несчастного. Одни, не замедляя шага, продолжали продвигаться по мосту, другие же окружили странную фигуру, разглядывая ее со всех сторон и пытаясь разгадать причину ее нелепой позы. И только подошедший санитар, отыскав где-то клещи, осторожно вытащил из уха гвоздь, обыкновенный гвоздь, которым подковывают лошадей, и освободил Али-ходжу. Тот, измученный и обессиленный, рухнул на каменные приступки, не прекращая жалобно стонать и охать. Все тот же санитар смазал его ухо какой-то обжигающей жидкостью. За пеленой слез, застилавших глаза, словно в дурном сне, Али-ходжа увидел большой и правильный красный крест на белой широкой повязке, обхватившей левое предплечье санитара. Только в горячке могут являться столь безобразные и страшные видения. Расплываясь и подрагивая в слезах, отвратительный крест гигантской тенью заслонил от Али-ходжи весь мир. Санитар перебинтовал ему голову и нахлобучил поверх бинтов чалму. Замотанный, ходжа с грехом пополам разогнул сведенную поясницу, поднялся и несколько мгновений стоял, прислонившись к гранитной ограде. С трудом приходил он в себя. Перед ним на противоположной стороне ворот, под турецкой надписью, высеченной в камне, солдат приклеивал большое белое полотнище. И хотя в голове гудело от боли, ходжа не мог преодолеть врожденного любопытства и не посмотреть, что там такое написано. Это было воззвание генерала Филиповича на сербском и турецком языках, обращенное к населению Боснии и Герцеговины в связи с вступлением австрийской армии на территорию Боснии. Зажмурив правый глаз, Али-ходжа слог за слогом разбирал турецкий текст, но и то лишь те слова, которые были набраны крупными буквами.

«Жители Боснии и Герцеговины!

Войско императора Австрийского и короля Венгерского перешло границу вашей страны. Оно пришло к вам не как враг, чтобы захватить силой ваши земли. Оно пришло как ваш друг, чтобы

положить конец беспорядкам, долгие годы терзавшим не одну только Боснию и Герцеговину, но и пограничные области Австро-Венгрии.

...Император и Король не мог больше смотреть на бесчинства и насилия, творимые вблизи его окраин, на горести и беды, стучавшие в границы его царства.

Он обратил взоры европейских держав на ваше положение, и единогласным форумом народов решено, чтобы Австро-Венгрия возвратила вам мир и благосостояние, давно уже вами утраченные.

Его величество Султан, радея о благе вашем, посчитал своим долгом поручить вас заботам могущественного друга своего Императора и Короля.

Император и Король дарует всем сынам вашей земли равные права перед законом и гарантирует охрану личности, имущества и вероисповедания.

...Жители Боснии и Герцеговины! Безбоязненно идите под защиту славных знамен Австро-Венгрии. Гостеприимно встречайте воинов нашей армии, подчиняйтесь властям, возвращайтесь к мирному труду, плоды которого найдут надежную охрану и защиту».

Ходжа читал прерывисто, фразу за фразой, не все слова он понимал, но каждое из них причиняло ему боль; это была какая-то особая боль, существующая совершенно отдельно от той, которая терзала его раненое ухо, стучала в голове и разрывала поясницу. Только сейчас, от этих «императорских слов», со всей ясностью озарило его сознание того, что все кончено и с ним, и с его соплеменниками, и со всем, что принадлежало им в этой стране, кончено бесповоротно и навсегда, и при этом необычайно хитрым способом: глаза видят, губы говорят, человек существует, а жизни, настоящей жизни нет! Чужой царь наложил на них свою руку, чужая вера восторжествовала. Это ясно следует из всех тех броских слов и темных наставлений, но еще яснее — из той свинцовой тяжести в груди, что превышает меру всех мыслимых людских страданий. И даже тысячи таких глупцов, как Осман Караманлия, бессильны что-нибудь изменить и поправить (все еще продолжал препираться ходжа про себя). «Все сложим головы! На смерть пойдем!» Что стоит вся эта шумиха, когда приходят времена, которые изничтожают человека, не давая ни жить, ни умереть, остается лишь гнить, как какой-то подпорке в земле, принадлежа кому угодно, только не себе. Это действительно великое несчастье, и где уж его увидеть и понять разным там Караманлиям, своим непониманием они лишь усугубляют его и делают еще постыдней.

Погруженный в думы, Али-ходжа медленно поплелся с моста. Он и не заметил, что за ним идет солдат санитарной службы. Сейчас он страдал не столько от проколотого уха, сколько от свинцовой жгучей гири, что залегла в его груди от «императорских слов». Он бредет по мосту, и чудится ему, что никогда больше не перейти ему на ту сторону реки, что мост этот, гордость и слава города, со дня основания теснейшим образом связанный с его семьей, мост, на котором он вырос и на котором прошла вся его жизнь, вдруг обрушился в середине, как раз в воротах; белый лист австрийского воззвания беззвучным взрывом располосовал его на две половины, и между ними зияет пропасть; по левую и правую сторону от страшного провала уцелели быки, но сквозного прохода нет, берега реки разъединены, и каждый обречен навек остаться там, где застиг его безгласный взрыв.

Медленно идет Али-ходжа, весь во власти горячечных кошмаров, шатается, как тяжело раненный, с глазами, полными непроходящих слез. Идет неуверенно словно нищий, который первый раз, бедняга, переходит мост, вступая в незнакомый, чужой город. Громкие голоса вывели Али-ходжу из забытья. Его обогнали солдаты. Среди них ему снова явилась полная, добродушно-улыбчивая физиономия санитара с красным крестом на руке, его спасителя. Расплывшись в широкой улыбке и указывая на повязку, санитар что-то спрашивал его на непонятном языке. Приняв его слова за новое предложение помощи, ходжа поспешно подобрался и нахмурился:

— Я сам, сам. Никто мне не нужен.

И, приободрившись, решительно зашагал домой.

X

Торжественное и официальное вступление австрийских частей должно было состояться на следующий день.

Никогда еще не было в городе так тихо. Лавки не открылись. В домах плотно заперты двери и ставни, несмотря на солнечный теплый день конца августа. Безлюдны улицы; дворы и сады точно вымерли. В турецких домах — подавленность и смятение, в христианских — настороженность и неуверенность. Но всюду и везде — страх. Австрийцы, вступающие в город, опасаются засад. Турки боятся австрийцев, сербы — австрийцев и турок. Евреи боятся всех и вся, потому что любой сильнее их, особенно же в военное время. У всех в ушах отзвук вчерашней пушечной пальбы. И если бы люди подвластны были только страху, ни один человек в тот день не высунул бы нос на улицу. Но над людьми

есть и повыше господа. Австрийская часть, вчера вошедшая в город, отыскала мулазима и стражников. Офицер, командовавший этой частью, оставил мулазиму его саблю, приказав и дальше нести службу и поддерживать в городе порядок. Ему было сказано также, что назавтра в одиннадцать часов утра ожидается прибытие военного командования — полковника и что при въезде в город его должны встречать именитые граждане всех трех вероисповеданий. Седой и безропотный мулазим немедленно призвал к себе муллу Ибрагима, мудериса Хусейн-агу, отца Николу и раввина Давида Леви и объявил им, что они, «как законники и первые граждане города», обязаны завтра в одиннадцать часов утра встретить австрийского коменданта в воротах, приветствовать его от имени жителей города и проводить до торговых рядов.

Задолго до назначенного срока четверо «законников» сошлись на опустевшей площади и неспешным шагом направились в ворота. Помощник мулазима Салко Хедо с одним из стражников уже покрывал длинным турецким ковром яркой расцветки приступки и середину каменной скамьи, предназначавшуюся для самого австрийского полковника. Некоторое время они постояли в торжественном молчании, но, не обнаружив на белой дороге, спускавшейся из Околиште, никаких следов австрийского коменданта и переглянувшись, словно по уговору опустились на незастеленную часть каменной скамьи. Поп Никола вытащил объемистый кожаный кисет и угостил всех табаком.

Так сидели они на диване, как бывало в далекой и беспечной юности, когда коротали здесь часы досуга вместе со своими сверстниками. Только теперь они все уже были в летах. Отец Никола и мулла Ибрагим — почтенные старцы, мудерис и раввин — люди зрелого возраста, парадно одетые и полные дум о своих и своем. Вблизи, под резким светом солнца, в бездействии медленно текущего утра они казались друг другу до времени постаревшими и сильно потрепанными жизнью. Но каждый видел другого таким, каким он был в юности, когда рос зеленым деревцем в поросли своего поколения, зеленым деревцем с еще неясным будущим и неугаданной судьбой.

Они курили, разговаривая про одно и совсем другое перебирая в голове и поминутно взглядывая в сторону Околиште, откуда ожидалось появление австрийского коменданта, который нес с собой добро или зло, успокоение или новые беды лично им, их пастве и всему городу.

У отца Николы из всех четверых был наиболее сдержанный и собранный вид, или, по крайней мере, он умел его себе придать. Перешагнув через седьмой десяток, он все еще выглядел свежим и бодрым. Сын известного попа Михайла, обезглавленно-

го турками на этом самом мосту, отец Никола прожил беспокойную юность. Несколько раз бежал он в Сербию, спасаясь от гнева и мести турок. Своим необузданным нравом и поведением он и сам давал повод для ненависти и мстительных чувств. Когда же волнения улеглись, сын попа Михайла принял отцовский приход, взял в дом жену и остепенился. Все старое давно уже забылось. («И я с годами образумился, и турки поостыли»,— шутил отец Никола.) Вот уже пятьдесят лет уверенно и мудро ведет отец Никола свой обширный, раздробленный и трудный пограничный приход, мирное течение жизни которого нарушается теми только потрясениями и невзгодами, которые приносит сама жизнь, ведет его с преданностью слуги и достоинством князя, всегда прямодушный и ровный с турками, народом и властями.

Ни до и ни после него в разных сословиях и религиозных общинах не было человека, более уважаемого и авторитетного среди жителей города, независимо от вероисповедания, пола и возраста, чем этот поп, издавна прозванный «дедом». Для всего города и всей округи дед — живое олицетворение сербской церкви и всего того, что народ считает христианством. И даже больше того, люди видят в нем нарицательный образ пастыря и старейшины вообще, какого могла только нарисовать в тех условиях и обстоятельствах фантазия обитателя этих мест.

Это был человек огромного роста, невероятной физической силы, большого сердца, здравого ума и свободного ясного духа, хотя и не слишком искушенный в грамоте. Его улыбка обезоруживала, успокаивала и ободряла — бесценная, невыразимо прекрасная улыбка сильного, благородного человека, живущего в ладу с самим собой и со своим окружением; его большие зеленые глаза, прищуриваясь в улыбке, метали золотые искры. Таким остался дед и в старости. В длинном кафтане на лисьем меху, с рыжей окладистой бородой, под старость чуть посеребренной сединой и покрывающей собою всю его широкую грудь, в невиданных размеров камилавке на буйных волосах, заплетенных сзади в тугую косицу, подвернутую под камилавку, проходил он по улицам — духовный пастырь и этого города у моста, и всего этого горного края; казалось, он вел их не только последние пятьдесят лет, и не свою только христианскую паству, но был здесь искони, с древних времен, когда людей не разделяли еще разные церкви и веры. Из лавок по обеим сторонам улицы его приветствовали торговцы, какой бы веры они ни были. Женщины отходили в сторону и, опустив голову, ждали, когда дед пройдет мимо. Дети (и даже еврейские) прекращали игру и затихали, а ребятишки постарше с благоговейным трепетом и робостью подходили к огромной и тяжелой дедовой руке, чтобы услышать над своей стри-

женой и разгоряченной играми головой его сильный и веселый голос, кропивший их благостной, мягкой росой:

— Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров, сынок!

Этот акт почтительного поклонения деду восходил к давнишним и общепризнанным обычаям, с которыми рождались новые поколения местных жителей.

И у отца Николы была в жизни своя печаль. Брак его оставался бездетным. Большое это было горе, но никто не помнит ни слова жалобы, оброненного им или попадьей, или хоть бы печального взгляда. В доме своем поп с попадьей всегда держали по меньшей мере двух детей, взятых на воспитание из его или ее деревенской родни. Они растили их до женитьбы или до замужества, а потом брали новых.

Подле попа Николы сидел мулла Ибрагим. Это был длинный, худой, сутулый человек с редкой бородкой и обвислыми усами... Немногим моложе попа Николы, он был главой огромного семейства и наследником большого состояния, оставленного ему отцом, но по своему невзрачному, хилому, робкому виду и пугливому взгляду младенческих синих глаз гораздо больше напоминал какого-нибудь схимника или нищего богомольца, нежели вышеградского ходжу и отпрыска знатного рода. Мулла Ибрагим страдал одним недугом: он заикался, заикался мучительно и непреодолимо. («Чтобы с муллой Ибрагимом поговорить, надо запастись временем»,— шутили горожане.) Однако широкую известность мулле Ибрагиму снискали его доброта и душевность. Сияние тихой доброты, исходившей от этого человека, с первых слов покоряло людей, и они забывали и его наружность, и его заикание. И каждый, несущий тяжкий крест нужды, болезни или какой-нибудь другой напасти, неудержимо тянулся к мулле. Из самых отдаленных сел стекались люди просить его совета. И перед домом муллы всегда кто-то ждал его выхода. Часто и просто на улице его останавливали мужчины и женщины, нуждавшиеся в совете или помощи. Мулла никогда никого не отваживал и никогда не раздавал дорогие талисманы и амулеты, как это делали другие. Вместе с ищущим его совета он усаживался на первый же попавшийся камень, в первую попавшуюся тень, где-нибудь в стороне; человек шепотом излагал свое горе, мулла Ибрагим с живейшим участием и вниманием выслушивал его и откликался добрыми словами утешения, неизменно находя благой совет или несколько грошей, извлеченных худой рукой из глубокого кармана джубе и незаметно для посторонних глаз сунутых несчастному. И не было для него ничего трудного, предосудительного или невозможного, когда речь шла о том, чтобы помочь кому-нибудь из мусульман. Для этого у муллы всегда находились и время и

деньги. Даже и заикание его не было помехой, ибо, перешептываясь со своим духовным сыном или дочерью, он в расстройстве забывал заикаться. Люди уходили от него если не вполне утешенные, то уж, во всяком случае, на время успокоенные тем, что другой человек у них на глазах пережил их беду, как свою собственную. Вечно поглощенный нуждами и заботами ближнего и не обращающий внимания на свои, мулла Ибрагим, по его разумению, провел свой век в благополучии, счастии и довольствии.

Вышеградский мудерис Хусейн-эфенди — еще молодой человек, невысокий, полнотелый, холеный, нарядно одетый. Черная короткая бородка, тщательно подстриженная, правильным овалом обрамляла его белое и румяное лицо с продолговатыми черными глазами. Изрядно образованный, он знал прилично, слыл всезнающим, а мнил о себе и того больше. Он любил говорить и пользоваться вниманием слушателей. Был уверен в силе своего красноречия и в этом самообольщении говорил неудержимо много. Изливаясь изящными закругленными тирадами, мудерис помогал себе экономными движениями своих белых, нежных, с розовыми ногтями рук, опушенных густой, короткой и темной растительностью и слегка приподнятых перед грудью. Ораторствуя, он не забывал принимать самые выгодные позы, как бы красуясь перед зеркалом. Владелец уникальной в городе библиотеки, помещавшейся в окованном и снабженном крепкими запорами сундуке, завещанном ему перед смертью его учителем, достославным Арап-ходжой, Хусейн-эфенди не только оберегал ее заботливо от пыли и моли, но и со всевозможной бережностью изредка ее просматривал. Впрочем, обладание столь многочисленным собранием бесценных книг само по себе создавало ему славу в глазах неискушенных в грамоте обывателей и поднимало его в собственных глазах. Известно было также, что мудерис ведет хронику наиважнейших городских событий. Это обстоятельство укрепило за ним репутацию человека исключительных талантов и учености, ибо обыватель полагал, что доброе имя всего города, так же как и отдельных его граждан, некоторым образом находится в руках мудериса. В действительности вышеупомянутая хроника отличалась скромными размерами и полной незлобивостью. За пять-шесть лет своего существования она заполнила всего четыре страницы тонкой тетрадки. Ибо большинство городских происшествий мудерис считал недостаточно значительными, чтобы быть внесенными в хронику, и тем самым обрек ее на бесплодное и пустое существование старой заносчивой девственницы.

Четвертым «законником» был Давид Леви, вышеградский раввин, внук знаменитого раввина хаджи Лиачо, оставившего ему

в наследство свое имя, положение и состояние, но не передавшего ему ни силы характера, ни ясности ума.

Это был молодой, тщедушный и бледный человек с печальным взглядом бархатисто-карих глаз и неизъяснимой робостью молчальника. Он только что получил сан раввина и недавно женился. Из желания придать себе солидный вид и представительность он носил просторные богатые одежды тяжелого сукна, отпустил усы и бороду, но под нарядами угадывалось хилое и зябкое тело, а сквозь черную редкую бородку просвечивали контуры болезненного детского лица. Он всегда ужасно страдал, когда ему надо было выйти на люди и принять участие в решениях и спорах, все время чувствуя свою незрелость, слабость и убожество.

И вот теперь все четверо в тяжелом парадном одеянии исходили пóтом, сидя на солнце и не имея сил скрыть свою тревогу и растерянность.

— А ну, закурим еще по одной; время есть, так его и перетак; не птица же он, с неба на мост не слетит,— балагурил отец Никола по укоренившейся привычке прикрывать веселой шуткой истинные заботы и мысли, свои и чужие.

И, кинув взгляд на Околиште, все снова взялись за табак.

Беседа текла прерывисто и вяло, все время возвращаясь к приезду австрийского коменданта. Все сходилось к тому, что отцу Николе надлежит сказать приветственное слово прибывающему полковнику. Сыпля золотые искры своими сощуренными в улыбке глазами, отец Никола оглядел их всех троих долгим, молчаливым и внимательным взглядом.

Молодой раввин умирал от страха. Струйки дыма медленно пробирались сквозь его усы и бороду, ища выхода на волю, так как у раввина не хватало силы отогнать их от себя. Мудерис был напуган нисколько не меньше раввина. Все красноречие и осанистость ученого мужа как-то разом покинули в то утро мудериса. Он даже приблизительно не мог себе представить, какой у него затравленный и пришибленный вид, ибо высокое мнение о собственной персоне не позволяло ему и в мыслях допустить что-нибудь подобное. Мудерис попробовал было произнести одну из своих цветистых речей, подкрепленных для вящей выразительности округлыми жестами рук, но его холеные руки беспомощно падали на колени, а речь обрывалась и путалась. Он и сам не мог понять, куда девалась всегдашняя его самоуверенность, но напрасно мучился, пытаясь вернуть ее, точно неотъемлемую принадлежность привычного обихода, которая запропастилась куда-то в тот самый момент, когда хозяин испытывал в ней самую острую нужду.

Мулла Ибрагим, несколько бледнее обычного, все же сохранял спокойствие и хладнокровие. Время от времени встречаясь взгля-

дами, мулла и отец Никола как бы скрепляли безмолвный договор. Добрые знакомые и приятели с юности, они и сейчас сохраняли дружеские отношения, насколько вообще возможна была тогда дружба между турком и сербом. Когда у попа Николы в молодые годы были «стычки» с вышеградскими турками и он должен был спасаться бегством, ему какую-то услугу оказал мулла Ибрагим, отец которого был одним из всесильных владык города. Позднее, когда относительный мир снизошел на город и отношения двух религиозных общин стали более сносными, мулла и поп, вполне уже зрелые люди, еще больше сблизились и в шутку звали друг друга «соседями», хотя их дома находились на противоположных концах города. Во время засухи, наводнений, эпидемий и других напастей оба они стояли на посту, каждый среди своих прихожан. Впрочем, и так, встретившись на Мейдане или на Околиште, они приветствовали друг друга и говорили про жизнь, что нечасто бывает между священником и муллой. Указывая чубуком своей трубки на город у реки, отец Никола любил повторять полусерьезно, полушутя:

— За все, что там дышит, ползает и говорит человеческим голосом, наша с тобой душа в ответе.

— Истинно так, верные твои слова, сосед,— заикаясь, подтверждал мулла Ибрагим,— за все мы в ответе.

(Гораздые на меткие словечки горожане иначе и не называли преданных друзей, как только «неразлучная парочка, мулла да батюшка». Это изречение вошло у них в пословицу.)

Они и сейчас, хоть и не обмолвились ни словом, прекрасно понимали друг друга. Отец Никола знал, как тяжело мулле Ибрагиму, а мулла Ибрагим понимал, что попу Николе нелегко. И они продолжали свой немой разговор, столько раз уж за долгую жизнь в разных обстоятельствах поддерживавший их, разговор двух людей, взявших на себя заботу о всех двуногих, сколько их есть в городе, один о тех, которые крестятся, другой — о тех, которые кланяются.

Вдруг послышался конский топот. К ним подскакал стражник на низкорослом коне. Запыхавшийся и испуганный, он еще издалека кричал, точно глашатай:

— Едет, господин едет, вон он на белом коне!

Тут объявился на мосту и мулазим, как всегда, спокойный и, как всегда, одинаково предупредительный и одинаково немногословный.

Дорогой от Околиште взвивалась пыль.

Люди, родившиеся и выросшие в этом глухом углу Турецкой империи, распадающейся Турецкой империи XIX века, конечно, не имели никакого понятия о том, что представляет собой подлинно боеспособное и организованное войско могущественной державы.

Все, что приходилось видеть им до этих пор, были разрозненные, отощавшие, кое-как обмундированные и плохо оплачиваемые части регулярной армии или, что еще хуже, согнанные силой отряды боснийских башибузуков, не ведающие ни дисциплины, ни боевого воодушевления. Сейчас перед ними впервые предстала настоящая «военная машина», победоносная, блестящая, уверенная в себе. Такая армия должна была ослепить их и поразить до опемения. По конской сбруе, по каждой пуговице на мундирах солдат с первого взгляда угадывались надежные и прочные тылы, порядок, мощь и изобилие какого-то другого мира, стоящего за полчищами этих парадно разодетых гусар и егерей. Впечатление было ошеломляющим и глубоким.

Впереди выступали два трубача на откормленных, серых в яблоках жеребцах, за ними следовал отряд гусар на вороных скакунах. Холеные, гладкие кони, сдерживая норов, пружинисто и мелко, словно молодые девушки, перебирали ногами. Гусары в высоких киверах с желтыми галунами на мундирах, все, как на подбор, румяные, загорелые щеголи с закрученными усиками, выглядели свежими и выспавшимися, как будто они только из казармы. За ними гарцевала группа из шести офицеров с полковником во главе. Все взгляды сосредоточились на нем. Белоногий конь полковника был выше других и отличался замечательно длинной и изогнутой шеей. За офицерской группой шли на некотором расстоянии части пехотинцев, егерей в зеленых униформах, с перьями, венчавшими кожаные кивера, и белыми портупеями через грудь. Их бесконечная колонна уходила вдаль, покуда хватал глаз, и казалась колыхавшимся лесом.

Проследовав мимо священнослужителей и мулазима, трубачи и гусары остановились на площади и выстроились в стороне.

Бледная и взволнованная местная делегация вышла на середину моста навстречу приближавшимся к ним офицерам. Один из младших офицеров подогнал коня к полковнику и что-то ему сказал. Все замедлили ход. В нескольких шагах от делегации полковник резко осадил своего коня и спешился, подав тем самым пример остальным офицерам. Подскочившие вестовые приняли офицерских коней и отвели их на несколько шагов назад.

Едва коснувшись земли, полковник неузнаваемо преобразился. Он оказался мелкорослым и неказистым и всем своим измученным и неприязненным видом выдавал в себе опасного и неприятного субъекта. Казалось, он один сражался и воевал за все свое войско.

И всем вдруг бросилось в глаза, что в отличие от своих белолицых, затянутых офицеров он обтрепан, неопрятен и запущен. Все обличало в нем желчность, которая заедает свой век. Лицо обветрено и заросло бородой, глаза беспокойные, высокий кивер

съехал набок. Мундир помят и чересчур широк для его тщедушного тела. На ногах кавалерийские сапоги с короткими, мягкими и тусклыми голенищами. Поигрывая хлыстом и валко шагая широко расставленными ногами, полковник подходил к группе ожидающих. Один из офицеров, указывая на них, что-то докладывал ему. Полковник окинул собравшихся беглым, злым и хмурым взглядом человека, угнетенного тяжелейшей ответственностью и величайшей опасностью. И всем тотчас же стало ясно, что иначе он смотреть и не умел.

В эту минуту отец Никола стал говорить своим глубоким и ровным голосом. Полковник поднял голову и остановил свой взгляд на лице статного человека в черной рясе. Открытое и гордое выражение, застывшее на лице этого библейского патриарха, на мгновение приковало к себе внимание полковника. Можно было не понять или пропустить мимо ушей то, что говорил этот старик, но лицо его не могло остаться незамеченным. Отец Никола между тем продолжал свою речь, и она текла естественно и плавно, обращенная больше к молодому офицеру, исполнявшему роль переводчика, нежели к самому полковнику. От имени присутствующих здесь священнослужителей всех вероисповеданий поп Никола заверял полковника в готовности пастырей совместо с прихожанами подчиниться новой власти и сделать все от них зависящее для поддержания спокойствия и порядка, требуемого новой властью. В свою очередь они нижайше просят взять под защиту их семейства и дать им возможность по-прежнему спокойно жить и честно трудиться.

Отец Никола говорил коротко и быстро кончил свою речь. Так что даже у неугомонного полковника не иссякло терпение. Но зато перевод молодого офицера он не дал себе труда дослушать до конца. Взмахнув хлыстом, он оборвал его резким срывающимся голосом:

— Ладно, ладно! Защиту получат все, кто хорошо себя будет вести. А порядок и повиновение должны быть абсолютно обязательны. Тут уж без всяких отклонений.

И, коротко кивнув, двинулся вперед, ни на кого не поглядев и не попрощавшись. Священнослужители подались в сторону. Полковник, офицеры и вестовые с конями проследовали мимо. Никто не оглянулся на «законников», они одни остались на мосту.

Разочарование их было полным. Ведь все утро и всю ночь, в которую они почти не сомкнули глаз, они по сто раз задавались вопросом, как пройдет эта встреча австрийского коменданта. И поразному рисовали ее: каждый сообразно своему характеру и складу ума,— и готовились к самому худшему. Иные уже представляли себе, как их прямо с моста уводили в плен, в далекую Герма-

нию, чтобы они никогда больше не видели ни своего дома, ни города. Другим приходили на ум рассказы о Хайруддине, который отсекал когда-то головы в этих самых воротах. По-всякому воображали они себе эту сцену, но только не так, как она сейчас разыгралась с этим мелкорослым, но крутым и злобным офицером, который в войне видел истинную жизнь, не думал о себе, не заботился о прочих, людей и страны считал орудием или средством ведения боевых операций и войны и держал себя как единственный и полномочный вершитель судеб мира.

Так они и стояли, недоуменно переглядываясь. Взгляды их безмолвно вопрошали: «Можно ли считать, что мы остались живы и что худшее позади? Что нас еще ожидает и что теперь делать?»

Мулазим и отец Никола первыми пришли в себя. И рассудили дело так, что они выполнили свою миссию и теперь им не остается ничего иного, как разойтись по домам и объяснять людям, что бояться и прятаться не следует, но вести себя надо крайне осторожно. Остальные члены делегации без единой кровинки в лице и без единой мысли в голове согласились с этим предложением, как согласились бы с любым другим, так как сами не в состоянии были что-либо предложить.

Мулазим, сохранивший и на этот раз свое всегдашнее спокойствие, отправился по своим делам. Стражник свертывал пестрый ковер,— ему не суждено было принять на себя австрийского коменданта,— а рядом со стражником стоял Салко Хедо, хладнокровный и бесстрастный, как рок. Тем временем стали расходиться и законники, каждый в свою сторону и своей особенной походкой. Раввин семенил мелкими шажками, подгоняемый желанием поскорее очутиться дома и ощутить тепло и защиту семейного мира, где обитали его жена и мать. Мудерис удалялся медленно, но в глубокой задумчивости. Теперь, когда все совершилось неожиданно быстро и легко, хотя достаточно грубо и неприятно, ему было совершенно очевидно, что и не было никаких оснований для боязни и что он, собственно, ничего и не боялся. Он думал только о том, насколько важно прошедшее событие с точки зрения его хроники, какое место надо будет в ней ему отвести. Двадцати строк будет достаточно. Или даже пятнадцати, если не меньше. По мере приближения к дому, количество строк сокращалось. И с каждой сэкономленной строкой окружающее становилось все мельче и обыденнее, в то время как сам мудерис рос и все выше возносился в собственных своих глазах.

Мулла Ибрагим и поп Никола шли вместе до самого подножия Мейдана. Оба молчали, изумленные и потрясенные видом и поведением полковника австрийской армии. Обоим не терпелось поскорее прийти домой и рассказать обо всем своим. На развилке,

где их дороги расходились, они на мгновение остановились и молча посмотрели друг на друга. Мулла Ибрагим, часто мигая и жуя губами, никак не мог произнести застрявшее слово. Отец Никола, снова озаряясь своей улыбкой, сыпавшей золотыми искрами и ободряющей и его и ходжу, высказал ту мысль, которая у обоих вертелась в голове:

— Попьет из нас кровь эта армия, мулла Ибрагим!

— В-в-в-верно говоришь, п-п-п-попьет,— заикаясь, подтвердил мулла Ибрагим и, воздев руки в знак приветствия, слегка кивнул головой, прощально улыбаясь.

Поп Никола медленно, тяжелым шагом приближался к своему дому возле церкви. Его встретила попадья, не досаждая ему никакими вопросами. Поп Никола, войдя в дом, тотчас же скинул сапоги, снял рясу и сорвал камилавку с густой и потной гривы рыжих с проседью волос. И тут же присел отдохнуть на маленькой терраске. На деревянных перилах его уже дожидался стакан воды и кусок сахара. Освежившись и закурив, отец Никола утомленно прикрыл глаза. Но перед внутренним взором его по-прежнему метался неугомонный австрийский полковник, подобный ослепляющей молнии, которая заслоняет собой весь мир, оставаясь в то же время неуловимой для человеческих глаз. И со вздохом, далеко отогнав от себя струю дыма, батюшка чуть слышно проговорил:

— Н-да, чудной поганец, возьми его нелегкая!

Из города донеслась барабанная дробь, а затем звук егерского горна, высоким, пронзительным голосом выводивший незнакомую и странную мелодию.

XI

Так крупнейший переворот в жизни города подле моста совершился без каких-либо иных жертв, кроме проколотого уха Али-ходжи. Несколько дней спустя городская жизнь вошла в свою обычную колею и покатилась без видимых изменений. И даже пострадавший Али-ходжа оправился вскорости и по примеру прочих торговцев открыл свою лавку близ моста, только белую чалму с той поры носил несколько сдвинутой на правую сторону, чтобы скрыть шрам на раненом ухе. «Свинцовая гиря», что залегла в его груди, когда он увидел красный крест на рукаве австрийского солдата и прочел сквозь слезы «царский наказ», исчезла не совсем, а лишь уменьшилась до величины бусины четок и не особенно мешала ему жить. Впрочем, не он один носил ее в груди.

Так началась новая полоса жизни — жизни под оккупацией; народ, бессильный воспрепятствовать ей, в душе считал ее временной. Чего только не перевозилось через мост в эти первые годы

оккупации! Окрашенные в желтый цвет военные повозки, громыхая, длинными вереницами катили по мосту, подвозя провиант, одежду, мебель, невиданные механизмы и оборудование.

Сначала видна была только армия. Словно вода из почвы, солдаты появлялись из-за каждого угла, из каждого куста. Торговые ряды кишели солдатами, но паводняли они и окраины. Город то и дело оглашал испуганный визг женщин, которые во дворе или за домом в сливняке неожиданно натыкались на солдат. В темно-синих мундирах, загоревшие за время двухмесячных маршей и боев, счастливые, что остались живы, жаждущие отдыха и наслаждений, они расползлись по городу и его окрестностям. На мосту их было полно в любое время суток. Мало кто из горожан выходил за ворота, так как там вечно толклась солдатня. Солдаты сидели, распевали песни на всевозможных языках, пересмеивались, покупали фрукты, наполняя ими синие кивера с кожаным козырьком и кокардой из желтой жести с вытесненными на ней инициалами короля: Ф И I.

Но с осени армия начала уходить. Постепенно и незаметно солдат становилось все меньше и меньше. В городе остались одни только отряды жандармерии. Они занимали квартиры, готовясь осесть здесь надолго. В то же время начинали прибывать чиновники, мелкие и крупные служащие с семьями и прислугой, а за ними ремесленники и разные специалисты, каких никогда раньше не было в наших краях. Это были чехи, поляки, хорваты, венгры и немцы.

На первых порах они, казалось, наплывали случайными волнами, занесенные попутным ветром, чтобы побыть у нас какой-то срок, разделяя так или иначе жизнь, которой здесь жили от века, и силами цивильной власти продлить еще на некоторое время оккупационный режим, установленный армией. Между тем с каждым месяцем число чужеземцев-новоселов возрастало. Но не столько многочисленность пришельцев поражала местных жителей, повергая их в недоумение и растерянность, сколько их непонятные и безграничные планы и неистощимое рвение и настойчивость в их осуществлении. Сами они не знали угомона и другим не давали покоя; казалось, они вознамерились невидимой, но все более ощутимой сетью законов, предписаний и установлений опутать самую жизнь вместе с людьми, животными и неодушевленными предметами; все переделать и изменить вокруг себя, начиная с внешнего облика города и кончая поведением и правами людей от колыбели до могилы. И все это спокойно, без лишних слов, нажима или принуждения, которые могли бы вызвать протест. Едва наткнувшись на сопротивление или непонимание, они тотчас уступали и, тайно посоветовавшись, избирали другие методы работы и

другой подход, но все-таки осуществляли задуманное. Занимались они с виду все какими-то пустячными и просто бессмысленными делами. Обмеряли какую-нибудь луговину, метили деревья в лесу, обследовали отхожие места и сточные канавы, смотрели у лошадей и коров зубы, проверяли аршины и гири, расспрашивали людей про болезни, про количество и названия плодовых деревьев, про породы овец и домашней птицы. (Все это было похоже на игру: до того бестолковыми, несущественными и несерьезными представлялись людям их занятия!) А после работа, выполненная со всем тщанием и старательностью, как бы забрасывалась, словно проваливалась куда-то бесследно и навсегда. Но по истечении нескольких месяцев, а подчас и целого года она вдруг снова всплывала на поверхность, неожиданно обнаруживая свой истинный смысл, казавшийся некогда никчемным и давно уже всеми забытым: в Конак сзывались старосты тех или иных кварталов и получали новые распоряжения о вырубке леса, о борьбе с тифом, о порядке продажи фруктов и сладостей или о введении паспортов на крупный рогатый скот. И так, что ни день, какой-нибудь новый указ. И каждый новый указ в чем-то ограничивал человека, налагая на него новые обязательства, и в то же время расширял, разнообразил, обогащал жизнь города или села и всего его населения в целом.

Однако же в домах, и при этом не только в турецких, но и в сербских, ничего не менялось. Здесь жили, трудились и развлекались по-старому. Тесто месили в квашнях, кофе поджаривали на очаге, белье кипятили в ушатах и стирали в золе, разъедающей руки женщин; ткали и вышивали на станках и пяльцах. По-прежнему неукоснительно соблюдались старинные обычаи на славах, праздниках и свадьбах. О новых же, принесенных чужеземцами, шептались пока только по углам, как о чем-то невероятном и далеком. Словом, здесь жили и трудились, как повелось спокон века и как в громадном большинстве домов будут еще жить и пятнадцать и двадцать лет после оккупации.

Зато внешний облик города преображался на глазах. И тот же самый обыватель, в своем узком домашнем мирке твердо державшийся старых устоев и правил, не собираясь что-то в них менять, после более или менее продолжительного возмущения и воркотни легко смирялся с переменами. Тем более что новое, как всегда и всюду, было, в сущности, смесью старого и нового. Старые понятия и старые ценности, сталкиваясь с новыми, перемешивались между собой или существовали параллельно, словно выжидая, кто кого переживет.

Деньги считали на форинты и крейцеры, но и на гроши и пары, мерили аршинами, окками и драхмами, но также и метрами,

килограммами и граммами, сроки выплаты налогов и сдачи поставок назначались по новому календарю, но еще чаще по старинке — от юрьева и дмитрова дня. По закону природы люди противились новому, но не особенно упорствовали, ибо большинству жизнь дороже и важнее формы, которая ей придается. И только считанные люди переживали истинную трагедию борьбы между старым и новым. Для них способ существования неразрывно и безусловно связан с самим существованием.

Таков Шемси-бег Бранкович из Црнчи, один из самых богатых и уважаемых бегов города. У него шестеро сыновей, четверо уже женатых. Их дома образовали целое небольшое поселение, окруженное сливняками и рощами. Шемси-бег был непререкаемым, немногословным и строгим главой этого большого клана. Высокий, согнутый годами, с огромным белым, шитым золотом тюрбаном, венчавшим его голову, он лишь по пятницам сходил в город класть поклоны на полуденной молитве в мечети. С первого дня оккупации Шемси-бег проходил через город, нигде не останавливаясь, ни с кем не разговаривая и не глядя вокруг. Ни единый предмет новомодной одежды, обуви или инструмента, ни единое слово нового обихода не переступали порог Шемси-бегова дома. Ни один из его сыновей не пускался ни в какое дело, так или иначе связанное с новой властью, внуки не ходили в школу. От этого семейство Шемси-бега терпело явные убытки; упрямство старика вызывало недовольство сыновей, однако никто из них ни словом, ни взглядом и думать не смел перечить его воле. Турки в торговых рядах, поддерживавшие отношения с пришлыми, приветствовали Шемси-бега, проходившего мимо них, с немым подобострастием, в котором были страх, и восхищение, и тайные укоры нечистой совести. Самые старые и почтенные турки, словно на поклонение святым местам, отправлялись в Црнчу навестить Шемси-бега и побеседовать с ним. Тут у Шемси-бега собирались самые упорные, те, кто был полон решимости ни под каким видом не идти на уступки действительности. Тут они подолгу сидели, почти в молчании, без слов понимая друг друга.

Шемси-бег, и зимой и летом застегнутый на все пуговицы и укутанный, сидит и курит на красном коврике; гости расположились вокруг. Разговор обычно идет о каком-нибудь очередном непонятном и омерзительном мероприятии австрийских властей или об отступничестве турок, которые все более открыто подлаживаются под новый режим. Гости ощущают неодолимую потребность излить свою досаду, горечь и недоумение перед этим суровым и достойным человеком. И все разговоры неизменно завершаются вопросами: куда все это ведет и чем закончится? Кто они, эти чужестранцы, не ведающие, казалось, ни устали, ни роздыха, ни

меры, ни границ? Что им надо? Что у них на уме? Откуда в них эта ненасытность, словно одна потребность рождает другую? Зачем им все это? Что это за беспокойство,— прямо-таки какое-то проклятие! — которое их непрестанно точит и толкает на новые затеи и предприятия, и нет им ни конца, ни края?

А Шемси-бег только поглядывает на них и помалкивает. Лицо его темно, оно омрачено каким-то внутренним страданием. Взгляд твердый, но отвлеченный и отсутствующий. Глаза мутные, черные зрачки, как у старого орла, окружает беловато-серая радужная оболочка. Большой безгубый рот плотно сжат и непрестанно движется, будто перемалывает одно и то же непроизносимое слово.

И все же люди уходят от него с чувством облегчения, не то чтобы успокоенные или утешенные, но вдохновленные и взволнованные примером несгибаемости, бескомпромиссности и непреклонности.

Однако каждую пятницу новые перемены в обличье людей или домов, происшедшие за истекшую неделю, подкарауливали Шемси-бега, спускавшегося в торговые ряды. Стараясь не замечать их, он устремлял свой взор в землю, но и здесь, в сухой дорожной пыли, все чаще вперемежку с круглыми отпечатками плоских турецких подков видел следы гнутых австрийских подков с острыми шипами по краям. Так и тут, в дорожной пыли, взгляд его читает тот же самый безжалостный приговор, написанный всюду — и на лицах, и на бездушных предметах,— приговор времени, которое невозможно остановить.

Не находя нигде отдохновения, Шемси-бег вовсе перестал спускаться в город. И, затворившись в Црнче, сидел здесь молчаливым, взыскательным и непреклонным повелителем, который в тягость всем, но больше всего себе. Его по-прежнему, как некую живую святыню, навещали старые и влиятельные турки. (И в том числе особенно часто Али-ходжа Мутевелич.) А на третьем году оккупации старый Шемси-бег скоропостижно умер. Отошел в мир иной, так и не выговорив горького слова, которое без конца перемалывал во рту, и ни разу не ступив больше в торговые ряды города, окончательно свернувшего на новый путь.

Город и в самом деле неузнаваемо менялся, чужеземцы валили деревья, сажали другие и на других местах, выпрямляли дороги, прокладывали новые, рыли канавы, возводили общественные здания. За несколько первых лет оккупации в торговых рядах были снесены выдававшиеся вперед лавки, до сих пор, видит бог, никому не мешавшие. И вместо старых лабазов с откидными прилавками построены были новые капитальные, с черепичной или железной крышей и с металлическими шторами в дверях. (Жертвой этих усовершенствований должна была пасть и лавка Али-ход-

жи, но ходжа отчаянно сопротивлялся, судился и в результате все-таки добился того, что лавка его осталась стоять нетронутой на прежнем месте.) Площадь была расширена и выровнена. Воздвигнут был новый постоялый двор, просторное здание суда и уездной управы. Армия же действовала сама по себе, бесцеремонностью и быстротой превосходя гражданские власти. Возводились бараки, выкорчевывался и насаждался лес, менялся вид окрестных взгорий.

Старожилы не могли надивиться и опомниться. И как раз тогда, когда, по их понятиям, должно было иссякнуть наконец непостижимое рвение чужестранцев, те брались за новое дело, еще более странное, чем прежние. И горожане, застревая у работ, глазели на них,— но не как дети, захваченные деятельностью взрослых, а, наоборот, как взрослые, которые остановились на минутку посмотреть на детскую забаву. Ибо ненасытная потребность чужестранцев строить и расчищать, копать и возводить, поднимать и переделывать, их постоянное стремление предвидеть действие природных сил, чтобы предотвратить их или одолеть, не находили здесь ни в ком ни одобрения, ни сочувствия. Напротив, горожане, в особенности же люди старые, видели в этом явление нездоровое, сулившее что-то дурное. Будь по-ихнему, город выглядел бы точно так же, как и все восточные городишки. Что потрескалось, залатали бы, что покосилось, подперли; но сверх того и помимо того никому и в голову бы не пришло ни с того ни с сего заняться планомерной и дальновидной переделкой, докапываться до фундамента построек и менять богом данный облик города.

А чужестранцы, ко все большему изумлению озадаченных горожан, действуя по какой-то неведомой и хорошо продуманной программе, быстро и последовательно переходили от одного дела к другому. Пока однажды,— совершенно неожиданно для местных жителей,— не подошел черед давно заброшенного караван-сарая, который и теперь еще составлял единое целое с мостом так же, как и три столетия назад. Собственно, то, что называлось некогда «Каменным ханом», давно уже превратилось в руины. Ворота сгнили, кружево резных решеток из мягкого камня на окнах было выбито, крыша обвалилась внутрь, и сквозь нее проросла высокая акация и полчища безымянных кустов и бурьяна, но наружные стены были целы и поныне; правильный прямоугольник из белого камня стоял нерушимо. Горожанам, привыкшим видеть их с рождения до смерти, руины «Каменного хана» представлялись не обычными развалинами, но завершением моста, неотделимой частью города и родного их дома, на которую никто и во сне не посмел бы поднять руку и что-нибудь там менять, кроме того, что уже изменено временем и природой. Но вот в один прекрасный день настала оче-

редь и «Каменного хана». Прежде всего инженеры тщательно обмерили развалины, после чего рабочие и поденщики принялись разбирать его камень за камнем, распугивая тучи птиц и мелких тварей, гнездившихся здесь. Вскоре горная терраса над базарной площадью у моста очистилась и облысела, а караван-сарай превратился в груду аккуратно сложенных камней. За год с небольшим вместо прежнего белокаменного караван-сарая выросла нелепая коробка высокой двухэтажной казармы, подкрашенной бледно-голубой краской, покрытой серой кровельной жестью, с бойницами по углам. На расширенной горной террасе перед ней день-деньской муштровали солдат, и под зычные выкрики капрала они с натугой оттягивали носки и, точно больные, падали лицом в пыль. А вечерами из окон этого безобразного здания доносились чужие военные песни, сопровождаемые губными гармониками, и не смолкали до тех самых пор, пока пронзительный голос армейского горна под дружное завывание окрестных собак, воспринимавших его как команду, заунывной мелодией своей не заглушал все звуки и не тушил последний свет в окошках. Так кануло в небытие прекрасное детище визиря, и казарма, которой народ, верный своим привычкам, присвоил имя «Каменного хана», повела свое существование на горной террасе у моста в полном разладе со всем, что ее окружало.

Мост стоял теперь совершенно изолированно и одиноко.

Но и на нем, увы, исконное и местное приходило в столкновение с новшествами, принесенными чужестранцами и их режимом, и в этих конфликтах, как правило, все старое и коренное обречено было на уступки и подчинение.

Что касается местных жителей, то жизнь в воротах и дальше текла почти без перемен. Стали только замечать, что теперь в ворота все чаще и свободней, в любое время дня, не считаясь, как бывало встарь, с привычками и привилегиями турок, начали захаживать сербы и евреи. В остальном же все шло по-старому. В дневное время ворота служили пристанищем торговцам, перекупщикам — они встречали здесь крестьянок и скупали у них шерсть, перо или яйца, а также праздным бездельникам, вслед за солнцем передвигавшимся из конца в конец города. Под вечер сюда стекались прочие горожане — служивый и рабочий люд — поговорить или помолчать, любуясь зеленой ширью реки, обрамленной ракитами и пестревшей песчаными косами. Ночь же принадлежала молодым парням и гулякам. Им и теперь, как раньше, не указ никакие часы и запреты.

Ночная пора на мосту, во всяком случае поначалу, претерпела некоторые изменения. Новая власть, наряду с прочим, ввела постоянное освещение. В первый же год оккупации на главных ули-

цах и перекрестках города были установлены керосиновые фонари на зеленых столбах. (Чистил, заправлял и зажигал фонари длинный Ферхад, многодетный бедняк, до сих пор перебивавшийся случайными заработками: прислуживал уездному начальству, палил на рамазан из мортиры и выполнял прочие мелкие поручения подобного рода.) Поставили фонари и на мосту, в том числе и в воротах. Фонарь приладили к той самой дубовой тесине, что осталась в каменной кладке от прежней караульни. Этому фонарю в воротах предстояло выдержать затяжную борьбу с привередливыми вкусами любителей ночного бдения, мирно текущего под покровом темноты за пением, трубкой или разговорами, и разрушительными склонностями юношей, порожденными любовной тоской, бездельем и ракией. Мигающий свет фонаря раздражал полуночников, и сколько раз утром фонарь оказывался вдребезги разбитым. Несчетное количество судимостей и штрафов связано с этим фонарем. Одно время злополучный светильник охранял специальный общинный страж. И таким образом ночные завсегдатаи ворот в придачу к свету получили живого свидетеля своих утех, который был им во сто крат ненавистней самого фонаря. Но под воздействием времени новые поколения горожан постепенно свыклись и смирились с необходимостью предаваться ночным излияниям чувств при свете подслеповатого общинного фонаря и не швырять в него то и дело камнем, палкой или вообще первым тяжелым предметом, попавшимся под руку. Тем более что лунными ночами, когда на мосту было особенно людно, фонари вообще не зажигали.

Раз в году на мосту устраивалась грандиозная иллюминация. В день рождения императора 18 августа во второй половине дня местная управа украшала мост гирляндами из веток и молоденьких сосенок, а с наступлением вечера на мосту зажигались вереницы фонариков и огоньков: они тянулись по ограде, мерцая над сотнями жестяных банок из-под солдатских консервов, наполненных стеарином и жиром. Огоньки освещали выгнутую часть моста, оставляя погруженными во мрак оба его конца и быки и создавая впечатление парящей над водой арки. Но любой огонь гаснет, а праздники проходят. Уже следующим утром мост приобретал свой будничный вид. И только поколение детей, заставшее иллюминацию моста, хранило в своей памяти невиданное зрелище его парящей арки в неверных отсветах огней, зрелище невыразимо прекрасное, но мимолетное и преходящее, как сон.

Помимо постоянного освещения, новая власть ввела обыкновение блюсти в воротах чистоту, соответственно своим понятиям о ней. Фруктовая кожура, арбузные семечки и скорлупа от лесных и грецких орехов не валялись отныне целыми днями на каменных плитах моста, пока их не смывало дождем или не сносило ветром.

Приставленный к мосту специальный общинный подметальщик каждое утро теперь убирал и мел ворота. Но это в конце концов никому не мешало, ибо, даже не имея привычки к чистоте и потребности в ней, люди с легкостью мирятся с чистотой; конечно, при условии, что не должны ее поддерживать.

И еще одно новшество принесли с собой оккупация и пришлый люд: ворота, впервые за время их существования, стали посещать представительницы слабого пола. Чиновничьи жены и дочери, их служанки и няньки в сопровождении своих спутников военного или штатского звания останавливались поболтать на мосту или приходили сюда в праздник посидеть. Случалось это не так уж часто, но тем не менее портило настроение старикам, любившим в тишине над водой выкурить свой чубук, и тревожило и возбуждало молодых.

Известная связь между воротами и женской половиной города, надо сказать, существовала спокон веков, но лишь в той мере, в какой мужчины использовали мост для того, чтоб бросить проходящим мимо девушкам какую-нибудь любезность или высказать, развеять или пережить тут, в воротах, свои любовные восторги, сомнения и горести. Не один из них за тихим пением («для души»), или в клубах табачного дыма, или просто в безмолвном скольжении взглядом по струям бегущей реки провел здесь в одиночестве долгие часы, а то и дни в уплату той подушной подати волшебным чарам, которой облагаются все смертные за редким исключением. Не одной паре соперников довелось разрешить здесь любовный спор, не одна любовная интрига была здесь задумана. А сколько говорили и мечтали здесь о женщинах и о любви, сколько разгорелось и угасло страстей! Все это было, но женщины никогда не останавливались и не присаживались в воротах, ни христианки, ни тем более мусульманки.

В воскресные и праздничные дни теперь все чаще появлялись в воротах краснолицые кухарки, перетянутые в талии, со складками жира, вылезающего из-под тугих корсетов, стеснявших дыхание. Они приходили в обществе фельдфебелей в тщательно вычищенных мундирах с блестящими металлическими пуговицами, красными галунами и эмблемами стрелковых частей на груди. Будничными вечерами на мосту прогуливались чиновники и офицеры со своими женами, останавливались в воротах, разговаривали на своем непонятном паречии, громко смеялись и вели себя с независимой вольностью.

Эти праздные, беспечные и смешливые женщины всем кололи глаза. Поначалу они повергали в смущение и ужас, но постепенно стали и к ним привыкать, как привыкли, так и не приняв, ко многому другому.

И все-таки можно сказать, что все изменения на мосту были относительно мелкими, поверхностными и недолговечными. Глубокие и важные перемены в психологии и представлениях людей, а также во внешнем облике города не затронули моста, как бы обошли его стороной. Казалось, древний белый мост, без единой царапины и ссадины вынесший на себе тяжесть трех веков, и под «этим нынешним государем» пребудет неизменным и выстоит в половодье новшеств и реформ, как не раз выстаивал в былые времена под натиском всесокрушающих разливов и выныривал из мутной пучины поглотившей его разъяренной реки незапятнанно чистым и белым, как бы возродившимся вновь.

XII

Таким образом, жизнь на мосту стала более разнообразной и яркой.

С утра до поздней ночи сменялись здесь многолюдные пестрые толпы своих и пришлых, молодых и старых. Поглощенные собой, они были заняты лишь теми помыслами, увлечениями или страстями, которые привели их в ворота. И потому не обращали ни малейшего внимания на тех, кто, погруженный в свои заботы и думы, проходил по мосту, поникнув головой или с отсутствующим видом, не глядя по сторонам и не замечая сидящих на скамьях ворот.

К таким прохожим принадлежал и газда Милан Гласинчанин из Околиште, долговязый, изможденный, бледный и сутулый человек. Невесомое и как бы прозрачное его тело припечатывали к земле свинцовые стопы. От этого он на ходу раскачивался и шатался, подобно хоругви в детских руках над крестным ходом. Голова и усы у него седые, как у старика, глаза опущены. Таким ходит он теперь по городу, напоминая лунатика, не примечая перемен ни на мосту, ни в людях, и сам неприметный для тех, кто явился сюда посидеть, помечтать, попеть, поторговать, поболтать или просто провести время. Старики забывают его, молодежь не помнит, чужеземцы не знают. А между тем судьба его теснейшим образом связана с воротами, по крайней мере судя по тому, о чем так много шепотом и вслух еще лет десять — двенадцать назад говорили в городе.

Отец Милана, Никола Гласинчанин, переехал сюда как раз в ту пору, когда в Сербии в полную силу горело мятежное пламя, и купил прекрасную усадьбу на Околиште. Ходили упорные слухи, будто он откуда-то бежал с большими, но не чистым путем нажитыми деньгами. Доказательств тому ни у кого не было, и злой

молве верили и не верили, хотя и не отвергали ее полностью. Два раза Гласинчанин был женат, но с детьми дело у него не задалось. Одного только сына, Милана, и вырастил. Ему он оставил все, что имел, явное и тайное. И у Милана был тоже единственный сын, Петар. Достатка бы семье хватило, и с лихвой, если бы не его единственная, но всепожирающая страсть — игра.

Игра не свойственна природе истинного вышеградца. Как мы видели, им владеют иные страсти: чрезмерная слабость к женщинам, а также любовь к выпивке, песням, гульбе или праздным мечтам над водами родной реки. Между тем человеческие возможности ограничены во всем, и в страстях тоже. Сталкиваясь и вытесняя одна другую, они часто и вовсе исключали друг друга. Это не значит, что в городе не было людей, подверженных и этому пороку, но число их было ничтожно мало по сравнению с другими городами, и в большинстве своем это были переселенцы или чужестранцы. Одним из них, как бы там ни было, являлся Милан Гласинчанин. Азарт игры владел им безраздельно с ранней юности. За неимением партнеров он забирался, бывало, в соседние уезды и возвращался оттуда или набитый деньгами, словно торговец с ярмарки, или с пустыми карманами, без часов и цепочки, без табакерки и перстня, но в обоих случаях бледный и невыспавшийся, как после болезни.

Вообще же излюбленным его местом был постоялый двор Устамупча в конце вышеградских торговых рядов. Здесь, в узкой каморке без окна, при свете незатухающей свечи, всегда обреталось три-четыре мученика несчастной страсти, завзятых игрока. Они запирались тут и сидели в клубах табачного дыма и духоте, с налитыми кровью глазами, пересохшими губами и дрожащими руками, не различая ни дня, ни ночи. В этой самой каморке провел Милан добрую половину своей молодости и оставил добрую половину своего состояния и здоровья.

Ему было немногим больше тридцати, когда с ним произошла внезапная и необъяснимая для большинства людей перемена, она навек излечила Милана от пагубной страсти, но в то же время совершенно преобразила и его самого, и его жизнь.

Однажды осенью, лет что-нибудь с четырнадцать назад, на постоялом дворе появился незнакомец. Ни старый, ни молодой, ни красавец, ни урод, средних лет и среднего роста, молчаливый и улыбавшийся одними глазами. Деловой человек, всецело занятый своими интересами, которые и привели его сюда. Он остался ночевать и под вечер зашел в каморку, где еще с полудня заперлись картежники. Приняли его с недоверием, но незваный гость держался так тихо и скромно, что игроки и не заметили, когда и он начал ставить по маленькой. Он больше проигрывал, чем выигры-

вал, и застенчиво хмурился, неверными пальцами извлекая из внутренних карманов серебро. Когда же он изрядно проигрался, пришлось дать и ему метать. Сначала он сдавал неуверенно и робко, но вскоре освоился и разошелся. Играл он не зарываясь, но твердо и решительно. Груда серебра перед ним все росла. Картежники один за другим выходили из игры. Кто-то хотел было поставить золотую цепочку, но незнакомец холодно отверг ее, поставив условием играть только на деньги.

Ближе к яции игра оборвалась: у игроков кончились наличные деньги. Милан Гласинчанин держался дольше всех, но под конец и он отступился. Учтиво простившись, незнакомец удалился в свою комнату.

На следующий день игра возобновилась. И снова незнакомец, как и накануне, попеременно проигрывая и выигрывая, однако же выигрывая больше, чем проигрывая, отобрал у своих партнеров все наличные деньги. Игроки следили за его руками, заглядывали в рукава, осматривали со всех сторон, приносили новые колоды, менялись местами, но ничего не помогало. Играли без затей, в пресловутое очко (тридцать одно), всем известное с детства, но тактику незнакомца постигнуть не могли. То он прикупал на двадцать девять или даже на тридцать, а то останавливался на двадцати пяти. Он не гнушался мелких ставок, не замечал незначительных погрешностей партнеров, а более крупные пресекал с холодным лаконизмом.

Само присутствие этого заезжего чем-то беспокоило и раздражало Милана Гласинчанина. Он вообще в те дни чувствовал себя больным и разбитым. Давая зарок больше не играть, он снова брел в каморку, спускал все до последнего гроша и возвращался домой пристыженный и злой. На четвертый или пятый вечер он все же совладал с собой и остался дома. Уже было и деньги приготовил и обулся, но сумел себя перебороть. В голове шумело, дыхание прерывалось. Не разбирая блюд, наскоро проглотил он ужин. Несколько раз выходил из дома, курил, слонялся по двору и глядел на притихший внизу город в светлом сумраке осенней ночи. Прохаживаясь так взад-вперед, Гласинчанин увидел вдруг, как вдали на дороге кто-то замаячил, потом свернул и остановился у его ограды.

— Добрый вечер, сосед! — крикнул неизвестный.

По голосу Милан тотчас признал его,— это был незнакомец, остановившийся на постоялом дворе. Он, без сомнения, направлялся к нему и хотел ему что-то сказать. Милан подошел к ограде.

— Ты что, не идешь сегодня на постоялый двор? — бесстрастно и спокойно спросил его пришелец, как бы между прочим.

— Что-то охоты нет. Там другие есть.

— Никого нет. Все куда-то разбежались спозаранку. Давай хоть вдвоем перекинемся.

— Уж поздно, да и негде.

— А мы на мост спустимся. Вот-вот луна покажется.

— Да вроде бы сейчас не время,— отбивался Милан, еле шевеля одеревеневшими губами.

Незнакомец все стоял, словно и мысли не допускал, что может быть как-то иначе, чем он сказал.

И действительно, Милан отпер садовую калитку и пошел за ним, хоть и пытался словами, доводами разума и последними усилиями воли вырваться из плена мягкой власти, неудержимо влекущей его за собой, ненавистной и неотразимой, как и сам незнакомец.

Они быстро спустились с Околиште. Большая и уже ущербная луна как бы в подтверждение слов незнакомца выплыла из-за Станишеваца. Мост казался призрачным и беспредельным: концы его терялись в туманной мгле, опорные быки внизу были погружены во тьму; одна сторона арок и быков была ярко освещена, а другая тонула в непроглядном мраке; преломляясь под острым углом, эти светлые и черные поверхности придавали ему вид волшебного видения, возникшего на миг в прихотливой игре света и тени.

В воротах — ни живой души. Уселись. Незнакомец вытащил карты. Милан было заикнулся о том, что в потемках и карты, мол, не различишь, и деньги спутаешь, но незнакомец не придал значения его словам. Игра началась.

Сначала партнеры изредка перебрасывались словами, но потом совсем замолчали. Свертывали только козьи ножки, прикуривая их от старых. Перейдя несколько раз из рук в руки, колода в конце концов прочно обосновалась у незнакомца. Монеты неслышно падали на каменные плиты, чуть увлажненные росой. Наступил столь знакомый Милану момент, когда приезжий взял на двадцать девять двойку, а на тридцать — туза. Милан едва не задохнулся, в горле застрял ком, в глазах потемнело. А лицо незнакомца в сиянии луны выглядело еще более бесстрастным, чем всегда. Неполный час игры стоил Милану всех наличных денег. Незнакомец предложил Милану подняться домой и взять еще, а он его проводит. Они пошли, вернулись и сели снова. Милан играл на ощупь и без слов: намечал себе мысленно карту и объяснялся знаками. Вообще, казалось, карты утратили свое значение и стали лишь поводом для ожесточенного поединка двух противников. Проигравшись снова в пух и в прах, Милан был послан за деньгами домой, меж тем как незнакомец остался курить в воротах. На этот раз он счел необязательным его сопровождать, ибо не допускал

теперь и тени мысли о том, что Милан посмеет ослушаться его, обмануть или остаться дома. И Милан отправился домой без возражений и покорно приплелся назад. Тут вдруг картежное счастье круто повернуло. Милан возвратил все проигранное. От волнения ком в горле все разрастался и сильнее душил его. Незнакомец удвоил ставки, затем утроил. Игра, обостряясь, шла быстрее и быстрее. Шелест карт сменялся звоном серебряных и золотых монет. Противники молчали. И только бурное дыхание Милана, впадавшего в озноб и в жар попеременно, нарушало тишину мягкой лунной ночи. Милан играл, сдавал карты и крыл, подчиняясь скорее какой-то злой необходимости, чем азарту. Он чувствовал, что пришелец вместе с деньгами вытягивал из его костей костный мозг, высасывал кровь из жил, каплю за каплей, с каждым новым проигрышем лишая его последних сил и воли. Временами Милан поглядывал исподлобья на своего противника, ожидая увидеть рожу дьявола с оскаленной пастью и горящим взором. Но, к удивлению своему, каждый раз обнаруживал перед собой заурядную физиономию незнакомца, с напряженным выражением труженика, занятого обыденным и малоприятным для него делом, от которого он спешит поскорее избавиться.

Вскоре Милан опять остался без гроша. Тогда приезжий предложил играть на имущество, движимое и недвижимое.

— Ставлю четыре маджарии против твоего гнедого с седлом. Идет?

— Идет.

Так гнедой с седлом перешел к незнакомцу, а следом за ним еще две вьючные лошади, коровы и телята. С дотошностью опытного барышника незнакомец перебрал всю скотину из Милановых конюшен и хлевов, безошибочно назначая цену на каждую голову, как будто бы родился и вырос в этом доме.

— Ставлю двенадцать дукатов за твое поле по прозванию «Слабина»! По рукам?

— По рукам!

Незнакомец сдавал. Взяв пять карт, Милан набрал всего двадцать восемь очков.

— Еще? — небрежно спросил незнакомец.

— Еще одну,— едва слышным шепотом отвечал Милан, чувствуя жаркую волну крови, прихлынувшей к сердцу.

Незнакомец небрежно снял карту. Это была двойка, спасительная двойка!

— Довольно! — безразличным тоном процедил Милан сквозь зубы.

И судорожно сжал в руке сложенные карты. Боясь выдать себя противнику, он изо всех сил прикидывался безразличным.

Незнакомец стал набирать в открытую. Набрав двадцать семь, он помедлил и спокойно посмотрел в глаза Милану, но тот опустил взгляд. Незнакомец взял еще одну карту. Это была двойка. Он едва слышно и коротко вздохнул. Похоже было, что он остановится на двадцати девяти, и Милан, предвкушая победу, начал уже было оживать. Но в это самое мгновение незнакомец встрепенулся, выпятил грудь и, закинув голову вверх, от чего сверкнули под луной его глаза и лоб, перевернул еще одну карту. Снова двойка. Это казалось невероятным — три двойки одна за другой подряд, но тем не менее это было так. На перевернутой карте Милан воочию увидел свое поле, вспаханное, пробороновапное по весне, когда оно всего милее взгляду. И борозды отчаянным круговоротом завертелись у него перед глазами, но твердый голос незнакомца быстро привел его в чувство.

— Очко! Поле мое.

Потом наступил черед других полей, а следом за ними обоих домов и дубовой рощи в Осойнице. В цене они, как правило, сходились. Порой Милан выигрывал и сгребал себе дукаты. Его снова окрыляла надежда, но два-три случая невезения, и он снова спускал все наличные и играл на имущество.

Когда бурным потоком игры смыло все состояние Милана, противники замерли на миг, но не для того, чтоб передохнуть — всякая заминка, казалось, страшила их больше всего,— а чтоб поразмыслить, на что бы сыграть еще. Незнакомец был сосредоточен и имел вид озабоченного труженика, позволившего себе короткий перерыв после завершения первой половины работы и жаждущего поскорее приступить ко второй ее половине. Милан застыл в ледяной неподвижности; сердце стучало в ушах, каменное сиденье под ним то поднималось, то проваливалось. Вдруг незнакомец проговорил своим бесцветным, нудным, немного гнусавым голосом:

— А знаешь что, дружище? Давай по новой кинем, но только уже баш на баш. Я ставлю весь сегодняшний выигрыш, а ты — свою жизнь. Выиграешь — все снова возвернется к тебе: деньги, имущество, земля. Проиграешь — прыгнешь с моста в Дрину.

Он произнес это своим неизменно сухим и деловитым тоном, как будто речь шла о самом что ни на есть обыкновенном уговоре двух завзятых картежников.

«Ну вот, пришла пора погубить или спасти душу»,— подумал Милан и дернулся было в отчаянной попытке вырваться из адского водоворота, который уже унес всю его собственность и теперь с неодолимой силой затягивал его самого, но незнакомец одним-единственным взглядом пригвоздил его к месту. И как бывало на постоялом дворе, когда играли по маленькой, Милан кивнул и потянулся к картам. Поочередно сняли. Незнакомцу выпала четвер-

ка, Милану — десятка. Ему было сдавать. Это исполнило его надеждой. Милан метал, незнакомец все прикупал и прикупал.

— Еще! Еще! Еще!

Прикупил ни больше ни меньше как целых пять карт и только тогда сказал: довольно! Теперь набирал Милан. Когда дошел до двадцати восьми, он задержался на какую-то долю секунды, испытующе взглянув на карты противника и его непроницаемое лицо. Невозможно было угадать, на чем он остановился, однако весьма вероятно, что он набрал больше двадцати восьми: во-первых, сегодня он в недоборе не сидел, а во-вторых, у него пять карт. И собрав последние силы, Милан открыл еще одну карту. Это была четверка. Итак: тридцать два и, значит, крышка.

Он смотрел на карты, не веря самому себе. Казалось невозможным вот так все разом потерять. И что-то жгучее и гулкое пронизало его от головы до пят. И в это самое мгновение смысл всего сущего открылся Милану: и человеческой жизни, и самого человека, и его проклятой и необъяснимой страсти ставить на карту свое и чужое, себя самого и все, что есть ценного в жизни. Все это стало ему предельно ясно в озарении ослепительной вспышки, как бы отодвинувшей его игру и проигрыш при всей их грубой вещественности, необратимости и непоправимости в область каких-то кошмарных видений. Он хотел крикнуть, позвать кого-то на помощь или хотя бы слабым вздохом напомнить о себе, но и на это не было в нем силы.

Незнакомец стоял перед ним в ожидании.

И тут вдруг где-то на берегу прокричал петух, голосисто и тонко, и тут же еще раз. Петух был где-то неподалеку от моста, слышно было, как он захлопал крыльями. В ту же минуту разлетелись, точно подхваченные ветром, карты, монеты рассыпались и покатились во все стороны, мост дрогнул, как бы сотрясясь у основания. Милан закрыл глаза, объятый ужасом, считая, что пришел его последний час. Когда же он открыл их снова, он был один. Его противник испарился бесследно, будто мыльный пузырь, а вместе с ним с гранитных плит моста исчезли деньги и карты.

Ущербная луна оранжевого цвета плыла по краю горизонта. Поднимался свежий ветер. Громче шумела вода под мостом. Недоверчивыми пальцами ощупав под собой каменную гладь скамьи и медленно возвращаясь к действительности, Милан с трудом поднялся и, едва переставляя как бы ставшие чужими ноги, поплелся к себе домой на Околиште.

Всхлипывая и пошатываясь, он кое-как дотащился до двери и, навалившись на нее всем телом, грохнулся, точно подстреленный, наземь. Домашние проснулись от шума, внесли его и уложили в постель.

Два месяца Милан лежал в горячке и беспамятстве. Считали, что он уже не жилец на этом свете. Отец Никола приходил даже соборовать его, но он все же поправился и поднялся с постели, однако совсем другим человеком. Это был без времени состарившийся нелюдим, молчаливый отшельник, почитавший тяжелой обязанностью водиться с людьми. Не знающее улыбки лицо хранило выражение болезненно-настороженной озабоченности. Кроме дома и хозяйства, для него больше ничего не существовало, словно он никогда и не слышал ни про карты, ни про приятелей.

Находясь еще на одре болезни, Милан рассказал отцу Николе о том, что с ним произошло той ночью в воротах, а позже, чтоб снять с души непосильное бремя, с которым он не мог жить, поделился своей тайной еще с двумя своими добрыми друзьями. Слухи просочились в город, но как бы ни были они и сами по себе невероятны, люди постарались еще их приукрасить и создали легенду, но вскоре со свойственным им непостоянством переключили свое внимание на кого-то другого и совершенно забыли и Милана, и его злоключение. То, что осталось от прежнего Милана Гласинчанина, продолжало жить и работать среди горожан. Младшее поколение только таким его и знает, не подозревая, что когда-то Гласинчанин был совсем иным. Да и сам он, казалось, уже все позабыл. И, проходя тяжелым и медленным шагом лунатика через мост по дороге из дома в город, он не испытывал ни тени волнения, даже память молчала. Самая мысль о том, что белокаменные сиденья дивана, на которых сидят сейчас беспечные люди, могли иметь какую-то связь с тем страшным местом на краю земли, где как-то ночью он играл свою последнюю игру, доверив обманчивой карте и состояние свое, и жизнь свою на этом и на том свете, ни на минуту не приходила ему в голову.

Вспоминая события той ночи, Милан все чаще мучился сомнениями, а не было ли все это ужасным сном, приснившимся ему, когда он рухнул в беспамятстве на пороге собственного дома, то есть следствием, а не причиной его болезни. Да и отец Никола, и оба его приятеля, которым он доверил свою тайну, склонны были, говоря по чести, считать рассказ Милана порождением болезненного бреда, уродливым плодом расстроенного воображения. Ведь никто же в самом деле не поверит, будто дьявол играет в очко и заманивает в ворота того, кого решил погубить. Впрочем, привлечение нечистой силы к участию в некоторых наших происшествиях, крайне туманных и загадочных, становится порой действительно необходимым для их объяснения или хотя бы частичного обоснования.

Как бы там, однако, ни было,— с участием ли дьявола или без вмешательства оного, во сне ли или наяву, одно остается

совершенно бесспорным,— потеряв в одну ночь здоровье, молодость и большие деньги, Милан каким-то чудом раз и навсегда избавился от своей несчастной страсти. Но и это не все. К истории Милана Гласинчанина примыкает история еще одной судьбы, решившейся также в воротах.

Наутро после той злосчастной ночи, когда Милан Гласинчанин (во сне или наяву) проиграл в воротах последнюю роковую партию, занялся яркий осенний день. Была суббота. В воротах, как обычно, собрались вышеградские евреи, торговцы со своими сыновьями. Праздные и торжественные, в атласных штанах и безрукавках тонкого сукна, в темно-красных плоских фесках, с серьезной важностью справляли они праздник дня господня, прогуливаясь над рекой и словно бы высматривая в ней кого-то. Но больше всего сидели в воротах, оживленно и громко разговаривая на испанском, обильно сдобренном сербскими ругательствами.

Одним из первых в то утро в воротах появился Букус Гаон, старший сын почтенного, набожного и бедного цирюльника Авраама Гаона. Ему было шестнадцать лет, но он не определился еще ни в ремесле, ни в каком-либо другом постоянном занятии. В отличие от прочих Гаонов шальной ветер гулял в голове парня, не давал ему угомониться и сосредоточиться на чем-нибудь одном, а гнал его все дальше и дальше в поисках какой-то лучшей доли. Перед тем как сесть, Букус посмотрел, чистая ли перед ним скамья. И вдруг в зазоре между плитами увидел сверкнувшую желтизной полоску. Это был блеск золота, столь любезный человеческому взору. Букус присмотрелся внимательней. Сомнений не было: в щель закатился дукат. Опасаясь быть замеченным и не зная, чем бы выковырнуть из щели золотой, ухмылявшийся ему из своего каменного укрытия, парнишка огляделся. Но тут же вспомнил про субботний день, в который всякий труд есть грех и позор. В сильном замешательстве и беспокойстве он уселся на скамью, закрыв собою щель, и не вставал с места до самого полудня. В обеденное время, когда все еврейское общество от мала до велика разошлось по домам, Букус, презрев строжайшие запреты и обычаи, отыскал ячменную соломинку потолще и осторожно извлек золотой из щели. Это была настоящая маджария, тонкая, почти невесомая, словно высохший маленький листок. Букус в тот день опоздал на обед. И, приступив тринадцатым (в семье было одиннадцать детей, отец и мать) к скудной трапезе, почти не слышал брани отца, называвшего его бездельником и шалопаем, неспособным даже на то, чтоб вовремя прийти к готовому обеду. В ушах Букуса гудело, глаза слепило нестерпимым блеском. Перспектива сверкающих дней, исполненных невиданной роско-

Мост на Дрине

ши из царства его грез, открылась перед ним. Ему казалось, что в кармане у него солнце.

На следующий день Букус спозаранку без долгих раздумий устремился со своим дукатом в постоялый двор Устамуича и проскользнул в ту самую каморку, где игра шла чуть ли не круглые сутки. В мечтах своих давно уже предвосхищая этот миг, Букус до сих пор за неимением приличной суммы не смел переступить порог заветной комнатушки и попытать счастья. Сейчас мечта его сбылась.

Здесь он провел несколько жарких и мучительных часов. Встретили его с презрительным недоверием. Когда увидели, что он разменял золотой, его сейчас же заподозрили в воровстве, но ставку приняли. (Ибо, начни они расследовать происхождение наличности у каждого из игроков, ни одна партия не могла бы быть составлена.) Но тут для новичка наступили новые муки. Когда он выигрывал, волна горячей крови приливала к голове, ослепляла и билась в висках. При каждом же чувствительном проигрыше сердце замирало в груди и дыхание пресекалось. Однако после всех перенесенных пыток, длившихся, казалось, вечность, Букус вышел в тот вечер из каморки с четырьмя золотыми в кармане. И, несмотря на лихорадочный озноб и страшную разбитость в теле, точно его выпороли раскаленным прутом, он шагал прямой и гордый. Перед его горящим взором в туманных далях вставали лучезарные горизонты, заслоняя собой непроходимое убожество родительского дома и всего этого города. Букус шагал торжественный и опьяненный. Впервые в жизни упивался он не только блеском и звоном золота, но и его тяжестью.

Той же осенью Букус, еще совсем молодой и зеленый, бросил отчий дом и сделался завзятым бродягой и картежником. Старый Гаон сгорал от стыда, изнывал от тоски по своему первенцу, вся еврейская община как личное горе переживала эту беду. А Букус в погоне за лихим картежным счастьем в скором времени покинул город и пошел скитаться по белому свету. И больше никто ничего — вот уже будет тому четырнадцать лет — о нем не слыхал. Говорят, что Букуса испортил «чертов золотой», который он нашел в воротах и выковырнул из щели в субботний день.

XIII

Шел четвертый год оккупации. Казалось, все как-то улеглось и утряслось. Если и не было «блаженной и сладостной» тишины безвозвратно ушедших турецких времен, то все же начал устанавливаться относительный порядок, соответствующий новым вея-

ниям. Но тут вдруг снова поднялись волнения в стране, в гарнизон нежданно прибыло пополнение, снова появилась стража в воротах. Случилось это так.

Новая власть в тот год объявила рекрутский набор в Боснии и Герцеговине. Это вызвало волну стихийных возмущений, особенно среди турецкой части населения. Еще пятьдесят лет назад при первой же попытке султана ввести в стране низам, то есть регулярные войска, вымуштрованные, обмундированные и снаряженные на манер европейских армий, взбунтовались турки, в жестоких и кровопролитных стычках выражая свой решительный протест против мундиров неверных с ремнями, образующими на груди мерзкое подобие креста. И что же, сейчас их снова принуждают напялить на себя ненавистную одежду, «стесняющую дух», да к тому же состоять на службе у чужого и инаковерующего царя.

Нумерование домов и перепись населения, предпринятые новыми властями в первый же год оккупации, и тогда уже вызвали в турках недоверие и смутную, неистребимую тревогу.

И, как всегда при таких оказиях, самые почтенные и ученые мужи неприметно сошлись на совет, чтоб обсудить меры властей и договориться, как себя по отношению к ним держать.

Однажды майским днем первые люди города оказались как бы невзначай в воротах и заняли весь диван. Чинно попивая кофе и устремив взгляд в пространство, собравшиеся полушепотом менялись соображениями о новых подозрительных мероприятиях оккупационных властей. Все отозвались о них весьма и весьма неодобрительно. Ибо приверженные старым привычкам и представлениям турецкие мужи с чувством естественного протеста воспринимали всякую бесцеремонную и унижающую их достоинство попытку новой власти вмешаться в их частные дела и семейную жизнь. Никто из них, однако, не мог растолковать истинный смысл производимой переписи и научить, как ей противиться. Тут же был и Али-ходжа, обыкновенно избегавший появляться в воротах,— один только вид каменных приступок перед диваном мгновенно вызывал ноющую боль в его пробитом ухе.

Вышеградский мудерис Хусейн-ага, человек литературный и красноречивый, на правах наиболее сведущего разъяснял собравшимся, что могут означать пометка домов цифрами и перепись детей и взрослых.

— Я полагаю, что это давний обычай неверных. Тридцать лет тому назад, а может, и больше, сидел в Травнике визирь Тахир-паша Стамболия. Он был потурченец, но в душе, коварный лицедей, всегда оставался неверным. При себе, говорили люди, он держал колокольчик и, когда ему надо было позвать кого-нибудь из слуг, он, как настоящий поп неверных, до тех пор трезвонил

в колокольчик, пока слуга не отзывался. Так вот, этот самый Тахир-паша первым взялся пересчитывать и на каждый дом прибивать дощечку с цифрой. (За что и был потом прозван Дощечником). Но народ возмутился и, посрывав с домов дощечки, свалил их в кучу и поджег. Не миновать бы тут кровопролития, да слух о том дошел, по счастью, до Стамбула, и визиря тотчас же из Боснии отозвали. И след его простыл! Вот и сейчас что-то в этом роде затевается. Неймется австрияку на все опись составить, и на наши головы тоже.

Устремив недвижный взгляд в пространство, турецкие старейшины слушали мудериса, известного своим пристрастием подробно пересказывать чужие воспоминания вместо того, чтоб коротко и ясно высказать свое мнение о том, что происходит.

Али-ходжа, как всегда, первым потерял терпение.

— Дело тут не в обычаях неверных, мудерис-эфенди, а в расчете. Австрияк зазря и во сне терять время не станет, он всегда для пользы дела старается. Сейчас еще этой пользы не видать, но пройдет месяц-другой или год, она и обнаружится. Верно говорил, бывало, покойный Шемси-бег Бранкович: «У австрийских мин длинный фитиль!» Этот пересчет домов и людей, по моему разумению, нужен австрияку для нового налога, а не то так для нового набора рабочей или ратной силы. А может, и того и другого вместе. И если спросят меня, что же нам в таком случае делать, так вот мое мнение. Поднять восстание — у нас кишка тонка. Это и богу и людям известно. Однако же нельзя и поддаваться во всем. Никто не обязан цифры австрийские помнить и годы подсказывать, пускай гадают сами, кто в какой год родился. Ну, а если уж они до того дойдут, что в дома полезут людей пересчитывать, тут уж надо насмерть стоять, а там что бог даст!

Долго еще толковали турецкие мужи, обсуждая богомерзкие затеи властей, но остановились в основном на том, что предложил Али-ходжа: на пассивном сопротивлении. Мужчины утаивали возраст или давали неверные сведения, прикрываясь неграмотностью. Про женщин же никто и спрашивать не смел, это считалось кровным оскорблением. Вопреки указаниям и угрозам властей, дощечки с номерами домов прибивали на невидных местах или вверх ногами. А не то хватались за побелку и как бы ненароком замазывали известью и номер дома.

Видя всю глубинную силу скрытого, но яростного сопротивления, власти смотрели на него сквозь пальцы, избегая применять строгие законные меры со всеми вытекающими последствиями и конфликтами, которые бы в этом случае неизбежно возникли.

Прошло два года. Волнения, вызванные переписью, уже почти забылись, когда действительно объявили призыв, ему подле-

жали все молодые люди, без различия веры и сословия. В восточной Герцеговине вспыхнуло открытое восстание, захватившее на этот раз наряду с турками сербов. Предводители восставших искали способов связаться с заграницей, в особенности с Турцией, утверждая, что оккупационные власти превышают полномочия, данные им на Берлинском конгрессе, и не имеют права производить рекрутский набор на оккупированной территории, по сей день состоящей под турецким суверенитетом. В Боснии набор рекрутов не получил организованного отпора, но через Фочу и Горажде волна восстания докатилась до границ Вышеградского округа. Поодиночке или группами остатки разбитых отрядов повстанцев пытались через вышеградский мост пробиться в Санджак или Сербию. Как всегда во время волнений, снова расцвела гайдутчина.

И снова, после стольких лет затишья, на мосту появилась стража. Несмотря на морозы и снежные заносы, два жандарма день и ночь дежурили в воротах. Задерживая подозрительных и неизвестных путников, они производили обыск и допрос.

По прошествии двух недель с начала беспорядков в город прибыл карательный отряд и сменил постовых жандармов на мосту. Streifkorps создан был в связи с расширением восстания в Герцеговине. Это были летучие боевые отряды, отобранные и оснащенные для действий в труднодоступной местности и укомплектованные высоко оплачиваемыми добровольцами. В них были и призывники первого набора,— придя сюда солдатами оккупационных войск и не пожелав уходить, они остались служить в рядах карателей. Часть жандармов была также прикомандирована к вновь организованным летучим отрядам. И, наконец, некоторое число местных жителей служило там проводниками и посредниками.

Нелегкая выдалась в тот год зима, и всю эту долгую и студеную зиму два постовых из отряда карателей стояли на мосту. Обычно в паре с местным был иноземец. Караульню, какая была при турках во времена восстания Карагеоргия в Сербии, австрийцы не поставили. Не было на этот раз кровавых расправ, голов тоже не рубили. И все же, как всегда, когда ворота закрывали, не обошлось без происшествий, оставивших свой след в истории города. Ибо не могут миновать лихие времена, не причинив кому-нибудь несчастья.

Среди карателей, несших караул на мосту, был один украинец из восточной Галиции, по имени Грегор Федун. В свои двадцать три года этот парень богатырского сложения и младенческой души отличался силой медведя и застенчивостью девушки. В то время, когда его полк направили в Боснию, парень проходил срок своей

службы. Он принимал участие в боях под Маглаем и на Гласинаце. Потом еще полтора года прослужил в разных гарнизонах восточной Боснии. Ожидая часа предстоящего увольнения, Грегор с грустью думал о возвращении в маленький галицийский городок Коломыю, под родительский кров, столь обильный малыми детьми при прочей скудости. Полк его был уже в Пеште, когда объявили набор добровольцев в отряд карателей. Солдат, прошедший Боснию с многомесячными боями, Федун был взят в Streifkorps сейчас же. И неподдельно обрадовался мысли снова увидеть незабываемые боснийские горы и городки, где он пережил тяжелые и славные дни. С гордостью и умилением парень рисовал себе лица родителей, братьев и сестер, когда они получат первые серебряные форинты, высланные им из завидного жалованья солдата карательного отряда. Счастливо избежав отправки в восточную Герцеговину, где шли затяжные и подчас кровопролитные схватки с восставшими, он получил направление в город на Дрине, а там вся служба заключалась в охране и патрулировании.

Здесь он и провел всю зиму, часами топчась на мосту и согревая дыханием пальцы в морозные, безоблачные ночи, когда от стужи трескается камень, высветляется над городом небесный свод и крупные осенние звезды превращаются в мелкие злые огоньки. Здесь встретил он весну и уловил в воротах первые ее приметы: глухие, сдавленные взрывы лопающихся на Дрине льдов, от которых все нутро человека пробирает дрожью, и тонкий посвист народившегося ветра по ночам в голых лесах на горных кручах над мостом.

Неся караул в свою смену, парень млел в предчувствии близкой весны, затоплявшей мир и все его существо, пробивавшейся из почвы и воды и путавшей в нем мысли и чувства. Стоя на посту, он перепел все малорусские песни, когда-либо слышанные им в родном краю. И песни эти, чем ближе к весне, все сильнее убеждали его в том, что на этом самом возвышенном и всеми ветрами продуваемом месте он будто бы кого-то ждет.

В начале марта караульный наряд, охраняющий мост, получил специальное указание начальства удвоить бдительность, так как имеются достоверные данные о том, что известный гайдук Яков Чекрлия из Герцеговины перебрался в Боснию и скрывается где-то в окрестностях Вышеграда, откуда, надо думать, предпримет попытку прорваться к сербской или турецкой границе. Постовым дали описание внешности Чекрлии и предупредили о том, что, с виду хилый и тщедушный, в действительности он сильный, смелый и невероятно хитрый враг, не раз вырывавшийся из окружения из-под самого носа патрулей.

И Федун, присутствуя на рапорте, слышал это предупреждение и отнесся к нему со всей серьезностью, как ко всем офици-

альным сообщениям. Правда, начальственный испуг показался ему несколько преувеличенным: ведь ничтожная ширина моста — какой-нибудь десяток метров — исключала всякую возможность проскочить по нему незамеченным. И снова в мирной тишине проводил он дневные и ночные часы своей смены на мосту. Внимание его соответственно указу действительно удвоилось, но занято было оно отнюдь не распознанием личности вышеозначенного Якова — от него не было ни духу, ни слуху, а многоликими и бесчисленными приметами весны, все настойчивей заявлявшей о своем приходе.

В двадцать три года, когда кровь кипит от переизбытка жизненных сил, а вокруг поет, сверкает и благоухает весна, не так-то легко сосредоточиться на одном каком-нибудь предмете. В ущельях тает снег, быстрая река отливает мутным зеркалом, а северо-западный ветер приносит с гор дыхание снегов и запахи набухших почек из долины. И, оглушенный всем этим, Федун в рассеянности мерит шагами пространство между двумя балконами, а в ночную смену, прислонившись к ограде, поет, вторя ветру, свои малорусские песни. Но ощущение напряженного ожидания не оставляет его теперь ни днем, ни ночью; сладостное и томительное это чувство как бы находит подтверждение во всем, что происходит в небе, на земле и на воде.

Однажды в обеденную пору мимо поста прошла молодая турчанка. Она была в том возрасте, когда, еще не закрываясь полностью, девушки уже и открытыми больше не ходят, а завертываются в большую шаль, скрывающую волосы, руки, подбородок и лоб, но все же часть лица: глаза, рот, нос и щеки остаются на виду. В этот короткий промежуток между детством и девичеством мусульманки с целомудренной радостью показывают прелесть своего полудетского, но в то же время женственного лица, которое, быть может, не далее как завтра навек закроет чадра.

Ни одной живой души не было в ту пору в воротах. С Федуном на посту нес караул некий Стеван из Прачи, один из крестьян, попавших в отряд карателей. Человек в годах, не брезговавший ракией, он подремывал, совсем не по уставному развалясь на каменном диване.

Федун с боязливой робостью взглянул на турчанку. Цветастая шаль, волнуясь и переливаясь на солнце живым воздушным облаком, покорная дуновению ветра, вилась вслед за идущей. Строгое и прекрасное лицо смотрело из узкой рамы туго стянутой шали. Глаза опущены, но веки чуть заметно вздрагивают. Промелькнув перед ним, турчанка перешла на ту сторону и затерялась в торговых рядах.

Бессознательно ускорив шаг и поглядывая на площадь, парень мерил пространство между балконами. Вот теперь-то, думал он, ему и вправду есть кого ждать. Полчаса спустя,— в воротах все еще царило полуденное затишье,— юная турчанка, возвращаясь из города, снова прошла мимо взволнованного юноши. На этот раз он дольше задержал на ней свой взгляд, к удивлению своему обнаружив, что и она посмотрела на него, озарив его открытым, смелым взглядом смеющихся глаз, как бы вызывающих его с детским лукавством посостязаться с ней в хитроумной забаве. И снова уплыла от него своей плавной и быстрой походкой, шелестя тысячью подвижных складок широкой шали, обернутой вокруг ее юного, но уже сильного тела. И долго еще на том берегу за домами мелькала ярким восточным узором и живыми красками ее пестрая шаль.

Тут только парень стряхнул с себя оцепенение. Он стоял на том же самом месте, где застигла его поравнявшаяся с ним турчанка. Вздрогнув, он ощупал винтовку и огляделся с таким чувством, словно допустил какую-то оплошность. На обманчивом мартовском солнце дремал Стеван. Федуну казалось, что оба они провинились, что целый взвод мог пройти мимо них за это время, длительность и значение которого для него и для прочих людей он не в состоянии был определить. Пристыженный, он в порыве служебного рвения растолкал Стевана, и они до конца смены исправно стояли на часах.

В тот день в часы отдыха и долгого стояния в карауле легкое видение турчанки бессчетное число раз возникало перед ним. А на следующий день, снова в полдень, в часы безлюдья на базаре и в воротах она опять, уже въяве, прошла по мосту. И снова, как будто следуя лишь наполовину известным правилам игры, Федун остановил свой взгляд на ее лице, обрамленном узорчатой шалью. Все было так же, как вчера. Только взгляды были дольше, а улыбки теплей и свободней. И словно бы тоже исполняя свою роль в затеянной ими игре, Стеван и на этот раз дремал на каменной скамье, хотя потом клялся по своему обыкновению, что не спал и вообще страдает бессонницей, не дающей ему даже ночью, в постели, сомкнуть ни на минуту глаз. Поравнявшись с юношей на обратном пути, турчанка замедлила шаг, глядя прямо в глаза солдата, и он пролепетал ей несколько бессвязных слов, ощущая при этом странную слабость в ногах и теряя голову от волнения.

На такую дерзость разве только в мечтах и решишься! Когда девушка скрылась за домами на том берегу, парень содрогнулся от ужаса. Это было немыслимо, чтоб турецкая девушка осмелилась взглянуть в глаза солдату-австрияку. Такие небывалые,

неслыханные вещи случаются в мечтах и грезах,— или вот еще весной в воротах. К тому же он прекрасно знал, что в его положении нет поступка более предосудительного и рискованного, чем задеть мусульманскую женщину. Об этом говорили им еще в армии и после, в отрядах карателей. За такие вольности следовало жестокое наказание. А бывало, и смерть принимали смельчаки от руки оскорбленных и взбеленившихся турок. Но вопреки всем назиданиям и самому горячему желанию держаться предписаний и устава, он поступал наоборот. Несчастье несчастных людей в том и состоит, что невозможное и запретное на какой-то миг становится для них возможным и дозволенным, или, по крайней мере, кажется таковым, и, овладев их сокровенными желаниями и помыслами, снова встает перед ними в своей подлинной сущности, то есть недозволенным и недосягаемым со всеми последствиями для того, кто все же посягнет на них.

На третий день, около полудня, юная турчанка снова появилась на мосту. И словно во сне, где все подвластно желаниям — единственной реальности, подчиняющей себе все остальное, Стеван и теперь дремал, готовый, как всегда, уверить всех и каждого, что он и глаз не сомкнул; и снова не было в воротах ни души. Парень опять заговорил, пробормотав несколько невразумительных слов, а девушка, замедлив шаг, ответила что-то точно так же робко и невнятно.

Опасная и невероятная игра продолжалась. На четвертый день, снова улучив минуту безлюдья и проходя мимо часовых, турчанка шепотом спросила пылающего юношу, когда он в следующий раз дежурит. Он заступает в сумерки, примерно в час акшама, ответил тот.

— Я провожу свою старую бабушку в город ночевать и вернусь одна,— шепнула девушка, не останавливаясь и не поворачивая головы, а лишь искоса метнув в него выразительный взгляд. В каждом звуке ее незатейливых слов звучала тайная радость предстоящей встречи.

Шесть часов спустя Федун со своим сонливым напарником снова был в воротах. После дождя спускались прохладные сумерки, полные, как ему казалось, обещания. Прохожие становились все реже. И вот на дороге от Осойницы мелькнула знакомая шаль,— сумерки лишь приглушили ее яркий узор. Подле нее ковыляла старая сгорбленная турчанка, закутанная в черную тяжелую чадру. Она шла, согнувшись чуть не вдвое, правой рукой опираясь на палку, а левой — на руку девушки.

Так прошли они мимо Федуна. Сдерживая шаг, девушка старалась приноровить его к медленной поступи своей спутницы. Глаза ее, увеличенные вечерними тенями, теперь уже смело и от-

крыто смотрели в его, как бы не в силах оторваться от них. Когда они исчезли за домами, он вздрогнул и, словно торопясь наверстать упущенное, быстрым шагом заметался от балкона к балкону. В волнении, близком к ужасу, ждал он ее возвращения. Стеван клевал носом.

«Что она скажет мне на обратном пути? — думал молодой человек.— И что скажу ей я? А вдруг она велит прийти к ней ночью на свидание?» И при одной этой мысли, таившей в себе сладость и ужас запретного, трепетная дрожь пронизала его.

В ожидании прошел час и еще полчаса, а девушка все не возвращалась. Но и в самом этом ожидании заключалось сладкое блаженство. И оно нарастало по мере сгущения темноты. Наконец вместо турчанки показалась смена. На этот раз, однако, помимо обычного наряда из двух солдат, на мост явился сам вахмистр Драженович. Суровый человек с короткой черной бородой, он злым и резким тоном велел Федуну со Стеваном по возвращении в казарму сейчас же отправляться в спальную и не покидать ее вплоть до дальнейших приказаний. Смутное сознание вины горячей волной ударило в голову Федуну.

В просторном холодном спальном помещении с двенадцатью койками, расставленными правильными рядами, было пусто. Солдаты разошлись на ужин или в город. Напрасно стараясь разгадать причину внезапного вахмистрского гнева и своего заточения, Федун и Стеван с тревогой и нетерпением ждали разрешения своих недоумений. Спустя час вместе с первыми солдатами, возвратившимися на ночлег, в комнату влетел насупленный капрал и громко и сердито приказал им следовать за собой. Судя по всему, начальственный гнев возрастал, не предвещая ничего хорошего. Как только они вышли из спальни, они были тотчас разлучены и допрошены порознь.

Ночь шла на убыль. Приближались часы, когда гасли последние городские огни, а в окнах казармы по-прежнему горел свет. У ворот то и дело звонили, звякали ключи, громко хлопали тяжелые двери. Ординарцы входили и выходили, торопливо пересекали спящий город, погруженный во тьму, снуя между казармой и Конаком,— там во втором этаже тоже горели огни. Все это говорило о том, что в городе происходит что-то необыкновенное.

Когда около одиннадцати часов ночи Федун был введен в канцелярию ротмистра, ему показалось, что от времени его дежурства на мосту его отделяют дни и недели. На столе горела жестяная керосиновая лампа под зеленым фарфоровым колпаком. Перед лампой сидел ротмистр Крчмар. Руки его были по локоть освещены, тогда как верхняя часть корпуса и голова находились в тени зеленого колпака. Молодой человек тотчас же

узнал это бледное и полное, безбородое, почти что женское лицо с едва заметными следами жидких усиков и темными кругами под серыми глазами. Этого крупного сдержанного офицера с неторопливой речью и тяжелыми движениями солдаты боялись как огня. Немногие способны были выдержать пристальный взгляд больших серых глаз ротмистра и внятно отвечать на его вопросы, каждое слово которых, произнесенное спокойным ровным голосом, звучало раздельно и ясно от первого до последнего звука, как на уроке в школе или на подмостках театра. В некотором отдалении от стола стоял вахмистр Драженович. Верхняя часть его туловища тоже утопала в тени, и только руки были ярко освещены — опущенные вниз, волосатые, на одной — массивное золотое обручальное кольцо.

Драженович начал допрос.

— Итак, как вы провели время между пятью и семью часами, стоя на посту в воротах вместе со Стеваном Калацаном из вспомогательного состава карательного отряда?

Кровь ударила Федуну в голову. Каждый человек проводит свое время, как может и умеет, но никто не думает о том, что позже придется отчитываться перед строгим судом, винясь и оправдываясь во всем, вплоть до мельчайших подробностей, сокровеннейших помыслов, от первой до последней минуты. Никто, и уж тем более тот, кому от роду двадцать три и кто стоит на посту в воротах весной! Что ему ответить? Два часа дежурства прошли как всегда, как вчера и позавчера. Но ничего из обычного и повседневного, о чем можно было бы рассказать, в эту минуту не приходит в голову Грегору. Одно только возбраняемое и постороннее, такое, что с каждым случается, да не докладывается начальству, сейчас и вспоминается ему: как Стеван по обыкновению своему дремал, как сам он, Федун, обменялся с незнакомой турчанкой несколькими словами, а потом в темноте тихо и самозабвенно пел все подряд песни родного края в ожидании девушки, в преддверии чего-то неповторимого, волнующего. Ах, как трудно, как невозможно выразить это словами, а утаить бесчестно! Но надо спешить, время идет, и напряженность возрастает. Интересно знать, сколько он уже молчит?

— Ну,— наконец подал голос ротмистр. Кто только не знает это его «ну» — ясное, обкатанное, громовое, как бы исторгнутое из глубин какого-то мощного, сложного и тщательно смазанного механизма.

И, выдавая тем самым свою виновность, Федун с первого слова стал путаться и заикаться.

Ночь проходила, а в казарме и Конаке по-прежнему горели лампы. Шли допросы и очные ставки, росли протоколы. Были

допрошены другие наряды, стоявшие в тот день в воротах на посту, найдены и приведены кое-какие прохожие. Однако было совершенно очевидно, что кольцо смыкается вокруг Федуна и Стевана, сходясь, как это явствовало из допросов, на старой турчанке, проведенной по мосту молодой девушкой.

У юноши было такое чувство, точно он должен отвечать за что-то загадочное, таинственно-запутанное, как это бывает только в тяжелых ночных кошмарах. На рассвете ему устроили очную ставку со Стеваном. Мигая лукавыми глазками и говоря ненатурально тонким голосом, Стеван прикрывался темнотой и невежеством простого крестьянина, во всем послушного «вот этому вот господину Федуну», как он неизменно называл своего напарника по смене.

«Вот как следует держаться»,— думал парень, прислушиваясь к голодным корчам своего желудка и дрожа от возбуждения, хотя ему и не вполне еще понятно было, в чем состоит его упущение или вина. Наступившее утро принесло с собой объяснение.

Всю ночь напролет вертелся дикий хоровод, центром его был ротмистр, холодный и неумолимый; оставаясь сам неподвижным и безмолвным, он никому вокруг не давал передышки. И всем своим поведением и обликом являл живое олицетворение служебного долга, грозного поборника справедливости, недоступного презренным слабостям и чувствам, наделенного неземной силой и лишенного простейших человеческих потребностей в пище, сне и отдыхе. В свете занимавшегося утра Федун во второй раз был приведен пред очи ротмистра. В канцелярии, помимо самого ротмистра и Драженовича, находился еще вооруженный жандарм и некое существо женского пола, принятое было Грегором за призрак. Лампа была погашена. В комнате, обращенной на север, царил холодный сумрак. К изумлению юноши, ночной кошмар продолжался, не испугавшись дневного света и не желая отступать.

— Тот ли это часовой, который стоял на посту? — обратился Драженович к женщине.

Только тогда с усилием, причинявшим физическую боль, Федун заставил себя впервые приглядеться к ней внимательно. Это была вчерашняя его турчанка, только без шали, с непокрытой головой,— вокруг нее тяжелым небрежным венцом лежали тугие каштановые косы. На ней были знакомые ему цветастые турецкие шальвары, но все остальное — рубаха, пояс и шитая безрукавка — были такие же, как у всех сербских девушек из окрестных горных сел. Без шали она выглядела взрослее и крепче. Лицо ее было трудно узнать — злобная гримаса растянула рот, веки покраснели, глаза оказались светлыми и ясными, вчерашняя поволока исчезла.

— Он,— отозвалась она с холодным равнодушием, и этот ее голос был так же непривычен для Федуна, как и весь ее сегодняшний вид.

Драженович продолжал допрос, уточняя, каким образом и сколько раз переходила она мост, что говорила Федуну и что говорил ей он. Она отвечала честно, но пренебрежительно и дерзко.

— Ну, хорошо, Еленка, а что он сказал тебе в последний раз?

— Сказал что-то, но я не помню, потому что не слушала его, я думала только о том, как Якова перевести.

— Значит, ты об этом думала?

— Об этом,— через силу подтвердила девушка, видимо, сильно уставшая и потому не расположенная говорить сверх необходимого. Однако вахмистр был настойчив. С угрозой в голосе, выдававшей давнюю привычку к беспрекословному послушанию, он требовал от девушки подробнейшего пересказа того, что она показала на первом допросе в Конаке.

Она сопротивлялась, перескакивая и всеми силами стараясь сократить первоначальный свой рассказ, но вахмистр всякий раз останавливал ее и умелыми вопросами вынуждал возвращаться назад.

Мало-помалу вырисовывалась истинная картина происшедшего. Звали ее Еленка, была она из Тасича с Верхней Лиески. Прошлой осенью к ним туда пробрался гайдук Яков Чекрлия и остался зимовать в уединенном хлеву над селом. Пищу и чистую одежду приносили ему из дома девушки. Чаще других ходила к нему Еленка. Тут они полюбили друг друга и обручились. А когда стал таять снег и участились облавы карателей, Яков во что бы то ни стало решил пробиться в Сербию. Дрину в это время года и без дозорных перейти непросто, а на мосту день и ночь караул. Все же Яков избрал мост и придумал план, как перехитрить постовых. Она отправилась с ним, готовая ради его спасения пожертвовать даже собственной жизнью. Вначале они спустились к Лиеске, а потом перешли в пещеру над Околиште. Еще раньше на Гласинаце Яков купил у цыган женскую турецкую одежду: шальвары, чадру, покрывало, и тогда она, следуя его указаниям, начала переходить мост, избирая время, когда турок было мало, чтоб они не стали выспрашивать, что это за незнакомая турчаночка, и стараясь приучить к себе стражу. Так три дня подряд она появлялась на мосту, после чего решилась перевести и Якова.

— А почему ты выбрала время, когда этот караульный стоял на часах?

— Да он мне добрее других показался.

— Поэтому?

— Поэтому.

Понукаемая вахмистром, она продолжала свой рассказ. Когда все было готово, Яков замотался в чадру, и она с первым сумраком провела его под видом своей старой бабушки мимо караульных, не вызвав у них ни малейших подозрений, так как молодой смотрел не на старуху, а на нее, второй же, что постарше, сидел на диване и дремал.

Дойдя до площади, они, из осторожности минуя торговые ряды, пошли побочными улицами. Это их и погубило. Плохо ориентируясь в незнакомом городе, они вместо рзавского моста и дороги, что прямиком вела к одной и другой границе, очутились перед турецкой кофейней, а из нее в это время как раз выходили люди. Среди них оказался жандарм, местный турок. Замотанная в чадру старуха об руку с незнакомой девушкой, никогда прежде не виданной им в здешних краях, показалась жандарму подозрительной, и он пошел за ними. У самого Рзава он нагнал их и стал спрашивать, кто они такие и куда идут. Яков, зорко следивший за каждым движением жандарма сквозь чадру, понял, что настала пора бежать. Сбросив чадру, он толкнул Еленку к жандарму, и при том с такой силой, что они едва на ногах удержались: «Он хоть щуплый и ростом невысок, зато сильный, как бык, а сердца такого ни у кого не сыщешь!» По собственному ее простодушному и искреннему признанию, она запуталась в ногах у жандарма, и, пока он высвободился, Яков в несколько прыжков преодолел Рзав, точно какую-нибудь лужу, хотя вода была ему выше колен, и скрылся на том берегу в зарослях ивняка. А Еленку отвели в Конак, но ни побоями, ни угрозами больше того, что она сказала, не могли из нее выудить.

Напрасно трудился вахмистр, с помощью окольных вопросов, посулов и запугивания пытаясь вырвать у девушки имена других сообщников и укрывателей Якова или выведать что-нибудь относительно дальнейших его планов. Ухищрения вахмистра не производили на девушку ни малейшего впечатления. Проявляя подчас даже излишнюю болтливость, она наглухо замолкала, едва речь касалась нежелательных ей тем, и оставалась совершенно безучастной ко всем усилиям Драженовича вытрясти из нее хоть слово.

— Лучше уж самой тебе во всем признаться, чем Якова обрекать на мучения и пытки,— его уже наверняка задержали на границе.

— Кого задержали? Его? Ха-ха!

И она смерила вахмистра взглядом, исполненным жалости к его неведению, презрительно дернув уголком верхней губы. (Дви-

жения этой ее верхней губы, напоминая сокращения пиявки, отражали переполнявшие ее чувства гнева, презрения и вызова, для которых у нее не хватало слов. Эта судорожная гримаса искажала черты ее красивого и правильного лица, придавая ему злобно-отталкивающий вид.) И тут же с выражением детской радости, совершенно противоположным недавней уродливой гримасе, она устремила взор в окно, как смотрят крестьяне, определяя погоду и состояние посевов.

— Бог с вами! Вот уж и рассвело. А со вчерашнего вечера он мог всю Боснию, какая она ни на есть, кругом обойти, а не то что границу пересечь — до нее и всего-то час или два часа ходу. Уж я-то знаю. Так что можете меня бить и убить,— я и шла на это, но его вам больше не видать. И думать об этом нечего. Ха-ха!

И правая сторона ее губы тотчас же вздернулась вверх, обезобразив ее внезапно повзрослевшее лицо дерзким вызовом ранней искушенности. Но быстро погаснув, гримаса вызова сменилась на ее лице все тем же детским озарением беспечной смелости.

Поставленный в тупик Драженович обратил на ротмистра вопросительный взгляд и получил знак увести девушку прочь. После чего был снова допрошен Федун. На этот раз дознание не затянулось. Юноша во всем покаялся и, ничего не приведя в свою защиту, не воспользовался даже тем, что нарочно подсказывал ему Драженович в своих наводящих вопросах. И речи ротмистра наряду с безоговорочным и непреклонным осуждением выражали сдержанную боль сострадания, но и они не способны были вывести юношу из оцепенения.

— Я вас, Федун, считал,— говорил ротмистр Крчмар по-немецки,— серьезным молодым человеком, сознательно относящимся к своим служебным обязанностям и жизненной цели, и в будущем полагал обрести в вашем лице образцового исполнителя, гордость нашего отряда. А вы потеряли голову от первой попавшейся бестии, вильнувшей перед вашим носом хвостом. И поступили как последний слюнтяй, которому нельзя доверить важное дело. Я вынужден предать вас суду. Но каково бы ни было его решение, самым тяжким наказанием вам будет то, что вы не оправдали оказанного вам доверия и не смогли в нужный момент проявить себя настоящим мужчиной и добросовестным солдатом. А теперь ступайте.

Но и эти слова, разящие, отмеренные, чеканные, ничего нового не могли внести в сознание юноши. Они как бы уже в нем были. Появление и речи этой женщины, возлюбленной гайдука, поведение Стевана, весь ход короткого расследования представили вдруг перед ним в истинном свете непростительное легкомыслие его весенней игры в воротах. Ротмистровские речи как бы канцеляр-

ским штампом припечатывали то, что уже было; гораздо больше, чем Федуну, они нужны были самому ротмистру во исполнение неписаных, но непреложных требований закона и порядка. А юноша, пораженный, застыл перед невиданно разросшимся непостижимым для человеческого разума призраком того, во что превратились несколько мгновений забытья, которые подстерегают нас в недобрый час и на гиблом месте.

Пережитые там, в воротах, и оставшиеся никому не известными, мгновения эти ничего не значили бы сами по себе. Шалость молодости, которую, скрашивая скуку ночного обхода, поверяют приятелю. Теперь же, сопряженные с конкретной провинностью, они значили все. Они значили больше чем смерть, они значили конец, и при этом бесславный и недостойный конец. Никогда ему не оправдаться ни перед собой, ни перед другими. Прощайте письма из Коломыи, семейные фотографии и почтовые переводы, с такой великой гордостью отсылаемые им домой. Это был конец человека, обманувшегося, поддавшегося обману.

Вот почему он так и не вымолвил ни слова в ответ ротмистру.

Надзор за Грегором чрезмерной строгостью не отличался. Ему принесли завтрак, он машинально съел его как бы чужими губами, после чего приказали собрать личные вещи, сдать оружие и казенное имущество и в десять часов почтовым дилижансом в сопровождении жандарма отправляться в Сараево, чтобы предстать там перед гарнизонным судом.

Пока юноша доставал вещи с полки над своей кроватью, несколько его товарищей из тех, что были в спальной, ступая на цыпочках и бесшумно притворив за собой дверь, поспешно удалились. Вокруг него возникала пустота одиночества и гнетущей тишины, неизменно окружающая людей, пораженных несчастьем, так же, как и животных, пораженных болезнью. Он снял с гвоздя черную дощечку, на которой масляной краской на немецком языке были написаны его фамилия, чин, номер части и подразделения, и положил ее себе на колени чистой стороной вверх. На черном поле оборотной стороны кусочком мела он быстро и мелко написал: «Все оставшееся после меня отошлите моему отцу в Коломыю. Всем друзьям передаю привет, а начальство прошу простить меня. Г. Федун». Еще раз посмотрел он в окно, вобрав в себя прощальным взглядом все, что в узком проеме можно было увидеть за секунду. Потом взял винтовку и загнал в нее тяжелый патрон, липкий от смазки. Разувшись и ножиком разрезав носок на пальце правой ноги, он лег на кровать, обхватил руками и коленями винтовку, ствол упер в подбородок, пальцем правой ноги нащупал спусковой крючок, зацепил его дырой, проделанной в носке, и потянул. Вся казарма содрогнулась от выстрела.

Последствия великих свершений просты и обыденны. Пришел лекарь. Комиссия произвела осмотр, и акт приложили к протоколам допроса Федуна.

Затем возникла проблема с погребением. Драженович получил приказ сходить к отцу Николе и выяснить, можно ли Федуна, своевольно лишившего себя жизни, похоронить на кладбище и согласился ли бы тот отпеть покойного, униата по вере.

За последний год отец Никола сильно сдал и ослабел ногами; поэтому он взял себе в помощники по обширному приходу отца Йосу. Человек молчаливый, но неспокойный, поп Йоса был худ и черен, точно головешка. Последние месяцы он отправлял почти все службы и обряды в селениях и городе, а отец Никола, с трудом передвигавшийся, обслуживал лишь ближних прихожан да служил в церкви, которая стояла возле самого его дома.

Драженович по указанию ротмистра явился к отцу Николе. Дед принял его, лежа на турецком диване; подле него был и отец Йоса. Выслушав просьбу Драженовича рассудить вопрос о погребении покойного Федуна, оба священника с минуту молчали. Видя, что отец Никола ничего не говорит, отец Йоса начал первым нерешительно и неопределенно: случай, мол, необыкновенный и исключительный и супротив всех церковных правил и утвердившихся обычаев, и, только если, мол, докажут, что самоубийца не был в здравом уме и твердой памяти, можно будет что-нибудь сделать. Но тут со своего твердого и узкого ложа, покрытого старым выцветшим ковром, поднялся отец Никола. Он сел, величественно выпрямившись и приобретая ту внушительность, с какой он проходил по городу, почтительно приветствуемый со всех сторон. При первом же произнесенном слове лицо его озарилось внутренним светом,— широкоскулое и все еще румяное, с огромными усами, сливавшимися с бородой, рыжими, убеленными сединой, густыми, щетинистыми бровями, лицо человека, сызмальства привыкшего самостоятельно мыслить, мужественно высказывать свою точку зрения и стойко ее защищать.

Отец Никола прямо и просто ответил сразу обоим, и своему помощнику, и вахмистру:

— Когда беда стряслась, бесполезно что бы то ни было доказывать. Кто в здравом уме поднимет руку на себя? И кто, с другой стороны, возьмет на свою совесть закопать его, словно какого-то безбожника, за оградой и без священника? Ну-ка, сударь мой, дай бог тебе здоровья, распорядись снарядить покойного как положено, и мы его поскорее схороним. И, понятное дело, на кладбище, где же еще! Я сам буду отпевать. А если случится здесь служитель его веры, он поправит и дополнит, что не так.

И, обратившись еще раз после ухода Драженовича к отцу Йосе, пристыженному и недоумевающему, сказал:

— Как можно крещеного человека на кладбище не пустить? И почему его не отпеть? Или мало ему было при жизни несчастий? А на том свете пусть с него спрашивают за его грехи, как и с нас всех за наши спросят.

Так, оступившись однажды в воротах, остался юноша в городе на вечные времена. Его похоронили на следующее утро под старческое пение отца Николы и речитатив пономаря Димитрия.

Солдаты один за другим подходили к могиле и бросали в нее пригоршни тощей земли. Покуда два могильщика споро махали лопатами, собравшиеся, как бы в ожидании команды, некоторое время стояли еще вокруг могилы, наблюдая, как за рекой, возле самой их казармы, поднимается прямо столб белого дыма. Это на зеленом лужке над казармой жгли окровавленную солому из тюфяка Федуна.

Несчастная судьба молодого солдата, чье имя было вскоре позабыто, заплатившего жизнью за несколько мгновений весеннего томления и мечтательной рассеянности, относилась к числу явлений, необычайно близких чувствам местных жителей, долго хранимых ими в памяти и часто повторяемых. Память о восторженном юноше, отмеченном злым роком, надолго пережила сторожевой пост в воротах.

Восстание в Герцеговине пошло на убыль осенью того же года. Главные вожаки его, мусульмане и сербы, бежали в Черногорию или Турцию. В здешних краях оставался еще кое-кто из гайдуков, не имевших по существу никакого отношения к рекрутскому бунту и промышлявших из своей корысти. Но и они в скором времени были выловлены или разогнаны. Герцеговина успокоилась. Босния без сопротивления поставила рекрутов. И все-таки проводы первых рекрутов из города не прошли безболезненно и гладко.

С целого уезда взяли не более сотни юношей, и, однако же, когда они все вместе собрались в тот день перед Конаком — крестьянские парни с котомками и редкие горожане с деревянными сундучками,— можно было подумать, что в городе мор или мятеж. Безбожно накачавшись с раннего утра, многие новобранцы пили все подряд. Крестьянские парни красовались в чистых белых рубахах. Немногие оставшиеся трезвыми сидели, привалившись к стене, и дремали у своих пожиток. Большинством владело возбуждение, потные лица раскраснелись от выпивки и зноя. Обнимутся четверо-пятеро односельчан, сдвинут головы — раскачиваясь наподобие живой изгороди, и горланят во всю мощь своих грубых голосов, немилосердно завывая и не щадя чужих ушей:

— Ой, де-е-е-ви-и-ца-а-а! О-о-о-ой!

Но еще больше, чем сами рекруты, накаляли обстановку жены, матери, сестры и родственницы новобранцев, пришедшие сюда из дальних сел, чтобы проводить их, в последний раз обласкать взглядом, оплакать и осыпать благословениями и напутствиями перед разлукой. Женщины заполонили всю площадь у моста. Окаменев, словно в ожидании приговора, они сидели, перебрасываясь изредка словами и вытирая слезы уголком головных платков. Напрасно еще раньше, в селах, им пытались втолковать, что парни идут не на войну, не на каторгу, что они будут служить в Вене самому императору и, проведя в тепле и сытости два года, обутые, одетые, вернутся домой и что из других мест тоже поставляют рекрутов, и при том на три года. Все эти слова, подобно ветру, пролетали мимо женщин, не касаясь их сознания и слуха. Женщины слышали только голос собственного сердца и одному ему повиновались. И этот голос древних, от предков унаследованных инстинктов застилал глаза слезами, исторгал стон из горла и наперекор усталости последнего прощального взгляда ради гнал их за тем, кто был им дорог больше жизни и кого неведомый царь забирал в неведомую землю к неведомым искусам и делам. Напрасно и теперь, лавируя среди сидящих, ходили в толпе жандармы и чиновники из Конака, уговаривая женщин не предаваться беспричинному отчаянию, освободить проход и не устраивать давку и толчею на дороге, когда по ней пойдут рекруты,— ведь они все до единого в целости и невредимости вернутся домой! Все уговоры были бесполезны. Они выслушивали их с видом тупой и смиренной покорности, согласно внимали, кивая головами, а затем снова ударялись в слезы и причитания. Казалось, причитания и слезы были им так же дороги, как и тот, по которому они так скорбели.

Когда же настал час выступать и колонна новобранцев по четыре человека в ряд двинулась через мост, поднялась такая невообразимая толчея и суматоха, что самые выдержанные жандармы теряли самообладание. В желании прорваться к своим женщины бежали, толкались, сшибали друг друга с ног. Вопли отчаяния смешались с призывными возгласами, заклинаниями и прощальными напутствиями, иные матери, опередив колонну, предводительствуемую четверкой жандармов, падали им в ноги, били себя в растерзанную грудь и голосили:

— Через мой труп! Через мой труп, окаянные!

С великими муками отрывая женщин от земли, мужчины осторожно высвобождали сапоги со шпорами из их распущенных волос и сбившихся юбок.

Кое-кто из новобранцев, пристыженный, недовольно отмахиваясь, отгонял наседающих женщин, веля возвращаться домой.

Но большинство парней по-прежнему орало песни и пронзительно гикало, усиливая общий гвалт. Рекруты-горожане, бледные от волнения, стройно затянули песню на городской манер.

Сараево и Босния,
Горе да беда,
Провожала в рекруты
Матушка сынка.

Песня вызвала новый взрыв рыданий.

Преодолев образовавшийся на мосту затор, колонна наконец выбралась на сараевскую дорогу, где ее ожидала плотная стена горожан, высыпавших на проводы рекрутов, причитая над ними, точно над приговоренными к расстрелу. Тут также было много женщин, и все они дружно плакали, хотя у них и не было никого близкого среди уходивших рекрутов. Но у каждой всегда был наготове повод для слез, а над чужой бедой плачется слаще всего.

Стена горожан вдоль дороги постепенно редела. Да и деревенские женщины стали поодиночке отставать. Самыми упорными были матери. С резвостью пятнадцатилетних девочек забегали они в голову колонны, перепрыгивали через придорожный ров, стараясь перехитрить жандармов и поближе прорваться к своим. Наконец и сами парни, бледнея и смущаясь, стали оборачиваться на ходу и кричать им сердито.

— Говорят тебе, ступай домой!

Но матери долго еще следовали за колонной, не видя ничего вокруг, кроме своего уводимого сына, глухие ко всему, кроме собственного плача.

Но вот миновали и эти тревожные дни. Народ разошелся по деревням, улеглось волнение в городе. Когда же от рекрутов стали приходить из Вены первые письма и фотографии, и вовсе полегчало на сердце у людей. Долго плакали женщины и над ними, но теперь это были легкие слезы тихой грусти и утешения.

Карательный отряд был распущен и покинул город. Давно уже не стоят на мосту постовые, и опять, как встарь, в воротах сидят горожане.

Незаметно пролетели два года. А осенью в город и в самом деле возвратились первые рекруты — чистые, остриженные и откормленные. Вокруг них собирались земляки, и они рассказывали про свое солдатское житье и про большие города, которые им довелось повидать, употребляя в своей речи диковинные названия и иностранные словечки. Проводы очередной партии новобранцев не вызывали уже таких слез и волнений.

Да и вообще жизнь вошла в обычную колею. Подрастающее поколение почти не сохранило живых воспоминаний о турецких

временах и приняло новый образ жизни. Но в воротах и по сей день безраздельно царили старые обычаи. Вопреки новомодной одежде, новым званиям и должностям, на мосту все принимали вид исконных его завсегдатаев, с незапамятных времен проводивших здесь часы досуга в беседах, составлявших как прежде, так и теперь истинную потребность их души и сердца. В свой срок без возмущений и суматохи уходили в армию рекруты. Гайдуки поминались разве что в преданиях стариков. А сторожевой заслон карателей забыли точно так же, как караульню, некогда возведенную в воротах турками.

XIV

Жизнь города у моста с каждым днем оживлялась, приобретала устроенность и благополучие с их неизведанной до сей поры уравновешенностью и размеренностью, к которым неизменно и всегда тяготели любые времена, но что достигалось лишь изредка, урывочно и приближенно.

Далекие и неизвестные нам города, царственной властью своею управлявшие и этим краем, вступили тогда — в последней четверти XIX века — в полосу одного из таких редкостных и мимолетных периодов затишья в человеческих и общественных отношениях. И как величественное спокойствие моря ощущается и в отдаленных заливах, так и здесь, в отдаленных провинциях, ощущалось ровное дыхание мирных времен.

Это были три десятилетия относительного благоденствия и призрачного спокойствия, когда немало европейцев готово было поверить, что открыта непогрешимая формула осуществления золотого сна человечества о всестороннем развитии личности в условиях полной свободы и прогресса, когда девятнадцатый век развернул перед миллионами людей великое множество своих обманчивых благодеяний и ослепил заманчивой иллюзией комфорта, изобилия и процветания для всех и каждого — по сходным ценам и с выплатой в рассрочку. В глушь заштатного боснийского местечка из всей этой жизни XIX века долетали, искажаясь по дороге, смутные отзвуки и отголоски, да и те в той только мере и в той форме, в какой они были приемлемы и допустимы с точки зрения нравов отсталой восточной среды.

После первых лет недоверия, растерянности, колебаний и нерешительности город стал понемногу осваиваться с новым порядком вещей. Люди имели работу, заработок, устойчивое положение. А этого было довольно, чтобы жизнь — жизнь во внешнем своем проявлении — двинулась «по пути совершенствования и прогресса». Все же прочее оттеснялось в темные кладовые подсознания,

где таились и бродили подспудные и, казалось бы, давно уже отжившие вековые предрассудки и неистребимые предубеждения расовых, религиозных и сословных каст, подготавливая для далеких грядущих времен непредвиденные перевороты и взрывы, неизбежные, как видно, в истории народов, и тем более этого народа.

После первых столкновений и сложностей новая власть стала вызывать ощущение прочности и долговечности. (В равной степени она и сама разделяла то же заблуждение, но без него немыслима никакая сильная и прочная власть.) Безликая, действующая через всякого рода посредников, она уже по одному этому казалась несравненно легче турецкой. Все, что было в ней жестокого и алчного, скрывалось под маской респектабельности, лоска и корректного обхождения. Люди боялись ее, как боятся смерти и болезни, а не как злобности, насилия и притеснений. Представители новой власти, как военной, так и гражданской, будучи, как правило, здесь чужаками и фигурами лично незначительными, каждым своим шагом давали почувствовать, что они винтики огромного механизма и что за каждым из них находится бесконечная лестница вышестоящих инстанций и лиц. Это придавало им значительность, далеко превосходящую достоинства конкретной личности, и окружало неотразимым ореолом могущества. Своей образованностью, казавшейся здесь весьма высокой, невозмутимостью и европейскими привычками, во всем отличными от их собственных, они внушали доверие, смешанное с почтительным уважением, и не вызывали зависти или протеста, хотя не пользовались ни особыми симпатиями, ни любовью.

В свою очередь, и сами иностранцы с течением времени неизбежно должны были подвергнуться влиянию своеобразного восточного мира, ставшего их жизненным окружением. Дети их вносили в среду городских детей иноязычные словечки и непривычные имена, вводили под мостом новые игры, показывали новые игрушки, но и сами с неменьшей быстротой перенимали от своих товарищей местные песни, присказки и заклинания, а также старинные игры в скакалочку, чижик и пятнашки. Взрослые ничем не отличались от детей. Устанавливая новые порядки, внося новые привычки, новые обороты речи, чужеземцы повседневно заимствовали те или иные бытовые и языковые особенности старожилов. И хотя одеждой и манерами наши люди,— в особенности христианская и еврейская ее часть,— все больше приближались к заграничным модам оккупантов, но и иноземцы не остались бесчувственными к воздействию местной среды. Какой-нибудь шустрый мадьяр или надменный поляк, не так давно с опаской перешедший этот мост и брезгливо вступивший в город, на первых порах гадливо отстранялся от всего, подобно капле жира, плавающей в воде.

А по прошествии какого-нибудь года тот же самый мадьяр или поляк уже просиживал часами в воротах, посасывая толстый янтарный мундштук, и с самозабвением исконного уроженца здешних мест наблюдал, как в светлом сумраке неподвижного вечернего воздуха таяли, растворяясь, кольца дыма. Или в компании достойных хозяев и бегов сумерничал по местному обычаю, расположившись с неизменным стебельком базилика на травянистом ковре какого-нибудь взгорья и под неспешный легкий разговор, не обремененный каким-то особенным смыслом, с заправской выдержкой местного старожила степенно прикладывался по временам к традиционной стопочке, изредка и скупо закусывая. А были и такие среди них, ремесленного и чиновничьего звания, которые женились здесь, решившись больше никогда не покидать Вышеград.

Ничего, что обещало бы обитателям города свершение их заветных мечтаний и надежд, взлелеянных в душе и впитанных с молоком матери, не было в этой новой жизни; и напротив, было в ней много такого, что вызывало недоверие и настороженность как у христиан, так и у мусульман, однако это были скрытые тревоги и сомнения, тогда как новая жизнь текла мощным потоком, не таясь и открывая людям новые и, казалось, неисчерпаемые возможности. И большинство после более или менее продолжительных колебаний отдалось ее течению, ведя дела, приобретая и усваивая современные взгляды, предоставляющие более широкий простор личности.

Нельзя сказать, что новая жизнь ослабила цепи условностей и ограничений турецких времен, но, став легче и гуманней, она с лукавым вероломством завуалировала старые цепи, не давая их почувствовать. И каждому поэтому казалось, что перед ним раскрылись светлые горизонты более богатого и разнообразного существования.

Четкая организация административного аппарата позволяла новой государственной власти безболезненно, без видимого нажима и конфликтов выкачивать из народа те же самые налоги и поборы, которые турецкая власть взимала нерациональными, грубыми методами, а иной раз и просто грабежом; и выкачивать при этом ровно столько же, и даже больше, но без проволочек и задержек.

Как в свое время за армией пришли жандармы, а за ними чиновники, так теперь вслед за чиновниками потянулись деловые люди. Начался лесоповал, и в городе появились иноземные предприниматели, инженеры и рабочие, открылись многочисленные возможности приработков и торговли, возникли новомодные ухватки, фасоны и словечки. Воздвигнута была первая гостиница.

(О ней речь впереди.) Открывались питейные дома и магазины, неизвестные доселе горожанам. К испанским евреям-сефардам, спокон веков проживавшим в Вышеграде, где они поселились примерно в то же время, когда на Дрине строили мост, прибавились еще и галицийские евреи-ашкенази.

С мощью обновляющей крови пошли кружить по стране деньги в невиданных количествах, а самое главное, не таясь, открыто и смело. На этой возбуждающей циркуляции золота, серебра и гарантированных бумажных знаков каждый мог погреть руки или хотя бы потешить взор, и в самой крайней бедности утешаясь иллюзией временности своей нужды.

Водились, конечно, и прежде богатство и деньги, но богатых людей было мало, и деньги они скрывали, как змея скрывает ноги, и все господское превосходство свое, тяжкое для них самих и окружающих, обращали в силу притеснения и защиты. Теперь богатство или, по крайней мере, то, что таковым считалось и называлось, было у всех на виду, безбоязненно обнаруживая себя во всякого рода наслаждениях и удовольствиях; и многочисленной мелюзге при этом кое-что перепадало от его блеска или отходов.

Так было во всем. Удовольствия, получаемые прежде украдкой и тайком, теперь покупались за деньги и выставлялись напоказ, разжигая аппетиты и вербуя толпы жаждущих. То, что раньше было невозможно, запретно, дорого, ограждалось законом и всесильными условностями, теперь сплошь и рядом оказывалось доступным и дозволенным всякому, кто имел или умел. Многие страсти, прихоти и склонности, которые до сих пор скрывались по темным углам, а то и вовсе не находили себе выхода, теперь смело и откровенно искали полного или хотя бы частичного удовлетворения. В сущности, и теперь было множество ограничений, строгостей и юридических препон; пороки карались не менее жестоко, а удовольствия оплачивались более дорого, чем раньше, но новые формы, в которые облекался закон, создавали, как и во всем прочем, обманчивое впечатление, что жизнь вдруг стала богаче, свободнее и щедрее на радости.

Ни настоящих радостей, ни тем более счастья в сравнении с прежними временами не прибавилось, но удовольствия теперь, бесспорно, доставались легче, и, казалось, каждый в этом мире мог добиться счастья. Извечная, наследственная склонность вышеградцев к беспечности и наслаждениям находила поощрение и поддержку в новых обычаях, новых формах предпринимательства иноземных переселенцев. Польские евреи, осевшие в городе со своими многолюдными семьями, на этом основали целое предприятие. Шрайбер завел так называемую универсальную торговлю, или бакалею. Гутенплан открыл солдатский шинок. Цалер — гостини-

цу. Шперлинги — фабрику крем-соды и фотоателье. Цвехер — ювелирный и часовой магазин.

Вслед за казармой, пришедшей на смену «Каменному хану», из оставшегося камня было воздвигнуто здание, где разместились суд и уездная управа. После них самым большим строением в городе была гостиница Цалера. Она высилась на правом берегу реки, у самого моста. Этот берег укреплен был старинной подпорной стеной, расходившейся по обе стороны моста и возведенной одновременно с ним самим. Таким образом, по левую и правую руку от моста над водой протянулись две террасы. Эти террасы, прозванные в народе площадками, из поколения в поколение служили местом игр для городских детей. Заняв недавно левую террасу, уездная управа огородила ее, засадив фруктовыми и ягодными саженцами и превратив в некоторое подобие питомника. На правой же террасе построили гостиницу. До сей поры у самого начала торговых рядов стояла корчма Зарии. И была здесь очень к месту, ибо усталый и жаждущий путник, по мосту входивший в город, непременно в нее заглядывал. Отныне корчму совершенно затмило внушительное здание гостиницы; приземистая, ветхая корчма с каждым днем съеживалась и оседала, врастая в землю и грозя совсем исчезнуть.

Официальное название гостинице дал мост, подле которого она была возведена. Однако же народ всегда переиначивает имена соответственно собственной логике и тому фактическому содержанию, которое он в них вкладывает. Клеевая краска надписи «Hotel zur Brücke» [1], выведенная корявыми буквами на фронтоне гостиницы одним умельцем из солдат, быстро поблекла. Народ назвал новое заведение «Лотикиной гостиницей», и это название осталось за ней навсегда. Ибо, хотя формально содержателем гостиницы был флегматичный, тучный еврей Цалер, обремененный болезненной супругой Деборой и двумя девочками — Миной и Иреной, подлинной хозяйкой и душой всего предприятия являлась его свояченица Лотика, молодая вдова, женщина изумительной красоты со свободными манерами и мужским характером.

На верхнем этаже гостиницы находилось шесть чистых и уютных номеров для постояльцев, в нижнем — два зала, большой и малый. Большой зал посещался публикой попроще — рядовыми горожанами, унтерами и ремесленниками. Малый зал отделялся от большого широкой двустворчатой дверью матового стекла с надписями на обеих сторонах: «Extra» — «Zimmer». Этот зал был центром общественной жизни чиновников, офицеров и местных денежных тузов. У Лотики пили, играли в карты, пели, плясали,

[1] «Гостиница у моста» *(нем.)*.

вели серьезные беседы, деловые переговоры и получали добротную еду и чистую постель. Нередко случалось, что компания торговцев и чиновников встречала здесь и полночь и рассвет и в том же составе продолжала сидеть и дальше, пока люди, одурманенные выпивкой и ослепленные мельканием карт, не валились на пол, сморенные тяжелым сном. (Картежникам отныне не было надобности таиться от людей в удушливой темноте мрачной боковушки трактира Устамуича.) Лотика выпроваживала перепивших и вконец проигравшихся и принимала свежих, трезвых, жаждущих выпить и сыграть в карты. Никто не знал, да и не задумывался над тем, когда эта женщина отдыхает, спит или ест, когда успевает одеться и привести себя в порядок. Она всегда была здесь, по крайней мере такое складывалось впечатление, со всеми одинаково приветливая и одинаково смелая и свободная в обращении. Статная, полная, черноволосая, с матово-белой кожей и жгучими глазами, Лотика владела безошибочным секретом обхождения с гостями, которые, хоть и обильно сыпали деньгами, немало досаждали ей пьяными выходками и дерзостью. Со всеми она говорила ласково, смело, остроумно, когда надо — заискивающе и успокоительно. (Голос ее, низкий и неровный, по временам переходил в грудное и томное воркованье. Так никогда как следует и не выучившись сербскому, Лотика говорила неправильно, путая падежи и рода, но при этом тем сочным и образным языком, который своим тоном и смыслом совершенно созвучен народному.) Разгулявшиеся гости, потратив время и деньги, могли безотказно наслаждаться присутствием Лотики и игрой собственных желаний. Только это и было постоянно и неизменно. Все же остальное вроде и было, и в то же время как будто и не было. Для двух поколений городских гуляк из числа турецких и сербских богатеев Лотика оставалась сверкающим, разорительным и холодным кумиром, забавлявшимся безумством их страстей. Молва называла имена немногих счастливцев, якобы имевших у нее успех, но и те не могли сказать, в чем, собственно, успех этот заключался.

Не так-то было просто и легко управлять опасными инстинктами богатых гуляк, волною внезапного буйства вдруг пробуждавшимися в них. Но Лотика — ловкая, холодная и проницательноумная женщина, обладавшая истинно мужской хваткой, укрощала любой порыв неистовства и страсти то властью своей неотразимой красоты, то силой лукавства и отваги, при этом с каждым сохраняя должную дистанцию, что еще сильнее распаляло страсти и делало ее во сто крат притягательней. Как тореадор, играла она самыми низменными их инстинктами в минуту опасного пьяного разгула, ибо давно уже распознала и легко подобрала ключи к нехитрой природе диких порывов своих посетителей, к слабым стру-

нам их грубых и чувствительных сердец. Распаляя и дразня, она увлекала обещанием многого, уступая лишь в малости или, вернее, совсем избегая уплаты, ибо их пыл все равно невозможно было ничем остудить и в конце концов они должны были довольствоваться малым. Лотика по большей части обращалась с гостями как с больными, страдающими приступами умопомрачения. И все же при всей сомнительности и неблаговидности своего занятия она оставалась женщиной доброй и отзывчивой, способной приободрить и выручить сверх меры промотавшегося игрока или кутилу. Одурачивая заведомо дурные головы, обманывая тех, кто жаждал обмана, Лотика, собственно, отбирала у них только то, что они и так выбросили бы на ветер. Правда, зарабатывала она много, свято блюла свою выгоду и в первые же годы сколотила изрядное состояние, но в то же время могла великодушно списать долг и простить убыток. Одаривая нищих и убогих, она незаметно и чрезвычайно деликатно помогала разорившимся семьям, сиротам и вдовам из богатых домов, всей этой «стыдливой бедноте», не осмеливающейся просить и стесняющейся принимать милостыню. Она делала это с тем же искусством, с каким управляла гостиницей и удерживала на расстоянии пьяных, похотливых и настырных гостей, опустошая их кошельки, увертываясь от их домогательств и все же не отвергая их окончательно и бесповоротно.

Людям, знающим жизнь и знакомым с историей, не раз случалось пожалеть о том, что судьба отвела Лотике столь узкое и низменное поле деятельности. Попади она в иные обстоятельства, кто знает, кем могла бы стать и что дала бы миру эта мудрая, добросердечная и самоотверженная женщина, алчная и в то же время бескорыстная, прекрасная и обольстительная и одновременно непорочная и бесстрастная,— безвестная хозяйка провинциальной гостиницы, с неистощимой изобретательностью опустошавшая карманы своих пылких вышеградских воздыхателей. Может быть, она стала бы одной из тех великих женщин, которые вошли в историю, женщин, управлявших судьбами прославленных фамилий, дворов или даже держав и, подобно доброму гению, приносивших счастье.

В то время, то есть около 1885 года, когда Лотика была в полном расцвете молодости и красоты, немало сынков местных богачей с утра до ночи торчало в гостинице, в том самом привилегированном зале за дверью матового стекла. Под вечер, сонные, усталые и непротрезвившиеся еще с прошлой ночи, пригревшись у печки, они впадали в тяжелую дремоту, забывая, где они, почему и кого ждут. Пользуясь минутой затишья, Лотика поднималась наверх в комнатку второго этажа, предназначенную для прислуги, но превращенную ею в «канцелярию», куда не допускался решительно никто. Узкая комната была битком набита мебелью, фото-

графинями, золотыми, серебряными и хрустальными безделушками. Здесь же за шторой находился ее зеленый несгораемый шкаф и маленький письменный стол, заваленный грудами бумаг, извещений, расписок, счетов, немецких газет, вырезок с курсами акций и бюллетенями лотерейных тиражей.

В этой узкой, загроможденной вещами душной каморке, единственным своим, самым маленьким в доме окошком глядевшей на ближний к берегу короткий пролет моста, Лотика проводила свободные часы и часть своей скрытой от посторонних взоров жизни, принадлежащей ей одной.

Здесь, в минуты украденной свободы, она просматривала биржевые сводки и изучала объявления, сводила счета, отвечала на запросы банка, выносила решения, делала заказы, распоряжалась вкладами, вносила новые вклады. Здесь протекала ее невидимая миру жизнь, составлявшая главное содержание ее существования. Здесь Лотика сбрасывала с себя улыбчатую маску, не боясь обнаружить под ней твердое выражение лица и строгий неподвижный взгляд. Отсюда она вела переписку с многочисленным родом Апфельмайеров из Тернополя — замужними сестрами, женатыми братьями и прочими родственниками,— неимущей еврейской голытьбой из восточной Галиции, рассеянной по Галиции, Австрии и Венгрии. Лотика управляла судьбой целой дюжины еврейских семейств, входила в мельчайшие подробности их жизни, решала вопросы замужеств и женитьб, определяла в школы или в обучение ремеслу детей, посылала на излечение больных, отчитывала и карала нерадивых и расточительных, хвалила бережливых и предприимчивых. Она разбирала семейные дрязги, в раздорах и спорах служила судьей; наставляла на путь разумной и добропорядочной жизни, одновременно помогая и создавая возможности для такой жизни. Вот почему за каждым письмом следовал денежный перевод, дававший возможность выполнить ее благой совет, доброе пожелание, удовлетворить какую-то духовную или материальную потребность и предотвратить беду. (Единственную радость в жизни и награду за все трудности и лишения Лотика находила в этой своей поддержке огромного семейного клана и выведении в люди каждого его члена в отдельности. И каждая новая ступенька общественной лестницы, завоеванная кем-нибудь из женской или мужской половины рода Апфельмайеров, возносила и Лотику, вознаграждая ее за труды и вдохновляя на новые подвиги.)

А иной раз Лотика вырывалась из «Extra Zimmer» такой измученной, с таким омерзением в душе, что не в состоянии была ни писать, ни читать и просто садилась к узкому оконцу подышать свежим воздухом с реки после пьяного угара там, внизу. Взгляд

ее останавливался на мощном и легком изгибе каменной арки, заслонявшей собою горизонт. Под солнцем, в сумерках, в лунном сиянии зимних ночей и в мягком мерцании звезд она была всегда одна и та же. Две стороны арки в безудержном стремлении друг к другу соединялись в заостренной середине и застывали в торжестве незыблемого равновесия. К ним, к этим каменным сводам, бессменным и близким, в минуты желанного отдыха и прохлады обращала свой взор эта двуликая еврейка, к ним, немым свидетелям ее страданий, в минуты наивысшего отчаяния взывала она, изнемогая под бременем семейных и деловых неурядиц, решение которых эта женщина никому не доверяла, кроме самой себя.

Недолги только были минуты этого редкого отдыха, сплошь и рядом они прерывались криками гостей снизу, из зала. То ли ее звал новый посетитель, то ли, очнувшись от сна и протрезвившись, один из разгулявшихся кутил снова требовал выпивки, света, музыки и, наконец, самой ее, Лотики. Тщательно замкнув особым ключиком двери своего убежища, Лотика спускалась вниз встречать очередного посетителя или во всеоружии своей улыбки и ласковых речей уговаривать, точно проснувшееся дитя, загулявшего клиента, усаживая его за стол, чтоб он продолжил ночное бдение с выпивкой, разговорами, песнями и новыми расходами.

В ее отсутствие веселье внизу, как всегда, разлаживалось. Гости начинали буянить. Молодой бег из Црнчи, бледный и осоловевший, все вино, какое бы ему ни принесли, выплескивал на пол, все ему было не по нраву, и он лез скандалить с прислугой и с гостями. С небольшими перерывами он уже много дней подряд пил в гостинице, пил и вздыхал по Лотике, но столь неумеренно, что сразу наводил на мысль о некоем более глубоком и самому ему неведомом горе, чем безответная любовь и слепая ревность к прекрасной еврейке из Тернополя.

С легкой непринужденностью, без малейшего страха устремлялась Лотика к молодому бегу из Црнчи.

— Чего тебе, Эюб? Ну, что ты раскричался тут, горюшко мое?

— Где ты? Куда ты пропала! — мгновенно притихнув и с трепетом взирая на свое божество, бубнил кутила.— Они меня хотят тут отравить. Да, да, отравить, но я еще им покажу, я еще...

— Ну полно, полно, не волнуйся,— успокаивала его женщина, и ее руки, белые, благоухающие руки летали вокруг бедовой его головы.— Не волнуйся, для тебя я хоть птичьего молока раздобуду; я сама закажу для тебя...

И, подозвав к себе кельнера, Лотика отдавала ему распоряжение по-немецки.

— Не смей говорить при мне на своем тарабарском языке: фирцен-фюфцен, а не то... ты меня знаешь!

— Знаю, знаю, Эюб; кого другого, а уж тебя-то...

— То-то же! С кем ты была!

И начинаются пререкания пьяного с трезвой женщиной — нескончаемые, бессмысленные и бесплодные за бутылкой дорогого вина и двумя бокалами; одним, всегда полным — Лотикиным и вторым — Эюбовым, непрерывно наполняемым и опоражнивающимся.

И пока молодой турецкий шалопай безумолку молол, еле ворочая языком, про смерть, про любовь, про неизлечимую тоску и прочий вздор, который Лотика знала наизусть — ведь каждый пьяница потчевал ее в точности такой же болтовней, она вставала и шла к другим столам, где располагались гости, сходясь, по своему обыкновению, под вечер в гостиницу.

За одним столом — молодые господа, не так давно вступившие на поприще вечернего застолья и попоек; эти местные снобы находили невыносимо скучной и простецкой корчму Зарии, но не вполне освоились еще и в этом новомодном заведении. За другим столом в кружок чиновников-чужеземцев затесался офицер; изменив на один день офицерскому собранию, он снизошел до гражданского отеля в надежде перехватить у Лотики денег в долг. Третий стол занимала группа инженеров, строивших железную дорогу для вывоза леса.

В дальнем углу сидели, погруженные в какие-то расчеты, газда Павле Ранковић, молодой богач, и некий австриец, железнодорожный подрядчик. Одетый по-турецки, газда Павле и здесь, в питейном заведении, не расставался с красной феской, поблескивая из-под нее косыми щелками черных глаз, оживлявших бледное широкоскулое лицо и обладавших способностью в минуты редкой радости или триумфа невероятно расширяться и, вспыхивая дьявольской усмешкой, полыхать огнем победного восторга. Подрядчик в спортивного покроя сером костюме и в высоких чуть ли не до колен желтых ботинках «на снурках». Австриец пишет золотым карандашиком на серебряной цепочке, газда Павле — толстым и коротким огрызком, еще пять лет тому назад по рассеянности оставленным в его лавке одним армейским плотником, покупавшим у него гвозди и дверные петли. Эти двое договариваются о поставках продовольствия дорожным рабочим. С головой уйдя в свое занятие, они множат, делят, складывают — нижут цифры: одни — видимые на бумаге, которые должны убедить и обмануть партнера, другие — незримые, производя в уме прикидку ожидаемых выгод и барышей.

Для каждого клиента у Лотики припасено приветливое слово, яркая улыбка или просто безмолвный взгляд, исполненный понимания. И снова Лотика возвращается к молодому бегу, принявшемуся опять буянить и дурить.

Но и среди разгульной ночи с ее задиристыми, томными, слезливыми и грубыми стадиями досконально изученными Лотикой, снова выдастся минутка затишья и позволит ей, поднявшись наверх, при мягком свете лампы под колпаком молочного фарфора возобновить переписку или прерванный отдых, пока очередной скандал в зале не потребует ее срочного вмешательства.

А назавтра новый день, новый или тот же самый вздорный богатый молодчик, скандалист и мот, и для Лотики та же страда, те же муки и хлопоты, принимающие вид легкой фривольной игры с непременной улыбкой на губах.

Поистине немыслимо было постигнуть и понять, как Лотика выдерживала и управлялась со множеством столь разнородных обязанностей и забот, заполнявших и дни и ночи и требовавших от нее гораздо больше изворотливости, чем та, которая дана женщине, и гораздо больше сил, чем те, которые отпущены мужчине. И тем не менее она успевала справляться со всем, никогда никому не жаловалась, не входила ни в какие объяснения и, занимаясь одним делом, не поминала ни предстоящих, ни завершенных. Но при всем этом, по крайней мере, час из своего скудного времени Лотика ежедневно выкраивала для Али-бега Пашича. Это единственный человек, которому, по общему признанию жителей, на самом деле удалось добиться благосклонности Лотики, и без всяких корыстолюбивых расчетов. Он самый молчаливый и тихий в городе человек. Старший из четырех братьев Пашичей, Али-бег остался неженатым (в чем злые языки винили ту же Лотику), дела не вел и держался в стороне от местной общественной жизни. Умеренный в выпивке, он никогда не колобродил со своими сверстниками. Уравновешенный и спокойный, он был одинаково любезен со всеми. Замкнутый и скромный, он вместе с тем не избегал застолья и общества, но не запомнился ни разу никому ни смелостью суждения, ни метким словцом. Довольный собой, он был вполне доволен и мнением о нем людей. У него никогда не появлялось желания быть или выглядеть не тем, кем он был, а потому и другие не ждали и не требовали от него чего-то большего. Он был одним из тех невольников аристократической исключительности, которые как тяжкий груз несут на себе бремя своего благородного звания, составляющего все содержание их жизни; это потомственный аристократизм — неоспоримый, неотъемлемый, неповторимый и находящий оправдание лишь в самом себе.

С посетителями общего зала у Лотики хлопот было меньше. Он отдан был на попечение обер-кельнера Густава и кельнерши Малчики. Известная всему местечку разбитная венгерка Малчика напоминала жену укротителя диких зверей, Густав — невысокий, рыжий чешский немец, человек горячий, с налитыми кровью гла-

зами, ходивший раскорякой из-за плоскостопных ног. Они знают всех своих клиентов так же, как и всех горожан вообще, знают кредитоспособность и характер пьяных выходок каждого, знают, кого надо принять холодно, кому оказать сердечный прием, а кого и вовсе не пускать в заведение как «неподходящего для отеля». Они заботятся о том, чтоб пили много и платили исправно, но в то же время, чтоб все шло полюбовно и гладко, ибо главный принцип их хозяйки: «Nur kein Skandal!» [1] Если же кому-то из гостей случалось вдруг впасть в буйство с перепоя или какому-нибудь дебоширу после обильных возлияний в других заведениях более низкого разряда ворваться в гостиницу силой, в зале появлялся слуга Милан, высокий, плечистый, угловатый детина, личанин родом. Он обладал дьявольской силой, редкостной молчаливостью и работоспособностью. Ходил он неизменно в соответствующей форме (Лотика предусмотрела и это). Без пиджака, в сером жилете поверх белой рубахи, в длинном фартуке зеленого сукна, зимой и летом с засученными по локоть рукавами, обнажающими его косматые и черные, как две огромные щетки, ручищи. Черные закрученные усики и волосы нафабрены пахучей солдатской помадой. Милан душил в зародыше любой скандал.

Тактика этой весьма неприятной и нежелательной процедуры отработана и освещена многолетней практикой. Пока Густав заговаривал зубы воинственно настроенному скандалисту, Милан подходил к нему со спины, обер-кельнер отскакивал в сторону, а личанин молниеносным и точным движением, неуловимым для постороннего взгляда и составляющим тайну его приема, уже держал кутилу сзади, одной рукой схватив его за пояс, другой — за ворот. Самый сильный городской дебошир летел подобно кукле, набитой соломой, точно по направлению к двери, в нужный момент предупредительно распахнутой Малчикой, и, не задерживаясь, оказывался на улице. Вслед за ним Густав вышвыривал шляпу, трость и прочее его имущество, а на дверь с грохотом опускалась металлическая штора, на которой всей своей тяжестью повисал Милан. Все это совершалось в мгновение ока, четко и без запинки, так что не успеют, бывало, остальные гости и глазом моргнуть, как нежелательный посетитель выставлялся вон и в случае полного умопомрачения мог разве что пырнуть ножом в металлическую штору или запустить в нее камнем, о чем свидетельствовали оставленные на ней следы. Но это уже скандал не в стенах заведения, а на улице, уличные же непорядки — забота полиции, а полиция всегда дежурит у гостиницы. В отличие от прочих трактирных служителей Милан никогда не допускал, чтоб изгоняемый

[1] «Только без скандала!» *(нем.)*

клиент опрокидывал и увлекал за собой столы и стулья или, зацепившись руками и ногами за косяк, заклинивался в дверном проеме, откуда его не вытащить и воловьей упряжке. Он делал свое дело спокойно, без всякой злобы, азарта или тщеславия и потому справлялся с ним неподражаемо легко и быстро. Минуту спустя после удаления из зала нарушителя спокойствия Милан как ни в чем не бывало занимался своими делами на кухне или в буфете. А Густав, как бы мимоходом завернув в «Extra Zimmer», проходил мимо Лотики, развлекавшей за столом кого-нибудь из богатых гостей, и делал ей на ходу быстрый знак обеими глазами, давая понять, что назревавший скандал улажен благополучно. Не прерывая разговора и сохраняя на лице улыбку, Лотика молниеносно посылала в ответ понимающий взгляд, так же неприметно моргнув обеими глазами: «Хорошо, спасибо! Будьте начеку!»

Оставалось выяснить только, на сколько выпил или переколотил посуды выставленный гость; полученную сумму Лотика спишет, когда далеко за полночь будет за своей красной ширмой подсчитывать дневную выручку.

XV

Существовало несколько способов, с помощью которых буйствующий и столь ловко выставленный из гостиницы гость, если только прямо от дверей его не забирали в каталажку, мог опомниться и отойти после приключившейся с ним неприятности. Он мог добрести до ворот и здесь освежиться прохладой, веющей с гор и с реки. Или же податься в трактир к Зарии, тут же поблизости на площади, и здесь открыто и свободно предаться зубовному скрежету, угрозам и проклятиям по адресу незримой руки, безнаказанно и подло выдворившей его из гостиницы.

В трактире у Зарии не бывает и не может быть никаких скандалов, ибо после того, как с первым сумраком, приняв свою дневную «порцию» и перекинувшись словцом с такой же, как они, солидной публикой, расходились по домам степенные хозяева и трудовые люди, все прочие пили, сколько принимала душа и позволял карман, и говорили и делали что кому заблагорассудится. Здесь никого не принуждали тратиться и напиваться, сохраняя при этом трезвый вид. А если уж кто-нибудь терял всякую меру, немногословный грузный Зария одним своим видом угрюмой озлобленности обескураживал и отрезвлял самых отъявленных пропойц и скандалистов.

— Давай кончай! Хватит безобразничать! — осаживал он их жестом тяжелой руки и низким хриплым голосом.

Но и в этом допотопном трактире, где не было ни отдельных

Мост на Дрине

кабинетов, ни кельнеров и где обходились услугами какой-нибудь деревенщины из Санджака в крестьянском облачении, старые обычаи причудливо переплетались с новыми.

Молча сидели, забившись в дальние углы, здешние завсегдатаи, отпетые пьяницы. Любители уединения и полумрака, бегущие от шумной суеты, часами просиживали они, склонившись, как над святыней, над чарками. С обожженным желудком, воспаленной печенью, расстроенными нервами — небритые, опустившиеся, равнодушные ко всему на свете и опостылевшие самим себе, они упорно пили в мрачной решимости еще раз дождаться волшебного озарения, сладостно выстраданного закоренелыми пропойцами, но быстро затухающего и гаснущего, а с годами все реже являющегося им тусклыми отблесками былого сияния.

Не в пример говорливей и шумнее новички, по большей части господские сыночки, юнцы в опасном возрасте, делающие первые шаги на пути беспутства и безделья — пороков, которым все они в течение более или менее длительного времени будут платить неизбежную дань. Вскорости, порвав с грехами юности, большинство оставит этот путь и, обзаведясь семьей, отдастся накопительству и тяготам труда, обывательской повседневности с ее подавленными пороками и умеренными страстями. И только незначительное меньшинство отмеченных проклятьем пойдет и дальше предопределенной им стезей, истинную жизнь заменив алкоголем — самой обманчивой и скоропроходящей иллюзией в этой обманчивой и скоропроходящей жизни, и станет жить ради него, сгорая и постепенно превращаясь в таких же мрачных, тупых и опухших пьяниц, что сидят сейчас здесь, забившись по темным углам.

С наступлением новых времен с их свободой и вольностями, оживлением торговли и лучшими заработками в трактир, помимо цыгана Сумбо, вот уже три десятка лет игравшего на своей зурне на всех местных пирушках, стал частенько наведываться и Франц Фурлан со своей гармоникой. Тощий и рыжий, с золотой серьгой в правом ухе, он занимался плотническим делом, но был сверх меры предан музыке и вину. Солдаты и иноземные рабочие особенно любили его слушать.

Случалось, и гусляр какой-нибудь заглядывал в трактир — обычно черногорец, схимнически изможденный, в отрепьях, но полный достоинства, с открытым взглядом; изголодавшийся, но щепетильный; гордый, но вынужденный побираться. Какое-то время он сидел в укромном углу, явно подавленный, вперив взор в невидимую точку перед собой и ничего не заказывая, с выражением самоуглубленной отрешенности, выдававшей, однако же, какие-то подспудные мысли и намерения, кроющиеся за внешним безразличием. Множество противоречивых и непримиримых чувств раздирало

душу гусляра, возвышенный настрой которой находился в разительном несоответствии с немощью и прискорбной ограниченностью средств для ее выражения. Отсюда его робость и неуверенность. Терпеливо и гордо ждал он, когда его попросят спеть, но и тогда как бы с сомнением извлекал из сумы своей гусли, дул на них, проверял, не отсырел ли смычок, подтягивал струну, стараясь при этом привлекать как можно меньше внимания к своим приготовлениям. Вот он проводит по струне смычком и извлекает первый дрожащий и неровный звук, подобный ухабистой дороге. И тут же начинает сам без слов подпевать гуслям, поддерживая и выравнивая их своим голосом. Когда же оба голоса сливались воедино в однообразно-заунывную мелодию, составляющую приглушенный фон песни, недавний нищий преображается как по волшебству: отброшена мучительная робость, исчезли внутренние противоречия, позабылись все невзгоды. Решительно вскинув голову и отбросив маску скромности, ибо теперь уже нечего было таиться, гусляр неожиданно сильным и высоким голосом выкликивал строки вступительных стихов:

И промолвил базилик убогий:
«Что ж ты про меня, роса, забыла?»

И гости, до сих пор вроде бы и не обращавшие никакого внимания на гусляра, обрывали разговоры на полуслове и умолкали. Трепет жгучей и смутной жажды той самой росы, что живет в песне и у них в крови, при звуках этих первых слов пронизывал каждого здесь находившегося независимо от того, турок он или серб. Но когда певец, тут же понизив голос, продолжал:

Молвил то не базилик убогий... —

обнажая смысл завуалированного сравнения, и начинал перечислять истинные чаяния и нужды турок или сербов, скрывающиеся за метафорической фигурой росы и базилика, чувства слушателей резко разделялись и растекались в противоположные стороны, согласно их сокровенным желаниям и воззрениям. Подчиняясь, однако, неписаному правилу, гости невозмутимо слушали песню до конца, ничем не выдавая внутреннего своего состояния. И только на зеркальной поверхности ракии в стоящей перед ними чарке их неподвижным взорам являлись блистательные победы, сражения, героизм и слава, до сей поры не виданные миром.

Особенно буйное веселье воцарялось в трактире, когда случалось загулять молодым купчикам и купецким сынкам. Тогда всем — и Сумбо, и Францу Фурлану, и Кривому, и цыганке Шахе находилась работа.

Косоглазая Шаха, дерзкая на язык мужеподобная цыганка, пила со всеми, кто платил, но никогда не пьянела. Без Шахи и ее

рискованных шуток невозможно было представить себе ни одной попойки.

Сменялись люди, веселившиеся с ними, но Шаха, Кривой и Сумбо оставались все теми же. Они жили музыкой, шутовством и вином. Их труд — в безделье других, их заработки — в чужом мотовстве, их настоящая жизнь начинается ночью в те неурочные часы, когда здоровые и счастливые люди давно уже спят. Именно тогда под действием спиртного подавленные душевные движения пробуждаются у гуляк взлетами искрометного веселья и бурных порывов, при всем однообразии обольщающими своей новизной и непревзойденностью. Шаха, Кривой и Сумбо являются платными и бессловесными статистами, перед которыми не стыдно обнаружить свою подлинную суть из «плоти и крови», не испытывая потом ни сожаления, ни раскаяния; при них и с ними позволительно то, что невозможно на людях и уж совсем недопустимо и безнравственно в родном гнезде. Прячась за них, как за ширму, и списывая на них все грехи, почтенные и состоятельные отцы и сыновья из добропорядочных семейств могли, отрешившись на миг от условностей, побыть самими собой, хотя бы временно и какой-то частью своего существа. Натуры грубые, рассвирепев, подвергали их издевательствам или побоям, трусливые — осыпали бранью, щедрые — одаривали, тщеславные покупали их лесть, хмурые причудники — выходки и зубоскальство, развратники — вольности или услуги. Они отвечали необходимой, но непризнаваемой потребности провинциального мирка с его убогой и искаженной духовной жизнью; своего рода актеры в среде, не знающей подлинного искусства. В городе не переводились певцы, потешники, шуты и балагуры обоих полов. Отжив свой век и сойдя в могилу, они уступают место своим преемникам, в безвестности возросшим в их тени для того, чтобы после них увеселять и скрашивать часы досуга новым поколениям. Но много еще времени пройдет, пока появится второй такой потешник, как Салко Кривой.

Когда после установления австрийской оккупации в город приехал первый цирк, Кривой пленился канатной танцовщицей и натворил из-за нее столько глупостей, что был посажен в каталажку и бит палками, а на господ, бессовестно подстрекавших и распалявших его неистовство, наложили большой штраф.

С тех пор прошло немало лет, и искушенным вышеградцам теперь уж не в диковинку гастроли чужеземных музыкантов, канатоходцев и фокусников, они не вызывают больше, как тот первый цирк, такого повального и заразительного безумства, но любовь Кривого к танцовщице не сходит с уст и по сей день.

Кривой давно уже перебивается днем мелкими услугами, причем не гнушаясь никакой работы, а ночью развлекает гуляющих

купцов и бегов. На глазах Кривого сменилось несколько поколений. Отгуляв свое и угомонившись, обзаведясь семьей и присмирев, одно поколение передает его другому, более молодому, которому пришло время взять свое. В последние годы, до времени состарившись, Кривой сильно сдал, теперь он все чаще не на посылках, а в трактире и живет не столько заработком, сколько милостыней и подачками с господского стола.

В осенние дождливые вечера мрут со скуки гости в трактире Зарии. Вот за одним столом компания лавочников. Разговор не клеится, в голову лезут скверные досадливые мысли; вяло и раздраженно перекидываются бессмысленными и грубыми словами; лица холодны, замкнуты и подозрительны. Даже ракия бессильна внести оживление в компанию и поднять настроение. В углу на скамье дремлет Кривой, сморенный влажной теплотой и первой чаркой ракии; промок он сегодня до нитки, перетаскивая тяжести на Околиште.

Вдруг кто-то из скучающих гостей как бы невзначай поминает канатную танцовщицу из цирка, давнюю и безответную любовь Кривого. Взоры всей компании устремляются в угол, но Кривой, изображая спящего, и бровью не ведет. Пусть себе болтают что хотят; это он решил бесповоротно не далее как сегодня утром, в тяжком похмелье; решительно постановил не отвечать на зубоскальство и насмешки, чтобы не допустить, как прошлой ночью, такой же безжалостной шутки, какую сыграли с ним в этой самой корчме.

— Сдается мне, они с ней по сей день переписываются,— говорит один.

— Вот стервец! С одной любовь по почте крутит, а вторая под боком! — добавляет второй.

Кривой из последних сил старается остаться неподвижным, но разговор волнует его и щекочет, как луч солнца; один глаз, вопреки его воле, вот-вот откроется, а мускулы лица распустятся в счастливую улыбку. Больше он не в силах сохранить бесстрастное молчание. С небрежным равнодушием отмахнувшись сначала рукой, он подает затем и голос:

— А, прошло уж все это, прошло!

— Да прошло ли? Нет, вы только посмотрите, каков злодей! Одна на стороне где-то вянет, вторая здесь сохнет. Одно прошло, другое пройдет, а третье придет. Да где ж у тебя совесть, старый хрыч, одну за другой с ума сводить?

Кривой уже встал, идет к их столу. Сон, усталость и утреннее твердое решение ни за что не поддаваться на эти разговоры — все забыто. Прижав руку к сердцу, Кривой уверяет господ, что чист он перед богом и вовсе не такой уж ветреник и совратитель, каким его хотят представить. В непросохшей одежде, с грязной и

мокрой физиономией — его красная феска линяет под дождем, он весь светится блаженной улыбкой и присаживается к господскому столу:

— Рому для Кривого! — кричит Санто Папо, полный, живой еврей, сын Менто и внук Мордо Папо, известных торговцев скобяными товарами.

Последнее время Кривой действительно предпочитает по возможности заменять ракию ромом. Этот новый вид спиртного словно бы нарочно для таких, как он, и создан; превосходя ракию крепостью и быстротой действия, он и по вкусу приятно от нее отличается. Ром продается в двестиграммовках, на этикетке изображена молодая мулатка с пухлым сочным ртом и жаркими глазами, в широкополой соломенной шляпе, с большими золотыми серьгами в ушах и красной надписью под ней Jamaica. (Экзотику эту фабрикует для боснийцев, находящихся в последней стадии алкоголизма на грани белой горячки, в Славонском Броде фирма «Eisler, Sirowatka & Comp».) Один вид мулатки пробуждает в Кривом ощущение обжигающей крепости и благоухания нового напитка и чувство благодарности к судьбе, милостиво позволившей ему отведать и этой земной благодати, которой, подумать только, никогда бы не испробовал Кривой, умри он всего только год назад. «А сколько еще на свете дивных вещей!» И, разнеженный этой мыслью, Кривой непременно замрет на несколько мгновений перед откупоренной бутылкой. И, лишь насладившись этой мыслью, он отдается блаженству самого напитка.

Вот и теперь, как бы неслышно приговаривая ей ласковые слова, держит Кривой перед собой узкую бутылку. Между тем тот, кому удалось развязать ему язык, сурово допрашивает его:

— Что ж ты, братец, с этой делать будешь? Женишься или, как и с прочими, только позабавишься?

Все эти намеки относились к некоей Паше из Душче. Это самая красивая девушка в городе, сирота, выросшая без отца, вышивальщица, как и ее мать.

О неприступной красавице Паше прошлым летом много было разговоров и песен на многочисленных попойках и загородных пирушках. Незаметно для самого себя и Кривой каким-то образом поддался этому повальному увлечению. И, как водится, сейчас же сделался предметом всевозможных розыгрышей. Однажды в пятницу влюбленные парни взяли и Кривого на гулянье с собой на дальнюю околицу, где из-за оград и решетчатых ставней слышался приглушенный шепот и смех невидимых девушек. Вдруг под ноги Кривому упала ветка бальзамина, брошенная из одного двора, где с подружками пряталась Паша. Кривой замер, боясь раздавить и не смея поднять цветок с земли. Молодые повесы, увлек-

шие его на гулянье, стали хлопать его по плечам, поздравляя с победой счастливого избранника,— ведь это ему, одному-единственному из всех, Паша подарила знак внимания, какого никогда никто из них не удостаивался.

В ту ночь попойка на Мезалинском лугу у реки под купами орехов продолжалась до самой зари. Кривой сидел у костра прямой и торжественный, то вдохновенно отдавшись песне, то погрузившись в тревожную задумчивость. На этот раз ему не разрешили прислуживать, готовить закуски и кофе.

— Да знаешь ли ты, брат, что значит ветка бальзамина, брошенная девичьей рукой? — говорил ему один повеса.— «Я сохну по тебе, как эта сорванная ветка, а ты и не сватаешься, и за другого выйти не даешь». Вот что сказала тебе Паша.

И все наперебой превозносили перед ним достоинства Паши — белолицей, целомудренной, точь-в-точь спелая гроздь винограда, свисающая с ограды в ожидании руки, которая ее сорвет, а ждет-то она не кого иного, как его, Салко Кривого.

«Как, почему именно он приглянулся красавице Паше?» — с притворным возмущением негодуют купчики. Другие его защищают. А Кривой пьет. И то верит в чудо, то впадает в отчаяние, понимая его невероятность. Отбиваясь от насмешек, Кривой уверяет, что все это не для него, что он бедняк, невзрачный и старый,— но в минуты затишья невольно предается мечтам о юной Паше, о ее красоте, о счастье, которое она обещает, все равно, возможно ли оно для него или нет. А под высоким шатром летней ночи, беспредельно раздвинутой ракией, песней и пламенем пылающего на траве костра, все чудится возможным, пусть призрачным, но вполне допустимым и не заказанным. Зубоскалы-господа потешаются над ним, он это знает; не могут они без забавы жить, обязательно должны кого-нибудь дразнить и на смех поднимать, от века так повелось, то же самое и сейчас. Но шутки шутками, а его мечта о прекрасной женщине и недостижимой любви — не шутка, это давняя и неизменная его мечта; не шутка и песни,— в них любовь, как и в его душе, и реальна и призрачна, и женщина, как и в его мечтах, и рядом и недоступна. Для господ, конечно, это одна потеха, но для него-то — истинная вера и святыня, которую он всегда носил в себе, ни секунды в ней не усомнившись, вера, жившая в нем независимо от вина и песен, от господских затей и даже от самой Паши.

И все это, как ни прочно засело в нем, все же легко и быстро уплывает. Потому что душа Кривого рвется наружу, а разум слабеет и туманится.

Так, три года спустя после великой своей любви к австрийской танцовщице и постыдного ее исхода, Кривой поддался чарам

нового мощного чувства, а богатые скучающие бездельники получили новую забаву, достаточно жестокую и захватывающую для того, чтобы веселить их в течение долгих месяцев и лет.

Было это в середине лета. Настала осень, подошла зима, а игра в любовь Кривого к красавице Паше продолжала скрашивать дневную скуку и заполнять вечерние досуги местной публики. Иначе как женихом и ухажером его не называли. Днем, когда непроспавшийся с похмелья Кривой прислуживал в лавках, выполнял ту или иную работу, бегал по поручениям, разносил товар, эти прозвища возмущали его, и он раздраженно пожимал плечами. Но вот с приходом ночи зажигались лампы в трактире Зарпи, «Рому для Кривого!»—кричал чей-то голос, и кто-то будто ненароком тихо заводил:

Солнце село, час закатный,
Отзовись, мой светик ясный...—

и все преображалось. Досада, протестующее дерганье плечами, город с трактиром да и сам Кривой, продрогший, небритый, в драном тряпье и чужих обносках,— все исчезало. И только в зареве заходящего солнца светился балкон, обвитый виноградом, и на балконе стояла девушка с веткой бальзамина в руках и ждала того, кому она бросит цветок. Правда, все это сопровождалось раскатистым хохотом, язвительными шуточками и грубыми остротами, но все это было далеко, как в тумане, а рядом с ним, у самого уха, звучала песня:

Светом ласковых очей
Душу ты мою согрей!

И Кривой согревается в отсветах заходящего этого солнца, как никогда не мог согреться под лучами того, что изо дня в день встает и заходит над городом.

— Рому для Кривого!

Так пролетали зимние ночи. А в конце зимы Пашу выдали замуж. Бедную красавицу, вышивальщицу из Душче не полных девятнадцати лет от роду взял себе второй женой хаджи Омер из Града, богатый, почтенный турок пятидесяти пяти лет.

Хаджи Омер вот уже тридцать лет как женат. Жена его, происходя из известного дома, славится умом и деловитостью. Усадьба их за Градом, разросшись целым хутором, процветает и ломится от всякого добра, основательная торговля в городе дает большой и надежный доход. И все это заслуга не столько благодушного неповоротливого хаджи Омера, вся забота которого только в том, казалось бы, и состоит, чтобы регулярно два раза в день ездить из Града на базар и обратно, сколько его энергичной и рачительной, неизменно приветливой хаджи Омеровицы. Для всех турчанок

города и округи слово ее является последним приговором в решении всевозможных споров.

Принадлежа к числу достойнейших и образцовых, пожилая эта чета только тем обездолена была, что не имела детей. Надежда долго их не покидала. Хаджи Омер и на поклонение в Мекку ходил, жена его щедро оделяла сирот и святые монастыри, шли годы, все прибывало и умножалось в хозяйстве хаджи Омера, а в самом главном не было им божьего благословения. Достойно и красиво сносили свое горе хаджи Омер и его мудрая ханума, однако никакой надежды на продолжение рода уже не было. Жене хаджи Омера перевалило за сорок пять.

Речь шла о большом состоянии, которое должно было остаться после хаджи Омера. Предмет этот занимал не только многочисленную родню с его и с ее стороны, но и чуть ли не весь город. Одним хотелось, чтоб этот брак так и остался бездетным, другим, напротив, жаль было, чтоб такой человек умер без наследника, отдав все богатство свое на растерзание родственникам, поэтому они исподволь склоняли его взять себе еще одну, молодую жену, пока еще время не совсем ушло и есть надежда на потомство. В этом пункте городские турки разделились на два лагеря. Спор разрешила сама бесплодная супруга хаджи Омера. С открытой прямотой, столь свойственной ее натуре, однажды она сказала своему нерешительному мужу:

— Всем благословил нас милостивый бог, честь ему и слава,— согласием, здоровьем и богатством, не дал он лишь того нам, что последнему нищему отпущено — увидеть свою поросль, чтоб знать, кому все после нас останется. Такая уж у меня горькая судьбина. Но если я, по воле божьей, должна с ней примириться, то ты не должен. Вижу я, что сбились с ног торговые ряды, устраивая твою женитьбу и мыкая нашу беду. Так вот же, не они, а я тебя женю, поскольку нет тебе друга вернее, чем я.

И жена хаджи Омера изложила своему супругу план: раз не осталось у них никакой надежды иметь детей, надо, чтоб он взял в дом вторую жену помоложе, с которой еще мог бы завести потомство. Закон дает ему на это право. А она, понятно, останется в доме на правах старшей жены и будет вести хозяйство и за всем смотреть.

Долго сопротивлялся хаджи Омер, уверяя, что лучшей подруги ему не сыскать и что другая жена, молодая, ему не нужна, но хаджи Омеровица, мало того что непоколебимо осталась при своем мнении, но и сказала мужу, кого она выбрала ему в жены. Раз он женится с тем, чтобы иметь наследника, лучше всего взять здоровую молодую и красивую сироту-бесприданницу, которая принесет ему здоровое потомство и по гроб жизни будет благодарить

судьбу за посланное ей счастье. Таким образом, выбор пал на красавицу Пашу, дочь вышивальщицы из Душче.

Так все и сладилось. По велению своей старшей жены и при ее содействии хаджи Омер женился на красавице Паше. А одиннадцатью месяцами позже Паша родила крепкого мальчика. Таким образом, был разрешен вопрос хаджи Омерова наследства, рухнули чаяния родственников и смолкли охочие до пересудов торговые люди. Паша была счастлива, старшая жена довольна, и жили они в хаджи Омеровом доме в полном согласии, будто мать и дочь.

Благополучное решение вопроса наследства хаджи Омера положило начало невыразимых страданий Кривого. Его горе из-за замужества Паши в ту зиму стало главной забавой завсегдатаев трактира Зарии. Несчастный влюбленный пил горькую; господа без конца подносили ему, и за свои деньги каждый мог смеяться до слез. Бездельники передавали Кривому выдуманные весточки от Паши, уверяли его, что она день и ночь льет по нему слезы, сохнет и томится, скрывая от всех истинную причину своей тоски. А Кривой сходил с ума, пел, плакал, пространно и всерьез со всеми объяснялся и проклинал свою злосчастную судьбу, сотворившую его жалким бедняком.

— Послушай, Кривой, на сколько же ты лет моложе хаджи Омера? — принимался за Кривого кто-нибудь из гуляк.

— Почем я знаю! Да и что толку в том, что я моложе? — сокрушался тот.

— Эх, кабы по сердцу да по воле дело слаживалось, не иметь бы хаджи Омеру того, что он имеет, не сидеть бы Кривому там, где он сидит,— отзывается другой.

А Кривому не много надо, чтобы растаять и растрогаться. Ему то и дело подливают рому и убеждают в том, что он не только лучше и моложе, но, главное, «по сердцу» Паше, да, наконец, и не такой уж безродный бедняк, каким кажется и каким себя считает. Коротая длинные зимние вечера, бездельники, потягивая ракию, сочинили целую историю о том, будто бы отец Кривого, неизвестный турецкий офицер, которого он никогда не видел, где-то в Анатолии оставил своему незаконнорожденному сыну из Вышеграда, единственному своему наследнику, большое имение, но что тамошняя родня волю его вероломно нарушила; и теперь все дело в том, чтобы Кривой добрался до той далекой и богатой Бруссы и, разоблачив интриги и козни самозваных наследников, взял то, что ему принадлежит. А там, стоит ему тряхнуть кошельком, и хаджи Омер со всем своим мнимым богатством будет у него в кармане.

Кривой молча слушает, пьет и вздыхает. Он глубоко страдает, и в то же время ему приятно чувствовать себя обобранным и обманутым и здесь, в городе, и в далекой прекрасной стране, откуда

родом неизвестный ему отец. А бездельники тем временем принимаются за подготовку воображаемой его поездки в Бруссу. Праздная фантазия безжалостно изобретательна и предусмотрительна до мелочей. Однажды вечером в трактир приносят паспорт, якобы полученный для путешествия, в него под оглушительный гогот и циничные шутки вносится описание особых примет выведенного на середину зала и обследуемого со всех сторон Кривого. В другой раз производится подсчет дорожных расходов, обсуждаются подробности путешествия и места ночевок. За этим тоже удается скоротать добрую половину длинной ночи.

В трезвом состоянии Кривой возмущается; он и верит тому, что ему говорят, и не верит, но все-таки больше не верит. Точнее, пока он трезв, он ничему не верит, но, опьянев, начинает делать вид, что верит. Ибо в хмельном тумане Кривой уже не пытается разобрать, где правда, а где шутка и ложь. Следом за вторым шкаликом рома он и правда ощущает дуновение благоухающего ветра, прилетающего оттуда, из далекой и недостижимой Бруссы, и тогда он видит ясно ее зеленые сады и белые строения. Сущая правда и то, что он обманут и обойден с рождения во всем — в семье, достатке и любви; что несправедливость, учиненная над ним, столь велика, что и бог и люди его должники. Ведь он совсем не тот, каким его привыкли видеть и за кого привыкли принимать. И с каждой новой чаркой неодолимая потребность сказать это людям все больше мучит Кривого, хоть он и сам чувствует, как трудно доказать другим бесспорность истины, столь очевидной для него и находящейся, однако, в разительном несоответствии со всеми обстоятельствами его жизни. И все-таки после первой же чарки и потом уж всю ночь напролет, захлебываясь словами, преуморительно жестикулируя и проливая пьяные слезы, он только и делает, что рассказывает свою историю. И чем больше он распаляется и горячится, тем больше хохочут и потешаются вокруг. Хохочут до изнеможения, до колик, рискуя свернуть себе челюсти, заражая друг друга повальным смехом, сладость которого не может сравниться ни с какими яствами и выпивкой. И, хохоча, забывают глухую зимнюю тоску и заодно с Кривым пьют горькую.

— Покончи с собой! — говорит Мехага Сарач, невозмутимый и бесстрастный тон его особенно действует на Кривого.— Не сумел у старика хаджи Омера Пашу отнять, незачем тебе и жить тогда. Покончи с собой, вот тебе мой совет, Кривой.

— Эх, покончи, покончи,— вздыхает Кривой.— Думаешь, мне самому не приходило это в голову? Да я сто раз хотел с моста в Дрину прыгнуть и сто раз что-то меня останавливало.

— Что ж это тебя такое останавливало? Не иначе как страх. Полные штаны, вот что тебя, Кривой, останавливало.

— Нет, нет! Не страх, ей-богу, не страх.

И под общий смех и вопли Кривой вскакивает с места, бьет себя в грудь кулаком, отламывает кусок из лежащего перед ним хлеба и тычет им в неподвижную физиономию невозмутимого Мехаги.

— Это ты видишь? Хлебом тебе клянусь, что не страх это, а... а...

И вдруг чей-то высокий и вкрадчивый голос затягивает песню:

Отзовись, мой светик ясный!

Все хором подхватывают ее, заглушая Мехагу с его неотступным:

— По-кон-чи!

И то неистовство, которого они добивались от несчастного, овладевает всей хмельной компанией и превращает остаток ночи в безудержную оргию.

В одну из февральских ночей пьяные гуляки вместе с истинной своей жертвой, Кривым, и сами довели себя до умопомрачения. Уже рассвело, когда они высыпали из трактира и, разминая затекшие члены, разгоряченные и шальные, двинулись всей гурьбой на мост, почти совсем еще безлюдный и обледенелый.

С дикими воплями и оглушительным хохотом, не обращая внимания на редких ранних прохожих, они затеяли спор о том, кто отважится пройти по узкой каменной ограде моста, сверкавшей тонкой коркой льда.

— Кривой, Кривой пройдет! — раздались хмельные голоса.

— Да где ему пройти! Куда там Кривому!

— Это мне-то не пройти? Мне? Да я, милый мой, такое могу, чего никому и не снилось,— вопил Кривой, с остервенением колотя себя в грудь.

— А вот и не пройти! Попробуй докажи!

— Клянусь аллахом, докажу!

— Пройдет Кривой! Пройдет!

— А вот струсит! Не пройдет!

И хотя и на широком мосту бражники едва удерживались на ногах и, чтоб не упасть, то и дело хватались друг за друга, бесшабашное удальство так и рвалось из их разверстых глоток.

За криками они и не заметили, как Кривой взобрался на каменный парапет. И вдруг увидели, как он, паря над ними в высоте, шаткой походкою пьяного переступает по обледенелой ограде.

Каменный парапет шириной был всего в три пяди. Кривой качался из стороны в сторону. Слева был мост, а на мосту, у него под ногами, пьяная ватага, следовавшая за ним по пятам с громкими возгласами, отзывавшимися в его ушах отдаленным гулом.

Справа же зияла пустота, в бездонной глубине которой, где-то внизу, шумела невидимая река; густой и белый пар, курясь, вздымался клубами в студеное утро.

Замерев на месте, расширенными от ужаса глазами провожали редкие прохожие пьяного сумасброда, шедшего не по мосту, а по узким и скользким перилам, отчаянно балансируя руками над бездной. Как бы очнувшись от сна, иные бражники из тех, кто не успел еще пропить последние крохи рассудка, тоже застыли и, бледные от страха, следили за этой жуткой игрой. Остальные, не сознавая опасности, гурьбой валили вдоль ограды, громкими криками поощряя безумца, неверной поступью пьяного приплясывающего над пропастью.

Поднятый над толпой дерзостной выходкой, Кривой фантастическим призраком парил в высоте. Первые его шаги неуверенны и осторожны. Тяжелые башмаки то и дело скользят по каменным плитам, подернутым льдом. И Кривому чудится, что ноги норовят убежать от него, что пропасть под ним неодолимо тянет его вниз, что он вот-вот сорвется, что он уже падает. Но близость смертельной опасности открывала в нем и самому ему неведомые источники новых возможностей и сил. Стремясь удержать равновесие, Кривой все живее скачет с плиты на плиту, все свободнее изгибаясь и удерживая равновесие. Он уже не идет, а неожиданно для себя самого легко и беззаботно приплясывает, словно под ним зеленая гладь лужайки, а не узкие перила обледенелой ограды. Да и сам он становится вдруг невесомым и легким, как бывает иной раз во сне. Его нескладное, изможденное тело освободилось от тяжести. Как на крыльях, реял, танцуя над бездной, Кривой. Реял под музыку, эта музыка вместе с безудержной удалью рождалась в нем самом, придавая особую ловкость и уверенность движениям. В полете танца Кривой проносился там, где никогда не прошел бы шагом. Позабыв про опасность, расставив руки, точно подыгрывая себе на мандолине, он скользил по парапету, выделывая мелкие коленца и напевая:

— Тири-дам, тири-дам, тири-дири-дири-дам, тири-дам... у-у-у, у-у-у, ух!

Задорный ритм, который задает себе Кривой, увлекает его все дальше по опасному пути. Приседая, Кривой наклоняет голову то влево, то вправо.

— Тири-дам, тири-дам... ух, ух!

Это уже не прежний шут, вознесенный вдруг над шумной ватагой своих собутыльников; и под ногами у него не гранит обледеневшей и скользкой ограды того самого моста, где тысячи раз, жуя всухомятку корку хлеба, он предавался мыслям о блаженной смерти в реке и засыпал в прохладе ворот. Нет, перед ним про-

стерся дальний, несбыточный путь, в который каждый вечер его снаряжали в трактире под грубые шутки и издевательский смех и в который наконец он все же пустился. Перед ним та самая желанная стезя великих подвигов и в самом конце ее царственный город Брусса, невиданное богатство законного наследника и где-то там же закатное солнце, освещающее красавицу Пашу с мальчиком,— его жену с его маленьким сыном.

Увлеченный танцем, Кривой огибает выгнутую часть ограды вокруг дивана и с такой же легкостью преодолевает вторую половину моста. В конце его, соскочив на дорогу, он ошалело озирается вокруг, удивленный, что проделанный им путь вывел его на твердый грунт столь хорошо знакомого Вышеградского тракта. Ватага пьяниц, с возгласами одобрения и шутками неотступно следовавшая за ним, тотчас же окружает его. К ним подбегают и те, которые отстали, пригвожденные к месту страхом. Кривого обнимают, треплют по плечам и по слинявшей феске. И все наперебой поздравляют.

— Браво, Кривой, браво, сокол ясный!

— Браво победителю!

— Рому для Кривого! — позабыв, что он не в трактире, с сильным испанским акцентом вопит хриплым голосом Санто Папо, раскинув руки, как распятый.

В кутерьме и гвалте ликования возникает мысль не расходиться по домам, а продолжать пир во славу подвига Кривого.

Дети, которым было тогда лет по восемь-девять, по пути в свою дальнюю школу так и замерли в то утро на обледенелом мосту, пораженные невиданным зрелищем. Рты их в изумлении открылись, и из них вырывались струйки белого пара. Худенькие, укутанные, с книжками и грифельными досками под мышками, они в недоумении смотрели на эту непонятную для них забаву взрослых, но легкий, преображенный Кривой — давнишний их знакомец,— в волшебном полете смелого и радостного танца прошедший запретный путь, которым никогда никто не ходит, запечатлелся у них в памяти вместе с образом родного моста.

XVI

Два десятилетия прошло с тех пор, как первые, в желтый цвет окрашенные австрийские военные повозки проехали по мосту. Двадцать лет оккупации — это длинная вереница дней и месяцев. Каждый этот день и месяц сам по себе представляется временным и ненадежным, меж тем как взятые в целом они образуют наиболее устойчивый и длительный период мира и материального раз-

вития, когда-либо выпадавший на долю города, и составляют основную часть жизни того поколения, которое к моменту оккупации входило в пору своей зрелости.

Это были годы кажущегося благоденствия и верных, хотя и небольших заработков, когда матери, говоря о сыновьях, непременно добавляли «Дай ему бог здоровья и легкий кусок хлеба», когда жена долговязого Ферхада, не вылезавшего из нужды, а теперь за двадцать форинтов в месяц приставленного зажигать уличные фонари, с гордостью за мужа не уставала славить бога, «в щедрости своей сподобившего на жалованье и моего Ферхада!».

Так текли последние годы XIX века, не нарушаемые волнениями или крупными событиями, как течет привольно разлившаяся спокойная река в преддверии неведомого устья. Казалось, трагические ноты навсегда ушли из жизни европейских народов, равно как и из жизни города у моста. А если грозные раскаты порой и потрясали мир, то приглушенные их отзвуки или вовсе не достигали города, или за дальностью не задевали чувств здешних жителей.

Но вот однажды, летним днем, после многолетнего перерыва, в воротах снова появилось белое полотнище официального сообщения. Краткий его текст, заключенный в жирную черную рамку, оповещал о последовавшей в Женеве кончине ее величества императрицы Елизаветы, павшей жертвой гнусного покушения итальянского анархиста Луккени. Далее говорилось о негодовании и глубочайшей скорби народов великой Австро-Венгерской монархии и содержался призыв в едином порыве верноподданнических чувств еще теснее сплотиться вокруг престола, что послужит лучшим утешением монарху, пораженному столь тяжким ударом судьбы.

Воззвание, как некогда манифест генерала Филиповича об оккупации страны, был приклеен под белой плитой с высеченной надписью и, не вызывая ни сочувствия, ни правильного понимания, будоражил любопытство лишь тем, что речь шла об императрице, женщине.

По распоряжению властей в воротах несколько вечеров не было ни песен, ни шумного веселья.

Только одного человека в городе тяжело поразила весть о гибели императрицы. Это был Пьетро Сола, единственный в этих местах итальянец, подрядчик и каменщик, резчик и художник, короче, мастер на все руки, другого такого в городе не было. Мастер Перо, как все его называли, появился в городе с началом оккупации и обосновался здесь, женившись на некоей Стапе, бедной девице не самой безупречной репутации. Это была рыжая, сильная, на две головы выше его женщина, снискавшая себе известность острым языком и тяжелой рукой, с ней предпочитали

не связываться. Мастер Перо был, напротив того, щуплым, сутулым добряком с кротким взглядом голубых глаз и отвисшими усами. Прекрасный работник, мастер Перо и зарабатывал хорошо. Со временем он совсем здесь прижился и стал истинным вышеградцем и только, подобно Лотике, так и не смог совладать с грамматикой и выговором чужого языка. Золотые руки и покладистый характер завоевали ему всеобщую любовь горожан, а его атлетически сильная жена с материнской строгостью вела по жизни своего супруга, как малое дитя.

Возвращаясь с работы, серый от каменной пыли и выпачканный красками, мастер Перо прочитал воззвание, вывешенное в воротах, надвинул шляпу на самые глаза и судорожно прикусил мундштук своей трубки, которую никогда не выпускал изо рта. После чего при встрече с серьезными и уважаемыми людьми принялся доказывать, что, хотя он тоже итальянец, он ничего общего не имеет с упомянутым Луккени и его отвратительным злодейством. Люди утешали и успокаивали мастера, уверяя, что они, собственно, никогда ничего такого о нем и не думали, но он не унимался, продолжая заверять всех и каждого, что он готов сквозь землю провалиться со стыда и что он в жизни своей цыпленка не приезал, а куда уж там человека убить, женщину, да еще такую высокопоставленную. В конце концов беспокойство его перешло в навязчивую манию. Взрослые начали подтрунивать над ревностным стремлением мастера доказать свою непричастность к анархистам и убийцам. А мальчишки тут же нашли себе жестокую забаву. Укрывшись за оградами, они кричали вслед несчастному: «Луккени!» И мастер Перо, сдвинув шляпу на глаза и отмахиваясь от этих криков, словно от роя невидимых ос, бегом пускался домой, чтобы выплакать обиду на широкой груди своей супруги.

— Стыдно, стыдно,— всхлипывал щуплый Станин муж,— стыдно людям в глаза смотреть.

— Вот глупый, чего тебе-то стыдиться. Что итальянец императрицу убил? Пусть итальянский король и стыдится! Да кто ты такой, чтоб стыдиться?

— А вот я готов сквозь землю провалиться со стыда,— жаловался мастер Перо своей супруге, старавшейся растормошить его, влить в него уверенность и силу, чтоб он ходил по городу с высоко поднятой головой, ни перед кем не опуская взгляда.

Тем временем старики сидели в воротах и с неподвижными лицами и потупленными взорами слушали газетные сообщения с подробностями об убийстве австрийской императрицы. Служили они, собственно, лишь предлогом для общих рассуждений о судьбах венценосных особ и великих мира сего. Образуя центр кружка почтенных, любопытных и малосведущих турок — торговцев и ма-

стеровых — вышеградский мудерис Гусейн-эфенди объяснял, кто такие эти анархисты.

Все такой же блестящий и лощеный, мудерис сохранил и поныне величавую важность осанки, отличавшую его еще двадцать лет назад, когда в этих же самых воротах он встречал первых австрияков вместе с муллой Ибрагимом и отцом Николой, давно уже нашедших вечное упокоение каждый на своем кладбище. Поседевшая борода мудериса все так же тщательно и закругленно подстрижена; так же гладко и спокойно его лицо, ибо люди надменного нрава и черствого сердца долго не поддаются старости. Высокое мнение, которое всегда имел он о своей персоне, за эти два истекшие десятилетия возвысилось еще более. Знаменитый же сундук с книгами, основа его ученого авторитета, так и остался, к слову говоря, кладезем непознанной мудрости, а хроника города за эти два десятилетия обогатилась всего лишь четырьмя страницами, ибо чем большее значение с годами приобретала в глазах мудериса собственная личность и ведомая им хроника, тем менее достойными казались ему события окружающей жизни.

Неторопливо и размеренно, и вместе с тем торжественно и строго, лилась речь мудериса, как бы старавшегося вникнуть в неразборчивую рукопись и считавшего особу иноверной императрицы лишь поводом к самому предмету толкования. Толкование же это (впрочем, он заимствовал его у авторов древних фолиантов, полученных в наследство от своего бывшего наставника, достославного ходжи Арапа) объявляло этих самых нынешних анархистов извечной скверной, которая от века не переводилась и не переведется на земле. Уж так, по воле единого господа нашего, устроена человеческая жизнь: как самой крошечной вещи нет без тени, так и в мире величие не обходится без зависти, милосердие без ненависти и на каждую драхму добра приходится две драхмы зла. Особенно это касается великих, благочестивых и знатных людей. Под сенью их славы взрастает палач и ждет, когда придет час расплаты, и рано или поздно он наступает.

— Вот хоть бы взять нашего земляка Мехмед-пашу, давно уже переселившегося в рай,— продолжал мудерис, указывая на мемориальную доску над извещением,— верой и правдой служил он трем султанам, превзошел своей мудростью Иосифа и благочестием своим и мощью воздвиг мост, на коем мы теперь сидим, но и он погиб от кинжала. Величие и мудрость не спасли его от рокового часа. Те, кому великий визирь мешал в осуществлении их планов — а это была большая и сильная партия,— сумели подстрекнуть к убийству безумного дервиша и вложили в его руки кинжал, дабы тот настиг визиря в ту самую минуту, когда он шел в мечеть молиться. В жалком рубище и с четками в руках дервиш

кинулся под ноги свите, с притворным подобострастием кляпча милостыню, а когда визирь полез в карман за мелочью, пронзил его кинжалом. Так погиб Мехмед-паша, мученик за веру.

Выпуская кольца дыма и перебегая взглядами с надписи мемориального гранита на белое сообщение в черной рамке, слушали мудериса собравшиеся. Слушали со всем вниманием, хотя и не каждое слово из его мудреных пояснений доходило до разумения почтенной публики. Однако там, за голубым табачным дымом, за высеченной надписью тариха и траурным сообщением они угадывали существование какой-то другой, неведомой им жизни — жизни головокружительных взлетов и падений, трагизм и величие которой непостижимым образом уравновешивают собой их мерное и однообразное житье-бытье в воротах.

Но вот миновали траурные дни. И на мосту снова зазвучали громкие голоса, шутки, смех и песни. Разговоры про анархистов прекратились. А скорбное сообщение о смерти малознакомой и чужой царицы, меняя свой вид под воздействием солнца, дождя и пыли, в конце концов изодранное ветром в клочья, было разнесено по берегу и по воде.

Негодники-мальчишки некоторое время еще донимали мастера Перо кличкой Луккени, не понимая, что она значит и зачем они это делают, просто по безотчетной потребности детей изводить и мучить чувствительные и слабые создания. Но вскоре, увлеченные другой забавой, оставили мастера Перо в покое. Немало способствовала этому и Стана с Мейдана, поймав двух самых горластых проказников и задав им жестокую трепку.

А месяца два-три спустя про смерть императрицы и анархистов уже даже не вспоминали. Их безвозвратно поглотило широкое и ровное течение жизни, которая под конец девятнадцатого века казалась навсегда обузданной и укрощенной и порождала ощущение, что перед человечеством открывается эра мирного труда, простирающаяся в неоглядные дали будущего.

Неутомимая и безостановочная деятельность иноземной власти, тяготеющая над ней словно какое-то проклятие свыше и столь недоверчиво воспринимавшаяся местным людом, хотя именно ей они были обязаны своими заработками и благосостоянием, за истекшие двадцать лет многое изменила во внешнем облике города, одежде и привычках жителей. И было совершенно очевидно, что древний мост с его от века неизменным ликом тоже не устоит перед напором их активности.

Наступил 1900 год, знаменовавший собой конец счастливого столетия и начало нового, по мнению многочисленных предсказателей, обещавшего быть еще более счастливым, когда вновь прибывшие инженеры стали обследовать мост. Народ давно уже привык

к такого рода происшествиям, даже малые дети знали, что произойдет, если одетые в кожанки люди с нагрудными карманами, ощерившимися цветными карандашами, начинают крутиться вокруг какого-нибудь строения или пригорка. Значит, на этом самом месте что-то будут сносить, возводить, прокладывать или перестраивать. Но вот что собираются делать с мостом, в глазах всего живого в городе являвшегося воплощением незыблемости и постоянства, как земля под ногами, как небо над головой, решительно никто сказать не мог. Инженеры между тем все осмотрели, вымерили, записали, после чего уехали, и дело позабылось. Однако в середине лета, когда вода в реке наполовину убыла, в город нагрянули подрядчики с рабочими и стали строить времянки у моста для хранения инструмента. И чуть ли не опережая слухи о предстоящем ремонте моста, опорные быки оплела паутина лесов, а на мосту подняли голову лебедки; они опускали и поднимали вдоль быков подвесную деревянную люльку с рабочими, останавливая ее возле трещин и стыков, проросших травой.

Малейшая полость замазывалась, трава выдиралась, птичьи гнезда удалялись. Покончив с этой частью работы, строители взялись за восстановление подмытых оснований. Отведенная запрудами вода обнажала почерневшие, источенные камни быков и дубовые сваи, отшлифованные и окаменевшие в воде, где они пролежали три века и тридцать лет. Неутомимые лебедки ящик за ящиком спускали на дно цемент и гравий, и три средние опорные быка, принявшие на себя основной напор стремнины и пострадавшие более других, были запломбированы у основания подобно испорченным коренным зубам.

Тем летом было прервано обычное течение жизни на мосту и в воротах. Гужевые подводы и лошади, доставлявшие цемент и песок, запрудили округу. В ушах звенело от гама многих голосов и команд десятников. В самих воротах стоял дощатый сарай.

С неодобрительным и грустным изумлением присматриваясь к строительным работам на мосту, горожане или отшучивались, или без слов отмахивались рукой и шли дальше своей дорогой, унося в душе убеждение, что всю эту возню, точно так же, как и все прочее, чужеземцы затеяли только затем, что им необходимо что-то делать и по-другому и без этого они просто не могут. Не высказанное вслух, это чувство разделялось всеми.

Люди, привыкшие проводить свое время в воротах, теперь сидели перед заведениями Лотики и Зарии или возле лавок, прилегавших к мосту. Как бы пережидая ливень или другой каприз погоды, в предвкушении момента, когда мост избавится наконец от напасти, завсегдатаи ворот потягивали здесь кофе и вели свои бесконечные беседы.

Возле лавки Али-ходжи, зажатой между «Каменным ханом» и трактиром Зарии, откуда мост был виден сбоку, обосновались спозаранку, судача обо всем на свете, но больше всего о мосте, двое досужих турок.

Безмолвный и хмурый Али-ходжа прислушивался к их болтовне, задумчиво поглядывая на мост, кишевший как муравейник.

За истекшие двадцать лет Али-ходжа трижды женился. Теперешняя его жена гораздо моложе его, чему городские злопыхатели приписывают плохое настроение, не отпускавшее ходжу до полудня. От трех жен у Али-ходжи было четырнадцать выживших детей. Дом его гудел и ходил ходуном от этой оравы, и в торговых рядах утверждали, что Али-ходжа даже по имени не знает всех своих детей. На этот счет была даже придумана история о том, как один из многочисленных его отпрысков подошел на улице к отцовской руке, а ходжа его погладил по головке и сказал: «Ну, здравствуй, здравствуй! А ты чей?»

С виду ходжа почти не изменился. Разве что немного пополнел да с лица сошла багровость. И живости заметно поубавилось у ходжи, и теперь, возвращаясь домой, медленнее преодолевал он подъем на Мейдан, ибо с некоторых пор даже и во сне сердцем маялся. Из-за этого уж он и к лекарю уездному ходил, д-ру Моравскому, единственному из всех переселенцев, кого он признавал и уважал. От доктора он получил капли, они хоть и не исцеляли от самого недуга, но помогали его переносить, и узнал от него же латинское название своей болезни: angina pectoris.

Ходжа был одним из немногих в городе турок, который не принял ничего из новых веяний, привнесенных иностранцами, ни в манере одеваться, ни в понятиях, ни в речи, ни в способе торговли и ведения дел. С тем же яростным упорством, с каким некогда он ратовал против безрассудного сопротивления оккупантам, ходжа долгие годы непримиримо боролся со всем швабским и иноземным, что неостановимо входило в жизнь. Из-за этого он не раз шел на скандалы, а бывало, и штрафы платил. Сейчас он уже немного устал и разочаровался. Но в целом остался таким же, каким он был в те далекие дни, когда вел на мосту словесные баталии с Карамаплией, то есть человеком свободомыслящим и независимым всегда и во всем. И только, может быть, его прямота, ставшая нарицательной, обернулась язвительностью, а былая воинственность — мрачной озлобленностью, не находившей выхода в самых резких словах и утихавшей лишь в тишине уединения.

С некоторых пор все чаще Али-ходжа впадал в состояние самоуглубленной сосредоточенности, когда все ему были в тягость, все раздражали — и бездельники лавочники, и соседи, и приятели, и молодая жена, и шумная орава детей, сотрясавшая дом. От детей

он до света торопился убраться в свою лавчонку и открывал ее раньше всех в торговых рядах. Здесь ходжа совершал первую утреннюю молитву, сабах. Сюда же ему приносили и обед. А днем, как только прискучат ему разговоры, покупатели и суета, Али-ходжа поднимал ставни и забивался в маленькую каморку в глубине лавки, прозванную им «гробом». Укромное убежище Али-ходжи представляло собой узкое, низкое и полутемное помещение; протиснувшись в него, ходжа почти целиком заполнял его собою. Тут было низкое деревянное возвышение, предназначенное для сидения на нем по-турецки, и несколько полок с пустыми коробами, стертыми гирями и прочим хламом, свалепным сюда за ненужностью. Затворившись в мрачной каморке, Али-ходжа вслушивался в шум базарной толчеи, конский топот и крики продавцов, проникавшие к нему сквозь тонкие стены. Казалось, эти звуки доходили до него с того света. Временами он слышал ехидные выпады и шутки на свой счет, которые отпускали прохожие при виде его закрытой в неурочный час лавки. Но и они оставляли ходжу безучастным, ибо все эти люди были для него лишь неугомонившимися до поры до времени покойниками; и поэтому он тут же все, что слышал, забывал. Здесь, среди этих дощатых стен, он был совершенно огражден своими мыслями от вторжения внешнего мира, который, по мнению Али-ходжи, давно испортился и катился по наклонной плоскости. Здесь, наедине с самим собой, он предавался размышлениям о судьбах человечества и превратностях истории и забывал свои всегдашние заботы: торговлю, долговые обязательства, нерадивых издольщиков, свою слишком молодую жену, чья молодость и красота с поразительной быстротой превращались в бессмысленную и злобную вздорность, и несметную орду детей,— содержать ее было бы накладно и для царской казны, в нем же она вызывала только ужас.

Передохнув и собравшись с силой, ходжа снова откидывал ставни и открывал лавку, словно откуда-то вернулся.

Вот и теперь он слушал пустую перепалку двух соседей.

— Видал, что время-то и божья воля творят: камень и тот точат; все равно что башмаки чулок. Но австрияк не поддается, сейчас давай залатывать, где прорвалось,— разводил философию первый, известный лодырь из базарных рядов, потягивая кофе Али-ходжи.

— Ну, уж это ты, брат, брось,— пока течет Дрина, до тех пор быть и мосту; и что положено ему стоять, он и так простоял бы нетропутый. Только шум один да издержки,— возражал ему второй, по роду занятий ничем не отличавшийся от первого.

Долго бы еще продолжался их пустопорожний спор, если бы их не прервал Али-ходжа.

— А я вам скажу, что зря они мост тревожат; вот погодите, на пользу ему это не пойдет; что сегодня поправят, завтра разрушат. Покойный мулла Ибрагим, бывало, говорил, какой великий грех живую воду трогать и отводить ее и менять ее ход, хотя бы на один день или на час,— он это вычитал в книгах. Но австрияку жизни нет без того, чтоб не тюкать молотком и не ковыряться в чем-нибудь. Хоть бы и в глазу! Да он бы тебе всю землю вверх дном перевернул, если б силы позволили.

Первый из досужих гостей принимается доказывать ходже, что затеянный австрияком ремонт в конце концов ничем мосту не повредит. И если не продлит его век, то и ущерба не принесет.

— Откуда тебе знать, что не принесет? — в злобной ярости обрывает его ходжа.— Кто тебе это сказал? Да знаешь ли ты, что слово рушит города, а тем более такой бедлам. Словом создан весь божий мир. Если бы в тебе было столько же понятия и учености, сколько их тебе сейчас недостает, знал бы ты тогда, что это не простое строение, как все прочие, а из тех, что возводятся благословением божьим и благочестием; возводят их одни времена и люди, а рушат другие. Знаешь, как говорили старые люди про «Каменный хан»: равного ему нет в царстве! И кто его разрушил? По великому искусству и прочности, с какими он сложен был, ему бы тысячу лет стоять; а он, глядь, растаял, будто восковой, и теперь на том месте, где он стоял, свиньи хрюкают да австрийские трубы заливаются.

— Так вот я и считаю...— оправдывается первый гость.

— Плохо считаешь,— перебивает его ходжа.— Кабы твоим умом держался мир, так и строить ничего бы не строили, и рушить ничего бы не рушили. Слаб ты в таких делах разбираться. Только вот помяните мое слово, не к добру все это и не предвещает ничего хорошего ни мосту, ни городу, ни всем нам, на чьих глазах все это совершается.

— Верно, верно. Ходже лучше нашего знать, каков он, этот мост,— вступает в спор второй гость, ехидно намекая на муки, некогда принятые ходжой в воротах.

— Можешь в этом не сомневаться,— с невозмутимой убежденностью отзывается ходжа и, совершенно успокоенный, приступает к одной из своих бесконечных историй, которые, хоть и не без усмешки, но все любили слушать, и даже по нескольку раз.

— Когда-то покойный отец рассказывал мне, тогда еще ребенку, слышанное им от шейха Дедии предание о том, как появился на этом свете первый мост. Когда всемогущий аллах сотворил мир, земля была ровной и гладкой, что твой лучший поднос. Невмоготу стало шайтану — завидовал он божьему дару, полученному людьми. И пока еще земля была такой, какой она вышла из-под господ-

ней руки,— податливой и мягкой, словно необожженная плошка, шайтан подкрался к ней и искорябал когтями лик божьего мира, стараясь впиться в него как можно глубже и больней. Таким-то вот образом, гласит предание, образовались на земле глубокие реки и пропасти, отделившие один край от другого, разъединившие людские племена, мешая людям передвигаться по свету, созданному всевышним быть садом для прокормления и проживания людей. Сильно опечалился аллах, увидев, что натворил нечистый, но, поскольку сам не мог прикоснуться к тому, что тот опоганил, он послал своих ангелов, чтоб те облегчили участь жителей земли и пособили им в горе. Тронутые страданиями несчастных, стоящих перед реками и пропастями и напрасно перекликавшихся, не имея возможности их перейти и заняться мирными делами, посланники божьи распростерли крылья, и люди стали по ним переходить с одного берега на другой. Так они и научились от ангелов божьих, как надо строить мосты. Вот почему после устройства источника нет более богоугодного дела, чем построить мост, и нет более страшного греха, чем его разрушить, ибо у всякого моста, начиная от бревна через горный поток и кончая этим вот сооружением Мехмед-паши, есть свой ангел-хранитель, и этот ангел оберегает его и хранит весь отпущенный ему господом срок.

— Э, на все божья воля, на все! — почтительно восторгались гости.

Так, в празднословии коротали они время, убивая длинный день, заметно подвигавший работы на мосту, откуда до них доносился скрип колес и грохот механических мешалок, месивших цемент и песок.

Последнее слово ходжа, как всегда, оставлял за собой, ибо тягаться с ним в словесной перепалке никому было не по плечу, а тем более этим ленивым пустозвонам, что прихлебывали сейчас его кофе, хорошо зная, что и завтра часть своего нескончаемого дня они проведут все в той же лавке.

Каждому, по делу или мимоходом завернувшему к его порогу, Али-ходжа внушал те же самые мысли. И горожане с любопытством слушали его, посмеиваясь внутренне, но ни один из них не разделял его сомнений, пессимизма и дурных предчувствий, причину которых и сам он толком не мог объяснить или подкрепить доказательствами. Впрочем, все давно привыкли считать ходжу чудаком и упрямцем — на склоне лет, угнетенный затруднительными обстоятельствами и новой молодой женой, он видел окружающее в черном свете и склонен был всему придавать зловещий смысл.

Городские жители по большей части оставались равнодушными к работам на мосту, как и ко всему прочему, что вот уже не-

сколько лет делали чужеземцы в самом городе и его окрестностях. Многие подрабатывали переноской песка, леса или доставкой провианта строителям. И только детей постигло жестокое разочарование, когда рабочие на их глазах влезли по лесам в то черное отверстие в среднем опорном столбе, которое вело, по общему их убеждению, в «келью Арапа». Оттуда вынесли и высыпали в реку бесчисленные корзины птичьего помета. На том дело и кончилось. Арап не появился. И ребятишки напрасно часами простаивали на берегу, опаздывая в школу, в ожидании того момента, когда черный человек покажется из темноты и даст такого тумака первому, кто попадется ему под руку, что тот со своей люльки полетит кубарем в реку. С досады кое-кто из мальчишек пытался убедить товарищей, что будто бы такое уже произошло, однако рассказы их звучали неубедительно. Рассказчиков поднимали на смех. Даже клятвы не помогали.

Едва закончились работы на мосту, началась прокладка водопровода. До сей поры город обходился источниками, выложенными деревом, лишь в двух из них на Мейдане была чистая родниковая вода; все остальные питались водами Дрины или Рзава, мутнели, стоило замутиться одной из двух этих рек, а летом в жару, когда реки мельчали, совсем пересыхали. Инженеры обнаружили, что эта вода вредна для здоровья. Новую воду надо было вести с гор из-под самого Каберника, с той стороны Дрины, так что водопровод приходилось прокладывать по мосту.

И снова на мосту поднялся шум и грохот. Снимали плиты, устраивали траншеи для водопроводных труб. Жгли костры — на них булькал вар, растапливался свинец. Трепалась пакля. И люди снова с недоверием и любопытством глазели на работы. Морщась от дыма, доходившего через площадь до его лавки, Алиходжа обливал негодованием эту новую «поганую» воду, пропущенную сквозь железные трубы и не годную ни для питья, ни для святого омовения, ни коням, если бы только не перевелись на свете чистопородные кони, какие были в старые времена. Досталось от него и Лотике, поспешившей провести эту воду в гостиницу. Каждому, кому только мог, он твердил о том, что и водопровод не что иное, как еще один предвестник бедствий, грозящих рано или поздно обрушиться на город.

Между тем летом следующего года, как и все прежние предприятия иноземцев, прокладка водопровода благополучно завершилась. Обильная и чистая вода, независимо от засухи и наводнений, поступала из новых железных колонок. Многие провели ее во двор, а некоторые и в дом.

Той же осенью началось строительство железной дороги. Дело гораздо более серьезное и затяжное, чем все предыдущие. Оно,

правда, на первый взгляд не связано было с мостом. Но это только так казалось.

Это была ветка одноколейки, именуемая в газетах и официальной переписке «восточной железной дорогой». Ей предстояло связать Сараево с границей Сербии у Вардиште и с границей турецкого Новопазарского Санджака в Уваце. Город у моста должен был стать самой важной станцией.

В то время много говорили и писали о политическом и стратегическом значении этой дороги, о предстоящей аннексии Боснии и Герцеговины, о дальнем прицеле Австро-Венгрии — через Санджак выйти к Салоникам и прочих сложных проблемах, возникавших в связи с этим. Но здесь, в городе, дело пока что представлялось в совершенно безобидном и даже привлекательном свете. Новые предприниматели, новые толпы рабочих, новые источники заработков.

На этот раз все делалось с большим размахом. Четыре года длилась прокладка 166 километров железнодорожного полотна, на этом пути было около сотни мостов и виадуков, около 130 тоннелей, и обошлось все это предприятие в 74 миллиона крон. Произнося эту немыслимую цифру, люди устремлялись взором в туманную даль в тщетной попытке разглядеть там громадную гору денег, не поддающихся никакому подсчету и обозрению. «Семьдесят четыре миллиона!» — внушительно и со знанием дела произносили вышеградцы, как будто это им, в собственные руки, отсчитывали эту сумму наличными. Рабское преклонение перед цифрами и благоговение перед статистикой постепенно овладевало даже этим захолустьем, где жизнь на две трети все еще шла на восточный лад. «Семьдесят четыре миллиона». «Почти полмиллиона, точнее 445782,12 крон за каждый километр». Так услаждал народ свои уста громкими числами, не прибавлявшими ему ни богатства, ни разума.

При сооружении дороги народ впервые почувствовал, что нынешние заработки не чета легким, верным и не хлопотливым заработкам первых лет оккупации. Последние годы стали подскакивать цены на товары и жизненные блага. А, подскочив, ниже уже не опускались и по прошествии более или менее длительного срока подскакивали вновь. Заработки, правда, были, и поденная плата оставалась довольно высокая, однако же она, по крайней мере, на двадцать процентов отставала от действительных потребностей. Казалось, шла какая-то азартная и вероломная игра, и эта игра все чаще и все большему числу людей отравляла существование, но все же безнаказанно процветала, ибо исходила из тех же далеких неведомых и непостижимых источников, откуда шли благодеяния предшествующих лет. Многие из тех, что разбогатели сразу

после оккупации, пятнадцать — двадцать лет назад, сейчас разорились и посылали сыновей работать на сторону. Правда, кое-кто и наживался, но и у этих новых тузов деньги, как ртуть, в руках не держались, они казались какой-то вражьей силой, постоянно грозившей оставить владевшего ими с пустыми руками и запятнанной честью. Изнанка богатства и легкой жизни, с ним сопряженной, проступала во всей своей неприглядности, обнаруживая перед всеми, что и деньги, и сами их владельцы всего лишь ставка в грандиозной и прихотливой игре — правила ее никто толком не знает и исход никто не может предсказать. Незаметно втянутые в нее, все поневоле принимают в ней участие, ставя на карту меньше или больше, но рискуя при этом одинаково.

На четвертый год летом по городу прошел первый поезд, украшенный гирляндами зелени и флагами. По этому поводу было большое народное гулянье. Для рабочих устроили обед и выставили бочки пива. Инженеры фотографировались на фоне первого локомотива. Проезд в тот день был бесплатный. («Один день за спасибо, зато весь век за звонкую монету»,— ехидничал Алиходжа над теми, кто воспользовался этим даровым проездом.)

С вводом в действие железной дороги обнаружилось подлинное ее значение для дальнейшей судьбы моста и жизни города в целом. Дорога шла вдоль Дрины по высеченному уступу прибрежных круч Мейдана, затем огибала город и выходила на равнину у последних домов на берег Рзава. Здесь была станция. Итак, товарное и пассажирское сообщение с Сараевом, а через Сараево и со всем западным миром находилось отныне на правом берегу Дрины. Мертвое затишье воцарилось на левом берегу, а вместе с ним и на мосту. Теперь по мосту проходили только жители левобережных селений, крестьяне со своими низкорослыми, навьюченными лошадками или воловьими телегами, да конные упряжки тащили на станцию лес с дальних разработок.

Проезжий тракт, от моста поднимавшийся через Лиеску на Семеч, а оттуда через Гласинац и Романию в Сараево, оглашаемый, бывало, песнями возчиков и звоном дорожных колокольчиков, постепенно зарастал травой и низким зеленым мохом, сопровождающим медленное умирание дорог и строений. Никто теперь по нему не ездил, не провожал уезжающих до моста, в воротах никто не прощался, не вскакивал в седло, не выпивал уже верхом заветный посошок.

Возчики, верховые лошади, крытые пролетки и старомодные коляски, доставлявшие некогда путников в Сараево, пребывали в бездействии. Теперь дорога в Сараево вместо двух полных дней с ночевкой в Рогатице занимала всего четыре часа. Совершенно не укладываясь в сознании, эти цифры в суесловном возбуждении тем

не менее на все лады повторялись людьми, занятыми праздными подсчетами выгод и экономии, приносимой скоростью. На первых пассажиров, что вечером того же дня, справившись в Сараеве с делами, возвращались поездом домой, смотрели с изумлением и восторгом.

Как всегда и во всем, исключение составлял Али-ходжа, с одержимостью маньяка шедший против течения. Тем, кто восторженно превозносил новые темпы жизни и подсчитывал сэкономленное время, усилия и деньги, он мрачно отвечал, что важно не сколько часов человек сбережет, а на что он истратит это сбереженное время; если же он употребит их во зло, лучше бы их у него и вовсе не было. Главное,— доказывал он,— не в том, быстро ли идет человек, а в том, куда он идет и по какому делу, и что поэтому быстрота далеко не всегда благо.

— Если идешь в ад, лучше идти помедленнее,— язвительно наставлял Али-ходжа одного молодого торговца.— Круглым идиотом надо быть, чтобы воображать, будто австриец для твоего блага старается, в расходы входит и свою машину запускает. Ты себе знай ездишь, а что за этим кроется, кого и что, кроме тебе подобных, привозит и увозит австрийская машина,— это тебе невдомек. Слаб ты в таких делах разбираться. Езди себе на здоровье, разъезжай, сколько влезет, боюсь только, как бы тебе вся эта езда в один прекрасный день боком не вышла. Не завез бы как-нибудь тебя австриец в такие места, куда и в мыслях у тебя не было охоты забираться.

И, едва заслышав гудок паровоза, пересекающего кручу над «Каменным ханом», Али-ходжа хмурился, шептал невнятные слова и, глядя из своей лавки на каменный мост, раскручивал бесконечную нить своей мысли о том, что если одним словом возводятся величайшие сооружения, то одним паровозным гудком могут быть нарушены мир и покой целых городов со всем их населением. Так, по крайней мере, казалось ему, много пожившему, немощному и быстро стареющему человеку.

Но в этом, как и во всем остальном, несговорчиво твердоголовый ходжа был совершенно одинок. Правда, крестьяне тоже с трудом привыкали к железной дороге. И хотя и пользовались ею, никак не могли освоиться с ней и взять в толк ее нрав и обычаи. До зари спустившись с гор, они на рассвете приходили в город и уже у первых лавчонок пытали всех встречных тревожным вопросом:

— А машина-то что, еще не отошла?

— Опомнись, родимый, давным-давно ушла,— бессовестно лгали праздные лавочники.

— Нет, ей-богу, ушла?

— Завтра другая пойдет.

Выспросив все это на ходу, крестьяне торопились дальше, подгоняя криком замешкавшихся женщин и детей.

На станцию они прибегали бегом. Тут кто-нибудь из служащих успокаивал их, объясняя, что их обманули и что до отхода поезда осталось еще добрых три часа. Переведя наконец дух, крестьяне усаживались под стеной вокзала, развязывали котомки, закусывали, судачили и дремали, но были постоянно начеку и, едва заслышав гудок товарного состава, вскакивали, хватая свои разбросанные пожитки и вопя:

— Поднимайся! Машина уходит!

Железнодорожный служащий, бранясь, гнал их прочь с перрона:

— Сказано вам, что еще три часа до отхода? Куда лезете? Ополоумели, что ли?

Крестьяне возвращались на старые места, садились, но недоверчивая подозрительность по-прежнему не оставляла их. И первый же отдаленный гудок или просто сомнительный шум заставляли их снова вскакивать и кидаться гурьбой на перрон, откуда их снова выпроваживали, и они снова погружались в оцепенелое ожидание, по-прежнему чутко улавливая все звуки вокзальной жизни. Ибо в глубине души, вопреки всем уверениям, эта самая «машина» представлялась им не чем иным, как хитроумной, проворной и коварной австрийской чертовщиной, так и норовящей улизнуть из-под носа у зазевавшегося простака и о том только и мечтающей, как бы одурачить деревенского пассажира и укатить без него.

Но все это, конечно, были мелочи — и бестолковость крестьян, и брюзжание строптивого Али-ходжи. Подтрунивая над ними, люди тем временем быстро привыкали к пользованию железной дорогой, как и ко всем новым благам и удобствам. Они по-прежнему, как спокон века, гуляли на мосту и сидели в воротах, переходили по нему, когда была нужда, но в далекий путь отправлялись тем способом, на который их толкали новые времена. И быстро и легко примирились с мыслью о том, что мост утратил былое свое значение связующего звена между Востоком и Западом и больше уже не ведет в большой мир. Вернее всего, люди в большинстве своем об этом совсем не задумывались.

А мост и дальше стоял такой же, как прежде, сверкая вечной юностью светлого замысла и величественных, добрых творений человеческих рук, не ведающих старости и перемен и не подверженных, казалось, судьбе преходящих явлений этого мира.

XVII

Но все же и здесь, по соседству с мостом, в городе, чья судьба так тесно была связана с мостом, созревали плоды новых времен. Наступил 1908 год, и какая-то зловещая тревога с той поры нависла над городом.

В сущности, все это началось гораздо раньше: примерно с проведения железной дороги, то есть в первые годы нового столетия. Вместе с ростом цен и непостижимой, но чувствительной свистопляской вверх и вниз скачущих бумаг, дивидендов и денег, все больше стали говорить о политике.

До сих пор лишь совершенно близкие и понятные вещи занимали сознание городских обывателей — собственные доходы и удовольствия, дела семейные и околоточные, городские и религиозно-общинные, ограниченные кругом непосредственных интересов каждого, и никто не пытался всматриваться в будущее или оглядываться на прошлое. Теперь же в беседах обывателей все чаще затрагивались вопросы, лежащие далеко за пределами этого круга. В Сараеве появились религиозные общества, сербские и мусульманские национальные партии и организации, вслед за тем и в Вышеграде образовались их отделения. Доходили сюда и новые газеты, основанные в Сараеве. Создавались читальни и певческие общества. Сначала сербские, затем мусульманские и, наконец, еврейские. Гимназисты и студенты из университетов Вены и Праги, приезжая на каникулы, привозили домой новые книги, брошюры и небывалую вольность речей. Пример приезжей молодежи сильно подорвал в глазах подрастающего поколения местных граждан устои вековечного, с детства внушаемого старшими завета — держать язык за зубами, сначала подумать, потом говорить. Возникали новые религиозные и национальные организации с широким и смелым размахом идей, а вслед за ними и рабочие. Слово «стачка» впервые прозвучало тогда в городе. Призадумались молодые мастеровые. Непонятные для посторонних ушей разговоры вели они в воротах вечерами, а по рукам у них ходили тонкие брошюрки без обложек с такого рода заголовками: «Что такое социализм?», «Восемь часов — труду, восемь часов — отдыху, восемь часов — образованию», «Задачи и пути мирового пролетариата».

Крестьянам разъясняли аграрный вопрос, говорили об арендных отношениях и помещичьих землях. С видимым усилием стремясь запомнить услышанное, чтобы после поразмыслить обо всем на свободе или обсудить со своими, крестьяне хмурили лбы и, шевеля чуть приметно усами, косили взглядом в сторону.

Немало было в городе людей, и теперь еще выжидательно помалкивавших или даже пытавшихся пресечь новомодную дер-

зость мыслей и речей. Но гораздо больше было тех, в особенности среди малоимущей и еще не закабаленной жизнью молодежи, кто радостно встречал дыхание нового, находя в нем отклик затаенным и подавленным потребностям своей души и обещание внести в их бедную впечатлениями жизнь что-то значительное и возбуждающее. Чтение речей и прокламаций, протестов и меморандумов религиозных и партийных организаций внушало отрадное чувство раскрепощения, распахнувшихся горизонтов, освобожденной мысли и объединения собственных сил с силами остального человечества, о котором раньше и не помышляли. Совсем с иных позиций смотрели они теперь и друг на друга. Словом, жизнь, казалось, убеждала людей в том, что, становясь привольнее и богаче и отодвигая границы запретного и недоступного, она открывает заманчивые перспективы невиданных возможностей и для тех, кто прежде был лишен их начисто.

Довольствуясь, в сущности, все теми же благами и привычным окружением, но обретя зато известный кругозор, возвышающий его над буднями городской повседневности, обыватель упивался волнующей иллюзией вольности и всесилия. Пристрастия его остались неизменными, так же как привычный уклад жизни и формы общения, но в древний ритуал бесконечного сидения с трубкой за кофе и ракией все чаще вкрадывались идейные споры, смелые словечки и новомодная манера обращения. Люди стали сплачиваться и разъединяться, сходиться и расходиться, руководствуясь новыми понятиями и критериями, однако в отношения свои вкладывали силу исконных страстей и древних инстинктов.

Отголоски далеких событий внешнего мира теперь все слышнее звучали в городе. Вслед за переворотом 1903 года на сербском престоле последовал государственный переворот в Турции. Вышеград, расположенный на самой границе Сербии, в непосредственной близости от турецкой границы, глубокими корнями связанный с тем или другим из этих государств, откликнулся на эти перемены всплеском волнений и толков, воздерживаясь, однако, от громогласного выявления истинных своих умонастроений и чувств.

В городе усилился нажим и активность властей, вначале гражданских, а затем и военных. И притом в совершенно новой форме: если раньше объектом расследования были поступки и поведение граждан, то ныне под контроль стали брать высказывания и умонастроения людей. В селах пограничной полосы множились жандармские посты. В городскую комендатуру прибыл офицер разведывательной службы, родом из Лики, полиция хватала и штрафовала молодежь за всякое неосмотрительное слово и пение запрещенных сербских песен. Подозрительные иностранцы

высылались из города. Среди самих же горожан на почве расхождения во взглядах вспыхивали драки и скандалы.

Железнодорожное сообщение ускорило не только переезд и перевоз товаров; оно словно каким-то образом подстегивало ход событий. Однако жители города, сами захваченные нарастающей исподволь скоростью, пока что этого не замечали. Народ привык к волнующим событиям; перестав быть редкостью и исключением, они превратились в повседневную пищу и насущную потребность. Вся жизнь устремилась куда-то, ускоряя бешеный темп,— так к краю порога несется поток и низвергается с высоты водопадом.

Всего четыре года минуло с той поры, как первый поезд прошел через город, и вот в один октябрьский день на мосту, незадолго до полудня, под самой плитой с турецкой надписью, снова появилось большое белое объявление. Приклеил его Драго, служитель уездной управы. Вслед за ребятишками и праздными зеваками, первыми столпившимися у объявления, потянулся к нему и прочий люд. Грамотные читали его вслух, спотыкаясь на иностранных и заковыристых словечках. Остальные молча слушали, упершись взглядом в землю, и, постояв немного и послушав, отходили, по-прежнему не поднимая глаз и лишь смахнув рукой с усов и бороды как бы готовое сорваться восклицание.

Отстояв полуденную молитву, на мост пришел и Али-ходжа, палкой подперев дверь в знак того, что лавка закрыта. На сей раз воззвание было написано не по-турецки, и ходжа не мог его прочесть. Один малец, бубня по-школьному и запинаясь, читал вслух:

— «Воззвание

к народам Боснии и Герцеговины.

Мы, Франц-Иосиф I, император Австрийский, король Чешский и прочая, и прочая и апо-апостольский король Венгерский населению Боснии и Герцеговины:

Когда одним поко-поколением ранее наше войско перешло границы ваших земель, вам...»

Али-ходжа почувствовал, как зачесалось правое ухо под белой чалмой, и взорам его, словно все это было вчера, предстали сцены яростной схватки с Караманлией и учиненного над ним насилия: красный крест, плывущий в слезах, на рукаве австрийского солдата, бережно снимающего его с гвоздя, и белый лист тогдашнего обращения к народу.

Парнишка читал дальше:

— «...было дано заве... заверение в том, что не врагом, а другом явились они к вам, преи... преисполненным твердой решимости устранить бремя невзгод, долгими годами угнетавшее ваше оте... оте... отечество.

Заверение, данное вам в тот исто... исторический моме... моме... н... т...»

Но тут незадачливый чтец, обшиканный со всех сторон, замешался в толпе, покраснев и сконфузившись, а его место с готовностью занял неизвестный человек в кожаном пальто и зачастил бойко и гладко, словно молитву, давным-давно вытверженную на память:

— «Заверение, данное вам в тот исторический момент, честно нами выполнено. Наше правительство всегда настойчиво стремилось, укрепляя законность и мир, привести отечество ваше к светлому будущему.

И теперь мы с удовлетворением можем заявить: семена, брошенные в борозды свежей пахоты, поднялись дружными всходами. И вы, должно быть, и сами ощутили благотворность порядка и законности, пришедших на смену произволу и насилию, повышения жизненного уровня, облагораживающего влияния просвещения и надежной защиты прочной власти, дающей возможность каждому наслаждаться плодами своего труда.

Неуклонное продвижение вперед намеченным путем является нашим всеобщим долгом.

Имея перед собой эту цель, мы посчитали своевременным предоставить жителям обеих земель новое доказательство нашей веры в их политическую зрелость. Желая поднять политическую жизнь Боснии и Герцеговины на более высокую ступень, мы приняли решение — дать вышепоименованным двум землям конституционные установления, отвечающие специфике этих земель и их совместным интересам, и таким образом создать законную основу, обеспечивающую им полноту представительства.

Да будет услышано и ваше слово при обсуждении вопросов, касающихся судеб вашей родины, которая в неприкосновенности сохранит за собой автономное самоуправление.

Первейшим условием, однако, для проведения в жизнь намеченной программы государственной реорганизации является необходимость четкой формулировки, определяющей правовое положение обеих этих земель. Исходя из этой предпосылки и памятуя об исконных связях, с давних времен правления достославных наших прадедов существовавших между этими странами и венгерским престолом, нами предусматривается распространение прав нашего суверенитета на Боснию и Герцеговину, так же как и прав потомственного престолонаследия, являющегося неотъемлемой привилегией нашего царствующего дома.

Таким образом, население обеих земель станет творцом великих преобразований, которые явятся следствием окончательного закрепления старинных дружественных уз. Новый правопорядок

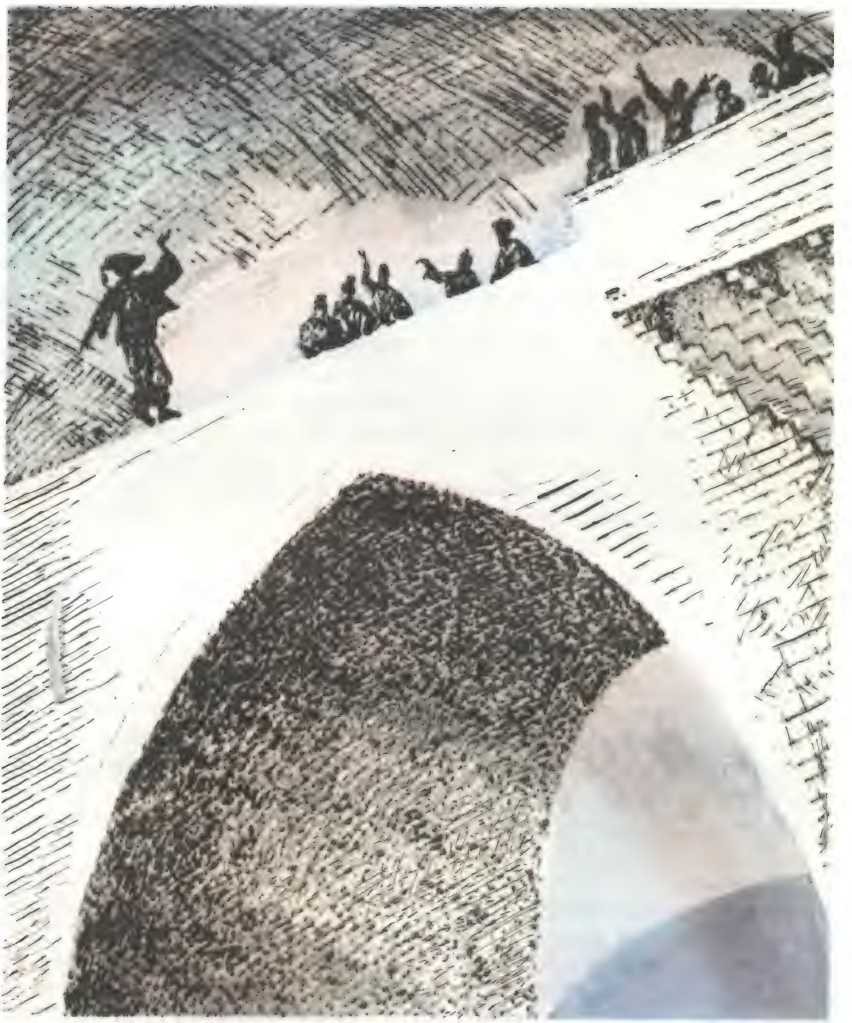
послужит верной порукой тому, что с этих пор культура и достаток навечно обоснуются под кровом вашей родины.

Боснийцы и герцеговинцы!

Среди бесчисленного множества обременяющих нас забот забота о вашем материальном и духовном благоденствии и впредь не будет последней для нашего престола. Светлые идеалы всеобщего равенства перед лицом закона: участие в законодательстве и государственном управлении и гарантированное полноправие всех типов религиозных, языковых и национальных разновидностей — осыплют вас щедротами возвышенных своих даров.

Девиз свободы личности и всеобщего блага будет сиять нам путеводною звездой в делах управления обеими вашими землями...»

Склонив голову и приоткрыв рот, внимал Али-ходжа смутному потоку мудреных слов и, хоть иные из них и были сами по себе понятны, но в сочетании с другими представлялись странными и туманными: «семена, брошенные в борозды свежей пахоты», «первейшим условием для проведения в жизнь намеченной программы государственной реорганизации является необходимость четкой формулировки, определяющей правовое положение...», «путеводною звездой в делах управления...». Да, опять перед ним те самые «царские слова»! И каждое из них открывает внутреннему взору ходжи опасные, далекие и удивительные горизонты, а то вдруг заслоняет от него весь мир, падая перед ним черной свинцовой завесой. И так поочередно: то впереди полный мрак, то бескрайняя даль, не сулящая ничего утешительного. Вот уж действительно, чего только в жизни не бывает. Вроде и слушаешь внимательно, и ни единого слова толком не понимаешь, а главную-то суть тем временем до косточки раскусишь! Да назови все эти семена, и звезду, и бремя бесчисленных забот какими хочешь иностранными словами, он, кажется, и тут тотчас же разгадает подспудный их смысл и далеко направленный прицел. Вот уже тридцать лет монархи перекликаются через страны и города, через головы своих народов. Дорого обходится каждое слово этих царских воззваний. Распадаются на части страны, головы катятся с плеч. Все эти «звезды», «семена» и «заботы престола» произносятся только затем, чтобы обойти молчанием и не назвать настоящим именем то, что действительно есть: края и страны с живыми людьми, их населяющими, городами и селениями наподобие разменной монеты переходят из одних рук в другие, а у правоверного и благонамеренного человека нет на земле и тех несчастных крох покоя, которых бы ему достало на его короткий век, а его положение и благосостояние совершенно не зависит от него, от его желаний и самых лучших намерений.



Мост на Дрине

И Али-ходже поневоле приходит в голову мысль о том, что ровно тридцать лет тому назад он слышал те же самые слова, и та же самая свинцовая тяжесть давила грудь, и тогда таким же образом доводили до их сознания то, что «догорела турецкая свеча»,— видимо, это необходимо им время от времени повторять, ибо они не желают это видеть и понимать, предпочитая обманывать себя и прикидываться простофилями.

— «Достойными доверия, оказанного вам, несомненно, покажете себя и вы, и благородное согласие между монархом и народом драгоценнейшим залогом дальнейшего прогресса всегда будет сопутствовать нашей совместной деятельности.

Дано в первопрестольном и столичном граде Будапеште.

Франц-Иосиф, собственной рукой».

Покончив с чтением, человек в кожаном пальто вдруг громко выкрикнул:

— Да здравствует его величество монарх!

— Ур-р-р-а! — как по команде, гаркнул вслед за ним долговязый фонарщик Ферхад.

Остальные в молчании тотчас же разошлись.

В тот же день, еще до наступления ночи, длинное белое воззвание, изодранное в клочья, полетело в Дрину. Наутро нескольких сербских юношей по подозрению, что это сделано ими, арестовали, а на мосту снова прилепили к плите манифест и приставили к нему общинного сторожа.

Всякий раз, когда у предержащей власти возникает потребность посредством воззвания обещать своим подданным мир и благоденствие, следует быть начеку и приготовиться к обратному. Не далее как на исходе октября в город стали прибывать войска, и при этом не только железной дорогой, но и старым, заброшенным трактом. И как тридцать лет тому назад, они спускались по крутой дороге от Сараева и по мосту вступали в город с орудиями и обозами. Были здесь, кроме конницы, всевозможные роды войск и оружия. Казармы переполнились. Разбивали палаточные лагери. А новые части все шли и шли непрерывным потоком и, постояв в городе несколько дней, размещались в селах вдоль границы с Сербией. Разноязыкая солдатская масса состояла в основном из резервистов и была при деньгах. Солдаты покупали в лавках всякую мелочь и фрукты и сладости на углах. Цены подскочили. Сено и овес полностью исчезли. Вокруг города в предгорьях строили укрепления. А на самом мосту затевалось что-то странное. Посредине, сразу за воротами, если идти из города на левый берег Дрины, наряд специальных рабочих выдалбливал в теле одного из опорных быков шахту сечением в один квадратный метр. Место буду-

щей шахты скрывала зеленая палатка, но слышно было, как проникал все дальше в глубь быка неумолкаемый гул ударов. Вынутый камень тут же сбрасывали через ограду в реку. Но какой бы тайной ни окружали производимую работу, всему городу стало известно, что мост минируют, что в глубокую шахту в одном из опорных быков, доходящую до самого дна, хотят заложить динамит на случай войны и необходимости разрушить переправу. В выдолбленную шахту спустили длинную железную лестницу; когда все было закончено, отверстие закрыли железной крышкой. А через несколько дней покрытая дорожной пылью железная плита совсем сравнялась с мостовой, и по ней катились повозки, ехали кони и проходили пешеходы, торопясь по своим делам и позабыв и думать про мину и взрыв. И только ребятишки по дороге в школу застревали у плиты, с любопытством стучали в железную дверь, пытаясь угадать, что там такое скрывается за ней, и, воображая нового Арапа, затаившегося будто бы в чреве моста, спорили о том, что такое взрывчатка, каково ее действие и можно ли вообще взорвать такую громадину, как этот мост.

Из взрослых один Али-ходжа Мутевелич с мрачной подозрительностью бродил вокруг палатки, пока шли работы, и вокруг чугунной нашлепки, оставшейся после нее. Молва и вслух и шепотом жужжала ему в уши: в быке выдолблено отверстие, узкое, как колодец, в него заложен динамит, соединенный электрическим проводом с берегом, и теперь комендант в любое время суток может развалить мост на две половины, будто он не каменный, а сахарный. Ходжа слушал, качал головой и размышлял об этом и днем, укрывшись в своем «гробу», и по ночам, лежа в постели; он то верил этим толкам, то не верил, отвергая самую возможность столь безрассудного и безбожного поступка; весь во власти своих мрачных дум, ходжа и во сне не знал покоя, преследуемый строгими допросами своих далеких предков, во времена оно исправлявших обязанности управляющих вакуфом Мехмед-паши: что это такое у вас творится, что затевают с мостом? Глубоко в душе таил свою тревогу Али-ходжа. Никому ни словом не обмолвился о ней, полагая, что в этом городе человеку рассудительному давно уже не с кем посоветоваться и поговорить по душам, люди либо потеряли совесть и последние остатки разума, либо, как и сам он, впали в отчаяние и сбиты с толку.

Однажды все же Али-ходже представился случай кое-что разузнать. Один из отпрысков бегов Бранковичей из Црнчи, Мухаммед, по истечении положенного срока воинской повинности остался в Вене сверхсрочником и дослужился до фельдфебеля. (Он приходился внуком тому самому Шемси-бегу, который добровольным затворником, не принявшим оккупации, угас в своей

Црнче от тоски и до сих пор почитался старыми турками недостижимым образцом духовного величия и стойкости.) В тот год Мухаммед-бег приехал на родину в отпуск. Это был рыжеволосый, высокий и полный господин, в безукоризненной синей униформе с желтыми шнурами, красными аксельбантами, серебряными звездочками на воротнике, ослепительно белыми лайковыми перчатками и в алой феске. Вылощенный, улыбающийся, безупречно чистый и подтянутый, прогуливался он по торговым рядам, позвякивая на ходу длинной саблей, волочившейся слегка по мостовой, и очаровывал всех безбоязненностью, самоуверенностью и любезностью человека, находящегося на государевом довольствии.

Когда фельдфебель дошел до лавки Али-ходжи и после обычных приветствий сел выпить кофе, ходжа решил воспользоваться случаем и получить от него, человека казенного, далекого от здешних мест, объяснение мучительным своим недоумениям. Ходжа рассказал ему, какие шли работы на мосту и что за слухи они вызвали, и спросил, неужто возможно такое кощунство: намеренно разрушить священное, созданное к общей пользе сооружение.

С первых же слов Али-ходжи фельдфебель насторожился. Широкая улыбка сбежала с лица, и все оно — выбритое и рыжее — приняло то самое деревянное выражение, которое по команде «смирно» приобретают лица солдат на параде. Помедлив в замешательстве с ответом, фельдфебель наконец проговорил, несколько понизив голос:

— Есть тут всего понемногу. Но вот тебе мой искренний совет — не говорить и не расспрашивать ни о каких таких вещах, ибо все это касается военных приготовлений, государственной тайны и так далее и тому подобное.

Ходжа ненавидел все нововведения современной речи, а особенно это «итакдалееитомуподобное». И не только потому, что оно ему резало уши, но еще и потому, что в устах иностранцев оно недвусмысленным образом заменяло собой обойденную молчанием истину и значило лишь то, что все предыдущее тоже чистая отговорка.

— Брось ты, бога ради, это ихнее... «итакдалееитомуподобное», скажи мне лучше по чести, что такое затевают с мостом. Тут тайны быть не должно. Да и что это за тайна, если ее знает каждый школяр? — упорствовал негодующий ходжа.— И что, скажи ты мне на милость, может быть общего у моста с их войной?

— Может, Али-ходжа, еще как может,— снова улыбаясь, отвечал ему Бранкович.

И с благодушием взрослого, снизошедшего до беседы с ребенком, объяснял, что все это предусмотрено военным уставом, что для того и существуют части понтонеров и саперов и что в импера-

торской армии каждый знает только свое дело, а в чужие не вмешивается.

Ходжа слушал и смотрел во все глаза, но непонятные речи фельдфебеля скоро истощили его терпение.

— Пусть будет так, но только знают ли они там, милый человек, что этот мост построен щедротами визиря за упокой его души и во славу господа и что великий грех тронуть в нем хоть единый камень?

В ответ фельдфебель безмолвно развел руками, дернул плечом, сжал губы и прикрыл глаза, придав своему лицу выражение почтительной иронии, приобретаемое лишь долголетней практикой в обветшалом и прогнившем аппарате, где вежливость выродилась в бездушие, а исполнительность — в трусость. Лист белой, неисписанной бумаги — и тот показался бы красноречивее немой непроницаемости этого лица. Мгновением позже, подняв глаза, опустив руки и согнав следы прежнего выражения со своей физиономии, казенный человек снова принял свое обычное обличие самоуверенной и улыбающейся беспечности, в которой венское добродушие и турецкая елейность смешивались воедино как две реки. Переменив разговор и выразив в изысканнейшей форме свое восхищение моложавой внешностью и завидным здоровьем Алиходжи, фельдфебель откланялся и удалился все такой же неистощимо любезный, каким и пришел. А ходжа остался один, смущенный и озадаченный, но ничуть не менее встревоженный, чем раньше. Подавленный мрачными мыслями, смотрел он с порога своей лавки на ослепительную красоту первого мартовского дня. Взорам его открывался мост, незыблемый в своем вечном величии; в пролетах его белых арок сияла блестящая, зеленая и неспокойная поверхность Дрины, в обрамлении белого камня искрясь под солнцем переливчатым монисто.

XVIII

Напряжение, возникшее в связи с так называемым «аннексионным кризисом», тень которого зловещей тучей нависла над мостом с прилепившимся к нему городом, внезапно спало. Оно нашло свое мирное разрешение в переписке и переговорах между главами заинтересованных держав.

Граница, обычно столь легко воспламеняемая, на этот раз оставалась спокойной. Войска, в несметном множестве заполнявшие город и пограничные села, с первыми днями весны потекли в обратный путь, тая на глазах. Однако же последствия, вызванные недавним обострением, долго еще, как это всегда бывает, давали себя знать. Постоянный городской гарнизон заметно уве-

личился. По-прежнему был заминирован мост. Но кроме Али-ходжи Мутевелича никто больше не думал об этом. А территорию бывшего уездного питомника на левом плоскогорье у моста, над старинной подпорной стеной, заняли военные власти. На месте вырубленных фруктовых деревьев посреди сада построили красивый двухэтажный дом. Здесь разместилось офицерское собрание, ибо старое одноэтажное здание вверху на Быковаце стало тесным для выросшего гарнизона. Таким образом, по правую и левую руку от моста высились теперь два белых здания, необыкновенно похожих друг на друга — гостиница Лотики и офицерское собрание; между ними, окруженная лавками, простиралась базарная площадь, а над ней на возвышении стояло внушительное здание казармы, окрещенной народом «Каменным ханом» в память о стоявшем тут когда-то караван-сарае, основанном Мехмед-пашой и бесследно канувшем в вечность.

Цены, взвинченные прошлой осенью вследствие наплыва войск, держались на прежнем уровне, тяготея скорее к дальнейшему повышению, нежели к возврату на старые рубежи. В тот год открылись два банка — сербский и мусульманский. Векселя восприняли как лекарство. Люди с легкостью залезали в долги. Но чем больше денег, тем больше потребность в них. И только безрассудный мот, чьи траты превышали поступления, находил еще жизнь легкой и приятной. Торговцы и предприниматели были сильно озабочены. Сроки погашения долговых обязательств за товары, взятые в кредит, все сокращались. Солидные и надежные клиенты встречались все реже. Дороговизна охватывала все новые и новые товары, которые становились не по карману рядовому покупателю. Торговля шла вяло и требовала все большего количества дешевых вещей. Некредитоспособные плательщики только еще и чувствовали себя свободными в покупках. Единственно надежным и выгодным делом были поставки для армии или для государственных предприятий, но они доставались не каждому. Государственные налоги и общинные пошлины росли и множились; усиливались строгости при их взимании. Нездоровое колебание биржевого курса ощущалось на расстоянии. Барыши от игры на бирже уплывали в невидимые руки, но вся монархия до отдаленнейших ее окраин расплачивалась за понесенные убытки, тяжким грузом падавшие на плечи мелкого торговца вплоть до последнего перекупщика и потребителя.

А в городе не прекращалось брожение умов. Стремительное ослабление недавней напряженности ни сербам, ни мусульманам не принесло настоящего успокоения; в душе одних оно оставило скрытое разочарование, у других — осадок недоверия и страха перед будущим. Ожидание великих событий без видимых причин

и непосредственного повода носилось в воздухе. Тешась непонятными надеждами или терзаясь непонятными страхами (одни надеялись, другие — трепетали), люди воспринимали и оценивали окружающую жизнь только лишь под этим своим углом зрения и в связи с ним. Что-то в людях взыграло такое, прискучило им бесцветное существование, влачившееся ими долгими годами и ненавистное теперь последней, неотесанной и серой, голытьбе, в особенности из числа молодых людей. Растут запросы и потребности одних, усиливается горечь недовольства других. Старики одни только еще и сожалеют о «блаженной тишине», которая в былые времена турецкого владычества считалась высшим благом и подлинным идеалом общественной и частной жизни и в первые десятилетия еще царила здесь и при австрийцах. Но их осталось мало. Всех прочих прельщала шумная, беспокойная, исполненная волнений жизнь. Они стремились к острым переживаниям, пусть даже в отраженном виде, или хотя бы к суете, шуму и волнениям, создающим иллюзию действительных переживаний. Произведя переворот в душе людей, такие настроения сказались и на внешнем облике города. И начали подтачивать устои древнего мирка, обосновавшегося на мосту, между горами, небом и водой,— тихого мирка задушевных бесед, молчаливых раздумий, веселых шуток и любовных песен.

Содержатель кофейни приобрел граммофон — нелепый деревянный ящик с огромной жестяной трубой голубого цвета. Его сын менял пластинки и иголки, без устали накручивая горластое устройство, от которого сотрясались ворота и грозным гулом отзывались берега, но обзавестись им он был вынужден, чтобы не отстать от других; граммофон стал непременной принадлежностью не только всевозможных обществ и читален, но даже самых затрапезных кофеен, где посетители сидели под липой, на траве или на солнечной террасе и вели приглушенный и немногословный разговор. Теперь повсюду надрывались граммофоны, наяривая турецкие марши, сербские патриотические песни или арии из венских оперетт — по заказу посетителей. Ибо где нет шума, блеска, толчеи, туда и публика не ходит, там и дело не спорится.

Расхватывались с жадностью газеты, хотя читали их поверхностно и наспех; публику интересовали одни только сенсационные заголовки, крупными буквами напечатанные на первой странице. Убористые, набранные мелким шрифтом статьи просматривали считанные единицы. Все события сопровождались шумом и треском громких слов. И если вечером перед сном впечатления истекших суток не отзывались звоном в барабанных перепонках и мелькающей рябью в глазах, молодые считали прошедший день пропавшим.

Строгие и внешне невозмутимые сходятся в ворота городские аги и эфенди послушать газетные новости о ходе турецко-итальянской кампании в Триполитании. С упоением внимают они газетным сообщениям о молодом бесстрашном турецком майоре Энвербеге, который бился с итальянцами, защищая султанскую землю как истинный потомок Соколовичей или Чуприличей. Морщась от завывания и визга граммофона, сбивавшего течение их мысли, глубоко в душе затаив свою боль, горячо сострадут эфенди судьбе далеких турецких провинций в Африке.

Случилось как-то Пьетро-итальянцу, мастеру Перо, в своей холщовой робе, белой от каменной пыли и выпачканной красками и скипидаром, возвращаться с работы по мосту домой. По-прежнему робкий и безответный, он еще больше ссутулился и постарел. И снова по какой-то непостижимой ему логике, как и при злополучном покушении Луккени на императрицу, он, мастер Перо, был в ответе за все содеянное где-то там в далеком мире его соотечественниками итальянцами, с которыми он давным-давно утратил всякую связь. Какой-то турецкий горлопан при виде его закричал:

— Захотел, сволочь, Триполи? На-ка вот, выкуси, на!

Вслед ему под улюлюканье показывали кукиши и разные прочие непристойности.

А мастер Перо, уставший и сгорбленный, с инструментом под мышкой, лишь глубже надвигал на брови свою шляпу и, крепче стиснув зубами мундштук своей трубки, торопился убраться к себе домой на Мейдан.

Там его ждала Стана,— она тоже сдала и постарела, но не утратила былой своей горластости и языкастости. Горько жаловался мастер Перо, изливая своей жене обиду на турецких сопляков, дерзких в выражениях и взыскивающих с него за Триполи, а он про него до сей поры и слыхом не слыхал. Но Стана, верная себе, ничуть не посочувствовала мужу, а его же самого во всем и обвинила, заявив, что он получил по заслугам.

— Был бы ты мужчина, а не тряпка, треснул бы молотком, а не то долотом какого-нибудь сопляка по башке, чтобы не цеплялись больше, небось разбегались бы кто куда, как только увидят, что ты по мосту идешь.

— Эх, Стана, Стана,— добродушно сокрушаясь, укорял ее мастер Перо,— да разве это мыслимое дело, чтобы человек человека бил по башке!

Так, наполненные мелкими и крупными страстями и неустанной погоней за ними, протекали эти годы. Наступила осень 1912 года, а затем 1913 год с балканской войной и сербскими победами. Но именно эти события, имевшие чрезвычайное значение для

дальнейшей судьбы моста, города и всех его жителей, по странной случайности подошли неслышно и почти незамеченно.

Золотые октябрьские дни с багряными закатами и зорями всходили над городом, ожидающим сбора кукурузы и свежей ракии. На полуденном солнце еще приятно было посидеть в воротах на мосту. Казалось, время, затаив дыхание, остановилось над городом. И тут-то все и грянуло.

Не успели грамотные люди толком разобраться в противоречивых газетных сообщениях, как между Турцией и четырьмя балканскими государствами разразилась война и устремилась издревле проторенными путями через Балканы. И пока еще люди постигали истинный ее смысл и значение, как она уже закончилась победой сербского и христианского оружия. Все это отгремело где-то в стороне, без полыхания огней на границе, без орудийной канонады и без отрубленных в воротах голов. Крупнейшие события в мире, подобно падению денег и росту цен, совершались с такой же невообразимой быстротой и так же далеко, незримо для глаз. Где-то там в большом далеком мире бросают кость, бьет гонг и решается судьба каждого из нас.

Но если внешнее спокойствие города на первый взгляд ничем и не было нарушено, то в человеческих душах недавние события вызвали целую бурю высочайших взлетов воодушевления и глубочайшего отчаяния и тоски. Ибо, как все происходящее за последние годы, и эта развязка войны вызвала у местных сербов и мусульман совершенно различные чувства; лишь по глубине и силе их ощущения, быть может, были сходны. Случившееся превзошло самые радужные надежды одних и, судя по всему, оправдало худшие предположения других. Страстные мечты, долгие сотни лет опережавшие вольным своим полетом неторопливую поступь истории, теперь отказывались угнаться за ней в ее безудержном стремлении вперед по пути феерически смелых свершений.

Единственная сцена из всей этой исторической кампании, доступная непосредственному обозрению местных наблюдателей, разыгралась с удивительной быстротой и неприметностью.

Под Увацем, где граница между Австро-Венгрией и Турцией проходит по речке Увац и где деревянный мост отделяет австрийскую жандармскую казарму от турецкой караульни, турецкий офицер в сопровождении скромного эскорта перешел пограничную черту австрийской зоны. Здесь, театрально переломив об перила моста свою саблю, он передал ее австрийскому жандарму. В эту минуту на горных склонах показалась серая сербская пехота. Она заменила собой несовременные турецкие войска вдоль всей границы Боснии с Санджаком. Не стало стыка трех границ между владениями Австро-Венгрии, Сербии и Турции. Турецкая граница,

еще вчера проходившая в пятнадцати километрах от города, единым махом отодвинулась более чем на тысячу километров, куда-то за Адрианополь.

Внезапный шквал исторических перемен потряс город до основания. И роковым образом отразился на судьбе моста на Дрине. Если все его связи с Западом отмерли, как мы видели выше, с установления железнодорожного сообщения с Сараевом, то теперь начисто была обрублена и связь его с Востоком. С тем самым породившим его Востоком, который еще до вчерашнего дня, правда подорванный и подточенный в своем могуществе и мощи, но все-таки живой и вечный, как небо и земля, исчез подобно призраку, оставив мосту лишь роль переправы, соединяющей не более как два городские посада да десятка два прибрежных сел по ту и другую сторону Дрины.

Величественный каменный мост, призванный, согласно замыслу и богоугодному решению визиря из Соколовичей, спаять две части неделимой империи и «во славу всевышнего» облегчить сообщение между Западом и Востоком, теперь оказался полностью отрезанным и от Востока и от Запада и предоставленным самому себе, подобно судну, севшему на мель, или покинутому храму. Три полных века стойко отражал он бури жизни и, несокрушимый, оставался верным возложенной на него миссии, но прихотью истории, перевернувшей мир, и человека, изменившего недавним своим нуждам, предала его и самая та миссия, возложенная на него в былые времена. Пропуская длинные вереницы войск и караванов, долгими столетиями мог бы еще нести свою службу каменный мост, не превзойденный в своем величии, прочности и красоте,— и что же, вечной ветреностью человеческих отношений визирево наследие в один прекрасный день словно какой-то колдовской силой оказалось вырванным из основного русла жизни и преданным забвению. Отведенная ему отныне роль ни в коей мере не соответствовала его неувядаемой юности и величавости, исполненной гармонии и совершенства. Но взгляду и поныне он являлся таким же, каким когда-то представился внутреннему взору визиря и каким был затем воплощен в граните визиревым зодчим: могучим, прекрасным, вечным, неподвластным никаким переменам.

Длительное время должно было пройти, немалые должны были потратиться усилия, чтобы в городе осознали суть того, о чем здесь сказано в нескольких строках и что в действительности совершилось в течение нескольких месяцев. Ведь даже во сне не могут перемещаться границы государств с такой стремительностью и на такие большие расстояния!

Но вот всколыхнулось разом все то, что издавна с неподвижной каменной безмолвностью моста дремало в человеческих душах,

и сразу же нашло свой отклик в повседневной жизни, общем настроении и частных человеческих судьбах.

Первые летние дни 1913 года выдались дождливыми и теплыми. Днем, собравшись человек по десять вокруг кого-нибудь из молодых, сидят в воротах старики мусульмане и, оскорбленные в лучших своих чувствах, слушают газетные новости и комментарии чтеца, объясняющего иностранные термины, диковинные имена и географические названия.

Сидят, невозмутимо попыхивая трубками и неотступным взглядом вперившись в пространство, и все-таки не могут скрыть терзающую их тревогу и растерянность. Превозмогая волнение, склоняются они над географической картой с границами предполагаемого раздела Балканского полуострова. Слепо глядя в лист развернутой бумаги с извивами ничего не говорящих им линий, старики прекрасно понимают глубокий смысл происходящего благодаря врожденным представлениям о географии, живущим у них в крови, и биологическому восприятию картины мира.

— Кому же теперь Ушчуп отойдет? — бесстрастным тоном спрашивает молодого чтеца один из стариков.

— Сербии.

— О-хо!

— А чьи будут Салоники?

— Греческими.

— О-хо-хо!

— Ну, а Адрианополь? — упавшим голосом вступает другой.

— Болгарским, надо полагать.

— О-хо-хо-хо-хо!

Это не громогласные горестные стенания, столь характерные для женщин или малодушных мужчин, а сдавленные и глухие вздохи, вырывающиеся из-под густых усов вместе с табачным дымом и пропадающие бесследно в летнем воздухе. Многим из этих стариков перевалило за семьдесят. Во времена их детства турецкое владычество простиралось от Лики и Кордуна до Стамбула, а от Стамбула дальше до далеких пустынь и непроходимого Арабистана. «Турецкое владычество» есть не что иное, как великая, неделимая и нерушимая общность сынов Магомета, обнимающая собой всю часть земного шара, где с мечети звучит призыв муэдзина. Но верные памяти прошлого, старики также помнят и то, как потом на их глазах турецкая власть отступила из Сербии в Боснию, а из Боснии в Санджак. А теперь довелось им дожить до того, что эта самая власть накатом чудовищного морского отлива отхлынула в неоглядную даль, оставив их, беспомощных, мыкать свое горе на обнаженной суше один на один со своей черной долей. Конечно, и на это божья воля и несомненное предрешение божьего

промысла, но тяжело это разумению смертных; темнеет в глазах, дыхание стесняется в груди, и так и кажется, что почва, как ковер, коварно выскальзывает у тебя из-под ног, а некогда вечные и устойчивые границы растекаются игривыми весенними ручьями, податливо теснятся под нажимом и растворяются в неведомых пределах.

С такими мыслями и чувствами сидели старики на мосту и рассеянно, в пол-уха слушали то, что писалось об этом в газетах. Слушали безмолвно, хотя и претила им своей неуместной и непростительной дерзостью развязность газетчиков в отношении царей и государств, как и весь газетный стиль открытого безбожия и попрания исконных жизненных правил, что само по себе «не к добру» и с чем порядочные и разумные люди не могут примириться. Над головами стариков вился табачный дым. В высоком летнем небе проплывали белые пряди дождевых облаков и проносились по земле их быстрые распластанные тени.

А по ночам, засиживаясь допоздна в тех же воротах, сербские парни беззастенчиво распевали песню о сербской пушке, не опасаясь ни наказания, ни штрафа. Нередко примечали среди них студентов и гимназистов. Типичная бледность, худоба и непременные черные плоские широкополые шляпы при длинных волосах выделяли их среди прочих. Этой осенью они то и дело наведывались в город, хотя учебный год уже и начался. Они приезжали из Сараева поездом с паролями и поручениями, встречали ночь в воротах, но еще до наступления утра исчезали, переправленные своими вышеградскими друзьями налаженными путями в Сербию.

А летом, с окончанием учебных занятий и приездом домой на каникулы местной студенческой и гимназической молодежи, оживлялись ворота и город. Влияние молодежи чувствовалось в городе во всем.

В конце июня возвращались домой сараевские гимназисты, а с первой половины июля один за другим в город начинали съезжаться студенты — юристы, медики, философы из Венского, Пражского, Грацкого и Загребского университетов. С их появлением менялся даже внешний облик города. В торговых рядах и в воротах то и дело бросаются в глаза новые незнакомые молодые лица; молодежь манерами, речью, одеждой и всем своим видом разительно отличалась от провинциальной рутины и допотопного облачения городских обывателей. Она носила темные костюмы современного тогда покроя. Это был так называемый Glockenfaçon [1], считающийся во всей Центральной Европе последним словом моды

[1] Соединение двух слов: немецкого glocken — колоколообразный и французского façon — фасон, покрой.

и вершиной хорошего вкуса. Костюм дополняла шляпа из мягкой панамской соломки с опущенными полями и полосатой неяркой тесьмой и тупоносые американские ботинки. Большинство ходило с бамбуковой тростью необыкновенной толщины. В петлицах пиджаков красовались значки «Сокола» или какого-нибудь другого студенческого общества.

Вместе с новыми модами студенты вводили в местный обиход новые словечки и остроты, новые песни, новые танцы, вынесенные с зимних балов, и, что самое главное, новые книги и брошюры, сербские, чешские и немецкие.

И раньше, в первые двадцать лет австрийской оккупации, молодые люди уезжали из города получать образование, но не в таком количестве и не с таким подъемом. Кое-кто за те первые два десятилетия окончил педагогическое училище в Сараеве, а двое или трое — юридический или философский факультеты в Вене, но это было редким исключением, скромные юноши тихо и неприметно сдавали экзамены, а по завершению курсов растворялись в безликом и несметном полчище государственной бюрократии. Но с некоторых пор число студентов из местной молодежи заметно возросло. При поддержке национальных просветительных обществ доступ в университеты получили дети крестьян и мелких ремесленников. Еще сильнее изменился дух и характер самого студенчества.

Нынешние студенты ничем не напоминали тех кротких и наивных юношей первых лет оккупации, с головой ушедших в изучение своей узкой специальности. В то же время это и не те знакомые нам городские повесы или хозяйские сынки из породы будущих торговцев и ремесленников, расточавшие в воротах,— «пока не окрутили соловья!», как говорили в семейном кругу,— избытки молодости и здоровья. Это люди совсем иного склада, формировавшиеся и обучавшиеся в разных городах и странах и под воздействием разных влияний. Из больших городов, из университетов и гимназий, где они обучались, эти юноши приезжали домой ослепленными дерзновенной гордостью, которую порождает обычно в душах молодых людей первое прикосновение к научным знаниям, вдохновленные идеями права народа на свободу и каждой личности на жизненные блага и уважение. С очередными летними каникулами молодежь приносила в родной город вольнодумство воззрений в общественных и религиозных вопросах и энтузиазм оживившегося национального самосознания, в последнее время, особенно после сербских побед в балканских войнах, принявшего форму общенародного вероисповедания и вызывавшего у некоторой части юношества фанатическую жажду деятельности и самопожертвования.

Обосновалась молодежь в воротах, куда собиралась после ужина. И в темноте, под звездами или в сиянии луны над рокочущей бездной реки, разносились в ночной тишине песни и шутки, громкие голоса и бесконечные споры, новые, смелые, наивные, искренние и бескомпромиссные.

Вместе со студентами приходят на мост и друзья их детских лет, кончавшие с ними начальную школу, но оставшиеся в городе и работавшие подмастерьями, приказчиками и мелкими конторщиками в канцелярии общины или других учреждениях. Они делятся на две категории. Одни довольны своей судьбой и укладом здешней жизни, уготовленным им до конца их дней. С любопытством и симпатией присматриваются они к ученым своим сверстникам, восхищаясь ими и не имея ни малейшего поползновения равнять с ними себя, без тени ревности радуются их успехам и продвижению. Другие не могут примириться со своей провинциальной судьбой, стечением несчастных обстоятельств выпавшей им на долю, и, снедаемые жаждой лучшей участи, терзаются несбывшимися мечтами, с каждым днем уходящими от них все дальше. Несмотря на видимость приятельства, стена угрюмого молчания или грубой иронии неизбежно отделяет недовольных своей судьбой от бывших однокашников. Они не в силах участвовать в разговорах с ними наравне. Постоянно мучимые ощущением собственной отсталости, они то принимаются с лицемерной навязчивостью бравировать своим невежеством и простотой в сравнении со своими преуспевающими товарищами, то с высот своего невежества надо всем глумливо издеваться. И слова их, и ехидство проникнуты почти ощутимой, зримой завистью. Однако молодость легко мирится и с худшими страстями и с беспечной непринужденностью продолжает идти своей дорогой.

Было и много еще будет над городом роскошных ночей, мерцающих россыпью щедрых созвездий и залитых светом луны, но вряд ли случалось когда-нибудь в прошлом и бог знает случится ли в будущем юным полуночникам просиживать в воротах до зари в пылу таких же споров, чувств и мыслей, как это было в ту пору. Это поколение восставших ангелов в то краткое мгновенье своего существования, когда они, обладая всей мощью и правами ангелов, не утратили еще неукротимой гордости восставших. Сыновья крестьян, торговцев и ремесленников из захолустного боснийского местечка, без особых усилий получили они от фортуны открытый путь в широкий мир и иллюзию неограниченной свободы. Наделенные всеми особенностями истинных сынов своей родины, они отправлялись в широкий мир и, руководствуясь собственными склонностями, минутной прихотью или капризом случая, более или менее самостоятельно выбирали будущую свою специ-

альность, характер развлечений и круг знакомых и приятелей. Большинство из них не могло и не умело взять много от бесконечного разнообразия благ, представших их взорам, но зато и не было ни одного человека, не возомнившего бы в своей душе, что ему все доступно и все может стать его собственностью. Жизнь (слово, необычайно часто употреблявшееся в литературе, политике и разговорах молодежи тех времен и писавшееся с многозначительной заглавной буквы), эта жизнь представала их взорам необозримым поприщем для приложения освобожденных чувств, пытливой любознательности и ничем не скованной личной инициативы. Беспредельная даль множества дорог открылась им; по многим из этих дорог им не придется ступить ни шагу, но упоительная сладость жизни заключалась в том, что они могли по собственной воле (по крайней мере, теоретически) свободно выбирать и переходить с одной дороги на другую. Все, что сынам других народностей, времен и государств доставалось усилиями многих поколений, сотнями лет упорства и терпения, часто ценою жизни, лишений и жертв, более тяжких и дорогих, чем сама жизнь,— все это им привалило как нежданное наследство, опасный подарок судьбы. И сколь бы фантастическим и невероятным это ни казалось, все же совершенно очевидно, что в этой среде, именно в те годы переживавшей глубочайший кризис законов общественной и личной морали, которые были ограничены где-то вдали лишь смутной чертой недозволенного и сплошь и рядом противоречиво толковались, принимались или отвергались той или иной группировкой или отдельными лицами,— они могли распоряжаться своей молодостью, как им хочется; свободно мыслить и судить обо всем без исключения, говорить что вздумается, нередко заменяя дела словами, удовлетворявшими их атавистическую жажду громкой и геройской славы бунтарей и разрушителей и не вынуждавших их к решительным поступкам, которые влекли бы за собой какую-либо ответственность. Наиболее одаренные из них презрительно пренебрегали дисциплинами обязательных учебных программ и своими реальными возможностями, со всем пылом юности отдаваясь тому, о чем не имели понятия и что превышало их силы. Трудно вообразить себе более опасный способ вступления в жизнь и более верный путь к высотам беспримерных подвигов или полному краху. Лишь самые блестящие и сильные из них, одержимые фанатизмом факиров, кидались в действие и в нем сгорали, подобно мотылькам, а после в ореоле мучеников и святых (ибо нет поколения, где не было бы своих святых) превозносились до небес своими сверстниками и возводились ими на пьедестал недосягаемого идеала.

Каждое поколение питает свои иллюзии по отношению к ци-

вилизации, при этом одни мнят себя возжигателями ее пламени, а другие — свидетелями ее угасания. На самом же деле огонь цивилизации пылает, тлеет и гаснет в зависимости от того, с каких позиций и под каким углом зрения его рассматривать. Поколение людей, которое сейчас под звездами, в воротах, над водами реки обсуждает вопросы философского, общественного и политического порядка, только иллюзиями богаче других, во всем же остальном оно ничем не отличается от прочих. Оно также полагает, что это оно зажигает факел новой цивилизации и тушит последние вспышки старой, уже догорающей. И может быть, лишь особая приверженность к мечте составляет его неповторимую черту: давно уже на свете не было молодых людей, с такой необузданной смелостью предававшихся мечтам и спорам о жизни, о счастье, о свободе, так мало получивших от жизни и так много принявших от нее ударов, страданий и неисчислимых мук, как предстояло принять им. Однако же в летние дни 1913 года будущее рисовалось им лишь смелым и неясным предопределением. На этом древнем каменном мосту, сиявшем в лунном свете июльских ночей чистой белизной прекрасной вечной юности, вознесшимся над прихотью времен и человеческих затей и измышлений, все это казалось лишь новой захватывающей игрой.

XIX

Как августовские теплые ночи, сменяясь, повторяют друг друга, так изо дня в день на мосту повторялись нескончаемые разговоры местных гимназистов и студентов.

Сразу после быстро проглоченного ужина (необыкновенно вкусного после целого дня, проведенного на пляже у реки) один за другим являются они в ворота. Приходит Янко Стикович, сын портного с Мейдана,— вот уже четыре семестра он изучает в Граце естественные науки. Худощавый, с заостренным профилем и гладким зачесом черных волос, тщеславный и самолюбивый, он недоволен и собой, но еще больше окружающим. Стикович много читает и пишет статьи, печатая их под уже известным псевдонимом в молодежных революционных газетах Загреба и Праги. Помимо того, Стикович пишет стихи и публикует их под другим псевдонимом. Он уже и сборник подготовил, его должна выпустить «Зора» («Издательство национальных книг»). Вдобавок он прекрасный оратор и горячий участник всех студенческих словесных баталий. Приходит на мост и Велимир Стеванович, здоровый, рослый малый, приемыш без роду и племени; ироничный, трезвый, расчетливый, упорный; он завершает в Праге медицинское образование. Приходит Яков Херак, сын добродушного письмоноши,

любимца вышеградских жителей, черноволосый невысокий юноша, будущий юрист, с пронзительным взглядом, быстрой речью и полемическим задором убежденного социалиста, стесняющегося своего доброго сердца и любого проявления чувств. Приходит Ранко Михаилович, молчаливый, благодушный юноша, изучающий в Загребе право; заранее избрав себе чиновничью карьеру, он вяло и пассивно откликается на жаркие споры своих сверстников о любви, политике и взглядах на жизнь и общественное устройство. По материнской линии юноша доводится правнуком тому самому отцу Михайлу, чья голова с самокруткой в зубах, насаженная на кол, была некогда выставлена на всеобщее обозрение в этих самых воротах.

Здесь и несколько сараевских гимназистов. Жадно вслушиваясь в рассказы старших товарищей о жизни в больших городах, своим воображением, подхлестнутым мальчишеским тщеславием и затаенными желаниями, они опережают и превосходят не только все действительное, но и просто возможное. Среди них Никола Гласинчанин, бледный, резкий юноша, вынужденный по нужде, нездоровью и слабой успеваемости уйти из гимназии после четвертого класса, вернуться в город и стать писарем в немецкой фирме по экспорту древесины. Родом он из разорившегося дома с Околиште. Дед его Милан Гласинчанин, спустив в молодые годы в карты большую часть своего состояния, умер где-то вскоре после оккупации в сараевском доме умалишенных. Давно скончался и отец Николы, газда Петар, человек болезненный, безвольный, слабый и незаметный. Сын его, Никола, теперь все дни толчется у реки среди сплавщиков, скатывавших с берега в воду тяжелые сосновые бревна, записывает кубометры промеренного леса, а после в конторе заносит их в ведомость. Однообразная деятельность, бескрылая и бесперспективная, связанная со всяким мелким людом, воспринималась им как унижение и мука, а отсутствие малейшей надежды изменить свое общественное положение или хотя бы преуспеть в нем, сделало из самолюбивого юноши преждевременно созревшего и желчного молчальника. Он много читал в свободные часы, но и в этой духовной пище не обретал ни подкрепления, ни поддержки, и она, перебродив, оседала в нем мутным осадком. Его злосчастная доля, страдания и одиночество на многое открыли ему глаза, обострили в нем наблюдательность, но драгоценнейшие находки его проникновенной мысли лишь ярче озаряли убожество его беспросветной участи в этой заштатной глуши и отнимали у него последние остатки мужества, повергая в горькое уныние.

Тут, наконец, и слесарь Владо Марич, весельчак и добрая душа, радостно принятый в кружке высокообразованных друзей как за красивый, сочный баритон, так и за открытый, приветливый прав. Силач в кепчонке мастерового, Владо Марич принадлежит к той

категории простых людей, которые довольствуются тем, что есть, и, ни с кем не тягаясь и не сравниваясь, спокойно и благодарно принимают от жизни то, что она им дает, простосердечно воздавая ей по мере своих возможностей и сил.

Общество дополняют собой две учительницы Зорка и Загорка, обе местные уроженки. Юноши наперебой добиваются благосклонности барышень и ведут за них наивные, хитроумные, блестящие и жестокие любовные баталии. Подобно турнирам в честь средневековых дам, в их присутствии развертываются дискуссии; из-за них то один, то другой сидит в сторонке и попыхивает в темноте сигаретой или подпевает компании подпивших гуляк; они — причина вспыхивающей между друзьями затаенной ненависти, неумело маскируемой ревности и открытой вражды. Около десяти часов вечера девушки уходят домой. Молодые люди долго еще сидят в воротах, однако общее настроение падает, в борцах сникает полемический задор.

На этот раз молчит и курит главный спорщик Стикович. Он расстроен и недоволен собой и, как всегда, пытается скрыть свое настроение, что, впрочем, никогда ему вполне не удается. Сегодня днем у него было первое свидание с учительницей Зоркой, красивой пышной и бледной девушкой с блестящими глазами. Настойчивыми усилиями Стиковича им удалось добиться самого трудного в здешних условиях: увидеться наедине, потихоньку от всех. Они встретились в школе, пустующей во время летних каникул. Он вошел туда со стороны сада, она — с улицы через главный вход. Молодые люди очутились в полутемном, пыльном помещении, до потолка загроможденном партами. Такова уж судьба любовных страстей, нередко вынужденных искать себе приюта в местах, весьма запущенных и неприглядных. Ни сесть, ни лечь здесь было негде. Оба были смущены и растерянны. Но вскоре в неудержимом порыве забыли обо всем на свете, соединившись в объятии на одной из столь хорошо знакомых ей обшарпанных парт. Первым пришел в себя он. И грубо, без перехода, по обыкновению молодости, стал приводить в порядок свой костюм и прощаться. Девушка расплакалась. Разочарование было обоюдным. Кое-как успокоив ее, он почти выбежал вон через черный ход.

Дома Стикович застал почтальона, принесшего ему молодежный журнал с его статьей «Балканы, Сербия и Босния с Герцеговиной». Перечитывая заново статью, он несколько отвлекся мыслями от недавнего своего приключения. Но и статьей остался недоволен. Помимо типографских опечаток он находил и собственные недочеты. Многие фразы выглядели смешными; теперь, когда уже ничего нельзя было изменить, ему казалось, что о многом можно было сказать лучше, яснее и лаконичнее.

И вот пожалуйста, теперь они будут весь вечер сидеть здесь в воротах и обсуждать его статью в присутствии той же самой Зорки. Речистый и напористый Херак, который все на свете рассматривал и критиковал с позиций ортодоксального социализма, был его главным противником. Прочие лишь изредка вставляли слово. А обе учительницы, Зорка и Загорка, молча плели невидимый венок для победителя. Стикович оборонялся вяло, подавленный, во-первых, нежданно самому ему открывшимися слабостями и нелогичностями его статьи, в чем, впрочем, он не признался бы никогда вслух, и во-вторых, мучительным воспоминанием о том, что было с ним сегодня в духоте пыльного класса и что сейчас представлялось ему в комичном и постыдном свете, хотя хорошенькая учительница долго составляла предмет его страстных желаний и упорных домогательств (она и сейчас посматривала на него из ночной темноты своими сияющими глазами). Ощущение должника и виновника терзало Стиковича, и он бы дорого отдал, чтобы его не было сегодня в школе, а Зорки не было сейчас в воротах. А тут еще Херак одолевал его с упорством назойливой мухи, от которой не отобьешься. И он словно отвечал не только за свою статью, но также и за то, что совершилось в школе. А между тем ему больше всего хотелось сейчас перенестись куда-нибудь в такое место, где он был бы один и мог бы не думать ни о статье, ни о девушке. Но самолюбие заставляло его защищаться. Стикович цитировал Цвиича и Штроссмайера, Херак — Каутского и Бебеля.

— У вас ноги голову обгоняют,— в критическом пылу набрасывался Херак на статью Стиковича.— С балканским крестьянством, закосневшим в невежестве и нищете, ни при каких условиях, нигде и никогда не может быть основана устойчивая и разумная государственная формация. Только предварительное экономическое освобождение эксплуатируемых классов, крестьянства и рабочих, иными словами громадного большинства народных масс, может создать реальные предпосылки для формирования самостоятельных государств. Вот естественный процесс и путь, которым надлежит идти, а никак не наоборот. Поэтому национальное освобождение и объединение должны производиться в духе социального освобождения и возрождения. В противном случае крестьянин, рабочий и городское низшее сословие и новую государственную формацию непременно отравят смертоносной заразой своего пауперизма и рабской психологии, а малочисленная прослойка эксплуататоров — своей паразитической, реакционной сущностью и антисоциальными инстинктами, что не приведет, понятно, ни к устойчивости государственной формации, ни к оздоровлению общества.

— Все это чужеземная книжная премудрость, мой дорогой,— отвечал Стикович,— она бледнеет перед живым подъемом пробудившихся национальных сил, в первую очередь сербов, а затем словенцев и хорватов, тяготеющих к единой цели. Пути развития общества не совпадают с прогнозами немецких теоретиков, но идут в согласии с глубоким смыслом нашей истории и национального предназначения. Со времен призыва Карагеоргия: «Пусть каждый убьет своего субашу!» — социальные проблемы на Балканах решаются путем национально-освободительных движений и войн. В этом есть своя логика: от меньшего к большему, от регионального и племенного к национальному и государственному. Разве наши победы на Куманове и Брегальнице не являются в то же время величайшими победами прогрессивной мысли и социальной справедливости?

— Это мы еще увидим,— возражает Херак.

— Кто сейчас не видит, тот никогда не увидит. Мы верим...

— Вы верите, а мы ни во что не верим, кроме вещественных доказательств и фактов,— перебивает его Херак.

— Так неужели поражение Турции и ослабление Австро-Венгрии, как первый шаг к ее окончательному краху, не есть фактически победа малых демократических народов и порабощенных классов в их стремлении занять свое место под солнцем? — продолжает свою мысль Стикович.

— Если бы решение национального вопроса означало также торжество социальной справедливости, тогда бы в странах западной Европы, в большинстве своем реализовавших свои национальные идеалы, не должно было быть глубочайших социальных проблем, кризисов и конфликтов. Но между тем это не так. А как раз наоборот.

— А я тебе еще раз повторяю,— устало возражает Стикович,— что без образования самостоятельных государств на базе национального единства и современных принципов личной и общественной свободы не может быть и речи о «социальном освобождении». Ибо, по выражению одного француза, политика прежде всего...

— Прежде всего желудок,— вставляет Херак.

Тут загалдели все разом. И наивный студенческий диспут, перешедший в обычную перепалку, где каждый говорит, перебивая и не слушая другого, при первой же удачной шутке рассыпался брызгами веселых возгласов и смеха.

Для Стиковича это был спасительный предлог прекратить спор и умолкнуть, не будучи заподозренным в бесславном поражении и сдаче.

Вслед за Загоркой и Зоркой, которые около десяти часов в сопровождении Велимира и Рапко отправились по домам, начали

понемногу расходиться и другие. И на мосту в конце концов остались Стикович и Никола Гласинчанин.

Были они сверстники. Когда-то вместе поступали в гимназию и вместе снимали квартиру в Сараеве. Должно быть, слишком близкое знакомство мешало им по-настоящему любить и признавать достоинства друг друга. С годами отчуждение, естественно, росло, разлад углублялся. Сталкиваясь теперь в городе каждые каникулы, они придирчиво присматриваются друг к другу и состязаются с неотступностью неразлучных соперников-друзей. А тут еще красивая и восторженная учительница Зорка встала между ними. Долгие месяцы минувшей зимы она дружила с Гласинчанином, который не скрывал, да и не сумел бы скрыть свою горячую в нее влюбленность. С отчаянием и жаром ожесточившегося неудачника он отдался этому чувству. Но с приходом летних месяцев и появлением студентов от болезненно впечатлительного Гласинчанина не укрылось то внимание, которым учительница дарила Стиковича. На этой почве сильно обострилась давнишняя натянутость их отношений. В эти каникулы они еще ни разу не оставались с глазу на глаз.

Первой их мыслью, когда они вдруг оказались в воротах одни, было бежать, избавив себя от объяснений, не суливших ничего приятного. Однако чувство непонятной неловкости, свойственной только молодости, не позволило приятелям выполнить свое желание. На помощь им пришел случай, на время избавив их от тягостного молчания, столь угнетавшего обоих.

В темноте послышались вдруг голоса,— медленно прогуливаясь, двое собеседников остановились у ворот за выступом ограды, и хотя Гласинчанин и Стикович не могли их видеть с дивана и те их тоже не видели, зато слышали каждое слово и тотчас же узнали по голосам. Это были их товарищи, немного помоложе их, Фома Галус и Фехим Бахтияревич. Оба они сторонились кружка студенческой и гимназической молодежи, каждый вечер собиравшейся в воротах вокруг Стиковича и Херака. Галус, хотя и был моложе, но, как поэт и проповедник национально-освободительных идей, соперничал со Стиковичем, не вызывавшим в нем ни уважения, ни симпатии, а замкнутого, неразговорчивого и нелюдимого Бахтияревича отличала гордость истинного беговского внука.

Фома Галус — высокий голубоглазый и румяный юноша. Отец его, Албан Галус (Alban von Gallus), последний отпрыск старинного рода из Бургенланда, приехал в город в качестве чиновника оккупационного режима. Здесь он двадцать лет прослужил главным управляющим лесничества, а теперь доживал свой век на пенсии. Вскоре после своего приезда в город Албан Галус женился на перезрелой дочери одного из первых местных богате-

ев, хаджи Фомы Станковича, черноволосой девице, здоровой и волевой. С ней он имел троих детей: двух дочерей и сына, крещенных в сербской церкви, выросших в местных традициях и настоящих внуков хаджи Фомы. Старый Галус, высокий и некогда красивый человек, с благородной улыбкой и буйной гривой совершенно белых волос, «господин Альбо», давно уже считался в городе своим, так что подрастающему поколению и в голову не приходило, что он переселенец и чужак. Им владели две вполне безобидные страсти: охота и трубка. По всему уезду у него водились старые и добрые дружки как среди сербов, так и среди мусульман, разделявшие его пристрастие к охоте. Словно бы родившись и выросши бок о бок с ними, старый Альбо вполне усвоил многие привычки своих друзей, в том числе искусство легкого молчания и необременительного разговора, столь характерное для заядлых курильщиков и истинных любителей охоты, леса и жизни на природе.

Молодой Галус в этом году закончил гимназию в Сараеве, сдал экзамены на аттестат зрелости и осенью должен был ехать в Вену продолжать образование. В связи с этим в семье возникли разногласия. Отец хотел пустить его по технической части или лесоводству, а сын мечтал заняться философией. Кроме внешнего сходства с отцом, юный Галус был полной его противоположностью. Безупречный и примерный ученик, с небрежной легкостью и как бы между прочим усваивал он положенные науки, но, по примеру многих своих сверстников, истинную пищу для сердца и ума черпал в своих несколько разбросанных и прихотливых интересах, не связанных со школьной программой и обязательными предметами. Простодушная ясность сочетается в таких натурах с беспокойной и пытливой любознательностью. Им почти неведомы опасные кризисы эмоциональной и чувственной жизни, болезненно переживаемые большинством их ровесников, но тем труднее они удовлетворяют духовные свои запросы и очень часто до конца своих дней остаются дилетантами и любопытными чудаками без определенных занятий и направления в жизни. Отдавая дань современным интеллектуальным веяниям, а отчасти требованиям моды, столь же обязательным, как извечные требования молодого естества в пору созревания, Галус тоже писал стихи и был активным членом революционных национальных организаций учащейся молодежи. Вместе с тем вот уже пять лет Галус факультативно изучал французский язык, занимался литературой и в особенности философией. Чтению он предавался с ненасытной и неукротимой страстью. Главным поставщиком иностранной литературы, которая была в ходу у питомцев сараевской гимназии, в те времена была мощная популярная немецкая издательская фирма «Reclam's Universal-

Bibliothek». Маленькие недорогие томики в желтых переплетах с невероятно мелким шрифтом составляли основную духовную пищу гимназистов тех лет; этим томикам они были обязаны знакомством не только с немецкими писателями, но и с крупнейшими произведениями мировой литературы в немецких переводах. Из них же черпал Галус сведения о современных немецких философах, главным образом о Ницше и Штирнере, и мог потом, прогуливаясь вдоль Миляцки, в холодном и веселом вдохновении вести о них бесконечные дискуссии, нисколько не заботясь по обыкновению молодости о применении своих знаний на практике. Столь раннее посвящение в разнообразные, но бессистемные знания было не редкостью среди преждевременно повзрослевших гимназистов той поры. Такой прилежный и чистый юноша, как Галус, приобщался к вольному миру необузданной молодости лишь смелым полетом мысли и неумеренным чтением.

Фехим Бахтияревич был местным лишь наполовину. Отец его, родом из Рогатицы, и по сей день состоял там на должности судьи, а мать принадлежала к большому вышеградскому семейству Османагичей. С малых лет Фехим проводил часть лета вместе с матерью в городе у ее родных. Хрупкость этого стройного и грациозного юноши сочетается в нем с неожиданной силой. В нем все соразмерно и мягко. Изящной линией очерчен тонкий овал лица, смуглая матовость кожи просвечивает томной голубизной, движения скупые и плавные; глаза темные, с синеватым отливом белков; в горячем взгляде прячется притушенный огонь; густой прочерк сросшихся бровей; над красивым изгибом рта черная ниточка усов. Такими пишут мужские лица на персидских миниатюрах.

Этим летом и Фехим сдал экзамены на аттестат зрелости и дожидался государственной стипендии, чтобы заняться изучением восточных языков в Вене.

Молодые люди продолжали давний спор. Речь шла о выборе Бахтияревичем будущего рода занятий. Галус высказывался решительно против ориенталистики. В силу своей привычки пользоваться вниманием слушателей и любви к ораторству, Галус распалился и говорил не умолкая, тогда как Бахтияревич был краток и сух, непоколебимо убежденный в своей правоте и не испытывающий потребности убеждать других. С наивным простодушием начитанного юноши Галус упивался красочной образностью и метафоричностью своей речи, склонной к обобщениям и столь отличной от лаконичных и скупых, почти небрежных замечаний Бахтияревича.

Затаившись на каменных скамьях, Стикович и Гласинчанин, скрытые в тени, не проронили ни звука, как бы скрепив безмолвный договор незримо присутствовать при дружеской беседе у ворот.

В заключение спора Галус произнес горячую тираду:

— Вот тут-то вы, мусульмане, беговские сыновья, часто ошибаетесь. Ошеломленные натиском новых времен, вы перестали ощущать истинное свое предназначение и место на земле. Ваше пристрастие ко всему восточному является лишь современной формой выражения «жажды власти»; восточный образ жизни и образ мыслей теснейшими узами связаны для вас с определенным общественным и правовым устройством, служившим опорой вашего векового господства. И это понятно. Но, взятое само по себе, оно еще не означает, что вы отмечены особыми способностями к научному востоковедению. Ориентальцы по природе, вы сильно заблуждаетесь, считая ориенталистику своим призванием. Да и вообще к науке у вас нет ни склонности, ни призвания.

— Вот как!

— Точно. И в этом моем утверждении нет ничего обидного или оскорбительного. Напротив. В этой стране вы — единственная господствующая прослойка, по крайней мере были таковой; столетиями вы утверждали, отстаивали и расширяли свои права властителей — мечом, книгой, законами, верой и армией, что создало из вас воинов, правителей и собственников, а эта категория людей нигде не жалует абстрактные науки, предоставляя заниматься ими тем, кто не годится ни на что другое. Экономика и право гораздо ближе конкретному характеру ваших познаний. Уж это спокон веков свойственно представителям господствующего класса во всем мире!

— Значит, мы должны оставаться непросвещенными?

— Нет, не значит, вы должны лишь оставаться тем, что вы есть на самом деле, или, если хочешь, тем, чем вы были; потому что истинную свою сущность никому не дано совместить с тем, что ей совершенно противоположно.

— Но на сегодняшний день мы не являемся господствующим классом. На сегодняшний день все мы равны,— с легким вызовом, приправленным иронией и грустью, перебивает его снова Бахтияревич.

— Ну, разумеется, не являетесь. Условия, некогда создавшие из вас то, что вы есть, давно изменились, но из этого не следует, что и вы можете измениться с такой же быстротой. Не в первый и не в последний раз у определенной общественной прослойки выбивается почва из-под ног, а она при этом остается собой. Жизненные обстоятельства меняются, общественная же прослойка остается неизменной, ибо только такой она и может существовать до конца своих дней.

Бахтияревич промолчал, и разговор двух невидимых собеседников на мгновение осекся.

В прозрачной глубине безоблачного неба над черными горами взошел обломок ущербного месяца. Белая плита с турецкой надписью на приподнятой части ограды вдруг засветилась тусклым квадратом слабо освещенного окна, глядящего в синюю тьму.

Бахтияревич снова что-то говорил, но из его неслышной речи до слуха Стиковича и Гласинчанина на сей раз долетали лишь отдельные бессвязные обрывки. Неожиданные ассоциации, столь свойственные юности, как видно, изменили тему разговора. И, перейдя с проблемы изучения восточных языков к надписи на белой плите, разговор обратился затем к мосту и личности его создателя.

И снова выделился выразительный и сильный голос Галуса. Воспользовавшись похвалой Бахтияревича по адресу Мехмед-паши Соколовича и тогдашних турецких властей, возводивших подобные грандиозные сооружения, Галус с воодушевлением пустился развивать свои национально-социальные взгляды на прошлое и будущее народа, а также на его культуру и цивилизацию. (В этих гимназических дискуссиях каждый следует течению собственной мысли.)

— Ты совершенно прав,— ораторствовал Галус.— Мехмед-паша был гениальной личностью. И он не первый и не последний из наших братьев по крови, выдвинувшихся на службе у иноземных владык. Сколько сотен талантов, государственных деятелей, полководцев, художников подарили мы Стамбулу, Риму, Вене. Объединение наших народностей в единое, большое и мощное современное национальное государство в первую очередь и предполагает, что все национальные силы останутся в родной стране, получат развитие на местной почве и будут вносить вклад в общечеловеческую культуру под своим именем, а не из центров чужеродных цивилизаций.

— По-твоему, эти «центры» возникли случайно и новые могут быть созданы произвольно, где кто пожелает?

— Случайно или нет, сейчас вопрос не в этом; не важно, как они возникли, важно, что они сегодня приходят в упадок, что они отжили, деградируют и должны уступить место новым центрам цивилизации, где получат свободное и непосредственное развитие молодые освобожденные народы, только выходящие на арену истории.

— Не думаешь ли ты, что Мехмед-паша Соколович, оставшись в горах, в своих Соколовичах, мог бы стать тем, кем он стал, и наряду с прочим возвести этот мост, на котором мы с тобой сейчас беседуем?

— В те времена, конечно, нет. Но в конце концов Стамбулу не так уж тяжело было возводить подобные сооружения, он и у нас, и у великого множества других покоренных народов отнимал

не только достояние и труд, но и лучшие наши людские силы, отборную кровь. Если вспомнить, сколько отнято у нас в течение столетий, все эти постройки покажутся, право же, мизерными. И лишь добившись раз и навсегда свободы и государственной независимости, мы сможем располагать всеми богатствами наших расовых и материальных ресурсов и употребить их на подъем культуры, национальной по духу и преследующей своей единственной целью счастье и благосостояние самых широких слоев нашего народа.

Бахтияревич молчал, и молчание это сильнее самого красноречивого и яростного сопротивления раздувало в Галусе полемический жар. Словами тогдашней молодежной политической литературы декларировал он с присущей ему страстностью программу и задачи революционной молодежи. Прежде всего — пробуждение и активизация всех жизнеспособных сил нации. Под их натиском наступит крах Австро-Венгерской монархии, этой тюрьмы народов, как это случилось с европейской Турцией. Полное и окончательное подавление и преодоление всего того антинационального и реакционного, что усыпляет, разъединяет и сковывает наши национальные силы. Дух времени и усилия прочих порабощенных малых народностей, являясь лучшими нашими союзниками, делают все это вполне осуществимым. Лозунг национального единения восторжествует над религиозными различиями и устарелыми предрассудками и освободит народ от чужеродных и антидемократических влияний и гнета иноземной эксплуатации. И тогда произойдет рождение национального государства.

Галус затем обрисовал достоинства и преимущества нового национального государства, которое, подобно Пьемонту, объединит вокруг сербов всех южных славян на основе национального равноправия, религиозной терпимости и гражданского равенства. Смелые и отвлеченные проекты перемежались в его речи с конкретными задачами современности; сокровеннейшие чаяния национального самосознания, обреченные по большей части навек остаться в области несбыточных надежд,— с вполне достижимыми и оправданными требованиями повседневности; великие истины, вынашиваемые многими поколениями, и только юностью, интуитивно их предвосхищающей, высказываемые вслух,— с извечными иллюзиями, столь же неосуществимыми, сколь и незатухающими, подобно мифологическому факелу, который передается одной молодой порослью другой. Юношеская его речь, быть может, и пестрела утверждениями, не выдерживающими критики действительности, и содержала в себе немало предпосылок, несостоятельных с точки зрения реального опыта, но зато дышала очищающей свежестью, этим драгоценным элексиром юности, питающим и омолаживающим древо человечества.

Бахтияревич молчал.

— Вот увидишь, Фехим,— в приливе вдохновения уверял своего друга Галус, как будто это дело сегодняшней ночи или, по крайней мере, завтрашнего дня,— вот увидишь, мы создадим государство, которое явится неоценимым вкладом в дело общего прогресса человечества; благословенно будет в нем любое усилие, любая жертва — священна, любая мысль — самобытна и выражена нашим языком, любое творение — отмечено печатью нашего имени. Мы станем творцами деяний, которые будут продуктом нашего свободного труда и выражением нашего национального гения, деяний, превращающих в сравнении с собой в ничтожную безделку то, что сделано под вековым ярмом иноземных властителей. Мы перекинем переправы через широчайшие реки и глубочайшие пропасти. Мы возведем новые мосты, еще более величественные и прекрасные, чем этот, которые свяжут не иноземные столицы и их покоренные провинции, а воссоединят наши земли в единое целое и нашу страну со всем миром. Ибо,— и в этом больше нет сомнения,— нам суждено претворить в действительность то, о чем мечтали все предшествующие поколения, создать государство, рожденное свободой и основанное на справедливости, воплотить на земле часть божьего промысла.

Бахтияревич молчал. Стихал постепенно и Галус. По мере развития его основной идеи все ниже и ниже спускался его осипший голос, перейдя на сильный, страстный шепот и растворившийся наконец в необъятной ночной тишине. Теперь они оба молчали. Но все же в ночи обособленно, тяжело и упорно затаилось молчание Бахтияревича и давящей тяжестью глухой, почти ощутимой стены решительно опровергало все, что говорил другой, с безмолвной непреклонностью провозглашая категорический ответ:

«Основы мира, жизни и человеческих отношений утверждены на веки вечные. Это не значит, что они никогда не меняются, но по сравнению с длительностью человеческой жизни эти основы представляются вечными. Продолжительность их существования в той же степени сопоставима с веком, отпущенным людям, с какой изменчивая поверхность бурной и быстрой реки сопоставима с незыблемостью ее твердого дна, меняющегося медленно и незаметно. Самая мысль заменить одни «центры» другими является нездоровой и нереальной. Это все равно, что возыметь желание перемещать истоки крупных рек и ложа гор. Жажда быстрых перемен и мысль о насильственном их осуществлении нередко, как болезнь, распространяется среди людей, с особой легкостью овладевая молодыми, но только в их головах нет настоящего понимания, и они недолго, как правило, красуются на молодецких плечах. И все впустую! Ибо не человеческой волей определяется порядок

на земле. Подобные ветру, взмывают порывы желаний и, подхватив тучи пыли, перемещают их с места на место, заслоняя иной раз весь горизонт, но ветер стихает, пыль оседает, и взорам предстает привычная картина старого мира. Все долговечное на земле возводится промыслом божьим, а человек — его слепое и покорное орудие. Людской замысел или умирает, не дождавшись своего воплощения, или же живет недолго; и уж, во всяком случае, не приводит к добру. Все эти неистовые желания и смелые речи на мосту под ночным небом ничего не изменят в существующем порядке вещей; пронесясь над огромным, незыблемым миром, они исчезнут там, где смиряются желания и ветры. И как всегда, так и сейчас свыше будет определяться то место на земле, где божьим промыслом должны родиться великие мужи и грандиозные строения, независимо от преходящих и пустых желаний и людского тщеславия».

Но ничего из всего этого Бахтияревич вслух не произнес. Кто носит свою философию в крови, как этот мусульманский юноша, беговский внук, кто с ней живет и умирает, тот не умеет выразить ее словами и не испытывает в этом никакой необходимости.

После долгого молчания Стикович и Гласинчанин видели еще, как недокуренная сигарета, брошенная за ограду незримой рукой, прочертила в воздухе огненный след, падая в Дрину. Вслед за тем, по-прежнему в молчании, невидимые собеседники неспешно двинулись к площади. Отзвуки шагов постепенно затихали.

Снова оказавшись одни, Стикович и Гласинчанин вдруг очнулись и будто только сейчас заметили друг друга.

В сиянии бледной луны, искаженные резкими переходами света и тени, молодые люди выглядели гораздо старше своих лет. Огоньки их сигарет мерцали фосфорическим отсветом. Оба были подавлены. У каждого на то свои причины, но состояние подавленности общее. Владеет ими одно желание: подняться и уйти домой. Однако оба словно прикованы к каменным сиденьям, хранящим еще тепло солнечного дня. Разговор их младших товарищей, которому они случайно и тайно оказались свидетелями, очень кстати отложил их собственное объяснение и разговор. Но вот неизбежное настало.

— Как тебе понравился Херак с его аргументацией? — начал Стикович первым, возвращаясь к вечерней дискуссии и тут же почувствовав в этом известную свою слабость.

Воспользовавшись, в свою очередь, минутным преимуществом своего положения судьи, Гласинчанин медлил с ответом.

— Нет, каково,— продолжал в нетерпении Стикович,— говорить о классовой борьбе и проповедовать теорию малых дел, тогда как у нас уже нет человека, который не понимал бы, что

национальное объединение и освобождение, произведенное революционным путем,— первейшие задачи общества! Право же, просто смешно!

В голосе Стиковича звучал вопрос и вызов к разговору. Но Гласинчанин и тут не отозвался. В тишину этого мстительного и злобного молчания вторглись звуки музыки, долетавшей сюда из офицерского собрания на берегу реки. Освещенные окна первого этажа были распахнуты настежь. Пела скрипка, сопровождаемая фортепьяно. Это играл военный врач, Regimentsarzt, д-р Балаш, аккомпанировала ему жена начальника гарнизона, полковника Бауэра. (Они разучивали вторую часть сонаты Шуберта для фортепьяно и скрипки.) Начали уверенно и дружно, но, не дойдя до середины, рояль забежал вперед. Скрипка прервала игру. После краткой паузы, ушедшей, вероятно, на разбор спорного места, музыканты начали снова. Так упражняются они, засиживаясь допоздна, едва ли не ежедневно, между тем как полковник в соседнем зале сидит за бесконечными партиями преферанса или просто клюет носом за стаканом мостарского вина и австрийской сигарой, а офицеры помоложе изощряются в остротах по адресу влюбленных музыкантов.

У госпожи Бауэр и молодого доктора и в самом деле вот уже несколько месяцев плетется нить непростых и нелегких отношений. Но даже самые прозорливые из господ офицеров не в состоянии разгадать их истинную природу. Согласно утверждению одних, связь эта носит чисто духовный характер (что, конечно же, подвергается ими всяческому осмеянию), по мнению других, и плоти тут отводится положенное место. Как бы там ни было, но только эти двое, с полного отеческого благословения полковника, добрейшей души человека, успевшего изрядно отупеть от службы, лет, спиртного и курения, совершенно неразлучны.

Всему городу известна эта пара. Вообще же офицерское общество держится совершенно обособленно не только от местных, но и от приезжей чиновничьей среды. Запрещая выпускать собак в офицерские парки с круглыми или звездообразными клумбами, полными редких цветов, те же самые таблички не разрешали входить туда и штатским. Танцевальные вечера и собрания офицеров недоступны тем, кто не носит мундира. Замкнутые в своем кругу, они вели типично кастовую жизнь и, культивируя исключительность, как основную силу своего могущества, под личиной блестящей и непроницаемой внешности скрывали то, чем одинаково одаривает жизнь всех смертных — великолепием и нищетой, блаженством и отчаянием.

Но есть на свете вещи, по самой своей сути не созданные оставаться в тайне,— ни самые крепкие замки, ни глухие барьеры не

могут спрятать их от людских глаз и ушей. («Три вещи в мире невозможно скрыть,— говорили турки,— любовь, кашель и бедность».) Один из этих случаев и представляла влюбленная чета. Не было в городе старика или ребенка, женщины или мужчины, которые не натыкались бы на влюбленных во время их прогулок, когда они, поглощенные разговором, слепые и глухие ко всему вокруг, брели уединенными дорожками в окрестностях города. Пастухи привыкли к ним, словно к майским жукам, парами усеивающим придорожные листья. Встречали их повсюду: у Дрины, и у Рзава, и у развалин Старого града, на тракте по выходе из города, в окрестностях Стражиште. Встречали во всякое время дня. Ибо время для влюбленных всегда идет слишком быстро, и нет такой тропы, которая показалась бы им достаточно длинной. Они скакали верхом, катались в легких пролетках, но больше всего ходили пешком, особым шагом влюбленных, существующих только друг для друга и совершенно безразличных ко всему, кроме того, что они говорят друг другу.

Он был омадьярившийся словак из бедной чиновничьей семьи, обучавшийся на государственный кошт, молодой и несомненно музыкально одаренный, болезненно ранимый и самолюбивый, главным образом из-за своего происхождения, мешавшего ему быть на равной ноге с офицерами немцами или венграми из именитых или зажиточных семейств. Она тридцати с чем-то лет, восемью годами старше его. Высокая блондинка, тронутая первым увяданием, но с прекрасной бело-розовой кожей и лучистым сиянием больших синих глаз, она всем своим обликом и осанкой напоминала портреты королев, пленяющих воображение девиц.

У каждого из них были свои личные причины для недовольства жизнью, действительные или мнимые, однако же достаточно глубокие. Но кроме этого, у них была еще общая и главная причина: оба они чувствовали себя несчастными изгнанниками в этой заштатной глуши, в обществе офицеров, по большей части людей ничтожных и пустых. И поэтому держались со скорбной обреченностью потерпевших кораблекрушение. Они растворялись друг в друге, забываясь в бесконечных разговорах или музыке, как сейчас.

Такова была невидимая пара, заполнявшая музыкой тяжелое молчание, воцарившееся между двумя молодыми людьми.

Но вот что-то снова смешалось в мелодии, разлившейся в безмятежном спокойствии ночи, и на какое-то время она прервалась. В наступившей тишине, продолжая последние слова Стиковича, Гласинчанин каким-то деревянным голосом проговорил:

— Смешно?! Да, по правде говоря, во всей этой дискуссии много смешного.

Стикович поспешно вырвал сигарету изо рта, а Гласинчанин неторопливо, но уверенно стал излагать свою мысль, давно уже, как видно, его мучившую.

— Я внимательно прислушиваюсь ко всем этим дискуссиям, и между вами двумя, и между другими образованными людьми в городе; читаю газеты и журналы. И чем больше слушаю, тем сильнее убеждаюсь, что большинство этих устных или письменных дискуссий не имеет никакой связи с жизнью, ее насущными потребностями и проблемами. Ибо я-то на себе самом чувствую и ощущаю эту самую натуральную жизнь,— жизнь, которой живут все вокруг. Возможно, я неправ или, может быть, недостаточно удачно выражаюсь, но часто мне на ум приходит мысль о том, что технический прогресс и относительный покой создали иллюзорную, искусственную атмосферу затишья, в которой определенный класс людей, так называемых интеллигентов, получил возможность совершенно беспрепятственно предаваться праздной и увлекательной игре в идеи и «взгляды на жизнь и мир». Этакий род интеллектуальной оранжереи с искусственным климатом и экзотической флорой, без всякой связи с землей и настоящей твердой почвой, по которой перемещаются массы живых людей. Вы думаете, что печетесь о судьбе этих масс и их использовании в борьбе за достижение высших целей, намеченных вами для них, в действительности же ваши умствования не имеют никакой связи с подлинной жизнью масс, как и с жизнью вообще. И в этом смысле игра ваша становится опасной, или, во всяком случае, может стать опасной как для других, так и для вас самих.

Гласинчанин на мгновение остановился. Пораженный продуманностью и стройностью излагаемой ему концепции, Стикович и не пытался возражать или противоречить. Единственно при слове «опасной» он изобразил рукой иронический жест. Задетый за живое, Гласинчанин заторопился дальше:

— Бог ты мой, да послушать вас, так подумаешь, что все вопросы на земле счастливо разрешены, все опасности устранены на веки вечные, все дороги укатаны и открыты, так что остается только двинуться по ним. А в действительности ничего еще не решено, и нелегко решить, и часто нет надежды решить, ибо все трудно и запутанно, дорого и сопряжено с неоправданным риском; нигде ни следа не видать ни от смелых проектов Херака, ни от твоих безбрежных перспектив. Бьется человек весь свой век, но и самого необходимого не получает, не говоря уж о том, чего он хотел бы. Что же до теорий, вами проповедуемых, то они лишь удовлетворяют извечную потребность человека в игре, льстят тщеславию, да еще обманывают и вас и других. Такова истина или, по крайней мере, таковой она мне представляется.

— Ничего подобного. Сравни, пожалуйста, разные исторические эпохи, и перед тобой воочию предстанет так называемый прогресс и смысл человеческой борьбы, а соответственно и «теорий», которые дают ей направление.

Немедленно заподозрив в этой фразе намек на его прерванное образование, Гласинчанин, как всегда в подобных случаях, внутренне вздрогнул.

— Я историю не изучаю,— начал он.

— Вот видишь, а если б изучал, ты бы сразу увидел...

— Но и ты ведь ее не изучаешь.

— Как?.. То есть... вот именно что изучаю.

— Помимо естественных наук?

Дрожь озлобления в голосе Гласинчанина на мгновение смутила Стиковича, и он произнес каким-то мертвым голосом:

— Да, если хочешь знать, именно так: наряду с науками естественными я занимаюсь еще политическими, историческими и социальными вопросами.

— Здорово ты это успеваешь. Ведь ты еще, насколько мне известно, и оратор, и пропагандист, и поэт, и любовник.

Стикович вымученно хохотнул. Далеким, но болезненным воспоминанием представился ему послеполуденный час в запустении загроможденного партами класса, и соображение о том, что Зорка с Гласинчанином любезничали до его приезда в город, впервые пришло ему в голову. Тот, кто не любит, не способен понять силу чужой любви, безумства ревности и заключенной в ней опасности.

Взаимная враждебность, грозившая все время выйти наружу, вылилась в желчную ссору. Но молодежь не страшат ссоры, как молодых зверят — буйная жестокая возня.

— Кто я такой и чем занимаюсь, это в конце концов никого не касается. Я же не спрашиваю у тебя про твои кубометры и бревна.

Напоминание о его положении острой болью отозвалось в незаживающей ране Гласинчанина.

— Оставь мои кубометры в покое. Я этим живу, а не пускаюсь в авантюры, не одурачиваю никого и не обольщаю.

— А кого же это обольщаю я?

— Всякого или *всякую,* кто подвернется.

— Это неправда!

— Нет, правда. Сам знаешь, что правда. И уж если зашла об этом речь, я тебе скажу все напрямик.

— Я не любопытен.

— А я все равно скажу, потому что, даже скача по бревнам целый день, можно кое-что увидеть и понять, осмыслить и прочувствовать. И я хочу наконец выложить тебе все, что я думаю о

твоих разнообразных занятиях и дарованиях, твоих смелых теориях, стихах и любовных интригах.

Стикович сделал движение, как бы порываясь встать, но остался на месте. Фортепьяно и скрипка в офицерском собрании давно уже снова играли (они исполняли третью, самую веселую и оживленную часть сонаты), звуки музыки сливались в ночи с шумом реки.

— Спасибо, об этом я слышал от людей поумнее тебя.

— Ну нет. Другие либо тебя не знают, либо лгут, либо думают так же, как я, но молчат. Все твои теории, все твои бесчисленные интеллектуальные занятия, как и любовь и дружба,— все они порождены амбицией, ложной, нездоровой амбицией, основанной на одном только тщеславии.

— Ха, ха!

— Да, да. И самая эта идея национального освобождения, столь пламенно тобой пропагандируемая,— и она тоже не что иное, как своеобразное проявление все того же тщеславия. Ибо ты не способен любить ни мать, ни сестер, ни родного брата, не говоря уж о какой-то там идее. Только из тщеславия ты можешь быть добрым, щедрым и самоотверженным. Оно — единственная сила, которая движет тобою, твоя святыня, единственное в мире, что ты любишь больше самого себя. Твоя показная горячность и преданность национальным идеалам, науке, поэзии или еще какой-нибудь другой высокой цели, вознесшейся над интересами личности, конечно, введет в заблуждение любого, кто тебя не знает. Но ты не можешь надолго отдаваться чему-то одному — тщеславие не позволяет! Едва пропадает тщеславный интерес, как сейчас же охлаждается весь твой пыл и ты пальцем не пошевельнешь в защиту некогда близких тебе идей. В конце концов из-за него ты сам себя предашь, ибо ты не что иное, как раб собственного тщеславия. Меру своего тщеславия ты и сам не знаешь. Я же вижу тебя насквозь, и только я один знаю, что ты чудовищное порождение тщеславия.

Стикович ничего не отвечал. Ошеломленный страстной убежденностью этой речи, он с изумлением смотрел на своего товарища, столь неожиданно представшего перед ним в новой роли и новом свете. Протест и возмущение первых минут постепенно сменились в нем любопытством к язвительному потоку обличений, даже чем-то льстившим ему. Отдельные слова, правда, больно задевали его за живое, однако же все в целом,— беспощадное проникновение в его характер,— доставляло Стиковичу странное удовольствие. Ибо назвать молодого человека чудовищем значит лишь польстить его самолюбию и гордости. Ему и в самом деле не терпелось, чтоб Гласинчанин продолжил это яростное копанье

Мост на Дрине

в его душе, ослепительное высвечивание его скрытого «я»; в этом он видел как бы лишнее подтверждение его исключительности и всесилия. Застывший взгляд Стиковича остановился на белой плите мемориальной доски, ярко выступавшей в лунном свете. Пристально вглядываясь в загадочные письмена турецкой надписи, он как бы стремился вычитать в них истинный, сокровенный смысл того, что с такой жестокой убедительностью преподносил ему озлобившийся приятель.

— Ни до чего тебе дела нет, и по-настоящему ты не можешь ни любить, ни ненавидеть, ибо и для того, и для другого надо хотя бы на минуту отрешиться от самого себя, уйти на второй план, позабыть себя, превозмочь свое тщеславие. А на это ты не способен; да и если бы и был способен, на свете нет такой вещи, ради которой ты бы пошел на это. Чужое горе тебя не заботит и, уж конечно, никак не трогает; даже и к своему ты равнодушен, если только оно не льстит тщеславию. У тебя нет желаний, и радоваться ты не умеешь. Ты даже зависти не знаешь, но не по доброте души, а от безграничного себялюбия; чужое счастье для тебя не существует так же, как и чужая беда. Ничто не может вывести тебя из равновесия, ничто не может тебя взволновать. И ты не остановишься ни перед чем, но причиной тому не бесстрашие, а отсутствие здоровых инстинктов, ибо ни кровное родство, ни внутренняя убежденность, ни бог, ни мир, ни свойственник, ни друг при твоем тщеславии для тебя не значат ничего. Ты не ценишь и свои собственные способности. И не совесть, лишь голос оскорбленного тщеславия иной раз может заговорить в тебе, ибо всегда и во всем оно одно диктует тебе и навязывает свою волю.

— И все это из-за Зорки? — невольно вырвалось у Стиковича.

— Если хочешь, поговорим и об этом. Из-за Зорки, да. Ведь и до Зорки тебе нет никакого дела, ни на вот столько! И все потому, что ты не способен устоять перед тем, что неожиданно само идет к тебе в руки и льстит твоему тщеславию. Да, ты покоряешь бедных неискушенных и взбалмошных учительниц с той же легкостью, с какой пишешь свои статьи и стихи, произносишь речи и проповеди. Но, не успев их покорить до конца, ты уже тяготишься ими, ибо тщеславие твое, томясь от скуки, жадным взором уносится дальше. Но эта же ненасытная алчность и неспособность на чем-то остановиться, в чем-то найти удовлетворение — проклятие твое. Все подчинив своему тщеславию, ты стал его рабом и мучеником. Возможно, впереди тебя ждут триумфы и бо́льшие успехи, чем победа над слабыми, потерявшими голову женщинами, но и они не принесут тебе радости, ибо, подгоняемый тщеславием, ты устремишься дальше, позволяя ему с одинаковой

поспешностью заглатывать на ходу крупные и мелкие успехи, тотчас забывая их, но навечно сохраняя в памяти ничтожнейшие обиды и поражения. Когда же все будет оборвано, обломано, опозорено, унижено, втоптано в грязь и уничтожено, в образовавшейся вокруг тебя пустыне ты встретишься лицом к лицу с твоим тщеславием и ничего, кроме себя, не сможешь ему предложить, но самоедство ему, привыкшему к более жирным кускам, придется не по вкусу, и оно отвергнет тебя, как негодную к употреблению пищу. Таков ты есть, хотя в глазах других и выглядишь иным и сам себя иным воображаешь. Но я-то тебя знаю.

Тут Гласинчанин умолк.

На мосту уже давала себя знать ночная свежесть, ширилась тишина, нарушаемая только вечным шумом воды. Они и не заметили, когда оборвалась музыка. С самозабвением юности отдавшись своим мыслям, приятели потеряли представление о том, что с ними и где они находятся. Терзаемый ревностью, несчастный «обмерщик» древесины в отчаянном порыве излил сейчас с нежданной силой красноречия все выстраданное и передуманное им с такой отчетливой и горькой ясностью, которая ему еще до сих пор ни разу не давалась. Стикович слушал в оцепенении, вглядываясь в белую плиту с турецкой надписью, словно это был экран кинематографа. Язвительные стрелы обвинения, которые пускал в него из темноты его невидимый друг, не причиняли ему более ни боли, ни вреда. Напротив, с каждым словом Гласинчанина он как бы возносился ввысь и на незримых крыльях неслышно парил, стремительно, вольно и смело летел над землей и всеми ее обитателями, их путами, законами и чувствованиями, летел одинокий, гордый и великий, исполненный каким-то непонятным счастьем или, во всяком случае, чем-то в этом роде. Летел надо всем. И этот голос и речи его соперника, как рокот воды и гул невидимого нижнего мира, затаившегося где-то под ним в глубине со всеми его достоинствами и недостатками, со всеми его осуждениями и упреками, были ему безразличны, ибо он пролетал над ними, как птица, и больше их не видал.

Мгновение наступившего молчания как бы отрезвило обоих. Оба не поднимали глаз. Бог знает, куда завела бы их ссора, если бы на мост с громкими возгласами и пением не ввалилась с базара компания подвыпивших гуляк. Кто-то прерывающимся фальцетом тянул старинную песню:

И умна ты и собою хороша,
Дочь Авдаги, раскрасавица Фата!

По голосам гуляк они узнали кой-кого из молодых торговцев и хозяйских сыновей. Одни еще держались бодро на ногах, другие

выделывали кренделя и спотыкались. Недвусмысленные шутки говорили о том, что они явились «из-под тополей».

В предыдущем своем повествовании мы забыли упомянуть еще об одном здешнем новшестве. (Но, вероятно, вы заметили и сами, как мы забывчивы во всем, что касается вещей, нам неприятных.)

Так вот, пятнадцать с чем-то лет тому назад, еще до прокладки железной дороги, в городе объявился некий венгр с женой. Он именовался Тердиком, жену его звали Юлка, и говорила она по-сербски, так как была родом из Нового Сада. Тотчас же стало всем известно, что прибыли они сюда с намерением открыть такое заведение, какого отродясь не видывали здешние края. Они и открыли его на самой окраине города под высокими тополями, у подножия Стражиште, в одном старом беговском доме, заново перестроенном.

Дом этот был позором города. Окна его занавешены целыми днями. А с наступлением темноты над входом зажигался белый ацетиленовый фонарь, горевший всю ночь. Из нижнего этажа неслись звуки песен и пианолы. Распутники и молодежь то и дело склоняли имена девиц, привезенных Тердиком. Вначале их было четыре: Ирма, Илона, Фрида и Аранка.

Каждую пятницу «Юлкины девицы» отправлялись в двух пролетках в больницу на еженедельный врачебный осмотр. Нарумяненные и набеленные, в шляпках с цветами, они покачивали зонтиками на длинных ручках, трепетавшими кружевом своих воланов. Ограждая своих дочерей от вида этих экипажей, горожанки и сами отворачивались от них со смешанным чувством брезгливости, стыда и сострадания.

С началом строительства железной дороги и приливом денег и рабочей силы увеличилась и численность девиц. На смену старому, турецкому дому Тердик выстроил новое здание «по специальному проекту», под красной черепичной крышей, видной издалека. Оно состояло из трех отделений: общего зала, Extra Zimmer и Offizierssalon'a. И гости и цены в них были разные. Но сыновья и внуки тех, кто пил когда-то горькую у Зарии в трактире, а потом в гостинице у Лотики, теперь, по выражению горожан, получили новую возможность свои наследственные или благоприобретенные капиталы спускать «под тополями». Здесь происходили самые крупные розыгрыши, самые знаменитые кулачные бои, безудержные пьянки и сентиментальные драмы. Сюда тянулись нити многих личных и семейных бед.

Центром пьяной компании, высыпавшей освежиться в воротах после первой половины ночи, проведенной «под тополями», был некий паренек Никола Зубоскал, безответный недоумок, которого хозяйские сынки спаивали себе на потеху.

Но до ворот гуляки не дошли. Сгрудившись у парапета, они о чем-то пьяно раскричались. Никола Зубоскал вызвался на спор перейти мост по ограде за два литра вина. Пари составилось, и, встав на перила и раскинув руки, Никола нога за ногу, как лунатик двинулся вперед. Достигнув ворот и обнаружив здесь двух запоздалых посетителей, он, не сказав ни слова, миновал их и, мурлыча про себя какой-то неясный напев, продолжал, пьяно шатаясь, свой опасный путь, сопровождаемый ордой ликующих собутыльников. Его вытянутая тень в бледном свете луны плыла по мосту, преломляясь на ограде противоположной стороны.

Но вот и пьяная компания с разнузданными воплями и криками прошла. Тотчас же поднялись и, не прощаясь, двинулись по домам и бывшие друзья.

Гласинчанин сразу скрылся во мраке, повернув к левому берегу Дрины, к своему дому на Околиште. Стикович пошел в противоположную сторону, к площади. Шагал он нерешительно и медленно. Светлая прохлада моста удерживала его от темноты, поглотившей город. Он остановился, прислонившись к парапету. Он так сейчас нуждался в опоре и поддержке.

Луна зашла за Видову гору. Облокотившись на каменные перила моста почти у самого его конца, юноша долго изучал размытые тени и редкие огоньки родного города, словно видел его впервые. Два окна светились еще в офицерском собрании. Музыки слышно не было. Бедные влюбленные, полковница и доктор, должно быть, до сих пор разговаривали о музыке и о любви или о горькой своей доле, не отпустившей им счастья ни вместе, ни порознь.

И в гостинице Лотики одно окно было освещено — Стикович узнал его с моста. Молодой человек всматривался пристально в квадраты этих освещенных окон по ту и по другую сторону моста, как будто бы чего-то ждал от них. Он был подавлен и опустошен. Страшное пари безумца Зубоскала живо воскресило в нем воспоминание раннего детства, когда однажды по дороге в школу, в морозной дымке зимнего утра, он увидел Кривого, неуклюже приплясывающего на коньке этой самой ограды. А всякое воспоминание о детстве вызывало в нем тягостное чувство и тоску. Безвозвратно ушло ощущение отверженного, но гордого величия и метеорного полета надо всем и вся, внушенное ему суровой непреклонностью Гласинчанина. Внезапно свергнутый с высот, он принужден был теперь наравне со всеми прочими тащиться по земной грязи. Стиковича мучили воспоминания о том, что было у него с учительницей и чего не должно было быть (как будто бы кто-то другой действовал тогда вместо него!), и о статье в журнале, слабой и беспомощной на его теперешний взгляд (как будто

бы кто-то другой написал эту статью и, вопреки его воле, опубликовал в журнале под его фамилией!), и, наконец, об обвинительной речи Гласинчанина, злобно-враждебный, смертельно-оскорбительный и откровенно-вызывающий смысл которой он только сейчас осознал до конца.

Он содрогнулся, пронизанный внутренней дрожью и сыростью, веющей с реки. И, как бы пробуждаясь от сна, заметил, что два освещенные окна в офицерском собрании погасли. Оттуда выходили последние гости. Волочась по мостовой, звенели сабли, гулко разносились голоса. С усилием отрываясь от ограды и еще раз взглянув на светящееся окошко гостиницы — последний огонек уснувшего города, юноша стал медленно взбираться на Мейдан, к своему бедняцкому жилищу.

XX

Последним знаком бодрствующей жизни, светившимся в ту ночь над городом, было окошко верхнего этажа, где находилась комната Лотики. Лотика в эту ночь засиделась допоздна за своим заваленным бумагами столом. Как засиживалась двадцать и больше лет тому назад, забежав в свою каморку отдохнуть хоть немного от гама и сутолоки своего заведения. Только теперь внизу темно и тихо.

Не было еще и десяти, когда Лотика удалилась к себе, собираясь лечь спать. Она подошла к окну еще раз вдохнуть речной прохлады и бросить взгляд на последнюю арку моста, которая с извечным постоянством открывалась ей в озарении бледной луны. Тут ей вспомнился какой-то старый счет, и Лотика подошла к столу, чтобы его найти. Но, начав просматривать бумаги, углубилась в дела и, позабыв про время и про сон, больше двух часов провела за столом.

Было уже далеко за полночь, а Лотика, погруженная в расчеты, нанизывала цифры одну на другую и переворачивала страницу за страницей.

Лотика устала. Днем в делах и хлопотах она по-прежнему оживлена, проворна и речиста, но тем чувствительней давит на нее тяжесть прожитых лет и усталости, когда вот так ночью она остается наедине с собой. Лотика сильно сдала. Одни воспоминания сохранились от былой ее красоты. Она похудела и пожелтела лицом, заметно поредели и потускнели ее волосы; а зубы, ослепительные, белые и крепкие, словно градины, повыпадали и потемнели. Взгляд ее по-прежнему блестящих черных глаз был тверд и порой печален.

Лотика устала, но не той благотворной и приятной усталостью напряженных и прибыльных трудов, заставлявшей ее некогда искать минутной передышки и покоя в этой самой комнате второго этажа. Просто подошла старость и настали плохие времена.

Трудно это выразить словами и даже объяснить самой себе, но буквально на каждом шагу ощущала она перемены к худшему, во всяком случае для того, кто печется лишь о своем благополучии и своих близких. Когда три с лишним десятка лет тому назад она обосновалась в Боснии и развернула дело, жизнь казалась ей простой и понятной. Все, как и Лотика, держались тогда семьи и стремились как можно больше заработать. Каждый был на своем месте, и для каждого было место. И для всех был один порядок и один закон — твердый порядок, строгий закон. Таким тогда представлялся Лотике мир. Теперь же все сместилось и перепуталось. Люди разделялись или выдвигались по какой-то совершенно непонятной ей логике. Закон барыша и убытка, прекрасный закон, спокон веков управлявший поступками людей, как бы вдруг утратил силу,— столько теперь делалось, говорилось и писалось, по ее понятиям, бессмысленного и никчемного, могущего принести одни лишь убытки и вред. Жизнь истощалась, мельчала и оскудевала. Похоже, нынешнему поколению их взгляды на жизнь вообще дороже самой этой жизни. Безумие, совершенно ей непонятное, но это было так. И оттого жизнь теряла свою ценность, растрачиваясь на слова. В этом Лотика убеждалась на каждом шагу.

Хозяйственные хлопоты, отарой резвых ягнят, бывало, мельтешившие у нее перед глазами, теперь тяжелым мертвым грузом каменной плиты с еврейского кладбища давили на нее. Вот уже десять лет, как гостиница в упадке. Вокруг города леса сведены, и лесоразработки, отодвигаясь все дальше и дальше, увлекали за собой лучшую Лотикину клиентуру, а вместе с ней уходили и доходы. Бессовестный Тердик, этот наглый плебей, открыв свой пресловутый «дом под тополями», сманил у Лотики изрядное число ее гостей, с циничной прямотой предложив к услугам их то самое, что ни в какие времена ни за какие деньги они не могли получить в ее гостинице. Долго возмущалась Лотика недостойной и позорной конкуренцией и кляла гиблые времена беззакония и произвола, когда нет места честным заработкам. В пылу негодования она обозвала как-то Тердика «сводней». Тот подал в суд, и Лотику приговорили к штрафу за оскорбление личности. Но и по сей день, хоть и с оглядкой на тех, кто был рядом, она его иначе не называла. В новом офицерском собрании был свой ресторан с погребком отличных вин и номерами, где останавливалась вся приличная приезжая публика. Замкнутый и хмурый, но такой, казалось бы, надежный и незаменимый Густав, столько лет проработав в гости-

нице, тоже покинул ее и открыл кофейню на базаре, на самом бойком месте, из недавнего компаньона превратившись в беспардонного конкурента. Певческие общества и всевозможные читальни, пооткрывавшиеся за последние годы, как мы видели, в городе, в свою очередь тоже обзавелись кофейнями и привлекали множество народа.

Нет больше прежнего оживления ни в общем, ни особенно в отдельном зале. Здесь теперь, случается, обедают холостяки-чиновники, читают газеты и пьют кофе. Среди дня в гостиницу заглядывает непременно Али-бег Пашич, молчаливый и преданный друг Лотикиной молодости. Он по-прежнему размеренный и сдержанный в словах и движениях, подтянутый и тщательно одетый, только что совсем седой и погрузневший. Вот уже много лет ему подается кофе с сахарином из-за диабета, которым он давно страдает. Невозмутимый, как всегда, он молча курит и слушает Лотику. И так же молча и невозмутимо в положенное время встает и отправляется домой в Црнчу. Ежедневно здесь бывает и газда Павле Ранкович, сосед Лотики. Давно уж отказавшись от национального костюма, он облачился в «тесное» партикулярное платье, сохранив только плоскую красную феску. Круглые манжеты его рубахи с неизменно накрахмаленной грудью и твердым воротничком, как всегда, исписаны пометками и набросками счетов. Он давно уже выбился в первые среди вышеградских торговцев, но, при всей прочности положения, и у него свои заботы и волнения. Как и всех имущих людей старшего поколения, и его пугало нашествие новых времен с оглушительным натиском новых идей и понятий, мыслей и выражений. Все это совмещалось для него в одном слове «политика». И эта «политика» была тем самым источником негодования и беспокойства, омрачавшим ему последние годы, которые после стольких лет труда, экономии и воздержания надлежало бы провести в довольстве и покое. А он, не желая отрываться или обособляться от своих земляков, в то же время стремился избегать конфликтов с властями, с которыми он всегда предпочитал жить в мире или, по крайней мере, в видимом согласии. Трудно, почти что невозможно этого добиться. Со своими сыновьями и то он не может поладить. Они, как и вся нынешняя молодежь, недоступны его пониманию и кажутся ему просто невменяемыми. (А между тем из выгоды или по слабости за молодежью тянутся и взрослые.) Всем поведением своим, повадками и поступками зеленые эти юнцы словно отметали от себя и начисто предавали забвению то, что не носиться им по горам отпетыми головорезами, а жить в этом самом порядке вещей до самой смерти. Безответственная в словах, поступках и тратах, нынешняя молодежь ела хлеб, нимало не задумываясь над тем, откуда он

берется и, меньше всего занимаясь своим непосредственным делом, говорила, говорила, говорила,— «брехала на звезды», как выражался газда Павле, бранясь с сыновьями.

Неограниченная вольность суждений, безудержная болтовня и жизнь без расчета и расчету вопреки его, не сделавшего за свою жизнь ни одного бездумного нерасчетливого шага, приводили в отчаяние и бешенство. Послушать их да поглядеть, поневоле содрогаешься от непростительного легкомыслия, с каким они вторгаются в самые основы жизни, в ее святая святых. А попросишь объяснения, чтобы убедиться в их правоте и успокоиться, в ответ получишь презрительно и свысока кинутые громкие и смутные слова: свобода, будущее, история, наука, слава, величие. От всей этой зауми по коже пробегает мороз. Вот почему газда Павле так любит посидеть за чашкой кофе с Лотикой. С ней можно обсудить дела и новости на языке проверенного и утвержденного раз навсегда расчета, и близко не подходя к «политике» с опасными громкими словами, все подвергающими сомнению, но ничего не объясняющими и ничего не доказывающими. Говоря, он нередко вытаскивал огрызок неразлучного карандаша,— точно такого же сточенного и измызганного, как и двадцать пять лет тому назад, и подвергал свои слова суду беспристрастных и неумолимых цифр. Припомнится и оживет еще в беседе какой-нибудь давнишний случай или веселая проделка, участники которой по большей части давно уже мертвы, а потом и газда Павле отправится, понурый и задумчивый, в свой магазин на площади. И Лотика остается одна со своими тревогами и расчетами.

Не лучше, чем с доходами от заведения, обстояли у Лотики дела и с биржевыми операциями. В первые годы оккупации довольно было купить любые акции любого предприятия, чтобы быть уверенным в надежном помещении денег и думать лишь о размерах процентов. Но тогда гостиница только открылась, и Лотика не располагала ни достаточными наличными деньгами, ни кредитными возможностями, полученными ею позднее. Когда же у нее появилось и то и другое, положение на рынках совершенно изменилось. Крупнейший экономический кризис конца XIX — начала XX века захватил и Австро-Венгерскую монархию. Подобно пыли на ветру заплясали приобретенные Лотикой бумаги. Она плакала от злости, читая воскресные выпуски венского «Merkur'а» с курсами акций. Весь доход гостиницы, процветавшей в то время, не мог покрыть убытки и заполнить зияющих пустот, образованных общим падением ценностей. Целых два года не могла оправиться Лотика от тяжелого нервного потрясения, которое она тогда перенесла. Она почти помешалась от горя. Не слышала обращенных к ней слов, не думала, что отвечает сама. И, глядя на кого-нибудь

в упор, вместо живого лица видела набранные столбцы «Merkur'a», заключавшие в себе ожидавшее ее несчастье или счастье. Лотика бросилась приобретать билеты лотерей. Раз все на свете игра и воля случая, надо играть до конца. У нее были билеты лотерей всего мира, выпускавшиеся в те времена. Ей удалось приобрести даже четверть большой рождественской испанской лотереи с главным выигрышем на 15 000 000 песет. Она дрожала от страха перед каждым тиражом, плакала над таблицами розыгрышей и молила бога сотворить чудо и послать ей главный выигрыш. Но никогда не выигрывала.

Семь лет тому назад зять Лотики Цалер вместе с двумя состоятельными компаньонами основал в городе новое молочное товарищество. Три пятых основного капитала внесла Лотика. Дело было задумано с размахом. Первые несомненные успехи должны были, по их расчетам, привлечь внимание предпринимателей не только за пределами города, но и за пределами Боснии. Но как раз в то время, когда товарищество переживало начальную стадию развития и роста, разразился аннексионный кризис. И всякая надежда на привлечение свежих капиталов рухнула. При крайней неустойчивости положения в пограничных областях из дела стали уходить вложенные капиталы. Просуществовав два года, товарищество было ликвидировано с полной потерей основных капиталов. Для покрытия убытков Лотике пришлось продать наиболее надежные и ценные акции, вроде акций сараевской пивоваренной К° или тузланской фабрики соды Солвай.

Финансовые незадачи тянули за собой словно на привязи семейные невзгоды и крушения. Правда, одна из двух дочерей Цалера, Ирена, неожиданно удачно вышла замуж. (Приданое дала Лотика.) Но старшая, Мина, осталась дома. Озлобленная замужеством младшей сестры и невезением с женихами, она, до срока записавшись в желчные и раздражительные вековуши, делала поистине невыносимыми домашнее существование и работу в гостинице. Не отличавшийся и в прошлом избытком активности и предприимчивости, Цалер совсем замкнулся и притих и был в своем доме безгласным и благодушным постояльцем, от которого ни пользы, ни вреда. Его болезненная жена Дебора, будучи уже сильно в годах, родила мальчика,— недоразвитого и увечного. Ему уже шел десятый год, но он по сю пору не умел членораздельно говорить и держаться на ногах, только мычал и ползал по дому на четвереньках. Но до того было привязчивым и ласковым убогое это создание, с таким отчаянием цеплялось оно за свою тетку Лотику, любимую им несравненно больше родной матери, что в добавление ко всем своим обязанностям и хлопотам Лотика еще ухаживала и за ним, кормила, одевала и укладывала спать.

И, видя каждый день перед собой этого маленького уродца, Лотика изнывала душой, кляня и скверные дела, и безденежье, не дающее ей возможности отправить ребенка в Вену к знаменитым светилам или в какой-нибудь санаторий, и равнодушие небес, не желающих господней волей исцелить параличных, несмотря на все молитвы и добродетели верующих.

Немало огорчений и разочарований приносили Лотике и подопечные ее из Галиции, обученные или выданные замуж в счастливые времена благополучия. Правда, были среди них такие, которые, обзаведясь семьей, преуспели и сколотили себе состояние.

Лотика регулярно получала от них поздравления и письма, исполненные благодарности и почтения, и отчеты обо всех семейных новостях. Но собственными же ее руками выведенные в люди Апфельмайеры, в свое время получившие образование и пристроенные ее благодеяниями, рассеявшись по чужим городам, заботились только о себе и своем потомстве и думать не хотели о нищих родственниках, во множестве плодившихся и подраставших в Галиции. Как можно скорее полностью и навсегда изгладить из памяти Тернополь с убогой нищетой породившей их среды, из которой им посчастливилось вырваться, они считали едва ли не главным залогом жизненного своего успеха. Самой же Лотике теперь уж не по силам было, отрывая, как когда-то, от себя, ставить на ноги горькую тернопольскую голытьбу. Но не было такого дня, чтобы, вставая и ложась в кровать, ее больно не пронзала мысль о том, что кто-то из ее родных в тернопольском безвестье безвозвратно погрязает в трясину нужды и невежества, столь хорошо знакомую ей самой, всю жизнь отчаянно сопротивлявшейся постыдной бедности.

Однако же и те, кого она вызволила из ничтожества, доставляли ей немало поводов для огорчений и неудовольствия. При этом самые незаурядные из них после первых же успехов, открывавших перед ними прекрасные перспективы, свернули на скользкий и порочный путь. Дочь ее сестры, талантливая пианистка, настояниями Лотики и при ее поддержке окончившая венскую консерваторию, отравилась несколько лет тому назад в пору своих первых и шумных триумфов. Причина осталась неизвестной.

Один из ее племянников — Альберт, надежда семейства и гордость Лотики, блестяще окончил гимназию и университет и лишь как еврей не удостоился отличия «sub auspiciis regis» [1] и королевского перстня, о чем Лотика втайне мечтала. Тем не менее тетка прочила ему, коль скоро, будучи евреем, он не мог быть высокопоставленным чиновником, что более всего отвечало ее честолюби-

[1] Под покровительством короля (*лат.*).

вым притязаниям, карьеру крупного адвоката в Вене или Львове. И в этом видела награду всем жертвам, принесенным ею на алтарь его образования. Но и тут ее постигло жестокое разочарование. Молодой доктор права ушел в журналистику и стал членом социалистической партии, при этом экстремистского ее крыла, занявшего наиболее твердую позицию во всеобщей венской забастовке 1906 года. И Лотике однажды собственными глазами довелось прочесть сообщение венских газет о том, что «в целях очищения Вены от неблагонадежных инородных элементов, из города по отбывании в тюрьме положенного двадцатидневного срока заключения выслан в числе прочих известный еврейский подстрекатель д-р Альберт Апфельмайер». По местным понятиям, это было все равно что объявить человека гайдуком. Несколько месяцев спустя Лотика получила от своего любимого Альберта письмо из Буэнос-Айреса, его эмигрантского пристанища.

В те дни Лотика не находила покоя даже в своей комнатушке. С письмом в руках врываясь к зятю и сестре, она в пароксизме отчаяния яростно потрясала им перед носом Деборы, умевшей только плакать, и гневно взывала:

— Что с нами будет? Что с нами будет, спрашиваю я тебя, когда никто не может самостоятельно сделать ни шага? Стоит убрать руки, и сразу падают. Что из таких людей может получиться? Прокляты мы, прокляты, вот что!

— Gott, Gott, Gott![1] — вздыхала бедняжка Дебора, проливая крупные слезы и не зная, что ответить Лотике. Но Лотика и сама не находила ответа и, сцепляя руки, устремляла взор к небу, но не слезливый, а гневный и яростный.

— Социалистом стал! Со-ци-а-ли-стом! Мало нам того, что мы евреи, так на тебе еще и это! О, великий и единый боже, чем я перед тобой согрешила, что ты так меня караешь? Социалист!

Она оплакала Альберта как покойника и больше никогда о нем не вспоминала.

Спустя три года одна из ее племянниц, сестра известного уже Альберта, удачно вышла замуж в Пеште. Лотика позаботилась о ее приданом и стояла насмерть в нравственной борьбе, вспыхнувшей в связи с этим браком в большом семействе тернопольских Апфельмайеров, богатых лишь детьми и непоколебимыми религиозными традициями. Жених племянницы, богатый биржевик, был христианином, кальвинистом, и непременным условием брака ставил переход невесты в его веру. Родители девушки воспротивились этому, но Лотика утверждала, что в интересах всей семьи надо сбросить кое-что из груза за борт с их переполненного людь-

[1] Боже, боже, боже! *(нем.)*

ми корабля, который немыслимо вести по житейским волнам, не лавируя. Она встала за девушку горой. И слово Лотики оказалось решающим. Девушка крестилась и венчалась. Лотика надеялась с помощью вновь обретенного зятя ввести в пештские деловые круги еще кого-нибудь из подрастающего поколения племянниц и племянников. Но злой судьбе угодно было, чтобы богатый биржевик умер на первом году брака. Молодая жена потеряла рассудок от горя. Время шло, но она не поправлялась. И вот уже четвертый год, как жила молодой вдовой в Пеште, преданная пездоровой скорби, схожей с тихим помешательством. Просторные богатые покои в ее доме и поныне затянуты черным крепом. А сама она ежедневно отправляется на кладбище и, часами сидя у могилы мужа, тихо и самозабвенно читает ему свежие сводки биржевых курсов. На все попытки отвратить ее от этого и вывести из летаргии она спокойно возражала, что чтение биржевых сводок было любимейшим занятием покойного и самой сладкой для него музыкой.

Вот сколько разных человеческих судеб собралось в тесной маленькой комнатке! Сколько расчетов, сомнений и навсегда утраченных и списанных граф в сложной и разветвленной бухгалтерии Лотики! Но принципы ведения дел остались прежними. Лотика устала, но не сдалась. И при очередном поражении и неудаче только еще злее стискивала зубы и продолжала отбиваться. Последнее время она только и делала, что оборонялась, но и в обороне была столь же неотступна и целенаправленна, как некогда, когда дела шли в гору. У себя в гостинице она «глава дома», для всего города — «тетушка Лотика». Много еще людей и здесь, и по всему свету ждет ее помощи, совета или хотя бы доброго слова, не помышляя при этом о том, что, может быть, она сама устала. А она действительно устала; устала так, как никто и представить себе не мог, устала больше, чем сознавала сама.

Маленькие деревянные ходики на стене пробили час. Держась за поясницу, Лотика тяжело поднялась. Осторожно потушила большую зеленую лампу на деревянной подставке и, дав себе поблажку в этот поздний час ночного одиночества, мелким старческим шагом пошла к постели.

Над спящим городом сомкнулась темнота.

XXI

И, наконец, настал год 1914, последний в летописи дринского моста. Неспешной поступью земного времени подошел он в свой срок, как и все предыдущие годы, сопровождаемый отдаленным гулом наката опережающих друг друга невиданных событий.

Столько ниспосланных всевышним лет пролетело над городом у моста и скольким предстояло еще пролететь! Но в пестрой череде минувших и грядущих лет 1914 год навек будет стоять особняком. По крайней мере, в представлении тех, кто его пережил. Сколько бы о нем ни спорили и ни писали, им казалось невозможным — по недостатку средств, а может быть, и мужества — выразить словами то, что приоткрылось им тогда в глубинах человеческой судьбы за временным и преходящим. Кто (так полагали они!) сумеет передать лихорадочный озноб, потрясший людские массы и перешедший затем с живых существ на неодушевленные предметы, края и сооружения? Как описать падения и взлеты людей от немого животного ужаса до самоотверженного героизма, от низменного кровопийства и грязного разбоя до величайших подвигов святой самоотдачи, превозмогшей личное «я» и на мгновение приобщающей смертного к сфере высших миров с иными законами? Нет, никогда этого не высказать словами, ибо тот, кто выжил, видев это, лишился дара речи, а мертвые говорить не умеют. Про это не рассказывают, об этом забывают.

Иначе как могло бы повторяться это вновь?

Тем летом 1914 года, когда вершители человеческих судеб с игровой площадки всеобщих равных избирательных прав перевели европейские народы на заранее подготовленный плац всеобщей воинской повинности, наш город являл собой миниатюрный, но выразительный пример первых симптомов заболевания, ставшего впоследствии общеевропейским, а затем и общемировым. Это был рубеж исторических эпох, когда гибель одной, доживавшей свой век, несравненно явственней, чем начало второй, открывалась взорам с границы раздела. Насилию в эту пору еще искали оправданий и, заимствуя их из духовной ризницы прошлого, находили названия для зверств. В обманчивой дымке внешней благовидности происходящее еще обладало прелестью новизны, той жутковатой, мгновенной и неизъяснимой прелестью, от которой вскорости не осталось и следа, так что даже тот, кто так живо ее когда-то ощутил, не мог воскресить ее в памяти.

Но обо всем об этом мы здесь упоминаем лишь вскользь, поэты и ученые грядущего еще исследуют это, изобразят и истолкуют, используя методы и средства, недоступные нам сейчас, и с той ясностью свободного и смелого духа, которая далеко превышает наши возможности. Им, надо полагать, удастся найти объяснение этому удивительному году и определить его истинное место в истории мира и развитии человечества. Для нас же, в этой повести, он прежде всего и только год, оказавшийся роковым для моста на Дрине.

В воспоминаниях жителей этих краев лето 1914 года останется самым отрадным и светлым из всех до сих пор пережитых, ибо

оно сверкает и переливается всеми красками на мрачном необъятном горизонте страданий и горя.

Поначалу оно — это лето — и вправду обещало быть счастливей многих прежних. Слива уродилась как никогда, хлеба задались на славу. И людям вдруг забрезжила надежда после невзгод и треволнений последнего десятилетия поправить хоть немного пошатнувшиеся за последнее время дела в затишье безбедного года. Самой трагической и жалкой из слабостей, присущих человеческому роду, несомненно является полная его неспособность к предвидению, столь резко противоречащая всем прочим многочисленным его дарованиям, способностям и познаниям.

Счастливое сочетание солнечного тепла и влаги благоприятствовало началу этого поразительного года, когда во всю свою ширь вышеградская долина затрепетала от избытка жизненных сил и неудержимого стремления к воспроизводству. Вспучилась земля, и все, что в ней было живого, набухло, взошло, оделось листьями, распустилось, зацвело и уродило сторицей. Простым глазом можно было различить над каждой бороздой, над каждым кустом голубоватую дымку парящего дыхания плодородия. Расставив ноги, едва тащили козы и коровы свое тяжелое вымя, набрякшее от прилива молока. Белуга — рыба, в начале лета ежегодно косяками приходившая в низовья Рзава на нерест, в этот раз прибыла в таком множестве, что ребятишки зачерпывали ее ведерками на мелководье и выбрасывали на берег. Пористый камень моста и тот, как живой, отпотел и налился прибывшей вдруг мощью и щедростью, той самой, что неудержимо рвалась из земли, горячей радостью заливая округу, учащая дыхание в груди и порождая буйство всякого произрастания.

Нечасто в вышеградской долине случается такое лето. Когда же выпадает такое, люди забывают все прежние свои невзгоды и, не помышляя о новых, могущих еще прийти, живут утроенной жизнью этой долины, благословенной благодатью плодородия, и сами сливаясь с природой в этой ее игре прибывших соков, влаги и тепла.

Тут даже и крестьянин,— а у него повод к жалобе вечно найдется,— вынужден отдать должное удачному началу лета, не преминув при этом каждое свое одобрительное слово сдобрить оговоркой, что, «мол-де, если так пойдет и дальше...». С неистовой алчностью пчел и шмелей, страстно вонзающихся в чашечку цветка, кидается на промысел вышеградский коммерческий люд. Растекаясь по округе, скупает под задаток зерно на корню и сливу в завязи. Смущенный наплывом лукавых покупателей, как и небывалым урожаем, крестьянин мнется возле сливы, что и теперь уже сгибается под тяжестью плодов, или у края волнующейся

нивы и под напором горожанина теряет необходимую сдержанность и осторожность. Однако и той, что есть, довольно для того, чтобы придать его физиономии то выражение напряженной озабоченности, которое, подобно брату-близнецу, сродни печальной маске на крестьянских лицах в лихие годы недорода.

К городским тузам, что посолидней и покрепче, крестьяне стекаются сами. В базарный день жаждущие займа осаждали лавку газды Павле Ранковича. Как и лавку Санто Папо, давно уже ставшего первым среди вышеградских евреев. (Несмотря на учреждение банков и возможность получения кредита по ипотеке, крестьяне, в особенности люди старого покроя, предпочитают одалживать старинным испытанным способом у тех же самых городских торговцев, у которых они покупали товар и у которых занимали их отцы.)

Лавка газды Санто одна из самых основательных и видных в вышеградских торговых рядах. Прочной каменной кладки, с толстыми стенами и полом, мощенным каменными плитами. Тяжелые двери и ставни окованы железом, высокие, узкие окна забраны густыми и массивными решетками.

Передняя его часть — торговый зал. Глубокие деревянные полки вдоль стен заставлены эмалированной посудой. К невероятно высокому потолку, терявшемуся в темноте, подвешены товары полегче: фонари всевозможной величины, джезвы для варки кофе, клетки, мышеловки и прочая плетеная из проволоки утварь. Все это гроздьями свисает с потолка. Ближе к длинному прилавку высятся наставленные друг на друга ящики с гвоздями, мешки с цементом, гипсом и разными красками; мотыги, лопаты и кирки без ручек, нанизанные на проволоку тяжелыми ожерельями. Углы занимают большие жестяные бидоны с керосином, скипидаром и олифой. Здесь и летом прохладно, и в полдень сумрачно.

Основная часть товаров хранится в пристроенном за лавкой помещении, куда ведет железная дверца. Здесь держат тяжелую справу: железные печки, шины, траверсы, лемехи, ломы и другой громоздкий инвентарь. Сложенный грудами, он оставляет лишь узкие проходы, пролегающие как бы между высокими стенами. Здесь царство вечного мрака, и без фонаря сюда не входят.

Промозглый и едкий дух металла и камня, не поддающийся ни сквознякам, ни воздействию тепла, исходит от стен, каменного пола и нагромождения скобяных изделий. Румяных и шустрых мальчишек-подсобных за несколько лет этот дух превращал в неразговорчивых, одутловатых, бледных, но при этом дошлых, неуступчивых и бессменных приказчиков. Он, безусловно, был вреден и поколениям владельцев, но впитывался ими как нектар, благоухающий доходной собственностью и верными барышами.

Человек, сидевший в настоящее время в передней части сумрачного и прохладного лабаза за столиком с громадой стальной кассы марки Вертгейм, ничуть не походил на того безудержного, порывистого Санто, который с такой лихостью кричал лет тридцать назад: «Рому для Кривого!» Годы и работа изменили его. Он погрузнел, обрюзг и пожелтел лицом; темные круги, спускаясь к середине щек, залегли под глазами; зрение ослабло; из-за толстых стекол очков в металлической оправе строго и испуганно глядели его выпученные черные глаза. Феска вишневого цвета — последняя примета ушедших в прошлое турецких одеяний,— и по сей день красовалась у него на голове. Отец Санто, Менто Папо, маленький, белый как лунь старичок, в свои восемьдесят с лишним лет держался молодцом, только вот зрение подвело. В солнечную теплую погоду старый Менто любит завернуть в лабаз. Слезящимися глазами, готовыми как бы вот-вот расплыться за толстыми лупами очков, оглядев сына у кассы и внука за прилавком и втянув ноздрями дух лабаза, он полегоньку поворачивал к дому, опираясь правой рукой на плечо десятилетнего правнука.

У Санто шесть дочерей и пять сыновей, по большей части замужних и женатых. У старшего сына Рафо и у самого уже взрослые дети, и он работает вместе с отцом в лабазе. Один из Рафиных сыновей, названный в честь деда, учится в сараевской гимназии. Бледный, близорукий, стройный юноша, в восьмилетнем возрасте прекрасно декламировавший стихи Змая-Йовановича на всех школьных праздниках, в учении успевает слабо, не любит ходить в синагогу так же, как и помогать в каникулы в дедовской лавке и грозится сделаться артистом или еще какой-нибудь такой же необыкновенной знаменитостью.

Итак, согнувшись над большим, видавшим виды, засаленным гроссбухом с алфавитным реестром, сидит в своей лавке газда Санто, а перед ним на порожнем ящике из-под гвоздей примостился Ибро Чемалович, крестьянин из Узваницы. Санто вычисляет, сколько в общей сложности должен ему Ибро и сколько сообразно с этим и на каких условиях ему можно выдать еще под новый урожай.

— Синкуэнта, синкуэнта и очо... Синкуэнта и очо, сиэиента и трес...[1] — шепчет, вычисляя, хозяин Санто по-испански.

Крестьянин с напряженным ожиданием следит за операциями Санто, как будто речь идет не о расчете, даже и во сне с точностью до последнего гроша хранимом им в уме, а о каком-то вражьем колдовстве. Услышав от газды Санто окончательно подведенный итог с процентами, крестьянин непременно и только

[1] Пятьдесят, пятьдесят восемь... пятьдесят восемь, шестьдесят три *(исп.)*.

ради выигрыша времени, позволяющего ему сопоставить свой собственный расчет с результатом своего заимодавца, недоверчиво процедит сквозь зубы: «По-твоему выходит, значит, так?»

— Так, Ибро, и никак иначе,— ответит Санто своей освященной временем формулой, неизменно употребляемой им в подобных случаях.

После того, как по взаимному согласию сторон уладился вопрос со старым долгом, крестьянину, казалось бы, не оставалось ничего другого, как назвать сумму вновь испрашиваемого займа, а Санто объявить свои возможности и требования. Но тут, однако, дело осложнялось и затягивалось. Между ними начинался разговор, во всех подробностях своих напоминавший тот, что пять десятков лет тому назад вот так же перед жатвой на этом самом месте вел с Менто, отцом Санто, отец этого самого Ибро из Узваницы. И так только и мог на гребне пустых околичностей, ненужных и как бы даже бессмысленных, выйти на поверхность настоящий и главный предмет разговора. Непосвященный человек, прислушавшись со стороны к их разговору, не сразу догадался бы о том, что речь идет о займе и деньгах. О них в нем долго не было ни звука.

— Слива нынче у нас задалась и всякий прочий фрукт, как ни в одном другом уезде,— говорит Санто,— давно такого года не бывало.

— И то сказать, неплохо задалось, благодарение богу; если аллаху угодно будет и дальше так продержать, будет у нас и хлеба и плодов; уж тут ничего не скажешь. Только кто тому цену узнает,— неопределенно тянет крестьянин и, разглаживая пальцем шов своих грубых суконных зеленых штанов, поглядывает исподлобья на Санто.

— Теперь, конечно, неизвестно, а вот снесешь в Вышеград и узнаешь. Недаром говорится: цену назначает хозяин.

— Оно, понятно, так. Если только, бог даст, и дальше так продержится и вызреет,— снова оговаривается крестьянин.

— Это уж дело известное, что без божьей воли не уберешь и не пожнешь; как ты ни дыши над посевом своим, а если нет божьего благословения, никакого прока не будет,— в свой черед замечает газда Санто, воздевая руку вверх, к высокому черному потолку с висящими под ним снопами жестяных деревенских фонарей всевозможных размеров и прочей мелкой утвари, откуда, по всей видимости, и должно было снизойти то самое благословение.

— Не будет прока, верное твое слово, не будет,— вздыхает Ибро.— Бывает, посадишь, посеешь, а все равно, истинным богом клянусь, что пустишь по воде: и окучиваешь, и поливаешь, и обрезаешь, и рыхлишь. И все впустую! Если не судьба, не видать тебе

прибыли от твоих трудов. Ну, а если, бог даст, нынешний год урожай доспеет, нечего таить, как-нибудь и старые долги наш брат покроет, и в новые влезет. Только бы здоровья бог послал!

— Да, здоровье прежде всего. Со здоровьем ничего не сравнится. Уж такое человек создание пустое: все ему дай, а здоровье отними — и словно ему и не давал ничего,— убежденно подтверждает газда Санто, окончательно переключая разговор на эту тему.

Воззрениями своими на здоровье, своей общеизвестностью и самоочевидностью ничуть не уступающими взглядам Санто, спешит поделиться и крестьянин. Разговор грозит растечься в бессодержательности общих мест. Но в какой-то решительный миг по канонам старинных традиций он возвращается к своей исходной точке. И наконец вплотную приступают к соглашению о новом займе, его сумме, процентах, сроке и условиях погашения. То оживленное, то приглушенное и озабоченное, долго длится объяснение, но в конце концов дело слаживается и сделка заключается. Санто встает, вытаскивает из кармана ключи на цепочке и, не снимая с цепочки ключа, отмыкает кассу, и она, скрежетнув, открывается с величавой торжественностью всякой уважающей себя кассы и затворяется затем с деликатным металлическим придыханием, подобным легкому вздоху. И так же торжественно, с суровой и как бы прискорбной придирчивостью вплоть до последнего геллера отсчитывает Санто крестьянину деньги. И восклицает после, оживившись и повеселев:

— Ну как, порядок, доволен ты, Ибрага?

— Порядок, благодарствуй,— отвечает в раздумье тихим голосом крестьянин.

— Ну, дай бог тебе прибытка и удачи! В согласии и добром здравии встретимся еще, бог даст, не раз,— говорит Санто, окончательно повеселев и взбодрившись. И посылает внука заказать хозяину кофейни напротив два кофе — «один горький и один с сахаром».

А следующий крестьянин, томимый теми же нуждами и надеждами, дожидался уже своей очереди перед лавкой.

Густое, знойное дыхание грядущего небывало урожайного лета вместе с крестьянами и расчетами их на сбор плодов и злаков проникало в сокровенные глубины лавки Санто. Зеленая стальная касса покрывалась испариной, а Санто указательным пальцем раздвигал пошире ворот у своей оплывшей жиром, желтой, мягкой шеи и протирал платком отпотевшие стекла очков.

Таким было преддверие этого лета.

Но и его благословенный небосклон омрачила с самого начала зловещая и пугающая тень. Ранней весной того года в Уваце, маленьком местечке на бывшей турецко-австрийской, а ныне серб-

ско-австрийской границе, вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Район был пограничный, а так как и в самой жандармской казарме было два случая заболевания тифом, военный вышеградский врач д-р Балаш с санитаром и медикаментами выехал в Увац. По приезде доктор предпринял срочные меры для полной изоляции больных и взял на себя контроль над уходом за ними. Благодаря его опеке из пятнадцати заболевших скончалось только двое, эпидемия не получила распространения и очаг ее был погашен в зародыше. Последним заболевшим был сам д-р Балаш. Необъяснимость заражения, скоротечное развитие усугубленной осложнениями болезни и внезапная смерть — все это носило на себе печать невыразимой трагичности.

Ввиду опасности распространения инфекции молодого врача надлежало похоронить в Уваце. Госпожа Бауэр с мужем и еще несколько офицеров присутствовали при погребении. Госпожа Бауэр распорядилась воздвигнуть на могиле памятник из грубо отесанного камня и сразу после этого покинула и мужа, и здешние края. В Вышеграде говорили, будто она уехала в какой-то санаторий под Веной. Вернее, об этом перешептывались городские девицы, а публика солидная, едва миновала опасность инфекции и был снят карантин, забыла и доктора и полковницу.

Необразованные и неискушенные юные наши горожанки не знали хорошенько, что значит слово «санаторий», зато прекрасно знали, что значит бродить неразлучной парой по тропинкам и склонам, как до недавних пор бродили доктор и жена полковника. И, употребляя иностранное слово «санаторий» в доверительных своих девичьих откровениях о несчастной чете, любили рисовать его себе таинственным, далеким и печальным приютом прекрасных и грешных женщин, искупающих там свою запретную любовь.

Тем временем сверкающее лето неслыханного изобилия пышно цвело и наливалось соками над холмами и долинами, окружающими город. Освещенные окна офицерского собрания над рекой по вечерам, как и прошлым летом, держались открытыми настежь, только не лились из них теперь звуки рояля и скрипки. За своим обычным столиком, в обществе нескольких офицеров постарше, сидел полковник Бауэр, благодушный, улыбчивый, взмокший от летней духоты и красного вина.

В воротах теплыми ночами засиживалась, распевая песни, молодежь. Близился конец июня, и в городе, как обычно летом, ожидали приезда гимназистов и студентов. В такие ночи с высоты ворот казалось, будто время остановилось, а жизнь течет и бурлит, щедрая и легкая, не зная конца и края.

На главных улицах теперь светло и ночью, ибо с весны этого года город получил электрическое освещение. Год тому назад у

реки в двух километрах от города выросла электрическая лесопильня, а возле нее фабрика по переработке отходов хвойной древесины на скипидар, а также канифоль. По соглашению с городской общиной фабрика подрядилась от своей станции снабжать электроэнергией и городские улицы. Так канули в прошлое зеленые фонари с керосиновыми лампами, а с ними вместе и долговязый Ферхад, чистивший и зажигавший их когда-то. Главная улица, пересекавшая город из конца в конец от моста до новых кварталов, освещалась большими лампами белого молочного стекла, а боковые улочки, ответвлявшиеся от нее направо и налево, петляя по Быковацу или взбираясь на Мейдан и Околиште, довольствовались обыкновенными из простого стекла. В обрамлении нанизанных цепочек светящихся огней залегали неправильные пятна темноты. Это были дворы или обширные сады, раскинутые по склонам.

В одном из таких садов сидели в темноте учительница Зорка и Никола Гласинчанин.

Размолвка, происшедшая между ними прошлым летом, когда в каникулы здесь объявился Стикович, длилась долго, почти до Нового года. В канун его, как и каждую зиму, в Сербском собрании началась подготовка к празднику дня св. Саввы с концертом и спектаклем. В ней принимали участие Зорка и Никола. Как-то, возвращаясь с репетиции домой, Зорка и Никола впервые заговорили за все время ссоры. Сначала это был высокомерно-выжидательный обмен отдельными словами. Но по молодости лет самые жестокие любовные раздоры им были милее угрюмой отчужденности без надежд и волнений любви, и они продолжали видеться и говорить. В процессе бесконечного выяснения отношений они и помирились, сами не заметив как. А теперь под покровом летней ночной темноты встречались уже постоянно. Тень Стиковича еще нет-нет и вставала между ними, вздувая снова безысходный старый спор, но это больше не разъединяло их, не отделяло друг от друга, а наоборот, сближало все сильнее с каждым новым примирением.

Сидя сейчас в теплой темноте на старом повалившемся ореховом стволе, увлеченные потоком своих мыслей, они смотрели на россыпь мелких и крупных городских огней внизу у глухо шумящей реки. Долго говоривший перед этим Гласинчанин только что умолк. Зорка, не проронив звука за весь вечер, по-прежнему молчала, как это умеют только женщины, занятые про себя разбором своих сердечных дел, которые для них превыше и важней всех прочих дел на свете.

Год назад в эту самую пору появился Стикович, и ей показалось, что она на пороге райского блаженства вечной любви, где

общность желаний и мыслей, гармония взаимных чувств обладают сладостью поцелуя и продолжительностью человеческой жизни. Но эта иллюзия длилась недолго. Сколь ни была она неопытной и ослепленной, все же и она не могла не заметить того, что этот человек охладевает так же быстро, как воспламеняется, следуя каким-то своим внутренним законам, не связанным ни с ней, ни с тем, что она считала неизмеримо более значительным и важным, чем они оба. И уехал он почти не попрощавшись. Девушка осталась в горьком недоумении, страдая от него, как от тайной язвы. Присланное им письмо изысканностью слога являло собой подлинный образчик эпистолярного искусства, но отличалось адвокатской умеренностью и прозрачностью пустого стеклянного сосуда. В нем об их любви писалось так, как будто бы они уже сто лет спят в земле — каждый в своей могиле, вкушая праведный покой. На ее непосредственное, теплое письмо, посланное в ответ, пришла открытка. «Раздираемый тяготами бесчисленных дел и обязанностей, думаю о тебе, о, моя блаженная вышеградская ночь, исполненная мерного гула реки и аромата невидимых трав!» И это все. Тщетно пыталась Зорка в своих воспоминаниях отыскать какой-нибудь намек на этот мерный гул реки и аромат невидимых трав. Напрасный труд. Ничего подобного она решительно не помнила, как, видимо, он не помнил того, что было между ними. И черная тоска овладевала Зоркой при мысли, что она обманута и обманулась, и она опять призывала на помощь себе самые немыслимые и невероятные доводы. «Он непонятен нам и чужд, эгоистичный, своенравный, холодный рационалист,— внушала себе Зорка,— но, может быть, все незаурядные люди таковы?» Во всяком случае, все это больше напоминало пытку, чем любовь. И по тому, как в самой потаенной глубине своего существа она, раздавленная, корчилась от боли, Зорка понимала, что на нее одну пало тяжкое бремя вызванного им чувства, в то время как сам он ускользал от нее, растворяясь в туманной дымке, назвать которую ее истинным именем у нее недоставало сил. Потому что влюбленная женщина, и потеряв последнюю надежду, продолжает любить свое чувство, словно нерожденное дитя. Скрепясь сердцем, она оставила открытку без ответа. Но после бесконечного двухмесячного молчания получила вторую. Он писал ей откуда-то с Альп. «На высоте двух тысяч метров, окруженный разноязычной и разноплеменной толпой, озирая беспредельные просторы, я думаю о тебе и о прошедшем лете». Этого было довольно и для ее наивной неискушенной юности. Если бы там было сказано: «Ни раньше, ни теперь я тебя не любил и никогда не полюблю»,— ей не стало бы ни понятней, ни больнее. Ведь главное-то было в любви, а не в далеких воспоминаниях и не в том, с какой высоты над

уровнем моря и в окружении каких народностей и наречий пишут тебе письмо. Но любви-то и не было!

Круглая сирота, Зорка выросла в городе в доме родственников. И, получив место в Вышеграде после окончания Сараевского педагогического училища, вернулась снова к ним, людям простым и состоятельным, но совершенно ей далеким.

Зорка побледнела, осунулась, замкнулась в себе, но так и не открылась никому и не ответила на его рождественское поздравление, столь же лаконичное, сухое и безукоризненное стилистически, как и предыдущие его послания. Она хотела сама с собой, без чьей-либо поддержки и утешения разобраться в своем позоре и своей вине, но, слабая, надломленная, юная, несведущая и неискушенная, запутывалась все сильнее в тенетах, сотканных неумолимой правдой и страстной мечтой, ее раздумьями и его бездушным и необъяснимым поведением. Если бы она доверилась кому-нибудь, если бы она спросила у кого-нибудь совета, ей было бы, конечно, легче, но стыдливость не позволила ей это сделать. И так-то ей нередко мерещилось, что весь город знает о ее падении и что злорадные и глумливые взгляды испепеляют ее, когда она идет по улицам. И нигде не найти объяснения — ни у людей, ни в книгах. А сама она не может ни в чем разобраться. Если он ее и правда не любит, к чему тогда была прошлогодняя комедия страстных уверений и речей? И чем, как не одной только любовью и может быть очищено и ограждено от ужаса невыносимого унижения то наваждение на школьных партах? Возможно ли, что есть на свете люди, столь мало уважающие себя и других, чтобы с легкостью пускаться в такую игру? Что, если не любовь, толкает их на это? И чем были тогда его пылкие взгляды, прерывистое, жаркое дыхание и бурный порыв поцелуев? Что это, если не любовь? Нет, не любовь! Ей это ясно, слишком ясно. Хотя она и не может примириться с этим полностью и до конца. (А разве кто-нибудь когда-нибудь мог?) Логическим завершением душевных ее мук явилась мысль о смерти, неизменно витающая над конечными рубежами наших снов о счастье. «Умереть,— думала Зорка,— сорваться с моста в реку, как бы случайно, без письма и прощания, без признания и унижения». «Умереть»,— думала она в последние секунды перед сном и первые после пробуждения, в разгар оживленной болтовни под маской улыбок и смеха. И все твердило в ней и повторяло одно и то же слово — умереть! умереть! — но между тем она не умирала, а жила, неотделимая от этой страшной мысли.

Облегчение пришло к ней оттуда, откуда она менее всего смела его ожидать. С приближением рождественских каникул тайные терзания Зорки достигли крайнего предела. Неразрешимые и безысходные, они подтачивают человека сильней, чем самая же-

стокая болезнь. Разительные перемены, происшедшие с девушкой, не укрылись от окружающих, и ее родные, и директор школы, сердечный человек, обремененный множеством детей, и подруги — все в один голос посылали Зорку к докторам.

Счастливый случай захотел приурочить как раз к тем дням начало праздничных приготовлений, и после многих месяцев молчания Зорка в первый раз снова заговорила с Гласинчанином. До этого он всячески старался ее избегать. Но атмосфера дружественности и тепла, обычная для простодушных репетиций любительских провинциальных вечеров, и светлая прохлада ночей, когда они расходились по домам,— все это вместе способствовало сближению двух разлученных. Ее влекло к нему желание найти сочувствие, его к ней — сильная, глубокая любовь, умеющая так легко прощать и забывать.

Первые слова их и первые их объяснения были презрительно-высокомерны и холодно-язвительны. Но даже и они приносили Зорке облегчение. Наконец-то обрела она возможность излить живой душе всю скорбь своего невысказанного горя, не касаясь при этом сокровенных и постыдных подробностей. Горячее витийство Гласинчанина на этот счет деликатно и чутко щадило ее гордость. Даже говоря о Стиковиче, он избегал резкостей, выходящих за рамки неизбежного. Как некогда в воротах на мосту, Никола и сейчас дал ему точную характеристику. Сжатую, четкую и беспощадную. Чудовищное порождение эгоизма, Стикович не способен кого-нибудь любить и обречен до конца своих дней, терзаясь и мучаясь сам, мучить близких, попавших в его обольстительные сети. О своей любви Гласинчанин редко говорил, но она сквозила в каждом его слове, в каждом взгляде, в каждом жесте. Девушка обычно молча слушала его. Всем существом своим она жадно впитывала отраду его слов. И каждый раз умиротворялась и прояснялась душой. Впервые после стольких месяцев страданий она могла воспользоваться часом передышки от бушевавшей внутри ее бури, впервые получила право восстановить в собственных глазах свою поруганную честь. Почтительно-любовная взволнованность слов юноши доказывала ей, что не все еще погибло безвозвратно и что отчаяние ее такое же заблуждение, как и ее любовный прошлогодний сон. Вызволяя из плена черной бездны, уже готовой ее поглотить, речи Гласинчанина снова обратили Зорку к простой человеческой жизни, где всему или почти всему находится лекарство и утешение.

Не прекращались их беседы и после празднования дня св. Саввы. Миновала зима, а за ней и весна. Молодые люди встречались ежедневно. И, уступая здоровому зову юности, на глазах оживала и хорошела, неузнаваемо расцветая, девушка. Так подо-

шло тревожное и благодатное лето. Гласинчанин с Зоркой давно уже считались влюбленной парой.

Правда, теперь нескончаемые рассуждения Гласинчанина, целительный бальзам, которому она, вся обратившись в слух, так жадно внимала недавно, мало занимали Зорку. Ее тяготила порой его пазойливая страсть к взаимным излияниям и исповедям. Озадаченная и смущенная интимной доверительностью установившихся между ними отношений, Зорка, как добросовестный должник, подавляла досаду и старалась возможно внимательней слушать его, помня о том, что зимой он был ее «душеспасителем».

В летней ночной темноте он, как всегда, прикрыл своей ладонью ее руку (предел его целомудренной дерзости). И теплое богатство ночи от этого прикосновения тотчас же сообщилось и ему. С новой силой его потрясло сознание того, как дорога ему сидящая с ним рядом женщина, одним присутствием своим способная преобразить всю горечь неудавшейся его жизни кипением плодоносных сил, достаточных для того, чтобы привести их к самой возвышенной цели, если только взаимная любовь будет служить им поддержкой и опорой.

Под наплывом переполнявших его чувств в этой темноте Гласинчанин уже не тот, что был днем, мелкий, заурядный служащий вышеградской фирмы, а человек вполне уверенный в себе, независимо и дальновидно управляющий своей судьбой, могуществом всепоглощающей, самоотверженной, пусть даже и неразделенной любви перед ним открываются горизонты, возможности и пути, неведомые и навсегда закрытые натурам, может быть, и более блестящим, но ослепленным чванством себялюбия.

Он говорил сидящей рядом девушке:

— Думаю, я тут не ошибаюсь. Если и не почему другому, то хотя бы потому, что тебя я не мог бы обмануть. Пока одни разглагольствуют и несут всякий бред, а другие в поте лица наживаются, я наблюдаю и анализирую и уверяюсь все сильнее, что тут жизни нет. И долго еще не будет ни мира, ни порядка, ни полезной деятельности. И никакие Стиковичи и Хераки их не создадут. Наоборот, будет только хуже. Отсюда надо бежать, как из грозящего рухнуть дома. Бесчисленное множество растерянных спасителей, что вертятся тут под ногами на каждом шагу, есть лучшее доказательство, что мы идем навстречу катастрофе. И если ее невозможно предотвратить, надо хотя бы спасаться.

Девушка молчала.

— Я никогда еще не говорил тебе об этом, но много думал, а кое-что и сделал. Ты знаешь, вероятно, что Богдан Джурович, мой друг с Околиште, вот уже третий год в Америке. Мы с ним с прошлого года переписываемся. Я тебе показывал его фотогра-

фию, которую он мне прислал. Он зовет меня к себе и обещает постоянную работу и хороший заработок. Понятно, дело это непростое и нелегкое, но все же, как мне кажется, осуществимое. Я уже давно продумал все и рассчитал. Прежде всего я продаю свой дом на Околиште со всем хозяйством. Затем, если ты согласна, мы с тобой сейчас же обвенчаемся и, никому ни словом не обмолвясь, отправляемся в Загреб. В Загребе имеется компания по отправке в Америку переселенцев. Там мы ждем один-два месяца визу от Богдана. И учим тем временем английский. В случае затруднений из-за моей воинской повинности, перебираемся в Сербию и выезжаем оттуда. Я постараюсь сделать все, чтобы ты ни в чем не нуждалась. А там, в Америке, мы вместе стали бы работать, и ты и я. Там много наших школ и везде нужны учителя. И я тоже найду себе работу, ведь там перед людьми открыты все возможности. Мы были бы свободны и счастливы. Все это я берусь устроить, если только ты... если только ты согласна.

Молодой человек замолчал. Она вместо ответа накрыла его руку своей. Он ощутил в этом безмолвный знак признательности. Но на словах она была уклончива и не хотела связывать себя ни обещанием, ни отказом. Поблагодарив его за участие и заботу, за его бесконечную доброту и к ней же взывая, девушка просила дать ей месяц для окончательного ответа,— месяц, оставшийся до завершения учебного года.

— Спасибо, спасибо тебе, Никола! Ты такой добрый,— шептала Зорка, сжимая его руки.

Снизу от ворот до них доносились звуки песен. Местной вышеградской молодежи вторили уже, быть может, гимназисты из Сараева. Еще каких-нибудь пятнадцать дней, и в город приедут студенты из университетов. А до тех пор она не в силах припять какое бы то ни было решение. Как это все ей тяжело, как мучительна для нее его доброта, но в этот миг она и под угрозой страшной казни не могла бы вымолвить «да». Она ни на что не надеется, только бы увидать еще раз того, кто «не способен никого любить». Еще один раз, а там будь что будет. А Никола, она знает, подождет.

Они поднялись и крутой дорогой, рука об руку, медленно стали спускаться к мосту, навстречу доносившейся песне.

XXII

На Видовдан сербские общества устроили, как каждый год, гулянье на Мезалинском лугу. Здесь, у слияния двух рек, Дрины и Рзава, на высоком зеленом берегу под кронами густых орехов,

раскинулись питейные палатки, а перед ними в тихом пламени жаровен на вертелах уже румянились барашки. Семьи, принесшие с собой обед, расположились в тени. Под навесом из зеленых веток вовсю играла музыка. На утоптанном лугу с утра кружилось коло. Плясали самые беспечные и молодые, сейчас же после службы в церкви пришедшие сюда, на Мезалинский луг. Большое общее гулянье начнется после полудня. Но коло и теперь уже лихое и задорное, погорячей того, что будет после, когда его красивый строй разбавится замужними женщинами, неугомонными вдовцами и несмышленой детворой и понесется галопом, беспорядочной цепью. Пока еще в его овальном обруче преобладают парни, и огневое коло их летит, летит, как брошенное в воздух ожерелье. И все вокруг них летит и кружится, сливаясь с ритмом музыки: и небо, и пышные кроны деревьев, и белые летние облака, и быстрые воды двух рек. Плывет кругами земля под танцорами и вертится с ними, и им только надо поспеть за этим стремительным общим вращением. Молодые парни с разбегу с дороги врезаются в цепь. Девушки выжидательно медлят, присматриваясь к танцу и как бы про себя отсчитывая такт до некоего неслышного удара, дающего им знак вскочить, пригнувшись, в хоровод, как в холодную воду. Мощная пульсация земли от разомлевшей почвы сообщается ногам и разливается по цепи взмокших рук, неразрывно связывая танцоров в единое существо, разгоряченное одной кровью, захваченное единым движением. Молодые парни, побледнев и раздувая ноздри, пляшут, чуть откинувшись назад, девушки, алея пунцовыми щеками, стыдливо опускают взоры, боясь выдать наслаждение бешеным танцем.

И только было развернулось общее гулянье, как на дальнем конце Мезалинского луга, сверкая на полдневном солнце оружием и новизной мундиров, показалась черная группа жандармов. Их было больше, чем в обыкновенном патруле, объезжающем ярмарки и гулянья. Они проследовали прямо под навес, где сидели музыканты, и инструменты один за другим вразбивку замолкали. Приостановилось, дрогнув, коло. Раздались протестующие возгласы. Танцевавшие пока не разнимали рук. В запале кое-кто еще приплясывал на месте, ожидая возобновления музыки. Но оркестранты быстро свертывались, заматывая в тряпки и клеенки свои трубы и скрипки. Жандармы между тем уже шагали дальше к палаткам и семейным группам, сидевшим там и сям на траве. Тихий, но резкий односложный оклик фельдфебеля магическим заклятием мгновенно тушил всякое веселье, прекращал танец, прерывал разговор. Бросая все свои занятия при приближении жандармов, люди суетливо складывались и уходили. Распался, наконец, и хоровод парней и девушек. Им не хотелось ни за что

прерывать танцы на лугу и примириться с тем, что наступил конец веселью и забавам. Но перед бледным лицом и налитыми кровью глазами жандармского фельдфебеля отступились и самые упрямые.

Разочарованные и все еще недоумевающие люди возвращались с Мезалинского луга по широкой белой дороге, а навстречу им из города полз все более упорный слух о совершенном нынче утром в Сараеве покушении и убийстве эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги и ожидавшемся суровом гонении на сербов. У Конака им попалась первая партия арестованных во главе с молодым отцом Миланом; жандармы вели их в тюрьму.

Вторая половина этого летнего дня, обещавшего быть веселым и праздничным, обернулась волнением, тревогой и насторожен-ным ожиданием.

На мосту вместо праздничного оживления и радости царила мертвая тишина. Тут уже стояла охрана. Солдат в новой форме неторопливо мерил расстояние от дивана до железной крышки люка в теле заминированного опорного быка и, преодолев его, при каждом повороте как бы давал сигнал ослепительной вспышкой отражавшего солнце штыка. А утром следующего дня под мраморной плитой с турецким изречением спозаранку белело официальное извещение, набранное крупным шрифтом и обведенное жирной траурной каймой. В нем сообщалось об убийстве престолонаследника в Сараеве и выражалось негодование по поводу совершенного злодеяния. Но прохожие, понурившись и не читая, спешили поскорее проскользнуть и мимо стражника, и мимо извещения.

С тех пор так и остался на мосту маячить часовой. Остановилась и вся жизнь города, прерванная на ходу одним ударом, как хоровод на Мезалинском лугу, как тот июньский летний день, который должен был стать днем праздника и веселья.

Потянулась вереница смутных дней, проходивших под знаком беззвучно-напряженного проглядывания газет, боязливого перешептывания, страха, арестов сербских граждан и подозрительных проезжих и лихорадочной военной подготовки на границе. Одна за другой проходили и летние ночи, не оживляемые ни песнями, ни сходками в воротах, ни шепотом влюбленных в темноте. Город наводнили солдаты. А после девяти часов, когда на Быковаце в бараках и в большой казарме у моста трубачи отыграют печальную мелодию австрийского отбоя, улицы вымирали совсем. Плохие времена настали для любителей уединенных встреч и долгих разговоров в темноте. Ежедневно под вечер Гласинчанин приходил к Зоркиному дому. Она уже поджидала его у раскрытого окна высокого первого этажа. Обменявшись наспех несколькими фразами,

они расставались, так как он торопился дотемна перейти мост и добраться к себе на Околиште.

И этим вечером пришел он к ее окну. Бледный, держа шляпу в руках, он попросил ее выйти к нему, чтобы сказать что-то совершенно секретное. Она, поколебавшись, вышла. Стоя на пороге, она была с ним вровень, и он зашептал ей в ухо жарким шепотом:

— Мы решили бежать. Сегодня вечером. Владо Марич и еще двое с ним. Все подготовлено, и мы, надеюсь, проберемся. Но если это все-таки сорвется... если случится что-то вдруг... Зорка!

Шепот его пресекся. В ее расширенных глазах застыли смятение и страх. Да и сам он был растерян, едва ли не раскаиваясь в том, что вообще пришел прощаться.

— Я думал, все-таки лучше сказать.

— Спасибо! Значит... значит, не будет ничего из той нашей Америки!

— Как это «не будет»! Если бы ты тогда, когда я месяц тому назад предлагал тебе тотчас же все устроить, согласилась, мы были бы, наверное, уже далеко отсюда. Но может, это и к лучшему. Сама знаешь, что происходит. Я должен быть с товарищами. Идет война, и всем нам место сейчас в Сербии. Понимаешь, Зорка, это мой долг. Если же я выберусь из этой кутерьмы живым и мы завоюем свободу, может быть, и не потребуется вовсе уезжать за океан в какую-то Америку, потому что здесь у нас будет своя Америка, страна упорного и честного труда, достатка и свободы. И нам двоим, если только ты захочешь, найдется применение. Все зависит от тебя. А я... я буду думать о тебе... и ты иной раз тоже...

Ему не хватало слов.

В порыве невысказанных чувств он вдруг подался к ней и быстро провел рукой по ее роскошным темным волосам. Это всегда было его заветной мечтой, и теперь, как осужденному, ему дозволено было ее осуществить. Девушка в испуге отшатнулась, и рука его повисла в пустоте. Дверь неслышно затворилась, и какое-то мгновение спустя, бледная, с остановившимся взглядом расширенных глаз и нервно сплетенными пальцами, Зорка появилась в окне. Он прошел совсем рядом под ним и, закинув голову, обратил к ней улыбающееся и просветленное, почти красивое лицо. И словно бы боясь увидеть то, что будет дальше, девушка сейчас же отступила от окна и скрылась в темноте неосвещенной комнаты. И тут расплакалась, в изнеможении рухнув на постель.

Сначала тихие рыдания ее наполняло невыносимое чувство общей безысходности. Чем дольше плакала она, тем больше находила поводов для слез и тем мрачнее рисовала себе будущее. Нет выхода, нет спасения: никогда не сможет она полюбить по-настоящему этого достойного, доброго и честного Николу, покидавшего

ее сейчас; никогда не дождаться ей того, чтобы ее полюбил тот, другой, который никого любить не может; никогда не вернутся счастливые, безоблачные дни, светлой зарей всходившие над городом всего лишь прошлым летом, никому из них не вырваться из окружения мрачных гор, не увидать Америки и здесь не построить страны, по их словам, упорного и честного труда, достатка и свободы. Нет, никогда!

Наутро в городе распространился слух, что Владо Марич, Гласинчанин и кое-кто еще из молодых людей перебежали в Сербию. Все остальные сербы с семьями и всем имуществом оказались запертыми в этой бурлящей котловине, как в ловушке. Грозовая атмосфера сгущалась с каждым днем. И тут в один из последних июльских дней на границе грянул гром, раскатами своими потрясший вскорости весь мир и ставший роковым для стольких городов и стран, и в том числе и для моста на Дрине.

Вот когда развязалось в городе настоящее гонение на сербов и на все, что с ними связано. Люди поделились на преследуемых и преследователей. Хищный зверь, живущий в человеке и не смеющий обнаруживать себя, пока не устранены преграды добрых обычаев и законов, вырвался на волю. Знак дан, преграды сняты. И как в истории не раз уже бывало, насилие, грабеж и даже убийство снова получили молчаливую поддержку, лишь бы они совершались во имя высших интересов, под флагом соответствующих лозунгов и применительно к немногочисленной группе людей определенного круга и убеждений. На глазах того, кто мог тогда непредвзято и открыто смотреть на мир, произошло чудо полного перерождения общества в течение одного-единственного дня. Мгновенно распался и кончил свое бытие мир торговых рядов, основанный на вековых традициях, где наряду с затаенной враждой, ревнивой завистью, религиозной нетерпимостью, исконной грубостью и жестокостью всегда имели место взаимовыручка, товарищество и чувство порядка и меры, державшее в границах допустимого проявление диких инстинктов и грубой силы, в конце концов утихомиривая их и подчиняя общим интересам совместного существования. Люди, сорок лет подряд правившие торговым миром города, за одну ночь исчезли, будто вымерли вместе с теми устоями, понятиями, обычаями, которые они собой олицетворяли.

На следующее же утро после объявления Сербии войны по городу стал шнырять карательный отряд. Вооруженный на скорую руку для оказания помощи властям в преследовании сербов, он набран был из пьяниц, цыган и прочего сброда, давно отвергнутого порядочным обществом и находящегося в конфликте с законом. Цыган Хусо Курокрад, человек без чести и определенных занятий, на заре своей юности лишившийся носа вследствие дурной болез-

ни, командовал теперь десятком голодранцев, вооруженных допотопными ружьями системы Werndl с длинными штыками, и заправлял порядками в торговых рядах.

Перед лицом нависшей угрозы Павле Ранкович как председатель сербской церковно-приходской общины с четырьмя другими видными членами общины отправился к предводителю уездной управы Сабляку. Этот дородный и совершенно лысый человек с бескровным лицом был родом из Хорватии и в теперешней должности состоял в Вышеграде недавно. Он предстал перед посетителями невыспавшимся и раздраженным: веки красные, губы пересохли. Одет он был в сапоги и зеленый охотничий сюртук с двухцветным черно-желтым бантом в петлице. Он принял делегацию стоя и не предложил ей сесть. Газда Павле, изжелта-бледный, кося прищуром черных глаз, проговорил чужим и сиплым голосом:

— Господин предводитель, вы знаете, что происходит и что готовится, знаете и то, что мы, вышеградские граждане-сербы, не были тому потворниками.

— Я ничего не знаю, уважаемый,— с желчным нетерпением прервал его предводитель,— и знать ничего не желаю. У меня сейчас множество других, гораздо более серьезных дел, чем выслушивание всяких речей. Это все, что я имею вам сказать.

— Господин предводитель,— не сдавался газда Павле, своим спокойствием пытаясь усмирить желчную раздраженность своего собеседника,— мы явились предложить вам свои услуги и заверить в том...

— Не надо мне ваших услуг и заверений. Вы себя в Сараеве достаточно показали.

— Господин предводитель,— не повышая тона, но все настойчивей продолжал газда Павле,— мы бы хотели с помощью закона оградить...

— Ага, теперь вы вспомнили закон! И на какие же законы осмеливаетесь вы ссылаться?

— На государственные, господин предводитель, обязательные для всех.

Предводитель насторожился и притих. Газда Павле поспешил воспользоваться этим затишьем.

— Господин предводитель, мы вправе задать вам вопрос, гарантируется ли нам и нашим семьям, жизни и имуществу безопасность, а если нет, то что мы должны делать?

На это предводитель развел руками, вывернув ладони наружу, пожал плечами, прикрыл глаза и стиснул свои бледные, тонкие, перекосившиеся губы. Столь хорошо знакомое ему слепо-глухо-немое выражение безучастности, типичное для предержащих властей в критический момент, показало Павле Ранковичу всю

бесполезность дальнейших разговоров. Предводитель между тем, вернувшись в прежнее свое состояние, проговорил чуть мягче:

— Военные власти укажут каждому, что должно делать.

Тут и газда Павле развел руками, закрыл глаза, пожал плечами и проговорил затем осевшим и сдавленным голосом:

— Благодарю вас, господин предводитель!

Четверо членов общины покорно и неумело поклонились и вышли с видом осужденных.

На базаре брожение и приглушенный заговорщический шепоток.

В лавке Али-ходжи собрались именитые местные турки: Наил-бег Туркович, Осман-ага Башанович, Сулейман-ага Мезилджич. Бледные и озабоченные, с тяжелой неподвижностью в лицах, выдающей страх людей, у которых есть что терять в надвигающихся переменах и ломке. Их тоже вызывали власти, предлагая возглавить отряды карателей. Встретившись как бы непароком в лавке Али-ходжи, именитые граждане держат совет. Одни за то, чтоб идти в отряды, другие за то, чтоб не ходить, выждать. Возбужденный, с пылающим лицом и горящими, как в старину, глазами, Али-ходжа с негодованием отвергает всякую мысль о каком бы то ни было касательстве к карателям. С особой яростью обрушивается он на Наил-бега, стоящего за то, чтобы вместо цыгана почтенные и уважаемые люди возглавили вооруженные добровольческие отряды мусульман.

— Я, пока жив, таким делам не пособник. Будь у тебя ума побольше, и ты не был бы. Или не видишь, что гяуры нашими руками жар загребают, чтобы потом с нами рассчитаться легче было?

Оружием того же красноречия, которым он крушил, бывало, на мосту Осман-эфенди Караманлию, доказывал Али-ходжа, что турецкой душе ни там, ни тут хорошего ждать не приходится, а будут нос совать куда не надо, и вовсе не поздоровится.

— Давно нас никто не спрашивает ни о чем и с нами не считается. Шваб в Боснию вступил, а ни султан, ни кесарь и не подумали узнать: мол, есть ли, господа турецкие беги, на то ваше согласие? Потом поднялись Черногория с Сербией, вчерашняя райя, отняли половину Турецкой империи, опять на нас никто не посмотрел. Теперь кесарь на Сербию двинулся, нас ни о чем и тут не спрашивают, а хотят всучить ружьишки и портки и науськать, как гончих, на сербов, чтобы швабу даром не мараться самому. Да ты сам посуди, с чего бы это после стольких лет, когда нас не спрашивали о делах и поважнее, вдруг этакая зубодробительная милость? Говорю тебе, тут дальний расчет и лучше всего сколь возможно подальше от этого держаться. На границе уже

прорвало, и бог его знает, куда все это пойдет. За Сербией еще кто-то стоит. Иначе быть не может. Это тебе в Незуках окошко гора заслоняет, и ты из-за нее ничего не видишь. Брось затею свою: и сам в каратели не лезь, и других не подбивай. Пока еще хоть что-то можно выжать, дои лучше испольщиков своих, какие там остались у тебя,— и ладно будет.

Турецкие беги молчат, оцепеневшие, сосредоточенные. Молчит и Наил-бег, явно оскорбленный, но не подающий виду, и, бледный как мертвец, вынашивает какое-то решение. Кроме Наил-бега, Али-ходжа всех поколебал и остудил. Попыхивая трубками, все безмолвно следили за непрерывной вереницей военных повозок и вьючных лошадей, проходивших по мосту. Потом один за другим стали вставать и прощаться. Последним уходил Наил-бег. В ответ на его хмурое приветствие Али-ходжа глянул испытующе ему в глаза и с тихой грустью произнес:

— Вижу, что ты надумал все-таки идти. Не терпится тебе шею сломать, боишься, как бы цыгане тебя не опередили. Запомни только, что издавна сказывали старики: напрасно на рожон лезть — доблесть невелика. Ты лучше в трудный час на деле себя покажи!

Площадь, отделявшая лавку Али-ходжи от моста, запружена повозками, конями, служивыми всех родов войск и призванными резервистами. От времени до времени сквозь толчею пробивались жандармы с группой арестованных сербов — горожан и крестьян. Воздух пропитан пылью. Все говорят громче и суетятся больше, чем надо,— несоразмерно тому, что говорят и делают. Потные красные лица, ругань на всех языках. В хмельном блуждании опаленных бессонницей глаз — тревожное предчувствие грядущего кровопролития.

Посреди площади перед мостом венгерские резервисты в новой униформе обтесывают наспех бревна. Споро стучат молотки, визжат пилы. По площади проносится тихий шепоток: «Виселицу будут ставить!» Тут же вертятся дети. С порога своей лавки Али-ходжа смотрит, как устанавливают первые две слеги и как затем усатый резервист лезет вверх и скрепляет их третьей, поперечной перекладиной. Народу набралось, словно халву бесплатно раздавали: живое кольцо окружило виселицу. Больше всего тут солдат вперемежку с турецкой сельской голытьбой и городскими цыганами. И вот уж расчищают проход, несут откуда-то стол и два стула для офицера и писаря. Каратели подводят двух крестьян, а вслед за ними одного городского. Крестьяне — арендаторы из пограничных сел Поздерчича и Каменицы, а горожанин — некий Вайо, личанин родом, предприниматель, с давних пор обосновавшийся в городе и тут женившийся. Все трое связаны, запылены

и ошарашены. Армейский барабанщик стал отбивать громкую дробь. В гудящем вареве толпы она прокатывается отзвуками отдаленного грома. В кругу у виселиц наступает тишина. Офицер, поручик запаса из венгров, чеканным голосом оглашает по-немецки текст смертных приговоров, сержант вслед за ним переводит. Военно-полевым судом все трое приговариваются к смертной казни по обвинению, под присягой заверенному свидетелями, в подаче ночью световых сигналов на сербской границе. Казнь через повешение должна быть произведена публично на площади перед мостом. Крестьяне часто моргают, безмолвно, с видом крайней озадаченности. Предприниматель Вайо, стирая пот с лица, расслабшим голосом жалобно твердит, что он не виновен, и одичавшим взором высматривает, кому бы это сказать.

Оставалось привести приговор в исполнение, когда сквозь толпу к месту казни протиснулся приземистый рыжий солдат с раскоряченными ногами. Это был Густав, бывший обер-кельнер из заведения Лотики, а теперь содержатель кофейни в нижних торговых рядах. В новом мундире с капральскими нашивками, красный, с еще более безумным, чем обычно, взглядом налитых кровью глаз. Завязался спор. Сержант пытался унять его, но воинственно настроенный трактирщик не сдавался.

— Я здесь пятнадцать лет состою на осведомительной службе, я доверенное лицо высших военных кругов,— кричал он по-немецки пьяным голосом,— и мне еще в позапрошлом году в Вене обещали, что я собственноручно вздерну пару сербов, когда придет время. Вы не знаете, с кем имеете дело. Я заслужил это право. А вы тут...

По толпе прошелся гул и ропот. Сержант находился в замешательстве. Густав упорствовал, во что бы то ни стало требуя, чтобы двух осужденных ему дали повесить самому. Тогда поднялся поручик, сухощавый, хмурый человек господского обличья, глядевший на все с таким отчаянием, словно его тоже приговорили к смерти. Густав, хотя и пьяный, тотчас встал навытяжку, лишь тонкая щетина рыжих усов продолжала вздрагивать и дико бегали глаза. Подойдя к нему, офицер придвинулся вплотную к красной физиономии капрала, как бы намереваясь в нее плюнуть.

— Если ты не уберешься сию секунду прочь, я прикажу тебя связать и отвести в тюрьму. Завтра явишься на рапорт. Понял? А теперь убирайся! Марш!

Негромкие эти слова, произнесенные по-немецки с венгерским выговором, своей непререкаемой властностью заставили трактирщика сразу съежиться и раствориться в толпе, мыча невнятные слова извинения и беспрестанно отдавая честь.

Внимание толпы снова обратилось к осужденным. Крестьяне

были в том же отупении. И лишь моргали и щурились от жары и знойного дыхания сгрудившейся массы тел, как бы только тем и обеспокоенные. А Вайо слабым и плаксивым голосом по-прежнему твердил, что он не виноват, что это конкурент его взял грех на душу, а сам он сроду не был в армии и не слыхал, что можно подавать сигналы светом. Он знал кое-что по-немецки и, задыхаясь, частил словами, в отчаянной попытке найти убедительный довод, который остановит наконец безудержный поток, со вчерашнего дня увлекавший его за собой, грозя ни за что ни про что унести из этого мира.

— Herr Oberleutnant, Herr Oberleutnant, um Gottes willen... Ich unschuldiger Mensch... viele Kinder... Unschuldig! Lüge! Alles Lüge! [1] — безостановочно сыпал Вайо словами в поисках заветного и спасительного.

Солдаты между тем окружили первого крестьянина. Быстро скинув с головы баранью шапку и обернувшись в сторону Мейдана, где стояла церковь, крестьянин дважды перекрестился мелко и поспешно. Поручик взглядом показал сначала кончить с Вайо. В ужасе поняв, что он на очереди, личанин, потрясая руками, взвыл не своим голосом. «Nein! Nein! Nicht um Gottes willen! Herr Oberleutnant, sie wissen... Sie wissen, alles ist Lüge! Gott... Alles Lüge! [2]» — истошно вопил Вайо, в то время как солдаты, подхватив его сзади, тащили и ставили на деревянную подставку под петлей.

Дрожа и замирая, следила любопытная толпа за ходом рокового поединка между предпринимателем и поручиком.

Увидев вдруг безумно искаженное лицо Вайо, вознесшееся над головами толпы, Али-ходжа, до сей поры в неведении внимавший глухому невнятному гомону, доносившемуся до его слуха из плотного круга толпы, кинулся запирать свою лавку вопреки строжайшему наказу военных властей держать все торговые заведения открытыми.

Новые армейские соединения в сопровождении обозов провианта, снаряжения и оборудования все прибывали в город, и не только перегруженной железной дорогой, но и старым трактом через Рогатицу. День и ночь по мосту тянулись повозки и лошади, и первое, что их встречало на площади у въезда в город, были трое повешенных. А так как передние обычно застревали в тесноте запруженных улиц, то каждая из подходивших в город колонн должна была подолгу топтаться на мосту или под виселицами на площади, пока не рассосется пробка. Взмыленные, грязные,

[1] Господин поручик, господин поручик, умоляю вас господом богом... Я не виновен... много детей... Не виновен! Ложь! Все ложь! *(нем.)*

[2] Нет! Нет! Нет, ради бога, нет! Господин поручик, вы знаете... все ложь... Боже... все ложь! *(нем.)*

охрипшие от ярости и крика, конные сержанты продирались в скопище повозок и вьючных лошадей, отчаянно жестикулируя и бранясь на всех языках многобожной Австро-Венгерской монархии.

Ранним утром, на четвертый или пятый день, когда мост был, как обычно, запружен очередным обозом, с трудом продвигавшимся тесным лабиринтом торговых рядов, над городом пронесся резкий, непривычный свист, и в самую середину моста, в каменный парапет у ворот ударил снаряд. Обломки камня и металла засыпали обоз, началась давка, лошади вставали на дыбы, люди разбегались кто куда. Одни устремились к площади вперед, другие кинулись назад — на дорогу, по которой пришли. Вдогонку за первым просвистели подряд еще три снаряда — два угодили в воду, третий — в самую гущу людского и лошадиного месива посредине моста. Мост в один миг опустел; перевернутые повозки, убитые люди и лошади темнели на расчистившейся мостовой. С Бутковых скал отозвалась австрийская полевая артиллерия, пытаясь накрыть горную батарею сербов, осыпавшую шрапнелью разметавшийся по обе стороны моста обоз.

С того дня горная батарея с Паноса упорно била по мосту и прилегающей к нему казарме. По прошествии нескольких дней и тоже утром, с востока, откуда-то с Голеша, раздался новый звук. Хотя и заглушенный расстоянием, он отдавал глубоким гулом и тяжело раскатывался над городом. Это били гаубицы; их было, видимо, две. Первые снаряды попали в Дрину, следующие — в площадь у моста, где повредили ближайшие дома, в том числе гостиницу Лотики и офицерское собрание, а после, войдя в определенный ритм и все точнее достигая цели, стреляли только по казарме и мосту. Не прошло и часа, как казарма запылала. Солдат, пытавшихся унять огонь, поражала шрапнелью горная батарея с Паноса. И казарму предоставили ее судьбе. В раскаленном пекле солнечного дня дружно занимались деревянные части, а внутренние стены обваливались в дымящиеся руины под ударами досылавшихся время от времени снарядов. Так во второй раз был разрушен «Каменный хан» и снова превращен в груду мусора и щебня.

Две гаубицы с Голеша упорно и размеренно обстреливали мост, особенно его центральный бык. Снаряды хлопались то в реку слева и справа от моста, то разбивались о массивные столбы, то попадали в самый мост, но ни один из них не попал в железную крышку над люком в теле среднего опорного быка, таящего в себе взрывчатку мины. Десятидневный прицельный обстрел не причинил мосту серьезного ущерба. Отскакивая от гладких стен быков и закругленных сводов, снаряды разрывались в воздухе, оставляя на каменных плитах лишь легкие, белые, едва приметные глазу ссадины. А мелкая шрапнель отлетала, как град, от твердого и

гладкого гранита. И только на проезжей части укатанный гравий пестрел колдобинами, но они были видны лишь тогда, когда ступишь на мост. Так, и под натиском налетевшего нового шквала, вывернувшего с корнем и переломавшего древние устои города, судьбы живых и всего неживого, белый мост по-прежнему стоял нерушимый и неуязвимый.

XXIII

Из-за непрекращающегося артиллерийского огня передвижение по мосту в дневное время стало невозможно: если это безнаказанно сходило горожанам и даже солдатам, перебегающим мост поодиночке, то стоило только группе повиднее ступить на мост, как ее осыпали с Паноса шрапнелью. Вскоре в артобстреле наметилась известная периодичность, и, пользуясь минутами затишья, а также попустительством австрийских часовых, граждане проходили по мосту, если была на то безотлагательная надобность.

Горная батарея с Паноса стреляла только днем, а гаубицы из-за Голеша били и ночью, стараясь помешать передвижению воинских частей и обозов с одного берега на другой.

Домовладельцы с семьями из центра города и прилегающих к мосту и дороге кварталов перебирались, спасаясь от обстрела, к родным и знакомым на Мейдан и другие окраины. Бегство жителей с детьми и самыми необходимыми пожитками вызывало в памяти ночи, когда на город надвигалось большое наводнение. Только на сей раз и в помине нет чувства солидарности, заставлявшего когда-то людей разных вер объединяться перед лицом общей беды и во взаимной поддержке черпать мужество и силу. Турки спасаются в турецких домах, а сербы, словно зачумленные,— в сербских. Но и в этой разобщенности живут они примерно одинаково. Сбившись под чужими кровлями, не зная, как убить время, праздные и неприкаянные, словно погорельцы, страшась за жизнь, томясь неведением о брошенном имуществе, они терзаются противоположными мечтами и надеждами, которые, впрочем, и те и другие в равной мере таят в душе.

И как когда-то встарь при грозных наводнениях, и там и тут наивным балагурством и напускным спокойствием и удальством тщатся старики развеселить и подбодрить своих. Но, видно, в нынешнем несчастье не помогают дедовские присказки и шутки и, потеряв былую остроту, не тешат слушателей обветшалые прибаутки старых времен, а новые изобретаются медленно и туго.

Ночью все притворяются спящими, но на самом деле не смыкают глаз. Говорят только шепотом, хотя и сами не понимают, зачем такая осторожность, когда то с сербской, то с австрийской сто-

роны ежеминутно грохочут орудия. Страшный призрак «световых сигналов врагу» держит народ в трепете, хотя никто не знает толком, ни как их давать, ни что это вообще такое. Страх, однако, столь огромен, что никто не решается и спичкой чиркнуть. Огонь не разводят совсем. Курильщики уходят в душные чуланчики без окон или курят, накрывшись одеялом. Духота донимает и давит. Люди исходят потом, но двери тщательно заперты и окна плотно занавешены и закрыты. Город напоминает бессильную жертву, закрывшую глаза руками в ожидании ударов. Дома стоят как будто замурованные наглухо. Ибо кто хочет выжить, должен прикинуться мертвым; только и это не всегда помогает.

В мусульманских домах все же чувствуют себя свободнее. Здесь кипят несвоевременно пробужденные старые воинственные страсти, несколько обесцененные, правда, артиллерийским поединком двух христианских армий, ведущимся у них над головой. Но есть, как водится, тайные заботы и горести, которым не найти ни помощи, ни исхода.

В доме Али-ходжи под Градом образовалась чуть ли не школа. К ораве собственных детей прибавилось еще девятеро ребят Муяги Мутапджича; из них только трое постарше, остальные несмышленыши, мал мала меньше. Чтоб они не расползались без присмотра по двору, всех их вместе с Али-ходжиными отпрысками поместили в прохладную и просторную комнату на первом этаже, предоставив им возиться и пищать под неусыпным надзором матерей и старших сестер.

Муяга Мутапджич, по прозванию Ужичапин, был переселенец (но об этом разговор впереди). Это высокий, совершенно седой человек пятидесяти лет с орлиным носом и изборожденным морщинами лицом, с резкими солдатскими манерами и низким голосом. Он выглядит намного старше Али-ходжи, хоть и моложе его на десять лет. Муяга сидит с Али-ходжой, курит беспрерывно и почти не говорит, подавленный неотступными мрачными мыслями. На месте ему не сидится. Он то и дело вскакивает, выходит из дома во двор окинуть взором прибрежные холмы по ту и по другую сторону реки. Постоит, закинув испытующе голову, словно учуял ненастье. Ни на минуту не оставляя его одного, вслед за ним выходит в сад и Али-ходжа, стараясь разговорить его и отвлечь.

В саду, круто сбегающем вниз, по красивом и большом, царит покой летнего созревания. Лук вырван и повален; подсолнечник в самом соку, вокруг его отяжелевших черных шапок жужжат шмели и пчелы. Мелкие цветочки по краям завязываются семечками. Отсюда, с высоты, прекрасно виден город, рассыпавшийся по песчаной косе в развилке Дрины и Рзава, причудливая зубчатость горной короны вокруг, окрестные склоны и долина, испещренные

лоскутной мозаикой желтых ячменных посевов и зеленью кукурузных полей. Белеют дома, чернеет венчающий вершины лес. В безбрежном океане света и пространства встающего над городом летнего дня вполне невинно и торжественно ухают то с той, то с другой стороны залпы размеренной орудийной перестрелки.

И как ни тягостно на сердце у Муяги, но тут и у него развязывается язык. Поддавшись ласковым уговорам Али-ходжи, он рассказывает ему о своей судьбе не потому, что она неизвестна его другу, а потому, что ему надо как-то ослабить стянутый под горлом узел, а судьба эта решается сейчас и здесь каждым мгновением этого летнего дня и каждым новым залпом несмолкаемой перестрелки.

Ему не сравнялось еще и пяти лет, когда турки должны были оставить сербские города. Османлии ушли в Турцию, но отец его Суляга Мутапджич, в то время еще молодой, но видный человек, один из первых среди ужицких турок, решил переселиться в Боснию, откуда вел происхождение их род. С детьми в переметных корзинах и теми деньгами, которые при тогдашних обстоятельствах ему удалось выручить за землю и дом, он навсегда оставил Ужице. В числе нескольких сотен ужицких переселенцев перешел в Боснию, бывшую еще тогда под властью турок, и обосновался с семейством в Вышеграде, где издавна проживала ветвь ужицких Мутапджичей. Здесь он прожил десять лет, и только запял было прочное место в торговых рядах, как пришла австрийская оккупация. Строгий и непримиримый, он считал бессмысленным бежать от одной христианской власти, чтобы жить под другой. И через год после прихода австрийцев, в числе немногих семей, не желавших жить под «колокольный звон», перебрался с чадами и домочадцами в Новую Варош, в Санджак. (Наш Муяга был тогда парнишкой пятнадцати лет с небольшим.) И тут, в Новой Вароши, Суляга Мутапджич начал дело, тут родились его меньшие дети. Но так никогда и не смог он изжить в себе боль по тому, что бросил в Ужице, и привыкнуть к новым людям и обычаям. Это и было причиной его преждевременной смерти. Дочери его, одна другой красивей и на самом хорошем счету, благополучно повыходили замуж. Сыновья, приняв дело, приумножали скромное отцовское наследство. Но только что они переженились, пустили корни в новую среду, началась балканская война 1912 года. В отпоре, оказанном турецкими войсками сербско-черногорской армии при Новой Вароши принимал участие и Муяга. Непродолжительный, но и не совсем безуспешный отпор этот тем не менее каким-то таинственным образом показал, что судьба войны и многих тысяч жизней решается не здесь, а где-то там, в неведомой дали и совершенно независимо от силы или слабости оказанного сопротивления, и по-

влек за собой отход турецкого войска из Санджака. И Муяге, ребенком уже спасавшемуся на Ужице от вражьей силы, против которой столь безуспешно выступил он сейчас, не оставалось ничего другого, как опять податься в Боснию, под ту самую власть, от которой однажды бежал его отец. Так, троекратный беженец, он вместе со своим семейством оказался в городе, где прошло его детство.

С помощью кой-какой наличности и при поддержке вышеградских турок, среди которых у него нашлась родня, за эти два истекших года Муяге удалось наладить дело. Далось это ему, однако, нелегко, ибо при нынешних разорительных и неустойчивых временах и местным тузам, как мы видели, приходилось нелегко. В ожидании лучшего будущего, Муяга главным образом жил на свои сбережения. И вот после двух лет несладкой переселенческой жизни на город налетает новая буря, и он против нее совершенно бессилен; в тревоге следить за ее ходом и ждать, замирая от страха, исхода ее и развязки,— единственно, что остается Муяге.

Об этом и идет у них сейчас разговор, сбивчивый, отрывистый, тихий; говорят они о вещах, настолько им близких и знакомых, что разговор можно начинать с конца, с начала или с середины. Неутомимый Али-ходжа старается хоть как-нибудь развеять и утешить горячо и искренне любимого и уважаемого им Муягу не потому, что верит в самую возможность чем-нибудь ему помочь, но просто из потребности и ощущения внутреннего долга принять участие в горестной судьбе этого достойного, несчастного человека и истинного мусульманина. Муяга сидит и курит,— живое воплощение жертвы злого рока. Крупные капли пота выступают у него на лбу и на висках, и, постояв на месте и налившись, они, сверкнув на солнце, светлой струйкой скатываются вниз по его морщинистому лицу. Но он не замечает их и не стирает. Замутившимся взором уставясь перед собой в траву, Муяга отрешенно слушает голос своей души, звучащий в нем громче и яснее всех утешений и залпов самой оглушительной канонады. И, коротко отмахиваясь по временам рукой, отрывисто что-то бормочет, скорее в продолжение неслышного своего разговора, чем в ответ на то, что говорят и делают вокруг.

— На этот раз приперло так, Али-ходжа, что некуда податься. Бог свидетель, что и отец покойный мой, и я все сделали ради того, чтобы жить под турецкой звездой в чистой вере и законах ислама. Дед мой кости свои сложил в Ужице; теперь, наверно, не найти следов его могилы. Отца похоронил я в Новой Вароши, может, и его могильный холм сровнял с землей христианский скот. Думалось мне, что хоть я умру там, где еще с минарета сзывает муэдзин правоверных к молитве, но похоже, что судьба хочет

извести под корень наше семя и в память о нас не оставит даже могилы. Или такова божья воля. Вижу только, некуда нам больше податься. Пришло время, о котором сказано, что истинно верующим нет иного пути, нет исхода, кроме как подыхать. К кому пристать? Пойти с Наил-бегом в каратели и принять смерть со швабским оружием в руках, покрыв свое имя позором в глазах живых и мертвых, или сидеть сложа руки и ждать, пока и сюда придет Сербия и установит тут все то, от чего бежали мы когда-то и целые полвека провели в скитаниях?

Али-ходжа открыл было рот, собираясь приободрить и обнадежить чем-нибудь Муягу, как его прервали залпы австрийской батареи с Бутковых скал и последовавшая за ними орудийная пальба с Паноса. Отозвались и гаубицы из-за Голеша. С тоскливым, леденящим душу воем, от которого переворачивает все нутро, сновали, подобно челнокам, совсем низко над головами снаряды разного калибра. Али-ходжа поднялся, предлагая укрыться хотя бы под крышей, Муяга, как лунатик, поплелся за ним.

В сербских домах, обступивших мейданскую церковь, нет ни сожалений о былом, ни страха перед будущим; все заслонили тревоги сегодняшнего дня. Здесь безраздельно властвует безгласный, не похожий ни на что другое ужас, неизбежное следствие первых актов бесчинства и террора, повальных арестов и казней без суда и следствия. Но за этим ужасом, как было раньше и как велось спокон веков, таится свет неугасимой надежды, той, что сто с лишним лет тому назад поддерживала пламя повстанческих костров на Паносе, и та же напряженность ожидания, и та же самая решимость, уж если иначе нельзя, все выдержать, и та же вера в благополучный исход где-то там вдалеке, в конце всех концов.

Внуки и правнуки тех, кто в тревоге и страхе, но с радостной дрожью в глубине души, так же затворившись в домах, с тех же самых холмов, напрягая слух, пытались уловить слабые отголоски залпов карагеоргиевской пушки, долетавшие к ним с гор от Велетова, прислушивались теперь к тяжкому гулу гаубичных ядер в теплой ночной темноте и, стараясь угадать по звуку, сербский или швабский пролетает над ними снаряд, нежно подбадривали его ласковыми именами или проклинали, посылая ему вслед оскорбительные клички и прозвища. Но это только до тех пор, пока снаряды, пущенные поверху, пролетали мимо, когда же стрельбой накрывало город и мост, они, осекшись на полуслове, замолкали, готовые поклясться в том, что во всей необъятности ночи, в оцепенении жуткой тишины и та и другая сторона стараются нащупать только тот дом, где укрылись они. И изменившимися голосами в наступившем после грохота недалекого взрыва затишье отмечали его особенную близость и вредоносную силу.

В доме Ристича, что сразу над домом священника, но более просторном и красивом и защищенном от артиллерийского огня с двух сторон крутыми склонами сплошного сливняка, нашло прибежище множество православных с торговой площади. Мужчин тут немного, все больше женщины с малыми детьми, чьи мужья или брошены в тюрьмы, или взяты заложниками.

Дом Ристича большой и богатый, а живут в нем только хозяин Михаило Ристич с женой и вдовой невесткой, которая по смерти мужа, не пожелав вторично выйти замуж или вернуться в отчий дом, осталась растить детей при стариках. Старший ее сын двумя годами раньше перешел в Сербию и погиб в отряде добровольцев на Брегальнице. Было ему в то время восемнадцать лет.

Старый газда Михаило, его старуха и невестка, словно на каком-то званом празднике, хлопочут вокруг своих необычных гостей. Особенно неутомим старик. Простоволосый, вопреки обыкновению, ибо, как правило, он не расстается с алой феской, с разметавшимися космами седых волос и густыми, серебристыми, подпаленными у корней табачной желтизной усами, окаймляющими рот как бы никогда не сходящей улыбкой. Едва заметив, что кто-нибудь особенно встревожен или приуныл, Михаило спешит с утешением и угощает кофе, ракией или табаком.

— Спасибо, кум Михаило, отец родной, спасибо, не могу, ничего в горло не идет,— отнекивается одна еще совсем молодая женщина, проводя ладонью по своей округлой белой шее.

Женщина эта — жена Петара Гаталы с Околиште. По торговым делам Петар отправился не так давно в Сараево. Там его застигла война, и с тех пор жена не имела от него никаких вестей. Войска выселили их из собственного дома, и она с детьми приютилась в доме у кума Михаила, с которым по мужниной линии состояла в давнем свойстве. Неотвязные думы о пропавшем муже и брошенном на произвол судьбы хозяйстве терзали женщину. И она то вздыхала, то всхлипывала, заламывая руки.

Кум Михаило не спускает с нее глаз и не отходит. Утром еще он узнал, что взятый заложником в поезде на обратном пути из Сараева Петар был переправлен в Вардиште и тут в сумятице какой-то напрасной тревоги по ошибке расстрелян. Все это пока еще скрывалось от нее, и кум Михаило следит за тем, чтобы кто-нибудь нечаянно ей это не открыл. Женщина то и дело порывается встать, выйти во двор и взглянуть оттуда на Околиште, но с помощью всевозможных отговорок и уловок газда Михаило ее не пускает, ибо прекрасно знает, что дом Гаталовых на Околиште тоже горит, и всеми правдами и неправдами хочет уберечь несчастную хотя бы от этого страшного зрелища. С шутками и прибаутками он беспрестанно потчует свою гостью.

— А ну-ка опрокинь, кума Станойка, ярка белая, одну чарочку! Ведь это ж целебный елей, а не ракия!

И женщина покорно выпивает. Так, обнося ракией всех подряд, газда Михаило своим настойчивым и неотступным радушием заставляет подкрепиться каждого. И снова возвращается к жене Петара Гаталы. Ей заметно полегчало, комок в горле исчез. И теперь она сидит притихшая, уставившись перед собой отсутствующим взглядом. Но кум Михаило по-прежнему ее не оставляет и, словно малому ребенку, нашептывает сладкий сон о том, что все будет хорошо, Петар ее вернется из Сараева целый и невредимый, и они снова заживут в своем доме на Околиште.

— Твоего-то Петара я с пеленок ведь знаю, на крестинах его был. После о них долго толки шли. А я все помню как сейчас: сам я как раз для женитьбы поспел, и вот с покойным папашей моим, а он крестил всех детей газды Янко, отправился на Околиште крестить твоего Петара.

И кум Михаило принимается в который раз пересказывать давно известную историю крестин Петара Гаталы, но в эти необычные часы бессонной ночи она воспринималась как новая.

Придвинувшись ближе к хозяину дома, мужчины и женщины слушают его, забывая об опасности и пропуская мимо ушей пушечный гром, между тем как кум Михаило неторопливо повествует.

— В добрые старые времена, когда в городе у нас служил знаменитый поп Никола, после долгих лет супружества и целой вереницы девочек у старого Янко Гаталы родился сын. И вот в ближайшее воскресенье сияющий отец с кумом и кое-кем из близких соседей понесли ребенка крестить. По дороге с Околиште кумовья частенько останавливались и прикладывались к фляге с забористой ракией. А подойдя к воротам на мосту, присели отдохнуть и еще немного выпить. День выдался холодный, и на пустующем по поздней осени балконе не было ни хозяина кофейни, ни турок, постоянных его клиентов. И поэтому жители Околиште расположились тут как дома, развязали торбы с припасами и начали новую флягу. В сердечном усердии цветисто славили они друг друга и позабыли про младенца и священника, который должен был крестить его после обедни. А так как в те времена, в семидесятых годах XIX века, церковный звон был еще запрещен, подгулявшая компания не замечала, что время идет и служба давно уже кончилась. Но в смелых их предначертаниях самое отдаленное будущее ребенка так тесно переплеталось с прошлым родителей, что время утратило всякую меру и смысл. Несколько раз крестный отец спохватывался и принимался звать кумовьев продолжить путь, но те быстро заставляли его замолчать.

— Пошли все же, братцы, закончим начатое, исполним то, что требует закон и наш христианский долг,— заикался было крестный отец.

— Да чего ты пристал, ей-богу, никто у нас еще в приходе некрещеным не оставался,— унимали кума, наперебой потчуя его спиртным.

Отец новорожденного вначале тоже порывался идти дальше, но скоро и его, как и других, угомонила ракия. Мать, державшая до сей поры ребенка на посиневших от стужи руках, умотав его в рядно, положила на каменное сиденье, и там он, как в люльке, спал или таращил любопытные глазки, как бы участвуя в общем веселье. («Видать тотчас, что наш,— заметил кум,— ишь как нравится ему застолье и компания!»)

— Янко, будь здоров,— кричал тем временем один сосед.— Пусть сын твой будет долговечен и счастлив; дай бог ему быть нашей гордостью и славой и жить в чести и почете, в благополучии и всяческом достатке. Дай бог ему...

— Постой, а может, все-таки с крещением дело кончим,— прерывал тост родитель.

— Успеется с крещением,— хором кричали ему, снова прикладываясь к фляжкам.

— Вон Рагиб-эфенди Боровац не крещен, а каков вымахал: аж конь проседает под ним,— под общий смех выкрикивал кто-то из кумовьев.

Но если для подвыпившего общества в воротах время утратило меру и смысл, то не утратило оно его для отца Николы, который ждал сначала возле церкви, а после, рассердившись и накинувши кафтан, подбитый лисьим мехом, сошел с Мейдана в город. Тут ему кто-то сказал, что люди с младенцем на мосту. И он пошел туда отчитать их по-свойски, но встречен был таким восторженным и искренним радушием и столь неподдельным раскаянием, а также пылкими заверениями в преданности и любви, что отец Никола, слывший человеком строгим и суровым, но остававшийся в душе истинным сыном своего родного города, уступил и сам взялся за флягу и закуски. И чертыхнулся в умилении, нагнувшись над малышом, а тот бестрепетно смотрел на крупное лицо священника с большими синими глазами и окладистой рыжей бородой.

Конечно же, напрасно говорили, что будто бы и крестили младенца в воротах, но совершенно справедливо отмечается обилие здравиц, бесконечных разговоров и щедрых возлияний. Дело шло к вечеру, когда веселая компания поднялась на Мейдан и отворила церковь, и кум, одолеваемый злостной икотой, от имени нового прихожанина отрекся от дьявола заплетающимся языком.

— Таким путем и был твой Петар крещен и вот уже перевалил за сорок, а, слава богу, ничего ему не делается,— заключил свою повесть кум Михаило.

И люди снова принимаются за ракию и кофе, ища в них спасение от настоящего, постепенно оживляются, у всех развязываются языки, и все укрепляются в убеждении, что все же есть в жизни более отрадные и человеческие вещи, чем этот страх и эта темнота с грохотом смертоносных разрывов.

Так протекает ночь, а вместе с ней часы их жизни, полной страданий и опасности, но вместе с тем ясной в своей непреложности и простоте. Врожденной чуткостью древних инстинктов она разбита и расчленена на краткие мгновения отдельных впечатлений и поглощающей необходимости непосредственных нужд. Живя одними этими мгновениями и не заглядывая ни в будущее, ни в прошлое, в такие времена только так и можно перебиться и как-нибудь дотянуть до лучших дней.

Светает наконец. Но это означает лишь то, что в блеске солнечного дня ожесточится перестрелка и снова заработает машина бессмысленной и нескончаемой военной игры. Ибо, сами по себе как таковые, дни теперь лишились имени и назначения, время потеряло свою ценность. Людям остается в страхе ждать. И они действуют, движутся и говорят как заведенные автоматы.

Так, примерно, протекает жизнь обитателей верхних крутых кварталов под Градом и на Мейдане.

А внизу, в торговом центре, и совсем почти нет никого. Изданный в первый день войны приказ повелевал всем лавочникам производить бесперебойную торговлю якобы для удобства проходивших мимо военных частей, а еще более для убеждения граждан в отсутствии какой-либо опасности и угрозы вторжения неприятеля в город. И хотя, несмотря на обстрел, приказ этот все так же оставался в силе, каждый под благовидным предлогом поровил держать свою лавку закрытой большую часть дня. Если же она, как у Павле Ранковича и Али-ходжи, стояла у самого моста и «Каменного хана» и непосредственно подвергалась обстрелу, то не открывать ее совсем. Также покинута всеми и заперта гостиница Лотики; крыша ее пробита снарядом, стены выщерблены осколками шрапнели.

Али-ходжа всего один-два раза в день спускался вниз со своего крутогорья и, проверив, все ли в порядке, тотчас же возвращался домой.

Лотика со всей семьей покинула гостиницу в первый день обстрела моста. Они перешли на левый берег Дрины и укрылись в большом, построенном недавно турецком доме, по самый конек красной крыши скрытом зарослями разросшегося сада. Дом этот

стоял в лощине в стороне от проезжей дороги. Его владелец со всей семьей находился в деревне.

Они покидали гостиницу в сумерки, когда обычно было тихо. Из слуг один только верный Милан, закоренелый холостяк и старый франт, давно лишенный практики вышибалы из стен заведения, оставался по-прежнему с ними; прочая челядь, как часто бывает в таких обстоятельствах, разбежалась с первым пушечным залпом, прогремевшим над городом. Переселением семейства безоговорочно и единолично руководила, как водится, Лотика. Она определяла, что из самого необходимого и ценного имущества надлежало взять с собой и что оставить; как кому одеться; кто понесет безногого и слабоумного Деборного сына; кто поведет ее саму, болезненную и слезливую, и кто возьмет на себя Мину, смертельно перепуганную расплывшуюся старую деву. Так, под покровом душной летней ночи, с маленьким калекой и кое-чем из поклажи в тачке, нагруженные узлами и картонками, Лотика, Цалер, Дебора и Мина перешли мост. За тридцать лет своего существования гостиница впервые была закрыта на замок и оставлена без всякого присмотра. Погруженная во мрак, поврежденная первыми снарядами, она приобрела печальный вид заброшенных развалин. А обитатели его, едва ступив на мост, с этой своей колченогой непривычностью к пешему хождению, немощные, престарелые, увечные и ожиревшие приняли облик еврейской бедноты, горемычных беглецов, что месят пыль больших дорог, скитаясь с незапамятных времен по белу свету.

Так перешли они на другой берег и обосновались в большом турецком доме. И тут все устроила Лотика, распорядившись женскими пожитками и разместив своих домочадцев. Но когда пришло время лечь ей самой в полупустой чужой комнате, без ее привычных вещей и бумаг, среди которых прошла ее жизнь, что-то у нее внутри оборвалось, и в первый раз с тех пор, как она помнила себя, она сдалась и рухнула без сил. И пустоту покинутого мусульманского жилища огласили наводящие ужас звуки — звуки никогда никем до этого не слыханных, не виданных и даже и в воображении не мыслимых судорожных, страшных, сдавленных и по-мужски глухих рыданий Лотики, безудержных и неудержимых. Ее домашние сначала онемели, почти благоговейно прислушиваясь к ним, а после разразились потоками слез, причитаний и стонов. Для ее родных и близких душевный крах тетки Лотики, которая всегда была для них поддержка и опора, был ударом более жестоким, чем война и бегство, чем потеря дома и имущества.

И когда наутро над землей занялся лучезарный летний день с гомоном птиц, розовыми облаками и обильной росой, он застал вместо прежней Лотики, до вчерашнего вечера управлявшей судь-

бами многочисленной своей родни, свернувшуюся на полу старую и дряхлую еврейку, не способную отныне позаботиться о самой себе, дрожавшую в смертельном испуге и плачущую, как дитя, не умеющее назвать причину своих слез и страха. И тогда совершилось другое чудо. Цалер,— тот самый старый, тучный, флегматично-сонный Цалер, с молодых лет не отличавшийся характером и самостоятельностью и покорно предоставлявший свояченице Лотике руководить собой и всем своим семейством, да и не бывший никогда в действительности молодым, вдруг показал себя истинным главой семьи, наделенным мудрой предусмотрительностью и волей, достаточной для того, чтобы не только принимать решения, но и проводить их в жизнь. Заботясь о своих, как некогда она, Цалер успокаивал теперь свою свояченицу и ухаживал за ней, как за больным ребенком. Пользуясь затишьем, он уходил в город и перетаскивал из брошенной гостиницы необходимые вещи, одежду и провизию. Он разыскал где-то врача и привел его к больной. Врач нашел у нее тяжелое нервное расстройство и общий упадок сил и советовал быстрее вывезти ее отсюда, подальше от военных действий, прописал капли и уехал с транспортом раненых. Цалер договорился с военными властями о подводе, чтоб на ней перевезти семейство сначала в Рогатицу, а затем в Сараево. Надо было только повременить несколько дней, чтобы Лотика хоть немного оправилась для переезда. Но она лежала пластом, точно парализованная, в голос плакала и на своем живописном смешанном наречии лепетала жалкие слова безумного отчаяния, ужаса и отвращения. Возле нее ползал по полу увечный Деборин мальчик, с любопытством заглядывая в теткино лицо, и звал ее невразумительными гортанными звуками, которые она так хорошо недавно понимала, а теперь оставляла без ответа. Лотика не принимала пищи и не могла никого видеть. Почти реальной физической болью преследуют ее кошмары. То с вероломством ловушки под ней проваливались половицы в полу и она летела в бездну, надеясь задержаться и спастись только пронзительным собственным визгом. То сама себе казалась огромной, невесомой и мощной, с гигантскими ногами и сильными крыльями, подобной страусу, и куда-то бежала, одним своим шагом покрывая расстояние отсюда до Сараева. Под ногами у нее мелкими плавнями плескались реки и моря, хрустели города и села песком и гравием. Сердце у нее в груди колотится от бега, дыхание стесняется. Она не знает, куда приведет ее и где остановится этот крылатый бег, но ей надо уйти, спастись от подлой видимости сомкнутых досок, что разверзаются под человеком с молниеносной быстротой. Позади нее земля, где ей нельзя оставаться, селения и большие города она переступает как грязные лужи, в них царствует обман, люди лгут словами и цифрами, пока не

запутаются в них, и тогда, сорвав с себя лживую маску, с неуловимой ловкостью фокусника вопреки прежним заверениям и расчетам выставляют вперед орудия и пушки и невесть откуда взявшихся незнакомых людей с налитыми кровью глазами, с которыми бессмысленно вступать в какие бы то ни было переговоры, пререкательства и соглашения. И перед их неукротимым натиском она уже не стремительно бегущая исполинская птица, а слабая, сломленная, убогая старуха, распростертая на жестком полу. А те, невесть откуда взявшиеся люди, роятся тысячами, миллионами; стреляют, колют, душат и сеют всюду и везде уничтожение и смерть без снисхождения и разбора. Один из них нагнулся над ней; лица она не видит, но чувствует, как жалом своего штыка нащупал он слабинку в разводе между ребрами, где человек всего мягче.

— Ах-аааах! Спасите! Спасите! — с отчаянным воплем пробуждается Лотика и обрывает кисти легкой серой шали, укрывавшей ее. Несчастный идиотик, притулившись на пятках у стены, вперился в нее непонимающим и безучастно-любопытствующим взглядом своих больших черных глаз. Вбегает Мина из соседней комнаты и унимает Лотику, стирая ей холодный пот со лба, и поит больную водой, предварительно добавив в нее тщательно отсчитанные капли валерьянки.

А длинный летний день над зеленой долиной кажется бесконечным, заставляя позабыть, что когда-то был рассвет и когда-то наступит мрак. Тепло, но жары не чувствуется. Дом отзывается топотом шагов. Поминутно заходят горожане. Случается, заскочит офицер или солдат. Еды и фруктов всем хватает вдосталь. Милан, не прекращая, варит кофе. Поистине все это могло бы походить на затянувшуюся загородную поездку, если бы не жуткий вой, временами издававшийся Лотикой, и не гул громыхавших вдали залпов, злобным рыком указующий на неполадки в мире, более грозно нависшие над головами всех и каждого в отдельности, чем это представлялось в беспечной необъятности прозрачного дня.

Вот что сделала война с гостиницей Лотики и ее обитателями.

Заведение газды Павле Рапковича также закрыто. Сам газда Павле на следующий же день после объявления войны в числе других видных сербских горожан взят заложником. Часть заложников держали на станции как гарантию спокойствия, порядка и бесперебойности железнодорожного сообщения, другую часть — вблизи моста, в глубине площади, в небольшом дощатом бараке, где в базарные дни находились общинные весы и собирались пошлины. Эти отвечали своей головой за целость и сохранность моста.

Здесь на каком-то стуле из кофейни сидел газда Павле. С поникшей на грудь головой и упавшими на колени руками, он, ка-

залось, в изнеможении присел отдохнуть на минуту, да так и застыл, часами не меняя своей оцепенелой позы. У дверей на груде порожних мешков сидели два солдата резервиста. Двери заперты, и в бараке стоит духота и полумрак. При звуке снарядов, выпущенных с Паноса или с Голеша, газда Павле сглатывает слюну и старается определить на слух, куда он попадет. Он знает, что мост с давних пор заминирован, и теперь неотступно думает о том, можно ли точным попаданием взорвать заряд. При каждой смене караула унтер-офицер отдает при нем инструкции заступающим на пост солдатам. И заканчивает их неизменно одними словами: «При любой попытке совершить диверсию на мост или хотя бы малейшем подозрении на таковую заложник должен быть немедленно расстрелян». Газда Павле к ним привык и слушает их с безразличием, как будто они его не касаются. Гораздо больше, чем эти слова, его тревожат снаряды и шрапнель, так близко рвущиеся от барака, что комья земли и осколки глухо барабанят в его дощатые стены. Но самое мучительное для него — это нескончаемо длинное время и неотступные мысли.

Они, эти мысли, постоянно возвращают Павле Рапковича к тому, что стряслось с ним самим, его домом и обширным хозяйством. И чем упорней думает он, тем больше кажется ему, что все это ужасный сон. Иначе как могло бы столько бед свалиться на него и всех его родных за какие-то несколько дней! Двух сыновей его, студентов, жандармы забрали в первый день войны. Жена осталась дома с дочерьми одна. Большая бочарня в Осойнице сгорела у него на глазах. Погорели, должно быть, и разбрелись кто куда все его испольщики по окрестным селам. Разбросанные по всему уезду, безвозвратно пропали кредиты. Лавка его, лучшая в городе, здесь, в двух шагах от него, стоит под замком и будет, конечно, разграблена или сгорит от шального снаряда. А сам он заложником сидит в этом темном бараке, отвечая головой своей за то, что от него нисколько не зависит: за судьбу моста.

Непривычно бурно роились мысли, беспорядочные, сумбурные, сталкивались и гасли. Какое отношение имеет он к мосту, он, который всю свою жизнь занимался лишь своим делом и своей семьей? Не он его минировал, не он обстреливает его сейчас. Даже в бытность свою холостым приказчиком у него не было привычки, по примеру прочих вышеградских молодых парней, рассиживать в воротах, коротая время за песнями и праздным зубоскальством. И весь его жизненный путь во всех подробностях, давно уже было стершихся в памяти, проходит у него перед глазами.

Четырнадцатилетним мальчонкой, вспоминается ему, голодным и в драных опанках, пришел он сюда из Санджака. И за харчи да одну смену платья и две пары опанок в год попал в услуже-

ние к газде Петару. Он нянчил детей, помогал в лавке, таскал воду, скреб лошадей. Спал в каморке под лестницей, узкой и темной, без окна, где нельзя было вытянуть ноги. Но он все это вынес и в восемнадцать лет перешел «на жалованье» в лавку, а на его место был взят из Санджака новый деревенский мальчик. Тогда-то и познал он великий смысл экономии и целиком проникся жгучей и сладостной страстью накопительства. Пять лет он спал в клетушке за лавкой. За эти пять лет ни разу не развел огня и не лег при свече. Было ему двадцать три года, когда газда Петар самолично женил его на пригожей и состоятельной девушке из Чайниче. И она была из семьи торговца. Стали они копить вдвоем. Пришла оккупация, оживилась торговля, увеличились заработки, а с ними и траты. Он использовал возможности новых заработков, а трат избегал. Так и он завел свою лавку и начал наживаться. В те годы это было нетрудно. Многие тогда быстро богатели и еще быстрее разорялись. Сохранить нажитое было труднее всего. Но он держался крепко за свое и каждый день прикладывал к тому, что уже было. А когда подошли новые времена, а с ними беспорядки и «политика», он, хотя и был уже в годах, всеми силами старался в них разобраться, чтобы не поддаться им и приспособиться без урона и для чести и для состояния. Он стал помощником председателя городской управы, председателем церковной общины, председателем сербского певческого общества «Гармония», основным акционером Сербского банка, членом административного совета Земельного банка. И умудрялся, не греша против совести и устава торговых рядов, лавировать в чудовищном нагромождении с каждым днем растущих противоречий, умея при всех передрягах соблюсти свою выгоду, расположение властей и уважение народа. В глазах своих сограждан он был недостижимым идеалом сметливой хватки, оборотистости и прозорливости.

Так большую половину отпущенного ему века он наживался, копил, карпел и изворачивался, стараясь мухи не обидеть, никого не задеть и не смотреть по сторонам и молчком продвигаться своей дорогой. И вот куда она его привела: в барак под охрану двух солдат, как какого-нибудь отпетого головореза, где он должен дожидаться, когда подорванный снарядом или адским механизмом мост бросит его самого под штыки или пули. Этак невольно приходится думать о том (и это особенно его терзает), что напрасны все его лишения и муки и неверен выбранный путь и, должно быть, правы его сыновья и прочие юнцы, говоря о бесполезности каких-либо расчетов и прикидок в наши дни, по крайней мере тех, какими руководствовались до сих пор; его, во всяком случае, расчет и его прикидки оказались ошибочными и куцыми.

«Вот так-то в жизни и выходит,— рассуждал сам с собой газда Павле,— вот так-то оно и выходит: все тебе велит и заставляет работать и копить — и церковь, и власть, и собственный твой разум. И ты впрягаешься послушно, и тянешь, и тянешь, живешь как праведник, и, верней, не живешь, а надрываешься, копишь, хлопочешь, в том и проводишь весь век. И вдруг в один прекрасный день все становится с ног на голову; приходят времена, когда здравомыслие поднимается насмех; церковь закрывается и умолкает, власть заменяется грубой силой; честные труженики, кровавым потом добывавшие свой хлеб, разоряются, а лодыри и насильники богатеют. Никто не признает твоих стараний, и нет ни единой души, которая могла бы делом и советом помочь тебе сберечь добытое трудом и бережливостью. «Может ли такое быть? Неужто может?» — снова и снова спрашивал себя газда Павле и, не находя ответа, возвращался опять к своей исходной мысли о всеобщей погибели и крахе.

И как бы ни хотел он отвлечься мыслями на что-нибудь другое, никак это ему не удавалось. И он все думал и думал, неотступно думал об одном и том же. А время ползло убийственно медленно. И ему начинало казаться, что этот мост, по которому он тысячи раз проходил, ни разу хорошенько к нему не присмотревшись, всей своей тяжестью давит на его грудь, как непостижимая роковая тайна в кошмарном болезненном сне, чудовищном сне без пробуждения.

И он, не поднимая головы, не разгибая плеч, сидел согнувшийся под этим тяжким бременем, чувствуя, как под твердой накрахмаленной рубашкой с манжетами и воротником из каждой поры его кожи проступает холодный пот. Из-под фески пот стекал ручьями. Он его не утирал, предоставляя ему тяжелыми каплями падать на пол, словно это вытекала из него сама жизнь.

Двое солдат-караульных, из немолодых венгерских крестьян, молча ели хлеб и щедро подперченное сало; с медлительной степенностью, точно на пашне, совершали они свою трапезу, складным перочинным ножом отрезая ломоть хлеба или шматок сала. Потом отхлебнули на запивку по глотку вина из жестяной баклажки и закурили свои короткие трубки. Один, попыхивая, проговорил:

— В жизни не видывал, чтобы кто-нибудь этак потел.

После чего оба в молчании продолжали курить.

Но не один только газда Павле, теряясь в мороке кошмарного сна без пробуждения, исходил кровавым потом. На маленьком клочке земли между Дриной и сухопутной границей, в городе, по селам, дорогам и лесам в те дни многие в поте лица сеяли смерть и принимали ее, всеми средствами пытаясь в то же время от нее оборониться и уйти. Необъяснимая человеческая игра, именуемая

войной, приобретала все больший размах, распространялась и вовлекала в свой оборот все живое и неживое.

Невдалеке от вышеупомянутого общинного барака тем утром расположился необычный отряд. На людях была белая форма и белые тропические шлемы. Это был так называемый Скадарский отряд немецкой армии. Перед войной он в составе международных войск был направлен в Скадар с целью поддержания порядка и спокойствия. По объявлении войны отряд получил приказ покинуть Скадар и отправиться в распоряжение командования ближайших соединений на границе Сербии. Он прибыл сюда ночью и отдыхал теперь в ложбине между площадью и торговыми рядами. И здесь, в заветрии, дожидался приказа к выступлению. Отряд насчитывал около ста двадцати человек. Капитан, рыжий и дородный человек, изнемогающий от жары, как раз сейчас отчитывал жандармского сержанта Данилу Репаца и осыпал его бранью, как это только офицерские чины немецкой армии и могут делать,— громкоголосо, бесцеремонно и педантично. Они, умирая от жажды, лишены самого необходимого,— возмущался капитан,— а лавки, набитые, должно быть, всякой всячиной, стоят вокруг закрытыми, несмотря на приказ производить бесперебойную торговлю.

— Вы для чего тут поставлены? Жандармы вы или куклы? Мне что же, подыхать здесь со своими людьми? Или, может быть, взламывать двери, как налетчику? Немедленно разыскать владельцев и обеспечить нас необходимыми продуктами и надлежащим питьем! Немедленно! Понятно вам: немедленно!

С каждым выкриком кровь все сильнее приливала к его лицу. В белой униформе с наголо бритой, красной как мак головой капитан пылал, словно факел, от неукротимой ярости и гнева.

Сержант Репац, съежившись, хлопал глазами и бубнил:

— Так точно, господин капитан. Будет исполнено. Так точно. Будет исполнено.

И с места в карьер, из каталептической оцепенелости впадая в судорожную поспешность, он повернулся и ринулся к торговым рядам. Казалось, близкое соприкосновение с кипящим гневом капитаном воспламенило и самого сержанта и он пустился бежать, изрыгая проклятия, брань и угрозы.

Первым живым существом, попавшимся на пути этой безумной гонки, был Али-ходжа. Он как раз спустился вниз проведать лавку. Завидев своего доброго знакомого «господина вахмистра» Репаца, летевшего ему навстречу с неузнаваемо искаженным лицом, ходжа поначалу даже усомнился, что этот потерявший голову безумец действительно и есть тот самый «господин вахмистр», ежедневно из года в год с учтивым и гордым достоинством прохо-

дивший мимо его лавки. Угрюмый и костлявый Репац уставился на ходжу совершенно не своим взглядом, ничего не видящим и ничего не различающим, кроме собственного своего панического страха. И, как бы зараженный примером негодующего немецкого капитана, разразился криками и бранью.

— Повесить всех вас к черту, гром вас разрази! Не вам, что ли, было приказано держать лавки открытыми! А я тут должен из-за вас...

И прежде чем остолбеневший ходжа смог выговорить слово, закатил ему такую пощечину, что чалма у несчастного переехала с правого уха на левое.

Сержант все в том же невменяемом состоянии понесся дальше открывать другие лавки. А ходжа, водворив на прежнее место чалму, откинул прилавок и сел, не в состоянии прийти в себя от изумления. Возле лавки столпились странного вида вояки в белых сроду им не виданных мундирах. Все это было похоже на сон. Но после того как с неба на людей ни с того ни с сего стали сыпаться затрещины, ходжа ничему уже не удивлялся.

Так, в страданиях и насилии всякого рода, под периодический обстрел моста и пальбу с окрестных гор, прошел в ожидании еще более жестоких испытаний целый месяц. Большая часть населения в первые же дни войны покинула город, оказавшийся между двух огней. А в конце сентября город был эвакуирован полностью. Последние должностные лица выехали ночью через мост, так как железнодорожная линия была перерезана. За ними следом с правого берега Дрины постепенно отступили и войска. В городе некоторое время, помимо незначительной охраны, оставался малочисленный отряд саперов и рассредоточенные жандармские пикеты. Пока наконец очередь не дошла и до них.

Мост, как обреченный, но пока еще нетронутый и целый, стоял между двумя враждебными мирами.

XXIV

За ночь по-осеннему нахмурилось; облака цеплялись за горы и обложили все небо. Воспользовавшись непроглядной темнотой, австрийцы отводили последние части. Еще до света они не только переправились на левый берег Дрины, но отступили за Лештанскую гряду и оказались таким образом вне неприятельского поля зрения и за пределами досягаемости сербских орудий.

На рассвете зарядил по-осеннему мелкий дождь. Под этим дождем последние патрули обходили дома и лавки близ моста, проверяя, не остался ли в них кто-нибудь. Вокруг все словно вымер-

ло: офицерское собрание, гостиница Лотики, разрушенная казарма и три-четыре лавки в начале торговых рядов. Лишь перед лавкой Али-ходжи патруль наткнулся на самого ее хозяина,— он только что пришел сюда из дома и опускал ставень-прилавок. Увидев этого неисправимого, по их мнению, чудака, жандармы самым строгим образом велели ему немедленно закрыть лавку и очистить базар, так как находиться сейчас у моста опасно для жизни. Ходжа посмотрел на них как на пьяных, которые сами не знают, что несут, и хотел было ответить, что жизнь здесь от века в опасности и все мы и так уже мертвы и только хороним друг друга по очереди, но, наученный горьким опытом последних дней, передумал и непринужденно и покладисто сказал, что вот только возьмет из лавки кое-что и сейчас же пойдет домой. Явно торопясь, жандармы повторили еще раз, чтоб он поскорее убирался отсюда, и через площадь направились к мосту. Али-ходжа смотрел, как они удалялись, ступая неслышными шагами по толстому ковру прибитой дождем пыли. И дальше провожал их взглядом, пока они шли по мосту, скрытые наполовину каменным барьером, так что были видны лишь плечи, головы и длинные штыки винтовок. Вершины Бутковых скал озарили первые лучи восходящего солнца.

«Таковы все их приказы, непререкаемые и повелительные, а по существу, совершенно бессмысленные»,— как школьник, перехитривший учителя, торжествовал про себя Али-ходжа. Он приподнял ставень, протиснулся внутрь и притворил его за собой так, что лавка снаружи казалась закрытой. В темноте пробрался в заднюю каморку, столь часто укрывавшую его от людской назойливости, утомительного суесловия, от семьи и гложущих забот. Сел, подогнув под себя ноги, на жесткий короткий топчан и перевел с облегчением дух. Вскоре все тревоги и волнения пережитого дня улеглись и в душе установилось равновесие исправных и точных весов. Ходжа быстро нагрел своим дыханием узкую клетушку «гроба», и его охватило сладостное ощущение одиночества, забытья и покоя, превращающего пыльный сумрак тесной комнатушки в райский сад с зелеными кущами и миротворным лепетом незримых струй.

Свежесть дождливого рассвета проникала с улицы в полумрак тесной каморки. За ее стенами — о чудо! — установилась небывалая тишина,— не было слышно ни выстрелов, ни человеческих голосов, ни даже шагов. Чувство благодарности и счастья переполняло Али-ходжу. «Нескольких досок,— думал он про себя,— довольно, чтобы с божьей помощью, словно на чудесной ладье, спасти правоверного от беды и погибели, безысходных забот и адской стрельбы, которую армии неверных душегубов, один

другого ненавистней, ведут над его головой. С того дня, как началась война, не было еще такой отрадной, такой блаженной тишины,— упивался ходжа про себя,— пусть мимолетно, но она все же напоминала о подлинной человеческой жизни, давно уже идущей на убыль и совершенно вытесненной из этого мира громыханием орудий неверных. В тишине приходят молитвы; и сама она подобна молитве...»

В этот миг ходжа почувствовал, как топчан вместе с ним взлетел под потолок, подбросив его, как игрушку; «блаженная» тишина раскололась и загрохотала мощными раскатами и треском, потрясшим воздух оглушающим вселенским гулом, уже неразличимым ухом; полки на противоположной стене заскрипели, и все, что было в них, обрушилось на ходжу, брошенного им навстречу. «Ох!» — вырвалось у ходжи, а скорее пронеслось в его сознании, так как сам он не имел больше ни голоса, ни слуха и как бы даже места на земле. Сотрясенный страшным грохотом и ревом, мир вместе с ходжой несся в неостановимой круговерти. Вместе с клином земли меж двух рек, вместилищем города, с диким ревом выхваченным из земли и пущенным кружить в пространстве; вместе с рукавами рек, поднятыми из ложа и брошенными к небу потоками могучих водопадов и сейчас всей тяжестью своей водной массы низвергавшихся в пустоту. Быть может, это и есть кияметдень, день Страшного суда, предсказанный книгами и многими учеными людьми, в чьем пламени, как искра, сгорит в мгновение ока этот лживый мир? Но для чего понадобилось богу, один взор которого зажигает и гасит светила, это громоизвержение? Нет, нет, это не от бога. Но кто же дал такую силу человеческой руке? И найти ли на это ответ в ослеплении предательски настигшего тебя удара, стремящегося все вокруг повергнуть, раздавить, заглушить,— даже самую мысль. И сейчас не знает он, что его несет и куда он летит, где остановится, и только понимает, что он, Али-ходжа, был прав всегда и во всем. «Ох!» — снова испустил он стон. На этот раз от боли, ибо та же сила, поднявшая его вверх, грубо и резко швырнула его вниз и бросила, но не на прежнее место, а в закуток между дощатой стеной и опрокинутым топчаном. Он почувствовал тупую боль в голове, в спине и под коленями. В неумолкавшем грохоте он различил еще отдельный удар, пришедшийся по кровле лавки, и бряканье и стук за тонкой переборкой металлических и деревянных предметов, словно вдруг оживших и в дикой пляске сталкивавшихся друг с другом. Вслед за ним на крышу и на мостовую обрушился град мелкого камня. Но Али-ходжа уже не слышал его,— он потерял сознание и, недвижимый, затих в своем «гробу».

Было уже совсем светло.

Сколько он так пролежал, ходжа даже приблизительно не знал. Из состояния глубокого обморока его вывели свет и чьи-то голоса. С трудом он приходил в себя. Помнится, он сидел тут в полной темноте, теперь сквозь узкий дверной проем в каморку из лавки просачивался свет. И был неперепосимый треск и гром, оглушающий, выворачивающий нутро у человека. Теперь стояла тишина, нисколько, правда, не похожая на ту, которой наслаждался он до повергшего его на землю взрыва, а как будто бы ее злая сестра. Слабый голос словно из неведомой дали звал его по имени и лучше всего свидетельствовал о глубине и непроницаемости этой тишины.

Осознав, что он жив и все еще в своем «гробу», ходжа выбрался из-под груды вещей, слетевших с полок на него, и с невольными страдальческими стонами поднялся на ноги. Теперь он ясно слышал голоса, звавшие его с улицы. Согнувшись, он через низкий ход прошел в лавку. В ней все было расколото и перебито и залито ярким светом. Неплотно притворенный ставень сорвало взрывом, и лавка была раскрыта настежь.

В хаосе и свалке сброшенных товаров вперемешку с осколками и черепками посреди лавки лежала каменная глыба, величиной с человеческую голову. Ходжа глянул вверх. Оттуда в лавку тоже лился свет. Значит, камень пробил крышу и тонкий потолочный настил. Ходжа снова посмотрел на камень, бело-пористый, зеркально отшлифованный с боков, с грубыми и резкими краями раскола. «Ох, да это мост!» — внезапно поразило ходжу, однако голос с улицы, все более настойчиво и громко его звавший, не дал ему довести эту мысль до конца.

Пошатываясь как бы в полусне, весь избитый, ходжа вышел и оказался перед группой в пять-шесть человек, молодых, небритых, пропыленных, в серой униформе, в пилотках и опанках. Все они были вооружены и перепоясаны патронташами, набитыми блестящими пулями. С ними был слесарь Владо Марич, сменивший свою кепку мастерового на барашковую папаху, с патронташем через грудь. Один из группы, очевидно командир, молодой, с черной ниточкой усов, резкими чертами правильного лица и воспаленными глазами, решительно шагнул к ходже. Винтовка у него была закинута за спину по-охотничьи, в правой руке он держал тонкий ореховый хлыст. Злобно выругавшись, он яростно напустился на ходжу.

— Где ты там, эй? Кто ж это держит лавку отворенной? А после что-нибудь пропадет, и будешь говорить, что это мои солдаты тебя ограбили. Или прикажешь мне твой товар стеречь?

Застывшее лицо командира было при этом почти безучастно, но голос звучал резко и сердито, и хлыст в руке взвивался угро-

жающе. К нему подошел Владо Марич и что-то тихо ему прошептал.

— Ладно, ладно, пусть будет честный и хороший, но, если в другой раз оставит свою лавку без надзора, это ему так легко не сойдет.

С тем вооруженные люди ушли.

«Это уже другие,— подумал про себя ходжа, провожая их взглядом.— И надо же им было сразу наткнуться на меня? Нет, не было еще такой перемены в городе, чтоб по мне не ударила!»

Так он стоял, оторопелый, у своей пробитой лавки с тяжелой головой и ноющей болью от ушибов. Перед ним в блеске утреннего солнца простиралась базарная площадь, словно поле битвы, усеянная мелкими и крупными осколками камней, щебнем и обломками деревьев. Взгляд его перешел на мост. Ворота были на месте, но сразу после них мост обрывался. Седьмой опорный столб отсутствовал; между шестым и восьмым столбами зияла пустота, наискось виднелась зеленая вода. Начиная с восьмого быка мост продолжался и уходил к другому берегу, такой же гладкий, правильный и белый, каким был вчера и извечно.

Не веря себе, ходжа мигнул один раз, другой, потом зажмурился, и вспомнились ему солдаты, лет пять или шесть тому назад под прикрытием зеленой палатки долбившие отверстие в теле того самого быка, и выплыло видение чугунной покрышки, долгими годами таившей под собой зев замипированного отверстия, а рядом с ней загадочно-краспоречивое лицо фельдфебеля Бранковича, замкнувшегося в глухонемой непроницаемости. Отогнав видение, ходжа вздрогнул и открыл глаза, но взгляду его явилась та же картина: базарная площадь, усеянная мелкими и крупными обломками камней, мост с одним недостающим опорным быком и зияющая пустота между грубо оборванными сводами.

Во сне только можно увидеть нечто подобное. Только во сне. Но стоило ему отвернуться от страшного призрака, как перед ним вставала собственная лавка с каменной глыбой, частью седьмого быка, посреди нагромождения разбросанных товаров. Если это сон, то он, должно быть, объял целый мир.

Из торговых рядов до него долетели перекличка голосов, крики сербской команды и топот быстро приближавшихся шагов. Алиходжа поскорее поднял ставень, закрыл его на засов, навесил замок и заторопился наверх, домой.

И раньше случалось ему чувствовать одышку при подъеме в гору и перебои куда-то сместившегося сердца. Давно уже, с тех пор как он перевалил за пятьдесят, родное взгорье становилось для него всё круче и отвесней и удлинялся путь к дому. Но таким тяжелым, как сегодня, когда он торопился поскорее уйти от тор-

говых рядов и добраться до дому, подъем еще никогда не был. Сердце билось как-то совершенно несуразно, стесняя дыхание и заставляя ходжу то и дело отдыхать.

Внизу, казалось, раздавалось пение. И там же, за его спиной, был разрушенный, варварски разъятый надвое мост. Ему не нужно оглядываться назад (этого он не сделал бы ни за какие блага в мире!), чтобы увидеть весь ужас того, что осталось внизу: гладко скошенный у самого основания исполинский ствол опорного быка, тысячью осколков разнесенный по округе, с грубо расторгнутыми сводами справа и слева. Между ними зияла пустота в пятнадцать метров. Искалеченные остатки сводов страдальчески тянулись друг к другу.

Нет, ни за что на свете не согласится оглянуться ходжа! Но и вперед, в гору, он не в силах идти, сердце подкатывает к горлу, ноги не слушаются. Он остановился, стараясь дышать размеренно, свободно и глубоко. Раньше это всегда помогало. Помогло и сейчас. В груди как будто полегчало. Между глубоким и ровным дыханием и работой сердца установилось некое согласие. Он двинулся дальше, подгоняемый вдохновляющей мыслью о доме и постели.

Медленно и трудно продвигался вперед Али-ходжа, а призрак разорванного надвое моста неотступно шел за ним. Невидимый въяве, он продолжал преследовать ходжу и мучить. И даже если он совсем сомкнет глаза, он все равно только его и будет видеть.

Вот теперь, —переведя дух и обретя способность рассуждать, стал думать Али-ходжа,— вот теперь окончательно выяснилось, к чему вели на самом деле все эти их усовершенствования и нововведения, вся эта их суета и рвение. (Он всегда оказывался прав, во всем и вопреки всем. Но сегодня даже эта мысль не доставляла ему истинного удовлетворения. Впервые в жизни ему не до того. Хотя он более чем прав!) Столько лет подряд он наблюдал, как они не давали мосту покоя,— чистили, скребли его, чинили, перекладывали, проводили по нему водопровод, освещали электричеством, а потом в один прекрасный день все это подняли взрывчаткой в воздух, как будто это простая скала в горах, а не священный дар, пожертвование и красота. Вот теперь и вышли наружу истинные их намерения и цели. Он-то это знал всегда, а теперь — теперь это ясно последнему глупцу. На нерушимое и вечное осмелились руку поднять, у бога отнимают! И чем же все это кончится! Уж если мост визиря разорвался, как монисто, тому конца не будет; теперь уж ничего не сделаешь.

Он снова остановился передохнуть. Дыхание прерывалось, подъем был все круче. Он снова глубоко и размеренно дышал, пытаясь успокоить колотившееся сердце. И, укротив его, с новыми силами быстрее зашагал вперед.

Но, однако,— размышлял он дальше,— если рушат здесь, то ведь где-то, надо полагать, должны и возводить. Ведь есть же, надо думать, где-нибудь на свете края и люди с головой, которые помнят бога. И если отвернулся господь от горемычного города на Дрине, то, наверное, все же не от всей земной юдоли, что простерлась под небом? Но и этим не вечно здесь оставаться. Впрочем, как знать? (Ах, хоть бы немного больше воздуха вдохнуть!) Как знать? Может быть, эта поганая вера, которая все переделывает, чистит, перестраивает и обновляет, чтоб потом все разом поглотить и разрушить, может быть, она захватит всю землю и превратит весь божий свет в пустыню для своего бессмысленного строительства и варварского разрушения, выпас для утоления своего ненасытного голода и непонятных притязаний? Все может быть. Одного только не может быть: не может быть, чтобы на свете перевелись и вымерли великие и мудрые, наделенные душевной щедростью мужи, возводящие во имя божье вечные постройки для украшения земли и облегчения жизни человеческой. Если бы не стало их, исчезла бы, угасла и божья милость в мире. А этого не может быть.

Погруженный в думы, ходжа шел все медленней и тяжелей. Из торговых рядов теперь вполне отчетливо доносилось пение. Ах, только бы вдохнуть побольше воздуха, только бы преодолеть эту крутизну, только бы дотянуть до дому, повалиться на свою постель и увидеть, услышать кого-нибудь из близких! Это было все, о чем он мечтал. Но и этого ему не было дано. Он был уже не в силах справиться с дыханием и сердцем; сердце замирало, дыхание прерывалось, как бывает иногда во сне. Однако спасительного пробуждения не было. Он широко открыл рот, чувствуя, как глаза вылезают из орбит. Вздыбившееся взгорье бросилось ему в лицо. Своей кремнистой утоптанной твердью оно загородило от него весь мир, погрузив во тьму.

На дороге, круто поднимавшейся к Мейдану, в смертельной агонии расставался с жизнью Али-ходжа.

После того как фашистская Германия напала на Югославию, Иво Андрич, занимавший в то время пост югославского посла в Берлине, вместе со всем составом посольства вернулся в Белград. Оставив службу и отвергнув всякое сотрудничество с оккупантами и их пособниками, писатель все годы войны провел в Белграде, занимаясь литературным трудом. В апреле 1942 г. он уже завершил работу над «Травницкой хроникой» и тут же приступил ко второму своему роману «Мост на Дрине», который был закончен к концу 1943 г. В течение 1944 г. был написан третий роман «Барышня». Все три романа опубликованы в 1945 г., вскоре после освобождения Белграда от фашистских оккупантов.

Исторические романы Андрича «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине» оказали сильное воздействие на развитие всей послевоенной югославской литературы. Переведенные более чем на тридцать языков, они принесли автору мировую славу. На русском языке «Мост на Дрине» вышел в 1956 г., «Травницкая хроника» — в 1958 г.

Большая часть произведений Андрича написана на материале прошлого Боснии, связана с историей страны или с тем, как эта история преломлялась в сознании народа, с преданиями и легендами, складывающимися на протяжении веков. Интерес к истории возник у Андрича еще в юности. Историк по образованию, писатель свою докторскую диссертацию посвящает теме: «Развитие духовной жизни Боснии в период турецкого владычества». Мотивы первых своих новелл он также черпает из исторического прошлого своего народа. В речи, произнесенной писателем при вручении ему Нобелевской премии по литературе (1961 г.), Андрич специально останавливается на жанре исторического романа. Он не принимает упрека в уходе от современности. «Разве,— говорит он,— в прошлом мы не сталкиваемся с теми же явлениями и теми же проблемами, что и в настоящем?»

Свою задачу писатель видит не в изображении исторических событий как таковых. Интерес его сосредоточен на людях, их внутреннем мире. В рассказе «Свадьба» (1936) Андрич так и напишет: «Имена людей и цены на пшеницу записаны где-то, а все остальное, что волновало и мучило жителей городка, его

тесный мирок, не нашло отражения ни в каких записях, а в памяти постепенно бледнеет». Политическую историю бурных наполеоновских лет Андрич покажет сквозь призму «человеческих волнений, принимавших самые различные формы — от слепого животного страха до энтузиазма, готового на самопожертвование, от низменных кровожадных разбойничьих инстинктов до святых подвигов любви к людям».

Всем историческим произведениям Андрича предшествовала кропотливая работа историка, этнографа и социолога. Благодаря исследованию М. Шамича «Исторические источники «Травницкой хроники» (Сараево, 1962), можно проследить историю создания этого наиболее значительного произведения писателя.

Замысел романа возник еще в 1924 г., когда в руки Андрича попала книга М. Гавриловича «Материалы парижских архивов» (Белград, 1904), где внимание писателя привлекли выдержки из писем французского консула в Травнике Пьера Давида. В 1927 г., будучи в Париже, Андрич в архиве министерства иностранных дел тщательно изучает переписку французского консула. В Париже он знакомится с книгой секретаря французского консульства в Травнике Шометта де Фоссе «Путешествие в Боснию 1807—1808 гг.» (Париж, 1822). В 1937 г. в Вене Андрич добирается до подлинных донесений австрийских консулов Пауля фон Миттерера и Якоба фон Паулича. Среди источников «Травницкой хроники» называются также летописи францисканских монастырей в Боснии, воспоминания сына Пьера Давида, его биография, написанная Альфредом Дюменом. Так были найдены прототипы основных персонажей будущего романа — Жана Давиля и фон Миттерера с супругами, Дефоссе, фон Паулича, переводчиков Давны и Ротты, Колоньи, Луки Дафинича, Ахмет-аги Церича и многих других.

Степень соответствия персонажей романа и их прототипов разная. Биографии, например, Жана Давиля, фон Миттерера, визирей Мехмед-паши, Ибрагим-паши, Силиктар-паши и некоторых других почти точно совпадают с биографиями их прототипов, в иных случаях(Ротта, Колонья)использованы лишь имена и должности, все остальное — создание писательского воображения. Да и там, где совпадение биографий самое полное, неправильно ставить знак равенства между историческими личностями и персонажами романа. Так, например, Пьер Давид, несмотря на все формальное сходство с Жаном Давилем, отнюдь не был заурядной личностью, как это неоднократно подчеркивает автор в отношении Давиля. Это был один из образованнейших и искуснейших наполеоновских дипломатов, психологический портрет которого не совпадает с образом, нарисованным Андричем. Импульсом для создания образа госпожи фон Миттерер, архивные материалы о которой крайне скудны, послужила всего одна фраза из письма Пьера Давида: «У фон Миттерера снова неприятности с женой». Очень близки к действительным образы всех турецких пашей. Документы эпохи в данном случае использованы весьма полно. Таким образом, оставаясь в рамках избранной исторической ситуации, достоверно и исторически правильно воссоздавая ее, Андрич строит свой роман, подчиняя

его единому писательскому замыслу — изобразить «доподлинную» историю нашей души и нашего тела, нигде не записанную, никем не подозреваемую, имеющую очень мало сходства с нашими общественными успехами, но которая для нас является единственно важным и ценным критерием добра и зла».

В романе «Мост на Дрине» Андрич, как ни в одном другом своем произведении, широко использует легенды и предания, причудливо переплетающиеся с действительными событиями. Писатель неоднократно высказывал мысль, что «нужно слушать легенды — следы коллективных человеческих усилий — и в них отгадывать, насколько возможно, смысл нашей судьбы». Иные из легенд, например те, что связаны со строительством моста и прочно живут в устном народном творчестве,— о вмешательстве вилы, о близнецах, замурованных в основание моста, о Черном Арапе,— писатель возвращает к истокам, то есть к породившим их реальным событиям и фактам. Иные (эпизод с Миланом Гласинчанином, гибель Фатимы) так и остаются на грани правды и вымысла.

Романы И. Андрича «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине» создают цельную и верную историческую, социальную и психологическую панораму жизни Боснии на протяжении пяти веков.

О. Кутасова

ТРАВНИЦКАЯ ХРОНИКА

Стр. 20. *Бонапарт запросил у Порты в Стамбуле разрешение открыть консульство в Травнике...*— 14 апреля 1806 г. министр иностранных дел Франции Талейран направил временному поверенному в делах в Стамбуле распоряжение запросить у Блистательной Порты необходимые фирманы для учреждения в Боснии французского генерального консульства.

...французская армия уже год стоит в Далмации, в Сербии непрекращающиеся восстания...—После ряда победоносных сражений с войсками Третьей коалиции (Англия, Россия, Австрия и Неаполитанское королевство) Наполеон заставил Австрию просить мира. По условиям мирного договора, подписанного 26 декабря 1805 г. в Братиславе (по-немецки — Прессбурге; отсюда Прессбургский мир), к Франции отходил ряд австрийских владений, в том числе Далмация, полученная австрийцами по Кампоформийскому мирному договору (17 октября 1797 г.). 12 июня 1806 г. военным губернатором Далмации был назначен генерал Огюст-Фредерик-Луи Мармон.

В феврале 1804 г. в Сербии вспыхнуло антитурецкое восстание, которое возглавил Георгий Петрович Черный—Карагеоргий (1768—1817). Повстанцы обратились за помощью к России, оказавшей им дипломатическую и материальную поддержку. После начала русско-турецкой войны (1806—1812) русские войска неоднократно сражались плечом к плечу с сербскими повстанцами против общего врага, отбивая турецкие походы, в которых принимали участие и боснийские войска.

Стр. 24. *Конечно, Травник — резиденция визиря...*— Травник был резиденцией визирей Боснии, являвшейся самой отдаленной турецкой провинцией в Европе, с 1699 до 1850 г. (с краткими перерывами). В 1850 г. резиденция боснийского визиря была перенесена в Сараево.

Стр. 25. *С той самой поры, как турки ушли из Венгрии...*— В XVII в. турецкие владения в Европе охватывали весь Балканский полуостров и юго-восточную часть Венгрии, в которую входили и населенные сербами и хорватами Банат, Срем, Бачка, Славония. В 1683 г. турецкая армия предприняла поход в Центральную Европу, но была разбита под Веной соединенными австро-польскими войсками под командованием польского короля Яна Собесского. Австрийские войска перешли в контрнаступление и дошли до Скопле, но удержать своих завоеваний не смогли. По Карловацкому миру (26 января 1699 г.) во власти Турции остались земли южнее реки Савы, а также небольшая часть Срема и Банат. В войнах первой половины XVIII в. Австрия присоединила не только остатки Срема, но и Банат, Малую Валахию, часть Сербии и узкую полосу в Боснии южнее реки Савы. Однако по Белградскому миру (1 сентября 1739 г.) Австрия лишилась владений в Сербии и Боснии, покинула Малую Валахию. Во время всех этих войн и переделов мусульманское население уходило в пределы турецких владений, в том числе и в Боснию.

Стр. 26. *Примерно в то же время в Травник прибыл новый визирь Хусреф Мехмед-паша...*— Хусреф Мехмед-паша был назначен боснийским визирем 22 марта 1806 г. Он был одним из наиболее достойных учеников знаменитого турецкого флотоводца капудан-паши Кучука Хусейна, горячим сторонником реформ Селима III, поклонником Наполеона. По некоторым сведениям, он читал и понимал по-французски.

Стр. 29. *...турки до Савы, а швабы за Савой.*— См. прим. к стр. 25.

Стр. 31. *...поступил на службу к великому капудан-паше Кучуку Хусейну...*— Главный адмирал Кучук Хусейн был ближайшим сподвижником Селима III, помогал ему при проведении реформ, добился прекращения пиратства, пригласил инструкторов из Франции и Швеции для строительства флота и береговых укреплений.

Стр. 33. *...Давиль... побывал с миссией в Германии, потом в Италии,— при Цизальпинской республике и Мальтийском ордене.*— Так называемая Цизальпинская республика была создана Наполеоном по Кампоформийскому миру и находилась в вассальных отношениях с Францией. Духовно-рыцарский Мальтийский орден был основан в 1530 г. орденом госпитальеров на острове Мальта и принял на себя обязательство защищать Средиземное море и его побережье от турок и африканских пиратов. До конца XVIII века был самостоятельным феодально-теократическим государством. В 1798 г. Мальта была захвачена Наполеоном, а в 1800 г.— Англией, превратившей ее в свою колонию.

Стр. 39. *...дары СелимаIII.*—Султан Селим III (1761—1808), вступивший на престол в 1789 г., был образованным и умным правителем. Он предпринял

ряд реформ, направленных на централизацию управления империей, укрепление ее финансов, реорганизацию армии по европейскому образцу, вызвавших резкое недовольство турецких феодалов и реакционного мусульманского духовенства. После заключения мира с Францией в 1802 г. французское влияние при дворе Селима III сильно возросло. Французские инструкторы руководили реорганизацией армии и флота, строительством укреплений и т. д.

Стр. 41. *...восстание мамелюков вынудило Мехмед-пашу бежать из Египта...*— В июле 1798 г. французская армия во главе с Наполеоном вторглась в Египет, разгромила войска мамелюков, установила в стране жестокий оккупационный режим, вызвавший массовое антифранцузское движение. В 1801 г. англичане, поддерживавшие турок в борьбе с Наполеоном, сами оккупировали Египет. В 1805 г. командир албанского отряда, присланного султаном Селимом в свое время для борьбы с французскими оккупантами, поднял восстание в Каире и был провозглашен правителем Египта, после чего власть Турции фактически прекратилась.

Стр. 47. *Когда английский флот прорвался через Дарданеллы и стал угрожать Стамбулу...*—Англия, будучи союзницей России по антифранцузской коалиции, в феврале 1807 г. предприняла экспедицию в проливы. 19 февраля английская эскадра внезапно прошла Дарданелльский пролив, подавив при этом плохо стрелявшие малочисленные турецкие батареи и потопив пять из встретивших ее шести турецких судов. Угрожая начать бомбардировку города, англичане потребовали, чтобы Турция разорвала отношения с Францией, выслала французского посланника генерала Себастиани, прекратила военные действия против России, заключила союзный договор с Англией и передала в ее распоряжение форты в Дарданеллах. По совету Себастиани Селим III затягивал переговоры, одновременно спешно усиливая оборону проливов. Английская эскадра оказалась в ловушке и поспешно повернула назад, понеся значительные потери при обратном проходе через Дарданеллы.

Стр. 48. *...когда в Стамбуле произошел майский переворот.*— По турецким обычаям, армию во время войны возглавлял великий визирь и вместе с ним на театр военных действий отправлялось все правительство. Когда весной 1807 г. начались военные действия на Балканах, противники Селима III, воспользовавшись отсутствием его ближайших сподвижников, устроили заговор. 29 мая 1807 г. Селим III был свергнут и на престол возведен Мустафа IV, ставший послушным орудием в руках янычар и реакционного мусульманского духовенства, свирепо расправившихся со сторонниками реформ.

Стр. 50. *...с приказом весной выступить с сильным войском против Сербии.*— В связи с начавшейся в 1806 г. русско-турецкой войной сербские повстанцы отказались от переговоров с султаном, которые они вели в 1805—1806 гг. о предоставлении Сербии автономии в рамках Турецкой империи, и решили в союзе с Россией добиваться полной независимости. Все турецкие правители на Балканах, в том числе и боснийский визирь, получили приказы выступить против Сербии и подавить восстание.

Стр. 58. *Конгресс в Эрфурте закончился.*— Вторая встреча Наполеона с Александром I (первая состоялась в Тильзите с 25 июня по 7 июля 1807 г.) проходила в Эрфурте с 27 сентября по 14 октября 1808 г. по инициативе Наполеона, стремившегося возобновить франко-русский союз, крайне необходимый ему для продолжения войны с Англией и нейтрализации Австрии, готовившейся к войне. Хотя на Эрфуртском конгрессе и было подписано тайное соглашение о союзе, Наполеону не удалось добиться решительного выступления России против Австрии в случае возникновения франко-австрийской войны.

Стр. 61. *...предпочел стать переводчиком «иллирийского» языка...*— Иллирийским языком в конце XVIII — начале XIX в. часто называли языки южных славян. Это основывалось на представлениях о том, что они являются потомками древних иллиров, населявших Балканский полуостров в I тысячелетии до н. э.

Стр. 64. *Когда министром был назначен Талейран...*— Шарль-Морис де Перигор Талейран (1754—1838) впервые стал министром иностранных дел Франции под конец правления Директории (в 1797 г.). Перед ее падением он ловко добился отставки и после наполеоновского переворота — знаменитого «18 брюмера» (9 ноября 1799 г.) — был вновь назначен министром иностранных дел, в должности которого оставался до осени 1807 г.

Стр. 66. *...если считать с Амьенского мира...*— Война Франции со второй европейской коалицией (Англия, Россия, Австрия, Неаполитанское королевство и Турция), начавшаяся весной 1799 г., завершилась подписанием Амьенского мирного договора между Англией с одной стороны и Францией, Испанией и Голландией с другой (27 марта 1802 г.).

...после знаменитой победы Наполеона в Пруссии Давиль написал поэму «Битва при Иене»...— В битвах при Иене и Ауэрштедте, состоявшихся 14 октября 1806 г., были наголову разбиты войска Пруссии, входившей вместе с Англией, Россией и Швецией в четвертую антифранцузскую коалицию.

Стр. 72. *...когда Сулейман-паша Скоплянин пошел с войском на Черногорию и сжег Дробняк...*— Походы турецких войск против Черногории были постоянным явлением вплоть до середины XIX в. Дробняк — область Черногории близ границы с Герцеговиной.

Стр. 78. *Давиль называл себя «убежденным учеником великого Буало»...*— Никола Буало (1636—1711) — французский поэт, известный теоретик классицизма.

Образцом для Давиля из современных поэтов был Делиль... автор «Садов» и переводчик Вергилия.— Жак Делиль (1738—1813) — французский поэт. В 1769 г. вышел в свет его перевод «Георгик» Вергилия, заслуживший одобрение Вольтера. Поэма «Сады» (1782) — первое большое оригинальное его сочинение. Поэзия Делиля отличалась виртуозностью стиха, рассудочностью и риторичностью.

...Давиль вынашивал план объемистого эпоса об Александре Великом.— Имеется в виду Александр Македонский.

Стр. 86. *По одежде и манере держаться священника можно было принять за морлака-граничара...*— Морлаками в XVI—XVII вв. итальянцы называли жителей континентальной Далмации, входившей в состав Венецианской республики, которые обычно несли пограничную службу.

Стр. 99. *...целиком погрузился в служебную жизнь земунского карантина...*— В Земуне, являвшемся крупным торговым городом на южной границе Австрийской империи, через который шла значительная торговля с Турцией, помимо военных учреждений, таможни и т. д. имелся карантин. В нем в обязательном порядке задерживали на 10—15 дней всех, кто прибывал из Турции, с целью предотвратить распространение в австрийских землях эпидемий, столь часто посещавших турецкие провинции в те времена.

Стр. 100. *Госпожа фон Миттерер строит новый Шенбрунн...*— Шенбрунн — императорский дворец в Вене.

Стр. 116. *Более двухсот лет назад, во время великих войн...*— Имеются в виду турецкие завоевания XVI—XVII вв., во время которых к Турции были присоединены южные провинции Венгрии, в том числе и Славония.

Стр. 142. *Во Врандук попа-кадию!*— Врандук — небольшая крепость к северу от Зеницы. Обозвать мусульманского священника (кадию) попом значило обвинить его в открытой измене.

Стр. 148. *Ибрагим Халими-паша был... сторонником Селима III...*— Новый боснийский визирь Ибрагим Халими (Хилми)-паша прибыл в Травник 7 апреля 1808 г., где находился до середины 1813 г. Незадолго до этого он занимал пост великого визиря, был сторонником союза Турции с Францией.

Стр. 174. *...свержение Селима произошло как раз тогда, когда Ибрагим-паша находился во главе армии...*— См. прим. к стр. 50.

Стр. 183. *...Наполеон, заключив мир с Россией, вызвал большое разочарование в Стамбуле...*— Мир между Россией и Францией был заключен еще в 1807 г., во время первой встречи двух императоров в Тильзите, и был подтвержден на Эрфуртском конгрессе (1808 г.).

...пришлось быть свидетелем вступления английского военного флота в Босфор.— См. прим. к стр. 47.

Стр. 184. *...о новом государственном перевороте в Стамбуле и трагической смерти бывшего султана Селима III.*— После свержения Селима III сторонники реформ укрылись в Рущуке у приверженца Селима рущукского паши Мустафы Байрактара, где ими была создана тайная политическая организация «Рущукские друзья». В июле 1808 г. Мустафа Байрактар с большим войском пришел в Стамбул, но ему не удалось освободить находившегося в заточении Селима III, который по приказу Мустафы IV был убит. Байрактар низложил султана Мустафу IV и возвел на престол его брата Махмуда — последнего отпрыска династии Османов. Байрактар, ставший великим визирем, и «рущукские друзья» удержались у власти недолго: в ноябре вспыхнул новый янычарский мятеж, Байрактар погиб в бою, а Махмуд II сохранил трон лишь благодаря тому, что приказал умертвить Мустафу.

Стр. 199. *...три изображения — Гиппократа, святого Алоизия Гонзаго и неизвестного рыцаря в латах...*— Гиппократ (ок. 460—377 гг. до н. э.)—знаменитый древнегреческий врач, один из основоположников античной медицины, оказавший большое влияние на развитие медицины в последующие века. Алоизий Гонзаго (XVI в.) — один из представителей мантуанской княжеской династии, вступил в орден иезуитов, занимался вопросами теологии, после смерти был канонизирован, считался покровителем учащейся молодежи.

Стр. 211. *...богословские и философские учения от Абу-Ханифы до Аль-Газали.*— Абу-Ханифа (VIII в.) — основатель мусульманской юридической школы, составил систему законоведения. Абу-Гамид Мухаммед Аль-Газали (1058—1111) — крупнейший мусульманский теолог.

Стр. 230. *...огромная военная машина империи снова пришла в движение, и прямо против Австрии...*— После Прессбургского мира Австрия активно готовилась к войне. Неудачи Наполеона в Испании и Португалии показались австрийским политикам достаточным основанием для надежд на успех. Эти приготовления не ускользнули от Наполеона, который, в свою очередь, начал энергичную подготовку к войне с Австрией.

Стр. 232. *Пятая коалиция против Наполеона...*—В состав пятой коалиции, образованной в начале 1809 г., входили Англия, Австрия и некоторые германские государства.

...французское сообщение о первой победе под Экмюлем...— Австрийцы начали военные действия 10 апреля 1809 г. вторжением в Баварию, но уже 19—23 апреля в сражениях при Тенгене, Абенсберге, Ландсгуте, Экмюле и Регенсбурге потерпели поражения, благодаря чему французским войскам была открыта дорога на Вену.

Стр. 240. *...слова, еще шесть веков тому назад написанные великим... Джалалиддином Руми...*— Джалалиддин Руми (1207—1273) — крупнейший поэт-мистик средневековой Персии, известный и почитаемый во всем мусульманском мире, «соловей созерцательной жизни».

Стр. 241. *...прекрасно сохранившиеся латинские слова*: «*Marko Flavio... optimo...*» — «Марк Флавий... лучший (муж)» — типичная надпись на римском надгробье.

Стр. 242. *...остатки древнейшего культа храма бога Митры.*— Культ Митры, возникший в древней Персии и Индии, в эллинистическую эпоху был широко распространен в провинциях Римской империи, особенно при императоре Диоклетиане (IV в).

...случился новый переворот, во время которого убили Мустафу Байрактара... — См. прим. к стр. 184.

Стр. 249. *...началась битва при Ваграме.*— В жестокой битве при Ваграме (деревне к северу от Вены) 5—6 июля 1809 г. Наполеон наголову разбил австрийские войска. После этой битвы военные действия были прекращены, и в Цнайле было заключено перемирие.

Стр. 259. *В октябре 1809 года в Вене был заключен мир между Наполеоном и венским двором.*— Венский (или Шенбруннский) мир был подписан 14 октя-

бря 1809 г. Наполеон отторгнул от Австрии обширные территории на юго-западе (Словению, включая Триест, и Хорватию), которые вместе с Далмацией, Истрией, Дубровником, еще раньше оккупированными французами, были превращены в так называемые «иллирийские провинции»; губернатором их был назначен Мармон, получивший после битвы при Ваграме звание маршала. «Иллирийские провинции» просуществовали до 1814 г., после чего отошли к Австрии.

Стр. 279. *Она сразу назвала его «Антиноем в мундире»...*— Антиной (?—135 гг. н. э.) — юноша родом из Клавдиополя в Вифинии, любимец римского императора Адриана, славящийся необыкновенной красотой. Изображения Антиноя часто встречались среди памятников античной пластики.

Стр. 323. *...как некогда справедливый завоеватель Кир.*— Кир — древнеперсидский царь (VI в. до н. э.), основатель династии Ахеменидов, завоевал обширные территории.

Стр. 336. *...Ибрагим-паша встретился с Силиктаром Али-пашой, своим преемником.*— Новый боснийский визирь Али-паша прибыл в Травник 17 мая 1813 г. Начало своего правления Али-паша ознаменовал жестокими расправами.

Стр. 342. *В конце мая поступили известия о победах Наполеона при Люцене и Бауцене.*— Весной 1813 г. была создана шестая антифранцузская коалиция (Англия, Россия, Пруссия, Швеция, Испания и Португалия). Боевые действия развернулись в Саксонии. В начале кампании Наполеону удалось разбить войска союзников в битвах при Люцене (2 мая) и Бауцене (20—21 мая). Обе стороны понесли значительные потери, но ресурсы союзников были значительно больше, чем у Франции, что сказалось в ходе осенней кампании.

Стр. 348. *...услышал... об исходе битвы под Лейпцигом.* — После провала мирных переговоров, проходивших в Праге, и присоединения Австрии к коалиции военные действия возобновились в начале августа. Армия Наполеона была окружена на равнине под Лейпцигом, где 16—19 октября произошло сражение, получившее в истории название «битвы народов» (в нем участвовало свыше 500 000 человек). Французская армия потерпела сокрушительное поражение, потеряв около 58 000 человек убитыми.

Стр. 349. *...Белград взят турками и последние следы восстания в Сербии стерты навсегда.*— Русско-турецкая война, во время которой Россия оказывала всестороннюю помощь сербским повстанцам, закончилась в мае 1812 г. Русская армия под командованием М. И. Кутузова разгромила турецкие войска, и в мае 1812 г. в Бухаресте был подписан мирный договор, согласно которому Турция обязывалась объявить повстанцам полную амнистию и предоставить Сербии автономию в вопросах внутреннего управления, сбора налогов и др. Однако, воспользовавшись занятостью России войной с Наполеоном, Турция нарушила Бухарестский мир и направила в Сербию три армии — со стороны Видина, Ниша и из Боснии, подошедшие к границам Сербии в конце июля 1813 г. Несмотря на героическое сопротивление повстанцев, к концу сентября вся Сербия была занята турецкими войсками, учинившими свире-

ную расправу: тысячи мужчин были убиты, а женщины и дети проданы в рабство. В течение трех дней в Стамбуле палили из пушек в честь победы над повстанцами.

Стр. 351. ...*Карагеоргий перебежал в Австрию.*— Накануне занятия Белграда турецкими войсками, когда сопротивление уже было невозможно, вождь повстанцев Карагеоргий со своей семьей и ближайшими сподвижниками перешел в Земун, где он сразу же был интернирован австрийскими властями. Лишь в 1814 г. после неоднократных требований России ему было разрешено выехать из Австрии. Он поселился в Бессарабии, где находилось немало участников сербского восстания.

Стр. 361. ...*выяснилось, что победа эта была сомнительной...*— Жестокие расправы и грабежи, чинимые турками в покоренной Сербии, уже в 1814 г. вызвали недовольство, увеличилось число гайдуков, то там, то тут вспыхивали бунты, свирепо подавляемые турками. В апреле 1815 г. вспыхнуло новое восстание, в результате которого Сербии при поддержке России, потребовавшей от Турции выполнения Бухарестского договора, была предоставлена внутренняя автономия, ставшая первым шагом к достижению сербским народом национальной независимости.

Стр. 362. *Сенат принял новую конституцию, образовал новое правительство во главе с Талейраном, князем Беневентским.*— Талейран, еще во время Эрфуртского конгресса изменивший Наполеону и оказывавший тайные услуги Александру I, сыграл важную роль в подготовке к реставрации династии Бурбонов. После занятия Парижа войсками союзников он сумел убедить Александра, что нельзя ни заключать договора с Наполеоном, ни передавать правление императрице Марии-Луизе как регентше, а что следует восстановить династию Бурбонов. Он легко убедил Сенат в необходимости принять декрет об образовании временного правительства, которое должно будет выработать новую конституцию, и декрет о низложении Наполеона. На Венском конгрессе 1815 г., на котором европейские монархи решали судьбы мира, Талейран представлял Францию как министр иностранных дел.

Стр. 375. ...*договор, который сейчас заключается в Париже...*— 1 марта 1814 г. в Шомоне был подписан договор между Англией, Россией, Австрией и Пруссией, обязывавший их действовать вместе вплоть до окончательной победы, после достижения которой союз четырех держав должен был бдительно наблюдать, чтобы Франция не пыталась нарушить условия мира, которые будут ей продиктованы.

МОСТ НА ДРИНЕ

Стр. 385. ...*мост воздвиг великий визирь Мехмед-паша...*— Мехмед-паша Соколович (ок. 1505—1579), родился недалеко от Вышеграда в христианской семье, в детстве был взят в янычары и обращен в ислам. Занимал высокие посты при султанском дворе, с 1565 до самой смерти был великим визирем. При нем и по его указанию был построен мост на Дрине (1571). У него имелись

проекты соединения каналами Черного моря с Каспийским и Средиземного с Красным.

Стр. 387. *...эти следы оставили копыта Шараца, когда он уносил из темницы в Старом граде Королевича Марко...*— Королевич Марко — герой сербского эпоса, богатырь, сражающийся с турецкими поработителями. Шарац — его конь.

...промчался на своей крылатой арабской кобыле сам Джерзелез Алия...— Джерзелез Алия — персонаж мусульманского фольклора.

Стр. 388. *...пал геройской смертью дервиш шейх Турхания...*— Шейх Турхания — герой турецкого эпоса.

Стр. 389. *...вплоть до 1878 года, вешали и насаживали на кол головы несчастных...*— Турецкое владычество в Боснии продолжалось с 1463 г. до 1878 г.

...как это написано в путевом дневнике некоего турецкого путешественника...— Возможно, эти слова взяты из «Путевых записок» известного турецкого путешественника XVII в. Эвли Челеби, несколько раз посетившего Боснию.

Стр. 391. *...Старина Новак... напутствовал своего преемника Дитя Грунцу...*— Старина Новак и Дитя Груница — персонажи сербских эпических песен, рассказывающих о подвигах благородных разбойников-гайдуков.

Стр. 392. *...одним из могущественных вельможей рода Павловичей...*— Павловичи — знатный род боснийских феодалов, обладавших в XIV—XV вв. обширными имениями в Восточной Боснии. После захвата Боснии турками род Павловичей прекратился, а их владения стали султанской землей.

Стр. 437. *...о Венгрии, которую после столетней оккупации начали оставлять турецкие войска.*— В 20-х годах XVI в. турки вторглись в Венгрию и к 40-м годам заняли ее юго-восточную часть вплоть до г. Буды. В конце XVII в. они были отброшены на юг, а вся Венгрия прочно вошла в состав империи Габсбургов.

Стр. 447. *В начале прошлого века в Сербии поднялось восстание.*— Имеется в виду Первое сербское восстание 1804—1813 гг. под руководством Георгия Петровича Черного (Карагеоргия). См. прим. к стр. 20, 349, 351.

Стр. 452. *Когда Георгий юный бегом был...*— Георгий — вождь Первого сербского восстания Карагеоргий.

Стр. 458. *...послал его великий Милош...*— Милош Обренович (1780—1860) — первый князь Сербии после завоевания ею автономии в рамках Турецкой империи (1815—1833; 1858—1860). В 30-е годы проходило определение границ Сербии, ставшей вассальным княжеством Турецкой империи.

Стр. 459. *...турки должны были оставить последние крепости в Сербии.*— Согласно условиям хатти-шерифа 1833 г., предоставлявшего Сербии автономию, туркам запрещалось проживать в ней, за исключением гарнизонов крепостей в Смедереве, Белграде, Шабаце, Соколе и Ужице. В 1867 г. при дип-

ломатической поддержке России Сербии удалось добиться решения вопроса о крепостях,— последние турки покинули Сербию.

Стр. 475. *Спустя семьдесят лет после восстания Карагеоргия Сербия снова вступила в войну...*— Одной из главных целей сербской внешней политики второй половины XIX в. было освобождение от турецкой власти и объединение остававшихся под турецким игом сербских земель. С этой целью князь Милан Обренович (1868—1889) в союве с Черногорией 18 июня 1876 г. объявил войну Турции.

Разговоры о приходе австрийских войск в Боснию...— К войне, начатой против Турции в 1876 г., Сербия была слабо подготовлена и после ряда поражений оказалась на грани разгрома. По ультимативному требованию России турецкие войска прекратили наступление и между воюющими сторонами было заключено перемирие. Поскольку война России с Турцией была неизбежна, русское правительство стремилось добиться нейтралитета Австрии. Согласно тайному соглашению, подписанному 3 января 1877 г., Австрия обязалась не вмешиваться в конфликт, получив за это согласие России на оккупацию Боснии и Герцеговины австрийскими войсками.

Стр. 514. *Новая власть в тот год объявила рекрутский набор...*— Ввиду того что оккупация Боснии и Герцеговины считалась «временной», якобы не нарушающей суверенные права султана, положение в стране в первые годы было весьма неопределенным. В такой обстановке введение воинской повинности и проведение рекрутского набора воспринималось как незаконное, и в 1882 г. в связи с этим в юго-западной Боснии и Герцеговине вспыхнуло восстание, для усмирения которого понадобились четыре дивизии.

Стр. 558. *...императрицы Елизаветы, павшей жертвой гнусного покушения итальянского анархиста Луккени.*— В рабочем движении Швейцарии в конце XIX в. были сильны оппортунизм и анархизм, последний особенно среди иностранных (преимущественно итальянских) рабочих. В сентябре 1898 г. член анархистской террористической группы итальянец Луккени убил австрийскую императрицу Елизавету, находившуюся в то время в Женеве.

Стр. 568. *...о дальнем прицеле Австро-Венгрии — через Санджак выйти к Салоникам...*— После поражения Австрии в австро-прусской войне 1866 г., приведшего к тому, что роль объединителя германских земель перешла к Пруссии, Австро-Венгрия устремляет свою экономическую, политическую и военную экспансию на Юго-Восток, на Балканы. Этой цели служила вся ее экономическая политика, в том числе и железнодорожное строительство.

Стр. 572. *Наступил 1908 год, и какая-то зловещая тревога с той поры нависла над городом.*—5 октября 1908 г. манифестом императора Франца-Иосифа было провозглашено присоединение Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии, до того времени формально остававшихся в составе Турции. Аннексия Боснии и Герцеговины была одним из первых шагов развернувшейся военно-политической экспансии австро-германского блока на Балканах.

В Сараеве появились религиозные общества, сербские и мусульманские национальные партии и организации... Доходили сюда и новые газеты, основанные в Сараеве.— Население Боснии и Герцеговины исповедовало три религии — католичество, православие и мусульманство, каждая из которых создавала свои религиозные общества, организации и т. д. В 1906 г. возникла первая мусульманская политическая партия — Мусульманская народная организация, издававшая свой печатный орган газету «Мусават». В 1907 г. в результате объединения ряда оппозиционных групп возникла Сербская народная организация, органом которой стала газета «Српска рич», с 1905 г. издававшаяся в г. Мостаре. В это же время были созданы различные культурно-просветительные организации —«Просвета», «Напредак», «Гайрет» и др.

Слово «стачка» впервые прозвучало тогда в городе.— 4—6 мая 1906 г. в Сараеве была проведена всеобщая забастовка, перекинувшаяся потом на многие города Боснии и Герцеговины. Забастовщики требовали признания прав на объединение рабочих в профсоюзы, право на стачки, свободу печати и собраний.

Стр. 573. *Вслед за переворотом 1903 года на сербском престоле последовал государственный переворот в Турции.*— В ночь на 29 мая 1903 г. группа сербских офицеров-заговорщиков, недовольных политикой короля Александра Обреновича, фактически подчинившего Сербию интересам Австро-Венгрии, ворвалась во дворец, убила короля, королеву и их приближенных. На престол был возведен Петр Карагеоргиевич, внук вождя Первого сербского восстания Карагеоргия, при котором Сербия ориентировалась на тесный союз с Россией.

В конце XIX в. в Турции развернулось движение за превращение феодально-теократической Оттоманской империи в буржуазно-конституционное государство. Во главе его встала буржуазная интеллигенция, создавшая организацию «Единение и прогресс», получившую в народе название «младотурки». В июле 1908 г. младотурки подняли восстание среди военного гарнизона в Македонии. Попытка султана Абдул-Гамида II подавить его не удалась, так как отправленные в Македонию войска отказались сражаться с повстанцами. Под угрозой похода повстанцев на Стамбул султан объявил о восстановлении конституции, отмененной им в 1878 г. Из правительства были удалены наиболее реакционные деятели, и хотя члены комитета «Единение и прогресс» формально не вошли в состав правительства, власть фактически находилась в их руках, поскольку за ними шла армия. События 1908 г. вошли в историю под названием «младотурецкой революции».

Стр. 580. *Напряжение, возникшее в связи с так называемым «аннексионным кризисом»...*— Аннексия Боснии и Герцеговины вызвала резкое возмущение и протест в Сербии, которую поддержала Россия. В марте 1909 г. Австро-Венгрия объявила мобилизацию и стала стягивать войска к сербским границам, а ее союзница по Тройственному пакту Германия поддержала ее, угрожая войной Сербии и России. Последним пришлось отступить.

Стр. 583. ...*о ходе турецко-итальянской кампании в Триполитании.*— Италия давно стремилась захватить Триполитанию, одну из африканских провинций Турции. Еще в 1900 г., заручившись согласием Франции на этот захватнический акт, Италия в конце сентября 1911 г. начала военные действия. Итальянским войскам сравнительно легко удалось справиться со слабыми турецкими гарнизонами, но затем им пришлось вести нелегкую войну с местным арабским населением. В 1912 г. в связи с начавшейся Первой Балканской войной Турция была вынуждена запросить мира. Италия захватила Триполитанию, Киренаику и острова Додеканез.

...*Энвер-бей... как истинный потомок Соколовичей или Чуприличей.*— Энвер-бей, позднее Энвер-паша (1881—1922) — турецкий политический деятель, генерал, один из лидеров младотурецкой партии «Единение и прогресс», активный участник младотурецкой революции 1908 г. Участвовал в Триполитанской войне (1911—1912). Соколовичи.— См. прим. к стр. 385. Чуприличи — знатный турецкий род албанского происхождения. Из семьи Чуприличей в XVII — начале XVIII в. вышел ряд крупных деятелей и полководцев Оттоманской империи. Многие Чуприличи были великими визирями.

Наступила осень 1912 года, а затем 1913 год с балканской войной и сербскими победами.— Весной и летом 1912 г. был заключен оборонительный и наступательный союз четырех балканских государств — Болгарии, Сербии, Черногории и Греции. 18 октября 1912 года началась Первая Балканская война. Союзники быстро разгромили турецкие войска, заняли почти все турецкие владения на Балканах. Подписанный в Лондоне в мае 1913 г. мирный договор покончил с турецким господством на Балканах.

Стр. 586. ...*с границами предполагаемого раздела Балканского полуострова.*— Летом 1913 г. шел торг между странами-победителями за раздел турецких владений, приведший ко Второй Балканской войне между бывшими союзниками.

Стр. 591. ...«*Зора*» (*«Издательство национальных книг»*).— Имеется в виду сербское академическое общество «Зора», созданное в Вене еще в 60-е годы XIX в. и объединявшее учащуюся молодежь. В 1910—1912 гг. оно издавало свой журнал.

Стр. 594. ...*Стикович цитировал Цвиича и Штроссмайера, Херак —Каутского и Бебеля.*— Цвиич.— Очевидно, имеется в виду хорватский революционер и публицист Джуро Цвиич (1896—1937), осужденный в 1912 г. за участие в покушении на бана Хорватии Цувая; Иосип Юрай Штроссмайер (1815—1905) — епископ, крупный деятель хорватского национального возрождения, сторонник объединения югославянских народов, освобождения их от турецкого ига; Карл Каутский (1854—1938) — немецкий социал-демократ, один из вождей социал-реформизма; Август Бебель (1840—1913) — один из основателей и виднейших деятелей германской социал-демократии и II Интернационала, оказал большое влияние на рабочее движение в Европе.

Стр. 595. ...«*Пусть каждый убьет своего субашу!*»— Слова из песни народ-

ного поэта-гусляра Филиппа Вишнича, в которой описывается Первое сербское восстание под руководством Карагеоргия.

...победы на Куманове и Брегальнице...-- В битве у Куманова в Македонии 23—24 октября 1912 г. сербские войска нанесли поражение турецкой армии. Нападением болгарских войск на сербские позиции на реке Брегальнице 30 июня 1913 г. началась Вторая Балканская война. В сражении, продолжавшемся до 8 июля, болгарские войска потерпели поражение и отступили.

Стр. 598. *...о Ницше и Штирнере...*— Фридрих Ницше (1844—1900)— реакционный немецкий философ-идеалист, апологет буржуазной эксплуатации и агрессии; Макс Штирнер (настоящее имя Каспар Шмидт; 1806—1856) немецкий философ-идеалист, один из видных представителей младогегельянства, идеолог мелкобуржуазного анархизма и индивидуализма.

Стр. 601. *...которое, подобно Пьемонту, объединит вокруг сербов всех южных славян...*— Идея объединения не только всех сербских, но и всех югославянских земель получила широкое распространение во второй половине XIX — начале XX в. Сербские националистические круги считали, что это объединение должно осуществиться вокруг Сербии, которой предназначено сыграть роль «Пьемонта южных славян» (по аналогии с тем, как происходило объединение Италии вокруг Пьемонта).

Стр. 616. *Крупнейший экономический кризис конца XIX — начала XX века захватил и Австро-Венгерскую монархию.*— В 1899—1903 гг. Европу и США охватил острый экономический кризис, который, в частности, привел к массовому краху мелких и средних предприятий.

Стр. 619. *...во всеобщей венской забастовке 1906 года.*— Под влиянием первой русской революции 1905—1907 гг. во всей Австро-Венгрии проходило массовое забастовочное движение.

Стр. 624. *...прекрасно декламировавший стихи Змая-Йовановича...*— Йован Йовановић-Змај (1833—1904) — крупный сербский поэт, его патриотические стихи были боевым знаменем нескольких поколений борцов за свободу и независимость.

Стр. 628. *...началась подготовка к празднику дня св. Саввы...*— День св. Саввы (14 января по старому стилю)—один из самых больших религиозных праздников сербского народа,— день смерти Саввы Неманича (1174—1235), первого сербского архиепископа, видного церковного и государственного деятеля, автора ряда сочинений церковного и светского характера, канонизированного сербской церковью. Начиная с XIX в., день св. Саввы отмечался во всех учебных заведениях, поскольку Савва считался покровителем просвещения, а в областях, подчиненных Австрии (позднее — Австро-Венгрии) — защитником сербского народа.

Стр. 633. *На Видовдан сербские общества устроили... гулянье....*—На Видовдан — 28 июня — в 1389 г. сербское войско, возглавляемое царем Лазарем, было разгромлено турецкими войсками под предводительством султана Мурата II. Этот день отмечался как день национального траура, день борьбы за свободу.

Стр. 635. *В нем сообщалось об убийстве престолонаследника в Сараеве...* — 28 июня 1914 г. в Сараево приехал наследник австрийского престола, глава военной партии эрцгерцог Франц-Фердинанд, чтобы произвести смотр расквартированным там войскам. Само назначение военного парада на Видовдан было вызовом национальным чувствам сербов. Члены тайной национально-революционной организации «Молодая Босния» («Млада Босна») решили организовать покушение на Франца-Фердинанда и губернатора Боснии и Герцеговины генерала Потиорека. В боевую группу входили Гаврило Принцип, Неделько Чабринович, Трифко Грабаж, Мухамед Мехмедбашич, Васо Чубрилович и Цветко Попович. Когда кортеж автомобилей проезжал по улицам Сараева, Гаврило Принцип двумя выстрелами из револьвера убил Франца-Фердинанда и (по ошибке — он целился в Потиорека) его супругу Софию. Убийцы были схвачены и вместе со многими своими единомышленниками предстали перед судом. Трое членов «Молодой Боснии» были казнены, а остальные, в том числе и Принцип (как несовершеннолетние), приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

Стр. 637. *...после объявления Сербии войны...* — После убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда правительство Австро-Венгрии стало готовиться к войне с Сербией. 23 июля оно предъявило правительству Сербии ультиматум, в котором обвиняло его в антиавстрийской деятельности и пропаганде, в покровительстве сербским националистическим организациям на территории Австро-Венгрии и требовало принятия строгих мер против такой деятельности и пропаганды, увольнения с государственной службы лиц, замешанных в них, роспуска ряда патриотических организаций, суда над находящимися на территории Сербии соучастниками сараевского покушения и допуска австрийских представителей к расследованию дел, связанных с ним. И хотя сербское правительство согласилось выполнить все требования ультиматума, кроме последнего, Австро-Венгрия 28 июля 1914 г. объявила войну Сербии, начав военные действия 12 августа наступлением через пограничные реки Дрину и Саву. В развернувшейся в середине августа на горном массиве Цер в Западной Сербии битве (Церская битва) австрийские войска потерпели поражение и были отброшены назад.

В. Зеленин

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Ага — господин, уважительное обращение к состоятельным людям.

Айян — старейшина, предводитель, чиновник городской управы.

Акшам — вечерняя, четвертая из пяти предписанных мусульманских молитв.

Антерия — род верхней длинной одежды, мужской и женской.

Байрам — мусульманский праздник по окончании рамазана, продолжающийся три дня.

Баклава — слоеный пирог с орехами, пропитанный сахарным сиропом.

Бег — турецкий землевладелец, господин.

Берат — грамота султана.

Бинекташ — специальный камень, с которого садятся на коня.

Бостанджи-баша — один из чинов гвардии султана или визиря.

Вакуф — земли, недвижимое имущество, принадлежащее мусульманскому духовенству; собственность, завещанная на благотворительные цели.

Вила — мифическое существо, лесная или горная фея.

Газда — уважительное обращение к богатым торговцам и ремесленникам, букв.: хозяин.

Девлет-мусафир — гость государства.

Демирлия — противень-поднос.

Джезва — медный сосуд для варки кофе по-турецки.

Джемадан — мужская одежда без рукавов, расшитая тесьмой.

Джубе — верхняя зимняя одежда.

Ифтар — вечерняя трапеза во время поста, совершаемая после захода солнца.

Ичоглан — придворный визиря.

Кабаница — верхняя одежда типа плаща.
Кадия — судья.
Каймакам — лицо, замещающее визиря во время его отсутствия.
Капиджи-баша — управляющий дворцом визиря.
Капудан-паша — адмирал в турецкой армии.
Кмет — подневольный крестьянин, работающий на землях бега.
Коло — южнославянский танец.
Кулук — трудовая повинность.
Конак — здесь: резиденция визиря, административное здание.

Маджария — венгерская золотая монета, употреблявшаяся и как женское украшение.
Мерхаба — мусульманское приветствие.
Минтан — род верхней одежды с длинными узкими рукавами.
Мубашир — посланец, чиновник.
Мударис — учитель в медресе, мусульманском духовном училище.
Муктар — староста городского квартала.
Мулазим — начальник полиции.
Мутевелий — управляющий вакуфом.
Мутеселим — чиновник визиря.
Муфтий — мусульманский священник высокого ранга.
Мухурдар — хранитель государственной печати.

Окка — мера веса, равная 1283 гр.
Опанки — крестьянская обувь из сыромятной кожи.

Пашалык — область, находящаяся в подчинении одного паши.
Плета — мелкая австрийская монета.

Райя — презрительное наименование христианских подданных Турецкой империи.
Ракия — сливовая водка.
Рамазан — девятый месяц по мусульманскому календарю, месяц поста, обязывающего воздерживаться от пищи с восхода до захода солнца.
Реис — высший сан в мусульманской религии.

Салеп — сладкий горячий напиток, настоянный на ятрышнике.
Сердар — военачальник.
Серджада — коврик, на котором мусульмане совершают моление.
Сефарды — евреи, выходцы из Испании.
Силахдар — хранитель оружия.
Слава — праздник святого покровителя семьи у православных сербов.
Софта — ученик медресе.

Спахия — турецкий землевладелец.
Субаша — помощник паши.
Сура — глава Корана.

Табут — открытый гроб, в котором хоронят мусульман.
Тарих — дата, число, хроника.
Тамбура — струнный инструмент типа мандолины.
Тефтедар — министр финансов.
Тефтер-чехайя — хранитель архивов.

Улема — мусульманские вероучители, знатоки и толкователи Корана.
Урмашица — сладкий пирог с финиками.

Филджан — чашечка для черного кофе.
Фирман — указ султана.

Хаджи — мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.
Хазнадар — казначей, эконом.
Хафиз — человек, знающий наизусть Коран.
Хечим — врач.
Ходжа — мулла.

Цицвара — национальное боснийское блюдо из муки, масла и сыра.

Чевап — молотое мясо, жаренное в виде котлет на мангале и сильно сдобренное перцем.
Чехайя — заместитель визиря.
Чифчия — безземельный крестьянин, обрабатывающий землю помещика.
Чохадар — чиновник, ведающий гардеробом визиря.

Эфенди — господин, уважительное обращение к образованным людям.
Эмин — финансовый чиновник.

Ямак — рекрут в янычарских войсках.
Яция — пятая, ночная, молитва, совершаемая мусульманами через два часа после захода солнца.

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Книпович. Исторические романы Иво Андрича 5
ТРАВНИЦКАЯ ХРОНИКА. *Перевод М. Волконского* . . 17
МОСТ НА ДРИНЕ. *Перевод Т. Вирты* 381
Примечания *О. Кутасовой и В. Зеленина* 667
Объяснительный словарь 683

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 130

Иво Андрич

ТРАВНИЦКАЯ ХРОНИКА.
МОСТ НА ДРИНЕ

*

Редактор О. Кутасова

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Платонова

Корректор В. Фадеева

*

Сдано в набор 26/IX 1973 г. Подписано к печати 27/II 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 43 печ. л. 40,12 усл. печ. л. 44,95 + 6 накид. + 1 вкл. = 45,6 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ № 733. Цена 2р. 26 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая. 28